This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

a39015 01810310 4b

МАГАЗИН БУКИНИСТИ
НОГИЗА
45
№
Ц 10 руб.

СОБ. ЛОН.

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ARTES SCIENTIA VERITAS
1817
LIBRARIES

IV 1050
149.

№ 149—IV отд.
1050

НАРОДНАЯ РУСЬ.

А. А. Коринфскій.

Коринфский, Аполлон Александрович

НАРОДНАЯ РУСЬ.

ATO
IV 1050
149

КРУГЛЫЙ ГОДЪ СКАЗАНІИ, ПОВѢРІИ, ОБЫЧАЕВЪ
И ПОСЛОВИЦЪ РУССКАГО НАРОДА.

Изданіе книгопродавца М. В. КЛЮКИНА.
Москва, Моховая, домъ Бенкендорфъ.
1901.

LK
32
.K84

Первая женская типографія, Е. К. Гербекъ, 2-я Мѣщанская, д. № 26.

105а-
212812

Книга целиком, своим [illegible] [illegible]
терминами к нелепостями книги [illegible]
[illegible], до что давно [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] произвести автор не
[illegible] [illegible] с точки зрения [illegible]
[illegible] и его социального [illegible]

См. книги:

Максимов Крестная сила
в том-же духе
автор — этнограф

Румянцев „Православные праздники их происхождение
и их социальная и классовая сущность“ 1933 г. БИЗ

Посвящается

Алексѣю Сергѣевичу Ермолову.

P.S. Обе книги развивают мистику и по-
клонение, [illegible] [illegible],
[illegible] разбирая праздники церковные
[illegible] [illegible] [illegible] марксистскому
методу.

— —

Также [illegible], что нередко автор ста-
[illegible] [illegible] [illegible] и не [illegible] [illegible]
[illegible] „[illegible]“

„Слово сказаній живыхъ,
Мощное, вѣчное слово—
Свѣтлый, кипучій родникъ,
Кладезь богатства роднаго!...“

„....старый таинственный сказъ,
Словно странникъ съ клюкою, въ народѣ
Ходитъ-бродитъ, пророча порой...“

„. . . . . .
Нѣтъ ему ни въ чемъ помѣхъ!
Это—славный русскій витязь,
Богатырь послѣдній—Смѣхъ...“

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящая книга — плодъ болѣе чѣмъ двадцатилѣтнихъ наблюденій надъ современнымъ бытомъ крестьянина - великоросса, дополненныхъ сравнительнымъ изученіемъ всѣхъ ранѣе появившихся въ печати матеріаловъ по русской и славянской этнографіи.

Самостоятельныя наблюденія сосредоточиваются преимущественно на нижегородско-самарскомъ Поволжьѣ (губерніяхъ Нижегородской, Казанской, Симбирской, Самарской). Волгу я изъѣздилъ вдоль и поперекъ, на берегахъ ея провелъ дѣтство, юность и раннюю молодость, поставившія меня лицомъ къ лицу съ народной жизнью, обвѣявшей меня неотразимымъ дуновеніемъ самобытной поэзіи яркихъ преданій прошлаго.

Съ юношескихъ лѣтъ стали наполняться одна за другою мои записныя тетради—то пословицами, поговорками и ходячими народными словами, то обрывками деревенскихъ пѣсенъ, то содержаніемъ подслушанныхъ сказокъ.

Часть этихъ тетрадей, къ сожалѣнію, утратилась безслѣдно; уцѣлѣвшія послужили мнѣ поводомъ къ написанію—во „Всемірной Иллюстраціи“, „Нивѣ“, „Сѣверѣ“ и другихъ журналахъ—первыхъ (если и вошедшихъ въ настоящую книгу, то только въ качествѣ матеріала) бѣглыхъ замѣтокъ о русскихъ простонародныхъ суевѣрныхъ обычаяхъ, связанныхъ съ различными праздниками и временами года.

Семь лѣтъ тому назадъ у меня явилась мысль объ изученіи исторіи русскаго народовѣдѣнія — съ цѣлью болѣе подробной разработки накопившагося въ тетрадяхъ и въ памяти матеріала. Близкому ознакомленію съ богатой литературой этого вопроса, начиная съ древнихъ первоисточниковъ и кончая новѣйшими изслѣдованіями, я въ немалой степени обязанъ предупредительной любезности, встрѣченной мною со стороны завѣдующаго Русскимъ Отдѣленіемъ Императорской Публичной Библіотеки—Владиміра Петровича Ламбина. Достойная всякаго уваженія личность этого человѣка хорошо извѣстна всѣмъ работникамъ пера, которымъ приходилось за послѣднее десятилѣтіе пользоваться сокровищами, собранными въ нашемъ государственномъ книгохранилищѣ.

Въ концѣ 1895 года былъ напечатанъ въ фельетонѣ „Правительственнаго Вѣстника“ первый мой очеркъ, посвященный бытописанію народной Руси; въ 1896-мъ за нимъ послѣдовало нѣсколько новыхъ, а съ

конца 1897-го по настоящее время они стали появляться періодически, постепенно слагаясь въ нѣчто цѣльное; къ 1899-му году созрѣлъ уже и общій планъ всего труда.

Безчисленныя перепечатки, которыми встрѣчала столичная и провинціальная ежедневная печать каждый, появлявшійся безъ всякой подписи, очеркъ, и переводы нѣкоторыхъ изъ нихъ на французскій и нѣмецкій языкъ—служили для меня достаточнымъ побужденіемъ къ писанію дальнѣйшихъ,—причемъ зарождалась уже и мысль о приведеніи всего этого матеріала въ извѣстный порядокъ и объ изданіи книги.

Вниманіе, совершенно неожиданно оказанное этнографическимъ фельетонамъ „Правительственнаго Вѣстника“ Ея Императорскимъ Высочествомъ Великой Княгинею Милицей Николаевною, пожелавшей узнать имя автора и запросившей особымъ отношеніемъ, чрезъ адъютанта Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Петра Николаевича, барона Стааль, редакцію газеты, „будутъ-ли эти фельетоны изданы отдѣльной книжкой“, укрѣпила меня въ этой мысли, которая, однако, была еще далека отъ осуществленія. Письма, полученныя отъ Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ А. С. Ермолова, оказавшагося постояннымъ читателемъ этихъ очерковъ-фельетоновъ и выразившаго желаніе лично познакомиться съ ихъ авторомъ, явились высокой наградою за мой безымянный трудъ. Ободряемый

добрыми совѣтами и благими пожеланіями столь освѣдомленнаго читателя—я и приступилъ къ изданію этой книги.

Болѣе полугода потребовалось на систематическую обработку напечатанныхъ фельетоновъ, на дополненіе ихъ новыми очерками, также появившимися въ „Правительственномъ Вѣстникѣ", благодаря исключительно сочувственному отношенію главнаго редактора—Константина Константиновича Случевскаго, отведшаго на столбцахъ газеты широкое поле замысламъ автора.

Чѣмъ жива народная Русь—въ смыслѣ ея самобытности? На чемъ зиждятся незыблемые устои ея вѣковѣчныхъ связей съ древними, обожествлявшими природу, пращурами? Какими пережитками проявляется въ современной жизни русскаго крестьянина неумирающая старина стародавняя? Гдѣ искать источниковъ того неизсякаемаго кладезя жизни, какимъ является могучее русское слово—запечатлѣнное въ сказаніяхъ, пѣсняхъ, пословицахъ и окруженныхъ ими обычаяхъ? Чѣмъ крѣпка безконечная преемственность духа поколѣній народа-богатыря? Что́ даетъ свѣтъ и тепло жизни народа-пахаря? Что темнитъ-туманитъ и охватываетъ холодомъ эту подвижническую-трудовую жизнь, идущую своими заповѣдными путями-дорогами?

Вотъ семь вопросовъ, на которые я—по мѣрѣ силъ—пытался отвѣтить въ этой своей книгѣ. Внѣшній міръ, обступающій суевѣрную душу русскаго крестья-

нина, и внутреннее бытіе этой дѣтски-пытливой, умудренной многовѣковымъ жизненнымъ опытомъ, стихійной души,—вотъ что желалъ я отразить съ большей или меньшей полнотою на предлагаемыхъ вниманію читателей страницахъ.

Приблизился-ли я хоть сколько-нибудь къ задуманной цѣли—судить не мнѣ, а моимъ будущимъ читателямъ и критикамъ, за каждое существенное указаніе со стороны которыхъ я буду искренне признателенъ.

Если только суждено увидѣть свѣтъ, слѣдующимъ изданіямъ этой книги, являющейся—вмѣстѣ съ „Бывальщинами“—завѣтнымъ трудомъ всей моей жизни, то я не премину воспользоваться всѣми такими указаніями, чтобы устранить, по мѣрѣ возможности, тѣ ошибки и неточности, которыя, несомнѣнно, могутъ встрѣтиться здѣсь, и пополнить допущенные теперь пробѣлы.

Жизнь русскаго пахаря красна праздниками: къ нимъ пріурочено и огромное большинство простонародныхъ сказаній, повѣрій и обычаевъ. Потому-то въ основу своихъ очерковъ я и положилъ эти „красные“ дни, отведя мѣсяцеслову („круглому году“) народной Руси чуть-ли не двѣ трети своей работы. На общіе вопросы жизни, отразившіеся въ сказаніяхъ русскаго народа, пришлась остальная треть (первые семь и десять послѣднихъ очерковъ.)

Перечитавъ отпечатанные листы своей „Народной Руси“, я считаю особенно пріятнымъ долгомъ посвятить эту книгу глубокопочитаемому Алексѣю Сергѣевичу. Безъ его нравственной поддержки, безъ его драгоцѣнныхъ для меня писемъ, она если-бы и увидѣла свѣтъ, то—въ лучшемъ случаѣ—только въ отдаленномъ будущемъ.

Аполлонъ Коринфскій.

9 декабря 1900 г.,
С.-Петербургъ.

I.

Мать-Сыра-Земля.

Ничего нѣтъ для человѣка въ жизни святѣе материнскаго чувства. Сынъ родной земли—живущій-кормящійся ея щедротами, русскій народъ-пахарь, дышащій однимъ дыханіемъ съ природою, исполненъ къ Матери-Сырой-Землѣ истинно сыновней любви и почтительности. Какъ пережившія не одинъ, не два вѣка сказанія, такъ и чуть не вчера молвившіяся-сказавшіяся красныя слова, облетающія изъ конца въ конецъ неоглядный просторъ народной Руси, въ одинъ голосъ подтверждаютъ это, ни на пядь не расходясь съ бытомъ-укладомъ позднихъ потомковъ могучаго богатыря Земли Русской Микулы-свѣтъ-Селяниновича, крестьянствовавшаго на Святой Руси въ старь стародавнюю.

Ветхозавѣтное слово, повѣствующее о созданіи человѣка „отъ персти земныя", не могло не придтись по мысли, не могло не прирости къ суевѣрному сердцу славянина-язычника, крестившагося въ волнахъ Днѣпра-Словутича при Владимірѣ Красномъ-Солнышкѣ, князѣ стольнокіевскомъ. Въ стихійной народной душѣ еще и до нашихъ дней не умираетъ живучее сознаніе вѣковѣчной связи съ обожествлявшейся супругою прàбога Сварога, праматерью человѣчества, за которую слыла обнимаемая небомъ земля, сливающаяся съ нимъ въ единомъ плодотворящемъ таинствѣ.

„Отъ земли взятъ, землей кормлюсь, въ землю пойду!"—говоритъ хлѣборобъ деревень русскихъ, примѣняя запавшія въ сердце слова Священнаго Писанія къ своему житейскому обиходу. „Кормилицей"—зоветъ онъ землю, сторицей возвращающую ему засѣянное въ добрый часъ зерно, „матушкой

родимою“ величаетъ. А это—слово великое въ неумытныхъ-прямодушныхъ устахъ его. „Добра мать до своихъ дѣтей, а земля—до всѣхъ людей!“, „Мать-Сыра-Земля всѣхъ кормитъ, всѣхъ пòитъ, всѣхъ одѣваетъ, всѣхъ своимъ тепломъ пригрѣваетъ!“, „Поклонись матушкѣ-землицѣ, наградитъ тебя сторицей!“, „Какъ ни добёръ кто, а все не добрѣй Матери-Сырой-Земли: всякъ пріючаетъ семью до гробовой доски, а земля пріютитъ и мертваго!“—приговариваетъ народная молвь, подслушанная своими пытливыми калитами-собирателями. „Всякому человѣку—и доброму, и худому—земля дастъ пріютъ!“, „Умру—похоронятъ, поверхъ земли не положатъ!“, „Вѣкъ живешь—маешься, бездомникомъ скитаешься; умрешь—свой домъ въ сырой землѣ найдешь!“,—добавляетъ къ этой молви свои подсказанныя горемычной жизнью поговорки бѣднота-голь, живущая (по ея смѣшливому прибаутку) „противъ неба, на землѣ, въ непокрытой улицѣ“. Недаромъ выплываютъ изъ глубины моря народнаго и такія слова, какъ: „Нужна рыбѣ вода, птицѣ вольная ширь поднебесная, а человѣку—нѣтъ ничего нужнѣе, какъ Мать-Сыра-Земля,—умретъ, и то въ нее уйдетъ!“, „Кому земля—мать родная, кому—родимая матушка, а кому и мачиха; да все, какъ время придетъ, и пасынка къ сырой груди прижметъ, не оттолкнетъ, не погубитъ-къ себѣ возьметъ, на вѣчные вѣки приголубитъ!“, „Корми—какъ земля кормитъ; учи—какъ земля учитъ; люби—какъ земля любитъ!“.

Не мало ходитъ пó-людямъ въ деревенской-посельской Руси всякихъ пословицъ, поговорокъ, присловій и прибаутковъ о томъ, какъ и чѣмъ питаетъ своего пахаря земля-кормилица. Все это красное богатство слова сводится къ дѣйственной вѣрѣ сердца народнаго, въ которой отразилась простодушная мудрость многовѣкового опыта трудовой жизни подъ властью земли.

Великую честь воздаетъ своей вѣковѣчной заботницѣ, своей доброй кормилицѣ посельщина-деревеньщина, вотъ уже не одно тысячелѣтіе припадающая къ ея могучей груди. „Святъ Духъ живетъ на землѣ!“—говоритъ она, именуя святою и свою родную землю, именуючи-приговариваетъ: „На родной землѣ хоть умри, да съ нея не сходи!“, „На какой землѣ родился—тамъ и Богу молись!“ Съ благоговѣніемъ смотритъ русскій пахарь на землю, молвитъ о ней только одну правду-истину, да и никому не совѣтуетъ обмалвливаться передъ ней облыжнымъ словомъ. „Не моги солгать,—земля слышитъ!“, „На землѣ—правдой живи, тогда земля будетъ и твоимъ дѣтямъ кормилицей!“, „Въ землѣ дѣды-прадѣды лежатъ, изъ

земли всякое слово слышать!"—говорится еще и теперь во многихъ уголкахъ свѣтлорусскаго простора.

Терпѣлива Мать-Сыра-Земля: кого-чего она—могучая—на своей груди не держитъ! Но есть на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ и такіе грѣхи тяжкіе, которыхъ, по народному слову, и она, терпѣливая, не снесетъ: „Грѣхъ—грѣху рознь съ другимъ и сквозь землю провалишься!" Всѣмъ открываетъ любве обильная кормилица хлѣбороба-пахаря свои материнскія объятія, когда пробьетъ часъ смерти человѣческой. Но темная сила, бродящая по́-свѣту на пагубу роду людскому, соблазняетъ иныхъ людей и на такія черныя дѣла, что умретъ человѣкъ—его даже и земля не приметъ послѣ смерти. Къ нимъ причисляетъ народное суевѣріе тѣхъ, кто, по его словамъ, спознаётся съ нечистой силою, продавая ей душу христіанскую—на всякое лихо другимъ людямъ. Твердо вѣритъ въ это держащійся за землю православный людъ.

Охватитъ, обступитъ отовсюду иного человѣка горе, не даетъ ему—горемыкѣ—ни сна, ни отдыха, ни пути, ни прохода; смѣется-потѣшается злосчастіе надъ его убожествомъ, заслоняетъ отъ истомленныхъ выплаканныхъ глазъ бѣдняка свѣтъ солнечный... Некуда дѣться пасынку жизни отъ своего горя горькаго! И вотъ—потерявъ всякую надежду на счастливый исходъ жизни-борьбы—обращается онъ къ послѣднему своему прибѣжищу. „Разступись ты, Мать-Сыра-Земля",—вырывается у него изъ глубины души тяжкій стонъ: „Разступись, родимая, открой мнѣ двери царскія во твои-ли палаты вѣковѣчныя!" Объ этихъ „палатахъ" ходитъ на Святой Руси такой красный сказъ, что и просторны-то онѣ (всѣхъ людей пріютятъ), и богаты-де (весь бѣлый свѣтъ укупятъ), и всѣ-то въ нихъ—и богатые, и бѣдные—за одними столами сидятъ: пьютъ, ѣдятъ, прохлаждаются, хлѣбосольными хозяевами не нахвалятся...

Добрый частоколъ можно было-бы нагородить вокругъ да около житья-бытья крестьянскаго изъ однихъ такихъ присловій о землѣ, какъ то-и-дѣло повторяющіяся въ деревенскомъ обиходѣ: „Не роди Мать-Сыра-Земля!" (вмѣсто—„Не дай Богъ!"), „Сквозь землю бы провалился (отъ стыда)!", „Земли подъ собой не взвидѣлъ (отъ радости, а также—отъ страха)!".. „Какъ это его еще земля носитъ?"—говорится объ явно недобросовѣстномъ человѣкѣ. „Какъ подъ землю провалился!"—о пропавшемъ безслѣдно, „Хоть изъ-подъ сырой земли достань, а вынь да положь!", „Отъ меня и сквозь землю не уйдешь!", „Легче въ землю лечь (чѣмъ это видѣть)!" и т. под. „Не тужи по землѣ",—утѣшаютъ бобыля смѣшливые краснословы, за

крылатымъ словцомъ не лазящіе въ карманъ, по́ходя его налету подхватывающіе: „Сажонку вдоль, полсажонки поперекъ, и будетъ съ насъ!“ (о могилѣ). Записаны кладоискателями живого великорусскаго языка и такія слова, связанныя съ землею, какъ: „Выросло дерево отъ земли до неба. На томъ деревѣ двѣнадцать сучковъ; на каждомъ сучкѣ по четыре кошеля, въ каждомъ кошелѣ по семи яицъ, а седьмое—красное!“ Заганётъ мужикъ такую загадку да самъ—простота—тутъ-же и разгадываетъ: „Дерево—годъ, сучки—мѣсяцы, кошели—недѣли, семь яицъ—семь дней, седьмой день—красёнъ-праздничекъ, воскресеньице!“. Повторяетъ народная Русь и такія загадки о землѣ, какъ: „Меня бьютъ, колотятъ, ворочаютъ и рѣжутъ; я все терплю и всѣмъ добромъ плачу!“ (въ Псковск. губ.), „Что на свѣтѣ сытнѣй всего?“ (въ Самарск. губ.), „Аще, аще, что ни есть въ свѣтѣ слаще?“ (тамъ-же).

Земля—общая родина счастливыхъ и несчастныхъ, богатыхъ и бѣдныхъ. „Не по́-небу и богачъ ступаетъ, не подъ землей живетъ и нищій-убогій!“—гласитъ убѣленное сѣдинами пережитыхъ вѣковъ простонародное слово. „Сверху—небо, снизу—земля, а съ боковъ ничего нѣтъ. Хорошъ бѣлый свѣтъ: хоть жарко, да вѣтеркомъ обдуваетъ!“—приговариваетъ, прибаутки ладитъ словоохотливая деревня: „Небо въ туманѣ—и земля въ обманѣ, и пусто въ карманѣ!“, „Солнышко-вёдрышко красной дѣвицей по синю небу ходитъ, а все на землю глазъ наводитъ!“, „На что̀ далеко съ земли до̀ неба, а какъ стукнетъ въ небѣ громъ—и у насъ слышно!“

Въ могучей семьѣ древнерусскихъ былинныхъ богатырей есть двое, всѣ подвиги которыхъ непосредственно связаны съ землею, вѣковѣчной кормилицею народа-пахаря. Это—Святогоръ, старѣйшій изо всей дружины богатырской, да Микула Селяниновичъ—богатырь-ора́тай.

О первомъ изъ нихъ дошло до нашихъ дней нѣсколько былинъ, каждая изъ которыхъ выставляетъ его представителемъ чудовищно-могучей стихійной силы, не имѣющей прямого примѣненія, ищущей и не находящей его во всемъ окружающемъ—ни среди природы, ни среди населяющихъ послѣднюю существъ. Это—мученикъ своей собственной силы. Грузно богатырю отъ нея что отъ тяжкаго бремени. Бродитъ у могучаго силушка по жилочкамъ, жжетъ огнемъ, горячитъ жаркимъ полымемъ бурливую кровь, просится на волю вольную; и нѣту ей—неуёмной—пути-выхода изъ тѣла богатырскаго. Заключена она въ немъ—что въ душной темницѣ, за семью дверями дубовыми, за семью желѣзными засовами...И хотѣлъ-бы Святогоръ-богатырь свою полонянку на волюшку

выпустить, да не можетъ; и охота ему поработать ей дать, да не надъ чѣмъ: не съ кѣмъ старшому изъ богатырей русскихъ помѣряться-побрататися силой-моченькой. Всѣ богатыри — побратимы, всѣ несутъ вѣрой-правдою службу родинѣ; одному ему нечѣмъ порадѣть Землѣ Русской! Тяжко могучему, обида горькая беретъ его за сердце. А силы—все прибываетъ день-ото-дня, все могутнѣетъ она—что ни часъ прошелъ на бѣломъ свѣтѣ... Да и не одному Святогору не въ моготу тяжко отъ своей силы становится,—грузно отъ Святогоровой и самой Матери-Сырой-Землѣ. „По моей ли да по силѣ богатырской кабы державу мнѣ найти, всю землю поднялъ-бы!"—молвилъ богатырь, похваляючись. Облетѣла похвальба словомъ крылатымъ всю Святую Русь—отъ-моря до-моря... Поѣхалъ на матеромъ конѣ Святогоръ, ѣдетъ не на прогулку-поѣздочку богатырскую, не съ лихимъ ворогомъ на ратный бой снарядился: выѣхалъ-ѣдетъ тягу-державу земную искать. „...Ѣдетъ шагомъ Святогоръ-богатырь, ростомъ выше дерева стоячаго, головою—въ небо упирается, ѣдетъ—самъ подремываетъ, сидючи"... Мать-Сыра-Земля подъ копытами богатырскаго матерого коня дрожмя-дрожитъ; держитъ путь онъ къ горамъ высокимъ каменнымъ, къ ущельямъ да разсѣлинамъ,—дорога тамъ вѣрнѣй-надежнѣе!.. И все грузнѣй ему отъ силушки: храпитъ подъ богатыремъ добрый конь, того и смотри—наземь замертво грянется... Долго-ли, коротко-ли ѣхалъ Святогоръ, доѣхалъ богатырь до горы невиданной: крутая гора—что стѣна, кругомъ—падь бездонная... Оглядѣлся старшой надъ богатырями русскими, видитъ: передъ нимъ брошена на горѣ перемётная сумка малая. „А и не въ ней-ли тяга-держава земная лежитъ?"—смѣется сердце богатырское. Ухмыльнулся Святогоръ въ густую, что дремучій лѣсъ, бороду,—слѣзъ съ коня, спѣшился, бьетъ поклонъ Матери-Сырой-Землѣ, хочетъ сумку поднять. Диво дивное, чудо чудное: не поднять богатырю малой сумки перемётной. Какъ ни бился, такъ и не могъ онъ оторвать сумку малую,—а и грузно-же было богатырю отъ своей силушки!.. Да еще тяжелѣе было отъ нея самой землѣ: гдѣ стоялъ, тамъ вмѣстѣ съ сумкой Святогоръ и въ землю „угрязъ". Насмѣялась судьба надъ его похвальбой смѣлою... И разошлась Святогорова мочь-силушка отъ той-ли каменной горы по всей землѣ православной; и бродитъ она подъ каждой пядью земной вплоть до нашихъ дней, появляючись на бѣлый Божій свѣтъ ненадолго—въ стихійной силѣ народной, порождающей людей богатырски-мощнаго духа.

Другая былина отправляетъ Святогора искать той-же тяги

земной—въ поле чистое, въ степь широкую... И видитъ богатырь впереди себя прохожаго съ малою сумочкой переметною... „Ѣдетъ рысью,—все прохожій идетъ передомъ; во всю прыть не можетъ онъ догнать прохожаго". Окликаетъ его Святогоръ богатырскимъ зычнымъ голосомъ... Остановился прохожій — „съ плечъ на землю бросалъ сумочку"... Ѣдетъ къ нему могучій, „наѣзжаетъ на эту сумочку, своей плеточкой сумочку пощупываетъ — какъ уросла, та сумочка не тронется"... „Перстомъ съ коня потрогивалъ, съ коня рукой потягивалъ,—не своро́хнется та сумка, не шеве́льнется"... Слѣзъ богатырь съ коня, обѣими руками за сумку взялся, во всю силу богатырскую натужился,— съ натуги кровь изъ глазъ пошла. „А поднялъ сумку онъ всего на́-волосъ, по колѣна самъ во сыру землю угрязъ!" Прохожій то былъ не простой подорожный человѣкъ, а богатырь-оратай Микула Селянинович; а въ сумкѣ-то и несъ пахарь-оратаюшко тягу земную... Осѣдлая сила богатыря-земледѣльца оказалась куда могутнѣе кочевой-Святогоровой, хоть и не было отъ нея грузно ни самому Микулѣ, ни матери его Сырой-Землѣ ..

Недаромъ русскій народъ изстари вѣковъ слылъ народомъ-пахаремъ, — самымъ могущественнымъ изъ созданныхъ его вѣковыми сказаніями богатырей и является оратай Микула Селянинович: волей-неволею уступаетъ ему по силѣ даже самъ Святогоръ. Представитель вѣрной народу земли-кормилицы, можетъ быть, и не зналъ пословицы —„Держись за землю, трава—обманетъ!", но оправдываетъ ее всѣми своими мужицкими подвигами. Подвизается Микула во чистомъ полѣ, свою соловенькую лошадку—знай понукиваетъ, съ края въ край бороздочку отваливаетъ, корни сохой выворачиваетъ— крестьянствуетъ, приготовляя, съ Божьей помочью, распаханную-засѣянную ниву-новь новымъ поколѣніямъ народа-землепашца, всѣ свои надежды-чаянія возлагающаго на поливаемую трудовымъ потомъ землю. Въ могучемъ своей простотою богатырѣ-оратаѣ народная Русь воплотила саму-себя. Поэзія крестьянскаго труда, съ незапамятныхъ поръ питающаго насе́леніе необъятной страны, — вся на-лицо въ былинѣ о Микулѣ Селянинович. Съ непокрытой головою, съ разстегнутымъ воротомъ—съ душой на-распашку, въ самодѣльныхъ лаптяхъ видѣнъ этотъ могучій сынъ могучаго народа посреди безграничнаго простора полей, убѣгающихъ въ неоглядную даль, увлекающихъ за собою взоры... Вѣтеръ, свободно гуляя по широкому полю, налетаетъ на него, треплетъ густыя пряди русыхъ кудрей добра-молодца, обвѣваетъ холод-

комъ его открытую, пышащую зноемъ, могучую грудь. Налетай сама буря грозная,—не только не свалить съ крѣпкихъ ногъ, а даже и не покачнуть, ей богатыря Микулу. Вѣра въ свое вѣчное, въ свое святое, призваніе—въ сердцѣ его; сила, несокрушимая сила—въ мускулистыхъ-желѣзныхъ рукахъ пахаря. Нѣтъ у Микулы ни меча булатнаго, нѣтъ ни лука скорострѣльнаго у Селяниновича, ни остраго копья мурзамецкаго: силенъ онъ самъ собой да своею сохой крестьянскою... „А у пахаря сошка кленовенька, сошники во той сошкѣ булатные, захлеснуты гужочки шелкóвеньки, а кобылка во сошкѣ соловенька“... Такими словами любовно говоритъ былина о немъ, повѣствуя о встрѣчѣ его съ мудрѣйшимъ изъ богатырей — Вольгою-свѣтъ-Святославичемъ, поѣхавшимъ съ хороброй дружиною „по селамъ-городамъ за получкою, съ мужиковъ выбирать дани-выходы“... Зоветъ Вольга Микулу ѣхать съ собой во товарищахъ. Поѣхалъ Селяниновичъ. Много-ли, мало-ли отъѣхали,—вспомнилъ онъ, что „не ладно въ бороздочкѣ свою сошку оставилъ неубранну“... Посылаетъ Вольга, по Микулиной просьбѣ, десять молодцевъ —„сошку съ земельки повыдернуть, съ сошничковъ землю повытряхнуть, бросить сошку за ракитовъ кустъ“. Не только эти, а и другіе, десять, а и вся дружинушка Вольги, не могли сдѣлать этого,—словно вросла соха въ землю, точно не земля, а желѣзо, на нивѣ у Микулы: „только сошку за обжи вокругъ вертятъ, а не могутъ съ земли сошку выдернуть“... Пришлось самому богатырю-оратаюшкѣ вернуться на полосу недопаханную: „одной ручкой бросилъ онъ сошку за ракитовъ кустъ“... Держитъ къ нему слово, спрашиваетъ пахаря вздивовавшійся Вольга: „А и какъ тя, мужикъ, звать по имени,—величать тебя какъ по изотчеству?“ Богатырь отвѣчаетъ Святославичу со всей свойственною народной рѣчи картинностью: „А я ржи напашу, во скирды сложу, домой выволоку, дома вымолочу да и пива сварю, мужиковъ созову; и начнутъ мужики тутъ покликивать:—Гой, Микула-свѣтъ, ты Микулушка, свѣтъ-Микулушка да Селяниновичъ!“ По той былинѣ, гдѣ крестьянствующій богатырь встрѣчается со Святогоромъ, онъ, на такой-же вопросъ со стороны послѣдняго, отвѣчаетъ болѣе коротко: „Я—Микула, мужикъ я Селяниновичъ! Я—Микула, меня любитъ Мать-Сыра-Земля!“ Въ этихъ словахъ еще ярче встаетъ изъ-за темной дали вѣковъ свѣтлый образъ могучаго оратая Земли Русской.

Въ извѣстномъ народномъ стихѣ о „Голубиной Книгѣ“, еще и теперь распѣваемомъ убогими пѣвцами каликами-перехо-

жими, собраны—по мнѣнію Безсонова [1])—„правила и рѣшенія на всѣ важнѣйшія стороны древнихъ воззрѣній". Въ этомъ стихѣ, отразившемъ въ своемъ словесномъ зеркалѣ завѣтные взгляды родной старины чуть-ли не на всё существующее въ мірѣ, задается, между прочимъ, вопросъ: „Которая земля всѣмъ землямъ мати?"—„Свято-Русь-земля всѣмъ землямъ мати!"—слѣдуетъ отвѣтъ.—„Почему-же Свято-Русь-земля всѣмъ землямъ мати?"—не удовлетворяется полученнымъ отвѣтомъ пытливый духъ спрашивающаго.—„А въ ней много люду христіанскаго, оны вѣруютъ вѣру крещоную, крещоную-богомольную, самому Христу, Царю небесному, Его Матери Владычицѣ, Владычицѣ Богородицѣ; на ней строятъ церкви апостольскія, богомольныя, преосвященныя, оны молятся Богу распятому..." —слѣдуетъ поясненіе. Отъ рѣчи о томъ, какая земля „всѣмъ землямъ мати", вопрошающій переходитъ—за доброй дюжиною попутныхъ вопросовъ—къ такому: „На чемъ-же у насъ основалася Мати-Сыра-Земля?"—„Основалася на трехъ на рыбинахъ",—не скупится на слова простодушная народная мудрость:

„На трехъ рыбинахъ на китёнышахъ,
На китахъ-рыбахъ вся сыра-земля стоитъ,
Основана и утвéрждена,
И содержитца вся подселенная..."

Отвѣтъ доходитъ до самой, что называется, подноготной мірозданія: „Стоитъ Китъ-рыба не сворóхнетца, — когда-жъ Китъ-рыба потронетца, потронетца—восколыхнетца, тогда бѣлый свѣтъ нашъ покончитца: ахъ, Китъ-рыбина разыграитца, все синё море восколыхнитца, сыра мать-земля вся вздрогóнитца, увесь міръ-народъ пріужаснитца; тады буде время опослѣдняя"...

---

[1]) Петръ Алексѣевичъ Безсоновъ, извѣстный изслѣдователь русскаго народнаго творчества, происходилъ изъ духовнаго званія, родился въ 1828-мъ году, образованіе получилъ на историко-филологическомъ факультетѣ московскаго университета (окончилъ курсъ въ 1851 г.), выпустившаго изъ своихъ стѣнъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ народовѣдовъ. Сначала онъ служилъ въ коммиссіи печатанія государственныхъ граматъ и договоровъ, затѣмъ завѣдывалъ виленскимъ музеемъ и публичной библіотекою и былъ директоромъ виленской классической гимназіи, съ 1867-го по 1879-й годъ состоялъ библіотекаремъ московскаго университета, съ 1879-го по день смерти (22-е февраля 1898 года) занималъ каѳедру славянской филологіи въ харьковскомъ университетѣ. Онъ обогатилъ русскую науку трудами своими—„Болгарскія пѣсни", „Калѣки перехожіе", „Сборникъ дѣтскихъ народныхъ пѣсенъ", и „Бѣлорусскія пѣсни". Кромѣ того, изданы подъ его редакціей пѣсенныя собранія П. В. Кирѣевскаго и П. Н. Рыбникова.

Наиболѣе вѣрное объясненіе этому отвѣту даетъ А. Н. Аѳанасьевъ [2]). „Земля покоится на водѣ, якоже на блюдѣ, простерта силою всеблагаго Бога“,—приводитъ онъ слова одного изъ забытыхъ памятниковъ народной старины. Эта „вода“—небесный воздушный океанъ, въ которомъ тучи-водохранительницы представляются какими-то громаднѣйшими рыбами. „Китъ-рыба—всѣмъ рыбамъ мати!“—гласитъ „Голубиная Книга“. А потому-то тучи-рыбы переименовались въ китовъ, принявшихъ—по волѣ воображенія не видывавшаго этихъ „рыбъ“ пахаря—на свои спины „всю подселенную, всю подсолнечну“. Иные утверждаютъ,—говоритъ пытливый изслѣдователь поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу,—что изстари подпорою земли служили четыре кита, но одинъ изъ нихъ умеръ. Когда-же перемрутъ и остальные три, въ то время наступитъ кончина міра. Землетрясеніе—въ глазахъ пахаря, задумывающагося надъ основами мірозданія—не что иное, какъ отголосокъ шума, производимаго китами, поворачивающимися съ бока на-бокъ. По увѣренію памятливыхъ, особенно ревниво оберегающихъ дѣдовскія преданія, сказателей, встарину было даже не три-четыре, а семь, китовъ, подставлявшихъ свои спины для земли. Когда отяжелѣла она отъ незамолимыхъ грѣховъ человѣческихъ, ушли четыре кита „въ пучину эѳіопскую“. Во дни Ноя всѣ киты покинули свое мѣсто, отчего,—говорятъ дошедшіе до высотъ простонароднаго умозрѣнія свѣдущіе люди,—и произошелъ всемірный потопъ.

По другимъ—родственнымъ съ индійскими—сказаніямъ, земля стоитъ не на китахъ, а на слонахъ. Ихъ тоже было въ древнія времена больше, а не три, какъ теперь, да состарились они—повымерли. „До сихъ поръ Мать-Сыра-Земля изрыгаетъ ихъ кости!“—говорятъ въ народѣ по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ

---

2) Александръ Николаевичъ А ѳ а н а с ь е в ъ—извѣстный изслѣдователь памятниковъ русскаго простонароднаго творчества, родился 11-го іюля 1826 г. въ гор. Богучарѣ, Воронежской губерніи, по образованію—питомецъ московскаго университета (выпуска 1848 г.). Еще будучи студентомъ, онъ началъ помѣщать въ различныхъ изданіяхъ статьи по народовѣдѣнію (въ „Современникѣ“, „Отечеств. Запискахъ“, „Архивѣ истор.-юридич. свѣдѣній о Россіи“, „Временникѣ общ. истор. и древн. рос.“, „Извѣстіяхъ Академіи Наукъ по отдѣленію русскаго языка и словесности“ и друг.). Съ 1849-го по 1862-й годъ онъ служилъ въ московскомъ главномъ архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. Три тома „Поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу“, изданные въ 1866—1869-хъ годахъ, являются наиболѣе крупнымъ вкладомъ, сдѣланнымъ А. Н. Аѳанасьевымъ въ сокровищницу русской науки. „Кромѣ этого замѣчательнаго труда, имъ изданы „Русскія народныя легенды“ (М., 1860 г.), „Народныя русскія сказки“ (1-е изд. выходило выпусками; 2-е изд.—4 т. т.—М. 1873 г.; 3-е изд.—2 т. т.—М. 1897 г.) Скончался, онъ въ Москвѣ 23-го сентября 1871 года.

находятъ кости допотопнаго мамонта. Есть и такое представленіе объ устояхъ земли, что держится-де она не на китахъ и не на слонахъ, а на громадныхъ столбахъ. „Пошатнется который-нибудь изъ столбовъ, вотъ и трясеніе земли!“—думаетъ убѣжденный въ этомъ людъ. Въ отреченной (апокрифической) рукописи „Свитокъ божественныхъ книгъ“ сказано, что Творецъ основалъ хрустальное небо на семидесяти тьмахъ тысячъ желѣзныхъ столбовъ. „Да вижю, гдѣ прилежитъ небо къ земли, якожъ глаголютъ книгы, яко на столпѣхъ желѣзныхъ стоитъ небо“...—читается въ сказаніи о Макаріѣ Римскомъ. Въ простонародныхъ заговорахъ то-и-дѣло встрѣчаются такія выраженія, какъ: „Есть окіянъ-море желѣзное, на томъ, морѣ есть столбъ мѣдный...“, или: „На морѣ-окіянѣ, посередь свѣта бѣлаго стоитъ мѣдный столбъ отъ земли до неба, отъ востока до запада...“ и т. п. По свидѣтельству митрополита московскаго Иннокентія[3]), просвѣтителя алеутовъ, у этихъ инородцевъ также существуетъ повѣрье, что міръ держится на одномъ огромномъ столбѣ. Но въ народной Руси эти послѣднія сказанія распространены несравненно меньше, чѣмъ особенно пришедшееся ей по мысли первое—о китахъ.

Дошлá до нашихъ дней, въ различныхъ спискахъ, сербско-болгарская рукопись XV-го вѣка, въ которой находится неопровержимое подтвержденіе того, что всѣмъ славянскимъ

[3]) Иннокентій, митрополитъ московскій, въ мірѣ Иванъ Евсевіевичъ Поповъ (по данной ректоромъ семинаріи фамиліи—Веніаминовъ),—одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ іерарховъ,—родился въ с. Ангинскомъ Иркутской губерніи, 27 августа 1797 г., въ семьѣ бѣднаго пономаря. По образованію онъ—питомецъ иркутской духовной семинаріи. Служеніе Церкви началось для него въ 1817-мъ году, когда онъ былъ посвященъ въ діаконы, а затѣмъ, черезъ годъ—во священники. Въ 1823-мъ году о. І. Веніаминовъ, по вызову Св. Сунода, отправился на островъ Уналашку на подвигъ просвѣщенія христіанской вѣрою алеутовъ. Апостольское служеніе его увѣнчалось успѣхомъ: не только алеуты, но и сосѣди ихъ—колоши (обитатели острова Ситха)—приняли святое крещеніе. Въ 1839-мъ году просвѣтитель ихъ подалъ въ Петербургѣ просьбу въ Св. Сунодъ о разрѣшеніи напечатать переведенныя имъ на алеутскій языкъ священныя книги; въ 1840-мъ году онъ постригся въ монахи и принялъ санъ архимандрита, 15-го декабря того-же года, по желанію императора Николая Павловича, былъ посвященъ во епископы новооткрытой алеутской епархіи, въ 1850-мъ былъ возведенъ въ санъ архіепископа якутскаго, послѣ чего перевелъ Св. Писаніе на якутскій языкъ. Въ 1857-мъ г. архіепископъ Иннокентій былъ вызванъ въ столицу для присутствованія въ Св. Сунодѣ; затѣмъ, вернувшись въ Сибирь, онъ продолжалъ свой архипастырскій подвигъ на Амурѣ (въ 1862-мъ году переселился въ г. Благовѣщенскъ). 1867-й годъ, годъ кончины митрополита Филарета, ознаменовался для апостола алеутовъ, колошей и якутовъ назначеніемъ его митрополитомъ московскимъ. Пробывъ двѣнадцать лѣтъ въ этомъ санѣ, престарѣлый іерархъ скончался 31-го марта 1879 года, оставивъ по себѣ неизгладимую вѣками память въ лѣтописяхъ Православной Церкви и всюду, гдѣ пришлось ему трудиться на благо послѣдней.

народамъ родственны приблизительно одни и тѣ-же древнія сказанія о міросозиданіи. „Да скажи ми: що дрьжитъ землю?“—задается вопросъ въ этой рукописи. „Вода висока!“—слѣдуетъ за нимъ отвѣтъ. „Да що дрьжитъ воду?“—„Камень плосень вельми!“—„Да що дрьжитъ камень?“—„Камень дрьжитъ 4 китове златы!“—„Да що дрьжитъ китове златы?“—„Рѣка огньнная!“—„Да що дрьжитъ того огня?“— „Други огнь, еже есть пожечь, того огня 2 части!“—„Да що дрьжитъ того огня?“—„Дубь желѣзны, еже есть прьвопосаждень, отвъсего же кореніе на силе божіей стоить!“ И дубъ, и огненная рѣка, и камень,—все это является древнѣйшимъ олицетвореніемъ громоносныхъ тучъ небесныхъ.

Сохранившіеся памятники отреченной народной письменности отводятъ не мало мѣста особо важному въ глазахъ пытливаго русскаго народа вопросу о томъ: на чемъ держится Мать-Сыра-Земля. Въ „Бесѣдѣ трехъ святителей“ говорится, напримѣръ, что земля плыветъ на волнахъ необъятно-великаго моря и основана на трехъ большихъ да на тридцати малыхъ китахъ. Малые киты прикрываютъ „тридцать оконецъ морскихъ“. Вокругъ всего моря великаго — „желѣзное столпіе“ поставлено. „Емлютъ тѣ киты десятую часть райскаго благоуханія, и отъ того сыти бываютъ“... По иному, занесенному въ „Соловецкій сборникъ“, разносказу этой „Бесѣды“: „въ огненномъ морѣ живетъ великорыбіе—огнеродный китъ—змѣй Елеафамъ, на коемъ земля основана. Изъ устъ его исходятъ громы пламеннаго огня, яко стрѣлено дѣло; изъ ноздрей его исходитъ духъ, яко вѣтръ бурный, воздымающій огнь геенскій“... Когда „восколеблется китъ-змѣй“, тогда и настанетъ свѣтопреставленіе... Всемірный потопъ, по старинному сказанію о Меѳодіѣ Патарскомъ [4]), произошелъ отъ того, что повелѣлъ Господь отойти тридцати малымъ китамъ отъ своихъ мѣстъ, и—„пойде вода въ си оконцы на землю иже оступиша киты“... Отреченная письменность является, по мнѣнію Аѳанасьева, Буслаева [5]) и другихъ

[4]) Меѳодій Патарскій—епископъ-священномученикъ, пострадавшій за вѣру Христову въ IV-мъ вѣкѣ до Р.Х. (въ 312 г.)—одинъ изъ борцовъ христіанства противъ ересей и языческихъ философовъ III-го вѣка, оставившій цѣлый рядъ сочиненій. Изъ нихъ наиболѣе извѣстны: „О свободѣ воли, противъ валентиніанъ“, „О жизни и дѣятельности разумной“, „О воскресеніи“, „Пиръ десяти дѣвъ“, „Противъ Порфирія“, „О сотворенномъ“. Въ 1877-мъ году вышла въ Петербургѣ книга Ягича, въ переводѣ проф. Е. И. Ловягина—„Св. Меѳодій, епископъ и мученикъ, полное собраніе его сочиненій“.

[5]) Ѳедоръ Ивановичъ Буслаевъ—академикъ, много поработавшій по изслѣдованію древнерусскаго и византійскаго искусствъ, а также древнерусской письменности, родился 13-го апрѣля 1818 года въ гор. Керенскѣ, Пензенской гу-

знатоковъ ея, прямымъ отраженіемъ простонародныхъ изустныхъ сказаній, а отнюдь не этимъ послѣднимъ дала пищу книга. Родственная связь изустныхъ сказаній у всѣхъ, даже и поставленныхъ въ самыя разнородныя условія исторической жизни народовъ, свидѣтельствуетъ о томъ-же, о чемъ говорятъ и научныя изслѣдованія: объ одномъ мѣстѣ ихъ первобытной жизни. Такъ, напримѣръ, преданіе о китахъ, поддерживающихъ землю, существуетъ даже у японцевъ: „Опять ворочается китъ подъ нашей землею!“—говорятъ они, когда—въ недобрый часъ—случается землетрясеніе.

По всѣмъ уголкамъ свѣтлорусскаго простора ходитъ, опираясь на слабѣющую память вымирающихъ пѣвцовъ-сказателей, духовный стихъ, именующійся то „Списками Ерусалимскими“, то „Свиткомъ („Листомъ“) Ерусалимскимъ“, то „Спискомъ ерусалимскаго знаменія“, то „Сказаніемъ („Притчею“) о Свиткѣ“. Вымрутъ сказатели, перелетающіе—что птицы Божіи—изъ конца въ конецъ Земли Русской, но будутъ живы ихъ сказанія, сбереженныя отъ напрасной смерти въ сокровищницахъ собирателей словеснаго богатства народнаго. „Свитокъ Ерусалимскій“, во всѣхъ своихъ разносказахъ-разнопѣвахъ, приходится сродни „Голубиной Книгѣ“. Онъ „упалъ во святомъ градѣ Ирасулимовѣ, въ третимъ году воскресенію Христову, изъ седьмова неба“—въ камнѣ: „камень ни огнянъ, ни стюденъ, ширины объ аршинѣ, тяготы яму несповѣдать никому“... Къ этому камню съѣхались,—гласитъ сказаніе,—цари, патріархи, игумны, священники и всѣ другіе христіане православные. Служились-пѣлись надъ невѣдомымъ камнемъ молебны три дня и три ночи. И распался камень на двѣ половины, и выпалъ изъ камня свитокъ, почитаемый во многихъ мѣстахъ за „посланіе Господа Бога нашего Іисуса Христа“. Въ этомъ посланіи грѣшники и праведники предупреждаются о томъ, что „время Божіе

берніи. Окончивъ курсъ московскаго университета (по словесному факультету), онъ былъ назначенъ преподавателемъ русскаго языка въ одну изъ московскихъ гимназій (въ 1838 г.). Въ „Москвитянинѣ“ за 1842-й годъ появились первыя печатныя строки его, въ 1844-мъ вышла книга „О преподаваніи русскаго языка“. Съ января 1847-го года Ѳ. И. Буслаевъ началъ чтеніе университетскихъ лекцій по русскому языку и словесности. Цѣлый рядъ дальнѣйшихъ печатныхъ трудовъ упрочилъ за нимъ славу знаменитаго русскаго ученаго. Въ 1861-мъ году онъ получилъ степень доктора русской словесности и былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ. Наиболѣе извѣстны и цѣнны изъ трудовъ его: „Опытъ исторической грамматики русскаго языка“, „Историческіе очерки русской народной словесности“, „Историческая христоматія“ и „Народная поэзія“. Въ „Вѣстникѣ Европы“ были напечатаны его интересныя „Воспоминанія“. Скончался Ѳ. И—чъ 31-го іюля 1897-го года.

приближается, слово Божіе скончивается". Въ цѣломъ рядѣ воззваній къ „чадамъ Божіимъ" указуются наказанія за людское нечестіе. Самою тяжкой карою является безплодіе земней кормилицы живущаго, трудящагося и умирающаго на ли, русскаго пахаря.

„Чады вы Мои!
Да не послушаетя Моей заповѣди Господней
И наказанія Моего,—
Сотворю вамъ небу мѣднаю,
Землю желѣзнаю.
Отъ неба мѣднаго росы не воздамъ,
Отъ земли желѣзной плода не дарую,
Поморю васъ гладомъ на землѣ,
Кладецы у васъ пріусохнуть,
Истошницы пріускудѣють.
Ня будеть на землѣ травы,
Ни ва древѣ скоры,
Будеть земля яко вдова..."

Вдовство-сиротство земли тяжелѣй всего для ея дѣтей, позднихъ потомковъ богатыря-крестьянина. Да и какъ-же не быть этой тяготѣ, если въ томъ-же, записанномъ П. И. Якушкинымъ [6]), спискѣ „Свитка Ерусалимскаго" прямо говорится, что отъ нея создано тѣло человѣческое („очи отъ солнца, разумъ отъ Святаго Духа), и что у всѣхъ чадъ Божіихъ:

„Первая мать—Пресвятая Богородица,
Вторая мать—Сыра-Земля..."

Мать-Сыра-Земля представлялась воображенію обожествлявшаго природу славянина-язычника живымъ человѣкоподоб-

[6]) Павелъ Ивановичъ Якушкинъ—извѣстный народовѣдъ и собиратель памятниковъ изустнаго творчества народной Руси, уроженецъ Орловской губерніи (род. въ 1820 г.), сынъ отставного офицера и матери крестьянки. Образованіе онъ получилъ въ орловской гимназіи и московскомъ университетѣ (по математическому факультету). Съ послѣдняго курса онъ „ушелъ въ народъ" — пѣшкомъ, съ котомкой, за плечами, подъ видомъ мелкаго торгаша-офени, для изученія быта сѣвернаго Поволжья. Съ этихъ поръ вся дальнѣйшая, богатая только одними лишеніями, жизнь этого отдавшагося до самозабвенія своему призванію человѣка посвящена народу-пѣвцу, народу-сказателю. Смерть застигла вдохновеннаго народолюбца въ Самарѣ, на больничной койкѣ, восьмого января 1872 г. Народныя пѣсни, собранныя Якушкинымъ, печатались въ „Лѣтописяхъ русской литературы и древности" сборникѣ „Утро", „Отечественныхъ Запискахъ". Отдѣльныя изданія ихъ появились въ 1860 мъ („Русск. пѣсни, собран. П. И. Якушкинымъ") и 1865 мъ („Народныя пѣсни изъ собранія П. Якушкина") годахъ. Имъ былъ напечатанъ цѣлый рядъ любопытныхъ „Путевыхъ писемъ" и разсказовъ („Великъ Богъ земли русской", „Прежніе рекруты", „Небывальщина" и др.). Собраніе сочиненіе его издано въ началѣ 70-хъ годовъ В. П. Михневичемъ.

нымъ существомъ. Травы, цвѣты, кустарники и деревья, поднимавшіяся на ея могучемъ тѣлѣ, казались ему пышными волосами; каменныя скалы принималъ онъ за кости; цѣпкіе корни деревьевъ замѣняли жилы; кровью земли была сочившаяся изъ ея нѣдръ вода. „Земля сотворена, яко человѣкъ“,—повторяется объ этомъ, въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, въ одномъ изъ позднѣйшихъ лѣтописныхъ памятниковъ: „каменіе яко тѣло имать, вмѣсто костей кореніе имать, вмѣсто жилъ древеса и травы, вмѣсто власовъ быліе, вмѣсто крови—воды“... Рождавшая всѣ плоды земные богиня плодородія испытывала, по народному слову, не одно счастливое чувство материнства. Мучимая жаждою—она пила струившуюся съ разверзавшихся надъ ея лономъ небесъ дождевую воду, содрогалась отъ испуга при землетрясеніяхъ, чуткимъ сномъ засыпала при наступленіи зимней стужи, прикрываясь отъ нея лебяжьимъ покровомъ снѣговъ; вмѣстѣ съ приходомъ весны, съ первымъ пригрѣвомъ зачуявшаго весну солнышка, пробуждалась она—могучая—къ новой плодотворящей жизни, на радость всему живому міру, воскресающему отъ своихъ зимнихъ страховъ при первомъ весеннемъ вздохѣ земли. Ходитъ селами-деревнями и въ наши дни цвѣтистая-красная молва о томъ, что и теперь есть чуткіе къ вѣщимъ голосамъ природы, достойные ея откровеній люди, слышащіе эти чудодѣйные вздохи, съ каждымъ изъ которыхъ врывается въ жаждущую тепла и свѣта жизнь вселенной могучая волна творчества.

Противъ благоговѣйнаго почитанія Матери-Сырой-Земли, сохранившагося и до нашихъ дней въ видѣ яркаго пережитка древнеязыческаго ея обожествленія, возставали еще въ XV—XVI столѣтіяхъ строгіе поборники буквы завѣтовъ Православія, громя въ церковныхъ стѣнахъ народное суевѣріе. Но ни грозныя обличенія, ни время—со всей его безпощадностью—не искоренили этого преданія далекихъ дней, затонувшихъ во мракѣ вѣковъ, отошедшихъ въ бездонныя глубины прошлаго-стародавняго. Кто не почитаетъ земли-кормилицы, тому она, по словамъ народа-пахаря, не дастъ хлѣба—не то что досыта, а и впроголодь. Кто сыновнимъ поклономъ очестливымъ не поклонится Матери-Сырой-Землѣ, выходя впервые по веснѣ въ зачернѣвшееся проталинами поле,—на гробъ того она наляжетъ не пухомъ легкимъ, а тяжелымъ камнемъ. Кто не захватитъ съ собою въ чужедальній путь горсть родной земли,—тому никогда больше не увидѣть родины. Больные, мучимые „лихоманками“—лихими сестрами, выходятъ въ поле чистое, бьютъ поклоны на всѣ четыре стороны свѣта бѣлаго, причитаючи: „Прости, сторона, Мать-Сыра-Земля!“ Болящіе

„порчею“ падаютъ наземь на перекресткахъ дорогъ, прося Мать-Сыру-Землю снять напущенную лихимъ человѣкомъ бо́лѣсть. „Чѣмъ ушибся, тѣмъ и лѣчись!“—говоритъ народная Русь. И вотъ—совѣтуютъ знающіе люди старые выносить тѣхъ, кто ушибся-разбился, на то самое мѣсто, гдѣ приключилась такая бѣда, и молить землю о прощеніи. „Нивка, нивка! Отдай мою силку! Я тебя жала, силу наземь роняла!“—выкликаютъ во многихъ мѣстахъ поволжской Руси жницы-бабы, катаясь по землѣ, вполнѣ увѣренныя, что, припавъ къ ней, вернутъ все пролитое трудовымъ потомъ засилье. Земля и сама по себѣ почитается въ народѣ цѣлебнымъ средствомъ: ею, смоченною въ слюнѣ,—знахари заживляютъ раны, останавливаютъ кровь, а также прикладываютъ ее къ больной головѣ. „Какъ здорова земля,—говорится при этомъ,—такъ бы и моя голова была здорова!“ и т. д. „Мать-Сыра-Земля! Уйми ты всяку гадину нечистую отъ приворота и лихова дѣла!“—произносится кое-гдѣ еще и теперь при первомъ выгонѣ скота на весенній подножный кормъ. Встарину при этомъ выливалась наземь кубышка масла — какъ-бы для умилостивленія земли этой жертвою. „Мать-Сыра-Земля! Утоли ты всѣ вѣтры полуденные со напастью, уйми пески сыпучіе со мятелью!“—продолжался послѣ этого памятуемый мѣстами и теперь благоговѣйный причетъ-заговоръ

Было время на Руси, когда при тяжбахъ о черезполосныхъ владѣніяхъ—вмѣсто нынѣшней присяги—въ обычаѣ было ходить по межѣ съ кускомъ вырѣзаннаго на спорномъ полѣ дерна на головѣ. Это было равносильно лучшему доказательству законныхъ правъ тяжущагося. Еще въ древнеславянскомъ переводѣ „Слова Григорія Богослова“ [7]) — переводѣ, сдѣланномъ въ XI-мъ столѣтіи—встрѣчается такая самовольная вставка переводчика: „Овъ же дьрьнъ въскроущь на главѣ покладая присягу творить“... Въ писцовыхъ книгахъ Сольвычегодскаго монастыря значится: „И въ томъ имъ данъ судъ, и съ суда учинена вѣра, и отвѣтчикъ Окиѳенко далъ истцу Олешкѣ на душу. И Олешка, положа земли себѣ на

[7]) Св. Григорій Богословъ, одинъ изъ отцовъ Церкви, родился въ 328-мъ году въ Каппадокіи, близъ Назіанза. Въ молодости своей онъ обучался свѣтскимъ наукамъ въ Кесаріи Каппадокійской, Кесаріи Палестинской, Александріи и Аѳинахъ, гдѣ жилъ вмѣстѣ со св. Василіемъ Великимъ. По возвращеніи на родину, онъ принялъ святое крещеніе и удалился въ пустыню. Въ 379-мъ году былъ онъ вызванъ, будучи уже пресвитеромъ, въ Константинополь для укрѣпленія гонимаго аріанами Православія. Императоръ Ѳеодосій назначилъ его епископомъ столицы. Святитель скончался въ 390-мъ году на своей родинѣ. Сочиненія его состоятъ изъ 243 писемъ, 507 нѣснопѣній и 45 рѣчей. Всѣ они переведены на русскій языкъ.

голову, отвелъ той пожнѣ межу"... Много можно было-бы найти подобныхъ свидѣтельствъ о земляной присягѣ и въ другихъ историческихъ памятникахъ древней Руси. Въ XVI-мъ вѣкѣ эта присяга была замѣнена хожденіемъ по спорной межѣ съ иконою Богоматери на головѣ.

Клятва надъ землею сохранилась въ народѣ и до сихъ поръ по захолустнымъ деревнямъ, лежащимъ всторонѣ отъ городовъ. „Пусть прикроетъ меня Мать-Сыра-Земля навѣки!"—произноситъ клянущійся, правой рукою осѣняясь крестнымъ знаменіемъ, а въ лѣвой держа комъ земли. Братающіеся на жизнь и на смерть, давая обоюдныя клятвы въ неразрывной дружбѣ, иногда не только мѣняются крестами-тѣльниками, а и вручаютъ другъ другу по горсти земли. Эта послѣдняя хранится ими потомъ зашитою въ ладонку и носится на шеѣ,—чему придается особое таинственное значеніе. Старые, истово придерживающіеся дѣдовскихъ завѣтовъ, люди увѣряютъ, что, если собирать на семи утреннихъ зорькахъ по горсти земли съ семи могилъ завѣдомо добрыхъ покойниковъ,—то эта земля будетъ спасать собравшаго ее отъ всякихъ бѣдъ-напастей. Другіе знающіе всю подноготную старики даютъ совѣтъ беречь съ этой цѣлью на божницѣ, за образомъ Всѣхъ Скорбящихъ Радости, щепоть земли, взятую изъ-подъ сохи на первой весенней бороздѣ. Въ стародавніе годы находились и такіе вѣдуны-знахари, что умѣли гадать по горсти земли, взятой изъ-подъ лѣвой ноги желающаго узнать свою судьбу. „Вынуть слѣдъ" у человѣка считается повсемѣстно еще и теперь самымъ недобрымъ умысломъ. Нашептать, умѣючи, надъ этимъ вынутымъ слѣдомъ—значитъ, по старинному повѣрью, связать волю того, чей слѣдъ, и по рукамъ, и по ногамъ. Суевѣрная деревня боится этого пуще огня. „Матушка-кормилица, сыра-земля родимая!"—отчитывается она отъ такой напасти: „Укрой меня, раба Божія (имя рекъ), отъ призора лютаго, отъ всякаго лиха нечаяннаго. Защити меня отъ глаза недобраго, отъ языка злобнаго, отъ навѣта бѣсовскаго. Слово мое крѣпко, какъ желѣзо. Семью печатями оно къ тебѣ, кормилица Мать-Сыра-Земля, припечатано—на многіе дни, на долгіе годы, на всее-ли на жизнь вѣковѣчную!.."

Какъ и въ сѣдыя, затерявшіяся въ позабытомъ быломъ, времена, готова припасть къ могучей земной груди народная Русь съ голосистымъ причетомъ въ-родѣ древняго:

„Гой, земля еси сырая,
Земля матерая,
Матерь вамъ еси родная!
Всѣхъ еси насъ породила,

Воспоила, воскормила
И угодьемъ надѣлила;
Ради насъ, своихъ дѣтей,
Зелій еси народила
И злакъ всякой напоила"...

Мать-Сыра-Земля роститъ-питаетъ хлѣбъ насущный на благо народное; унимаетъ она „вѣтры полунощные со тучами", удерживаетъ „морозы со мятелями", „поглощаетъ нечистыя силы въ бездны кипучія". До скончанія вѣковъ останется она все тою-же матерью для живущаго на ней и ею народа, своимъ внукамъ - правнукамъ заповѣдывающаго одну великую нерушимую заповѣдь: о неизмѣнномъ и неуклонномъ сыновнемъ почитаніи ея.

И крѣпко держится народная Русь этой священной для нея заповѣди, глубоко запавшей въ ея стихійное сердце, открытое всему доброму и свѣтлому—несмотря на свою кажущуюся темноту. Свѣтитъ въ его потёмкахъ Тихій Свѣтъ беззавѣтной любви и „неумытной" правды, которыхъ не укупить ни за какія сокровища.

Чѣмъ ближе къ землѣ-кормилицѣ, чѣмъ тѣснѣе жмется къ ея груди сынъ деревни и полей,—тѣмъ ярче расцвѣтаютъ въ его жизни эти неоцѣнимые цвѣты сердца. Благословеніе Божіе осѣняетъ незримыми крылами трудовой подвигъ земледѣльца—по преданію, идущему изъ далёкой дали вѣковъ къ рубежу нашихъ дней. И не отходитъ это благословеніе,—гласитъ родная старина стародавняя, — отъ вѣрныхъ завѣтамъ праведнаго труда ни на шагъ во всей ихъ жизни.

О какомъ бы сказаніи ни вспомнить, какое бы слово крылатое о кормилицѣ народа-пахаря ни услышать, на какой бы связанный съ Матерью-Сырой-Землею обычай сѣдой старины ни натолкнуться,—всѣ они могутъ служить подтвержденіемъ выраженному народомъ-сказателемъ въ яркихъ своей образностью словахъ записаннаго П. В. Кирѣевскимъ [8]) стариннаго стиха духовнаго:

---

[8]) Петръ Васильевичъ Кирѣевскій, извѣстный собиратель русскихъ простонародныхъ пѣсенъ и духовныхъ стиховъ, родился 11-го февраля 1808 года въ Москвѣ, происходилъ изъ старинной тульской дворянской семьи и приходится роднымъ братомъ Ивану Вас. Кирѣевскому, одному изъ основателей славянофильства. Образованіе онъ получилъ домашнее, а затѣмъ слушалъ частныя лекціи профессоровъ московскаго университета. Съ первымъ печатнымъ словомъ П. В-чъ появился на страницахъ погодинскаго „Москвитянина", въ 1845-мъ году. Писалъ онъ очень немного, но заслуги его передъ рус-

„Человѣкъ на земли живетъ—
Какъ трава растетъ;
Да и умъ человѣчь—
Аки цвѣтъ цвѣтетъ“...

Какъ травѣ-муравѣ не вырости безъ горсти земли, какъ не красоваться цвѣтку на камнѣ—такъ и русскому народу не крестьянствовать на бѣломъ свѣтѣ безъ родимой земли-кормилицы. Какъ безъ пахаря-хозяина и добрая земля горькая сирота,—такъ и онъ безъ земли—что безъ живой души въ своемъ богатырскомъ тѣлѣ.

скою научной литературою громадны. Съ 1830-го года онъ подготовлялъ печатаніе своего собранія пѣсенъ, но этому замѣчательному труду суждено было появиться лишь только послѣ смерти своего неутомимаго собирателя, умершаго 25-го октября 1856-го года.

II.

Хлѣбъ насущный.

„Хлѣбъ—даръ Божій“,—говоритъ русскій народъ и относится съ вполнѣ понятнымъ благоговѣніемъ къ этому спасающему его отъ голодной смерти дару, составляющему почти единственное его богатство. Немалымъ грѣхомъ считается въ народной Руси уронить на полъ и не поднять хотя-бы одну крошку хлѣба; еще большій—растоптать эту крошку ногами. Благоговѣйное чувство удваивается въ этомъ случаѣ и сознаніемъ того тяжкаго, страднаго труда, какимъ добываетъ народъ-пахарь каждую малую крошку, а также и воспоминаніями о тѣхъ тревогахъ-заботахъ, съ которыми неразлучно ожиданіе урожая.

Вѣковѣчна дума крестьянина о хлѣбѣ. Думами объ урожаѣ окружены всѣ наши сельскіе праздники. Въ большинствѣ простонародныхъ примѣтъ, повѣрій, обычаевъ и сказаній слышится явственный отголосокъ этихъ чуткихъ заповѣдныхъ думъ, пускающихъ ростки еще до засѣва зерна, колосящихся вмѣстѣ съ первыми выбѣгающими на свѣтъ Божій изъ сердца Матери-Сырой-Земли всходами, зацвѣтающихъ—при взглядѣ на первый выметнувшійся колосъ. Нѣтъ конца этимъ думкамъ-думушкамъ: что ни день—ростутъ онѣ, гонятъ сонъ отъ усталыхъ очей пахаря, приводятъ къ его жесткому изголовью тревогу за тревогою. Этими думами засѣяна вся жизнь мужика-деревеньщины—что твое поле чистое. Зоветъ народная пѣсня вернуться на бѣлый свѣтъ весну,—молитъ-заклинаетъ ее, чтобы пришла она—красная—„со свѣтлою радостью, съ великою милостью: съ колосомъ тяжелымъ, съ корнемъ глубокимъ, съ хлѣбами обильными“. Идетъ пахарь, а дума—впе-

реди него, дорогу хлѣборобу торитъ; за одной думкою другія перебѣгаютъ тореный путь, самодѣльными лаптями проложенный, трудовымъ потомъ политый. Глянетъ пахарь на ясное небо,—въ тотъ-же мигъ закопошится у него на-сердцѣ думушка: пошлетъ-ли Господь дождичка во-время. Дождь—дождю рознь: одинъ хлѣбъ роститъ, а другой хлѣбогноемъ прозывается. Кропитъ дождемъ небо, поитъ—тороватое—жаждущую землю-кормилицу, а у мужика—опять думка; пригрѣетъ-ли его полосыньку красное солнышко въ пору-благовременье. Набѣгутъ облака, сгустятся-зачернѣютъ тучи, повиснутъ надъ хлѣбородной нивою,—смотритъ честной деревенскій людъ, смотритъ—крестится, Бога молитъ: чтобы не разразились тучи градомъ, не выбило-бы хлѣбушка богоданнаго на корню. На землѣ пахарь живетъ, землею кормится, съ ея дыханіемъ каждый вздохъ его сливается. Сколько безысходнаго горя горькаго слышится, напримѣръ, въ словахъ такой—относимой нѣкоторыми собирателями къ разряду „плясовыхъ"—пѣсни бобыля-бездомника, оторваннаго мачехой-жизнью отъ земли:

„Полоса-ль моя, полосынька,
Полоса-ль моя не пахана,
Не пахана, не скорожена.
Заросла-ль моя полосынька
Частымъ ельничкомъ,
Ельничкомъ, березничкомъ,
Молодымъ горькимъ осинничкомъ."

Думаетъ-гадаетъ о хлѣбѣ-урожаѣ народная Русь и весной теплою, и знойнымъ лѣтомъ, и осенью ненастною; нѣтъ ей, кормящейся трудами рукъ своихъ, покою отъ думы и въ зимнюю пору студеную,—когда дремлетъ зябкое зерно въ закованной морозомъ землѣ, принакрытой парчой снѣговъ серебротканною. На-роду написано мужику—и умереть съ этою-же недремлющей думою въ сердцѣ.

Въ стародавніе годы, не озаренные свѣтомъ вѣры Христовой, хлѣбъ являлся для русскаго народа, да и вообще для всѣхъ славянъ-земледѣльцевъ, даромъ обожествлявшихся Земли и Неба. Эта могущественная чета возлагала на себя заботу о зарожденіи хлѣба насущнаго для народа-землепашца, изъ-года-въ-годъ обновляясь въ своемъ плодоносящемъ сліяніи другъ съ другомъ. Обнимая Землю со всѣхъ сторонъ, Небо орошаетъ ее животворнымъ дождемъ, пригрѣваетъ ее лучами солнечными: и отвѣчаетъ Мать Сыра-Земля на эти ласки всякими плодами земными. Что ни новая весна—то и но-

вое проявленіе безсмертной любви боговъ-праотцевъ представало пытливому взору пращуровъ народа-пахаря.

Позднѣйшія времена славянскаго язычества перенесли понятіе о небѣ (Сварогѣ) на Святовида (Свѣтовита), отождествленнаго съ первымъ, но принявшаго въ суевѣрномъ народномъ представленіи болѣе опредѣленный обликъ. По свидѣтельству лѣтописца, въ древней Арконѣ [9]) существовалъ главный храмъ этого бога, куда стекались на поклоненіе паломники изо всѣхъ земель славянскихъ. Здѣсь стоялъ идолъ Святовида; и былъ этотъ идолъ выше роста человѣческаго, было у него четыре бородатыхъ головы, обращенныхъ въ четыре стороны свѣта бѣлаго. Въ правой рукѣ у него находился турій рогъ съ виномъ. О-бокъ лежало освященное сѣдло Святовидово, у пояса висѣлъ его мечъ-кладенецъ. При храмѣ содержался посвященный богу боговъ славянскихъ бѣлый конь. Къ Святовиду обращались жрецы съ молитвами о плодородіи; по его турьему рогу было въ обычаѣ гадать объ урожаѣ. Налитое въ рогъ вино являлось олицетвореніемъ плодотворнаго дождя. Сохранились на Руси преданія и о другихъ олицетворителяхъ земного плодородія—о Даждьбогѣ милостивомъ да ласковомъ, о Перунѣ—объединявшемъ въ себѣ милость съ грозной силою, бога-плодоносителя—съ богомъ-громовникомъ. Позднѣе передалъ пахарь-язычникъ первое свойство повелителя громовъ небесныхъ Свѣтлояру (онъ-же - Ярило и Яръ-Хмѣль).

Озарились тонувшія во тьмѣ дебри языческой Руси лучезарной зарею христіанства; шли годы, изъ годовъ слагались вѣка. И вотъ—потускнѣли облики древнихъ боговъ; перенесло живучее народное суевѣріе пріурочивавшіяся имъ свойства на святыхъ угодниковъ Божіихъ. Зазвучали въ крылатомъ народномъ словѣ нѣкогда чуждыя русскому сердцу, но съ теченіемъ времени сроднившіяся съ нимъ, какъ-бы приросшія къ нему, имена новыхъ, болѣе надежныхъ, заступниковъ народа-земледѣльца, отовсюду охваченнаго грозными объятіями природы: Илья-пророкъ, Никола-милостивый, Петръ и Павелъ, Власій и другія. Исчезла съ теченіемъ времени, изгладилась въ народѣ даже самая память о древнеязыческихъ, вызванныхъ изъ окружающей природы, богахъ.

Не самъ русскій народъ дошелъ до искусства пахать-засѣвать землю: научили его этому,—если вѣрить его старымъ

[9]) Аркона—древнеславянскій городъ жрецовъ на островѣ Рюгенѣ на Балтійскомъ морѣ. По свидѣтельству исторіи, датскій король Вальдемаръ I взялъ крѣпость Аркону 15-го іюня 1168 года, сжегъ храмъ Святовида вмѣстѣ съ его идоломъ и увезъ всѣ сокровища этой языческой святыни въ Данію.

сказаніямъ.—небесные покровители. „Ей, въ полѣ, полѣ, въ чистейкомъ полѣ."—поется, напримѣръ, въ одной подслушанной изслѣдователями-собирателями словесной старины малороссійской пѣснѣ: „Тамъ-же ми й оре золотый плужокъ, а за тимъ плужкомъ ходитъ самъ Господь: ему погоняетъ та святый Петро; Матенка Божя сѣмена носитъ, насѣнечько носитъ, пана Бога проситъ:—Зароди, Божейку, яру пшеничейку, яру пшеничейку и ярейке житце! Буде тамъ стебевце саме тростове: будутъ колосойки, якъ былинойки: будутъ копойки, якъ звѣздойки: будутъ стогойки, якъ горойки: сберутся возойки, якъ чорны хмаройки!.."

Десятки, сотни сказаній ходятъ по Святой Руси, ходятъ, клюками о сырую грудь земли опираются, походя—о божественныхъ пахаряхъ рѣчь ведутъ, цвѣтами воображенія пріукрашенную. Падаютъ эти яркіе, не блекнущіе отъ дыханія времени цвѣты, осыпаются лепестки ихъ на тучную ниву народную,—русскому сердцу о стародавней старинѣ живую вѣсть подаютъ.

Отвела старина-матушка „Домовыму" избы-дворы крестьянскія: схоронила она отъ смерти неминучей во темномъ лѣсу во дремучемъ „Лѣсовика", лѣсного хозяина: пустила, сѣдая, по лугамъ зеленымъ гулять „Лугового"; живетъ, по суевѣрному воображенію народа, до сихъ поръ въ каждой рѣкѣ—„Водяной", со всѣмъ подвластнымъ ему русальимъ народомъ. Что ни шагъ ступитъ мужикъ-простота,—то на вѣщаго духа натолкнется. Живъ для него и въ каждомъ полѣ древній „Полевикъ" („Полевой"): величаютъ послѣдняго во многихъ мѣстахъ, кромѣ того, и „житнымъ дѣдомъ". Идетъ пахарь полемъ, на зеленые всходы не налюбуется... „Уроди, Боже, всякаго жита по полному закрому на весь крѣщоный міръ!"—молитвенно шепчетъ онъ; а самъ озирается: не видать-ли гдѣ у межи полевого „хозяина". Представленіе объ этомъ порожденіи „нѣжити" родственно не только у всѣхъ славянскихъ, но и у многихъ другихъ сосѣднихъ, народовъ. Полевикъ—житный дѣдъ,—по народному повѣрью, живетъ въ полѣ только весной да лѣтомъ во время всхода, роста и созрѣванія хлѣбовъ. Съ началомъ жнитва наступаетъ и для него нелегкое время: приходится старому бѣгать отъ остраго серпа да прятаться въ недожатыхъ колосистыхъ волнахъ. Въ послѣднемъ дожатомъ снопѣ—послѣдній и пріютъ его. Потому-то на этотъ снопъ и смотрятъ придерживающіеся старыхъ розсказней люди съ особымъ почетомъ: или наряжаютъ его да съ пѣснями несутъ въ деревню, или—благословясь—переносятъ въ житницу, гдѣ хранятъ до новаго сѣва, чтобы, засѣявъ вы-

трясенныя изъ него зерна, умилостивить покровителя полей, давъ ему возможность возродиться въ новыхъ всходахъ. Не умилостивишь, не постараешься задобрить Полевика,—не мало онъ можетъ „напроказить“ въ полѣ: и всякую истребляющую хлѣбъ гадину напуститъ, и—на лучшій конецъ—весь хлѣбъ перепутаетъ. Задобренный-же, онъ,—говорятъ упрямые хранители отжившихъ свое время повѣрій,—станетъ-де всячески оберегать ниву зоркимъ хозяйскимъ глазомъ.

Суевѣрна душа народа-пахаря; но, и при всемъ завѣдомомъ суевѣріи, онъ—добрый сынъ матери-Церкви. Во всякомъ важномъ случаѣ жизни привыкъ обращаться онъ съ горячей, изъ глубины сердца идущею, молитвой къ Богу. А что-же для него можетъ быть важнѣе всего, связаннаго съ думой-заботою о хлѣбѣ. И приступаетъ онъ къ каждому своему новому труду въ полѣ не иначе, какъ съ благословенія Божія. Приходитъ чудодѣйница-весна, пробуждается къ новому плодородію Мать-Сыра-Земля... И вотъ, тянутся отъ храмовъ Божіихъ въ поля по всей Руси великой молебные ходы крестные. „Поднимаются иконы“ народомъ и въ засуху-бездождіе, и въ ненастье хлѣбогнойное. Служатся благодарственные молебны и по окончаніи полевыхъ работъ; приносится въ церковь для освященія всякая „новина“. Дума народа о хлѣбѣ—этомъ чудесномъ дарѣ Божіемъ—съ наибольшей яркостью выразилась въ его окрыленномъ образностью, красномъ своей мѣткостью словѣ, неисчерпаемыя богатства котораго сохранились въ сказаніяхъ, пословицахъ, поговоркахъ и всякихъ присловьяхъ, записанныхъ пытливыми собирателями неоцѣнимаго словеснаго богатства народнаго.

Хлѣбъ въ деревенскомъ обиходѣ—„всему голова“. Впрочемъ,—по словамъ тысячелѣтней простонародной мудрости,—онъ вездѣ хорошъ: и у насъ, и за моремъ. Хлѣбъ—предметъ первой необходимости для каждаго человѣка. Это понятіе выразилось въ цѣломъ рядѣ такихъ поговорокъ, какъ: „Только ангелы съ неба не просятъ хлѣба!“, „Хлѣбъ—батюшка, водица—матушка!“, „Богъ на стѣнѣ, хлѣбъ на столѣ!“, „Дай Богъ покой да хлѣбъ святой!“ и т. д. Любовно величаетъ русская народная пѣсня хлѣбъ насущный, припѣваючи:

„Растворю я квашонку на донышкѣ,
Я покрою квашонку чернымъ соболемъ,
Опояшу квашонку яснымъ золотомъ;
Я поставлю квашонку на столбичкѣ.
Ты взойди, моя квашонка, съ краями ровна,
Съ краями ровна и полнымъ-полна!“

Въ одной свадебной пѣснѣ еще болѣе ласковыми словами ублажается коровай хлѣба: „Свѣти, свѣти, мѣсяцъ, нашему кораваю! Проглянь, проглянь, солнце, нашему кораваю! Вы, добрые люди, посмотрите, вы нашего коровая отвѣдайте, вы, князь съ княгиней, покушайте!“ Другая—такъ и зовется к о р о в а й н о ю: „Коровай катается, коровай валяется, коровай на лопату сѣлъ, коровай на ножки всталъ, коровай гряды досталъ. Ужъ нашъ-то коровай для всей семьи годенъ, для всей семьи—чужой родни: чужому батюшкѣ заѣсть, чужой матушкѣ закушать, молодой княгинѣ нашей утричкомъ прикушать; молодому-то князю нашему сыто-нáсыто наѣсться!“.

Красно́ говоритъ охочая до крылатаго словца деревня о хлѣбѣ-батюшкѣ, послушать любо. „Хлѣбъ за брюхомъ не ходитъ!“—молвитъ народъ, всю жизнь х о д я щ і й за хлѣбомъ и около хлѣба. „Ищи—какъ хлѣба ищутъ“,—прибавляетъ онъ къ этому слову мѣткое присловье, указывая на трудность добыванія хлѣба. „Какъ хочешь зови—только хлѣбомъ корми!“—вылетаетъ изъ народныхъ устъ окрыленный голосомъ голодной нужды прибаутокъ. „И песъ передъ хлѣбомъ смиряется!“,—цѣпляется за него другой, еще болѣе рѣзкій по своей неумытой-неприглаженной правдивости. Но тутъ-же у мужика-хлѣбороба готово про-запасъ и третье—веселенькое—словцо. „Что намъ хлѣбъ—были-бы пироги!“, „Гдѣ хозяинъ прошелъ, тамъ и хлѣбъ уродился!“—приговариваетъ онъ.

Народъ не считаетъ деньги за главнаго двигателя жизни. „Не держи денегъ въ узлу, держи хлѣбъ въ углу!“—говоритъ его устами житейскій опытъ.—„Ѣлъ-бы богачъ деньги, кабы убогій хлѣбомъ не кормилъ!“—дополняетъ онъ высказанную мысль: „И бѣду можно съ хлѣбомъ съѣсть!“, „Не дорогъ виноградъ терскій, дорогъ хлѣбъ деревенскій: немного укусишь, а полонъ ротъ нажуешь!“, „Безъ хлѣба—смерть!“, „Хлѣба ни куска, такъ и въ теремѣ тоска; а хлѣба край, такъ и подъ елью рай!“, „Палата бѣла, а безъ хлѣба—бѣда!“, Хлѣбъ на столъ, и столъ—престолъ; а хлѣба ни куска, и столъ—доска!“, „Безъ хлѣба—не крестьянинъ!“. Неприхотливъ русскій пахарь: „Какъ хлѣбъ да квасъ, такъ и все у насъ!“,—похваляется онъ: „Хлѣбъ да вода—мужицкая ѣда!“, „Хлѣбъ (ржаной)—калачу (пшеничному) дѣдушка!“, „Калачъ пріѣстся, а хлѣбъ—никогда!“, „Покуда есть хлѣбъ да вода—вполбѣды мужику лихая бѣда!“...

Любитъ погуторить честной деревенскій людъ; никогда онъ не прочь—острымъ словомъ перекинуться. А и мѣтко-же бываетъ объ иную пору это словцо мужицкое: скажетъ—какъ пить дастъ, не въ бровь, а въ самый глазъ, попадетъ!.. „Ро-

дись человѣкъ—и краюшка готова!"—гласитъ оно. „Безъ краюшки—не прожить и сѣдой старушкѣ!", „Люди за хлѣбъ—такъ и я не слѣпъ!", „Каковъ ни есть, а хлѣбъ хочетъ ѣсть!", „Уродъ-уродъ, а хлѣбъ въ ротъ несетъ!", „Голодной кумѣ—все хлѣбъ на умѣ!"—словно житомъ ниву засѣваютъ, сорятъ по-людямъ присловьями одни люди добрые. „Не я хлѣбъ ѣмъ, а хлѣбъ—меня ѣстъ!"—пригорюниваются другіе. „Мужикъ на счастье засѣялъ хлѣбца, а уродилась лебеда!"—махаютъ рукой третьи. Но навстрѣчу этому слову идетъ уже и новое, хотя и въ стародавнія времена сложившееся въ народной Руси: „Это что за бѣда, коли во-ржахъ лебеда; а вотъ нѣтъ хуже бѣды—какъ ни ржи, ни лебеды!", „Всѣмъ сытымъ быть—чистаго хлѣба не напастись: проживемъ—не умремъ, коли и съ лебедой пожуемъ!", „Не всѣмъ пирогъ съ начинкой, кому—и хлѣбецъ съ мякинкой!" Охотники до зелена-вина государева отъ словецъ о хлѣбѣ не прочь зачастую перейти и къ присловьямъ о „хлѣбной водицѣ". А чѣмъ не красны хотя-бы такіе прибаутки, напримѣръ, какъ: „Нѣтъ питья лучше воды, коли перегонишь ее на хлѣбѣ!", „Хлѣбомъ мы сыты, хлѣбомъ мы и пьяны!", „Полюби Андревну (соху), такъ и хлѣбомъ брюхо набьешь, и хлѣбеннымъ пойломъ горе зальешь!"

Среди загадокъ русскаго народа встрѣчается не мало говорящихъ о хлѣбѣ. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ, занесенныя собирателями живой старины въ неисчерпаемую сокровищницу великорусскаго языка: „Лежитъ бугоръ между горъ, пришелъ Егоръ, унесъ бугоръ (хлѣбъ въ печи)!", „Рѣжу рѣжу—крови нѣту!", „Что безъ кореньевъ растетъ, безъ костей встаетъ?", „Рѣжутъ меня, вяжутъ меня, бьютъ нещадно, колесуютъ, пройду огонь и воду, конецъ мой—ножъ да зубы!"—говоритъ о себѣ хлѣбъ, питающій своего неустаннаго вѣковѣчнаго работника.

Въ русскомъ народѣ, отъ мала до велика, коренится сознаніе того, что Господь повелѣлъ отъ земли кормиться. Но, по тому-же народному слову, и земля не всякаго человѣка захочетъ кормить: „Богъ не родитъ, и земля не дастъ; Богъ не дастъ, и земля не родитъ!"—говорятъ въ крестьянской Руси. Хотя и сложилось въ ней присловье—„Не земля родитъ, а небо!", но съ гораздо большей увѣренностью повторяетъ деревеньщина-посельщина такія, какъ: „Земля-мать, подаетъ кладь!", „Какова земля, таковъ и хлѣбъ!", „Добрая земля—полная мошна, худая земля—пустая мошна!", „Чего на землю не падетъ, того земля не подыметъ!" и т. д. Сельско-хозяйственный опытъ подсказалъ крестьянину слова: „Добрая земля наземъ разъ путемъ приметъ, да девять лѣтъ помнитъ!",

„Не та земля дорога, гдѣ медвѣдь живетъ, а гдѣ курица скребетъ!“, „На доброй землѣ сѣй яровое раньше, на худой позже!“.

Изо всѣхъ хлѣбовъ ближе, роднѣй изо всѣхъ для русскаго пахаря рожь. Зоветъ онъ „матушкой“, „кормилицею“ величаетъ, именуетъ ее своимъ „богоданнымъ богачествомъ“. Про ржаной черный хлѣбъ у него и своя пѣсенная слава сложена:

„. . . . . .
А эту пѣсню мы хлѣбу поемъ, слава!
Хлѣбу поемъ, хлѣбу честь воздаемъ, слава!
Старымъ людямъ на утѣшеніе, слава!
Добрымъ молодцамъ на услышаніе, слава!“

„Матушка-рожь кормитъ всѣхъ сплошь, а пшеничка—по выбору!“ – говоритъ мужикъ; говоря, простота, приговариваетъ: „Красно поле рожью!“, „Не кланяюсь я богачу, коли свою рожь молочу!“, „И годъ хорошъ, коли уродилъ рожь!..“ По старинной народной примѣтѣ, рожь поспѣваетъ изъ закрома въ закромъ въ такомъ порядкѣ: двѣ недѣли зеленится, двѣ недѣли колосится, двѣ недѣли отцвѣтаетъ, двѣ недѣли наливаетъ, двѣ недѣли подсыхаетъ да двѣ недѣли хозяину поклоны бьетъ, жать себя проситъ: „Торопись,—говоритъ, а то зерно уплыветъ!“ Она-же, матушка, ведетъ къ мужику и такую рѣчь: „Сѣй меня хоть въ золу, да въ пору!“, „Сѣй хоть въ песокъ, да въ свой часокъ!“, „Сѣять-то, сѣй, да на-небо поглядывай, дождичка у Бога моли!“ Если сѣвъ ржи придется во время полуночнаго (сѣвернаго) вѣтра, то—по примѣтѣ—рожь выйдетъ крѣпче и крупнѣе зерномъ. Тороватый на примѣты деревенскій людъ говоритъ, что, если при посѣвѣ ржи пойдетъ дождикъ мелкій, какъ бисеръ, то это Богъ объ урожаѣ вѣсть подаетъ; а если польетъ ливень, то лучше и не продолжать сѣва, а скорѣе поворачивать оглобли домой,—не то быть худымъ всходамъ. Сложились и у бѣдняковъ-бобылей свои бобыльскія слова про рожь-кормилицу. „Хороша рожь уродилась, да другимъ пригодилась!“,—говоритъ ихъ устами народная Русь: „Ходи да любуйся на сосѣднину рожь!“, „Пойду туда, гдѣ про меня рожь молотятъ!“, „У кого не засѣто, тому и тужить объ урожаѣ горя нѣту!“... Привыкшіе къ неурожайнымъ годамъ пахари обмолвились про свое житье бытье сѣрое такимъ краснымъ словцомъ: „У насъ народъ все богатѣетъ: земли отъ сѣмянъ остается!“, „Не сѣй, не тужи, знай—котомку за спиной держи: Богъ подастъ, какъ по-міру нужда погонитъ!“ Объ озимой ржи ходитъ въ народѣ старая

загадка: „Загану я загадку, закину за грядку: въ годъ пущу, а въ другой выпущу!“

„Ржаница“ идетъ, по народному слову, „мужику на сыть“, а пшеница—„на верхосытку“. Пшеница—„ржи богатая сестрица“, она не кормитъ, а прикармливаетъ. „Однимъ пшеничнымъ пирогомъ мужикъ сытъ не будетъ, коли ржаного хлѣба не добудетъ!“, „Пшеничка—привередница: и кормитъ по выбору!“, „Пшеница—невѣста разборчивая, не ко всякому мужику въ домъ пойдетъ!“, „Въ полѣ пшеница годомъ родится, а матушка-рожь—изъ-году-въ-годъ!“...

Пѣсни о пшеницѣ—въ большинствѣ случаевъ — дѣвичьи пѣсни. Всѣ онѣ по своему содержанію сбиваются на одну и ту-же.

„Я у матушки на пшеничникахъ,
Я у батюшки на житничкахъ росла,
Что бѣла росла, красна выросла...“ и т. д.

„Красные дни—сѣй пшеницу!“—даетъ совѣтъ присмотрѣвшійся за долгіе вѣка полевой страды къ прихотямъ природы деревенскій людъ. „Сѣй пшеницу, когда зацвѣтетъ черемуха!“,—приговариваетъ совѣтчикъ: „Пшеничный сѣвъ—полдень!“, „Закрасуется нива пшеничнымъ руномъ, какъ посѣешь ведренымъ днемъ!“... Сѣется на Руси пшеница въ средней (мало) и въ южной—больше—полосахъ; вездѣ предпочитается яровой (весенній) сѣвъ, и только въ немногихъ, не боящихся мороза-стужи, мѣстахъ высѣваютъ ее на озимь. Въ послѣднемъ случаѣ зовется пшеница „зяблою“ и „ледянкою“. Есть разныя пшеницы: русская („сѣрая“), египетская („саидка“), красная, „черноколоска-черногурка“, „бѣлотурка“, „кубанка“ и другія. Но,—говоритъ народъ: „Какъ пшеницу ни зови, а все рожь-матушка поменитѣе будетъ,—даромъ, что всего одно у нея, у кормилицы, имячко!“

Полба съ ячменемъ слывутъ въ народной Руси за пшеницыну родню: „Полба—пшеницѣ меньшая сестрица, ячмень усатый—полбинъ братъ“. По слову крестьянской мудрости: „Полба изъ бѣды мужика не выручитъ, а только ѣсть пироги выучитъ!“, „Полба уродилась—полбѣды долой, ржи невпроѣдъ—бѣды и не было!“ Ячмень въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ зовется еще „житаремъ“. Это—самый сѣверный хлѣбъ, менѣе всѣхъ другихъ страшащійся лихихъ угрозъ старика Мороза со всѣми его сыновьями—Морозовичами. Примѣтливые люди торопятся сѣять ячмень въ тѣ дни, когда цвѣтетъ калина-ягода. „Ячмень на свѣжемъ навозѣ сѣй въ полнолунье!“—приговариваетъ деревенскій людъ. Когда ячмень колосит-

ся, соловей замолкаетъ, — гласитъ примѣта. Плохъ тотъ ячмень родится, который посѣянъ при западномъ и югозападномъ вѣтрѣ. „Пріѣлся, какъ сухой ячмень беззубой кобылѣ!“ — вылетѣла на свѣтлорусскій широкій просторъ смѣшливая народная поговорка объ этомъ подспорьѣ крестьянскаго хлѣба насущнаго. „Спора ячменная каша, спорѣй того ячные (ячменные) блины!“ — говорятъ на студеномъ сѣверѣ, но говорятъ только потому, что въ тѣхъ мѣстахъ греча-дикуша совсѣмъ не родится.

„Не всѣ мужики — гречкосѣи!“ — можно услышать изъ устъ словоохотливой деревни. — „Не всѣ гречкосѣи, да всѣмъ въ охоту грешневая кашка!“... Суровый, закаленный въ горнилѣ непокрытой нужды-невзгоды, крестьянскій опытъ оговариваетъ эту поговорку: „Сѣй рожь, а греча — не пе́ча (не забота)!“, „Былъ-бы хлѣбъ, а каша будетъ!“, „Безъ каши не помрешь, а безъ хлѣба не проживешь!“ Но охочіе до каши хлѣбоѣды не умолкаютъ. „Каша — мать наша!“ говорятъ они: „Горе наше — грешневая каша: ѣсть не хочется, покинуть не можется!“ (или „ѣсть не можется, отстать жаль!“). „Грешная каша — матушка наша, а хлѣбецъ ржаной — кормилецъ родной!“, „Сладка грешневая каша — что твой липецъ-медъ!“, „Безъ грешневой каши мужику ни въ чемъ спорины нѣтъ!“

Не всякая земля — на гречиху спора... „Не равна гречиха, не равна и земля!“ — говоритъ народное слово. „Не вѣрь гречихѣ на цвѣту, вѣрь въ закрому!“, — приговариваетъ оно, указывая на то, что греча — самый зябкій хлѣбъ, почему и сѣется позднѣе всѣхъ другихъ. Ненадеженъ этотъ хлѣбъ: „Холь гречиху до посѣва да сохни до покоса!“. По сельской примѣтѣ: „Гречиха плоха — овсу поростъ!“, „Гречиху сѣй, когда рожь хороша!“ (по иному разносказу: „когда трава хороша“). „Сѣй гречиху или за недѣлю до Акулинъ (смотря по мѣстности и погодѣ), или спустя недѣлю послѣ Акулинъ!“ (день св. Акулины-„гречишницы“ — 13-е іюня), — приговариваетъ умудренная хозяйственнымъ опытомъ деревня: „Не ровна гречиха, не ровна и земля: въ иную и возъ бросишь, да послѣ зерна не сберешь!“, „Осударыня-гречиха ходитъ боярыней, а какъ хватитъ морозу, веди на калѣчій дворъ!“

Встарину бывалъ у благочестивыхъ хозяевъ на Акулину-гречишницу кормъ нищей братіи: варилась „мірская каша“ — для всѣхъ живущихъ Христовымъ именемъ на крещономъ міру. Благодарили убогіе гости хлѣбосольныхъ хозяевъ особымъ причетомъ. „Спасибо вамъ, хозяинъ съ хозяюшкой, со малыми дѣтками и со всѣмъ честнымъ родомъ — на хлѣбѣ, на соли, на богатой кашѣ!“ — причитали они: „Уроди, Боже, вамъ,

православнымъ, гречи безъ счету! Безъ хлѣба, да и безъ каши—ни во что и труды наши!"

Гречневая каша съ незапамятной поры стародавней слыветъ за любимую ѣду русскаго народа: не гнушаются ею даже и въ богатыхъ хоромахъ, а не только въ бѣдной хатѣ. Ходитъ въ народѣ о гречихѣ старая сказка, повѣствующая о томъ, какъ впервые попала греча на Святую Русь. „За синими морями, за крутыми горами жилъ-былъ царь съ царицей",—начинаетъ эта сказка свою пѣвучую, изукрашенную цвѣтами слова рѣчь и продолжаетъ: „На старость послалъ имъ Господь на утѣшеніе единое дѣтище, дочь красоты несказанныя... Возрадовались царь съ царицею и не знаютъ отъ радости, какое имя дать дочери, какъ ее прикликати: какое имячко ни вспомнится имъ, есть оно и въ другихъ семьяхъ—то у боярской дочери, другое у княжеской, то у посадскаго мужика въ семьѣ"... Порѣшили царь съ царицею снарядить посла, идти ему всѣхъ встрѣчныхъ-поперечныхъ опрашивать объ имени, чтобы дать его красавицѣ царевнѣ. Попалась послу старуха старая: на вопросъ посла отвѣчала сѣдая, что зовутъ ее „Крупеничкою". Не вѣритъ боринъ, никогда не слыхивалъ онъ такого имечка; но, когда стала клясться-божиться старая, взялъ въ толкъ посланецъ царскій, что за такимъ-то неслыханнымъ именемъ и послали его на поиски. Отпустилъ онъ старуху „во Кіевъ-градъ Богу молиться, а на отпускѣ надѣлялъ золотой казной". Вернулся посолъ къ царю съ царицею, повѣдалъ имъ обо всемъ, и нарекли они новорожденное свое дѣтище „Крупеничкою"... Выросла-повыросла царевна, надумали отецъ съ матерью замужъ ее отдавать, послали по всѣмъ царствамъ-королевствамъ искать себѣ зятя. Вдругъ—ни думано, ни гадано—подымалась орда бесерменская. Не посчастливилось царю въ войнѣ съ ордой, положилъ онъ со всѣми князьями-боярами на кровавомъ полѣ свою голову. Полонила орда все царство, и досталась царевна во полонъ злому татарину. Три года томилась красавица въ тяжкой неволѣ; на четвертый шла-прошла старуха-старая черезъ Золоту Орду изъ Кіева,—увидѣла полоняночку, увидавъ—пожалѣла да и оборотила царскую дочь „въ гречневое зернышко"; спрятала его въ свою калиту да и пошла на Святую Русь. Идетъ старая, а царевна ей: „Спасла меня отъ работы великія, отъ неволи тяжкія; сослужи еще службу послѣднюю: какъ придешь на Святую Русь, на широки поля привольныя, схорони меня въ землю!" Просьба царевны была исполнена, но—какъ схоронила старуха гречневое зернышко,—„и учало то зернышко

въ ростъ итить, и выросла изъ того зернышка греча, о семидесяти семи зернахъ. Повѣяли вѣтры со всѣхъ со четырехъ сторонъ, разнесли тѣ семьдесять семь зеренъ на семьдесять семь полей. Съ той поры,—заканчивается сказка,—на Святой Руси расплодилась греча...“

Даетъ мужику подспорье и просо пшенной (бѣлою) кашей. Но эта каша—не чета гречневой, не такъ плотно ложится. По народнымъ присловьямъ: „Пшенная кашка — ребячья!“ „Просо рѣденько, такъ и кашица жиденька!“, „Просо вѣтру не боится, а морозу кланяется!“

Любимая снѣдь деревенскихъ ѣдоковъ гречневая каша, но и горохъ недолго застоится передъ ними на столѣ въ чашкѣ: „Горохъ да рѣпа—мужицкому брюху крѣпа!“—говорится въ народѣ. Не мало цвѣтистыхъ присловій сказалось-сложилось объ этомъ кудреватомъ растеніи. „Кабы на горохъ не морозъ, онъ бы и тынъ переросъ!“, „Не смѣйся, горохъ, не лучше бобовъ: размокнешь, надуешься, лопнешь!“, „Нашъ горохъ никому не ворогъ!“, „Завидна дѣвка въ домѣ да горохъ въ полѣ: кто ни пройдетъ, ущипнетъ!“, „Дѣвку въ домѣ, да горохъ въ полѣ не уберечь!“ Каждое присловье въ своей цвѣтъ окрашено. Есть и такія смѣшливыя, какъ: „И за моремъ горохъ не подъ печью сѣютъ!“, „Лежебокъ шиломъ горохъ хлѣбаетъ, да и то отряхиваетъ!“, „Съ твоимъ умомъ только въ горохѣ сидѣть!“ Если хотятъ сказать о чемъ-нибудь стародавнемъ, то выражаются такъ: „Это было тогда, когда царь Горохъ съ грибами воевалъ!“ Ходятъ по свѣтлорусскому простору и такія изреченія: „Къ тебѣ слово—что о стѣну горохъ!“, „Съ нимъ говоритъ—горохъ въ стѣну лѣпить!“ Старые сельскіе хозяева совѣтуютъ сѣять горохъ въ первые дни новолунія и не сѣять—при вѣтрѣ съ полуночи. Если при этомъ (сѣверномъ) вѣтрѣ сѣять, такъ, по увѣренію ихъ, будетъ горохъ рѣдокъ, при западномъ и юго-западномъ—мелокъ-червивъ.

Загадокъ о горохѣ не мало. Вотъ одна изъ болѣе живучихъ: „Малы малышки катали катышки, сквозь землю прошли—синю матку нашли; синяя, синяя да и вишневая!“... „Хороши пирожки-гороховички, да я не ѣдалъ, а отъ дѣдушки слыхалъ; а дѣдушка видалъ, какъ мужикъ на рынкѣ ѣдалъ!“—посмѣивается деревня, сидя на ржаномъ хлѣбцѣ-батюшкѣ да на холодной-ключевой водицѣ-матушкѣ. „Сѣю, сѣю бѣлъ горохъ: уродися, мой горохъ, и крупенъ, и бѣлъ, и самъ тридесятъ—старымъ бабамъ на потѣху, молодымъ ребятамъ на веселье!“—приговариваютъ тороватые краснословы.

Овесъ кормитъ не только лошадь, но и мужика и всю его семью: намолотитъ мужикъ овсеца, свезетъ на базаръ—про-

дастъ, привезетъ домой денегъ на подати, на расходы домашніе, на хозяйственные. „Не лошадь везетъ, овесъ ѣдетъ!“, „Не гладь лошадь рукой, гладь овсомъ!“, „Сѣномъ лошадь требушину набиваетъ, отъ овса (у ней) рубашка (къ тѣлу) закладывается!“—замѣчаетъ деревенская забота о лошади,—крестьянской помощницѣ. Овесъ любитъ, чтобы его сѣяли «хоть въ воду, да въ пору». Сѣять его умудренные годами хозяева совѣтуютъ лишь тогда, когда босая нога на пашнѣ не зябнетъ, или—когда березовый листъ станетъ распускаться (симбирская примѣта). Овесъ неприхотливъ: онъ, по народному слову, и сквозь лапоть проростетъ. „На курганѣ на варганѣ стоитъ курочка съ серьгами“,—загадывается загадка объ овсѣ. Изъ овса готовятъ бабы-хозяйки лакомыя снѣди - толокно да кисель овсяные, напекаютъ иногда и овсяныхъ блиновъ (постныхъ). „Не подбивай клинъ подъ овсяный блинъ: поджарится, самъ свалится!“ – говорятъ охочіе до прибаутковъ люди: „Хорошъ овсяный кисель, ребята ѣдятъ да похваливаютъ!“, „Толокно—и сладко, и споро, и спорно, и скоро: замѣси да прямо и въ ротъ понеси!“

Изстари славился народъ русскій своимъ хлѣбосольствомъ; славится онъ этимъ неотъемлемымъ качествомъ и въ наши дни: любитъ честныхъ гостей—и званыхъ, и незваныхъ—угощать, съ добрыми сосѣдями хлѣбъ-соль водить. „Отъ хлѣба-соли не отказываются!“, „Хлѣбъ-соль кушай, а добрыхъ людей слушай!“, „Безъ соли, безъ хлѣба — плохая бесѣда!“, „Хлѣбъ-соль платежомъ красна!“, „Боронись хлѣбомъ-солью!“, „Кинь хлѣбъ-соль позади, очутится впереди!“ Въ такихъ словахъ и многихъ имъ подобныхъ отражается широкая и глубокая—при всей своей простотѣ—душа пахаря-народа. Твердо памятуетъ онъ, что „хлѣбъ хлѣбу—братъ“, но знаетъ и завѣтъ дѣдовъ-прадѣдовъ, гласящій, что: „Хорошъ тотъ, кто поитъ да кормитъ, а и тотъ не худъ, кто старую хлѣбъ-соль помнитъ“.

III.

Небесный міръ.

„Съ той стороны, съ-подъ восточныя, выставала туча темная, грозная; изъ той изъ тучи темныя, грозныя выпадала Книга Голубиная. Ко славному кресту животворящему, ко этой Книгѣ Голубиныя соѣзжалось сорокъ царей и царевичей, собиралось сорокъ королей и королевичей, много бояръ со боярами. Изъ нихъ было пять царей нàбольшихъ: былъ Исай царь, Василей царъ, Володуміръ царь Володуміровичъ, былъ премудрой царь Давыдъ Евсеевичъ“... Такова́ запѣвка къ старшему (міровому) стиху духовному, сложившемуся въ стародавніе годы въ сердцѣ народной Руси и—въ десяткахъ разносказовъ—распѣваемому, начиная отъ студенаго архангельскаго поморья и кончая степями южнорусскими. На этомъ стихѣ зиждятся устои вѣковѣчной народной премудрости, отвѣчающей пытливому духу могучаго народа, сложившаго свой сказъ о міросозиданіи.

Упала съ неба, вышла изъ тучи, Книга Голубиная—„Божественная книга Евангельская“... Дивятся всѣ собравшіеся „ко кресту животворящему“, диву дались всѣ „сорокъ царевъ, все царевичей, сорокъ князьевъ все князевичей, сорокъ поповъ, сорокъ дьяконовъ, много народу, людей мелкихъ, христіанъ православныихъ. Никто (изъ нихъ) ко книгѣ не приступится, никто къ Божьей не пришàтнется“... Много-ли, мало-ли времени прошло-минуло,—въ стихѣ сказа нѣтъ... Но вотъ—разступились собравшіеся, „приходилъ ко книгѣ премудрой царь, перемудрой царь Давыдъ Евсеевичъ, до Божьей до книги онъ доступается, передъ нимъ книга разгибается, все Божественное писаніе объявляется“... Увидѣлъ это Воло-

думіръ царь, въ которомъ не трудно узнать Владиміра Красно-Солнышко, князя стольнокіевскаго,—подступаетъ онъ къ мудрѣйшему изъ собравшихся, держитъ свою рѣчь къ нему:

„А ты гой еси, царь Давыдъ Евсеевичъ!
Ты прочти Книгу Голубиную,
Разскажи, сударь, намъ про бѣлый свѣтъ:
Отчего у насъ зачался бѣлый свѣтъ,
Отчего зачалось солнце красное,
Отчего зачался младъ-свѣтѣлъ мѣсяцъ,
Отчего зачалася бѣла́ заря,
Отчего зачались звѣзды частыя,
Отчего зачались вѣтры буйные,
Отчего зачался міръ-народъ Божій,
Отчего зачались кости крѣпкія,
Отчего взяты тѣлеса наши?“

На этихъ девяти предложенныхъ царь-Володуміромъ вопросахъ—какъ на девяти китахъ—стоятъ-держатся всѣ основы міра. Но не смутился царь Давыдъ Евсеевичъ,—на то онъ и былъ не только мудрый, а даже „перемудрый“,—не задумавшись, отвѣтилъ спрашивающему на каждое его слово вопросное. „А ты гой еси, Володуміръ царь, Володуміръ царь Володуміровичъ!“—возговорилъ онъ: „Ино эта книга не малая, высока́ книга сороку сажень, на рукахъ держать—не сдержать будетъ, а письма въ книгѣ не прочесть будетъ, а читать книгу ее не кому. А сама книга́ разпечаталась, слова Божіи прочиталися. Я скажу, братцы, да по памяти, и по памяти, какъ по грамотѣ. У насъ бѣлый свѣтъ взятъ отъ Господа. Солнце красное отъ лица Божія, младъ-свѣтѣлъ мѣсецъ отъ грудей его, зори бѣлыя отъ очей Божіихъ, звѣзды частыя—то отъ ризъ Его, вѣтры буйные отъ Свята-Духа, міръ-народъ Божій отъ Адамія, кости крѣпкія взяты отъ камени, тѣлеса наши отъ сырой земли“... Въ приведенномъ отвѣтѣ явственно слышится отголосокъ народнаго обожествленія видимой природы. И теперь она еще живетъ и дышетъ каждымъ проявленіемъ своего существованія, обступая призраками древнеязыческихъ—злыхъ и добрыхъ, темныхъ и свѣтлыхъ—божествъ пахаря-хлѣбороба, думающаго далеко не объ одномъ только хлѣбѣ насущномъ. А въ до-христіанскую пору—что ни шагъ, то и могущественный духъ возставалъ передъ устремленнымъ въ глубь жизни суевѣрнымъ взоромъ отдаленнѣйшихъ пращуровъ народной Руси нашихъ дней.

Небо является теперь, въ представленіи народа, престоломъ Божіимъ, а земля—подножіемъ ногъ Его. Въ сѣдыя-же времена,

затонувшія въ затуманенной безднѣ далекихъ вѣковъ, и Небо-Сварогъ, и Мать-Сыра-Земля представляли собою великихъ боговъ, съ бытіемъ которыхъ неразрывными узами было связано все существованіе міровъ небеснаго и земного, и отъ воли которыхъ зависѣли жизнь и смерть, счастье и горе человѣка—этой ничтожной песчинки мірозданія, возомнившей себя царемъ природы.

Небо славяно-русскихъ народныхъ сказаній о богахъ—свѣтлый прабогъ, отецъ и полновластный владыка вселенной; земля—праматерь. Въ этомъ—ихъ великая связь, отъ которой, какъ лучи—отъ солнца, расходятся во всѣ стороны свѣта бѣлаго причины всѣхъ другихъ явленій бытія и небытія. Какъ видимый всѣмъ дивный, сверкающій звѣздами шатеръ небесный охватываетъ-прикрываетъ своей ризою всѣ предѣлы земные,—такъ и древній прабогъ народа русскаго обнималъ и прикрывалъ собой все существующее въ поднебесномъ мірѣ. Свѣтила небесныя—солнце, мѣсяцъ и всѣ тьмы-темъ неисчислимой розсыпи звѣздной—считались его дѣтьми, созданными имъ отъ своей плоти и крови. Солнце, согрѣвающее все живое лучами,—солнце, пріобщающее темную землю къ свѣту небесному, пресвѣтлое солнце—это свѣтило свѣтилъ—звалось въ языческой Руси Даждьбогомъ, сыномъ Небу-Сварогу приходилось. „И послѣ (Сварога) царствова сынъ его именемъ Солнце, его-же наричаютъ Дажьбогъ... Солнце-царь, сынъ Свароговъ, еже есть Дажьбогъ, бѣ бо мужъ силенъ"...—говорится объ этомъ въ Ипатьевской [10]) лѣтописи. Обожествляя пресвѣтлое солнце, народъ русскій величаетъ его самыми ласковыми, самыми очестливыми именами. Оно является въ его выработанномъ тысячелѣтіями міровоззрѣніи добрымъ и многомилостивымъ, праведнымъ и нелицепріятнымъ заботникомъ обо всемъ мірѣ живыхъ. Ниспосылая тепло и свѣтъ, осыпая міръ щедрыми дарами своего непостижимаго для смертныхъ могущества, оплодотворяя не только землю, но и нѣдра земныя, оно является въ то-же самое время и грознымъ судьею-карателемъ всякой темной силы-нечисти и всѣхъ ея, пресмыкающихся по землѣ, слугъ, нечестивыхъ приспѣшниковъ кривды. Можетъ солнце счастливить своими благодѣяніями, но въ его непобѣдимой власти—и обездолить засухой, неурожаемъ и моровыми повѣтріями, отъ которыхъ не отчитаться никакими причетами, которыхъ не заклясть никакими заговорами-заклятьями—кромѣ обращенныхъ изъ глубины стихійнаго серд-

[10]) Ипатьевская лѣтопись—сводъ лѣтописныхъ списковъ, хранившійся въ костромскомъ Ипатьевскомъ (Ипатскомъ) монастырѣ. Происхожденіе этого свода относится изслѣдователями къ концу XIV—началу XV вѣка.

ца народнаго все къ нему-же—къ пресвѣтлому, всеправедному, всемогущему солнцу красному (=прекрасному).

Нѣтъ для солнца ни богатыхъ, ни бѣдныхъ,—всѣмъ одинаково разливаетъ-раздаетъ оно свои дары и кары: проходятъ передъ его свѣтлыми очами—по народному, пережившему вѣка, слову—только праведные и нечестивые. Нѣтъ для суевѣрнаго русскаго люда клятвы вѣрнѣй-страшнѣе клятвеннаго упоминанія имени этого прекраснаго свѣтила. „Красна-солнышка не взвидать!“—осѣняясь крестнымъ знаменіемъ, произноситъ клянущійся пахарь, и крѣпко правдою слово его. „Ото всѣхъ уйдешь кривыми путями-дорогами, только не отъ очей солнечныхъ!“, „Никто не найдетъ кривду, а солнышко красное выведетъ и ее на свѣжую воду!“, „Человѣкъ цѣлый вѣкъ правды ищетъ, да не находитъ, а стоитъ выйти на небо солнышку,—только глянетъ, и правда—передъ нимъ!“—говоритъ русскій народъ.

Изслѣдователемъ воззрѣній славянъ на природу—въ первомъ томѣ его замѣчательнаго труда, положительно открывшаго глаза изученію отечественнаго народовѣдѣнія и народопониманія, записанъ любопытный простодушный сказъ о карѣ Божіей за непочтительность къ солнцу. Это было давно,—гласитъ онъ,— у Бога еще не было солнца на небѣ, и люди жили впотёмкахъ. Но вотъ, когда Богъ выпустилъ изъ-за пазухи солнце, дались всѣ диву, смотрятъ на солнышко и ума не приложатъ... А пуще—бабы! Повынесли онѣ рѣшота, давай набирать свѣта, чтобы внести въ хаты да тамъ посвѣтить; хаты еще безъ оконъ строились. Поднимутъ рѣшето къ солнцу, оно будто и наберется свѣта полнымъ-полно, черезъ край льется, а только что въ хату—и нѣтъ ничего! А Божье солнышко все выше да выше подымается, ужъ припекать стало. Вздурѣли бабы, сильно притомились за работой, хоть свѣта и не добыли, а тутъ еще сверху жжетъ—и вышло такое окаянство: начали на солнце плевать. Богъ прогнѣвался и превратилъ нечестивыхъ въ камень...

Воображеніе предковъ народа-пахаря, обожествляя животворное свѣтило дня, отвело ему и особое жилище, куда оно удалялось на отдыхъ послѣ дневныхъ трудовъ. Это жилище было, однако, не на западѣ, открывающемъ солнцу объятія передъ наступленіемъ ночи—этой темной стихіи древняго Чернобога, а на востокѣ, въ волшебномъ царствѣ Бѣлъбога, олицетворявшаго собою стихію свѣта-дня. Тамъ, по народному сказанію, стоялъ дивный дворецъ солнца, весь построенный изъ чистаго золота, каменьями-самоцвѣтами разукрашенный. Вокругъ дворца росъ густой садъ, все—яблони съ золо-

тыми яблоками; распѣвали въ этомъ саду жаръ-птицы. Посрединѣ дворца высился алмазный, покрытый пурпуромъ, престолъ, на которомъ и отдыхало красное солнышко, скрывавшееся отъ темнѣвшей земли. Каждымъ утромъ садилось оно въ свою лучезарную колесницу и выѣзжало—свѣтоносное—на бѣлыхъ, огнедышащихъ, коняхъ на свой небесный, проложенный тысячелѣтіями, путь, неся міру благотворный свѣтъ и свѣтлую радость. На Ивановъ день, когда оно, достигнувъ высшей точки стоянія, поворачиваетъ съ лѣта на-зиму, выѣздъ солнца совершался съ особой торжественностью: въ колесницу впрягались не бѣлые кони, а серебряный, золотой да брилліантовый.

У словаковъ [11]), западныхъ родичей русскаго народа, существуетъ слѣдующая сказка, изображающая въ лицахъ смѣну временъ года—борьбою двухъ враждебныхъ стихій: весенняго освободителя солнца и его зимняго похитчика,—причемъ первый представляется воплощеніемъ всего свѣтлаго-добраго, а послѣдній—прообразомъ темнаго зла. Здѣсь понятія о богѣ-солнцѣ и богѣ-громовникѣ сливались воедино, и борьба стихій проявлялась въ гулкомъ грохотѣ лѣтней грозы. Выходили, по словамъ сказки, на небесный просторъ два богатыря-соперника, бросались другъ на друга съ мечами-кладенцами... Длилась борьба, раздавался звонъ сшибавшихся другъ съ другомъ мечей, но не гнулась побѣда ни на ту, ни на эту сторону. Тогда кидали враги на небесную путину свое оружіе. „Обернемся лучше колёсами да и покатимся съ небесной горы!“—предложилъ богатырь-весна своему вóрогу: „Чье колесо будетъ разбито—тотъ и побѣжденъ будетъ!“ Согласился богатырь-зима... Полетѣли-покатились съ горъ-горы оба соперника колесами яркими. И вотъ—налетѣло, ударилось колесо-весна объ колесо-зиму,—налетѣло, раздробило его. Но не сдался противникъ, не сдался—изъ колеса добрымъ молодцемъ перекинулся,—стоитъ, а самъ насмѣхается: „Не взяла-де твоя сила! Не раздробилъ ты меня, а только пальцы на ногахъ придавилъ!.. Обернемся-ка, братъ, лучше въ огонь-полымя, я—въ бѣлое, ты—въ красное! Чье пламя осилитъ,

[11]) Словаки—славянскіе обитатели сѣверной Венгріи, составлявшіе одиннадцать вѣковъ тому назадъ ядро Велико-Моравскаго государства, покоренные мадьярами. Съ незапамятныхъ временъ живетъ это племя въ мѣстности, ограниченной съ запада р. Моравою, съ сѣвера—Карпатами, съ юга—р. Дунаемъ, съ юго-востока—рѣками Ужоль, Слана и Тиса. По общей народной переписи въ 50-хъ годахъ XIX столѣтія, число ихъ достигало 1.630.000 человѣкъ, къ 90-мъ-же оно возросло до 2.200.000. Около полумилліона ихъ—лютеране, а всѣ остальные—римско-католики; до XIII-го столѣтія всѣ они были сынами Православной Церкви.

тотъ надъ другимъ и верхъ взялъ!..“ И вотъ—обернулись враги-соперники въ два пламени, и принялись они другъ друга палить,—жгутъ-палятъ, осилить одинъ другого не могутъ... Шелъ-проходилъ той дорогою прохожій—старый нищій съ длинной сѣдою бородой. Взмолилось къ убогому бѣлое пламя: „Старикъ! Принеси воды, залей красное пламя! Я тебѣ грошъ дамъ!“—„Не носи ему, принеси мнѣ, я тебѣ червонецъ подарю,—только залей ты бѣлое!“—перебило врага красное пламя. Червонецъ—не грошу мѣдному чета: и залилъ старикъ пламя похитчика весенняго солнца... На томъ и сказкѣ—конецъ. Съ этой сказкою стоитъ въ несомнѣнной связи соблюдающійся до сихъ поръ на Руси обычай—скатыванія горящаго колеса съ горы въ ночь подъ Ивановъ день (съ 23-го на 24-е іюня).

Не мало пословицъ, поговорокъ и различныхъ присловій пріурочено народной молвью крылатою къ свѣтилу свѣтилъ небесныхъ, пригрѣвающему землю-кормилицу. Представляетъ его народъ,—даже и отрѣшившись отъ всякихъ призраковъ языческаго суевѣрія,—живымъ, одушевленнымъ, все живящимъ и все одушевляющимъ. Какъ и человѣкъ—ходитъ оно, садится и встаетъ; какъ и человѣкъ—оно веселится радуется („играетъ“) и слезится-плачетъ (дождь сквозь солнце), отуманивается грусть-тоскою, закрываясь тучами. Зимой, въ морозную пору, станетъ ему не въ моготу студено,—надѣнетъ оно рукавицы да наушники,—знай себѣ идетъ путемъ-дорогою, съ „пâсолнцами“, ложными солнцами [12]), по бокамъ... „Не пугай, зима, весна придетъ! Не страши, непогода, солнышко ведетъ вёдрышко!“—говоритъ народъ-краснословъ, а самъ приговариваетъ: „Взойдетъ красно-солнце—прощай, свѣтелъ мѣсяцъ!“, „Взойдетъ солнышко и надъ нашими воротами,—печего ночью грозиться!“, „Что мнѣ золото—свѣтило-бы солнышко!“, „Безъ милóва не прожить, безъ солнышка—не пробыть!“ Хотя, по народному слову, солнышко и свѣтитъ-сіяетъ „на благіе и злые“, но изъ тѣхъ-же устъ вылетѣли на свѣтлорусскій просторъ реченія: „На весь міръ и солнышку не угрѣть!“, „И красное солнышко на всѣхъ не угождаетъ!“ и т. п.

Являясь олицетвореніемъ правды-истины, солнце представляется стихійной народной душѣ обличителемъ кривды. „У того совѣсть не чиста, кто не взглянетъ прямо въ глаза солнышку!“, „Воръ на солнце не взглянетъ, а взглянулъ—такъ и глаза вытекутъ!“, „На солнышко, что на-смерть, во всѣ

[12]) Ложныя солнца—явленіе солнечнаго отраженія на небѣ. Обыкновенно, ихъ бываетъ два—со свѣтлымъ сіяніемъ наверху („столбы“), или на свѣтлой раздвоившейся дугѣ („уши“).

глаза недобрый человѣкъ не взглянетъ!“—замѣчаетъ посельщина-деревеньщина, тороватая на присловья-поговорки всякія. При какихъ только случаяхъ не вспоминается русскому человѣку красное солнышко! Если, къ примѣру сказать, начинаютъ упрекать кого-нибудь въ отсутствіи щедрости,—„Не солнышко: всѣхъ не обогрѣешь!“—отговаривается онъ: „И на солнцѣ не круглый годъ тепло живетъ!“, „И солнышко зимой не грѣетъ!“ Когда-же добрые люди подсмѣиваются надъ чьей-либо излишней осторожностью,—у того срывается въ отповѣдь: „И соколъ выше солнца не летаетъ!“ Скажите-ка краснослову, не боящемуся тягаться съ неравными ему по положенію людьми, чтобы онъ остерегался суда,—онъ, того-и-гляди, отвѣтитъ, что-де: „Дальше солнца не сошлютъ!“... „Солнышка въ мѣшокъ не поймаешь!“—махнетъ рукой мужикъ-простота, которому кто-нибудь станетъ давать совѣтъ приняться за неподходящее къ его крестьянскому обиходу дѣло. „Солнышко - золото, да не про насъ!“, „Солнышко съ золотомъ рядомъ садится, ловишь его—въ карманъ наложить норовишь, а все, братецъ ты мой, ни гроша въ мѣшкѣ не шевелится!“—подсмѣивается самъ надъ собою бобыль-бездомникъ, горькая головушка.

Не одинъ десятокъ связанныхъ съ солнцемъ примѣтъ, въ стародавнюю пору подмѣченныхъ зоркимъ глазомъ крестьянствующаго на Святой Руси пахаря, ходитъ у насъ въ народѣ. „Когда солнышко закатилось, новой ковриги не починай: нищета одолѣетъ!“—говоритъ выученный вѣковѣчной нуждою хозяйственный опытъ. Но это—еще не примѣта, а вѣрнѣе—тоже присловье. А вотъ и самыя настоящія примѣты другъ дружку погоняютъ, одна передъ одной торопятся свою рѣчь вести, на времена года, на мѣсяца да на дни, что на подорожный костыль, опираючись. „Если на Василія теплаго (28-го февраля) солнце въ кругахъ—жди, православный людъ, большого урожая!“—гласитъ одна изъ нихъ. „На Спиридона-солноворота (12-го декабря) медвѣдь въ берлогѣ поворачивается на другой бокъ“,—перебиваетъ ее другая, дополняя самоё-себя: „Послѣ солноворота прибудетъ дня хоть на воробьиный скокъ!“, „Отколѣ вѣтеръ на солноворотъ, оттолѣ будетъ дышать до сорока мучениковъ (9-го марта)!“. Насмѣну этимъ готовы идти и третья—„Не давай денегъ, какъ зайдетъ солнце!“, и четвертая—„Какъ солнышко зайдетъ, не заводи ни съ кѣмъ спора!“... Да и не перечесть всѣхъ, не пересказать, не переслушать. Простонародныя русскія загадки немало говорятъ о красномъ солнышкѣ. „Сито, вито, кругловито,“—гласитъ одна изъ нихъ (тульская),—„кто ни взглянетъ, всякъ за-

плачетъ!“—„Не стукнетъ, не брякнетъ, ко всякому подойдетъ!“, „Что милѣе на свѣтѣ?“—спрашиваютъ о немъ новгородскіе загадчики. „Лѣтомъ грѣетъ, зимой холодитъ!“—вторятъ вологжане-землекопы и прибавляютъ къ этому: „Что̀ всегда ходитъ, а съ мѣста не сходитъ?“ Въ Самарской губерніи гуляютъ по̀ людямъ такія загадки: „Красно яблочко на синей тарелочкѣ катается!“ да „Что на свѣтѣ всего рѣзвѣе?“; въ Рязанской—„Что никогда не стоитъ?“, „Что скорѣе всѣхъ по землѣ ходитъ?“, „Что безъ огня горитъ?“, „Что за красная дѣвушка съ неба въ оконце глядитъ?“; въ Симбирской—„Вертится вертушечка, золотая коклюшечка; никто ее не достанетъ: ни царь, ни царица, ни красная дѣвица!“ Про солнечные лучи на архангельскомъ поморьѣ сложили такую загадку: „На улицѣ станушки, въ избѣ рукава!“. Близъ самарской луки на старой Волгѣ—„Барыня на дворѣ, рукава—въ избѣ!“, „Бѣлая кошка лѣзетъ въ окошко!“, „Изъ воротъ въ ворота лежитъ щука золо̀та!“; въ новгородской округѣ—„Изъ окна въ окно—золото бревно („веретено“—по иному, тихвинскому, разносказу)!“, на курскомъ рубежѣ—„Сѣрое суконце тянется въ оконце!“, у псковичей—„Прѣсное молоко на полъ льютъ,—ни ножомъ, ни зубами соскоблить нельзя!“, у ярославцевъ—„Сѣку, сѣку, не высѣку; рублю, рублю, не вырублю (или „мету, мету, не вымету!“), „Чего ни въ избѣ не запрешь, ни въ сундукъ не схоронишь?“ и т. д. О солнечномъ восходѣ отъ олончанъ, сосѣдей чуди бѣлоглазой, слывущихъ за вѣдуновъ-знахарей да за памятливыхъ сказателей, пошли по народной Руси гулять такія двѣ загадки: „Летитъ птичка-говорокъ черезъ барскій дворокъ, сама себѣ говоритъ:—Безъ огня село горитъ!“ и „Встану на горку, на маковку, увижу Миколку на за̀полкѣ!“

Съ представленіемъ о солнцѣ объединяется у всѣхъ народовъ понятіе о двухъ его сестрахъ—утренней зарѣ (старшей) и вечерней (младшей). У древнихъ славянъ существовала одна солнцева сестра—богиня Дѣва-Зоря, будившая поутру красно-солнышко или встрѣчавшая его передъ отправленіемъ въ путь-дорогу, а ввечеру укладывавшая его спать или провожавшая домой въ его волшебное царство, къ золотому дворцу. „Заря-зоряница, солнцева сестрица, красная дѣвица!“—величаетъ ее въ своихъ заговорахъ народная Русь, надѣляя ее чудодѣйной силою: разгонять тьму, убивать нечисть и оплодотворять сѣмена злаковъ, созданныхъ на потребу человѣческую. Такъ, еще до сихъ поръ существуетъ въ захолустныхъ уголкахъ неоглядной-необъятной родины народа-пахаря обычай выставлять на семь утреннихъ зорь

приготовленное для посѣва зерно. На зорькѣ спрыскиваютъ ключевой водою больныхъ—для излѣченія отъ тяжкихъ недуговъ. По цвѣту зорь гадаютъ не только о погодѣ, но и о судьбѣ: и въ томъ, и въ другомъ случаѣ слишкомъ яркій (багряный, кровавый) цвѣтъ не предвѣщаетъ добра. Къ вечерней зарѣ обращаются въ заговорахъ на унятіе крови. „На морѣ-окіянѣ“,—начинается одинъ изъ нихъ, подслушанный въразныхъ концахъ неоглядной родины русскихъ сказаній,—„сидитъ красная дѣвица, заря-зоряница, швея-мастерица. Держитъ швея иглу булатную, вдѣваетъ нитку рудожелтую, зашиваетъ раны кровавыя. Нитка оборвись, кровь— запекись!“.

„Зарей-красавицею“ величаетъ народная Русь каждую изъ солнцевыхъ сестеръ, но тутъ же сама себя оговариваетъ цвѣтистымъ—что зорька майская—присловьемъ: „Вешній цвѣтъ духовитѣй осенняго, утренняя зорька краше вечерней!“ Въ народномъ воображеніи заря является олицетвореніемъ счастья-радости. „И на нашей улицѣ будетъ праздникъ, и надъ нашей крышею займется заря!“, „Ждетъ, не дождется горюша горькая ясной зорьки, счастливыхъ деньковъ!“, „Долго-ль до зоренькн,—тосковалъ соловушекъ. Близко-ль до счастьица,—плакала дѣвица!“—можно услышать крылатую молвь деревенскую. Всю жизнь проводитъ пахарь-народъ въ трудѣ; въ потѣ лица своего онъ—по завѣту Божію—свой черствый хлѣбъ ѣстъ. Тысячелѣтнее дитя природы, кончаетъ онъ работу на вечерней зарѣ, подымается съ жесткаго ложа къ новому труду—только успѣетъ зажечь пожаромъ востокъ утренняя заря-зоряница, красная дѣвица. Одна заря его въ домъ вгонитъ, другая на̀ поле выгонитъ. И такъ ведется у него изо-дня-въ-день, изъ-года-въ-годъ, изъ-вѣка-въ-вѣкъ. „Пыхъ пыхъ по горамъ—не спи по зарямъ!“—приговариваетъ сѣдая простонародная мудрость. „Зарю проспать—гроша („рубля“—по позднѣйшему разносказу) не достать!“—добавляетъ она: „Заря работу родитъ, работа—деньгу роститъ!“, „День денежку беретъ, заря денежку куетъ!“, „Заря и мужика золотомъ осыплетъ!“, „До утренней зари не гляди въ окно; вспыхнетъ заря—вставать пора!“.

Связано съ понятіемъ о зарѣ не мало всякихъ примѣтъ на Руси. Тому, кто хочетъ копать колодезь, умудренные долголѣтними наблюденіями добрые люди даютъ совѣтъ—выходить изъ хаты по утреннимъ зорькамъ до семи разъ и присматриваться зоркимъ глазомъ: гдѣ первый паръ (туманъ) ложится. „Выдь на семь зорь, увидишь семь бѣлыхъ озеръ,—на которомъ хочешь, на томъ и колодецъ роешь!“—гласитъ мудрое слово. Числу с е м ь придается въ русскомъ народѣ осо-

бое таинственное значеніе. Оно вообще пользуется въ памятникахъ живой народной рѣчи большимъ почетомъ. Такъ—можно встрѣтить во многомъ-множествѣ сказаній не только семь зорь, но и семь вѣтровъ, семь холмовъ, семь русалокъ, семь небесъ, семь вѣщихъ дѣвъ, семь гремячихъ ключей, семь замковъ-печатей, семь засововъ, семь башенъ, семь переходовъ и т. д.

Объ утренней зарѣ, загорающейся надъ грудью Матери-Сырой-Земли послѣ перваго весенняго дождя, дошла до нашихъ дней такая прѝсказка, цвѣтами слова изукрашенная: „Заря-зоряница, красна-дѣвица, по-лѣсу ходила, ключи потеряла, мѣсяцъ видѣлъ, солнце скрало!“... „По зарѣ зарянской катился шаръ вертлянскій, никому его ни обойти, ни объѣхать!“—говоритъ живая великорусская рѣчь про солнце. Съ древне-языческимъ почитаніемъ богини Зори имѣетъ несомнѣнную связь повсемѣстно соблюдающійся на Руси обрядъ оплакиванія зари невѣстою. Заря то-и-дѣло поминается въ обрядовыхъ свадебныхъ пѣсняхъ („Не бѣла-заря, въ окошечкѣ заря взошла, не свѣтѣлъ-то мѣсяцъ, дорожку мѣсяцъ просвѣтилъ...“ и мног. друг). Захолустными деревнями-селами ходитъ по-людямъ сохранившееся чуть не отъ стародавнихъ временъ язычества повѣрье о томъ, что—если обнести только-что родившагося ребенка семь разъ вокругъ бани, то будутъ бѣжать отъ него всякія болѣсти. „Заря-зарина („орина“ – по иному разносказу),—причитается при этомъ,—заря-скорина, возьми съ раба Божія, младенца (имя рекъ) зыки и рыки дневные и ночные!“ Растенію зоря [13]) (любистокъ, гулявица, сильный-цвѣтъ) придается суевѣрными людьми сила прѝворотнаго зелья.

Не только солнце со своими красавицами-сестрами, но и мѣсяцъ, и звѣзды, были обоготворяемы славяниномъ-язычникомъ. И о нихъ дошло до нашихъ дней многое-множество преданій, сказаній, повѣрій и присловій. Мѣсяцъ представлялся воображенію древняго народнаго суевѣрія то супругомъ солнца, то его супругою (когда именовался л у н о ю). Понятіе объ этомъ неоднократно измѣнялось, шествуя по безконечной путинѣ вѣковъ. По однимъ сказаніямъ, солнце является богиней (царицею) небесныхъ предѣловъ и—при поворотѣ съ зимы на-лѣто—наряжаясь въ цвѣтной праздничный сарафанъ и кокошникъ съ каменьемъ самоцвѣтнымъ, выѣз-

[13]) З о р я—ligusticum levisticum, levisticum officinale—высокое многолѣтнее растеніе, разводимое въ садахъ, но нерѣдко встрѣчающееся и въ дикомъ состояніи. Корень зори въ народной медицинѣ примѣняется до сихъ поръ съ самыми разнообразными назначеніями.

жаетъ изъ своихъ золотыхъ палатъ навстрѣчу супругу-мѣсяцу. Пляшетъ солнышко, играетъ лучами отъ радости—въ предчувствіи желанной встрѣчи, заливаетъ всю ширь и даль поднебесную золотыми волнами счастія. Съ первыми за́морозками,—молвитъ преданіе,—солнце разлучается со свѣтлымъ супругомъмѣсяцемъ вплоть до самаго возвращенія на бѣлый свѣтъ весны: мужъ въ одну сторону, жена—въ другую. Не подаетъ ни тотъ, ни другая о себѣ вѣсточки во всю зиму-зимскую. Встрѣтится Весна-Красна съ Зимой-Мораною, тутъ—и имъ первое свиданье послѣ долгой разлуки живетъ. Собирателемъ сказаній русскаго народа – Сахаровымъ [14]) записано повѣрье о томъ, что принимаются встрѣтившіеся супруги разсказывать другъ другу о своемъ житьѣ-бытьѣ въ разлукѣ, все—безъ утайки—говорятъ на радостяхъ. Не диво, что эти ро́зсказни, размолвкой, и на ссору наведутъ. Пойдетъ такая перепалка-перебранка, что даже земля затрястись можетъ съ перепуга. Горденекъ мѣсяцъ,—говорятъ разсказывающіе объ этомъ,—отъ него и ссора зачинается. Добрая встрѣча солнца съ мѣсяцемъ—и дни будутъ ясные, худая—на худую погоду наведетъ, на туманы да на изморозь плакучую. Весною, при первой грозѣ, по старинному сказанію, совершается бракъ солнца съ мѣсяцемъ, каждогодно послѣ ихъ разлуки обновляясь грознымъ торжествомъ природы.

Звѣзды частыя—безчисленное потомство ясноликой обожествленной стародавнею стариной любвеобильной-свѣтоносной четы, солнцевы да мѣсяцевы любимыя дѣтки.

„Ясне солнце—то господыня,
Ясенъ мѣсяцъ—то господарь,
Ясни зирки (звѣзды)—то ёго дитки...“—

поется въ южнорусской пѣснѣ-колядкѣ. Тамбовскія дѣвушки еще и теперь распѣваютъ старинную пѣсню о перевощикѣ. „Перевощикъ, добрый молодецъ! Перевези меня на свою сторону!“—молитъ-проситъ дѣвица удалого перевощика. „Я перевезу тебя, за себя возьму!“—отвѣчаетъ онъ. „Ты спросилъ-бы меня, чьего я роду, чьего племени?“—отговаривается красавица:

[14]) Иванъ Петровичъ Сахаровъ—одинъ изъ отцовъ современной русской этнографіи—родился въ 1807-мъ году, умеръ въ 1863-мъ. Онъ былъ сынъ тульскаго священника, высшее образованіе получилъ въ московскомъ университетѣ на медицинскомъ факультетѣ, былъ врачомъ московской городской больницы, преподавателемъ палеографіи (исторіи письма по рукописнымъ памятникамъ) въ училищѣ правовѣдѣнія и Александровскомъ лицеѣ и членомъ географическаго и археологическаго обществъ. Изъ его трудовъ самый капитальный—два тома „Сказаній русскаго народа“; затѣмъ—слѣдуютъ: „Путешествія русскихъ людей“, „Пѣсни русскаго народа“, „Русскія народныя сказки“ и друг.

„Я роду (-то) ни большого, ни малаго:
Мила матушка—красна солнушка,
А батюшка—свѣтёлъ-мѣсяцъ,
Братцы у меня—часты звѣздушки,
А сестрицы—бѣлы зорюшки!"

„Солнце—князь, луна—княгиня", —гласитъ народная поговорка. По этой послѣдней—луна (мѣсяцъ) является солнцевой супругою,—съ чѣмъ совершенно сходятся языческія сказанія о свѣтозарной женѣ Даждьбога.

Творческому воображенію пахаря нашихъ дней небо представляется свѣтлымъ теремомъ Божіимъ—со звѣздами вмѣсто оконъ. Изъ этихъ оконъ смотрятъ на бѣлый свѣтъ святые ангелы Господни. Нѣтъ счета-числа воинству небесному: сколько людей въ мірѣ—столько и ангеловъ. У каждой живой души—свой ангелъ-хранитель. Народится человѣкъ, и ангела новаго посылаетъ Богъ стеречь-беречь его отъ грѣха напраснаго-нанознаго, отъ ухищреній нечистой силы діавольской. Прорубитъ ангелъ новое окошечко изъ Божьяго терема, сядетъ у него да и смотритъ, глазъ не спускаючи съ довѣреннаго его попеченію сына земли. „Смотритъ ангелъ, а самъ каждое дѣло земное въ книгу небесную записываетъ. А людямъ-то кажется, что это всё звѣзды сверкаютъ!"—гласитъ народное слово. Умеръ человѣкъ, захлопывается ставнями окно, падаетъ и его звѣзда съ выси небесной на грудь земную. Кто увидитъ такую звѣзду да успѣетъ сказать свое пожеланіе,—сбудется, не минуется. Въ русскихъ простонародныхъ сказкахъ и солнце, и мѣсяцъ смотрятъ въ небесныя окна. Да и не въ однѣхъ сказкахъ, а и въ прибауткахъ разныхъ, и въ причетахъ. „Солнышко-вёдрышко, выгляни въ окошечко! Твои дѣтки плачутъ, пить-ѣсть просятъ!"—кличутъ солнцу во время ненастья, затягивающагося не на́-день, не на́-два, а Богъ вѣсть—на сколько дней. „Мѣсяцъ ты, мѣсяцъ, золотые твои рожки! Выглянь въ оконце, подуй на опару!"—причитаютъ бабы-хозяйки, приготовляя блинную опару для поминокъ и становясь при этомъ непремѣнно „супротивъ мѣсяца". Кто часто смотритъ на звѣздную розсыпь—у того, по старинной примѣтѣ, глаза будутъ зоркіе. Въ заговорахъ можно встрѣтить свидѣтельство объ этомъ. „Господи Боже, благослови принять отъ синя моря силы, отъ сырой земли—рѣзвоты, отъ частыхъ звѣздъ—зрѣнія, отъ буйна вѣтра—храбрости!"—молитъ одинъ изъ нихъ, каждымъ своимъ словомъ проникая въ суевѣрную душу охваченнаго объятіями природы, съ колыбели до гробовой доски вѣрнаго ей пахаря.

Свѣтлый спутникъ земли, мѣсяцъ, слывущій по инымъ мѣстамъ народной Руси за „казачье солнышко“, обожествлявшійся въ сѣдую старь временъ, и теперь еще напоминаетъ деревенскому хлѣборобу о пережиткахъ поклоненія ему. „Мѣсяцъ, мѣсяцъ молодой! Табѣ рогъ золотой, табѣ на увеличенье, а мнѣ на доброе здоровье!“—причитаютъ смоленскія (Краснинскаго у.) крестьянки, становясь передъ „молодикомъ“—молодымъ мѣсяцемъ. Отъ рожденія молодого мѣсяца до полнолунія, по народному повѣрью, счастливые дни. А какъ пойдетъ-пойдетъ мѣсяцъ на ущербъ,—выплыветъ и всякое несчастье на бѣлый свѣтъ. Если кому посчастливится увидѣть съ правой стороны отъ себя народившійся мѣсяцъ, да спохватится увидѣвшій показать мѣсяцу хоть копѣйку мѣдную (не говоря уже о серебряной или золотой монетѣ!)—перевода у того деньгамъ не будетъ, „ничего не-видя разбогатѣетъ!“.. Слѣва покажется,—надо поклониться мѣсяцу въ поясъ, чтобы защитилъ онъ отъ хвороби всякой раба Божія... Всякую работу совѣтуютъ добрые люди зачинать тогда, когда растетъ-подрастаетъ свѣтёлъ-мѣсяцъ. И скотину-животину лучше колоть въ полнолунье, по увѣренію скотоводовъ да мясниковъ, придерживающихся обычаевъ старины: ущербаетъ мѣсяцъ—и скотъ худѣетъ, съ тѣла спадаетъ. На ущербѣ мѣсяца даже сѣять хлѣбъ нехорошо: зерно выйдетъ тощее. Засѣянное въ новолунье поле даетъ густой-частый хлѣбъ, созрѣвающій на-диво скоро; въ полнолунье посѣешь,—тихо станетъ расти хлѣбъ, да зато умолотистъ будетъ. Хочетъ хозяйка, чтобы бѣлъ-волокнистъ уродился ленъ,—сѣй его, баба, на молодой мѣсяцъ! А надо ей собрать побольше сѣмени льняного,—жди полнолунья!.. Не начинаютъ строить знающіе всякое слово и словцо люди и новой хаты на лунномъ ущербѣ, ни лѣса не рубятъ, ни печей не кладутъ; всё это ждетъ своего череда вплоть до новаго мѣсяца. Только тогда,—говорятъ старики,—и можно поручиться за доброе житьё-бытьё въ новомъ домѣ. Захочетъ молодой мужикъ выдѣлиться изъ большой семьи, свое хозяйство повести наособицу,—тоже, кто поосторожнѣе, поджидаютъ новолунья счастливаго,—чтобы множилась „со́бина“ на новомъ мѣстѣ, а не шелъ старый достатокъ на убыль...

Противъ такого почитанія свѣтилъ ночи возставали русскіе строгіе блюстители церковныхъ уставовъ еще въ XVII вѣкѣ. Вотъ, напримѣръ, любопытный отрывокъ изъ одного такого поученія: „Мнози неразумніи человѣцы, опасливымъ своимъ разумомъ вѣруютъ въ небесное двизаніе, рекше во звѣзды и въ мѣсяцъ, и разчитаютъ гаданіемъ, потребныхъ ради и миролюби-

выхъ дѣлъ, роженіе мѣсяцу, рекше—молоду; иніе-жъ усмотряютъ полнаго мѣсяца, и въ то время потребнаи своя сотворяютъ; иніи-жъ изжидаютъ ветхаго мѣсяца... И мнози неразумніи человѣцы увѣряютъ себѣ тщетною прелестью, понеже бо овіи дворы строятъ въ нароженіе мѣсяца; иніи же храмины созидати начинаютъ въ наполненіе мѣсяца; иніи же въ тажь времена женитвы и посяганія учреждаютъ. И мнози баснословіемъ своимъ по тому-жъ мѣсячному гаданію и земная сѣмена насаждаютъ и многія плоды земныя устрояютъ"...

Звѣзды,—тоже, что и мѣсяцъ, оказываютъ, по увѣренію умудренныхъ жизненнымъ опытомъ домохозяевъ, вліяніе на урожай. Вотъ нѣкоторыя изъ пріурочиваемыхъ къ нимъ примѣтъ. Ясная звѣздная розсыпь въ ночь подъ Рождество, — изобильнаго урожая ягодъ да грибовъ поджидаютъ дѣвки красныя. Ярки звѣзды во всѣ святочныя ночи, — такъ и урожай хлѣбовъ будетъ добрый, и пчела – Божья работница – роиться хорошо станетъ, и гречиху дикушу сѣять можно безъ опаски передъ градомъ, и овцы ягниться примутся дружнѣе дружнаго. Яркая игра звѣздъ передъ яровымъ сѣвомъ – къ богатой яровинѣ. Во многихъ простонародныхъ поговоркахъ звѣзды зовутся небеснымъ стадомъ; а пастухомъ у нихъ – мѣсяцъ рогатый. „Мѣсяцъ, мѣсяцъ, серебряные твои рожки, золотыя твои ножки! Паси-береги овецъ моихъ, какъ пасешь-бережешь ярокъ небесныхъ – звѣзды частыя!" — можно и теперь еще услышать во многихъ поволжскихъ деревняхъ передъ первымъ выгономъ овецъ на пастбище весеннее, на траву-мураву на зеленую.

Среди пословицъ и всякихъ иныхъ памятниковъ народнаго слова, собранныхъ незабвеннымъ въ лѣтописяхъ русскаго народовѣдѣнія В. И. Далемъ [15]), встрѣчается много относя-

[15]) Владиміръ Ивановичъ Даль—котораго можно съ полной справедливостью назвать кладоискателемъ живого великорусскаго слова, былъ не русскимъ по происхожденію, но болѣе русскимъ по духу, чѣмъ многіе русскіе по крови. Онъ родился 10-го ноября 1801 года въ мѣстечкѣ Луганѣ, Славяносербскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, отъ отца-датчанина и матери—полунѣмки-полуфранцуженки. Будущій „Казакъ Луганскій" (псевдонимъ Даля) обучался сперва въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ, а затѣмъ—послѣ нѣсколькихъ лѣтъ морской службы—поступилъ на медицинскій факультетъ деритскаго университета, но курса не окончилъ, а въ 1829-мъ году, вслѣдствіе нужды во врачахъ по случаю русско-турецкой войны, былъ зачисленъ во вторую дѣйствующую армію. Еще съ 1819 года онъ началъ собирать матеріалы по изученію русскаго народнаго языка и быта. Въ 1830-мъ году появился въ „Московскомъ Телеграфѣ" первый печатный опытъ Вл. И—ча, въ 1832-мъ вышла книжка его „Русскія сказки. Первый пятокъ Казака Луганскаго", и съ этой поры онъ всецѣло отдался литературѣ и наукѣ народовѣдѣнія. Переѣзжая изъ одного конца Россіи въ другой — изъ Москвы въ Оренбургъ, изъ Оренбурга—въ Нижній-Новгородъ и

щагося къ свѣтиламъ темной ночи... Мѣсяцъ, по народному представленію, не то—что солнце, согрѣвающее цѣлый міръ, ростящее хлѣбъ въ полѣ и всякій плодъ земной; онъ—„свѣтитъ, да не грѣетъ, только напрасно у Бога хлѣбушко ѣстъ...“ Потому-то и приговариваетъ пахарь въ лунную ночь: „Какъ мѣсяцъ ни свѣти, а все не солнышко!“, „Грѣло-бъ красное солнышко, а мѣсяцъ—какъ себѣ знаетъ!“, „Свѣтило-бы солнце, а мѣсяцъ—даромъ!“...

Мастеръ нашъ русскій народъ примѣнять подсказанныя ему стародавнею старипой поговорки ко всякимъ случайностямъ своей несложной, нехитрой,—но и при этомъ далеко не всѣмъ стоящимъ всторонѣ отъ нея понятной,—жизни. „Какъ молодой мѣсяцъ покажется да и спрячется!“—говорятъ, напримѣръ, о рѣдкомъ гостѣ хлѣбосольные хозяева. „Пропалъ, какъ молодой мѣсяцъ!“—приговариваютъ другіе. „Свѣтилъ-бы мнѣ мѣсяцъ, а по частымъ звѣздамъ—коломъ бью!“—добавляютъ они къ сказанному, если имъ отвѣтятъ, что у нихъ—и такъ гостей много, всѣхъ-де и не переугощать!.. „Всю ночь собака пролаяла на мѣсяцъ, а мѣсяцъ того и не знаетъ!“—не въ бровь, а прямо въ самый глазъ, попадаетъ любящимъ сплетни-пересуды присловье, подслушанное на старой Волгѣ (въ Симбирской губерніи). Черезчуръ привередливыя красавицы, слишкомъ разборчивыя невѣсты получаютъ на свою долю особый, не очень-то приходящійся имъ по нраву, прибаутокъ: „Еще какого жениха захотѣла—во лбу мѣсяцъ, а въ затылкѣ ясны звѣзды?“.

Простонародныя примѣты, на которыя за послѣднее время обращаютъ вниманіе и ученые погодовѣды, даютъ не мало совѣтовъ сельскимъ хозяевамъ. Когда,—гласятъ онѣ,—мѣсяцъ народится на-полдень (внизъ) рогами, то—если это зимнее время—будетъ до самаго ущерба его стоять тепло, а если время лѣтнее—жара. Смотрятъ у молодого мѣсяца на-полночь (вверхъ) рога,—быть зимой холоду, а лѣтомъ—вѣтрамъ. Кверху подняты рога, да нижній-то покруче,—такъ первая половина мѣсяца будетъ либо морозная (зимой); либо (лѣтомъ)

т. д., онъ обогатилъ себя неисчерпаемой сокровищницею слова. Въ 1834—1839 годахъ появились: „Были и небылицы“, упрочившія его литературную извѣстность во времена Бѣлинскаго. Въ 1846-мъ году вышло собраніе „Сочиненій Казака Луганскаго“,въ 1853-мъ „Матросскіе досуги“, въ 1861-мъ „Картины русскаго быта“ и одновременно—„Полное собраніе сочиненій В. И. Даля“, а также—первый выпускъ его безсмертнаго труда, стяжавшаго ему навѣки признательность Россіи—„Словаря живаго великорусскаго языка“. Это четырехтомное изданіе, на которое Даль затратилъ 47 лѣтъ труда, выходило до 1867 года выпусками. Въ1862-мъ году были изданы собранныя имъ „Пословицы“ (до 37.000). Умеръ великій русскій народовѣдъ 22-го сентября 1872 года въ Москвѣ, гдѣ и похороненъ на Ваганьковомъ кладбищѣ.

ей вѣтеръ покоя не дастъ. А если нижній рогъ пологій,—переноситъ мужикъ примѣту на вторую половину мѣсяца. Крутые мѣсяцевы рога заставляютъ ожидать вёдра, пологіе—ненастья непогожаго. Задернутъ мѣсяцъ тусклою дымкой,—размокропогодится на дворѣ; а если смотритъ онъ во всѣ глаза на православныхъ,—и на мокромъ мѣстѣ сухо будетъ. Въ синевѣ мѣсяцъ—къ дождю, въ краснѣ—къ вѣтру, съ ушами—къ морозу. Если передъ новолуніемъ выдадутся ненастные деньки,—„молодой мѣсяцъ обмывается!“—говоритъ деревня. Въ Пермской губерніи примѣчаютъ, что, если праздникъ Крещенія Господня придется подъ полный мѣсяцъ, то сплошьда-рядомъ бываютъ по веснѣ большія полыя воды. Воронежцы запримѣтили, что—если „обглядится“ новый мѣсяцъ въ трое сутокъ, такъ до ущерба вёдро будетъ безъ перемѣны, а если съ новолунья три дня дождемъ небо плачется—не установится красной погодѣ вплоть до самаго конца мѣсяца.

Любитъ русскій народъ загадки загадывать. „Загану-ка я загадку, перекину черезъ грядку!“—приговариваетъ онъ, увѣренный въ томъ, что отъ загадки до разгадки—семь верстъ правды. „Синенька шубёнка покрыла весь міръ!“—загадываетъ онъ о небѣ. Мѣсяцъ представляется ему то „сивенькимъ жеребчикомъ“, глядящимъ черезъ прясло (Калужск. губ.), или „бѣлоголовой коровой“, смотрящей въ подворотню (Псковск. губ.), то медвѣдемъ, то „лысымъ мериномъ съ бѣлыми глазами“ (Симбирск. губ.). Въ симбирскихъ-же деревняхъ повторяютъ о немъ такую загадку: „Съ вечера сивый жеребецъ въ подворотню глядитъ, въ полночь жеребецъ черезъ кровлю бѣжитъ!“; въ самарскихъ—загадываютъ и такъ: „Маленькій, курбатенькій—всему міру свѣтъ!“, „За новымъ за дворомъ стоитъ чашка съ творогомъ!“ въ новгородскихъ—„Идетъ лѣсомъ—не треснетъ, идетъ полемъ—не плеснетъ!“ и т. д. „Надъ бабушкиной избушкой—хлѣба краюшка; хочетъ ѣсть старуха, тянется-потянется, а все не достать!“—загадываетъ народъ о мѣсяцѣ. „Кругло, а не мѣсяцъ; зелено, а не дубрава; съ хвостомъ, а не мышь?“—сыплетъ онъ вопросами, что изъ мѣшка трясетъ, а о разгадкѣ спросятъ, рѣпа — скажетъ.... По старинному повѣрью, въ концѣ каждаго земного мѣсяца Богъ свой небесный мѣсяцъ ножомъ рѣжетъ на звѣзды. „Оттого-то все ихъ и больше на небѣ!“—догадывается народная молвь. Ходитъ преданіе, что на лунѣ Каинъ—въ наказанье за первую пролитую на землѣ кровь—вѣки вѣчные убиваетъ Авеля. Смотрятъ деревенскіе простецы на мѣсяцъ, а мысли-то у нихъ сами собою такъ и перелетаютъ къ этому преданію. Есть говорятъ—и такой догадливый людъ, что все сбиваются на

томъ—кто именно кого убилъ: Каинъ—Авеля, или Авель—Каина. Впрочемъ, это уже относится тоже къ маловѣроятнымъ преданіямъ не только смѣтливой, но и смѣшливой, старины-матушки.

Звѣздное небо представляется глазамъ зоркаго пахаря „грамоткой", написанной по синему бархату. „Не прочесть этой грамотки,—говоритъ онъ,—ни попамъ, ни дьякамъ, ни умнымъ мужикамъ." А, между тѣмъ, для послѣднихъ-то, оказывается, эта грамотка является не совсѣмъ тайной, — недаромъ они съ поразительной для оторваннаго отъ природы горожанина точностью угадываютъ по расположенію звѣздъ время ночи. Ночное звѣздное небо – такіе-же безошибочновѣрные часы для деревенскаго путника, что и крикливый вѣстникъ полночи пѣтухъ –на дворѣ.

Не всѣ звѣзды для русскаго хлѣбороба одинаковы. Знаетъ онъ, что „звѣзда отъ звѣзды разнствуетъ во-славѣ", а потому и различаетъ если не всѣ, то хотя нѣкоторыя изъ жемчужинъ розсыпи звѣздной. Такъ, знаетъ онъ „Вечерницу"—первую вспыхивающую вечеромъ звѣзду, назоветъ и „Денницу"—позднѣе всѣхъ своихъ сестеръ погасающую на небѣ, только-только не встрѣчающуюся съ утреннею ранней зорькою.

На деревенской Руси, среди старожиловъ, всегда были—и теперь есть—свои самобытные звѣздочеты, знающіе не только звѣзды „блудячую" (планету) да „хвостатую" (комету), появляющуюся, по ихъ словамъ, не то къ войнѣ, не то къ голоду, или къ моровому повѣтрію, либо къ какому-нибудь другому народному бѣдствію, а различающіе почти всякое свѣтило въ звѣздномъ царствѣ, раскинувшемся по синему небу. Такъ, напримѣръ,—говорятъ они,—есть на свѣтѣ „Чигирь-звѣзда". Это—не что иное, какъ Венера науки о звѣздахъ. Чигирь-звѣзда предсказываетъ человѣку счастье и несчастье. Въ началѣ XIX-го столѣтія ходилъ на Руси въ спискахъ слѣдующій сказъ старинныхъ звѣздочетовъ объ этой звѣздѣ: „Сія бо звѣзда едина именемъ Чигирь есть межъ всѣми звѣздами, десять мѣстъ во всякомъ мѣсяцѣ имѣетъ, а по трижды приходитъ на всякое мѣсто коегождо мѣсяца. Сіе бо есть великая мудрость. Аще кто добрѣ гораздъ и разумѣетъ мѣсячному нарожденію, той видитъ и кій кругъ вѣдаетъ сія звѣзда Чигирь. Аще ѣхати, или идти куда, или селиться,—смотри, на которую сторону та звѣзда стоитъ: аще она станетъ противу, и ты противу ея не ѣзди никуды. Во дни первый, одиннадцатый и двадцать первый состоитъ Чигирь на востоцѣ, и ты храмины не ставь, на дворѣ главы своей не голи. Во дни вторый, двенадесятый и двадцать вторый стоитъ Чигирь межъ востокомъ и

полуднемъ, и..... рожденное будетъ курча и безплодно. Во дни третій, тринадцатый и двадцать третій стоитъ Чигирь на полдни, и ты въ тѣ дни въ полдни не купайся, въ баню не ходи: изойдешь лихомъ, или учинится переполохъ". Большая Медвѣдица слыветъ въ народной астрономіи за „Сажаръ" (или „Стожаръ") звѣзду. По этому созвѣздію совѣтуется охотникамъ выходить смѣло на всякаго дикаго звѣря, кромѣ одного только медвѣдя. Плеяды, по народному опредѣленію—„Утиное Гнѣздо"; Поясъ Оріона—„Кичаги", Арктическій Поясъ—„Желѣзное Колесо", Млечный Путь—„Становище". Три звѣзды, находящіяся подлѣ Млечнаго Пути, зовутся „Дѣвичьими Зорями". Падающія звѣзды, при видѣ которыхъ старые богобоязненные люди причитаютъ свое „Аминь, аминь! Разсыпься!", а молодые произносятъ завѣтныя желанія,—зовутся „Маньякомъ".

О „Дѣвичьихъ Зоряхъ" дошло до нашихъ дней старинное сказаніе. Жили-были,—гласитъ оно,—на бѣломъ свѣтѣ три сестры („родствомъ и дородствомъ—сестра въ сестру"). Жили онѣ въ одномъ дому, безъ отца-матери: „сами правили домомъ, сами пахали, сами хлѣбъ продавали". Проторяли къ сестрамъ дорожку свахи-сваты, да было имъ всѣмъ диво-дивное: „Придутъ къ воротамъ, ворота сами растворяются; пойдутъ къ избѣ—двери сами отойдутъ настежъ; взойдутъ въ избу—въ избѣ нѣтъ ни живого, не мертваго, какъ послѣ мора. Постоятъ, постоятъ, такъ и пойдутъ ни съ чѣмъ. Выйдутъ на улицу, посмотрятъ на окна, а у оконъ сидятъ три сестры вмѣстѣ, прядутъ одну кудель"... Стали всѣ за это считать трехъ сестеръ вѣдьмами; и надумали бабы-свахи сжить дѣвокъ со свѣту. Чего-чего только онѣ ни придумывали, лишь-бы загубить ихъ! Поджигали даже то городьбу у нихъ, то избу: и огонь не беретъ... По знахарямъ-вѣдунамъ хаживали: и тѣ ума не приложатъ, что̀ съ тремя сестрами сдѣлать! Увидали-подглядѣли однажды ночью зоркіе бабьи глаза, что летитъ поднебесьемъ Огненный Змѣй прямо къ дому ненавистныхъ имъ трехъ сестеръ: „полеталъ-полеталъ, да и прочь полетѣлъ: и Змѣй ихъ не беретъ!" Но вотъ—мало-ли, много-ли времени прошло: умерли сестры, всѣ сразу. Узнали объ этомъ свахи-бабы, пошли поглядѣть на покойницъ,—пошли, а самихъ страхъ беретъ: послали напередъ себя мужиковъ. Пошли, осѣнясь крестнымъ знаменіемъ, мужики, подошли къ городьбѣ,—„городьба разступилась на четыре стороны", подошли къ избѣ,—„изба разсыпалась въ мелкія щепки". Сказаніе заканчивается словами: „Тутъ-то мужики догадались, что тѣ три сестры были прокляты на-роду. Да и послѣ смерти имъ худое

житьё: досталось вѣкъ горѣть зорями. Вотъ ихъ уже немножко осталось: только три пятнышка"...

По дѣвичьей примѣтѣ, звѣзды падаютъ не только къ вѣтру, какъ говорятъ старые люди, а и къ дѣвичьей судьбѣ: въ какую сторону о Святкахъ звѣзда упадетъ, когда на нее смотритъ загадывающая дѣвушка,—въ той сторонѣ и „суженый" (женихъ) ея живетъ.

Не мало говорятъ о звѣздахъ и сельскія поговорки, каждая изъ которыхъ не мимо молвится. „Не считай звѣзды, а гляди подъ ноги: ничего не найдешь, такъ хоть не упадешь!"—замѣчаютъ разсѣянному человѣку—верхогляду, приговаривая: „Жить живи, да рѣшетомъ звѣздъ въ водѣ не лови!", „Часты звѣзды, ярки звѣзды, да разсыпчаты: сладки рѣчи, звонки рѣчи, да обманчивы!" и т. д. Простонародныя загадки говорятъ о звѣздахъ въ такихъ словахъ, какъ напримѣръ: „Разсыпался горохъ—на тысячи дорогъ!", „Полно корыто огурцовъ намыто!", „Вся дорожка осыпана горошкомъ!", „Поле (небо) не мѣряно, овцы (звѣзды) не считаны, пастухъ (мѣсяцъ) рогатый!".

Нельзя назвать особенно точными „астрономическія" наблюденія, вѣками слагавшіяся въ народной Руси; но всѣ они, но каждая пословица, каждое повѣрье о небесномъ мірѣ, говорятъ о томъ, что не однимъ только хлѣбомъ насущнымъ живъ нашъ народъ-пахарь, — хотя дума объ этомъ не легкó достающемся всякому трудящемуся человѣку даръ Божіемъ и не отходитъ отъ хлѣбороба до гробовой доски.

IV.

Огонь и вода.

Огонь и вода—двѣ враждебныхъ другъ другу, двѣ непримиримыхъ, хотя иногда и работающихъ одна на другую, стихіи. Русскій народъ, тороватый на красную рѣчь, не прошелъ мимо нихъ со своимъ живымъ, перелетающимъ изъ-вѣка въ-вѣкъ, словомъ. Есть у него про каждую изъ этихъ стихій наособицу и вмѣстѣ о нихъ обѣихъ свой сказъ, выразившійся во многомъ-множествѣ пестрыхъ пословицъ, загадокъ, повѣрій и преданій,—несмотря на всю враждебность—зачастую объединяющихъ обѣ эти могучихъ стихіи, по волѣ умудрённаго сѣдой стариною народа-сказателя.

Огонь, въ представленіи язычника древней Руси, являлся сыномъ Неба (Сварога), —почему и величали его въ тѣ, затонувшія во мракѣ вѣковъ, времена „Сварожичемъ", воздавая ему поклоненіе: „... и огневи молятся, зовутъ его Сварожичемъ...",—писалъ объ этомъ нѣкій Христолюбецъ. Позднѣйшее сказаніе, записанное въ „Памятникахъ отреченной литературы" (II,445),гласитъ о томъ, что произошелъ огонь отъ очей Божіихъ. „Како огонь зачася?" –вопрошается въ этомъ сказаніи.—„Архангелъ Михаилъ зазже огонь отъ зеница Господня и снесе на землю!"—дается отвѣтъ. Солнце принималось пращурами народа-пахаря, одухотворявшими всю видимую природу, за всевидящее око Творца. Такимъ образомъ, и по народному міровоззрѣнію, огонь является исходящимъ отъ прекраснаго свѣтила дня.

Вода,—какъ было уже сказано выше (см. гл. 1), —по стародавнему слову русскаго народа, доискивающагося до начала началъ вселенскихъ, представляется кровью земли.

„Огонь нисшелъ съ небеси“,—гласитъ благочестивая простодушная мудрость. „Воды небесныя поятъ землю“,—продолжаетъ она, приговаривая: „Огонь да вода—супостаты!“, „Вода—всему господинъ; воды и огонь боится!“ Даетъ мудрый тысячелѣтній опытъ народа добрый совѣтъ пахарю—„держаться за землю“, „дружиться съ землей“, но при этомъ совѣтѣ оговаривается: „Съ огнемъ не шути, съ водой не дружись, вѣтру не вѣрь!“, „Дружись съ землей: отъ земли вшелъ, земля кормитъ, въ землю пойдешь!“, „Огонь да вода—нужда да бѣда!“, „Огонь—царь, водица—царица, земля —матушка, небо-отецъ, вѣтеръ—господинъ, дождь—кормилецъ, солнце—князь, луна—княгиня“ и т. д.

По народному представленію, огонь надѣленъ необычайной силою-мочью, но вода—сильнѣе огня („земля—сильнѣе воды, человѣкъ—сильнѣе земли“). „Хороши въ батракахъ огонь да вода, а не дай имъ Богъ своимъ умомъ зажить!“—предостерегаетъ позднихъ потомковъ богатыря Микулы Селяниновича сѣдая старина. „Не топора бойся—огня!“—добавляетъ она: „Съ огнемъ, съ водою не поспоришь!“, „Огню да водѣ Богъ волю далъ!“, „Ходить у огня—обжечься, у воды—замочиться!“, „Воръ воруетъ—хоть стѣны оставитъ, огонь придетъ—и стѣны унесетъ!“

По образному русскому выраженію, огонь—„богатырь-воевода“, а вода—„сама себѣ царь“. Заберетъ силу вода, такъ ее,—приговариваетъ народная Русь,—„и Бѣлый Царь не уйметъ“... Отъ огня, по ея крылатому слову, вода ключомъ кипитъ, а водой и огонь заливаютъ. Вода—еще болѣе, чѣмъ огонь, опасная для неосторожныхъ людей стихія. „Водою мельница стоитъ, отъ воды и погибаетъ!“, „И тихая вода крутые берега подмываетъ!“, —гласятъ старинныя присловья: „Вода сама себя кроетъ, а берегъ—знай—роетъ!“, „Всегда жди лихой бѣды отъ большой воды!“ Объ этомъ-же приговариваетъ и такая поговорка, какъ: „Пришла бѣда, разлилась вода: переѣхать нельзя, а стоять не велятъ!“ Безвыходно-опасное положеніе, въ какое попадаютъ всѣ не внемлющіе опыту старыхъ, перешедшихъ поле жизни, людей, изображается на простонародномъ языкѣ выраженіемъ—„Изъ огня да въ полымя!“, или еще болѣе мѣткими: „Изъ огня да въ воду!“, „Только и ходу, что изъ воротъ да въ воду!“...

Огонь—огню рознь. Сердце памятливаго къ завѣтамъ стародавней поры народа-сказателя сохранило свои вѣщія преданія не только о небесномъ и земномъ огнѣ, но и о „живомъ“ (вытертомъ изъ дерева). Такъ и вода слыветъ, по этимъ преданіямъ, то живою, то мертвою. Небесный огонь (молнія) нис-

посылается на землю,—говоритъ народъ,—нѣспроста: имъ караетъ нераскаянныхъ грѣшниковъ правосудіе Божіе. Гасить пожаръ отъ грозы („Божій огонь“) потому-то и считается грѣхомъ. Древніе славяне, объединяя въ одну стихію небесный и земной огни, называли ихъ—подобно многимъ другимъ, ведущимъ свое родословное древо отъ одного и того-же арійскаго корня племенамъ—„водорожденными“ (сыновьями и внуками воды), ставя ихъ такимъ образомъ въ зависимое отъ нея положеніе. „Живому“ огню придается и теперь особая чудодѣйная сила. Въ стародавніе годы на Руси, какъ и у другихъ родичей-славянъ, было въ обычаѣ поддерживать на домашнемъ очагѣ неугасимое пламя, возженное отъ огня, добытаго изъ сухой сердцевины дерева. Это, по древнему вѣрованію, оберегало домъ отъ всякой бѣды и даже обезпечивало семьѣ мирную-счастливую жизнь. Въ глухихъ уголкахъ свѣтлорусскаго простора и до нашихъ дней еще кое-гдѣ сохранилось суевѣрно-благоговѣйное отношеніе къ такому, добываемому большаками семьи, огню.

Домашній очагъ считался встарину священнымъ. Въ огнѣ, поддерживавшемся на немъ, видѣли силу—не только дававшую человѣку тепло и пищу, но и отгонявшую отъ жилища всю нечисть, всякую болѣсть лютую. Очагъ былъ первымъ жертвенникомъ славянина-язычника; пылающее на немъ дерево—первой жертвою повелителю огней небесныхъ, Перуну-громовнику. Вокругъ очага собирались въ былую пору совѣщанія родичей. Выселяясь съ дѣдовскаго гнѣзда, молодые члены рода непремѣнно брали съ собою къ своему новому очагу горящіе уголья со стараго. Только это, по вѣрованію раннихъ предковъ современнаго пахаря, и могло сохранить родственныя связи. Если огонь на чьемъ-нибудь очагѣ погасалъ, это сулило суевѣрному воображенію всякія бѣды и слыло предвѣстникомъ вымиранія-угасанія семьи. Даже разсыпавшіяся съ очага дрова не обѣщали ничего добраго для хозяевъ. Плюнуть на очагъ почиталось за великій грѣхъ. Если кто-нибудь заливалъ водою чужой очагъ, это было выраженіемъ непримиримой вражды—на жизнь и смерть. Зола, взятая съ домашняго очага въ праздничные дни, служила—въ рукахъ главы семьи—цѣлебнымъ средствомъ: ею пользовали отъ самыхъ разнородныхъ болѣзней. Отправляясь въ далекій путь, древній славянинъ бралъ съ собою не только горсть родной земли,—какъ это наблюдается въ наши дни,—но и щепоть золы съ домашняго очага. Передъ пылающимъ очагомъ произносились заговоры. По колебанію его пламени предсказывалась судьба и угадывался будущій урожай. Гада-

ніе это исчезло изъ народной памяти, но еще до сихъ поръ можно услышать на Руси слова заговора въ-родѣ: „Ахти, мати бѣлая печь! Не знаешь ты себѣ ни скорби, ни болѣзни, ни щипоты, ни ломоты! Такъ и рабъ Божій (имя рекъ) не зналъ бы ни хитки, ни притки, ни уроковъ, ни призороковъ“.. Еще и теперь на малорусскомъ югѣ Россіи во многихъ деревняхъ сохранился обычай давать болящимъ выпить святой воды съ печной золою. Въ Курской губерніи, по свидѣтельству нѣсколькихъ изслѣдователей народной старины, печь замѣняетъ въ захолустныхъ уголкахъ аптеку. Передъ ея раскаленнымъ устьемъ ставятъ страдающихъ нервными болѣзнями („отъ испуга“); о край печи заставляютъ тереться шеей больныхъ горломъ; „отъ простуды“ больной бросаетъ въ пылающую печь найденный на берегу рѣки камень, бросаетъ—приговариваетъ: „Какъ камень на бережку у рѣки былъ сухъ, такъ бы у меня раба Божьяго (имя рекъ) ноги были сухи, не боялись ни стужи, ни морозу, ни мятелицы, и сколь онъ теперь горячъ, такъ будьте и вы, ноги, горячи!“ Чтобы предохранить новорожденнаго ребенка отъ „сглазу“, кума беретъ изъ печки уголь и, выйдя на перекрестокъ, перекидываетъ уголь черезъ себя. Въ Орловской губерніи подъ защиту очага отдаютъ и домашнихъ животныхъ, прикладывая напримѣръ, къ печи только-что появившихся на свѣтъ телятъ. Еще въ сороковыхъ годахъ, во многихъ коренныхъ великорусскихъ мѣстахъ было въ обычаѣ, возвращаясь съ похоронъ, непремѣнно дотрогиваться рукою до печи. Это должно было, по мнѣнію придерживавшихся такого обычая, предохранять отъ смерти „въ одночасье“. Знающіе „всю подноготную“ люди совѣтуютъ предохранять хлѣбныя скирды и стога сѣна отъ мышеяди не чѣмъ инымъ, какъ насыпаніемъ подъ нихъ—съ четырехъ сторонъ—золы отъ сожженныхъ на домашнемъ очагѣ клочковъ сѣна и хлѣбныхъ колосьевъ. Дотошныя бабы-хозяйки отъ порыздо времени выгребаютъ изъ печи золу и посыпаютъ ею полъ въ курятникѣ, думая, что отъ этого куры станутъ нестись лучше. Огородники, благословясь, раскидываютъ („отъ червя“) золу по грядкамъ, раздѣланнымъ подъ посадку капустной разсады. Есть мѣста, гдѣ принято подмѣшивать золы изъ очага въ первыя сѣмена ржи—„для оберегу отъ градобоя“.

Да и во многомъ-множествѣ иныхъ случаевъ житейскаго обихода возлагала простодушная старина надежды на помощь и покровительство своихъ благожелательныхъ-свѣтлыхъ духовъ, обитавшихъ въ домашнемъ очагѣ. Всѣ эти умилостивлявшіяся пламенемъ божества объединились впослѣдствіи въ од-

номъ живу́чемъ существѣ—Домовомъ (зовущемся также „хозяиномъ“ и „дѣдушкою домовитымъ“). При этомъ перевоплощеніи, вызванномъ рукою всесокрушающаго времени, яркій обликъ могущественнаго духа огня поблѣднѣлъ, растерявъ по путинѣ вѣковъ не малую долю своей силы-мощи. Даже самая память о немъ стала смутнымъ преданіемъ полузабытаго прошлаго, заслоненнаго отъ внутренняго міра современнаго пахаря туманной дымкою новыхъ наслоеній бытового суевѣрія. Пожалуй, даже не узнать въ теперешнемъ Домовомъ и отдаленнѣйшаго родича божества языческой Руси, — до того расплылись всѣ его когда-то рѣзко проступавшія черты при послѣдовательномъ многовѣковомъ видоизмѣненіи; до того размѣнялись на мелочи его стихійныя свойства и обязанности. Народъ даже выселилъ его изъ самаго очага, перенеся мѣстопребываніе стараго въ подпечекъ, — куда и обращаются въ подобающихъ случаяхъ со своими причетами-заклинаніями вѣдуны-знахари нашихъ дней.

Пытливый изслѣдователь воззрѣній славянъ на природу вызвалъ изъ туманнаго мрака забвенія безхитростный образъ этого заботливаго хранителя семейнаго очага. Домовой, въ его обрисовкѣ, самое старшее и почетное лицо въ семьѣ домохозяина, къ которой и принадлежитъ по восходящей линіи, какъ праотецъ (дѣдъ), положившій основаніе очагу и собранному подъ единый кровъ союзу родичей. Онъ, обыкновенно, носитъ хозяйскую одежду, но всякій разъ успѣваетъ положить ее на мѣсто, какъ только она понадобится большаку семьи. Онъ видитъ всякую мелочь, неустанно хлопочетъ и заботится, чтобы все было въ порядкѣ и наготовѣ, — здѣсь подсобитъ работнику, тамъ поправитъ его промахъ. Его хозяйскому глазу пріятенъ приплодъ всякой домашней животины; онъ не долюбливаетъ излишнихъ расходовъ и сердится за нихъ. Если ему житье по душѣ придется, то онъ служитъ домочадцамъ и зорко смотритъ за всѣмъ домомъ и дворомъ. Онъ сочувствуетъ каждой семейной радости, печалуется о каждомъ семейномъ горѣ. Онъ даже предупреждаетъ почтительно относящихся къ нему семьянъ о каждой грозящей имъ откуда бы то ни было опасности.

До сихъ поръ на старой-кондовòй Руси соблюдается еще не мало связанныхъ съ почитаніемъ домашняго очага обычаевъ свадебнаго обихода. Въ стародавніе-же годы ни одна невѣста не уходила передъ вѣнчаніемъ изъ родительскаго дома, не простившись съ его огнемъ. Прощаніе сопровождалось особыми обрядами, мало-по-малу исчезавшими изъ житейскаго обихода. При этомъ пѣлись подружками невѣсты и особыя

пѣсни-„огнянки“; но и отъ нихъ не дошло до нашихъ дней почти никакого слѣда. Передъ домомъ жениха невѣсту также встрѣчалъ огонь: выбѣгалъ навстрѣчу дружка съ горящей головнею изъ женихова очага въ рукахъ. „Какъ ты берегла огонь у отца-матери, такъ береги и въ мужниномъ домѣ!“— привѣтствовалъ онъ молодую, троекратно обѣгая вокругъ нея. Только успѣвала она вступить въ хату, какъ ее вели къ пылающему очагу и здѣсь осыпали тремя пригоршнями зерна,— въ знакъ того, что она присоединялась къ семьѣ и въ пожеланіе плодородія въ супружеской жизни. Съ этой минуты новобрачная поступала подъ покровительство свѣтлаго духа, присутствіе котораго въ домашнемъ очагѣ оберегало всю семью отъ „напрасной“ бѣды. Вечеромъ, послѣ пира-стола, молодуха снимала съ себя поясъ и бросала его на печь. Этимъ какъ-бы ввѣрялась вся брачная жизнь молодыхъ новожоновъ защитѣ домового. У сосѣдей великоросса-крестьянина, симбирскихъ чувашей, до сихъ поръ соблюдается перенятый отъ русскихъ старинный, утратившійся въ памяти народной Руси, обычай, состоящій въ томъ, что новобрачная, вступая впервые въ мужнинъ домъ, прежде всего земно кланяется печкѣ, а затѣмъ уже переходитъ къ выполненію другихъ обрядностей этого самаго торжественнаго для нея въ ея сѣренькой-будничной жизни дня.

Въ повседневномъ быту современнаго русскаго крестьянина можно насчитать многіе десятки такихъ случаевъ, въ которыхъ онъ, безсознательно пріобщаясь къ суевѣрію пращуровъ, обращается къ заступничеству позабытыхъ покровителей своего домашняго очага. Просматривая изслѣдованія нашихъ народовѣдовъ, то-и-дѣло наталкиваешься на доказательства этого. Такъ, напримѣръ, въ Курской губерніи еще недавно считали необходимымъ, приводя съ базара купленную корову, накормить ее въ первый разъ на печномъ заслонѣ. Во многихъ другихъ, даже и не смежныхъ, губерніяхъ, отправляя кого-нибудь изъ домашнихъ въ путь-дорогу, и теперь еще хозяйки-большухи открываютъ заслонку и распахиваютъ избную дверь—съ тѣмъ, чтобы теплое вѣяніе очага слѣдовало за путникомъ, оберегая его на чужой сторонкѣ и непрестанно напоминая ему о родной семьѣ, заботящейся-печалующейся объ отсутствующемъ. Есть мѣста, гдѣ во время первой грозы разводятъ въ печи огонь, какъ-бы призывая этимъ покровителя земного огня на-помочь противъ огня небеснаго. Это—уже несомнѣнный пережитокъ древняго умилостивительнаго безкровнаго жертвоприношенія Перуну-громовнику. Какъ на одинъ изъ соблюдающихся повсемѣстно обычаевъ бла-

гочестивой народной старины, можно указать на обыкновеніе креститься при зажиганіи въ хатѣ перваго вечерняго огня. Гасятъ огонь придерживающіеся дѣдовскихъ завѣтовъ старые люди тоже съ крестнымъ знаменіемъ. Нѣкоторые строгіе блюстители обрядовой стороны жизни принимаютъ за немалый грѣхъ погасить огонь безъ надлежащаго благоговѣнія. Разводя огонь въ печи, бѣлоруссы соблюдаютъ молчаніе и остерегаются оглядываться. Если-же не соблюсти, по ихъ словамъ, этого обычая, то не диво—если въ тотъ-же день случится въ домѣ пожаръ. Въ тверской округѣ записанъ обычай гнать отъ сосѣдей какъ можно дальше того домохозяина, у котораго загорится хата: иначе карающій его гнѣвъ Божій послѣдуетъ за нимъ, и пламя охватитъ тотъ домъ, куда онъ войдетъ, или даже къ которому подойдетъ. Черниговцы встарину обносили вокругъ пожарища не только святыя иконы, но и хлѣбъ-соль. Нельзя не видѣть въ этомъ обычаѣ опять-таки упомянутаго выше пережитка. Въ волынскомъ краю бабы выносятъ въ подобномъ случаѣ накрытый чистымъ столешникомъ столъ, ставятъ на него святую воду, кладутъ обокъ съ нею хлѣбъ-соль и ходятъ съ этимъ столомъ вокругъ горящаго дома,—ходючи, сами голосомъ голосятъ:

„Ой, ты, огню пожаданый,
Изъ неба намъ зосланый!
Не расходься ты, якъ дымъ,
Бо такъ приказавъ тобѣ Божій Сынъ!“

Подслушанъ собирателями памятниковъ народнаго слова въ тѣхъ-же обильныхъ сказаніями мѣстахъ и другой разносказъ этого причета: „Витаю тебе, гостю! Замовляю тебе, гостю! Іорданскою водою заливаю тебѣ, гостю! Пришелъ Господь въ міръ—міръ его не познавъ, а святый огонь слугою своимъ назвавъ; Господь на небо вознесся, за Господомъ и слуга святый огонь понесся!“

Суевѣрная душа обитателя глухихъ-захолустныхъ уголковъ подсказываетъ иногда ему, что въ пожарѣ бываетъ виноватъ разгнѣванный хозяевами покровитель домашняго очага. Такъ жестоко мститъ онъ, старый, только за самыя тяжкія нанесенныя ему обиды. Во избѣжаніе такой бѣды, чуть не разоряющей въ концъ и самаго хозяйственнаго крестьянина, а бѣдняка пускающей со всею семьей по́-міру, соблюдается у бѣлоруссовъ особый обычай угощенія Домового, охраняющаго за это не только отъ пожара, но и ото всякой другой Божьей немилости. Въ Симбирской и сосѣднихъ съ нею поволжскихъ губерніяхъ повсюду строго соблюдается обыкно-

веніе обжигать первыя брёвна каждаго новостроящагося дома. Это, по увѣренію плотниковъ, должно предохранять отъ грознаго посѣщенія „краснаго пѣтуха“.

Въ стародавніе годы справлялся на Руси цѣлый рядъ особыхъ праздниковъ, связанныхъ съ обожествленіемъ огня и воды. Яркіе пережитки ихъ до сихъ поръ почти повсемѣстно сохранились въ обычаяхъ, пріурочивающихся къ Семику, ко Всесвятской (Ярилиной) недѣлѣ, къ Ивану-Купалѣ, къ Ильину дню и нѣкоторымъ другимъ днямъ мѣсяцеслова.

Тороватый на красное словцо да на присловье крылатое, русскій хлѣборобъ-простота сыплетъ направо и налѣво и на всѣ стороны свѣта бѣлаго мѣткими пословицами-поговорками объ огнѣ и водѣ, зачастую примѣняя ихъ къ опредѣленію всевозможныхъ явленій жизни. „Сѣну съ огнемъ не улежаться!“—говоритъ онъ о неподходящихъ другъ къ другу мужѣ съ женой,—приговаривая: „Солома, съ огнемъ не дружись!“, „Мужикъ-то съ огнемъ, а жена—съ водой!“, „Не съ огнемъ къ пожару соваться!“ и т. д Неправедно нажитую прибыль зоветъ народъ огнемъ, поясняючи при этомъ: „Набилъ чужимъ достаткомъ мошну, берегись—обожжешься!“, „Краденая деньга—огонь, какъ-разъ съ ней сгоришь!“, „У бѣднаго отнять—огонь въ дому держать!“. Приглядывается простодушная мудрость народная къ расточающему свое добро нехозяйственному человѣку, а сама сѣдой головою покачиваетъ, глядючи, какъ онъ не къ себѣ въ домъ, а все изъ дому, тащитъ. „Глупому сыну не въ помощь богатство“,—говоритъ она,—„у него все, какъ на огнѣ, горитъ, какъ по водѣ—плыветъ!“, „Моту денегъ подарить—что въ огонь кинуть, что на воду пустить!“. Такъ и зоветъ-величаетъ она расточившихъ-промотавшихъ свое добро-богатство „прогорѣлыми“. „Какъ огнемъ обхватило!“—замѣчаетъ народъ о нагрянувшей на кого-либо бѣдѣ-напасти: „Попалъ промежъ двухъ огней!“, „Огонь—не вода, охватитъ—не всплывешь!“ О неосмотрительныхъ, семь разъ не примѣрявъ—хватающихся порой и не за свое дѣло, людяхъ также есть свое слово у посельщины-деревеньщины, отъ поколѣнія къ поколѣнію передающей красныя рѣчи. „Дѣлать, что огонь—такъ и съ дѣломъ-то въ огонь!“, „Скоро огонь горитъ да вода бѣжитъ!“, „Не хватай картошку изъ огня—обожжешься, не пей кипятку—обваришься!“—наставляетъ она торопливый людъ. Любитъ краснословъ-пахарь побалагурить: ради краснаго словца—не щадитъ онъ порою матери-отца; но правда-истина для него всего дороже. Недаромъ сложилось о ней у его дѣдовъ-прадѣдовъ такое слово, какъ: „Правда („праведное“ - по иному разносказу) на огнѣ

не сгоритъ, на водѣ не потонетъ". Въ этой поговоркѣ слышится явный отголосокъ воспоминанія о совершавшихся въ старую старь на Святой Руси,—да и не только на ней, а и въ другихъ земляхъ,—„судахъ Божіихъ" (испытаніяхъ виновныхъ и правыхъ огнемъ и водою).

„Суды Божіи" велись на Руси съ незапамятныхъ временъ. Еще Перунъ-громовникъ, грозный повелитель огней небесныхъ и дожденосныхъ тучъ, призывался въ свидѣтели-судьи ихъ. Каратель злой нечисти, переходившей пути-дороги труду народа-пахаря, онъ являлся и бичомъ людскихъ пороковъ и преступленій. Огню и водѣ, этимъ находившимся подъ его властью стихіямъ, придавалась сила обличенія лжи. Потому-то и обращались наши отдаленнѣйшіе предки въ затруднительныхъ случаяхъ къ ихъ нелицепріятному посредничеству. Какъ и у другихъ сосѣднихъ народовъ—не только славянъ, а и нѣмцевъ,—огненное испытаніе виновности и правоты подсудимыхъ производилось въ древней Руси такимъ образомъ. Обвиняемый долженъ былъ пройти голыми ногами по раскаленному желѣзу: народъ вѣрилъ, что въ случаѣ невиновности, всякій человѣкъ сдѣлаетъ это безъ вреда для себя. Судимый водою долженъ былъ или достать камень со дна котла съ кипящей водою, или войти въ рѣку въ самомъ широкомъ мѣстѣ ея и плыть къ другому берегу. Виноватаго должна была утопить, въ послѣднемъ случаѣ, сама его кривда. Зачастую бывало такъ, что обвиняемые, страшась кары небесной, сознавались въ своихъ провинностяхъ и соглашались лучше нести наказаніе отъ судей земныхъ, чѣмъ погибнуть отъ суда Божія. Впослѣдствіи, съ теченіемъ времени, испытаніе стало производиться болѣе легкимъ способомъ—бросаніемъ на воду жребіевъ, по которымъ и рѣшался судъ. Слѣды существованія „судовъ Божіихъ" на Руси сохранились какъ въ нѣкоторыхъ памятникахъ древнерусской письменности, („Русская Правда"[16]) и др.), такъ и въ изустномъ народномъ пѣсенномъ словѣ, занесенномъ на скрижали исторіи литературы „калитами"-народовѣдами. Въ захолустныхъ уголкахъ сѣверовосточнаго края и до сихъ поръ еще кое-гдѣ прибѣгаютъ къ подобію Божьяго суда: заставляютъ заподозрѣнныхъ въ кражѣ цѣловать дуло заряженнаго ружья, даютъ двоимъ тяжущимся заж-

[16]) „Русская Правда"—историческій сборникъ, открытый историкомъ В. Н. Татищевымъ въ 1738-мъ году въ спискѣ Новогородской лѣтописи, писанномъ въ концѣ XV вѣка. Издана она была въ 1767-мъ году и носитъ заглавіе: „Правда Русская, данная въ XI вѣкѣ отъ великихъ Князей Ярослава Владиміровича и сына его Изяслава Ярославича". Этотъ памятникъ—важнѣйшій источникъ для изученія древнерусскаго права.

женныя лучины одинаковой величины и слѣдятъ: чья сгоритъ раньше, тотъ и считается обвиненнымъ. Какихъ-нибудь шестьдесятъ-семьдесятъ лѣтъ тому назадъ были, по сосѣдству съ чувашской или мордовской округою, и такія русскія деревни, гдѣ существовалъ обычай бросать въ мельничный прудъ старыхъ бабъ, заподозрѣнныхъ въ колдовствѣ. Если брошенная начинала идти ко дну, это считалось ея оправданіемъ, и ее спѣшили спасти, а если не тонула, то признавалась за вѣдьму—виновницу какой-либо „напущенной“ на деревню бѣды. „Вѣдьму-колдунью вода не принимаетъ!“—можно и теперь слышать отголосокъ этого обычая въ народной крылатой молви.

Вознося правду-матушку на недосягаемую для кривды высоту могущества, эта молвь не прочь оговорить самоѐ-себя поговорками въ-родѣ: „Правда-то правдой, а и про милость не забудь!“, „На правду напирай, да часомъ и помилуй!“, „Милость надъ грѣхомъ—что вода надъ огнемъ!“. Въ этихъ и имъ подобныхъ словахъ явственно сказалась неисчерпаемая доброта сердца народнаго, и сквозь закорузлую оболочку свою блещущаго чистымъ золотомъ. „Гдѣ огонь—тамъ и дымъ!“, „Не бывать дыму безъ огня!“—замѣчаютъ умудренные жизнью старые люди объ идущей про кого-нибудь худой молвѣ-славѣ. „Не огонь желѣзо калитъ, а мѣхъ!“—оговариваютъ они надѣющагося только на одну свою силу неискуснаго работника.

Трудъ упорный, потовой трудъ, всегда поведетъ въ хату достатокъ, если жить съ умомъ да о Богѣ не забывать,—думаетъ народная Русь тысячелѣтнюю думу. „Гдѣ вода была, тамъ и будетъ; куда деньга́ пошла, тамъ и копится!“—поучаетъ она только еще выходящихъ на поле жизни: „Ручей поитъ рѣчку, рѣка поитъ море, море—окіянъ-море; трудъ копѣйку ведетъ, копѣйка рубль бережетъ, не мѣняй бережоный рубль—дѣтей-внуковъ накормишь досыта!“. Но не всякій разъ прислушивается къ старой воркотнѣ да на усъ мотаетъ молодежь,—отъ нея не диво услыхать въ отвѣтъ и такую отповѣдь: „Пора придетъ—вода пойдетъ!“, „Что̀ копить—не два̀ вѣка жить!“, „Руки будутъ—деньги будутъ; всей воды не выпьешь, всей казны въ карманъ не уложишь!“. Такіе безпечные вѣтрогоны и слушать даже не станутъ умудренныхъ опытомъ стариковскихъ рѣчей, что-де: „Ждать воды—не бѣда, да пришла-бы вода!“.

Любитъ деревня тѣхъ за ухватку, кто на бѣломъ свѣтѣ живетъ — не тужитъ: знай работаетъ за троихъ и хоть не въ красной одежинѣ ходитъ, не сладко ѣстъ, да не только на судьбу не жалуется, а еще самъ надъ собой смѣхи строитъ,

прибаутками сердце тѣшитъ. „Хлѣбъ да вода—молодецкая ѣда!“, „Сытъ крупицей, пьянъ—водицей!“, „Богато живемъ—съ плота воду пьемъ!“, „Хлѣбъ съ водою, да не пирогъ съ лихвою!“, „Пей ты водку, а я воду; ты покраснѣешь, а я пьянъ буду!“... Да мало-ли наберется и другихъ такихъ пословицъ-поговорокъ, готовыхъ летать изъ конца въ конецъ по неоглядной родинѣ пахаря!.. До чего ни коснись, на всякое дѣло у него найдется слово, а то и цѣлый коробъ... „У князя были, да воду пили!“—ведетъ онъ разсказъ про скупыхъ хозяевъ, не тороватыхъ на угощенье. „Хоть на водѣ, да на сковородѣ!“—киваетъ онъ въ сторону привычныхъ къ нескромнымъ замашкамъ, живущихъ напоказъ. „Воду толочь—вода и будетъ!“—смѣется онъ надъ непонятливыми слушателями, которымъ надо каждое слово разъяснять-разжовывать да въ ротъ класть: „Отъ воды навару не будетъ, отъ безтолочи—толку!“. „Спроси его: отчего ты глупъ?—У насъ, скажетъ, вода такая!“. Не щадитъ народъ ни друга, ни ворога, не помилуетъ на словахъ и самого-себя. „Міръ силенъ—какъ вода, а глупъ—что дитя!“—говоритъ онъ о сельскихъ сходкахъ, гдѣ крикуны-гàлманы верхъ привыкли надо всѣми брать: „Міръ, что вода—пошумитъ да и разойдется!“, „Народъ, какъ вода на начовкахъ, переливается!“ и т. д. „Послѣ пожара да за водой!“—говорятъ въ деревнѣ о тѣхъ, кто ужъ слишкомъ заднимъ умомъ крѣпòнекъ; „Бросай барышъ съ камнемъ въ воду!“—о дѣлѣ, за которое не стоитъ и браться; „Вода съ водой—не гора съ горой: сольется!“—о задумывающихся надъ однимъ и тѣмъ-же, подходящихъ другъ къ другу людяхъ; „По которой рѣкѣ плыть, ту ему и воду пить!“—о подлаживаніи къ тому, съ кѣмъ ведется дѣло.

Про оборотистаго мужика, которому все неладное съ рукъ сходитъ, пущено гулять по народной Руси не мало такихъ крылатыхъ словецъ, какъ: „Ему и бѣда, что съ гуся—вода!“, „Онъ изъ воды сухой выйдетъ!“, „Сблудилъ-своровалъ и концы въ воду!“, „Его ремесло по водѣ пошло, по водѣ пошло—водой снесло!“. Скрытные, не любящіе многословныхъ рѣчей люди получили на свою долю такое мѣткое опредѣленіе: „Нашъ молчанъ воды въ ротъ набралъ!“ О тѣхъ, кому не слѣдъ довѣряться, вылетѣли изъ устъ народной мудрости слова: „У него правда на водѣ вилами писана!“, „Ему повѣрить—что по водѣ на камнѣ поплыть!“, „Слова съ языка—какъ вода съ гуська!“ и т. п. „Подъ лежачъ камень и вода не течетъ!“—говорится о лежебокахъ, дожидающихся, что хлѣбъ къ нимъ самъ въ руки придетъ. „Быль—что камень на шеѣ, небылица—проточная водица!“, „Былое—травой ноги оплетаетъ, нѣ-

быль—прибылой водой сбѣгаетъ!", „Чужую бѣду на водѣ разведу, а къ своей—ума не приложу!",—кончаетъ питающійся отъ щедротъ земли-кормилицы народъ-сказатель, не скупящійся на красныя да на мѣткія, не въ бровь, а въ глазъ, попадающія, рѣчи. Идетъ онъ по путинѣ вѣковъ, засѣваетъ молвью словесную ниву; всходятъ рѣчи, словами колосятся, присловьями наливаются,—чтобы снова попасть въ кошницу къ новымъ сѣятелямъ, зазвенѣть новыми, вырощенными народной былью, рѣчами. Ужъ разъ вылетѣла такая рѣчь-молвь на вольный просторъ, не попасть ей въ рѣку забвенія, не сплыть по водѣ безъ слѣда, не кануть камнемъ кѣ-дну—пойдетъ она гулять по Святой Руси, гулять—силы нагуливать, слово словомъ плодить...

Оставили свой слѣдъ два искóнныхъ врага—огонь да вода—и въ сокровищницѣ русскихъ народныхъ загадокъ. „Что безъ огня горитъ, безъ крылъ летитъ, безъ ногъ бѣжитъ?"—спрашиваетъ загадка.—„Солнце, тучи да рѣки быстрыя!"—отвѣчаетъ разгадка. „Въ водѣ я родилась, огнемъ покормилась!"—подаетъ голосъ соль—сестра хлѣба насущнаго. „Я не самъ по себѣ, а сильнѣе всего и страшнѣе всего, и всѣ любятъ меня и всѣ губятъ меня!"—заявляетъ тотъ богатырь, которымъ „покормилась" дражайшая половина хлѣба-соли. „Ни въ огнѣ не горю, ни въ водѣ не тону!"—слышится новое слово: ледъ говоритъ. Кончается день, заволакивается небо тьмою-сумракомъ, наступаетъ ночь. Смотритъ народъ, а самъ приговариваетъ: „Безсмертная овечка въ огнѣ горитъ!" А огонь—ужъ тутъ-какъ-тутъ—въ его памяти: „Въ камнѣ спалъ, по желѣзу всталъ, по дереву пошелъ, какъ соколъ полетѣлъ!"—вспоминается пахарю крылатое слово. „Чего изъ избы не вытащишь?",—спрашиваютъ охотники до загадокъ.—„Печку!"—слѣдомъ разгадка идетъ. „Чего въ избѣ не видно?"—„Тепла". Въ Псковской губерніи загадываютъ про печь по иному: „Стоитъ баба въ углу, а ротъ на боку!"; въ Новгородской—на свой ладъ: „По сторону бѣлецъ, по другую бѣлецъ, посединѣ чернецъ!"; у вологжанъ—въ томъ-же родѣ: „Два бѣлыша ведутъ черныша!"; „Сидитъ барыня въ амбарѣ—не свезешь ее на парѣ!"—приговариваютъ симбирскіе загадчики. О печномъ заслонѣ летаютъ по народной Руси свои загадки. „Мать Софья день сохнетъ, а ночью издохнетъ!" (Псковск. губ.), „Двое парятся, третій толкается; когда открывается, вся сласть подымается!" (Самарск. губ.)—наиболѣе цвѣтистыя изъ нихъ. „Мать толста, дочь красна, сынъ храбёръ—въ поднебесье ушелъ!" („...сынъ кудреватъ—по поднебесью летатъ!"), загадываютъ про печной дымъ бабы-олош-

ки съ мужиками-олончанами. Въ Курской губерніи ходитъ такая-же загадка, но съ видоизмѣненнымъ концомъ: „сынъ голенастъ, выгибаться гораздъ“... „Отецъ (огонь) еще не родился, а сынъ (дымъ) ужъ въ лѣсъ ходитъ!“—говорятъ псковичи, добавляя къ этому: „Зыблется, гиблется, а на землю не свалится!“, „Кумово мотовило подъ небеса уходило!“ По тѣмъ мѣстамъ, гдѣ еще есть черныя-курныя избы, загадываетъ деревенскій людъ-краснословъ про дымъ по другому: „Черна кошка, хмыль въ окошко!“ (Симбирск. губ.), „Ходитъ Хамъ по лавкѣ въ Хаминой рубашкѣ. Хамъ, иди вонъ!“ (Самарск. губ.) и т. д. „Что кверху корнемъ растетъ?“ —загадывается о сажѣ въ трубѣ; „Полна коробушка золотыхъ воробушковъ!“ —о печной загнеткѣ (или: „Полонъ сусѣкъ красныхъ яичекъ!“); „Ниже верху, выше печи, грѣетъ плечи!“—о полатяхъ; „Ударю я булатомъ по бѣлокаменнымъ палатамъ, выйдетъ княгиня, сядетъ на перину!“—объ огнивѣ, кремнѣ, искрѣ и трутѣ. Про самый огонь говорятъ и такъ: „Безъ рукъ, безъ ногъ, а на гору ползетъ!“, „Красный кочетъ дыру точитъ!“, „Дрожитъ свинка, золота щетинка!“ О горящей лучинѣ-лучинушкѣ березовой сложились загадки: „Красный пѣтушокъ по жердочкѣ бѣжитъ!“ (Рязанск. губ.), „Бѣжитъ кошка по брусочку, кладетъ кошка по кусочку!“ (Самарск. губ.), „Бѣлое ѣстъ, черное роняетъ!“ (Новгородск. губ.) и т. п. Свѣча, по словамъ загадокъ, является „столбомъ“, горящимъ безъ углей; свѣтецъ съ зажженной лучиною представляется „старцемъ“, который стоитъ, „тюрю ѣстъ и подъ себя мнетъ.“ О немъ-же говорится „Стоитъ Ермошка на одной ножкѣ, крошитъ крошонки—ни себѣ, ни жонкѣ!“.

Существуетъ на Руси сказаніе о сотвореніи земныхъ морей, озеръ и рѣкъ. Когда Богъ сотворилъ землю,—гласитъ оно,—повелѣлъ Онъ идти ливню-дождю. Полилъ дождь. Воззвалъ Творецъ къ птицамъ, далъ имъ дѣло—разносить воду во всѣ стороны свѣта бѣлаго. Налетѣли птицы—желѣзные нѡсы (олицетвореніе весеннихъ грозъ)—и стали исполнять повелѣніе Создавшаго ихъ. И наполнились водою всѣ овраги, всѣ котловины, всѣ рытвины земли. „Отсюда и всѣ воды пошли“,—заканчивается сказъ. По иному разносказу, дополняется онъ еще тѣмъ, какъ одна птичка изо всей птаствы отказалась повиноваться Творцу. „Мнѣ не нужны ни озера, ни рѣки, — сказала она, — я и на камушкѣ напьюсь!“ Воспылалъ на птичку малую великимъ гнѣвомъ Господь и запретилъ ей и всему ея роду-потомству на вѣки вѣчные даже и подлетать къ рѣкамъ и другимъ вмѣстилищамъ водъ земныхъ; вышло ей позволеніе утолять жажду одной

дождевою водой. И летаетъ въ засуху эта птичка съ крикомъ—„Пить-пить!“

Въ духовномъ стихѣ о „Голубиной Книгѣ“ созданіе рѣкъ, ручьевъ и родниковъ приписывается „звѣрю-Индрику“, который, двигаясь съ мѣста на мѣсто въ подземныхъ нѣдрахъ, роетъ въ землѣ отдушины къ окіянъ-морю. О немъ такъ и сказано тамъ:

„Куда звѣрь пройдетъ,
Туда ключъ кипитъ!“

Издревле у русскаго народа и у всѣхъ его родичей, славянъ, находятся въ большомъ почитаніи ключи-родники, выбивающіе изъ горныхъ каменныхъ пластовъ. Возникновеніе ихъ относится къ ударамъ огненныхъ стрѣлъ Ильи-пророка (молніи), почему и слывутъ они гремячими да святыми. Надъ такими родниками—въ обычаѣ устраивать часовни, ставить кресты. Къ нимъ въ праздники, а также во время бездождія, совершаются крестные ходы. Въ Симбирской губерніи (въ Карсунскомъ и Симбирскомъ уѣздахъ) еще недавно—двадцать-тридцать лѣтъ назадъ—богомольныя старухи-черницы шли въ засушливую вёсну къ священнику и просили благословить „идти на гремячій“. Затѣмъ, онѣ подходили къ роднику и по близости отъ него принимались копать землю. Если имъ удавалось дорыться до новой водяной „жилы“, это считалось за признакъ того, что Богъ смиловался надъ хлѣборобами, и скоро пойдетъ дождь. Онѣ возвращались домой и шли по селу, сопровождаемыя дробнымъ припѣвомъ веселой, припрыгивающей точь-въ точь по воробьиному, дѣтворы:

„Дождикъ дождикъ, пуще!
Дамъ тебѣ я гущи!
Ужъ ты, дождь—дождемъ!
Поливай ведромъ
На дѣдкину рожь,
На бабкину полбу!“ и т. д.

Водѣ съ незапамятныхъ временъ придавалась въ народной Руси сила плодородія. Древній славянинъ-язычникъ видѣлъ въ дождѣ источникъ урожаевъ, изливаемый облачною дожденосной дѣвою, вступавшею въ брачный союзъ съ богомъ-громовникомъ. Отъ дождевой воды силу плодородія народъ перенесъ и на рѣки, и на ручьи. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, еще въ тридцатыхъ годахъ, соблюдался обычай молиться надъ родниками,—хотя-бы тамъ и не было поставлено ни креста, ни часовни. Встарину-же, когда русскіе похищали („умыкали“)

себѣ невѣстъ, достаточно было объѣхать поѣзду трижды вокругъ озера, чтобы это считалось равносильнымъ вѣнчанію. И теперь еще въ мѣстахъ, гдѣ древнее суевѣріе держится особенно прочно, женихъ съ невѣстой клянутся надъ колодцами въ будущей вѣрности другъ другу. Противъ такого почитанія воды возставали еще въ XII—XIII столѣтіяхъ наши церковные писатели. „И се слышахомъ,“—писалъ одинъ изъ нихъ, митрополитъ Кириллъ, [17])—„въ предѣлахъ новгородскихъ невѣсты водятъ къ водѣ и нынѣ не велимъ тому тако быти, или то проклинать повелѣваемъ“... Но сѣдая старина держалась и держится слишкомъ крѣпко своими цѣпкими корнями за жизнь народа-пахаря,—чтобы ее можно было оторвать какими-либо запретами. Время вѣрнѣе дѣлаетъ свое разрушительно-созидательное дѣло...

Вода, какъ и огонь, всегда казалась надѣленною цѣлительной силою. „Вода очищаетъ отъ всего нечистаго, огонь пожираетъ всякую нечисть!“—говоритъ простонародная мудрость устами старыхъ людей. Отъ какихъ только болѣзней не пользуютъ водою деревенскія лѣчейки и въ наши дни! И въ этомъ случаѣ водѣ г р е м я ч а г о ключа приписывается наибольшее значеніе. „Помогаетъ“, по словамъ знающихъ опытныхъ вѣдуновъ, и дождевая вода. Даетъ помогу и вода, натаянная изъ снѣга, особенно—собраннаго въ мартѣ-мѣсяцѣ. Если берутъ для больного воду изъ проточнаго мѣста, изъ рѣки, то никогда не зачерпнутъ противъ теченія. „Матушка-вода!“—гласитъ наговорное слово: „ обмываешь ты круты берега, желты пески, бѣлъ-горючъ камень своей быстриной и золотой струей... Обмой-ка ты съ раба Божія (имя рекъ) всѣ хитки, всѣ притки, уроки и призоры, скорби и болѣзни, щипоты и ломоты, злу худобу; понеси-ка ихъ, матушка быстра рѣка, своей быстриной—золотой струей во чистое поле, на синее море, за топучія грязи, за зыбучія болота, за сосновый лѣсъ, за осиновый тынъ!“

Вѣщая сила, каковою надѣлила воду народная старина, заставляетъ прибѣгать къ ней съ гаданьями, и до сихъ поръ не утрачивающими смысла въ посельскомъ быту. Гадающіе смотрятъ въ воду, угадывая судьбу по движенію струекъ;

---

[17]) К и р и л л ъ—митрополитъ кіево-владимірскій, бывшій холмскій епископъ, избранный въ 1250-мъ году въ главы Русской Церкви послѣ разгрома Кіева татарами. Онъ учредилъ нѣсколько новыхъ епархій: ростовскую, сарскую и др. Въ 1274-мъ году имъ созванъ во Владимірѣ соборъ, на которомъ было постановлено 13 правилъ о церковныхъ дѣлахъ и объ исправленіи духовенства. Онъ скончался въ 1280-мъ году въ Переяславлѣ.

слушаютъ воду, опредѣляя предсказаніе по шуму ея; бросаютъ на̀ воду разные предметы.

Какъ у домашняго очага живетъ Домовой, такъ и въ каждой рѣкѣ, въ каждомъ озерѣ—Водяной. О немъ создано суевѣрнымъ народнымъ воображеніемъ не мало всякихъ сказаній, по которымъ еще и теперь можно угадать отдаленное происхожденіе его отъ языческаго Даждьбога. Отъ него зависитъ, по представленію народа, „задерживать дожди“. Потому-то и воздаетъ ему пахарь-хлѣборобъ всяческое почтеніе, умилостивляя его посильными дарами, величая, какъ и Домового, „дѣдушкою“. Вода—его царство, гдѣ онъ властенъ сдѣлать всё, что̀ захочетъ. Подъ его властью не только рыбы, но и русалки (дѣвы подводныя),—не только все, что живетъ въ водѣ, но и все—что къ ней приближается. Всѣ, кому приходится жить дарами воды (рыбаки, мельники, лодочники),—должны быть съ нимъ въ мирѣ. Памятующимъ это онъ оказываетъ всякое покровительство: бережетъ пловцовъ, посылаетъ добрый уловъ, смотритъ за неводами, слѣдитъ за уровнемъ воды въ пруду и т. д. Но—„бѣда тому, кто затѣетъ съ нимъ ссору!“—предостерегаютъ старые люди молодежь, все рѣже и рѣже вспоминающую про завѣты сѣдой старины.

V.

Сине море.

Хотя русскій народъ въ старину стародавнюю и не былъ прирожденнымъ обитателемъ поморья, но какъ съ самимъ моремъ, такъ и со всѣмъ заморскимъ, связано въ его тысячелѣтней памяти не мало всякихъ сказаній, повѣрій и цвѣтистыхъ ходячихъ словъ, съ незапамятныхъ временъ до сихъ поръ разгуливающихъ „отъ-моря до-моря". Теперь, когда народная Русь не только стоитъ твердою богатырской стопою на берегахъ семи морей, но даже омывается двумя океанами,—невольно выплываютъ передъ ея глазами изъ-за темнымъ-темной дали минувшихъ вѣковъ затумапенные современнымъ житьемъ-бытьемъ облики былыхъ повѣрій, сбережонныхъ отъ безпощадной руки всесокрушающаго времени въ свѣтлыхъ глубинахъ, чуткаго ко всему родному-завѣтному, памятливаго сердца народнаго.

Было время, когда славянинъ-язычникъ поклонялся всей обступавшей его, видимой его суевѣрнымъ глазамъ, природѣ—какъ единому, примирявшему въ себѣ и доброе, и злое начала, божеству. Шли вѣка, одинъ за другимъ утопавшіе въ неизвѣданной безднѣ славянскаго прошлаго: богъ-природа мало-по-малу разпадался на-двое— воплощаясь въ Бѣлъбога (олицетвореніе свѣта и добра) и Чернобога (воплощеніе злыхъ темныхъ силъ). Но власть и этихъ могущественныхъ стихій природы была, съ теченіемъ времени, раздѣлена между происшедшимъ отъ каждой изъ нихъ потомствомъ, обожествленнымъ среди преклонявшагося предъ ихъ волею народа. Сначала народилась божественная чета—Небо съ Землею, ставшіе прародителями позднѣйшихъ боговъ; а тамъ—и цѣлая

семья ихъ зажила на славянскомъ Олимпѣ. Древнеязыческая Русь передала старшинство въ этой семьѣ сыну пра́бога-неба—Перуну, давъ ему въ могучія руки и молніеносные громы небесные, и дожди облачные, и огни горючіе, и воды земныя. Загремѣла по свѣтлорусскому простору Бѣлъбожичева слава великая, великая слава—нераздѣльная... Но шли-прошли еще годы-вѣка́, раздѣлилъ свое царство и единый властитель земли и неба. Остались у Перуна громы да молніи, огнемъ сталъ повелѣвать Сварожичъ, вѣтрами буйными—Стрибогъ; доставались воды Морскому Царю.

Жилъ, по вѣрованію древнихъ пращуровъ пахаря нашихъ дней, обиталъ этотъ могучій богъ сначала не въ пучинѣ морской, а въ бездонной глубинѣ синяго неба, раскидывающагося безпредѣльнымъ воздушнымъ океаномъ надъ Матерью-Сырой-Землею. И самое небо казалось живому народному воображенію не чѣмъ инымъ, какъ океанъ-моремъ, въ волнахъ котораго купались и пресвѣтлое солнце, и ясныя звѣзды, омывался и свѣтѣлъ-мѣсяцъ. Мало-по-малу представленіе о небѣ-морѣ было перенесено на заслоняющія его отъ глазъ человѣческихъ волны дожденосительницъ-тучъ, отовсюду окружившихъ, по волѣ народа-сказателя, небесный островъ „Буянъ“. Когда пододвинулась Русь поближе къ заправскому синему морю и даже начала заглядывать за́-море,—сложилось въ ней понятіе о морѣ-океанѣ, на которомъ-де плаваетъ стоящая на китахъ земля. Островъ Буянъ перенесся на средину этого безпредѣльнаго моря и сталъ жилищемъ солнца съ алыми сестрами—зорями, а когда миновалъ чередъ обожествленію дневного свѣтила, поселились на этомъ островѣ всякія дива-дивныя, и до сихъ поръ не покидающія его для суевѣрнаго воображенія, придерживающагося заповѣданныхъ стариною преданій. Обступаютъ-стерегутъ его вѣтры буйные. Живетъ на островѣ и змѣя „всѣмъ змѣямъ старшая“, и вѣщій воронъ—„всѣмъ чернымъ во́ронамъ старшій братъ“ („Живетъ воронъ—Огненнаго Змѣя клюетъ!“), и птица—„всѣмъ птицамъ старшая и бо́льшая“ (съ желѣзнымъ носомъ и когтями мѣдными), и пчелиная матка—„всѣмъ маткамъ старшая“. Народное заговорное слово поселяетъ здѣсь даже Илью-пророка, принявшаго на себя и власть надъ могучими громами Перуновыми. „На морѣ на океанѣ, на островѣ на Буянѣ“,—гласитъ это посѣдѣвшее слово,—„гонитъ Илья-пророкъ къ колесницѣ громъ съ великимъ дождемъ“ и т. д. Простонародныя сказки то-и-дѣло мѣняютъ обитателей этого дивнаго острова. Но самъ-то онъ встаетъ изъ морскихъ волнъ попрежнему увлекающимъ воображеніе простодуш-

наго сказателя мѣстомъ всякихъ чудесъ... Морской-же Царь, порастерявъ свою власть на небесномъ морѣ, ушелъ—старый—въ морскую глубь, построилъ тамъ себѣ палаты царскія да и живетъ-поживаетъ припѣваючи, по всей своей царской вольности, окруженный веселымъ подводнымъ народомъ: дѣвами-русалками, водяными воеводами да всякими чудищами морскими—„имъ-же нѣсть числа“.

Позднѣйшія сказанія рисуютъ Морского Царя не только грознымъ властелиномъ, но и отцомъ многочисленной семьи. Только нѣтъ у нихъ съ водяной царицею—„всѣмъ русалкамъ русалкой“—ни единаго сына: однѣ дочери родятся—дѣвы моря съ рыбьимъ хвостомъ. Изо всѣхъ дочерей у сѣдого повелителя бурь морскихъ—одна дочка любимая: Марья Моревна, морская царевна. У одной только у нея нѣтъ и хвоста рыбьяго. Ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать ея, царевнину, красоту,—говорятъ краснословы-сказочники, говорятъ, а сами ее „ненаглядною красой, золотою косой“ величаютъ. Живетъ она,—по ихъ словамъ,—въ отцовскомъ дворцѣ, сидитъ въ своемъ терему дѣвичьемъ, изъ косящата окошечка на подводное царство не налюбуется. А въ сердце къ ней нѣтъ-нѣтъ да и стукнетъ грусть-тоска, а о чемъ тоска—невѣдомо, по комъ грусть—незнаемо. Выходитъ подъ такой часъ Марья Моревна—морская царевна, золотая коса, „непокрытая краса“,—выходитъ изъ терему, садится въ золотой челнокъ, выплываетъ на зыбучія волны моря синяго. Плыветъ ненаглядная красота, а сама такъ и сіяетъ, слѣпитъ лучами солнечными глаза встрѣчному-поперечному... А то—выйдетъ изъ челнока, купаться начнетъ. Не дай Богъ доброму мо́лодцу засмотрѣться на любимое дѣтище владыки царства подводнаго... Заглядится ненарокомъ,—и свѣта бѣлаго послѣ ни разу не взвидитъ: нѣтъ и человѣка такого, который бы не ослѣпъ отъ такой красоты невиданной!..

Дошла до нашихъ дней сложившаяся на Руси въ стародавніе годы сказка о томъ, какъ полюбилась Марья Моревна, морская царевна, встрѣчному добру-молодцу, молодому королевичу. Увидалъ онъ ее, залюбовался красотой несказанною, да только глазъ-то не проглядѣлъ, а и самъ пришелся красавицѣ по́-сердцу. Засмотрѣлась красота на юнаго королевича, а былъ онъ молодъ, да удалъ: хваталъ ее съ челнока за бѣлыя руки, везъ въ быстроходной ладьѣ по синю́ морю, причалъ держалъ у пристани своего родного города, повелъ морскую царевну въ отцовскія палаты. Какъ увидалъ старый король добычу сыновнюю,—„Не бывать, сынокъ, свадьбѣ твоей! Самъ я—на старости лѣтъ,—говоритъ,—женюсь на Марьѣ

Моревнѣ!" А морская-то царевна похитрѣй была. Велѣла она добыть живой и мертвой воды; принесли королю воду черные вороны (прообразъ темныхъ тучъ)... „Отруби,—говоритъ,—голову сыну!" Обезглавили молодого королевича; спрыснула его Марья Моревна живою водой: всталъ на рѣзвы ноги добрый молодецъ, сталъ еще удалѣй-красивѣе. Захотѣлъ помолодѣть и старый король, велѣлъ отрубить себѣ голову, а потомъ спрыснуть и его живой водою. Отрубить-то отрубили и спрыснуть—спрыснули стараго грѣховодника, да только не живой, а мертвою, водой: не подняться сѣдому завистнику съ сырой земли... Тутъ ему и конецъ пришелъ. А Марья Моревна смотритъ на него, а сама приговариваетъ: „Не зариться-бы тебѣ, старому, на молодое сыновнее счастьице! Вѣковать-бы тебѣ, сѣдому, вѣкъ свой въ палатахъ бѣлокаменныхъ, во той ли во топленой горницѣ, на той-ли на печкѣ на муравленой!" Схоронилъ королевичъ отца, а самъ съ морской царевною—за почестенъ пиръ, за веселую свадебку... Былъ счастливъ онъ со своею молодой женою не три дня, не три мѣсяца, а безъ трехъ дней три-года... Къ исходу третьяго—встосковалась королевичева женушка, всплакалась; всплакавшись—королевича покинула, пошла ко синю морю, отвязала отъ крутого бережка свой золотой челнокъ, сѣла въ него да и была такова: уплыла въ отцовское царство подводное... Встрѣтилъ Морской Царь свое потерянное любимое дѣтище рожоное,—расплясался на радостяхъ; потонуло отъ той пляски много судовъ-кораблей. Былъ между ними и корабль королевичевъ, а на томъ кораблѣ—и самъ молодой Марьинъ Моревнинъ мужъ... Было, знать, на-роду ему написано: не сидѣть королемъ на сырой землѣ, а жить со своей королевною во палатахъ бѣлокаменныхъ, у того-ли Царя Морского-подводнаго...

Записанъ собирателями родной старины и цѣлый рядъ другихъ сказокъ о Морскомъ Царѣ и его дочеряхъ, представлявшихся народному воображенію не только красавицами, но и премудрыми. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ сказокъ повелитель морей именуется Поддоннымъ Царемъ, въ другихъ зовется Окіянъ-Моремъ, въ иныхъ-же—Чудомъ-Юдомъ. Но во всѣхъ разносказахъ одинаковы присущія ему свойства, являющіяся смѣшеніемъ злыхъ-разрушительныхъ и добрыхъ-творческихъ началъ. Въ нѣсколькихъ сказкахъ попадаетъ въ подводное царство, по волѣ народа-сказателя, его излюбленный сказочный герой—Иванъ-царевичъ.

Ѣхалъ путемъ-дорогою могучій царь, изъ похода держалъ путь домой,—заводитъ рѣчь одна изъ такихъ сказокъ.—День выдал-

ся знойный: такъ и пышетъ съ небесной синевы огнемъ на бѣлый свѣтъ красно-солнышко. Ѣдетъ царь, притомился отъ тяжкаго зноя, пересохло горло отъ жажды. Видитъ путникъ передъ собою озеро,—разлилось, что море безбрежное,—слѣзъ съ коня, припалъ къ водѣ, зачалъ пить воду студеную. Напился онъ, хотѣлъ съ земли привстать, на добра́-коня сѣсть,—не по его хотѣнью сдѣлалось: ухватилъ его за длинную бороду Морской Царь, не пускаетъ, держитъ цѣпкой рукою. Взмолился онъ подводному владыкѣ, а тотъ ему свое слово молвитъ: „Обѣщай мнѣ отдать черезъ семь лѣтъ то, чего ты самъ дома не вѣдаешь!“ Поклялся великой клятвою бородатый царь,—отпустилъ его повелитель народа поддоннаго. „Смотри,—говоритъ,—коли не сдержишь клятвы, не быть тебѣ живу и семи дней послѣ семи лѣтъ!“ Вернулся царь домой, а тамъ—ему навстрѣчу вѣсть идетъ: подарила его царица сыномъ Иванъ-царевичемъ. Не думалъ, не гадалъ онъ, что придется отдавать на погибель желанное, прошоное-моленое, дѣтище. Ни словомъ и во снѣ не обмолвился онъ про то своей царицѣ, а самъ—что ночка темная осенняя—затуманился. Сталъ расти царевичъ, не по днямъ, а по часамъ, расти—что вешній цвѣтъ красоватися. Не успѣлъ царь оглянуться, какъ уже и седьмой годъ—на исходѣ, а царевичъ выровнялся—что въ двадцать лѣтъ. Минулъ послѣдній день изъ седьмого урочнаго года,—повѣдалъ царь свое горе царицѣ. Снарядили они царевича, снаряднвши—во слезахъ проводили на морской берегъ,—проводивъ, одного у синя-моря покинули. Спрятался Иванъ-царевичъ за ракиты прибережныя, видитъ: прилетѣли двѣнадцать лебедушекъ, прилетѣвши—обронили съ себя крылья-перушки, обронивши—обернулись красными дѣвицами, обернувшися—принялись плавать-купаться во синёмъ морѣ... А Иванъ-то царевичъ молодешенекъ, да догадливъ, былъ: распозналъ онъ, что эти двѣнадцать бѣлыхъ лебедушекъ, двѣнадцать красныхъ дѣвушекъ—дочери Морского Царя, владыки подводнаго. Приглянулась изъ нихъ ему одна больше всѣхъ: подкрался онъ, взялъ съ берегового песка рудожелтаго ея бѣлыя крылышки лебединыя. Накупались-наплавались красавицы, вышли на́-берегъ, нарядились въ свои крылья-перушки, вспорхнули бѣлыми лебедушками, улетѣли въ даль далекую. Не нашла своихъ крылышекъ одна красна-дѣвица, осталась на бережку любимая дочь Морского Царя—Василиса Премудрая... Ищетъ-поищетъ, найти не можетъ; увидѣла добра-молодца Иванъ-царевича, взмолилась она къ нему, чтобы отдалъ ей бѣлыя крылья лебединыя. „Отдамъ,—говоритъ,—только выходи замужъ за меня!“ Согласилась царевна: приглянулся

онъ и ей-самóй... Пошли они въ царство подводное, а тамъ,—ведетъ свою цвѣтистую рѣчь старая сказка,—какъ и на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ, свѣтитъ красно-солнышко, бѣгутъ рѣчки быстрыя, зеленѣютъ луга шелкóвые, зеленѣючись—травой-муравою разстилаются, на лугахъ—лазоревы цвѣты цвѣтутъ, за лугами—дремлютъ лѣса дремучіе... Пришелъ Иванъ-царевичъ, разставшись со своею зазнобой-царевною, ко дворцу Морского Царя. Встрѣтилъ тотъ его, сталъ задавать уроки трудные: „Коли сдѣлаешь, живъ будешь! Не сдѣлаешь—голову тебѣ съ плечъ!“—говоритъ. Какъ задалъ царевичу первую задачу Морской Царь, такъ и затуманился добрый молодецъ: чуетъ молодецкое сердце смерть неминучую. „Не горюй,—говоритъ ему Василиса Премудрая,—ложись-спи, къ утру все готово будетъ!“ Вздивовался Морской Царь, какъ увидѣлъ, что все къ сроку сдѣлано,—задалъ задачу урочную потруднѣй того...

Помогла царевна своему милому выполнить не одинъ, не два, а цѣлыхъ двѣнадцать, подвиговъ. „Выбирай,—говоритъ Морской Царь,—въ награду любую изъ двѣнадцати моихъ дочерей себѣ въ жены!“ Выбралъ Иванъ-царевичъ прекрасную Василису Премудрую. Пировалъ-плясалъ на свадебномъ пиру весь подводный народъ, а царевичъ умыслилъ со своей молодою женой уйти на бѣлый свѣтъ. Задумано—сдѣлано... Спровѣдалъ о бѣгствѣ Морской Царь, ударился въ погоню за бѣглецами. Понесся-полетѣлъ онъ, во гнѣвѣ своемъ, черной тучею, засверкалъ огнемъ молній пламеннымъ... Почуялъ Иванъ-царевичъ погоню; обернула Василиса Премудрая его рыбой-окунемъ, а сама разлилась слезами горючими—побѣжала по желтому песку, по мелкимъ камушкамъ быстро водною свѣтлой рѣчкою. „Будь-же ты рѣчкою цѣлыхъ трí года!“—заклялъ разгнѣванный отецъ свое дѣтище. По другому-же разносказу—такъ и не догналъ Морской Царь бѣглецовъ: вышли они изъ подводнаго царства на бѣлый свѣтъ, стали во палатахъ царскихъ у Иванъ-царевичева отца вѣкъ вѣковать, наживать малыхъ дѣтушекъ... А къ Морскому Царю такъ-таки никакой вѣсточки о томъ и не дошло, словно дочь любимая съ богоданнымъ зятемъ—оба навѣкъ изъ міра живыхъ сгинули...

Русскія простонародныя преданія вѣщаютъ изъ глубины стародавнихъ лѣтъ о томъ, что всѣ дочери Морского Царя превратились въ большія рѣки. Потому-то съ послѣдними и связаны до сихъ поръ во многихъ мѣстахъ суевѣрныя представленія, являющіяся пережиткомъ древняго обожествленія водъ земныхъ...

Отъ простонародныхъ сказокъ ближе всего переходъ — къ русскимъ былинамъ, имѣющимъ съ первыми не мало общаго. Во многихъ изъ нихъ можно встрѣтить упоминаніе о синёмъ морѣ, но наиболѣе ярко высказалось народное представленіе о немъ и о властвующихъ надъ нимъ силахъ—въ былинѣ о Садкѣ, богатомъ гостѣ новгородскомъ, передаваемой въ цѣломъ рядѣ разносказовъ. Въ собраніи К. Ѳ. Калайдовича [18]) („Древнія россійскія стихотворенія, собранныя Киршею Даниловымъ") приводится едва-ли не самый полный сказъ этой старинной сѣверно-русской былины—подъ заглавіемъ „Садковъ корабль сталъ на морѣ".

„Какъ по морю, морю синему,
Бѣгутъ, побѣгутъ тридцать кораблей,
Тридцать кораблей, единъ Соколъ корабль—
Самого Садки, гостя богатаго..."

Такой запѣвкою начинается этотъ былинный сказъ. А разбогатѣлъ Садко, по другому разносказу, отъ щедротъ Морского Царя. Былъ онъ раньше не только не богатъ, а жилъ—чѣмъ Богъ пошлетъ; одна была у него утѣха—гусли звончаты: хаживалъ онъ съ ними на пиры званые, веселилъ хлѣбосольный народъ. Сидѣлъ однажды Садко на берегу Ильмень [19])-озера, на бѣлъ-горючемъ камнѣ, сидѣлъ—на гусельках яровчатыхъ поигрывалъ. Долго-ли, коротко-ли забавлялся удалой гусельникъ, вдругъ—„въ озерѣ вода всколебалася", всплылъ поверхъ волнъ властитель подводнаго царства поддоннаго. Утѣшилъ его Садко, посулилъ старый ему „кладъ изъ Ильмень-озера: три рыбы—золоты перья..." И слово Морского Царя не мимо молвилось; закинулъ гусельникъ въ озеро неводъ, дался въ руки обѣщанный кладъ, закупилъ на него Садко товару видимо-невидимо, сталъ онъ богатымъ гостемъ Господина Великаго Новагорода...

Плывутъ по синю морю тридцать кораблей... „А всѣ корабли что соколы летятъ, Соколъ корабль (самого Садки) на морѣ

---

[18]) Константинъ Ѳедоровичъ Калайдовичъ (род. въ 1792, умеръ въ 1832 г.)—историкъ, открывшій „Сборникъ Святослава 1073 г." и „Небеса и Шестодневъ экзарха Іоанна". Главнѣйшіе труды его: „Русскія достопамятности", „О языкѣ Слова о полку Игоревѣ", „Законы в. к. Іоанна III и судебникъ Іоанна Грознаго", „Древнія россійскія стихотворенія, собранныя Киршею Даниловымъ". По образованію онъ—кандидатъ московскаго университета.

[19]) Ильмень—озеро въ Новгородской губерніи, лежащее между Новгородскимъ, Старорусскимъ и Крестецкимъ уѣздами, простирающееся на 40 верстъ въ длину и до 32 въ ширину. Изъ него вытекаетъ рѣка Волховъ. Береговые ильменскіе жители сохранили въ своемъ быту множество древнерусскихъ обычаевъ и древнерусскій (новгородскій) говоръ.

стоитъ..."—не сдвинуть и съ мѣста, словно приросъ онъ къ водѣ... „А ярыжки вы, люди наемные, а наемны люди, подначальные!"—держитъ Садко къ своимъ корабельщикамъ властное слово хозяйское: „А въ мѣсто всѣ вы собирайтеся, а и рѣжьте жеребья вы валжены, а и всякъ-то пиши на имена, и бросайте вы ихъ на сине море!" Сдѣлали корабельщики каждый по „валженому" жеребью, а самъ богатый гость взялъ-бросилъ на воду „хмѣлево перо", кинулъ—приговариваетъ: „А ярыжки, люди вы наемные! А слушай рѣчи праведныхъ; а бросимъ мы ихъ (жеребья) на сине море. Которые бы по верху плывутъ, а и тѣ бы душеньки правыя; что которые-то во морѣ тонутъ, а мы тѣхъ спихнемъ во сине море!.." И вотъ—воззрились всѣ на кинутые въ море жеребьи: „А всѣ жеребья по верху плывутъ, кабы яры гоголи по заводямъ; единъ жеребій во морѣ тонетъ, въ морѣ тонетъ хмѣлево перо"... Диву-дались, вздивовались—не надивуются корабельщики, а Садко-купецъ снова держитъ рѣчь къ нимъ, чтобы сдѣлали они всѣ по „жеребью ветляному": „... а и которы жеребьи во морѣ тонутъ, а и то душеньки правыя!.." Сказалъ богатый гость; сдѣлали по его хотѣнью, по Садкину велѣнью корабельщики... Анъ и тутъ передъ ними—диво-дивное: „А и Садко покинулъ жеребій булатной, синяго булату вѣдь заморскаго, вѣсомъ-то жеребій въ десять пудъ. И всѣ жеребьи во морѣ тонутъ, единъ жеребій по верху плыветъ самого Садки, гостя богатаго"... Тутъ уже не могъ не увидѣть руки судьбы и самъ хозяинъ корабельщиковъ; понялъ онъ, сердцемъ—коль не разумомъ—почуялъ: какая вина—за его душой... Вылетѣло у него изъ глубины чуткаго сердца окрыленное прозорливостью вѣщее слово:

„Я, Садъ-Садко, знаю, вѣдаю,
Бѣгаю по морю—двѣнадцать лѣтъ,
Тому царю заморскому
Не платилъ я дани, пошлины,
И во то синё море Хвалынское
Хлѣба съ солью не опускивалъ,
По меня, Садку, смерть пришла"...

Велитъ богатый гость принести свою шубу соболью, подать ему звончаты гусли золотострунные да шахматницу дорогую „со золоты тавлеями, со тѣми дороги вальящаты"... Нарядился Садко, спустился по серебряной сходнѣ на сине море, садится на золотую шахматницу... Ушли-убѣжали всѣ корабли, улетѣлъ и его, Садкинъ, Соколъ-корабль; остался онъ одинъ на безбрежномъ морскомъ просторѣ. Понесло Садку, новго-

родскаго гостя богатаго, вдоль по морю къ берегу чужедальнему... „Выходилъ Садко на круты береги, пошелъ Садко подлѣ синя моря, нашелъ,—продолжаетъ былина свой сказъ,—нашелъ онъ избу великую, а избу великую во все дерево, нашелъ онъ двери и въ избу пошелъ"... Только-что успѣлъ распахнуть онъ избную дверь, а оттуда къ нему слово Морского Царя идетъ: „А и гой еси ты, купецъ, богатой гость! А что душа радѣла, того Богъ мнѣ далъ, и ждалъ Садку двѣнадцать лѣтъ, а нынѣ Садко головой пришелъ; поиграй, Садко, въ гусли ты звончаты!" Не заставилъ себя много ждать, не велѣлъ долго просить новгородскій гость, провелъ рукой по золотымъ струнамъ, и сталъ Садко „царя тѣшити"... Пришлась по сердцу игра гусельная, разскакался - расплясался Морской Царь, сталъ угощать Садку питіями хмѣльными. „И развалялся Садко, и пьянъ онъ сталъ, и уснулъ Садко-купецъ, богатой гость; а во снѣ пришелъ святитель Николай къ нему, говоритъ ему таковы рѣчи:—Гой еси ты, Садко-купецъ, богатой гость! А рви ты свои струны золоты, и бросай ты гусли звончаты, расплясался у тебя Царь Морской, а сине море всколебалося, а и быстры рѣки разливалися, топятъ много бусы, корабли, топятъ души напрасныя того народу православнаго!"... Пробудился Садко, послушался святителя, порвалъ струны гусельныя, бросилъ гусли звончаты... Перестalъ плясать Морской Царь, призатихло и море синее, задремали въ своемъ руслѣ и рѣки быстрыя... Ночь прошла спокойно... Заиграла на небѣ зоренька утренняя, взошелъ бѣлый день, сталъ властитель царства подводнаго уговаривать Садку—жениться на любой изъ тридцати дочерей царскихъ. Вспомнилъ богатый гость, что Никола не только велѣлъ перестать играть, а и сказалъ ему, что станетъ Морской Царь уговаривать взять въ жены одну изъ его дочерей, что не надо брать „ни хорошую, ни бѣлую, ни румяную", а взять „дѣвушку поваренную, поваренную, что котора хуже всѣхъ"... Исполнилъ онъ все по слову угодника Божія... „А и туто Царь Морской положилъ Садку на подклѣтѣ спать, и ложился онъ съ новобрачною; Николай во снѣ наказывалъ Садкѣ: не обнимай жену, не цѣлуй ее... А и тутъ Садко купецъ, богатой гость, съ молодой женой на подклѣтѣ спитъ, свои рученьки ко сердцу прижалъ..." Проснулся Садко, смотритъ — лежитъ онъ подъ своимъ роднымъ Новгородомъ, „а лѣвая нога во Волхъ-рѣкѣ"... Вскочилъ богатый гость, увидѣлъ приходъ свой—церковь Николы Можайскаго, перекрестился онъ на святъ-Господень крестъ... Глядитъ, а—„по славной матушкѣ Волхъ-рѣкѣ бѣгутъ, побѣгутъ тридцать кораблей, единъ

корабль самого Садки, гостя богатаго... И встрѣчаетъ Садко-купецъ, богатой гость, цѣловальниковъ любимыихъ. Всѣ корабли на пристань стали, сходни метали на крутой берегъ, и вышли цѣловальники на крутъ берегъ; и тутъ Садко поклоняется:—Здравствуйте, мои цѣловальники любимые и прикащики хорошіе!—И тутъ Садко-купецъ, богатой гость, со всѣхъ кораблей въ таможню положилъ казны своей сорокъ тысячей..."—кончается былинный сказъ. А. Н. Аѳанасьевъ усматриваетъ въ словахъ „а лѣвая нога во Волхъ-рѣкѣ" то, что нелюбимую дочь Морского Царя—„повареннную дѣвушку"—звали „Волхъ (Волховъ)-рѣкою".

„Алатырь-камень", зачастую упоминаемый въ русскихъ простонародныхъ заговорахъ, всегда представляющійся лежащимъ „на островѣ Буянѣ, на морѣ-окіянѣ", считается—по слову „Голубиной Книги"—за „всѣмъ камнямъ отца". „Бѣлый латырь-камень всѣмъ камнямъ отецъ,"—гласитъ о немъ сѣдая мудрость народная,—„почему же ёнъ всѣмъ камнямъ отецъ?"—задаетъ она вслѣдъ за этимъ вопросъ и тутъ-же держитъ свою рѣчь отвѣтную:

„Съ-подъ камешка, съ-подъ бѣлаго латыря
Протекли рѣки, рѣки быстрыя
По всей землѣ, по всей вселенную—
Всему міру на исцѣленіе,
Всему міру на пропитаніе..."

„На бѣломъ латырѣ-на камени бесѣдовалъ да опочивъ держалъ самъ Исусъ Христосъ, Царь Небесный, съ двунадесяти со апостоламъ, съ двунадесяти со апостоламъ, съ двунадесяти со учителямъ; утвердилъ онъ вѣру на камени: потому бѣлъ-латырь-каменѣ каменямъ мати!"—говорится въ другомъ разносказѣ народнаго стиха. Записано и такое слово объ этомъ чудномъ отцѣ-матери всѣхъ камней: „Среди моря синяго лежитъ латырь-камень; идутъ по̀-морю много корабельщиковъ, у того камня останавливаются; они берутъ много съ него снадобья, посылаютъ по всему свѣту бѣлому..." О цѣлебной силѣ камня-„латыря" ходитъ по народной Руси до сихъ поръ не мало и всякихъ другихъ рѳ̀зсказней...

„Подъ восточной стороной есть окіянъ-синее-море,"—гласитъ заговорное слово: „на томъ окіянѣ на синемъ морѣ лежитъ бѣло-латырь-камень, на томъ бѣло-латырѣ-камнѣ стоитъ святая золотая церковь, во той золотой церкви стоитъ святъ золотъ престолъ, на томъ златѣ престолѣ сидитъ самъ Господь Іисусъ Христосъ, Михаилъ-архангелъ, Гавріилъ-архангелъ..."

П. Н. Рыбниковымъ [20]) записана въ Олонецкой губерніи любопытная былина о Васильѣ Буслаевичѣ,—разносказъ, не встрѣчающійся у другихъ собирателей народной старины. Тѣшится новгородскій богатырь своею могучей силою, тѣшитъ моченькой и удалую дружинушку... „Дружина моя хоробрая!“—говоритъ Буслаевичъ: „Скачите черезъ бѣлъ-горючъ-камень!“ Стали скакать Васильевы дружинники: перескочили разъ и другой перескочили, и третій... Принялся скакать и самъ Васильюшко: „разъ скочилъ и другой скочилъ, а на третій говоритъ дружинѣ хоробрыя:—я на третій разъ не передомъ, задомъ перескочу!—Скочилъ задомъ черезъ бѣлъ-горючъ-камень, и задѣла ножка правая, и упалъ Васильюшко Буслаевичъ о жестокъ камень своима плечмы богатырскима... Раскололъ онъ свою буйну голову и остался лежать тутъ до-вѣку“.. Въ сказочной передачѣ—Васильева смерть пришла не отъ камня-алатыря, а отъ морской пучины,—причемъ послѣдняя является живымъ существомъ... Плылъ Василій-богатырь, по словамъ старой сказки, „черезъ море къ зеленымъ лугамъ“. Плыветъ Буслаевичъ, видитъ: лежитъ „Морская Пучина—кругомъ глаза...“ Не смутился Василій, не робокъ парень былъ: зачалъ онъ вокругъ Морской Пучины похаживать, сафьянъ-сапожкомъ ее попинывать. Посмотрѣла на богатыря новгородскаго Морская Пучина—кругомъ глаза: „Не пинай меня,—говоритъ,—и самъ тутъ будешь!“ Смѣшлива была дружина Буслаевичева, зачали дружинники смѣхи водить—посмѣиваться, принялись черезъ Пучину перескакивать: всѣ перескочили... Взяло за живое и самого богатыря: прыгнулъ Василій, не перескочилъ, задѣлъ за Морскую Пучину пальцемъ правой ноги... Тутъ ему и смертный часъ пришелъ, смертный часъ, послѣдній часъ...

По сводному безсоновскому разносказу стиха о „Голубиной Книгѣ“, помѣщенному во второмъ выпускѣ его „Калѣкъ перехожихъ“, народное окіянъ-море представляется такимъ: „Окіянъ-море морямъ мати: сиредъ моря, сирёдъ Кіяни что выходитъ изъ ней церковь соборная, соборная-богомольная, самого Клима, попа Рымскаго; что во той церкви во соборныя стоитъ гробница на воздухахъ бѣла-каменна; въ той гробницѣ бѣ-

[20]) Павелъ Николаевичъ Рыбниковъ—трудолюбивый русскій народовѣдъ—родился въ 1832-мъ, умеръ въ 1885-мъ году, по образованію—питомецъ московскаго университета (историко-филолог. факультета). Большинство народныхъ пѣсенъ, былинъ и сказаній собраны имъ въ Черниговской и Олонецкой губерніяхъ. Отдѣльное изданіе его матеріаловъ появилось въ 1861—1867 г., а передъ тѣмъ они печатались въ „Олонецк. Губ. Вѣдомостяхъ“. Въ 60-хъ г.г. П. Н. Рыбниковъ состоялъ секретаремъ олонецкаго губернскаго статистическаго комитета. Одно время онъ былъ калишскимъ вице-губернаторомъ.

локаменной почиваютъ мощи попа Рымскаго; слава Клементьева; обкинуло то море вокругъ землю всю, обошло то море околъ всей земли; вокругъ земли, всей подселенныя—всего свѣту бѣлаго"... Но это еще не самое главное, почему окіянъ-море—„всѣмъ морямъ мати". Стихъ продолжаетъ свой сказъ: „Въ немъ окіянѣ во морѣ пупъ морской, а уси рѣки уси моря вси хъ Кіяню морю собѣгалися, вси хъ Кіяню морю приклонилися, никуды вонъ не выходили: окіянъ-море зголубается,—вси моря ему покланяются... Съ-подъ восточной со сторонушки, какъ изъ славнаго окіянъ-моря, выставала изъ моря церковь соборная со двѣнадцатью со престоламы, святу Климанту [21]), папы Рымскому, святу Петру [22]) Александрійскому. Во той церкви во соборныя почиваютъ книги самого Христа. Въ этой церкви собиралось много князей и три тримполитора... На церкви главы мраморныя, на главахъ кресты золотые... Изъ той изъ церкви изъ соборной, изъ соборной изъ богомольной, выходила Царица Небесная. Изъ окіяна-моря она умывалася, на соборъ-церковь она Богу молилася..." Такъ объединилъ народъ-сказатель свои повѣрья, почерпнутыя со дна моря позабытаго язычества, съ приросшимъ къ его чуткому стихійному сердцу евангельскимъ повѣствованіемъ, переродившимся въ рядъ неумирающихъ преданій, пріукрашенныхъ неувядаемыми цвѣтами пѣсеннаго слова.

Сине море, разбѣгающееся могучими валами во всѣ стороны свѣта бѣлаго, населено въ суевѣрномъ представленіи безчисленнымъ народомъ русалокъ—водяныхъ дѣвъ, плавающихъ по волнамъ морскимъ, колеблющихъ зыбь водную. Кромѣ русалокъ-красавицъ съ рыбьими хвостами, плаваютъ въ морскихъ глубинахъ, иногда всплывая и наверхъ, проклятыя отцами дочери-утопленницы. Есть тамъ, по словамъ старыхъ людей, довѣдавшихся за свою долгую жизнь до причины всѣхъ причинъ, и морскіе люди-фараоны („моряне"), предсказывающіе судьбы міра. Не диво для зоркаго воображенія среди

[21]) Св. Климентъ, отецъ Церкви, римлянинъ по происхожденію, обращенный въ христіанство апостоломъ Петромъ, а затѣмъ бывшій сотрудникомъ апостола Павла и (съ 92 года) епископомъ римскимъ. Мученическая кончина его послѣдовала въ Херсонесѣ Таврическомъ (около 103 г.), куда онъ былъ сосланъ императоромъ Траяномъ. Мощи его перенесены въ Римъ святыми Кирилломъ и Меѳодіемъ.

[22]) Св. Петръ Александрійскій—христіанскій писатель и проповѣдникъ, боровшійся съ сектою антитринитаріевъ и доказывавшій Божество Іисуса Христа. Онъ былъ епископомъ въ Александріи во время Діоклетіанова гоненія на христіанъ. Въ 306-мъ году до Р. Хр. имъ былъ созванъ въ Александріи соборъ противъ еретика Мелетія, епископа ликопольскаго, который отказывалъ кающимся падшимъ въ принятіи ихъ въ лоно паствы Христовой. Въ 311-мъ году онъ былъ казненъ язычниками.

видимыхъ и не суевѣрному глазу рыбъ морскихъ встрѣтить и рыбъ-оборотней, лѣзущихъ въ рыбацкія сѣти на грѣхъ-бѣду нежданную. Потому-то и принимаются старые морскіе рыбаки тянуть сѣти-невода не иначе, какъ съ крестнымъ знаменіемъ да съ молитвою. „Молитва и со дна моря подымаетъ!“— говоритъ народная пословица: такъ какъ-же не вспомнить о ней православному люду, промышляющему трудомъ галилейскихъ рыбарей, возвѣстившихъ утопавшему въ темныхъ безднахъ язычества міру благую-свѣтлую вѣсть о Распятомъ Учителѣ жизни...

Не однѣ русалки, морскіе люди да рыбы-оборотни населяютъ для суевѣрнаго люда зыбь и глубь морскую. Достаточно вернуться все къ той-же „Голубиной Книгѣ“, чтобы вспомнить какъ и о Китъ-рыбѣ, на которой „основана Мати-Сыра-Земля“, такъ и о томъ, что „Стратимъ („Страфиль“, „Естрафиль“— по инымъ разносказамъ) птица—всѣмъ птицамъ мати.“ На вопросъ: „почему Стратимъ-птица—всѣмъ птицамъ мати?“—слѣдуетъ обстоятельный отвѣтъ:

„Живетъ Стратимъ-птица на окіянъ-морѣ,
И дѣтей кормитъ на окіянъ-морѣ;
По Божьему все повелѣнію,
Стратимъ-птица востренепется,—
Окіянъ-море восколыхнется:
Потому Стратимъ-птица—всѣмъ птицамъ мати“...

Отъ птицы—„всѣмъ птицамъ мати“—сказатели-пѣвцы переходятъ къ звѣрю—„всѣмъ звѣрямъ отцу“, который обитаетъ по близости отъ Стратимъ-птицы: „Живетъ Индрикъ-звѣрь за окіянъ-моремъ, онъ происходитъ всѣ горы бѣлокаменныя, а хвалу произноситъ самому Христу“...—гласитъ о немъ духовный стихъ.

Море является въ народномъ представленіи олицетвореніемъ всего необъятнаго, необозримаго, неисчерпаемаго: „море бѣдъ“, „море хлопотъ“, „море напастей“, „море радостей“,— говорится въ живой обыденной рѣчи. „Чернильное море, бумажны берега“,—приговариваютъ краснословы о приказной волокитѣ, тянущейся по цѣлымъ годамъ. Не довѣряетъ морю народная молва. „Хорошо море съ берегу!“—замѣчаетъ она: „Тихо море, поколѣ на берегу стоишь!“, „Жди горя съ моря, бѣды—отъ воды!“. „Хвали море, на полатяхъ лежучи!“, „Кто въ морѣ не бывалъ, тотъ и горя не видалъ“ („Богу не маливался!“ — по иному разносказу), „Дальше море — меньше горя!“, „Въ морѣ глубины, а въ людяхъ правды, не извѣдаешь!“, „Не вѣрь тишинѣ морской да рѣчи людской!“, „Молва

людская—что волна морская!", „Морскихъ топитъ море, а сухопутныхъ горе!" и т. д., и т. д.Но не на одномъ синемъ морѣ бѣда живетъ, человѣка—сторожитъ. Потому-то и сложились въ народной Руси, о́-бокъ съ только-что приведенными, и такія крылатыя слова, какъ: „По́-горе—не за море, не огребешься и дома!", „Не ищи моря, и въ лужѣ утонешь!", „Не море топитъ, а лужа!", „Въ морѣ горе, а безъ него двое!", „Отъ горя—хоть въ море!", „Горе—что море: ни переплыть, ни выпить!", „Пришло горе, взволновалось море: люди тонутъ и насъ туда-же гонятъ!"... У бывалыхъ людей, сжившихся съ моремъ, сложились свои поговорки красныя объ этой могучей стихіи, приковывающей къ себѣ взоры. „Былъ и на морѣ, былъ и за моремъ!"—говорятъ они о самихъ-себѣ. „Таланный и въ морѣ свою долю сыщетъ!"—приговариваютъ о счастливцахъ. „Море—рыбачье поле!", „Съ Богомъ—хоть за-море!", „Не море топитъ корабли, а вѣтры!", „Пасть не пасть, да ужъ въ море, а что толку—въ лужу!"—пускаютъ по людямъ свое словцо безпечныя не-горюй-головы: „Море дастъ—что́ возьмешь!" О хвастливыхъ краснобаяхъ приговариваетъ словоохотливая деревня: „Шиломъ моря не нагрѣешь!", „Щепкой моря не перегородишь!", „Чашкой синя моря не вычерпаешь, ложкой не выхлебаешь!", „Хвалилась синица сине море зажечь!" О крѣпкихъ заднимъ умомъ людяхъ говорятъ: „Умъ за моремъ не купишь, коли своего батька не припасъ („коли дома нѣтъ!"—по разносказу, подслушанному В. И. Далемъ)!", „Журавли за море летаютъ, а все одно—курлы!", „Умъ за-моремъ, а смерть за воротомъ!" При слухахъ о дешевизнѣ въ какомъ-нибудь дальнемъ мѣстѣ зачастую оговариваются словами: „За моремъ телушка полушка, да рубль перевозу!", „Купилъ заморскаго товару, да не донесъ до амбару!", „Дешевы въ заморской деревнѣ орѣхи, да никто домой не принашивалъ!" Умѣетъ слово въ-пору молвить русскій простота-мужикъ, объ иной часъ скажетъ—что рублемъ подаритъ. „Вѣтромъ море колышетъ, молвою—народъ!", „По каплѣ дождь, а дождь рѣки поитъ: рѣками море стоитъ!", „И быстрой рѣкѣ слава—до моря!" Не долюбливаетъ народная Русь сидѣть у моря да ждать погоды, если только пришлось ей хоть разъ выйти изъ-подъ власти земли-кормилицы. „Охъ, сине море, унеси ты мое горе!"—приговариваетъ она: „Подъ лежачъ камень и вода не течетъ!", „Кто у моря былъ, да за море не заглядывалъ—вѣкъ тому шиломъ воду хлебать!" Море, по народному слову, сравнивается съ матерью, сосущею своихъ дочерей: „Кая мать своихъ дочерей сосетъ?"—спрашиваетъ о немъ старинная загадка, ходящая по́-людямъ до сихъ поръ.Изъ связан-

ныхъ съ понятіемъ о морѣ загадокъ особенно изобразительны: „Ни море, ни земля; корабли не плаваютъ, а ходить нельзя!“ (болото), „На морѣ на Коробанскомъ много скота тараканскаго, одинъ пастухъ королецкій!“ (звѣзды частыя со свѣтлымъ мѣсяцемъ), „Промежъ двухъ морей, по мяснымъ горамъ гнутый мостикъ лежитъ!“ (коромысло съ ведрами на плечахъ).

Русская народная пѣсня не обходитъ моря молчаніемъ, не оставляетъ синяго безъ своего слова ласковаго. Величаетъ она его „морюшкомъ“, „широкимъ раздольицемъ“, то-и-дѣло возвращаясь къ нему въ своихъ волнами льющихся напѣвахъ. „Ахъ, и по морю, ахъ и по морю, ахъ по морю, морю синему, по синему по Хвалынскому!“ – звенитъ-разливается она въ хороводномъ кругу, величающемъ „лебедь бѣлую съ лебедятами со малыми со дѣтятами“:

„...Плывши, лебедь встрепенулася,
Подъ ней вода всколыхнулася;
Плывши, лебедь вышла на-берегъ...
Гдѣ ни взялся, гдѣ ни взялся,
Гдѣ ни взялся младъ-ясёнъ-соколъ,—
Ушибъ-убилъ, убилъ-ушибъ,
Убилъ-ушибъ лебедь бѣлую;
Онъ кровь пустилъ по синю морю;
Онъ пухъ пустилъ, онъ пухъ пустилъ,
Онъ пухъ пустилъ по поднебесью,
Сорилъ перья по чисту полю“...

Отъ этого хватающаго за-сердце напѣва неунывающіе пѣвуны готовы перейти и къ такой смѣшливой, пляшущей словами пѣснѣ, какъ: „За моремъ синичка не пышно жила, не пышно жила, пиво варивала, солоду купила, хмѣлю взаймы взяла, черный дроздъ пивоваромъ былъ“... Среди свадебныхъ пѣсенъ, поющихся на дѣвичникѣ красными дѣвушками—невѣстиными подружками, еще не забыта въ народѣ старинная: „Поверхъ моря, поверхъ синяго, поверхъ синяго, поверхъ Хвалынскаго, налеглись туманы со морянами, не видно ни лодочки, ни молодчика“... А во сколькихъ другихъ свадебныхъ пѣсняхъ слышится упоминаніе о морѣ: „На морѣ селезень косу вьетъ, сѣрая утушка полощется...“, „По морю корабль плыветъ, а по круту бережку каретушка...“, „Какъ на синемъ на морѣ, что-ль на бѣломъ каменѣ строила Анна душа, строила Ивановна, строила себѣ широкой дворъ“... Но всѣ эти пѣсни замираютъ безъ слѣда въ душѣ слушателя передъ такою „семейной“, по опредѣленію собирателей пѣсеннаго богатства, какъ поющаяся во всѣхъ уголкахъ народной Руси:

„Ужъ какъ палъ туманъ на синё море,
А злодѣй-тоска въ ретиво́ сердце;
Не схаживать туману со синя моря,
Злодѣйкѣ кручинѣ съ ретива сердца“...

Отразилось море и въ разгульныхъ пѣсняхъ („Протекало синее море, слеталися птицы стадами“ и др.), и въ удалыхъ („Ужъ какъ по морю, морю синему, по синему по Хвалынскому туда плыветъ со́колъ корабль“... и др.), и въ солдатскихъ—помогающихъ нести русскому воину тяготы службы царской. Есть и въ казацкихъ, ведущихъ рѣчь о царѣ Иванѣ Васильевичѣ, Ермакѣ сынѣ Тимоѳеевичѣ, донскомъ, гребенскомъ, яицкомъ и селенгинскомъ казачествѣ, с в о й сказъ о морѣ. И въ каждомъ упоминаніи объ его широкомъ раздольѣ чуется глубина простодушнаго вдохновенія, льющагося могучимъ разливомъ изъ народнаго сердца.

А и широко-же это сердце, какъ сине море глубокое!..

VI.

Лѣсъ и степь.

Стихійная душа русскаго народа,—какъ въ зеркалѣ отразившаяся со всѣми достоинствами и недостатками въ памятникахъ изустнаго простонароднаго творчества, сохраненныхъ отъ забвенія трудами пытливыхъ народовѣдовъ-собирателей,—во всѣ времена и сроки стремилась на просторъ. Тѣсно было ей—могучей—ютиться вѣки-вѣчные въ насиженномъ поколѣніями родномъ гнѣздѣ,—хотя она и была прикована къ нему неразрывными цѣпями кровной любви и всегда, куда бы ее ни закинула судьба, возвращалась къ этому „гнѣзду",—хотя-бы только мысленно, если нельзя на дѣлѣ. Широкій размахъ былъ,—какъ и теперь остается,—неизмѣнно присущъ русской душѣ. Не вмѣстно, было ей прятаться въ норы отъ вѣяній внѣшней жизни, отовсюду наступавшей на нее. Какъ же ей было не рваться на просторъ, когда ее обуревала разитая по всему народному духу силушка богатыря Святогора, и нашедшаго на бѣломъ свѣтѣ „тяги земной" и „угрязшаго" въ нѣдра Матери-Сырой-Земли?.. Самобытная въ каждомъ своемъ проявленіи, богатырская душа пахаря и въ исканіи простора оказалась не менѣе своеобразною. Желанный, онъ являлъ ей себя и въ живыхъ стѣнахъ деревьевъ—въ лѣсу, и на вольномъ воздухѣ безлѣсной степной равнины, волнующейся, какъ море синее—ковылемъ, травой шелко́вою. „Степь лѣса не хуже!"—говоритъ народная Русь, но тутъ же новымъ крылатымъ словцомъ сама себя оговариваетъ: „Лѣсъ степи не лучше!" и прибавляетъ къ этимъ двумъ поговоркамъ другія, еще болѣе красныя: „Въ степи—просторъ,

въ лѣсу—угодье!", „Гдѣ угоже, тамъ и просторно!", „Отъ простора угодья не искать, отъ угодья—простора!", „На своемъ угодьи—житье просторное!" и т. д. Этими поговорками-присловьями поясняется сближеніе степного „простора" съ лѣснымъ „угодьемъ". „Просторно вольному казаку на бѣломъ свѣтѣ жить: былъ-бы лѣсъ-батюшка да степь-матушка!"—подговаривается къ нимъ, что присказка къ сказкѣ, реченіе, подслушанное въ жегулевскомъ Поволжьи,—въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ когда-то задавала свой грозный пиръ понизовая вольница, оторвавшаяся отъ земли и выливавшая горючую тоску по ней въ своихъ воровскихъ да разбойничьихъ пѣсняхъ. И теперь еще хватаютъ за-сердце, щемятъ ретивое своимъ „удалымъ" напѣвомъ такія пѣсни, какъ:

„Не шуми ты, мати зеленая дубровушка!
Не мѣшай-ка ты мнѣ, молодцу, думу думати:
Какъ поутру мнѣ, добру-молодцу, во допросѣ быть,
Во допросѣ быть, передъ судьей стоять,
Ахъ, предъ судьей стоять—предъ праведнымъ,
Передъ праведнымъ, предъ самимъ царемъ..."

Съ такими словами обращается удалой казакъ „воръ разбойничекъ" къ охранявшей его волю вольную зеленой дубровушкѣ. „Еще станетъ меня царь-государь спрашивати,"—продолжаетъ свою рѣчь удалая пѣсня: „Ты скажи, скажи, дѣтинушка, крестьянской сынъ, ужъ какъ съ кѣмъ ты воровалъ, съ кѣмъ разбой держалъ? Еще много-ли съ тобою было товарищей? Я скажу тебѣ, надёжа православный царь, всю правду я скажу тебѣ, всю истину: что товарищей у меня было четверо, ужъ какъ первой мой товарищъ темная ночь, а второй мой товарищъ—булатный ножъ, а какъ третій товарищъ мой—добрый конь, а четвертой мой товарищъ—тугой лукъ, что разсыльщики мои—калены стрѣлы. Что возговоритъ надёжа православный царь: исполать тебѣ, дѣтинушка крестьянской сынъ! Что умѣлъ ты воровать, умѣлъ отвѣтъ держать; я за то тебя, дѣтинушка, пожалую середи поля хоромами высокими, что двумя-ли столбами съ перекладиной!"... Въ этой пѣснѣ разбойникъ остается все тѣмъ же „крестьянскимъ сыномъ," что и былъ до своего разбойничества. Слышится въ ея словахъ біеніе все того-же горящаго любовью къ родной землѣ, хотя и обагреннаго кровью, сердца, звучатъ та-же неизмѣнная преданность царю-государю, та-же вѣра въ его „правду-праведную".

Въ другихъ, родственныхъ съ этою, пѣсняхъ воспѣваются

„лѣса, лѣсочки, лѣса темные“, въ которыхъ были когда-то разбиты разоренные теперь „станы, станочки, станы теплые“. Одна кончается такимъ завѣтомъ зачуявшаго смертный часъ разбойника: „Вы положите меня, братцы, между трехъ дорогъ: между кіевской, московской, славной муромской; „въ ногахъ-то поставьте мнѣ моего коня, въ головушки поставьте животворящій крестъ, въ руку правую дайте саблю острую. И пойдетъ-ли, иль поѣдетъ кто—остановится, моему кресту животворящему онъ помолится, моего коня, моего ворона, испугается, моего-то меча, меча остраго приужàхнется...“ Одна пѣсня—задушевнѣе другой, несмотря на то, что пѣлись-слагались онѣ въ станѣ разбойничьемъ, вылетали на свѣтлорусскій просторъ изъ глубины опаленной грозною тоской груди, на которой тяжкимъ бременемъ лежали дѣла душегубныя. Вслушиваешься въ такую, напримѣръ, пѣсню и только диву даешься, какимъ это чудомъ могли уживаться бокъ-о-бокъ звѣриная жажда крови и истинно человѣческія чувства:

„Какъ досель, братцы, черезъ темный лѣсъ
Не пропархивалъ тутъ, братцы, младъ-бѣлой кречетъ,
Не пролетывалъ тутъ, братцы, ни сизой орелъ;
А какъ нынѣче у насъ, братцы, черезъ темный лѣсъ
Пролегла, лежитъ дороженька широкая!
Что по той-ли по широкой по дороженькѣ
Проѣзжалъ-ли младъ-удалъ добрый молодецъ.
На зарѣ-то было, братцы, на утренней,
На восходѣ было, братцы, красна солнышка,
На закатѣ было, братцы, свѣтла мѣсяца;
Какъ убитъ, лежитъ удалъ добрый молодецъ,
Что головушка у молодца проломана,
Ретиво сердце у молодца прострѣлено,
Что постелюшка подъ молодцемъ—камышъ-трава,
Изголовьецо подъ добрымъ—частъ ракитовъ кустъ.
Одѣяличко на молодцѣ—ночка темная,
Ночка темная, осенняя—ночка холодная“...

Воспѣвая лѣса-дубровушки, русская вольная душа не оставила безъ хвалебнаго пѣсеннаго слова и степь широкую, гдѣ приходилось ей размыкивать свою грусть-тоску. „Ужъ ты, степь моя, степь-раздольице“,—льется пѣсня,—„степь широкая, степь Моздокская! Про тебя-ли, степь, приготовилъ я три подарочка молодецкіихъ: первый даръ тебѣ—удаль смѣлая, удаль смѣлая, неуёмная; а другой тебѣ мой подарочекъ—руки крѣпкія, богатырскія; а ужъ третій-то мой подарочекъ—

голова буйна̀ разудалая"... и т. д. Прислушиваясь къ словамъ другой пѣсни, слышишь, какъ шумитъ ковыль-трава шелкóвая, какъ бѣгутъ по ней вѣтры буйные,—видишь, какъ, припадая грудью къ ней, уноситъ добра-молодца отъ погони рѣзвоногій конь, о которомъ сложилась пословица: „Степного коня не объѣздить на кордѣ!"

„Широко ты, степь, пораскинулась,
Къ морю Черному понадвинулась"...

—невольно подсказываетъ сердце слова̀ народнаго пѣвца, льющіяся могучими свободными волнами изъ жаждущей вольнаго простора души.

Но не только притономъ воровъ-разбойниковъ были русскіе лѣса и русскія степи. Сохранилась о нихъ въ народѣ и другая живучая память—объ иныхъ связанныхъ съ ними думахъ, объ иного склада людяхъ, объ иныхъ быляхъ родной, политой трудовымъ потомъ и некупленною кровью земли.

Русскій лѣсъ... Что можетъ быть загадочнѣе нашей сѣверной дубровы? Что болѣе подскажетъ воображенію углубляющагося въ родную, поросшую быльемъ, быль русскому человѣку? Красота лѣса безконечно разнообразна въ своемъ кажущемся однообразіи. Она вѣетъ могучимъ дыханіемъ жизни; она дышетъ ароматомъ дѣвственной свѣжести. Она зоветъ за собою подъ таинственные своды тѣнистыхъ деревьевъ. Она шепчетъ мягкимъ пошептомъ травъ, разстилаетъ подъ ноги путнику пестрые цвѣточные ковры, перекликается звонкимъ щебетомъ птицъ, аукается съ возбужденной памятью гулкими голосами сѣдой старины.

Она близка сердцу русскаго человѣка—эта могучая красота русскаго лѣса, укрывавшаго когда-то въ себѣ не одно звѣрьё да птаство, а и нашихъ пращуровъ-родичей отъ лютаго ворога, съ огнемъ и мечомъ врывавшагося въ родные мирному пахарю предѣлы, уводившаго въ полонъ женъ и дѣтей Русской Земли. Памятны сказанія родного лѣса народу-хлѣборобу и тѣмъ, что подъ лѣсною гостепріимной сѣнью находила свою „любезную мати-пустыню" хоронившаяся отъ неумолимой буквы безпощадныхъ законовъ „міра сего", искавшая единенія съ Небомъ боговдохновенная мечта, исходившая тропами незнаемыми-нетоптаными изъ затаенныхъ нѣдръ бездонно-глубокаго сердца народнаго.

Сѣверный дремучій лѣсъ говоритъ даже своимъ безмолвіемъ, своей неизреченною тишиной, своими тихими шумами.. Онъ словно воскрешаетъ въ русской душѣ міросозерцаніе забытыхъ дѣдовъ-прадѣдовъ, словно подаетъ ей вѣсть о томъ,

что слѣдятъ за каждымъ ея вздохомъ изъ мрака безконечности эти переселившіеся въ область невѣдомаго пращуры. Подъ сѣнью лѣса какъ-будто пробуждается въ этой душѣ вся былая-отжитая жизнь дышавшихъ однимъ дыханіемъ съ матерью-природою предковъ—простыхъ сердцемъ людей неустаннаго потового-страднаго труда и непоколебимо-могучей силы воли. Лѣсное молчаніе исполнено шороховъ безвѣстныхъ. Оно помогаетъ хоть однимъ глазомъ заглянуть въ великую книгу природы, наглухо закрытую для всѣхъ не пытающихся припадать на грудь родной матери-земли. И вѣковѣчная печаль, и тихій свѣтъ радостей, и грозныя вспышки стародавнихъ обидъ, и тайны—несказанныя тайны,—все это слышится внемлется сердцу въ молчаніи родныхъ лѣсовъ. Пробѣгаетъ вѣтеръ по вершинамъ старыхъ богатырей, сосенъ,—скрипятъ-качаются могучія деревья, готовыя помѣряться съ грозой-непогодою. Ратуетъ съ бурею дремучая лѣсная крѣпь, шумитъ—многошумная, обступаетъ захожаго человѣка, перекликается съ нимъ, перебѣгаетъ ему дорогу, манитъ вѣщими голосами подъ свою широковѣтвистую сѣнь, навѣваетъ на-душу свѣтлыя думы о томъ, что онъ—этотъ человѣкъ—сынъ той-же матери-природы, взростившей на своей груди лѣсъ, зовущійся таинственнымъ садомъ Божіимъ. Лѣсъ говоритъ русскому сердцу невпримѣръ больше, чѣмъ море синее, и этотъ говоръ откровеннѣе и понятнѣе для насъ—какъ все кровное родное... Не слѣдуетъ-ли искать причину этого явленія въ томъ, что русскій народъ-пахарь слишкомъ долгое время былъ отрѣзанъ отъ своихъ теперешнихъ семи морей вражьей силою, слишкомъ долго хоронился въ родныхъ лѣсахъ—со своей народной вѣрою въ поруганную пришельцами-врогами государственную самобытность, ревностно оберегая ее отъ всякаго лихого глаза!...

Подъ лѣсными тиховѣйными сводами нисходитъ на уязвленную житейской борьбою душу благодатный, неизреченный покой. Быть можетъ, это и есть то самое чувство, которое вызвало у излюбленнаго народомъ-стихопѣвцемъ—покинувшаго отчій домъ и смѣнявшаго царскій тронъ на покой пустынножительства—„младаго царевича Іосафія“, умилительныя, западающія въ сокровенную глубину души, слова:

„Любезная моя мати,
Прекрасная мати-пустыня,
Пріемли меня во пустыню!
Отъ юности прелестныя,
Научи меня, мать-пустыня,
Какъ Божью волю творити!

Укрой меня, мать-пустыня,
Отъ темныя ночи!
Приведи меня, любезная мати,
Во свое во небесное царство!“

„Подъ темными лѣсами, подъ ходячими облаками, подъ частыми звѣздами, подъ краснымъ солнышкомъ“,—такъ опредѣляетъ русскій народъ мѣстоположеніе своей родной земли. Отъ моря до-моря, черезъ лѣса дремучіе, черезъ степи раздольныя, черезъ горы толкучія идутъ ея рубежи, опредѣленные-проведенные неисповѣдимыми судьбами Божіими. И вотъ—на этомъ-то неоглядномъ свѣтлорусскомъ просторѣ слагались, шли отъ безбрежнаго океана стародавнихъ временъ къ пологимъ берегамъ нашихъ дней, живучія родныя сказанія съ пестрой свитою—звонкоголосыхъ пословицъ, разодѣтыхъ въ цвѣтно-платье поговорокъ, окрыленныхъ жизнью присловій. Въ глубинѣ этихъ кладезей богатства народной стихійной души таится неизсякаемый ключъ, бьющій живою водой простодушной правды, предъ которою меркнетъ искусственный свѣтъ высокомѣрной мудрости, пытающейся на нашихъ глазахъ переступить чуть-ли не за предѣлы безпредѣльнаго.

Крылатая народная молвь говоритъ о лѣсѣ въ самыхъ любовныхъ выраженіяхъ. Лучшимъ украшеніемъ жилого мѣста является, по ней, густая зелень деревьевъ. „Лѣсъ—къ селу крестъ,—гласитъ она,—а безлѣсье—неугоже помѣстье!“ Нѣначемъ глáза остановить, по выраженію русскаго человѣка, тамъ, гдѣ нѣтъ „ни прута, ни лѣсинки, ни барабанной палки“. Тамъ-же, гдѣ всюду поднимаются вокругъ жилья зеленыя стѣны лѣсовъ, гдѣ все—лѣсъ да лѣсъ, „только въ небо и дыра“,—какъ-то самодовольно приговариваетъ посельщина-деревеньщина: „Былъ-бы хлѣбъ да мужъ, а къ лѣсу привыкнешь!“, „Лѣсá да зéмли—какъ корову дой!“, „Выросъ лѣсъ, такъ будетъ и топорище!“, „Возлѣ лѣса жить—голоду не видѣть!“, „Лѣсная сторона не одного волка, а и мужика, досыта накормитъ!“ и т. д. Недаромъ слыветъ лѣсъ въ народной Руси садомъ Божіимъ, насаженнымъ для всѣхъ и про всякаго,—большого труда стоитъ внушить живущему подъ лѣсомъ пахарю, что не смѣетъ онъ въ чужой дачѣ срубить ни лѣсинки. „Аль тебѣ въ лѣсý лѣсу мало?“—того-и-гляди вырвется у него въ отвѣтъ на увѣщанія дышащее раздраженіемъ слово. „Дальше въ лѣсъ, больше дровъ!“ Попробуйте представить ему то, либо другое возраженіе,—сейчасъ-же начнетъ онъ сыпать словами-присловьями. „Лѣсъ по дереву

не тужитъ!"—скажетъ онъ въ свое оправданіе,—„Лѣсъ по лѣсу—что рубль по рублю—не плачетъ!", „Такъ тебѣ и заплакалъ лѣсъ по топорищу!" и т. д. Но, какъ бы ни старался подлѣсный житель доказывать свое право на „топорище" въ сосѣдней чащѣ,—сплошь-да-рядомъ случается, что оправдываются на немъ-самомъ сложившіяся, вѣроятно, не въ особенно давнія времена поговорки: „Подъ лѣсомъ живу, а печку соломой топлю!", „Лѣсная сторока, на лѣсники безъ дровъ!", „Хороши дрова у сосѣда: отъ его тепла къ намъ паръ идетъ!"

Бываетъ и такъ, что надъ подлѣсными жителями, сидящими безъ полѣна дровъ, подсмѣиваются степняки-пшеничники. „Въ лѣсу люди лѣсѣютъ!"—говорятъ они: „Гдѣ имъ по людски жить: въ лѣсу родились, подъ кустомъ крестились, вокругъ куста вѣнчались, пенькамъ молятся!", „Хорошо люди живутъ: мякинный хлѣбушко за пазухой носятъ; а хлѣбца нѣтъ—коры невпроѣдъ!", „На что намъ мякина съ лебедой, когда сосна кругомъ: поскоблилъ и брюхо набито!"... Не остается въ долгу передъ пшеничниками и лѣсной народъ. „Эва—диво, братцы,—отговаривается онъ,—живутъ-же люди на свѣтѣ: хлѣбомъ давятся, а пекутъ хлѣбы на коровьемъ назьмѣ (кизякѣ)!", или: „Весело,—куда ни глянешь, глаза косятъ-разбѣгаются!", „Степовые мужики, лѣпите кизяки: зима на носу!", „Степнякъ хитеръ, дровъ нѣтъ—у коровы тепла выпроситъ!", „Что́ пшенишному брюху дрова, былъ-бы навозъ у хлѣва!", „Много-ли степному селу и тепла надо: завело село быка,—и сыто, и нагрѣлось!" и т. д.

Ко многому приплетаетъ охочій до красныхъ рѣчей русскій народъ понятія, связанныя съ зеленой дубровушкою. „Обманетъ—въ лѣсъ уйдетъ!", или: „Какъ волка ни корми, все въ лѣсъ смотритъ!",—говорится о ненадежномъ человѣкѣ. „Будто на пусты лѣсы!"—приговариваютъ положительные люди о любящемъ прилгнуть-сбрехнуть краснобаѣ; „Кто въ лѣсъ, кто—по дрова; кто два, кто—полтора!"—говорятъ при поднимающейся за бесѣдою разноголосицѣ. „Богъ и лѣсу не сравнялъ!",—замѣчаетъ народная молвь, поясняя: „Въ лѣсу Богъ лѣсу не уровнялъ, въ народствѣ-людей!" О попавшихъ въ совершенно невѣдомыя дотолѣ дѣла и растерявшихся принято говорить, что они бродятъ—„какъ въ темномъ лѣсу". О бывалыхъ людяхъ сложено свое присловье—„Соколу лѣсъ не въ диво!" Сами-же „соколы" не прочь обмолвиться о себѣ и такимъ словцомъ, какъ: „Бѣда не по лѣсу ходитъ, а по людямъ!" Когда, еще не сдѣлавъ дѣла, кто-нибудь начинаетъ судить-рядить о томъ, что́ должно выйдти изъ этого послѣдняго,—въ обычаѣ говорить: „Медвѣдь въ лѣсу, а шкура прода-

на (или: „... а на шкуру торгъ идетъ!“). Къ тѣмъ, кто не въ мѣру остороженъ, подходятъ свои пословицы: „Волковъ бояться—въ лѣсъ не ходить!“, „Пошло поле въ лѣсъ!“ и. т. п. Есть люди, что на каждомъ шагу оговариваютъ себя то одной, то другою примѣтой. Не обошли они своимъ словцомъ и лѣса темнаго. Такъ, по ихъ повѣрью, если идти по лѣсу да пѣть и увидѣть ворона, это значитъ—надо ждать встрѣчи съ волкомъ или (еще того не легче!) съ самимъ „лѣснымъ бариномъ“—медвѣдемъ. Если худо говорить про кого-нибудь изъ близкихъ, идучи лѣсной дорогою, да не сказать—„На сухой („... на пустой“—по иному разносказу), лѣсъ будь помянуто!“,—случится съ тѣмъ, о комъ велась рѣчь, какое-ни-на есть-лихо. О людяхъ, къ которымъ примѣнима пословица „Глупому сыну не въ помощь богатство!“, можно иногда услышать и такой прибаутокъ, какъ: „Догналъ батькину полосу до самаго до лѣсу!“, „Все былъ лѣсъ да лѣсъ, оглянулся—одно зàлѣсье!“ и т. д.

Отбрасывающія во всѣ стороны отъ себя тѣнь лѣсныя кущи вѣютъ на захожаго путника чѣмъ-то несказàннымъ. Подъ ихъ навѣсами чувствуется общеніе съ какимъ-то стоящимъ внѣ обычнаго теченія жизни міромъ. И весь тайна, весь загадка этотъ міръ для непосвященнаго въ его „святая святыхъ“ человѣка.

Должно быть, загадочность міра, отдѣленнаго отъ человѣка темными навѣсами зеленокудраго царства, и вызвала то многое-множество загадокъ, что ходятъ по свѣтлорусскому простору, ведя рѣчь обо всемъ связанномъ съ нимъ. Народъ - землепашецъ съ особой внимательностью приглядывается къ жизни лѣса,—отъ его зоркихъ глазъ не ускользаетъ ни малѣйшихъ подробностей ея: словно онъ сердцемъ чуетъ каждое мимолетное дыханіе творческой силы, создавшей это могучее царство, гдѣ,—что ни шагъ, то яркое проявленіе ея чудодѣйнаго духа.

Выше лѣсу, по словамъ русской загадки, солнышко красное; но этимъ-же свойствомъ надѣляетъ народная Русь и вѣтеръ, который—по ея слову—„выше лѣсу, тоньше вòлоса.“ У русскаго человѣка въ душѣ всегда сидитъ художникъ, прислушивающійся къ музыкѣ природы. Не диво поэтому, что любитъ онъ свои самодѣльные гусли-самогуды да балалайку-веселуху, бряцать по струнамъ которыхъ изстари вѣковъ слылъ великимъ мастеромъ. Рѣчь о послѣдней утѣхѣ-забавѣ связана у него и съ лѣсомъ. „Въ лѣсу выросло, изъ лѣсу вынесли, на рукахъ плачетъ, а по полу скачетъ!“—говоритъ онъ о ней. Къ балалайкѣ-же относится и такая

загадка, какъ: „Въ лѣсу-то тяпъ-тяпъ, дома-то ляпъ-ляпъ; на колѣни возьмешь—заплачетъ!“. Про гудокъ загадываютъ на тотъ-же самый ладъ: „Въ лѣсу выросъ, на стѣнѣ вывисъ, на рукахъ плачетъ; кто слушаетъ - скачетъ!“ Не сдѣлаешь, однако, ни балалайки, ни гудка, безъ топора; а и топора нѣтъ—безъ топорища. Вотъ и о немъ пустила словоохотливая деревня гулять по́-людямъ свою загадку. „Въ лѣсъ идетъ—домой глядитъ; изъ лѣсу идетъ—въ лѣсъ глядитъ!“—гласитъ она, вызывая передъ слушателями живую картину (мужика, идущаго съ топоромъ за́-поясомъ).

Что ни дерево въ лѣсу, то своя краса, своя особая жизнь, свои пріуроченныя къ ней, выхваченныя изъ нея пытливымъ слухомъ народныя поговорки. Но едва-ли не болѣе всего прочаго лѣсного народа зеленаго по́-сердцу простодушному пахарю береза—эта бѣлая, кудрявая красавица.

Не смотря на крупные задатки мечтателя, русскій мужикъ всегда остается себѣ-на-умѣ, человѣкомъ хозяйственнымъ. Зоркій взглядъ его прежде всего приглядывается къ полезности того, что́ встрѣчается ему на пути зрѣнія. Такъ и здѣсь. „Шелъ я лѣсомъ,“—загадываетъ народная Русь загадку о березѣ-березынькѣ,—„нашелъ я древо, изъ этого древа выходятъ четыре дѣла: первое дѣло—слѣпому посвѣченье (лучина); второе дѣло—нагому потѣшенье (вѣникъ въ банѣ на полкѣ); третье дѣло—скрипячему поможенье (береста, деготь для телѣги); четвертое дѣло—хворому полегченіе (сокъ-березовица)“... По ярославскому разносказу: первое—„отъ темной ночи свѣтъ,“ второе—„некопаный колодецъ,“ третье—„старому здоровье,“ четвертое—„разбитому связь“; по самарскому: „третье дѣльце—ахъ, хорошо!“. Псковичи говорятъ про это дерево въ четырехъ словахъ: „Лѣтомъ мохнатенька, зимой сучковатенька!“, куряне немногимъ больше: „Хоть малая, хоть большая—гдѣ стоитъ, тамъ и шумитъ!“; казанскіе загадчики ведутъ болѣе сложную-мудреную рѣчь: „На полѣ на Арскомъ стоятъ столбики бѣлёны, на нихъ шапочки зелены“... Народное пѣсенное слово величаетъ березу въ цѣломъ рядѣ пѣсенъ—то грустныхъ-про́голосныхъ, то веселыхъ-частушекъ. И въ тѣхъ, и въ другихъ это любимое дерево великоросса является надѣленнымъ ласкательными именами. „То не бѣлая березынька къ землѣ клонится, не бумажные листочки разстилаются“...—выводитъ одна запѣвка. „Кудрявая березынька подъ окошечкомъ, а въ окошечкѣ не касаточка, не ласточка—сидитъ душа красна-дѣвица“...—сливается съ первой другая пѣсня. „Вечо́ръ моя березынька, вечоръ моя кудрявая, кудрявая, зеленая, ахъ мелколистная,

вечоръ моя березынька долго шу́мѣла, долго шумѣла—сердечушку отъ мила-дружка несла вѣсточку, ахъ кудрявая!"... —заливается третья... „Во́ полѣ березынька стояла, во́-полѣ кудрявая шумѣла. Люли-люли, стояла; люли-люли, шумѣла!"—звенитъ залихватскій переборъ четвертой. И не будетъ конца этимъ пѣснямъ, если приняться перебирать ихъ одну за другой.

На веселый Семикъ—дѣвичій праздникъ, на Троицу съ Духовымъ днемъ, слывущіе „Зелеными Святками", поются, въ честь березки особыя пѣсни. Эти дни являются настоящимъ праздникомъ въ жизни бѣлой-кудрявой красавицы лѣсного царства. Завиваютъ красны-дѣвушки вѣнки, пускаютъ ихъ на воду, загадываютъ по нимъ о судьбѣ да о суженыхъ; носятъ березку, наряженную въ цвѣты да въ ленты, по деревнѣ; хороводы подъ березками водятъ. И всюду она красуется тогда—гдѣ на Руси есть живой человѣкъ.

Не одной березѣ-березынькѣ народное крылатое слово честь-честью воздаетъ,—не обошло оно и другихъ представителей зеленокудраго царства,—какъ лиственныхъ, такъ и хвойныхъ. Послѣдніе даже ближе-роднѣе угрюмому русскому сѣверу. Бродя подъ сѣнью сосенъ, этихъ стройныхъ красавицъ, готовыхъ если не по дородству, то по статности, поспорить не только съ бѣлой березою, а и съ заморскими пальмами,—обмолвился о нихъ подлѣсный пахарь цѣлымъ рядомъ загадокъ. „Что цвѣтетъ безъ цвѣта?"—загадываетъ онъ одну,—„Эко ты дерево! И зиму, и лѣто зе́лено!", „Весной цвѣту, лѣтомъ плодъ приношу, осенью не увядаю, зимой не умираю!"—поясняетъ другими загадками. „Малъ-маленекъ, сверху—рогатка!"—присматриваясь къ елкѣ, думаетъ онъ. „Стоитъ дряво, виситъ кудряво, по краямъ мохнато, въ середкѣ сладко!",—гласитъ народная молвь о кедрѣ. „Не бей меня, не ломи меня; лѣзь на меня; есть у меня!"—добавляютъ къ ней сибиряки, промышляющіе собираніемъ кедровыхъ орѣховъ. Съ этими загадками—въ близкомъ родствѣ-свойствѣ сказавшіяся о простомъ орѣшникѣ: „Весь мохнатка, въ мохнаткѣ—гладко, въ гладкѣ—сладко!" „Есть на мнѣ, есть во мнѣ, нагни меня, бери меня! Достанешь гладко, расколешь—сладко!" и т. п.

Осина, трепещущая при одной мысли о своемъ вѣковѣчномъ позорѣ осина, заклеймлена въ народной мо́лви проклятіемъ. „Горькая осина—проклята́я Іудина висѣлица!"—говоритъ деревенскій людъ, вспоминаючи о томъ, что это дерево избралъ предатель Свѣта Истины для своей смертной петли. „Какое проклято́е дерево безъ вѣтра шумитъ?"—загадывается объ осинѣ загадка. Въ чернолѣсьи сплошь-да

рядомъ встрѣтишь о-бокъ съ „Іудиной висѣлицей“ кудреватую липу, приманивающую пчелъ—Божьихъ работницъ—своимъ медовымъ цвѣтомъ, а лѣсопромышленника—соблазняющую лыкомъ да лутошками. Пахари-лапотники, глядючи на липу щеголиху, повторяютъ другъ за дружкой: „Шелъ я по дорожкѣ, нашелъ лисятъ, всѣ на липкѣ висятъ. У нихъ лапы гусины, а сами въ башмакахъ; я ихъ—тыкъ, а они съ липки—шмыгъ!“ (лыки), или: „На деревѣ—липъ-липъ, а на ногѣ скрипъ-скрипъ!“ (лапти), „Въ избу—ворономъ, а изъ избы—лебедемъ!“, „На Туторевомъ болотѣ тутор туторя убилъ; кожу снялъ—домой взялъ, мясо тамъ бросилъ!“ (лутошка) и т. д. О можжевельникѣ ходитъ новгородскимъ полюдьемъ такое крылатое слово: „Дерево—елево, три́ года—ягода, на четвертый годъ—въ голову кокъ!“, „Ты, рябинушка, ты кудрявая!“—поется въ симбирской пѣснѣ, подслушанной встороне́ отъ Волги, за Свіягой-рѣкой. „Красненько, кругленько, листочки продолговатеньки!“—обрисовываетъ это деревцо новгородскій людъ; „Въ лѣсу на кусту—говядинка виситъ!“—говорятъ самарскіе луковники, ставропольскіе огородники. „Подъ ярусомъ-ярусомъ—зипунъ съ краснымъ гарусомъ!“—вторятъ самарской загадкѣ пензенскіе загадчики, словно соперничая съ тѣми въ красовитости рѣчи. О деревѣ вообще—обмолвился-молвитъ русскій народъ во многомъ-множествѣ красныхъ-цвѣтистыхъ рѣчей. „Весной веселитъ, лѣтомъ холодитъ, осенью питаетъ, зимой согрѣваетъ!“—покрываетъ всѣ эти рѣчи воронежское присловье. Листва—главную красу дереву придаетъ. Оттого-то, вѣроятно, и величаютъ листъ „Паномъ Пановичемъ“ въ русскомъ народѣ. „Панъ Панòвичъ упалъ въ колодецъ,“—говоритъ деревня,—„воды не смутилъ и самъ не потонулъ!“ Чернолѣсье представляется глазамъ русскаго сказателя зимою—„съ сѣдой бородой“, лѣтомъ—„въ шубѣ“. У чернаго лѣса, по словамъ подлѣсныхъ жителей, успѣвшихъ за свой вѣкъ приглядѣться къ жизни каждой травки въ лѣсной по́низи, лѣтомъ новая борода выростаетъ, осенью старая отпадаетъ. „Всѣ паны скидавали чапаны, одинъ панъ не скинулъ чапанъ!“—говоритъ охочій до загадокъ-отгадокъ сельскій людъ, разгуливая взглядомъ отъ чернолѣсья къ краснолѣсью.

„Лѣсъ—богатъ, не то что нашъ братъ!“—приговариваетъ питающаяся отъ его щедротъ, перебивающаяся съ хлѣба на̀ воду бѣднота. “Онъ, лѣсъ-то, что купецъ пузатый: всякимъ харчомъ, всякимъ товаромъ торгуетъ!“—добавляетъ бывалый человѣкъ, исколесившій лѣсныя просѣки-засѣки изъ конца въ конецъ. „Въ лѣсу—и обжорный рядъ, въ лѣсу—и пушнина,

въ лѣсу тебѣ—и курятная лавочка!"—можно услышать въ сѣверныхъ губерніяхъ, гдѣ однимъ хлѣбомъ со своей „неродимой" полосы не прокормишься, если не пойдешь въ лѣсъ по грибы, по ягоды, по краснаго звѣря, по рябца-тетерева,—часомъ съ лукошкомъ, а часомъ и съ охотничьимъ припасомъ. О грибахъ, объ ягодахъ сыпать присловьями горазды дѣвки красныя. „Стоитъ горка въ красной ермолкѣ; кто ни пройдетъ—всякъ поклонъ отдаетъ!"— ведутъ онѣ рѣчь про землянику-ягоду. Грибъ въ народномъ представленіи является то старикомъ въ колпакѣ—„на бору на юру", то „мальчикомъ съ пальчикъ" („бѣлъ балахонъ, шапка красненькая"). По инымъ мѣстамъ ему (мальчику) имя даютъ: „Стоитъ Антошка на одной ножкѣ; его ищутъ, а онъ нишкнетъ!", „Маленькій Тимошка сквозь землю прошелъ, въ колесѣ душу пронесъ, красну шапку нашелъ!"... и т. д.

Есть мѣста на Святой Руси, гдѣ мужика не пахаремъ, а звѣроловомъ, да птицеловомъ, звать было-бы правильнѣе: живетъ тамъ онъ не сохой-Андреевной, а ружьемъ да силками,—кормится не полемъ, а лѣсомъ. У такого мужика и соха на свой ладъ налажена: „огнемъ пышетъ, полыменъ дышетъ" (ружье). „Летитъ птица орелъ, несетъ въ зубахъ огонь; поперекъ хвоста—человѣчья („звѣриная" — по иному разносказу) смерть!", „Летитъ воронъ, носъ окованъ, гдѣ чкнетъ, руда пойдетъ!", „Черный кочетъ,—рявкнуть хочетъ!", „Сухой Мартынъ—плюетъ черезъ тынъ!", „Летитъ птица, во рту спица, на носу—смерть!"—перебиваютъ одна другую загадки о ружьѣ. „Птичка-невеличка, полемъ катится—ничего не боится!", „Летѣла тетеря вечеромъ—не теперя, упала въ лебеду и теперь не найду!", „За Костей пошлю гостя, не знай—Костя придетъ, а посолъ пропадетъ!"—говорится о пулѣ; „Летитъ птица крылата, безъ глазъ, безъ крылъ, сама свиститъ, сама бьетъ!"—о стрѣлѣ, оружіи которое въ наши дни отходитъ въ область преданій вездѣ, кромѣ только развѣ ближнихъ сосѣдей крайняго сѣвера, обитателей тайги-тундры, сибирскихъ инородцевъ.

Въ стародавніе годы лѣсъ считался священнымъ мѣстомъ у всѣхъ славянскихъ народовъ. Быть можетъ, и теперь въ сокровенномъ уголкѣ души суевѣрнаго русскаго человѣка, испытывающаго благоговѣйное смущеніе при входѣ въ лѣсъ, просыпается—еле внятнымъ отголоскомъ—пережитокъ язычества пращуровъ, признававшихъ заповѣдныя лѣсныя мѣста своими храмами. Въ священныхъ рощахъ древнеязыческой Руси, надъ истоками текущихъ водъ, совершались жертвоприношенія воплощеннымъ въ природѣ богамъ. Въ этихъ ро-

щахъ,—подъ страхомъ незамолимаго смертнаго грѣха,—запрещалось охотиться за звѣрьёмъ и птицей, не позволялось рубить ни одного дерева. Здѣсь, подъ вѣковой сѣнью древесъ, благословлялись жрецами брачные союзы. Въ особо отведенныхъ урочищахъ устраивались кладбища, гдѣ находили себѣ вѣчный покой завершившіе свой томительный жизненный путь. Еще и до сихъ поръ въ поволжскихъ селахъ встрѣчаются заброшенныя лѣсныя кладбища, говорящія своимъ видомъ о глубокой старинѣ происхожденія. О свадьбахъ-„самокруткахъ“ ходитъ въ народной Руси выраженіе: „вѣнчались вкругъ ракитова куста“. Въ Симбирской губерніи, верстахъ въ шестидесяти-семидесяти отъ губернскаго города,—тамъ, гдѣ русскія села какъ-бы вкраплены узоромъ въ сплошныя чувашскія и мордовскія деревни,—еще всего лѣтъ двадцать назадъ, посреди полей можно было видѣть уцѣлѣвшіе отъ топора-истребителя и свято охранявшіеся населеніемъ старые одинокіе дубы, позабытыми на полѣ битвы богатырями возвышавшіеся надъ равниною. Это—заповѣдныя деревья, уцѣлѣвшія отъ истребленныхъ священныхъ рощъ (по-чувашски—„кереметь“). Подъ ними, время отъ времени, устраивались мірскія пирушки: кололся барашекъ, пѣнилась по чашкамъ-пивнушкамъ хмѣльная брага, лилось крѣпкое зелено-вино, играла-выговаривала самодѣльная чувашская балалайка (всѣ чуваши—прирожденные балалаечники), пѣлись пѣсни, переносившія ко днямъ позабытой старины. У чувашъ [23]), годъ-отъ-года русѣющихъ сосѣдей великоросса, и у почти совсѣмъ обрусѣвшей и слившейся съ нимъ—путемъ браковъ—трудолюбивой мордвы [24]) эти дубы и теперь считаются священными. Ихъ обвѣшиваютъ жертвенными полотенцами, къ нимъ обра-

[23]) Чуваши—племя тюркскаго происхожденія, еще задолго до татарскаго нашествія поселившееся среди поволжскихъ финновъ и до сихъ поръ сохранившееся въ Казанской, Симбирской, Оренбургской и другихъ сосѣднихъ губерніяхъ. Въ 1879-мъ году ихъ насчитывалось болѣе полумилліона человѣкъ. Въ настоящее время огромное большинство чувашъ—христіане, и только ближнее сосѣдство съ татарами и миссіонерскія стремленія муллъ удерживаютъ нѣкоторую часть ихъ въ магометанствѣ. Встарину всѣ они были язычниками и поклонялись своимъ особымъ богамъ, память о которыхъ еще настолько свѣжа въ этомъ народѣ, что до сихъ поръ существуютъ языческія деревни чувашскія. Языкъ чувашъ близокъ къ древнему хазарскому и языку камскихъ болгаръ, имѣетъ онъ не мало общаго и со старо-турецкимъ. Исторіи этого народа не существуетъ, хотя нѣкоторые ученые и относятъ его происхожденіе къ буртасамъ, обитавшимъ на берегахъ Оки и Волги въ IX—X вѣкахъ по Р. Х.

[24]) Мордва—восточно-финнское племя, распадающееся на двѣ нѣсколько обособленныхъ народности—эрзю и мокшу, и живущее въ Нижегородской, Симбирской, Пензенской, Тамбовской, Самарской, Уфимской, Оренбургской и Саратовской губерніяхъ. Численность этого наиболѣе значительнаго изъ

щаются съ моленіями о дождѣ, передъ ними даютъ обѣты. Если-же гдѣ подъ такимъ деревомъ догадливою благочестивой рукою поставлена часовенка или водруженъ деревянный крестъ да еще бѣжитъ-журчитъ ручеекъ-студенецъ,—то къ такому мѣсту принято ходить на богомолье. Чуваши, несмотря на всю свою кажущуюся закорузлость, являются ревностными христіанами и проявляютъ жажду свѣта, выводя изъ своей среды черезъ горнило симбирской центральной чувашской школы, основанной благодаря просвѣтительной дѣятельности Ильминскаго, [25]) выдающихся поборниковъ православія (учителей и священниковъ), идущихъ на служеніе темному родному люду.

восточныхъ финновъ племени достигаетъ 1.000 000 человѣкъ. Въ настоящее время всѣ они—христіане. Страна „Mordia“ впервые упоминается у Константина Багрянароднаго. Дальнѣйшая исторія мордвы связана съ исторіей возникновенія Рязанскаго и Суздальско-Нижегородскаго княжествъ, ея ближайшихъ сосѣдей. Въ древнія времена мордовская страна занимала пространство между Волгой, Окой и Сурою и притоками Мокши; восточнѣе отодвинулась она подъ давленіемъ русскихъ, наступавшихъ на нее въ силу необходимости. Первое столкновеніе наше съ мордвою было, по свидѣтельстау лѣтописей, въ 1103-мъ году, когда муромскій князь Ярославъ Святославичъ былъ разбитъ войсками мордовскими. Съ XIII-го вѣка мордва, имѣвшая своихъ князей и свои укрѣпленные города (отъ которыхъ и теперь еще находятъ въ глуши поволжскихъ лѣсовъ „городища“), начала сдаваться Руси. Нашествіе Батыя коснулось ея гораздо менѣе, хотя и отдало во власть татарскихъ мурзъ-намѣстниковъ часть ея, извѣстную подъ именемъ мокши. Эрзя-же оставалась совершенно самостоятельною и боролась противъ русскихъ, призывая „на помощь“ себѣ татаръ. Такъ, извѣстно пораженіе, нанесенное мордвою войскамъ князя Дмитрія Ивановича московскаго въ 1377-мъ году на рѣкѣ Пьянѣ. Но борьба становилась все непосильнѣе, чѣмъ ближе подвигалось время къ свержению татарскаго ига. Во времена Грознаго еще были у мордвы свои князья (одинъ изъ нихъ, Еникей, участвовалъ въ походѣ Іоанна IV на Казань). По взятіи Казани наступилъ конецъ государственной самобытности мордовскаго племени, окончательно подпавшаго подъ власть русскихъ. Потомство властителей эрзи-мордвы (сильнѣйшаго ядра племени) еще удерживало за собою княжескіе титулы, но это было только тѣнью прошлаго величія. Въ XVII—XVIII столѣтіяхъ мордва была обращена въ христіанство, но еще долго охраняла свою древнюю религію, поклоняясь на лѣсныхъ молянахъ своимъ—нынѣ совершенно забытымъ—богамъ. Въ настоящее время мордва—рослый, красивый и сильный народъ, какъ и въ давніе годы занимающійся земледѣліемъ и пчеловодствомъ—предпочтительно передъ всѣмъ другимъ. Это—не изъ тѣхъ племенъ, которыя обречены на вымираніе,—хотя судьба его—окончательно слиться съ народомъ русскимъ, къ великорусскому типу котораго онъ близокъ не только по внѣшности, но и по внутреннему складу жизни и даже по крови,—если вспомнить, изъ какихъ элементовъ слагался этотъ могучій типъ.

25) Николай Ивановичъ Ильминскій—выдающійся дѣятель по народному образованію, вдохновенный просвѣтитель инородцевъ Казанской, Уфимской, Оренбургской и Симбирской губерній, основавшій цѣлую сѣть инородческихъ школъ и создавшій своимъ апостольскимъ отношеніемъ къ дѣлу неразрывныя связи между просвѣтителями и просвѣщаемыми. Среди инородцевъ (крещеныхъ татаръ, киргизовъ, вотяковъ, черемисъ и чувашъ) онъ создалъ своей

Дубъ издавна считался на славянской землѣ священнымъ деревомъ. Лѣтописи свидѣтельствуютъ о томъ, какъ на славянскомъ Западѣ проповѣдниками христіанскаго ученія вырубались заповѣдныя рощи,—чтобы воочію показать безсиліе языческихъ боговъ передъ свѣтоноснымъ могуществомъ единаго Бога. Было это и на Святой Руси—во времена Владиміра Красна-Солнышка и ближайшихъ его преемниковъ на великокняжескомъ столѣ. Но до сихъ поръ напоминаютъ о почитаніи дубовыхъ рощъ разбросанныя по неоглядному свѣтлорусскому простору рощицы-„жальники“, превратившіяся въ мѣста отдыха утомленныхъ зноемъ путниковъ.

Дубъ является олицетвореніемъ силы-мощи и въ древности былъ посвященъ могучему Перуну. „На святомъ окіянъ-морѣ,“—гласитъ заговорное народное слово,—„стоитъ сырой дубъ крековистый (кряжистый?). И рубитъ тотъ дубъ старъ-матёръ мужъ своимъ булатнымъ топоромъ. И какъ съ того сырова дуба щепа летитъ, такожде бы и отъ меня (имя рекъ) валился на сыру землю борецъ-молодецъ по всякой день, по всякой часъ!“.

Дошло до нашихъ дней славянское преданіе о дубахъ, стоявшихъ будто-бы „еще до сотворенія міра“, когда-де не было ни земли, ни неба, а разливался по всей вселенной одинъ „окіянъ-море“. Стояли, по словамъ преданія, посреди этого оки-

---

жизнью и дѣятельностью поистинѣ нерукотворный памятникъ. Онъ родился 23 апрѣля 1822 г. въ г. Пензѣ, въ семьѣ мѣстнаго священника, воспитывался въ пензенскихъ духовномъ училищѣ и семинаріи, высшее образованіе получилъ въ казанской духовной академіи (1842—1846 г. г.), по окончаніи курса которой былъ назначенъ преподавателемъ въ ней арабскаго и татарскаго языковъ. По личному почину, Н. И. Ильминскій изучилъ на мѣстѣ татарскій разговорный языкъ, для чего нѣсколько лѣтъ провелъ среди татаръ и даже обошелъ пѣшкомъ всю казанскую инородческую округу. Въ 1851-мъ году онъ совершилъ, съ цѣлью изученія мусульманства, путешествіе въ Турцію и Малую Азію, а затѣмъ цѣлый рядъ лѣтъ посвятилъ трудамъ по переводу священныхъ и богослужебныхъ книгъ на инородческіе языки и на исправленіе прежнихъ, неточныхъ и неудобопонятныхъ, переводовъ. Съ 1858-го по 1861-й годъ онъ служилъ переводчикомъ пограничной коммиссіи при оренбургскомъ генералъ-губернаторѣ; въ 1861-мъ году былъ назначенъ профессоромъ турецко-татарскаго языка въ казанскій университетъ, каковымъ и состоялъ до 1872 года, не оставляя прежнихъ, просвѣтительныхъ заботъ объ инородцахъ. Въ 1864-мъ году была открыта въ Казани первая крещено-татарская школа, подъ главнымъ наблюденіемъ Н. И—ча. А къ 1896-му году число подобныхъ ей возросло въ одной Казанской губерніи до 148. Душою братства св. Гурія, основаннаго въ Казани въ 1867 г., былъ тотъ-же Ильминскій. Въ 1872-мъ году открылась казанская инородческая учительская семинарія, директоромъ которой Н. И. состоялъ до самой своей смерти, послѣдовавшей 27 декабря 1891 года. Въ память апостольскаго служенія Н. И. Ильминскаго сооружена—освященная въ 1895 г.—церковь въ с. Никифоровкѣ Мамадышскаго уѣзда, Казанской губерніи.

яна два дуба, на тѣхъ дубахъ сидѣло два голубя. Спустились эти голуби на морское дно, захватили клювами песку да камешковъ и принесли Творцу міра. Такъ-де и были созданы и земля, и небо. По другому преданію, существуетъ желѣзный („прьвопосаждень") дубъ, на которомъ держатся вода, огонь и земля, а корень этого дуба стоитъ „на силѣ Божіей". Ростетъ-поднимается этотъ дубъ до самыхъ седьмыхъ небесъ, а коренится въ глубочайшихъ нѣдрахъ подземнаго царства.

Какъ домашній очагъ отдается народнымъ суевѣріемъ подъ защиту Домового, поля—подъ покровительство Полевика—„житнаго дѣда", воды—Водяного, такъ и надъ темными лѣсами властвуетъ Лѣсовикъ, а въ широкой степи живетъ Степовóй. О послѣднемъ все меньше да меньше преданій-сказаній остается въ народной памяти,—вѣроятно, потому, что и сáмому степному простору становится все тѣснѣй на бѣломъ свѣтѣ: распахиваетъ его острый плугъ, и съ каждымъ годомъ быстрѣе. „Степовой — не Домовой, въ подпечекъ не посадишь!"—говорятъ деревенскіе краснословы: „Степовому не поклонишься—и степь за теменъ лѣсъ покажется!", „Хорошъ хозяинъ у степи: ни сѣна не коситъ, ни пить-ѣсть не проситъ!" Воплощеніе „степного хозяина" русскій народъ видитъ въ крутящихся вихряхъ. Иногда онъ, по словамъ суевѣрнаго люда, „показывается"; и не къ добру такое появленіе забываемаго духа степей—родича-властителя „Стрибожьихъ внуковъ" (буйныхъ вѣтровъ). Вздымаются, бѣгутъ по дорогамъ сивые вихри, сталкиваются другъ съ дружкой на перекресткахъ. И вотъ—изъ толпы ихъ, въ самой срединѣ-воронкѣ, поднимается и Степовой: сивый, какъ вихрь, высокій старикъ съ длинною пыльной бородою и развѣвающеюся во всѣ стороны копною волосъ. Покажется, погрозитъ онъ старческою костлявой рукою и скроется. Бѣда тому путнику, который, не благословясь, выѣдетъ-выйдетъ изъ дому да въ полдень попадетъ на перекрестокъ, гдѣ крутится пыльная толчея вихрей: „Бывали случаи, что такъ и пропадали люди!"—гласитъ сѣдое народное слово. „Вѣдьмы свадьбу съ вѣдьмаками правятъ!"—приговариваетъ деревня, смотря на пляску вихрей, столбами проносящихся со степи вдоль по улицамъ, и торопливо загоняетъ ребятишекъ по избамъ.

Обликъ „лѣсного хозяина" довольно неопредѣленъ: онъ видоизмѣняется—по волѣ особенностей суевѣрія той или другой мѣстности. Окруженный своимъ лѣснымъ народомъ—лѣсными дѣвами (русалками), „лѣшачихами" и всякой лѣсной нéжитью, служащей у него—могучаго и грознаго—на побѣгушкахъ, онъ живетъ въ глухой трущобѣ, гдѣ у него стоитъ

дворецъ-хата на курьихъ ножкахъ, вокругъ да около которой виснетъ по зеленымъ вѣтвямъ деревьевъ простоволосое русалье племя, приходящееся кровною родней своимъ сестрамъ—зеленорусымъ красавицамъ подводнаго царства. Разсылаетъ Лѣсовикъ подвластныхъ ему лѣшихъ съ „подлѣшуками“, да съ ихъ женками-русалками, во всѣ стороны лѣса темнаго для о́бережи его предѣловъ да на пагубу человѣку хищнику, вторгающемуся все смѣлѣе съ каждымъ годомъ въ его владѣнья-угодья съ топоромъ и съ ружьемъ. Отгоняютъ они изъ-подъ ружья звѣря-птицу, „отводятъ глаза“ охотнику и лѣсорубу, сбиваютъ съ тропы, заставляютъ „и въ трехъ соснахъ заблудиться“, заводятъ робкаго человѣка на такія заколдованныя тропинки, по которымъ—сколько ни иди—все къ одному и тому-же глухому мѣсту выйдешь. Свистъ и хохотъ несется по лѣсу,—перекличку ведетъ лѣсная не́жить. Если надо, обернется и сама она въ подорожнаго человѣка (даже въ знакомаго путнику) и начнетъ водить-кружить неосторожнаго прохожаго. А русалкамъ повѣритъ онъ да пойдетъ къ нимъ на́-голосъ,—поймаютъ, на смерть защекотятъ да и бросятъ подъ оврагъ гдѣ-нибудь. Оттого-то и старается жить съ Лѣсовикомъ и съ его лѣснымъ народомъ въ добромъ согласіи суевѣрный людъ: умилостивляетъ ихъ приносами (вѣшая полотенца по вѣтвямъ въ трущобахъ-урочищахъ), заклинаетъ заговорнымъ словомъ. И тогда не только не враждуетъ съ человѣкомъ, а оказываетъ ему всякое покровительство, лѣсной хозяинъ, всякому звѣрю, каждой птицѣ, каждому гаду, ползающему у древесныхъ корней, указывающій свое мѣсто и свою пищу. „Грозенъ лѣсовикъ, да и добёръ!“—говоритъ о немъ и его обычаяхъ народная молвь,—совѣтъ подаетъ охотникамъ: оставлять ему на жертву въ чащѣ первый уловъ, а лѣсорубамъ-дровосѣкамъ строго-на́-строго наказываетъ не зачинать дѣла безъ словъ „Чуръ меня!“, а бабамъ-дѣвкамъ—грибовницамъ да ягодницамъ—задаривать „добраго дѣдушку“ кускомъ хлѣба да щепотью соли, а то и лентой алою, до которыхъ старый—большой охотникъ. Но бываютъ дни передъ началомъ зимы, поздней осенью—когда лучше и не показываться въ лѣсъ: хозяинъ его передъ тѣмъ, какъ залечь на зимній подневольный покой, никому не даетъ пощады. Тогда отъ него ни отчураешься, ни хлѣбомъ-солью не отдѣлаешься.

VII.

Царь-государь.

Понятіе о царѣ-государѣ, какъ о самодержавномъ хозяинѣ Земли Русской, выростало постепенно—одновременно съ развитіемъ народнаго самосознанія. Отъ призванныхъ „володѣти и княжити“ князей-дружинниковъ,—переживъ князей-ставленниковъ, которымъ нерѣдко приходилось слышать увѣковѣченныя лѣтописью слова: „А мы тебѣ кланяемся, княже, а по твоему не хотимъ!“,—оно выросло до представленія о великомъ князѣ—„Божьемъ слугѣ“, „стражѣ Земли Русской отъ враговъ иноплеменныхъ и внутреннихъ“. Но нужно было пройти вѣкамъ, чтобы великій, старѣйшій надъ князьями удѣловъ, князь всталъ въ глазахъ народа-пахаря на высоту царя—„государя всея Руси“, какимъ является онъ въ палатахъ Москвы Бѣлокаменной на исходѣ XVI-го столѣтія.

Но Забѣлинъ [26]), вполнѣ справедливо замѣчаетъ, что „новый типъ политической власти выросъ на старомъ кореню“. Несмотря на разнорѣчіе именованій и рознь обиходовъ княжескаго и царскаго почитанія, народная Русь изстари вѣковъ стояла на служеніи вѣрой и правдою „батюшкѣ-государю“ и была связана со своимъ верховнымъ вождемъ неразрывными узами вѣрноподданнической любви.

---

[26]) Иванъ Егоровичъ З а б ѣ л и н ъ—замѣчательный русскій историкъ, авторъ „Домашняго быта русскихъ царей и царицъ“, „Опытовъ изученія русскихъ древностей“, книги „Минин и Пожарскій, прямые и кривые въ Смутное Время“, очерка „Большой боярин въ своемъ вотчинномъ хозяйствѣ“, двухъ томовъ „Исторіи русской жизни съ древнѣйшихъ временъ“ и другихъ трудовъ. Онъ родился въ 1820-мъ году въ гор. Твери, образованіе получилъ въ москов-

Къ русскому народу, болѣе чѣмъ къ какому-либо другому, примѣнимо названіе—стихія. Русская стихійная душа представляетъ собою столь самобытное и сложное явленіе, что надо быть кореннымъ русскимъ, родиться проникнутымъ до мозга костей духомъ народности человѣкомъ, чтобы составить болѣе или менѣе ясное понятіе о ней и сколько-нибудь опредѣленно разобраться въ народныхъ взглядахъ и понятіяхъ, вѣрованіяхъ, представленіяхъ и чаяніяхъ,—во всемъ живомъ внутреннемъ мірѣ многомилліонной богатырской семьи. Внѣшній обликъ этого загадочнаго на чужой взглядъ великана крѣпко-на-крѣпко связанъ со всѣмъ тѣмъ, что составляетъ его сокровенное святая-святыхъ. Слово и дѣло въ жизни этого стойкаго въ своихъ убѣжденіяхъ, неуклоннаго въ стремленіяхъ, прямого въ проявленіи чувствъ народа всегда шли рука-объруку. Слово-языкъ и слово-преданіе являются на Руси неисчерпаемымъ источникомъ изученія внѣшней и внутренней жизни. Богатство языка,—сильнаго своею живой образностью и неподражаемой простотою, мѣткаго въ опредѣленіяхъ и яркаго, какъ ярка русская государственная жизнь,—богатство русскаго слова не менѣе самого народа говоритъ о стихійности.

Твердо обоснованное, вкоренившееся въ неизвѣданныя глубины народнаго сердца, понятіе о власти, призванной стать у кормила великой и обильной Русской Земли, также не можетъ не быть отнесено къ цѣпи стихійныхъ проявленій творческаго духа русскаго народа. Какъ таковое, оно не могло не отразиться съ достаточной ясностью въ языкѣ и его драгоцѣнной сокровищницѣ—изустномъ творчествѣ, дошедшемъ до нашихъ дней черезъ безконечную путину вѣковъ въ наиболѣе живучихъ образцахъ своихъ: пѣсняхъ, сказкахъ, пословицахъ, загадкахъ и поговоркахъ. Русская простонародная мудрость отводитъ въ нихъ далеко не послѣднее мѣсто многозначительно звучащимъ въ народныхъ устахъ словамъ: „князь“, „царь“ и „государь“.

скомъ преображенскомъ училищѣ, дальше котораго не могъ пойдти по недостатку средствъ. Въ 1837-мъ году онъ поступилъ въ Оружейную Палату канцелярскимъ служителемъ второго разряда. Первою статьей его было описаніе путешествій русскихъ царей на богомолье въ Троице-Сергіевскую лавру („Моск. Губ. Вѣд.“1842 г.). Съ 1848-го по 1859-й годъ И. Е. Забѣлинъ служилъ въ архивѣ дворцовой конторы, затѣмъ перешелъ въ Императорскую археологическую коммиссію, членомъ которой состоялъ до 1876 г. Въ 1879-мъ году онъ былъ избранъ въ предсѣдатели общества исторіи и древностей; 1884-й годъ ознаменовался для него избраніемъ въ члены-корреспонденты Академіи Наукъ, а 1892-й—въ почетные члены ея. Изслѣдованія И. Е. Забѣлина, главнымъ образомъ, относятся къ древнѣйшему періоду кіевской эпохи и московскому періоду русской исторіи.

Съ первымъ изъ названныхъ словъ въ пѣсняхъ и былинахъ, этихъ древнѣйшихъ памятникахъ проявленія духовной жизни народа, связанъ постоянный прйсловъ „красно-солнышко“. Приэтомъ всѣ свойства прекраснѣйшаго изъ свѣтилъ переносятся и на князя, переливаясь на всѣ лады воображенія стихійнаго пѣвца-сказателя. Всюду и всегда сопутствуетъ слову князь слово „ласковый“. Взять для примѣра хотя-бы слѣдующій отрывокъ, неоднократно повторяющійся въ старинныхъ русскихъ былевыхъ пѣсеняхъ:

„Во стольномъ было городѣ во Кіевѣ,
У ласкова осударь-князя Владиміра.
Было пированіе, почестной пиръ,
Было столованіе, почестной столъ
На многи гости, бояра
И на русскіе могучіе богатыри“...

Ласковый осударь-князь этого пѣсеннаго сказанія является олицетвореніемъ того, какими всѣ вообще князья русскіе представлялись глазамъ жившаго подъ ихъ властной рукою прямодушнаго народа-пахаря.

Лѣтописный разсказъ, сохранившій княженецкую Русь отъ забвенія въ потомствѣ, согласуясь съ народомъ, напоминаетъ намъ о столь ласковыхъ рѣчахъ древнерусскихъ князей къ людямъ вѣча, какъ „Братія мои милые!“—Ярослава Мудраго [27]), „Братья володимерцы!“—князь-Юрія [28]), или „Братья, мужи псковичи! Кто старъ—то отецъ, кто младъ—той братъ!“ князя Довмонта [29]) псковскаго.

---

[27]) Ярославъ I-й, Владиміровичъ, сначала князь новгородскій, а затѣмъ, съ 1089 г., великій князь всея Руси. Онъ родился въ 978-мъ году (сынъ Рогнѣды), а умеръ въ 1054-мъ году. Княженіе его ознаменовано цѣлымъ рядомъ войнъ съ непокорными князьями-родичами, но болѣе того—мудрымъ управленіемъ Русью. Онъ покровительствовалъ просвѣщенію, созидалъ храмы (Софійскіе—въ Новгородѣ и Кіевѣ), строилъ новые города (Юрьевъ), составилъ первый сборникъ русскихъ законовъ („Русская Правда“) и, созвавъ соборъ русскихъ епископовъ, учредилъ самостоятельную русскую митрополію (въ 1051 г.). Онъ былъ женатъ на дочери шведскаго короля Эрика и прижилъ съ нею восемь сыновей, которымъ и роздалъ передъ смертью княжескіе удѣлы.

[28]) Юрій (Георгій) Всеволодовичъ, князь владимірскій и суздальскій, сынъ князя Всеволода Большое Гнѣздо, родился въ 1189-мъ, умеръ въ 1225-мъ году. На великокняжескій престолъ онъ вступилъ въ 1219-мъ году. Имъ основанъ Нижній-Новгородъ. Въ его дни постигло Русь нашествіе Батыя.

[29]) Довмонтъ, въ крещеніи Тимоѳей,—князь псковскій (конца XIII-го вѣка), родомъ изъ князей литовскихъ. Онъ увѣковѣчилъ свое имя въ русской исторіи защитою псковскаго княжества отъ внѣшнихъ враговъ (литовцевъ, ливонскихъ рыцарей и друг.). Въ 1269-мъ году была знаменитая осада Пскова ма-

Позднѣе—слово „князь“ замѣняется въ народной рѣчи, согласно съ послѣдовательнымъ развитіемъ жизни, словами „царь“ и „государь“, сопровождаемыми тѣми-же самыми уподобленіями, что и прежде. „Государь-батюшка, надёжа православный царь“, „бѣлый царь“, „красно-солнышко“, „царь—ласковый, славный, грозный, великій“,—вотъ что́ повторяетъ въ продолженіе многихъ вѣковъ русскій народъ о своемъ властителѣ. Слово „царь“ является въ его устахъ наиболѣе яркимъ воплощеніемъ необычной силы, необычайнаго ума, необыкновенной красоты—тѣлесной и духовной.

Царь-государь, добрый-ласковый властитель народа-пахаря, рисуется въ воображеніи послѣдняго поставленнымъ надо всѣми другими царями земными. „Ты еще скажи, суда́рь, повѣдай намъ—который царь надъ царями царь?“ На этотъ вопросъ народной мудрости еще и теперь по свѣтлорусскому простору неоглядному разносятъ народные пѣвцы – калики-перехожіе свой простодушный отвѣтъ, вложенный въ вѣщія уста перемудраго царя „Голубиной Книги“:

„У насъ бѣлый царь надъ царями царь,—
Онъ и вѣруетъ вѣру крещоную,
Крещоную, богомольную,
Онъ во Матерь Божью Богородицу
И во Троицу нераздѣльную:
Онъ стоитъ за домъ Богородицы,
Ему орды всѣ преклонилися
Всѣ языцы ему покорилися...“

Царь объединенъ съ народомъ въ памяти послѣдняго, какъ Творецъ—съ мірозданіемъ. Это—одна недѣлимая стихія, самое существованіе которой неразрывно связано съ обѣими составными частями ея. Кличъ народа призвалъ князя-царя-государя на Святую Русь; слово народное возвели́чало его на свѣтлорусскомъ просторѣ-привольѣ; это-же самое слово говоритъ и объ его самодержавіи, никѣмъ и ничѣмъ—кромѣ Бога—не ограниченномъ. „Царь земной—подъ Царемъ Небеснымъ ходитъ!“—сказала народная Русь. „Никто противъ Бога, ничто противъ царя!“, „Правда Божья, судъ—царевъ!“, „Одному Богу государь отвѣтъ держитъ!“, „Царь—отъ Бога при-

гистромъ Ливонскаго Ордена, отбитая княземъ Довмонтомъ. Въ 1219-мъ году этотъ подвигъ его повторился; но вскорѣ любимѣйшій и справедливѣйшій изъ князей псковскихъ умеръ. Церковь православная причла его къ лику русскихъ святыхъ.

ставъ!" „Никто—какъ Богъ да государь!"—подтвердилъ народъ въ цѣломъ рядѣ пословицъ, какъ-бы сдѣлавшихся законами его общественной нравственности.

„Русской Землѣ нельзя безъ государя быти!",—облетало всю Русь вѣщее слово истинно-русскихъ людей въ смутную годину миновавшихъ лихолѣтій и всегда находило живой откликъ въ народѣ, сказавшемъ про себя, что онъ—„душой Божій, а тѣломъ—осударевъ!" И всякій разъ сердцемъ слышалъ самодержецъ, что откликъ шелъ къ нему изъ глубины стихійной души могучаго богатыря-народа. „Безъ Бога свѣтъ не стоитъ, безъ царя—страна не правится!", „Безъ царя—народъ сирота, земля—вдова!", „Свѣтится солнышко на небѣ, а русскій царь—на землѣ!"—яснѣе складывается мысль этого милліонноголоснаго отклика. „Народъ—тѣло, царь—голова!",—мыслитъ русскій человѣкъ и, видя въ царѣ олицетвореніе высшей справедливости, заноситъ на скрижали своей вѣковѣчной мудрости рѣзкія слова: „Гдѣ царь—тутъ и правда!", „Гдѣ царь—тамъ гроза!", „Близъ царя—близъ чести!", „Близъ царя—близъ смерти!". Второе и четвертое изрѣченія должно, несомнѣнно, отнести къ „ослушникамъ—волкамъ стада государева, царскому добру досадителямъ"—въ одно и то-же время являющимся, въ представленіи сказателя пословицъ, ослушниками, волками и досадителями народа.

„Царь—не огонь, да, ходя близъ него, опалишься!"—иносказательно обрисовываетъ простодушный краснословъ опалу. „Гнѣвъ царевъ—посолъ смерти!", „До царя дойти — голову нести (повинную)!", „Царское осужденіе—безсудно!"; но—„Ни солнышку всѣхъ не угрѣть, ни царю на всѣхъ не угодить!"—смягчаетъ народъ свое понятіе о грозномъ царѣ, представляющемся ему прежде и послѣ всего царемъ ласковымъ, милостивымъ и великодушнымъ—при всей своей нелицепріятной справедливости. „Нѣтъ больше милосердія, чѣмъ въ сердцѣ царевомъ!", „Кто Богу не грѣшенъ, царю не виноватъ?", „До милосерднаго царя и Богъ милостивъ!", „Богъ милостивъ, а царь жалосливъ!", „Богъ помилуетъ, царь—пожалуетъ!", „Виноватаго Богъ проститъ, праваго—царь пожалуетъ!"—дополняется одно крылатое слово другимъ. Извѣстнѣе всѣхъ среди нихъ то-и-дѣло звучащее на Руси: „За Богомъ молитва, а за царемъ служба, не пропадаетъ!"—выраженіе, вошедшее въ плоть и кровь народа, съ малыхъ лѣтъ воспринимающаго понятіе о томъ, что „жить—царю служить".

Какъ-же и чѣмъ служить этому прообразу всего справедливаго, всего могущественнаго, всего милостиваго?—невольно зародился вопросъ въ пытливой душѣ народа. „Царю правда—

лучшій слуга!“—отвѣтилъ онъ самъ себѣ и, въ строго послѣдовательной цѣпи своихъ опредѣленій, даетъ подробный перечень всѣхъ родовъ службы вѣрою и правдою. „Царь безъ слугъ—какъ безъ рукъ!“—говоритъ онъ и, умудренный многовѣковымъ опытомъ, заявляетъ: „Холоденъ, голоденъ—царю не слуга!“. Въ этой послѣдней поговоркѣ благосостояніе страны какъ-бы связывается съ лучшей службою государю, и такимъ образомъ въ пяти словахъ разрѣшается наиважнѣйшій вопросъ внутренняго уклада государственной жизни.

Высоко, превыше всего и всѣхъ, какъ городъ на горѣ, ставя царя-вѣнценосца, народное слово окружаетъ его тыномъ приспѣшниковъ—ближнихъ людей, совѣтчиковъ, ни на пядь не отступая въ этомъ случаѣ отъ жизненной правды. Добрыхъ совѣтчиковъ, доблестныхъ слугъ истины, какими всегда славилась Святая Русь—эта родина богатырей духа,—именуетъ крылатое слово „очами“ и „ушами“ государевыми. Они, по представленію народа, какъ лучи—свѣтъ и тепло краснаго солнышка, несутъ милость царскую на благо родной земли. Но многовѣковой опытъ государственной жизни подсказываетъ народной мудрости и другіе взгляды на окруженный живымъ тыномъ „городъ на горѣ“. „Царево око видитъ далеко!“, но—„Изъ-за тына и царю не видать!“, „Царскія милости въ рѣшето сѣются!“, „Жалуетъ царь, да не жалуетъ псарь!“, „До Бога высоко, до царя далеко!“. Русскій народъ, однако, сознаётъ свою стихійную силу, и это сознаніе является яркимъ лучомъ свѣта во мракѣ его угрюмыхъ взглядовъ на такихъ приспѣшниковъ, которые—„Царю застятъ, народу напастятъ“. И вотъ-изъ устъ его вырываются реченія: „Народъ думаетъ—царь вѣдаетъ!“, „Какъ весь народъ вздохнетъ—до царя дойдетъ!“...

Могучій вздохъ народа, заслоненнаго приспѣшниками, огородившими тыномъ красно-солнышко Земли Русской, вздохъ богатыря-великана, вылетающій изъ милліона грудей, звучитъ отголоскомъ во многихъ пѣсняхъ, навѣянныхъ, по словамъ баяна-пѣснотворца недавнихъ дней, „съ пожарищъ дымомъ-копотью, съ сырыхъ могилъ мятелицей“. И чуткое сердце русскаго „бѣлаго царя“ неизмѣнно отзывается голосу народнаго горя. „Ясныя очи государевы“, тѣ—по именованію народа—„очи соколиныя“, увидѣть которыя всегда слыло счастьемъ для каждаго русскаго человѣка,—видятъ силою проникновенія: кто народу и государю другъ, кто—врагъ. Они, эти зоркія очи, снимаютъ тяготы непосильныя, отводятъ отъ народа бѣду наносную. Надѣляя царя всѣмъ, въ чемъ видитъ силу и обаяніе, народъ налагаетъ на него великую отвѣтственность

передъ Богомъ. „Народъ согрѣшитъ—царь умолитъ, а царь согрѣшитъ—народъ не умолитъ!“, „За царское согрѣшеніе Богъ всю землю казнитъ!“,—изрекаетъ онъ со всею своей прямотою и рѣзкостью, не щадя даже того, въ комъ видитъ олицетвореніе высшаго начала на землѣ.

Радость царская—радость всей Земли Русской, печаль государева—горе всего народа, грѣхъ царевъ—прегрѣшеніе всей Руси. Эти три понятія яркой полосою прошли въ словѣпреданіи русскаго народа. Они-же и въ наши дни волнами всплываютъ на поверхности могучей своею самобытностью народной стихіи, проходя въ жизнь и духъ народа, какъ тепло солнца и влага дождя—въ корни растеній. Въ волѣ царя народъ видитъ законъ, въ законахъ—ясно выраженную волю цареву, предъ которою древніе памятники изустной мудрости совѣтуютъ преклоняться съ благоговѣніемъ. Безграничное довѣріе къ проявленію этой воли, беззавѣтная преданность и безкорыстное служеніе тому, кто—въ представленіи народной творческой мысли, какъ солнышко красное лучами животворными—пригрѣваетъ Землю Русскую свѣтомъ ясныхъ очей своихъ съ высоты святорусскаго трона,—вотъ три звена, въ одну могучую стихію связующія народную душу съ сердцемъ царевымъ.

Древнія граматы недаромъ именовали русскій народъ царелюбивымъ: онъ относитъ слово „царь“ ко всему наиболѣе величественному въ природѣ, обступающей его со всѣхъ сторонъ,—въ природѣ, съ которою онъ связанъ, какъ со своимъ надёжею-царемъ, всею своей жизнью. Такъ, напримѣръ, огонь и вода—двѣ главныя силы могучей природы. Русскій народъ говоритъ: „царь-огонь“, „царица-водица“... Могущественнѣйшій между птицами орелъ, по народному крылатому слову—„царь-птица“, сильнѣйшій между звѣрями левъ—„царь-звѣрь“, прекраснѣйшій представитель цвѣточнаго царства розанъ—„царь-цвѣтъ“. Идетъ изъ народныхъ устъ слово и о царь-травѣ“, и о „царь-землѣ“, и о „царь-камнѣ“. Прославленная русскими сказками всѣмъ красавицамъ красавица слыла „Царь-Дѣвицею“. Очевидно, это всеобъемлющее слово на такой недосягаемой высотѣ высокой стоитъ въ понятіи народа-пахаря, что ярче его нѣтъ въ народномъ словарѣ никакого прйслова. Даже лучшая пѣсня слыла на Святой Руси „пѣсней царскою умильною“. А наиболѣе долговѣчныя изъ этихъ „царскихъ“ пѣсенъ, былинныя сказанія, заурядъ кончались такой славою государю, какъ:

„Слава Богу на небѣ, слава!
Государю нашему на всей землѣ, слава!
Чтобы нашему государю не старѣться, слава!
Его цвѣтному платью не изнашиваться, слава!
Его добрымъ конямъ не изъѣзживаться, слава!
Его вѣрнымъ слугамъ не измѣниваться, слава!
Чтобы правда была на Руси, слава!
Краше солнца свѣтла, слава!
Чтобы царева золота казна, слава!
Была вѣкъ полнымъ-полна, слава!
Чтобы большимъ-то рѣкамъ, слава!
Слава неслась до моря, слава!
Малымъ рѣчкамъ до мельницы, слава!“

Въ стародавнія времена воспѣвались народомъ русскимъ царскія милости, славились походы государевы, запечатлѣвались въ пѣснѣ и горе, и радость царскія по поводу того или другого событія. И всегда слышалось въ этихъ пѣсняхъ благоговѣйное отношеніе къ высокому предмету воспѣванія. Какъ трогательно-простодушно хотя-бы слѣдующее, сложившееся въ болѣе позднюю пору, пѣсенное сказаніе:

„Когда свѣтелъ, радошенъ во Москвѣ благовѣрный царь Алексѣй, царь Михайловичъ, народилъ Богъ ему сына царевича Петра Алексѣевича, перваго императора по землѣ. Всѣ-то русскіе какъ плотнички мастеры, во всю ноченьку не спали, колыбель-люльку дѣлали они младому царевичу; а и нянюшки, мамушки, сѣнныя красныя дѣвушки во всю ноченьку не спали, шинкарочку вышивали по бѣлому рытому бархату онѣ краснымъ золотомъ; тюрьмы съ покаянными они всѣ распущалися; а и погребы царскіе они всѣ растворялися. У царя благовѣрнаго еще пиръ и столъ на радости, а князи сбиралися, бояра съѣзжалися и дворяне сходилися, а все народъ Божій на пиру пьютъ, ѣдятъ, прохлаждаются,—во весельи, въ радости не видали, какъ дни прошли для младшаго царевича Петра Алексѣевича, перваго императора“...

Русскіе цари всегда являли живой и яркій примѣръ истинно-христіанскаго благочестія. Ни одно важное дѣло не предпринималось ими безъ испрошенія благословенія Божія. Каждая мысль вѣнценосца сливалась съ многомилліонной народною стихіей, могучими волнами подступавшею къ вѣковымъ стѣнамъ Кремля, въ сердцѣ котораго—подъ сѣнью московскихъ святынь—горѣло неугасаемой любовью сердце Земли Русской, воплощенное въ ея державномъ хозяинѣ. Общеніе съ народомъ, проявлявшееся въ царскихъ — большихъ, ма-

лыхъ и тайныхъ—выходахъ, непосредственное участіе государя въ торжественныхъ, освященныхъ преданіемъ обрядахъ (см. ниже)—не только доставляли московскому люду счастіе видѣть пресвѣтлый ликъ самодержца, но и служили поводомъ къ горячему проявленію нерушимаго единенія царя и народа.

Царь и народъ, народъ и царь... Проходили вѣка, одно другимъ смѣнялись поколѣнія; исчезало,—ровно съ вешней полою водой сплывало,—съ лица народной Руси все временное, преходящее, наносное. Но гдѣ бы, когда бы то ни было, произносились слова „русскій народъ“, тамъ всегда подразумѣвался и „русскій царь“; гдѣ заходила рѣчь о „русскомъ царѣ“, тамъ неизмѣнно выступалъ и вопросъ о „русскомъ народѣ“. Это, дѣйствительно, въ полномъ смыслѣ словъ, двѣ равныя части одной нераздѣльной, могучей своею многовѣковой самобытностью, стихіи.

VIII.

Январь-мѣсяцъ.

Съ января—„перезимье“ идетъ, морозами пугаетъ лютыми, зимнею стужей вѣсточку о веснѣ подаетъ: жива-де свѣтлая Лада-весна, не властны надъ нею темныя силы, заслоняющія животворный свѣтъ солнечный отъ Матери-Сырой-Земли,—только спитъ она до поры до времени подъ среброкованною бѣлоснѣжной парчою, притаилась въ трущобахъ непроходимыхъ. Настанетъ ея пора вешняя,—и пробудится-воспрянетъ красная, заиграетъ лучами яркими да жаркими, зажурчитъ ручьями-потоками переливными, зацвѣтетъ цвѣтиками духовитыми. Январь—не весна, а зимушка студеная; а и тотъ ей сродни: не то дѣдомъ, не то прадѣдомъ доводится.

Въ стародавней Руси звался январь-мѣсяцъ „прòсинцемъ“, „сѣченемъ“—прозывался; у поляковъ слылъ онъ за „стычень“, у вендовъ [30]) былъ „новолѣтникомъ“, „первникомъ“, „зимцемъ“ и „прозимцемъ“; чехи со словаками величали его то „леднемъ“, то „груднемъ“, кроаты [31])—„малибожнякомъ“. Кро-

---

[30]) Венды—современные лужичане (лужицкіе сербы), славянское племя, отовсюду окруженное нѣмцами и быстро онѣмечивающееся. Нѣкогда область ихъ простиралась отъ р. Заалы до р. Бобра, продолжалась въ сѣверномъ направленіи до широты Берлина и въ южномъ до Лужицкихъ и Рудныхъ горъ. По послѣднимъ статистическимъ вычисленіямъ, число лужицкихъ сербовъ (вендовъ) простирается до 175.000 человѣкъ.

[31]) Кроаты (хорваты)—славянское племя, ближе всѣхъ родственное славонцамъ и составляющее вмѣстѣ со Славоніей и прежней кроатско-славонской Военной Границею владѣніе Австро-Венгріи, подступающее на югѣ къ Адріатическому морю. Кроаты поселились въ этой мѣстности около 640 г. по Р. Хр. и съ 806 г. подпали подъ власть Франконіи, съ 864-го—Византіи, а съ 1075 г.

мѣ всѣхъ своихъ коренныхъ названій, именовался въ русскомъ народѣ этотъ мѣсяцъ и Василь-мѣсяцемъ—отъ св. Василія Великаго, памятуемаго 1-го января,—и переломомъ зимы. „Еноуаръ мѣсяцъ, рекомый просинецъ“,—писали старинные русскіе книжные начотчики; а народъ приговаривалъ въ ту пору, какъ и въ наши дни: „Январь—году начало, зимѣ середка!“, „Январь два часа дня прибавитъ!“, „Январь на порогѣ—прибыло дня на куриный шагъ!“, „Январь трещитъ—ледъ на рѣкѣ впрѣсинь краситъ!“, „Январю-батюшкѣ—морозы, февралю—мятелица!“ и т. д. Въ первыя времена церковнаго лѣтосчисленія былъ на Руси январь-мѣсяцъ одиннадцатымъ по счету (годъ начинался съ марта); позднѣе,—когда новолѣтіе (см. гл. XXXVI) стало справляться въ сентябрьскій Семенъ-день,—пошелъ онъ за пятый; XVIII-й вѣкъ засталъ его, по крутой волѣ Великаго Царя-Работника, первымъ, съ 1700 года, изъ двѣнадцати братьевъ-мѣсяцевъ.

Кончается годъ Васильевымъ вечеромъ („богатый“, „щедрый“ вечеръ, также—„Авсень“, „Овсень“, „Усень“, „Таусень“), Васильевымъ днемъ начинается. 1-е января—Новый Годъ—слыветъ въ народѣ за „Василь-день“, а по мѣсяцеслову Православной Церкви посвящается не только чествованію св. Василія Великаго, архіепископа кесарійскаго, но и празднованію Обрѣзанія Господня. „Свинку да боровка—для Васильева вечерка!“ – говоритъ деревня, приговаривая: „Въ Васильевъ день—свиную голову на столъ!“ Считается чествуемый въ этотъ день святитель покровителемъ свиноводовъ. „Не чиста животина свинья“,- можно услышать въ народѣ,—„да нѣтъ у Бога ничего нечистаго: свинку-щетинку огонь палитъ, а Василій-зимній освятитъ!“ Слыветъ починающій годъ Василій за „зимняго“—въ отличіе отъ Василія-капельника (день 7-го марта), Василія-теплаго, памятуемаго 22-го марта, и Василія Парійскаго,—на котораго (12-го апрѣля) „весна землю паритъ“. По народной примѣтѣ, звѣздистая ночь на Василь-день обѣщаетъ богатый урожай ягодъ. Свяги-

---

образовавшіе самостоятельное королевство,“ въ 1091-мъ покоренное Венгріею. 1527-й годъ ознаменовался въ судьбахъ этого народа новою кратковременной самостоятельностью: Фердинандъ I Габсбургскій былъ провозглашенъ королемъ кроатскимъ. Въ 1592-мъ году часть кроатскаго королевства была завоевана турками, а затѣмъ—въ 1699-мъ году—Турція уступила Австріи эту часть въ числѣ другихъ земель по Карловицкому миру. Въ 1809—13 г.г. Кроація была присоединена къ иллирійскимъ провинціямъ, уступленнымъ Наполеону I-му. Съ 1849 по 1868-й годъ она составляла, вмѣстѣ со Славоніей, береговою областью и Фіуме, самостоятельную коронную землю, въ 1868-мъ году вновь соединенную съ Венгріей, а въ 1881-мъ къ послѣдней присоединена и Словацкая пограничная область.

тель Василій Великій—не только покровитель свиноводства, но и хранитель садовъ отъ червя и ото всякой пòмахи. Потому-то и принято у садоводовъ, придерживающихся дѣдовскихъ обычаевъ, встряхивать утромъ 1-го января плодовыя деревья. Встряхиваютъ они яблони-груши, а сами приговариваютъ: „Какъ отряхиваю я, рабъ Божій (имя рекъ), бѣлъ-пушистъ снѣгъ-иней, такъ отряхнетъ червя-гада всякаго по веснѣ и святой Василій! Слово мое крѣпко. Аминь". Хоть, по народному повѣрью, и скрадываютъ вѣдьмы мѣсяцъ, на Васильвечеръ, но никакими хитростями не укоротить дня темной силѣ лукавой: день ростетъ, ночи Богъ росту убавляетъ—что ни сутки, всё примѣтнѣе. Приходитъ св. Василій Великій въ народную Русь на восьмой день Святокъ, въ самый разгаръ гаданій святочныхъ. „Загадаетъ дѣвица красная подъ Василья,—все сбудется, а что сбудется—не минуется!"—говорятъ въ деревнѣ, твердо вѣрящей въ силу гаданія, пріурочиваемаго къ этому вѣщему дню. Многое-множество обычаевъ было связано въ народномъ воображеніи съ Васильевыми вечерами; не мало дошло ихъ и до нашихъ забывчивыхъ, недовѣрчиво относящихся ко всему старому, дней. И теперь мѣстами, по захолустнымъ уголкамъ Руси великой, отголоскомъ стародавней обрядности—блюдутся такіе обычаи, какъ варка „Васильевой каши", засѣваніе зерна, или хожденіе по домамъ. Васильева каша варится спозаранокъ, еще до бѣлой зорьки. Крупу беретъ большуха-баба изъ амбара зáполночь; большакъ-хозяинъ приноситъ въ это-же время воды изъ колодца. И ту, и другую ставятъ на столѣ, а сами всѣ отходятъ поодаль. Растопится печь, приспѣетъ пора затирать кашу, семья садится вокругъ стола, стоитъ только одна большуха (старшая въ домѣ),—стоитъ, размѣшиваетъ кашу, а сама причетомъ причитаетъ: „Сѣяли, ростили гречу во все лѣто, уродилась наша греча и крупна, и румяна; звали-позывали нашу гречу во Царь-градъ побывать, на княжой пиръ пировать; поѣхала греча во Царь-градъ побывать со князьями, со боярами, съ честны́мъ овсомъ, золотымъ ячменемъ; ждали гречу, дожидали у каменныихъ вратъ; встрѣчали гречу князья и бояре, сажали гречу за дубовый столъ пиръ пировать; пріѣхала наша греча къ намъ гостевать"... Вслѣдъ за этимъ причетомъ хозяйка беретъ горшокъ съ кашей, всѣ встаютъ изъ-за стола: каша водворяется въ печи. Въ ожиданіи гостьи-каши коротаютъ время за играми, за пѣснями да за прибаутками всякими. Но вотъ она и поспѣла. Вынимаетъ ее большуха изъ печки, а сама опять—съ краснымъ словцомъ своимъ: „Милости просимъ къ намъ во дворъ

со своимъ добромъ!". Всѣ принимаются оглядывать горшокъ: полонъ-ли. Ходитъ по̀ людямъ повѣрье, гласящее, что, „если полѣзетъ вонъ изъ гнѣзда Васильева каша—жди бѣды всему дому!". Не хорошо также, коли треснетъ горшокъ: не обойтись тогда хозяйству безъ немалыхъ прорухъ! Снимутъ пѣнку, и—опять новое предвѣщаніе: красно̀ каша упрѣетъ—полная чаша всякаго счастья-талана, бѣлая—всякое лихо нежданое. Если счастливыя примѣты—съѣдаютъ кашу дочиста, худыя— вмѣстѣ съ горшкомъ въ прорубь бросаютъ. Въ засѣваніи „Василь-зерна" принимаютъ наибольшее участіе ребята малые. Жито—преимущественно яровое –разбрасывается ими по полу избы. Ребята разбрасываютъ зерна, а большуха—знай подбираетъ да приговариваетъ: „Уроди, Боже, всякаго жита по закрому, да по великому, а и стало-бы жита на весь міръ крещоный!". Чѣмъ скорѣе подберетъ баба, тѣмъ будущій урожай спорѣе! Эти зерна бережно хранятся до посѣва яровины и подмѣшиваются въ сѣмена. Въ малорусскомъ краю дѣтвора на Василь-день передъ обѣднями бѣгаетъ по селу, ходитъ по-подо̀конью, рукавами трясетъ, зерномъ соритъ. При этомъ иногда распѣвается и присвоенная обычаю, сложившаяся въ стародавніе годы, звучащая простодушной вѣрою, пѣсенка:

„Ходитъ Илья на Василья,
Носитъ тугу житяную.
Де замахне—жито росте,
Житу пшеницю всяку пашницю,
У полѣ ядро, а въ домѣ добро!".

Въ Рязанской и Костромской губерніяхъ въ 30-хъ—40-хъ годахъ было повсемѣстно въ обычаѣ ходить на Васильевъ святъ-вечеръ по домамъ. Дѣвушки красныя да парни молодые обхаживали въ это время окна, выпрашивая пироговъ со свининою. Все выпрошенное собиралось въ лукошко и съѣдалось на веселой бесѣдѣ всѣми собиравшими, подъ пѣсни подблюдныя да игры утѣшныя. Въ смоленской окру́гѣ и теперь еще раздаются на Василь-день умильныя, величающія святителя, словеса стиха духовнаго, передаваемаго отъ поколѣнія къ поколѣнію каликъ-перехожихъ: „Изліяся благодати въ уста твои, очи, ты былъ еси пастырь добрый, Василіе святой отче, научивъ балванцы вѣровати Богу Тройцы. Когда демонъ за женой въ ладію записалъ, тогда святой Василій прочь бѣса отогналъ. Плачетъ-молитъ Кесарія, вѣрно проситъ Василія, чтобъ бѣса отогналъ:—Святителю Василій, отче щедротливый! Молюсь тебѣ, пастырь добрый, будь мнѣ милостивъ:

записался мужъ мой Ницыпору пекольному своею кровію!—Глаголахъ святой Василій мужу:—Человѣче, бойся Бога, согрѣшилъ еси много, отъ Отца отъ Бога отступилъ, Сына Божія похулилъ"..... Этотъ—неоконченный—стихъ представляетъ искажонный пересказъ древней повѣсти о чудѣ Василія Великаго надъ Евладіемъ, совершонномъ по просьбѣ жены послѣдняго—Керасіи. Евладій превратился, въ устахъ убогихъ пѣвцовъ, во „въ ладію", керасія-жена—въ „Кесарію", Люциферъ—въ „Ницыпора" и т. д. Существуютъ разносказы-перепѣвы этого стиховнаго сказанія и въ Могилевской губерніи, болѣе законченные. Вотъ заключительная часть одного изъ нихъ, могущая до извѣстной степени служить окончаніемъ приведеннаго выше: „Замкнуу святой Василій Евладію въ домъ свой, а самъ пошоу молитися ке свому Богу:—Помилуй мя, Боже отче и всего свѣту ты нашъ творче! Ты пощедрай мене и помилуй мене.—Кайся гряхомъ, человѣча, и покуты держися, Сотворителю своему со слезами молися, штобъ тебя враги не вловилы и въ огонь вѣчный не вкинулы: тамъ будешь горѣть! Демонъ речитъ Василію:—Не чини намъ пакости, іонъ самъ жа намъ записауся за своею слабостію. Тяперь ты у насъ отбираешь, въ руцы намъ яво не даваешь, мужа нашего!..—Славимъ славы прославляемъ, прочь демоновъ отгоняемъ. Записано забѣгаетъ, вокругъ церквы оступаетъ, въ окно письмо ёнъ бросаетъ, на Кесарію наричаютъ, Евладію проклинаютъ, слугу своего.—Согрѣшиу я (говоритъ Евладій), отче, предъ тобою, ты змилуйся надо мною, не вдостоннъ быти слугою. Сотворителю мой, избавителю мой!.."

За Васильевымъ—„Селиверстовъ день" (память св. Сильвестра, папы римскаго). По старинному повѣрью, записанному въ симбирскомъ Заволжьѣ: „Святой Селиверстъ гонитъ лихоманокъ-сестеръ за семьдесять семь верстъ". Не только на землѣ зимой студено-морозно,—гласитъ народная молвь,—но и подъ землею: выгоняетъ морозъ лихихъ сестеръ изъ самаго ада. Бредутъ онѣ, отъ села къ селу,—въ избу на даровое тепло просятся, нищими-убогими прикидываются: двѣнадцать сестеръ—лихорадка, лихоманка, трясуха (трясавица), гнетуха (огневица), кумоха, китюха, желтуха, блѣднуха, ломовая, маяльница, знобуха, трепуха, и всѣ двѣнадцать—„сестры Иродовы". Заберется лихоманка въ избу, „найдетъ виноватаго" и—давай издѣваться надъ нимъ: на смерть затрясетъ-зазнобитъ. Бываетъ, что стоитъ такое лихо за дверью (и тощее оно,—по словамъ бабушекъ-старушекъ, досужихъ повѣдушекъ,—и слѣпое, и безрукое),—стоитъ, поджидаетъ: кто-то выйдетъ повиноватѣе. Только и оберечься мож-

но отъ такихъ гостеекъ нѣзваныхъ-непрошеныхъ, что „четверговой солью“, либо золой изъ семи печей да „земляным углемъ изъ-подъ чернобыльника“. Есть всѣ эти снадобья зазнамыя у ворожеекъ-бабокъ, умѣютъ онѣ „смывать“ ими лихоманокъ съ дверной притолоки. Зовутъ радѣльныя-заботливыя о семьѣ хозяйки свѣдущихъ старушекъ о Селиверстовѣ днѣ съ поклонами да съ посулами: только избавь-де отъ напасти! Стараются вѣдуньи, и все-то съ молитвою ко святому гонителю сестеръ Иродовыхъ.

Минутъ „Селиверсты“, за ними—по тореному слѣду „Гордей“ идутъ въ народную Русь. Къ этому дню безъ гвоздей прибилъ, безъ клею приклеилъ охочій на красную молвь летучую народъ-пахарь цѣлую стаю своихъ словъ крылатыхъ, вродѣ: „Гордымъ быть—глупымъ слыть!“, „Гордымъ Богъ противится, а смиреннымъ благодать даетъ!“, „Въ убогой гордости дьяволу утѣха!“, „На Гордеѣ-богатеѣ и бѣдный чортъ въ аду кипучую смолу возитъ!“, „Во всякой гордости чорту радости!“, „Сатана гордился—съ неба свалился! Фараонъ гордился—въ морѣ утопился! А мы гордимся—куда годимся?“, „Смиреніе—паче гордости!“ и т. п. Кромѣ мученика Гордея—на 3-е января приходится память пророка Малахіи. По памятуемому знающими всякое слово повѣрью, „въ Малаховъ день можно отчитать каженника“ (каженникъ—испорченный, припадочный). Благочестивая старина совѣтуетъ молиться за этихъ несчастныхъ святому пророку—„нести Малахіи молебное челобитье“; суевѣрные люди предпочитаютъ звать къ себѣ для этого дѣла знахарей. Какъ и чѣмъ можетъ исцѣлить вѣдунъ-знахарь „порченаго“,—деревня не знаетъ. „На то онъ и знахарь, чтобъ его никто не понялъ!“—говоритъ она, но всё еще вѣритъ въ силу его заклинаній. „Знахари-то говорятъ—какъ городъ городятъ!“—приговариваетъ добродушный мужикъ-простота.

„Ѳеклистовъ день“—4-е число, память преподобнаго Ѳеоктиста—славится наиболѣе причудливыми гаданіями святочными. „Святой Ѳеклистъ гадать рѣчистъ“,—пріурочена къ этому дню поговорка: „красно гадаетъ—никто по самую смерть не разгадаетъ!“ Деревенское суевѣріе совѣтуетъ—„на Ѳеклиста зашивать въ ладанку чертополохъ-траву“ и носить ее на шеѣ, у креста—для огражденія отъ всякой „притки-порчи“. „Кто хочетъ быть цѣлъ въ дорогѣ“,—тотъ тоже запасается этимъ травянымъ зеліемъ. За Ѳеклистовымъ днемъ—крещенскій сочельникъ, за нимъ—„Водокрещи“-Богоявленіе: и о томъ, и о другомъ—свой особый сказъ (см. гл. IX). Въ седьмой съ восьмымъ дни января-просинца—„отданіе Святокъ“, веселыя

головушки послѣ праздниковъ опохмѣлъ держатъ: 7-го вѣдь тоже праздникъ—соборъ св. Іоанна Крестителя, а недаромъ живетъ пословица—„Кто празднику радъ, тотъ до свѣту пьянъ!“ 8-го января—„Василисы зимнія“, „Емельяны-перезимники“ (память Емельяна преподобнаго и Василисы—мученицы). Кого треплетъ неотвязная застарѣлая лихорадка, того, по словамъ народныхъ лѣчеекъ, можно вылѣчить въ этотъ день травой—„лихоманникомъ“ (она-же соколій-перелетъ, толстушка, ископыть, козакъ, семиугодникъ, уразная, лиходѣй, Петровъ-крестъ, сердечная); въ Вятской губерніи такъ и зовутъ эту траву „Василисой“. Туляки-дулеѣды примѣчали встарину, что, если „на Амельяна подуетъ (вѣтеръ) съ Кіева“, то „быть лѣту грозному“. По многимъ мѣстамъ велся еще въ недавніе годы обычай угощать на Емельяна-Василису кума съ кумой: это, по примѣтѣ, приноситъ здоровье крестникамъ. Если на Павла Обнорскаго (10-го января) на стоги со скирдами падетъ бѣлъ-пушистъ иней—быть, говоритъ деревня, лѣту сырому да мокрому. За этимъ днемъ—два Ѳеодосія памятуются Православной Церковью: преподобный Ѳеодосій Великій да Ѳеодосій Антіохійскій. „Ѳедосѣевы морозы—худосѣи: яровымъ сѣвъ поздній будетъ!“, „Ѳедосѣево тепло—на раннюю весну пошло!“—говорятъ не лазящіе въ карманъ за словомъ сельскіе говоруны, до всякой примѣты дознавшіеся. 12-го января—Татьянинъ день: „Татьяна-крещенская“, по народному слову. „На Татьяну проглянетъ солнышко рано—къ раннему прилету птицъ“. Пройдутъ за Татьянами слѣдомъ двое сутокъ, а тамъ—и январю переломъ: день св. Павла Ѳивейскаго (15-е число). Звѣздная ночь съ этого дня на слѣдующій—къ урожаю льна. 16-го января—Ненилинъ день, (память мученицы Леониллы); а эта святая такъ и слыветъ „леносѣйкою“.

На шестнадцатый день января-мѣсяца, кромѣ памяти св. Леониллы, приходится церковный праздникъ поклоненія веригамъ апостола Петра, слывущій въ народной Руси за „Петра-полукорма“. Къ этому времени студеному выходитъ, по наблюденіямъ сельско-хозяйственнаго опыта, половина зимняго корма для скота. Съ давнихъ поръ почти повсемѣстно соблюдается обычай осматривать на Петра-полукорма запасы сѣна и соломы. Если осталось больше половины, то примѣта позволяетъ ждать на лѣто обильныхъ кормовъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ принято прикидывать на глазъ 16-го января не только кормá, но и жито въ амбарахъ. Излишекъ запаса—также сулитъ домовитому мужику доброе-хорошее. Богобоязненные люди привыкли заказывать въ этотъ день молебны апостолу Петру: это, по ихъ словамъ, обезпечиваетъ урожайный годъ.

Петръ полукормъ считается въ иныхъ мѣстахъ захолустной Руси однимъ изъ покровителей скота,—хотя и не такимъ могучимъ, какъ Егорій (Юрій) съ Власіемъ.

Кормъ для домашней животины, составляющей все богачество крестьянина-землепашца, великое дѣло: о немъ—не меньшая забота у мужика, чѣмъ о хлѣбѣ насущномъ для семьи. Длинный рядъ не лишенныхъ живой образности присловій, сложившихся въ народѣ, служитъ явнымъ свидѣтельствомъ этого. „Либо корму жалѣть, либо—лошадь!“—гласитъ сѣдая простонародная мудрость: „Безъ хлѣбнаго корму лошадь на кнутѣ ѣдетъ!“,—добавляетъ она и продолжаетъ: „Не торопи ѣздой, торопи кормомъ!“, „Кормна лошадь—добра, богатъ мужикъ—уменъ!“, „Умѣешь ѣздить, умѣй и кормить!“, „Лошадь бѣжитъ, корова молокомъ поитъ, овечка шерсть бабѣ даритъ, а всѣ думаютъ: спаси Богъ того, кто насъ кормитъ!“, „Есть у лошади кормъ, будетъ и у мужика въ полѣ хлѣбъ!“, „Бѣда велика, когда у мужика подводитъ съ голодухи бока, а нѣтъ больше бѣды, когда и хозяинъ голоденъ, и у скотины безкормица!“, „Накорми лошадку—самъ спасибо ей скажешь: сытъ будешь!“, „Кого кормишь, возлѣ того и самъ, ничего нѣ видя, прикармливаешься!“.

О Петрѣ-полукормѣ вспоминаетъ деревня не только въ его святъ-день. Еще въ началѣ ноября, отбирая ленъ на продажу, приговариваютъ мужики: „Коли есть (во льну) метла да костра, то будетъ хлѣба до Петра, а синецъ и звонецъ доведутъ хлѣбу конецъ!“ Глубокій знатокъ родной словесной старины, И. П. Сахаровъ, такъ объясняетъ это присловье народное (псковское). „Метла“ (метлина) и „костра“ (кострика)—какъ предметы малоцѣнные въ льняной торговлѣ—не сулятъ льноводу завиднаго прибытка: на вырученныя за такой ленъ деньги можно прикупить въ нехлѣбородный годъ хлѣба такъ немного, что его достанетъ семьѣ только до половины января (до Петра-полукорма). Извѣстно, что псковской мужикъ и въ урожайные-то годы сытъ не хлѣбомъ, а льномъ. Если-же и ленъ уродится синій (синецъ), а не „бѣлъволокнистъ“, какъ поется въ пѣснѣ, да еще и „звонецъ“ (издающій особый звукъ при трепаніи),—то останется только за котомку взяться да идти по-міру: такой ленъ ничего не обѣщаетъ кромѣ худого торга да безхлѣбицы.

За Петромъ-полукормомъ—„Антоны-перезимніе“: день преподобнаго Антонія Великаго. Къ этому святому прибѣгаетъ деревеньщина-посельщина съ молитвою противъ „Антонова огня“, а также и отъ рожи-болѣсти. У пинчуковъ—обитателей Пинскаго поболо́тья—записанъ любопытный стихъ духов-

ный, обращенный къ этому угоднику Божію. „О, свенты Антоні“,—начинается онъ,—„чыны свою волю, яко можешь!“ Затѣмъ, слѣдуетъ отвѣтъ св. Антонія: „Могъ бы я чынити, да не моя воля, Господа Бога!... Ой ишли казаки своявольнички, загнали въ пальцы смоловы спицы, кусопки помяли, ноженьки повяли. Якъ заснувъ я смачно, то всѣмъ людямъ значно. Остроги копайте и мене шукайте, уложите мене въ новую трунку, да везите мене на чужу сторунку, да поставте мене въ церкви на прыстолку: то будуть до мене люди прыбывати, мушу я имъ ратунку давати, и въ щастю и въ нещастю, всякому трефунку, мушу я имъ каждому давати ратунку, хоть я нехорошы, хоть я неудалы, абы я лежу у небесную хвалы...“ Стихъ этотъ, въ немалой степени испорченный польскими наслоеніями, всетаки сохранилъ нѣкоторую долю простонародной свѣжести.

Антоніевъ день смѣняется „Аѳанасіемъ-ломоносомъ“: 18-го января—память св. Аѳанасія и Кирилла, архіеп. александрійскаго. „Идетъ Аѳанасій-ломоносъ — береги, мужикъ, свой носъ!“—встрѣчаетъ деревня смѣшливымъ прибауткомъ этотъ примѣтный день. „Аѳанасьевскіе морозы шутокъ шутить не любятъ!“—приговариваютъ охочіе, краснословы особливо изъ отправляющихся объ эту пору обозомъ въ путь-дорожку не близкую. „На Аѳанасія пуще всего носъ береги—не увидишь, какъ отломится!“—смѣются бабы, на ребятишекъ глядючи; а тѣмъ и горя мало: знай—вдоль по улицѣ бѣгаютъ, игры заводятъ... Гораздо страшнѣе аѳанасьевскіе морозы для вѣдьмъ: не любитъ ихъ сестра этого времени, знаетъ, что́ это за грозный день. На Аѳанасья-ломоноса знахари вѣдьмъ со Святой Руси гонятъ,—гласитъ народное сказанье. Недаромъ говорятъ, что „умѣючи, и вѣдьму бьютъ!“ Житья нѣтъ тамъ, куда повадится лѣтать вѣдьма,—вотъ и приходится кланяться знающему человѣку, просить помочь въ горѣ, вызволить изъ бѣды. Всего охотнѣе берутся за это дѣло знахари въ аѳанасьевскіе морозы: во время нихъ, по преданію, „летаютъ вѣдьмы на шабашъ и тамъ теряютъ память отъ излишняго веселія“. Приглашенный на изгнаніе вѣдьмы знахарь ночью приходитъ къ зовущему,—свѣдомы объ его приходѣ только большакъ-хозяинъ съ хозяйкою: безъ соблюденія этого условія ничего не выйдетъ, по увѣренію знахарей. Въ полночь приступаетъ вѣщій гость къ выполненію обряда: начинаетъ заговаривать трубы, — такъ-какъ вѣдьмы влетаютъ въ жилье только этой дорогою. Подъ „князекъ“ забиваетъ онъ клинья, разсыпаетъ по „загнеткѣ“ заранѣе собранную изъ семи печей золу и послѣ этого отправляется къ деревен-

ской околицѣ. Здѣсь онъ тоже сыплетъ золу, приговаривая невнятныя слова никѣмъ не записаннаго заговора. Разсказываютъ, что вѣдьма, желая нанести кому-нибудь вредъ, влетаетъ въ трубу; но, какъ только будетъ труба заговорена, то весь домъ и дворъ уже свободны отъ ея проказъ. Знакомые съ преданіями суевѣрной старины люди знаютъ въ точности и путь, избираемый вѣдьмами въ ихъ полетахъ на шабашъ и съ шабаша. Прежде всего летятъ онѣ на-полдень—къ Лысой горѣ, а оттуда тянетъ ихъ на закатъ. Западную изгородь сельскую и заговариваютъ знахари, призванные изгонять вѣдьмъ. Подлетитъ вѣдьма, только-что вылетѣвшая изъ заговоренной трубы,—сунется къ изгороди, и тутъ ей свободнаго ходу нѣтъ: или бросится лихая за тридевять земель отъ села, или разобьетъ себѣ голову,—если только ступитъ голой ногою на разсыпанную золу семипечную. Одариваютъ знахаря всякимъ добромъ за его мудреную работу.

Черезъ сутки послѣ Аѳанасія-ломоноса зорко приглядываются къ погодѣ сельскіе погодовѣды: если 20-го января, на Макарія Египетскаго, поднимется мятель, то слѣдуетъ ждать ея и во всю масляную недѣлю. „Помело метлой на Масляницу, пріѣдетъ осударыня Масляница со мятелицей-сестрицею!“—говорятъ они. Ясный, солнечный, Макарьевъ день предвѣщаетъ раннее наступленіе весны. Максимъ-исповѣдникъ (21-е число), ничего не говоря о судьбахъ погоды, переноситъ вѣщее народное воображеніе на вѣковѣчную думу пахаря—на урожай: взойдетъ, затуманившись, свѣтёлъ-мѣсяцъ, изъ-за облачка глянетъ на святорусскую ширь безпредѣльную,—доброе будетъ жито въ полномъ закрому; а если не проплыветъ этимъ утромъ ни тѣни облачной по небу,—и въ амбарѣ будетъ пусто по осени.

Есть аѳанасьевскіе морозы; знаетъ народъ русскій и тимоѳеевскіе. „Это не диво, что Аѳанасій-ломоносъ морозитъ носъ, а ты подожди Тимоѳея-полузимника (22-е января, день апостола Тимоѳея): пожди тимоѳеевскихъ морозцевъ!“—говорятъ въ деревнѣ. Придетъ „полузимникъ“, разрубающій студеную зиму пополамъ: „Каковъ на дворѣ морозъ-отъ! Слышь, тимоѳеевской!“—приговариваютъ мужики, похлопывая рукавицами: „Вотъ они и пришли—полузимники-то!“

Въ январѣ подъѣдаются до половины не только корма у скотины, а и хлѣбъ у мужика: не одни „Петры-полукормы“ приходятъ въ народную Русь, но и „Аксиньи-полухлѣбницы“ (24-е января, день преподобной Ксеніи). Особливо памятенъ этотъ день тому хозяину, у котораго, по поговоркѣ, „хлѣбоѣдовъ полна изба, а работниковъ самъ-одинъ“. Примѣта,

провѣренная многовѣковымъ опытомъ, приводитъ пахаря-хлѣбороба къ тому заключенію, что—„коли до Аксиньи-полухлѣницы жита хватитъ, то до новыхъ новинъ станетъ (останется) половина, а до корма (подножнаго)—треть“.

Съ послѣдней недѣлею января-мѣсяца (25—31-я числа) не связано въ современной деревнѣ особыхъ примѣтъ и обычаевъ, Исключеніемъ является только двадцать-восьмой, Ефремовъ. день, который посвящался встарину „униманію домового“. Для выполненія этого, и теперь еще кое-гдѣ памятнаго, обряда приглашались такіе-же знахари-вѣдуны, какъ на Аѳанасія-Ломоносса. И летѣли вѣщими птицами ихъ причеты заговорные навстрѣчу новому мѣсяцу—февралю-бокогрѣю.

IX.

Крещенскія сказанія.

Шумятъ веселыя Святки,—отъ самаго дня Рождества Христова до праздника Крещенія Господня играми да плясками, да пѣснями на свѣтлорусскомъ просторѣ привольномъ потѣшаются, вѣщими гаданіями честно̀му люду православному тайныя велѣнія судебъ открываютъ. Гудятъ пиры-бесѣдушки затѣйныя, зелены́мъ-виномъ поливаются, плещутъ пивомъ, брагою, медами ставленными. Что ни день на Святкахъ—то свои повѣрья, что ни часъ—новый сказъ, корнями живучими приросшій къ сердцу народному. Гуляетъ-„свято̀шничаетъ“ любящая „веселіе“ матушка-Русь; положено дѣдами, прадѣдами заповѣдано гулять-веселиться широкой русской душѣ по всему святочному обычаю. И словно воскресаетъ на эти дни, сбрасываетъ съ тысячелѣтнихъ плечъ саванъ вѣкового забвенія старина стародавняя. День Крещенія Господня (Богоявленіе) Святки кончаетъ, надъ праздничными гулянками крестъ ставитъ, до широкой-разгульной Масляницы съ многошумнымъ весельемъ прощается.

Канунъ Крещенья, какъ и рождественскій, слыветъ сочельникомъ и тоже—день постный, по уставу Православной Церкви; но одновременно это—главный день святочныхъ гаданій. Проводитъ его русскій народъ не только въ постѣ да молитвѣ, но и въ сыновнемъ общеніи съ неумирающими пережитками язычески-суевѣрнаго былого-минувшаго. Вѣрный христіанскому преданію, держитъ онъ строгій постъ, не принимая никакой пищи вплоть до вечерни, несетъ домой изъ храма Божія освященную богоявленскую воду и считаетъ ее цѣлебною ото всякихъ болѣстей; памятуя вѣковые обычаи пред-

ковъ, отдаетъ онъ—о-бокъ съ этимъ—щедрую дань и своему суевѣрію.

Вечеръ подъ Крещенье, подавая вѣсть о близящемся концѣ Святокъ, заставляетъ красныхъ дѣвушекъ вспоминать обо всѣхъ знакомыхъ деревенскому люду гаданьяхъ. Звончѣй-голосистѣе поются на бесѣдахъ и пѣсни святочныя—подблюдныя. Затѣйливѣй, сами-собой, становятся и святочныя игры обрядовыя. А старикамъ со старухами, которымъ уже много лѣтъ назадъ надоскучило и пѣть-играть, и рядиться-святошничать,—своя забота объ эту пору. Первѣе всего—ставятъ они мѣломъ на всѣхъ дверяхъ, на всѣхъ оконныхъ рамахъ знаки креста, чтобы оградить свое жилье отъ посѣщенія бѣсовскаго. Ходитъ-гуляетъ въ этотъ вечеръ нечистая сила, всякимъ оборотнемъ прикидывается, въ избу попасть норовитъ на пагубу святошничающему народу православному. И одна защита противъ нея,—гласитъ народное слово,—святой крестъ Господень, передъ которымъ распадается во прахъ все могущество лукаваго. Не начертай въ крещенскій сочельникъ креста у себя на дверяхъ, позабудь объ этомъ строго соблюдаемомъ на Руси,—не только въ деревенской глуши, но и въ большихъ городахъ,—обычаѣ: быть худу, жди бѣды!—по увѣренію строгихъ блюстителей прадѣдовскихъ преданій.

Лютуетъ подъ Крещенье—больше всей другой нечисти пододонной—Огненный Змѣй. И наособицу противъ него-то и ограждается теперь русскій мужикъ-простота. Полетитъ чудище надъ деревней, гдѣ ни глянетъ—повсюду кресты бѣлѣются, и останется ему только разсыпаться огненнымъ дождемъ надъ снѣгами глубокими, одѣвающими Мать-Сыру-Землю. Тульское повѣрье въ яркихъ чертахъ выдвигаетъ изъ мглы забываемаго въ городахъ суевѣрія обликъ этого дѣтища народнаго воображенія. „Извѣстно всѣмъ и каждому на Руси, что́ такое за диво Огненный Змѣй. Всѣ знаютъ, зачѣмъ онъ и куда летаетъ“,—начинаетъ краснорѣчивый сказатель свою рѣчь о немъ. „Огненный Змѣй—не свой братъ: у него нѣтъ пощады: вѣрная смерть отъ одного удара. Да и чего ждать отъ нечистой силы! Казалось-бы, что ему незачѣмъ летать къ краснымъ дѣвицамъ; но поселяне знаютъ, за чѣмъ онъ летаетъ, и говорятъ, что, если Огненный Змѣй полюбитъ дѣвицу, то ея зазноба неисцѣлима вовѣкъ. Такой зазнобы ни отчитать, ни заговорить, ни отпоить никто не берется. Всякой видитъ, какъ Огненный Змѣй летаетъ по воздуху и и горитъ огнемъ неугасимымъ, а не всякой знаетъ, что онъ, какъ скоро спустится въ трубу, то очутится въ избѣ молодцомъ несказанной красоты. Не любя, полюбишь, не хваля,

похвалишь,—говорятъ старушки, когда завидитъ дѣвица такого молодца. Умѣетъ оморочить онъ, злодѣй, душу красной дѣвицы привѣтами; усладитъ онъ, губитель, рѣчью лебединою молоду молодицу; заиграетъ онъ, безжалостный, ретивымъ сердцемъ дѣвичьимъ; затомитъ онъ, ненасытный, ненаглядную въ горючихъ объятіяхъ, растопитъ онъ, варваръ, уста алые на меду на сахарѣ. Отъ его поцѣлуевъ горитъ красна дѣвица румяной зарей; отъ его привѣтовъ цвѣтетъ красна дѣвица краснымъ солнышкомъ. Безъ Змѣя красна дѣвица сидитъ во тоскѣ, во кручинѣ; безъ него она не глядитъ на Божій свѣтъ; безъ него она сушитъ себя". Цѣлый рядъ другихъ сказовъ объ этомъ чудищѣ можно отыскать въ памятникахъ народнаго слова (см. гл. „Змѣй-Горынычъ"). Кромѣ начертаній креста, совѣтуютъ знающіе всю подноготную вѣдуны деревенскіе, насыпать на печную загнетку собраннаго въ крещенскій вечеръ снѣгу. Послѣдній и вообще занимаетъ почетное мѣсто въ народныхъ крещенскихъ повѣрьяхъ и обычаяхъ. Собираютъ его старики въ крещенскій сочельникъ за околицею, въ полѣ,—приносятъ домой, сыплятъ въ колодецъ. Это дѣлается для того, чтобы вода была въ колодцѣ всегда въ изобиліи и никогда не загнивала, бы. По деревенскому повѣрью,—у тѣхъ, кто не позабудетъ этого сдѣлать, хоть все лѣто не будь капли дождя, а колодецъ будетъ полнымъ-полнехонекъ. Берегутъ натаявшую изъ крещенскаго снѣга воду и въ кувшинахъ—на случай болѣзни: эта вода,—гласитъ народное слово,—исцѣляетъ онѣмѣніе въ ногахъ, головокруженіе и судороги. Старухи думаютъ, кромѣ того, что—если спрыснуть снѣговою крещенской водою холстину, то это такъ выбѣлитъ ее, какъ не сдѣлаютъ ни солнце, ни зола. Совѣтуютъ подбавлять крещенскаго снѣгу и въ кормъ лошадямъ,—чтобы не такъ зябки были; даютъ и курамъ,—чтобы занашивались пораньше. Умываются снѣговой водою поутру въ день Крещенія красныя дѣвушки,—чтобы безъ бѣлила бѣлыми быть, безъ румяна—румяными. Примѣчаютъ по крещенскому снѣгу и о погодѣ, и объ урожаѣ. „Снѣгу подъ Крещенье надуетъ—хлѣба прибудетъ!"—ведетъ рѣчь народная мудрость. „Много снѣгу—не мало и хлѣба!"—приговариваетъ она! „Привалитъ снѣгу вплоть къ заборамъ—плохое лѣто! Есть промежекъ—урожайное!", „На какомъ амбарѣ плотнѣе снѣгъ—цѣлѣе въ томъ и батюшка-хлѣбъ!"

По старинной примѣтѣ сельско-хозяйственнаго опыта, если вечеромъ подъ Крещенье яркимъ свѣтомъ блеститъ на небѣ звѣздная розсыпь алмазная, — хорошо въ этомъ году овцы будутъ ягниться: „Ярки крещенскія звѣзды породятъ бѣлыя ярки („ярка"—овечка)!" Если замететъ на Крещенье мятель,—

будетъ снѣгомъ снѣжить чуть не до самой Святой. „Коли въ Крещенье собаки много лаютъ,—будетъ вдоволь всякаго звѣря и дичи!“,—замѣчаютъ охотники. Коли на воду (на іордань) пойдутъ въ туманъ, хлѣба будетъ невпроѣдъ много!“—говорятъ примѣтливые погодовѣды: „Снѣгъ хлопьями—къ урожаю, ясно—къ недороду!“, „Коли прорубь на іордани полна воды—разливъ великъ будетъ!“, „Въ крещенскій полдень синія облака—къ урожайному году!“, „На крещенье день теплый—хлѣбъ будетъ темный!“.

Крещенскіе морозы слывутъ самыми жестокими, и недаромъ: зима собирается объ эту пору со всѣми силами. Но, несмотря на стужу, съ древнихъ временъ живетъ въ народѣ обычай купаться въ крещенской проруби-іордани. Купаются и тѣ, кто святошничалъ-рядился о Святкахъ,—чтобы очиститься отъ грѣховной скверны въ освященной водѣ; купаются и просто—„для здоровья“. Послѣднее, однако, далекотаки не всегда оправдывается на дѣлѣ.

„Крещенье—Богоявленье“,—говоритъ народъ и повторяетъ преданіе, идущее отъ дней старины глубокой, связанное съ этими словами. По народной молвѣ, пятари вѣковъ свершается въ этотъ день чудо-чудное, диво-дивное: отверзаются надъ іорданью небеса и сходитъ съ нихъ въ воду Истинный Христосъ. Не всѣмъ дано видѣть это, а только—самымъ благочестивымъ людямъ. Но, если помолится грѣшникъ святому небу въ это время, то сбудутся и его желанія. Есть повѣрье, что, если поставить подъ образами чашу съ водою да „съ вѣрою“ посмотрѣть на нее,—то вода, сама-собою, всколыхнется въ крещенскій полдень: осѣнитъ и освятитъ ее крещающійся Сынъ Божій. Слываетъ Крещенье во многихъ мѣстахъ и за праздникъ—„Водокрещи“. „Отъ Оспожинокъ—до Водокрещей!“,—держатъ иногда ряду. „Отъ Водокрещей—до Евдокей живетъ семь недѣль съ половиной“. Красное словцо народное, встрѣчая крещенскую стужу, оговариваетъ ее словами: „Трещи не трещи, а минутъ и Водокрещи (т.-е. тепло-то всетаки возьметъ свою силу)!“ Не забываетъ народъ, что—если пошелъ январь-мѣсяцъ, то и за перезимье переваливаетъ уже время-то, а перезимье, по его крылатому слову, о веснѣ вѣсть подаетъ.

Среди пѣсенныхъ сказаній, составляющихъ богоданное богатство убогихъ пѣвцовъ—каликъ-перехожихъ, есть нѣсколько пріуроченныхъ къ празднику Крещенія Господня. Нѣкоторыя изъ нихъ передаютъ почти совершенно точно содержаніе евангельской повѣсти о Богоявленіи; другія являются

восторженнымъ славословіемъ Христу; третьи отступаютъ въ окружонную таинственностью область подсказанныхъ пытливымъ выраженіемъ сказочныхъ вымысловъ.

„На Іордань всѣхъ Спаситель
Днесь пріиде Искупитель.
Плещетъ пророкъ руками:
Веселитесь, Господь съ вами!
Отецъ свыше возглашаетъ,
Рожденнаго возвѣщаетъ:
— Сей есть сынъ мой возлюбленный,
Во человѣка облеченный!“

Такою цвѣтистой запѣвкою начинается одно изъ нихъ. „Духъ-же свыше, аки птица низлетаетъ голубица, Отцу быти Сына равна изъявляетъ и преславна“,—продолжается оно, переходя отъ созвучія къ созвучію:—„Тварь бѣдная, веселися, яко къ тебѣ Спасъ явися. О, Адаме, простри очи, миновались темны ночи. Печали намъ вси престали, а радости быть начали. Слава Богу!—да воскликнемъ и къ Всещедрому приникнемъ. Кто сей стоитъ надъ водами? Восплещите вси руками: Христосъ Спасъ нашъ и Владыка пріиде спасти человѣка.—Іоанне, что стоиши и пришедшаго не крестиши? Почто дѣло продолжаешь, Христа Спаса не крещаешь?—Боюсь азъ и трепещу,—хоть веселъ и плещу,—огню, сѣно, прикоснутись!—Съ чего тебѣ ужаснутись? Не бойся, рабъ, и крести Мя, Владыку, прослави Мя!—Христосъ тако возвѣщаетъ, Іоанна утѣшаетъ. Мы же къ Спасу крѣпкимъ гласомъ всѣ воскликнемъ днешнимъ часомъ: Слава Тебѣ, Искупитель, щедрый буди намъ Спаситель!“

Другое сказаніе простодушно повѣствуетъ о томъ, какъ „ходила Госпожа Пречистая землею и свѣтомъ“, а на рукахъ носила „своего Сына Христа Іисуса“. Встрѣчаетъ Богоматерь на пути-дорогѣ „Крестителя-Ивана“,—встрѣтила и обращается къ нему со словами: „Ну-ка, Иванъ, кумъ мой, пойдемъ мы на воду Ердана, окрестимъ Христа, моего Сына!“ Согласился Иванъ-Креститель и „пришли на воду Ердана. Сталъ Иванъ своего крестника крестити: отъ страха у него выпала книга“. Спрашиваетъ—и „пытаетъ“ его Госпожа Пречистая о причинѣ страха. „Обезумѣлъ Ерданъ, вода студена, не хочетъ вода принимать въ себя; а весь лѣсъ на траву попадалъ: а взгляни-ка, кума, надъ собою: начетверо небо словно разломилось!“ На эти слова Ивана-Крестителя держитъ отвѣтное слово Богоматерь: „А не бойся, Иванъ, кумъ мой, вода ума не теряла, вода, кумъ мой, забрала себѣ силу,

ибо отъ Христа она освятится; а лѣсъ—онъ Христу поклонился; а небо—оно не сломилось, ангелы небо растворили—поглядѣть имъ, какъ Христа мы крестимъ"... Послушалъ Креститель, „крестилъ святой Иванъ своего Іисуса-крестника: Иванъ Христа, а Христосъ—Ивана". Вслѣдъ за этими трогательно-простодушными словами идетъ заключеніе, въ которомъ невольно чувствуется позднѣйшій разносказъ: „Оттолѣ крещенія настали: все по милости великаго Бога,—да будетъ Онъ намъ всегда въ помощь!"

Родственно съ только-что приведеннымъ сказаніемъ и слѣдующее—несравненно болѣе цвѣтистое по своему пѣсенному-картинному складу, чѣмъ оба предыдущія:

„Развивался святой лѣсъ зеленый:
А то не святой лѣсъ былъ зеленый,
Но была то свята церковь Софья,
Поютъ въ ней ангелы шестокрылы;
Пришла къ нимъ Марія, Святая Дѣва,
На рукахъ держитъ Христа Бога истинна.
Говорятъ ей ангелы шестокрылы:
„Ради Бога, Марія Святая Дѣва!
Ты поди въ тотъ садъ зеленый,
Нарви Ты Божьяго Древа,
Поди потомъ къ Крестителю-Ивану,
Передъ нимъ Ты поклонися,
Поцѣлуй Ты черную землю
И тогда ему говори Ты:
— Будь Мнѣ кумомъ ты, Иванъ-Креститель,
Окрести ты Христа Бога истинна!"
Ясное небо растворилось,
Черная земля затряслася,
Какъ крестили Христа Бога истинна"...

Съ праздникомъ Крещенія Господня связано въ народной Руси не мало повѣрій, относящихся къ судьбѣ человѣка. Такъ, напримѣръ, если кто-нибудь крещенъ въ этотъ отверзающій небеса надъ землею день,—то, по слову народной мудрости, быть ему счастливѣйшимъ человѣкомъ на всю жизнь. Добрымъ предзнаменованіемъ считается также, если устроится въ этотъ день рукобитье свадебное: въ мирѣ да въ согласіи пройдетъ жизнь новобрачной четы. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ выходятъ вечеромъ въ Крещенье дѣвушки окликать суженыхъ. Если попадется навстрѣчу имъ молодой парень—быть добру, старикъ—надо ждать худа. Да и не перечесть всѣхъ повѣрій, обступающихъ изукрашеннымъ

частоколомъ обычаевъ великій праздникъ Божій. Живуче яркое слово-преданіе богатыря-пахаря, не вымираютъ и простодушныя повѣрья его.

Еще въ концѣ первой половины XVII столѣтія писалъ царь Алексѣй Михайловичъ въ своей граматѣ государевой шуйскому воеводѣ вообще о святочныхъ, а о крещенскихъ наособицу, пирахъ-игрищахъ: „... вѣдомо намъ учинилося, что на Москвѣ, напередъ сего въ Кремлѣ, и въ Китаѣ, и въ Бѣломъ, и въ Земляномъ городѣ, и за городомъ, и по переулкамъ, и въ черныхъ, и въ ямскихъ слободахъ по улицамъ и по переулкамъ, въ навечери Рождества Христова кликали многіе люди Каледу и Усень, а въ навечери Богоявленія Господня кликали Плугу; да въ Москвѣ жъ чинится безчинство: многіе люди поютъ бѣсовскія сквернословныя пѣсни... ...да на Рождество Христово и до Богоявленьева дня собираются на игрища сборища бѣсовскія.....игрецы-скоморохи съ домбрами и съ дудами, и съ медвѣди ходятъ, и дару Божію хлѣбу поругаются, всяко животно скотское, и звѣрино, и птичье пекутъ. И мы указали о томъ учинить на Москвѣ и въ городѣхъ, и въ уѣздѣхъ заказъ крѣпкой, чтобы нынѣ и впредь никакіе люди по улицамъ и по переулкамъ, и на дворѣхъ въ навечери Рождества Христова и Богоявленья Каледъ и Плугъ и Усеней не кликали и пѣсней бѣсовскихъ не пѣли.... А которые люди нынѣ и впредь учнутъ Каледу и Плуги, и Усени, и пѣть скверныя пѣсни, и тѣмъ людямъ за такія супротивныя неистовства быти отъ насъ въ великой опалѣ и въ жестокомъ наказаньѣ. И велѣно тотъ нашъ указъ сказывать всякимъ людямъ всѣмъ вслухъ, и бирючемъ велѣно кликати по многіе дни“... Съ той поры минули долгіе годы, исчезло изъ памяти народной понятіе о „супротивныхъ закону христіанскому“ Каледѣ, Плугѣ и Усени; но ставшія мертвымъ звукомъ имена ихъ попрежнему слышатся въ пѣсняхъ любящаго веселіе, сердцемъ приверженнаго къ стародавней старинѣ народа. Эти имена, когда-то вызывавшія недовольство церковныхъ властей, видѣвшихъ въ нихъ пережитокъ язычества, въ настоящее время только придаютъ цвѣтистость пѣсенному слову.

День Богоявленія ознаменовывался въ старой Москвѣ праздничнымъ царскимъ выходомъ, не имѣвшимъ себѣ подобнаго по торжественности. Со всей Руси былъ къ этому дню съѣздъ бояръ и всякаго чина именитыхъ людей въ Бѣлокаменную: и былъ этотъ съѣздъ ради царскаго лицезрѣнія, изъ охоты полюбоваться рѣдкимъ великолѣпіемъ торжества.

Чинъ крещенскаго освященія воды совершался патріархомъ

на Москва-рѣкѣ. Собиралось вокругъ „Іордани“ до четырехсотъ тысячъ народа. Царь-государь шествовалъ въ большомъ нарядѣ царскомъ сначала въ Успенскій соборъ, а оттуда — на освященіе воды, среди стоявшаго стѣной ратнаго строя стрѣльцовъ, поддерживаемый стольниками изъ ближнихъ людей, оберегаемый „отъ утѣсненія нижнихъ чиновъ“ стрѣлецкими полковниками въ бархатныхъ и объяринныхъ ферезеяхъ и турскихъ кафтанахъ. Гости, приказные, иныхъ чиновъ люди и многое множество народа окружали шествіе вѣнценоснаго богомольца. Самое дѣйство освященія воды совершалось, за малыми исключеніями, такъ-же, какъ и въ наши дни. Но главнымъ отличіемъ являлась обступавшая его картина — съ патріархомъ и царемъ во главѣ. Возвращался крестный ходъ по прежнему чину. Царь-государь, отслушавъ въ Успенскомъ соборѣ отпускную молитву, шелъ въ свои палаты царскія. А на Москвѣ — „по улицамъ, по переулкамъ и во дворѣхъ“ — начиналось послѣднее празднованіе Святокъ. Люди почтенные принимались за пиры-бесѣды, молодежь — за пѣсни-игры утѣшныя, а гуляки, памятующіе предпочтительно передъ всѣмъ инымъ присловье „Чару пити—здраву быти!“ — за любимое Русью „веселіе“.

X.

Февраль-бокогрѣй.

Кончается студеный мѣсяцъ январь-просинецъ, день Никиты-новгородскаго февралю-„бокогрѣю-сѣченю“ челомъ бьетъ. А тому—починъ кладутъ на свѣтлорусскомъ неоглядномъ просторѣ Трифоны-перезимники (1-е число) да святъ-великъ праздничекъ Срѣтеніе Господне (2-е февраля)—огороженный въ народной памяти причудливымъ, въ стародавніе годы поставленнымъ вокругъ жизни, тыномъ своеобразныхъ, къ одному ему пріуроченныхъ, повѣрій, сказаній и обычаевъ.

Во дни сѣдой старины звался февраль, по свидѣтельству харатейнаго Вологодскаго евангельскаго списка „сѣченемъ“; западная народная Русь, по свидѣтельству Полоцкаго списка Евангелія прозывала его въ ту пору „снѣженемъ“; у малороссовъ и поляковъ слылъ онъ за „лютаго“. Сосѣди-родичи русскаго пахаря величали этотъ мѣсяцъ—каждый на свой особый ладъ: иллирійскіе славяне[32])—„вельячею“, кроаты—„свѣченомъ“, венды—„свѣчникомъ“, „сѣчаномъ“, и „друнникомъ“ (вторымъ), сербы — „свѣчковніимъ“, чехи со словаками—„уномъ“. Въ наши дни деревеньщина-посельщина бережетъ про него с в о е прозвище: „бокогрѣй—широкія дороги“. По народнымъ присловьямъ, подслушанному въ разныхъ концахъ родины народа-сказателя: „Февраль три часа дня прибавитъ!“, „Февраль воду подпуститъ (мартъ—подберетъ)“! Въ февралѣ (о Срѣтеньѣ) зима съ весной встрѣтится впервой!“,

[32]) И л л и р і й с к і е с л а в я н е—позднѣйшіе обитатели древней Иллиріи, находившейся къ западу отъ Ѳессаліи и Македоніи и къ востоку отъ Италіи и Реціи вплоть до рѣки Истра къ сѣверу. Современные албанцы и далматинцы ведутъ свое происхожденіе отъ нихъ.

„Февраль солнце на лѣто поворотитъ!“, „Февраль (Власьевъ день, 11-е число) сшибетъ рогъ зимѣ!“ и т. д. „Вьюги, мятели подъ февраль полетѣли!“—говорятъ въ народѣ при послѣднихъ январьскихъ заметяхъ,—приговаривая при первой оттепели бокогрѣй-мѣсяца: „Въ февралѣ отъ воробья стѣна мокра!“ Но и февраль февралю не ровенъ, какъ и годъ—году: въ високосные годы, когда въ немъ 29 дней („Касьяны—именинники“), это—самый тяжелый мѣсяцъ, пожалуй даже тяжелѣ май-мѣсяца.

Второй по современному мѣсяцеслову, февраль-мѣсяцъ приходилъ въ древнюю Русь двѣнадцатымъ—послѣднимъ (во времена, когда годъ считался съ марта), а затѣмъ—съ той поры, какъ положено было властями духовными и свѣтскими починать новолѣтіе съ сентябрьскаго Симеона-лѣтопроводца, былъ шестымъ—вплоть до 1700 года.

Придетъ февраль, разсѣчетъ, по старинной поговоркѣ, зиму пополамъ, а самъ—„медвѣдю въ берлогѣ бокъ согрѣетъ“, да и не одному медвѣдю (пчелиному воеводѣ), а „и коровѣ, и коню, и сѣдому старику“. Студены срѣтенскіе морозы, обступающіе первый предвесенній праздникъ, но памятуетъ народная Русь, что живутъ на бѣломъ свѣтѣ не только они, а и оттепели, что̀ тоже срѣтенскими, какъ и морозы,—прозываются. „Что̀ срѣтенскій морозъ“,—говоритъ деревня: „пришелъ батюшка-февраль, такъ и мужикъ зиму переросъ!“ По крылатому народному слову: „На Срѣтенье зима весну встрѣчаетъ, заморозить красную хочетъ, а сама—лиходѣйка—со своего хотѣнья только потѣетъ!“ Но ещѐ даетъ себя знать и матушка-зима, особливо если она—годомъ, какъ поется въ пѣснѣ,—„холодна больно была“: 4-го февраля—на вторые сутки послѣ Срѣтенія Господня—проходитъ по бѣлымъ снѣгамъ пушистымъ Николай-Студитъ (преподобный Николай Студійскій); а онъ хоть и не такъ жестокъ, какъ св. Ѳеодоръ-Студитъ (память—11-го ноября), но всетаки съ достаточной силою честно̀й-людъ деревенскій знобитъ, а у голытьбы бобылей прямо-таки кровь замораживаетъ, если тѣ—подъ недобрый часъ—въ неурочное время запоздятся въ дорогѣ. Выходитъ мужикъ въ этотъ день изъ хаты, рукавицами похлопываетъ, похлопываючи—приговариваетъ: „А и кусается еще морозъ-отъ; знать, зима засилье береть!“

На пятые февральскіе сутки падаетъ память святой мученицы Агаѳіи: „поминальницей“ зоветъ ее народная Русь, поминающая въ этотъ-день отошедшихъ въ иной міръ отцовъ-прaотцевъ, дѣдовъ-прадѣдовъ.

Въ нѣкоторыхъ поволжскихъ губерніяхъ (между прочимъ, въ Нижегородской) существовало, повѣрье, пріуроченное къ

этому дню и въ то-же самое время связанное отчасти съ праздникомъ Срѣтенія Господня. Въ этотъ день, по словамъ старожиловъ, пробѣгаетъ по селамъ „Коровья Смерть“, встрѣтившаяся съ Весной-Красною и почуявшая оттепель, которой она, лиходѣйка, ждетъ—не дождется, заморенная зимней голодовкою. Это существо является въ народномъ воображеніи въ видѣ безобразной старухи, у которой—въ-добавокъ ко всей ея уродливости—„руки съ граблями“. По старинному повѣрью, она никогда сама въ село не приходитъ, а непремѣнно завозится кѣмъ-либо изъ заѣзжихъ, или проѣзжихъ, людей. Совершонное осенью „опахиванье“ деревни отгоняетъ это чудище отъ огражденнаго выполненіемъ упомянутой обрядности мѣста; и старуха бѣгаетъ всю зиму по лѣснымъ дебрямъ, скитается по болотамъ да по оврагамъ. Но это продолжается только до той поры, покуда февраль не обогрѣетъ солнышкомъ животинѣ бока. Тогда-то лиходѣйка и подбирается къ селамъ, высматриваетъ: нѣтъ ли гдѣ-нибудь отпертаго хлѣва. Но хозяйки повсемѣстно строго слѣдятъ за этимъ, и чудищу не удаются его замыслы. Наиболѣе дальновидные и наиболѣе крѣпко придерживающіеся предписаній суевѣрной старины люди убираютъ къ 5-му февраля свои хлѣвы старыми лаптями, обильно смоченными дегтемъ: отъ такого хлѣва, по существующему повѣрью, Коровья Смерть бѣжитъ безъ оглядки,—не выноситъ такого гостинца она, не по носу ей дегтярный духъ.

Весеннее опахиваніе жилыхъ мѣстъ, совершающееся ради обережи отъ этой лихой нежити пододонной, пріурочивается простонароднымъ суевѣріемъ къ 11-му февраля—Власьеву дню (см. гл. XII). Въ этотъ-же самый день суевѣрію деревенскаго люда предстоитъ еще другая, и тоже—не малая, забота: защитить хату отъ вторженія „летающей нечистой силы“, имѣющей, по словамъ свѣдущихъ въ этомъ дѣлѣ людей, обыкновеніе забираться къ православнымъ какъ-разъ черезъ трое сутокъ послѣ Срѣтеньева дня. Вечеромъ 5-го февраля печныя трубы наглухо-накрѣпко закрываются вьюшками и даже, для большей надежности, замазываются тонкимъ слоемъ глины и окуриваются чертополохомъ. Нечисть вылетаетъ, по народному повѣрью, въ это время изъ преисподней въ видѣ птицъ и „заглядываетъ въ трубы“: тамъ, гдѣ не позаботятся оградить себя отъ вторженія этихъ незваныхъ гостей, злые духи поселяются до тѣхъ поръ, пока ихъ не выкурятъ съ помощью знахаря. До появленія-же въ хатѣ этого послѣдняго съ его заговорами и причетами, они всегда успѣютъ надѣлать всевозможныхъ хлопотъ неосмотрительнымъ хозяевамъ. „Бываетъ,—говорятъ въ деревнѣ,—что весь домъ

вверхъ дномъ перевернутъ, все перебьютъ, переломаютъ,—хозяева хоть бѣги вонъ!“ Достается не только хозяевамъ, но и сосѣдямъ и даже случайнымъ прохожимъ, замѣшкавшимся возлѣ такого неблагополучнаго дома. Потому-то даже и не особенно крѣпко придерживающіеся старинныхъ обычаевъ стараются не позабыть объ этомъ, въ виду приписываемой ему важности въ домашнемъ быту. „Черные да лукавые—не то, что мыши: съ ними потруднѣе сладить!“—говорятъ знахари, пользующіеся удобнымъ случаемъ получить съ довѣрчиваго суевѣрія большее вознагражденіе за свой „трудъ“.

6-е февраля—Вуколовъ день. По инымъ уголкамъ Руси великой (между прочимъ, въ захолустьяхъ костромской стороны) прозывается этотъ день „Жуколами“. Послѣднимъ словомъ одни зовутъ телятъ, появляющихся на свѣтъ въ февралѣ-бокогрѣѣ; другіе-же—телящихся въ этомъ мѣсяцѣ коровъ. „Придутъ Вуколы, перетелятся всѣ жуколы“ повторяютъ иногда старинную поговорку, подсказанную крестьянину-скотоводу многолѣтнимъ опытомъ, съ замѣчательной точностью опредѣляющимъ для всякой домашней животины время приплода. На старой Смоленщинѣ и въ воронежскомъ краю совѣтуютъ молиться святому Вуколу для огражденія отъ „вукулъ“ („вовкулаковъ“, перевертышей, перекидышей, оборотней). Старые люди говаривали, что даже одно поминовеніе имени его при встрѣчѣ съ оборотнемъ заставляетъ того совершенно обезсилѣть. А недаромъ завѣщала помнить сѣдая народная мудрость, что-де „неспроста и неспуста слово молвится и до вѣку не сломится“.

За Вуколомъ—день преподобныхъ Парфентія и Луки элладскаго. Въ этотъ день принято на среднемъ Поволжьѣ печь пироги съ лукомъ, о чемъ твердо помнятъ ребята малые—большіе лакомки. Старушки-богомолки напекутъ пирожковъ-луковниковъ да и раздаютъ ихъ нищей братіи—„на счастье“. Существуетъ повѣрье, гласящее, что такая милостыя, поданная съ вѣрой да съ молитвою, сторицею вернется въ руки подавшему ее. „Счастье—одноглазое“,—говорятъ въ народѣ,—„оно не видитъ, кому дается!“ Объ одноглазомъ счастьѣ записана С. В. Максимовымъ [33]) любопытная притча. „Не въ которомъ

[33]) Сергѣй Васильевичъ Максимовъ—извѣстный современный писатель, изслѣдователь народнаго быта—родился въ 1831-мъ году въ посадѣ Парфентьевѣ, Кологривскаго уѣзда Костромской губерніи, въ семьѣ уѣзднаго почтмейстера, и первоначальное образованіе получилъ въ мѣстномъ посадскомъ училищѣ. Впослѣдствіи онъ былъ въ костромской гимназіи, московскомъ университетѣ и въ с. петербурской медико-хирургической академіи. Литературная дѣятельность его началась въ 1853-мъ году въ журналѣ „Библіотека для чтенія.“ Въ 1855-мъ году

царствѣ, а можетъ быть и въ самомъ нашемъ государствѣ",—говоритъ истолкователь крылатыхъ словъ, вторя мезенскому старику-раскольнику,—„жила-была женщина и прижила роженое дѣтище. Окрестила его, помолилась Богу и крѣпкимъ запретомъ зачуралась,—довольно-таки съ нея одного: вышелъ паренекъ такой гладкій, какъ наливное яблочко, и такой ласковый, какъ телятко, и такой разумный, какъ самый мудрѣйшій въ селѣ человѣкъ. Полюбила его мать пуще себя: и цѣловала-миловала его день и ночь, жалѣла его всѣмъ сердцемъ и не отходила отъ него на малую пяденочку. Когда ужъ подросло это дѣтище, стала она выпускать его въ чистомъ полѣ порѣзвиться и въ лѣсу погулять. Въ иное время то дѣтище домой не вернулось,—надо искать: видимо дѣло—пропало.—Не медвѣдь-ли изломалъ, не укралъ-ли лѣшій?.." Затѣмъ, разскащикъ возвращается къ матери потерявшагося ребенка. „А та женщина называлась Счастьемъ."—ведетъ онъ свою пріукрашенную цвѣтами народнаго слова рѣчь,—„и сотворена была, какъ быть живому человѣку: все на своемъ мѣстѣ, и все по людскому. Только въ двухъ мѣстахъ была видимая поруха: спина не сгибалась, и былъ у ней одинъ глазъ, да и тотъ сидѣлъ на самой макушкѣ головы, на темени,—кверху видитъ, а руками хватаетъ зря и что подъ самые персты попадается наудачу..." Обрисовавъ въ такихъ яркихъ чертахъ „Счастье одноглазое", сказатель продолжаетъ свою подсказанную вдумчивой жизнью повѣсть: „Съ таковой-то силою пошло то одноглазое Счастье искать пропавшее дѣтище. Заблудилось-ли оно и съ голоду померло, или на волковъ набѣжало и тѣ его сожрали, а можетъ и потонуло, либо иное что съ нимъ приключилось,—не знать того дѣла Счастью; отгадывать ему Богъ разума не далъ—ищи само, какъ ты себѣ знаешь. Искать же мудрено и не сподручно: видѣть не можно,

---

онъ предпринялъ, въ цѣляхъ изученія народнаго быта, экскурсію „въ народъ" и прошелъ пѣшкомъ Владимірскую, Нижегородскую и Вятскую губерніи, результатомъ чего явился цѣлый рядъ разсказовъ, сначала помѣщенныхъ въ различныхъ журналахъ, а затѣмъ вошедшихъ въ книгу „Лѣсная глушь", изданную въ 1871-мъ году. Послѣ пѣшеходнаго странствованія по названнымъ выше губерніямъ, С. В. Максимову пришлось принять участіе въ организованной морскимъ вѣдомствомъ по мысли Великаго Князя Константина Николаевича, экспедиціи на русскій сѣверъ. Онъ посѣтилъ побережье Бѣлаго моря и Ледовитаго океана и написалъ замѣчательную книгу „Годъ на сѣверѣ", выдержавшую до пяти изданій (съ 1859 по 1896-й г.) Въ 1871 г. вышла его книга „Сибирь и каторга", въ 1877-мъ—послѣ поѣздки по порученію Географическаго общества въ сѣверо-западный край—книга „Бродячая Русь Христа-ради". Кромѣ множества другихъ этнографическихъ и беллетристическихъ работъ, ему принадлежатъ книги: „На Востокъ, поѣздка на Амуръ", „Разсказы изъ исторіи старообрядцевъ", „Крылатыя слова" и „Куль хлѣба и его похожденія".

развѣ по голосу признавать... Такъ опять-же всѣ ребячьи голоса—на одно. Однако идетъ себѣ дальше: и, можетъ, она прислушивается, можетъ ищетъ по запаху (бываетъ такъ-то у звѣрья)—я не знаю. Въ одной толпѣ потолкается, другую обойдетъ мимо, третью околеситъ, на четвертой—глядь-поглядь—остановилась. Да какъ схватитъ одного такого-то, не совсѣмъ ладнаго, да пожалуй и самаго ледящаго, прахового, сплошь-и-рядомъ что ни на есть обхватитъ самаго глупаго, который и денегъ-то считать не умѣетъ. Значитъ, нашла мать: оно самое и есть ея любимое и потерянное дѣтище"... Анъ—на дѣлѣ оказывается совсѣмъ не такъ-то легко найти даже и Счастью свою дорогую пропажу, недаромъ оно—одноглазое. „Схватитъ Счастье его (перваго попавшагося подъ-руку)",—повѣствуетъ притча,—„и начнетъ вздымать, чтобы посмотрѣть въ лицо: оно-ли доподлинно? Вздымаетъ полегонечку, нѣженько таково, все выше, да выше, не торопится. Вздыметъ выше головы, взглянетъ съ темени однимъ своимъ глазомъ да и броситъ изъ рукъ, не жалѣючи, прямо о-земь: иный изживаетъ, иной зашибается и помираетъ. Нѣтъ, не оно! И опять идетъ искать, и опять хватаетъ зря перваго встрѣчнаго, какой вздумается, опять вздымаетъ его къ небесамъ и опять бросаетъ о-земь. И все по землѣ ходитъ, и все то самое ищетъ. Дѣтище-то совсѣмъ сгибло со свѣта, да материнское сердце не хочетъ тому дѣлу вѣрить. Да и какъ смочь ухитриться и наладиться? Вотъ все такъ и ходитъ, и хватаетъ, и вздымаетъ, и бросаетъ, и ужъ сколько оно это самое дѣлаетъ,—счету нѣтъ, а и поискамъ—и конца краю не видать: знать, до самаго свѣтопреставленія такъ-то будетъ!.." Притча кончается словами простонародной мудрости: „Счастье—что трястье: на кого захочетъ, на того и нападетъ!"

Счастье „со-частье" (доля, пай), по объясненію составителя „Толковаго словаря живого великорусскаго языка". Объ этомъ ходящемъ по бѣлу-свѣту призракѣ летаетъ изъ конца въ конецъ народной Руси не мало окрыленныхъ острымъ умомъ простодушнаго мудреца-пахаря словецъ. „Всякому—свое счастье, въ чужое не заѣдешь!"—говоритъ народъ русскій и приговариваетъ: „У другого такое счастье, что на мосту съ чашкой!" (про нищаго). „Кому счастье, кому счастьице, кому счастьишко, а кому и одно ненастьице!" и т. д. Но, по присловьямъ того-же умудреннаго темными-туманными вѣками „ненастьица" пахаря: „Счастье—въ насъ самихъ, а не вкругъ да около!". „Домашнее счастье—совѣтъ да любовь!", „Лады въ семьѣ—больше и счастья не найти, хоть весь свѣтъ обойти". Земледѣльческій опытъ говоритъ устами крестья-

нина въ поговоркѣ: „На счастье („на-авось“—по другому разносказу) и мужикъ хлѣбъ сѣетъ!“. Но мужикъ-простота и не задумывается надолго надъ сокрушающимъ многодумныя ученыя головы вопросомъ о счастьѣ. „Дастъ Богъ здоровья, дастъ и счастья!“—замѣчаетъ онъ: его, мужицкое, счастье въ трудѣ. Да и счастье - счастью рознь: „Счастье—мать, счастье—мачиха, счастье бѣшеный волкъ!“ Есть, однако, и въ деревенскомъ-посельскомъ быту люди, которые все готовы сваливать на счастье да на несчастье Такихъ людей—не оберешься вездѣ! „Со счастьемъ на кладъ набредешь“,—оговариваются они,—„безъ счастья и гриба не найдешь!“, „Не родись ни уменъ, ни красивъ—родись счастливъ!“, „Счастливому и промежъ пальцевъ вязнетъ!“. Міръ Божій для нихъ—что темный лѣсъ дремучій; если на-слово повѣрить имъ, утверждающимъ, что счастье—„дороже ума“, то въ жизни только и можно брести отъ колыбели до могилы что ощупью. Менѣе надѣющіеся на слѣпое—или одноглазое—счастье, болѣе полагающіеся на свой разумъ да на работу посильную люди могутъ всегда напомнить имъ о такихъ слагавшихся долгими вѣками пословицахъ, какъ, напримѣръ: „Счастье—что вешнее ведро (ненадежно)!“, „Нынѣ про счастье только въ сказкахъ и слыхать!“, „Счастье—что палка—о двухъ концахъ!“, „Счастье со счастьемъ сойдется, и то безъ ума не разшинѣется!“, „Счастье съ несчастьемъ повстрѣчается—ничего не останется!“ и т. д. Мѣткое слово сказалось-молвится въ народѣ про счастье, да не только мѣткое, а и подъ корень подрѣзывающее всякое пустословіе. „Первое счастье — коли стыда въ глазахъ нѣтъ!“—обмолвился простодушный стихійный мудрецъ объ ищущихъ „легкаго“ счастья.—„Счастье велико, да ума мало!“,—сказалъ онъ о ротозѣяхъ-верхоглядахъ. „Дураку—вездѣ счастье!“, „У недоумка счастье—ослиное!“, „Глупый будетъ счастья ждать, а умный Бога объ работѣ молить!“—и теперь продолжаютъ перелетать реченія стародавней старины народной изъ однихъ устъ въ другія.

Восьмой февральскій день—память святыхъ великомученика Ѳеодора Стратилата и пророка Захаріи-серповидца. Послѣднему съ особымъ прилежаніемъ молятся бабы—вѣковѣчныя жницы. Въ старые годы было даже во многихъ мѣстахъ въ обычаѣ доставать на Захарьевъ день заткнутые въ переборку сѣней серпы и кропить ихъ крещенскою святой водою съ божницы. Вѣроятно, есть еще и сейчасъ такіе захолустные уголки, гдѣ не всѣми позабыто это благочестивое повѣрье далекихъ дней, нашептанное народу-пахарю тревогою за будущій урожай, съ которымъ связана вся его трудовая жизнь.

„Не обережешь во-время кривого серпа—не нажнешь въ полѣ и снопа!“—говорятъ въ народѣ. „Сутулъ, горбатъ („маленькій, горбатенькій“—по иному разносказу)—все поле обскакалъ!“—приговариваетъ о серпѣ русская простонародная загадка. „Была молода, не только хлѣбъ жевала, а и по сотнѣ сноповъ въ день жинала!“—вспоминаютъ порою, глядючи на серпы, отработавшія свою бабью долю старухи старыя. „Одной рукой жни, другою—сѣй!“,—думается старикамъ: „Пашешь—плачешь, жнешь—скачешь!“, „Сѣй хлѣбъ, не спи: будешь жать, не станешь дремать!“. Но есть и такіе, что жнутъ, гдѣ не сѣяли, собираютъ—гдѣ не разсыпали.. „Живетъ не жнетъ, а хлѣбъ жуетъ да еще деньги считаетъ!“—обмолвилось про ихъ родныхъ братцевъ крылатое словцо народное. О лежебокахъ—иная рѣчь: „Люди жать, а мы—подъ межой отдыхать!“, „Сѣмена съѣдимъ, такъ не жать и спины не ломать!“, „Чисто мои жницы жнутъ—какъ изъ печки подадутъ!“ Первыя два реченія можно отнести, однако, и не къ однѣмъ только жнущимъ за столомъ жницамъ: въ нихъ слышатся и голоса нужды-невзгоды, заставляющей обливающагося трудовымъ потомъ мужика иногда и у хлѣба сидѣть безъ хлѣба.

За „серповидцами“-Захарами идутъ по народной Руси „Никифоры-Панкраты“—память мученика Никифора и священномученика Панкратія, 9-е февраля. „Не всякъ Панкратъ хлѣбомъ богатъ!“—молвитъ деревня. „Нашъ Панкратъ лаптями богатъ!“—можно, и не подслушивая, услышать въ другой. „Хороши Панкратьевы лапти, да и тѣ—никифорцы!“—въ ладъ приговариваютъ охочіе до краснаго словца калужане съ тулянами („никифорцы“—высокіе лапти, безъ оборъ). „Калужанинъ поужинаетъ, а тулякъ ляжетъ такъ!“, „Тулякъ—стальная душа, блоху на цѣпь приковалъ!“, „Калужане—затѣйники, козла въ соложономъ тѣстѣ утопили!“—гласитъ о нихъ-самихъ мѣтящая не въ бровь, а въ самый глазъ, народная молвь, никогда мимо не молвящаяся.

За Прохоровымъ днемъ, 10-мъ февраля,—Власьевъ, съ его цвѣтистыми присловьями да живучими обычаями и сказаніями, идущими изъ далекой дали языческаго былого, отъ Велеса—„скотьяго бога“. Вылетѣло изъ народныхъ устъ свое словцо и о памятуемомъ въ десятый день бокогрѣй-мѣсяца святомъ: „На Прохора и зимушка-зима заохаетъ!“, „До Прохора старуха охала—„Охъ студено!“,—пришелъ Прохоръ да Власъ:—никакъ скоро весна у насъ!“, „Прольетъ Власій масла на дорогу—зимѣ убирать ноги пора за Прохорами слѣдомъ!“.

Отдастъ деревеньщина-посельщина свою дань старинѣ, опашется отъ Коровьей Смерти, простится со власьевскими

морозами, звѣздную „окличку“ (см. гл. XII) справитъ, а тамъ—всего сутки до дня святого Ѳеодора-Тирона [34]) запечатлѣннаго въ народной памяти сложившимися-сказавшимися про него стиховными сказами, подслушанными собирателями словесныхъ сокровищъ по разнымъ сторонамъ свѣтлорусскаго простора неоглядnаго. „Іерусалима вышняго гражданинъ“.—величаютъ великомученика убогіе пѣвцы—калики-перехожіе: „до града долнаго Ѳедоръ святъ приходитъ, да отъ лести сохранитъ христіанъ. Седмицы первыя постныхъ дней, сѣть сплете Іуліанъ козней: съ кровію жертвъ капищахъ брашна смѣси въ торжищахъ лукавый. Извѣсти Ѳеодоръ козни сію въ градѣ сущу архіерею, брашна не покупати, но коливо въ снѣдь дати всѣмъ вѣрнымъ. Чудеси іерархъ удивися.—Имя рекъ, яви, ми явлейся!“—вопрошаетъ онъ.—„Азъ есмь Христовъ мученикъ, посланный намъ помощникъ Ѳеодоръ!“—держитъ отвѣтъ іерарху угодникъ Божій, „гражданинъ Іерусалима вышняго“. Приведя эти слова, стихопѣвецъ переходитъ къ восхваленію не только самого святого, но и мѣста земного его подвига: „Обитель, торжествуй, Хопово, въ тебѣ за имя Христово тѣлесная храмина Ѳеодора-Тирона страдавша! Роде весь христіанскій, воспой во памяти днесь мученической: спасай насъ зла совѣта, отъ всякаго навѣта, о святе!“ Этотъ духовный стихъ записанъ въ Сербіи, но до сихъ поръ поется и во многихъ мѣстахъ народной Руси. Въ Оренбургской, Уфимской, Рязанской, Московской и Смоленской губерніяхъ распѣваются-сказываются свои сказанія стиховныя, посвященныя св. Ѳеодору-Тирону (Тирянину), сказанія—болѣе замѣчательныя, какъ по своему любопытному содержанію, такъ и по живой образности языка.

Собирателями духовныхъ народныхъ стиховъ записаны шесть старинныхъ сказаній о подвигахъ св. Ѳеодора-Тирона. Всѣ они служатъ дополненіемъ одно другому. Въ одномъ изъ нихъ этотъ—по прихоти пѣснопѣвца-народа—преобразившійся въ богатыря—угодникъ Божій именуется „Тирянином“, другое зо-

[34]) Св. Ѳеодоръ-Тиронъ — великомученикъ (воинъ), пострадавшій при императорѣ Максиміанѣ за вѣру во Христа, 17 февраля 306 года въ городѣ Амасіи. Въ субботу первой седмицы Великаго Поста воспоминаетъ Православная Церковь о чудѣ, совершонномъ этимъ угодникомъ Божіимъ во дни Юліана Отступника. Задумавъ подвергнуть христіанъ осмѣянію черни, послѣдній приказалъ (въ 362-мъ году) антіохійскому епарху тайно осквернять семь дней всѣ припасы, продаваемые на торгу, кровью идольскихъ жертвъ. Св. Ѳеодоръ, явившись во снѣ архіепископу Евдоксію, открылъ ему этотъ тайный замыселъ и повелѣлъ созвать всѣхъ вѣрующихъ во Христа поутру въ чистый понедѣльникъ и запретить имъ покупать въ теченіе недѣли пищевые припасы на торгу, а питаться всѣ семь дней вареною пшеницей съ медомъ (коливо).

ветъ его „Тириномъ“, третье—„Тыриновымъ“, въ четвертомъ онъ является „Хведоромъ Тыряниномъ“ и т. д. Наибольшей полнотою и связностью отличается среди другихъ разносказовъ своихъ сказаніе, подслушанное-перехваченное изъ народныхъ устъ однимъ изъ собирателей памятниковъ народнаго слова въ деревнѣ Саларевой, Московской губерніи.

Передъ слушателями этого сказанія возстаютъ три ярко обрисованныхъ облика сѣдой старины: царь Констинкинъ Самойловичъ (Костянтинъ Сауйловичъ—по иному разносказу), Ѳедоръ Тирянинъ—„младъ человѣкъ“, царское „чадо милое“, и матушка этого чада—„Ѳедориса-и-Микитишна“. Все сказаніе съ перваго до послѣдняго стиха выдержано въ народномъ духѣ. „Молился царь Констинкинъ Самойловичъ у честной святой заутрени“, начинаетъ свою размѣренную рѣчь безымянный пѣснотворецъ-сказатель. Въ рязанскомъ (Раненбургскаго уѣзда) разносказѣ начало гораздо опредѣленнѣе этого: „Во той земли во турецкія, во святомъ градѣ въ Ерусалимовѣ, жилъ себѣ нѣкій царь Костянтинъ Сауйловичъ, Молился у честныя заутрени, ходить ёнъ къ церкви соборныя, къ заутрени раннія, служилъ молебны часные, становилъ свѣчи поставныя, молился за домъ Пресвятыя Богородицы“...—гласитъ онъ. „Отъ того царя іюдейскаго, всеа силы жидовскія“,—продолжаетъ саларевскій разносказъ,—„прилетала калена стрѣла, на стрѣлѣ было подписано:—Царь Констинкинъ Самойловичъ! Отдай градъ ты охотою; не отдашь градъ охотою, мы возмемъ градъ мы неволію!“. Прочиталъ грозную надпись, не смутился духомъ богомольный царь: вышелъ онъ, по словамъ сказанія, „на крыльцо на паратное“, воскликнулъ („онъ скричалъ“) громкимъ голосомъ: „Вы люди, мои могучіе, всѣ гости почетные! Кто постоитъ за городъ Ерусалимъ и за всю вѣру за крещоную, за мать Божью Богородицу?“ Не отозвался ни одинъ могучій человѣкъ, ни одинъ почетный гость на царевъ кличъ: „А старый прячется за малаго, а малаго и давно не видать“. Несмотря на это, не остался призывъ „постоять за городъ Ерусалимъ“ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ: „выходила выступала его чада милая, и младъ человѣкъ и Ѳедоръ Тирянинъ, всего отъ роду двѣнадцать лѣтъ“. Вышелъ отрокъ, къ стыду могучихъ людей—почетныхъ гостей, и держалъ рѣчь къ отцу-государю: „Родимой ты мой батюшка, царь Констинкинъ Самойловичъ! Ужъ и дай мнѣ благословленье, ужъ и дай мнѣ коня добраго, ужъ и дай мнѣ збрую булатную: поѣду противъ царя іюдейскаго, противъ силы жидовскія!“ Изумился царь, изумившись—говоритъ сыну: „Ой, чада мое милое, младъ человѣкъ и Ѳедоръ Тирянинъ!

Ты на войнахъ ты не бывывалъ, на бойномъ конѣ ты не сиживалъ, кровавыхъ ранъ не принималъ. Не умѣешь, чадо мое, на конѣ сидѣть, не умѣешь копьемъ шуръ метать (шурмовать, штурмовать)! На кого ты, чадо, надѣешься, на кого и начаешься?" Отвѣтъ Ѳедора Тирянина выдаетъ въ немъ духъ истиннаго сына русскаго народа, сложившаго про него свой пѣсенный сказъ: „Ты, родимой мой батюшка",—говоритъ отрокъ,—„царь Констинкинъ Самойловичъ! Я надѣюся и начаюся на силу я на небесную, на Мать Божью Богородицу!" (По другому разносказу дополняется этотъ отвѣтъ словами: „.... на всю силу небесную, на книгу Ивангелья, на ваше великое благославленьица..."). Рязанцы,—хотя и идетъ про нихъ молва, что они-де „мѣшкомъ солнышко ловили", что они-де „блинами острогъ конопатили",—и по наши дни остаются записными стихопѣвцами-сказателями. Продолжаютъ они это сказаніе кличемъ царя-отца: „Возговоритъ царь Костянтинъ Сауйловичъ:—Князье бояре, люди почестные! Выводите добра́ коня неѣзжана, выносите сбрую ратную, копье булатное, книгу Ивангелья!" Въ московскомъ-же (саларевскомъ) разносказѣ эти слова пропускаются, а ведется рѣчь прямо о томъ, что̀ сдѣлалъ послѣ своего отвѣта „младъ-человѣкъ" Ѳедоръ Тирянинъ „Онъ беретъ коня неѣзжалаго",—говорится тамъ,—„онъ беретъ книгу, крестъ и Евангеля, онъ поѣхалъ чистымъ полемъ, возвивается яко соколъ по поднебесью, онъ бился-рубился три дня и три ночи, съ добра́ коня не слѣзаючи и хлѣба не скуша́ючи, и воды не спиваючи: побилъ царя іюдейскаго, покорилъ онъ силу жидовскую"... Тутъ случилось дѣло нежданное-негаданное: „Топить кровь жидовская, добру коню по гриву, а добру молодцу по шелковъ поясъ"... Но и это не могло причинить лиха царскому чаду милому: „онъ воткнулъ копье во сыру землю, онъ раскрылъ книгу Евангеля, во зрыданіяхъ слова не вымолвить, во слезахъ слова не обозрить"... Но вотъ—вылетѣло изъ устъ его слово слезное: „Разступися, Мать-Сыра-Земля, на четыре на стороны, прожирай кровь іюдейскую, не давай намъ потопнути во крови во жидовскія!" Совершилось чудо: „по его (Ѳедора) умоленію, по святому упрошенію, разступилась Мать-Сыра-Земля на четыре на стороны, прожрала кровь іюдейскую"... И вотъ,—продолжаетъ сказаніе,—„онъ поѣхалъ младъ человѣкъ Ѳедоръ Тирянинъ ко двору государеву. Увидалъ его батюшка изъ палатъ изъ бѣлыхъ каменныхъ: — Вонъ мое ѣдетъ дитятко, вонъ ѣдетъ мое милое! Онъ ни пьянъ, ни хмѣленъ, да сидитъ-качается, подъ нимъ конь-атъ спотыкается; либъ убитый, подстрѣляный!" Сокрушается царь батюшка, но и его сокруше-

нію—недалекъ добрый конецъ: „Подъѣзжаетъ младъ человѣкъ Ѳедоръ Тирининъ ко двору онъ государеву, стрѣчаетъ его батюшка, а беретъ его батюшка за руцы за бѣлыя, за персини позлаченые, а сажаетъ его батюшка за столы за дубовые, скатерти за браныя, а сваво коня добраго привязалъ ко столбу точеному, ко кольцу позлаченому; онъ пьетъ и ѣстъ, прохлаждается“... Посадивъ побѣдителя-покорителя „силы жидовскія“ за столы за дубовые, сказатель-пѣснопѣвецъ ведетъ слушателей „ко столбу ко точеному“, гдѣ стоитъ боевой конь двѣнадцатилѣтняго богатыря-отрока. „Его (Ѳедора) родимая матушка, его милуючи и добра коня жалѣючи, отвязала отъ кольца позлаченова, повела на синё-море — поить, обмыть кровь іюдейскую и всее кровь жидовскую“...—продолжаетъ сказаніе свою цвѣтистую, краснымъ словомъ щедро пріукрашенную, рѣчь: „А гдѣ ни взялся змѣй огненный, двѣнадцати-крылыхъ-хоботовъ, онъ прожралъ коня добраго, полонилъ его (Ѳедора) матушку и унесъ его матушку во печеры во зміиныя, ко двѣнадцати змѣёнышовъ“... Изъ этого видно, что сказаніе какъ-будто начинаетъ переходить въ сказку. „А гдѣ нѣ взялись два ангела Божіихъ, рекли человѣческимъ да и голосомъ:—А младъ человѣкъ, Ѳедоръ Тирининъ! Ты пьешь и ѣшь, прохлаждаешься, надъ собой бѣды ты нѣ знаешь: твою родимую матушку полонилъ змѣй огненный, пожралъ тваво коня добраго!“ Вѣсть, принесенная ангелами Божіими, поразила отрока-богатыря своей неожиданностью, какъ громъ небесный въ ясный день бѣлый. „Онъ что ѣлъ, что во рту было, осталося; что въ рукахъ было, положилося“, - ведетъ свою стиховную рѣчь народное сказаніе: „онъ сталъ собиратися, плакаючи и рыдаючи, свою збрую сбираючи; онъ поѣхалъ далечими, да во тѣ горы во вертецкія, во тѣ печеры гранадерскія“... Послѣднее слово—явное свидѣтельство постепеннаго искаженія памятниковъ словесной старины. „Подходилъ младъ человѣкъ Ѳедоръ Тирининъ ко синёму ко моречку: не пройти Ѳедору, не проѣхать да и Тирининy“... Но не упалъ духомъ, что ничасъ - могутнѣющимъ, младъ человѣкъ. Какъ и послѣ побоища жидовскаго, „онъ воткнулъ копье во сыру землю, раскрылъ книгу Евангеля. По его умоленію, по святому упрошенію, гдѣ ни взялась Титъ-рыба („Кетръ-рыба“—въ уфимскомъ и оренбургскомъ разносказахъ, „рыба Китъ“—по звенигородскому и рязанскому), а ложилась поперегъ синяго моря, возвѣщуетъ человѣчьимъ голосомъ:—Младъ человѣкъ, Ѳедоръ да Тирининъ! А иди по мнѣ, яко по сырой землѣ!“ Внялъ словамъ Титъ-рыбы царскій сынъ, идетъ—копьемъ упирается, переходитъ море синее. „Подошедши онъ къ пече-

рамъ змiинымъ, а сосутъ его матушку двѣнадцати-и-змѣенышовъ за ея груди бѣлыя. Онъ побилъ-порубилъ всѣхъ двѣнадцать змѣенышовъ, онъ бралъ свою матушку, сажаетъ свою матушку на головку и на темячко, а пошли вовратъ ко синёму морю: подходитъ младъ человѣкъ къ синему морю, переходитъ онъ по Титъ-рыбѣ, яко по сырой землѣ". Но еще не пришло время успокоиться послѣ перенесенныхъ тревогъ, не послѣдними въ молодой жизни были совершонные подвиги богатырскіе у Ѳедора Тиринина—чада милаго царя Констинкина Самойловича. „Увидала его матушка. Ѳедориса-и-Микитишна",—гласитъ пѣсенный сказъ,—„а летитъ змѣй огненный, и летитъ онъ—возвивается". Ужасъ охватилъ сердце богатырской матери сердобольной-чадолюбивой: „А чадо мое милое",—восклицаетъ она, „мы таперь съ тобой погибнули, мы таперь не воскреснули: что летитъ змѣй огненный, двѣнадцати-крылыхъ-хоботовъ!" Но не устрашился двѣнадцати-крылаго змѣя Ѳедоръ Тирининъ: „онъ натягаетъ тугой лукъ, онъ пущаетъ въ змѣя огненнаго, отпоролъ сердце со печеньями. Потопляетъ кровь змѣиная, и доброму молодцу по бѣлу грудь..." Здѣсь сказатель-стихопѣвецъ, по исконному обычаю стародавнихъ былинъ-сказокъ, вдается въ повтореніе. И на этотъ разъ снова сталъ молить-просить Мать-Сыру-Землю о помощи царскій сынъ: воткнулъ онъ копье въ землю, раскрылъ „книгу Евангеля" и воскликнулъ: „О, Господи да Спасъ милосливый! Разступися, Мать-Сыра-Земля, на четыре на стороны, прожри кровь змiинную, не давай намъ погибнути во крови во змiиныя!" Попрежнему вняла Мать-Сыра-Земля его (Ѳедора) слезной мольбѣ: все совершилось—какъ по писаному. Избѣгнувъ бѣды-напасти, пошелъ Ѳедоръ Тирининъ путемъ-дорогою, понесъ свою матушку родимую. Идетъ-несетъ, а самъ слово держитъ къ ней: „А родимая моя матушка! Стоитъ-ли мое хожденіе противъ тваво и рожденія? Стоитъ-ли мое раченіе паче тваво хожденія?" (Въ звенигородскомъ разносказѣ этотъ вопросъ-выкликъ отнесенъ въ самый конецъ сказанія.) Отвѣчаетъ умиленная подвигами любящаго сына „Ѳедориса-и-Микитишна": „О, младъ человѣкъ да Ѳедоръ, да Тирининъ! Стоить и перестоити!" Сказаніе близится къ заключительной части своей. „Онъ (Ѳедоръ) подходитъ ко дворцу государеву",—гласитъ оно: „Увидѣлъ его батюшка изъ палатъ изъ бѣлыхъ каменныхъ, онъ выходитъ царь Констинкинъ Самойловичъ на крыльцо на паратное, закричалъ царь Констинкинъ Самойловичъ своимъ громкимъ голосомъ..." А вотъ и его слова царскія: „Вы, гости мои могучіе, всѣ люди вы и почетные! Вы пойдите во Божью церковь, звоните вы въ колокола благовѣстные, вы служите вы молеб-

ны мѣстные („подымайте иконы мѣстныя, служите молебны честные“—по инымъ разносказамъ), вонъ идетъ мое дитятко, вонъ идетъ мое милое, онъ несетъ свою матушку на головкѣ и на темечкѣ!“ За этими проникнутыми горячей вѣрою въ Бога и неугасимою любовью къ сыну словами слѣдуетъ отвѣтная рѣчь послѣдняго, являющаяся заключительнымъ звеномъ стиховной цѣпи сказанія: „О, родимый ты мой батюшка, царь Констинкинъ Самойловичъ! Не звоните въ колкола благовѣстные, не служите вы молебны мѣстные („Не подымайте иконы мѣстныя, не служите молебны честные!“): поимѣйте вы, православные, перву недѣлю Великаго Поста. Кто поимѣетъ первую недѣлю Великаго Поста, того имя будетъ написано у самого Господа во животныихъ книгахъ!“ („Кто поимѣетъ отца и мать свою мою недѣлю первыю на первой недѣлѣ Поста Великаго, тотъ избавленъ будетъ муки превѣчныя, наслѣдникъ къ небесному царствію!“—по записанному П. И. Якушкинымъ разносказу.) Саларевскій-московскій сказъ кончается словами, собственно говоря, не имѣющими непосредственной связи съ предшествующими: „И славенъ, и прославился, и велико имя Господне его!“ Въ этихъ словахъ явственно слышится позднѣйшее книжное наслоеніе. Гораздо жизненнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ ближе къ простодушному народному первоисточнику славословящій конецъ гжатскаго-смоленскаго разносказа:

„Поемъ славу Ѳедору,
Его слава вовѣкъ не минуется
И во вѣки вѣковъ, помилуй насъ!“

Запечатлѣнная народной памятью столь яркимъ отраженіемъ въ пѣсенныхъ сказаніяхъ слава св. Ѳеодора-Тирона близка сердцу народа-пахаря, перенесшаго на этого угодника Божія многія черты излюбленныхъ богатырей своей родной земли-кормилицы.

Вторая половина февраля-бокогрѣя не такъ богата сказаніями-повѣрьями столько-же суевѣрной, сколько—словоохотливой, посельщины-деревеньщины. Послѣ Ѳедорова дня только и останавливается примѣтливый взглядъ народа-сказателя, что на „Тимоѳеяхъ-весновѣяхъ“ (21-мъ февраля) да на „Прокопѣ-дорогорушителѣ“ (27-мъ днѣ мѣсяца). „Февральскіе Тимоѳеи—весновѣи: какъ ни мети мятелица—все весной повѣваетъ!“, „Прокопъ зимній (память—22-го ноября) дорогу прокопаетъ Прокопъ-перезимній дорогу рушитъ!“—говоритъ деревенскій людъ. Въ обычные годы кончаетъ февральскую пору слывущій „капельникомъ“ св. Василій Исповѣдникъ (28-е число), а

въ тяжелые (високосные) исполняютъ его обязанности развеселые для всѣхъ „комаринскихъ мужиковъ“ народной Руси Касьяны-имянинники—29-е число, день преподобнаго Кассіана Римлянина.

Уйдетъ февраль,—конецъ и необлыжной зимѣ: дальше уже не зима, а позимье („пролѣтье“—въ иныхъ мѣстахъ). „Позимній мѣсяцъ мартъ — февралю-бокогрѣю младшій братъ-Евдокеинъ-плющихинъ (1-го марта) крестникъ!“—приговариваютъ чуткіе къ голосамъ старины сельскіе краснословы, провожаючи проложившіе Веснѣ-Красно́й широкія дороги февральскіе дни перезимніе.

XI.

Срѣтенье.

Срѣтенскіе морозы зачастую еще даютъ деревенскому люду довольно ощутительно знать о томъ, что зима не хочетъ сдаваться веснѣ. Но недаромъ слыветъ Срѣтеніе (2-е февраля) у посельщины-деревеньщины за послѣднюю встрѣчу зимы съ весною—въ ихъ вѣковѣчной неравной борьбѣ. Въ этотъ день, по народной примѣтѣ, зима даетъ отчаянный бой выѣзжающей на солнечную стезю молодой веснѣ: послѣ Срѣтенья бѣжитъ старая на-утекъ, торопится, избѣгая встрѣтиться даже со взглядомъ свѣтлыхъ-пламенныхъ очей своей забирающей все большую и большую силу соперницы,—чуетъ она, лиходѣйка, что теперь не на ея заваленную начинающими осѣдать снѣговыми сугробами улицу праздникъ идетъ!

„Пришелъ мѣсяцъ-бокогрѣй,
Землю-матушку не грѣлъ—
Бокъ коровѣ обогрѣлъ,
И коровѣ, и коню,
И сѣдому старику
Морозу Морозычу...
Ты, Морозко, не серчай,
Изъ деревни убѣгай—
Что за тридевять земель,
Да за тридесять морей!
Тамъ твое хозяйство
Ждетъ тебя—заброшено,
Бѣлымъ снѣгомъ запорóшено,

За ледяными печатями,
За семью желѣзными замками
Да за семью засовами!"—

поется въ старинной простонародной пѣснѣ, и теперь еще кое-гдѣ распѣваемой шумливой деревенскою дѣтворой въ первые февральскіе дни.

Съ кануномъ праздника Срѣтенія Господня связано въ памяти русскаго простолюдина повѣрье, ведущее свое начало изстари вѣковъ и до сихъ поръ сохранившееся во многихъ мѣстностяхъ. Въ этотъ день встарину совершалось въ деревняхъ,—а мѣстами старый обычай и до сихъ поръ соблюдается,—заклинаніе мышей, которыя къ этому времени, истощивъ всѣ свои скудные запасы, подбираются подъ скирды и начинаютъ безпощадно, безданно-безпошлинно, пользоваться чужимъ добромъ—кормиться на крестьянскій счетъ. Заклинаніе трусливыхъ, но опасныхъ болѣе иного храбреца, исконныхъ враговъ пахаря-хлѣбороба сопровождается особой, освященною многовѣковой давностью обрядностью. Призывается свѣдущій старикъ-знахарь, какіе не перевелись до послѣднихъ дней въ деревняхъ. Сначала угощаютъ его честь-честью, по заведенному отцами-дѣдами, а затѣмъ приступаютъ къ огражденію скирдъ и стоговъ отъ „мышеяди". Знахарь вынимаетъ изъ средины заклинаемаго по снопу (или по клоку, если дѣло идетъ о сѣнѣ) со всѣхъ четырехъ сторонъ, „съ четырехъ вѣтровъ", бережно складываетъ все это въ кучу—съ особыми нашептываніями—и несетъ въ избу къ пригласившему его домохозяину. Здѣсь принесенное помѣщается въ чисто-на-чисто выметенную, жарко натопленную передъ тѣмъ, печь и разжигается накаленною до-красна кочергою. Остающаяся послѣ сожженныхъ сноповъ, или клочковъ сѣна, зола тщательно выгребается и переносится на гумно, гдѣ и всыпается въ тѣ мѣста, откуда были вынуты снопы. Домохозяинъ съ женою сопровождаютъ знахаря на гумно съ хлѣбомъ-солью и новымъ холщевымъ полотенцемъ, которыя и поступаютъ по выполненіи обряда въ собственность совершающаго его. А знахарь, всыпавъ золу въ надлежащія мѣста, причитаетъ: „Какъ желѣзо на водѣ тонетъ, такъ и вамъ, гадамъ, сгинуть въ преисподнюю, въ смолу кипучую, въ адъ кромѣшный. Не жить вамъ на бѣломъ свѣтѣ, не видать вамъ травы муровой, не топтать вамъ росы медяной, не ѣсть вамъ бѣлоярой пшеницы, не таскать вамъ золотого ячменя, не грызть вамъ полнотѣлой ржи, не точить вамъ пахнучаго сѣна. Заклинаю васъ, мышей, моимъ крѣпкимъ словомъ на вѣки вѣковъ. Слово мое ничѣмъ же порушится!" Вслѣдъ за произнесеніемъ приведеннаго за-

говора, имѣющаго, по словамъ суевѣрныхъ стариковъ, устрашающую и даже губительную для мышей силу, знахаря снова угощаютъ въ хатѣ, чѣмъ Богъ послалъ, и затѣмъ прощаются съ нимъ, прося не обезсудить „на угощеньи и на отдареньи“.

Старые, свѣдущіе въ примѣтахъ, люди увѣряютъ, что, если съ вечера въ канунъ Срѣтенья небо будетъ усѣяно звѣздами, то и зима еще не скоро „зачнетъ плакать“, и что весна зацвѣтетъ на Руси позднѣе обыкновеннаго. Но большинство примѣтъ о погодѣ связано съ самымъ Срѣтеньевымъ днемъ. Въ „Народномъ дневникѣ“ Сахарова говорится, напримѣръ, что въ Тульской губерніи, послѣ срѣтенскихъ морозовъ, не совѣтуютъ выѣзжать въ дальнюю дорогу на саняхъ, не довѣряя зимѣ. Оттепель, случающаяся на Срѣтеньевъ день, служитъ, по мѣстному повѣрью, предвѣстницею „худой и гнилой весны“. Костромичи-крестьяне не вполнѣ соглашаются съ туляками относительно вліянія срѣтенской оттепели на предстоящую весну: они говорятъ, что, если на Срѣтеньевъ день „отъ воробья стѣна мокра“,—будетъ только ранняя весна. Рязанцы, увѣряющіе, что „всегда на Срѣтенье зима съ лѣтомъ встрѣчается“, наблюдая идущій на этотъ праздникъ снѣгъ, замѣчаютъ коротко, но довольно опредѣленно: „На Срѣтенье снѣжокъ пригонитъ на весну дожжокъ!“ (т.-е.—весна будетъ мокрая). Если-же въ этотъ день мететъ снѣжная заметь, они прибавляютъ къ только-что приведенному другое присловье: „Коли на Срѣтенье мятель дорогу перейметъ, то кормá подберетъ.“ (т.-е. осень-де будетъ поздняя, и корма для животины не хватитъ).

Въ Каширскомъ уѣздѣ, въ тридцатыхъ-сороковыхъ годахъ XIX-го столѣтія, во многихъ деревенскихъ уголкахъ повторялся слѣдующій любопытный разсказъ, подтверждавшій, по словамъ разскащиковъ, основательность повѣрья о томъ, что на Срѣтенье не слѣдуетъ ѣздить въ дальній путь. „Жилъ-былъ когда-то“,—разсказывали словоохотливые каширцы,—„старикъ съ семьею сытно и богато. Было у него всего много, и во всемъ ему была спорина. Наградилъ его Господь дѣтками умными и талантливыми. Чего самъ старикъ не додумаетъ, то дѣтки домыслятъ, а чего дѣтки не съумѣютъ, то отецъ научитъ. Поженилъ старикъ всѣхъ дѣтей въ одинъ день, а, поженивши, задумалъ напоить, накормить всѣхъ сватовъ и сватей, а кормъ для нихъ порядилъ на широкой Масляницѣ. Вотъ и вздумалъ старикъ на промыселъ съѣздить вдаль за рыбою, заработать копѣйку и гостей удоволить. Старикъ все сбирался, ждалъ пути и дороги; глядь-поглядь—и Срѣтенье на дворѣ, а тамъ и Масляница на носу.

И собрался старикъ всей семьею, опричь бабъ и ребятъ, а на поѣздъ снарядилъ семь подводъ. Какъ почуяли бабы про наряду за рыбою, такъ и не вѣсть что вышло. И повоютъ, и поплачутъ бабы вокругъ мужей,—не тутъ-то было! Задумали бабы свои хитрости: и сны-то имъ недобрые снились, и тоска-то на нихъ не къ добру напала, и домовой-то ихъ къ худу давилъ. Извѣстно—бабье дѣло: не спорь съ ними! Нѣтъ-таки, старикъ не слушаетъ бабъ.—Поѣду-таки, поѣду за рыбою, накормлю объ Масляницѣ сватовъ и сватей,—говоритъ онъ имъ. Вѣдь не что сдѣлаешь съ мужикомъ: упрямъ живетъ и отродясь не слушаетъ! Какъ на бѣду, на самое Срѣтенье началась оттепель. Взвыли бабы пуще прежняго отъ лихой примѣты:—Погляди-ко, родимой, на дворъ! Какая стала оттепель! Вѣдь морозы-то минули; подуло съ весны! Не бывать добру, не видать мужей!—голосятъ бабы. Старикъ всетаки думаетъ: поѣду, да поѣду! Вотъ и поѣхалъ старикъ за рыбою на семи подводахъ, а на тѣхъ подводахъ посажалъ сыновей, да и самъ сѣлъ. Ждутъ бабы своихъ мужей недѣлю, а объ нихъ и слуху нѣтъ; ждутъ и другую, никто вѣсти не кажетъ. Вотъ и пестрая недѣля наступила, а родимыхъ все нѣтъ! Подошли и заговѣны, а съ ними и слухи пошли: вотъ тамъ-то мужикъ утонулъ; а тамъ-то двухъ мужиковъ замертво нашли... Воютъ бабы пуще прежняго. Кому Масляница, а бабамъ Великій Постъ! И прослышали бабы о бѣдѣ: на Волгѣ-де ихъ мужья подломались съ подводами. Никто-то не спасся“... Разсказъ кончался не менѣе своеобразнымъ выводомъ: „Вѣстимо дѣло, у того и бѣда на носу виситъ, кто примѣтъ не чтитъ да не слушаетъ старыхъ людей!“

Въ Срѣтенье, на склонѣ дня, незадолго до сумерекъ деревенская дѣтвора, съ отзывчивымъ любопытствомъ прислушивающаяся къ повѣрьямъ старыхъ людей и къ связаннымъ съ ними обычаямъ, собирается гдѣ-нибудь на пригоркѣ, за околицей, и начинаетъ заклинать солнышко, чтобы оно выглянуло „изъ-за горъ-горы“ и показало этимъ, что зима, дѣйствительно, встрѣтилась съ весной. Въ средневолжскихъ губерніяхъ нѣсколькими собирателями изустныхъ памятниковъ народнаго пѣснотворчества записана слѣдующая, пріуроченная къ этому обычаю, вѣющая духомъ старыхъ сказокъ, дѣтская пѣсенка:

„Солнышко-вёдрышко,
Выгляни, красное,
Изъ-за горъ-горы!
Выгляни, солнышко,
До вешней поры!

Видѣло-ль ты, вёдрышко,
Красную весну?
Встрѣтило-ли, красное,
Ты свою сестру?
Видѣло-ли, солнышко,
Старую ягу,
Бабу-ли ягу—
Вѣдьму зиму?
Какъ она, лютая,
Отъ весны ушла,
Отъ красной бѣгла,
Въ мѣшкѣ стужу несла,
Холодъ на землю трясла,
Сама оступилась,
Подъ гору покатилась,
Встрѣтила весну—
Солнцеву сестру"...

Если заклинаемое „солнышко-ведрышко", и въ самомъ дѣлѣ, выглянетъ передъ закатомъ „изъ-за горъ-горы", то веселая гурьба ребятъ приноситъ въ деревню вѣсть объ этомъ, равнозначащую примѣтѣ, что прошли послѣдніе морозы. Если-же красное не обрадуетъ заклинавшей-восхвалявшей его дѣтворы,—это предвѣщаетъ сильные „власьевскіе" (11-го февраля) морозы.

Срѣтенская оттепель напоминаетъ заботливому деревенскому домохозяину о томъ, что время начинать починку лѣтней сбруи,—какъ ѣздовой, такъ и рабочей-пахотной. Для этой работы существуетъ даже особый день, отмѣченный въ изустномъ народномъ дневникѣ прозвищемъ „Починки" (3-е февраля). Въ этотъ день, поднявшись до бѣлой зари, многіе большаки идутъ въ сараи и конюшни—осматривать своихъ лошадей: не напроказилъ-ли чего съ ними Домовой. Существуетъ во многихъ мѣстностяхъ повѣрье, что—если почему-либо „хозяинъ домовитый" недоволенъ, то онъ можетъ въ ночь со Срѣтенья на Починки „заѣздить коня". Въ предотвращеніе такой напасти, еще съ вечера совѣтуютъ суевѣрные старожилы привязывать лошадямъ кнутъ и онучи на шею. Тогда, по словамъ ихъ, Домовой не посмѣетъ тронуть лошади, потому-что будетъ думать, что на ней сидитъ хозяинъ. Чтобы „задобрить Домового", еще за нѣсколько дней до этой опасной ночи хозяйки выставляютъ послѣ ужина на загнетокъ горшокъ каши, обкладывая его горячими угольями. По увѣренію ихъ, умилостивляемый покровитель домашняго очага вы-

лѣзаетъ въ полночь изъ-подъ печки и ужинаетъ. Встарину для усмиренія Домового призывали къ этому времени знахаря-вѣдуна, который – до пѣнія послѣднихъ пѣтуховъ—рѣзалъ на дворѣ кочета и, выпустивъ кровь на вѣникъ, обметалъ имъ всѣ углы въ хатѣ и на дворѣ. Послѣ этого можно было не бояться Домового. Если же его ни смирить, ни умилостивить, то, - говоритъ народъ, –„изъ добраго онъ обернется въ лихого“. А тогда бѣда: „все во дворѣ и въ избѣ пойдетъ на изворотъ, спорина пропадаетъ, скотъ худѣетъ и чахнетъ, люди болѣстямъ поддаются“ и т. д. Въ Тульской губерніи, въ старые годы, въ день „Починокъ“ варилось особое кушанье „саломата“, которою и угощалась вся семья по возвращеньи большака съ осмотра сараевъ и конюшенъ. Тамъ и до сихъ поръ уцѣлѣла еще напоминающая про этотъ обычай старая поговорка: „Пріѣхала саломата на дворъ, разчинай починки!“

Встрѣтитъ деревня Срѣтеньевъ день, справитъ„ Починки“, заплатитъ дань обычаямъ пращуровъ, связаннымъ съ залетающею въ трубы нечистью (см. гл. X), а тамъ и до Власьева дня—рукою подать. А съ этимъ-послѣднимъ связано у русскаго народа столько разнородныхъ, только ему присущихъ, повѣрій и обычаевъ, что—если о нихъ вести сказъ, то - наособицу.

XII.

Власьевъ день.

Одиннадцатый день февраль-мѣсяца, посвященный Православной Церковью чествованію памяти св. мученика Власія [35]) окруженъ въ суевѣрномъ представленіи народа причудливой изгородью обрядовъ, обычаевъ и повѣрій, сложившихся въ незапамятные годы и изукрасившихся къ настоящему времени узорчатой пестрядью послѣдовательныхъ вѣковыхъ наслоеній. Съ этимъ днемъ связана у народа память о древнемъ Велесѣ (Волосѣ)—„скотьемъ богѣ", слившаяся съ именемъ воспоминаемаго святаго, совпадающимъ съ прозвищемъ языческаго божества, которому поклонялись отдаленнѣйшіе предки дышавшаго однимъ дыханіемъ съ природою русскаго пахаря.

По свидѣтельству лѣтописцевъ и бытописателей народной жизни, Велесъ-Волосъ былъ почитаемъ на Руси дольше всѣхъ другихъ языческихъ божествъ, въ особенности—на сѣверѣ. Въ Ростовѣ идолъ его не былъ поверженъ до XII-го вѣка, хотя задолго еще до этого ему не воздавалось уже никакихъ, подобающихъ богу, почестей Ростовское идолище было сокрушено по увѣщанію св. Авраамія Ростовскаго. Въ Кіевѣ же, одновременно съ крещеніемъ св. Владиміра Красна-Солнышка и его дружины, было, по ска-

[35]) Священномученикъ Власій — епископъ севастійскій, родомъ изъ армянскаго города Севастіи, подвизавшійся во времена гоненій Діоклетіана и Лицинія. Гоненія заставили его укрыться въ горахъ Аргоса, гдѣ онъ былъ настигнутъ своими преслѣдователями и обезглавленъ за нежеланіе отречься отъ Христа и поклониться языческимъ богамъ (въ 312-мъ г.). Покровителемъ животныхъ св. Власій считается потому, что—по преданію—благословлялъ и исцѣлялъ звѣрей, приходившихъ къ его пустынному убѣжищу.

занію „Макарьевской Великой Минеи рукописной", совершено сокрушеніе идоловъ Перуна и Велеса („Волоса, его же именоваху скотья бога, повелѣ въ Почайну-рѣку врещи"). Ростовскіе поклонники Велеса обоготворяли въ честь его камень, напоминавшій своимъ видомъ быка съ человѣческимъ ликомъ. Св. Авраамій, сокрушивъ идола, воздвигъ на мѣстѣ его храмъ во имя св. Власія. Въ Авраамьевскомъ монастырѣ, въ числѣ мѣстно-чтимыхъ святынь, хранился еще въ 30—40-хъ годахъ XIX столѣтія шестиконечный крестъ, въ рукахъ съ которымъ святитель повергъ идола на-земь. Надпись на немъ гласила: „Сей крестъ, во градѣ Ростовѣ въ Авраміевѣ монастырѣ св. Іоанномъ Богословомъ данъ преподобному Аврамію побѣдити ідола Велеса". Въ Переяславлѣ-Залѣсскомъ такой-же, какъ и въ Ростовѣ, идолъ-камень существовалъ,—не вызывая собою, впрочемъ, даже и воспоминаній о древнемъ божествѣ,—вплоть до царствованія Василія Ивановича Шуйскаго. Въ Новгородѣ долго была особая Волосова улица, на которой, по преданію, стоялъ встарину идолъ Велеса.

Древнеславянскія сказанія о богахъ, называя Велеса пастыремъ небесныхъ стадъ, отождествляютъ его съ мѣсяцемъ (небесныя стада—звѣздная розсыпь). Загадка „Поле не мѣряно, овцы не считаны, пастухъ рогатый" относится непосредственно къ этому отождествленію. Сходя на землю, по вѣрованію нашихъ пращуровъ, Велесъ принималъ видъ быка, хотя бывали случаи, когда онъ, по старинному преданію, странствовалъ между вѣровавшими въ него людьми и въ человѣческомъ образѣ. Богопочитаніе Велеса являлось въ древней Руси однимъ изъ наиболѣе важныхъ въ языческомъ обиходѣ: именемъ богапокровителя стадъ клялись наравнѣ съ громовержцемъ-Перуномъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ государственные договоры и лѣтописныя сказанія. Какъ богъ-пастырь, Велесъ считался и покровителемъ пѣснотворчества. Въ „Словѣ о полку Игоревѣ" [36]) баянъ такъ и называется „Велесовымъ внукомъ". Такимъ образомъ, ему на славянскомъ Олимпѣ приписывались нѣкоторыя свойства Аполлона древней Греціи и нѣкоторыя—Пана, своеобразно объединенныя въ нѣчто цѣльное. Изъ блаженной страны небесныхъ равнинъ, омываемыхъ водами облачнаго моря-окіяна, Велесъ наблюдалъ недреманнымъ окомъ за земными пастбищами, охраняя стада, пасущіяся на

[36]) „Слово о полку Игоревѣ"—единственный литературный поэтическій памятникъ XII-го столѣтія. Безвѣстный авторъ „Слова" воспѣваетъ неудачный походъ Игоря Святославича, князя сѣверскаго, на половцевъ (1188 г.). Этотъ памятникъ найденъ въ концѣ XVIII-го вѣка графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ и впервые изданъ имъ въ 1800-мъ году.

послѣднихъ, ото всякой бѣды-напасти и вызывая этимъ благоговѣйное отношеніе къ себѣ со стороны скотоводовъ, особенно охотно приносившихъ ему жертвы.

Совпаденіе имени христіанскаго святого съ языческимъ богомъ дало прямой поводъ къ сліянію ихъ обоихъ воедино. Отцы новорожденной русской Церкви не противились этому, видя въ томъ даже нѣкоторый залогъ скорѣйшаго преданія боговъ языческихъ забвенію. Такимъ образомъ, къ св. Власію перешло покровительство стадъ. До сихъ поръ на Руси повсемѣстно молятъ св. угодника,—не только въ день, посвященный его памяти, но и во всякое иное время,—о защитѣ ихъ. Существуютъ даже иконы, на которыхъ онъ изображенъ окруженнымъ коровами и овцами—подобно тому, какъ святые Флоръ и Лавръ пишутся съ лошадьми подлѣ себя. Въ коровникахъ и въ хлѣвахъ нерѣдко можно встрѣтить въ деревенской глуши иконы св. Власія. На крестныхъ ходахъ во время скотскихъ падежей впереди всѣхъ другихъ особо чтимыхъ святынь поднимается богоносцами икона этого угодника Божія.

11-го февраля повсемѣстно служатся власьевскіе молебны,—причемъ во многихъ селахъ сохранился обычай пригонять рогатый скотъ къ церковной оградѣ ко времени служенія этихъ молебновъ, чтобы его можно было окропить святой водою. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ приносятъ въ церковь на Власьевъ день свѣжее коровье масло и ставятъ въ новой посудинѣ подъ икону чествуемаго святого. Это масло въ Вологодской, Новгородской и другихъ сосѣднихъ губерніяхъ такъ и зовется „воложнымъ“, „волоснымъ“ или „власьевымъ“. Оно поступаетъ въ пользу церкви и причта. Отсюда ведется поговорка: „У Власія—и борода въ маслѣ“. Послѣ окропленія святой водою, скотъ гонятъ по дворамъ, причемъ старухи, идя за своими коровами, причитаютъ: „Святой Власій! Будь счастливъ на гладкихъ телушекъ, на толстыхъ бычковъ! Чтобы со двора шли—играли, а съ поля шли—скакали!“

Встарину по всему богатому пастбищами заселью,—а теперь только въ захолустной глуши,—на Власьевъ день устраивались по селамъ скотскіе торги-базары. Суевѣрное воображеніе подсказывало какъ продавцамъ, такъ и покупателямъ, что—подъ защитой умилостивленнаго молебствіями покровителя стадъ—всего выгоднѣе совершать куплю-продажу скота. „Власій—не обманетъ, отъ всякой прорухи упасетъ!“—говаривали торгаши, умасливая покупателя, прижимистаго на добытую потовымъ трудомъ деньгу. При сдѣлкахъ клялись-божились на Власьевомъ торгу непремѣнно именемъ

этого святого, и такая клятва почиталась за самую крѣпкую,—немного выискивалось людей, которые рѣшились-бы покривить душою, поклявшись такъ въ этотъ день. Разгнѣванный клятвопреступникомъ покровитель, по народному вѣрованію, отступается отъ него навсегда, предоставляя всякимъ лихимъ силамъ опутывать того всевозможными навожденіями.

Во многихъ мѣстностяхъ, еще на памяти старожиловъ, въ день св. Власія, рано поутру (до обѣдни), совершался обрядъ опахиванія деревни—въ огражденіе отъ Коровьей Смерти. Иногда это, впрочемъ, производилось поздней осенью; но въ большинствѣ случаевъ обрядъ пріурочивался къ 11-му февраля. Съ самаго Срѣтенья бродитъ, по народному повѣрью, это страшное для скотовода чудище по задворкамъ. Пятаго февраля оно осмѣливается даже заглядывать во дворы, и бѣда тѣмъ дворамъ, гдѣ найдется въ эту пору незапертый хлѣвъ, да гдѣ съ осени не „опахана“ деревня Власьевъ день—и такъ грозенъ для чудища болѣе всего на свѣтѣ; но еще грознѣе онъ, если въ этотъ день соберется деревня, по старому обычаю, „унять лихость коровью“! Это униманіе производилось по особому, соблюдавшемуся съ незапамятныхъ временъ обряду. Наканунѣ съ вечера начинала обѣгать всѣ подоконья старая старуха „повѣщалка“, созывавшая бабъ на заранѣе условленное дѣло. Собиравшіяся идти за нею, въ знакъ согласія, умывали руки, вытирая ихъ принесеннымъ повѣщалкой полотенцемъ. Мужики—отъ мала до велика—должны были во время совершенія обряда сидѣть по избамъ („не выходить ради бѣды великой“). Наступалъ завѣтный часъ—полночь. Баба-повѣщалка въ надѣтой поверхъ шубы рубахѣ выходила къ околицѣ и била-колотила въ сковороду. На шумъ собирались одна за другою готовыя уже къ этому женщины—съ ухватами, кочергами, помелами косами, серпами, а тои просто съ увѣсистыми дубинами въ, рукахъ. Скотина давно вся была заперта крѣпко-накрѣпко по хлѣвамъ, собаки—на привязи. Къ околицѣ притаскивалась соха, въ которую и запрягали повѣщалку. Зажигались пучки лучины, и начиналось шествіе вокругъ деревни. Послѣдняя троекратно опахивалась „межеводной бороздою“. Для устрашенія чудища, способнаго, по словамъ свѣдущихъ въ подобныхъ дѣлахъ людей, проглатывать коровъ цѣлыми десятками сразу, въ это время производился страшный шумъ: кто—чѣмъ и во что гораздъ,—причемъ произносились различныя заклинанія и пѣлись особыя, пріуроченныя къ случаю, пѣсни. Вотъ одна изъ нихъ: „Отъ окіянъ-моря глубокаго, отъ луко-

морья зеленаго выходили дванадесять дѣвъ. Шли путемъ, дорогой немалою, ко крутымъ горамъ высокіимъ, ко тремъ старцамъ старыимъ. Молились, печаловались, просили въ упросъ дванадесять дѣвъ:—Ой, вы, старцы старые! Ставьте столы бѣлодубовые, стелите скатерти браныя, точите ножи булатные, зажигайте котлы кипучіе, колите рубите на́мертво всякъ животъ поднебесной! —И клали великъ обѣтъ дванадесять дѣвъ: про животъ, про смерть, про весь родъ человѣчъ. Въ ту пору старцы старые ставятъ столы бѣлодубовые, стелятъ скатерти браныя, колятъ-рубятъ намертво всякъ животъ поднебесной. На крутой горѣ высокой кипятъ котлы кипучіе, во тѣхъ котлахъ кипучіихъ горитъ огнемъ негасимыимъ всякъ животъ поднебесной. Вокругъ котловъ кипучіихъ стоятъ старцы старые, поютъ старцы старые про животъ, про смерть, про весь родъ человѣчъ. Кладутъ старцы старые на животъ обѣтъ великъ, сулятъ старцы старые всему міру животы долгіе; какъ на ту-ли злую смерть кладутъ старцы старые проклятьице великое. Сулятъ старцы старые вѣковѣчну жизнь по весь родъ человѣчъ...“ Допѣвъ эту пѣсню и совершивъ все, предписанное пережившимъ вѣка обрядовымъ обычаемъ, всѣ расходились по дворамъ, съ крѣпкой надеждою на то, что страшное для скотоводовъ чудище не осмѣлится переступить за межеводную борозду.

Въ первомъ томѣ „Поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу“ помѣщена, въ качествѣ грознаго заклятія на Коровью Смерть, другая, болѣе близко подходящая къ этому случаю пѣсня, которая сохранилась и до сихъ поръ повсюду, гдѣ даже никогда уже и не вспоминаютъ про обрядъ [illegible]нья, въ то время какъ приведенное выше пѣсенное заклинаніе давно успѣло отойти въ область преданій [illegible] прошлаго.

„Смерть, ты Коровья Смерть!
Выходи изъ нашего села,
Изъ закутья, изъ двора!
Въ нашемъ селѣ
Ходитъ Власій святой
Со ладономъ, со свѣчой,
Со горячей золой,
Мы тебя огнемъ сожжемъ,
Кочергой загребемъ,
Помеломъ заметемъ,
И по́пеломъ забьемъ!
Не ходи въ наше село,
Чуръ нашихъ коровушекъ,

Чуръ нашихъ буренушекъ,
Рыжихъ, лысыхъ,
Бѣловымьихъ,
Криворогихъ,
Однороги-ихъ!"

Если при совершеніи опахиванья попадалось навстрѣчу какое-нибудь животное (собака, или другое), то на него накидывались всей толпою, гнались за нимъ и старались убить. Повѣрье гласило, что это попалось само чудище, обернувшееся въ животное, чтобы пробраться за деревенскую околицу. Въ старинныхъ сказаніяхъ ведется рѣчь о томъ даже, что совершавшія обрядъ не давали пощады и встрѣчному человѣку; но это не подтверждается лѣтописными данными, такъ что вѣрнѣе всего можетъ быть отнесено къ досужимъ измышленіямъ старины, которая сама окрестила сказку прозвищемъ „складки", противоставивъ ей „пѣсню-б ы л ь".

Есть въ верхневолжскихъ и сосѣднихъ съ ними губерніяхъ деревни, гдѣ утромъ на Власьевъ день, съ особыми, къ сожалѣнію—не записанными, причетами завиваютъ изъ соломы „закруту" („Власію, или—Волоткѣ, на бородку"), смазываютъ ее скоромнымъ масломъ и вѣшаютъ въ коровникѣ или въ овечьемъ хлѣвѣ. Этотъ обычай ведется-соблюдается съ давнихъ поръ, и начало его слѣдуетъ искать все въ тѣхъ-же вѣрованіяхъ, окружавшихъ нѣкогда память Велеса—скотьяго бога, которымъ клялись воины Олега [37]) на царьградскомъ договорѣ о дружбѣ съ греками—послѣ того какъ воинственный князь прибилъ свой щитъ „на вратахъ Цареграда".

Власьевскіе морозы считаются на деревенской Руси послѣдними (одни изъ семи крутыхъ утренниковъ). Наблюдающіе

[37]) О л е г ъ—второй князь русскій, наслѣдовавшій Рюрику (въ 879-мъ г.) въ качествѣ старшаго въ родѣ и опекуна надъ малолѣтнимъ сыномъ его, Игоремъ. Новгородскіе предѣлы показались тѣсны ему—и онъ, съ сильной дружиною изъ варяговъ, новгородцевъ, мери, веси и кривичей, двинулся въ походъ на другія славянскія земли: прежде всего занялъ Смоленскъ, за нимъ—Любечъ (городъ сѣверянъ) и Кіевъ, гдѣ въ то время были свои князья Аскольдъ и Диръ. Въ Кіевѣ онъ и остался княжить. Въ 883-мъ году были покорены имъ древляне, за ними—сѣверяне, радимичи, поляне и другія племена. 20 лѣтъ велись эти походы, прославившіе смѣлаго воителя. Наконецъ, во главѣ несмѣтныхъ дружинъ изо всѣхъ покоренныхъ народовъ (по словамъ лѣтописи—до 80.000 чел. на 2000 ладьяхъ) онъ пошелъ на грековъ (въ 907-мъ г.) и осадилъ Константинополь. Осада кончилась торжествомъ русскаго князя: императоры византійскіе Левъ и Александръ приняли всѣ условія, поставленныя ему Олеговыми послами, и князь съ богатыми дарами и договоромъ вернулся въ свой Кіевъ. Современники прозвали его Вѣщимъ, очевидно приписывая его счастливые походы волхвованію. Это прозвище удержалось за нимъ и въ потомствѣ. Умеръ Олегъ въ 912-мъ году; ему наслѣдовалъ Игорь.

за перемѣнами погоды примѣтливые люди говорятъ: „Власьевскіе утренники подойдутъ—держи ухо востро!“, нерѣдко прибавляя къ этому: „Объ ину пору морозъ обожжетъ на Власья до слезъ!“ Въ изустномъ народномъ дневникѣ, хранителями котораго являются эти погодовѣды, существуетъ прямое указаніе на то, что „три утренника до Власія да три послѣ Власія, а седьмой на день Власія“. Святой покровитель стадъ мѣстами такъ и зовется „Власій—сшиби рогъ съ зимы“.

Крестьянская дѣтвора помнитъ о Власьевѣ днѣ по сдобнымъ молочнымъ пышкамъ, которыя пекутся въ этотъ „коровій праздникъ“ въ память покровителя стадъ. Хорошая да заботливая, охочая до гостей хозяюшка напечетъ пышекъ всегда столько, что хватитъ не только всѣхъ ребятъ досыта накормить-налакомить, а и нищую братію на паперти одѣлить, чтобы та молила угодника Божія, „святого пастыря“, о защитѣ двора подающей „власьеву милостыню“ ото всякой напасти. Одну пышку берегутъ на божницѣ до новаго Власьева дня, такъ какъ это является, по словамъ старыхъ людей, лѣкарствомъ отъ скотской болѣсти: стоитъ-де только покрошить ея въ мѣсиво, да, съ молитвою ко Власію, дать больной животинѣ—все какъ рукой сниметъ! „Не нами заведено, не нами и кончится!“—говоритъ деревня объ этомъ повѣрьи: —„Старые люди Богу лучше насъ вѣрили, а и тѣ намъ заповѣдали—блюсти Власьеву пышку на всякую бѣду, на всякій, упаси, Господи, случай!“

Сшибетъ Власій рогъ зимѣ, обожжетъ Власьевъ утренникъ зазѣвавшагося мужика до слезъ. А тамъ—и „окличка“ на дворѣ стоитъ, пора окликать звѣзды. Мало, гдѣ уцѣлѣлъ этотъ обычай, а тоже велся онъ на Руси съ пращуровыхъ дней. „Окликали звѣзды“ или на другой день послѣ Власія, или черезъ трое сутокъ (15-го февраля). Дѣлалось это „для плодородія овецъ“. Ввечеру, по приглашенію овцевода, выходилъ пастухъ-овчарь за околицу; клали они оба по три низкихъ поклона на всѣ четыре стороны свѣта бѣлаго. Пастухъ, истово помолившись святому Власію—„пастырю стадъ небесныхъ и защитнику земныхъ“, становился на разбросанную у околицы овечью шерсть и произносилъ особую „окличку“. Вотъ сохранившаяся у собирателей старины стародавней запись ея: „Засвѣтись, звѣзда ясная, по-подъ небесью на радость міру крещоному! Загорись огнемъ негасимымъ на утѣху православнымъ! Ты заглянь, звѣзда ясная, на дворъ къ рабу (имя рекъ). Ты освяти, звѣзда ясная, огнемъ негасимымъ бѣлоярыхъ овецъ у раба (имя рекъ). Какъ по-подъ небесью звѣздамъ нѣсть числа, такъ у раба (имя рекъ) уродилось бы

овецъ болѣй того!“ Вслѣдъ за этимъ, хозяинъ, приглашавшій пастуха на окличку, велъ его въ избу, угощалъ чѣмъ Богъ послалъ, подносилъ вина, надѣлялъ—чѣмъ ни на есть, чтобы тому не съ пустыми руками за порогъ уйти.

Въ Рязанской, Тульской, Орловской и Владимірской губерніяхъ блюлся встарину по селамъ обычай - выставлять на три утреннихъ зорьки послѣ Власьева дня всякія сѣмена на морозъ, а потомъ подмѣшивать имъ въ мѣру при будущемъ посѣвѣ. Это называлось „дѣлать сѣменное“ и дѣлалось—въ надеждѣ на обильный урожай. Такимъ образомъ, покровительству св. Власія до нѣкоторой степени поручался не только скотъ домашній, а и будущій его кормъ. Радѣльныя-заботливыя хозяйки, заканчивая ко Власьеву дню пряжу льна и кудели, отбирали лучшій изо всей пряжи мотокъ и выставляли его на первую послѣ Власія утреннюю зорьку на морозъ. Отъ этого,—гласитъ преданіе, вся пряжа дѣлается ровнѣе, бѣлѣе, тоньше и добротнѣе. „Позорнишь пряжу послѣ Власія,—будешь съ деньгами на Масляну!“—говорится въ старой поговоркѣ деревенской (т.-е. выгодно продашь прядево): „Власій уйдетъ. масло на дорогу прольетъ“... А широкая Масляница—не заставитъ себя долго ждать послѣ Власьева дня, если не вздумается ей—веселой затѣйницѣ—самой объ иной годъ опередить его.

XIII.

Честная госпожа Масляница.

Самымъ веселымъ, или—вѣрнѣе—разгульнымъ, народнымъ праздникомъ съ незапамятныхъ поръ на Руси слыла Масляница, совпадающая съ такъ называемой „сырною недѣлею“ (или „мясопустомъ“) православнаго мѣсяцеслова. Сама природа къ этому времени принимается ликовать, какъ-бы предчувствуя приближеніе Весны-Красной и скорую гибель Морены-зимы, внесшей въ ея свѣтлое царство оцѣпенѣніе смерти. Солнышко начинаетъ пригрѣвать въ полуденную пору совсѣмъ по-весеннему: и оно словно тѣшится-играетъ, заставляя плакать бѣлые снѣга слезами горючими, а зябкій—хотя и привычный къ морозу—людъ деревенскій радоваться, да чествовать госпожу Масляницу—широкую, веселую да затѣйливую.

И въ наши дни еще говорятъ въ народѣ вмѣсто „широкоживешь“—„масляно ѣшь“, а о веселой да привольной жизни отзываются: „не житье, а Масляница“...—„Что выше неба, что шире Масляницы?“, „О масляной—недѣлю пируешь, семь опохмѣляешься!“, „Пили на Масляницѣ, съ похмѣлья ломало на Радоницу!“. Вотъ какими многозначительными поговорками-прибаутками еще и теперь величаетъ деревенская-посельская Русь честну́ю госпожу Масляницу—семикову племянницу, тридцати братьевъ сестрицу, сорока бабушекъ внучку, трехматерину дочку. Она до сихъ поръ остается однимъ изъ любимѣйшихъ праздниковъ русскаго народа, удалому размаху котораго открывается такой просторъ въ живучихъ обрядахъ и обычаяхъ старины стародавней, связанныхъ съ этою, предшествующей строгому воздержанію, безпутной—„соромной“, по словамъ старыхъ людей, недѣлею.

Не такъ смотрятъ на эту веселуху-забавницу дѣвушки красныя съ парнями молодыми. Не видятъ ни тѣ, ни другіе въ ней ровно никакого „со́рома".

„Наша Масляница годовая,
Наша Масляница годовая,
Она гостійка дорогая,
Она гостійка дорогая!
Она пѣшою не ходить!
Она пѣшою на ходить,—
Всё на ко̀няхъ разъѣзжаить,
Всё на ко̀няхъ разъѣзжаить.
Кони-коники вороные,
Слуги, слуги всё молодые...
Здравствуй, Масляница!
Здравствуй, Масляница!"

Такими пѣснями встрѣчаетъ-величаетъ широкую Масляницу надѣющаяся еще успѣть попоститься на своемъ вѣку беззаботная молодежь.

Масляница приходится какъ-разъ на ту пору зимы, когда побѣда животворящихъ силъ природы надъ смертоносной мощью мрака и холода становится все ощутительнѣе: стоятъ оттепели, съ крышъ льетъ капѣль, день подростаетъ все замѣтнѣе. Во мракѣ вѣковъ этотъ праздникъ и возникъ въ видѣ тризны по умершей зимѣ-стужѣ и радостныхъ игрищъ въ ознаменованіе воскресенія свѣта-тепла весенняго. Убѣгало наводившее страхъ на все живое и жаждущее жизни чудище Морана, и бѣгство его было равносильно смерти вплоть до новой зимы. Появлялось, словно возрождалось къ новой жизни, свѣтлое божество весенняго плодородія земли—веселая красавица Лада. И шла красавица, озаряя Русь своимъ разгульнымъ весельемъ, шла-ѣхала на поиски дремавшаго гдѣ-нибудь въ глубокихъ снѣгахъ, усыпленнаго-зачарованнаго Мораною, своего возлюбленнаго, Леля (божество, связанное благотворной для земли дѣятельностью съ мѣсяцемъ маемъ). Богатое воображеніе народа окружало красавицу Ладу многочисленными веселыми, добрыми и разгульными спутниками полубожественнаго, полусмертнаго происхожденія, а злую Морану—духами тьмы, холода и всякаго лиха. Шли за вѣками вѣка, оставлявшіе языческія сказанія о богахъ въ затуманенной новою жизнью дали; и мало-по-малу красавица-богиня, вѣстница весны и любви, Лада превращалась въ Масляницу, объединившую въ себѣ нѣсколько потерявшее уже первоначальную окраску понятіе о ней и ея спутникахъ. Заклятой врагъ ея, Морана,

также растеряла по многовѣковой путинѣ свою свиту; но сама она осталась до послѣдняго времени во всей своей неприкосновенности.

Языческая тризна по ненавистной зимѣ-Моранѣ была, вмѣстѣ съ тѣмъ, на Руси и тризною по всѣмъ „прежде почившимъ“. Масляная недѣля связана и теперь, до нѣкоторой степени, съ поминовеніемъ по родителямъ,—что особенно ярко выражается въ обычаѣ печь въ это время блины, являющіеся необходимой принадлежностью поминокъ. „Первая оттепель—вздохнули родители!“—говаривалъ народъ и приготовлялся ко встрѣчѣ виновницы облегченія ихъ участи, все той-же Лады (Масляницы). Съ приготовленіемъ блиновъ на Масляницѣ соединены въ народной Руси до сихъ поръ не изгладившіяся изъ памяти повѣрья. Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ первый испеченый масляничный блинъ кладутъ на слуховое оконце—„для родителей“. Старыя старухи даже такъ и приговариваютъ, соблюдая обычай: „Честны́е наши родители! Вотъ—для вашей душки блинокъ!“ Но еще до этого самая опара блинная затѣвается съ выполненіемъ особыхъ завѣтовъ суевѣрной старины. „Мѣсяцъ, ты мѣсяцъ,—причитаютъ съ вечера домовитыя хозяйки-стряпухи, золотые свои рожки! Выглянь въ окошко, подуй на опару!“ Кто не забудетъ сказать это, у того,—говорятъ на деревнѣ,—и блины выйдутъ рыхлые да бѣлые: не блины, а объѣденье! Приготовленіе первой опары держится стряпухою въ тайнѣ отъ домашнихъ: не то—всю недѣлю не будетъ ей давать покоя тоска-докука.

Въ старые годы встрѣча Масляницы совершалась весьма торжественно. Начинали-почипали ее ребята. Съ первымъ проблескомъ зорьки высыпали они толпою строить снѣжныя горы. Краснѣе всѣхъ изъ нихъ говорившій еще заранѣе выучивалъ со словъ старой бабки „причетъ къ широкой боярынѣ“:—„Душа-ль ты моя Масляница, перепелиныя косточки, бумажное твое тѣльце, сахарныя твои уста, сладкая твоя рѣчь! Пріѣзжай къ намъ въ гости на широкъ дворъ на горахъ покататься, въ блинахъ поваляться, сердцемъ потѣшаться. Ужъ ты-ль, моя Масляница, касаточка, ласточка, ты же моя перепелочка! Пріѣзжай въ тесовой домъ душой потѣшиться, умомъ повеселиться, рѣчью насладиться!.. Выѣзжала честная Масляница, широкая боярыня, на семидесяти семи саняхъ козырныхъ, во широкой лодочкѣ во великъ городъ пировать, душой потѣшиться, умомъ повеселиться, рѣчью насладиться. Какъ навстрѣчу Масляницѣ выѣзжалъ честной Семикъ на салазочкахъ, въ однѣхъ портяночкахъ, безъ лапотокъ. Пріѣзжала честная Масляница къ Семику, широкая боярыня, во

дворъ. Ей-то Семикъ бьетъ челомъ,—бьетъ челомъ, кланяется, зоветъ во тесовой теремъ, за дубовый столъ, къ зелену вину!..“ Къ концу причета горы были готовы, а кстати—дома и блины начинали плясать въ горшкѣ съ опарою, просясь на сковороды, а тамъ—и къ православнымъ въ ротъ. „Пріѣхала Масляница, пріѣхала!“—кричали ребята, разбѣгаясь по домамъ. Ѣлъ блиновъ вволю людъ честной. А потомъ—съ пѣснями, съ пляскою—носили и возили по улицамъ дерево, причудливо изукрашенное бубенцами, колокольчиками да яркими лоскутьями. Послѣ этого возили „Масляницу“, почему-то изъ красавицы-богини превратившуюся въ наряженнаго бабою мужика, увѣшаннаго березовыми вѣниками и съ балалайкой въ рукѣ. Снаряжался цѣлый поѣздъ. Впереди него мчались расписныя сани (а въ иныхъ мѣстахъ—лодка на полозьяхъ), запряженные „гусемъ“ въ 10—20 лошадей: на каждой лошади сидѣло по вершнику съ метлой въ рукахъ. Мужикъ-Масляница, кромѣ балалайки, державъ время отъ времени штофъ съ „государевымъ виномъ“, помимо него иногда прикладываясь и къ бочонку съ пивомъ, стоявшему подлѣ о-бокъ съ „блиннымъ коробомъ“. За первыми санями слѣдовала вереница другихъ, переполненныхъ нарядными парнями, дѣвицами и ребятами. Стоявшій въ воздухѣ перезвонъ бубенцовъ-погремушекъ смѣшивался съ задорнымъ треньканьемъ балалаекъ и пѣснями. Изо всѣхъ домовъ высыпалъ народъ, бѣжавшій слѣдомъ за веселымъ поѣздомъ. Передніе сани назывались „кораблемъ“,—почему въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ изукрашивались воткнутыми метлами съ привязанными къ нимъ полотенцами, долженствовавшими изображать мачты съ парусами. „Встрѣча“ происходила въ понедѣльникъ. Вторникъ звался „заигрышами“, и въ этотъ день начинали собираться масляничныя игрища, не знавшія, что называется, ни ладу, ни удержу. Улицы оживлялись толпами бродячихъ скомороховъ, въ изобиліи чествуемыхъ за свою потѣху веселую блинами масляными со всякимъ припекомъ, съ пивомъ да съ брагой. Недаромъ сложилось присловье старое: „Масляница-блинница—скоморошья радѣльница!“ За скоморошьей потѣхою выходила протореной дорожкою на деревенскую Русь и утѣха гуслярная—во образѣ и теперь кое-гдѣ пѣшествующихъ старцевъ-гусляровъ, сказателей и пѣснопѣвцевъ. Устраивались-становились повсюду качели („дѣвичья потѣха“), воздвигались „снѣжные городки“. Эти городки олицетворяли собою укромный пріютъ чудища-зимы и въ субботу на масляной недѣлѣ разбивались, для чего играющіе раздѣлялись на двѣ партіи—осаждаемыхъ и осаждающихъ—и вели войну, кончавшуюся разгромомъ „городка“.

Вмѣсто осады послѣдняго, иногда устраивался—въ глуши и до сихъ поръ не вышедшій изъ обычая—кулачный бой, составлявшій съ незапамятныхъ дней одну изъ любимыхъ потѣхъ русскаго народа, создавшаго даже былиннаго воплотителя этой удали—Василья Буслаева. Шли „стѣнка—на стѣнку", доставляя этимъ не мало удовольствія зрителямъ, а самимъ-себѣ причиняя иногда и совсѣмъ невеселыя послѣдствія—въ-родѣ переломленныхъ реберъ и выбитыхъ зубовъ. Но все это какъ-то сходило („что съ гуся—вода") на веселой недѣлѣ,—словно залѣчивалось, подъ звонкія пѣсни, усиленнымъ блиноядѣніемъ и пивопійствомъ.

Наставала масляная середа. Въ этотъ день людъ честной, послѣ разудалыхъ „заигрышей", начиналъ во всю лакомиться масляничными яствами; оттого-то и звалась эта середа „лакомкою". Въ четвергъ повсемѣстно—„запивались блины", шелъ самый широкій разгулъ,—откуда и названіе этого дня: „разгуляй-четвертокъ", или „широкій четвергъ". Пятница слыла, да и теперь слыветъ, подъ именемъ „тещиныхъ вечорокъ"; въ этотъ день полагается зятьямъ навѣщать тещъ; суббота зовется „золовкиными посидѣлками" (невѣстки приглашаютъ къ себѣ золовокъ). Оба эти дня посвящены въ народѣ хожденію по роднѣ. Воскресенье, послѣдній день масляницы, носитъ нѣсколько именъ: „проводы", „прощанье", „цѣловникъ" и „прощоный день"; на него, между прочимъ, въ обычаѣ ѣздить отдаривать кума съ кумой.

Проходилъ „прощоный день"—послѣ него и „честная госпожа" уходила, уносила съ лица Земли Русской до будущаго года и свои перепелиныя косточки, и свое бумажное тѣльце, и сахарныя уста,—съ рѣчами сладкими-медовыми. Русая коса, красная краса, со всей ея повадкой повадливою, оставалась только въ воспоминаніи, не выходившемъ изъ головы, однако, у иныхъ весельчаковъ,—какъ видно изъ крылатыхъ присловій простодушной народной мудрости,—вплоть до самой Радоницы. Широкая боярыня давала себя знать предкамъ современнаго русскаго пахаря-деревеньщины! „Масляница объѣдуха, денегъ приберуха",—говаривали они, добавляя въ часъ широкаго размаха веселости: „Хоть себя заложить, да Масляну проводить!" Зазорно хлѣбосольной русской душѣ слышать молвь сосѣдей о томъ, „что была-де у двора Масляна, да въ избу не взошла".

„Мы Масляницу сострѣчали, мы Масляницу сострѣчали, люли-люли, сострѣчали, гоголёкъ, гоголечикъ!" — разливается еще и въ наши дни величающая трехматерину дочку старая пѣсня: „На горушки не бывали, сыромъ гору набивали. На-

ши горушки катливы, наши дѣвушки игривы, молодушки веселыя; стары бабушки воркотливы: ены на печки сидять, на насъ воркотять. Вы, бабушки, не ворчите! Дайте Масляницу намъ прогулять, съ ребятами поиграть, съ ребятами, со холостыми, со холостыми не женатыми, люли-люли, не женатыми,—гоголекъ, гоголёчикъ!"

Цѣлую недѣлю пѣла-плясала, ѣла-пила, другъ по дружкѣ въ гости хаживала крещоная матушка-Русь, съ горъ каталась, въ блинахъ валялась, въ маслѣ купалась. Но „не все коту масляница": на восьмой день наступали проводы. На этихъ-послѣднихъ сожигалась зима-Морана. За околицы деревень и селъ, за городскія заставы вывозили-выносили безобразное чучело чудища и, возложивъ на соломенный костеръ, сожигали подъ пѣсни молодежи, устраивавшей на мѣстѣ казни поминальную игрушку. Пиво хмѣльное, вино пьяное лились здѣсь въ изобиліи, словно олицетворяя собою всеоживляющій, опьяняющій нѣдра земныя, дождь. Были мѣстности, гдѣ сожигалось не чучело, а расписанное изображеніями „темной силы" колесо; въ иныхъ—ставили при пути-дорогѣ шесты съ навязанными на нихъ пучками соломы и поджигали. Предавалась пламени и ледяная гора, заваленная хворостомъ и соломою. Справивъ всѣ эти, предписанные суевѣрной стариною, обряды, народъ расходился по домамъ. Здѣсь начиналось „прощанье", повсюду уцѣлѣвшее и до настоящаго времени. Просили прощенья и обоюдно прощали родные, знакомые и всѣ первые встрѣчные. Такимъ образомъ масляничный разгулъ завершался обрядомъ чисто христіанскаго свойства, хотя начало его также коренится въ сокровенныхъ тайникахъ древнеславянскаго язычества. Обрядъ этотъ общеизвѣстенъ и съ XVII-го столѣтія измѣнился очень мало. „Прощоный день" соединялъ въ себѣ еще и поминки по родителямъ. Празднованіе Масляницы („семиковой племянницы"), ведущей за собою Великій Постъ, не ограничивалось встарину, однако, только этимъ. Къ разгульному веселью присоединялись, шли рука объ-руку съ нимъ, и дѣла милосердія. Такъ, напримѣръ, устраивалось о Масляницѣ кормленіе нищихъ и убогихъ.

Триста лѣтъ тому назадъ въ палатахъ государевыхъ эта, христіанская, сторона праздника выражалась ярче, чѣмъ гдѣбы то ни было на старой Руси. Въ воскресенье, предшествующее масляной недѣлѣ, послѣ заутрени, на площади Успенскаго собора совершалось торжественное „дѣйство Страшнаго Суда". Воздвигались два „мѣста"—государево и патріаршее; противъ послѣдняго ставился „рундукъ"—помостъ, обшитый краснымъ сукномъ. На помостѣ помѣщался образъ

Страшнаго Суда Господня, большой аналой—съ „паволокою“ подъ икону Божіей Матери и подъ Евангеліе. Ставился столъ для освященія воды. Слѣдовалъ выходъ государя въ Успенскій соборъ; отсюда царь съ патріархомъ шествовали „на дѣйство“ съ крестнымъ ходомъ, при звонѣ всѣхъ сорока-сороковъ. На зрѣлище стекались многія тысячи народа московскаго. Предъ выходомъ на него царь-государь, рано поутру, совершалъ другой выходъ (малый): обходилъ тюрьмы, колодничьи приказы и божедомныя убѣжища (богадѣльни),—всюду жалуя своей милостью несчастныхъ и обездоленныхъ. Съ половины Масляницы зачинались въ царскихъ покояхъ „прощоные дни“: государь объѣзжалъ не только городскіе, но и подгородніе, монастыри, „прощался“ съ братіей, поминалъ родителей и жаловалъ своихъ богомольцевъ отъ всего усердія. Въ пятницу государь „прощался“ съ царицею: въ воскресенье днемъ „предъ свѣтлыя очи“ его являлись прощаться патріархъ со всѣмъ чиномъ духовнымъ, бояре и служилые люди, а ввечеру совершалось шествіе государево къ патріарху, гдѣ—послѣ торжественнаго обряда—пились „прощальныя чаши“. Первый день Великаго Поста у „царя всея Руси“ начинался съ милостей: ему обстоятельно докладывалось о колодникахъ, „которые въ какихъ дѣлахъ сидятъ много лѣтъ“. А на Руси въ этотъ день затихали послѣдніе отголоски широкаго русскаго народнаго праздника, въ глухую пору язычества бывшаго недѣлей, посвященною красавицѣ Ладѣ, любѣ-зазнобушкѣ кудряваго Лѣля...

И теперь еще справляетъ „нѣмецкую масляницу“ русскій людъ, вдоволь не успѣвающій нагуляться за недѣлю. Такъ говорятъ въ народѣ объ опохмѣляющихся въ чистый понедѣльникъ гулякахъ. „Широка рѣка Масляна: затопила и Великій Постъ!“ — добавляютъ порою при этомъ, словно въ оправданіе запаздывающимъ весельчакамъ, доѣдающимъ въ первый постный день оставшійся „поганый кусокъ“ и „полощущимъ ротъ“ недопитымъ виномъ. О такихъ людяхъ сложился въ народѣ цѣлый рядъ различныхъ поговорокъ. Вотъ нѣсколько, наиболѣе мѣткихъ, изъ нихъ: „Звалъ позывалъ честной Семикъ широкую Масляницу къ себѣ погулять!“, „Боится Масляна горькой рѣдьки да пареной рѣпы!“ „Продлись, наша Масляна, до Воскреснаго дня!“ Но и справившіе „прощанье-воскресенье“ по всѣмъ завѣтамъ христолюбивыхъ праотцевъ ѣдятъ въ это время блины—постные, съ конопляннымъ, либо съ подсолнечнымъ, масломъ. Это называется—справлять „тужилку по честно́й госпожѣ Масляницѣ“.

Народныя примѣты—устами старыхъ, знающихъ, людей—

гласятъ, что, если въ воскресенье передъ масляной недѣлею будетъ ненастье, то надо лѣтомъ ждать большого урожая грибовъ. „Какой день на Масляницу красный—ясный да теплый, въ тотъ сѣй (по веснѣ) и пшеницу!“ Это совѣтуетъ деревенскій сельскохозяйственный опытъ, не измѣняющій своимъ обязанностямъ погодовѣда и во время безшабашнаго разгула широкой, веселой, семь дней потѣшающейся на Руси Масляницы, заставляющей иныхъ, молодыхъ, мужиковъ забывать о поговоркѣ—„Пируй-гуляй, баба, на Масляну, а про постъ вспоминай.“ Но,—словно наперекоръ послѣднему присловью умудренныхъ жизненнымъ опытомъ людей—повторяетъ народная Русь относящійся къ честно́й гостьѣ Масляницѣ сложившійся на (малорусской-полтавской) окраинѣ приходящійся по сердцу всѣмъ нетерпѣливо ожидающимъ „поднесенья дня“ гуля́камъ припѣвъ:

„Ой, Масляна, Масляна!
Яка ты чудна!..
Якъ бы въ тобі сімъ неділь,
А въ посту одна!“...

Курская, провожающая развесёлую недѣлю, молодёжь деревенская въ свой чередъ вторитъ этому залихватскому припѣву своимъ, не менѣе выразительнымъ:

„А Масляна, Масляна—полизуха!
Полизала блинцы да стопцы,—
На тарельцы.
А мы свою Масляну провожали,
Тяжко-важко по ней воздыхали.
А Масляна, Масляна, воротися,
До самого Велика-Дня протянися!“

Скоморохи-потѣшники, игрецы-гусельщики, „веселые гуляющіе люди“, съ которыми браталась-пировала встарину о Масляницѣ народная Русь,—явленіе далеко немаловажное въ жизни нашего народа. Эти прямые преемники древнегреческихъ и римскихъ „гистріоновъ“ и „мимовъ“ являются старѣйшими представителями русской народной словесности, народнаго лицедѣйства и народной музыки и съ XI вѣка до второй половины XVII столѣтія не сходятъ со страницъ лѣтописей и другихъ памятниковъ духовной и свѣтской письменности. И раньше этого времени на Руси были „скоморохи, люди вѣжливые“;

да о томъ не сохранилось никакихъ слѣдовъ-памятниковъ. Изъ Византіи, вмѣстѣ съ начатками христіанства, къ намъ перешло немало и тамошнихъ обычаевъ, а въ числѣ ихъ и нѣкоторыя особенности скоморошества. Само-же оно не могло быть перенесеннымъ на Русь съ чуждой духу русскаго народа почвы: это—явленіе, вполнѣ самостоятельное.

Лѣтописи и старинныя поученія, дошедшія до нашихъ временъ, величаютъ скомороховъ „глумцами", „кощунниками", „сквернословами", „москолутами погаными", „срамцами безбожными" и тому подобными громкими кличками, а былины, пѣсни и другіе памятники народнаго творчества относятъ къ нимъ названія „людей вѣжливыхъ и очестливыхъ", „веселыхъ молодцовъ", „пѣвуновъ умильныхъ" и „загусельщиковъ утѣшныхъ". Лѣтописцы и поучители порицаютъ „игры бѣсовскія, плясьбу, гудьбу, пѣсни, сопѣли, смѣхотвореніе, глумленіе и гусли," говоря, чтобы всѣ благочестивые люди „отметались тѣхъ пировъ", чтобы не вѣдались со скоморохами, не присутствовали даже при нихъ на бесѣдахъ, потому-что все это „бѣсовъ радуетъ" и „ангеловъ отженяетъ", все это—„смрадный грѣхъ". А народъ—по былинамъ—зазываетъ „прохожаго скоморошину", сажаетъ за столъ, угощаетъ всѣмъ, что есть въ печи, и заслушивается его скоморошества, не видя въ его игрѣ гусельной, въ его пѣсняхъ голосистыхъ, въ его сказаніяхъ умильныхъ ничего „богомерзкаго" и „бѣсовскаго", а словно даже находя въ этомъ удовлетвореніе своимъ высшимъ потребностямъ—запросамъ своего пытливаго, мятущагося духа, утѣшеніе и потѣху. Наши древніе „письменные люди" слишкомъ рабски подражали въ своихъ писаніяхъ византійскимъ церковнымъ поученіямъ, совершенно забывая при этомъ, что въ Византіи скоморошество было связано съ извѣстнымъ языческимъ богопочитаніемъ, а потому и преслѣдовалось властями церковными,—а у насъ было однимъ изъ яркихъ проблесковъ народнаго самосознанія, было связано съ лучшими проявленіями его духовной жизни и никогда изъ „потѣхи веселой" не переходило въ кощунство. Въ то время, когда изъ-подъ пера лѣтописцевъ лились потоки проклятій на головы „веселыхъ гудцовъ-молодцовъ", они представляли собою истинныхъ служителей искусства: въ древнѣйшемъ образѣ своемъ скоморохи—только „гусельщики", пѣвцы-баяны, послѣдователи того самаго соловья-Бояна, вѣщаго пѣснотворца, о которомъ говорится въ „Словѣ о полку Игоревѣ". Съ легкой руки нашихъ древнихъ письменныхъ и книжныхъ людей, и народъ, соприкасавшійся съ этими книжниками, сталъ смѣшивать гусляра-пѣвуна-потѣшника съ „гуляющими людьми" и даже „со-

ромниками", хотя и не проявлялъ этого такъ рѣзко, какъ составители поученій. Народныя былины, лѣтописи, поученія, остатки древней стѣнной живописи, наконецъ—старинныя лубочныя картинки,—вотъ откуда можно почерпать тѣ или другія свѣдѣнія о скоморохахъ.

Изъ старины стародавней выступаетъ яркій величавый образъ пѣснотворца временъ минувшихъ и рядомъ съ нимъ—обликъ скомороха захожаго, предпочитающаго „веселую игру" „нѣжной", „умильной" и „великой" игрѣ своего собрата по искусству. Первобытныя гусли (отъ слова гудѣть)—своимъ видомъ напоминаютъ плашмя положенную арфу. „Гусли-самогуды" сами, по словамъ народа, гудятъ, сами пляшутъ и пѣсни играютъ на колѣняхъ дотошнаго гусляра, перебирающаго (сидя) пальцами, или подергивающаго „бѣлою рукой", звончатыя струны (льняныя или волосяныя), натянутыя на хитро сдѣланный изъ яворовaго дерева (гусли яровчатыя) „голосный ящикъ" (доску). Пѣсня шла здѣсь въ первую голову, самыя гусли—только подыгрывали ей. Были, кромѣ пѣвуновъ, и „игрецы-плясуны". Древнерусскіе „скомрахи, плясцы, гудцы, сквернословцы" (въ устахъ письменныхъ людей) пользовались почетомъ даже при княжескомъ дворѣ. Время отъ времени посылались „люди государевы" набирать по Руси веселыхъ людей „на княженецкій дворъ". Веселые люди (впослѣдствіи выродившіеся при дворѣ въ шутовъ и „дураковъ") должны были пѣть передъ княземъ и всячески утѣшать его на пирахъ и на бесѣдахъ. Кромѣ завзятыхъ скомороховъ, веселостью снискивавшихъ себѣ пропитаніе, видывалъ княжескій дворъ и любителей искусства, богатыхъ гостей и богатырей (Садко, Добрыня, Ставръ Годиновичъ, Соловей Будиміровичъ и друг.), по своей доброй волѣ проявлявшихъ дарованіе передъ лицомъ князя,—что опять-таки впослѣдствіи выродилось, должно быть, въ князей и бояръ-шутовъ. Кромѣ пировъ, участвовали скоморохи и гусельники въ свадебныхъ поѣздахъ, что отчасти сохранилось и теперь въ деревенской глуши, особенно въ Малой и Бѣлой Руси.

Желанный гость каждаго пира, имѣвшій свое особое мѣсто и у великокняжескаго стола,—скоморохъ-гусляръ къ XVII-му столѣтію все болѣе и болѣе начинаетъ вытѣсняться изъ палатъ „хорами мусикійскихъ орудій", „варганами", духовой и „ударной" музыкою иноземной и переходитъ исключительно уже на площадь, въ народную, толпу утрачивая при этомъ свой величавый характеръ и дѣлаясь иногда—въ угоду кормящей его толпѣ—„глумцомъ", „глумотворцемъ" и „пересмѣшникомъ". Гусляры—слагатели былинъ, распѣвавшіе ста-

рымъ складомъ „пѣсни умильныя“, „пѣсни царскія“, наигрывавшіе „игры нѣжныя“, доставлявшіе „утѣхи великія“, уступаютъ главное мѣсто создателямъ „веселой игры“, ранѣе шедшимъ нераздѣльно съ ними. И эти послѣдніе, подлаживаясь подъ низменные вкусы черной толпы, дѣлались иногда—и не только въ глазахъ строгихъ книжниковъ—„блазниками, срамниками и сквернодѣями“.

Древній скоморохъ повѣствовалъ о мѣстахъ далекихъ, начиналъ свою „игру-пѣсню“ изъ-за синя моря, переплетая повѣствованіе розсказнями о своихъ похожденіяхъ (наигрыши, напѣвочки, тонцы), „сказалъ по мысленному древу“, возносился подъ облака, мчался черезъ долы и горы, воспѣвалъ и Илью, и Соловья-разбойника, и „премудрость Соломонову“, и „глухоморье зеленое“, перепархивая отъ старины стародавней къ веселымъ прибауткамъ и шуточкамъ, иногда и несовсѣмъ поучительнаго склада. Съ конца XVI, а особенно въ срединѣ XVII вѣка—по свидѣтельству Адама Олеарія [38]) и другихъ современниковъ – скоморохъ отдѣляется отъ гусельника и водитъ его за собою только для подыгрыванія или подпѣванья, самъ немало теряя въ глазахъ любителей древняго пѣснотворчества. „Скоморохъ голосъ на дудкѣ настроитъ, да житья своего не установитъ!“,—гласитъ народная пословица, и вотъ плясуны, пѣвуны, потѣшники-скоморохи бредутъ по всему русскому раздолью, изъ города въ городъ, отъ села къ селу,—на улицѣ, на площадяхъ и поляхъ (А. С. Фаминцынъ [39]) увеселяютъ народъ въ праздничное время. То въ-разбродъ, парами или—по старинѣ—и въ одиночку, то цѣлыми ватагами, даютъ они свои представленія подъ игру сѣдобородыхъ гусельниковъ, вздыхающихъ на своихъ говорящихъ струнахъ о вымирающей „великой по-

[38]) Адамъ Олеарій—нѣмецкій ученый, въ качествѣ секретаря голштинскаго посольства посѣтившій въ 1636-мъ году Москву, затѣмъ проѣхавшій въ Персію, а на обратномъ пути—снова въ Москву (въ 1639 г.), и описавшій свое путешествіе въ Московію и Персію. Книга его, изданная въ 1647 г. въ Шлезвигѣ, является замѣчательнымъ историческимъ памятникомъ. Олеарій родился въ 1599-мъ году въ Саксоніи, по происхожденію—сынъ бѣднаго портного, воспитывался въ лейпцигскомъ университетѣ. Во время Тридцатилѣтней войны онъ покинулъ Лейпцигъ и поступилъ на службу къ шлезвигъ-голштинскому герцогу Фридриху III. Послѣ своихъ путешествій онъ поселился въ Готорпѣ, занявъ должность придворнаго библіотекаря. Умеръ Олеарій въ 1671-мъ году.

[39]) Александръ Сергѣевичъ Фаминцынъ, извѣстный музыкальный теоретикъ и композиторъ, родился въ Калугѣ въ 1841-мъ году, по образованію—естественникъ, съ 1865 по 1872 г. состоялъ преподавателемъ с.-петербургской консерваторіи, а затѣмъ былъ секретаремъ императорскаго русскаго музыкальнаго общества. Какъ композиторъ, онъ извѣстенъ операми „Сарданапалъ“ и „Уріэль Акоста“. Но наибольшую извѣстность пріобрѣли ему изслѣдованія: „Божества древнихъ славянъ“, „Гусли“ и—въ особенности—„Скоморохи на Руси“.

тѣхъ умильной". Появляется новый родъ скомороховъ—скоморохи-кукольники, обвязывающіеся крашениной и устраивающіе у себя надъ головой нѣчто въ-родѣ кукольнаго балагана. „Игры, глаголемыя куклы", прибавляются къ длинному списку преступленій противъ вѣры и нравственности въ глазахъ строптивыхъ книжниковъ. А, между тѣмъ, „игры" эти сначала были совсѣмъ невинными проявленіями народнаго остроумія, веселыми-безобидными шутками; затѣмъ стало примѣшиваться къ этому общественное содержаніе, а потомъ уже и „соромныя дѣйства", такъ поразившія заѣзжаго „нѣмца" Олеарія. Скоморохи-кукольники, въ сопровожденіи гусельщика, были предметомъ общаго удивленія и восторга и на шумной московской площади, и на улицѣ захудалаго посада-пригорода, и подъ сѣнью гостепріимной боярской хоромины, и подъ навѣсомъ старыхъ вѣтелъ въ деревенскомъ хороводѣ. Вездѣ за ними ходили толпы народа, щедро одѣлявшаго потѣшниковъ—чѣмъ попало: и мелкой мѣдью, и всѣмъ кто чѣмъ богатъ, и даже крѣпкимъ русскимъ словцомъ.

О гусельникахъ-кукольникахъ (по старой памяти, они все еще прозывались-величались гусельниками) можно составить довольно вѣрное понятіе по представленіямъ современнаго „Петрушки", почти цѣликомъ сохранившаго нѣкоторыя особенности старинной „кукольной игры". Обстановка—вся разница. Въ Москвѣ—на Дѣвичьемъ Полѣ и въ Сокольникахъ (весною), въ Петербургѣ—недавно на Царицыномъ Лугу, а теперь—на Семеновскомъ плацу и по всему простору Земли Русской (по ярмаркамъ) и теперь еще можно видѣть не только эти остатки старинной потѣхи, но и народныхъ скомороховъ—въ лицѣ „балаганныхъ дѣдовъ-стариковъ", на Украйнѣ—гусляровъ-кобзарей (къ сожалѣнію, явленіе исчезающее), а на крайнемъ сѣверѣ, да кое-гдѣ по Волгѣ, и пѣвуновъ-сказителей, оставившихъ гусли и, безо всякаго подыгрыша, голосомъ ведущихъ пересказы былинъ стародавнихъ. И все это, несмотря на то, что, начиная съ XVII-го столѣтія, противъ „веселыхъ людей" возставали, заодно съ книжными людьми, и духовенство, и свѣтскія власти, запрещавшія не только „скоморошество", но даже издававшія строгіе наказы объ „изничтоженіи" всей струнной музыки на Руси, дѣлавшія гусельниковъ-потѣшниковъ отверженцами общества. Нужно оговориться, однако, что на такія строгія мѣры противъ „веселыхъ молодцовъ" власти были вызваны тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бродячія ватаги скомороховъ превращались въ шайки грабителей, не хуже разбойниковъ—опустошавшія мирныя деревеньки. Эти исключительныя явленія давали по-

водъ къ незаслуженнымъ карамъ за скоморошество и „веселіе“ вообще. Но живучъ духъ русскаго народа, живучи—его остроуміе, его природная склонность къ пѣснотворчеству, „великому“ и „малому“, „умильному и „веселому“, его любовь къ искусству. Прошли столѣтія, преслѣдованіе „веселія“ давно—въ области преданій, на Руси процвѣтаетъ театръ, окрѣпла и развилась музыка, широко расправило свои могучія крылья искусство-художество, а и теперь еще гудятъ коегдѣ гусли-самогуды, и теперь еще справляется народная потѣха веселая.

XIV.

Мартъ-позимье.

„Сшибетъ рогъ зимѣ“ Власій—пастырь стадъ небесныхъ, покровитель земныхъ; подоспѣетъ ему на подмогу Василій-капельникъ (28-е февраля), а тамъ—на-смѣну февралю-бокогрѣю и мартъ-мѣсяцъ изъ-за горъ-горы—изъ-за чужедальнихъ странъ, съ теплаго моря-окіяна—на свѣтлорусское раздолье широкое выйдетъ, красна-солнышка лучами честно́му люду улыбнется. Мартъ—„по-зимній“ мѣсяцъ, съ него на Руси „пролѣтье“-весна зачинается.

Мартъ—прозвище не русское, занесенное встарину къ народу русскому отъ византійцевъ. Въ годы пращуровъ звался этотъ мѣсяцъ на Руси „сухымъ“ и „березозоломъ“; первый день его именовался „новичкомъ“, потому-что съ него—до начала XV-го вѣка, когда при великомъ князѣ Василіѣ Димитріевичѣ [40]), новолѣтіе—было перенесено на сентябрь, велся счетъ новому году, а самый мѣсяцъ стоялъ въ ряду другихъ первымъ.

Первое марта, день, посвященный, по православному мѣсяцеслову, памяти св. Евдокіи, въ простонародномъ изустномъ дневникѣ слыветъ за „Евдокею-плющиху“. Снѣговые сугробы

---

[40]) Василій II-й Димитріевичъ, сынъ кн. Димитрія Ивановича Донского, великій князь всея Руси, родился въ 1371-мъ, вступилъ на престолъ въ 1389-мъ году. До самой кончины своей, послѣдовавшей въ 1425-мъ году, онъ велъ борьбу съ удѣльными князьями русскими. При немъ былъ цѣлый рядъ мелкихъ походовъ татаръ на Русь, одинъ изъ которыхъ связанъ съ осадою Москвы (въ 1408 г.) Василій II-й былъ женатъ на Софіи, дочери литовскаго князя Витовта.

къ этому времени подтаиваютъ и, осѣдая, во многихъ мѣстахъ распадаются на „плюшки“-дѣлянки. „Авдотья-плющиха снѣгъ плющитъ!“,—говорятъ въ народѣ, справляющемъ въ день „Евдокеи—подмочи порогъ“ первую встрѣчу весны. „Евдокея красна—и весна красна!“, „Евдокея весну сряжаетъ!“,—продолжаютъ свой причетъ объ этомъ днѣ народныя примѣты.—„Откуда на Евдокеи вѣтромъ повѣетъ, оттуль онъ подуетъ весной и лѣтомъ. Коли Евдокея съ дождемъ, то быть лѣту мокрому. На Евдокей погожо—все лѣто пригожо!“... Первое марта—первыя оттепели весеннія; съ первыхъ оттепелей деревенская дѣтвора первыя „веснянки“-пѣсни запѣваетъ. Но случается,—и нерѣдко,—что и „мартъ морозомъ на носъ садится“, что „и на Евдокею морозъ приключится“. Потому-то и приговариваютъ передъ первымъ марта деревенскіе примѣтливые люди: „Тепло свѣтитъ солнышко, да Авдотьей поглядываетъ—либо снѣгъ, либо дождь. Евдокея умоется—и насъ обмоетъ. На Евдокеи снѣгъ—будетъ урожай, теплый вѣтеръ—мокрое лѣто, вѣтеръ со полуночи—холодное лѣто!“. Народное погодовѣдѣніе занесло въ свой неписанный дневникъ, что иногда „Евдокея въ-стоячь собаку снѣгомъ заноситъ“, даромъ что она, плющиха, „снѣгъ настомъ плющитъ“. Сельскохозяйственный деревенскій опытъ говоритъ, что, если на Евдокею холодно—скотъ придется кормить двѣ лишнихъ недѣли (по веснѣ). А если „у Евдокеи вода“, то—„у Егорья теплаго (23-го апрѣля) трава“; „Коли курочка въ Евдокеи напьется (снѣговой талой воды), то и овечка на Егорья (травы) наѣстся!“, „Ни въ мартѣ воды—ни въ апрѣлѣ травы!“.

Съ перваго марта—первые весенніе вихри крутятся, вѣтеръ начинаетъ свистать, отчего Евдокею-плющиху и прозвали въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ—„свистуньей“. Но какъ ни крутись вихри-бураны, какъ ни сори мартъ на землю снѣгомъ, а весна, подбирающаяся къ свѣтлорусскому приволью, свое дѣло твердо знаетъ: не обмануть ея, красной, никакимъ затѣямъ лукавымъ отживающей свои послѣдніе денъки зимы. Проведетъ плющиха по снѣгу свои плюшки,—начнутъ по деревнямъ (въ иныхъ губерніяхъ съ 1-го марта, а въ иныхъ—нѣсколько позднѣе) „кликать весну“. Молодежь посельская сходится на пригорки за околицею, а дѣтвора взлѣзаетъ на амбары и сараи; и тѣ, и другіе кликали встарину, а мѣстами и въ наши дни кличутъ:

„Весна-красна!
Что ты намъ принесла?
Теплое солнышко...
Весна-красна!

Что ты намъ принесешь?
Красное лѣтечко..." и т. д.

А теплое солнышко—сплошь-да-рядомъ пригрѣваетъ, подъ эту пѣсенку, совсѣмъ по-весеннему,—словно и впрямь собирается уже вести красное лѣтечко съ травой-муравой шелковою, со цвѣтами пестрыми духовитыми, съ ягодами сладкими да со страдой-работою, со жнитвомъ, съ покосомъ „Съ Евдокеи"—снѣгъ, по старинному повѣрью, пріобрѣтаетъ особую, цѣлительную, силу; старухи-знахарки собираютъ его въ облюбованныхъ мѣстахъ по пригоркамъ, обогрѣтымъ солнышкомъ до проталинъ, и даютъ послѣ, изъ тщательно сохраняемыхъ ото всякаго лихого глаза кувшиновъ, болящему сельскому люду,—на пользованіе противъ самыхъ разнообразныхъ недуговъ-болѣстей.

Мартъ-мѣсяцъ считался нѣкогда на деревенской Руси поканчивающимъ сроки зимнимъ наймамъ батраковъ и въ то-же время починающимъ весенніе договоры. Встарину такъ и договаривались: „Съ Евдокей—по Егорья", „Съ Евдокей до Петрова дни" и т. д. Кое-гдѣ такой обычай сохранился и до сихъ поръ, хотя въ большинствѣ случаевъ эти сроки переносятся теперь на 23-е апрѣля—къ „запасающему коровъ" Егорью-вешнему.

Подмочитъ, по народному присловью, Евдокея порогъ у хаты,—подаритъ чѣмъ когда захочетъ—либо снѣгомъ, либо дождемъ... Не успѣетъ народъ православный и оглянуться, не хватитъ времени старымъ людямъ примѣтливымъ обсудить всѣ свои примѣты,—какъ Герасимъ-грачевникъ (4-е марта) на Русь первыхъ вешнихъ птицъ, грачей, съ теплыхъ странъ впереди себя пригонитъ. Коли грачи прямо на старыя гнѣзда летятъ,—весна, по примѣтѣ, будетъ дружная: полая вода сбѣжитъ вся разомъ. Въ этотъ день бѣгаютъ деревенскіе малые ребята къ рощѣ, занятой прошлогодними грачиными гнѣздами—„грачей слѣдить".

Но,—говорятъ въ народѣ, — „Герасимъ-грачевникъ не одного грача на Русь ведетъ, а и со Святой Руси кикимору гонитъ". Въ этотъ день, по старинному повѣрью, только и можно устрашать этого врага рода человѣческаго. „Кикиморы"—нѣчто въ-родѣ древне-греческихъ фурій; это—духи, витающіе въ воздушныхъ пространствахъ, кующіе свои ковы на людъ крещоный и наслаждающіеся своей мстительностью за былыя, невѣдомыя міру, обиды. Если кикимора облюбуетъ чей-нибудь дворъ,—бѣда грозитъ хозяевамъ неминучая,—гласитъ суевѣріе,—если не озаботятся они на Герасимовъ день поклониться объ изгнаніи непрошенной гостьи

знахарю. Изгнаніе совершается съ особыми заговорами,—причемъ хозяева, перебираясь наканунѣ обряда къ сосѣдямъ, оставляютъ въ распоряженіе знахаря свою хату. Онъ обметаетъ всѣ углы, выгребаетъ золу изъ подпечка, „домовничаетъ“ въ избѣ до самаго вечера,—послѣ чего и объявляетъ, что нечистая сила ушла во-свояси на вѣки вѣковѣчные. Этотъ старинный обычай уцѣлѣлъ въ народномъ обиходѣ только въ самой захолустной глуши деревенской.

И. П. Сахаровымъ записано любопытное сказаніе объ изгоняемыхъ на Герасима-грачевника кикиморахъ. Оно довольно обстоятельно повѣствуетъ объ этой нечисти лукавой. По его словамъ, живетъ нечистая сила на бѣломъ свѣтѣ—сама по себѣ: „ни съ кѣмъ-то она, проклятая, не роднится; нѣтъ у ней ни родимаго брата, ни родимой сестры, нѣтъ у ней ни родимаго отца, ни родимой матери, нѣтъ у ней ни двора, ни кола, а перебивается, бездомовая, гдѣ день, гдѣ ночь“... Единственной радостью у нея является все губить да крушить, на зло идти, міромъ мутить. Есть между этою силой нечистою „молодцы молодые зазорливые“, прикидывающіеся то человѣкомъ, то змѣемъ. „По-подъ небесью летятъ они, молодые молодцы по-змѣиному, по избѣ-то ходятъ они по-человѣчью“... Бываетъ, что соблазняютъ они своей „несказанной красотой“ красныхъ дѣвушекъ. „И отъ той-ли силы нечистыя зараждается у дѣвицы дѣтище“, — продолжаетъ сказаніе.— „Проклинаютъ отецъ съ матерью его еще до рожденія, клянутъ бранятъ клятвой великою: не жить ему на бѣломъ свѣтѣ, не быть ему въ уростъ человѣка, горѣть бы ему вѣкъ въ смолѣ кипучей, въ огнѣ неугасимомъ“... Съ этого заклятья „дѣтище пропадаетъ изъ утробы матери“. Уноситъ его нечистая сила за тридевять земель въ тридесятое царство, гдѣ оно нарекается „кикиморой“ и начинаетъ жить „у кудесника въ каменныхъ горахъ“, рости въ холѣ-нѣгѣ на бѣду роду человѣческому. Къ семи годамъ—выростаетъ заклятое дѣтище, научается всѣмъ премудростямъ, волшебству всякому. „Тонешенька, чернешенька та кикимора, а голова-то у ней малымъ-малешенька, съ наперсточекъ, а туловища не спознать съ соломиной“. Но, несмотря на все свое убожество, видитъ она „далеко по-подъ небесью, скорѣй того бѣгаетъ по сырой землѣ, не старѣется цѣлый вѣкъ“. И все-то ей, кикиморѣ, знаемо да вѣдомо. Выбѣгаетъ она въ урочные годы на бѣлый свѣтъ, на пагубу люду крещоному. И вотъ—„входитъ кикимора во избу, никѣмъ не знаючи, поселяется она за печку, никѣмъ не вѣдаючи; стучитъ-гремитъ отъ утра до вечера, со вечера

до полуночи свиститъ и шипитъ по угламъ, со полуночи до бѣла свѣта прядетъ кудель конопельную, сучитъ пряжу пеньковую"... Дѣло кончается тѣмъ, что забравшаяся — незвано и непрошено—въ хату гостейка выживаетъ изъ теплаго, насиженнаго-належаннаго, жилья всѣхъ хозяевъ своими причудами: „ничто-то ей, кикиморѣ, не по сердцу, а и та печь не на мѣстѣ, а и тотъ столъ не въ томъ углу, а и та скамья не по стѣнѣ". И принимается она все швырять-бросать, перестанавливать. „А и послѣ того,—заканчивается сказаніе,—она, лукавая, мутитъ міромъ крещонымъ: идетъ-ли прохожій по улицѣ, а и тутъ она ему камень подъ ноги; ѣдетъ-ли посадскій на торгъ торговать, а и тутъ она ему камень въ голову. Съ той бѣды великія пустѣютъ домы посадскіе, зарастаютъ дворы травой-муравой"... Только свѣдомый во всякихъ кудесахъ знахарь,—да и тотъ всего одинъ день въ году, на Герасима-грачевника,—и можетъ избавить хозяевъ дома отъ такого постоя безданнаго-безпошлиннаго. Старые люди совѣтуютъ молодымъ—не жалѣть на этотъ случай никакихъ посуловъ-даровъ для знахаря вѣдуна, умѣющаго по-своему раздѣлываться со всякимъ навожденіемъ. Не худо, впрочемъ, по ихъ словамъ, служить, кромѣ того, и молебны памятуемому въ этотъ день святому угоднику Божію.

За „Грачевникомъ" на Русь—„Со́роки" (9-е марта) идутъ. Сорокъ мучениковъ, воспоминаемыхъ въ этотъ день Православною Церковью, по простонародному присловью, торятъ путь-дорогу сорока утренникамъ (морозамъ) изъ которыхъ—каждый все легче да мягче другого По примѣтѣ, если всѣ сорокъ утренниковъ пройдутъ подъ-рядъ, быть всему лѣту теплому, да ведряному, для уборки всякаго полевого жита сподручному.

Въ этотъ день прилетаетъ вторая птица весенняя—жаворонки, а, по старинному крылатому слову, не только они, а сорокъ птицъ прилетаютъ, сорокъ пичугъ на Русь пробираются. „Сколько проталинокъ—столько и жаворонковъ!"—приговариваютъ деревенскіе погодовѣды завзятые, для которыхъ обступающая ихъ отовсюду природа является открытою, хотя и никѣмъ не писанной, книгою.

Въ ознаменованіе прилета звонкоголосыхъ пѣвцовъ полей, пекутся издавна въ этотъ день въ каждой семьѣ, памятующей обычаи старины, по сорока жаворонковъ изъ тѣста („сороки святые—колобаны золотые"). На девятый день марта-мѣсяца—вторая встрѣча весны. Въ этотъ день, по народному дневнику, зима кончается, весна начинается, день съ ночью-мѣряется-равняется (равноденствіе). Съ этого дня отсчитываютъ

деревенскіе мужики-„гречкосѣи“ сорокъ морозовъ-утренниковъ и, благословясь, засѣваютъ гречу-дикушу, не опасаясь за всходы. Деревенская дѣтвора съ нетерпѣніемъ ждетъ прихода „Сороковъ“: для нея это—день, лакомый еще болѣе, чѣмъ Власьевъ, съ его пышками. Помнятся ребятамъ сдобные, да обмазанные еще вдобавокъ медомъ (или патокой сладкою), жаворонки; памятны и затѣйливыя игры, пріуроченныя съ незапамятныхъ поръ къ этому дню, знаменующему собою приближеніе весны. Весела дѣтвора на „Сороки“, что вешній жаворонокъ, оглашающій чернѣющіяся ранними проталинами поля, готовыя сбросить съ себя зимніе покровы, первой пѣснею побѣды тепла надъ стужею.

„Ты запой, запой, жаворо̀ночекъ,
Ты запой свою пѣсню, пѣсню звонкую!
Ты пропой-ка, пропой, пташка малая,
Пта̀шка-ль малая, голосистая,
Про тоё-ли про теплую сторонушку,
Что про тѣ-ли про земли про заморскія,
Заморскія земли чужедальныя,
Гдѣ заря со зоренькой сходится,
Гдѣ красно̀ солнышко не закатается,
Гдѣ тепла вовѣкъ не отбавится!
Ты запой-ка—запой, жавороночекъ,
Жавороночекъ ты весенній гость,
Про̀ житье-бытье про нездѣшнее!“...

Такъ величаютъ пташку, несущую съ собою тепло, красныя дѣвушки словами старинной пѣсни, которую еще и посейчасъ можно услыхать въ средневолжскихъ губерніяхъ, тамъ, гдѣ за старину деревня крѣпче, чѣмъ по другимъ—подгороднымъ—мѣстамъ, держится.

Съ 12-мъ марта (днемъ Григорія, папы римскаго) связана въ народѣ примѣта о туманѣ. „Если утромъ туманъ Григорью дорогу за́ститъ“,—говоритъ деревенскій людъ,—„быть большому урожаю на коноплю да на ленъ бѣлый, на волокнистый!“. Въ этотъ день—въ обычаѣ разбрасывать по двору горсть-другую конопляного да льняного сѣмени: на кормъ птицамъ. Опытные хозяева особенно зорко присматриваютъ на Григорьевъ вечеръ за лошадьми: есть повѣрье, что, коли,—не дай Богъ,—занедужится коню объ эту пору, то все лѣто быть ему „не въ своей силѣ“.

За Григорьемъ-римскимъ—„Алексѣй съ горъ вода“ на пятые сутки (17-го марта) идетъ: „Алексѣй—человѣкъ Божій, съ горъ вода, съ холмовъ потоки“. Съ этого дня ничто уже

не можетъ, по народной примѣтѣ, остановить, или задержать, могучій наступательный ходъ весны-красной.

Бѣгутъ съ горъ вешнія воды, шумятъ онѣ, разбѣгаются по ложбинамъ ручьями быстрыми, поятъ ручьи поля, снѣгомъ крытыя; все больше да больше проталинъ становится—куда ни кинешь взглядъ. И солнышко жарче грѣетъ, и жаворонки, умильныя Божьи пташки, заливаются—что ни день—все голосистѣе,—такъ и разсыпаютъ серебро своихъ трелей надъ нивами земными съ высоты полей небесныхъ. „Дарья—грязная пролубница“ обломаетъ 19-го марта бережки у прорубей; посинѣетъ ледъ, начнетъ его пучить-вздымать: вотъ-вотъ, того-и-гляди, тронется!.

Конецъ подходитъ позимнему мартъ-мѣсяцу, — Благовѣщенье, великій праздникъ (25-е марта), на дворъ глядитъ, чтобы завершить своимъ приходомъ послѣднее звено пестрой цѣпи предвесеннихъ народныхъ праздниковъ—большихъ и малыхъ—и начать собою вешніе. У Благовѣщенья—свои вѣсти-примѣты, свои особыя повѣрья, свои исконные обычаи стародавніе.

XV.

Алексѣй—человѣкъ Божій.

Перезимній январь-прóсинецъ первую вѣсточку о веснѣ своею лютой стужею подаетъ, февраль-бокогрѣй путь-дорогу красной кажетъ, а позимній мѣсяцъ мартъ ее на Святую Русь изъ-за синя моря, изъ-за Хвалынскаго, ведетъ. Чуть только успѣетъ Авдотья-плющиха снѣгъ заплющить, какъ на дворѣ уже и Герасимы-грачевники стоятъ. Налетятъ крикливые грачи, на старое гнѣздовьё осѣсть не осядутъ еще, какъ „Сòроки“ жаворонка—птицу пѣвчую—на свѣтлорусскій просторъ принесутъ. Глядь-поглядь, а ужъ сугробы снѣжные къ землѣ приплюснулись, зачернѣли повсюду проталины, теплыми вѣтрами съ полудёнъ потянуло; залился въ поднебесной высотѣ первый пѣвецъ весны—жаворонокъ.

Отъ „Сороковъ“—рукой подать и до дня св. Алексѣя, человѣка Божія [41]), 17-го марта, съ приходомъ котораго наступаетъ весна-красна́, а зимѣ остается только подбирать загрязнившіяся полы своей бѣлоснѣжной шубы да бѣжать—да-

---

[41]) Св. Алексій—сынъ знатнаго римлянина, жившій во времена папы Иннокентія I-го (402—416 гг.) и удалившійся изъ родительскаго дома въ пустыню, возратившійся изъ нея послѣ долголѣтняго подвижничества, но не узнанный родителями и дожившій свой вѣкъ въ бѣдности, въ общемъ пренебреженіи. Передъ самой кончиною онъ открылъ свое имя и былъ похороненъ на Авентинскомъ холмѣ въ Римѣ. Могила св. Алексія была открыта въ 1216-мъ году, и надъ нею воздвигнутъ храмъ его имени. Житіе его послужило темою для цѣлаго ряда легендъ въ средневѣковой поэзіи, дошедшихъ и до русскаго народа. На католическомъ западѣ онъ считается покровителемъ особаго монашескаго ордена—алексіанцевъ.

вай, Богъ, ноги!—въ горы толкучія, въ лѣсныя трущобы непроходимыя да въ овраги глубокіе, чтобы тамъ, вдалекѣ отъ взора людского, изойти слезами горючими, припавъ на грудь Матери-Сырой-Земли. Только и дышется ей, старой, полегче по морозцамъ-утренникамъ, да и тѣмъ ужъ не вѣкъ на Руси вѣковать: скачутъ утренники по ельничку, прискакиваютъ по березничку, пробѣгаютъ „по сырымъ берегамъ—по веретайкамъ", заставляютъ вспоминать мужика-простоту о томъ, что,—какъ поется въ старинной пѣснѣ:

„Зимушка—зима
Холодна больно была,
Зима вьюжливая
Да мятелистая..."

Да и эта память коротка. Ударитъ поутру на Аггея (9-го марта) морозко, а въ полдни съ крыши закаплетъ На Алексѣя, человѣка Божія, не только уже съ крышъ, а и съ горъ, побѣгутъ потоки. Такъ и слыветъ этотъ семнадцатый день марта-позимника за „Алексѣя—съ горъ вода"; нѣтъ ему въ народѣ иного имени-прозвища. „Придетъ Алексѣй, человѣкъ Божій,—побѣжитъ съ горъ вода!", „Алексѣй—изъ каждаго сугроба кувшинъ пролей!", „На Алексѣя—съ горъ вода, а рыба со стану (съ зимней лёжки)!", „Алексѣй, человѣкъ Божій, зиму-зимскую на нѣтъ сводитъ!"—говоритъ-приговариваетъ народная Русь.

Въ южной полосѣ матушки-Россіи начинаютъ съ этого завѣтнаго дня свои весеннія хлопоты-заботы о пчелѣ, Божьей работницѣ: „На Алексѣя-теплаго, доставай ульи изъ мшенника!"—подаетъ совѣтъ тамошній сельскохозяйственный опытъ. „Покинь на Алексѣя-позимняго сани, ладь-готовь телѣгу!"—откликается на его умудренное житейскимъ обиходомъ слово срединная, кондовая, Русь великая: „Придетъ Алексѣй, человѣкъ Божій,—брось сани на повѣть!", „На Алексѣя—выверни оглобли изъ саней!"—приговариваетъ она. По старинной примѣтѣ деревенской—„Каковы ручьи на Алексѣя, таковы и поймы (по веснѣ)!" Если дружно побѣжитъ на Алексѣя, человѣка Божія, съ горъ снѣговая талая вода, то, по словамъ старыхъ, видавшихъ всякіе виды, людей,—должно ожидать хорошаго покоса. А пойдутъ въ этотъ день сочиться порознь еле-замѣтные ручейки изъ сугробовъ, не заплачутъ снѣга разомъ,—быть плохимъ кормамъ: станетъ животина на Алексѣя, человѣка Божія, Богу жалобиться.

Въ давніе годы забавлялись на Москвѣ Бѣлокаменной, да и по многимъ другимъ городамъ русскимъ, на Алексѣя-теп-

лаго гусиными боями. Съ Алексѣевскимъ спускомъ бойцовыхъ гусаковъ могъ поспорить развѣ только осенній день Никиты-гусятника (15-е сентября), до сихъ поръ пріурочиваемый памятующими обычаи дѣдовъ-прадѣдовъ къ гусиной потѣхѣ.

Въ великомъ почитаніи былъ всегда, и понынѣ остается, въ народной Руси святой Алексѣй, человѣкъ Божій. Недаромъ и поется ему въ духовныхъ стихахъ каликъ-перехожихъ такая пѣсенная хвала-слава:

„Лико его пишутъ на иконы,
Житье Олексіево во книгахъ.
Кто Олексія воспоминаетъ,
На всякъ день его, свѣта, на молитвахъ,
Тотъ сбавленъ будетъ вѣчныя муки,
Доставленъ въ небесное царство.
Ему уже слава и нынѣ
Во вѣки вѣковъ аминь“...

Многое-множество преданій, изукрашенныхъ цвѣтами краснаго слова народнаго, сохранили объ этомъ святомъ памятливые сказатели. Поетъ-сказываетъ ихъ народная Русь и теперь по многимъ мѣстамъ—старымъ людямъ на утѣшеніе, молодымъ людямъ на поученіе. Цѣлый рядъ такихъ сказаній занесенъ на страницы печатныхъ сокровищницъ словесной старины. Въ позабывшей, по словамъ поговорки, о своихъ боярахъ Смоленщинѣ, у владимірцевъ-клюковниковъ-гудошниковъ, у олончанъ—добрыхъ молодцевъ, о которыхъ прошла молва: „Наши молодцы не бьются, не дерутся, а кто больше съѣстъ, тотъ и молодецъ!“, близъ полтавскаго Гадяча и даже за рубежомъ—въ старой Сербіи—подслушаны эти сказанія. А мало-ли осталось не подслушанныхъ, до нашихъ дней ходящихъ отъ села къ селу—на память своихъ простодушныхъ хранителей-сказателей, что на костыль подорожный, опираючись? Ходитъ народное, вѣками слагающееся слово да походя и таетъ-теряется въ темномъ лѣсу житейской сутолоки; вымираетъ вѣщее слово-преданіе вмѣстѣ со старожилами, воспринимавшими его изъ однихъ устъ съ тѣмъ, чтобы передавать въ другія, изъ которыхъ и долетало оно до чуткаго слуха Сахаровыхъ, Безсоновыхъ, Кирѣевскихъ, Рыбниковыхъ, Якушкиныхъ, Садовниковыхъ [42]) и всѣхъ другихъ родственныхъ имъ по духу народолюбцевъ-собирателей.

[42]) Дмитрій Николаевичъ Садовниковъ—талантливый поэтъ и собиратель памятниковъ русскаго простонароднаго творчества—происходилъ изъ потомственныхъ дворянъ, родился въ гор. Симбирскѣ 25 апрѣля 1847 г., умеръ въ Петербургѣ 19-го декабря 1883 года, гдѣ и похороненъ на кладбищѣ

Кроткій юноша Алексѣй, возложившій на неокрѣпшія рамена свое тяжкое, и не всѣмъ богатырямъ оказывавшееся подъ силу, бремя смиренія, пришелся по-сердцу славному своимъ терпѣніемъ народу-пахарю. Сынъ римскаго патриція, проведшій жизнь въ странничествѣ, отрекшійся отъ богатства и всѣхъ соблазновъ міра сего, отвѣтилъ своимъ святымъ подвигомъ взыскующей града вышняго пытливой душѣ русскаго человѣка. Любвеобильная, жаждущая познанія истины и, несмотря на всю свою мятущуюся размашистость, алчущая сліянія со Свѣтомъ Тихимъ, она—эта стихійная душа—какъ-бы заслышала въ повѣствованіи о житіи святого угодника Божія отвѣтъ на свои завѣтнѣйшіе вопросы. И вотъ – откликомъ на пробудившіеся въ душѣ народной Руси голоса—зазвучали изъ устъ излюбленныхъ ею убогихъ пѣвцовъ-сказателей свои, русскіе, пѣсенные сказы о перенесенномъ греческою Церковью въ сердце нашего народа римскомъ великомъ подвижникѣ. И сталъ св. Алексѣй, человѣкъ Божій, воспѣваемый каликами-перехожими, роднымъ и близкимъ народной Руси, умиленно вглядывающейся въ его прекрасный обликъ, осіянный проникновенной святостью дѣйственной вѣры въ Распятаго Спасителя міра. Наши простонародныя сказанія о немъ основаны на общеизвѣстномъ житіи подвижника, но этотъ послѣдній является въ нихъ словно возродившимся на русской черноземной почвѣ. Ему приданы многія, чисто славянскія, черты, да и самый сказъ вѣетъ на чуткаго слушателя родной стариною.

Въ смоленскомъ, записанномъ въ Краснинскомъ уѣздѣ, сказаніи—наиболѣе полномъ изъ сохранившихся—дѣйствіе происходитъ „въ преславномъ пре-градѣ пре-в-ов-Ремѣ“ („во Римѣ“, „во Рымѣ“—по другимъ разносказамъ). „При томъ было царь-Ановріи“ („При царѣ было при Оноріѣ“),—продолжаютъ затерявшіеся-затонувшіе въ волнахъ моря народнаго сказатели-пѣснотворцы: „Якъ жиу себѣ славенъ Алхуміенъ („великій Ефимьянъ“) князь со своею со младою княгинею

Новодѣвичьяго монастыря. По образованію онъ—питомецъ симбирской классической гимназіи; вся его жизнь прошла въ писательскихъ трудахъ и въ изученіи народнаго быта. Стихи его печатались, съ 1868 года, во многихъ (до 40) журналахъ и газетахъ и хотя до сихъ поръ не были изданы отдѣльнымъ сборникомъ, но обратили вниманіе читателей своей красотою и самобытностью. Лучшіе изъ нихъ—волжскія пѣсни и сказанія („Легенды и пѣсни о Стенькѣ Разинѣ,“ „Усолка,“ „Богатырь-дѣвка“, „Попутный вѣтеръ“ и друг.). Изъ сочиненій Д. Н. Садовникова въ прозѣ изданы отдѣльною книгою разсказы о заселеніи Сибири—„Русскіе землепроходцы.“ Собранныя имъ на Волгѣ произведенія простонароднаго творчества напечатаны въ его книгахъ „Загадки русскаго народа“ и „Сказки и преданія самарскаго края“.

Катериною („супруга его Аглаида"), со своею со мл҃дою обрушною. Съ о҃троду у нихъ чадовъ не бы́вало"... Бездѣтность, считавшаяся позоромъ у избраннаго народа Божія, слыла несчастіемъ почти у всѣхъ другихъ. И вотъ, Алхуміенъ (Ефимьянъ) князь, видя въ этомъ несчастіи кару Божію, обращается къ Творцу-Промыслителю съ мольбою. Онъ,— по словамъ сказанія,—„до Божьихъ церквей доступаетъ и молебны предъ Богомъ закупляетъ, поставныя свѣчи становляетъ, земные уклоны откладаетъ, і҃онъ и молится Богу со трудами, сы горючими сы слезами"... Далѣе приводятся и самыя слова этой молитвы:

„О, Боже, Боже, Царь небесный,
Создателю, Спасъ милостивый!
Создай намъ, Господь Богъ, отрожденца,
Отрожденца намъ, чада хоть едина,
При младости лѣтъ на утѣшенье,
При старости лѣтъ на сбереженье,
При послѣднемъ концѣ на споминъ души!"

Слезное моленіе князя дошло до Престола Всевышняго Князя князей земныхъ: „Услышау Господь Богъ его моленье и ссылаетъ Господь святыу ангелы:—солетите со неба, святые ангелы, кы тому ко граду кы Авремію!" Небесные посланцы возвѣщаютъ богомольному князю волю Пославшаго: „Славенъ великъ Алхуміенъ князь! Полно тебѣ Богу молиться, пора въ свой домъ подъявиться, въ свои новы бѣлы палаты. Сыми со съ княгини остреченье!" Затѣмъ, идетъ своимъ чередомъ повѣствованіе: „Съ того слова („Со съ-треченья") княгиня забременѣла, забременѣла княгиня святымъ духомъ, въ скоромъ времени забременѣла, легкія поноши споносила, споносила поноши сорокъ недѣль, въ скоромъ времени спородила, спородила княгиня себѣ сына"... Радость смѣнила собою долголѣтнее горе богобоязненной княжеской четы. „Славенъ великій Алхуміенъ князь і҃онъ тому чаду возрадоваусе",—продолжаетъ сказаніе,—„священниковъ въ домъ свой призываетъ и младенцу имя нарицаетъ... („Пошолъ великъ Алхуміенъ князь князей-боярій зазывати, дьяковъ-поповъ ѣнъ собирати, ваянгельску книгу подымати, младенцу имя нарицати"— по другому разносказу)... Нарекъ ему имячко святое—Лексѣюшко Божій человѣчекъ"... Дѣтскіе годы святого подвижника были отмѣчены перстомъ Божіимъ: „Лексѣюшко, Божій человѣчекъ, не по годахъ росъ, а по часахъ, не по часахъ росъ, а по минутахъ",—вноситъ повѣствователь-народъ нѣчто сказочное въ свою повѣсть, придавая богатырскія чер-

ты излюбленному святому. „Что семнадцать лѣтъ нарождаюся, Лексѣюшка семь лѣтъ зровноваюся, отдаетъ его батюшка въ школу, государыня матушка въ науку, великой грамотѣ научаться, разныхъ языковъ заниматься, всякихъ Господнихъ молитвовъ“... И—здѣсь, на школьной скамьѣ, совершается надъ отрокомъ чудо-чудное: „Никто Лексѣюшки не научаетъ, самъ Лексѣюшка больше знаетъ, онъ и старыя книги прочитаетъ, и перомъ-рукой-черниломъ чисто пишетъ“... Поняли („дознались“) родители св. Алексѣя, что умудрилъ самъ Небесный Учитель ихъ богоданное, прошеное-моленое, дѣтище. И вотъ—„его сударь-батюшка, государыня его родная матушка выручаютъ, вынимаютъ Лексѣюшку сы школы, хочютъ Лексѣюшку обручити. Не хочетъ Лексѣюшка сильно жениться, горючими слезами отливаетъ“... Плачъ-мольба его невольно вызываютъ передъ мысленнымъ взоромъ слушателей сказанія обстановку русскихъ пѣсенъ-былинъ. „Судырьже мой, рòдный батюшка, государыня моя, родная матушка! Не невольте меня сильно жениться, пустите вѣчно Богу молиться, при младости лѣтъ потрудиться, со великими со трудами, со горючими со слезами!..“ Но княжеская чета, дождавшаяся утѣшенія всей своей жизни—чада милаго, не склоняется на сыновнія мольбы: хочется ей видѣть и внуковъ. Сказано—сдѣлано. „Брали княгиню изъ Ирусалима („избрали по всему Рыму“—по иному разносказу), повели Лексѣюшку въ Божью церковь, поставили ихъ на притворѣ, по правую руку на крылечкѣ, на томъ шелкòвомъ полотенцѣ, передъ чудными (чудотворными) образами, передъ царскими воротами, передъ золотыми крестами, подъ тѣми вѣнцами золотыми. Золотыя колечки помѣняли, единъ они крестъ цѣловали, единому Богу присягали повѣкъ дружка дружку возлюбляти, повѣкъ дружка дружку ни кидати“... Отъ вѣнца—по русскому обычаю, примѣненному здѣсь—и за свадебный браный столъ, на веселый, на почестенъ пиръ: „повели Лексѣюшку у отчевскій домъ, у своемъ бѣлой новой каменной полаты. Посадили Лексѣюшку за тесовъ столъ, за тые столы, за скатерти шелковыя, за тыя за блюды золотыя, за тые за напитки за розные. Лексѣюшка напитковъ не спиваетъ, горючими слезами отливаетъ, едину думушку думаетъ“. Какая неотступная думушка не даетъ княжьему сыну ни пить, ни ѣсть, ни на бѣлый свѣтъ ясными очами глядѣть, смоленское сказаніе не договариваетъ, непосредственно вслѣдъ за этимъ переходя къ дальнѣйшимъ событіямъ. Въ другихъ-же разносказахъ все это объяснено. „Очень Алексѣй скученъ-грустенъ“,—сказывается въ нихъ: „Какъ возговоритъ батюшка Ефимьянъ-князь:—Ой

же ты чадо мое возлюбленное! Что-же ты не весело поступаешь? Аль тебѣ княгиня не побычью? Аль твоя обрученна не по нраву?" Отцу Алексѣй, Божій человѣкъ, отвѣтилъ:— „Великій ты князь Офимьянинъ! Княгиня ты матушка, родная! На что-жъ вы принуждали меня жениться? Княгиня моя мнѣ побычью, обрученна моя мнѣ по нраву. На что принуждали мя жениться, не пустили Богу помолиться, со младости лѣтъ Богу потрудиться?" „Повели,—гласитъ далѣе прежнее сказаніе, -Лексѣюшку до ложницы, до тые ложницы тесовыя, до тыя перины пуховыя, на тое крутое узголовье, подъ тое одѣяло шелковое. Лексѣюшка, Божій человѣчекъ, въ скоромъ времѣ спать ложиуся Во второмъ часу было ночи, уставалъ Лексѣюшка со ложницы и молодую княгиню пробуждаетъ: —Княгиня, лежишь? Спишь-ли, не спишь, очнися, отъ большого сна воспроснися! Не будемъ мы съ тобой спать ложиться, пусти же меня Богу помолиться, при младости лѣтъ потрудиться!" За этими словами княжича слѣдуетъ такая бесѣда новобрачныхъ. „Женихъ мой, женихъ обручонный, Лексѣюшка, Божій человѣчекъ!"—обращается молодая княгинюшка: „Что ты рано на подвиги поступаешь, съ кимъ мене младу покидаешь, кому на дозоръ оставляешь?" Въ отвѣтъ на это причитаніе слезное держитъ св. Алексѣй такую рѣчь: „Княгиня молодая обрушная! Ня бойся никого больше Бога, а надѣйся на Бога на святого! Покидаю я тебя съ отцомъ съ матерью, на́ тебѣ отъ меня шелковъ поясъ, со правой руки золотъ перстень! Когда шелковъ поясъ разоткется, а съ руки золотъ перстень разойдется, тогда мы съ тобою переставимся, въ однымъ гробницѣ спокладемся, одною пеленою пеленимся, одною доскою накрыимся, однимъ проводомъ проводимся!" Послѣ этихъ прощальныхъ словъ снялъ съ себя княжій сынъ „цвѣтное платьице", надѣлъ платье „старецкое", вышелъ изъ „бѣлой полаты новой каменной", держитъ путь къ синему морю, „къ синему морю—къ лукоморью". Другіе сказатели заставляютъ Алексѣя, человѣка Божія, выйти изъ палатъ-хоромъ въ златотканной ризѣ, которою онъ, затѣмъ, и обмѣнивается съ нищимъ на его одежду нищенскую. „Бѣжитъ къ Лексѣюшку кораблишка"... По одному разносказу, княжичъ-подвижникъ садится на него и, подхваченный вѣтрами буйными, отплываетъ отъ родныхъ береговъ. По другому (смоленскому)—онъ не сѣлъ на корабль, а пошелъ по морю, какъ по суху, „кы тому кы граду Русалиму, кы той святой церкви, ко собору" (Другіе сказатели видятъ его приплывшимъ то „во Одесъ-градъ",—приближая такимъ образомъ мѣсто его земного подвига ко Святой Руси,—то „ко городу Индѣю".).

Здѣсь долгіе годы проводитъ онъ въ смиренномъ подвигѣ: съ нищими стоитъ на паперти, питаясь милостынею, раздѣляя ее между всей нищей братіею, прикрываясь убогой власяницею. „Немножечко енъ тамъ трудиуся“,—гласитъ сказаніе,—„много лѣтъ Богу молиуся“ (по инымъ разносказамъ—семнадцать лѣтъ). Дошли молитвы человѣка Божія до Богоматери. „Лексѣюшка, Божій человѣчекъ! Полно тебѣ Богу молиться!“—сказала Пречистая: „Пора у свой домъ (тебѣ) подъявиться, у свое бѣлый новый каменны полаты! Ужъ тебя батюшка не узнаеть, и государыня-матушка не узнаеть, ни млодая обрушная княгиня!“ А къ этому времени, и вправду, сталъ княжій сынъ неузнаваемъ: „красота въ лицѣ его потребишася, очи его погубишася, а зрѣнье помрачишася, сталъ Алексѣй какъ убогій“... Внялъ подвижникъ словамъ Приснодѣвы, помолился Богу, пошелъ къ синему морю, снова завидѣлъ корабль, сѣлъ на него: „откулѣ взялися буйные вѣтры, понесли Лексѣюшку по путинѣ, черезъ синее море-лукоморье, къ этому кы граду Авремію, къ тый святый церкви кы собору, кы своему батюшку кы родному“... Очутился человѣкъ Божій снова на родной сторонкѣ. Здѣсь-то и начинается труднѣйшая часть его богоугоднаго подвига.

Очутившись въ родномъ городѣ, человѣкъ Божій не пошелъ въ отцовскія палаты бѣлокаменныя. Нѣтъ, смиренно встаетъ онъ на соборной паперти—о-бокъ съ нищими-убогими. Кончается Божественная служба, выходятъ православные, одѣляютъ нищую братію. Подаютъ они милостыню и княжьему сыну. Принимаетъ тотъ подаяніе, раздаетъ другимъ бѣднякамъ-горемыкамъ. Послѣ всѣхъ богомольцевъ выходитъ изъ собора и отецъ св. Алексѣя - Алхуміенъ-князь: идетъ онъ, златомъ серебромъ одѣляетъ нищую братію. „Нищіе-убогіе, калѣки!“—говоритъ онъ: „Принимайте мое злато-серебро, поминайте моего сына Алексѣя! Або вы его поминайте, або вы его поздравляйте: самъ я не знаю объ своемъ чадо, на которомъ онъ свѣтѣ пробываеть, какія онъ муки принимаеть!“ Заслышавъ эти слова, не принялъ человѣкъ Божій отцовскаго сребра-золота,—поклонился онъ отцу низенько, такую рѣчь повелъ: „Судырь же, мой родный батюшка, славенъ великій Алхуміенъ-князь! Не надо мнѣ твое злато-серебро; выстройте кельню богадѣльню, не ради мово прошенья, а ради твово сына Алексѣя!“ Изумился князь, изумясь—прослезился: „Нищій, убогій, калѣка!“—воскликнулъ онъ сквозь слезы: „Почему ты знаешь мово сына?“ Слушатель сказанія ожидаетъ, что вотъ сейчасъ бросится сынъ въ отцовскія объятія; но подвижникъ смиренно отвѣчаетъ: „Славенъ великій Алхуміенъ-князь! На

томъ я твово сына знаю, у единой мы школы съ нимъ бывали, единой мы грамотки научались, за единымъ мы столикомъ бывали, со единаго блюдичка кушали, со единаго чернила перомъ писали, на единой ложницѣ спочивали!“ Въ другомъ разносказѣ отвѣтъ св. Алексѣя, человѣка Божія,—гораздо полнѣе и опредѣленнѣе этого:

„Батюшко, славенъ Ефимьянъ-князь!
Мнѣ какъ твоего сына не знати,
Алексѣя, Божьяго, свѣтъ, человѣка!
Въ единой мы палаткѣ съ нимъ пребывали,
Единую хлѣбъ-соль мы съ нимъ вкушали,
Единую одежду мы съ нимъ носили,
Единую мы съ нимъ чару пойла распивали,
Мы вмѣстѣ съ нимъ грамотѣ учились,
Въ единой мы съ нимъ пустынѣ трудились!“

Не узналъ Алхуміенъ-князь — и послѣ такого отвѣта — своего богоданнаго сына, не узнавъ — слугамъ-рабамъ, приказываетъ: „Выстройте кельню-богадѣльню по правой рукѣ гли крылечка, на моихъ частенькихъ переходахъ, а для этого нищаго калѣки!“ Сказавъ это, зоветъ онъ идти за собою и самого „нищаго-калѣку: „Ой ты еси, нищій-убогій, ты старецъ, калика-переходецъ! Когда ты про моего сына знаешь, Алексѣя, Божьяго, свѣтъ, человѣка, гряди-же ты, убогій, вслѣдъ за мною: велю я напоить тебя, накормити и Христа-ради келью построю!“...

Слѣдуя за дальнѣйшими словами сказанія, слушатель видитъ св. Алексѣя, человѣка Божія, вступающимъ въ его новое жилище. Но слуги-рабы княжескіе не только не исполнили въ точности приказанія своего господина, назвавшаго ихъ „наивѣрнѣйшими“, но сдѣлали все на иной ладъ. Келья оказалась построенною не „по правой рукѣ гли крылечка“, не на „частенькихъ (княжьихъ) переходахъ“, а „по лѣвой рукѣ на смердищи“. Врагъ рода христіанскаго, діаволъ, „возненавистовалъ“ и, по словамъ сказанія, захотѣлъ „погубить терпѣніе“ смиреннаго подвижника. И вселилъ онъ въ сердца рабовъ отца его злобу лютую противъ „нищаго-калѣки“. Явственно слышится эта злоба въ ихъ обращенномъ къ нему восклицаніи: „Нищій-убогій, калѣка! Ступай въ новую кельню-богадѣльню!“ Но не побороть и діавольской ненависти великой души человѣка Божія: „Лексѣюшка у кельню вступаетъ, Господни молитвы сотворяетъ, земные поклоны спокладаетъ“. А, между тѣмъ, Алхуміенъ-князь, оказавшій невѣдомому пришельцу свое покровительство ради одного имени безъ вѣсти пропавшаго сы-

на, не только не забываетъ о бѣднякѣ, но даже посылаетъ въ „новую кельню“ яства-питія со своего стола княжескаго. Но и тутъ не дремлетъ ненависть-злоба діавольская: „слуги-то его кушанья не доносять, сами они тое кушанье поядають; помоями блюда наливають да въ новую кельню приношають“. Все выноситъ угодникъ Божій со смиреніемъ, принимаетъ безропотно всякое поношеніе отъ рабовъ отца своего. Въ радость для него—каждое новое лишеніе. Ни на что не приноситъ онъ жалобы князю. Прославляетъ онъ Отца Небеснаго, молится за княжескихъ слугъ, воспылавшихъ къ нему ненавистью. Такъ шли годы за годами, а человѣкъ Божій продолжалъ нести безпримѣрный подвигъ. Открылъ своему святому угоднику Господь день и часъ его кончины. Пріобщился подвижникъ Святыхъ Таинъ, спросилъ у слугъ бумаги и чернилъ и „списау Лексѣюшка, якъ родиуся, списау Лексѣюшка—якъ обручиуся, списавъ—якъ и вѣрно Богу молиуся, списавъ—якъ батюшка подъявиуся“...

Кончина великаго въ своемъ смиреніи кроткаго человѣка Божія сопровождалась дивными знаменіями: сами-собою зазвонили колокола церковные, сами-собою распахнулись царскія двери во храмахъ, сами-собою развернулись священныя книги, задымились кадила благоуханныя, затеплились предъ иконами свѣчи поставныя. Узнали объ этихъ знаменіяхъ духовныя власти; пошла по городу молвь великая: „Або хто святой народиуся, або хто святой явиуся, або гдѣ хто святой переставиуся?“ Ходили священники по всему городу, искали—нигдѣ не нашли „преставленнаго и святыхъ мощей проявленныхъ“. По одному разносказу—собрался сонмъ властей духовныхъ въ соборную церковь, собравшись—всю ночь молился, просилъ Господа открыть, что это за знаменія творятся. Внялъ Господь молитвамъ рабовъ Своихъ: услышали они нѣкій голосъ. „Явился гласъ имъ Святаго Духа: —Божьяго человѣка тѣло исходитъ! Ищите вы въ домѣ въ Ефимьяновомъ!“ Донесли объ этомъ царю, и вотъ—царь съ патріархомъ „свѣчи и кадила принимали“, пошли по указанію Божьему. А отголосокъ городской молвы давно уже дошолъ и до бѣлокаменныхъ палатъ Алхуміена-князя. Изумился онъ, изумившись—вспомнилъ про „кельню-богадѣльню“ (къ этому времени уже забытую имъ), гдѣ призрѣвался нищій-убогій: ужъ не онъ-ли это преставился,—вспало на мысль князю.

Дальнѣйшій пересказъ событій гораздо полнѣе ведется во владимірскомъ спискѣ сказанія; очевидно, у смоленскихъ сказателей память значительно ослабѣла къ концу повѣсти, пред-

ставляющейся въ ихъ передачѣ съ этихъ поръ несравненно болѣе темной по смыслу и нѣсколько запутанной по изложенію. „Восходили (царь съ патріархомъ и „со всѣмъ съ просвѣщеннымъ соборомъ") въ домъ къ князю Ефимьяну; нашли они забыдящую келью". Представившаяся взорамъ картина не обманула ожиданія вошедшихъ: „труждающій въ кельѣ переставился, въ руцѣхъ онъ держитъ рукописаніе. Царь ко мощамъ доступался, святымъ мощамъ царь поклонился". Поклонившись, обратился онъ къ усопшему подвижнику съ возгласомъ: „Свѣтъ, вы, святыя отцы-мощи! Отдайте свое рукописаніе, явите мнѣ свое похожденіе, а я есмь царь всему міру!" Но, несмотря на это, не разжалась охладѣвшая-закостенѣвшая рука почившаго человѣка Божія, „царю рукописьмо не далося". Тогда приступилъ къ святому угоднику патріархъ. Преклонилъ святитель колѣна предъ почившимъ нищимъ-убогимъ, молитъ отдать ему рукопись: „Вы, свѣтъ, святыя мощи, святыя мощи проявленныя! Отверзайте святую намъ ручку, распростай свое рукописаніе! Яви чудéса всему міру! Какъ бы намъ васъ, свѣтовъ, знати, по имени бы васъ изрекати!" На этотъ разъ—„далось рукописьмó". Благоговѣйно принялъ патріархъ бумагу изъ руки почившаго подвижника,—принявъ, читать сталъ. Оказалось, къ необычайному изумленію всѣхъ предстоявшихъ, а къ наибольшему—отца-князя, что призрѣвавшійся въ кельѣ нищій-убогій былъ не кто иной, какъ богоданный сынъ княжескій. „Порожденіе онъ князя Ефимьяна (Алхуміёна—по смоленскому разносказу), имя ему Алексѣемъ, и матерь его Аглаида. Повелѣлъ имъ его Господь спознати, возлюбленнаго своего чаду, Алексѣя Божьяго, свѣтъ, человѣка; сподобилъ его имъ Господь въ домѣ видѣти"... Подошелъ къ подвижнику Ефимьянъ-князь, „святое лицо его воскрываетъ, просіяла красота его (Алексѣя, человѣка Божія) яко отъ ангела". Умилился князь; умилившись—возглашаетъ: „Увы мнѣ, сладчайшій мой чадо, Алексѣй, Божій, свѣтъ, человѣче! Какое ты терпѣлъ терпѣніе! Отъ рабъ своихъ ты укореніе! До вѣку мнѣ далъ скорбей мученіе! Горе мнѣ оскорбленному! Плачу я, вижу смерть твою! Чегò ты мнѣ тогда не явился? Зачѣмъ ты пришелъ въ градъ—не сказался? Построилъ я бы келью не такую, еще бы не въ этакомъ мѣстѣ: въ своемъ въ княжескомъ подворьѣ, возлѣ бы своей каменной палаты и возлѣ бы коморы жены твоей! Поилъ бы, кормилъ бы я тебя своимъ бы кусомъ! Не далъ бы рабамъ тебя на поруганье!" Когда причиталъ такими словами князь-отецъ предъ почившимъ сыномъ, провѣдала обо всемъ случившемся мать-княгиня,—пришла она, стала просить-молить, что-

бы пропустили ее въ келью: „Дайте мнѣ мѣсто, человѣцы! Дайте, православные христолюбцы, видѣти сладчайшаго своего чаду!“ Протолкнулась сквозь толпу умиленнаго народа княгиня, дошла до тѣла почившаго, дошедши—возопила громкимъ голосомъ: „Увы мнѣ, сладчайшій мой чадо, Алексѣю, Божій, свѣтъ, человѣче! Не любá пустынная твоя келья! Что-же мнѣ тогда ты не явился? Зачѣмъ пришелъ въ градъ—не сказался? Чаще бы я въ келью прихождала, сама бы я келью топила, призирала! Поила бы, кормила тебя своимъ кусомъ!“ Только-что успѣла промолвить это княгиня-мать, какъ вбѣгаетъ въ келью „обручная княгиня“—жена Алексѣя, человѣка Божія, бѣжитъ—сама плачетъ: „Свѣтъ ты мой, женихъ обрученный, святой ты мой князь возлюбленный, Алексѣю, Божій человѣче! Для чего ты живъ былъ—не сказался? Потáй бы я въ келью прихождала, мы вмѣстѣ бы съ тобой Богу молились, промежду насъ былъ-бы Святой Духъ!“ Въ это время царь съ патріархомъ подняли святыя мощи, положили въ гробницу, „понесли ихъ погребати“. Въ смоленскомъ разносказѣ приводится опущенная во всѣхъ другихъ подробность. „Не успѣла княгиня (жена св. Алексѣя) проглаголить“, —говорится тамъ,—„ее шоуковъ поясъ разоткауся, сы правòй руки перстень разышоуся: тогда въ гробницѣ сположились, одной пеленой пеленились, одной доской накрывались, однимъ проводомъ провожались“... Такимъ образомъ, исполнилось предсказаніе человѣка Божія, высказанное имъ при потайномъ прощаніи съ новобрачною. Далѣе—опять все въ сказаніи идетъ своимъ чередомъ, не расходясь по разносказамъ ни одной подробностью.

Погребеніе смиреннаго подвижника длилось трое сутокъ. „Несли ихъ (мощи) три дня и три ночи: нельзя ихъ приносити въ Божью церковь; много народу собиралось; провождали его князья и бояре, многіе православные христіане со ярыми со свѣчами“.. Стеченіе народа было такъ велико, что, какъ ни пытался князь-отецъ пройти къ сыновнему гробу, не могъ. Чтобы раздвинуть толпу и очистить себѣ дорогу, велѣлъ Ефимьянъ-Алхуміёнъ своимъ рабамъ-слугамъ сыпать пригоршнями злато серебро во всѣ стороны. Но и это не помогло: никто не бросался за златомъ-серебромъ, всѣ тѣснились къ тѣлу человѣка Божія: „бѣгутъ къ Алексѣю на прощанье“... И вотъ, явилъ—„дивный во святыхъ Своихъ“—Господь, для прославленія угодника, чудо великое: „слѣпымъ давалъ Богъ прозрѣніе, глухимъ давалъ Богъ прослышанье, безумнымъ давалъ Богъ разумъ, болящимъ, скорбящимъ, исцѣленіе, всему міру было поможеніе“.

Сказаніе о полюбившемся народной Руси, приросшемъ къ ея сердцу, святомъ угодникѣ кончается словами:

„Объявилъ Алексѣй святую свою славу
Во всю святорусскую землю;
Онъ былъ Богу, свѣтъ, угоденъ,
Всему міру онъ доброхотенъ“...

Въ этомъ заключеніи высказалось глубокое умиленіе стихійной души народа-пахаря передъ родственнымъ ему по духу великимъ подвигомъ смиренія, возложеннымъ на рамена кроткимъ человѣкомъ Божіимъ.

XVI.

Сказъ о Благовѣщеніи.

Со днемъ Благовѣщенія Пресвятой Богородицѣ, празднуемымъ 25-го марта, связано у русскаго народа не мало любопытныхъ для изслѣдователя народной жизни повѣрій и обычаевъ, уходящихъ своими цѣпкими корнями въ сѣдую глубь былыхъ вѣковъ. Многія изъ этихъ суевѣрныхъ памятокъ старины возникли еще въ языческія времена и перенесены на христіанскій праздникъ совершенно случайно, въ силу преемственности. Такъ, напримѣръ, нѣкоторыя отличительныя черты древнеязыческихъ Живы, Лады, Фреи, Дѣвы-Зори, Гольды и другихъ тождественныхъ съ ними по существу богинь слились съ христіанскими понятіями о Богоматери, Покровительницѣ труждающихся и обремененныхъ, привившимися къ воспріимчивой народной душѣ. Сообразно съ этимъ, Пресвятая Дѣва Марія является въ представленіи народнаго пѣснотворчества, то дарующею землѣ свѣтъ бѣлаго дня и красную весну—со всѣми чудодѣйными красотами послѣдней, то повелительницею весеннихъ громовъ—съ животворящей силою ихъ, то подательницею урожаевъ, засѣвающею поля дождемъ и сѣменами всякихъ злаковъ—плодоносящаго и цѣлебнаго былія. Она, по словамъ народныхъ сказаній, выводитъ—какъ древняя Дѣва-Зоря—на небо поутру ясное солнышко, изгоняя съ предѣловъ земныхъ темь ночную. Она-же даетъ силу-мочь волшебную и веснѣ. Языческое сказаніе о „Плакунъ-травѣ“, славящейся, въ устахъ деревенскихъ вѣдуновъ, цѣлебной силою, съ теченіемъ времени всецѣло приросло къ народному представленію о пресвѣтломъ обликѣ Богоматери. Въ нѣко-

торыхъ мѣстностяхъ это рѣдкое „травяное быліе“ такъ и зовется „Богородицыными слезками“. Перемудрый царь „Голубиной Книги“ въ такихъ, между прочимъ, знаменательныхъ словахъ говоритъ объ этой принимаемой то за одно, то за другое растеніе—травѣ:

„Плакунъ-трава—всѣмъ травамъ мати:
Когда жидовья Христа роспяли,
Святую кровь его пролили,
Мать Пречистая Богородица
По Іисусу Христу сильно плакала,
По своемъ Сыну по возлюбленномъ,
Ронила слезы пречистыя
На матушку на сырую землю;
Отъ тѣхъ отъ слезъ, отъ пречистыихъ,
Зарождалася Плакунъ-трава.
Потому Плакунъ-трава—травамъ мати“...

Благовѣщеньевъ день — послѣдній позимній - предвесенній праздникъ—свято чтится въ народѣ, подготовляющемся къ нему своеобразными обычаями. Такъ, прежде всего слѣдуетъ вспомнить о „двѣнадцати пятницахъ“, упоминаемыхъ и въ языческомъ почитаніи богини Фреи. Эти „пятницы“ стоятъ въ изустномъ дневникѣ русскаго простолюдина передъ наибольшими праздниками, особо чтимыми въ народѣ. Изъ нихъ—„первая великая пятница“,—какъ гласитъ народный стихъ духовный, записанный въ Симбирской губерніи,– приходится „на первой недѣлѣ Поста Великаго; въ ту великую пятницу убилъ братъ брата, Каинъ Авеля, убилъ его каменіемъ; кто эту пятницу станетъ поститься постомъ и молитвою, отъ напраснаго убійства сохраненъ будетъ и помилованъ отъ Бога“. Вторая великая пятница—„супротивъ Благовѣщенья Бога нашего: въ тую великую пятницу воплотился самъ Іисусъ Христосъ Святымъ Духомъ въ Мать Пресвятую Богородицу; кто эту станетъ пятницу поститься постомъ и молитвою, отъ нутренной скорби сохраненъ будетъ и помилованъ отъ Господа“. Въ другихъ разносказахъ, подслушанныхъ народными бытописателями въ иныхъ мѣстностяхъ, эта, „благовѣщенская“, пятница („супротивъ Гавріилы Благувѣстителя“) охраняетъ справляющаго ее, по завѣту старыхъ людей, человѣка „отъ скудности, отъ бѣдности, отъ найвеликаго недостатку“, а также—„отъ плотской похоти и дьявольскаго искушенія“. Въ одномъ сказаніи прямо говорится, что исполняющій относительно нея благочестивый обычай предковъ „увидитъ имя свое написано у Господа нашего Іисуса Христа на престолѣ въ животныхъ

книгахъ". Наособицу чтится „благовѣщенская пятница" у раскольниковъ, относящихся къ чествованію ея со слѣпымъ суевѣріемъ. Она является, въ ихъ воображеніи, совершенно особымъ, одушевленнымъ и вдохновлённымъ чудотворной силою, существомъ (св. Пятницею). Она—„гнѣвается на непразднующихъ и съ великимъ на оныхъ угроженіемъ наступаетъ", по словамъ начетчиковъ. На нее не положено ни прясть бабамъ, ни топоромъ работать мужикамъ. „Кто не чтитъ благовѣщенскую (благую) пятницу—у того всякое дѣло будетъ пятиться!"—говорится и вообще въ народѣ. Красные круги возлѣ солнца, замѣчаемые въ этотъ день, по мнѣнію деревенскихъ погодовѣдовъ, несутъ благую для народа-пахаря вѣсть о предстоящемъ богатомъ урожаѣ.

Въ канунъ Благовѣщеньева дня (въ среду), суевѣрная деревня приготовляется ко встрѣчѣ великаго праздника тѣмъ, что сожигаетъ старыя, слежавшіяся за зиму, соломенныя постели, окуриваетъ дымомъ зимнюю одёжину, а мѣстами—и весь домашній скарбъ свой, думая этимъ отогнать всякую нѣчисть, порожденную темными силами зимы-Мораны. Въ это время суевѣрный народный опытъ совѣтуетъ сожигать бѣлье болящихъ людей—для защиты отъ „лихого сглаза" и отъ „всяческаго чарованія".

Вечеромъ въ канунъ Благовѣщеньева дня крестьяне-туляки—(завзятые огородники)—ходятъ въ погреба и подвалы, гдѣ скрытно ото всѣхъ чужихъ, кладутъ на землю капустный кочанъ—первый, снятый по осени съ огорода. Существуетъ повѣрье, что, если, возвращаясь отъ благовѣщенской обѣдни, повнимательнѣе осмотрѣть этотъ кочанъ, то („на счастливаго") можно найти въ немъ сѣмена. Если въ-перемѣшку съ этими послѣдними засѣять разсаду, то для выросшей изъ нея капусты не будетъ страшенъ никакой утренникъ-морозъ—ни весенній, ни осенній. Подъ Благовѣщенье въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, преимущественно—въ южныхъ губерніяхъ, перебираются молодожоны изъ теплой избы въ холодную клѣть-горницу—„на лѣтнее положеніе", оставляя въ хатѣ старыхъ стариковъ да малыхъ ребятъ. А старухамъ къ этому времени новая забота приспѣваетъ—пережигать соль въ печи. Свѣдущіе во всякихъ повѣрьяхъ люди говорятъ, что—если этой, „благовѣщенской", солью, какъ и „страстной-четверговой", умѣючи пользовать болящихъ-немощныхъ, то всякій недугъ какъ рукой сниметъ. Мало того: посыпать этой солью тѣсто ржаное, спечь колобашки да крошить ихъ потомъ, по малости, въ мѣсиво недомогающему скоту,—такъ и то помощь немалая будетъ отъ этого. Все это хорошо знаютъ въ деревенской

глуши, отъ отцовъ-дѣдовъ хранятъ въ памяти, дѣтямъ-внучатамъ изъ устъ въ уста передаютъ. И ходитъ сѣдое повѣрье по свѣтлорусскому простору, селами-деревнями, подъ окошками стучится, незвано-непрошено пороги хатъ обиваетъ пѣшкомъ, костылями своими подпираясь, до честныхъ людей пробираючись. И всюду, гдѣ людъ православный крѣпко-цѣпко за землю держится,—почетъ стародавнему повѣрью.

Переступаетъ черезъ порогъ временъ 25-е марта—день, встрѣчающій своею зорькой-зоряницею Весну-Красну; а народъ честной уже готовъ привѣтить его честь-честью, по праздничному, въ чистотѣ всякой, по стародавнему обиходу древнерусскому.

„На Благовѣщенье и воронъ гнѣзда не завиваетъ!“,—гласитъ сѣдая старина. А ужъ если воронъ-птица чтитъ-празднуетъ этотъ день, то человѣку подобаетъ и подавно! Изстари заведено на Руси ничего не работать въ этотъ весенній праздникъ, да не только не работать, а и съ огнемъ не засиживаться. „Кто не чтитъ Благовѣщенья, съ огнемъ за работой сидитъ,—убьетъ у того въ это лѣто молоньей близкаго-роднаго!“—говорятъ на посельской Руси.—„Завьетъ на Благовѣщенье гнѣздо птица—ослабнутъ у нея крылья: ни летать, ни порхать ей, вѣкъ свой ходить по землѣ. То и человѣкъ: не будетъ ему, безбожному, ни въ чемъ спорины, что и птицѣ—безъ крыльевъ!“

Придерживающіеся старины люди совѣтуютъ печь мірскія, изъ общей муки благовѣщенскія просфоры и нести ихъ для освященія къ обѣднѣ („вынимать за здравіе“). Принеся домой такую просфору, кладутъ ее сначала подъ божницу, а послѣ—въ закромъ съ овсомъ, оставляя въ послѣднемъ до перваго ярового сѣва. Сѣя яровину, сѣятель беретъ съ собой просфору изъ закрома и носитъ во все время посѣва привязанною къ сѣялкѣ. Соблюденіемъ этого обычая думаютъ оградить нивы ото всякаго „полевого гнуса“ (вредныхъ для хлѣбовъ насѣкомыхъ) и вообще заручиться благой надеждою на урожай. Если у кого въ хатѣ есть образъ „праздника“, то ставятъ его на Благовѣщеньевъ день въ кадку съ яровымъ зерномъ, предназначающимся для посѣва, истово-богомольно приговаривая при этомъ:

„Мать Божья!
Гавріилъ-Архангелъ!
Благовѣстите,
Благоволите,
Насъ урожаемъ благословите:
Овсомъ да рожью,

Ячменемъ, пшеницей
И всякаго жита сторицей!"

Въ малорусскихъ губерніяхъ можно еще и теперь услышать въ народѣ сказаніе о томъ, какъ Богоматерь засѣваетъ всѣ нивы земныя съ небесной высоты. Гавріилъ-архангелъ водитъ, по словамъ этого сказанія, соху съ запряженнымъ въ нее бѣлымъ конемъ, а Мать Пресвятая Богородица разбрасываетъ изъ золотой кошницы всякое жито пригоршнями, а въ то-же самое время „устами безмолвными, сердцемъ глаголящимъ" молитъ Господа Силъ о ниспосланіи благословенія на будущій урожай.

Народныя поговорки-присловья утверждаютъ, дополняя одна другое, что: „До Благовѣщенья зимнимъ путемъ либо недѣлю не доѣдешь, либо недѣлю переѣдешь!", „Каково Благовѣщенье—таково и Свѣтло-Христово-Воскресенье!", „На Благовѣщенье дождь—уродится рожь: густа да колосиста, да умолотиста!", „На Благовѣщенье солнышко съ утра до вечера—объ яровыхъ тужить нечего: благая вѣсть—будетъ чего поѣсть!" и т. д. Но примѣты идутъ въ своихъ вѣщихъ предсказаніяхъ и нѣсколько дальше: онѣ говорятъ, что, если на Благовѣщенье день красный, то весь годъ будетъ пожарный. Благовѣщенскій дождикъ, кромѣ изобилія ржи, предвѣщаетъ и грибное лѣто. Для рыболововъ онъ сулитъ спорый ходъ красной рыбы. Благовѣщенскій утренникъ—тоже сулитъ какое-либо благополучіе въ хозяйствѣ.

На богатой всякими преданіями старой Смоленщинѣ, о Благовѣщеньи, „весну гукаютъ". Во всякомъ домѣ пекутся поутру пироги. Послѣ обѣда парни и дѣвки берутъ каждый по куску, выбираютъ гдѣ-нибудь на припёкѣ мѣстечко, большею частью у бани—на кострикѣ или на бревнахъ, обращаются къ востоку, или на-полдень, (парни снимаютъ шапки) и молятся Богу; потомъ кто-нибудь запѣваетъ: „Благослови, Боже, намъ весну гукати!"—и всѣ собравшіеся на „гу́канье" подхватываютъ голосистымъ звонкимъ хоромъ:

„Ай лели-лели, гукати!
Весна красная, теплое лѣтечко!
Ай лели-лели, теплое лѣтечко!
Малымъ дѣточкамъ вынеси весна, по яичечку!
Ай лели..."

Послѣ этой—затягивающейся на довольно продолжительное время—пѣсни всѣ садятся въ кружокъ: пьютъ пиво, а то и водку, ѣдятъ пироги и начинаютъ пѣть новыя, круговыя, пѣсни.

Вотъ, напримѣръ, одна изъ такихъ пѣсенъ, поющаяся, что называется, въ самую первую голову:

„Ужъ ты, ластовка, ты косатая,
Ай лели-лели, ты косатая!
Ты возьми ключи, лети на небо.
Ай лели-лели, лети на небо!
Ты запри зиму, отомкни лѣто.
Ай лели...“

Эту пѣсню смѣняетъ вторая—не менѣе краснорѣчиво говорящая сердцу молодыхъ пѣвуновъ затѣйливыхъ:

„Виръ, виръ, колодезь студеный!..
А што въ тебѣ воды нѣтъ?
Ай лели...
Кони воду выпили,
Выпили, выпили, выпили.
Копытомъ землю выбили,
Выбили...
Што въ тебѣ, Иванушка, жены нѣтъ?
Жены нѣтъ...
Была-бы голова, будетъ и жена
И жена, и...“

За второй идетъ, звонкой трелью соловьиной-голосистою разливается, третья:

„Какъ у нашей у Машечки вышитъ рукавокъ...
Богъ ей далъ, царь жулувалъ.
А Ваничка сполюбилъ, свое личко украсúлъ,
Взялъ душу-игрушу...“ и т. д.

При пѣніи послѣдней пѣсни, по словамъ одного изъ мѣстныхъ собирателей словесной народной старины, парень выбираетъ дѣвушку и цѣлуется съ ней. Пѣсня эта поется столько разъ, сколько соберется на „гуканье“ парней и дѣвушекъ. Чуть не до поздней ночи веселятся дѣвки съ ребятами на святъ-Благовѣщеньевъ день...

Съ незапамятныхъ поръ ведется на Руси добрый обычай—выпускать о Благовѣщеньи птицъ изъ клѣтокъ на вольную волю. Онъ соблюдается повсемѣстно: и по селамъ, и въ городахъ. Этимъ празднуется приходъ весенняго тепла, побѣдившаго зимнюю стужу студёную, а одновременно какъ-бы приносится безкровная жертва матери-природѣ. Въ городахъ къ этому дню нарочно ловятъ бѣдные люди птичекъ и

приносятъ на рынокъ цѣлыми сотнями, выпуская ихъ за деньги, охотно даваемыя купцами и всякимъ прохожимъ людомъ, вспоминающимъ, при видѣ чирикающихъ пернатыхъ плѣнницъ, о завѣщанномъ стариною обычаѣ. Впрочемъ, птицеловы и сами напоминаютъ всѣмъ объ этомъ своими возгласами въ-родѣ: „Дайте выкупъ за птичекъ,—пташки Богу помолятся!“ У деревенской дѣтворы есть цѣлый рядъ особыхъ пѣсенокъ-„веснянокъ“, пріуроченныхъ къ благовѣщенскому выпусканію птичекъ на волю. Вотъ одна изъ нихъ, записанная въ симбирскомъ Поволжьѣ:

„Синички-сестрички,
Тетки-чечотки,
Краснозобые снѣгирюшки,
Щеглята-молодцы,
Воры-воробьи!
Вы по волѣ полетайте,
Вы на вольной поживите,
Къ намъ весну скорѣй ведите!
За насъ Божью Мать молите!
Синички-сестрички“... и т. д.

До вечерней зари тѣшатся на улицѣ ребята малые—старымъ старикамъ на утѣшеніе. А все кругомъ такъ и дышетъ желанной близостью весны; благой вѣстью о ней такъ и разливается разымчивый теплый воздухъ,—словно и онъ вырвался на волю изъ леденящихъ оковъ зимней стужи.

Три вѣка тому назадъ, на Москвѣ, въ палатахъ государевыхъ справлялся-праздновался Благовѣщеньевъ день по особому торжественному обиходу-обряду. Въ канунъ великаго праздника изволилъ выходить государь ко всенощному бдѣнію, а въ самый день его—къ обѣднѣ, въ Верховый Благовѣщенскій соборъ. За всенощною совершался патріархомъ особый „чинъ хлѣболомленія“. Этотъ чинъ состоялъ въ томъ, что, благословивъ „благодарные хлѣбы и вино“, патріархъ раздроблялъ первые и подносилъ цѣлый хлѣбъ съ чашею вина государю; затѣмъ—остальное раздавалось боярамъ, дѣтямъ боярскимъ, служилымъ людямъ и всему предстоявшему во храмѣ народу. Въ царицыны палаты посылались патріархомъ особые ломти („укруги“) хлѣба и кубки съ виномъ; то-же—и всему семейству государеву. Это патріаршее порученіе исполнялъ который-нибудь изъ ближайшихъ бояръ со стольниками—по нарочитому указу. На самое Благовѣщеніе вѣнценосный богомолецъ, въ большомъ нарядѣ царскомъ, окруженный сонмомъ бояръ въ золотыхъ ферезеяхъ, стоялъ обѣдню; а затѣмъ воз-

вращался въ палаты свои. Здѣсь, „въ покоевыхъ хоромахъ“ (въ „Комнатѣ“ и „Передней“), происходило, по его государеву изволенію, кормленіе нищей братіи, собиравшейся кромѣ того на Аптекарскомъ дворѣ—подъ надзоромъ дьяка Тайнаго Приказа. Кромѣ рыбныхъ и мучныхъ яствъ, нищимъ раздавались—отъ щедротъ царскихъ—деньги. Убогіе гости расходились съ благовѣщенской трапезы по стогнамъ Бѣлокаменной, повсюду разнося благую вѣсть о благочестіи и щедротахъ государевыхъ.

XVII.

Апрѣль—пролѣтній мѣсяцъ.

Мартъ позимье кончаетъ,—апрѣлю, пролѣтнему мѣсяцу, путь-дорожку кажетъ. Апрѣль весну починаетъ необлыжную; въ апрѣлѣ, по народному слову, земля прѣетъ. Недаромъ молвится, что „апрѣль всѣхъ напоитъ“, что „мартъ—пивомъ, апрѣль—водою славится“. Идетъ весна къ апрѣлю еще съ самаго Алексѣя—человѣка Божія, идетъ да зиму со́-свѣту бѣлаго сживаетъ! А какъ перешагнетъ она—красная краса—черезъ порогъ позимняго мартъ-мѣсяца, да поравняется съ Марьями Египетскими (1-мъ апрѣля),—такъ и зимѣ, сѣдой лиходѣйкѣ, карачунъ пришелъ! Оттого-то и слыветъ въ народѣ св. преподобная Марія Египетская за „Марью-зажги-снѣга“ да за „Марью-заиграй-овражки“. Но русскій мужикъ простъ-простъ, а самъ всетаки не вѣритъ ни первой ласточкѣ, ни первому апрѣля. „Апрѣль сипитъ да дуетъ, бабѣ тепло сулитъ, а мужикъ глядитъ: что-то еще будетъ!“—говоритъ посельщина-деревеньщина. „Апрѣль обманетъ—подъ май подведетъ!“—приговариваетъ она, памятуючи, что май—самый тяжелый въ году мѣсяцъ. Но есть и болѣе довѣрчивый народъ на Руси: „Дождались полой водицы, ай да батюшка апрѣль!“—не нарадуется, не натѣшится онъ, по заваленкамъ сидючи да на апрѣльскомъ солнопекѣ пригрѣваючись. Что́ такому легковѣрному мужику-рубахѣ до воркотни стариковъ, семь разъ мѣряющихъ да одинъ отрѣзающихъ,—пусть ихъ тамъ твердятъ-повторяютъ свои поговорки, въ-родѣ: „Не ломай печи, еще апрѣль на дворѣ!“, или—„Ни въ мартѣ воды, ни въ апрѣлѣ травы!“ Играютъ полой водою овражки, горятъ-таютъ снѣга,—стало быть, весна на дворѣ, стало—при-

шла она „съ милостью, съ великою радостью“, съ надеждами на будущій урожай,—думаетъ надѣющійся на весну людъ. Не привыкать ему къ „пустымъ щамъ“, съ которыми приходитъ на свѣтлорусскій великій просторъ первый день пролѣтняго мѣсяца.

Въ стародавніе годы звался на Великой Руси апрѣль-мѣсяцъ „пролѣтникомъ“, на Малой Руси слылъ онъ—какъ и у поляковъ—за „квѣтень“ („цвѣтенемъ“ прозывался также и май по другимъ славянскимъ мѣстамъ); чехи со своими сородичами-сосѣдями, словаками, величали апрѣль „дубенемъ“, сербы—„налѣтнимъ“, кроаты—„джюджревчакомъ“ (отъ Юрьева дня); у иллирійцевъ звался онъ „травянымъ“. Древняя Русь встрѣчала апрѣль вторымъ въ году изъ двѣнадцати братьевъ-мѣсяцевъ; затѣмъ, при сентябрьскомъ новолѣтіи, сталъ онъ приходиться восьмымъ по счету, а съ 1700 года пришлось ему быть четвертымъ. На этомъ-самомъ мѣстѣ остается онъ и до нашихъ дней.

Апрѣльскій Марьинъ день (1-е число) повсемѣстно, а не на одной только Руси, слыветъ днемъ всяческаго обмана: по-ходя, съ шутками да прибаутками, лжетъ объ эту пору чуть-ли не весь міръ, населенный живыми людьми. И ведется этотъ привившійся къ жизни обычай съ незапамятныхъ лѣтъ. „Перваго апрѣля не солгать, такъ когда-же и время для этого потомъ выберешь!“, „На Марью-заиграй-овражки и глупая баба умнаго мужика на пустыхъ щахъ проведетъ и выведетъ!“, „Врать-то, братъ, ври, да оглядывайся: нынче не первое апрѣля!“—говорятъ въ народѣ. „Не обманетъ и Марья Тита, что завтра молотить позовутъ,—по гумнамъ на Поликарпа (2-го апрѣля) одно воронье каркаетъ!“, „Ворона каркала-каркала да Поликарповъ день мужику и накаркала!“—приговариваютъ подсмѣивающіеся надъ своими недохватками-недостачами деревенскіе краснословы. По старинной примѣтѣ, если съ Марьи на Поликарповъ день разольется полая вода, надо ждать большихъ травъ да покоса ранняго по веснѣ. Наблюденія старожиловъ-погодовѣдовъ совѣтуютъ хозяевамъ придерживаться въ своихъ разсчетахъ этой примѣты: оправдывается она, по ихъ словамъ, на дѣлѣ сплошь-да-рядомъ.

Съ третьимъ днемъ апрѣля, пролѣтняго мѣсяца, связана въ народной Руси примѣта промышляющаго рыбнымъ ловомъ трудового люда. „Не пройдетъ на Никиту-исповѣдника ледъ—весь весенній ловъ на нѣтъ сойдетъ!“—замѣчаютъ они. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ,—преимущественно по рыбнымъ сѣвернымъ рѣкамъ,—пріурочиваютъ къ этому дню рыбаки угощенье „дѣдушки-Водяного“. Минутъ сутки, смотритъ де-

ревня, а на дворъ ужъ „пришелъ Ѳедулъ (5-е апрѣля, день памяти мученика Ѳеодула), теплый вѣтеръ подулъ!“ Домовитыя бабы-хозяйки твердо памятуютъ, что „на Ѳедула растворяютъ оконницу“, и до этого дня ни за что не выставляютъ въ избѣ рамы. „Раньше Ѳедула окна настежъ—весеннему теплу дорогу застишь!“, „До Ѳедула дуетъ сиверокъ (холодный сѣверный вѣтеръ), съ Ѳедула теплынью тянетъ!“—говорятъ онѣ. Повѣрье деревенское заставляетъ и циркуновъ-сверчковъ прилетать на огороды вмѣстѣ съ первыми весенними теплыми вѣтрами. „Пришелъ Ѳедулъ, теплый вѣтеръ подулъ, окна отворилъ—избу безъ дровъ натопилъ; сверчокъ—цокъ-цокъ, съ огорода подъ шестокъ!“—гласитъ объ этомъ волжскій прибаутокъ. „Съ Ѳедулова дня и стряпать бабѣ веселѣе: сверчокъ подъ шесткомъ ей пѣсню поетъ!“—вторитъ ему другой, подслушанный въ тѣхъ-же мѣстахъ великорусскаго краснаго говора.

Со слѣдующимъ днемъ посвященнымъ, памяти преподобнаго Евтихія и мученика Іереміи, объединяются у дотошныхъ сельскихъ погодовѣдовъ двѣ сговорившіяся одна съ другой примѣты: „На Евтихія день тихій—къ урожаю раннихъ яровыхъ!“—говоритъ одна мужику-хлѣборобу; „Ерема-пролѣтній ярится, вѣтромъ грозится,—хоть не сѣй рано яровины, сѣмянъ не соберешь!“—утверждаетъ другая. „На Акулину (7-го апрѣля) дождь—хороша будетъ калина, коли плоха яровина!“—приговариваютъ пересмѣшники, охочіе до всякаго мѣткаго словца.

8-е апрѣля—Родивоновъ день (память апостола Иродіона). Туляки, посадившіе—по ихъ-же, тульскому, старинному сказу—блоху на цѣпь, разсказываютъ, что въ этотъ день встрѣчается солнце красное съ яснымъ мѣсяцемъ. Встрѣча—встрѣчѣ рознь: бываетъ и къ добру, и къ худу! Свѣтелъ Родивоновъ день—добрая встрѣча, пасмуренъ-туманенъ—худая. Въ первомъ случаѣ ждутъ туляки хорошаго лѣта, въ послѣднемъ—недобраго. По народной поговоркѣ, ходящей и не вокругъ одной Тулы, а и по многимъ другимъ мѣстамъ: „Горденекъ ясный мѣсяцъ, и красному солнышку не уступитъ: задоренъ рогатый пастухъ—все звѣздное стадо перессоритъ!“

Черезъ сутки послѣ Родивонова дня съ его повѣрьями встрѣчаются новыя—терентьевскія (10-го апрѣля—память мученика Терентія): зорко слѣдятъ старики поутру за восходомъ солнечнымъ,—если взойдетъ красное въ туманной дымкѣ—быть хлѣбородному году, а если выкатится изъ-за горъ-горы что на ладони—придется перепахивать озимое поле да засѣвать яровиной. За Терентьями—Антипы идутъ къ народу-пахарю; зовутся они „водополами“. Къ этому дню пріурочивается во всей средней полосѣ Россіи ожиданіе вскрытія рѣкъ,

разлива полой воды. Если запоздаетъ вода выйти изъ береговъ—нельзя, говорятъ старики со старухами, ручаться за хорошій урожай. „Антипы—водополы, подставляй полы: жита сыпать некуда будетъ!“, „Антипъ безъ воды—закрома безъ зерна!“, „По Антиповой водѣ о хлѣбушкѣ гадай!“—говорятъ въ посельской Руси, питающейся отъ щедротъ земли-кормилицы.

„Антипъ воду льетъ на поймы, Василій землѣ пару поддаетъ!“—переходитъ простонародная мудрость къ слѣдующему апрѣльскому дню, посвященному памяти св. Василія-исповѣдника, епископа Парійскаго. „На Василья Парейскаго весна землю паритъ!“, „Запарилъ землю Василій—выверни оглобли, закинь сани на повѣть!“, „На Василья и земля запарится, какъ старуха въ банѣ!“—приговариваетъ деревня. По примѣтѣ охотниковъ, въ этотъ день вылѣзаетъ медвѣдь—лѣсной воевода—изъ своей берлоги, вылѣзаетъ—въ кусты идетъ. „Заяцъ, заяцъ, выскочи изъ куста, дай мѣсто Михайлѣ Ивановичу Таптыгину!“—можно по лѣснымъ мѣстамъ услышать отъ деревенской дѣтворы поговорку.

Успѣютъ перешагнуть черезъ порогъ всего однѣ сутки, а у охотника—новая примѣта: 14-го (въ Мартыновъ день) переселяются лисички-сестрички изъ старыхъ норъ въ новыя. Нападаетъ послѣ этого, по увѣренію старыхъ стрѣльцовъ-ловцовъ, на лису куриная слѣпота: три дня, три ночи не видитъ хитрый звѣрь ни темноты, ни свѣта Божьяго,—сидитъ на новомъ гнѣздовищѣ да дремлетъ, покуда ему ворона не станетъ клевать головы. На это повѣрье краснобаевъ-охотниковъ, обыкновенно, отзываются словами: „Не любо не слушай, а врать не мѣшай!“ Недаромъ славятся охотники тѣмъ, что не только птицу-звѣря бьютъ, а и всякія небылицы плетутъ,— такъ почему же измѣнять имъ своему излюбленному обычаю для весенняго-пролѣтняго Мартынова дня...

Мартыновъ день зовется во многихъ мѣстностяхъ „вороньимъ праздникомъ“. По старинному преданію, на него каждый старый воронъ отпускаетъ своихъ годовалыхъ воронятъ на отдѣльное гнѣздо—„на особое житье“. Воронъ—птица вѣщая, и не только вѣщая, а и зловѣщая. Живетъ воронъ-птица, по народному повѣрью, до трехсотъ лѣтъ. Простодушная мудрость, выразившаяся въ пословицахъ, присловьяхъ и другихъ крылатыхъ словахъ, относится къ нему далеко не доброжелательно „Всякому-бъ ворону каркать на свою голову!“—говорятъ старые люди, свѣдомые во всякомъ добрѣ и худѣ. „Старый воронъ мимо не каркнетъ!“—добавляютъ они. Народное суевѣріе замѣчаетъ, что на церкви воронъ каркаетъ къ покойнику на селѣ, на избѣ—къ покойнику во дворѣ. Даже, если

пролетитъ черезъ какой дворъ эта черная зловѣщая птица,—не быть тамъ добру. Въ глазахъ народа, населившаго окружающую природу живыми призраками своего суевѣрнаго воображенія, воронъ является олицетвореніемъ всего недобраго-злого. „Налетѣли черны вороны!“—говорятъ про обуявшія человѣка бѣды-напасти. „Ты не воронъ! Что каркаешь—бѣду накликаешь?!“—приговариваютъ порою въ народѣ. „Воронъ—вóрону глазъ не выклюетъ!“—замѣчаютъ о дружной-согласной жизни злыхъ людей.

Сродни ворону зловѣщему ворона, да не того разбора эта птица. Если она и каркаетъ, то вся бѣда отъ этого, по народному представленію, не пойдетъ дальше ненастной погоды. „Воронъ каркаетъ къ несчастью, ворона—къ ненастью!“—говорятъ на Руси. „Воронъ— волшебникъ, ворона—карга!“—отзывается объ этой птицѣ вороньяго рода народное слово. Воро̀ной въ переносномъ смыслѣ слова зовутъ каждаго нерасторопнаго человѣка. Это—тоже, что рохля, разиня, зѣвака. „Проворонить“—значитъ: прозѣвать, пропустить мимо рукъ. „Ну, началъ нашъ Иванъ воронъ считать!“—говорятъ о недальновидныхъ людяхъ; „Мѣтилъ въ ворону, а попалъ въ корову!“—приговариваютъ о нихъ-же. Какъ относится народная Русь къ свойствамъ вороны, видно, напримѣръ, изъ такихъ поговорокъ, какъ: „Пугана ворона и куста боится!“, „Ворона—совѣ не оборона!“, „Воронѣ соколомъ не бывать!“, „Наряди ворону въ павлиньи перья, все каргой останется!“, „Ворона прямо летаетъ, да все безъ толку!“, „Гдѣ воронѣ ни летать, а все навозъ клевать!“, „Одна ворона и за море летала, а все той-же каргой вернулась!“, „Не живать воронѣ въ высокихъ хоромахъ!“, „На что воронѣ большіе разговоры, знаетъ она одно свое к р а!“ и т. д. О воронахъ у деревенскихъ, умудренныхъ опытомъ, погодовѣдовъ существуетъ рядъ особыхъ примѣтъ. Если каркаетъ воронья стая лѣтомъ—быть дождю, зимой—морозу. Играть примутся на-лету вороны-карги—жди вёдра. Вѣдуны-знахари предсказываютъ по „вороно-граю“ (крику вороновъ и воронъ) не только погоду, но даже и судьбу человѣческую.

Пересѣкаетъ святъ-Пудовъ день (15-е число, память св. апостола Пуда) пополамъ апрѣль мѣсяцъ. Съ этимъ днемъ связаны немалыя заботы у пчеловодовъ. Опытъ давнихъ лѣтъ совѣтуетъ имъ осматривать амшеники, прислушиваться: начала-ли гудѣть пчела—Божья работница—въ ульяхъ. На югѣ въ обычаѣ выставлять въ это время пчелъ изъ зимнихъ помѣщеній на вольный воздухъ. „На день святого Пуда вынимай пчелъ изъ-подъ спуда!“—говоритъ объ этомъ мѣстное народное слово.

За святымъ Пудомъ идетъ-торопится на свѣтлорусскій просторъ „Ирина-разрой-берега“ (16-е апрѣля). Въ Московской и Ярославской губерніяхъ существуетъ у огородниковъ обычай—засѣвать въ этотъ день въ особыхъ ящикахъ-срубахъ капустную разсаду. На сѣверѣ-же это пріурочиваютъ къ 5-му мая, ко дню „Ирины-разсадницы“,—когда по другимъ, болѣе мягкимъ погодою, мѣстамъ уже высаживаютъ разсаду на грядки. Сибирскіе старожилы издавна привыкли ждать къ апрѣльскому Иринину дню полнаго вскрытія Иртышъ-рѣки.

17-го апрѣля, на вешній день Зосимы, соловецкаго чудотворца, поются по сельскимъ храмамъ Божіимъ молебны соловецкимъ угодникамъ Зосимѣ и Савватію (см. главу „Пчела—Божья работница“): пчеляки собираются выставлять пчелъ, принимаясь за это дѣло не иначе какъ съ благословенія святыхъ покровителей „Божьей птахи“, составляющей все богатство пчеловода. За Зосимою чествуется, по православному мѣсяцеслову, память святого Ивана Новаго. Въ этотъ день положено у огородниковъ засѣвать морковь со свеклою,—что и дѣлается съ соблюденіемъ особыхъ обычаевъ. Сѣмена смачиваются въ родниковой водѣ рано поутру. Сѣдая старина завѣщала опускать при этомъ въ родникъ мѣдныя деньги, чѣмъ предполагается обезпечить хорошій урожай овощей. По другому повѣрью, предпочитается смачивать сѣмена въ обыкновенной рѣчной водѣ на трехъ утреннихъ зорькахъ. И то, и другое повѣрья совѣтуютъ огородникамъ—при выполненіи этого—соблюдать величайшую предосторожность: никто изъ постороннихъ не долженъ видѣть, что дѣлаютъ сѣятели. „Чужой глазъ — что лихой ворогъ—завистливъ“,—гласитъ сѣдая простонародная мудрость,—„а зависть—что твоя ржавчина: весь урожай поѣдомъ съѣстъ!“

Девятнадцатый апрѣльскій день приводятъ на Святую Русь преподобные Трифонъ съ Никифоромъ. Помолясь имъ передъ божницею, хаживали встарину домовитыя бабы-хозяйки съ концомъ „обѣтнаго“ холста въ поле. Здѣсь—каждая на своей загонной межѣ—останавливались онѣ, истово били земные поклоны во всѣ стороны свѣта бѣлаго и затѣмъ, обратясь лицомъ къ восходу солнечному, выкликали: „Матушка-весна, вотъ тебѣ новая новинка!“ Послѣ этого принесенный холстъ разстилался на межникѣ, причемъ тутъ-же клался кусокъ пирога. По старинному повѣрью, весна брала себѣ это приношеніе и, въ благодарность, отдаривала чествовавшихъ ее богатымъ урожаемъ льна-конопли—на новые холсты.

Ударятъ бабы челомъ веснѣ, поклонятся, бывало, ей холстиною, а на другой день (20-го апрѣля) происходило—по за-

вѣту старины стародавней—„окликаніе родителей“. Мало-помалу выводится теперь этотъ глубоко трогательный обычай, но еще въ 30-хъ—40-хъ годахъ онъ соблюдался почти повсемѣстно въ памятующей дѣдовскіе завѣты деревенской глуши. Чуть загоралась утренняя зорька, шли всѣ бабы пожилыя да старухи старыя на кладбище—каждая на могилу своихъ родственниковъ—и начинали причитать-вопить истошнымъ голосомъ.

У Сахарова, въ собранныхъ имъ драгоцѣнныхъ памятникахъ родной старины, сохранились два причитанія. „Роденькіе наши батюшки!“—начинается одно изъ нихъ: „Не надсажайте своего сердца ретиваго, не рудите своего лица бѣлаго, не смежите очей горючей слезой! Али вамъ, роденькимъ, не стало хлѣба-соли, не достало цвѣтна платья? Али вамъ, роденькимъ, встосковалося по отцу съ матерьей, по милымъ дѣтушкамъ, по ласковымъ невѣстушкамъ? И вы, наши роденькіе, встаньте-пробудитесь, поглядите на насъ, на своихъ дѣтушекъ, какъ мы горе мычемъ на семъ бѣломъ свѣтѣ. Безъ васъ-то, наши роденькіе, опустѣлъ высокъ теремъ, заглохъ широкъ дворъ; безъ васъ-то, родимые, не цвѣтно цвѣтутъ въ широкомъ полѣ цвѣты лазоревы, не красно растутъ дубы въ дубровушкахъ. Ужъ вы, наши роденькіе, выгляньте на насъ, сиротъ, изъ своихъ домковъ, да потѣшьте словомъ ласковымъ!“ Плакали-надрывались тонкіе женскіе голоса, плакало-обливалось кровью сердце каждой изъ причитавшихъ. И не диво, что слышало это рыдающее сердце откликавшіеся изъ могилы голоса своихъ „роденькихъ“,—а если даже и не слышало, то чуять—чуяло.

Другое, записанное собирателемъ „Сказаній русскаго народа“, причитаніе еще болѣе трогательно. „Родимые наши батюшки и матушки“,—разносилось оно по нивѣ смерти, припадаючи къ могилушкамъ: „Чѣмъ-то мы васъ, родимыхъ, прогнѣвали, что нѣтъ отъ васъ ни привѣту, ни радости, ни тоя прилуки родительской? Ужъ ты, солнце, солнце ясное! Ты взойди, взойди, со полуночи, ты освѣти свѣтомъ радостнымъ всѣ могилушки, чтобы нашимъ покойничкамъ не во тьмѣ сидѣть, не съ бѣдой горевать, не съ тоской вѣковать! Ужъ ты, мѣсяцъ, мѣсяцъ ясный! Ты взойди, взойди со вечера, ты освѣти свѣтомъ радостнымъ всѣ могилушки, чтобы нашимъ покойничкамъ не крушить во тьмѣ своего сердца ретиваго, не скорбѣть во тьмѣ по свѣту бѣлому, не проливать во тьмѣ горючихъ слезъ по милымъ дѣтушкамъ! Ужъ ты, вѣтеръ, вѣтеръ буйный! Ты возвѣй, возвѣй со полуночи, ты принеси вѣсть радостну нашимъ покойничкамъ, что по нихъ-ли всѣ дѣтушки изныли во кручинушкѣ, что по нихъ-ли всѣ невѣс-

тушки съ гореваньица надсадилися...“ Замирали щемящія душу слова, и—какъ-бы въ отвѣтъ на нихъ—лило на сырую грудь земли золотыя волны животворныхъ лучей солнце ясное, обвѣвалъ могилушки теплый весенній вѣтеръ. Добрая мать-природа словно вторила простому и любвеобильному, какъ сама она, человѣческому сердцу.

На другія сутки послѣ окликанія родителей, въ день св. мученика Прокула, въ старые годы было по многимъ мѣстамъ въ обычаѣ проклинать нечистую силу, заковывающую тепло въ ледяныя оковы и опутывающую свѣтъ солнечный тьмою-сумракомъ. Проклятіе выкликали старухи, выходя за деревенскую околицу и становясь лицомъ къ западу. Существовалъ особый обрядъ этого проклятія, подробности котораго такъ и затерялись-затонули, исчезнувъ на вѣки вѣчные, въ волнахъ бездоннаго моря народнаго. Преданіе, переходившее изъ устъ въ уста, гласило, что соблюденіемъ этого обычая ограждался деревенскій-посельскій людъ на всю весну и на цѣлое лѣто отъ всякихъ ухищреній злой нéчисти, а наособицу охранялся этимъ крестьянскій скотъ на подножномъ весеннемъ корму. 22-го апрѣля, когда—въ числѣ другихъ угодниковъ—чествуется память святого апостола Луки, сельскохозяйственный опытъ совѣтуетъ высаживать на грядки лукъ. „Кто ѣстъ лукъ, того Богъ избавитъ отъ вѣчныхъ мукъ!“—говорятъ при этомъ старые люди. „Лукъ помогаетъ отъ семи недугъ!“—приговариваютъ они. По народному, отзывающемуся стародавнимъ происхожденіемъ, присловью. „Лукъ—татаринъ: какъ снѣгъ сошелъ, такъ и онъ тутъ!“ Здѣсь, вѣроятно, память подсказываетъ народу-краснослову о весенніхъ набѣгахъ на русскія порубежныя мѣста крымскихъ и ногайскихъ татаръ, дѣйствительно появлявшихся со стороны степи чуть не каждый годъ вмѣстѣ съ первой травою. Отъ этихъ хищническихъ набѣговъ и оберегали родную землю запорожскіе конные караулы, ставившіеся по всему русскому рубежу.

За днемъ св. апостола Луки—день, посвященный памяти великомученика Георгія-Побѣдоносца (23-е апрѣля)—„Егорій (Юрій-теплый) весенній“—идетъ на Святую Русь православную. Какъ и о зимнемъ Юрьевѣ днѣ („холодномъ“, приходящемся на 26-е ноября), ходитъ о немъ, что на подорожный посохъ—опираясь на память старыхъ людей, многое-множество сказаній, повѣрій и поговорокъ, неразрывными узами связанныхъ съ бытомъ русскаго пахаря (см. главы XXI и XLIX). Придетъ Егорій съ тепломъ, выгонитъ въ поле коровъ, отбудетъ свой чередъ на Руси; а за нимъ слѣдомъ, по крылатому слову народному, „Савва (Стратилатъ) на Савву (Пе-

черскаго) глядитъ—тяжелому май-мѣсяцу послѣднее жито изъ закрома выгребать велитъ". Завзятые деревенскіе краснобаи, за̀ словомъ въ карманъ не лазящіе, сыплятъ въ этотъ день направо и налѣво поговорками-прибаутками, въ-родѣ: „Про нашего Савву распустили славу, не пьетъ-де, не ѣстъ, а зерномъ мышей кормитъ!", „Богатъ Савва, знай—по-міру ходитъ да подъ окнами славитъ!", „Всего у меня вдоволь, чего хочешь—того и просишь!—А дай-ка, братъ, хлѣбца! Ну, хлѣбъто давно весь вышелъ, поди—возьми у Савки въ лавкѣ!" и т. д. Съ днемъ, посвященнымъ Православной Церковью памяти св. апостола и евангелиста Марка (25-мъ апрѣля), связана особая сельскохозяйственная примѣта. Если въ этотъ день утромъ, на восходѣ солнечномъ, летятъ птичьи стаи на конопляники, то слѣдуетъ, по увѣренію опытныхъ хозяевъ, ожидать завиднаго урожая конопли. Увидавъ эту добрую примѣту, встарину, обыкновенно, разсыпали по задворкамъ нѣсколько горстей коноплянаго сѣмени—на угощеніе залетной птицѣ. Было въ обычаѣ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ходить въ этотъ день ловить тенетами чижей. Въ Тулѣ, придерживающейся и до сихъ поръ многихъ забытыхъ по другимъ городамъ обычаевъ, еще въ сороковыхъ годахъ хаживали на эту охоту-забаву чуть-ли не всѣ старики, располагавшіе свободнымъ временемъ.

28-е апрѣля (память св. апостоловъ Іасона и Сосипатра)—день, страшный для бѣлыхъ березонекъ: во многихъ мѣстахъ принято въ это время пробуравливать ихъ до самой сердцевины и нацѣживать въ кувшины бѣгущій изъ нихъ сладковатый на вкусъ, расположенный къ быстрому броженію весенній сокъ—„березовицу". Не мало гибнетъ кудрявыхъ красавицъ лѣсного царства изъ-за легкой добычи этого напитка, до котораго лакомъ деревенскій людъ. „Березовицы на грошъ, а лѣсу на рубль изведешь!"—замѣчаетъ объ этомъ слово сѣдовласой народной мудрости. „Пьяную березовицу навеселяютъ хмѣлемъ!"—словно отвѣчаетъ ей легкомысленная молодежь. Деревенскія лѣкарки-знахарки собираютъ березовый сокъ и не для лакомства-питья, а на пользу болящему люду. Болѣе всего онѣ пользуютъ этимъ весеннимъ снадобьемъ страждущихъ-маящихся неотвязной лихорадкою. Но передъ этимъ необходимо, по увѣренію ихъ, или выкупать больного въ дождевой водѣ, или—еще того лучше—натереть мартовскимъ (собраннымъ въ позимнемъ мѣсяцѣ) снѣгомъ, если гдѣ-нибудь съумѣли его сберечь-сохранить. Солнечный день 28-го апрѣля служитъ вѣрнымъ предзнаменованіемъ того, что „сестры-лихоманки отпустятъ болящаго". Если-же въ этотъ день

идетъ либо снѣгъ, либо дождикъ, или развѣситъ надъ землею свои сѣрые пологà мглистый туманъ, то свѣдущіе въ „лѣчобѣ“ люди не совѣтуютъ пользовать больного по только-что указанному способу знахарокъ. Послѣднія-же, въ такомъ неблагопріятномъ для ихъ работы случаѣ, находятъ себѣ другое дѣло. Берутъ онѣ „обѣтныя ладанки“, выходятъ съ ними на перекрестное распутье дорогъ и ждутъ-поджидаютъ тамъ: не повѣетъ-ли попутный теплый вѣтеръ со полудня. Этотъ вѣтеръ, въ ихъ представленіи, тоже является цѣлебнымъ. Какъ только начинаетъ тянуть южнымъ вѣтеркомъ, выставляютъ онѣ ему навстрѣчу свои ладанки и особыми нàшептами загоняютъ въ нихъ вѣтеръ, чтобы послѣ—положивъ ладанку на одержимаго бòлѣстью—излѣчить его этимъ ниспосланнымъ изъ-за теплыхъ морей снадобьемъ.

29-е апрѣля—день девяти мучениковъ—считался въ старые годы тоже днемъ цѣленій. „Девять святыхъ мучениковъ, Ѳеогнидъ, Руфъ, Антипатръ, Ѳеостихъ, Артемъ, Магнъ, Ѳеодотъ, Ѳавмасій и Филимонъ,“—причитали-нашептывали вѣдуны-книгочеи надъ болящимъ: „исцѣлите раба Божія (имя рекъ) отъ девяти недугъ, отъ девяти напастей: чтобы его не ломало, не томило, не жгло, не знобило, не трясло, не вязало, не слѣпило, съ ногъ не валило и въ Мать-Сырую-Землю не сводило. Слово мое крѣпко—крѣпче желѣза! Ржа ѣстъ желѣзо, а мое слово и ржа не ѣстъ. Заперто мое слово на семьдесятъ семь замковъ, замки запечатаны, ключи въ окіянъ-море брошены, Китъ-рыбой проглочены. Аминь.“ Этотъ заговоръ, произнесенный въ урочное время, оказывалъ, по мнѣнію суевѣрныхъ людей, неминуемое облегченіе больному; но только,—добавляли они,—и сказать-то наговорное слово надо нѣспроста, а „умѣючи“...

Послѣдній день апрѣля—пролѣтняго мѣсяца—отмѣченъ въ народной Руси наособицу. Если вечеромъ съ этого дня на 1-е мая вспыхнетъ глубь небесная алмазной розсыпью звѣздной, да потянетъ на Святую Русь полуденнымъ-теплымъ вѣтромъ, то—по примѣтѣ подмосковной—должно ожидать не только богатаго грóзами и тепломъ лѣта, но и хорошаго урожая. Въ другихъ мѣстахъ—между прочимъ, въ Рязанской губерніи—ведется обычай наблюдать въ этотъ день поутру за восходомъ солнечнымъ. Взойдетъ солнышко изъ-за горъ-горы на чистомъ, безоблачномъ небѣ,—быть и всему лѣту ведреному; выглянетъ красное на бѣлый свѣтъ сквозь облака—залютъ лѣтолѣтенское дожди-сѣногнòи. Существуетъ въ Тульской губерніи повѣрье, что 30-го апрѣля нельзя выѣзжать въ путь-дорогу, не умывшись водою, натаенной изъ мартовскаго снѣга, ко-

торому, какъ видно, и не въ одномъ только этомъ случаѣ придается цѣлебная сила. Начинаютъ бродить по чужой сторонѣ,—гласитъ это повѣрье,—всякія лихія весеннія болѣсти; не обережешься отъ нихъ мартовскимъ снѣгомъ, такъ изведутъ тебя въ конецъ! Сидятъ онѣ всю зиму-зимскую въ снѣговыхъ горахъ; вмѣстѣ съ первою вешней оттепелью положено имъ выходить на-люди. Пригрѣваетъ назябшуюся въ зимніе холода землю красно-солнышко; таетъ-горитъ бѣлъ-пушистый снѣгъ; а онѣ—проклятое племя—разбѣгаются во всѣ стороны міра Божьяго: гдѣ завидятъ подходячаго человѣка—сейчасъ и шасть къ нему! Одна всего и есть обережь отъ нихъ—мартовскій снѣгъ: боятся лихія болѣсти его, какъ соль—воды, какъ воскъ—огня... Канунъ тяжелаго май-мѣсяца съ давнихъ поръ слыветъ-живетъ въ народной Руси днемъ послѣднихъ весеннихъ свадебъ. „Въ маѣ жениться—вѣкъ свой маяться!“ Всѣмъ это вѣдомо, всѣми добрыми людьми знаемо! Встарину считалось даже за тяжкую обиду свататься въ маѣ, а еще зазорнѣе—справлять въ этомъ неурочномъ мѣсяцѣ раньше налаженную-сговоренную свадьбу. Держатся и посейчасъ этого стараго обычая по многимъ мѣстамъ.

Въ народномъ „Мѣсяцесловѣ“, распѣваемомъ каликами-перехожими, питающимися Христовымъ именемъ да пѣснями-стихами духовными, воспѣтъ каждый день апрѣль-мѣсяца. „Всю землю цвѣты апрѣль одѣваетъ, весь соборъ людскій въ радость призываетъ, листвіемъ древо зелёнымъ вѣнчаетъ,“—начинается этотъ стихъ. Затѣмъ, поименно перечисляются всѣ памятуемые въ мѣсяцѣ святые—въ сопровожденіи краткаго хвалебнаго слова о каждомъ. Восхваленіе сонма чествуемыхъ въ апрѣлѣ угодниковъ Божіихъ, заканчивается особой хвалою послѣднему святому мѣсяца—св. Іакову, сыну Зеведееву:

„Въ тридесятый день славно восхваляемъ,
И къ солнцу-мѣсяцу свѣтло просвѣтляемъ,
Благодатію присно весь сіяетъ,
Церковный вѣнецъ, звѣзда солнечная,
Съ двунадесяти свыше явленная,
Ему же есть честь отъ Бога вѣчная!“

Осѣненная благословляющей десницею апостола Христова переступаетъ народная Русь за порогъ пролѣтняго апрѣль-мѣсяца, выходя навстрѣчу зеленому „трàвню-цвѣтеню“—со всѣмъ его весельемъ въ природѣ, со всей его трудовою мàятой для кормящихся отъ щедротъ земли.

XVIII.

Страстная недѣля.

Великіе дни страданій Спасителя, воспоминаемые, по уставу Православной Церкви, исключительно-торжественными и продолжительными Богослуженіями, на деревенской Руси отмѣчены особыми повѣрьями и обычаями. Съ каждымъ днемъ Страстной, — или, какъ обыкновенно говорятъ въ народѣ, „Страшно̀й“, — недѣли связана своя, только къ нему одному относящаяся, примѣта. Простоватъ русскій мужикъ, — что̀ и говорить, — да примѣтливъ какъ никто, — недаромъ за „краснобая-острослова“ на міру слыветъ съ незапамятныхъ временъ стародавнихъ. Да не только примѣтливъ онъ, а и памятливъ: каждый старинный обычай неписаный помнитъ-перенимаетъ отъ дѣдовъ-прадѣдовъ.

Съ понедѣльника на Страстной недѣлѣ начинаетъ вся Русь крещеная мыться-чиститься, ко встрѣчѣ Свѣтлаго Праздника сряжаться-готовиться. „Страшной понедѣльникъ на дворъ идетъ — всю дорогу вербой мететъ!“, „Съ Великаго понедѣльника до Великаго Дня (Пасхи) цѣлая недѣля, по горло бабамъ дѣла!“, — говоритъ деревня, только-что встрѣтившая съ вербами (ваіями) въ рукахъ Вербное Воскресенье, съ которымъ у дѣтворы связана память о словахъ: „Верба хлёстъ — бей дослезъ!“ Вторникъ является днемъ, въ который, по старому обычаю, положено дѣлать „соченое молоко“. Для этого рано поутру, еще до разсвѣта, сметаютъ по закромамъ конопляное и льняное сѣмя, перемѣшиваютъ, толкутъ въ ступахъ и разводятъ водою. Для охраны домашней животины ото всякихъ болѣстей хорошо, по совѣту знающихъ людей, поить ее такимъ „молокомъ“, — причемъ и это лѣченіе должно производиться

также, какъ и приготовленіе лѣкарственнаго снадобья-пойла, да ранней зорькѣ. Кромѣ этого условія, лѣкарки совѣтуютъ не показывать „соченаго молока“ мужикамъ. „Это-де бабье дѣло, а коли попадешься съ нимъ на глаза мужику—никакого толку не будетъ отъ лѣченья!“ По этому молоку старые люди распознаютъ еще, будетъ-ли прокъ изъ скота: не пьетъ животина его—быть худу, стало-быть, какимъ-нибудь злымъ человѣкомъ на неё порча напущена,—и на неё, и на весь приплодъ даже! Въ Страшну́ю середу принято, изъ предосторожности на всякій случай, обливать водою всю скотину на дворѣ,—да не простой водою, а натаенной изъ снѣга, собраннаго по оврагамъ и посоленнаго прошлогодней «четверговою» солью. Эта вода предохраняетъ дворъ ото всякаго „напуска“ на цѣлый годъ.

Въ Великій четвергъ—новая забота старикамъ со старухами, соблюдающимъ старину: пережигать соль въ печи. Соль и вообще-то, по народному повѣрью, является, цѣлебною, а четверговая—наособицу: ее тщательно сохраняютъ въ божницѣ, за иконами. Въ Пошехонскомъ уѣздѣ, Ярославской губерніи, существуетъ обычай въ Великій четвергъ поутру кормить пѣтуховъ на печной заслонкѣ,—чтобы отгоняли чужихъ пѣтуховъ отъ корма,—а въ курятникъ выносить золу и посыпать ею полъ, чтобы куры хорошенько неслись. По нѣкоторымъ пошехонскимъ деревнямъ ходятъ въ этотъ день дѣвки съ бабами окачиваться водою подъ куриной насѣстью (для здоровья). Въ полночь на этотъ завѣтный день,—говоритъ преданіе,—„воронъ заботливый отецъ, купаетъ дѣтей своихъ“. Стародавнее повѣрье совѣтуетъ прорубать на рѣчкѣ (гдѣ еще не сбѣжитъ до той поры вешняя-полая вода) прорубь для вороньей купальни. Это, если вѣрить старинѣ на́-слово, должно приносить счастье. А кромѣ того, и воронъ—вѣщая птица—начинаетъ, въ благодарность за оказанную ему помощь, оберегать ниву и дворъ прорубившаго прорубь отъ хищника-звѣря, ото всякой хищной птицы.

Встарину, въ эту полночь, „послѣ первыхъ пѣтуховъ“, выходили на рѣку парни съ дѣвушками красными и торопливо зачерпывали изъ проруби воды, „покуда воронъ не обмакнулъ крыла“. Въ это время приходитъ на землю, по сказаніямъ русскаго народа, весна красная и приноситъ вмѣстѣ съ собою „красную красоту“ и здоровье. „Воронъ—завистникъ, не давай ему запастись здоровьемъ прежде тебя!“ — подаетъ совѣтъ суевѣрная деревня. Еще въ тридцатыхъ годахъ XIX-го столѣтія въ Костромской губерніи въ Страстной четвергъ собились поутру дѣвушки на берегу рѣчки и—если вода вскры-

лась—входили въ воду по-поясъ, становились въ тѣсный кружокъ и начинали, держась за руки, заклинать весну, громко распѣваючи:

„Весна, весна красная!
Приди, весна, съ милостью,
Со тою-ли милостью,
Съ великою радостью—
Со тою-ли радостью,
Съ великою благостью!..
Весна, весна красная!..“

Тамъ-же, гдѣ ледъ еще не вскрылся и стоялъ,—дѣвушки встрѣчали весну у проруби, умывались изъ нея и съ веселыми, столь не подходившими къ Страстной недѣлѣ, пѣснями о веснѣ возвращались по домамъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ,—напримѣръ, въ Солигаличскомъ уѣздѣ Костромской губ.,—встрѣчавшія весну-красавицу три раза погружались въ прорубь или въ освобожденную ото льда воду и катались „на восточную и западную стороны“ по землѣ; затѣмъ шли домой и влѣзали по угламъ избы на крышу, гдѣ пѣли до полудня, несмотря на воркотню стариковъ, по заведенному обычаю—благочестиво пережигавшихъ соль въ это-самое время.

Въ Великій четвергъ совѣтуютъ старые люди подстригать въ первый разъ волосы годовалому ребенку („до году—грѣхъ!“). Красны-дѣвушки подрѣзаютъ въ этотъ день кончики своихъ косъ,—чтобы росли онѣ длиннѣе да гуще.

Всюду въ обычаѣ—приходить домой отъ четверговой всенощной съ горящими свѣчами. Крестьяне, еще и теперь, выжигаютъ принесенною „отъ двѣнадцати Евангелій“ свѣчою кресты на дверяхъ и потолкахъ, думая отогнать этимъ злую-нечистую силу отъ своего крова. Если такую свѣчу зажечь въ грозу, то можно не бояться громовыхъ ударовъ: всѣ они отгремятъ, не причинивъ богобоязненному дому никакого вреда. Зачастую деревенскія лѣкарки-знахарки зажигаютъ „страстную“ свѣчу и даютъ ее въ руки трудно-больнымъ, а также и мучающимся родильницамъ. Такова ея цѣлебная сила, по словамъ умудренныхъ опытомъ людей. Съ этого дня—изъ опасенія „засорить глаза лежащему во гробѣ Христу“—не принято мести хаты вплоть до Свѣтлаго Праздника.

Завзятые погодовѣды народной Руси примѣтили, что—если на Великій четвергъ холодно, то и вся весна не будетъ особенно жаловать тепломъ; если на Великій четвергъ дождь идетъ, то надо ожидать мокрой весны. „Какова погода въ

Страшной четвергъ, таково и Вознесенье!"—замыкается цѣпь связанныхъ съ этимъ днемъ примѣтъ.

Въ „Стоглавѣ" [43]) записано преданіе о томъ, что въ Великій четвергъ встарину палили утромъ солому и кликали при этомъ мертвыхъ. Обычай этотъ былъ признанъ книжными людьми за „прелесть эллинскую и еретическую". „Мнози же отъ человѣкъ",—говорится о подобномъ этому обычаѣ въ другомъ памятникѣ старинной русской письменности,—„се творятъ по злоумію своему. Въ святый Великій четвертокъ повѣдаютъ мертвымъ мяса и млека и яйца, и мыльница (баня) топятъ и на печь льютъ и пепелъ посредѣ сыплютъ слѣда ради и глаголютъ: „мыйся", и чехлы вѣшаютъ, и убрусы и велятъ се терти. Бѣси же смѣются злоумію ихъ и, влѣзши, мыются и въ пепелѣ томъ яко и куры слѣдъ свой показуютъ на пепелѣ на прельщеніе имъ и трутся чехлы и убрусы тѣми. И приходятъ топившіи мовницы и глядаютъ на пепелъ слѣда и егда видятъ на пепелѣ слѣдъ и глаголютъ: приходили къ намъ навья (покойники) мыться. Егда то слышатъ бѣси и смѣются имъ"...

Страстная пятница—одна изъ особо чтимыхъ въ народѣ п я т н и ц ъ, хотя и меньше Благовѣщенской и „десятой": Въ Великую субботу, передъ сумерками, заклинаются утренники-морозы,—просятъ ихъ не губить яровыхъ хлѣбовъ, льна - конопли. А тамъ—наступаетъ и Святая, „великоденская", „славная" и „красная" недѣля, на которую умильными голосами выводятъ, у церковныхъ папертей сидючи, свой стихъ воскресный сохранившіеся исчезающимъ пережиткомъ пѣсенной народной старины калики-перехожіе:

„Се нынѣ радость,
Духовная сладость,
Веселятся небеса,
И радуется земля
Вкупѣ съ человѣки,
Съ безплотными лики.
Взыграй днесь, Адаме,
И радуйся, Евва..."

---

[43]) „С т о г л а в ъ"—сборникъ, представляющій сводъ мнѣній и постановленій созваннаго царемъ Іоанномъ IV-мъ Собора московскаго (изъ представителей духовенства). Соборъ этотъ (1551 г.) имѣлъ своей задачею разсмотрѣніе и исправленіе безпорядковъ, вкравшихся въ жизнь и дѣятельность русскаго духовенства. Въ сборникѣ—сто главъ, откуда и самое названіе его. Содержаніемъ ихъ служатъ не только церковные, но и чисто свѣтскіе, вопросы. Царь, созывая соборъ, имѣлъ въ виду и послѣдніе.

У Безсонова записано, между прочимъ, въ цѣломъ рядѣ разноказовъ сказаніе „Свитокъ Іерусалимскій“—о томъ, какъ „изъ седьмого неба выпадѣше камень“, какъ къ этому камню съѣзжались цари и патріархи, священники и всякіе православные люди, „служили надъ камнемъ три дни и три нощи“, и онъ распался на двѣ половины, обнаруживъ сокрытый въ немъ „Ирусалимскій свитокъ“. Этотъ свитокъ гласитъ о Страстной недѣлѣ слѣдующее (отъ имени Іисуса Христа): „Чады вы Мои! Поймѣйте вы Мою Страшную недѣлю: какъ Я, Господи, воскорбилъ Своею душою, отъ смертнаго часу до Христова Воскресенія, такожды и вы попоститеся вѣрою и любовію, кротостямъ и смиреніемъ, своими благими дѣлами; а вы жда попоститеся хоть и малую часть, отъ Великаго Четверга до Христова Воскресенія, лишитеся хмѣльнаго питія, скверности изо устъ изобраннаго слова, не бранитеся: Мать Пресвятая Богородица на престоли встрепенулася, уста кровію запекаются. Аще которыя человѣкъ на Великую Пятницу хмѣльнаго требуетъ, не подобаетъ тому человѣку въ тотъ день ни пить, ни ѣсть, ни ко кресту иттить, ни къ Евангелью, ни устами своими Дары принять, хотя-жъ яво конецъ идетъ“... Въ приведенномъ отрывкѣ „Свитка“ высказался суровый взглядъ простодушнаго народа-стихослагателя на отношеніе его къ требованіямъ церковнаго устава, предписывающаго полное воздержаніе на эти дни строжайшаго поста и смиреннаго во всѣхъ грѣхахъ и прегрѣшеніяхъ своихъ покаянія.

Въ сѣдые годы язычества на Руси Страстная недѣля посвящалась богу громовъ небесныхъ. Перуна чествовали на неё разжигавшимися по холмамъ кострами. Этимъ-послѣднимъ какъ-бы высказывалось желаніе помочь жизнедѣятельной творческой силѣ воскресавшей весны. Небесный костеръ—солнце—начинало въ эти дни играть-плясать на небѣ, радуясь побѣдѣ надъ темными силами зимы. Отогрѣтая его знойными взглядами, Мать-Сыра-Земля все глубже и свободнѣе вздыхала послѣ ледяныхъ оковъ почти полугодового плѣна. Всё это не проходило безъ слѣда и для духовнаго міросозерцанія простолюдина-язычника, ревниво подмѣчавшаго каждый вздохъ обступавшей его отовсюду, одушевляемой его творческимъ воображеніемъ, природы.

На Страстной недѣлѣ совершалось въ стародавніе годы огражденіе полей отъ злыхъ духовъ. Слѣды древняго обычая-обряда уцѣлѣли до сихъ поръ среди вотяковъ и черемисовъ, отгоняющихъ въ это время отъ своихъ дворовъ „шайтана“. По заслуживающимъ всякаго довѣрія разсказамъ очевидцевъ,

въ черемисскихъ и вотяцкихъ деревняхъ парни и дѣвки съ зажженными лучинами въ рукахъ (а нѣкоторыя—съ метлами и кнутами), сѣвъ верхомъ на лошадей, съ дикимъ крикомъ начинаютъ скакать по улицѣ изъ одного конца въ другой. Поднимается невообразимый шумъ. Изгоняющіе шайтана стучатъ палками въ ворота дворовъ, колотятъ объ углы избъ, хлѣвовъ и конюшенъ. Потомъ всѣ мчатся въ поле—къ яровымъ посѣвамъ, гдѣ ставятъ двѣ палки и строятъ вокругъ нихъ тѣсную изгородь. Это служитъ знакомъ того, что шайтанъ отогнанъ отъ поля и устрашенъ настолько, что едва-ли уже осмѣлится показаться возлѣ него „на людяхъ“.

Приблизительно въ то-же время происходитъ въ деревняхъ, стоящихъ на рыбныхъ рѣкахъ, угощеніе Водяного, сидящаго въ каждой рѣкѣ на безсмѣнномъ воеводствѣ. Для угощенія „дѣдушки“ покупается цѣлой рыболовной артелью на общій счетъ старая, отслужившая всѣ свои службы кляча,—покупается „безъ торгу“, за первую спрошенную цѣну. Это дѣлается для того, чтобы доказать, что для угощенія такой важной особы—не жаль ничего. Трое сутокъ орткамливаютъ обреченную на подарокъ Водяному лошадь конопляными жемыхами и хлѣбомъ. Затѣмъ, въ послѣдній вечеръ намазываютъ ей голову соленымъ медомъ и убираютъ гриву мелкими красными ленточками. Передъ самымъ „угощеніемъ“ спутываютъ лошади ноги веревками и навязываютъ ей на шею жерновъ. Наступаетъ часъ всевозможныхъ заклинаній—полночь. Лошадь ведутъ къ рѣкѣ. Если послѣдняя освободится къ этому времени ото льда, то садятся на лодки и тащутъ за собой лошадь на средину рѣки; если-же ледъ еще лежитъ, прроубаютъ прорубь и сталкиваютъ въ нее „подарокъ дѣдушкѣ“. Большое несчастіе,—говорится въ „народномъ дневникѣ“,—если рѣчной воевода не жалуетъ угощенія (т.-е. лошадь долго не тонетъ). Водяной всю зиму лежитъ на рѣчномъ днѣ и спитъ глубокимъ сномъ. Къ веснѣ онъ—изрядно наголодавшійся за зимнюю спячку — просыпается, начинаетъ ломать ледъ и до-смерти мучитъ рыбу: на-зло рыболовамъ. Вотъ потому-то они и стараются умилостивить угощеніемъ гнѣвливаго рѣчного воеводу. Послѣ этого онъ дѣлается покладистѣй-сговорчивѣе и самъ начинаетъ стеречь рыбу, переманивать „на княжескій хлѣбъ“ крупныхъ рыбъ изъ другихъ рѣкъ, спасаетъ рыбаковъ на водахъ во время бурь и распутываетъ имъ невода. А не надумай кормящійся у рѣки людъ расположить въ свою пользу старика,—такъ бѣды всякой не оберется отъ такой оплошности! Три дня, три ночи поджидаетъ рѣчной воевода угощенія: нѣтъ-нѣтъ да и выгля-

нетъ изъ своихъ подводныхъ хоромъ—не ѣдутъ-ли рыболовы съ завѣтнымъ „приносомъ“... Все угрюмѣй, все недовольнѣе дѣлается старый. Если-же на четвертыя сутки не приведутъ рыбаки обреченную въ гостинецъ лошадь, то Водяной начинаетъ душить всю рыбу въ рѣкѣ, а затѣмъ—покидаетъ предѣлы мѣстности, гдѣ такъ непочтительно отнеслись къ его исконнымъ правамъ на подарокъ. А не услышитъ онъ и въ новой своей усадьбѣ на Страстной недѣлѣ словъ: „Вотъ тебѣ, дѣдушка, гостинцу на новоселье. Люби да жалуй нашу семью!“,—то и тамъ долго не уживется: и тамъ,—по словамъ старыхъ рыбаковъ, видавшихъ на своемъ многоопытномъ вѣку всякіе виды,—„вся рыба вверхъ брюхомъ станетъ плавать“.

Седмицѣ Страстей Христовыхъ предшествовалъ встарину на Москвѣ Бѣлокаменной торжественный обрядъ „шествія на осляти“, знаменовавшій воспоминаніе о евангельскомъ событіи—Входѣ Господнемъ во Іерусалимъ. День, посвященный празднованію этого великаго событія, какъ и въ настоящее время, носилъ на Руси названіе Вербнаго Воскресенья. Начало свѣдѣній о совершеніи названнаго обряда должно отнести къ XVI-му столѣтію, времени—когда, подъ властной рукою царей, только-что начала слагаться въ стройный укладъ самобытная жизнь московской Руси. Умилительное для русскаго сердца и поразительное для иноземныхъ гостей зрѣлище представлялъ этотъ крестный ходъ во главѣ съ патріархомъ, возсѣдавшимъ на „осляти“ (конѣ въ бѣломъ суконномъ уборѣ), ведомомъ рукою вѣнценоснаго богомольца—царя-государя всея Руси, возлагавшаго на рамена свои—вмѣстѣ съ бармами—истинно-христіанскій подвигъ смиренія. Лѣтописныя сказанія современниковъ оставили намъ яркую картину того, какъ совершался въ XVII-мъ вѣкѣ этотъ безпримѣрно торжественный благочестивый обрядъ стародавнихъ дней, отмѣненный въ 1700-мъ году—одновременно съ упраздненіемъ на Святой Руси патріаршества.

Ранымъ-рано начиналъ стекаться въ Вербное Воскресенье къ стѣнамъ Кремля златоглаваго царелюбивый и богобоязненный московскій людъ: всякому хотѣлось протѣсниться поближе къ Успенскому собору, дабы удостоиться „пресвѣтлаго царскаго лицезрѣнія“. Отстоявъ у себя на Верху (въ своихъ палатахъ) раннюю обѣдню, шелъ царь-государь въ этотъ храмъ Божій—въ своемъ праздничномъ выходномъ нарядѣ. Держав-

наго хозяина Земли Русской окружалъ многочисленный сонмъ бояръ; шли о-бокъ съ ними окольничіе и прочіе чины. Изъ соборныхъ дверей, спустя малое время, показывались хоругви, кресты, рипиды и иконы; шли между ними, по-двое и по-трое въ рядъ, чернецы, діаконы и священники. Слѣдомъ за соборными иконами выступали успенскій съ благовѣщенскимъ протопопы, а за ними—пѣвчіе, поддьяки, ключари и, наконецъ, патріархъ въ маломъ облаченіи. О-бокъ съ владыкою-святителемъ шли діаконы, неся—справа отъ него Святое Евангеліе, слѣва—„на мисѣ крестъ золотой, жемчужный, большой да малое Евангеліе“. Вся священнослужительствующая Москва шла въ патріаршемъ крестномъ ходу,—да не только Москва, а и духовенство иныхъ городовъ русскихъ. Шествіе царя-государя было не менѣе блестяще. Открывалось оно нижними чинами, за которыми выступали дьяки, дворяне, стряпчіе, стольники, ближніе и думные люди и окольничіе. За послѣдними шествовалъ самъ вѣнценосный богомолецъ. Замыкали ходъ бояре въ богатыхъ шубахъ и высокихъ горлатныхъ шапкахъ, ближайшіе изъ ближнихъ людей, гости, приказные, иныхъ чиновъ люди и народъ. Весь путь—съ обоихъ боковъ—оберегали полковники стрѣлецкіе въ бархатныхъ и объяринныхъ ферезеяхъ и въ турскихъ кафтанахъ. Возлѣ нихъ—также по обѣ стороны—шли стрѣльцы стремяннаго полку, „въ одинъ человѣкъ“: сотня съ золочеными пищалями да полусотня съ батожками и прутьями. За стѣною стрѣльцовъ были разставлены пестрыя кадки съ пучками вербы, предназначавшейся для раздачи народу московскому. Оба шествія останавливались предъ Покровскимъ соборомъ—„лицомъ къ восходу солнечному“. Царь со святителемъ вступали со Входо-Іерусалимскій придѣлъ, въ сопровожденіи высшихъ чиновъ государевыхъ и духовенства. По обѣ стороны Лобнаго Мѣста становилась вся остальная свита государева со стольниками во главѣ. Въ соборномъ придѣлѣ, между тѣмъ, начиналось молебствіе. Во время него облачался патріархъ; государь-же возлагалъ на себя большой нарядъ царскій еще на паперти. Во храмъ Божій вступалъ царь въ „платнѣ“ изъ золотной ткани, отороченномъ жемчужнымъ узорочьемъ, усыпаннымъ каменьемъ самоцвѣтнымъ. Надъ челомъ самодержца сверкалъ драгоцѣнной осыпью—алмазами, изумрудами да яхонтами—вѣнецъ царскій, соболемъ опушенный. Рамена государевы были покрыты бармами, именуемыми „діадимою“; на груди сіялъ Крестъ Животворящаго Древа. Царскій посохъ смѣнялся на златокованный жезлъ, изукрашенный богато, каменьями осыпанный. Лобное Мѣсто къ этому

времени устилалось-убиралось бархатами да сукнами, да камкою. На возвышавшемся на немъ налоѣ, укрытомъ пеленою впразелень, возлагалось Святое Евангеліе, окружавшееся иконами. Путь отсюда къ Спасскимъ воротамъ кремлевскимъ ограждался обитыми краснымъ сукномъ надолбами-рѣшетками. Вся Кремлевская площадь представлялась моремъ головъ и пестрѣла войскомъ „стрѣлецкаго и солдатскаго строю“ и народомъ московскимъ.

Взоры всѣхъ собравшихся на площади были устремлены на Лобное Мѣсто, неподалеку отъ котораго стоялъ долженствовавшій изображать „осля“ конь, окруженный пятью дьяками въ золотныхъ кафтанахъ подъ началомъ патріаршаго боярина. По близости помѣщалась на обитой краснымъ сукномъ и огороженной пестро расписанной рѣшеткою колесницѣ праздничная нарядная „верба“.

Её представляло большое дерево, изукрашенное искусно сдѣланной зеленью, расцвѣченное бархатными и шелковыми цвѣтами и увѣшанное яблоками, грушами, изюмомъ, финиками, винными ягодами, цареградскими стручками-рожками орѣхами. Во время шествія, подъ нею стояли въ бѣлыхъ одеждахъ мальчики—„пѣвчіе поддьяки меньшихъ станицъ“ изъ патріаршаго хора, которые пѣли „стихеры цвѣтоносію“. Выходили царь со святителемъ изъ Покровскаго собора; благословлялъ патріархъ возвратиться всѣмъ крестамъ и образамъ въ святыню святынь московскихъ—соборъ Успенія Богоматери. Послѣ раздачи пальмовыхъ вѣтвей и вербовыхъ лозъ государю, духовнымъ и свѣтскимъ властямъ, а затѣмъ—одной вербы младшимъ государевымъ чинамъ и народу,—приступали и къ самому дѣйству. Начиналось оно тѣмъ, что архидіаконъ, ставъ лицомъ къ закату солнечному, читалъ подобающія празднику страницы Евангелія. Въ то время, какъ онъ произносилъ слова—„И посла два отъ ученикъ“, соборный протопопъ подходилъ съ ключаремъ къ патріарху подъ благословеніе: вмѣсто двухъ учениковъ Христа „по осля идти“. Въ XI-й книгѣ „Древней Россійской Вивліоѳики“ Н. И. Новикова [44]) такъ раз-

[44]) Николай Ивановичъ Новиковъ—знаменитый поборникъ русскаго просвѣщенія, всю жизнь свою положившій на писательскіе и издательскіе труды. Онъ родился 25 апрѣля 1744 года въ с. Авдотьинѣ, Бронницкаго уѣзда Московской губ., въ помѣщичьей семьѣ, воспитаніе получилъ въ московской университетской гимназіи, затѣмъ служилъ въ Измайловскомъ полку и въ коммиссіи депутатовъ, но съ 1768 года оставилъслужбу и посвятилъ себя излюбленному дѣлу, прежде всего занявшись изданіемъ журнала „Трутень“ (1769—1770 г. г.). Въ 1772-мъ году Н. И-чъ выступилъ съ новымъ журналомъ—„Живописецъ“, лучшимъ изъ періодическихъ изданій XVIII-го вѣка, а вслѣдъ за его прекращеніемъ (въ 1773 г.) съ журналомъ „Кошелекъ“. Въ это-же время онъ предпри-

сказывается объ этомъ: „...Принявъ благословеніе, пойдутъ по осля ко уготованному мѣсту, идеже привязана, и, пришедъ, отрѣшаютъ е; причемъ бояринъ патріаршій глаголетъ: что отрѣшаете осля сіе? И ученицы глаголютъ: Господь требуетъ. И поведутъ ученицы въ обѣ стороны подъ устца, и приведутъ къ патріарху къ Лобному Мѣсту, а патріарши дьяки за ослятемъ несутъ сукна, красное да зеленое, и коверъ"...

Затѣмъ, патріархъ благословлялъ царя-государя и — съ Евангеліемъ въ одной и крестомъ въ другой рукѣ — садился на подведеннаго къ нему „осля", одѣтаго краснымъ суконъ съ головы, зеленымъ позади. Начиналось шествіе, открывавшееся, по обычному чину, дьяками, дворянами, стряпчими и стольниками, за которыми везли на описанной выше колесницѣ вербу. — „Осанна Сыну Давидову! Благословенъ грядый во имя Господне!" — раздавалось изъ-подъ ея вѣтвей и звенѣло, переливаясь тонкими голосами, умилительное пѣніе малыхъ пѣвчихъ патріаршаго хора. Слѣдомъ шли чины духовные, неся иконы; за духовенствомъ—ближніе люди государевы, думные дьяки съ окольничими—всѣ съ ваіями-верба-

---

нялъ изданіе „Древней Россійской Вивліоѳики" („Собраніе разныхъ древнихъ сочиненій, яко то: Россійскія посольства въ другія государства, рѣдкія грамоты, описанія свадебныхъ обрядовъ и другихъ историческихъ и географическихъ достопамятностей, и многія сочиненія древнихъ Россійскихъ стихотворцевъ"), выходившей ежемѣсячно въ 1773—1775 годахъ. За нею послѣдовали: „Древняя Рос. Идрографія", „Повѣствователь древностей Россійскихъ", „Скиѳская исторія" и т. д. Кромѣ этихъ трудовъ и множества изданныхъ книгъ другихъ авторовъ, Н. И. Новикову принадлежатъ: „Опытъ историческаго словаря о Россійскихъ писателяхъ" и журналы „Утренній Свѣтъ", „Московское Изданіе", „С.-Пѣтербургскія Ученыя Вѣдомости", „Покоящійся Трудолюбецъ" и „Вечерняя Заря". Всѣ они сослужили немалую службу русскому обществу. Въ 1779-мъ году Новиковъ взялъ въ аренду московскую университетскую типографію и изданіе „Московскихъ Вѣдомостей" и, переѣхавъ въ Москву, проявилъ необычайную энергію въ издательской дѣятельности и въ то-же время духъ неутомимаго организатора. Здѣсь онъ основалъ „Дружеское ученое общество" и „Типографическую компанію", учредилъ первую библіотеку для чтенія, открылъ книжный магазинъ и вообще повелъ дѣло на самыхъ широкихъ началахъ. Число изданій Новикова достигаетъ 450 названій. Увлеченіе массонскими идеями вызвало въ высшихъ сферахъ неудовольствіе на знаменитаго русскаго просвѣтителя: онъ не только долженъ былъ мало-по-малу прервать свою дѣятельность, но даже попалъ подъ судъ и былъ—по происканъ своихъ недоброжелателей—заключенъ въ Шлиссельбургскую крѣпость (по совершенно неосновательному обвиненію въ противуправительственной пропагандѣ). Послѣ 4-хъ-лѣтняго заключенія, Новиковъ былъ освобожденъ—при вступленіи на престолъ Павла I, но продолжать своего просвѣтительнаго труда уже не могъ—будучи совершенно обезсиленъ и душою, и тѣломъ—и доживалъ свой вѣкъ въ деревенскомъ затишьи, въ с. Авдотьинѣ,—гдѣ и скончался 31 іюля 1818 года. Труды его не пропали даромъ: они создали этому подвижнику русскаго просвѣщенія нерукотворный памятникъ.

ми въ рукахъ. Наконецъ, шествовалъ, поддерживаемый двумя стольниками, государь, ведшій „осля“ за поводъ. Вмѣстѣ съ вѣнценоснымъ хозяиномъ Земли Русской держали поводъ еще четверо: первостепенный бояринъ, государевъ да патріаршій дьякъ и патріаршій-же конюшій старецъ. Предъ государемъ несли его царскій жезлъ златокованный, его, государеву, вербу, государеву свѣчу и царскій платъ. О-бокъ выступалъ сонмъ бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ съ вербами въ рукахъ. Святитель осѣнялъ народъ крестомъ во все время шествія. За патріархомъ слѣдовало духовенство въ богатѣйшемъ праздничномъ облаченіи. Медленно-медленно подвигалось шествіе на осляти отъ Лобнаго Мѣста чрезъ Спасскія ворота—къ собору Успенскому. Весь путь государевъ и патріаршій устилали стрѣлецкія дѣти краснымъ да зеленымъ сукномъ; по сукну другіе мальчики раскладывали однорядки цвѣтныя, пестрѣвшіяся всѣми цвѣтами радуги.

Какъ только шествіе вступало въ Спасскія (святыя) ворота, надъ Кремлемъ раздавалѐся съ Ивана Великаго гулкій благовѣстъ, подхватываемый кремлевскими храмами, а затѣмъ — расплывавшійся по всѣмъ сорока-сорокàмъ церквей московскихъ. Плавными, стройными волнами гудѣлъ-разливался надъ Бѣлокаменною могучій мѣдный звонъ, усугубляя торжественность шествія. Затихали голоса колоколенъ только въ ту минуту, когда государь со святителемъ входили подъ сѣнь Успенскаго собора. Здѣсь соборный протодьяконъ дочитывалъ евангельскую повѣсть о великомъ празднуемомъ Православною Церковью событіи, патріархъ принималъ изъ царскихъ рукъ вербу-ваію и, благословивъ государя, цѣловалъ его въ правую руку. Царь возвращалъ цѣлованіе и шествовалъ къ себѣ во дворецъ, гдѣ—въ одной изъ церквей на Верху—совершалась въ это время Божественная литургія. Дѣйство заканчивалось. Патріархъ служилъ литургію въ Успенскомъ соборѣ, а затѣмъ шелъ къ поставленной у южныхъ дверей храма колесницѣ съ нарядной вербою, молитвословилъ предъ нею и благословлялъ „праздничное древо“. Соборные ключари, между тѣмъ, отрубали большой изукрашенный сукъ отъ вербы и несли его въ алтарь, гдѣ обрѣзывали вѣтви, чтобы послѣ отправить ихъ на серебряныхъ блюдахъ въ государевы покои. Часть вѣтвей раздавалась духовенству и боярамъ. Стрѣльцы и народъ получали остатки „древа“ со всѣми украшеніями и привѣсками.

Во дворецъ государевъ подавались въ этотъ день особыя, нарочито изукрашенныя, вербы: для самого царя-государя, для царицы, царевичей и царевенъ. Эти вербы были роскош-

но убраны, и становились на маленькія санки, обитыя червчатымъ атласомъ съ галуномъ золотнымъ. Бумажные листья, бархатные и шелковые цвѣты, разные плоды, ягоды, овощи и пряники въ пестромъ изобиліи вѣшались на нихъ. У патріарха, въ его Крестовой палатѣ, были на Вербное Воскресенье праздничные столы для многочисленнаго духовенства всяческаго чина, а также для особо приглашавшихся бояръ, окольничихъ, думнаго дьяка, ведшаго „осля“, головъ и полуголовъ стрѣлецкихъ, принимавшихъ участіе въ шествіи, и другихъ чиновъ. Столы завершались государевой да патріаршею заздравными чашами. Святитель одаривалъ бояръ и дьяка, лицедѣйствовавшихъ на шествіи и, благословивъ ихъ святыми иконами, отпускалъ съ миромъ. Полное звено яствъ и питій, бывшихъ за столами, посылалось еще съ самаго начала къ государю и всему семейству царскому: несли ихъ владычные стольники въ сопровожденіи патріаршаго боярина и разряднаго дьяка. Принималъ царь присланные „столы“, жаловалъ патріаршаго боярина двумя подачами отъ этихъ „столовъ“ съ кубками; получалъ изъ рукъ царскихъ и разрядный дьякъ одну подачу и „достаканъ романеи“.

А у папертей многихъ храмовъ Божіихъ на Москвѣ раздавался въ это время протяжный, проникавшій до чуткаго сердца благочестивыхъ слушателей напѣвъ странниковъ—каликъ-перехожихъ, слѣпцовъ убогихъ, и до нашихъ дней разносящихъ по народной Руси свои невѣдомо когда и гдѣ сложившіяся живучія пѣсенныя сказанія:

„Радуйся зѣло, дщи Сіоня:
Се Царь твой, возсѣдый на коня...
. . . . . .
Во Іерусалимъ входящу,
На жребяти сѣдящу—
„Осанна,
Осанна, въ вышнихъ!“, дѣти вопіютъ,
Младенцы сладчайше глаголютъ....
. . . . . .
Благословенъ сый грядый,
Въ Ерусалимъ пришедый
Спасти міръ!
Ризы постилаху,
Пути украшаху,
Во градѣ срѣтаху,
Радостію пояху:
„Осанна!“

Такъ благоговѣйно готовилась старая Москва встрѣтить великую седмицу страданій вошедшаго въ Іерусалимъ Спасителя міра, Царя царей и Владыки владыкъ земныхъ.

Эта седмица ознаменовывалась въ Бѣлокаменной богомольными выходами государя, посѣщавшаго, по доброму завѣту предковъ, „узилища“-тюрьмы и богадѣльни. Всюду, гдѣ онъ ни былъ, щедрой рукою раздавалась царская милостыня, освобождались преступники, сидѣвшіе „за малыя вины“, одѣлялись деньгами неимущіе, выплачивались даже долги бѣдняковъ. Среда Страстной недѣли была днемъ „прощенія“, на которое выходилъ вѣнценосный богомолецъ въ Успенскій соборъ. Въ полночь со среды на четвергъ происходилъ тайный выходъ государя „для милостивой раздачи“.

Вотъ, напримѣръ, въ какихъ простодушныхъ чертахъ обрисовываетъ, по свидѣтельству Забѣлина, современникъ царя Алексѣя Михайловича одинъ изъ такихъ выходовъ: „Въ 1669 году марта въ 22 числѣ на Страстной недѣлѣ, въ среду, въ 6 часу ночи (въ первомъ пополуночи) великій государь изволилъ идти къ митрополитамъ къ Павлу Сарскому и Подонскому, къ Паисію Гаскому, къ Ѳеодосію Сербскому да въ Чудовъ монастырь, и жаловалъ своимъ государевымъ жалованьемъ изъ своихъ государевыхъ рукъ милостыню: митрополитамъ по сту рублевъ, чудовскому архимандриту Іоакиму 10 рублевъ. А, у митрополитовъ и въ Чудовомъ монастырѣ бывъ, изволилъ великій государь идти на Земской дворъ и въ больницу къ разслабленному, что на дворѣ у священника Никиты, и на Англинскій и на Тюремный дворы и жаловалъ своимъ государевымъ жалованьемъ-милостынею жъ изъ своихъ государскихъ рукъ, а роздано“... Далѣе подробно перечисляется все „розданное“ несчастнымъ, заключеннымъ и убогимъ въ этотъ день.

Въ Великую-страстную пятницу царь посѣщалъ также колодниковъ, въ субботу утромъ—нѣкоторые монастыри кремлевскіе и всегда заходилъ въ этотъ послѣдній день Страстей Христовыхъ „проститься у гробовъ“ въ Архангельскій соборъ. Послѣ обѣдни и, въ субботу приносили стольники государевы во дворецъ изъ собора освященные „укруги“ и „вина фряжскія“. Полунощница въ навечеріи Свѣтлаго Дня слушалась царемъ-государемъ въ Престольной Комнатѣ въ его палатахъ покоевыхъ.

XIX.

Свѣтло-Христово-Воскресеніе.

За Страстной недѣлею идетъ на свѣтлорусскій просторъ Святая; зовется она также и „Свѣтлою“, „Славною“, „Великою“, „Радостною“, „Красною“ и „Великоденскою“,—слыветъ и за одинъ „Великъ-День“. Есть мѣста—напримѣръ, въ Черниговской губерніи, гдѣ называютъ ее „Гремяцкою“. Съ этой недѣлею связано въ народной Руси не мало идущихъ къ нашимъ днямъ изъ неизвѣданныхъ глубинъ сѣдой старины обычаевъ, сказаній, повѣрій и поговорокъ,—частью занесенныхъ въ печатныя сокровищницы, частью-же до сихъ поръ скитающихся безъ призора, безъ пристанища по свѣту бѣлому, по людямъ добрымъ, памятующимъ завѣщанное дѣдами-прадѣдами.

„Пресвѣтлое воскресеніе праведнаго солнца—Христа“ объединяется въ народномъ воображеніи съ весеннимъ возрожденіемъ природы, какъ-бы принимающей участіе въ радостномъ празднованіи величайшаго изъ евангельскихъ событій, знаменующаго свѣтлую побѣду надъ тьмою смерти. Съ этимъ связанъ старинный обычай зажигать передъ церквами и по холмамъ костры во время Свѣтлой заутрени; въ Бѣлоруссіи идутъ къ ней даже съ зажженными лучинами. Почти повсемѣстно въ деревняхъ на Святую ночь жгутъ по площадямъ смоляныя бочки; уголья отъ нихъ потомъ собираютъ и, отнеся домой, берегутъ вмѣстѣ со свѣчами, съ которыми стояли заутреню. Нѣкоторые кладутъ эти уголья подъ застрѣхи крышъ, будучи увѣрены, что предохраняютъ свой дворъ отъ грозы. До сихъ поръ, въ деревняхъ, по старому обычаю, послѣ пѣнія „Христосъ воскресе“ стрѣляютъ холостыми заря-

дами изъ ружей, торжествуя этимъ побѣду надъ нечистой силою и тьмой. Зачерпнутой въ родникѣ въ пасхальную ночь водѣ народное повѣрье приписываетъ особенную силу. Суевѣрные люди окропляютъ ею свои дома и амбары, видя въ этомъ залогъ счастья и довольства. Этотъ обычай теперь мало-по-малу забывается; но есть села, гдѣ въ Святую ночь красныя дѣвушки спѣшатъ за водою къ ручьямъ и рѣкамъ. Молча стараются онѣ наполнить ведра и—также молча—донести ихъ домой. Если будетъ произнесено при этомъ хоть одно слово, то вода эта, по словамъ старыхъ людей, теряетъ свою силу.

Существуетъ старинное повѣрье о томъ, что — если въ Свѣтлую заутреню стать въ уголкѣ церкви, держать въ лѣвой рукѣ серебряную монету и на первое привѣтствіе священника—„Христосъ воскресе!“, вмѣсто „Воистину воскресе!“, отвѣтить словами: „антмозъ маго“, то отъ этихъ словъ монета получитъ чудодѣйную силу, которая можетъ возвратить ее хозяину даже изъ воды, изъ огня. Брошенная въ чужія деньги, монета эта не только возвратится къ хозяину, но и приведетъ съ собою всѣ другія, между которыми находилась. Этотъ „антмозъ“ соотвѣтствуетъ неразмѣнному червонцу, который знаменуетъ неизсякаемое богатство солнечнаго свѣта, каждое утро вновь возрождающееся на востокѣ; онъ напоминаетъ собою и молнію, которая въ весеннюю пору воскресаетъ и цвѣтетъ во мракѣ ночеподобныхъ тучъ.

Дошло до нашихъ забывчивыхъ дней старинное преданье гласящее, что красное солнышко, всплывая изъ-загоръ-горы надъ обновленной воскресеніемъ Христа землею, радостно играетъ-пляшетъ своими лучами. Эта слава-молва о „солнечныхъ заигрышахъ“ распространена повсемѣстно во всѣхъ уголкахъ славянскаго міра, нѣкогда жившаго одною духовной жизнью съ народомъ русскимъ. Въ великорусскихъ губерніяхъ ранымъ-рано на первый день Свѣтлаго Праздника выходитъ деревенскій людъ на пригорки, ребята-же малые влѣзаютъ на крыши—смотрѣть-любоваться игрою солнышка краснаго. Взойдетъ-заиграетъ оно на безоблачномъ небѣ,—быть, по примѣтѣ старыхъ людей, красному лѣту, богатому урожаю и счастливымъ свадьбамъ. Деревенская дѣтвора, при первомъ появленіи свѣтила свѣтилъ земныхъ, принимается прыгать, припѣвая: „Солнышко-ведрышко, выгляни въ окошечко! Солнышко, покажись, красное, снарядись! Ѣдутъ господа-бояре къ тебѣ въ гости во дворъ, на пиры пировать, во столы столовать!“ Старухи въ это время умываются съ золота, серебра и краснаго яйца, думая отъ того и помо-

лодѣть, и разбогатѣть; старики-же расчесываютъ волосы, приговаривая: „Сколько въ головѣ волосковъ, столько и внучать!“ Есть и такіе между ними, что въ первый день Свѣтлой седмицы стараются поужинать и лечь спать до заката солнечнаго, думая, что, если не сдѣлать этого, то нападетъ „куриная слѣпота“. Молодежь—парни да дѣвушки красныя—ладятъ свое: чуть заиграетъ веселое солнышко, у нихъ—первая пѣсня-„веснянка“ готова, а за нею слѣдомъ пошелъ и первый хороводъ.

Съ перваго-же дня Свѣтла-Христова-Воскресенія отверзаются, по вѣрованію народа, врата райскія и остаются отворенными до послѣдняго дня. Счастливъ тотъ, кто умретъ о Пасхѣ, тому—прямая дорога въ селенія праведныхъ. Потому-то престарѣлые благочестивые люди, которымъ не жалко разстаться съ земной жизнью, и молятъ Бога, чтобы привелось имъ покинуть этотъ бренный міръ во дни Святой недѣли, а еще лучше—въ Свѣтлую заутреню. Кто умираетъ на Свѣтло-Христово-Воскресеніе, того, по старинному обычаю, хоронятъ съ краснымъ яйцомъ въ правой рукѣ. „Умеръ на Пасху—и яичко въ руку!“—напоминаетъ объ этомъ народная поговорка. Въ древней Руси существовало преданіе о томъ, что, когда возсталъ отъ мертвыхъ Спаситель міра, солнце не заходило цѣлыхъ восемь сутокъ: первые два дня оно стояло на востокѣ,—тамъ, гдѣ ему полагается быть при восходѣ, слѣдующіе три дня—на полуднѣ, остальные два на вечерѣ, на восьмой зашло. Это преданіе повторялось на Руси всѣми въ XVI—XVII столѣтіяхъ, вызывая противъ себя возраженія церковныхъ проповѣдниковъ. Народная Русь, отъ млада до велика вѣрящая въ то, что отверзаются на Святой райскія двери, прибавляетъ къ этому—устами искушенныхъ въ книжномъ писаніи людей,—что прекращаются-утихаютъ на эти дни и адскія муки. Это основано на „Хожденіи апостола Павла по мукамъ“. По другому-же распространенному въ народѣ сказанію („Хожденіе Богородицы по мукамъ“), покой грѣшникамъ дается на томъ свѣтѣ съ Великаго (Страстного) Четверга до самой Троицы.

Съ перваго дня Свѣтлой недѣли, по старинному, въ большинствѣ мѣстностей уже забытому, преданію, Христосъ, въ сопровожденіи Своихъ апостоловъ, ходитъ по землѣ вплоть до Вознесенія. Одѣты небесные странники въ нищенское рубище, а потому,—гласитъ народный сказъ,—и не-въ-домекъ никому: кто они. Ходятъ они, испытуютъ людское милосердіе, награждаютъ великими и богатыми милостями добрыхъ и караютъ злыхъ людей.

Въ бѣлорусскихъ деревняхъ принято ходить на Свѣтло-Христово-Воскресеніе по дворамъ съ особыми „великоденскими“ пѣснями. Ходятъ, обыкновенно, ночью—цѣлыми толпами; ходящіе слывутъ за „волочебниковъ“, а запѣвало ихъ зовется „починальщикомъ“. Въ своихъ пѣсняхъ, по свидѣтельству И. М. Снегирева [45]) и А. Н. Аѳанасьева, они прославляютъ Воскресшаго Христа, Богоматерь и святыхъ Юрія и Николу, что коровъ и коней запасаютъ, Илью-пророка, зажинающаго колосистую рожь. Все это они сопровождаютъ припѣвомъ. „Христосъ воскресе!“ Въ Минской и смежныхъ съ нею губерніяхъ пляшутъ на этихъ первыхъ весеннихъ игрищахъ особыя пляски—„метелицу“ и „завѣйницу“.

На старой Смоленщинѣ всю Свѣтлую недѣлю молодые парни ходятъ по деревнямъ и у каждаго дома подъ окномъ поютъ такъ называемый „куралесъ“, за что всякій хозяинъ, которому они пропоютъ, величаючи его по имени,—подаетъ имъ сала, яицъ, пирога и денегъ. Вотъ, напримѣръ, одна изъ этихъ „куралесныхъ“ пѣсенъ смоленскихъ волочебниковъ:

„Ай шли, прошли волочебники.
Христосъ воскресъ, Сыне Божій!
Аны шли, пройшли, волочилися.
Христосъ воскресъ, Сыне Божій!
Волочилися, намочилися.
Христосъ воскресъ...
Аны пыталися до того двора, до Иванова.
Христосъ воскресъ...
Ти дома, дома самъ панъ Иванъ?
Христосъ Воскресъ...
Онъ не дома, а поѣхалъ во столенъ городъ.
Христосъ Воскресъ...
Соболева шапка головушку ломитъ.
Христосъ Воскресъ...
Кожаный поясъ середину ломитъ.
Христосъ Воскресъ...
Куння шубка по пятамъ бьется.

---

[45]) Иванъ Михайловичъ Снегиревъ—извѣстный русскій народовѣдъ и знатокъ русскихъ древностей, бывшій профессоромъ московскаго университета. Онъ родился въ 1793-мъ, скончался въ 1868-мъ году. Кромѣ другихъ произведеній (болѣе мелкихъ) ему принадлежатъ: „Русскіе простонародные праздники и суевѣрные обряды“ (I, II, III и IV выпуски, М.), „Памятники московской древности“, „Русскіе въ своихъ пословицахъ“, „Русскія народныя пословицы“, „Памятники древнихъ художниковъ“ Заключенія, выводимыя имъ изъ тѣхъ или другихъ обычаевъ, не всегда правильны; но свѣдѣнія, которыми онъ обогащаетъ науку о русскомъ народѣ, до сихъ поръ не утратили своей цѣнности.

Христосъ Воскресъ...
Вы дарите насъ, не морите насъ!
Христосъ Воскресъ...
Пару яицъ на ясминку.
Христосъ Воскресъ...
Кусокъ сала на подмазочку.
Христосъ Воскресъ...
Конецъ пирога на закусочку.
Христосъ Воскресъ, Сыне Божій."

Въ нѣкоторыхъ-же домахъ, гдѣ есть молодыя дѣвушки заневѣстившіяся, волочебниковъ просятъ спѣть еще „Паву":

„Пава рано летала;
Раньше того дѣвица встала,
Да перья собирала,
Въ вѣночекъ ввивала,
На головку надѣвала,
Сукните молодца,
Подайте колосъ!"

За „Паву" платятъ волочебникамъ отдѣльно: кто гривенникъ, кто двугривенный. Все, что ни подадутъ, берутъ пѣвуны-волочебники, и ни въ одной хатѣ не откажутъ имъ въ подаяніи, а послѣднюю пѣсню дѣвушки считаютъ чуть не за молитву о хорошемъ женихѣ и потому особенно щедро вознаграждаютъ пѣвуновъ.

Есть мѣстности, гдѣ ходятъ въ понедѣльникъ Святой недѣли на кладбища—христосоваться со своими покойничками; по большей-же части этотъ обычай соблюдается послѣ Пасхи, на Радоницу. Со вторникомъ связано въ народѣ имя „купалища". Встарину существовалъ обычай обливать въ этотъ день холодной водою тѣхъ, кто проспалъ заутреню. Густинская [16]) лѣтопись разсказывала объ этомъ обычаѣ—какъ о пережиткѣ древняго язычества, связывая его съ обоготвореніемъ Матери-Сырой-Земли.

Со Свѣтлой середы начинаются по нѣкоторымъ мѣстамъ весенніе хороводы, продолжающіеся до Троицына дня—каждый вечеръ. Разные бываютъ хороводы, на-особицу и зовутся они: великоденскими, радоницкими, никольскими, троицкими,

[16]) Густинская лѣтопись—велась въ Густинскомъ Свято-Троицкомъ монастырѣ, Прилуцкаго у. Полтавской губ., основанномъ въ 1600-мъ году на землѣ князей Вишневецкихъ и пользовавшемся вниманіемъ московскихъ царей. Въ 1675-мъ году здѣсь былъ посвященъ во іеромонахи св. Димитрій Ростовскій. Въ 1799-мъ году монастырь былъ закрытъ, но въ 1843-мъ возобновленъ.

всесвятскими, петровскими, пятницкими, ивановскими, успенскими, семенинскими, капустинскими и покровскими. Свѣтлый праздникъ начинаетъ-открываетъ хороводное веселье, окровомъ—кончается оно.

Въ Святую пятницу, именуемую „прошеньемъ“, а также „прóшенымъ днемъ“, въ обычаѣ звать тестю съ тещею зятя и его родныхъ „на молодое пиво“, которое зовется также и „моленымъ“. Въ Костромской губерніи варятъ его въ-складчину, дѣлятъ между сосѣдями и пьютъ, приговаривая: „Пиво—не диво и медъ не хвала, а всему голова, что любовь дорога!“

Пасхальная суббота слыветъ въ народѣ „хороводницею“; въ этотъ день—самый разгаръ молодого веселья въ посельщинѣ-деревеньщинѣ. Въ Черниговской губерніи къ этому дню пріурочивается обычай изгнанія или „провожанія“ русалокъ, по другимъ уголкамъ народной Руси или вовсе позабытый къ настоящему времени, или справляющійся на Всесвятской, слѣдующей за Духовымъ днемъ, недѣлѣ. Въ воскресенье со Свѣтлой седмицы на Ѳомину—проводы Пасхи. Въ этотъ день, по старинному обычаю, придерживающіеся дѣдовскихъ завѣтовъ люди собираютъ всѣ оставшіяся отъ праздничныхъ снѣдей кости и, благословясь, несутъ на поле, гдѣ и зарываютъ ихъ. Это должно охранять посѣвы отъ градобитія. Другимъ-же суевѣріе подсказываетъ беречь эти кости въ хатѣ и бросать ихъ въ топящуюся печку во время лѣтнихъ грозъ.

Но не только дань своему суевѣрію отдаетъ въ свѣтлые пасхальные дни народная Русь: крѣпка она своею простодушной вѣрою во Христа,—свято чтятъ въ ней всѣ обряды христіанскаго благочестія. Освятитъ деревенскій людъ во храмѣ Божіемъ въ Свѣтлую заутреню свои пасхальныя яства, похристосуется со священникомъ, своими близкими и всѣми, кто бы ему ни встрѣтился, разговѣется краснымъ яичкомъ и всѣмъ, что Богъ пошлетъ. Но до тѣхъ поръ не начнутъ въ деревнѣ праздничнаго пированья-веселья, покуда не обойдетъ каждаго двора церковный причтъ со крестомъ и святой водою и не пропоетъ передъ каждой божницею радостныхъ пасхальныхъ пѣснопѣній. А потомъ во всю Святую Недѣлю ходятъ, разнося благостную вѣсть о Воскресеніи Христовомъ, въ каждомъ приходѣ отъ деревни къ деревнѣ, богоносцы съ крестами, хоругвями и образами. Всю Свѣтлую недѣлю льется по всей Святой Руси радостный пасхальный звонъ: не молкнетъ съ утра до ночи ни одна колокольня,—каждая словно старается перезвонить другую. Находится многое-множество охотниковъ „потрудиться для Бога“ у колоколовъ,—а ужъ отъ дѣтворы отбою нѣтъ: всякому хочется хоть одинъ разъ

да потрезвонить въ эти Свѣтлые дни. И гудятъ-перекликаются колокольни. Съ утра до поздняго вечера разносится по свѣтлорусскому простору, порою и нестройное, но изъ глубины души льющееся, пѣніе: слышатъ его и поле чистое, и начинающій пробуждаться отъ зимняго сна лѣсъ, и только-что сбросившая со своихъ плечъ ледяныя оковы рѣка. Одни богоносцы-пѣвцы смѣняютъ другихъ. „Ходить по́дъ-Богомъ“ на Святой считается въ народѣ за благочестивый подвигъ. Приступаютъ къ нему только съ благословенія священника: не всѣмъ и разрѣшается это дѣло, а только тѣмъ, кто не виновенъ ни въ какихъ тяжкихъ, вызывающихъ наложеніе особаго покаянія, грѣхахъ. Богоносцы поднимая иконы, одѣваются, во все чистое и даютъ зарокъ не пить при этомъ вина, что́ особенно трудно выполнимо при повсемѣстно извѣстномъ хлѣбосольствѣ русскаго народа. Не выдержавшій и поддавшійся на угощеніе, не можетъ уже оставаться богоносцемъ, а долженъ передать свою обязанность другому, — на что не приходится долго искать охотниковъ. По преданію, переходящему изъ устъ въ уста по селамъ-деревнямъ, проносившему цѣлую недѣлю иконы-кресты, вмѣняется это за седьмую часть дороги въ Іерусалимъ: „Семь Свѣтлыхъ седмицъ подъ-Богомъ походить — въ Ерусалимъ-градъ не ходить!“ — говорятъ благочестивые люди.

Богоносцевъ ожидаютъ въ каждой хатѣ съ нетерпѣніемъ. Еще наканунѣ прихода ихъ въ деревню вездѣ уже приготовлены ведра и кадки со всякимъ житомъ. Въ нихъ ставятъ жданые гости принесенную ими святыню, освящая этимъ будущій урожай. Освященное зерно сберегается для посѣва и высѣвается прежде всякаго другого. За не малый грѣхъ почитается въ народѣ какимъ-либо способомъ осквернить и просто даже разсыпать зря́ это зерно-жито, но еще болѣе тяжкимъ—не принять богоносцевъ. Благодать Божія, по вѣрованію деревенскаго богомольнаго люда, навсегда удаляется изъ такого дома. Для крестьянской дѣтворы приходъ богоносцевъ въ деревню является цѣлымъ событіемъ. Еще загодя выбѣгаютъ ребята за околицу и дожидаются: какъ только покажутся кресты и хоругви, одинъ изъ нихъ, по выпавшему жребію, бѣжитъ оповѣщать деревню о приближеніи „Божьихъ гостей“, а всѣ остальные стремглавъ несутся навстрѣчу идущимъ, чтобы, присоединясь къ нимъ, принять этимъ участіе въ богоугодномъ подвигѣ старшихъ. Во многихъ мѣстахъ приглашаютъ богоносцевъ въ поле, гдѣ они—всѣмъ „міромъ“—съ пѣніемъ обходятъ озимые всходы. Въ какой деревнѣ придется заночевать богоносцамъ, для той считается

это особенно счастливымъ предзнаменованіемъ, охраняющимъ ее отъ пожара на болѣе или менѣе продолжительное время. Потому-то вездѣ и просятъ ихъ объ этомъ. Но не всегда соглашаются они, потому что священникомъ, отпускающимъ съ ними святыя иконы, дается строгій наказъ лучше ночевать въ полѣ, чѣмъ въ такой деревнѣ, гдѣ въ это время идетъ пьяный праздничный разгулъ. Среди-же богоносцевъ найдутся всякій разъ нѣсколько извѣстныхъ во всей округѣ своею благочестивой жизнью людей, для которыхъ слово отца духовнаго является непреложнымъ закономъ.

Къ богоносцамъ иногда присоединяются убогіе слѣпцы— калики-перехожіе, разносящіе изъ конца въ конецъ Святой Руси свои пѣсенные сказы. И во всякое другое время радушно встрѣчаетъ этихъ птицъ Божіихъ народъ-пахарь, всегда они—желанные гости деревенской глуши. А на Свѣтло-Христово-Воскресеніе радуется—не нарадуется имъ посельщина-деревеньщина, умиляющаяся при одномъ ихъ видѣ. Идутъ они за богоносцами; споютъ тѣ одинъ ирмосъ,—только успѣютъ кончить, а ужъ „слѣпенькіе“ (какъ зоветъ каликъ сердобольный сельскій людъ) затягиваютъ свой сказъ. „Велія радость въ мірѣ явися“,—начинается одинъ изъ этихъ сказовъ: „Христосъ бо воскресе, смерть же умертвися, сущіи во гробѣхъ животъ воспріяша, егда возлеже жизнь во гробѣ наша. Смертніи Христомъ всѣ мы оживлёни, на путь небесный благо наставлёни. Мы должни бѣхомъ: Христосъ заплатилъ есть, егда за родъ нашъ кровь Свою пролилъ есть. Неясыть птенцы своя оживляетъ, егда свою кровь на нихъ изливаетъ: Христосъ подобнѣ, за насъ умерщвленныхъ, кровь источилъ есть отъ ранъ Си спасенныхъ. Тако ожихомъ: вредъ нашъ исцѣлися, плоть Христа Бога егда подъявися. Врачество дивное Дивный содѣваетъ: врачъ, да мы живемъ, за ны умираетъ. Умерлъ бо: но днесь отъ гроба воскресе и насъ съ Собою изъ ада вознёсе. Въ томъ долженствуемъ Христа величати, преподобными гласы Его прославляти. Воспойте убо и вы пѣснь Христови, и пѣніи вѣчно будите готовы: здѣ долголѣтно, та же и во вѣки, въ небесной странѣ съ ангельскими лики“... Въ другомъ, записанномъ въ иной русской сторонкѣ сказѣ калики-пѣвцы, воспѣвая свою радостную пѣснь, возвѣщаютъ, между прочимъ, о томъ, что „простилъ Богъ грѣхи наши зліи, измылъ Своей кровью вси наши выи, смертію загладилъ, смерть нашу убивый, потребивъ клятву и ада плѣнивый. А въ томъ плѣнѣ далъ свободу, радость вѣчну далъ роду, роду правовѣрну, радость райску мирну“. Затѣмъ, преисполнясь „радости райской“, они восклицаютъ:

„Прочь же, вси скорби и горьки печали,
Прочь отыдите въ безвѣстные кран;
Уже бо темные облаки прогнаны,
Прошелъ страхъ-трепетъ и плачъ нечаянный;
Се же вёдро, дни веселы,
И свѣтъ во тьмѣ пришелъ велій,
Соннаго освѣтили, міръ обвеселили
Се солнце красно—
Христосъ воскресъ славно!“...

Третій сказъ о „Воскресеніи“,—также весь посвященный „духовной сладости“, которой „веселятся небеса и радуется земля“,—взываетъ устами своихъ сказателей-пѣвцовъ къ праотцамъ человѣчества. „Взыграй днесь, Адаме, и радуйся, Евва“,—гласитъ онъ: „со пророки ликоствуйте, съ патріархи торжествуйте, восходите въ радость, пріимите младость. Днесь Христосъ отъ гроба, яко отъ чертога, воскресаетъ въ радость вѣрнымъ, въ посрамленіе невѣрнымъ, намъ же, праволюбцемъ, даетъ животъ вѣчный. Днесь адъ воздыхаетъ, діяволъ рыдаетъ: погубилось его царство, надъ душами тиранство; крѣпко онъ, аки левъ, рыкаетъ, души испущаетъ. Мы же восклицаемъ, славу возсылаемъ изъ гроба Воскресшему, насъ изъ тьмы изведшему въ радость въ неприступную и свѣтъ невечерній“... Отъ праотцевъ и патріарховъ сказъ переходитъ къ царю-псалмопѣвцу: „Взыграй днесь, Давыде, ликуй со пророки, бія въ гусли—радуйся! Съ веселіемъ красуйся, воспой велегласно, съ кимвалы согласно!“.. Отъ библейскихъ именъ слушатель стиховнаго сказанія переносится къ не вкусившимъ еще отъ чаши смерти людямъ, которыхъ — всѣхъ безъ изъятія — приглашаютъ пѣвцы ликовать: „Днесь всемірная радость источаетъ сладость, собираетъ вся языки, цари, князи и владыки, старцы со младенцы и весь возрастъ вкупѣ. Дѣвы и вдовицы со отроковицы, съ свѣщами притецыте, яко цвѣтъ—дѣвство держите, Христу поклонитесь, красно веселитесь!“..

На Червоной Руси распѣвается въ Свѣтлые Христовы дни такая пѣснь:

„Зъ-за тамъ-той горы зъ-за высокои
Выходить намъ тамъ золотой хрестъ.
Славенъ си, славенъ си нашъ милый Боже,
На высокости въ Своей славности славенъ си!
И пидъ тимъ хрестомъ Самъ милый Господь:
На Іому сорочка та джунджовая (жемчужная),

Та джунджовая, кервавая.
Ой, ишло дивче въ Дунай по воду,
Тай воно видѣло, та же Руській Богъ,
Та же Руській Богъ изъ мертвыхъ уставъ"...

Деревенская молодежь, вмѣстѣ съ малымй ребятами, заводитъ на Святой недѣлѣ свои игры - забавы. Скрипятъ деньденьской качели у околицы: качаются парни съ дѣвчатами, качается и дѣтвора шумливая. Посреди улицы, на лужайкахъ, катанье яицъ идетъ, въ которомъ принимаютъ участіе и старый, и малый.

— „Дорого яичко ко Христову дню!"—говоритъ народная пословица, относящаяся ко всякой услугѣ. Но къ Пасхѣ оно и въ самомъ дѣлѣ дорого: безъ него не разговлнется даже; ни одинъ нищій безъ краснаго яичка не похристосуешься,— безъ него и праздникъ—не въ праздникъ выйдетъ! Первое яйцо, полученное въ Христовъ день, по народному повѣрью, никогда не должно портиться, если оба похристосовавшіеся привѣтствовали другъ-друга пасхальнымъ привѣтствіемъ отъ чистаго сердца. Поэтому многіе хранятъ его на божницѣ въ теченіе цѣлаго года—до новой Пасхи. Катаютъ яйца только на Святой.Хотя не только тогда можно услышать въ деревнѣ крылатое словцо объ этомъ прообразѣ Воскресенія Христова, но о ту пору какъ-то невольно чаще вылетаетъ оно изъ устъ пахаря. „Далъ дураку яичко—что покатилъ, то и разбилъ!" -говорятъ тогда о неловкомъ увальнѣ-человѣкѣ. „Нашъ Ѳадей каравай хлѣба съ однимъ яйцомъ съѣстъ!"—приговариваетъ деревня про накидывающихся на розговѣнь прожорливыхъ ѣдоковъ. „Дай ему яичко, да еще и облупленное!"—подсмѣиваются надъ любопытными не въ мѣру. „Хоть черненька курица, да на бѣлыхъ яичкахъ сидитъ!"—замѣчаютъ краснословы о суровыхъ на видъ людяхъ съ добрымъ сердцемъ. „Онъ по яйцамъ пройдетъ, ни одного не раздавитъ!" – оговариваютъ они черезчуръ осторожныхъ. „Не умѣлъ играть яйцомъ, играй желвакомъ!" — кивають послѣдніе въ сторону слишкомъ безпечныхъ. „Курочка бычка родила, поросеночекъ яичко снесъ!"—говорятъ при видѣ завирающагося краснобая.

Деревенское повѣрье совѣтуетъ на Пасху каждое утро оглаживать лошадей яйцомъ, оглаживаючи—приговаривать: „Будь гладка, какъ яичко!" Это должно приносить коню здоровье и спорость въ работѣ. „Не огладишь лошадку крашонымъ яичкомъ, и кормъ ей въ пользу не пойдетъ!"—говорятъ старые примѣтливые люди. По примѣтѣ, если рано заносятся куры да крупныя яйца несутъ, то и ранніе овсы выдутъ лучше

позднихъ. Простонародное суевѣріе велитъ бабамъ-хозяйкамъ беречь первое яйцо отъ черной курицы: оно, по слову старины, спасаетъ скотъ въ полѣ отъ волка. Суевѣрные хозяева взвѣшиваютъ первое снесенное во дворѣ яйцо, думая по вѣсу его судить-рядить о будущемъ урожаѣ. Первое яйцо, полученное при христосованьи, берегутъ умудренные жизнью люди: если, по ихъ словамъ, перекинуть его во время пожара черезъ заборъ, то огонь погаснетъ. Народныя загадки оговариваются объ яйцѣ въ такихъ словахъ: „Въ одномъ калинничкѣ два тѣстечка!“, „Сквозь стѣнки бычка испеку!“, „Въ одной квашнѣ два притвора!“, „Бочечка безъ обручика, въ ней пиво да вино не смѣшаются!“, „Полна бочка вина—ни клепокъ, ни дна!“, „Катится бочка—на ней ни сучочка!“, „Царево вино, царицыно вино—въ одной стклянницѣ не смѣшаются!“, „Подъ ледкомъ-ледкомъ стоитъ чашечка съ медкомъ!“ и т. д.

Похристосуется-разговѣется, помолится и во храмѣ Божіемъ, и у себя въ хатѣ деревенскій людъ, приметъ и причтъ церковный, и богоносцевъ съ иконами, вдосталь наслушается краснаго пасхальнаго звона,—встрѣтитъ праздничекъ Христовъ честь-честью, по праздничному—по веселому. Свѣтло, радостно у него на душѣ, свѣтло-радостно и кругомъ—куда ни глянетъ. И какъ-то легче дышется ему, и какъ-то звончѣе поются пѣсни-веснянки, и какъ-то вольнѣе слетаютъ съ языка красныя рѣчи крылатыя.

А навстрѣчу Свѣтлому Празднику меньшая сестра Святой недѣли—Радоницкая-Ѳомина—идетъ въ народную Русь, со своими цвѣтистыми сказаньями, со своими особыми повѣрьями, со своими самобытными обычаями.

И теперь Пасха Христова является поистинѣ Свѣтлымъ Праздникомъ русскаго народа, а встарину на Москвѣ Бѣлокаменной справлялся этотъ „праздниковъ праздникъ“ съ еще большей торжественностью. Стародавніе обычаи и завѣщанные Святой Руси дѣдами-прадѣдами обряды, сопровождавшіе великій день Воскресенія Христова, къ настоящему времени частью совершенно изгладились изъ памяти, частью замѣнились другими. Въ Москвѣ-же, два вѣка тому назадъ бывшей средоточіемъ всей русской жизни, выполненіе пасхальной обрядовой стороны давало полный просторъ живому проявленію народнаго духа. Въ священныхъ стѣнахъ москов-

скаго Кремля въ XVI—XVII столѣтіяхъ ко днямъ Свѣтлой седмицы воочію проявлялась вся его самобытность, величавая въ своей патріархальной простотѣ. Царь и народъ, народъ и царь сливались здѣсь въ красномъ ликованіи, какъ двѣ могучихъ волны единой недѣлимой стихіи.

Кончалась недѣля Страстей Христовыхъ, проводимая въ строгомъ постѣ и непрестанныхъ молитвахъ, вызывающая въ душѣ каждаго христіанина неизгладимое впечатлѣніе крестныхъ страданій Сына Божія. Какъ начинали, такъ и завершали ее, цари московскіе подвигами христіанскаго смиренія, не только готовясь сами достойнымъ образомъ встрѣтить святую-радостную вѣсть о Свѣтломъ Воскресеніи Пострадавшаго за грѣхи людей, но доставляя возможность этого даже и недостойнѣйшимъ изъ своихъ подданныхъ—преступникамъ, заключеннымъ въ тюрьмы за самыя тяжкія вины. Ночью съ пятницы на субботу, тайнымъ образомъ, въ сопровожденіи немногихъ ближнихъ людей, обходилъ царь-государь заключенныхъ, неся къ нимъ не только щедрую милостыню, но и милость. И не было никому во время тайныхъ выходовъ государевыхъ отказа въ просимомъ, лишь-бы это не противорѣчило христіанскому добротолюбію. Яркимъ проявленіемъ милосердія устилали наши древніе вѣнценосцы путь Воскресшему Царю царей земныхъ на Святую Русь, памятуя великія слова Божественнаго Искупителя: „Милости хощу, а не жертвы!“

Въ субботу, въ навечеріи Свѣтлаго Дня, служилась въ покоевыхъ палатахъ царскихъ, въ государевой Комнатѣ, что въ Теремномъ дворцѣ, святая полунощница. Благоговѣйно слушалъ ее державный хозяинъ всея Руси. Кончалась служба, начинался трогательный обрядъ „царскаго лицезрѣнія“. Къ выполненію этого обряда передъ Свѣтлой заутренею въ покои государевы собирались бояре, окольничіе, думные и ближніе люди, всѣ служилые и дворовые чины. Одни изъ нихъ (высшіе по своему положенію) сходились въ Передней, другіе—становились въ сѣняхъ, третьи—на Золотомъ крыльцѣ. Всѣ были въ богатѣйшихъ кафтанахъ золотныхъ. У кого-же не было ихъ (низшіе по чину люди), тѣ ожидали выхода государева на Постельномъ и Красномъ крыльцахъ. По зову царскаго стольника, стоявшаго „на крюку“ у дверей, входили въ государеву Комнату, по два человѣка, бояре-сановники: „видѣть его великаго государя пресвѣтлыя очи“,—входили, ударяли челомъ и шли по своимъ мѣстамъ. Принявъ ближнихъ людей, выходилъ царь въ Переднюю, гдѣ происходило то-же самое, что и въ Комнатѣ, съ той только разницею, что сановитыхъ бояръ замѣняли дворяне, дьяки другой сте-

пени и стрѣлецкіе головы. Царь-государь былъ въ становомъ шелковомъ кафтанѣ, надѣтомъ поверхъ зипуна. Послѣ челобитья бояръ и другихъ людей московскихъ, удостоившихся „лицезрѣнія“, царь принималъ отъ спальниковъ свой выходной нарядъ—„опашень, ожерелье стоячее, шапку горлатную и посохъ индѣйской черна дерева“—и шествовалъ къ Свѣтлой заутренѣ въ Успенскій соборъ. Блестящій сонмъ бояръ, окольничихъ, стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ и дьяковъ окружалъ вѣнценоснаго богомольца, шедшаго навстрѣчу Воскресавшему Царю царей. Встрѣчавшіе выходъ царскій въ сѣняхъ и на крыльцахъ, ударивъ челомъ государю, присоединялись къ шествію и шли—впереди всѣхъ—по трое въ рядъ. Передъ Успенскимъ соборомъ, у западныхъ дверей его, „въ рѣшеткахъ, нарочито для того устроенныхъ“, становились они по обѣ стороны и пропускали государя съ его свитою царской, во храмъ Божій,—гдѣ, сотворивъ начало и приложившись ко святымъ мощамъ и къ ризѣ Господней, становился царь близъ патріарха,—а затѣмъ переходили къ сѣвернымъ дверямъ, гдѣ стоять было имъ положено до „царскаго пришествія въ соборъ со крестами“. Тѣмъ временемъ замирала вся переполненная православнымъ людомъ московскимъ Кремлевская площадь, замирала и вся Москва въ трепетномъ ожиданіи могучаго мѣднаго голоса Ивана Великаго. На второй ударъ колокола-великана откликалась вся Бѣлокаменная радостнымъ краснымъ звономъ, разнося вѣсть о Свѣтломъ Воскресеніи Христовомъ. Совершался крестный ходъ вокругъ Успенскаго собора; самъ царь-государь не ходилъ со крестами, а выходилъ въ западныя двери и тамъ ожидалъ богоносцевъ. Вмѣстѣ съ торжественнымъ ликующимъ пѣніемъ „Христосъ воскресе!“ возвращался онъ подъ своды древней святыни московской. Входили туда и всѣ, кто былъ въ золотныхъ кафтанахъ. Отъ тѣсноты оберегали соборъ стрѣлецкіе подполковники.

Пѣлись хвалитныя стихиры пасхальныя, прикладывался царь всея Руси къ образамъ и начиналъ христосоваться—„творить цѣлованіе во уста“ съ благословлявшимъ его святымъ крестомъ владыкою-патріархомъ, митрополитами, архіепископами и епископами; все-же остальное духовенство „жаловалось къ рукѣ“. Слѣдомъ за духовнымъ чиномъ, шло христосованье свѣтскаго. Начиналось оно съ патріарха, къ которому подходили всѣ, цѣловали его руку и одѣлялись красными пасхальными яйцами—по три, по два и по одному. Государь былъ уже въ это время на своемъ „мѣстѣ“ царскомъ, у южныхъ дверей собора, и ожидалъ продолженія вы-

полнявшагося обряда. По заранѣе составленному и утвержденному списку, подходили бояре и всѣ молившіеся въ соборѣ ближніе люди государевы къ его царскому высокому мѣсту и творили цѣлованіе руки царевой. „Христосъ воскресе!“—привѣтствовали они государя —„Воистину воскресе!“— отзывались имъ уста Солнышка Земли Русской“. Христосуясь, раздавалъ царь всѣмъ яйца - гусиныя, куриныя и деревянныя-точеныя. При раздачѣ ихъ находился особый „приносчикъ“—стольникъ изъ ближнихъ людей—и десятеро „жильцовъ-подносчиковъ“. Яйца, приготовлявшіяся заблаговременно токарями, иконописцами и травщиками Оружейной Палаты, а также иноками Троице-Сергіева монастыря, были красныя, богато и искусно изукрашенныя по золоту яркой росписью въ узоръ, или „цвѣтными травами, а въ травахъ птицы и звѣри и люди“. Подносчики держали ихъ о-бокъ съ государемъ—въ деревянныхъ, обитыхъ серебряною золоченой басмою и бархатомъ, блюдахъ. На Руси въ тѣ времена придавалось пасхальному красному яйцу особое таинственное значеніе; тѣмъ съ большимъ благоговѣніемъ принимали его въ Свѣтлую заутреню благочестивые предки наши изъ рукъ государевыхъ. „Яйце примѣнно ко всей твари“,—гласитъ древнее рукописное толкованіе, приписывавшееся встарину св. Іоанну Дамаскину,—„скорлупа—аки небо, плева—аки облацы, бѣлокъ—аки воды, желтокъ—аки земля, а сырость посреди яйца—аки въ мірѣ грѣхъ. Господь нашъ Іисусъ Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, всю тварь обнови Своею кровію, якожъ яйце украси; а сырость грѣховную изсуши, якоже яйце испусти“. Кончалось христосованіе. Святитель московскій возглашалъ-читалъ, въ царскихъ вратахъ, пасхальное слово св. Іоанна Златоуста. Внималъ ему съ благоговѣніемъ подходившій слушать поученіе царь. „Много лѣтъ ти, владыко!“—смиренно произносилъ онъ при окончаніи слова. Отходила заутреня, и шествовалъ государь со всѣми окружавшими его боярами и ближними людьми въ Архангельскій соборъ. Здѣсь онъ поклонялся чудотворнымъ иконамъ и святымъ мощамъ, а затѣмъ, слѣдуя завѣту-обычаю предковъ, „христосовался съ родителями“ предъ ихъ гробницами. Изъ Архангельскаго шелъ царь въ Благовѣщенскій соборъ, гдѣ, поклонившись мѣстнымъ святынямъ, „цѣловался во уста“ съ протопопомъ—царскимъ духовникомъ—и жаловалъ его яйцами, а ключарей допускалъ къ цѣлованію своей руки. Иногда слѣдомъ за Благовѣщенскимъ соборомъ, а порою на второй день Свѣтлой седмицы, посѣщалъ онъ Вознесенскій и Чудовъ монастыри и Троицкое подворье. Весь чинъ, окружавшій го-

сударя въ Успенскомъ соборѣ, слѣдовалъ за нимъ, въ прежнемъ порядкѣ, на всемъ этомъ пути.

Наконецъ, возвращался государь къ себѣ „на Верхъ“ (во дворецъ) и въ Столовой палатѣ жаловалъ къ рукѣ и яйцами пасхальными всѣхъ, кто изъ бояръ и ближнихъ людей оставался тамъ для „береженья“ царскаго семейства и дворца во время выхода государева. Сюда-же сходились и тѣ сановники, которые, по преклонности лѣтъ или по болѣзни, не могли стоять Свѣтлую утреню въ соборѣ, а также и постельничій, стряпчій съ ключомъ, царицыны стольники и дьяки мастерскихъ государевыхъ палатъ. Изъ Столовой шелъ государь въ Золотую палату, куда приходили въ это время славить Христа патріархъ-владыка и иныя власти духовныя. Со всѣми ними изволилъ выходить къ царицѣ царь-государь, окруженный боярами. Принимала гостей царица въ своей Золотой палатѣ, гдѣ сидѣла среди мамъ, дворовыхъ и пріѣзжихъ боярынь. Христосовались съ царицею царь, патріархъ и всѣ—кто были съ ними. Всѣ власти духовныя благословляли царицу святыми иконами и цѣловали у нея руку. Къ ранней обѣднѣ, по описанію изслѣдователя домашняго быта русскихъ царей шелъ государь вмѣстѣ со всѣмъ государевымъ семействомъ въ которую-либо изъ своихъ дворцовыхъ церквей, къ поздней—въ Успенскій соборъ, куда выходилъ въ большомъ царскомъ нарядѣ, ведомый подъ руки двумя ближними боярами, въ сопровожденіи всей свиты. Отъ поздней обѣдни возвращался царь въ царицыны покои, гдѣ жаловалъ къ рукѣ и одѣлялъ крашеными яйцами всѣхъ ея ближнихъ людей, мамъ, верховыхъ боярынь, крайчихъ, казначей и постельницъ. Затѣмъ, изволилъ христосоваться государь со своими дворовыми людьми—комнатными („стоявшими у крюка“), „наплечными мастерами“ (портными), шатерными мастерами, иконниками, мовными, постельными, столовыми, истопниками и сторожами, не исключая ни одного—даже самаго низшаго положеніемъ—двороваго. Разговѣвшись, шелъ онъ принести радостную вѣсть о Свѣтломъ-Христовомъ-Воскресеніи тѣмъ, кто не могъ внимать ей въ соборахъ и церквахъ: въ городскія тюрьмы, больницы и убогіе дома (богадѣльни). „Христосъ воскресъ и для васъ!“—произносилъ царь, входя въ эти пріюты скорбей и печалей, и одаривалъ заключенныхъ и больныхъ отъ щедротъ своихъ пасхальными яйцами красными, деньгами и разными новыми вещами обиходными въ ихъ быту. Присылалась заранѣе сюда отъ государя и праздничная рѣзговѣнь. Объ этомъ благочестивомъ обычаѣ сохранились подлинныя записи, съ точ-

ностью передающія, какъ совершался и чѣмъ сопровождался этотъ богомольный выходъ государя въ день Свѣтлаго Праздника. „1664 году 10-го апрѣля“,—говорится въ придворныхъ запискахъ того времени,—„государь пожаловалъ на Англинскомъ Дворѣ плѣннымъ полякамъ, нѣмцамъ и черкасамъ, а также и колодникамъ, всего 426 человѣкамъ, каждому: чекмень, рубашку и порты и потомъ приказалъ накормить ихъ; ѣствъ имъ давали лутчимъ по части жаркой, да имъ же и достальнымъ всѣмъ по части вареной, по части ветчины, а каша изъ крупъ грешневыхъ и пироги съ яйцами или мясомъ, что пристойнѣе; да на человѣка же купить по хлѣбу да по калачу двуденежному. А питья: вина лутчимъ по три чарки, а достальнымъ по двѣ; меду лутчимъ по двѣ кружки, а достальнымъ по кружкѣ“. Изъ этого простого перечисленія всего пожалованнаго отъ щедротъ государевыхъ заключеннымъ иновѣрцамъ и колодникамъ, сидѣвшимъ „за тяжкія вины“, достаточно видно, съ какой заботливостью относился самодержецъ московскій ко всѣмъ нуждамъ посѣщаемыхъ имъ несчастныхъ въ Свѣтлый Праздникъ, пріобщая ихъ ко всеобщему народному ликованію на Святой Руси, охватывавшему всѣхъ отъ мала до велика, отъ богатыхъ палатъ до бѣдной хижины. Это повторялось неукоснительно изъ года въ годъ. Въ первый день Пасхи красной раздавалась, отъ царскаго имени, щедрая милостыня нищимъ на всѣхъ площадяхъ московскихъ. Иногда устраивались даже столы для нищей братіи въ Золотой царицыной палатѣ, гдѣ одѣляли бѣдняковъ верховыя набольшія боярыни крашеными яйцами и деньгами. Подавалось убогимъ гостямъ на этомъ кормленіи не мало яствъ праздничныхъ—„курей индѣйскихъ, утокъ жареныхъ, пироговъ, перепечей“. Шло столованье, подходило къ концу,—выходили царь съ царицею изъ внутреннихъ покоевъ. Слышалъ убогій людъ изъ государевыхъ устъ вѣсть о Воскресеніи Христовомъ и откликался на нее со слезами умиленія своимъ „Во-истину“. А надъ Москвой Бѣлокаменною, подъ златоглавымъ Кремлемъ и теремами золотоверхими плылъ-разливался въ это время красный перезвонъ со всѣхъ сорока-сороковъ.

Въ царствованіе царя Алексѣя Михайловича неоднократно открывались о Святой Пасхѣ,—преимущественно на третій или четвертый день праздника,—двери Переднихъ сѣней государевыхъ не только для бояръ и сановныхъ людей разнаго чина, но и для простого люда московскаго—торгашей, посадскихъ, мастеровъ всякаго цеха, людей дворовыхъ и крестьянъ. Собирался рано поутру отовсюда народъ къ палатамъ цар-

скимъ. Наряжался каждый простолюдинъ во все, что есть праздничное-цвѣтное. Сколько возможно оказывалось пропустить, столько и пускали въ Переднія сѣни, а остальному народу приказъ былъ отъ стольника—ждать у Краснаго крыльца. Принималъ царь людей московскихъ, всѣхъ къ рукѣ жаловалъ, сидя на своемъ царскомъ мѣстѣ, каждому изъ своихъ рукъ давалъ яйцо красное, монастырской росписью изукрашенное. Раздавалъ царь на пасхальной седмицѣ до 37.000 яицъ. Хранили осчастливленные свѣтлымъ его, великаго государя, лицезрѣніемъ москвичи царскій подарокъ праздничный послѣ во всю свою жизнь, да и дѣтямъ завѣщали память объ этомъ. Не только однихъ попавшихъ въ Переднія сѣни осчастливливалъ Тишайшій изъ русскихъ царей, а выходилъ послѣ этого на Красное крыльцо и тамъ являлъ свой пресвѣтлый ликъ народу, привѣтствуя его возгласомъ: „Христосъ воскресе!“ Тишина стояла при выходѣ государевомъ на площади Кремлевской: всякому хотѣлось услышать своими ушами благостныя слова изъ устъ помазанника Божія. А какъ вымолвитъ царь эти слова, вся площадь, переполненная людомъ московскимъ, откликалась громогласнымъ: „Во-истину воскресе!“ И долго, долго еще переливался по ней волнами могучими этотъ откликъ многихъ тысячъ восторженныхъ голосовъ.

Во время всей Пасхи шли въ палатахъ царскихъ пріемы „великоденскихъ даровъ и приносовъ“. Начиналось это, обыкновенно, со второго дня. Пріемы происходили въ Золотой палатѣ, въ присутствіи всего „чина государева“. Первымъ являлся святитель московскій, благословлявшій государя образомъ и золотымъ крестомъ; за патріархомъ приносили его дары: кубки, бархаты золотные и беззолотные, атласъ, камку, три сорока соболей и сто золотыхъ. Отъ царя шелъ владыка съ приносами къ царицѣ, царевичамъ и царевнамъ. Митрополиты и архіепископы подносили (или присылали со своими стряпчими) государю и каждому изъ его семейства „великоденскій мѣхъ меду“ и „великоденское яйцо“, благословляя при этомъ иконою въ серебряномъ окладѣ. Келарь Троице-Сергіевской лавры подносилъ царю образъ „Видѣніе великаго чудотворца Сергія“, пять „братинъ корельчатыхъ“, ложку „рѣпчатую“, хлѣбъ и мѣхъ меду. Образа и мѣхи съ медомъ подносились архимандритами, строителями и игумнами монастырей: Чудова, Ново-спасскаго, Симонова, Андронникова, Саввинскаго, Кирилло-Бѣлозерскаго, Іосифа Волоколамскаго, Соловецкаго и Никольскаго-на-Угрѣши. Вслѣдъ за духовенствомъ принималъ царь-государь съ великоденскими дарами именитаго человѣка

Строгонова, являвшагося представителемъ цѣлаго края; за нимъ—гостей московскихъ, новгородскихъ, казанскихъ, астраханскихъ, сибирскихъ, нижегородскихъ и ярославскихъ; наконецъ—гостиной и суконной сотенъ торговыхъ людей. Царь Ѳедоръ Алексѣевичъ принималъ въ теченіе Свѣтлой седмицы послѣ обѣдни каждый день людей разнаго званія, всѣхъ допуская къ рукѣ и жалуя крашеными яйцами. Въ понедѣльникъ принимались стольники, стряпчіе и дворовые московскіе, во вторникъ—жильцы (дворяне иногородные), въ среду—дѣти боярскіе, аптекарскаго приказа доктора, аптекари и лѣкаря, въ четвергъ—подъячіе, въ пятницу—дворовые люди и подъячіе дворцовые, суббота была днемъ „разныхъ чиновъ людей“. Ни одинъ человѣкъ изъ „служившихъ на дворѣ“ не оставался безъ царскаго лицезрѣнія въ эти дни. Въ день торговыхъ людей христосовались съ государемъ, кромѣ купцовъ-гостей, „сотскіе и старосты гостиной и суконной сотни, конюшенныхъ и черныхъ слободъ“, выборные чернослободцы и торговые иноземцы. Въ день дворовыхъ людей были принимаемы художники и ремесленники Оружейной Палаты—съ ихъ „подносными дѣлами“, заготавливавшимися заранѣе по назначенію. Въ обычаѣ было у царей русскихъ посѣщать во дни Свѣтлаго Праздника не только московскіе, но и подмосковные, монастыри. Крашеныя яйца возилъ за государемъ прикащикъ-стольникъ съ десятью жильцами-подносчиками. Царица съ царевичами и царевнами „ходила“ въ это время по московскимъ соборамъ и женскимъ монастырямъ, вездѣ христосуясь съ духовенствомъ и властями. Слѣдомъ за нею повсюду ѣздили боярыни. Царица спрашивала всѣхъ игуменій „о спасеньѣ“, боярынь—„о здоровьѣ“, что—по свидѣтельству описателя домашняго быта русскихъ царицъ—являлось признакомъ величайшаго къ нимъ благоволенія.

Бояре, слѣдуя благому примѣру царя-государя, раздавали на Свѣтлый Праздникъ щедрую милостыню, а также посылали „розговѣнье“ въ тюрьмы, больницы и богадѣльни. Именитое купечество не отставало въ этомъ отъ нихъ. Всѣ благочестивые русскіе люди старались, по мѣрѣ силъ и возможности, слѣдовать правилу пасхальнаго поученія: „Своя домашняя безъ печали сотвори, нищая и бѣдная помилуй!“ По стогнамъ Москвы, да и всѣхъ другихъ городовъ русскихъ, неумолкаемо разносился во всю Святую седмицу красный звонъ. Звонили и настоящіе звонари, и всѣ желавшіе „потрудиться для души“ люди—старые и малые; нѣкоторые, особенно изъ слѣпцовъ-убогихъ, достигали въ этомъ трудѣ высокой степени искусства, заставляя изумляться слушателей. Для многихъ явственно

слышались въ этомъ звонѣ воочію воплощавшіяся въ дѣлахъ благотворенія и милосердія слова древняго проповѣдника: „Духовно торжествуемъ, страннолюбіемъ цвѣтуще, любовію озарившеся, нагія одѣвающе, нищая и бѣдная съ собою въ подобно время накормяще и обидимыя избавляюще"... По свидѣтельству иноземцевъ, оставившихъ описанія о своемъ „путешествіи въ Московію", здѣсь исчезало въ эти свѣтлые дни всякое различіе въ положеніи: обмѣнивались христіанскимъ поцѣлуемъ рабы съ боярами, мужчины съ незнакомыми женщинами и дѣвушками, друзья и враги.

Такъ встрѣчала старая московская Русь радостные дни Свѣтла-Христова-Воскресенія.

XX.

Радоница—Красная Горка.

Отойдетъ, выйдетъ за изукрашенную причудливой рѣзьбою всяческихъ преданій дверь вѣковѣчнаго чертога Великой, Малой, Бѣлой и Червоной Руси славная-красная Святая недѣля, слывущая въ нашемъ народѣ за одинъ Великъ-День, — слѣдомъ за нею, у порога стоитъ ея меньшая сестра—Ѳомина, „Радоницкая“. Съ этой седмицею отъ дѣдовъ-прадѣдовъ идутъ въ народъ свои особые обычаи, свои родныя повѣрья, свои вѣщія слова крылатыя, перелетающія за горы высокія, черезъ моря глубокія, шириною безбрежныя, отдѣляющія наши дни отъ сѣдой были повитыхъ мракомъ вѣковъ. На этой недѣлѣ людъ крещоный „съ покойничками христосуется“, разноситъ по могилкамъ радостную вѣсть о Свѣтломъ Христовомъ Воскресеніи, побѣдившемъ собою темную силу смерти:

„Воспоимъ вси пѣснь радостно нынѣ:
Христосъ бо воскресе отъ гробныя скрини,
Возсталъ отъ мертвыхъ Богъ, живый отъ вѣка,
Оживилъ мертва въ мірѣ человѣка.
Нынѣ убо вси ликуемъ,
Духомъ-тѣломъ торжествуемъ,
Во длани плещимо,
Другъ друга простимо“...—

поютъ въ эти дни калики-перехожіе, отъ одного погоста къ другому идучи.

Всплачется радостными слезами весенними Мать-Сыра-Земля, проснется все спящее въ ея любвеобильномъ сердцѣ, вздохнутъ свободнѣе и могильные жильцы: возвеселитъ ихъ, возра-

дуетъ память живыхъ, справляющихъ въ седмицу по Пасхѣ радостныя весеннія поминки, возвѣщающихъ имъ „ангельскую днесь радость и человѣческую сладость“.

Радуется лежащій въ нѣдрахъ земныхъ православный людъ, но еще радостнѣй-свѣтлѣе на сердцѣ у поминающей его родѣньки. Пасха красная — у всѣхъ на душѣ въ эти дни, когда и солнышко весеннія игры играетъ на небесныхъ поляхъ, пригрѣваючи нивы земныя-поднебесныя, выгоняя всходы хлѣбовъ зеленые, когда по селамъ-деревнямъ звенятъ заливные-молодые голоса хороводные. Дождавшаяся Красной Горки молодежь еще веселѣе красна-солнышка играетъ, затѣвая хороводы по краснымъ пригоркамъ-холмамъ, „заплетая плетень“ („Заплетися, плетень, заплетися! Ты завейся, труба золотая! Завернися, камка кружчатая!“ и т. д.), да „сѣя просо“ въ честь стараго „Дида-Лада“, да величая „Дона сына-Ивановича“...

Эти дни съ давнихъ поръ слывутъ свадебными, брачную радость несущими любящимся молодымъ сердцамъ. Послѣднія свадьбы передъ началомъ страдной поры май-мѣсяцемъ — играются во время нихъ. „Сочтемся весной на бревнахъ — на Красной веселой Горкѣ,“ — гласитъ народный прибаутокъ: „сочтемся-посчитаемся, золотымъ вѣнцомъ повѣнчаемся“. Потому-то и ждутъ этихъ дней заневѣстившіяся дѣвушки красныя съ неменьшимъ нетерпѣніемъ, чѣмъ Свѣтлаго Праздника. Въ эти-же дни принято на Руси, по старинѣ стародавней, одаривать „богоданную“ родню зятьямъ да невѣсткамъ. Въ первый день Ѳоминой-Радоницкой недѣли разносится отъ одного села къ другому пѣсня, напоминающая объ этомъ-послѣднемъ обычаѣ:

„Подойду, подойду,
Подъ Царь-городъ подойду,
Вышибу, вышибу,
Копьемъ стѣну вышибу!
Выкачу, выкачу,
Съ казной бочку выкачу!
Подарю, подарю
Люту свекру-батюшкѣ!
Будь добрѣ, будь добрѣ—
Какъ родимый батюшка!
Подойду, подойду,
Подъ Царь-городъ подойду!
Вышибу, вышибу,
Копьемъ стѣну вышибу!
Вынесу, вынесу,
Лисью шубу вынесу!

Подарю подарю,
Люту-свекровь-матушку!
Будь добра, будь добра,
Какъ родима матушка!..“

По объясненію И. М. Снегирева, сложилась-спѣлась эта пѣсня, вѣроятно, еще въ XI—XII столѣтіяхъ когда свѣжа была въ сердцѣ народной Руси стародавняя, поросшая быльемъ, память о славныхъ походахъ русскихъ князей подъ Царьградъ.

„Красной Горкою“, собственно, зовется Ѳомино воскресенье, первый день этой недѣли весеннихъ поминокъ, недѣли предстрадныхъ свадебъ. Наименованіе этого дня ведетъ свое начало отъ сѣдой древности. Горы—колыбель человѣчества, родина и обитель боговъ и естественные предѣлы ихъ владѣній—на зарѣ народной жизни у всѣхъ славянъ почитались священными и являлись, поэтому, мѣстомъ совершенія большинства богослужебныхъ обрядовъ и связанныхъ съ ними обычаевъ. Красный—прекрасный, веселый, радостный, молодой. Отсюда и названіе перваго праздника воскресшей весны—„Красная Горка“. Въ отдаленнѣйшіе годы древнерусскаго язычества въ этотъ день возжигались по холмамъ священные костры—огни въ честь Даждьбога. Вокругъ этихъ огней совершались жертвоприношенія и мольбища. Здѣсь-же вершился судъ—„полюдье“. У русскаго народа не было никакихъ капищъ; ихъ замѣняли лѣсныя поляны да „красныя горы“, на которыхъ—на мѣстѣ повергнутыхъ идоловъ—воздвигнуты были церкви при благочестивыхъ князьяхъ-христіанахъ, отходившихъ изъ этого міра во святой схимѣ. Въ Ѳоминъ понедѣльникъ, знавшійся „Радоницею“, на этихъ горахъ устраивались пиршественныя тризны въ честь умершихъ предковъ. Во вторникъ („Навій день“ или „усопшія Радаваницы“) продолжалось то-же самое. И теперь этотъ день проводится на Руси по кладбищамъ за панихидами да поминками. Въ малорусскихъ селахъ оба эти дня слывутъ „могилками“, „гробками“ и „проводами“. Среда считалась въ языческую старину днемъ браковъ, благословлявшихся жрецами на красныхъ горкахъ. Въ четвергъ и пятницу по древнерусскимъ весямъ происходило „хожденіе вьюнитства“, обычай уцѣлѣвшій и до сихъ поръ въ деревенской глуши подъ именемъ „вьюнца“. Въ субботу на Ѳоминой—самые развеселые хороводы, самыя голосистыя веснянки.

Въ первый день Ѳоминой недѣли совершалось,—а мѣстами и въ наши дни совершается,—заклинаніе весны. Оно начиналось съ восходомъ солнечнымъ. Мѣстомъ дѣйствія являлась всё та-же красная горка. При первомъ проблескѣ свѣтила

свѣтилъ собравшаяся на холмѣ молодежь, съ выбранной «хороводницею» во главѣ, приступала къ выполненію завѣщаннаго старины обряда. Хороводница, благословясь, выходила на средину круга и произносила заклинаніе, сохранившееся во всей своей первобытной чистотѣ на сѣверо-восточной Руси: «Здравствуй, красное солнышко! Празднуй, ясное ведрышко! Изъ-за горъ-горы выкатайся, на свѣтелъ-міръ воздивуйся, по травѣ-муравѣ, по цвѣтикамъ по лазоревымъ, подснѣжникамъ лучами-очами пробѣгай, сердце дѣвичье лаской согрѣвай, добрымъ-молодцамъ въ душу загляни, духъ изъ души вынь, въ ключъ живой воды закинь. Отъ этого ключа ключи въ рукахъ у красной дѣвицы, зорьки-заряницы. Зоренька-ясынька гуляла, ключи потеряла. Я, дѣвушка (имя рекъ), путемъ-дорожкой шла-прошла, золотъ ключъ нашла. Кого хочу—того люблю, кого сама знаю—тому и душу замыкаю. Замыкаю я имъ, тѣмъ золотымъ ключомъ, добраго молодца (имя рекъ) на многіе годы, на долгія весны, на вѣки вѣченскіе заклятьемъ тайнымъ нерушимымъ. Аминь!». Всѣ присутствующіе при заклинаніи повторяли каждое слово за хороводницею, вставляя полюбившіяся каждому имена. Затѣмъ, заклинавшая солнышко дѣвушка, положивъ на-земь посреди круга крашеное яйцо и круглый хлѣбецъ, затягивала пѣсню-веснянку.

„Весна-красна!
На чемъ пришла,
На чемъ пріѣхала?
На сошечкѣ,
На бороночкѣ!“ и т. д.

Весь хороводъ подхватывалъ. Эту пѣсню смѣняла другая; ту—третья. Послѣ пѣсенъ принимались за угощенье, начиналась веселая пирушка.

Въ этотъ-же день еще и теперь по городамъ,—начиная съ Москвы Бѣлокаменной, исконной хранительницы всевозможныхъ преданій и обычаевъ русской старины и кончая самыми захолустными,—устраиваются праздничныя прогулки заневѣстившихся дѣвушекъ. Женихи, въ свой черед, выходятъ на смотрины, совершающіяся на весеннемъ вольномъ воздухѣ, подъ зеленѣющими навѣсами распускающихся деревьевъ. Бываетъ и такъ, что на мѣстѣ «зеленыхъ смотринъ» происходитъ и самое рукобитье. Мѣстами существуетъ обычай (напримѣръ, въ Костромской губерніи), позволяющій парнямъ, въ честь Матери-Сырой-Земли обливать водой приглянувшихся имъ дѣвушекъ. Кто обольетъ которую, тотъ за нее и долженъ свататься,—гласитъ обычное, нигдѣ, кромѣ памяти на-

родной не записанное, право. Кто не сдѣлаетъ этого, тотъ считается лихимъ обидчикомъ, похитителемъ чести дѣвичьей. Въ Густинской лѣтописи, такъ разсказывалось о подобіи этого обычая: „Отъ сихъ единому нѣкоему богу на жертву людей топяху, ему же и донынѣ по нѣкоихъ странахъ безумныя память творятъ: собравшеся юніи, играюще, вметаютъ человѣка въ воду, и бываетъ иногда дѣйствомъ тыхъ боговъ, си есть бѣсовъ, разбиваются и умираютъ, или утопаютъ; по иныхъ же странахъ не вкидаютъ въ воду, но токмо водою поливаютъ, но единако тому же бѣсу жертву сотворяютъ".

Во многихъ селахъ и деревняхъ на Ѳомино воскресенье ввечеру въ обычаѣ сходиться молодежи за околицей и водить тамъ, на задворкахъ, хороводныя игрища, величая Весну-Красну. При этомъ наиболѣе удалые изъ парней влѣзаютъ на деревья и прыгаютъ съ нихъ на-земь, перескакиваютъ съ-разбѣга черезъ плетни; а другіе ходятъ вокругъ сѣнныхъ стоговъ, или соломенныхъ ометовъ, и поютъ:

„Какъ изъ улицы идетъ мо̀лодецъ,
Изъ другой идетъ красна-дѣвица,
Поблизехоньку сходилися,
Понизехонько поклонилися.
Да что возговоритъ доброй молодецъ:
— Ты здорово-ль живешь, красна-дѣвица?
— Я здорова живу, милъ-сердечной другъ;
Каково ты жилъ безъ меня одинъ?" и т. д.

Эта пѣсня имѣетъ то-же самое значеніе для деревенской брачущейся молодежи, какъ и только-что описанное обливаніе водою.

А въ то время, какъ по краснымъ горкамъ за деревенскими околицами происходитъ все это, на погостахъ-кладбищахъ отводится мѣсто совсѣмъ иному. Тамъ начинается съ этого дня „радованье" покойниковъ. Туда, подъ сѣнь безымянныхъ крестовъ, сходятся потерявшія дѣтей матери, вдовы и сироты—плакать-причитать о своихъ дорогихъ, обездоливших ихъ на этомъ свѣтѣ, покойникахъ. По могилкамъ разставляются оставшіяся отъ пасхальныхъ столованій снѣди-питія, раскладываются крашеныя яйца. Съ этого дня чуть-ли не во всю недѣлю, съ утра бѣлаго до темной ноченьки, кишмя кишатъ кладбища народомъ, угощающимся въ честь-память своихъ покойничковъ.

На слѣдующій за Красной Горкою день—заправская Радоница („Радованецъ, Радавница" и т. д.),—та самая, которую поминаетъ народное слово въ поговоркѣ: „Пили на

Масляницѣ. съ похмѣлья ломало на Радоницѣ!", или въ пѣснѣ: „Зять-ли про тещу пиво варилъ. пива наварилъ. да къ Масляницѣ: звалъ-ли тещу ко Радоницѣ. а теща пришла наканунѣ Рождества"... Въ этотъ „родительскій понедѣльникъ" (а мѣстами — во вторникъ) ходятъ поливать могилы медомъ сыченымъ да виномъ зеленымъ - хмѣльнымъ: „утоляютъ родительскія душеньки". Въ бѣлорусскихъ деревняхъ существуетъ обыкновеніе обѣдать на Радоницу—на могилахъ: но только при этомъ строго соблюдается. чтобы кушанья были „нечетныя и сухія", иначе—быть бѣдѣ неминучей. „Святые родители. ходите къ намъ хлѣба-соли кушать!"—приглашаютъ покойниковъ обѣдающіе. предварительно похристосовавшись съ ними. Въ заключеніе поминальной трапезы. на которой. по увѣренію старыхъ богомольныхъ людей. присутствуютъ и загробные гости. большакъ семьи провозглашаетъ: „Мои родители. выбачайте. не дивитесь. чѣмъ хата богата. тѣмъ и рада!" и считаетъ свой долгъ по отношенію къ предкамъ свято выполненнымъ. Нищіе. окружающіе трапезующихъ. одѣляются остатками пищи и деньгами — чѣмъ Богъ послалъ на ихъ убогую долю. Если на радоницкихъ поминкахъ встрѣчаются помолвленные женихъ съ невѣстой. то они должны земно кланяться—каждый у могилы своихъ богоданныхъ сродниковъ и просить благословенія ихъ „на любовь да на совѣтъ. да на племя-родъ".

Поминовеніе родителей. продолжающееся и въ слѣдующіе три недѣли. совершается не только на кладбищахъ. но и дома. въ хатахъ. Въ теченіе всей Ѳоминой седмицы многія приверженныя къ доброй старинѣ хозяйки оставляютъ на ночь на столѣ кушанья—въ полной увѣренности. что „покойнички. наголодавшіеся за зиму". заглядываютъ объ эту пору въ свои прежнія жилища—повидаться со сродниками. памятующими о нихъ. „Не угости честь-честью покойнаго родителя о Радоницѣ—самого на томъ свѣтѣ никто не помянетъ. не угоститъ. не порадуетъ!"—говорятъ въ деревнѣ.

Во вторникъ на Ѳоминой недѣлѣ деревенская дѣтвора „окликаетъ" первый весенній дождь. Съ самаго утра слѣдятъ всѣ: не покажется-ли на небѣ туча. Опытные погодовѣды утверждаютъ. что не бываетъ такого радоницкаго вторника въ который не канулобы хотя одной капельки дождя. Приперовомъ затемнившемъ высь поднебесную облачкѣ ребята принимаются выкрикивать свою обычку. нѣкогда произносившуюся и взрослыми дѣтьми посельской-подольной Руси: „Дождикъ. дождикъ! Снаряжайся на показъ. Дождикъ. пропусти. мы поѣдемъ во кусты. во Казань побывать. въ Астра-

хань погулять. Поливай, дождь, на бабину рожь, на дѣдову пшеницу, на дѣвкинъ ленъ поливай ведромъ. Дождь, дождь, припусти, посильнѣй, поскорѣй, насъ, ребятъ, обогрѣй!" Если, внявъ увѣщательнымъ окликамъ дѣтворы, небо и впрямь брызнетъ на землю весеннимъ дождемъ, то всѣ окликающіе, наперебой, кидаются умываться струями „небесной водицы",—что, по словамъ знающихъ людей, должно приносить счастье. Когда-же, въ рѣдкіе годы, въ этотъ день ударитъ первый весенній громъ, то стародавній опытъ совѣтуетъ молодымъ женщинамъ и дѣвушкамъ—при блескѣ первыхъ молній—умываться дождемъ черезъ серебряныя, а еще лучше черезъ золотыя, кольца. Этимъ сохраняется красота и молодость, столь дорогія въ глазахъ ихъ почитателей.

„И на Радоницу Вьюнецъ и всяко въ нихъ бѣснованіе",—гласитъ, между прочимъ, 25-й вопросъ „Стоглава", въ укоръ и порицаніе народному суевѣрію. „Вьюнецъ", или „вьюнишникъ", справляется въ деревенской глуши и до нашихъ дней на Ѳоминой недѣлѣ. Этотъ стародавній обрядъ, только въ останкахъ уцѣлѣвшій отъ всесокрушающей длани безпощаднаго времени, состоитъ въ хожденіи подъ окнами съ особыми („вьюницкими") пѣснями въ честь новобрачныхъ, повѣнчавшихся на Красной Горкѣ. Толпа веселой молодежи, собравшись въ условленномъ мѣстѣ, двигается изъ конца въ конецъ селенія и начинаетъ „искать вьюнца и вьюницу" (молодыхъ), стучась подъ каждымъ окномъ—съ особымъ припѣвомъ-причетомъ: „Вьюнъ-вьюница, отдай наши яицы!" Гдѣ нѣтъ молодожоновъ, тамъ отъ непрошеныхъ гостей отдѣлываются тѣмъ, что, подавая нѣсколько яицъ, христосуются съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ. Гдѣ-же Красная Горка, дѣйствительно, повѣнчала молодую пару,—тамъ этимъ не откупиться: „вьюнишники" станутъ пѣть передъ такимъ домомъ до тѣхъ поръ, покуда виновники торжества не выйдутъ къ нимъ сами и не вынесутъ всякаго угощенія: пива, меда, пряниковъ и даже денегъ. Послѣ того старшóй изъ пѣвуновъ-весельчаковъ затягиваетъ благодарственную пѣсню:

„Еще здравствуй, молодой,
Съ молодой своей женой!
Спасибо тебѣ, хозяинъ,
Со твоей младой-младешенькой
Хозяюшкою счастливою—
На жалованьи,
На здравствованьи!"

Хоръ молодыхъ голосовъ послѣ каждаго стиха подпѣваетъ

„Вьюнецъ-молодецъ, молодая!“—чѣмъ и кончается чествованіе новобрачныхъ до другого осѣненнаго новымъ счастіемъ дома, гдѣ повторяется то-же самое.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ о Ѳоминой недѣлѣ, въ субботу, происходитъ изгнаніе смерти. Для совершенія этого, ведущаго свой корень изстари вѣковъ, обряда сходятся въ полночь со всего села старыя и молодыя женщины и, вооружившись метлами, кочергами, ухватами и всякою домашней утварью, гоняются по огородамъ за невидимымъ призракомъ древне-языческой славяно-германской Мораны и выкликиваютъ ей проклятія. Чѣмъ дольше и ревностнѣе устрашать гонимый призракъ, тѣмъ—по мнѣнію суевѣрной деревни—надёжнѣе избавиться ото всякой повальной болѣзни—„пóмахи“, на предстоящее лѣто всему селу.

Въ древнія времена соблюдался на Руси, а также и въ Литвѣ, обычай—обѣгáть въ Ѳомину субботу кладбища съ ножами въ рукахъ и съ возгласами: „Бѣгите, бѣгите, злые духи!“ Этимъ думали облегчить загробныя страданія покойниковъ, уходившихъ изъ этого міра въ страну, гдѣ царствовала злая нéчисть.

Въ наши дни все страшное-злое отходитъ отъ народныхъ повѣрій и обычаевъ,—въ нихъ болѣе живучи веселье веселое да радость пѣвучая. А что уцѣлѣло изъ грозныхъ повѣрій старины, такъ и то потеряло свой первобытный обликъ, превратившись въ осѣненный тлетворнымъ духомъ забвенія пережитокъ былой сознательной жизни. Такъ—и радоницкія повѣрья, объединявшія въ себѣ не только радостное, но и грозное. Современная простонародная Радоница является только радостнымъ весеннимъ общеніемъ съ покойниками, только веселымъ свадебнымъ временемъ, только порою воскресающихъ пѣсенъ, плясокъ да хороводовъ. Недаромъ, въ народѣ живетъ поговорка о томъ, что „Веселы пѣсни о Масляницѣ, а веселѣй того—о Радоницѣ“. Другое изреченіе гласитъ, что: „Веселая Масляница—безпросыпная горе-пьяница, а гульливая Радоница—свѣтлой радости пріятельница“. Третье крылатое слово добавляетъ, словно поясняя оба первыхъ, что „Масляныя пьяныя пѣсни о голодный Великъ-Постъ разбиваются, колокольнымъ постнымъ звономъ глушатся, а радоницкія-вьюнишныя по краснымъ горкамъ раздаются, съ семицкими-дѣвичьими перекликаются.“ Этимъ пѣснямъ, по старинному повѣрью, радуются не только живые, а и мертвые...

XXI.

Егорій-вешній.

„На Руси – два Егорья“, –говоритъ народъ: „одинъ холодный, другой—голодный!“ Егорій (Юрій)—тоже, что и Георгій [47]). Память этого, во всемъ славянскомъ мірѣ усердно чтимаго, угодника Божія (Побѣдоносца), празднуется Православной Церковью дважды въ году: весною, 23-го апрѣля, и зимою, 26-го ноября. О зимнемъ Егорьѣ-Юріѣ („холодномъ“) и о наиболѣе замѣчательныхъ изъ связанныхъ съ нимъ сказаній, повѣрій и обычаевъ говорится ниже, въ особомъ очеркѣ. „Голодный“-же Егорій ведетъ къ народную Русь свой, къ нему одному пріурсченный, сказъ, богатый краснымъ словомъ, изукрашенный цвѣтистымъ узорочьемъ воображенія, освященный вѣками хожденія отъ села къ селу, вѣками преемственной передачи изъ устъ въ уста.

Для русской — любовно относящейся къ стародавнимъ обычаямъ—деревни святъ-Егорьевъ день замѣняетъ зане-

---

[47]) Св. великомученикъ Георгій-Побѣдоносецъ—родомъ изъ Каппадокіи, происходилъ изъ знатнаго рода и былъ военачальникомъ. Діоклетіаново гоненіе на послѣдователей Христа заставило его презрѣть всѣ преимущества своего высокаго положенія и заявить себя христіаниномъ. Мученическая кончина св Георгія послѣдовала въ Никомидіи въ 303-мъ году (онъ былъ обезглавленъ послѣ 8-дневныхъ истязаній). На Руси этотъ святой пользуется великимъ почитаніемъ. Съ первыхъ временъ христіанства имя его повторялось въ великокняжеской семьѣ, воздвигались храмы въ честь Св. Георгія, нарекались его именемъ города и монастыри. Съ ярославовыхъ временъ встрѣчается на русскихъ печатяхъ и монетахъ изображеніе его, впослѣдствіи вошедшее въ составъ русскаго государственнаго герба. Св. Георгій—покровитель русскаго воинства Георгіевскій крестъ, жалуемый за выдающуюся храбрость, считается самымъ почетнымъ военнымъ знакомъ отличія

сенное къ намъ изъ-за чужеземнаго рубежа первомайское празднованіе встрѣчи весны-красавицы. „Пришелъ Егорій—и веснѣ не уйти!“, „Юрій на порогъ—весну приволокъ!“, „Не бывать веснѣ на Святой Руси безъ Егорья!“, „Чего-чего боится зима, а теплаго Егорья—больше всего!“, „Апрѣль—пролѣтній мѣсяцъ—Егорьемъ красенъ!“—можно услышать во многихъ уголкахъ свѣтлорусскаго простора. Говоритъ таковы слова пахарь-хлѣборобъ, а самъ—на крылатую молвь дѣдовъ-прадѣдовъ памятливый—приговариваетъ: „Егорій-вешній и касатку не обманетъ!“ (на 23-е апрѣля, по примѣтѣ, изъ-годувъ-годъ падаетъ начало прилета касатокъ-ласточекъ), „Егорій Храбрый—зимѣ ворогъ лютый!“, „Заегоритъ (перейдетъ за день св. Георгія-Побѣдоносца) весна, такъ и зябкій мужикъ—шубу съ плечъ долой!“, „Не вѣрила бабка веснѣ, а пришелъ батюшка Егорій,—и ее, старую, въ потъ бросило!“, „Алексѣй—человѣкъ Божій—съ горъ воду сгонитъ (17-е марта пройдетъ), Ѳедулъ (5-е апрѣля) тепла надуетъ, Василій Парейскій (12-е апрѣля) землю запаритъ, святой Пудъ (15-е апрѣля) вынетъ пчелу изъ-подъ спуда, а мужикъ—все веснѣ не вѣритъ,—пускай, говоритъ, земля прѣетъ, а я погожу полушубокъ снимать: придетъ Егорій—самъ, батюшка, съ плечъ сыметъ!“ и т. д.

Вотъ и выходитъ долгожданный-желанный гость народа-пахаря на торную путь-дорожку народнаго житья-бытья; встрѣчаетъ его, свѣтъ-Егорья Храбраго, побѣдителя зимы и всякой силы темной, русскій мужикъ-простота, бьетъ челомъ ему, привѣтствуетъ его своими присловьями живучими, а самъ—себѣ на умѣ, знай приглядывайся ко всему, что вокругъ да около него творится. Придетъ Егорьевъ день—самъ стародавнія примѣты придерживающемуся ихъ честному люду напомнитъ. А не мало этихъ примѣтъ дошло до нашихъ дней изъ далекой дали родной старины, убереглось отъ забвенія въ сердцѣ народномъ, а частью—и подслушано-записано пытливыми кладоискателями живого слова. Недаромъ слово крылатое молвится: „У старой бабки—на все свои догадки: смотритъ-примѣчаетъ—ничего не прогадаетъ; примѣтъ немног, а хоть отбавляй—такъ на возу не увезешь!“

Если выдастся двадцать-третій день апрѣля-пролѣтняго теплый да ясный—быть, по стародавней примѣтѣ, девятому дню май-мѣсяца съ зеленой понизью: „Егорій съ теплomъ—Никола съ кормомъ!“—говоритъ примѣтливая мудрость народная, пережившая десятки кормившихся отъ щедротъ Матери-Сырой-Земли поколѣній. „Егорій съ водой (съ росой), Никола съ травой!“—прибавляетъ она къ этому, продолжая: „Его-

рій съ лѣтомъ—Никола съ кормомъ!", „Егорій съ ношей (съ кузовомъ)—Никола съ возомъ!", „Егорій-вешній везетъ корму въ торокахъ, а Никола—возомъ!", „На Юрья роса—не надо конямъ овса!"

Сельскохозяйственный опытъ, не гнушающійся простонародными примѣтами, совѣтуетъ съ весенняго Егорьева-Юрьева дня „запасать" (выгонять на пастьбу) коровъ, оставляя коней ждать этого привольнаго корма до Николы. Но у суевѣрныхъ людей, болѣе чутко прислушивающихся къ голосамъ сѣдой старины, и этотъ день, заставляющій мужика сбросить съ плечъ полушубокъ, отмѣченъ наособицу въ конскомъ обиходѣ: на него примѣшиваютъ въ кормъ лошадямъ кусочки крестовъ изъ ржаного тѣста, испеченныхъ на четвертой—Крестопоклонной, Средокрестной—недѣлѣ Великаго Поста. Это должно, по ихъ словамъ, охранять коня-пахаря отъ голоднаго хищника-волка на весеннемъ подножномъ корму.

Св. Георгій, воспринявшій на себя, по волѣ суевѣрнаго воображенія, нѣкоторыя черты Перуна-громовника, является въ народѣ хоробрымъ богатыремъ, побѣждающимъ чудовищъ-драконовъ, залегающихъ дороги прямоѣзжія, освобождающимъ отъ стада змѣинаго (по инымъ разносказамъ—звѣринаго) нивы-поля деревенскія. Онъ-же, Побѣдоносецъ, по народнымъ сказаніямъ, искореняетъ на бѣломъ свѣтѣ басурманское нечестіе, утверждаетъ-насаждаетъ на Святой Руси вѣру православную, совершая при этомъ не мало чудесныхъ, непосильныхъ и самымъ могучимъ богатырямъ, подвиговъ. Но, о-бокъ съ подобными сказаніями, ходитъ среди простодушныхъ потомковъ богатыря-пахаря, Микулы-свѣтъ-Селяниновича, и многое-множество другихъ, сказавшихся-сложившихся въ ихъ нехитромъ быту, отовсюду окруженномъ неумирающей жизнью природы. И эти сказанья-повѣрья еще болѣе живучи, еще болѣе близки стихійному сердцу народному. Въ нихъ представляется Егорій уже не храбрымъ витяземъ, а добрымъ-заботливымъ хозяиномъ полей и луговъ. Онъ—починающій весну покровитель мужика-хлѣбороба—„отмыкаетъ землю", „выпускаетъ на бѣлый свѣтъ росу", „выгоняетъ изъ-подъ спуда земного траву зеленую", „даетъ силу-мочь всходамъ". Въ одномъ бѣлорусскомъ сказѣ-причетѣ такъ и говорится объ этомъ: „Святый Юрья, божій пасолъ, до Бога пашовъ, а узявъ ключи золотые, атамкнувъ землю сырусенькую, пусьцивъ росу цяплюсенькую на Бѣлую Русь и на увесь свѣтъ"... Въ другомъ, записанномъ во второмъ томѣ аѳанасьевскихъ „Поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу", эти чудодѣйные золотые ключи считаются какъ-бы собственностью самого Юрія-Егорья,

у котораго пѣсня проситъ ихъ для апостола Петра, исполняющаго въ этомъ случаѣ завѣтныя обязанности покровителя полей-луговъ:

„А, Юрью, мой Юрью!
Подай Петру ключи
Землю одомкнуци,
Траву выпусциди,
Статокъ (скотину) накормици!“

Это сказанье-повѣрье привилось къ жизни всѣхъ народовъ, въ жилахъ которыхъ течетъ кровь, родственная народной Руси. Такъ, напримѣръ, сербы—съ чехами заодно — передаютъ св. Юрію въ полное распоряженіе и травы, и цвѣты, и злаки земные; у болгаръ обходитъ онъ дозоромъ полевыя межи, осматривая нивы, доглядывая: каково-то растетъ хлѣбъ. Малороссы — въ одинъ голосъ съ Червоной Русью — приговариваютъ: „Святій Юрій по полю ходить, хлибъ-жито родить“... и т. д.

„Запасаетъ“ народъ коровъ да овецъ съ Егорья-вешняго, выгоняютъ пастухи наголодавшуюся за зиму-зимскую животину крестьянскую на зеленѣющіе свѣжей травкою привольные луга; но все это дѣлается нé-спроста, а съ оглядкою. Старые люди строго-на-строго наказываютъ дѣтямъ-внучатамъ блюсти поддерживающіе укладъ крестьянской жизни, сжившіеся съ ней, вѣковѣчные обычаи. Выгонять скотъ на первую пастьбу—„на Юрьеву росу“—совѣтуютъ они не иначе, какъ освященной вербою, хранящеюся въ коровникѣ съ Вербнаго Воскресенія. „Егорій ты нашъ Храбрый“,—выкликаютъ при этомъ старухи-большухи,—„ты спаси („паси“—по иному разносказу) нашу скотинку, въ полѣ и за полемъ, въ лѣсу и за лѣсомъ, отъ волка хищнаго, отъ медвѣдя лютаго, отъ звѣря лукаваго!“ Выгонъ происходитъ непремѣнно на утренней алой зорькѣ, ранымъ-ранехонько, когда еще дымятся луга бѣлодымной росою. Послѣдняя, по увѣренію знающихъ людей, даетъ коровамъ богатый удой и дѣлаетъ ихъ на-диво тучными-здоровыми. Это живучее повѣрье является запоздалымъ пережиткомъ сѣдой языческой старины, когда народное суевѣріе видѣло надъ собою оплодотворителя земли — громовержца Перуна, выгонявшаго стада дожденосныхъ коровъ (тучи) на небесные луга. Роса представлялась суевѣрному воображенію русскаго - язычника пролитымъ за ночь на землю молокомъ этихъ коровъ; потому-то ей и приписываются теперь столь чудесныя свойства. Въ нѣкоторыхъ уголкахъ славянскаго міра (на онѣмеченномъ сѣверѣ) до сихъ поръ въ обычаѣ привязы-

вать къ хвосту первой въ стадѣ коровы зеленую вѣтку: сметая съ травы ночную росу, она какъ-бы обезпечиваетъ изобильный удой всѣмъ другимъ идущимъ вслѣдъ за нею коровамъ. Благочестивые люди совѣтуютъ окроплять впервые выгоняемое на весеннюю пастьбу стадо святой водою. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ на выгонѣ, за околицею, служатся въ этотъ вешній день молебны о благополучномъ для скота пастбищѣ „съ Юрья—до Васильева дня". По народному крылатому слову: „Юрій да Власъ—всему сѣрому мужицкому богачеству глазъ!"

Старинный обычай, до сихъ поръ памятуемый во многихъ южно-русскихъ мѣстахъ, заставляетъ сельчанъ окачивать водою пастуха передъ первымъ его выходомъ на весеннее Юрьево-пастбище. Выгонитъ пастухъ съ подпасками стадо, а тамъ—на первомъ привалѣ—готово для нихъ угощеніе, снаряженное вскладчину „всѣмъ міромъ". Несутъ туда бабы-дѣвки „мірскую яичницу", не забываютъ онѣ и о чемъ-нибудь хмѣльномъ—промочить горло на вольномъ воздухѣ Пьютъ, ѣдятъ пастухи, а сами хлѣбосольный міръ похваливаютъ да святого Юрія-Егорья заклинаютъ: чтобы оберегалъ онъ, Храбрый, новое пастбище ото всякаго лиха, а животину крестьянскую отъ лютой „помахи" (мора), ото всякой напасти нечаянной. А напастей не мало можетъ, въ недобрый часъ, обрушиться на стадо. Звѣрьё хищное,—отъ того хоть дубьемъ, либо ружьемъ, обережешь скотинушку. Да и то сказать—не ото всякаго звѣря и ружье спасетъ: „У волка въ зубахъ—что Егорій далъ!"—говоритъ народное слово. Ужъ если что̀ обрекъ онъ, свѣтъ-Юрій, на съѣденіе звѣрю,—не уберечь того ничѣмъ. Но есть на свѣтѣ и другое лихо. Сказываютъ знающіе всю подноготную люди, что въ ночь съ Лукова (22-го апрѣля) на Егорьевъ день, выходятъ на луга вѣдьмы, устилаютъ онѣ, проклятущія, траву бѣлой-тонкой холстиною; какъ намокнутъ холсты, напитаются, бѣлые, росою,—такъ и сдѣлаются они пагубными для коровъ: заберется вѣдьма въ коровникъ да накроетъ такимъ холстомъ скотинку-животинку—тутъ къ ней всякая злая болѣсть и привяжется-прилипнетъ. Да и не одни пастухи, а и бабы-хозяйки, отчитываютъ отъ „вѣдьмина призора" своихъ коровъ. И во всѣхъ этихъ отчитываньяхъ слышится имя все того-же св. Юрія-Егорья, побѣдителя темной силы подъодонной. На литовской сторонѣ ходитъ въ народѣ старое повѣрье о томъ, что вѣдьмы любятъ „выдаивать" коровъ и ухищряются для этого на всѣ свои семьдесятъ семь лукавыхъ увертокъ. Въ канунъ Егорья-вешняго бродятъ вѣдьмы по крестьянскимъ дворамъ, отворяютъ

ворота, срѣзываютъ съ нихъ стружки и варятъ ихъ въ подойникахъ. Это, по суевѣрному представленію деревни, отнимаетъ у сосѣдскихъ коровъ молоко. Отъ такого ухищренія нечистой силы только и можно оберечь свой дворъ тѣмъ, что съ молитвою ко святому побѣдителю темной силы, осмотрѣть въ канунъ Юрьева дня ворота и,—если что̀ окажется неладное, — замазать оставленныя вѣдьмами нарѣзки набранною у воротной притолоки грязью. Замѣчательно, что подобныя повѣрья о вѣдьмахъ распространены не только въ славянскихъ земляхъ, но и по всей сосѣдней съ ними нѣметчинѣ. Богобоязненные старики совѣтуютъ оберегать молитвой да наговоромъ отъ вѣдьмъ на Егорія-вешняго не только луга, дворы, но и рѣчки съ колодцами,—чтобы онѣ не могли на пустить своего злого лиха на скотскій водопой.

Бережетъ святой Егорій крестьянскую животину ото всякаго злого лиха; потому-то и слыветъ онъ за на́большаго надо всѣми пастухами на неоглядной Руси. „Хоть всѣ глаза прогляди, а безъ Егорья не усмотришь за стадомъ!“—гласитъ пастушье присловье. И крѣпка вѣрою въ защиту Побѣдоносца посельщина-деревеньщина, выгоняющая свои стада на весеннюю пастьбу. Что высокою стѣной глинобитною—огораживается она ото всякой бѣды-напасти подсказанными сѣдой стариною заговорами да заклинаніями, обращенными къ нему. „Поклонишься святому Юрію, онъ ото всего обережетъ животину!“—говоритъ сельскій людъ и прибѣгаетъ къ этому приводящему весну на свѣтлорусскій просторъ угоднику Божію и за тѣмъ, чтобы стаду въ-прокъ корма̀ шли подножные, и за тѣмъ, чтобы паслось оно, рогатое, по добру по здорову, чтобы не разбѣгалось во всѣ стороны, чтобы не дѣлало потравъ на чужихъ поляхъ. Многое-множество заговоровъ, обращенныхъ къ Юрью-Егорью, ходитъ до нашихъ дней въ народѣ. „Встрѣтилъ нашъ скотъ—милой животъ—святой великомученикъ Егорій на бѣломъ конѣ; въ рученькахъ у него Егорья-свѣта, щитъ огненный. Бьетъ онъ—побиваетъ всѣхъ колдуновъ и колдуницъ, воровъ и воровицъ, волковъ и волчицъ!“—причитаютъ придерживающіеся стародавней мудрости примѣтливые домохозяева, встрѣчая возвращающіяся съ первой весенней пастьбы стада̀.

Егорій-Юрій, однако, слыветъ въ народной Руси не только покровителемъ стадъ, но и хозяиномъ волковъ и другихъ хищныхъ звѣрей. По преданію, онъ передъ своимъ вешнимъ днемъ садится на бѣлаго добра-коня и объѣзжаетъ всѣ лѣса, собираючи отовсюду звѣрье дикое да отдавая ему свои хозяйскіе наказы нерушимые. Каждому звѣрю идетъ отъ него

свой приказъ—наособицу: чѣмъ зубастому кормиться, гдѣ промышлять добычу. „Обреченная скотинка — не животинка!“—говоритъ по этому случаю сельскій людъ, говоритъ—приговариваетъ: „Ловитъ волкъ свою роковую овечку!“, „Безъ Юрьева наказу и сѣрый (волкъ) сытъ не будетъ!“, „На что волкъ сѣръ, а и тотъ по закону живетъ: что Егорій скажетъ, на томъ все и порѣшится!“, „Святой Егорій держитъ волка впроголодь, а то-бы—хоть и скота не води!“ Въ среднемъ Поволжьѣ, по захолустнымъ деревнямъ, еще недавно было въ обычаѣ—передъ выгономъ стада на первое пастбище выходить вечеромъ въ луга и выкликать: „Волкъ, волкъ, скажи, какую животинку облюбуешь, на какую отъ Егорья наказъ тебѣ вышелъ?“ Послѣ этого выкликавшіе, преимущественно—старѣйшіе въ семьѣ, шли домой, въ темнотѣ заходили въ овчарню и схватывали первую попавшуюся подъ-руки овцу. Она обрекалась на жертву звѣрю; ее рѣзали, отрубленныя голову и ноги бросали въ полѣ, а остальное мясо жарили-варили для самихъ-себя и для угощенья пастуховъ.

О св. Егоріѣ, какъ волчьемъ хозяинѣ, ходитъ по народной Руси не мало разнообразныхъ сказовъ-преданій. Въ одномъ, наиболѣе любопытномъ изъ нихъ, ведется рѣчь о томъ, какъ шелъ черезъ лѣсъ нѣкій, не почитавшій Бога и угодниковъ Божіихъ, злой пастухъ; шелъ онъ къ роднику — напиться водицы. Идетъ пастухъ и видитъ: стоитъ старый коренастый да вѣтвистый дубъ, а вся по́низь вокругъ него прибита къ землѣ, вся утолочена. „Дай-ка“,—говоритъ пастухъ,—„дайка я посмотрю, что̀ тутъ дѣлается!“ Влѣзъ пастухъ на дубъ, видитъ—ѣдетъ на бѣломъ конѣ своемъ святой Егорій, а вслѣдъ за нимъ цѣлая стая волковъ бѣжитъ. Ни живъ, ни мертвъ сидитъ пастухъ на дубу, шелохнуть вѣточку боится. А Егорій подъѣхалъ къ утолоченному мѣсту, остановился подъ дубомъ и началъ отдавать свои наказы волкамъ: разсылаетъ ихъ, сѣрыхъ, во всѣ стороны свѣта бѣлаго, говоритъ—кому чѣмъ питаться весной красною, знойнымъ лѣтечкомъ, вплоть до ненастной осени. Шло время, всѣхъ волковъ разослалъ, всѣхъ надѣлилъ краюшками хлѣба заботливый волчій хозяинъ; вдругъ (видитъ пастухъ) тащится изъ лѣсной заросли старый-престарый хромой волкъ. „А мнѣ-то что-жъ?“—спрашиваетъ волкъ.—„А тебѣ.—говоритъ св. Егорій,—вонъ на дубу сидитъ!“ Сказалъ да и уѣхалъ на своемъ конѣ. А волкъ сѣлъ подъ дубомъ,—сидитъ, а самъ кверху—на пастуха—смотритъ да зубами щелкаетъ. Сидитъ волкъ день, сидитъ сѣрый другой день,—все ждетъ, что слѣзетъ пастухъ,—ждетъ-пождетъ,

а тотъ не слѣзаетъ, не хочетъ волку въ зубы попасть. Пустился на хитрость сѣрый: взялъ—схоронился за кусты. Посидѣлъ-посидѣлъ пастухъ на дубу, пронялъ бѣднягу голодъ; оглядѣлся онъ по сторонамъ—нигдѣ не видать волка: слѣзъ и—бѣжать со всѣхъ ногъ. А волкъ—тутъ какъ тутъ: выскочилъ изъ своей засады, кинулся на пастуха, - тому на этомъ мѣстѣ и смерть пришла...

Малорусскій сказъ какъ-бы дополняетъ это сказаніе. Жили-были двое братьевъ на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ,—ведется повѣсть,—жили-были: одинъ богатый, другой - голь-нищета, бѣдный. Однажды „злизъ бидный братъ на дуба ночуваты, колы такъ о пивночи бачыть: якыйсь чоловикъ гоныть сылу звиря, а позаду другый чоловикъ їиде на вози. То булы лисунъ (лѣшій) и св. Юрій. Отъ прыгнавъ лисунъ звиря, да якъ-разъ - пидъ того дуба, дѣ сидивъ чоловикъ; а св. Юрій почавъ раздиляты окрайцы хлиба, що булы на вози". Роздалъ-раздѣлилъ св. Егорій привезенный хлѣбъ своему волчьему стаду, смотритъ—одна краюшка осталась лишняя. Отдалъ ее угодникъ Божій бѣдняку, отдавъ—говоритъ: „Се тоби Господь давъ счастя! З цёго окрайчика ты вже певне, що разживешся!" Прошло много-ли, мало-ли времени,—исполнились слова святого Юрія, разжился бѣднякъ: „окрайця того никъ не можна зъисты: що ни поіидять, а назавтра винъ и стане такимъ, якъ бувъ: усе приростае!"... Видитъ это богатый братъ—видитъ, и взяла его зависть лютая. „Дай,—думаетъ,—и я все это сдѣлаю!"... Пошелъ онъ къ тому дубу, влѣзъ на верхушку зеленую. И снова пошло все—какъ по писаному: опять началъ одѣлять св. Юрій краюшками хлѣба свое волчье стадо. Да только конецъ не на ту стать вышелъ: не хватило у волчьяго хозяина одному волку краюшки, далъи наказъ угодникъ Божій—съѣсть богача завидущаго, вмѣсто краюшки... Зависть лютая и здѣсь, какъ въ первомъ приведенномъ сказаніи, была наказана, и голодный волкъ нашелъ свою волчью сыть.

Пахарь-народъ, поручая заботамъ св. Георгія-Побѣдоносца свои стада, обращается къ его крѣпкому заступничеству—и приступая къ весеннимъ земледѣльческимъ работамъ. Съ Егорья-вешняго запахиваетъ и лѣнивая соха. Такъ и слыветъ, напримѣръ, въ нижегородской округѣ двадцать третій день апрѣля—пролѣтняго мѣсяца—за „Егорья-лѣниву-соху". По всей народной Руси служатся-поются въ Егорьевъ день молебны на пашняхъ, а гдѣ и не служатся - такъ возносится къ небу простодушная молитва посельщины-деревенщины, молитва о святомъ заступничествѣ Егорья-Юрія. „Онъ

начинаетъ работу, къ его (зимнему) дню работа у мужика и приканчивается.

Въ Тульской губерніи еще совсѣмъ недавно существовалъ обычай—валяться раннимъ утромъ въ день Егорія-вешняго по росѣ на полевыхъ межникахъ. Кто по Юрьевой росѣ покатается, будетъ,—гласитъ повѣрье,—„силенъ и здоровъ, что Юрьева роса". Наберется, бывало, деревня силы-здоровья отъ Юрьевой росы, а на утро—за яровой сѣвъ. А и чудесныя-же свойства у этой росы: ею до сихъ поръ пользуютъ знахарки—вѣщія бабки—„отъ сглаза, отъ семи недуговъ". Эта-же роса, по орловскому повѣрью, просамъ на пользу идетъ: „На Егорья роса—будутъ добрыя проса!"

Есть на Святой Руси мѣстности, куда приводитъ Егорій-вешній и свои особыя игрища, являющіяся отголоскомъ старины. Таковъ, напримѣръ, обычай „вожденія Юрья", состоящій въ томъ, что всей деревнею выбираютъ красны-дѣвушки молодого красиваго парня, обвѣшиваютъ его зелеными вѣнками и кладутъ ему („Зеленому Егору") на голову большой круглый пирогъ, убранный цвѣтами. Толпою идетъ деревенская молодежь въ поле, оглашая воздухъ припѣвами, обращенными къ св. Юрію. Трижды обходятъ красныя дѣвушки съ молодыми парнями засѣянныя поля. Потомъ разводится на перекресткѣ межниковъ небольшой костеръ—въ видѣ кольца, посреди котораго кладется на землю принесенный пирогъ („моленникъ"). Всѣ пришедшіе садятся съ пѣснями вокругъ костра, начинается дѣлежъ пирога: каждому должно непремѣнно достаться хоть по малому кусочку. Кому изъ дѣвушекъ достанется въ пришедшемся на ея долю кускѣ больше всѣхъ начинки—та выйдетъ по осени замужъ. Доѣвъ пирогъ, молодежь возвращается по своимъ дворамъ, приплясывая да припѣваючи:

„Мы вокругъ поля ходили,
Мы Егора-свѣтъ водили,
Мы Егорья кликали"... и т. д.

На Егорья-вешняго въ бѣлорусскихъ и малорусскихъ селахъ закапываютъ на полевыхъ межникахъ оставшіяся отъ „свячоной" пасхальной снѣди кости поросятъ и барашковъ. Закапываньe это производится съ особыми причетами, взывающими все къ тому-же Егорью. Это, по старинному, завѣщанному современной деревнѣ дѣдами-прадѣдами, повѣрью, должно оберегать посѣвы „отъ градобоя и бурелома".

Подъ Юрьевъ день старые, свѣдущіе въ преданіяхъ суевѣрной старины, люди строго-на-строго заказываютъ моло-

дымъ что-либо работать изъ шерсти. „Кто беретъ подъ Юрья шерсть въ руки, у того волки овецъ переръжутъ!“—приговариваютъ они. Объясненія этого повѣрья не найти ни у одного изъ собирателей-изслѣдователей памятниковъ старины: оно безслѣдно затонуло въ волнахъ забвенія. Несомнѣнную связь съ этимъ повѣрьемъ имѣетъ другое, относящееся къ Срѣтенью: въ какой день придется Срѣтенье, въ тотъ день во весь годъ нельзя сновать основъ, чтобы не встрѣтиться въ недобрый часъ съ волкомъ. Есть повѣрье, подобное этому, и у болгаръ. Они во время зимняго солноворота не работаютъ никакой шерстяной одежды: кто въ такой одежинѣ выйдетъ весною въ поле на работу—того неминуемо разорвутъ волки.

У западныхъ славянъ, между прочимъ—на Моравѣ, встрѣчу весны пріурочиваютъ къ весеннему Егорьеву дню. „Зима, зима („Смертная недѣля!“—по иному разносказу),“—выкликаетъ въ этотъ день сельская молодежь: „Куда ключи дѣвала?—Я отдала ихъ Вербному Воскресенью!—Вербное Воскресенье, куда ты ключи дѣвало?—Отдало зеленому (чистому) четвергу!—Зеленый четвергъ, куда ты ключи дѣвалъ?—Я отдалъ ихъ святому Юрію, Юрій вставалъ, отмыкалъ землю, чтобы росла трава, трава зелена!“ Въ Сербіи, Босніи, Герцеговинѣ, а также и въ Болгаріи, въ каждомъ семействѣ колютъ на Юрьевъ день бѣлаго барашка, какъ-бы принося его въ жертву св. Георгію-Побѣдоносцу. Обреченной жертвѣ связываютъ ноги, на голову надѣваютъ цвѣточный вѣнокъ, завязываютъ глаза, ротъ мажутъ медомъ, а къ рогамъ прикрѣпляютъ зажженныя восковыя свѣчи. Когда всѣ эти приготовленія сдѣланы, большакъ семьи громко читаетъ тропарь св. Георгію, кадитъ ладономъ и затѣмъ, занося ножъ надъ барашкомъ, возглашаетъ: „Св. Герги! На ти ягне!“ и рѣжетъ. Кровь барашка собирается въ чистый сосудъ и дается, какъ цѣлебное средство, одержимымъ разными болѣзнями, а мясо жарится и съѣдается всею семьей; кости осторожно собираются и зарываются въ землю. Въ прикарпатской окру́гѣ на Егорья-вешняго пекутся изъ здобнаго тѣста пироги въ видѣ барашковъ, въ Литвѣ—повсюду при входѣ въ церкви продаются въ этотъ день восковыя изображенія коровъ, овецъ и лошадей. У чеховъ существуетъ старинное повѣрье, гласящее, что, если у кого-нибудь есть дубинка, которою убита змѣя на весенній Юрьевъ день, тотъ смѣло можетъ идти въ самую горячую кровопролитную сѣчу: онъ дѣлается неуязвимымъ ни для пули, ни для сабли. Записано любопытное болгарское преданіе о бабѣ, обернувшейся въ первую на свѣтѣ змѣю. Въ старое время,—гласитъ

оно,—одна злая баба взяла грязную пелену и накрыла ею мѣсяцъ, а мѣсяцъ-то ходилъ въ тѣ времена чуть не по самой землѣ. Но, чуть накрыла его баба, поднялся онъ въ высь поднебесную и проклялъ злую-нечестивую. Отъ мѣсяцева проклятія и обернулась она въ змѣю, а отъ этой змѣи и произошелъ весь змѣиный родъ на землѣ. Много больше народила-бы первая баба-змѣя змѣёнышей, да заступился за людей святой Георгій и убилъ змѣиную прародительницу. Многое-множество другихъ сказаній ходитъ по славянскому міру о святомъ Побѣдоносцѣ, и всѣ-то они, эти сказанія, доходятъ отголосками до народной Руси. Во всѣхъ нихъ встаетъ онъ богатыремъ-чудотворцемъ, вѣрнымъ-надёжнымъ заступникомъ бѣднаго трудового люда.

„По колѣна ноги (у него) въ чистомъ сѣребрѣ,
По локоть руки въ красномъ золотѣ,
Голова у Егорья вся жемчужная,
Во лбу-то солнце, въ тылу-то мѣсяцъ,
По косицамъ звѣзды перехожія“...

Деревенскіе погодовѣды накопили въ своей памяти немало всякихъ примѣтъ, относящихся къ весеннему Егорьеву дню. Если въ этотъ день будетъ кропить небо дождемъ грудь земли-кормилицы, то,—говоритъ народъ,—это сулитъ „скоту легкій годъ“ (по бѣлорусской примѣтѣ—частыя гречи). Если пойдетъ „на Юрья“ крупа, будетъ богатый урожай гречи-дикуши. Если ударитъ на Егорьевъ день легкій морозецъ-утренникъ,—уродятся добрые проса и овсы („На Егорья морозъ—будетъ просо и овесъ!“). Цѣлые вѣка приглядывался народъ къ обступающимъ его явленіямъ природы,—потому-то нѣспроста обронилъ онъ и слѣдующее присловье: „Коли на Юрья березовый листъ въ полушку—къ Успенью клади хлѣбъ въ кладушку!“ Ранніе овсы опытные хозяева совѣтуютъ сѣять „съ Егорья“, ранніе горохи - досѣвать къ 23-му апрѣля (Нижегородск. губ.). Если егорьевское утро яснымъ-яснехонько, то урожайнѣе выдутъ ранніе посѣвы; яснѣе утра егорьевскій вечеръ—поздніе переспорятъ. „Сѣй разсаду до Егорья“, - говорятъ завзятые огородники,—„будетъ капусты доволѣ!“ Если закукуетъ вѣщунья—бездомница-кукушка „до Егорья“,—это, по народной примѣтѣ, не къ добру: надо тогда ждать либо недорода хлѣбовъ, либо скотину станетъ валомъ-валить.

Деревенскихъ поговорокъ, пріуроченныхъ къ Егорьеву вешнему дню,—не оберешься: одна другую переговариваетъ... „Сѣна достанетъ у дурня до Юрья, у разумнаго до Николы!“, „Юрій богатъ пирогомъ, а рука—батогомъ!“, „Богатый сытъ

XXII.

Май-мѣсяцъ.

Отопрѣетъ въ тридцать апрѣльскихъ-пролѣтнихъ дней намерзшаяся за студеную зиму-зимскую Мать-Сыра-Земля; проснется людъ крещоный поутру послѣ тридцатой ночи этого мѣсяца, а на дворѣ-то уже новый—„трáвень-цвѣтень“ мѣсяцъ стоитъ, что маемъ, по примѣру земли греческой, на Святой Руси прозывается. Если наканунѣ восходило-всплывало на ясный небесный просторъ изъ-за горъ-горы красное солнышко, то быть, по народной примѣтѣ, не только веснѣ, а и всему лѣту—яснымъ да ведренымъ.

Бываетъ, что начнетъ апрѣль распаривать, теплынью припекая, старыя косточки примѣтливыхъ людей, а май возьметъ да и завернетъ холодами. Отсюда и поговорки: „Ай-ай, мѣсяцъ май! Коню сѣна дай, а самъ на́-печь полѣзай!“, „Май обманетъ, въ лѣсъ уйдетъ!“ и друг. Да и то сказать—и безъ холодовъ май-мѣсяцъ мужика-хлѣбороба смаитъ: не холоденъ, такъ голоденъ. Къ этой порѣ весенней подъѣдается хлѣбъ, да и скоту безкормица настаетъ,—одно спасенье, если да зазеленѣетъ во́-время по лугамъ, по выгонамъ трава-мурава. А то недаромъ дошла до нашихъ дней путемъ-дорогою изъ старины стародавней пословица: „Нашъ пономарь понадѣялся на май, да и сталъ безъ коровъ!“. Что и говорить, веселый мѣсяцъ май, а тяжелый для пахаря. Хотя и повторяютъ деревенскіе краснословы, что „Майская трава и голоднаго кормитъ!“ („Апрѣль съ водою—май съ травою!“); хоть и замѣчаютъ погодовѣды завзятые, что: „Май холодный—годъ хлѣбородный!“, „Мартъ сухой да мокрый май—будетъ каша и коровай!“, „Коли въ маѣ дождь—будетъ и рожь!“ и т. д.; но

они-же сами гуторятъ и: „Захотѣлъ ты въ маѣ добра!“, „Захотѣлъ ты въ маѣ у мужика перепутья (хлѣбомъ-солью на перепутьи подкрѣпиться)!“, „Живи, веселись, да каково-то будетъ въ маѣ!“ Да и не только для однихъ деревенскихъ хлѣбоѣдовъ тяжеленекъ мѣсяцъ май: съ чего-нибудь, откуда ни на есть да взялись привившіяся къ нашему суевѣрію крылатыя слова: „Въ маѣ родиться—вѣкъ маяться!“, „Женишься въ маѣ—спокаешься, всю жизнь промаешься!“, „Радъ-бы жениться, да май не велитъ!..“ Въ старые годы всѣ сватовства приканчивались съ послѣднимъ днемъ апрѣля.

„Соловей-птица мала̀-мала̀, а и та знаетъ, когда май“,—гласитъ простонародная мудрость:—„мужику-ли не знать, что́ въ майскіе дни ему на вѣку положено!“. А положено на соловьиный мѣсяцъ для сельщины-деревеньщины не мало всякихъ завѣтовъ многоопытной старины, семь разъ примѣрившей и одинъ—отрѣзывавшей во всякомъ нешуточномъ дѣлѣ. Цѣлая стѣна обычаевъ, примѣтъ и повѣрій обступаетъ родную имъ Русь въ его зеленые-расцвѣтающіе дни. Слыветъ особо важнымъ, изо всѣхъ выдѣляется въ городахъ первое мая—„гуленый“ день; а въ деревенской глуши—чуть-ли что́ ни шагъ ступишь въ этомъ причудливомъ мѣсяцѣ, то и на важную примѣту его натолкнешься.

Первомайскій весенній праздникъ—чужестранный гость на хлѣбосольной Руси: занесли его къ намъ Петровскія времена,—сперва въ Нѣмецкую Слободу [47]) на Москвѣ Бѣлокаменной, гдѣ и строились въ этотъ день „нѣмецкіе столы“ и разбивались „нѣмецкіе станы“, а потомъ поприглядѣлись къ нему горожане да и переняли пришедшуюся имъ по душѣ весеннюю гулянку веселую. Стала она сперва школьнымъ праздникомъ, а потомъ и „народно-городскимъ“, для мѣщанъ да посадскихъ, да купцовъ—торговаго люда. Въ настоящее время и въ деревняхъ веселится-гуляетъ молодежь, на свой, русскій, ладъ справляя нѣмецкое „первое мая“ — на весеннемъ зеленѣющемъ привольѣ-раздольицѣ. А въ эту-самую пору домовитые хозяева, прислушивающіеся къ крылатой молвѣ, вспоминаютъ и спѣшатъ выполнить на дѣлѣ мудрые совѣты

---

[47]) Нѣмецкая Слобода—заязузское предмѣстье Москвы, отведенное для жительства иноземцевъ, которые всѣ у насъ слыли въ старые годы за „нѣмцевъ“. По большей части это были купцы и ремесленники. Лѣкаря были также изъ иноземцевъ. Съ XVII-го столѣтія, со временъ Алексѣя Михайловича, число иностранцевъ въ Москвѣ значительно возросло, а съ воцареніемъ Петра Великаго мы видимъ „нѣмцевъ“ уже и на русской государственной службѣ. Въ Нѣмецкой Слободѣ были у иноземцевъ и свои церкви, гдѣ они совершенно свободно отправляли всѣ свои духовныя нужды.

старины: „Съ Еремѣя-запрягальника (1-го мая) запрягай коня въ соху, выѣзжай въ поле, подымай сѣтево (лукошко съ сѣменами)!“, „На первую майскую росу (утреннюю) бросай первую горсть яровины на полосу!“. Благочестивая старина совѣтуетъ молиться въ этотъ день святому пророку Іереміи: „Овесъ сѣя, проси Еремѣя!“. Съ молитвой, обращенною къ нему, и выходили въ старые годы хлѣбопашцы, бросивъ три горсти сѣмянъ, отвѣшивали три поклона на всѣ стороны, кромѣ полунощной-сѣверной, а потомъ шли, благословясь, отъ борозды къ бороздѣ по всему засѣваемому загону. „Вёдро на Еремѣевъ день—хороша хлѣбная уборка, ненастье—всю зиму будешь его помнить да маяться!“—говорятъ примѣтливые люди.

Народная мудрость увѣщеваетъ сѣять хлѣбъ осмотрительно, по старинѣ. А встарину сѣяли только въ теплую погоду, да и то не очертя голову. Клалъ сѣятель обѣ руки наземь, замѣчалъ: тепла-ли земля, и, только увѣрившись въ этомъ, начиналъ ронить зерно, не опасаясь, что заморозки-утренники поздними слезами лиходѣйки-зимы, укрывающейся въ глубинахъ подземныхъ, поморозятъ всходы еще въ зародышѣ. „Сѣй недѣлю послѣ Егорья да другую послѣ Еремѣя!“—ведутъ свою рѣчь примѣты:—„Раннее яровое сѣй, когда вода сольетъ, а позднее—когда цвѣтъ калины будетъ въ кругу!“, „Яровой хлѣбъ сѣй съ одышкой да съ поглядкой!“, „Рожь говоритъ: сѣй меня въ золу, да въ пору; а овесъ: топчи меня въ грязь, а я буду князь, хоть въ воду—да въ пору!“, „Лягушка квачетъ, овесъ изъ-подъ земли скачетъ!“.

Второе мая—соловьиный день; съ него въ средней полосѣ Россіи соловьи запѣваютъ, а встарину ловцы-соловьятники выходили въ лѣсъ на выгодную ловлю пѣвцовъ сада Божьяго,—ходили-бродили цѣлый мѣсяцъ по тропамъ ходамъ зазнаемымъ, подманивали въ сѣти, залавливали вольныхъ залетныхъ пташекъ, дорого цѣнящихся и о сію пору любителями пѣвчей утѣхи, а затѣмъ—съ добычею направлялись въ Москву, начинали продажу. „Запостъ соловей на другой день послѣ Еремѣя-запрягальника, будешь съ хлѣбцемъ!“, „По соловьямъ—и погода!“, „Поютъ соловьи передъ Маврой (наканунѣ 3-го мая)—и весна зацвѣтетъ дружно!“.

Пятаго мая—„Арины-разсадницы“: съ этого дня пора высаживать на огородныя грядки капустную разсаду. Еще наканунѣ, вечеромъ „на Палагею“ (4-го мая), опытныя огородницы справляютъ завѣщанный на этотъ случай старыми людьми обычай: выносятъ на огороды надтреснутый горшокъ, кладутъ въ него выдернутую по-близости крапиву (съ корнемъ) и ставятъ горшокъ вверхъ дномъ на самую средину средней гряды.

Это дѣлается въ огражденіе огорода отъ нападеній вражьей, „завидущей“, силы, чтобы ѣла она—проклятая—одну крапиву жигучую, чтобы не прикасалась ни къ чему взрощенному трудомъ праведнымъ. Высаживая разсаду, свѣдущіе люди причитаютъ: „Разсадушка-разсада, не будь голеняста, а будь пузаста; не будь пустая, а будь тугая; не будь красна, а будь вкусна; не будь стара, а будь молода; не будь мала, а будь велика!“. Деревенская молва говоритъ, что этотъ причетъ не мимо молвится,—помогаетъ. Шестого мая деревенскій людъ принимается сѣять горохъ: „Денисъ—горо̀шникъ!“, „На Дениса—сѣять бѣлъ горохъ не лѣнися!“ Любители красныхъ присловій сѣютъ, а сами, вторя старинѣ приговариваютъ: „Сѣю, сѣю бѣлъ-горохъ; уродися, мой горохъ, и крупенъ, и бѣлъ, и самъ тридесятъ, старымъ бабамъ на потѣху, молодымъ ребятамъ на веселье!“ Огородники слѣдятъ на Денисовъ день за росою: „Большая роса—огурцамъ большой родъ“. Среди нихъ потому-то и слыветъ „горошникъ-Денисъ“ за „Дениса-росе́нника“. Восьмого мая (на Арсентьевъ день)—засѣвъ пшеницы: въ степныхъ губерніяхъ. Встарину на Арсентья-пшенишника пекли добрые люди пшеничные пироги, угощая ими не только званыхъ-прошеныхъ гостей, но и каждаго прохожаго человѣка, твердо памятуя, что „прохожій—человѣкъ Божій“. Для этого старики выходили съ пирогами даже на перекрестки дорогъ за околицу и поджидали странниковъ. „Быть худу,—говаривали,—если вернешься съ обѣтнымъ пирогомъ назадъ домой, а еще хуже—коли съѣсть его самимъ: не найдется ни странника, ни калѣки перехожаго,—скорми этотъ пирогъ птицамъ!“ И. П. Сахаровымъ записаны слова, въ былые годы повторявшіяся не встрѣтившими прохожихъ людей хозяевами въ этотъ день: „Прогнѣвилъ я Господа-Создателя при старости лѣтъ; не послалъ мнѣ добраго человѣка раздѣлить хлѣбъ трудовой; не въ угоду Его святой милости было накормить мнѣ горемышняго, при истомѣ усладить мнѣ стараго старика въ безвременьицѣ. А и какъ-то будетъ мнѣ на міръ Божій глядѣть, на добрыхъ людей смотрѣть! А и какъ-то мнѣ будетъ за хлѣбъ приниматься!..“ Въ наше время едвали встрѣтятся на посельской Руси такіе обычаи, но о томъ, что св. Арсеній—„пшенишникъ“, деревня до сихъ поръ еще не успѣла запамятовать.

Девятое мая—„Вешній Никола“, на-особицу отмѣченный въ изустномъ простонародномъ мѣсяцесловѣ день, богатый всякимъ краснымъ словомъ, всякимъ обрядомъ-обычаемъ, какъ майская цвѣтень—цвѣтами духовитыми. „Раннюю пшеницу сѣй на Арсентія, среднюю съ Николина дня, позднюю—на Пахомія

(15-го числа)!". „Съ Николы-вешняго сади картофель!", „Велика милость Божья, коли на вешняго Николу дождикъ пойдетъ!",—гласитъ сельскохозяйственный опытъ. У русскаго народа—два Николы: Никола-вешній—съ тепломъ, да Никола-зимній—съ морозомъ. „Никола-зимній (6-го декабря) лошадь на дворъ загонитъ, весенній—откормитъ (на травѣ)!", „Два Николы: теплый да холодный, сытый да голодный!", „Съ Николы (вешняго) крѣпись, хоть разорвись, съ Николы (зимняго) живи—не тужи!", „Не хвались на Юрьевъ день посѣвомъ, а хвались на Николинъ травой!", „Пришелъ-бы Никола, а тепло будетъ!". Такими примѣтами окружаетъ народъ день своего любимаго святого.

На Николу-вешняго—первое „ночное", первый выѣздъ парней и ребятъ-подростковъ на ночную пастьбу лошадей. Егорій коровъ „запасаетъ". Никола—коней. „Вешній Никола подножный кормъ лошадямъ несетъ!"—говорятъ въ народѣ. Повсюду въ деревняхъ блюдется обычай справлять въ этотъ день ночной ребячій праздникъ. Въ лугахъ, на выгонахъ и на запущенномъ подъ паръ полѣ разжигаются костры; поблизости пасутся „спутанныя" лошади, у огня сидятъ кружкóмъ молодые пастухи, ѣдятъ пироги, пекутъ картофель въ золѣ, игры заводятъ, въ-перегонки бѣгаютъ, цѣлую ночь вплоть до бѣлой зорьки не смыкаютъ глазъ: „Николу празднуютъ".

А въ великомъ почетѣ на Руси св. угодникъ Божій Николай Чудотворецъ [48]), слывущій за „Николу-Милосливаго", покровителя морей и полей, за крѣпкую защиту мужика-хлѣбороба, за грозу всякой нечисти, утѣсняющей и безъ того тѣсную жизнь пахаря. Этотъ добрый, но строгій, старецъ, по прихотливой волѣ слагателей всякихъ былей-нѣбылей, воспріялъ на себя многія черты могучаго былиннаго богатыря Микулы-свѣта-Селяниновича. Онъ примиряетъ враждующихъ, свя-

[48]) Св. Николай Чудотворецъ—архіепископъ мирликійскій—находится въ великомъ почитаніи у всѣхъ христіанъ вселенной. Благоговѣйно относятся къ его имени даже мусульмане и нѣкоторые язычники (на Руси). Онъ подвизался во славу Божію въ IV-мъ вѣкѣ по Р. Хр., родился въ гор. Патарѣ (въ древней Ликіи), основанномъ дорійскими греками, посвятившими его богу Аполлону,—чудеснымъ образомъ былъ избранъ въ мирликійскіе епископы, безстрашно исповѣдывалъ при Діоклетіанѣ-гонителѣ Христово ученіе, былъ участникомъ перваго вселенскаго собора, созваннаго для обличенія ереси Арія. Многочисленныя чудеса, совершенныя имъ во время земного служенія Богу, увѣковѣчили его память. Кончина его послѣдовала въ 343-мъ году въ гор. Мирахъ. Отсюда въ 1087 мъ году итальянскіе купцы перевезли мощи св. Николая въ г. Бари (въ Апуліи), гдѣ онѣ и пребываютъ до сихъ поръ, привлекая тысячи паломниковъ. Память св. Николая чествуется 6-го декабря, день перенесенія мощей (9-го мая) чтится наособицу.

зуетъ союзы вѣковѣчные. „Како возможемъ достойно хвалити, пѣсньми духовными тя ублажити, дивна и чюдна отца Николая, святого славнаго архіерея. Архіереомъ отецъ и начальникъ, намъ же ты добрый наставникъ, вси бо тобою спастися желаемъ“...—поется въ одномъ старинномъ духовномъ стихѣ. Много другихъ пѣсенныхъ сказаній о Николаѣ Чудотворцѣ сохранилось въ народной памяти.

„А кто, кто Николая любитъ,
А кто, кто Николаю служитъ,—
Тому святый Николае
На всякій часъ вспомогае.
Николае!
А кто, кто къ нему прибѣгаетъ,
А кто, кто въ помощь призываетъ,—
Тому святый Николае
Всегда вспомогаяй.
Николае!
А кто, кто живетъ въ его двори,—
Николай на земли и въ мори
Не даетъ ему пропасти,
Изметъ его отъ напасти.
Николае!
Пастырю словеснаго стада,
Изми мя пекелнаго ада,
А мы будемъ прославляти,
Имя твое величати.
Николае!“.

Такъ распѣваютъ на весенній Николинъ день калики-перехожіе, сидючи по церковнымъ папертямъ,—по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ сохранились еще эти разносители невѣдомо кѣмъ слагавшихся въ давнія времена „стиховъ“, убогіе люди Божіи, собирающіе себѣ на пропитаніе своимъ пѣніемъ, доходящимъ до самаго сердца простодушныхъ слушателей, одѣляющихъ пѣвцовъ копѣйкой мѣдною, трудовымъ потомъ политою. „Микола“ является (по другому стиху) „святителемъ, морямъ проходителемъ, землямъ исповѣдникомъ“. Онъ, за свои подвиги, почитаемъ не на одной только православной Руси:

„А знаютъ Миколу
Невѣрныя орды.
А ставятъ Миколы
Свѣчи воску яры,
Кануны медвяны.

А ему, свѣту, слава,
Слава-держава,
Во всю его землю,
Во всю подселенну"...

Слушаетъ честной людъ пѣвцовъ, прославляющихъ его покровителя и заступника предъ Господомъ,—умиляется, ведетъ иной разъ старцевъ убогихъ въ свои хаты. „Хоть на вешняго, голоднаго, Николу не до разносолу, а все угостить надо странника Божьяго, что, какъ птаха небесная, идетъ-поетъ!",—говоритъ гостепріимная деревня, если найдется у ней чѣмъ ни на есть угостить объ эту, подобравшую всѣ кормы, пору. „Не накорми о Николинъ день голоднаго — самъ наголодаешься!" — подсказываетъ умилившемуся люду крылатое слово. „Съ хлѣба на квасъ да на воду о вешнемъ Николѣ перебиваются, на зимняго заниколятъ—три дня опохмѣляются!". Но и зимой, и весною, и во всякое время готова повторять за каликами-перехожими вся богомольная посельщина умилительныя слова ихъ духовнаго стиха, посвященнаго великому Божьему угоднику и чудотворцу: „Мѵроточивыхъ струй обильныя рѣки туне точитъ во вся вѣки нынѣ человѣки, міръ весь чудесами чудно удивляяй. Ликійскій же островъ свѣтло просвѣтляяй, благовоннымъ каплетъ цѣлебъ альвастромъ, ростъ всѣмъ желаннымъ чистымъ благодарствомъ: днесь сему приносимъ должно того дару, великій намъ есть, Мѵру же и Бару, архіерей, ибо словомъ пасетъ люди, Николае честный, отъ насъ слово буди сему приносимо, вмѣсто мѵра драга, мирны гласы въ пѣснехъ, похвала преблага. Вѣрныхъ соборъ черпаемъ мѵро изліянно; краевѣстны вся суть, что ему есть данно; мѵры благодатны туне каплющи черплемъ, невидимо присно текущіи. Многи содѣваемъ за даръ пѣній гласы, сему есть достойно пѣти во вся часы. Дарствимъ дарованно пѣніе мысленно, словесъ воздаянми со гласомъ чувственно. Слоги соплетая, незлобну жертву пріими, молимъ, главу миртомъ всю обвиту, отче Николае мѵроточивѣйшій, отцемъ верхъ пречестный, пастырю свѣтлѣйшій, славо всея церкви, чудесы свѣтяща, мѵромъ же сугубымъ во весь міръ тучаща, тучная пучина Мѵрянскому граду, честна Ликійскому острову во правду, главо пресвященная, росы исполнена, капли міру сладость миромъ утучненна, мѵро знаменно перстнемъ Духа златымъ, намъ еси подобно въ фіялѣ пресвятымъ. Избранно отъ темъ родъ имя побѣднѣйше, чудесъ безчисленныхъ изъявительнѣйше! Многихъ неповинныхъ отъ смерти избави, Бога во всемъ мірѣ и вездѣ прослави, данно ти есть всѣхъ насъ

отъ бѣдъ заступати, отче святителю, и отъ золъ спасати: святый чудотворче и преблаженнѣйшій, непрестанно буди всѣмъ въ помощь скорѣйшій!"... Въ витіеватыхъ словахъ этого стиха вылилось все благоговѣйное отношеніе народа-стихослагателя къ своему великому заступнику.

За Николою—Симонъ Зилотъ, 10-е мая. „Кто досѣваетъ пшеницу на Зилота—выдетъ какъ золото!"—говоритъ стародавнее вѣщее слово: „Мокро на Мокея (11-го мая)—жди лѣта еще мокрѣе!". На Епифана (12-го), „утро въ красномъ кафтанѣ" (т. е. ясная утренняя заря)—къ пожарному лѣту. Тринадцатаго числа—„Лукерьи-комарницы": въ этотъ день, по примѣтѣ, вмѣстѣ съ теплымъ вѣтромъ налетаютъ комары съ мошкарой. Есть повѣрье, что „комариный народъ" улетаетъ по осени,—уносится на крыльяхъ осенняго вѣтра,—на теплыя моря, гдѣ и зимуетъ зиму, чтобы, расплодившись, вернуться въ маѣ-мѣсяцѣ на Русь. На слѣдующій, Сидоровъ, день, когда прекращается, по народнымъ наблюденіямъ, до самой осени холодные вѣтры, прилетаютъ на старыя гнѣзда послѣднія перелетныя птицы изъ-за синихъ морей, съ теплыхъ заморскихъ водъ—стрижи быстрокрылые. „Пойдутъ Сидоры, отойдутъ сивѣры, и ты, стрижъ, домой летишь!"—приговариваютъ деревенскіе погодовѣды-краснословы: „Придетъ Ѳедотъ (18-е мая)—послѣдній дубовый листокъ развернетъ!". Если лѣниво распускаются листья на дубахъ, народъ не ожидаетъ хорошаго урожая яровыхъ ранняго сѣва. „Сѣй овесъ, когда дубъ развернется въ заячье ухо!"—говорятъ въ Тульской губерніи. „На дубу листъ въ пятакъ, быть яровому такъ!",—идетъ повсемѣстная народная молва:—„Коли на Ѳедота на дубу макушка съ опушкой, будешь мѣрять овесъ кадушкой!". Съ этого дня принимается земля „за свой родъ",—можно услышать въ народѣ.

„На Филиппа да на Ѳалалея—досѣвай огурцы скорѣе!". Старинная примѣта совѣтуетъ огородникамъ дѣлать посадку огурцовъ скрытно ото всѣхъ сосѣдей и даже домашнихъ, не принимающихъ непосредственнаго участія въ работѣ. Особенно должно скрывать отъ любопытнаго глаза первую засаженную гряду, а тѣмъ болѣе—первый выросшій на ней огурецъ. Этотъ-послѣдній скрываютъ-закапываютъ въ потаенномъ мѣстѣ на огородѣ, какъ-бы принося жертву покровителямъ огородовъ — святымъ Филиппу и Ѳалалею, память которыхъ чествуется 20-го мая. Если будетъ много желтыхъ, до поры до времени поблекшихъ, огуречныхъ плетей,—это приписывается тому, что чей-нибудь лихой-недоброжелательный глазъ подсмотрѣлъ „на росту" первый огурецъ. 21-е

число—Еленинъ день, напоминающій деревнѣ, что пора сѣять льны. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ этотъ день такъ и зовется: „длинные льны — Еленины косы“. На сѣвъ льна встарину было въ обычаѣ не выѣзжать безъ выполненія особой обрядности. Старухи собирали въ канунъ Еленина дня по парѣ яицъ съ каждой бабы, пекли ихъ „всѣмъ бабьимъ міромъ“—въ одной облюбованной для этого печи и, затѣмъ, раскладывали, не безъ вѣдома сѣятелей, въ мѣшки съ сѣменами; но мужики не должны были проговариваться о своемъ „знатьѣ“,—молча собирались и выѣзжали они, благословясь, на вспаханную подо льны полосу, гдѣ прежде всего и принимались за завтракъ, а потомъ уже—за посѣвъ. Скорлупки яицъ должны были привозиться домой; тамъ старухи толкли ихъ и подбавляли понемножку въ кормъ курамъ: чтобы неслись лучше. „Ленъ съ ярью не ладитъ“, а потому деревенскій опытъ не совѣтуетъ сѣять на льнищахъ ничего иного. „На Ѳерапонта (25-го мая)—первыя худыя росы“, вредныя для пасущейся животины, для древесной листвы и для малыхъ ребятъ. „Напала на мѣдяную росу!“—говорятъ о заболѣвшей въ этотъ день скотинѣ: „Отъ Ѳерапонтовой росы и трава ржавѣетъ“. Въ этотъ день совѣтуютъ „глядѣть рябину“: много цвѣту—будутъ и овсы хороши; малое цвѣтенье—жди худа, не будетъ съ овсами толка, хоть сызнова пересѣвай! „Знать рябину на цвѣту, что идетъ къ мату!“ 26-го мая—„на Карпа“ хорошо „коропы“ (рыба карпъ) ловятся. Опытные, приглядѣвшіеся ко всякому ходу рыбы, ловцы и стараются не пропустить этого дня.

„На Ѳедо̀ру (27-го мая) не выноси изъ избы сору!“—говоритъ пережившая многіе вѣка простодушная народная мудрость. Внимая ей, благосмысленныя деревенскія хозяйки не метутъ избы, чтобы не быть худу. Если на слѣдующія сутки, на Евтихія, день тихій,—ждетъ пахарь хорошаго урожая. 29-е число—„Ѳедосьи-колосяницы“: рожь принимается выметызать колосъ. „На Ѳедосью“ хорошо, по примѣтѣ, прикармливать, скотину хлѣбомъ печенымъ: плодливѣе будетъ, хозяевамъ на прибыль да на радость!

За Ѳедосьями—Исакій слѣдомъ идетъ на свѣтлорусскій просторъ широкій, во всѣ стороны свѣта бѣлаго разбѣжавшійся: на его день выползаетъ изъ норъ всякій гадъ. Старые люди предостерегаютъ молодежь, чтобы съ опаской да съ оглядкой ходить по лѣсу да по лугу. „Идутъ поѣздомъ въ этотъ день змѣи ползучія на свадьбы змѣиныя,“—гласитъ старинное сказаніе:—„укуситъ человѣка гадина, не заговоритъ никакому колдуну-знахарю“. Съ этого, змѣинаго, дня садятъ бобы, пе-

редъ посадкой вымачивая ихъ въ „озимой“ водѣ, натаянной изъ мартовскаго снѣга, собраннаго заранѣе по лѣснымъ оврагамъ. „Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на всѣ долина старыхъ и малыхъ, на весь міръ крещоный!“—приговариваютъ огородники, сажая ихъ. А черезъ плетень уже новый мѣсяцъ—іюнь-„розанцвѣтъ“ глядитъ: конецъ приходитъ веселому, да тяжелому, май-мѣсяцу. Близится вѣщій „праздникъ кукушекъ“ съ его дышащими пережиткомъ древнеславянскаго язычества сказаніями. А тамъ—рукой подать и до „Ярилы“, разгульнаго чествованія назрѣвающихъ силъ природы, берущей верхъ надо всѣмъ ратоборствующимъ съ нею. Не за дальними горами и тѣ дни, когда изъ конца въ конецъ деревенской Руси зазвенятъ купальскія пѣсни.

XXIII.

Вознесеньевъ день.

Вознесеньевъ день—послѣдній весенній праздникъ на Святой Руси. Дошла Весна-Красна до Вознесеньева дня, послушала въ послѣдній разъ, какъ „Христосъ Воскресъ“ поютъ,—тутъ ей и конецъ пришелъ!—говорятъ въ народѣ. „Весна о Вознесеньи на небо возносится—на отдыхъ въ рай пресвѣтлый просится!“—можно услышать въ поволжскихъ деревняхъ.—„Не вѣкъ дѣвкѣ невѣститься: начто весна—красна, а и та на Вознесенье Христово за лѣто замужъ выходитъ!“, „И рада бы весна на Руси вѣковать вѣковушкой, а придетъ Вознесеньевъ день—прокукуетъ кукушкой, соловьемъ зальется, къ лѣту за пазуху уберется!“, „Цвѣсти веснѣ—до Вознесенья!“, „До Вознесенья Христова весна пѣть-плясать готова!“, „Придетъ Вознесеньевъ день, сброситъ съ плечъ Весна-Красна лѣнь, лѣтомъ обернется-прикинется—за работу въ полѣ примется!“—гонятся одно за другимъ стародавнія слова крылатыя, долетѣвшія къ намъ изъ-за дали былого-минувшаго. А весна, и впрямь, съ этого праздника Господня уступаетъ на политой трудовымъ потомъ безчисленныхъ поколѣній русскаго пахаря землѣ мѣсто лѣту знойному-жаркому, съ его работами страдными да сухотами-заботами, — по народной поговоркѣ: „потомъ умывается, честному Семику кланяется, на Троицу-Богородицу изъ-подъ бѣлой ручки глядитъ“.

Со Свѣтлаго Праздника, съ Велика-Дня, по старинному преданію,—о которомъ уже велась рѣчь выше (см. гл. XIX),—отверзаются двери райскія, разрѣшаются узы адскія: вплоть до самаго Вознесенія Господня могутъ грѣшники, пребывающіе въ кромѣшномъ аду, видѣться съ праведниками, обитаю-

щими подъ сѣнью райскихъ кущей. „Съ Пасхи до Вознесенья —всему міру свидѣнье,“—подтверждаетъ народная молвь: „всему міру свидѣнье,—и дѣдамъ, и внукамъ, и раю, и мукамъ!“.

Сорокъ дней,—говоритъ народъ,—ходитъ Спасъ по землѣ: съ Воскресенья до Вознесенья. Потому-то,—добавляется въ поясненіе,—и земля такъ ярко зеленѣетъ, такими благовоніями райскими благоухаетъ въ это время. „Къ Вознесеньеву дню всѣ цвѣты весенніе зацвѣтаютъ—Христа-Батюшку въ небесные сады потаенной молитвою провожаютъ“.

Въ канунъ Вознесенія Господня, по старинной примѣтѣ, и соловьи громче-звончѣе поютъ, чѣмъ во все остальное время. Знаютъ, словно, и они, что это—послѣдняя ночь пребыванія воскресшаго Христа-Спаса на міру православномъ.

По инымъ мѣстностямъ она такъ и слыветъ въ народѣ за „соловьиную“. Грѣшно, по словамъ даже завзятыхъ ловцовъ-соловьятниковъ, соловья—птицу пѣвчую—въ это время подстерегать-ловить. Кто поймаетъ—ни въ чемъ тому цѣлый годъ спорины не будетъ, вплоть до новаго Вознесеньева дня, когда вознесутся на небо съ Господомъ силъ небесныхъ всѣ обиды земныя. Цвѣты духовитые на Вознесенье благоухаютъ—по словамъ деревенскихъ, примѣтливыхъ къ жизни природы людей—самыми пахучими ароматами. Вся земля крещеная насыщается въ святой день прощанія съ Возносящимся Свѣтомъ Правды райскими благоуханіями несказанными-нездѣшними,—словно съ отверзающихся полей небесныхъ струится въ это время на оплодотворенную майскими дождями грудь земную всякое благораствореніе. Утромъ на Вознесенье плачетъ Мать-Сыра-Земля росой обильною по удаляющемся съ нея гостѣ-Христѣ. Эта, „вознесенская“, роса надѣляется, по словамъ суевѣрной деревни, цѣлебною силой великою. Потому-то и собираютъ ее опытныя лѣкарки-знахарки съ цвѣтовъ на лугахъ поемныхъ. „Если знать такое слово завѣтное да пошептать его надъ вознесенской росою, да выпить болящему дать,—всякое лихо какъ рукой сыметъ!“—гласитъ знающая всякія с л о в а простонародная мудрость.

Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, въ средней полосѣ Руси великой, на Вознесеніе—„водятъ колосокъ“ по деревнямъ, по селамъ. Этотъ старинный обрядъ-обычай мало-по-малу уже начинаетъ исчезать изъ крестьянскаго обихода, заслоняясь другими, болѣе новаго происхожденія. Встарину-же о немъ знали почти повсемѣстно—не по наслышкѣ одной, какъ теперь. „Колосовожденіе“, какъ свидѣтельствуютъ наши бытовѣды, совершалось по особому порядку, невѣдомо кѣмъ установлен-

ному въ незапамятныя времена, затерявшіяся въ глухихъ дебряхъ былого древнеславянскаго язычества, когда, быть можетъ, знали еще наши отдаленнѣйшіе предки-пращуры и Даждьбога, и Бѣлъбога, а не то что сыновей ихъ—Велеса и Перуна. Ранымъ-рано поутру собиралася-снаряжалась деревенская молодежь—дѣвки, бабы-молодки и парни съ новожонами; вмѣстѣ съ восходомъ солнечнымъ шли всѣ, ухватившись по-двое за руки, къ околицѣ. Здѣсь всѣ становились въ два ряда, лицомъ къ лицу, и опять-таки брали другъ-друга за руки. Получался живой мостъ, вытягивавшійся въ узкую ленту, пестрѣвшую всѣми цвѣтами праздничныхъ нарядовъ. По этому мосту соединенныхъ рукъ пускали идти маленькую дѣвочку съ вѣнкомъ на головѣ, всю убранную лентами разноцвѣтными да перевязями цвѣточными. Пройдетъ по рукамъ одной пары дѣвочка,—забѣгаетъ живое звено моста впередъ и опять становится въ очередь. Такъ и доходило все шествіе до самаго озимого поля. Дѣвушки красныя во все это время припѣвали, голосомъ выводили:

—„Лада, Лада!
Ой, Лада!
Ой, Лада!“

Дойдя до загоновъ, спускали маленькую „Ладу“ на-земь. Она должна была сорвать пучокъ зеленой ржи, готовящейся къ этому времени выметывать колосъ. Съ сорваннымъ пучкомъ дѣвочка бѣжала назадъ—къ околицѣ; всѣ, сбившись въ кучу, не догоняя бѣглянки, слѣдовали за ней по пятамъ и пѣли-голосили стройнымъ хоромъ:

„Пошелъ колосъ на ниву,
Пошелъ на зеленую!
Пошелъ колосъ на ниву,
На рожь, на пшеницу!
Ой, Лада!
Уродися на-лѣто,
Уродися, рожь, густа,
Густа-колосиста,
Умолотистая!
Ой, Лада!
Ходитъ колосъ по селу,
Ходитъ отъ двора къ двору,
Со дѣвицею,
Со красавицею!
Ой, Лада!“

Пройдя съ пѣснею всю деревню, толпа расходилась, обрывая съ дѣвочки всѣ ленты и цвѣты—на память о прошедшей веснѣ. Разбрасываемые по дорогѣ ржаные стебли подбирались молодыми парнями. Кому попадется съ выметнувшимся колосомъ—тотъ не минуетъ своей „судьбы", женится въ осенній мясоѣдъ,— гласило подтверждавшееся житейскимъ опытомъ повѣрье.

Во многихъ мѣстахъ на деревенской-посельской Руси и теперь еще приходится слышать въ народѣ сказаніе о томъ, что во время обѣдни на Вознесеньевъ день разверзается твердь небесная надъ каждой церковью. Благочестивымъ людямъ, доживающимъ послѣдній годъ жизни, данò отъ Бога даже видѣть, какъ изъ разверзшихся небесъ опускается къ главному церковному яблоку лѣстница („та самая, которую видѣлъ во снѣ Іаковъ"). Сходятъ по ней ангелы и архангелы и всѣ силы небесныя, становятся въ два ряда по бокамъ лѣстницы и ожидаютъ Христа. Какъ ударятъ въ колоколъ къ „Достойно", такъ и поднимается-возносится Спасъ-Батюшка съ грѣшной, обновленной Его Пресвѣтлымъ Воскресеніемъ земли. Немногимъ, по словамъ преданія, данò видѣть всѣ эти чудеса, но есть и такіе люди на свѣтѣ. „Не будетъ провидцевъ-праведниковъ—не стоять и свѣту бѣлому!"—утверждаетъ народное вѣщее слово.

Въ честь праздника Вознесенія пекутся по инымъ мѣстамъ „лѣсенки" изъ ржаного тѣста. Лакомы до нихъ ребята малые, но пекутъ ихъ бабы не на одну ребячью утѣху. Есть повѣрье, что, если вынести такія лѣсенки на ниву-полосу да поставить по одной на каждомъ углу загóна,—такъ и рожь пойдетъ рости быстрѣе и выростетъ выше роста человѣческаго. Только, по убѣжденію старыхъ людей, надо все это дѣлать съ молитвой тайною да съ опаскою отъ глаза лихого, съ оглядкой отъ человѣка недобраго - завидущаго; а то не выйдетъ никакого толку. Во многихъ мѣстахъ существуетъ обычай ходить на Вознесенье въ-гости по роднымъ и знакомымъ. Это встарину называлось „ходить на перепутье", причемъ гости приносили хозяевамъ въ подарокъ лѣсенки, испеченныя изъ пшеничнаго тѣста на меду и съ сахарнымъ узорочьемъ. На старой Москвѣ было въ этотъ день веселое гулянье весеннее—по площадямъ, вокругъ церквей.

Съ праздникомъ Вознесенія Господня связано у пѣснотворца-народа древнее сказаніе о каликахъ-перехожихъ. Это сказаніе (стихъ духовный) до сихъ поръ поется на деревенской Руси. Вотъ наиболѣе полный сказъ его, занесенный въ сокровищницу русскаго пѣсеннаго слова:

„Послѣ Свѣтлаго Христова Воскресенья, на шестой было на недѣлѣ, въ четвергъ, у насъ живетъ праздникъ Вознесенья: возносился Христосъ Богъ на небеса со ангелами и со архангелами, съ херувимами и серафимами, со всею силою со небесною. Расплачется нищая братія, расплакались бѣдные-убогіе, слѣпые и хромые:—Ужъ Ты, истинный Христосъ, Царь небесный! Вознесешься Ты, Царь, на небесы со ангелами и со архангелами, съ херувимами и серафимами, со всею силою со небесною,—на кого-то Ты насъ оставляешь, на кого-то Ты насъ покидаешь? Ино кто насъ поить-кормить будетъ? Одѣвати станетъ, обувати, отъ темныя ночи охранять? За что намъ Мать Божію величати и Тебя, Христа Бога, прославляти?—Проглаголетъ имъ Христосъ Царь небесный:—Не плачьте вы, нищая братія! Оставлю Я вамъ гору золотую, пропущу я вамъ рѣку медвяную, Я даю вамъ сады-виноградъ, оставляю вамъ яблони кудрявы, Я даю вить вамъ манну небесну. Умѣйте горою владати, промежду себя раздѣляти: будете вы сыты да пьяны, будете обуты и одѣты, будете тепломъ да обогрѣны и отъ темныя ночи пріукрыты!—Тутъ возговоритъ Иванъ да Богословецъ:—Гой еси, охъ, Господи, Ты Владыко! Позволь со Христомъ да слово молвить, не возьми мое слово въ досаду! Не оставливай горы золотыя, не давай Ты рѣки медвяныя. Не оставливай садовъ-виноградовъ, не оставливай яблонь кудрявыхъ, не давай имъ и манны небесной! Горы-то имъ буде не раздѣлити, съ рѣкой-то имъ буде не совладати, винограду-то имъ буде не ошшипати, манны-то имъ буде не пожрати! Зазнаютъ гору князи и бояра, зазнаютъ гору пастыри и власти, зазнаютъ гору торговые гости,—наѣдутъ къ нимъ сильные люди и найдутъ къ нимъ немилостивыя власти, не дадутъ имъ этой горой владати, отымутъ у нихъ купцы и бояра, вельможи, люди пребогатые, отоймутъ у нихъ гору золотую, отоймутъ у нихъ рѣку да медовую, отоймутъ у ихъ сады да съ виноградомъ, отоймутъ у ихъ манну небесну: по себѣ они гору раздѣлятъ, по князьямъ золотую разверстаютъ, да нищую братью не допустятъ: много тутъ будетъ убійства, тутъ много будетъ кровопролитства, промежду собой уголоствія; да нечѣмъ будетъ нищимъ питатися, да нечѣмъ имъ будетъ пріодѣтися и отъ темныя ночи пріукрытися; помрутъ нищіи голодною смертью и позябнутъ холодною зимою! Дай-ко ты, Христосъ, Царь небесный, дай-ко се имъ слово да Христовое: пойдутъ нищіе по́ міру ходити, Тебя будутъ поминати, Тебя будутъ величати, Твое имя святое возносити. А православные станутъ милостыню подавати! Ино кто есть вѣрный христіанинъ, онъ ихъ пріобу-

етъ и пріодѣнетъ,—Ты даруй ему нетлѣнную ризу; а кто ихъ хлѣбомъ-солью напитаетъ, даруй тому райскую пищу; кто ихъ отъ темной ночи оборонитъ, даруй въ раю тому мѣсто; кто имъ путь-дорогу указуетъ, незаперты въ рай тому двери! Будутъ они сыты да и пьяны, будутъ и обуты, и одѣты, они будутъ тепломъ да обогрѣны и отъ темныя ночи пріукрыты!— Тутъ проглаголетъ Христосъ да Царь небесный:—Исполать тебѣ, Иванъ да Богословецъ! Ты умѣлъ со Христомъ да слово молвить, ты умѣлъ вить съ Іисусомъ рѣчь говорити, ты умѣлъ слово сказати, умѣлъ слово разсудити, умѣлъ вить ты по нишшихъ потужити! За твои умѣльныя за рѣчи, за твои за рѣчи дорогія, за твои за сладкія словеса дарую уста тебѣ золотыя, въ году тебѣ праздничи частые! Отнынѣ да до вѣку!“

Со Свѣтлаго Велика-Дня Христова до Вознесенья тяжкій грѣхъ отказать нищему-убогому, человѣку страннему-захожему въ посильной милостынѣ; да и во всякое время,—говоритъ народъ,—грѣшно не подѣлиться съ просящимъ во имя Христово, если есть чѣмъ подѣлиться, если есть на столѣ хоть коровай хлѣба, а въ закромахъ хоть осьмина жита! Знаютъ, твердо памятуютъ объ этой вѣрѣ народа-хлѣбороба калики-перехожіе, питающіеся святымъ именемъ Христовымъ да пѣснею духовной-божественною.

„Веселятся небеса,
И радуется земля
Вкупѣ съ человѣки,
Всегда и во вѣки,
Всѣ ангели, архангели,
Небесныя силы,
Апостоли, пророцы
Съ мученики святыми,
Съ преподобными со всѣми,
Угодники Господни!“—

воспѣваютъ убогіе люди Божіи, сидючи у церковныхъ папертей въ день Вознесенія Господня съ чашками въ рукахъ. Нѣтъ-нѣтъ да и перепадетъ имъ съ молитвой да со знаменіемъ крестнымъ опущенная доброхотная копѣйка мѣдная, трудовымъ крестьянскимъ потомъ политая.

„Вознесися на небеса, Боже!
Милость Твою кто изрещи може?
Уста Твоихъ вѣрныхъ
О безсмертныхъ
Не могутъ вѣщати.

О чудеси, на небеси и въ мори!
Славы Твоея полна земля, горы,
Холмы торжествуютъ,
Ликуствуютъ,
Зрятъ Господню славу.
Масличная гора веселится,
Егда Господь въ небо возносится“...

Благоговѣйно прислушивается православный людъ къ загадочнымъ для него словамъ стиха духовнаго. А пѣвцы продолжаютъ голосами, плачущими плачемъ умилительнымъ: „... престолъ херувимовъ, серафимовъ Ему готовится. Гласъ пресвятый отъ устъ Его снидетъ, извѣствуя: — Утѣшитель пріидетъ, Онъ бо нашествіемъ и дѣйствіемъ истинны научитъ. Сія рекши, къ небеси шествуетъ, миръ, тишину всѣмъ вѣрнымъ даруетъ, что возлюбленна, учреждена кровію Своею. Подаждь, Боже, тишину навѣки, по вся концы спасай человѣки, вовѣки вѣчную радость и во сладость созданное навѣки!“... Внимаютъ умиляющіеся слушатели, и, несмотря на всю свою премудрость, доходитъ до сердца народа-пахаря „божественное слово“, глубоко западаетъ въ него, сливаясь съ идущими изъ старины стародавней сказаніями, повѣрьями да обычаями-обрядами. Даетъ ему оставившій Свое имя святое нищей-убогой братіи на прокормленіе Вознесшійся на небо Господь-Христосъ память на всякое слово крылатое-вѣщее, на всякую молвь премудрую, на всякій напѣвъ-сказъ.

XXIV.

Троица—Зеленыя Святки.

Троицынъ день съ незапамятныхъ временъ является однимъ изъ любимѣйшихъ праздниковъ русскаго народа. Съ нимъ связано и до сихъ поръ много народныхъ обычаевъ и обрядовъ, справляемыхъ помимо церковнаго торжества. Въ стародавнюю пору, когда еще свѣжа была на Руси память языческаго прошлаго, съ Троицкою, или „Семицкою", недѣлею было связано столько самобытныхъ проявленій народнаго суевѣрія—какъ ни съ однимъ изъ другихъ праздниковъ, кромѣ Святокъ. Эта недѣля, посвященная богинѣ весны, побѣдившей демоновъ зимы, издавна чествовалась шумными общенародными игрищами. Конецъ мая и начало іюня, — на которые приходится-падаетъ Троицынъ день,—особенно подходили къ чествованію весенняго возрожденія земли, покрывавшейся къ этому времени наиболѣе пышной растительностью, еще не успѣвшею утратить своей обаятельной свѣжести. Языческій мѣсяцесловъ нашихъ втдаленныхъ предковъ, совпавшій въ этомъ случаѣ съ христіанскими праздниками, далъ поводъ къ объединенію ихъ съ собою. Мало-по-малу древнее почитаніе богини весны — свѣтлокудрой Лады—было забыто, а сопровождавшіе его обычаи слились съ новыми обрядами, создавъ вокругъ перваго лѣтняго праздника необычайно яркую обстановку. Съ теченіемъ времени языческій духъ этой-послѣдней растворился въ міровоззрѣніи просвѣтленной стремленіемъ къ горнимъ оершинамъ добра новой вѣры славянъ; но пережившіе многовѣковое прошлое стародавніе обычаи и теперь все еще показываютъ, насколько прочны кровныя связи народа-пахаря

съ окружавшей бытъ его пращуровъ и доселѣ отовсюду обступающей его жизнь природою.

„Семицкая“—седьмая по Пасхѣ—недѣля, заканчивающаяся Троицынымъ днемъ, еще и до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (напримѣръ, въ Рыбинскомъ уѣздѣ Ярославской губ.) носитъ названіе „Зеленыхъ Святокъ“. Въ старые же годы она величалась этимъ прозвищемъ повсюду въ народной Руси, именовавшей ее также „русальною“, „зеленою“, „клечальною“, „задушными поминками“, „разгарою“ и другими подходящими именами,—каждое изъ которыхъ находитъ свое объясненіе въ пережиткахъ славяно-русскаго язычества. По простонародному прибаутку—„Честна̀я Масляница въ гости Семикъ звала“... и,—добавляютъ краснословы деревенскіе,—„Честь ей за то и хвала!“ Семикъ, это собственно—четвергъ на послѣдней недѣлѣ предъ Пятидесятницею. Въ этотъ четвергъ, посвященный древнимъ язычникомъ-славяниномъ верховному богу Перуну-громовнику, совершались главнѣйшія приготовленія къ празднованію Троицына дня. Съ нимъ связано столько своеобразныхъ обычаевъ, что даже старинная народная, уцѣлѣвшая до сихъ поръ въ Костромской губ., пѣсня величаетъ его такими словами очестливыми:

„Какъ у насъ въ году три праздника:
Первый праздничекъ—Семикъ честной“...

И этотъ „Семикъ честной“, несмотря на разрушительное вліяніе времени, безпощадно истребляющаго все старѣющееся, празднуется до нашихъ дней на всемъ пространствѣ, гдѣ только русскій человѣкъ стоитъ лицомъ къ лицу съ природою, не загражденною отъ него тѣсными стѣнами душныхъ каменныхъ городовъ. Въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія даже и „каменна̀ Москва“ представляла изъ себя въ этотъ день то-же самое, что́ можно увидѣть теперь только въ деревнѣ. По описанію Снегирева, тогда вездѣ раздавались по Бѣлокаменной разгульныя семицкія пѣсни, по улицамъ носили изукрашенную пестрыми лоскутками и яркими лентами березку веселыя толпы народа въ вѣнкахъ изъ лѣсныхъ цвѣтовъ и изъ кудрявыхъ вѣтвей. Въ окрестныхъ рощахъ въ это время московскія дѣвушки „завивали“—связывали вѣтвями—молодыя березки и проходили подъ ихъ зелеными сводами съ поцѣлуями и особо пріуроченною къ этому яркому весеннему обычаю пѣснею:

„Покумимся, кума, покумимся!
Намъ съ тобою не браниться—дружиться!“

Все было такъ-же, какъ въ захолустной глуши, гдѣ этотъ четвергъ и теперь является желаннымъ гостемъ непритязательной сельской молодежи, по преданію—выплачивающей весеннюю дань памятнымъ пережиткамъ прошлаго. Въ Тульской губерніи семицкая березка до сихъ поръ даже и не называется иначе, какъ „кумою“, а слово „кумиться“ еще въ 40-хъ и началѣ 50-хъ годовъ только и означало—цѣловаться при прохожденіи подъ этою-самой березкою.

„Благослови, Троица,
Богородица,
Намъ въ лѣсъ пойти,
Вѣнокъ сплести!
Ай, Дидъ! Ай Ладо!..“—

—поютъ тамъ, и теперь, а также во Владимірской, Рязанской и Калужской губерніяхъ,—собираючись въ зеленыя рощи березовыя для „празднованія честному Семику“.

Семикъ—преимущественно (а въ иныхъ мѣстностяхъ исключительно) дѣвичій праздникъ. Въ Поволжьѣ, верхнемъ и среднемъ, повсюду къ этому дню идетъ въ деревняхъ дѣвичья складчина: собираются яйца, пекутся лепешки, закупаются лакомства. Дѣвушки, цѣлыми деревнями, отправляются въ рощу, на берегъ рѣчки—завивать березки, „играть пѣсни“ и пировать. На березки вѣшаются вѣнки, по которымъ красныя загадываютъ о своей судьбѣ, бросая ихъ на́-воду въ самый Троицынъ день. Вслѣдъ за пирушкою—начинаютъ водить хороводы, которые прекращаются съ Троицы до Успенья. Семицкіе хороводы сопровождаются особыми обрядами, посвященными „березкѣ-березонькѣ“, которой воздаются особыя почести—вѣроятно, какъ живому олицетворенію древней богини весны. Лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ въ Воронежской губерніи приносили на семицкія пирушки куклу изъ соломы, разукрашенную березовыми вѣтками,—въ чемъ, несомнѣнно, былъ слышенъ явный отголосокъ стародавняго язычества. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ на Семикъ обвиваютъ лентами какую-нибудь особенно кудреватую березку, растущую на берегу рѣчки, и поютъ ей старинную пѣсню: „Береза моя, березонька, береза моя бѣлая, береза моя кудрявая!..“ и т. д. Въ Вологодской губерніи Семикъ болѣе извѣстенъ подъ именемъ „Поляны“. Это является слѣдствіемъ того, что всѣ пріуроченные къ нему обычаи справляются на полянкахъ.

Семицкіе обычаи были свойственны не однимъ славянамъ. Еще у древнихъ грековъ и римлянъ существовали особыя весеннія празднества, посвященныя цвѣтамъ и деревьямъ. У гер-

манцевъ былъ такъ называемый „праздникъ вѣнковъ“, въ которомъ еще болѣе общаго съ нашимъ Семикомъ. По сравнительнымъ даннымъ языческаго богословія. Семикъ является прообразомъ союза неба съ землею.

Зелень и цвѣты и теперь составляютъ отличительные признаки празднованія Троицына дня; повсюду на Руси церкви и дома украшаются въ этотъ день вѣтками березокъ—какъ въ деревняхъ, такъ и въ городахъ. Встарину-же этому обычаю придавалось особое значеніе, связывавшее два міра—языческій съ христіанскимъ. Игрища, устраивавшіяся въ честь языческихъ божествъ, въ Польшѣ существовали даже и по истеченіи пяти вѣковъ съ принятія христіанства; по словамъ польскаго историка Длугоша [50]) они назывались „Стадомъ“. Въ Литвѣ они существовали еще дольше. На Бѣлой Руси — до сихъ поръ немало общаго съ древне-польско-литовскимъ въ народныхъ обычаяхъ вообще и связанныхъ съ празднованіемъ Троицына дня наособицу.

Существуетъ повѣрье, что славянскія нимфы и наяды—русалки, живущія въ омутахъ рѣкъ, въ эту недѣлю выходятъ изъ воды. Наканунѣ Троицына дня, по малорусскому повѣрью, убѣгаютъ онѣ въ поля и заводятъ свои ночныя игры. —„Бухъ! Бухъ! Соломенный духъ!“—будто-бы кричатъ онѣ:—„Мене мати породила, некрещену положила!“ Русалки, по народному представленію—тоскующія души младенцевъ, родившихся мертвыми, или умершихъ некрещеными. Онѣ, начиная съ „Зеленыхъ Святокъ“ до Петрова дня, живутъ въ лѣсахъ, ауканьемъ и смѣхомъ зазывая къ себѣ путниковъ, которыхъ защекочиваютъ до смерти. На зеленой русальной недѣлѣ въ Малороссіи никто не купается - изъ опасенія попасть къ нимъ въ руки; Семикъ слыветъ здѣсь „великимъ днемъ русалокъ“. Предохранительнымъ средствомъ отъ русалочьихъ чаръ счи-

---

[50]) Длугошъ—извѣстный польскій историкъ, жившій въ XV-мъ вѣкѣ. Онъ родился въ 1415-мъ году, по образованію—питомецъ краковскаго университета; по окончаніи курса (діалектики и философіи), былъ секретаремъ оржевскаго епископа — будучи при этомъ посвященъ въ санъ каноника. Съ 1448 года началась его дипломатическая карьера, приблизившая его къ королевскому двору. Съ 1467 года на Длугоша былъ возложенъ трудъ обученія королевскихъ дѣтей. Передъ смертью онъ былъ избранъ въ архіепископы, но смерть опередила посвященіе его въ этотъ санъ: онъ умеръ въ 1480-мъ году. Во все время своей дипломатической и педагогической дѣятельности онъ ревностно трудился надъ историческими памятниками родины. Изъ трудовъ его—самый капитальный „Historia Polonica“, доведенная „отъ баснословныхъ временъ“ до третьей четверти XVI-го столѣтія. Вся исторія польскаго народа изслѣдуется Длугошемъ—какъ предметъ прославленія Польши и урокъ служенія государства Церкви и ея задачамъ.

тается полынь и трава „заря“. Въ Черниговской губерніи существовалъ до послѣдняго времени обычай „русалочьихъ проводъ“, когда рѣчныхъ чаровницъ изгоняли—цѣлой деревнею—парни и дѣвушки. Въ Спасскомъ уѣздѣ Рязанской губ. слѣдующее за Троицынымъ днемъ воскресенье слыветъ „русальнымъ заговѣньемъ“; вслѣдъ за проводами русалокъ прекращаются здѣсь до слѣдующей весны игры въ „горѣлки“ и „уточку“.

Встарину противъ повѣрья о русалкахъ и соединенныхъ съ нимъ народныхъ игрищъ и гаданій особенно возставали проповѣдники, обличавшіе народъ въ языческомъ суевѣріи. Въ противовѣсъ народному празднованію разгульнаго Семика было установлено совершать въ этотъ четвергъ поминовеніе убогихъ, похороненныхъ въ такъ называемыхъ „убогихъ домахъ“ и „скудельницахъ“. Но не затемнилось въ народномъ обиходѣ веселое празднество: смѣхъ и пѣсни быстро смѣняли слезы и рыданія въ тотъ-же самый день.

Изъ стародавнихъ обычаевъ, связанныхъ съ этимъ праздникомъ, далеко не всѣ дошли до рубежа нашихъ дней. Многое исчезло, даже не будучи занесено на страницы народовѣдческихъ изслѣдованій. Въ Енисейской губ. (Минусинск. окр.) крестьянки, выбравъ на Семикъ кудрявую березку и срубивъ ее, наряжаютъ въ свое лучшее платье и ставятъ въ клѣть до Троицы, а затѣмъ—съ пѣснями—уносятъ ее къ рѣкѣ. Въ Казанской губ. (Чистопольск. у.) наканунѣ Троицы совершается игрище въ честь языческаго бога Ярилы. Въ Пензенской и Симбирской губерніяхъ на слѣдующій за Троицынымъ день дѣвушки, одѣвшись въ худшіе-затрапезные сарафаны, сходятся и, назвавъ одну изъ подругъ „Костромою“, кладутъ ее на доску и несутъ купать-хоронить къ рѣкѣ. Затѣмъ, сами купаются и возвращаются домой, гдѣ переодѣваются во все празничное и водятъ хороводы до глубокой ночи. Въ Орловской губ. въ Троицынъ день „молятъ коровай“, испеченный изъ муки, принесенной всѣми дѣвушками деревни въ-складчину: идутъ съ этимъ короваемъ въ рощу и поютъ надъ нимъ. Въ Псковской губ. во многихъ селахъ обметаютъ могилы пучками цвѣтовъ, принесенныхъ изъ церкви отъ троицкой обѣдни. Это называется—„глаза у родителей прочищать“. Во многихъ мѣстностяхъ на Руси въ старые годы въ этотъ праздникъ происходили смотрины невѣстъ. Дѣвушки собирались на лугу и, сойдясь въ кругъ, медленно двигались съ пѣснями. Вокругъ стояли женихи и „высматривали“ невѣсть. Въ Калужской губерніи существовалъ,—а въ Орловской съ Тверской и теперь соблюдается,—обычай „кре-

щенія кукушекъ", состоявшій въ томъ, что на семицкое гулянье въ рощѣ избранные гуляющими „кумъ" и „кума" надѣвали крестъ на пойманную заранѣе кукушку, или на траву, носящую ея имя („кукушкины слезы", „кукушечій перелетъ" и др.), клали ихъ на разостланный платокъ, садились около него и цѣловались подъ звуки пріуроченной къ этому семицкой пѣсни:

„Ты, кукушка ряба,
Ты кому-же кума?" и т. д.

Многіе изъ описанныхъ обычаевъ уже исчезли, иные—видоизмѣнились до неузнаваемости; но есть и не мало такихъ, что еще доживаютъ свой вѣкъ съ тѣмъ-самымъ обликомъ, съ какимъ были созданы народнымъ воображеніемъ въ стародавніе дни.

Троицынъ день во времена московскихъ царей всея Руси, сопровождался особой торжественностью въ царскомъ обиходѣ. Царь-государь въ этотъ великій праздникъ „являлся народу". Царскій выходъ былъ обставленъ по особому уставу. Шелъ государь въ нарядѣ царскомъ: на немъ было „царское платно" (порфира), царскій „становой кафтанъ", корона, бармы, наперстный крестъ и перевязь; въ рукѣ—царскій жезлъ; на ногахъ—башмаки, низанные жемчугомъ и каменьями. Вѣнценоснаго богомольца поддерживали подъ руки двое стольниковъ. Ихъ окружала блестящая свита изъ бояръ, разодѣтыхъ въ золотыя ферязи. Во время слѣдованія царя къ обѣднѣ свита царская шла рядомъ: люди меньшихъ чиновъ—впереди, а бояре и окольничіе—сзади государя. Постельничій со стряпчими несъ „стряпню": полотенце, стулъ „со зголовьемъ", подножье, „солношникъ"—отъ дождя и солнца и все прочее, что требовалось по обиходу.

Во всемъ блескѣ царскаго облаченія входилъ государь въ Успенскій соборъ—въ сопровожденіи бояръ и всѣхъ людей ближнихъ. Впереди всего шествія, стольники несли на коврѣ пукъ цвѣтовъ („вѣникъ") и „листъ" (древесный, безъ стебельковъ). Царскій выходъ возвѣщался гулкимъ звономъ съ Ивана Великаго „во всѣ колокола съ реутомъ"; звонъ прекращался, когда государь вступалъ на свое царское мѣсто. На ступеняхъ этого „мѣста", обитаго атласомъ краснаго цвѣта съ золотымъ галуномъ, ближніе стольники поддерживали государя. Торжественно шла обѣдня. По окончаніи ея, передъ троицкою вечернею, подходили къ царю соборные ключари съ подобающимъ метаніемъ поклоновъ и подносили ему на коврѣ древесный листъ, присланный патріархомъ. Смѣшавъ

его съ „государевымъ листомъ“ и разными травами и цвѣтами, они застилали имъ все царское мѣсто и окропляли его розовою водой. Взятымъ отъ государя листомъ они шли устилать мѣста патріаршее и прочихъ властей духовныхъ. Остатокъ—раздавался боярамъ и другимъ богомольцамъ, по всему храму. Государь преклонялъ колѣна и—какъ говорилось въ то время—„лежалъ на листу“, благоговѣйно внимая словамъ молитвы. Когда кончалась Божественная служба, онъ выходилъ изъ собора прежнимъ торжественнымъ выходомъ, „являлся народу“, привѣтствовавшему его радостными кликами, и—въ предшествіи одного изъ ближнихъ стольниковъ, несшаго „вѣникъ“ государевъ, возвращался во свои палаты царскія. Колокольный звонъ не смолкалъ во все время его слѣдованія отъ собора до дворца.

На Троицкой зеленой недѣлѣ царевны съ боярышнями увеселялись во дворцѣ играми-хороводами, подъ наблюденіемъ если не свѣтлыхъ очей самой государыни-царицы, то зоркаго взгляда верховыхъ боярынь и мамушекъ. Для игръ и хороводовъ—какъ въ царицыныхъ, такъ и въ царевниныхъ, хоромахъ были отведены особыя обширныя сѣни. Здѣсь находились и приставленныя къ царевнамъ „дурки-шутихи“, бахари, домрачеи и загусельники со скоморохами, всѣ—кто долженъ былъ доставлять „потѣху“ и „затѣи веселыя“. Царевенъ увеселяли сѣнныя дѣвушки, „игрицы“, которыми—вѣроятно—„играли сь“ тѣ-же самыя пѣсни семицкія, что́ раздавались въ это время подъ березками надъ водою по всей Руси, справлявшей свои стародавнія игрища во славу „Семика честно́го“ и Троицы—Зеленыхъ Святокъ.

XXV.

Духовъ день.

Рѣчистъ русскій народъ-пахарь, торовать на всякое слово красное. Многое-множество такихъ словъ сдѣлалось „крылатыми“,—не то что изъ года въ годъ, а изъ вѣка въ вѣкъ, перелетающими вмѣстѣ съ сопутствующими имъ обычаями, повѣрьями и примѣтами. Не обойденъ народнымъ краснымъ словцомъ и „Духовъ день“,—какъ именуется въ народѣ слѣдующій за праздникомъ Троицы-Пятидесятницы понедѣльникъ. „До Свята-Духа не снимай кожуха!“—говоритъ деревенская Русь. Выдаются мѣстами, дѣйствительно, такія непогожія вёсны, что только къ этому времени и перестаетъ знобить мужика холодомъ; особенно близко относится приведенное присловье къ русскому сѣверу, гдѣ зима-Морàна долго еще даетъ о себѣ знать, несмотря на теплыя ласки Лады-весны, которая даже и отъ угрюмыхъ обитателей сѣвернаго-студенаго поморья не скрываетъ своей красной красы.

Только послѣ этого праздника и можно позабыть о морозахъ-утренникахъ вплоть до самой осени—на всемъ неоглядномъ просторѣ Земли Русской. „Съ Духова дня не съ одного неба, а даже изъ-подъ земли, тепло пдетъ!“—замѣчаетъ посельщина-деревеньщина:—„Не вѣрь теплу до Духова дня!“, „Придетъ Святъ-Духовъ день,—будетъ на дворѣ, какъ на печкѣ!“, „И сиверокъ холоденъ до Духова дня!“, „Зябка дѣвица-разсада, а и та проситъ у Бога холодку послѣ Духова дня!“, „Святъ-Духъ весь бѣлый свѣтъ согрѣетъ!“, „Доживи до Троицы-Духова-дня, а тепло будетъ!“—приговариваетъ дождавшійся лѣта православный честной людъ, во многихъ мѣстностяхъ съ этого праздника, по обычаю старины, начинаю-

щій выбираться на лѣтній ночлегъ изъ душной избы въ болѣе прохладныя сѣни-клѣти.

Троица—повсемѣстный праздникъ цвѣтовъ и березокъ. На Духовъ день послѣднія остаются красоваться какъ возлѣ хатъ, такъ и въ хатахъ; цвѣты-же, вмѣстѣ съ травой устилавшіе полъ церковный во время троицкой Божественной службы, подбираются богомольцами, приносятся домой и тщательно сберегаются подъ божницею: совѣтуютъ опытные хозяева пользовать ими—въ перемѣшку съ другимъ кормомъ—больную домашнюю животину (коровъ—въ особенности). Набожныя старухи сушатъ и толкутъ въ ступѣ принесенныя отъ дýховской обѣдни цвѣты и бережно хранятъ порошокъ на случай болѣзни кого-нибудь въ семьѣ. Достаточно, по ихъ словамъ, во́-время окурить больного благовоннымъ дымомъ этого порошка изъ „священаго цвѣта“, чтобы недугъ пошелъ на поправку. Этимъ-же дымомъ-„духомъ“ знающіе „всякое слово и всякое зелье“ люди берутся изгонять бѣсовъ изъ одержимыхъ ими („порченыхъ“, „кликушъ“).

Въ народѣ съ давнихъ поръ ходитъ сказаніе о томъ, что Духова дня, „какъ огня“, страшится бродящая по землѣ нечисть. По старинному преданію, повторяющемуся и теперь во многихъ мѣстахъ средняго Поволжья, на этотъ праздникъ- -во время Божественной службы—сходитъ съ неба священный огонь, испепеляющій всѣхъ злыхъ духовъ, попадающихся ему. „И бѣгутъ бѣси огня-духа“,—повѣствуетъ сѣдое народное слово,—„и мещутъ ся злые духи въ бездны подземныя. И въ безднѣ бездинѣ настигаетъ ихъ сила силъ земныхъ. Слышитъ вопль бѣсовскій въ сей день Господень заря утренняя, и полдень внемлетъ ему, и вечеръ—свѣте-тихій,—такожде до полунощи... Погибаютъ огнемъ негасимымъ бѣси, ихъ же тьма темъ... И не токмо силу бѣсовскую, разитъ огнь небесный всяку душу грѣшную, посягающу на Духа Свята дерзновеніемъ отъ лукавствія“...

Встарину на Духовъ день устраивались по селамъ и даже городамъ особыя, къ этому празднику нарочито пріуроченныя, игрища. Еще въ 30-хъ годахъ XIX-го столѣтія соблюдался этотъ обычай въ Чухломскомъ уѣздѣ Костромской губерніи. Для сбора участниковъ игрища, наканунѣ вечеромъ, заранѣе избранной „большухою“ разсылались дѣвчата-послы по всѣмъ краснымъ дѣвицамъ, звали-позывали ихъ съ матерями и всѣми родственницами собраться послѣ обѣда на Духовъ день въ заранѣе опредѣленное мѣсто близъ села. Въ урочный часъ сходились гостейки, званыя-прóшеныя, становились въ кружокъ и запѣвали пѣсни, на это игрище положоныя. Кромѣ большу-

хи, выбирались всѣмъ скопомъ двѣ дѣвушки, которыхъ обступали хороводомъ. Онѣ стояли посединѣ, по окончаніи одной игры отдавали всѣмъ поклоны и снова становились въ кружокъ, а на ихъ мѣсто выбирались двѣ другихъ. Очередь при выборѣ соблюдалась по старшинству лѣтъ: младшая пара не должна была выбираться раньше старшей. Пѣсни „играли-сь“ до вечера; передъ стадами (возвращеніемъ скота съ пастбища) всѣ расходились по дворамъ, чтобы ночью снова сойтись на томъ-же мѣстѣ для новыхъ игръ-пѣсенъ хороводныхъ, продолжавшихся до самой полуночи. Всѣ эти пѣсни звучатъ отголоскомъ свадебныхъ. Вотъ, напримѣръ, одна изъ нихъ, которую и теперь еще можно слышать во многихъ уголкахъ деревенской Руси:

„Ужъ ты, улица, улица,
Ужъ ты, улица широкая!
Трава-мурава шелкóвая!
Изукрашена улица
Все гудками, все скрипицами,
Молодцами да молодицами,
Душами красными дѣвицами.
Не велика птичка-пташечка
Сине море перелѣтывала,
Садилáся птичка-пташечка
Середи моря на камышекъ:
Слышитъ, слышитъ птичка-пташечка:
Поетъ, пляшетъ красна дѣвушка,
Идучи она за младаго замужъ:
Ужъ ты, младъ мужъ, взвеселитель мой,
Взвеселилъ мою головушку,
Всю дѣвичью красоту!“

Конецъ этой пѣсни иногда измѣняется и поется такъ: „...слышитъ, слышитъ птичка-пташечка: плачетъ, плачетъ красна дѣвица, идучи она за стараго замужъ:—Ахъ ты старъ мужъ, погубитель мой! Погубилъ мою головушку, всю дѣвичью красоту!“

Въ бѣлорусскихъ мѣстахъ дѣвушки и теперь еще „завиваютъ березки“ на Духовъ день, приготовляя столько вѣнковъ, сколько у каждой завивающей—близкихъ-дорогихъ людей на Божьемъ свѣтѣ: для родимыхъ отца съ матерью, для братьевъ съ сестрами, для милыхъ-любезныхъ сердцу дѣвичьему разгарчивому. По этимъ вѣнкамъ загадывается о судьбѣ. „Русалочки-земляночки, на дубъ лѣзли, кору грызли, звалилися, забилися...“—поютъ при этомъ гаданіи. Въ бѣ-

лорусской-же округѣ мѣняются ввечеру съ Духова на слѣдующій день заневѣстившіяся красавицы „перстеньками съ зеленымъ глазкомъ“—въ знакъ добраго подружества на вѣки вѣчные.

Есть села-деревни, гдѣ сохранилось старинное преданье о томъ, что передъ солнечнымъ на Духовъ день восходомъ Мать-Сыра-Земля открываетъ всѣ свои тайны. Этого не забываютъ кладоискатели и—какъ въ иныхъ мѣстахъ въ ночь подъ Ивана-Купалу (съ 23-го на 24-е іюня)—ходятъ „слушать клады“, помолясь передъ тѣмъ Святому Духу, припадая ухомъ ко груди земной. И открываются имъ „вся несказанная“ нѣдръ земныхъ и подземныхъ, но это только въ томъ случаѣ, если кладоискатель ведетъ богобоязненную-праведную жизнь. Съ первыми лучами солнца краснаго умолкаетъ вѣщая рѣчь земли, могущая сразу навсегда обогатить человѣка. Въ малорусскихъ деревняхъ-селахъ наблюдается любопытное явленіе: Троицынъ день слыветъ тамъ за „Духовъ“, въ понедѣльникъ-же справляется запаздывающее празднованіе „Троицы — Зеленыхъ Святокъ“.

Слѣпые-убогіе—калики-перехожіе поютъ на Духовъ день слѣдующее пѣсенное сказаніе („На сошествіе“), крайне любопытное въ устахъ его невѣдомыхъ слагателей, затерявшихся въ бездонныхъ глубинахъ народной Руси:—„Во градѣ въ Ерусалимѣ, въ Давыдовомъ домѣ, тамо предъявися предивное чудо: гдѣ обитаетъ Пречистая Дѣва съ ученики Господни, со апостолы Христовы, бысть шумъ презѣльный, носиму духу бурну, идеже сѣдяще апостолы съ Царицей Небесной Владычицей Богородицей. Тамъ проистекаетъ рѣка медоточна; источникъ духовный радость днесь исполни Троицы нераздѣльной благодатію наполни, молитвами Богородицы всѣхъ наполни странъ сего свѣта. Слышите, со апостолы пріидите, въ домъ Христовъ-Давыдовъ съ любовію внидите: пріидите, пріимите Духа Пресвятаго, Истинна Пророка, Утѣшителя Господня. Онъ совершаетъ тайны несказанны, въ Божіей церкви судьбы неизрѣченны, въ ней судятся племена, всякихъ родовъ лица; облацы раздѣляше; языцы всѣмъ даяше, ловцовъ умудряше, уста имъ отворяше, глаголомъ апостольскимъ всѣхъ удивляше. Во всякое время съ ними Духъ Святъ пребываше, въ сердцахъ почиваше, въ глазахъ цвѣтомъ цвѣтяше; на всякомъ мѣстѣ въ нихъ всегда сіяше, рыбарями огненная словеса испущаше; разными языками святыми рекоша, всѣхъ евреевъ ужасаша, врагомъ страшное объявляша. Спасъ Избавитель и Духъ Утѣшитель, Отецъ безначальный, Творецъ Богъ и Сынъ единородный, Боже-

ствомъ симъ равный, и Духъ сопрестольный, существомъ купно полный, Святый Боже, отъ премудрости Твоей Творче, Святый Крѣпкій-Сильный, во всѣхъ языцѣхъ дивный. Святый Безсмертный Царю... Всегда азъ благодарю. Пріими отъ насъ, рабовъ Твоихъ, пѣніе днесь сію хвалу, поюще Тебѣ на вѣки, преклоняемъ свою главу. Свѣтъ пресвѣтлый нынѣ въ Ерусалимской силѣ, духомъ покрываше, шумъ бурный являше, въ Божій градъ Давыдовъ вѣрныхъ призываше, въ святой домъ духовной всѣхъ собираше, очами небесными премудро дозираше, въ жители небесные праведныхъ собираше, а грѣшныхъ на земли непокаянны оставляше, токмо Своею милостію всѣхъ покрываше...“

Восхваленіе Творца-Бога продолжается еще въ длинномъ рядѣ подобныхъ приведеннымъ пѣсенныхъ словъ, а затѣмъ стихъ переходитъ къ самимъ поющимъ-восхваляющимъ: „А мы, многогрѣшны, рабы недостойны, взыдемъ на гору съ апостолы Христовы, на истинный путь правый, отъ Отца посланный. Посмотримъ очами умными въ зерцала небесна, вникнемъ въ свою утробу: анъ мы живемъ тѣсно, все въ насъ закрыто, будущая безвѣстна; рѣдко засвѣчаема въ сердцахъ своихъ свѣчи мѣстны; всегда погашаютъ прелести временны здѣшны; прокрикъ почтимся услышать небесный-Божьими судьбами исцѣлимъ души многогрѣшны; слышавъ Божье слово, оставимъ сласти здѣшны. Туюжде дадимъ славу, наклонивше главу, тихо и умильно послѣ ангельскія пѣсни; всегда и на вѣки съ вѣрными человѣки. Чтимъ и величаемъ Небесную Царицу, со всѣми небесными силами ублажаемъ. Дабы всѣхъ святыхъ молитвами насъ Богъ не оставилъ, къ вѣчному покою благополучно переправилъ, и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ, аминь!“

Кромѣ, приведеннаго, еще въ нѣсколькихъ другихъ стихахъ воспѣваютъ простодушные пѣвцы этотъ праздникъ, величая его „источникомъ радости духовной“ и призывая боголюбивыхъ слушателей пріобщиться къ нимъ:

„Тайно восплещемъ, духомъ веселяща,
Словесны мысли духовно плодяще,
Яко руками, движуще устами:
Духъ Святый съ нами!

. . . . . .

Всегда благословимъ всѣмъ владущаго
Царя и Бога, во всѣхъ могущаго.
Присно, въ единомъ Божествѣ всесильномъ
Со Отцемъ и Сыномъ!..“

Въ этотъ праздникъ Божій встрѣчаетъ посельская Русь своихъ убогихъ гостей—съ ихъ умилительнымъ пѣніемъ—наособицу привѣтливо. Духовный стихъ, болѣе чѣмъ когда бы то ни было, подходитъ къ настроенію во всемъ полагающихся на Бога и Его защиту крѣпкую потомковъ древняго пращура современныхъ русскихъ хлѣборобовъ—Микулы-свѣта-Селяниновича.

Духовъ день начинаетъ собою на богатой преданіями отцовъ-дѣдовъ Землѣ Русской „Всесвятскую“ недѣлю, запечатлѣнную въ суевѣрной памяти народной своеобразными обрядами-обычаями, связанными съ празднествомъ-гульбищемъ въ честь древне-языческаго Ярилы.

XXVI.

Іюнь-розанцвѣтъ.

Въ древнерусскомъ быту слылъ іюнь за мѣсяцъ „изокъ“ и въ то-же время „розанцвѣтомъ“ прозывался. Сосѣди и единоплеменники нашихъ предковъ звали его каждый наособицу: поляки—„червцомъ“, чехи со словаками—„червенемъ“, иллирійцы—„липанемъ“, кроаты—„иванчакомъ“ и „клисенемъ“, сербы—„смазникомъ“ и „розовымъ“, венды—„шестникомъ“, „прашникомъ“ и „кресникомъ“. Сначала выходилъ этотъ мѣсяцъ четвертымъ изъ двѣнадцати въ году; потомъ сталъ считаться за десятый; съ 1700-же года, по изволенію-указу Великаго Петра, началъ быть, какъ и въ наши дни, шестымъ.

Іюнь—конецъ пролѣтья, начало лѣта. „Мѣсяцъ іюнь, ау!“—приговариваютъ о немъ по многимъ мѣстамъ народной Руси, гдѣ почти вездѣ къ этому времени всѣ закрома въ амбарахъ пустымъ-пусты. „Іюнь, въ закромъ вѣтромъ дунь! Поищи: нѣтъ-ли гдѣ жита по угламъ забито! Собери съ полу соринки — сдѣлаемъ по хлѣбцѣ поминки!“ — подсмѣивается надъ подводимымъ съ голоду мужицкимъ брюхомъ прибаутокъ посельскій, добавляющій для большей ясности, что: „Съ іюньскаго хлѣба не великъ прокъ: весь разносолъ—мякина, лебеда да горькая бѣда!“ Не мало и всякихъ другихъ словечекъ крылатыхъ отъ деревни къ деревнѣ, отъ села къ селу по свѣтлорусскому простору полѣтываетъ, перекликается голосами заливными, что струны гусельныя, звонкими. „Пришелъ іюнь-розанцвѣтъ, отбою отъ работы нѣтъ!“—говорятъ въ народѣ.—„Богатъ іюнь-мѣсяцъ, а и то послѣ дѣдушки-апрѣля крошки подбираетъ!“, „Поводитъ іюнь на работу—отобьетъ

до пѣсенъ охоту!", „Что май, что іюнь—оба впроголодь!", „Отецъ съ сыномъ, май съ іюнемъ, ходятъ подъ окнами, Христа-ради побираются!", „Въ іюнѣ ѣсть нечего, да жить весело: цвѣты цвѣтутъ, соловьи поютъ!", „Іюнь—скопидомъ, урожай мужику копитъ!", „Іюньскія зори хлѣба зорятъ, скорѣе дозрѣвать имъ велятъ".

Въ пословицахъ-примѣтахъ старыхъ людей памятливыхъ дошелъ до нашихъ дней отъ старины глубокой никѣмъ—кромѣ природы, обступающей бытъ русскаго народа-пахаря,—не слагавшійся „мѣсяцесловъ", вѣдомый каждому деревенскому старожилу.

„Мученикъ Устинъ (воспоминаемый Церковью 1-го іюня)—между маемъ и іюнь-мѣсяцемъ тынъ!", — можно услышать среди посельщины-деревеньщины. Въ этотъ день запрещаетъ народное слово городьбу городить: „На Устина не городи тына!" Примѣтливые люди сулятъ пожаръ тому домохозяину, который ослушается ихъ опасливаго совѣта. Въ этотъ-же день судятъ-загадываютъ по солнечному восходу объ урожаѣ, для чего выходятъ до зорьки въ поле и приглядываются къ солнечнымъ заигрышамъ: взойдетъ красно-солнышко на чистомъ небѣ—быть доброму наливу ржи. А бродятъ тучи по небесному всполью въ это утро—бабамъ на радость: ленъ-конопель уродится на-диво! Отъ Устина—два дня до Митрофана (4-го іюня). „Въ канунъ Митрофана—не ложись спать рано!"—предостерегаетъ суевѣрная деревня: въ навечеріе этого дня есть надъ чѣмъ понаблюдать тому, кто озабоченъ предстоящимъ вызрѣваніемъ политыхъ трудовымъ потомъ хлѣбовъ. Деревенскій опытъ совѣтуетъ подъ Митрофана „заглядывать, откуда вѣтеръ дуетъ". Во многихъ мѣстностяхъ Владимірской, Ярославской, Тверской, Тульской и другихъ сосѣднихъ губерній до сихъ поръ держится старинная примѣта объ этомъ. Тянетъ вѣтеръ съ полудёнъ—яровому хорошій ростъ!",—говорятъ тамъ. „Дуетъ съ гнилого угла (сѣверо-западъ)—жди ненастья!". Вѣтеръ „съ восхода" (восточный)—къ повѣтрію (повальнымъ болѣзнямъ). „Сиверокъ (сѣверовосточный вѣтеръ)—ржи дождями заливаетъ". Встарину даже существовалъ рѣдко гдѣ не запамятованный теперь обычай „молить вѣтеръ подъ Митрофана". Старыя старухи сходились для этого за околицею ввечеру, послѣ заката солнечнаго, и— по данному старѣйшею изъ нихъ знаку—принимались выкликать по́-вѣтру, размахивая при этомъ руками, слѣдующее заклинаніе: „Вѣтеръ-Вѣтрило! Изъ семерыхъ братьевъ Вѣтровичей старшо̀й братъ! Ты не дуй-ка, не плюй дождемъ со гнилого угла, не гони трясавицъ-огневицъ изъ нѐруси на Русь! Ты

не сули, не шли-ка, Вѣтеръ-Вѣтрило, лютую бо̀лѣсть-по̀маху на православный народъ! Ты подуй-ка, изъ семерыхъ братьевъ старшо̀й, тепломъ теплымъ, ты пролей-ка, Вѣтеръ-Вѣтрило, на рожь-матушку, на яровину-яровую, на поле—на луга дожди теплые, къ порѣ да ко времячку! Ты сослужи-ка, буйный, службу да всему царству христіянскому—мужикамъ-пахарямъ на радость, малымъ ребятамъ на утѣху, старикамъ со старухами на прокормленіе, а тебѣ, буйно̀му, надъ семерыми братьями на̀большему-старшо̀му, на славу!“ Это заклинаніе, по словамъ свѣдущихъ людей, имѣло непреодолимую силу надъ вѣтрами и заставляло ихъ помогать честному люду крестьянскому, со страхомъ и трепетомъ прислушивавшемуся да приглядывавшемуся въ это переходное-тревожное время къ каждой перемѣнѣ погоды, вліяющей на ростъ хлѣбовъ.

„На Дороѳея (5-го іюня)—утро вечера мудренѣе!“ Въ этотъ день примѣчаютъ теченіе вѣтровъ поутру, руководясь тѣмиже указаніями вѣкового сельскохозяйственнаго опыта, какъ и подъ Митрофана, патріарха константинопольскаго. „Придетъ Ларивонъ (преп. Илларіонъ, воспоминаемый 6-го іюня)—дурную траву изъ-поля вонъ: подтыкай, дѣвки-бабы, хоботье, начинай въ яровомъ полотье!“ 7-го іюня—св. Ѳеодотъ: „тепло ведетъ—въ рожь золото льетъ“, на дождь наводитъ—къ тощему наливу. „За Ѳедотомъ—Ѳедоръ-Стратилатъ (8-е іюня), угрозами богатъ“. Первая угроза этого дня, по словамъ погодовѣдовъ, гроза. Гремитъ поутру въ этотъ день раскатистый громъ—не къ добру: съ сѣномъ не уберется мужикъ во̀время, дождикъ-„сѣногной“ все погноитъ, если не поспѣшить съ уборкой, не бросить всю остальную работу. Прислушиваются мужики въ этотъ день ко грому, а бабы—постарше, подомовитѣе да попримѣтливѣе—за росами слѣдятъ, въ оба глаза глядятъ. Стратилатовы росы—вѣщія: большія—къ хорошимъ льнамъ да къ богатой коноплѣ. Но еще болѣе зорко, чѣмъ мужики-косари съ бабами, приглядываются къ этому дню землекопы-колодезники, вологжане да пермскіе выходцы. Это—ихъ завѣтный день. До сихъ поръ, платя щедрую дань суевѣрной старинѣ, соблюдаютъ они „положоное“. А положено въ неписанномъ уставѣ невѣдомыхъ уставщиковъ на этотъ день не малое. Еще наканунѣ ввечеру должны приниматься они за выполненіе завѣщаннаго былыми вѣками обычая. „Съ Ѳедора-Стратилата колодцы рой!“—гласитъ старина вѣщими устами знающихъ людей: „Будетъ вода въ нихъ и чиста, и пьяна, и отъ всякаго лихова глаза на пользу!“ Подъ Ѳедоровъ день—на Ѳедотовъ вечеръ ставятъ колодезники на тѣ мѣста, гдѣ поутру думаютъ землю копать—воду добывать

хотятъ, „наговоренныя“, по особому порядку-обряду изустному, сковороды и оставляютъ ихъ до утра. Передъ солнечнымъ восходомъ идутъ они и, съ первымъ проблескомъ краснаго солнца, снимаютъ сковороды, чтобы загадывать по нимъ объ успѣхѣ предстоящей работы: отпотѣетъ, покроется выступившею каплями водою сковорода,—„многоводная жила“ на этомъ мѣстѣ; рой, благословясь, хватитъ пойла не то что внукамъ, а и дѣткамъ ихъ правнуковъ! Мало поту земного на сковородѣ,—мало и воды. Сухая сковорода,—впору уходить съ этого мѣста: хоть годъ въ землѣ копайся, до жилы не доберешься! А не дай Богъ—замочитъ наговоренную сковороду сверху дождемъ: все время, до новаго лѣта, спорины не будетъ. Крѣпко придерживается вологжанинъ-колодезникъ этой примѣты. „На словахъ-то онъ—какъ на маслѣ“, по старинному присловью, но и „на дѣлѣ—какъ въ Вологдѣ: свое знаетъ!“

За Ѳедоромъ-Стратилатомъ—Кириллъ (9-е іюня) въ ряду стоитъ, на солнечномъ припекѣ, по красному слову народному, грѣется. „На Кирилу—отдаетъ земля солнышку всю свою силу!“—говоритъ деревня: „Съ Кирилина дня молись солнышку-ведрышку“,—добавляетъ она: „что́ солнышко дастъ, то у мужика въ амбарѣ!“ На Тимоѳея (10-го іюня)—„знаме́нія“, просторъ суевѣрному воображенію народному. По преданію, въ этотъ день ходятъ-бродятъ по землѣ всякіе призраки, „блазнящіе глазъ человѣческій“. Старые люди видятъ, въ эту необычайную пору, то несмѣтныя стада мышей, пасущіяся по гумнамъ—къ голодному году, то волчьи ватаги въ поляхъ—къ скотскому падежу, то стаи черна̀-воронья, летящія—туча-тучей—изъ-за лѣсу на деревню—къ повальному мору людей. А то, по увѣренію стариковъ, бываетъ и такъ, что, если прислушаться-припасть ухомъ къ землѣ, слышно, какъ Мать-Сыра-Земля стономъ-стонетъ (къ пожару), людъ честной жалѣючи. Иному, наособицу зоркому, человѣку представиться можетъ объ эту пору и такое видѣніе, что какъ-будто по озимому полю огонь перебѣгаетъ, на яровое дымомъ тянетъ. Это—къ бездождію: выгорятъ хлѣба, свернетъ зерно, скосить придется всю ниву на солому. Тимоѳеевскія знаменія—грозой грозятъ. Счастливо то село, гдѣ ни одному человѣку ничего не привидится въ этотъ тяжелый день! Варѳоломей съ Варнавою (11-го мая) ничего не сулятъ, ничѣмъ не грозятъ народу православному: что́ Богъ дастъ, то и будетъ; какъ проведетъ человѣкъ посвященный имъ день (во грѣхѣ, или по праведному), то́ ему и станется, независимо отъ какихъ-либо особыхъ примѣтъ.

12-е іюня простонародный мѣсяцесловъ зоветъ днемъ „Пет-

ра-капустника"; на него высаживается на огороды послѣдняя, запоздалая, разсада. Съ этого—самаго длиннаго за́-лѣто—дня, по народному слову, солнце укорачиваетъ ходъ, мѣсяцъ—на прибыль идетъ, солнце поворачивается на зиму, а лѣто—на жары. На-утро—„Акулины-гречишницы" (13-е іюня). По примѣтамъ: „сѣй гречиху или за недѣлю до Акулинъ (смотря по мѣстности и погодѣ), или спустя недѣлю послѣ Акулинъ". Ни одинъ другой хлѣбъ не требуетъ такой осторожности при посѣвѣ (см. гл. II).

За „Акулиной-гречишницей" слѣдомъ „Елисей-гречкосѣй" на Землю Русскую выходитъ (14-го іюня). „Придетъ пророкъ Амосъ (15-е іюня)—пойдетъ въ ростъ и овесъ". 16-го іюня, на Тихоновъ день, начинаютъ затихать пѣвчія птицы; одинъ соловейко голосистый еще не сдаетъ голоса,—пѣть ему во всю соловьиную мочь до Петрова дня. На Тихона живутъ во многихъ селахъ „толоки" - помочи, торопятся всѣ унавозить поля подъ паръ. Ввечеру этимъ днемъ молодежь „въ назьмы играетъ": хороводы водитъ. Пройдутъ еще сутки, а тамъ—и „Ѳедулъ (18-е іюня) на дворъ заглянулъ: пора серпы зубрить, къ жнитвамъ готовиться за́годя". Съ 19-го числа (день мученика Зосимы) пчелы начинаютъ меда́ запасать, соты заливать. На Меѳодія „перепелятника" (20-го іюня)—всякому охотнику до перепелиной ловли большая забота: примѣчать—носится-ли тенетникъ-паутина надъ ржанымъ полемъ, толкется-ли кучами мошкара́ надъ хлѣбами. Все это—примѣты того, что много перепеловъ лѣтомъ будетъ. Въ этотъ день стараются перепелятники изловить непремѣнно хоть одного перепела: это—залогъ вѣрной удачи на все лѣто. Если кому выпадетъ счастье поймать бѣлаго „князь-перепела", то онъ навсегда обезпеченъ ловлею: перепела-де сами такъ и летятъ къ тому, чуть въ руки прямо не валятся. Встарину завзятые охотники цѣлыми недѣлями искали такого счастья. „За Меѳодіемъ-перепелятникомъ Ульянъ (21-е іюня) Ульяну (22-е) кличетъ". 23-е число—„Аграфены-Купальницы", „лютые коренья". Этотъ и слѣдующій („Ивана Купалы") дни окружены въ народномъ представленіи тѣсными рядами повѣрій, обычаевъ и обрядовъ, вызывающихъ въ памяти народа древнеязыческія „купальскія" празднества (см гл. XXVIII).

„На Тифинскую" (26-го іюня, въ день явленія Тихвинскія иконы Пресвятыя Богородицы)—земляника заспѣваетъ, красныхъ дѣвокъ въ лѣсъ по-ягоды зоветъ. Если на Самсоновъ день дождь, быть всему лѣту мокрому—по народной примѣтѣ—вплоть до бабьяго лѣта (до самаго сентября). Если-же на Самсона ведро—семь недѣль ведро стоять будетъ. Въ Сибири,

по словамъ старожиловъ, въ сороковыхъ годахъ XIX-го столѣтія почти повсемѣстно соблюдался стародавній деревенскій обычай приводить въ этотъ день („на Николу обыденнаго“) лошадей къ церкви, служить молебны о благополучіи ихъ и кропить водою. „Герману (28-е іюня) до Петрова-дня—черезъ порогъ шагнуть, рукой подать!“

Конецъ Петровкамъ, розговѣнье Петрова поста на Руси стоитъ, по всѣмъ деревнямъ лязгъ-звонъ идетъ: косы оттачиваютъ, къ косьбѣ снаряжаются. „Строй косы къ Петрову дню, такъ будешь мужикъ!“, „Съ Петрова дни зеленый покосъ!“, „Не хвались, баба, что зеленъ лукъ, а смотри: каковъ Петровъ день!“—гласятъ старинныя поговорки. А іюньмѣсяцъ уже готовится передать свое мѣсто на родной землѣ іюлю-„сѣнозорнику“,—„макушка лѣта черезъ прясла глядитъ“. 30-го іюня—„двѣнадцать апостоловъ весну кличутъ, вернуться просятъ“; да поздно, простилась умывающаяся трудовымъ потомъ деревня съ красною давно уже—„до новыхъ сороковъ (9-го марта), до новыхъ жаворонковъ“.

„Весна-красна,
Ты когда, весна, прошла?
Ты когда, весна, проѣхала?
На кого, весна, вспокинула
Своихъ дѣтушекъ,
Малолѣтушекъ?“

Льется-звенитъ на послѣдней „окличкѣ“ весны заунывная, смѣнившая „веснянки“, пѣсня поминающихъ весну дѣвушекъ, собирающихся—на солнечномъ закатѣ въ канунъ 1-го іюля—на берегу рѣки. „Поминки“ сопровождаются пирушкою: пьется брага, сооружается „мірская яичница“, водятся послѣдніе весенніе хороводы.

Въ старые годы въ этотъ прощальный іюньскій вечеръ „хоронили весну“. Ее изображала соломенная кукла, наряженная въ красный сарафанъ и кокошникъ съ цвѣтами. Куклу носили на рукахъ по селу, съ пѣснями, а потомъ бросали въ рѣку, послѣ чего и начиналась пирушка-тризна, посвященная послѣднимъ проводамъ отжившей свой короткій, „воробьиный“, вѣкъ Весны-Красной. „Помянули весну—прощай, розанцвѣтъ!“—говорятъ на посельской-попольной Руси.

XXVII.

Ярило.

Сопутствующая Троицѣ—Духову дню, первая по Пятидесятницѣ, седмица, именуемая Всесвятскою („Всѣхъ Святыхъ“), совпадаетъ въ народной Руси съ живучею-неумирающей памятью о стародавнихъ игрищахъ-гульбищахъ въ честь древне-языческихъ Костромы и Ярилы. Послѣднее имя тождественно съ Яровитомъ. Яръ-Хмѣлемъ, Свѣтлояромъ и другими божествами, чествовавшимися въ качествѣ покровителей земного плодородія—во всѣхъ его многообразныхъ проявленіяхъ, начиная съ растительнаго міра и кончая человѣкомъ. Эту, предшествующую Петрову посту, недѣлю во многихъ мѣстахъ зовутъ „Русалочьимъ заговѣньемъ“ и во время нея развиваютъ кудрявые семицкіе-троицкіе вѣнки.

О гульбищѣ-игрищѣ „Костромѣ“ меньше всего знаютъ костромичи-великороссы. Оно занесено въ народную Русь отъ мери [51]) и справляется въ настоящее время только въ самой захолустной глуши Пензенской и Симбирской губерній, да въ Муромскомъ уѣздѣ Владимірской. А. Н. Аѳанасьевъ отождествляетъ названіе этого игрища съ тѣмъ, что изображавшая въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ „Кострому“ кукла дѣлалась изъ соломы, всякихъ сорныхъ травъ и кудельной кострики (отбросовъ), и приводитъ названія растущихъ во ржи травъ—„костра́“, „костре́цъ“, „костера̀“ и т. д. Колючія и цѣпкія (сорныя) травы встарину представлялись какъ-бы подобіями

[51]) Мер я—древнее финское племя, платившее дань варягамъ. Область поселенія этого, слившагося со славянами, племени захватывала все среднее Поволжье, съ одной стороны по сосѣдству съ кривичами и вятичами, а съ другой—съ мещерою, муромою и пермью.

молній громовержца-Перуна, многія черты облика котораго были перенесены на Яръ-Хмѣля и слились съ нимъ нераздѣльно. Въ тридцатыхъ годахъ XIX-го столѣтія это происходило такъ. Созывались со всей деревни, собирались въ заранѣе облюбованное мѣсто красныя дѣвушки, шли въ простомъ—не-праздничномъ нарядѣ, становились въ кружокъ на лугу. Одной изъ красавицъ доставался жребій—изображать собою „Кострому". Становилась она съ потупленною-повинной головою, подходили къ ней всѣ другія дѣвушки, поклонъ за поклономъ ей отвѣшивали, брали-клали ее на широкую доску бѣлодубовую, относили ее, съ припѣвами голосистыми, на берегъ рѣки. Здѣсь принимались будить притворявшуюся спящею „Кострому", поднимали ее за руки; затѣмъ—начинали купаться, обливая водой другъ-дружку; которая-нибудь изъ дѣвушекъ оставалась при этомъ на берегу, держала лубяное лукошко и била въ него кулакомъ, какъ въ барабанъ. Съ купанья всѣ отправлялись, въ прежнемъ порядкѣ, въ деревню; тамъ, дома, переодѣвались въ цвѣтно платьице—красенъ праздничный нарядъ, выходили на улицу и водили хороводы.

Въ Муромскомъ уѣздѣ „Кострому" изображала не выбранная дѣвушка, а кукла, обмотанная разноцвѣтнымъ тряпьемъ. На игрище выходили не только одни красны-дѣвицы, но и парни молодые.

Одѣвали-наряжали „Кострому" подъ особыя, пріуроченныя къ этому, пѣсни. „Кострома, моя Костромушка, моя бѣлая лебедушка! У моей-ли Костромы много золота, казны. У костромскаго купца была дочка хороша, то Костромушка была, Костромушка, Кострома, лебедушка-лебеда!" — запѣвается, напримѣръ, одна изъ нихъ, наиболѣе отвѣчающая своему назначенію. „У Костромы-то родства – Кострома полна была; у Костромина отца было всемеро. Кострома-то разгулялась, Кострома-то расхвалилась. Какъ Костроминъ-то отецъ сталъ гостей собирать, гостей собирать, большой пиръ затѣвать; Кострома пошла плясать, а чужіе-то притаптывать: Кострома, Кострома, то Костромушка была!.."—продолжается пѣсня, чѣмъ дальше—тѣмъ становясь все веселѣй-звончѣе: „Я къ тебѣ, кума, незваная пришла: я-ли тебя, Костромушка, за рученьку возьму, виномъ съ макомъ напою, въ хороводъ тебя введу. Стала Кострома поворачиваться, съ вина-маку покачиваться; вдоль по улицѣ пошла, на подворьице шла, на подворье костромское, на купецкое. Кострома-ли, Кострома, то Костромушка была..." Къ концу подходитъ пѣсня—съ-развальцемъ: „Костромушка расплясалась, Костромушка разы-

гралась, вина съ макомъ нализалась. Вдругъ Костромка повалилась: Костромушка умерла. Костромушка, Кострома!..“ Послѣдняя часть пѣсни говоритъ прямо о томъ, что совершается передъ пѣвунами голосистыми:

„Къ Костромѣ стали сходиться,
Костромушку убирать
И во гробъ полагать.
Какъ родные-то стали тужить:
По Костромушкѣ выплакивати:
—Была Кострома весела,
Была Кострома хороша!
Костромушка, Кострома,
Наша бѣлая лебёдушка!“

Допѣвъ пѣсню, брали одѣтую куклу-„Кострому“ на руки и съ новыми припѣвами несли на рѣку, гдѣ участники гульбища разбивались на двѣ стороны. Одна сторона становилась о-бокъ съ куклою, и всѣ ея молодцы и молодицы кланялись Костромѣ въ-поясъ. Въ это время другіе внезапно кидались на нихъ и старались похитить куклу. Завязывалась борьба, въ которой побѣдителями являлись нападающіе; они повергали Кострому наземь, топтали ее ногами, срывали съ нея лохмотья и—подъ громкій раскатистый смѣхъ и дикіе выкрики—бросали ее въ воду. Побѣжденные должны были оплакивать отнятую у нихъ куклу и жалобно причитать, закрывая лицо руками:

„Умеръ, умеръ Кострубынька,
Умерь-померъ голубынька!
Утонула-померла
Кострома, Кострома...“ и т. д.

Вслѣдъ за этимъ и побѣжденные, и побѣдители сходились вмѣстѣ и общей гурьбою шли—съ веселыми пѣснями—къ деревнѣ, гдѣ до глубокой ночи плясали въ честь утопленницы-Костромы, поминаючи ее пѣснями въ-родѣ:

„Кострома, Кострома,
Ты нарядная была,
Развеселая была,
Ты гульливая была“...

Нѣкоторые народовѣды видятъ въ потопленіи-похоронахъ Костромы тѣнь того отдаленнаго былого, когда кіевляне-язычники бѣжали по теченію Днѣпра-Словутича вслѣдъ за

уплывавшимъ-тонувшимъ дубовымъ идоломъ Перуна—съ кличемъ—„Выдыбай, боже!“ Это сопоставленіе имѣетъ свое непреложное основаніе.

„Празднованіе Костромѣ“ начинаетъ все болѣе и болѣе отходить въ кругъ забытыхъ преданій славяно-русскаго язычества. Но Ярилу—чествуютъ еще и теперь во многихъ мѣстахъ на неоглядно-широкомъ просторѣ народной Руси,—хотя и не съ тою уже яркоцвѣтной пестрядью обрядностей, какъ въ старые годы далекіе. Ярилинъ праздникъ, переходящій, смотря по мѣстности, со дня на день по всей Всесвятской недѣлѣ, но въ большинствѣ случаевъ пріурочивающійся къ ея послѣднему дню—заговѣнью на Петровъ постъ (воскресенью), сопровождается торжками-ярмарками, кулачными боями („стѣнка на стѣнку“, деревня—на деревню), попойками и разгульными игрищами. Тверская, Костромская, Владимірская, Нижегородская, Рязанская, Тамбовская, Симбирская (наприм., село Карлинское Сенгилеевскаго у. и друг.) и Воронежская губерніи помнятъ Ярилинъ разгулъ веселый и въ наши дни. Но ярче всего воспоминаніе о немъ—въ бѣлорусскихъ селахъ-деревняхъ.

Ярило—сродни древне-греческому Эроту и въ то-же время не чуждъ Вакху и Аресу (а также и Фрейру древнихъ германцевъ). И всѣ они имѣютъ не мало общаго со всеславянскимъ Перуномъ. Веселый-разгульный богъ страсти-удали представляется народному воображенію молодымъ красавцемъ—красоты неописанной; въ бѣлой епанчѣ сидитъ онъ посадкой молодецкою на своемъ бѣломъ конѣ; на русыхъ кудряхъ у него возложенъ вѣнокъ цвѣточный, въ лѣвой рукѣ у него горсть ржаныхъ колосьевъ; ноги у Ярилы—босыя. Разъѣзжаетъ онъ по полямъ-нивамъ, рожь роститъ—народу православному на радость на веселую. Онъ—представитель силы могучей, удали богатырской, веселья молодецкаго, страсти молодой-разгарчивой. Все, что̀ передаетъ животворящему лѣту весна,—все это воплощается въ немъ по прихотливой волѣ суевѣрнаго народнаго воображенія. Взглянетъ Ярило на встрѣчнаго—тотъ безъ пива пьянъ, безъ хмѣлю хмѣленъ; встрѣтится взоромъ Яръ-Хмѣль съ дѣвицей-красавицею,—мигомъ ту въ жаръ броситъ: такъ-бы на шею кому и кинулась... А вокругъ него, по всему его пути, по дорогѣ Ярилиной, цвѣты зацвѣтаютъ-цвѣтутъ, что ни шагъ, что ни пядь—все духовитѣй, все ярче-цвѣтистѣе.

„Видно“,—говорилъ въ XVIII-мъ вѣкѣ о своей паствѣ свя-

титель Тихонъ I-й воронежскій [52]),—„что древній нѣкакій былъ идолъ, прозываемый именемъ Ярило, который въ сихъ странахъ за бога почитаемъ былъ, пока еще не было христіанскаго благочестія. А иные праздникъ сей, какъ я отъ здѣшнихъ старыхъ людей слышу, называютъ игрищемъ, которое издавна началось и годъ отъ году умножается, такъ что люди ожидаютъ его, какъ годового торжества. Но, когда онъ приспѣетъ, то убираются празднующіе въ лучшее платье. Начинается онъ въ среду или въ пятокъ по сошествіи Св. Духа и умножается черезъ слѣдующіе дни, а въ понедѣльникъ первый поста сего (Петрова) оканчивается"...

А въ это время въ Воронежѣ разодѣтыя толпы празднаго народа сходились на городскую площадь. Здѣсь рѣшалось, съ общаго согласу: кому ходить въ этомъ году за Ярилу. Выбраннаго замѣстителя веселаго бога стародавней посельской Руси наряжали въ пестрый кафтанъ, обвѣшивали лентами и цвѣточными перевязями, прикрѣпляли къ рукавамъ и поламъ бубенчики-колокольчики, голову накрывали разукрашеннымъ колпакомъ бумажнымъ съ пѣтушиными перьями, а въ руку давали деревянную колотушку—олицетвореніе громовой палицы. Подъ стукъ, крикъ и громъ шествовалъ „Ярило" по площади, пѣлъ, приплясывалъ, увеселяя и безъ того веселую, предававшуюся хмѣльному разгулу, толпу. Длился разгулъ до глубокой ночи, переходя иногда въ разнузданное игрище, вызывавшее со стороны богобоязненныхъ домовитыхъ людей-семьянъ не лишенныя справедливости нареканія.

По другимъ мѣстамъ (въ Малороссіи) „хоронили Ярилу". Для этого клали особо приготовленную куклу, долженствовавшую изображать веселаго Яръ-Хмѣля, въ гробъ-колоду и носили по улицамъ съ причетами заунывными. Бабы подходили ко гробу и „плакали голосомъ". Мужики поднимали куклу, трясли ее и, какъ-будто стараясь разбудить, приговаривали: „Баба не бреше, вона знае, що ій солодче меду!" Бабы продолжали голосить навзрыдъ. Наконецъ, гробъ закапывали въ землю и принимались справлять по похороненномъ веселую тризну разгульную,—словно съ той цѣлью, чтобы поскорѣе забыть о причиненномъ смертью веселаго Яръ-Хмѣля горѣ-гореваньицѣ. Быть можетъ, объ одной изъ подобныхъ

---

[52]) Тихонъ I-й—епископъ, названный такъ въ отличіе отъ II-го (Задонскаго), соименнаго съ нимъ воронежскаго архипастыря, причтеннаго Православной Церковью къ лику святыхъ. Онъ оставилъ по себѣ память неутомимой борьбою противъ народныхъ суевѣрій, оскорблявшихъ своимъ существованіемъ христіанское достоинство.

тризнъ писалъ въ XVI-мъ вѣкѣ игуменъ Памфилъ [53]) въ своемъ псковскомъ посланіи: „...и тогда во святую ту нощъ мало не весь градъ взмятется и возбѣсится. Стучать бубны и гласъ сопѣлій и гудуть струны, женамъ же и дѣвамъ плесканіе и плясаніе. и главамъ ихъ накиваніе. ушамъ ихъ непріязненъ кличь и вопль, всесквернен ныя пѣсни, бѣсовская угодія свершахуся. и хребтомъ ихъ вихляніе, и ногамъ ихъ скаканіе и топтаніе; туже есть мужемъ же и отрокомъ великое прельщеніе и паденіе. но яко на женское и дѣвическое шатаніе блудно имъ възрѣніе, такоже и женамъ мужатымъ беззаконное осквернение и дѣвамъ растлѣніе“... Все это не могло не оскорблять христіанскаго нравственнаго чувства прежде всего потому, что совершалось во дни, на которые, по уставу церковному, возлагалось приготовленіе къ посту, соединенное съ молитвами къ Собору Всѣхъ Святыхъ.

Упоминаемыя въ Несторовой лѣтописи „игрища межю селы“, на которыхъ радимичи [54]), вятичи [55]), сѣверяне [56]) и древляне [57]) „умыкаху жены собѣ“, по времени и обстановкѣ, какъ нельзя болѣе совпадали съ тѣми-же гульбищами въ честь веселаго Ярилы.

Стародавній, освященный вѣками обычай, многіе и многіе годы спустя послѣ исчезновенія изъ памяти народной первобытнаго брака-умыканія, заставлялъ матерей еще не такъ давно (въ концѣ XVIII-го столѣтія) посылать дѣвушекъ „не-

---

[53]) Памфилъ—игуменъ Спасо-Елиазарова монастыря, жившій въ XV-XVI вѣкѣ. Изъ его проповѣдническихъ трудовъ особой извѣстностью пользуется „Посланіе псковскому намѣстнику“ (1505 г.).

[54]) Радимичи—древнее племя славяно-русскаго корня, обитавшее по бассейну р. Сожи (притокъ Днѣпра). Они явились главнымъ ядромъ бѣлорусской народности и до сихъ поръ не утратили въ лицѣ послѣдней своихъ характерныхъ особенностей.

[55]) Вятичи—славянское, болѣе всего родственное ляхамъ (полякамъ), племя, нѣкогда населявшее Калужскую, Тульскую, Орловскую, Московскую и Смоленскую губерніи. Названіе они получили отъ вождя Вятко, выведшаго свой народъ съ Запада на берега Оки. Впослѣдствіи земля вятичей вошла въ составъ Черниговскаго княжества. Въ татарское нашествіе она была совершенно разорена. Имя вятичей, слившихся съ русскими, навсегда исчезло изъ лѣтописей въ XIII-мъ вѣкѣ.

[56]) Сѣверяне—славянское племя, обитавшее по берегамъ рѣкъ Десны и Сулы и еще на зарѣ нашей государственной жизни вошедшее въ великорусскую семью. Главный городъ сѣверянъ—Любечъ.

[57]) Древляне—славяно-русскіе насельники бассейна Припяти, Случи и Тетерева. Они обитали въ лѣсахъ, откуда и получили свое названіе. Еще въ X-мъ вѣкѣ существовали у нихъ свои мелкіе владѣтельные князьки. Какъ только земля древлянская вошла въ составъ Кіевскаго княжества, такъ и самое имя этого племени исчезло, затерявшись въ народной Руси.

вѣститься“ на ярилины игрища. На послѣднихъ допускалось самое свободное обращеніе молодежи обоего пола между собою. Въ память этого еще и теперь въ началѣ Всесвятской недѣли происходитъ мѣстами „смотрѣніе невѣстъ“, для чего послѣднія сходятся въ зеленой рощѣ и проводятъ цѣлый день въ играхъ да пѣсняхъ; а парни ходятъ—высматриваютъ каждый пару себѣ по-сердцу. При этомъ, впрочемъ, все сопровождается полной благопристойностью. Собравшимися затѣвается игра „въ горѣлки“. Высмотрѣвшіе себѣ невѣстъ становятся попарно съ приглянувшимися имъ дѣвицами въ длинный рядъ; одинъ изъ нихъ, которому выпадетъ жребій „горѣть“, выступаетъ впередъ всѣхъ и выкликаетъ: „Горю, горю, пень!“—„Чего ты горишь?“—спрашиваетъ его какая-нибудь дѣвица-красавица.—„Красной дѣвицы хочу!“—„Какой?“—„Тебя, молодой!“ Послѣ этого одна пара бросается въ разныя стороны, стараясь снова схватиться руками, а „горѣвшій“ пытается поймать дѣвушку прежде, чѣмъ она успѣетъ сбѣжаться со стоявшимъ съ нею раньше парнемъ. Если „горящій“ поймаетъ дѣвушку, то становится съ ней въ пару, а оставшійся одинокимъ „горитъ“ вмѣсто него; а не удается поймать,—онъ продолжаетъ гоняться за другими парами.

На Всесвятской (Ярилиной) недѣлѣ, по суевѣрному представленію народа, особенно неотразимую силу имѣютъ всевозможные любовные заговоры — на присуху, на зазнобу да на разгару. „На морѣ на Кіянѣ“,—гласитъ одинъ подобный заговоръ,—„стояла гробница, въ той гробницѣ лежала дѣвица, раба Божія (имя рекъ)! Встань-пробудись, въ цвѣтное платье нарядись, бери кремень и огниво, зажигай свое сердце ретиво по рабѣ Божіемъ (имя рекъ) и дайся по немъ въ тоску и печаль!“ Въ другомъ заговорѣ развивается болѣе широко та-же основная мысль:—„Встану я, рабъ Божій, и выйду въ чистое поле. Навстрѣчу мнѣ Огонь и Полымя и буенъ Вѣтеръ. Встану и поклонюсь имъ низешенько и скажу такъ: гой еси, Огонь и Полымя! Не палите зеленыхъ луговъ а ты, буенъ Вѣтеръ, не раздувай Полымя, а сослужите службу вѣрную, великую: выньте изъ меня тоску тоскучую и сухоту плакучую, понесите ее черезъ боры—не потеряйте, черезъ пороги—не уроните, черезъ море и рѣки—не утопите, а вложите ее въ рабу Божію (имя рекъ)—въ бѣлую грудь, въ ретивое сердце, и въ легкія и въ печень, чтобъ она обо мнѣ, рабѣ Божіемъ, тосковала и горевала денну и ночну и полуночну, въ сладкихъ ѣствахъ бы не заѣдала, въ меду, пивѣ и винѣ не запивала!“ Третій заговоръ заканчивается еще болѣе опредѣленной картиною: „...какъ всякій человѣкъ

тризнъ писалъ въ XVI-мъ вѣкѣ игуменъ Памфилъ [53]) въ своемъ псковскомъ посланіи: „...и тогда во святую ту нощъ мало не весь градъ взмятется и возбѣсится. Стучать бубны и гласъ сопѣлій и гудуть струны, женамъ же и дѣвамъ плесканіе и плясаніе, и главамъ ихъ накиваніе, ушамъ ихъ непріязненъ кличь и вопль, всесквернениыя пѣсни, бѣсовская угодія свершахуся, и хребтомъ ихъ вихляніе, и ногамъ ихъ скаканіе и топтаніе; туже есть мужемъ же и отрокомъ великое прельщеніе и паденіе, но яко на женское и дѣвическое шатаніе блудно имъ възрѣніе, такоже и женамъ мужатымъ беззаконное осквернение и дѣвамъ растлѣніе“... Все это не могло не оскорблять христіанскаго нравственнаго чувства прежде всего потому, что совершалось во дни, на которые, по уставу церковному, возлагалось приготовленіе къ посту, соединенное съ молитвами къ Собору Всѣхъ Святыхъ.

Упоминаемыя въ Несторовой лѣтописи „игрища межю селы“, на которыхъ радимичи [54]), вятичи [55]), сѣверяне [56]) и древляне [57]) „умыкаху жены собѣ“, по времени и обстановкѣ, какъ нельзя болѣе совпадали съ тѣми-же гульбищами въ честь веселаго Ярилы.

Стародавній, освященный вѣками обычай, многіе и многіе годы спустя послѣ исчезновенія изъ памяти народной первобытнаго брака-умыканія, заставлялъ матерей еще не такъ давно (въ концѣ XVIII-го столѣтія) посылать дѣвушекъ „не-

---

[53]) Памфилъ—игуменъ Спасо-Еліазарова монастыря, жившій въ XV-XVI вѣкѣ. Изъ его проповѣдническихъ трудовъ особой извѣстностью пользуется „Посланіе псковскому намѣстнику“ (1505 г.).

[54]) Радимичи—древнее племя славяно-русскаго корня, обитавшее по бассейну р. Сожи (притокъ Днѣпра). Они явились главнымъ ядромъ бѣлорусской народности и до сихъ поръ не утратили въ лицѣ послѣдней своихъ характерныхъ особенностей.

[55]) Вятичи—славянское, болѣе всего родственное ляхамъ (полякамъ), племя, нѣкогда населявшее Калужскую, Тульскую, Орловскую, Московскую и Смоленскую губерніи. Названіе они получили отъ вождя Вятко, выведшаго свой народъ съ Запада на берега Оки. Впослѣдствіи земля вятичей вошла въ составъ Черниговскаго княжества. Въ татарское нашествіе она была совершенно разорена. Имя вятичей, слившихся съ русскими, навсегда исчезло изъ лѣтописей въ XIII-мъ вѣкѣ.

[56]) Сѣверяне—славянское племя, обитавшее по берегамъ рѣкъ Десны и Сулы и еще на зарѣ нашей государственной жизни вошедшее въ великорусскую семью. Главный городъ сѣверянъ—Любечъ.

[57]) Древляне—славяно-русскіе насельники бассейна Припяти, Случи и Тетерева. Они обитали въ лѣсахъ, откуда и получили свое названіе. Еще въ X-мъ вѣкѣ существовали у нихъ свои мелкіе владѣтельные князьки. Какъ только земля древлянская вошла въ составъ Кіевскаго княжества, такъ и самое имя этого племени исчезло, затерявшись въ народной Руси.

вѣститься“ на ярилины игрища. На послѣднихъ допускалось самое свободное обращеніе молодежи обоего пола между собою. Въ память этого еще и теперь въ началѣ Всесвятской недѣли происходитъ мѣстами „смотрѣніе невѣстъ“, для чего послѣднія сходятся въ зеленой рощѣ и проводятъ цѣлый день въ играхъ да пѣсняхъ; а парни ходятъ—высматриваютъ каждый пару себѣ по-сердцу. При этомъ, впрочемъ, все сопровождается полной благопристойностью. Собравшимися затѣвается игра „въ горѣлки“. Высмотрѣвшіе себѣ невѣстъ становятся попарно съ приглянувшимися имъ дѣвицами въ длинный рядъ; одинъ изъ нихъ, которому выпадетъ жребій „горѣть“, выступаетъ впередъ всѣхъ и выкликаетъ: „Горю, горю, пень!“—„Чего ты горишь?“—спрашиваетъ его какая-нибудь дѣвица-красавица.—„Красной дѣвицы хочу!“—„Какой?“—„Тебя, молодой!“ Послѣ этого одна пара бросается въ разныя стороны, стараясь снова схватиться руками, а „горѣвшій“ пытается поймать дѣвушку прежде, чѣмъ она успѣетъ сбѣжаться со стоявшимъ съ нею раньше парнемъ. Если „горящій“ поймаетъ дѣвушку, то становится съ ней въ пару, а оставшійся одинокимъ „горитъ“ вмѣсто него; а не удается поймать,—онъ продолжаетъ гоняться за другими парами.

На Всесвятской (Ярилиной) недѣлѣ, по суевѣрному представленію народа, особенно неотразимую силу имѣютъ всевозможные любовные заговоры — на присуху, на зазнобу да на разгару. „На морѣ на Кіянѣ“,—гласитъ одинъ подобный заговоръ,—„стояла гробница, въ той гробницѣ лежала дѣвица, раба Божія (имя рекъ)! Встань-пробудись, въ цвѣтное платье нарядись, бери кремень и огниво, зажигай свое сердце ретиво по рабѣ Божіемъ (имя рекъ) и дайся по немъ въ тоску и печаль!“ Въ другомъ заговорѣ развивается болѣе широко та-же основная мысль:—„Встану я, рабъ Божій, и выйду въ чистое поле. Навстрѣчу мнѣ Огонь и Полымя и буенъ Вѣтеръ. Встану и поклонюсь имъ низешенько и скажу такъ: гой еси, Огонь и Полымя! Не палите зеленыхъ луговъ а ты, буенъ Вѣтеръ, не раздувай Полымя, а сослужите службу вѣрную, великую: выньте изъ меня тоску тоскучую и сухоту плакучую, понесите ее черезъ боры—не потеряйте, черезъ пороги—не уроните, черезъ море и рѣки—не утопите, а вложите ее въ рабу Божію (имя рекъ)—въ бѣлую грудь, въ ретивое сердце, и въ легкія и въ печень, чтобъ она обо мнѣ, рабѣ Божіемъ, тосковала и горевала денну и ночну и полуночну, въ сладкихъ ѣствахъ бы не заѣдала, въ меду, пивѣ и винѣ не запивала!“ Третій заговоръ заканчивается еще болѣе опредѣленной картиною: „...какъ всякій человѣкъ

не можетъ жить безъ хлѣба, безъ соли, безъ питья, безъ ѣжи, такъ бы не можно жить рабѣ Божіей безъ меня, раба; сколь тошно рыбѣ жить на сухомъ берегу безъ воды студеныя, и сколь тошно младенцу безъ матери, а матери безъ дитяти, столь бы тошно было и ей—рабѣ Божіей (имя рекъ)—безъ меня, раба"...

Лихіе люди, умышляющіе злобу на своего ближняго, „вынимаютъ слѣдъ" у него въ эти дни, и, по преданію, это является особенно дѣйствительнымъ средствомъ. Чтобы избавиться отъ такого чарованія, многіе—по свидѣтельству Н. И. Костомарова—[58]) служатъ молебны съ водосвятіемъ и кропятъ „свячоной" водою въ день Всесвятскаго заговѣнья все, что̀ ихъ окружаетъ.

Есть мѣстности, гдѣ Ярилинъ праздникъ начинается тѣмъ, что дѣвушки—цѣлымъ хороводомъ—выбираютъ изъ себя одну, наряжаютъ ее всю въ цвѣты и сажаютъ на бѣлаго коня. Всѣ участницы игрища одѣты въ праздничные наряды, съ вѣнками изъ полевыхъ цвѣтовъ на головахъ. На Бѣлой Руси поютъ при этомъ пѣсню о богѣ-Ярилѣ и его радошномъ-веселомъ хожденіи по свѣту бѣлому:

---

[58]) Николай Ивановичъ Костомаровъ—русскій историкъ; родился 4-го мая 1817 года въ слободѣ Юрасовкѣ, Острогожскаго у. Воронежской губ., въ помѣщичьей семьѣ. Отецъ его былъ женатъ на крѣпостной крестьянкѣ и былъ убитъ за жестокость своими крѣпостными. Н. И-чъ воспитывался въ воронежскомъ частномъ пансіонѣ, а затѣмъ въ воронежской гимназіи, по окончаніи курса которой (въ 1833 г.) поступилъ въ харьковскій университетъ (на историко филологическій факультетъ). Съ 1835 года онъ—будучи студентомъ—ревностно предался изученію исторіи. По окончаніи университетскаго курса онъ нѣкоторое время провелъ на военной службѣ. Въ 1837-мъ году, выйдя изъ полка, Н. И-чъ—предпринялъ изученіе мѣстнаго, народнаго быта, являвшееся по его убѣжденію—необходимымъ для историка. Изучивъ малороссійскій языкъ, онъ совершилъ цѣлый рядъ экскурсій по краю южно-русскихъ историческихъ преданій. Въ 1838-мъ году онъ выступилъ въ печати—съ малорусскими произведеніями подъ псевдонимомъ Іереміи Галки, подъ которымъ выпустилъ въ 1839—41 гг. двѣ драмы и нѣсколько сборниковъ стихотвореній. Въ 1842-мъ году вышла изъ печати первая историческая работа его—„О значеніи уніи въ Западной Россіи". Эта книга, однако, была изъята изъ обращенія вслѣдствіе слишкомъ страстнаго отношенія автора къ нѣкоторымъ обоюдоострымъ вопросамъ. Въ 1843-мъ году Н. И-чъ представилъ диссертацію „Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи", за которую и получилъ степень магистра. Нѣкоторое время онъ былъ учителемъ въ ровненской и кіевской гимназіяхъ, въ 1846-мъ году избранъ преподавателемъ русской исторіи въ кіевскій университетъ, гдѣ былъ только годъ съ небольшимъ, потому-что былъ вынужденъ переѣхать въ Саратовъ. Здѣсь онъ усердно работалъ надъ монографіей о Богданѣ Хмѣльницкомъ и началъ новый трудъ—о внутреннемъ бытѣ московскаго государства. Послѣ поѣздки заграницу, въ 1856—57 г., онъ (въ Саратовѣ-же) написалъ „Бунтъ Стеньки Разина". Въ

„А гдзѣжъ іонъ нагою—
Тамъ жито капбю,
А гдзѣжъ іонъ ни зырне—
Тамъ ко́ласъ зацвицѣ!..“

И были дни, по словамъ все знающихъ, всякій сказъ помнящихъ старыхъ людей, когда передъ искрящимся вешней цвѣтенью взоромъ Ярилы—бога плодотворенія земного—все цвѣло-колосилось.

Всесвятскія народныя гулянья во многихъ мѣстностяхъ справляются по кладбищенскимъ погостамъ. Проводы Ярилы—одновременно и проводы весны. Въ степныхъ губерніяхъ по селамъ происходитъ на Всесвятское заговѣнье развиваніе вѣнковъ. Деревенская молодежь—женщины, дѣвушки, парни и ребятишки—гурьбой идетъ на рѣку, или на родникъ, со своими завитыми передъ Троицею березовыми вѣнками. Водятся хороводы; затѣмъ—вѣнки бросаются въ воду. Парни достаютъ вѣнки приглянувшихся имъ дѣвушекъ; тѣ отдариваютъ ихъ поцѣлуями. Каждый получившій такой поцѣлуй считается „кумомъ“ поцѣловавшей женщины, а для дѣвушки—„краснымъ молодцемъ“. Всѣ поютъ и пляшутъ въ вѣнкахъ на головѣ, потомъ—возвращаютъ вѣнки, кому какой слѣдуетъ. Женщины немедленно развиваютъ свои, дѣвушки—несутъ домой, гдѣ хранятъ ихъ до будущей „радости“-свадьбы. Въ Симбирской и Костромской губерніяхъ на Всесвятское заговѣнье еще совсѣмъ недавно возили по деревенскимъ улицамъ въ телѣгѣ, запряженной гусемъ-парою лошадей, чучело Ярилы,—причемъ куклу держала на колѣняхъ старуха старая. Вечеромъ „Ярилу“ топили въ рѣкѣ.

1859-мъ году открылись его историческія лекціи въ с-петербургскомъ университетѣ, въ которыхъ выразилась вся самобытность этого замѣчательнаго русскаго историка. Лекціи его пользовались громаднымъ успѣхомъ. Въ это время появился рядъ его очерковъ въ „Современникѣ“, „Русскомъ Словѣ“, а также въ малорусскомъ журналѣ „Основа“. Въ 1862-мъ году Н. И. Костомаровъ вышелъ изъ состава профессоровъ с-петербургскаго университета. Одинъ за другимъ печатались новые историческіе труды его: „Сѣверно-русскія народоправства,“ „Смутное время московскаго государства“, „Послѣдніе годы Рѣчи Посполитой“, „Объ историческомъ значеніи русскаго пѣсеннаго народнаго творчества“. Въ 1872-мъ году онъ началъ свою „Русскую исторію въ жизнеописаніяхъ главнѣйшихъ ея дѣятелей“. Послѣднія работы его помѣщены въ „Вѣстникѣ Европы“ (между прочимъ—романъ-хроника „Кудеяръ“). Работая надъ новыми историческими изслѣдованіями, онъ умеръ 7-го апрѣля 1875 года. Здоровье его было подорвано долгой болѣзнью. Могила Н. И. Костомарова находится на петербургскомъ Волковомъ кладбищѣ.

Въ ярославскомъ Пошехоньи воскресенье „Всѣхъ Святыхъ“ зовется „крапивнымъ заговѣньемъ“. Въ этотъ день парни и дѣвушки красныя, сбирающіяся на гулянку, жгутъ другъ-дружку крапивою. Этотъ обычай является пережиткомъ древнихъ „русальихъ проводовъ“, первоначально пріурочивавшихся къ купальскимъ игрищамъ, а затѣмъ перенесенныхъ на Всесвятское воскресенье.

Почти повсемѣстно сохранился древній обычай—ходить на Всесвятской недѣлѣ—въ-гости къ покойникамъ, на могилки. Здѣсь всѣ угощаются, оставляя чѣмъ угоститься и лежащимъ въ землѣ сырой. Нищая братія собираетъ въ эти семь дней обильную дань отъ щедротъ православныхъ. Мѣстами угощаютъ не однихъ покойниковъ, но и домовыхъ: уходя изъ дому, оставляютъ столъ накрытымъ и уставленнымъ различными кушаньями и напитками. Великое счастье ожидаетъ, по народному повѣрью, того домохозяина, который вернувшись домой, найдетъ все пріѣденнымъ и выпитымъ.

„На Всесвятской недѣлѣ—всякій кусокъ святъ!“—говорятъ въ народѣ.—„Невѣстится невѣста, а будетъ-ли толкъ—Всѣ-Святые скажутъ!“. „Святая недѣля—красная. Всесвятская—пестрая!“. „Всѣ Святые съ однимъ богатыремъ-Ярилой борятся, совладать не смогутъ!“. „Ярило яровыя ярить!“, „На Ярилу торгъ, на торгу-толкъ. Толкъ-то есть, да истолканъ весь!“—приговариваетъ деревня относительно этого времени, не считая возможнымъ обойти его молчаніемъ. „Ярило Купалу кличетъ!“—продолжаетъ сыпать прибаутками краснословъ-народъ:—„Отъ Ярилы до Аграфенъ-купальницъ рукой подать!“. „На Ярилу пьетъ баба, на Купалу опохмѣляется“.

Отойдетъ Всесвятская недѣля—со всѣми ея примѣтами, повѣрьями и обычаями. На дворѣ Петровки стоятъ. Петровъ постъ идетъ.

Есть до сихъ поръ мѣстности, гдѣ—какъ, напримѣръ, въ Рязанской губерніи—наканунѣ заговѣнья на Петровъ постъ нѣсколько дѣвушекъ изображаютъ изъ себя русалокъ, ходя ночью по улицамъ въ однѣхъ рубашкахъ, съ распущенными волосами. Часовъ въ двѣнадцать ночи молодежь вооружается палками, косами, кнутами и бросается на такихъ дѣвушекъ съ крикомъ: „Гони русалокъ!“. Когда „русалкамъ“ удается убѣжать на землю сосѣдней деревни, преслѣдованію-конецъ, и всѣ возвращаются домой, приговаривая: „Ну, теперь прогнали русалокъ!“

Не успѣетъ оглянуться трудящійся съ зорьки до зорьки деревенскій людъ, какъ слышитъ-послышитъ: навстрѣчу Ярилѣ купальскія игры-пѣсни спѣшатъ:

„Ой, Вербо вербо, вербиця,—
Часъ тоби, вербице, розвитця!
Ой, ище ни часъ, ни пора,
Ощежъ моя дивчина молода!
Та нехай до лита, до Ивана,
Шобъ моя дивчина погуляла!
Та нехай до лита, до Петра,
Шобъ моя дивчина пидросла!“...

А слова этой пѣсни еще сливаются съ причетомъ всесвятскаго заговора: „...навстрѣчу мнѣ семь братьевъ, семь Вѣтровъ буйныхъ. Откуда вы, семь братьевъ, семь Вѣтровъ буйныхъ, идете? Куда пошли? - Пошли мы въ чистыя поля, въ широкія раздолья сушить травы скошенныя, лѣса порубленные, земли вспаханныя!—Подите вы, семь Вѣтровъ буйныхъ, соберите тоски тоскучія со вдовъ, съ сиротъ, со малыхъ ребятъ—со всего свѣта бѣлаго, понесите къ красной дѣвицѣ въ ретивое сердце: просѣките булатнымъ топоромъ ретивое ея сердце, посадите въ него тоску тоскучую, сухоту сухотучую, въ ея кровь горячую“...

XXVIII.

Иванъ-Купала.

Послѣ Семика и нераздѣльно связаннаго съ нимъ Троицына дня, главнымъ лѣтнимъ праздникомъ, у насъ въ народѣ является Ивановъ день, называемый въ просторѣчіи „Иваномъ-Купалою“, или прямо „Купалою“ безъ всякаго добавленія къ этому имени. Словами старинной, поющейся и теперь въ Костромской и нѣкоторыхъ другихъ сосѣднихъ губерніяхъ, пѣсни такъ опредѣляется значеніе этого праздника:

„Какъ у насъ въ году три праздника:
Первый праздничекъ—Семикъ честной,
Другой праздникъ—Троицынъ день,
А третій праздникъ—Купальница“.

Этотъ третій праздникъ справляется въ народной Руси два дня—23-го и 24-го іюня, во время лѣтняго солнцестоянія, когда прекрасное свѣтило дня, по достиженіи высшаго проявленія своихъ творческихъ силъ, дѣлаетъ первый поворотъ на зиму. Совпадая съ днемъ св. Агриппины и съ праздникомъ Рождества св. Іоанна Предтечи, Крестителя Господня, ведущія свое начало съ теряющихся въ язычествѣ временъ, купальскія празднества объединяютъ этихъ двухъ святыхъ христіанской церкви. „Купало“ и „Купальница“, это—древніе Перунъ и богиня Заря. По сохранившемуся до нашихъ дней болгарскому повѣрью, солнце (Перунъ) сбивается въ эти дни съ пути-дороги, и ясноокая дѣва Заря является на помощь свѣтлому богу. Она не только ведетъ бога-боговъ по небесной стезѣ, но и каждое утро умываетъ его росою съ напоённыхъ лѣтними бла-

гоуханіями луговъ, пестрѣющихъ къ этому времени всѣми цвѣтами.

Пріуроченныя къ именамъ христіанскихъ святыхъ, эти древнія празднества, являющіяся до сихъ поръ однимъ изъ наиболѣе яркихъ пережитковъ стародавней старины, нѣкогда были общи языческому богословію большинства европейскихъ народовъ. Они были извѣстны даже въ древней Индіи и Персіи, гдѣ приблизительно въ то-же самое время и съ тѣми-же обрядами справлялось празднованіе богу огня. У древнихъ грековъ (елевзинскія [59]) таинства) и римлянъ (праздникъ Весты и Цереры), въ древней Германіи („Sungihte", „Sonnenwende" и, позднѣе, „Iohannisfeuern"), въ Англіи („Midsummersnat"), у бретонцевъ[60]), датчанъ, финновъ,—вездѣ встрѣчается нѣчто подобное. Въ славянскомъ мірѣ, у всѣхъ безъ исключенія народностей, до сихъ поръ купальскія празднества не вполнѣ утратили свое первоначальное значеніе, несмотря на многовѣковую давность христіанства. Изъ области народной вѣры они перешли въ кругъ простонародныхъ суевѣрій, изъ обрядовъ—въ обычаи, въ большинствѣ случаевъ служащіе забавою для сельской молодежи, совершенно безсознательно воскрешающей на своихъ игрищахъ потускнѣлые образы, безвозвратно канувшіе въ рѣку забвенія. Встарину, когда еще свѣжа была въ народѣ память языческаго прошлаго, славяно-русская Церковь вела упорную борьбу съ этими обычаями и играми. Въ настоящее-же время только въ трудахъ, оставленныхъ пытливыми изслѣдователями старины въ наслѣдіе будущему бытописателю человѣчества, и можно найти болѣе или менѣе ясное представленіе о какой-

---

[59]) Елевзинскія таинства—древнегреческія празднества, ежегодно справлявшіяся въ гор. Елевзинѣ (въ Аттикѣ, на сѣверѣ отъ Саламина), именующемся теперь Левзиною. Эти празднества состояли изъ ряда мистическихъ представленій и были учреждены съ цѣлью распространенія въ народныхъ массахъ самыхъ возвышенныхъ религіозныхъ понятій. Имъ придавалось столь важное значеніе, что на тѣ девять дней, когда совершались они, прекращались даже всѣ судебныя дѣла.

[60]) Бретонцы—жители Бретани (сѣверо-западнаго полуострова Франціи). Суровая, сравнительно, природа этой гористой страны отразилась на самомъ характерѣ ея обитателей,—гордыхъ и въ то-же время меланхолично-суевѣрныхъ, но смѣлыхъ, мореходовъ и рыбаковъ. Во времена Юлія Цезаря Бретань входила въ составъ Арморики; въ IV-мъ вѣкѣ она совершенно освободилась отъ римскаго владычества и встала во главѣ мелкихъ арморіканскихъ республикъ, превратившихся сперва въ монархіи, а затѣмъ подчинившихся франкскому королю Хлодвигу (въ 497 г. по Р. Х.). Франки уступили здѣсь господство норманднскимъ герцогамъ; въ 1298-мъ году образовалось особое Бретонское герцогство, слившееся съ Франціей лишь въ 1532-мъ году.

нибудь опредѣленной связи современныхъ простонародныхъ повѣрій съ былой вѣрою.

Въ „Стоглавѣ“ разсказывается о купальскихъ празднествахъ,—что во время нихъ „нѣцыи, пожаръ запаливъ, предскакаху по древнему нѣкоему обычаю“; что „противъ праздника Рождества Великаго Іоанна Предтечи и въ нощи на самый праздникъ, и въ весь день и до нощи мужи и жены и дѣти въ домѣхъ и по улицамъ и ходя и по водамъ, глумы творятъ всякими играми и всякими скомрашествы и пѣсни сатанинскими и плясками, гусльми и иными многими виды и скаредными образованіи. И егда нощь мимо ходитъ, тогда отходятъ къ рощѣ съ великимъ кричаніемъ, аки бѣсни, омываются водою“. Приблизительно въ это-же время лѣтописецъ псковскаго Памфилова монастыря, описывая эти празднества „во градѣхъ и въ селѣхъ“, находилъ возможнымъ сказать, что „въ годину ту сатана красуется, яко же сущіи древніи идолослужителіе бѣсовскій праздникъ сей празднуютъ“. Столѣтіе спустя, одинъ русскій церковный писатель (XVII-го вѣка) называетъ купальскіе огни и перескакиваніе черезъ нихъ „обычаемъ поганымъ въ честь идоловъ“. Но чѣмъ позднѣе, тѣмъ все менѣе и менѣе враждебно относилась и русская письменность къ этому отголоску прошлаго. Въ настоящее время, когда въ нѣдрахъ народа утратилось всякое представленіе о его прежнемъ язычествѣ, никому не мѣшаетъ уже и цвѣтистая пестрядь все болѣе и болѣе сливающихся съ обыденнымъ обиходомъ жизни народныхъ обычаевъ, еле сочащимися ручейками вытекающихъ изъ обмелѣвшаго моря славянскихъ преданій.

Купальскіе обычаи наиболѣе сохранились въ Малороссіи, въ бѣлорусскомъ Полѣсьи, на Волыни и по сосѣдству съ финнами—въ сѣверно-русскихъ губерніяхъ. День Аграфены-купальницы (23-е іюня) посвящается здѣсь собиранію травъ имѣющихъ—по народной лѣкарской наукѣ—цѣлебную силу. Изъ собираемыхъ въ канунъ Купалы травяныхъ зелій пользуются особеннымъ уваженіемъ „купаленка“ (желтоголовъ) и цвѣтокъ „Иванъ-да-Марья“. Съ послѣднимъ связано стародавнее преданіе о купавшихся въ дождевыхъ потокахъ Перунѣ-громовникѣ и богинѣ Зарѣ, звучащее громкимъ откликомъ въ бѣлорусской купальской пѣснѣ:

„Иванъ да Марья
На горѣ купалыся;
Гдзѣ Иванъ купався—
Берегъ колыхався,

Гдѣ Марья купалась—
Трава расцилалась"...

Кромѣ цѣлебныхъ, травъ, въ ночь подъ Ивана-Купалу народное суевѣріе совѣтуетъ искать и такіе „лютые коренья" и „злыя былія", какъ „любистокъ-трава", „перелетъ-трава", „разрывъ-трава". Передъ силою послѣдней не можетъ, по его словамъ, уцѣлѣть ни одинъ замокъ, какъ бы онъ ни былъ крѣпокъ (см. главу „Злыя и добрыя травы").

Въ XVI и XVII столѣтіяхъ собиратели травъ преслѣдовались на-ряду съ закоренѣлыми преступниками. „Егда приходитъ великій праздникъ, день Рождества Предтечева",—писалъ упомянутый выше лѣтописецъ,—„исходятъ мужіе и жены чаровницы по лугамъ и по болотамъ и въ пустыни и въ дубравы, ищущи смертныя травы и привѣтрочрева, отъ травнаго зелія на пагубу человѣкомъ и скотомъ; ту же и дивія коренія копаютъ на потвореніе мужемъ своимъ. Сія вся творятъ дѣйствомъ діаволимъ, съ приговоры сатанинскими". Въ „Разрядныхъ книгахъ" [61]) находятся записи о цѣломъ рядѣ старинныхъ судебныхъ волокитъ о такихъ травовѣдахъ. Достаточно было найти у кого-нибудь невѣдомый корень, или пучокъ неизвѣстной травы, чтобы этому было придано значеніе злого умысла. Пойманныхъ наканунѣ Иванова дня „вѣдуновъ" пытали, били батогами, чтобы „не повадно было бы носить и собирать травы и коренья".

Цвѣтъ папоротника—„златоогненный цвѣтъ" русскихъ сказокъ, съ которымъ связаны повѣрья о кладахъ, зарытыхъ въ лѣсныхъ дебряхъ—до сихъ поръ продолжаетъ привлекать къ себѣ вниманіе „знающихъ травы и всякое слово" людей изъ народа. Ходитъ молва въ послѣднемъ и теперь, что папоротникъ цвѣтетъ только въ Иванову ночь,—точнѣе въ самую полночь подъ Ивановъ день. Немногимъ удается, по отголоску этой молвы стародавней, найти и сорвать дивный „жаръ-цвѣтъ", окруженный зоркой стражею изо всякой лѣсной нечисти, забирающей ко времени его цвѣтенія самую крѣпкую силу надъ суевѣрнымъ людомъ. Это не то, что ку-

---

[61]) Разрядныя книги—оффиціальный журналъ, существовавшій для записей русскихъ служилыхъ людей и всякихъ государственныхъ счетныхъ дѣлъ. Веденіе этихъ книгъ начато въ 1471-мъ и закончено въ 1682-мъ году, когда сожженіемъ ихъ было уничтожено вносившее раздоръ и смуту между боярами мѣстничество. Впервые часть разрядныхъ книгъ (1632-1655 г. г.) была напечатана въ 1769-мъ году въ Москвѣ, подъ заглавіемъ „Повседневныя дворцовыя записки": слѣдомъ за нею появились въ печати и другія, послужившія богатымъ историческимъ матеріаломъ.

паленка (trollius europaeus), медвѣжье ушко (verbascum), или богатенка (erigeron acre), которыя тоже собираютъ въ эту ночь и втыкаютъ въ стѣны дома—на имя каждаго изъ семьи, замѣчая, что, если чей цвѣтокъ скорѣе завянетъ, тому—или умереть въ этотъ годъ, или захворать. Тѣхъ—сколько хочешь можно найти въ лѣсу.

Послѣ Иванова дня—первый покосъ. День вѣдьмъ, оборотней, колдуновъ и проказъ всякой нѣжити, начиная съ домовыхъ и кончая русалками,—этотъ праздникъ является, по вѣрной народной примѣтѣ, также и днемъ полной зрѣлости полевыхъ и лѣсныхъ травъ, расцвѣтающихъ къ этому времени во всей красѣ. Недаромъ и пчела, въ записанной Далемъ пословицѣ, говоритъ мужику: „Корми меня до Ивана, сдѣлаю изъ тебя пана!“ „До Ивана просите, дѣтки, дождя у Бога“,—говоритъ нашъ крестьянинъ,—„а послѣ Ивана я и самъ упрошу!“ „Коли до Ивана просо въ ложку, будетъ и въ ложкѣ!“ и т. д. Все растущее на землѣ—къ Иванову дню „въ полномъ соку“. Потому-то и самый сборъ лѣчебныхъ и всякихъ иныхъ травъ пріуроченъ къ этой порѣ.

Въ древности въ честь бога-огня, бога-солнца, бога-грома зажигались во время лѣтняго солнцеворота праздничные огни. Въ купальскихъ празднествахъ, даже и по дошедшимъ до насъ пережиткамъ ихъ, и теперь самымъ яркимъ по окраскѣ обычаемъ является нѣкогда осуждавшееся наравнѣ съ идолослуженіемъ „возженіе купальскихъ костровъ“. И въ наши дни у всѣхъ славянъ, а равно и у сосѣднихъ съ ними иноплеменныхъ народовъ, въ ночь подъ Ивана-Купалу загораются по полямъ, берегамъ рѣкъ и холмамъ праздничные огни. У карпато-россовъ, какъ нѣкогда у древнихъ германцевъ, для зажженія купальскаго костра пользуются „живымъ огнемъ“, добываемымъ путемъ тренія дерева о дерево. При первой вспышкѣ пламени, собравшаяся толпа молодежи откликается огню веселыми купальскими пѣснями. Дѣвушки, разодѣтыя во все яркое и пестрое и убранныя цвѣтами, и парни, схватившись попарно за руки, перепрыгиваютъ черезъ пламя, связывая съ удачею или неудачею прыжка судьбу своей супружеской жизни. По словамъ нѣкоторыхъ суевѣрныхъ старожиловъ Украйны, прыганье черезъ купальскіе костры избавляетъ отъ сорока злыхъ недуговъ,—между прочимъ, отъ безплодія. Въ настоящее время въ малорусскихъ селахъ эти костры замѣняются кучами жгучей травы—крапивы. Въ польскихъ деревняхъ, смежныхъ съ карпато-русскими, матери сжигаютъ на купальскихъ кострахъ снятыя съ больныхъ дѣтей рубашки, чтобы вмѣстѣ

съ ними сгорѣла и болѣзнь. У чеховъ, литовцевъ и въ нѣкоторыхъ малорусскихъ мѣстностяхъ принято перегонять стада черезъ огни, разложенные въ полѣ на Иванову ночь. Этимъ предполагается охранить скотъ ото всякой заразы. Въ Сербіи пастухи обходятъ со свернутыми изъ бересты свѣточами скотные дворы—съ тою-же цѣлью. Словаки и чехи разбрасываютъ головешки съ Иванова костра по полямъ и огородамъ—„отъ червей". У насъ, въ бѣлорусской округѣ, крестьянки вбиваютъ у околицы въ землю большой колъ, обложенный соломою и кострикою отъ кудели, „въ ночь на Ивана" зажигаютъ его и, подбрасывая въ огонь березовыя вѣтки, припѣваютъ-приговариваютъ слова, относящіяся къ урожаю льна.

Въ нѣкоторыхъ великорусскихъ мѣсностяхъ — напримѣръ, въ Нерехтскомъ уѣздѣ, Костромской губ.,—еще наканунѣ Аграфены-купальницы, деревенскія дѣвушки собираются на бесѣду и толкутъ ячмень въ ступѣ, сопровождая эту несложную работу пѣснями. Утромъ, на Аграфену, изъ этого ячменя варится—въ-складчину—обѣтная каша, съѣдаемая вечеромъ, когда всѣ участвовавшія въ пирушкѣ бѣгутъ на рѣку—въ первый разъ купаться, чтобы затѣмъ, умывшись вечерней росою, идти на „купальскіе огни". Въ другихъ мѣстахъ, передъ зажиганіемъ костровъ, дѣвушки парятся въ банѣ свѣжими вѣниками, связанными вмѣстѣ съ душистыми лѣсными травами. Общее купанье съ пѣснями сохранилось далеко не по всей Руси, но вода (омовеніе) и огонь (очищеніе) до сихъ поръ всюду неразрывно связаны въ купальскихъ празднествахъ какъ и въ стародавніе годы.

Костры, зажигавшіеся когда-то въ честь Перуна-громовника, могутъ служить яркимъ олицетвореніемъ торжества лѣтняго солнца, вмѣстѣ съ дождемъ оплодотворяющаго землю. Въ честь ясноокой и свѣтлокудрой богини весны—Лады—приносилась встарину жертва—бѣлый пѣтухъ. Въ настоящее-же время, на купальскихъ пирушкахъ въ Полѣсьи и на Волыни непремѣнно ѣдятъ бѣлаго пѣтуха. Въ Малороссіи еще въ концѣ шестидесятыхъ и началѣ семидесятыхъ годовъ наблюдался на Ивановъ день любопытный обычай, имѣющій связь съ чествованіемъ Лады. Деревенская молодежь наряжала соломенную куклу, убирала ее „плахтами", „монистами" и цвѣточными вѣнками и приносила на мѣсто купальскаго игрища. Здѣсь стояла уже срубленная въ сосѣднемъ лѣсу верба или „тополя", обвѣшенныя лентами. Дерево называлось „мареною" (Морана—богиня смерти); подъ него ставилась принесенная кукла, а возлѣ нея—столъ съ яствами и питіями, въ-складчину припасенными для праздника. Зажигался ко-

стеръ; черезъ огонь начинали прыгать попарно, держа въ рукахъ „Ладу“. На разсвѣтѣ и эту-послѣднюю, и дерево-марену топили въ рѣкѣ, срывая съ нихъ всѣ наряды-уборы.

„Ходыли дивóчки
Коло Мариночки,
Коло мово Купала.
Купався Иванъ,
Та въ воду упавъ.
Купала на Ивана!“

Пѣлась, повторялась безчисленное количество разъ эта старинная пѣсня, пріуроченная къ описанному обычаю еще давними пращурами игравшихъ ее „дивочекъ“ и „парубковъ“. Нѣчто въ-родѣ этого обычая сохранилось въ Богеміи, гдѣ—при первой вспышкѣ костра—парни бросаются къ разубранной цвѣтами елкѣ и срываютъ съ нея вѣнки. Въ Полѣсьи, гдѣ дольше всѣхъ уживается непокорная суевѣрная память былого, „Ладу“ изображаетъ самая красивая дѣвушка въ деревнѣ. Ее съ ногъ до головы опутываютъ вѣнками и перевязями изъ цвѣтовъ и ведутъ въ лѣсъ. „Дзѣвко-Купало“, не имѣющая на себѣ никакого наряда, кромѣ выроценнаго матерью-природою, раздаетъ, съ завязанными глазами, подругамъ вѣнки въ кругу веселаго хоровода. Кому какой вѣнокъ достанется—такова и судьба того...

Въ стародавніе годы въ купальскія игрища входили совершаемыя и теперь по инымъ мѣстамъ на Всесвятское заговѣнье проводы русалокъ. Русалки, по древнему вѣрованію славянъ, души умершихъ. Весною,—гласитъ сѣдая старина,—оживаютъ онѣ и бродятъ по землѣ. Воды слыли у славянъ-язычниковъ ближайшимъ путемъ-дорогою въ подземныя нѣдра. Русалки („мавки“), живущія, по народному повѣрью, въ рѣкахъ и озерахъ, съ наступленіемъ весеннихъ праздниковъ вылѣзаютъ изъ воды и виснутъ по деревьямъ. Придетъ на свѣтлорусскій просторъ Иванъ-Купала, и—нѣтъ имъ болѣе мѣста на землѣ. Уходить приспѣваетъ пора имъ всѣмъ опять въ свое подводное царство.

„Русалочки-земляночки
На дубъ лѣзли,
Кору грызли,
Свалилися, забилися.“—

— поется въ одной отзывающейся стародавней стариною, дошедшей до нашихъ дней, купальской пѣснѣ.

Нѣкоторые изслѣдователи видятъ въ „Купалѣ“ олицетворе-

ніе совершенно особаго древне-языческаго божества нашихъ предковъ, а не того-же бога-громовника—Перуна, являвшагося на землю въ знойные лѣтніе дни въ образѣ щедраго и милостиваго путника, осчастливливавшаго всѣхъ попадавшихся на пути. Но суть дѣла не въ этомъ, а въ самыхъ обычаяхъ, въ которыхъ проявляется этотъ яркій образъ народнаго воображенія, сохраняющій на себѣ отпечатокъ древности.

„Купався Иванъ,
Та въ воду упавъ...
Купала на Ивана".

Въ этихъ словахъ пѣсни очевидна связь пѣсенной „выдумки" съ вѣрнымъ дѣйствительности сказаніемъ о тѣхъ временахъ, когда на Руси—поверженные во прахъ первыми лучами христіанства—идолы-боги были сброшены со своихъ холмовъ въ воду и плыли внизъ по теченію, добиваемые шестами и баграми, для вящшаго позора своего безсилія передъ всемогущимъ Свѣтомъ истинной вѣры.

Судя по новѣйшимъ изслѣдованіямъ крестьянскаго быта, купальскія празднества постепенно вымираютъ въ великорусскихъ губерніяхъ. Мѣстами отголосокъ ихъ сохранился только въ однихъ словахъ пѣсенъ, которымъ не придается особеннаго значенія. О какомъ-либо зажиганіи Ивановыхъ огней—здѣсь никто и не помнитъ. По старой памяти, водятъ еще только поздніе хороводы, до самой „бѣлой зари" въ Иванову ночь. Старики, тоже успѣвшіе забыть о шумныхъ празднованіяхъ Купалы и Купальницы, поминаютъ виновника этихъ празднествъ только въ своихъ примѣтахъ, что—„сильная роса на Ивана-Купалу—къ урожаю огурцовъ", или: „на Иванову ночь звѣздно—много грибовъ" и т. п.

Въ окрестностяхъ Петербурга довольно шумно справляютъ „Ивана-Купалу" мѣстные нѣмцы-колонисты. Ихъ „Куллербергъ", сопровождающійся зажиганіемъ костровъ и пирушками, носитъ на себѣ тотъ-же отпечатокъ языческой старины, какъ и сохранившіяся въ глуши бѣлорусскаго Полѣсья и въ нашихъ малороссійскихъ губерніяхъ купальскія празднества.

XXIX.

О Петровѣ днѣ.

Послѣдній іюньскій праздникъ посвященъ чествованію святой памяти апостоловъ Христовыхъ—Петра [62]) и Павла [63]). Онъ слыветъ въ народѣ за „Петровъ день", и въ этомъ названіи сливается въ народномъ представленіи память объ обоихъ чествуемыхъ святыхъ. Есть мѣстности, гдѣ этотъ предпослѣдній день іюня-розанцвѣта зовется — „Петры-рыболовы".

Апостолъ Петръ—одинъ изъ наиболѣе чтимыхъ на Руси святыхъ угодниковъ Божіихъ. Имя его зачастую встрѣчается въ простонародныхъ сказаніяхъ, вплетается въ пестроцвѣтную вязь пословицъ-поговорокъ, раздается и изъ вѣщихъ устъ

---

[62]) Св. Петръ—апостолъ и ближайшій ученикъ Христа, родомъ изъ Галилеи, бывшій рыбарь. Въ 50-мъ году по Р. Хр. онъ присутствовалъ на апостольскомъ соборѣ въ Іерусалимѣ, въ 69-мъ былъ распятъ въ Римѣ. Ему принадлежатъ два окружныхъ соборныхъ посланія, въ которыхъ онъ поучалъ новорожденную Церковь Христову обрядовой сторонѣ христіанскаго благочестія. Апокрифическая литература приписываетъ, кромѣ того, ему еще „Евангеліе" и „Откровеніе"; первое—во II-мъ вѣкѣ—даже было принято въ Богослуженіи.

[63]) Св. Павелъ—первоначально именовавшійся Савломъ, сначала гонитель, а затѣмъ ревностный апостолъ, Христа, величайшій христіанскій проповѣдникъ въ I-мъ вѣкѣ. Онъ былъ сыномъ богатыхъ іудеевъ, строгихъ ревнителей фарисейства, получилъ образованіе въ знаменитой школѣ Гамаліила. Послѣ чуднаго обращенія его ко Христу (Дѣян. Апост.: IX, XX, XXVI.) и до самой мученической кончины своей въ Римѣ (во времена Нерона, въ одинъ день съ апостоломъ Петромъ) не смолкало его вдохновенное слово о Распятомъ Сынѣ Божіемъ, раздаваясь отъ сердца Азіи до Рима и отсюда до береговъ Атлантическаго океана—Испаніи и Британіи, куда заходилъ онъ въ своихъ миссіонерскихъ трудахъ. Перу его принадлежатъ 14 посланій апостольскихъ, въ которыхъ онъ училъ о внутреннемъ (духовномъ) строеніи вѣры Христовой.

боголюбивыхъ каликъ-перехожихъ, хранителей-сказателей духовныхъ народныхъ стиховъ. На „ключаря-апостола“, которому, по стародавнему преданію, переданъ Господомъ Силъ ключъ отъ Царства Небеснаго, перешли, по прихоти суевѣрнаго воображенія, многія черты древнеславянскаго Перуна—громовника, низводителя дождей, растителя злаковъ и творца урожаевъ. Онъ считается однимъ изъ самыхъ надежныхъ—послѣ „Николы-Милосливаго“—покровителей засѣянныхъ хлѣбомъ („даромъ Божіимъ“) полей. Въ одномъ изъ „Памятниковъ отреченной русской литературы“ разсказывается, напримѣръ, что шелъ апостолъ Петръ путемъ-дорогою. Притомился-усталъ, проголодался святой путникъ. Пришлось проходить ему мимо нивы. И увидѣли пресвѣтлыя очи его человѣка, пашущаго на волахъ; и обратился къ нему апостолъ, „и проси̑ша хлѣба“. Вскинулъ глазами на проспвшаго пахарь-оратаюшко, остановилъ воловъ и побѣжалъ за хлѣбомъ къ своему селенью. Умилился душою святой путникъ и „безъ него взоравше ниву и насѣявше, и прiйде съ хлѣбы и обрѣте пшеницу зрѣлу“.

По народному сказанію, въ концѣ красной весны и началѣ лѣта знойнаго—въ грозо́вую пору—идетъ на небесахъ постройка „чертога ново-райскаго“. Топоры (молніи) сами—безъ плотниковъ—рубятъ сѣны зданія нерукотворнаго, ударяя по тучамъ, громоздящимся каменными горами толкучими; разступается подъ огненными топорами „облаченъ-горючъ камень“, отверзаются окна-двери рубленыя. „Зъ-за той ми горы, зъза высокой, слышны ми тонойкій голосъ, тонойкій голосъ, топоры дзвенятъ, топоры дзвенятъ, каменья тешутъ, каменья тешутъ, церковь муруютъ, церковь муруютъ, во трои двери, во трои двери—во три облаки“,—поется въ старинной червоно-русской пѣснѣ:

„У іедныхъ дверехъ иде самъ Господь,
У другихъ дверехъ Матенка Божя,
У третихъ дверехъ святый Петро.
Передъ милымъ Богомъ органы граютъ,
Передъ святымъ Петромъ свѣчи горѣютъ,
Передъ Матенковъ Божовъ ружа проквитатъ,
А зъ той ружи (розы) пташокъ выникатъ:
Не іе то пташокъ, самъ милый Господь“...

„Милый Господь“ олицетворяетъ въ этой пѣснѣ нашихъ прикарпатскихъ братьевъ—солнце. Пречистая Дѣва заступаетъ здѣсь мѣсто древнеязыческой Лады. Петръ-апостолъ поставленъ взамѣнъ громовника-Перуна. Горящія свѣчи—

молніи; гудящіе органы—громовые раскаты; расцвѣтающая роза—утренняя зорька ясная, изъ златоогненнаго цвѣта которой и вылетаетъ на безпредѣльный небесный просторъ жаръ-птица—солнце.

Въ другомъ пѣсенномъ сказаніи св. Петръ является спутникомъ Господа, шествующаго за золотымъ плугомъ „въ полѣ, полѣ, въ чистейкомъ полѣ.“ Ходитъ за Богомъ пахарей ключарь-апостолъ, пóходя — коня погоняетъ. А „Матенка Божя“ о-бокъ съ ними поспѣшаетъ, сѣмена носитъ, сѣмена носитъ, своего Сына проситъ:

„Зароди, Божейку, яру пшеничейку,
Яру пшеничейку и ярейке житце!
Буде тамъ стебевце саме тростове,
Будутъ колосойки—якъ былинойки,
Будутъ копойки—якъ звѣздойки,
Будутъ стогойки—якъ горойки,
Збврутся возойки—якъ чорны хмаройки!“

Въ Сербіи и въ настоящее время въ деревенской глуши представляютъ апостола Петра разъѣзжающимъ на златорогомъ оленѣ по небесному полю надъ колосящимися земными нивами. Съ этимъ повѣрьемъ находится въ непосредственной родственной связи занесенное въ снегиревскую лѣтопись русскихъ простонародныхъ праздниковъ древнее преданіе, гласящее о томъ, что на „мірской“ Петровъ праздникъ-пиръ, устраивавшійся деревенскимъ людомъ за Тотьмой, на рѣкѣ Вагѣ, выбѣгалъ изъ лѣсной дремучей пущи олень, посылавшійся „праздновавшимъ Петру“ мірянамъ въ даръ отъ „апостола-праздника.“ Оленя, останавливавшагося передъ заранѣе приготовленными для его варки котлами, убивали-свѣжевали, на части разнимали, варили въ котлахъ—на угощенье люду честнóму. Но это, по, словамъ преданія, продолжалось-велось только до той поры, покуда жилъ народъ праведно-честно, по завѣту отцовъ-дѣдовъ-прадѣдовъ. А потомъ—пошелъ пò людямъ развратъ-грѣхъ, ложь опутала міръ-народъ сѣтями-тенетами, и пересталъ апостолъ Петръ высылать свое праздничное угощенье даже и чествовавшимъ его святой день людямъ... Пришлось имъ понапрасну ждать-поджидать посыла и если колоть быка круторогаго, такъ изъ своего стада. Такъ сначала и велось; шли-проходили годы, за другими годами вослѣдъ уплывали; а тамъ и совсѣмъ перестала деревеньщина-посельщина „справлять Петровщину“ всѣмъ міромъ,—началъ каждый у себя во дому праздновать наособицу.

Красно-солнышко играетъ, по народному слову крылатому и на Петровъ день—какъ на Свѣтло-Христово-Воскресенье. Ходитъ, во многихъ мѣстахъ, поутру—ранымъ-ранехонько, „караулить солнце“ заигравшаяся далеко за-полночь въ хороводахъ деревенская молодежь—дѣвки да парни, да ребята малые. Всплываетъ изъ-за горъ-горы пресвѣтлый ликъ свѣтила небеснаго и—многіе увѣряютъ—принимается играть, разными цвѣтами переливать лучи свои горячіе: то краснымъ, то впрòсинь-впрóголубь, а то и впрàзелень. Радуются собравшіеся караульщики веселые, съ пѣснями по дворамъ-домамъ расходятся, Лàду вспоминаютъ, Петровъ день величаютъ. Этими пѣснями починаются „гулянки-Петровки“, петровскіе хороводы, вплоть до перваго Спаса идущіе, въ страдную пору молодому народу отдыхъ, и безъ того короткій, укорачивающіе.

На Петровъ день и до сихъ поръ гуляетъ-отдыхаетъ сельскій рабочій, отъ трудового поту не просыхающій, людъ. Встарину бывывали „обѣтныя угощенья“, принашивали приносы петровскіе зятьямъ тещи, на угощенье напрашивались; кумовья крестниковъ спровѣдывали, съ пирогами со пшеничными прихаживали; сватья другъ-друга угощали, „отводные столы“ правили. Дѣвушки красныя съ парнями на качеляхъ и теперь, что и въ старопрежнюю пору, утѣшаются на Петра-Павла съ самыхъ послѣ-обѣденъ до глубокой ночи. Такъ и говорятъ въ народѣ: „Какъ ни сторонись, дѣвка, а на петровскихъ качеляхъ съ паренькòмъ покачаешься!“. Петровы качели—дѣвичье веселье!“ „На Петровъ день качались, къ Покрову свадьбу-радость справили!“ и т. д. На этотъ обычай ополчались составители „Стоглава“, говоря, что: „о праздницѣ св. верховныхъ апостолъ Петра и Павла своею сѣтію діаволъ запинаетъ чрезъ колыски и качели; на нихъ же бо колыщушеся, приключается внезапу упустити на землю, убиватися и злѣ, безъ покаянія, душу свою испущати“...

Олеарій—посланецъ голштинскій, оставившій описаніе своего путешествія въ Московію XVI-го столѣтія, распространяется о петровскомъ гуляньѣ въ слѣдующихъ словахъ: „У всѣхъ русскихъ и москвитянъ отправляется около сего праздника странное игрище. Хотя они строго и безвыходно держатъ женъ своихъ въ домахъ, такъ что весьма рѣдко пускаютъ ихъ въ церковь или въ-гости; но въ нѣкоторые праздники позволяютъ женамъ и дочерямъ своимъ ходить на пріятные луга: тамъ онѣ качаются на круглыхъ качеляхъ, поютъ особенныя пѣсни и, схватясь одна съ другою руками, водятъ круги, или пляшутъ съ рукоплесканіемъ и притопываніемъ ногами“...

Были встарину мѣстности, гдѣ сходился честной людъ въ Петровъ день на три ключа-родника умываться „петровой водицею“ и угощаться при этомъ случаѣ всякими питіями хмѣльными. Это питіе-умыванье сопровождалось пѣснями, плясками и всякими играми веселыми. Въ Кашинѣ и нѣкоторыхъ другихъ городахъ, долго сохранявшихъ старинные обычаи, заведено было устраивать нѣкоторое подобіе святочнаго ряженья. Игрище собиралось на берегу ручья, гдѣ въ древнія времена стоялъ идолъ какого-то (вѣрнѣе всего—Ярилы) языческаго бога. Собравшіеся парни гуляли посреди дѣвушекъ, закрывъ себѣ лица платками. Дѣвушки должны были угадывать парней; угадавшей предвѣщалось въ скоромъ времени сыграть свою свадьбу.

Съ XVI-го столѣтія вошло въ обычай заводить по богатымъ селамъ петровскіе торги. А еще гораздо раньше велось въ Петровъ день „ставиться на судъ по зазывнымъ граматамъ“. Былъ этотъ праздникъ срокомъ не только судовъ, но и взносовъ дани-пошлины. „Тянули“ объ эту урочную пору свою Петровскую дань съ люда православнаго и попы. Въ деревенскомъ захолустьѣ и теперь еще разъѣзжаютъ поповскія телѣги, собирающія положоное, вѣками установленное подаяніе.

Народныя слова крылатыя плетутъ свой пестрый узоръ о Петровѣ днѣ. На него—второй, поздній, покосъ, по замѣчанію сельскохозяйственнаго опыта, сложившагося въ южной-полуденной полосѣ матушки Руси. „Съ Петрова дня—красное лѣто, зеленый покосъ!“,—гласитъ опытъ русака-сѣверянина. „Женское лѣто—до Петра, съ Петрова дня—страдная пора!“ — приговариваетъ краснословъ-народъ, сыпляцій, какъ изъ полнаго короба, всякимъ прибауткомъ—то смѣшливымъ, то раздумчивымъ: „Далеко кулику до Петрова дня!“, „Худое порося и въ Петровки зябнетъ; дворянская кровь и въ Петровъ день день мерзнетъ!“, „Въ Петровъ день барашка въ лобъ (можно разговѣться)!“, „Съ Петрова дня зарница хлѣбъ заритъ!“, „Петро-Павелъ—жару прибавилъ!“, „Утѣшили бабу петровскіе жары голодухой!“, „Петровка—голодовка, Спасовка—лакомка!“ и т. д.

По примѣтѣ знающихъ всякое крылатое вѣщее слово старыхъ людей, надо къ Петрову дню наладить косы и серпы: съ Петрова дня—пожня, покосъ. „Коли дождь на Петра—сѣнокосъ мокрый!“, „На Петровъ день дождь—сѣно какъ хвощъ (жесткое, на кормъ не очень спорое), зато — урожай не худой; два дождя—хорошій, три дождя—богатый!“, „Если просо на Петровъ день въ ложку - будетъ и на ложку!“—приговариваетъ деревенская Русь.

Рыболовство—апостольскій трудъ, по словамъ православнаго люда, свѣдущаго въ Священномъ Писаніи. Потому-то всѣ рыболовы и считаютъ апостола Петра за своего покровителя и наособицу передъ всѣми другими праздниками чтятъ его память. Къ Петрову дню пріурочивается большая часть сдѣлокъ, заключаемыхъ между ловцами и рыбопромышленниками, раздающими ловцамъ свои воды мелкими участками—отдѣльно на каждую рыболовную пору, съ обязательствомъ ставить рыбу на исады, или на ватаги, по извѣстнымъ цѣнамъ. Петровымъ днемъ заканчивается весенняя, начинается лѣтняя, пора рыболовная. Въ этотъ день завершаются разсчеты по весеннему лову и заключаются новыя сдѣлки на лѣто. На Петра-Павла устанавливается новая плата за воды (съ лодки, или съ сѣти) и производится расцѣнка живорыбнаго товара, который ловцы обязаны сдать.

Ловецкій праздникъ въ рыбныхъ мѣстахъ начинается, по благочестивому обычаю старины, крестнымъ ходомъ на рыболовныя угодья,—куда съѣжаются ловцы со всѣхъ ближнихъ становъ и ватагъ. Послѣ молебна промышленники предлагаютъ своимъ гостямъ угощеніе, а потомъ начинаютъ пить „могарычи“ по новымъ сдѣлкамъ.

Какъ ни паритъ послѣ Петрова дня, какъ ни томитъ лѣтній зной трудящихся, обливающихся въ поляхъ да въ лугахъ потомъ обильнымъ пахаря, косца и жницу,—а недаромъ идетъ къ нашимъ днямъ изъ далекой дали вѣковъ народное слово: „Прошли Петровки—опало (съ деревьевъ) по листу, пройдетъ Илья (20-е іюля)—опасетъ и два!“. Замолкаетъ къ Петрову дню всѣ птаство пѣвучее: соловей—и тотъ поетъ только до этой завѣтной поры. „На Петровъ день и кукушка подавится ватрушкой!“—говорятъ бабы-хозяйки, напекая изъ оскребышевъ муки,—у кого она къ этому времени дотянется,—ватрушекъ творожныхъ съ яицами—ребятамъ со стариками на утѣху. По инымъ мѣстамъ ходятъ дѣвушки красныя въ лѣсъ на Петровъ день—„крестить кукушку“. Когда упадетъ 29-й іюньскій день на постную пятницу съ середой-постительницей,—говоритъ красное народное слово, что „мясоѣдъ съ постомъ побратался“.

Среди народныхъ стиховъ духовныхъ встрѣчается слѣдующій пѣсенный сказъ, поющійся убогими пѣвцами и въ наши дни: „Во пустынѣ пустынникъ спасался, не владѣлъ ни руками, ни ногами. Во сняхъ ему Пятница явилась, крестомъ его оградила, свѣщой его, свѣта, освѣтила“...—начинается онъ. Далѣе „Пятница“ уговариваетъ „пустынника“ встать-пойдти „по народу—по христіанамъ“ на проповѣдническій по-

двигъ, а затѣмъ—осѣненный дуновеніемъ таинственнаго стихъ переходитъ въ болѣе опредѣленный сказъ:

„Ты вставай, Петръ и Павелъ,
Ты бери ключи золотые,
Отмыкайте райскія двери,
Запущайте живыхъ и мертвыхъ!
Только трехъ душей не запущайте:
Три души тяжко согрѣшили:—
Первая душа въ утробѣ младенца затушила;
Вторая душа тяжко согрѣшила—
Отца-матерь..... бранила;
Третія душа тяжко согрѣшила—
Изъ хлѣба-соли спорину вымала.
Первой душѣ нѣтъ прощенья,
Во святомъ раю не бывати,
Самого въ очи Христа не видати;
Второй душѣ нѣтъ прощенья,
Во святомъ раю не бывати,
Самого въ очи Христа не видати!
Третей душѣ нѣтъ прощенья,
Во святомъ раю не бывати,
Самого въ очи Христа не видати!“...

Воспѣваютъ впрòголосъ калики-перехожіе эту пѣснь стихòвную, а на Русь іюльская страдная пора черезъ прясла глядитъ. Остается іюлю — лѣтней макушкѣ—всего черезъ одинъ іюньскій денекъ перешагнуть.

XXX.

Іюль—макушка лѣта.

Іюль-мѣсяцъ—пора грозовая; потому-то и величали его не только „сѣнозорникомъ“, но и „грозникóмъ“, отдаленные предки русскаго народа-пахаря. По сосѣдству, у поляковъ, слылъ онъ за „липецъ“—отъ обильнаго цвѣтенія липы въ этомъ краю. У другихъ нашихъ сородичей именовался онъ „червенцемъ“ и „сѣченемъ“ (у чеховъ и словаковъ), „серпаномъ“ и „седмникомъ“ (у вендовъ), „шарпаномъ“ (у иллирійскихъ славянъ) и т. д. На стародавнюю Русь приходилъ грозникъ-сѣнозорникъ пятымъ въ году, а потомъ—позднѣе—одиннадцатымъ; съ 1700-го года было повелѣно-указано ему жить на свѣтлорусскомъ народномъ просторѣ послѣ шести другихъ старшихъ братьевъ-мѣсяцевъ. Краснословъ-народъ,—что ни день, что ни часъ, припадающій къ Матери-Сырой-Землѣ,—прибавляетъ къ его именамъ еще три другихъ: „страдникъ“, „макушка лѣта“ да „мѣсяцъ-прибериха“.

Придетъ мѣсяцъ-прибериха, все приберетъ; но—по словамъ народа—„Въ іюлѣ на дворѣ пусто, да на́ полѣ густо!“, „Не топоръ мужика кормитъ, а іюльская работа!“. Отъ работы въ этомъ страдномъ мѣсяцѣ и впрямь—отбою нѣтъ: „Сбилъ сѣнозорникъ-іюль у мужика спѣсь, некогда на полати лѣзть!“, „Плясала-бы баба, да макушка лѣта настала!“, „Всѣмъ лѣто пригожó, да макушкѣ тяжело!“—приговариваетъ тороватая на мѣткое словцо посельская Русь, умывающаяся потомъ въ полѣ, на страдномъ жнитвѣ. „Макушка лѣта устали не знаетъ!“, „Въ іюлѣ хоть раздѣньси, а все легче не будетъ!“, „Знать, мужикъ—доможилъ, что на сѣнозорникъ не спитъ!“—замѣчаетъ она о своемъ іюльскомъ недосугѣ, но эти старо-

давнія замѣчанія приходятъ трудовому деревенскому люду въ голову только въ тѣ благодатные годы, когда не подводитъ брюха съ голоду, да и въ полѣ впрямь „густо“, а не—„колосъ отъ колосу—не слыхать человѣчьяго голосу“, какъ случается объ иную пору лихолѣтнюю, грозящую въ іюль-грозникъ грозною бѣдой неминучею всѣмъ кормящимся на землѣ отъ щедротъ земли

Справитъ деревня, придерживающаяся переживающихъ вѣка обычаевъ поминки по веснѣ (30-го іюня), слѣдомъ за ними приходится ей „лѣтнія Кузьминки“ встрѣчать. 1-е іюля—день, посвященный Церковью памяти святыхъ мучениковъ Космы и Даміана. „Косма-Даміанъ, свѣтла похвала римскому граду тѣхъ даровала“,—поетъ народная Русь въ духовномъ стихѣ каликъ-перехожихъ и продолжаетъ, переходя къ болѣе опредѣленному взгляду на починающихъ этотъ мѣсяцъ святыхъ безсребренниковъ:

„Іюль добрится,
Свѣтло красится,
Сихъ заря возсіяла...“

Въ этотъ день сельскохозяйственный опытъ совѣтуетъ огородникамъ—въ средней полосѣ Россіи—начинать полотье огородовъ; съ этого-же времени повсемѣстно можно вырывать корневые овощи изъ грядъ на продажу. Въ деревняхъ Тульской и смежныхъ съ нею губерній съ лѣтнихъ Кузьминокъ выходятъ на покосъ. По степной округѣ знающіе дѣло люди принимаются съ 1-го іюля искать-собирать травы, идущія на краску.

Черезъ день послѣ лѣтнихъ Кузьминокъ — „Мокей съ Демидомъ въ полѣ стоятъ, къ Марѳѣ (4-му іюля) навстрѣчу вышли“. Къ этому времени озимые хлѣба должны быть въ полномъ наливѣ. „На Марѳу озими въ наливахъ дошли, батюшка-овесъ до половины уросъ; овесъ въ кафтанѣ, а на гречѣ—и рубахи нѣтъ“. За Марѳинымъ примѣтливымъ днемъ Аѳанасьевъ приходитъ на Святую Русь. „Аѳанасьевъ день—мѣсяцевъ праздникъ“: на него ввечеру смотритъ сельскій людъ, какъ ясенъ-мѣсяцъ заигрыши свои въ поляхъ небесныхъ ладитъ. Удастся мѣсяцева игра—къ хорошему урожаю, къ ладной уборкѣ хлѣба. Есть такіе дальнозоркіе люди, что завѣряютъ-клянутся, будто примѣчали, какъ предсказывающій хлѣбородную пору мѣсяцъ—при восходѣ своемъ—перебѣгаетъ съ мѣста на мѣсто, играючи семью цвѣтами, съ цвѣта на-цвѣтъ переливаяся. „Въ шестый день (іюля) Сисой лицемъ свѣтлѣетъ, въ седьмый день Ѳома, якъ

снѣгъ, бѣлѣетъ“,—по выраженію южнорусскаго простонароднаго мѣсяцеслова, записаннаго Безсоновымъ. Если къ 8-му іюля—къ „лѣтнимъ Прокопамъ“—примется поспѣвать черника-ягода, то надо, благословясь, и о жнитвѣ думать: время-пора. Дошло отголоскомъ сѣдой старины до нашихъ дней и такое преданіе, что въ этотъ день „является сама собою камаха, краска червецъ“. Встарину говаривали въ народѣ, что „камаха“ заносится вѣтрами въ наши поля съ теплыхъ странъ, свивается въ клубокъ и первому счастливцу, который ей встрѣтится, подкатывается подъ ноги. Кто будетъ такимъ счастливцемъ въ этотъ день,—быть во всемъ у того полному благополучію круглый годъ. „Тому камаха въ руки дается, кому на роду написано!“—гласитъ умудренное жизнью вѣщее слово старыхъ людей. „За Прокопами—Панкратія“—9-й день страднаго-грозоваго мѣсяца. Сутки спустя премудрыя княгини Ольги, Ольгинъ день.

12-го іюля чествуется память св. мученика Прокла: „Проклы—большія росы“. Къ этому дню слѣдуетъ, по старинной примѣтѣ, досушивать запоздалое сѣно „грядушками“: проклова роса—сѣногнойная. Но это не единственное ея свойство: вредная въ сельскохозяйственномъ обиходѣ, она, по наблюденіямъ старыхъ лѣчеекъ-знахарокъ, пользительна „для очнаго врачеванія“: отгоняется ею, изводится „очной призоръ“. Совѣтуютъ сберегать эту цѣлебную росу на случай нáпуска-сглаза: съ пришептомъ-заговоромъ особымъ, поминаючи Прокла-мученика, проклинаютъ знахари нечистую злую силу, отгоняя отъ опрыскиваемыхъ рóсной влагою всякое лихое навожденіе діавольское. Вслѣдъ за „Проклами“—„Степанъ-Савваитъ ржицѣ-матушкѣ къ землѣ клониться велитъ“ (13-го іюля); 14-го—„Акила славный благопобѣдникъ, Кирикъ и Улита—двоица свята“. Объ Улитѣ іюльской и присловье особое въ давнія времена сложилось въ народной Руси: „Улита ѣдетъ, да когда-то будетъ!“... Переломъ іюль-мѣсяца (15-е число)—„Владиміръ, Красное-Солнышко“. На этотъ день, посвященный воспѣтому въ цѣломъ рядѣ народныхъ былинъ (кіевскихъ), святому равноапостольному князю, просвѣтившему древнеязыческую Русь немеркнущимъ свѣтомъ вѣры Христовой, и солнышко—по народному слову—краснѣе свѣтитъ, чѣмъ во всякую иную пору.

За днемъ Владиміра—Красна-Солнышка—Финогѣевы зажинки: „и Афиногенъ со десятими ученики, мучениками и Соборы Святыми, якоже звѣзды въ небѣ твердильный міръ просвѣщаютъ“... „Зажинки“ (зáжинокъ) на стародавней Руси были однимъ изъ важнѣйшихъ земледѣльческихъ праздниковъ. Во

времена древнерусскаго язычества этотъ праздникъ былъ посвященъ милостивому Даждьбогу; нѣсколько позднѣе праздновали его Волосу-Велесу. Всѣ эти празднованія шли о̀-бокъ съ особыми пирушками-мо́льбищами, сопровождаясь разнообразными заклинаніями, успѣвшими къ нашимъ днямъ затонуть въ бездонныхъ глубинахъ былого-минувшаго. Въ первой половинѣ XIX-го столѣтія зажинки, не сохраняя въ себѣ сколько-нибудь замѣтныхъ языческихъ слѣдовъ, были днемъ, объединявшимъ земледѣльческіе обряды доброй родной старины съ благоговѣйнымъ отношеніемъ крестьянина къ дарамъ Матери-Земли, въ которыхъ—все его богатство, вся награда за непрестанный тяжелый трудъ. У многихъ изслѣдова́телей стародавняго русскаго быта разсказано, какъ проводился на Руси этотъ день. Доспѣвала-вызрѣвала въ поляхъ къ этой порѣ страдника-мѣсяца рожь-матушка, уставала битъ поклоны низкіе землѣ-кормилицѣ и пшеница бѣлоярая, да и усатый ячмень мѣстами зачиналъ грозить неспѣшливому пахарю-жнецу: „Торопись, не то начну зерно ронить!“ Выходили поутру на Финогѣевъ день зажинщики съ зажинщицами на свои загоны; зацвѣтала-пестрилась нива мужицкими рубахами да платками бабьими; перезванивали серпы отточеные-зубрёные; пѣсни зажнивныя перекликались отъ межи до межи, съ поля на̀ поле перелётывали. На каждомъ загонѣ шла впереди всѣхъ прочихъ жнецовъ сама хозяйка, мужняя жена, съ хлѣбомъ-солью да со свѣчой „громнитною“-срѣтенской. Первый сжатый снопъ—„зажиночный“—звался „снопомъ-имянинникомъ“ и ставился о̀собь отъ другихъ; ввечеру брала его зажинщица-баба, шла съ нимъ впереди своихъ домашнихъ, вносила въ избу, клала три земныхъ поклона передъ „свя́томъ“ (иконами) и ставила имянинника въ красный уголъ хаты, передъ божницею. Стоялъ этотъ снопъ до самаго конца жнитва—до „Спожинокъ-дожинокъ“, потомъ обмолачивался наособицу отъ другого хлѣба; весь умолотъ его собирался въ чисту́ю посудину и относился во храмъ Божій, гдѣ его святили, чтобы примѣшивать свячоное зерно къ сѣменамъ при засѣвѣ озимого поля. Солома снопа-имянинника сберегалась для домашней животины—на лихой случай: прикармливали ею больной рогатый скотъ. Въ стародавнюю пору́ во многихъ мѣстностяхъ зажиночный снопъ переносился, по прошествіи семи дней, отъ краснаго угла—божницы—въ овинъ гдѣ и стоялъ вплоть до первой молотьбы новаго хлѣба. Примѣтливые люди говаривали, что соблюденіемъ этого обычая обезпечивался добрый умолотъ нови́ны. Во многихъ малорусскихъ селахъ еще не такъ давно передъ зажиномъ подни-

мались народомъ-громадою мѣстныя иконы, и служился въ полѣ молебенъ св. Аѳиногену мученику, причемъ первый зажинъ дѣлался у каждаго загона священникомъ. Къ настоящему времени этотъ благочестивый обычай соблюдается все меньше и меньше, уступая свое мѣсто обыденной трудовой жизни, заслоняющей своими стѣнами тускнѣющія годъ-отъ-года яркоцвѣтныя преданія дѣдовъ-прадѣдовъ. По народной примѣтѣ, каковъ будетъ зажинъ—таковы и дожинки. „Придетъ Финогѣй съ тепломъ да со свѣтомъ, уберешься зáгодя со житвами!“—говоритъ деревня, приговариваючи: „Финогѣй съ дождемъ—копногнóй, хлѣбъ въ снопѣ проростетъ!“, „На Финогѣя молись солнышку, проси Бога объ вёдрышкѣ!“, „Финогѣевъ день къ Ильѣ-пророку навстрѣчу идетъ, жнитва солнышкомъ блюдётъ!“, „Первый колосокъ—Финогѣевъ, послѣдній—Ильѣ на бороду!“

За Финогѣемъ—„Марины“ (17-е іюля): „Марина съ Лазаремъ ладитъ зòрямъ пàзори“. Слѣдомъ за ними—Ёмельяновъ день, за тѣмъ—„Мокриды“,—такъ зовется въ посельской Руси день, посвященный памяти преподобной Макрины. По этому дню загадываетъ примѣтливый деревенскій людъ о будущей осени. „Смотри осень по Мокридамъ!“—говоритъ окрылённое мудростью народное слово: „Вёдро на Мокриды—осень сухая!“, „На Мокриды дождь—осень мокрая!“. Потому-то и присматривается хлѣборобъ-мужикъ къ этому дню съ такой опаскою: „Прошли-бы Мокриды, а то будешь съ хлѣбомъ!“, „Коли на полѣ Мокриды, и ты свое дѣло смекай!“

20-го іюля—святъ-Ильинъ день, съ которымъ связано многое-множество до сихъ поръ не умирающихъ обычаевъ, повѣрій, сказаній и живýчихъ красныхъ словъ.

„Пророкъ Илія,
Яко молнія,
Гóрѣ творитъ восходы,
На колесницѣ огненнѣй сѣдитъ,
Четвероконними конями ѣздитъ,
Неизрѣченная зритъ“...

Такими словами отмѣчаетъ этотъ день мѣсяцесловъ убогихъ пѣвцовъ — каликъ-перехожихъ. Длинный сказывается сказъ у русскаго народа-пахаря объ „Ильинщинѣ“ (см. гл. XXXI).

Минуютъ сутки послѣ Ильи-пророка (день св. Симеона Христа ради юродиваго), а тамъ и Марьинъ день—22-е іюля: „Коли на Марью большія рóсы,—будутъ льны сѣры и косы“. По деревенской примѣтѣ—Марьина роса укорачиваетъ льняной ростъ. 23-е іюля—Трофимовъ день, канунъ Бориса-Глѣ-

ба. Объ этомъ—послѣднемъ приговариваютъ на деревенской Руси: „На Глѣба на Бориса за хлѣбъ не берися!“ (Кіевская, Черниговская, Полтавская губ.), „Борисъ-Глѣбъ—дозрѣваетъ хлѣбъ“ (Рязанская губ.) и т. д. Въ бѣлорусскихъ мѣстахъ слываетъ этотъ день за „Паликопа“: по словамъ памятливыхъ старыхъ людей, у непочитающихъ обычаевъ благочестивыхъ загорались въ этотъ день копны на только-что сжатомъ полѣ. Бываютъ въ этотъ день во многихъ мѣстахъ сильныя грозы. На святыхъ мучениковъ-братьевъ народное суевѣріе перенесло нѣкоторыя черты всеобъемлющаго Перуна громовника, чуть-ли не всецѣло пріуроченныя ко св. Ильѣ пророку. Такъ, оно представляетъ ихъ пашущими небесную ниву выкованнымъ ими-самими плугомъ, запряженныхъ крылатымъ Огненнымъ Змѣемъ.

Въ с. Репьевкѣ, Сызранскаго уѣзда Симбирской губ., записано П. В. Кирѣевскимъ любопытное пѣсенное сказаніе, распѣвавшееся слѣпцами убогими. „Съ восточнаго словеснаго, съ держанія Кеива града“,—начинается оно, — „великій Владиміръ князь владѣлъ онъ всею Россіею. Имѣлъ себѣ онъ трехъ сыновъ: старѣйшаго Свѣта-Полка, а меньшихъ Бориса-свѣта и Глѣба. Великій Владиміръ князь раздѣлилъ Россію всю сыновьямъ своимъ на три части: старѣйшему Свѣту-Полку великій славенъ Черниговъ-градъ, благовѣрнымъ Борису-свѣту и Глѣбу великій Воспревышь-градъ (Вышеградъ). Великій славенъ Владиміръ князь, раздѣля Россію сыновьямъ своимъ, пожилъ въ домѣ, преставился. Сотворили ему честное погребеніе. Послѣ его чада разыдутся по своимъ по градамъ: старѣйшій Свѣтъ-Полкій въ Черниговъ градъ, а благовѣрны-князья Борисъ и Глѣбъ въ Воспревышь-градъ“. До сихъ поръ пѣвецъ-народъ остается здѣсь безпристрастнымъ сказателемъ-лѣтописцемъ. Со слѣдующихъ стиховъ онъ впадаетъ въ нѣкоторую страстность. „О, злой-ненавистный, врагъ немилостивый, возлюбилъ много мѣста, захотѣлъ владѣть всею Россіею!“—восклицаетъ онъ, подразумѣвая подъ злымъ-ненавистнымъ Святополка Окаяннаго (Свѣта-полка)[64]) и продолжаетъ

[64]) Святополкъ I-й, старшій сынъ Владиміра Святого, родился въ 970-мъ году, получилъ отъ отца въ 1013-мъ году въ удѣлъ Туровское княжество и женился одновременно съ этимъ на дочери польскаго короля Болеслава. Онъ устроилъ-было заговоръ противъ отца, но былъ изобличенъ въ этомъ и лишенъ удѣла. Лишь незадолго до кончины своей св. Владиміръ простилъ его и посадилъ въ Вышгородѣ. Когда отецъ умеръ (въ 1015-мъ году), Святополкъ, по праву старшинства, захватилъ престолъ великокняжескій и прежде всего рѣшилъ убить своихъ братьевъ (Бориса, Глѣба и Святослава), могшихъ стать его соперниками. Братоубійство совершилось. Узнавъ объ этомъ, оставшійся въ

свое повѣствованіе, почти ни на шагъ не отступая отъ строгой жизненной правды: „на своихъ братьевъ прогнѣвился, опалился, яко Каинъ на Авеля, какъ бы побѣдити Бориса и Глѣба; злоумышленіе на нихъ помышляетъ, на совѣтъ братьевъ призываетъ, во пиръ честный пировати, отца своего князя помянути. Посланниковъ злой посылаетъ, съ посланниками листъ написуетъ въ тоё-же въ посланную въ палату. Благовѣрные Борисъ и Глѣбъ со радостью листъ принимаютъ, предъ матерью стоя прочитали“... Князья-братья просятъ у матери благословенія „ѣхать въ Черниговъ-градъ къ старѣйшему брату“; мать-княгиня отговариваетъ, подозрѣвая, что тотъ замышляетъ что-то злое-недоброе, но князья-братья не послушали ея слезнаго увѣщанія— не ѣхать: „Осѣдлали своихъ добрыхъ коней, сѣдуючи, радуючи, поѣдучи во Черниговъ-градъ, къ старѣйшему брату Полку“. И вотъ,—продолжаетъ стихъ народный:—„пребудутъ святые среди пути-дороги, о, злой ненавистный, врагъ немилостивый, встрѣчалъ ихъ злой середи пути-дороги. Онъ косо на своихъ братьевъ взираетъ, злыми зубами воскрежетаетъ, злыми словами намекаетъ, гнѣвъ съ яростію смѣшаючи, какъ бы побѣдить Бориса и Глѣба. Еще Господь силены (иней) спустилъ на всѣ благовонные цвѣты. Увидѣли печаль сію, скоро съ добрыхъ коней солѣзали, главы клонятъ ко матушкѣ ко сырой землѣ. Просили старѣйшаго брата Полка...“ Далѣе слѣдуетъ трогательная, дышащая тончайшимъ благовоніемъ кротости, просьба святыхъ Бориса и Глѣба, обращенная ими къ „злому-ненавистному, врагу немилостивому“:

„О, братецъ мой старѣйшій, Свѣтъ-Полкій!
Развѣ ты хочешь нами владѣти,
Или великою всею Россіею?
Поими насъ, братъ, въ домѣ своемъ
Рабочими, вѣрными слугами;
Не вѣмы мы никакого порока,
Чтобы въ твоемъ домѣ зло мы сотворили;
Не сотвори, братъ, печали матери,
Коя насъ съ тобою породила;

живыхъ братъ—Ярославъ, сидѣвшій княземъ въ Новгородѣ, пошелъ войною на убійцу, захватившаго отцовскую власть. Близъ Любеча Святополкъ былъ разбитъ и бѣжалъ въ Польшу, откуда вернулся съ помощью отъ тестя и снова (въ 1017-мъ г.) овладѣлъ Кіевомъ. Затѣмъ, онъ былъ опять разбитъ, снова бѣжалъ и привелъ на Ярослава печенѣговъ, потерпѣлъ неудачу и—послѣ скитанья въ богемскихъ лѣсахъ—умеръ, оставивъ въ народной памяти и лѣтописяхъ имя Окаяннаго.

Не покори, братецъ, о Христѣ
Сродниковъ нашихъ;
Не срѣжь класы неспѣлые,
Не повреди ты винограда незрѣлаго;
Не отрыгнутъ винограда сего
Коренья отъ сырыя земли;
Не обидь насъ, братецъ, во младыхъ лѣтахъ!...“

Но „злой-ненавистный“ не тронулся мольбою братьевъ: „врагъ немилостивый прошенія не слушаетъ, на поклоны не взираетъ, а моленія злой не воспріемлетъ, злоумышленіе на нихъ помышляетъ. Помыслимши, злой научился, какъ есть злой врагъ накачнулся, какъ побѣдити Бориса и Глѣба. Бориса злой копьемъ сбрюшилъ и Глѣба ножомъ заколошилъ!“... Злое-черное дѣло совершилось. И отъ тьмы его,—гласитъ сказаніе: „мѣсяцъ и солнышко померкли, не было солнечнаго освѣщенія три дня и три ночи. Повелѣлъ Святъ-Полкъ между двухъ колодъ ихъ погрузити. Ихъ святыя мощи три года въ плоти лежащи, ничѣмъ тѣла неповредивши, ни звѣри, ни птицы ихъ не поѣли, не солнечныхъ лучей попеченіемъ. А онъ, ненавистный, врагъ немилостивый, сѣдуючи, радуючи на добрые кони, поѣдучи въ великій славенъ Воспревышь-градъ“... Здѣсь, послѣ этихъ словъ, пѣснотворецъ-народъ беретъ верхъ надъ правдивымъ лѣтописцемъ, и стихъ уже значительно расходится съ лѣтописнымъ разсказомъ о дальнѣйшей судьбѣ Святополка-братоубійцы: „Не потерпѣлъ ему Господи Владыка“,—поется далѣе: „сославъ Господь съ небесъ грозныхъ ангеловъ. Ангелы, обрѣзавши о Христѣ нози, вознесли злого къ верху, да свергнули до аду, предъ нимъ земля потрясется, и морская волна вся всколыбалась. Вповѣдали россійскіе держатели, великіе князи, съѣзжалися, брали мощи да понесли во славенъ великій Воспревышь-градъ. Состроили-воздвигнули святую соборную, каменную церковь во имена Бориса и Глѣба. Явилъ Господь свою милость: было отъ мощей прощеніе. слѣпыимъ давалъ Господи прозрѣніе, глухіимъ давалъ Господи слышаніе, скорбящіимъ-болящіимъ исцѣленіе, всему міру давалъ Господи вспоможеніе, спасалась вся Россія отъ варварскаго нашествія. Имъ же слава отъ нынѣ до вѣка вѣковъ, аминь“... Это сказаніе стиховное, съ болѣе или менѣе значительными разнопѣвами, было записано и другими собирателями русской пѣсенной старины въ разныхъ уголкахъ Святой Руси великой (въ Смоленской, Московской и друг. губ.). Повсюду памятуетъ народъ православный о своихъ князьяхъ-мученикахъ. Память ихъ чествуется Цер-

ковью, кромѣ 24-го іюля, еще весною—2-го мая, въ самый разгаръ пашни „Борисъ и Глѣбъ сѣютъ хлѣбъ!“—говорятъ тогда на деревенской Руси.

25-го іюля, по мѣсяцеслову безсоновскихъ памятливыхъ пѣвцовъ—каликъ-перехожихъ:

„Святая Анна и Евпраксія,
Алимпіада игуменія,
Въ лѣцотѣ,
Райской красотѣ,
Пріемлютъ услажденія“...

По старинной примѣтѣ, если ночь съ этого на слѣдующій день будетъ свѣжая-холодная, то и зимѣ быть ранней да студеной. „Припасаетъ на день святой Анны зима холодная утренники!“ — гласитъ народная молвь примѣтливая. Съ 27-го іюля-сѣнозорника (день св. Николая Кочаннаго), по словамъ огородниковъ, капуста кочни копитъ, на щи пахарю запасаетъ къ зимѣ. Воспоминаемому въ этотъ-же день великомученику Пантелеймону служатъ знахарки-лѣчейки молебны, какъ цѣлителю всякихъ болѣстей, чтобы онъ наставилъ разумъ ихъ на доброе-успѣшное врачеваніе. Въ иныхъ мѣстностяхъ собираютъ „на Пантелея-цѣлителя“ добрыя травы, идущія на пользу болящему люду. „На Прохора да на Пармена (28-го іюля) не затѣвай никакой мѣны!“—предостерегаетъ вѣщее народное слово. 29-го іюля — „Калиники“ (св. мучен. Каллиника и др.). Въ сѣверномъ-полуночномъ углу свѣтлорусскаго простора съ этого дня зачинаются утренники-морозцы. Боится ихъ мужикъ-сѣверянинъ пуще огня: убиваютъ хлѣбъ на корню. „Пронеси, Господи, Калиники морокомъ (сырымъ туманомъ)!“ — можно услышать въ архангельскихъ деревняхъ. Въ средней полосѣ Россіи, напримѣръ—отъ туляковъ-землепашцевъ, ходитъ по народу другая поговорка-примѣта объ этомъ днѣ: „Коли на Калиники туманы, припасай косы про овесъ съ ячменемъ!“—приговариваютъ тамъ.

Предпослѣдній день іюля-мѣсяца наособицу отмѣченъ народнымъ суевѣріемъ. Прежде всего это—день „Иванъ-воина“, святого мученика, открывающаго молящимся ему всѣ потайныя кражи. Въ большомъ почетѣ 30-го іюля ворожеи съ ворожейками: сходятся къ нимъ со всей округи съ просьбою о молитвѣ чествуемому въ этотъ день святому. Существуетъ не мало заговоровъ, обращаемыхъ знахарями-вѣдунами къ нему объ эту пору. Кромѣ Иванъ-воина воспоминается въ тотъ день св. апостолъ Сила; о немъ старые люди повторяютъ старыя рѣчи: „Святой Сила подбавитъ мужику силы!“

„Дожить-бы бабѣ до Силина дня,—и съ яровыми управится, какъ засилья прибавится!“, „На Силу-святителя и безсильный богатыремъ живетъ!“ и т. д. Про этотъ день записано повѣрье о томъ, что на него „обмираютъ вѣдьмы.“ По народной молви, происходитъ это отъ того, что онѣ опиваются молокомъ. Старухи-доможилки завѣряютъ, что вѣдьмы умѣютъ задаивать коровъ до смерти. Но онѣ-же и повторяютъ, что, если обомретъ вѣдьма, такъ ея ничѣмъ не пробудить. Есть только одно средство: „Жги скорѣй пяты соломой, все дѣло пойдетъ на ладъ!“ А умираетъ вѣдьма,—говорятъ въ народѣ,—если не прибѣгнуть къ этому завѣщанному стариной средству,—страшнѣе страшнаго: „подъ ней и земля трясется, и въ полѣ звѣри воютъ, и отъ ворóнъ на дворѣ отбою нѣтъ, и скотъ нейдетъ на дворъ, и въ избѣ все стоитъ не на мѣстѣ“. А, если пожечь обмирающей вѣдьмѣ горящей соломою пятки,—то не только пройдутъ всѣ эти страхи мимо, но и сама она никогда не захочетъ на молоко взглянуть, а не то чтобы корову задоить. Съ Евдокимовымъ днемъ (31-е іюля) конецъ приходитъ грознику-страднику, макушкѣ лѣта. На Евдокима—Успенское заговѣнье, канунъ Перваго Спаса—Происхожденьева дня“ московской Руси.

XXXI.

Илья-пророкъ.

Двадцатое іюля—день св. Иліи-пророка—съ незапамятныхъ поръ справляется на Руси, съ особыми, вѣками установившимися; обрядностями, непосредственно связанными съ бытомъ народа-пахаря, все благосостояніе котораго зависитъ отъ земли-кормилицы. Этотъ день отмѣченъ въ народной памяти цѣлымъ рядомъ разнообразныхъ примѣтъ, пословицъ, поговорокъ, заклятій и сказаній, отражающихся—какъ въ зеркалѣ—въ народныхъ обычаяхъ, свято соблюдаемыхъ по завѣту предковъ.

Въ представленіи народной Руси съ Ильей-пророкомъ слились многія черты древне-языческаго Перуна—повелителя громовъ, утолявшаго лѣтнюю жажду земли живительными дождями, таившими въ себѣ зачатки ея плодородія. Это-послѣднее, несомнѣнно, являлось въ старину одною изъ главныхъ побудительныхъ причинъ почитанія посвященнаго празднованію его памяти дня—среди народа, только-что начинавшаго разставаться съ обожествленіемъ стихій природы, отовсюду обступавшей его жизнь. Впослѣдствіи, когда утратилась въ народѣ и самая память о быломъ язычествѣ, ветхозавѣтное сказаніе о земной жизни св. пророка только укрѣпило вѣковыя связи между нимъ и его почитателями на Руси. Сказочныя-же черты, пріуроченныя къ его грозному облику, уцѣлѣли во всей своей суровой красотѣ.

Св. пророкъ Илія [65]) до сихъ поръ остается въ народѣ

[65]) Св. Илія—ветхозавѣтный пророкъ, происходившій изъ іудейскаго города Ѳесвы, жилъ во времена царя Ахава, водворявшаго въ Іудеѣ поклоненіе языческимъ (финикійскимъ) богамъ Ваалу и Астартѣ—по наущенію жены своей, фи-

хозяиномъ громовъ, разъѣзжающимъ по тверди небесной на своей, запряженной крылатыми конями, колесницѣ. Онъ попрежнему—поражаетъ огненными стрѣлами-молніями злыхъ демоновъ и всякую нечисть. Какъ и въ былыя времена, льетъ онъ на землю дождевые потоки. Подъ его покровительство отданы Богомъ земныя нивы, орошаемыя потомъ трудового люда. Такъ говорятъ о немъ не только въ русскомъ народѣ, но и у всѣхъ славянъ, нѣкогда поклонявшихся богу-громовнику. Въ гулкихъ раскатахъ грома слышится славянину то грохотъ колесъ огненной колесницы пророка, то стукъ копытъ его четырехъ коней, по быстротѣ могущихъ сравниться развѣ съ однимъ вѣтромъ. „Быстрѣе коней Ильи—только вѣтеръ!“—говоритъ болгарская пословица, повторяющаяся и въ нашихъ старинныхъ пѣсняхъ, описывающихъ этихъ коней самыми яркими красками. Русскія простонародныя сказки, поселяющія св. Илію на „островѣ Буянѣ“, отводятъ ему важное мѣсто среди стихійныхъ существъ, вліяющихъ на жизнь трудовую-человѣческую. На этомъ островѣ, лежащемъ въ неизвѣданныхъ предѣлахъ „моря-окіяна“, какъ извѣстно изъ дошедшихъ до насъ заговоровъ, сосредоточены всѣ громы-молніи небесные, вся сила бурь-вѣтровъ, всѣ чудовища „набольшія, старшія“. Но, кромѣ нихъ, здѣсь-же возсѣдаютъ „и дѣва Зоря и пророкъ Илія“. Послѣдній привлекаетъ къ себѣ взоры всѣхъ трудящихся на землѣ около земли. Его молятъ не только о ниспосланіи дождей („Илья Мокрый“), но и о прекращеніи ливней („Илья Сухой“). Къ нему обращаются съ мольбами объ охранѣ отъ ружейныхъ ранъ, объ удачѣ на охотѣ, объ излѣченіи сибирской язвы [66]) и даже,—какъ ни мало вяжется это съ представленіемъ объ его грозномъ величіи,—о счастьи въ любви. Множество всевозможныхъ заговоровъ и заклятій связано съ его грознымъ и, повидимому, всемогущимъ, по мнѣнію народа, именемъ. „Встану

никіянки Іезавели. Повѣствованіе о жизни и дѣятельности пророка Иліи находится въ III-й и IV-й Книгахъ Царствъ. Его чтятъ не только евреи и христіане, но даже и магометане.

[66]) Сибирская язва—заразительная болѣзнь, вызываемая присутствіемъ въ организмѣ особыхъ бациллъ. Эпизоотически свирѣпствуетъ она среди лошадей и крупнаго рогатаго скота, распространяясь на болѣе мелкихъ домашнихъ животныхъ и—въ исключительныхъ случаяхъ—даже на человѣка. Въ Россію эта болѣзнь проникла изъ Монголіи черезъ Сибирь (Забайкалье), почему и получила у насъ такое названіе. Человѣку она передается посредствомъ ужаленія насѣкомыми, соприкасавшимися съ зараженными ею животными. Сначала она проявляется въ видѣ карбункула (pustula maligna) и тогда легко поддается излѣченію—выжиганіемъ раскаленною платиной. Будучи запущена, язва производитъ общее зараженіе, быстро ведущее къ смерти.

я, рабъ Божій",—говорится, напримѣръ, въ одномъ изъ этихъ заговоровъ,—„пойду подъ восточную сторону, къ морю-окіяну... На томъ окіянъ-морѣ стоитъ Божій островъ, на томъ островѣ лежитъ бѣлъ-горючъ камень-алатырь, а на камени святый пророкъ Илія съ небесными ангелами. Молюся тебѣ, святый пророче, пошли тридцать ангеловъ въ златокованномъ платьѣ, съ луки и стрѣлы, да отбиваютъ и отстрѣливаютъ отъ раба уроки и призоры и притки, щипоты и ломоты, и вѣтроносное язво"...

Могущество св. Иліи-пророка, имѣющаго, по народному вѣрованію, власть даже надъ ангелами, грозою гремитъ надо всѣми темными силами, существующими на соблазнъ и на пагубу крещеному міру православному. Своими огненными, а то и каменными, стрѣлами онъ поражаетъ духовъ тьмы; во время грозы укрываются они въ змѣй и другихъ гадовъ, но небесныя стрѣлы и тамъ находятъ ихъ и убиваютъ на радость добрымъ людямъ, чествующимъ пророка Божія. Но горе тѣмъ отъ его грознаго гнѣва, кто не чтитъ его, кто—внимая своей злобѣ—плодитъ только злую гордыню на нивѣ жизни. Въ одной изъ старинныхъ сказокъ „громовникъ Илья" говоритъ „Огняной Маріи" (Пресвятой Дѣвѣ), плачущей надъ грѣхами человѣчества: „Станемъ молить истиннаго Бога—пусть дастъ намъ ключи отъ неба, и затворимъ седмь небесъ, наложимъ печать на облака, да не падетъ изъ нихъ ни шумящій дождь, ни тихая роса три года, и да не родится ни вино, ни пшеница"... И—„ключи" эти, по словамъ другихъ памятниковъ народнаго творчества, „дались ему въ руки отъ истиннаго Бога". Онъ—волёнъ и въ дождѣ, и въ бездождіи. По желанію своему, можетъ онъ выбивать градомъ поля грѣшниковъ, можетъ поражать на-смерть злыхъ людей. Но въ то-же время онъ заботится о нивахъ добрыхъ пахарей, помнящихъ Бога: побиваетъ стрѣлами всякую тлю земную, всякій „гнусъ", поѣдающій жито. „Если-бы не побивалъ ихъ Илья-пророкъ, то земля не родила-бы хлѣба",—говорятъ въ народѣ.

Каждое 20-е іюля ждутъ на Руси дождя и грома—какъ въ день, посвященный повелѣвающему ими пророку. Вёдро на Ильинъ день предвѣщаетъ пожары. Ильинскимъ дождемъ умываются для предохраненія ото всякихъ „вражьихъ чаръ", соединенныхъ съ болѣзнями. Въ день св. пророка никто не долженъ, по вѣрованію народа, работать въ полѣ: ни жать, ни косить, ни убирать сѣна—изъ опасенія того, чтобы Илья-громовникъ не спалилъ во гнѣвѣ уродившееся жито и сѣно. Упорныхъ ослушниковъ, никогда не почитающихъ праздника

его. пророкъ убиваетъ громомъ. Этому вѣритъ твердо вся деревенская Русь. съ незапамятной поры и до нашихъ дней „празднуя Ильѣ".

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ лѣтъ тридцать назадъ еще соблюдался старинный обычай собираться въ этотъ день цѣлымъ приходомъ къ церкви и сгонять туда рогатый скотъ. Священника просили окропить „животину" святой водою. Послѣ обѣдни выбиралось и покупалось всѣмъ міромъ одно животное. за которое уплачивались хозяину собранныя „съ каждой души" деньги. Это животное потомъ закалывалось. мясо его варили въ общемъ котлѣ и раздѣляли присутствующимъ на торжествѣ за деньги. которыя обращались въ пользу церкви. Малу-по-малу этотъ обычай исчезъ. хотя въ Вологодской губерніи его можно было, по сосѣдству съ зырянами. совсѣмъ еще недавно наблюдать во всѣхъ подробностяхъ. Въ Калужской губерніи въ настоящее время пригоняютъ на Ильинъ день къ церкви молодыхъ барашковъ. Въ этотъ праздникъ во многихъ мѣстностяхъ поютъ молебны надъ чашками съ зерномъ—„для плодородія".

„Святой Илья зажинаетъ!"—говорятъ въ народѣ и передъ началомъ жатвы связываютъ снопомъ на корню колосья, посвящая ихъ покровителю урожаевъ—словами: „Ильѣ-пророку—на бородку". Въ Курской, Воронежской, Архангельской и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ это дѣлается передъ окончаніемъ жатвы. Къ оставленному въ полѣ „кусту хлѣба" всѣ относятся съ благоговѣніемъ. похожимъ на страхъ. „Кто дотронется до закрута—того скорчитъ!"—говорятъ старики, хранители обычаевъ и обрядовъ, и приводятъ для убѣжденія легкомысленной сельской молодежи безчисленные примѣры въ подтвержденіе своихъ словъ, звучащихъ отголоскомъ старины.

Съ Ильинымъ днемъ кончаются. по народному слову, лѣтніе красные дни. „Илья лѣто кончаетъ, жито зажинаетъ: первый снопъ первый осенній праздникъ!"—говоритъ посельщина-деревеньщина и продолжаетъ, тороватая на красныя слова: „На Илью до обѣда—лѣто, послѣ обѣда—осень!". Народная мудрость. проявляющаяся въ пословицахъ, идетъ дальше. Она гласитъ: „До Ильина дня сѣно сметать — пудъ меду въ него накласть. послѣ Ильина — пудъ навозу!". По старинному изреченію: „До Ильи попъ дождя не умолитъ, послѣ Ильи—баба фартукомъ нагонитъ: до Ильина дня и подъ кустомъ сушитъ, а послѣ Ильина дня и на кусту не сохнетъ!". А между тѣмъ — какъ-разъ въ это время и ждетъ народъ вёдра для уборки хлѣбовъ, потому-что. по

его словамъ: „До Ильи дождь—въ закромъ, послѣ Ильи—изъ закрома!". Потому-то, между прочимъ, и чтится наособицу у насъ на Руси день пророка, „держащаго и низводящаго дождь".

На Ильинъ день не работаютъ въ полѣ, но къ этому празднику подготовляются именно работами. „Къ Ильину дню заборанивай паръ! До Ильи хоть зубомъ подери! Къ Ильину дню хоть кнутомъ прихлыстни, да заборони! До Ильи—хоть кнутомъ захлыщи!" Въ этихъ поговоркахъ слышится голосъ деревенскаго опыта, выработаннаго вѣками земледѣльческаго труда, а потому и почти никогда не ошибающагося въ своихъ примѣтахъ. Единственная работа, допускаемая въ праздникъ св. Ильи-пророка, это—первое подрѣзываніе сотовъ на пчельникѣ. Въ этотъ же день пчеловоды перегоняютъ послѣдніе рои пчелъ и подчищаютъ ульи. Пчелка—Божья работница, „Божа пташка"—по словамъ малороссовъ. Ея работа на церковь, Богу на свѣчку — охраняетъ ее отъ гнѣва разящаго громами пророка. По вѣрованію пчеловодовъ, Илья-громовникъ не ударитъ громомъ въ улей, хотя-бы укрылся за нимъ нечистый духъ.

На Ильинъ день не выгоняютъ и скотъ въ поле на пастбище. Народъ убѣжденъ непоколебимо, что въ этотъ праздникъ открываются волчьи норы, и „весь звѣрь бродитъ на свободѣ"... Кромѣ того, существуетъ опасеніе, что разгнѣванный пророкъ можетъ поразить и выгнанную въ поле „животину", и пастуха.

Къ концу іюля вода въ рѣкѣ становится холоднѣе. Это связывается, въ представленіи народа, съ чествуемымъ праздникомъ „дождящаго и гремящаго" пророка. И вотъ—„до Ильи мужикъ купается, а съ Ильи—съ рѣкой прощается!". По народной молвѣ — съ Ильина дня работнику двѣ угоды: ночь длинна, да вода холодна!". Дни становятся все короче („Петръ и Павелъ къ ночи часъ прибавилъ, Илья-пророкъ—два приволокъ!"), а работы—прибываетъ да прибываетъ въ поляхъ. Есть о чемъ помолиться народу въ Ильинъ день передъ послѣднею лѣтней страдою,—хотя въ болѣе южныхъ губерніяхъ, гдѣ хлѣба созрѣваютъ раньше, „Илья пророкъ—копны считаетъ", а кое-гдѣ есть уже за столомъ и „новая новина на Ильинъ день". Жнитво ярового, сноновозъ, сѣвъ озимыхъ, молотьба, — на все надо не мало времени. И бѣда, если этому помѣшаютъ дожди,—если не умолитъ народъ грознаго Илью, безпощаднаго въ своемъ праведномъ гнѣвѣ.

Послѣднія лѣтнія, переходящія и на осень, грозы гремятъ все грознѣе. Отъ удара огненныхъ стрѣлъ Ильи-пророка изъ

каменныхъ горъ выбѣгаютъ, по народному вѣрованію, родники и быстрыя рѣчки. не замерзающія даже въ студеную зимнюю пору. Имъ приписывается чудодѣйная сила-мочь; ихъ называютъ не только „гремячими", но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ даже и „святыми". Нерѣдко надъ ними ставятъ кресты и часовни съ иконами св. Ильи-пророка и Божіей Матери, къ которымъ впослѣдствіи совершаются торжественные крестные ходы—каждое 20-е іюля, а въ другое время—при молебствіяхъ во дни бездождія. Благочестивые старики старательно углубляютъ истоки такихъ родниковъ, забирая прочнымъ срубомъ и всячески оберегая отъ засоренія. Находимыя по близости отъ этихъ родниковъ „громовыя стрѣлки" считаются цѣлебными отъ разныхъ болѣзней. Этими стрѣлами, по народному повѣрью, св. Илья-пророкъ „побивалъ нечистую силу" въ свой святой день.

По словамъ деревни, трудящейся весь свой вѣкъ у земли-кормилицы: „Ильинская соломка—деревенская перинка!", „Знать осень на Ильинъ день по снопамъ!", „То и веселье ильинскимъ ребятамъ, что новый хлѣбъ!" „У мужика та обнова на Ильинъ день, что новинкой сытъ!", „Знать бабу по наряду, что на Ильинъ день съ пирогомъ!"... Да и не перечесть, не пересказать всѣхъ ильинскихъ реченій народныхъ, такъ много вылетѣло ихъ изъ устъ народа-пахаря.

Во многихъ старинныхъ пѣсняхъ св. пророкъ-Илія сливается съ личностью сказочнаго Ильи-Муромца, одного изъ любимыхъ сыновъ русскаго былиннаго пѣснотворчества. Подвиги этого богатыря Земли Русской,—связанные также съ памятью о преподобномъ Иліи Муромскомъ почивающемъ въ Кіево-Печерской лаврѣ,—приписываются Ильѣ-пророку. Во многихъ мѣстностяхъ, гдѣ, по преданію, конь Ильи-Муромца выбивалъ копытомъ родники, поставлены часовни во имя св. Иліи. Въ свою очередь. въ другихъ губерніяхъ даже громовые раскаты объясняются „поѣздкою богатыря Муромца на шести коняхъ по небу".

Народный „Стихъ о Страшномъ Судѣ" придаетъ пророку, держащему въ своихъ могучихъ рукахъ громы и дожди, струящіеся на грудь Матери-Сырой-Земли, значеніе одного изъ исполнителей воли Господа, разгнѣваннаго всеобщей растлѣнностью созданнаго Имъ міра. Вотъ какъ повѣствуетъ объ этомъ сказаніе, вышедшее изъ устъ пѣснотворца-народа:

„Какъ сойдетъ съ неба Илья-пророкъ,—
Загорится матушка сыра-земля,
Съ востока загорится до запада,

Съ полудёнъ загорится да до ночи.
И выгорятъ горы съ раздольями,
И выгорятъ лѣсы темные.
И сошлетъ Господи потопіе,
И вымоетъ матушку сыру-землю,
Аки харатью бѣлую,
Аки скорлупу яичную,
Аки дѣвицу непорочную..."

Всюду, гдѣ встрѣчается имя грознаго пророка въ дошедшихъ до нашихъ дней отъ стародавней старины памятникахъ русскаго народнаго творчества,—вездѣ онъ является въ вѣнцѣ своего праведнаго гнѣва на нечестивыхъ грѣшниковъ и съ отеческими заботами о благочестивыхъ и добрыхъ. Съ какимъ обликомъ жилъ онъ въ представленіи отдаленнѣйшихъ предковъ русскаго простолюдина, такимъ остается и теперь у насъ въ народѣ.

XXXII.

Августъ-собериха.

Кромѣ особыхъ, нарочитымъ узорочьемъ пріукрашенныхъ, цвѣтистыхъ сказовъ о трехъ Спасахъ (См. гл. XXXIII—XXXV): медовомъ— первомъ, второмъ — яблочномъ и третьемъ—Спожинкахъ, умудренная многовѣковымъ опытомъ народная Русь сохранила—частію въ изустной передачѣ, отчасти-же и въ письменной кошницѣ своихъ бытовѣдовъ—не мало различныхъ преданій, повѣрій, примѣтъ и крайне любопытныхъ обычаевъ, относящихся къ тому-же, обогащенному народной молвью, августу-мѣсяцу.

Стоитъ мѣсяцъ августъ межевымъ столбомъ на грани лѣта и осени, приходя на свѣтлорусское раздолье привольное послѣ семи старшихъ братьевъ-мѣсяцевъ (до XV-го вѣка приходилъ онъ на Русь шестымъ, затѣмъ—до 1700 года шелъ за двѣнадцатый). „Заревомъ“-мѣсяцемъ и „зорничникомъ“ называли его отдаленные предки русскаго пахаря, „серпенемъ“ величали малороссы, поляки да чехи со словаками; у сербовъ слылъ онъ за „прашникъ“ и „женчь“, у кроатовъ –за „кимовецъ“ и „великомешнякъ“; „коловоцемъ“ прозывали его иллирійскіе славяне. „Августъ-густáрь, густоѣдъ-мѣсяцъ“,—говоритъ русскій мужикъ-простотà въ нѣкоторыхъ великороссійскихъ губерніяхъ, своеобразно объясняя словопроисхожденіе его имени и не подозрѣвая даже, что было это-послѣднее дано предъосеннему мѣсяцу въ честь прославленнаго современниками древне-римскаго императора Августа [67]).

[67]) Августъ (Кай Юлій Цезарь Октавіанъ)—первый римскій императоръ, сынъ Кая Октавія и Аттіи—младшей сестры Юлія Цезаря; онъ родился 23 сентября въ 63 г. до Р. Хр., былъ (въ 45 г.) усыновленъ Юліемъ Цезаремъ и—по

Хоть и появляется въ этомъ мѣсяцѣ во многихъ мѣстахъ на Руси „хлѣбецъ-новина“, но работы у деревенскаго хлѣбороба хоть отбавляй. „Мужику въ августѣ три заботы“,—замѣчаетъ народное крылатое слово,—„три заботы: и косить, и пахать, и сѣять!“, „Августъ—каторга, да послѣ будетъ мятовка (раздолье, обиліе пищи): мужицкое горло—суконное бердо, все мнетъ!“ Сиверкой-холодкомъ потягиваетъ на августъ съ идущаго ему навстрѣчу сентябрьскаго „бабьяго лѣта“, но—по народной примѣтѣ: „Въ августѣ вода холодитъ, да серпы грѣютъ!“, „Августъ-батюшка работой-заботой мужика крушитъ, да послѣ тѣшитъ!“.

Августъ не іюль; его не „приберихой“, а—наоборотъ—„соберихой“ да „припасихой“-мѣсяцемъ въ посельскомъ быту зовутъ. „Что соберетъ мужикъ въ августѣ—тѣмъ и зиму-зимскую сытъ будетъ!“—гласитъ старое присловье, вылетѣвшее на широкій свѣтлорусскій просторъ изъ устъ деревенскаго люда. „Овсы да льны въ августѣ смотри!“, „Августъ—ленорость, припасаетъ бабѣ льняной холстъ!“—можно услышать въ любой поволжской деревнѣ. „Въ августѣ и жнетъ баба, и мнетъ баба, а все на льны оглядывается!“—приговариваютъ дотóшные краснословы: „Бываетъ, что и жато, и мято, да ничего не добыто!“. Отъ рѣчистыхъ людей пошли и другія поговорки обо льнахъ да о бабьей заботѣ: „Не домнешь мялкой (снарядъ, которымъ мнутъ ленъ и конопель, очищая волокно)—такъ не возьмешь и прялкой!“, „Не домнешь—такъ за прялкой вспомянёшь!“, „Безъ черевъ собачка, да—вякъ, вякъ; безъ зубовъ тетка Матрена, да кости гложетъ!“

Хоть и „густоѣдомъ“ зовется августъ-мѣсяцъ, а половина

его завѣщанію—наслѣдовалъ его богатства и возымѣлъ тогда-же (въ 44 г) намѣреніе стать преемникомъ и его власти. Но это удалось не скоро. Борьба республиканской, свергшей Цезаря, партіи съ партіей Антонія, мстившей за смерть диктатора, кончилась побѣдою послѣдней, но побѣда не явилась обезпеченіемъ мира. Борьба не угасала. Она вызвала войну противъ Антонія, побѣдителемъ котораго явился Кай Октавіанъ, заключившій послѣ того тріумвиратъ съ нимъ и его другомъ, Лепидомъ, и разбившій республиканское войско. Новое столкновеніе съ Антоніемъ, новый союзъ и снова—разрывъ. Въ 31-мъ году Октавіанъ, послѣ ряда войнъ и побѣдъ, оказался единственнымъ властителемъ Римскаго государства, въ 29-мъ—народъ и сенатъ чествовали его тріумфомъ, къ 27-му онъ освободился ото всѣхъ соперниковъ и притворно сложилъ власть диктатора, въ благодарность за что и получилъ имя Августа (augustus—священный), сохранивъ его впослѣдствіи въ видѣ императорскаго титула. Цѣлый рядъ новыхъ побѣдоносныхъ войнъ, во всѣ стороны раздвинувшихъ предѣлы Рима, пріобрѣлъ ему любовь народа и сосредоточилъ въ его рукахъ полное владычество надъ государствомъ. Форма правленія Августа и явилась тою, съ какой связано понятіе о монархической власти. При немъ Римъ достигъ высокой степени могущества и благосостоянія. Время его и теперь слыветъ за „золотой вѣкъ Августа“.

его подъ постомъ ходитъ. Но „Успенскій постъ—мужика досыта кормитъ!“ Поспѣваетъ къ этому времени не только хлѣбъ, но и всякая овощь: гдѣ позаботятся бабы огородъ вò-время засадить, тамъ—и огурцы, и рѣдька, и свекла, и рѣпа, не говоря уже о лукѣ,—все поможетъ „поститься—не голодая, работать—не уставая“. „Не до жиру, быть-бы живу!“—говорятъ въ народѣ, прибавляя къ этому: „Отъ Перваго отъ Спаса накопитъ и мужикъ запаса!“, „Въ августѣ баба хребетъ въ полѣ гнетъ, да житьё-то ей медъ: дни короче—дольше ночи, ломота въ спинѣ—да разносолъ на столѣ!“

Первый Спасъ медá заламываетъ; онъ, по народному присловью, и бабьи грѣхи замаливаетъ: „На Спаса въ ердани купаться—незамоленые грѣхи простятся“. Потому-то блѣдной тѣнью сѣдой старины и дошло отъ царей московскихъ до нашего забывчиваго безвременья „происхожденское купанье“, до сихъ поръ совершающееся въ глухой пошехонской округѣ Ярославской губерніи и въ нѣкоторыхъ другихъ памятливыхъ уголкахъ деревенской Руси послѣ крестнаго хода на воду въ день Происхожденія Честныхъ Древъ Животворящаго Креста Господня (1-го августа). Встарину на этотъ праздникъ погружались въ освященныя воды рѣки и мужчины, и женщины, и старые, и малые—одновременно, въ одномъ и томъ-же мѣстѣ; теперь,—тамъ, гдѣ сохранился этотъ обычай,—женщины и дѣвушки входятъ въ рѣку поодаль, наособицу; въ другихъ-же мѣстахъ купаютъ въ этотъ день только лошадей.

Во второй августовскій день Православная Церковь воспоминаетъ „перенесеніе мощей Стефана святаго“ и „Василія юрода (блаженнаго) дивна московскаго“. Умалчивая о послѣднемъ, перехожіе калики—пѣвцы убогіе—распѣваютъ о Стефанѣ-Первомученикѣ свой особый стихъ-сказъ. Въ Краснинскомъ уѣздѣ Смоленской губерніи записанъ слѣдующій, хотя и затемненный-затуманенный явнымъ наслоеніемъ книжнаго склада, но и теперь не вполнѣ лишенный свѣтлой народной окраски, разнопѣвъ этого невѣдомо когда и кѣмъ сложеннаго духовнаго стиха: „Прославляемъ сего вѣры. Фарисеи, лицемѣры, начатки ему стяжаху, противъ мудрости стати не можаху, фарисеи и саддукеи зрятъ на него сидяще; видѣвъ Стефанъ лице Божье, какъ ангела свѣтяща; ложныя тамо свидѣтельства поставивше на соборище, воспріемше восхитоша, и ведоша на сонмище. На высокомъ мѣстѣ святой Стефанъ стояше; много крупнымъ каменьемъ на Стефанія меташа; къ небу лицемъ нарекашеся, сердцемъ распаляшеся:—Се Богъ, виждь, небо твердо, то мы вамъ повѣдаемъ.—Отъ Аврама даждь намъ крестъ!—сей подробномъ глагола-

ше; колесовыя дьякона ризы стеляху, горькимъ зеліемъ и каменьемъ Стефана побіяху.—Покуда вы, іуден, однѣ вы слѣпо ходите? Богъ явився и воплотився, вы же его не видите?—Приведоша Стефана къ ложному свидѣтельству; простре Стефанъ руцѣ свои, небо ему отверзашеся: узрѣвъ Стефанъ Господа Іисуса, одесную сѣдяща:—Боже, Боже, прими духъ мой, въ руцѣ свои, Царю Христе, на вѣки вѣковъ!"

За днемъ Стефана-Первомученика стоятъ въ неписанномъ простонародномъ изустномъ мѣсяцесловѣ „Антопы-вихревѣи" (3-е августа, день св. Антонія Римлянина, чудотворца новгородскаго), „Семь Отроковъ—сѣногнои" съ „Евдокеями-огурешницами" (4-е августа). „Семь Отроковъ" (Діонисій, Іоаннъ, Антонинъ, Максимиліанъ и другіе три)—по народной примѣтѣ—„семь дождей несутъ"; „Евдокея-огурешница", заставляющая собирать огурцы, въ то-же самое время напоминаетъ бабамъ съ ребятами и о поспѣвшей въ залѣсьи малинѣ-ягодѣ („Авдотьи-малиновки"). Пятое августа,—„Евстигнѣевъ день", когда, по завѣту дѣдовъ-прадѣдовъ, заклинала русская деревня Мать-Сыру-Землю ото всякаго лиха, ото всякой оскверняющей ее нечисти, — канунъ Спаса-Преображенья (Второго Спаса).

„Преображенія день свѣтло совершаемъ,
Христа славу си явлша пѣснми величаемъ!"—

—гласитъ изъ народныхъ устъ стихъ духовный, приглашая православный людъ къ достойному чествованію великаго праздника Господня.

Второй Спасъ (6-е августа), по народному слову, „яблочкомъ разговляется". Слѣдомъ за этимъ, отмѣченнымъ особыми примѣтами, днемъ—„Пимена-Марины, не ищи въ лѣсу малины: дѣвки лѣсъ пройдутъ, дочиста оберутъ!" Восьмого августа „Мироны-вѣтрогоны, пыль по дорогѣ гонятъ, по красномъ лѣтѣ стонутъ". За „Мионами"—„апостолъ Матѳій божественный, иже въ мѣсто падшаго Іуды причтенный". Десятый день августа-„соберихи-зорничника"—Лаврентьевъ день: на него воспоминаются, по православному мѣсяцеслову, два Лаврентія —св. архидіаконъ-мученикъ да блаженный калужскій.

Объ одиннадцатомъ августа въ Рязанской губерніи записано И. П. Сахаровымъ любопытное преданіе, идущее отъ временъ татарщины. Въ этотъ день, по словамъ старыхъ рязанцевъ, въ селахъ-деревняхъ, что стоятъ по берегамъ рѣкъ Вожи и Быстрицы, на такъ называемыхъ „перекольскихъ могилкахъ", воочію совершается чудо-чудное. Слышенъ бываетъ на болотѣ свистъ, доносится съ болотины пѣсня: „а и кто свиститъ, а и

кто поетъ—никто не вѣдаетъ". Происходитъ диво-дивное. Выбѣгаетъ изъ болота на „могилки" бѣлая лошадь,—взбѣжитъ, всѣ могилки обѣгаетъ, въ рѣчамъ Матери-Сырой Земли прислушивается, земь копытомъ бьетъ-раскапываетъ, надъ зарытыми въ ея нѣдрахъ покойничками плачетъ. „Зачѣмъ она бѣгаетъ, что слушаетъ, о чемъ плачетъ, никто не знаетъ, не вѣдаетъ".. Погасаетъ вечеръ, тѣмень ночная опускается на грудь земную; появляются надъ могилками огоньки блудящіе, съ могилокъ на болотину перебѣгаютъ. „Какъ загорятъ они, такъ видно каждую могилку, а какъ засвѣтятъ, то видно, что и на днѣ болота лежитъ, да ужъ такъ видно—что въ избѣ лавка!.." Выискивались смѣльчаки, пытливымъ умомъ-разумомъ надѣленные,—выискивались, пытались подкараулить-поймать дивнаго коня бѣлаго; находились и охотники—изловчиться-уловить огонекъ съ могилки, дознаться-довѣдаться: чей свистъ раздается, что̀ за пѣсня звенитъ-разливается по затишью вечернему: Не тутъ-то было! Коня бѣлаго и вѣтеръ не догонитъ, не то что человѣкъ: если и можно подобрать этому незнаемому-невѣдомому коню какое прòзвище, такъ развѣ одно—„Догони-вѣтеръ". Но конь въ руки не дается: а отъ свисту да отъ „пѣсни"—только оглохнешь, коли дознаваться станешь—кто да что: за огнемъ пойдешь—въ трясину заведетъ, въ трясину-болотину, въ топь невылазную. Ходитъ по вожскимъ да по быстрицкимъ деревнямъ старый сказъ, ходитъ—что клюкою, старой памятью людей, въ старинѣ свѣдущихъ, подпирается. И ведетъ этотъ рязанскій сказъ, старосклaдную рѣчь, не сказку, не пѣсню, а быль-побывальщину. Было въ давнія времена на перекольскихъ могилкахъ за трое сутокъ до Успенія Пресвятой Богородицы, четверо сутокъ спустя послѣ Спаса-Преображенія, кровавое побоище. Бились не на животъ, а на̀ смерть, сражались русскіе христіанскіе князья со злымъ басурманиномъ, съ татарами. Длилась битва, лилась кровь—съ обѣихъ сторонъ. И вотъ, начали ломить-одолѣвать басурманскія рати силу русскую. Но, откуда ни возьмись („какъ ни отсюдова, ни оттудова")—взялся, выѣхалъ на бѣломъ конѣ богатырь облика нездѣшняго, невѣдомаго вида незнаемаго, а за богатыремъ—сотни-рати богатырскія. Началъ-почалъ бить-колоть богатырь зло татàровье—„направо и налѣво и добилъ ихъ чуть не всѣхъ". И добилъ-бы всѣхъ, да „тутъ подоспѣлъ окаянный Батый",—подоспѣлъ, богатыря нàземь свалилъ-убилъ, а коня загналъ въ болотину. Съ той стародавней поры, по словамъ вѣщаго преданія, „бѣлый конь ищетъ своего богатыря, а его сотня удалая поетъ и свищетъ, авось—откликнется удалый богатырь"...

Остается три дня до Успенія: Никитинъ, Максимовъ да Михеевъ. На Михея (14-го августа) дуютъ вѣтры-тиховѣи—къ ведреной осени; Михей съ бурей — къ ненастному сентябрю,—гласятъ деревенскія примѣты. Михеевъ день Успенскій постъ кончаетъ, осеннему мясоѣду навстрѣчу идетъ, съ бабьимъ лѣтомъ бурей-вѣтромъ перекликается.

Успеніе Пресвятой Богородицы — великій праздникъ, изукрашенный въ народномъ представленіи цѣлымъ рядомъ особыхъ повѣрій, примѣтъ и сказаній (см. гл. XXXIV).

„Большая Пречистая“,—какъ зовется въ народной Руси этотъ день,— „августъ-мѣсяцъ на два полѣ-на рубитъ“: дѣлитъ пополамъ. За Успеньемъ—16-е августа, Третій Спасъ—„Спожинки“.

Съ успенскаго заговѣнья вплоть до „Ивана-Постнаго“ (29-го августа, дня усѣкновенія честныя главы св. Іоанна Крестителя) идетъ пора „молодого бабьяго лѣта“, время осеннихъ хороводовъ. „Кому работа, а нашимъ бабамъ и въ августѣ – праздникъ!“—замѣчаетъ деревня по этому поводу, кивая усталою головушкой побѣдною на бабью беззаботность веселую, никакимъ потовымъ-„страднымъ“ трудомъ никогда не крушимую.

Спожинки пройдутъ, черезъ день—вслѣдъ за ними—„Досѣвки“: 18-е августа, память святыхъ Флора и Лавра. Начинаются вечернія бабьи „засидки“. Памятуетъ трудовой людъ старое присловье о томъ, что „съ Фролова дня засиживаютъ ретивые, а съ Семена (1-го сентября) лѣнивые“,—памятуя, не хочетъ попасть въ разрядъ послѣднихъ. Въ Симбирской губерніи, да и въ нѣкоторыхъ другихъ, на Флора и Лавра—лошадиный праздникъ. Въ этотъ день крестьяне прикармливаютъ лошадей съ утренней зорьки свѣжимъ сѣномъ да овсомъ, убираютъ заплетаютъ имъ гривы пестрыми олскутками. Въ обѣдню гонятъ коней къ церковной оградѣ,—скачутъ во всю прыть верхами на нихъ ребята малые, пыль столбомъ вьется вдоль по улицѣ. Отойдетъ обѣдня, отпоютъ попы молебенъ чествуемымъ святымъ покровителямъ коней,—выходятъ за ограду кропить приведенныхъ лошадей „свячоной“ водою. Это, по увѣренію благочестивыхъ людей, держащихся старинныхъ преданій, охраняетъ коней ото всякаго лиха. „Умолилъ Фрола-Лавра—жди лошадямъ добра!“—катится по дорогамъ прямоѣзжимъ, перекатывается и путями окольными-просёлочными, изъ конца въ конецъ всей великой Руси вѣщая молвь—крылатое слово народное: „Фролъ-Лавёръ до рабочей лошадми добёръ!“ Конеторговцы-табунщики твердо помнятъ старинный наказъ-обычай—„до Фрола-Лавра не выжигать молодымъ конямъ тавра (клейма)“.

„На Ѳеклу (19-го августа) дергай свеклу!“—примѣчаютъ огородники: „на то она, матушка, и прозывается свекольницею!“ Въ степныхъ мѣстахъ слѣдятъ въ этотъ день за тѣмъ, съ какой стороны вѣтеръ дуетъ. „Если съ полудёнъ на Ѳеклу тянетъ—пошли овсы на-спѣхъ, съ теплыхъ морей подулъ вѣтеръ на овесъ-долгоростъ!“ Въ старой Москвѣ гулялъ честной людъ православный въ этотъ день подъ Донскимъ монастыремъ: туляки,—о которыхъ сложились въ народѣ прибаутки: „Живетъ въ Тулѣ да ѣстъ дули!“, „Бей челомъ на Тулѣ—ищи на Москвѣ!“,—ходили на предосенней Ѳеклиной гулянкѣ веселыми ногами „у Николы за валомъ“.

20-ое августа—святъ-Самойлинъ день (память св. пророка Самуила): „Самойло-пророкъ самъ Бога о мужикѣ молитъ“. За нимъ слѣдомъ—апостолу Ѳаддею честь. „Кто Ѳаддей—тотъ своимъ счастьемъ (въ этотъ день) владѣй!“—приговариваютъ рѣчистые краснословы-бахари: „Баба Василиса, со льнами торопися—готовься къ потрепушкамъ да къ супрядкамъ!“ 22-е августа, въ глазахъ деревенскаго суевѣрія, является днемъ, въ который слѣдуетъ на гумнахъ, находящихся невдалекѣ отъ лѣса, оберегать снопы отъ потѣхи Лѣсовика. „Отъ этой нежити не оберечься—такъ пропадешь!“—гуторитъ народъ. Гдѣ только ихъ нѣтъ? „Былъ-бы лѣсъ—будетъ и лѣшій!“. Не будь Лѣшему ворогомъ Домовой—не было бы съ нимъ сладу: не сидится лѣсному хозяину на одномъ мѣстѣ. Слыветъ онъ нѣмымъ, да голосистъ на́-диво: недаромъ, — по разсказамъ знавшихся съ нимъ людей—поетъ безъ словъ, бьетъ въ ладоши, свищетъ, аукаетъ, хохочетъ, плачетъ, филиномъ-птицей гукаетъ. Попадется ему навстрѣчу мужикъ-простота,—обойдетъ его Лѣсовикъ, собьетъ съ дороги, заведетъ въ трущобу непроходимую, если тотъ не догадается вывернуть на себѣ рубаху на-изнанку. Остроголовый („голова клиномъ“), мохнатый, съ зачесанными налѣво волосами, безъ бровей и безъ рѣсницъ, надѣвъ сѣрый кафтанъ, застегнутый на правую сторону, подкрадывается онъ по лѣсной опушкѣ къ гуменникамъ и начинаетъ развязывать и раскидывать снопы: все перекидаетъ съ одного гумна на другое, никто и не разберется послѣ,—если не принять надлежащихъ, особо на этотъ случай полагающихся, предохранительныхъ мѣръ. Въ сахаровскомъ „Народномъ дневникѣ“ разсказывается, что встарину въ Тульской губерніи выходили старики на караулъ къ гуменной загороди. Снаряжаяся въ ночное стоянье, надѣвали они тулупъ, выворачивая его шерстью наверхъ: голову устрашители лѣсного хозяина обматывали полотенцемъ; вмѣсто обыкновеннаго подога́-посоха бралась въ руки кочер-

га. Передъ тѣмъ, какъ начать береженье гумна, знающіе люди, съ молитвою ко св. Северьяну, памятуемому въ этотъ день, очерчивали кочергою кругъ и посрединѣ садились наземь. Это, по народному слову, заставляло Лѣсовика чуть не за версту обходить стороной оберегаемое мѣсто.

23-е и 24-е августа—„Евтихѣевы дни“. Церковь Православная чествуетъ въ эти дни двухъ Евтихіевъ—преподобнаго да священномученика. Посельщина-деревеньщина примѣчаетъ, что, если объ эту пору доспѣетъ ягода-брусника, то и со жнитвомъ овса надо торопиться. На 23-е августа, кромѣ Евтихія, падаетъ, между прочимъ, память святого Луппа-мученика. „На-Луппа льны лупятся!“—гласитъ народная молвь. По примѣтѣ сельскохозяйственнаго опыта, ленъ двѣ недѣли цвѣтетъ, четыре недѣли спѣетъ, а на седьмую—сѣмя летитъ. „Хорошо,—замѣчаетъ деревня,—коли Евтихій будетъ тихій, а то не удержишь льняное сѣмя на корню: все до чиста вылупится!“ Въ Сибири съ Луппова дня начинаются во многихъ мѣстахъ первые заморозки—„лупенскіе“, за которыми идутъ вслѣдъ и другіе: покровскіе, катерининскіе да михайловскіе. За шесть сутокъ до конца августа-„соберихи“ приходитъ на Русь Титовъ день. „Святой Титъ послѣдній грибъ роститъ!“—говорятъ въ среднемъ Поволжьѣ. „Грибы грибами, а молотьба—за плечами!“—приговариваютъ въ Симбирской губерніи, напоминая, къ слову, объ извѣстномъ прибауткѣ: „Титъ, Титъ! Иди молотить!—Зубы болятъ!—Титъ, Титъ, иди кисель ѣсть!—А гдѣ моя большая ложка?..“ Съ Титова на Натальинъ (26-е августа) день варятъ ввечеру бабы овсяный кисель. День Адріана и Наталіи зовется „овсяницами“; съ этой поры начинаютъ дружно косить въ поляхъ овсы: „Ондреянъ съ Натальей овсы закашиваютъ“. Въ старые годы въ этотъ день ввечеру носили мужики снопъ овсяный (связанный изъ перваго скошеннаго овса) на барскій дворъ. Приэтомъ пѣлись въ-прѳголосъ особыя пѣсни. Теперь этого обычая нигдѣ не соблюдаютъ, но—по старой памяти—кое-гдѣ еще ставится на особицу, въ полѣ первый снопъ захватывается съ поля въ избу, гдѣ и помѣщается на сутки въ „большой кутъ“, подъ образа. Возвратившись съ работы изъ поля, хозяйка поспѣшно собираетъ ужинъ, приготовленный заранѣе. Садятся за столъ православные и начинаютъ угощаться толокномъ, замѣшеннымъ на кисломъ молокѣ („деженъ“), да овсянымъ киселемъ или блинами. „Ондреянъ толокно мѣсилъ, Наталья блины пекла!“—приговариваетъ хозяйка.—„Спасибо за сладкій деженъ, за сытые блины!“—вставая изъ-за стола, обращаются къ ней угощавшіеся:—„А нѣтъ-ли еще грешневой

кашки?“—„Грешневая не выросла, не хотите-ли березовой!“—отвѣчаетъ она смѣшливымъ ребятамъ-подросткамъ, убирая со стола. Съ этого дня толокно долго не уходитъ изъ домашняго обихода запасливыхъ хозяевъ. „Въ овсяной покосъ—толокномъ пàужинай!“—говорятъ они, на красныя словца не скупяся: „Скорое кушанье толокнó—замѣси да и въ ротъ понеси!“, Хвалился пестъ, что толокно ѣстъ!“, „Толокномъ Волги не замѣсишь!“, „Поѣлъ пестъ толокна, да не хвалитъ: нынче толокно, завтра толокно, все одно—прискучитъ и оно!“, „Было-бы толоконце, а толокоппички-то всегда найдутся!“ и т. д.

27-го августа—„Двое Пименовъ съ Анфисой òбъ-руку стоятъ, къ Саввѣ-скирднику навстрѣчу вышли!“ На Савву-скирдника (28-го августа) зачинаютъ-починаютъ по степнымъ мѣстамъ убирать послѣдній сжатый хлѣбъ въ скирды. Поставить скирды для мужика-хлѣбороба—дѣло привычное, не трудное. „У хорошаго хозяина—копна со скирдой споритъ, а у лежебока—скирдёшка съ копёнку!“, но—„Въ хорошіе люди попасть—не скидерку скласть!“. „Псковичъ—Савва (псковскій чудотворецъ) скирды справитъ, на умъ направитъ!“ Обычай класть скирды въ каждой мѣстности—свой, наособицу. 29-го августа—„Иванъ-Постный“,—день, посвященный Православной Церковью воспоминанію объ усѣкновеніи честныя главы св. Іоанна, Крестителя Господня.

За Иваномъ-Постнымъ—Александръ Невскій. Объ этомъ благовѣрномъ князѣ, русскомъ святомъ, ходитъ по православной Руси не мало сказаній народныхъ. Въ одномъ изъ нихъ, записанномъ въ Орловской губерніи, повѣствуется о побѣдахъ св. Александра Невскаго [68]). Пѣснотворецъ-стихо-

[68]) Вел. кн. Александръ Ярославовичъ, прозванный—за свои побѣды надъ шведами на берегахъ Невы—Невскимъ и сопричтенный Православной Церковью къ лику ея святыхъ, былъ вторымъ сыномъ вел. князя Ярослава Всеволодовича. Онъ родился 30 мая 1220 года, занималъ престолъ великокняжескій (Владимірскій) съ 1252 года. До вступленія на столъ Мономаховъ, онъ былъ княземъ Новогородскимъ. На его долю выпалъ подвигъ охранять родную Русь отъ воинственныхъ набѣговъ шведовъ, ливонскихъ нѣмцевъ и литовцевъ въ то самое время, когда остальная Русь стонала подъ напоромъ татарскаго нашествія. 5-е апрѣля 1242 года—день самой славной битвы кн. Александра: знаменитаго „Ледового побоища“, нанесшаго тяжкій уронъ сѣверо-западнымъ врагамъ народа русскаго. Послѣ смерти отца (въ 1246 г.) онъ проявилъ въ отношеніяхъ къ татарскимъ ханамъ политическую мудрость. Послѣднимъ дѣломъ св. Александра Невскаго было выхлопотанное имъ освобожденіе русскаго народа отъ повинности выставлять для татарскихъ полчищъ военные отряды. Кончина благовѣрнаго князя, стяжавшаго себѣ память заступника Земли Русской, послѣдовала 14-го ноября 1263 г. Онъ скончался на пути изъ Золотой Орды—въ Городцѣ Волжскомъ—и былъ погребенъ во Владимірѣ. Мощи св.

сказатель погрѣшилъ въ этомъ пѣсенномъ сказѣ, и не мало, противъ строгой, запечатлѣнной въ лѣтописяхъ, правды, но остался вполнѣ вѣренъ исконному русскому духу.

„Ужъ давно то христіанская вѣра во Россеюшку взошла, какъ и весь-то народъ русскій покрестился во нее, покрестился, возмолился Богу Вышнему“,—начинается этотъ сказъ. Далѣе приводятся слова, которыми русскій народъ-сказатель „возмолился“:

„Ты создай намъ, Боже,
Житье мирное, любовное;
Отжени ты отъ насъ
Враговъ пагубныхъ;
Ты пошли на нашу Русь
Счастье многое!.“

Повѣствованіе продолжается со спокойствіемъ лѣтописи: „И слышалъ Богъ молитвы своихъ новыхъ христіанъ: надѣлялъ онъ ихъ счастіемъ многимъ своимъ. Но забылся народъ русскій, въ счастіи живя: онъ сталъ Бога забывать, а себѣ-то гибель заготовлять. И наслалъ Богъ на нихъ казни лютыя, казни лютыя, смертоносныя: онъ наслалъ-то на Святую Русь нечестивыхъ людей, нечестивыхъ людей - татаръ крымскіихъ“... Война всегда казалась мирному народу-пахарю „смертоносной казнью“, хотя въ лихія годины и поднимался онъ весь отъ мала до велика на защиту родины. „... и двинулось погано племя отъ сѣвера на югъ“,—ведетъ свою повѣсть безвѣстный сказатель: „какъ сжигали-разбивали грады многіе, пустошили-полонили земли русскія. Добрались-то они до святаго мѣста, до славнаго Великаго Новгорода“... Эти слова указываютъ на сѣверное—новгородское—происхожденіе приводимаго сказанія. „Но въ этомъ-то градѣ жилъ христіанскій народъ: онъ молилъ и просилъ о защитѣ Бога Вышняго. И вышелъ на враговъ славный новгородскій князь, новгородскій князь Александръ Невскій. Онъ разбилъ и прогналъ нечестивыхъ татаръ; возвратившись съ войны, онъ во иноки пошелъ, онъ за святость своей жизни угодникомъ Бога сталъ“... За этимъ, особенно погрѣшающимъ лѣтописной правдѣ, мѣстомъ сказанія слѣдуетъ моленіе, съ которымъ, по слову сказателя, „притекаютъ грѣшніи народы“ ко св. Александру Невскому: „Ты, угодникъ Божій, благовѣрный Александръ! Умоляй за насъ Бога Вышняго, отгоняй отъ насъ враговъ пагубныхъ!

Александра Невскаго открылись въ 1380-мъ году. Въ 1724-мъ году, по волѣ Императора Петра I-го, они были перенесены въ Петербургъ, гдѣ до сихъ поръ почиваютъ въ Троицкой церкви Александро-Невской лавры.

И мы тебя прославляемъ: слава тебѣ, благовѣрный Александръ, отнынѣ и до вѣка!“ На томъ сказъ и заканчивается.

За Александровымъ—Купріяновъ день (31-е августа). Собираютъ на этотъ день журавли свое первое вѣче на болотинѣ, въ лѣсной чащѣ: уговоръ держатъ—какимъ путемъ-дорогою на теплыя воды летѣть. Купріяновъ день—канунъ сентября. А „батюшка-сентябрь не любитъ баловать“: вѣтры-„сиверы“ со полуночи дуютъ.

XXXIII.

Первый Спасъ.

Первое августа—день, на который приходится церковный праздникъ Происхожденія Честныхъ Древъ Креста Господня, слыветъ у насъ подъ именемъ „Перваго Спаса“. Это—одинъ изъ послѣднихъ лѣтнихъ—предосенніхъ праздниковъ народной Руси, изстари вѣковъ привыкшей начинать съ этого дня, благословясь, первый посѣвъ озимого хлѣба. „Первый Спасъ—первый сѣвъ!“—гласитъ изъ темной глубины старинныхъ пословицъ простонародная мудрость: „До Петрова дни взорать, до Ильина—заборонить, на Спасъ—засѣвать!“ и продолжаетъ въ томъ-же родѣ: „Спасъ—всему часъ!“, „Спасовъ день покажетъ, чья лошадка обскачетъ (т.-е.—кто во-время, и даже раньше другихъ сосѣдей, уберется въ полѣ)!“. Приведенныя пословицы, пріуроченныя къ Первому Спасу, ясно показываютъ, что этотъ день должно считать однимъ изъ такъ называемыхъ земледѣльческихъ праздниковъ. Эти праздники съ древнѣйшихъ временъ справлялись всѣми народами, „сидѣвшими на землѣ“—по образному выраженію русскихъ лѣтописцевъ. Такъ, еще у евреевъ—въ ветхозавѣтную пору ихъ жизни—существовалъ „праздникъ жатъ первородныхъ и седмицъ“; у древнихъ египтянъ, грековъ и римлянъ были установлены свои подобныя празднества; древніе германцы и нѣкоторые другіе народы совершали особые торжественные обряды—какъ по окончаніи жатвы, такъ и при началѣ сѣва. Нечего уже говорить о племенахъ славянскихъ, едва-ли не тѣснѣе всѣхъ связанныхъ въ своемъ быту съ матерью-землею: у нихъ праздники эти не отжили своего времени и до сихъ поръ. Августъ-мѣсяцъ встарину весь былъ посвященъ бо-

гамъ полей: Даждьбогу и Велесу—у русскихъ, Святовиду—у балтійскихъ славянъ. Этимъ милостивымъ божествамъ и приносилась, всегда приблизительно на Первый Спасъ, благодарственная жертва: испеченный на первомъ выломанномъ изъ лучшаго улья меду громадный хлѣбъ-пряникъ изъ первой ржаной муки новаго урожая.

Русскій народъ издавна былъ не только хлѣбопашцемъ, но и пчеловодомъ. Первый Спасъ у него не только „первый сѣвъ", но „Спасъ медовый". Въ этотъ день до сихъ поръ посельская-попольная Русь ломаетъ первый медъ на пчельникахъ. „На Первый Спасъ и нищій медку попробуетъ!"—говоритъ пословица, и молвится она не мимо. Утро перваго августа начинается у пчеловода на пасѣкѣ. Онъ старательно осматриваетъ, осѣняясь крестнымъ знаменіемъ, всѣ свои ульи, выбирая среди нихъ самый богатый по медовому запасу. Облюбовавъ улей, онъ „выламываетъ" изъ него соты и, отложивъ часть ихъ въ новую, не бывшую въ употребленіи, деревянную посудину, несетъ въ церковь. Послѣ обѣдни священникъ выходитъ къ паперти—благословлять „новую новину" отъ вешнихъ и лѣтнихъ трудовъ пчелы, „Божьей работницы", и начинаетъ святить принесенные соты. Дьячокъ собираетъ въ заранѣе приготовленныя корытца „попову долю". Часть освященнаго меда раздѣляется тутъ-же нищей братіи, поздравляющей пчеловодовъ съ Первымъ Спасомъ — медовымъ. А затѣмъ бо́льшая половина этого праздника проходитъ у заботливаго хозяина возлѣ пчелъ: до вечерней зари идетъ по пчельникамъ горячая работа. Вечеромъ обступаетъ каждый пчельникъ толпа ребятъ и подростковъ съ чашечками, а то и просто съ сорванными по близости широкими лопухами репейника, въ рукахъ. Это—охотники до сластей, пришедшіе получить отъ особенно тороватыхъ въ этотъ день пчеловодовъ свою „ребячью долю". Цѣлый годъ ждетъ деревенская дѣтвора Перваго Спаса,—знаетъ, что не обнесутъ ея, не обдѣлятъ въ этотъ медовый праздникъ ни на одномъ пчельникѣ. Недаромъ говорится: „Спасовка—лакомка". Медолю́бъ щедрой рукою накладываетъ ребятамъ ихъ „долю" изъ особаго корытца, куда соскребались имъ изъ выламываемыхъ ульевъ обломки сотовъ. А разлакомившіеся ребята причитаютъ—ведутъ голосомъ:

„Дай, Господи, хозяину многія лѣта,
Многія лѣта—долгіе годы!
А и долго ему жить—Спаса не гнѣвить,
Спаса не гнѣвить, Божьихъ пчелъ водить,

Божьихъ пчелъ водить, ярый воскъ топить—
Богу на свѣчку, хозяину на прибыль,
Дому на приращеніе,
Малымъ дѣтушкамъ на утѣшеніе.
Дай, Господи, хозяину отца-мать кормить,
Отца-мать кормить, малыхъ дѣтушекъ ростить,
Уму-разуму учить!
Дай, Господи, хозяину со своей хозяюшкой
Сладко ѣсть, сладко пить,
А и того слаще на бѣломъ свѣтѣ жить!
Дай, Господи, хозяину многія лѣта!"

На слѣдующій день послѣ Перваго Спаса пчеловодъ начинаетъ заботиться объ ограбленной имъ пчелѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ съ этихъ поръ всѣ цвѣты становятся бѣднѣе „взиткóмъ", такъ что приходится изрѣдка подставлять къ ульямъ въ корытцахъ „сыту" (медовую жижу, сильно разбавленную водою) на прокормъ Божьей работницѣ.

Съ Петрова дня до Перваго Спаса кипитъ въ поляхъ страдная бабья работа, не кончающаяся даже и съ наступленіемъ августа. Но ни въ какое другое время не водится столько хороводовъ, не поется такъ много пѣсенъ, какъ въ эту рабочую пору: вечерами—чуть не до утренней зорьки—вся молодая деревня поетъ-заливается.

Русская народная пѣсня... Въ ней—могучей, раздольно-глубокой—болѣе чѣмъ гдѣ-бы то ни было, развертывается духовная сила народа-пахаря—стихійная сила: мощный подъемъ духа, широкій размахъ замысла, неудержимое стремленіе къ свободному проявленію жизни сердца... Пѣсня—сердце народа. Въ біеніи этого сердца слышится все, что веселитъ-радуетъ, что гнететъ-томитъ народную душу. Въ пѣснѣ народа—и торжественный кликъ его счастья, и заунывный стонъ его вѣковѣчнаго горя. Честь и слава собирателямъ этого неоцѣнимаго богатства народнаго, поклонъ имъ до сырой земли! Заслуга ихъ передъ родиной тѣмъ безмѣрнѣе, что намъ приходится стоять чуть не на могилѣ то величественныхъ, то веселящихъ душу, то щемящихъ сердце пѣсенъ, вымирающихъ смолкающихъ день-ото-дня все больше и больше—въ своемъ отступленіи передъ побѣдоноснымъ шествіемъ въ народную Русь заводскихъ-фабричныхъ „частушекъ", лишенныхъ не только всякой красоты но—порою—и простой осмысленности. Не такъ страшенъ этотъ безсмысленный врагъ, когда грамотность можетъ возвратить народу его „сердце"-пѣсню—въ ея первобытной, неискаженной чуждыми наслоеніями, красотѣ.

Послѣ Перваго Спаса не слышно уже ни одной пѣсни; съ самаго начала Успенскаго поста и до осеннихъ покровскихъ свадебъ, особенно обильныхъ въ хлѣбородные веселые годы, молчатъ всѣ деревенскіе пѣвуны голосистые.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ на Первый Спасъ устраиваются такъ называемыя „сиротскія и вдовьи пòмочи“. Работа пòмочью—работа за угощеніе. Грѣхъ работать во всякій праздникъ, по убѣжденію народа, но не въ тотъ день, который сама старина стародавняя окрестила именемъ „перваго сѣва“. Тѣмъ болѣе не считается грѣхомъ праздничная работа—„вдовья пòмочь“, на которую сходятся по большей части послѣ обѣдни, до обѣда. „На вдовій дворъ хоть щепку кинь!“—гласитъ завѣтъ старыхъ, стоявшихъ ближе къ Богу, людей, связывавшихъ съ этимъ изреченіемъ другое: „Съ міру по ниткѣ—голому рубаха!“ Съ сиротъ и вдовъ многаго не спроситъ помогающій людъ за работу на Первый Спасъ; бываетъ даже и такъ, что не только поможетъ имъ „міръ“, а и самъ нанесетъ въ избу всякихъ припасовъ. „Не нами уставлено—не нами и кончится!“—замѣчаетъ деревенская Русь объ этомъ, вызванномъ сердобольностью, обычаѣ и на-распѣвъ приговариваетъ:

„Ты—за себя,
Мы—за тебя,
А Христовъ Спасъ—
За всѣхъ насъ!“

Съ Перваго Спаса начинаютъ собирать макъ. Потому-то въ иныхъ мѣстностяхъ и называютъ этотъ праздникъ „Маковеями“. Съ этого-же дня народный сельскохозяйственный дневникъ, записанный рукою природы въ памяти старожиловъ, совѣтуетъ бабамъ защипывать горохъ, а мужикамъ—готовить гумна. Деревня твердо помнитъ, что́ ей нужно дѣлать съ перваго дня августа: „Отцвѣтаютъ розы—падаютъ рóсы!“—говоритъ она.—„Съ Перваго Спасá и роса хороша!“, „Защипывай горохъ!“ „Готовь гумна!“ „Паши подòзимь, сѣй озимь!“, „Заламывай соты!“ и т. д. Въ этотъ-же день изстари ведется въ народѣ святить новые колодцы. „Царица-водица—царь-огню сестрица!“—величаетъ воду простодушный богатырь-пахарь и относится въ ней едва-ли съ меньшимъ чувствомъ уваженія, чѣмъ къ дару Божію, хлѣбу. Умышленно засорить чужой, а тѣмъ болѣе общественный, колодецъ считается немалымъ грѣхомъ.

Блѣднѣютъ къ этой порѣ лѣсные и полевые цвѣты, отцвѣтать принимаются. Пчела мало-по-малу перестаетъ добывать

свой медовый „взятóкъ“. Зато, къ Первому Спасу, на соблазнъ деревенской дѣтворы, все еще алѣетъ въ лѣсу малина. „Первый Спасъ: Авдотьи малиновки, доспѣваетъ малина!“—говорятъ въ деревнѣ. Съ Ильина дня до этого праздника вода въ рѣкѣ успѣваетъ настолько похолодѣть, что на него въ послѣдній разъ лошадей купаютъ. И крестьянинъ твердо увѣренъ въ томъ, что, если послѣ этого дня выкупать лошадь, то она не переживетъ предстоящей зимней стужи: „кровь застынетъ“.

Любимая птица русскаго простонародья—домовитая ласточка, по старинной примѣтѣ, наканунѣ этого дня въ послѣдній разъ облетаетъ деревню. Съ Перваго Спаса у ней забота: объ отлётѣ „за сине-море, на теплыя воды“. И хотя это на дѣлѣ далеко не всегда подтверждается, но почти всюду можно услышать въ народѣ повѣрье, что ласточки отлетаютъ „въ три раза, въ три Спаса“ (1-го, 6-го и 16-го августа). Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, послѣ обѣдни па Первый Спасъ, даже сбѣгается за околицу деревенская дѣтвора—„просить касатокъ“. Затѣваются веселыя игры на луговинѣ, во время которыхъ нѣсколько сторожевыхъ зорко слѣдятъ: не пролетитъ-ли изъ деревни ласточка. За первою-же случайно вылетѣвшей на сборище щебетуньею—ребята всей гурьбою бросаются и бѣгутъ съ припѣвами въ-родѣ слѣдующаго, записаннаго въ с. Ртищевой Каменкѣ Симбирскаго уѣзда:

„Ласточка-касатка!
А гдѣ-жъ твоя матка?
Гдѣ твои братцы,
Гдѣ твои дѣтки,
Гдѣ-жъ твои сестрицы?
Испей Спасовой водицы!
Улетать—не отлетай,
До Спожинокъ доживай!“

И, обрадованная повстрѣчавшеюся летуньей, дѣтвора возвращается въ деревню—увѣренная, что ласточка-касатка и впрямь послушается уговоровъ, не покинетъ деревни до самыхъ „Спожинокъ“ („Госпожинокъ“ „Дожинокъ“), т.-е. до Третьяго Спаса, когда во всѣхъ поляхъ дожинается самый послѣдній снопъ. „Ласточка весну начинаетъ—осень накликаетъ!“ по старинной народной поговоркѣ.

Первый день послѣдняго лѣтняго мѣсяца въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ отмѣчается „проводами лѣта“, устраиваемыми всѣми дѣвушками и парнями молодыми, также за околицею, на „выгонѣ“, или въ лугахъ, за рѣчкою (послѣднее—чаще). Ве-

селая толпа молодёжи, съ пѣснями, несетъ наряженную въ сарафанъ и кокошникъ куклу, сдѣланную изъ новой соломы, и топитъ ее въ рѣчкѣ, или, разрывая на клочки, пускаетъ ихъ по-вѣтру. Впрочемъ, проводы лѣта въ большинствѣ мѣстностей пріурочиваются къ болѣе позднему времени—къ „бабьему лѣту“, приходящемуся на первую половину сентября, и только въ очень немногихъ совершаются на Первый Спасъ медовый.

День перваго августа вызываетъ въ пытливой памяти любителей и знатоковъ родной старины стародавней яркую, обвѣянную умиленнымъ чувствомъ могучаго народа, картину. Не въ памятникахъ простонароднаго творчества не въ изустныхъ сказахъ-бывальщинахъ, хранимыхъ внуками-правнуками пѣснотворцевъ-сказателей, дошло до нашихъ дней представленіе объ этой картинѣ, оживляющей воскрешающей красную страницу самобытнаго житья-бытья давнихъ дѣдовъ-прадѣдовъ; дошло оно въ лѣтописномъ словѣ—вѣрномъ непогрѣшимой жизненной правдѣ. Былъ-прозывался Первый Спасъ на Святой Руси, во времена царей московскихъ, и „Происхожденьевымъ днемъ“: какъ и теперь—праздновался на него праздникъ Происхожденія Честныхъ Древъ Животворящаго Креста Господня, начинающій собою двухнедѣльный Успенскій постъ. Видывала Москва Бѣлокаменная два-три вѣка тому назадъ „зрѣлище лѣпое“, привлекавшее къ себѣ всѣхъ насельниковъ первопрестольнаго города, отъ мала до велика.

Богомольные царскіе выходы съ древнѣйшихъ временъ являлись одною изъ самоважнѣйшихъ сторонъ обихода государева на Святой Руси. Каждый большой праздникъ ознаменовывался ими. И давалась этимъ желанная для царелюбиваго народа возможность лицезрѣнія государева. Гости-послы иноземные, оставившіе въ наслѣдіе нашимъ днямъ описаніе своихъ „путешествій въ Московію“, свидѣтельствуютъ о томъ, что являлъ себя „царь государь всеа Русіи“ въ несказанномъ великолѣпіи. Это свидѣтельство подтверждается и всѣми русскими лѣтописными памятниками, говоря такимъ образомъ о нелицепріятіи заѣзжихъ чужеземцевъ, „въ книжномъ описаніи зѣло искусившихся“. Сохранилась точная роспись: на какой праздникъ, въ какомъ нарядѣ и съ какою свитой „выходитъ“ вѣнценосному богомольцу. На одни, главнѣйшіе, полагался особый „большой нарядъ царскій“—платно-порфира, шапка-корона царская, бармы-діадимы, наперстный крестъ съ перевязью, жезлъ—вмѣсто посоха. На другіе—„малый“: съ посохомъ, вмѣсто жезла, и безъ бармъ; на третьи

— „выѣздной“, еще менѣе блистательный. Но всегда выходъ,— кромѣ „тайныхъ“, когда царь шелъ въ „смирной“ одеждѣ,— былъ великолѣпенъ и возносилъ передъ глазами народа санъ царскій на высоту недосягаемую.

Въ праздникъ Происхожденія Честныхъ Древъ Животворящаго Креста Господня совершался въ Москвѣ особый крестный ходъ на воду. Принималъ въ этомъ ходѣ непосредственное участіе и царь-государь. Въ канунъ Спасова заговѣнья, вечеромъ 31-го іюля, съ Евдокимова дня на Первый Спасъ, изволилъ онъ совершать выѣздъ въ Симоновъ монастырь; осчастлививъ его своимъ посѣщеніемъ—слушалъ вечерню, а поутру 1-го августа стоялъ заутреню. Здѣсь, напротивъ монастыря, на Москва-рѣкѣ устроивалась „іордань“— какъ и въ день Богоявленія. Возводилась надъ водою сѣнь на четырехъ столбахъ изукрашенныхъ—съ „гзмызомъ“ (карнизомъ) въ роспись красками и златомъ-серебромъ, увѣнчанная золоченымъ крестомъ. По угламъ іордани изображались святые евангелисты, извнутри нея—апостолы Господни и другіе святители. А кромѣ этого убиралось все возведенное сооруженіе цвѣтами, птицами, листьями—впрозолоть, впрозелень, впросинь и впрокрась, на всю цвѣтную пестрядь. Подлѣ іордани устраивались два „мѣста“—государево (въ видѣ круглаго храма пятиглаваго) и патріаршее. Царское мѣсто утверждалось на пяти точеныхъ столбцахъ позолоченыхъ и было росписано травами, рѣзьбою пріукрашено да слюдяными круглыми рамами защищено; одна рама—въ два затвора—за дверь была; стояло царское мѣсто на пяти золоченыхъ яблокахъ и задергивалось извнутри вокругъ тафтяной завѣсью. Огораживались царское съ патріаршимъ мѣста раззолоченой рѣшеткою; весь помостъ вокругъ нихъ застилался алымъ сукномъ. Въ положенное время, подъ звонъ колокольный съ сорока-сороковъ московскихъ, изволилъ шествовать царь-государь, въ предшествіи хода крестнаго, съ боярами по бокамъ, въ сопровожденіи прочихъ людей служилыхъ—стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ, дьяковъ, „солдатскаго строю генераловъ“, стрѣлецкихъ полковниковъ, всей прочей свиты въ золотныхъ кафтанахъ и приказныхъ людей нижнихъ чиновъ. Все пространство по Москва-рѣкѣ пестрѣло полками стрѣлецкими и солдатскими,—въ ратномъ строю, въ цвѣтномъ платьѣ и со знаменами, съ барабанами, подъ оружіемъ. Видимо-невидимо, несмѣтныя тысячи люда московскаго окаймляли все это. Государь выходилъ на воду, становился съ патріархомъ на свои мѣста посреди сонма духовнаго и служилыхъ чиновъ московскихъ. Одновременно начиналось

торжественное освященіе воды. Власти духовныя приближались къ вѣнценосному богомольцу и къ патріарху, въ очередь подходили, „по степенямъ", по двое въ рядъ,—подойдя, били поклоны уставленные. Всѣ, начиная съ царя-государя, получали изъ патріаршихъ рукъ зажженныя свѣчи.

Дѣйство Происхожденія начиналось погруженіемъ Животворящаго Креста. По прочтеніи молитвъ, по положенію, царь—съ ближними боярами о-бокъ—сходилъ въ іордань. Былъ государь на этомъ выходѣ въ обычномъ ѣздовомъ платьѣ; но—передъ погруженіемъ въ воду—возлагалъ на себя святые кресты съ нетлѣнными мощами. А возлагались на царя-государя въ Происхожденьевъ день, при этомъ, по словамъ разрядныхъ записей, слѣдующія святыни: „Крестъ золотъ, Петра чудотворца, на немъ образъ Спасовъ рѣзной стоящей, посторонь образа Пречистыя Богородицы да Іоанна Богослова, позади Архангелъ Михаилъ. Въ головѣ камень яхонтъ червчатъ. Сорочка бархатъ червчатъ же. Крестъ и около креста низано большимъ жемчугомъ. Крестъ золотъ сканной, въ серединѣ Распятіе Господне навожено финифтью, посторонь четыре святыхъ рѣзныхъ навожено финифтью, назади мученикъ Евсегней, посторонь святые: во главѣ изумрудъ, да около креста 28 жемчужковъ, а въ серединѣ креста 12 жемчужковъ да 8 камушковъ въ гнѣздахъ. Крестъ золотъ: во главѣ образъ Спаса Нерукотвореннаго, въ серединѣ Распятіе Господне чеканное да два яхонта да двѣ лалы. Около креста и главы обнизано жемчугомъ, кафимскимъ въ одно зерно. Назади подпись, мощи святыхъ; у головы въ закрѣпкѣ два зерна жемчужныхъ, сорочка бархатъ коришной цвѣтъ. Крестъ и слова низано жемчугомъ".

Дѣйство Происхожденія совершалось и не только подъ Симоновымъ московскимъ монастыремъ. По-временамъ переносилось совершеніе его въ нѣкоторыя подмосковныя села—вотчины государевы: то въ Коломенское на Москва-рѣкѣ, то на Яузу—въ Преображенское. И отовсюду спѣшилъ православный людъ московскій въ эти мѣста на желанное лицезрѣніе государево, гонимый туда стремленіемъ—увидѣвъ „свѣтлоясныя очи царскія", пріобщиться къ свидѣтелямъ благочестиваго погруженія отягченнаго святынями самодержца во іордань, по обычаю предковъ, благовѣрныхъ исполнителей преданія святоотческаго, византійской христіанскою старины завѣщаннаго, привившагося ко гнѣзду Святой Руси съ давнихъ временъ. Строго-на-строго запрещалось—отъ приказныхъ—подавать на этомъ дѣйствѣ державному совершителю его какія-либо жалобныя челобитныя: должно было не-

усыпно блюсти служилому люду святъ-покой государевъ. Но, если кому-нибудь выпадало счастье привлечь на себя свѣтлый взоръ зоркихъ очей царевыхъ да поднять надъ головою грамату съ челобитьемъ своимъ,—попадало челобитье, помимо всѣхъ приказовъ, въ руки самому царю на правый судъ прозорливый, на милость неизреченную. И не было тогда отказа челобитчику ни въ чемъ праведномъ-справедливомъ. Когда царь-государь изволилъ выходить изъ воды и, сложивъ съ себя святыни, окруженный ближними боярами, переоболокался въ сухое платно, слюдяныя окна царскаго мѣста задергивались алымъ сукномъ. Затѣмъ, царь являлъ себя народу, прикладывался ко кресту, принималъ патріаршее благословеніе. Духовенство кропило въ это время освященною, „іорданской", водою войска и знамёна. Когда шествіе—съ царемъ и патріархомъ во главѣ—двигалось отъ мѣста совершенія дѣйства, многіе присутствующіе изъ людей православныхъ тѣснились къ іордани, гдѣ особо приставленные приставà разливали желающимъ святую воду въ посудины чистыя. Во дворецъ государевъ и на царицыну половину отправлялись двѣ стопы серебряныхъ съ этой водою.

Подъ гулкій звонъ колоколовъ со всѣхъ церковныхъ раскатовъ—возвращался вѣнценосный богомолецъ въ свои палаты, исполнивъ завѣщанное благочестивыми предками, доставивъ этимъ лишній случай своего лицезрѣнія всей Бѣлокаменной, свято хранившей преданія отцовъ и дѣдовъ. А подъ Симоновымъ монастыремъ собиралось народное гулянье чинное, безъ глумотворства всякаго, безъ пѣсни—утѣхи народной. Памятовалъ людъ честнóй, что за Первымъ Спасомъ—Происхожденьевымъ днемъ—Успенскій постъ идетъ. Провожали лѣтній мясоѣдъ на происхожденскомъ гуляньѣ не виномъ-зеленымъ, не пьяною брагой хмѣльною, а медами сотовыми, квасами стоялыми да сладкой-спѣлою малиной-ягодою.

XXXIV.

Спасъ-Преображенье.

Преображеніе Господне, празднуемое въ шестой день августа-мѣсяца, именуется на Руси „Вторымъ Спасомъ". Народъ называетъ этотъ праздникъ также „Спасъ-Преображеньемъ", добавляя къ нему еще прозвище „Спаса-яблочнаго", потому что къ этому времени поспѣваютъ сладкія-румяныя яблоки садовыя. Деревенская Русь до сихъ поръ считаетъ грѣхомъ ѣсть до Второго Спаса какіе-нибудь плоды. Вторая половина присловья „Петровка—голодовка, Спасовка—лакомка" относится и къ этому Спасу въ той-же мѣрѣ, какъ и къ первому—„медовому".

Въ старые годы народился на Руси и въ нѣкоторыхъ живущихъ прадѣдовскимъ бытомъ деревенскихъ уголкахъ сохранился до послѣднихъ дней добрый обычай, вызвавшій собою на свѣтъ изъ устъ народа изреченіе: „На Второй Спасъ и нищій яблочкомъ разговѣется!". Въ старую старь всѣ русскіе садоводы „приношивали въ храмы плоды для освященія", и эти плоды изъ рукъ священника раздавались всѣмъ прихожанамъ. Всѣ бѣдняки надѣлялись въ этотъ день яблоками — отъ щедротъ имѣющихъ собственные сады: больные получали яблочную розговѣнь у себя на дому. Кто не исполнялъ этого установленнаго вѣковымъ преданіемъ обычая, тотъ считался за человѣка „недостойнаго общенія". Старые люди, особенно крѣпко придерживающіеся всего завѣщаннаго народу былыми умудренными опытомъ поколѣніями, говаривали о такихъ не радѣющихъ о сердобольной старинѣ хозяевахъ-садоводахъ: „А не дай-то, Боже, съ ними дѣла имѣть! Забылъ онъ стараго и сираго, не

удѣлилъ имъ отъ своего богачества малаго добра, не призрилъ своимъ добромъ хвораго и бѣднаго!" Обычай освященія яблокъ въ день Преображенія Господня сохранился на Руси повсемѣстно. До сихъ поръ—и въ городахъ, и въ селахъ—всюду можно видѣть у поздней обѣдни на этотъ праздникъ прихожанъ съ принесенными для освященія яблоками. „Спасовымъ яблочкомъ" послѣ обѣдни разговляются въ семьѣ каждаго садовода, почитающаго завѣты предковъ. Молодежь держится, при этомъ, обычая загадывать о своей судьбѣ: желаніе, задуманное въ ту минуту, когда проглатывается первый кусочекъ Спасова яблочка, должно—по старинному повѣрью—непремѣнно исполниться. Въ деревняхъ красныя дѣвушки приговариваютъ, разговляясь на Второй Спасъ яблоками: „Что загадано—то надумано! Что надумано—то сбудется! Что сбудется—не минуется!" И все-то, все у нихъ на умѣ думки-думушки о суженыхъ-ряженыхъ...

Со Второго Спаса начинаютъ по садамъ снимать яблоки. Еще за нѣсколько дней зоркимъ хозяйскимъ глазомъ осматривается весь яблочный урожай. Благочестивые люди въ урожайные годы приглашаютъ отъ обѣдни церковный причтъ—помолиться въ саду. Поднимается икона Преображенія Господня, благоговѣйно несется хозяевами-садоводами; подъ зеленою, чуть начинающею желтѣть, сѣнью деревьевъ служится благодарственный молебенъ. Затѣмъ, приступаютъ къ спѣшной работѣ, несмотря на то, что день—праздничный. „Время не ждетъ",—говоритъ хозяйственная забота,—„всему—свой часъ!" И впрямь опасно сидѣть деревнѣ, сложа руки, на Спасъ-Преображенье, — надо помнить, что къ этому празднику не только яблоки, но и яровые хлѣба, доспѣваютъ. Не за горами — и ненастные дни осенніе. „Послѣ Второго Спаса дождь—хлѣбогной!",—какъ-же не спѣшить съ уборкою хлѣбовъ крестьянину? Торопится онъ со съемкою яблокъ еще и потому, что недаромъ говорится: „Во-время убрать—во время продать".

Наканунѣ Спасъ-Преображенья въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ происходитъ въ деревняхъ заклинаніе сжатыхъ полей, или точнѣе—„заклинаніе жнивы". Это дѣлается для того, чтобы нечистая сила не поселилась на жнивѣ и не выжила съ пажитей скотъ, осеннимъ пастбищемъ котораго будутъ пустѣющія послѣ сноповоза поля. Рано поутру, вмѣстѣ съ бѣлою зорькой, выходятъ на поля знающіе всякое словцо старые люди и приговариваютъ, обращаясь лицомъ къ востоку: „Мать-Сыра-Земля! Уйми ты всяку гадину нечистую отъ приворота, оборота и лихого дѣла!" По произношеніи этихъ словъ, обе

регающихъ, по мнѣнію знахарей, поля отъ козней темной силы, заклинатели поливаютъ землю конопляным масломъ изъ принесенной стекляной посудины. Это является несомнѣннымъ пережиткомъ старинной языческой умилостивительной жертвы. Затѣмъ, они оборачиваются къ западу и произносятъ: „Мать-Сыра-Земля! Поглоти ты нечистую силу въ бездны кипучія, въ смолу горючую!“ Снова возливается масло на лоно земное, и снова раздаются слова заклинанія, обращенныя на этотъ разъ къ югу: „Мать-Сыра-Земля! Утоли ты всѣ вѣтры полуденные со ненастью, уйми пески сыпучіе со мятелью!“ Эти слова сопровождаются новымъ возліяніемъ, послѣ чего—обратившись къ сѣверу—заклинатели изрекаютъ заключительную часть своеобразной полуязыческой молитвы: „Мать-Сыра Земля! Уйми ты вѣтры полуночные со тучами, содержи морозы со мятелями!“ Стклянка съ масломъ, вслѣдъ за этими словами, бросается со всего размаха на-земь и разбивается. Существуетъ повѣрье, что сила этого заклинанья —произносимаго (не въ полномъ видѣ) и при первомъ выгонѣ скота на подножный кормъ весенній,—дѣйствительна всего только на одинъ годъ, и должно повторять его каждое лѣто наканунѣ Второго Спаса. Этотъ суевѣрный обычай выводится, однако, даже въ самыхъ глухихъ уголкахъ деревенской Руси; недалеко то время, когда онъ останется только на однѣхъ страницахъ изслѣдованій, посвященныхъ старинному быту русскаго народа.

Всѣ дни, начиная отъ Перваго Спаса—до Спасъ-Преображенья, запечатлѣны въ народномъ представленіи особыми примѣтами. Такъ, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ еще сохранился исчезающій, подобно приведенному заклинанію, обычай поить 2-го августа лошадей „черезъ серебро“. Это сопровождается соблюденіемъ слѣдующихъ условій. Лошадей, въ послѣдній разъ выкупанныхъ на Первый Спасъ, приводятъ на другое утро къ колодцу, бросаютъ въ него серебряный пятачокъ, зачерпываютъ воды, опускаютъ въ бадью другой, „завѣтный“, пятачокъ и поятъ коня-пахаря. Исполненіемъ этого обычая думаютъ умилостивить Домового, продолжающаго послѣ этого по доброму—по хорошему хозяить въ дому. Напоенныя въ этотъ день черезъ серебро лошади—„добрѣютъ и не боятся лихого глаза“. Монета, опускаемая въ бадью, должна, скрытно ото всѣхъ домашнихъ и тѣмъ болѣе—постороннихъ, храниться въ конюшнѣ подъ тѣми яслями, изъ которыхъ ѣстъ сѣно напоенная по только-что описанному обряду лошадь. При соблюденіи этого условія дворъ по народному повѣрью, ограждается, отъ конскаго падежа.

Если 3-го августа дуетъ вѣтеръ съ южной строны и кружатся по дорогѣ пыльные вихри, то многовѣковой опытъ суевѣрнаго люда ожидаетъ въ идущую за наступающей осенью зиму большихъ снѣговъ. Было время, когда—лѣтъ сорокъ тому назадъ—въ этотъ день выходили на перекрестки „допрашивать вихорь о зимѣ“. Этотъ допросъ былъ обставленъ чисто-языческими обрядностями. Допрашивавшій долженъ былъ захватить съ собой ножъ и пѣтуха. Какъ только начинала виться на перекресткѣ пыльная воронка, гадатель вонзалъ ножъ въ середину ея, держа въ это время кричавшаго пѣтуха за голову. Затѣмъ, производился самый допросъ „летучаго духа полуденнаго“. По преданію, вихрь отвѣчалъ на задаваемые ему вопросы. Все предсказанное имъ сбывалось съ замѣчательной точностью,—какъ продолжаетъ утверждать и теперь русское простонародное суевѣріе, не осмѣливающееся, впрочемъ, болѣе и бесѣдовать съ глазу-на-глазъ съ „духомъ полуденнымъ“.

„Со Спасъ-Преображенья—погода преображается!“ — говорятъ въ деревнѣ и повторяютъ старую, подходящую къ этому случаю, поговорку: „Пришелъ Второй Спасъ—бери рукавицы про запасъ!“ И, впрямь, если все еще дышатъ лѣтомъ краснымъ августовскіе ясные дни, то изукрашенныя яркою звѣздной розсыпью темнымъ-темныя ночи—послѣ 6 го августа—повѣваютъ осеннимъ холодкомъ, воочію показывающимъ, что,—какъ говоритъ народъ,—„Дѣло-то идетъ къ Покрову, а не къ Петрову (дню)“.

Вечеромъ на Спасъ-Преображенье въ Новгородской и сосѣднихъ уѣздахъ другихъ губерній въ старые годы собирался хороводъ молодежи, направлявшейся за околицу—въ поле. Здѣсь на пригоркѣ, съ котораго видно на далекое пространство всю окружающую мѣстность, молодежь дѣлала остановку и принималась слѣдить за близкимъ къ закату солнцемъ-коротая время въ веселой-шумливой бесѣдѣ. Какъ-только сол, нышко красное начнетъ, бывало, опускаться за черту растилающагося кругозора, собравшіеся прекращали смѣхъ-говоръ, и хороводъ степенно запѣвалъ:

„Солнышко, солнышко, подожди!
Пріѣхали господа-бояре
Изъ Велика-де Новагорода
На Спасовъ день пировать.
Ужъ и вы-ли, господа-бояре,
Вы, бояре старые, новогородскіе!
Стройте пиръ большой

Для всего міра крещонаго,
Для всей братіи названной!
Строили господа-бояре пиръ,
Строили бояре новогородскіе
Про весь крещоный міръ.
Вы сходитеся, люди добрые,
На великъ-званый пиръ;
Есть про васъ медъ, вино,
Есть про васъ яства сахарная.
А и вамъ, крещоный міръ,
Бьемъ челомъ и кланяемся!"

Это „провожавшая солнце" пѣсня хотя и повѣствовала о „большомъ пирѣ", но и сама звучала чѣмъ-то не особенно идущимъ къ веселью, связанному съ вполнѣ опредѣленнымъ понятіемъ о русскихъ пирахъ.

Настроеніе пѣснотворца-народа, дышащаго однимъ дыханіемъ съ природою и ея стихіями, на Спасъ-Преображенье, словно провожаетъ красно-солнышко не только на закатъ, но и на зимній покой. А въ его знойныхъ лучахъ ощущается какъ-разъ въ эти дни уборки хлѣбовъ съ поля такая настоятельная нужда для всей посельщины-деревеньщины, пашущей, засѣвающей и поливающей своимъ трудовымъ потомъ родныя нивы. До „Спожинокъ"—еще болѣе недѣли. Потому-то и обращается народъ въ своей пѣснѣ къ согрѣвающему землю и нѣдра земли прекрасному, щедрому на дары, свѣтилу съ мольбою: „Солнышко, солнышко, подожди!".

XXXV.

Спожинки.

На переломѣ августа (15-го числа), въ день Успенія Пресвятой Богородицы, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ слѣдующій за нимъ день перенесенія образа Спаса Нерукотвореннаго, народъ русскій справляетъ третій и послѣдній изъ своихъ предосеннихъ земледѣльческихъ праздниковъ—„Спожинки“, именуемый иначе Успеньевымъ днемъ, а также слывущій и за „Третій Спасъ“. До Успенья полагается, по установившемуся въ незапамятные годы обычаю, успѣть дожать послѣдній снопъ въ озимомъ полѣ. Потому-то, по объясненію однихъ знатоковъ простонародной старины, и называется этотъ день „Спожинками-дожинками“; другіе-же народовѣды ведутъ его названіе отъ „Госпожи“, т.-е. „Владычицы“ (Богородицы), и величаютъ его инымъ, подслушаннымъ въ другихъ мѣстностяхъ, именемъ—„Госпожинки“.

„Спожинать“—кончать жатву, дожинать хлѣбъ. „У насъ уже спожали!“, „И у насъ спожинаютъ (дожинаютъ послѣдки)!“—говорятъ въ народѣ, встрѣчаясь на Успеніе Пресвятой Богородицы. Въ этотъ день кончается двухнедѣльный Успенскій постъ, во время котораго деревня, живущая „на землѣ“, должна „успѣть“ въ полѣ. Къ Успеньеву дню „поспѣваетъ все слѣтье“, послѣ него начинаются „осенины“, и дѣло не на шутку идетъ къ зимѣ. Время съ 15-го по 29-е августа слыветъ подъ названіемъ „молодого бабьяго лѣта“ (настоящее—начинается съ 1-го сентября). По стародавнему народному изреченію—„Съ Успенья солнце засыпается!“, а потому и говоритъ деревенскій опытъ, что „До Успенья пахать—лишнюю копну нажать!“, и добавляетъ при этомъ: „Озимь

сѣй за три дня до Успенья да три дня послѣ Успенья!" Народная примѣта, предостерегающая пахаря отъ запаздываній съ полевыми работами, только въ рѣдкихъ случаяхъ не оправдывается и на дѣлѣ.

„Хорошо, если — Спасъ на полотнѣ (праздникъ Нерукотвореннаго Образа Іисуса Христа), а хлѣбушко — на гумнѣ!"—говорятъ на деревенской Руси. Спожинки—„послѣдній снопъ дожинаютъ" и у самыхъ неторопливыхъ хозяевъ. А у хорошихъ хлѣборобовъ,—если у нихъ самихъ засилье не беретъ,—устраивается въ этотъ день веселый сноповозъ—„дружной помочью", за посильное-хлѣбосольное угощеніе по праздничному.

Ѳ. М. Истоминымъ[69]) въ 1893-мъ году, въ Костромской губерніи (с. Холкино, Новоуспенской волости, Ветлужскаго уѣзда), записана довольно любопытная въ бытовомъ отношеніи „помочанская" пѣсня, помѣщенная въ изданномъ на Высочайше дарованныя средства сборникѣ „Пѣсни русскаго народа, собранныя въ губерніяхъ Вологодской, Вятской и Костромской":

„Ты хозяинъ нашъ, ты хозяинъ,
Всему дому господинъ!
Наварилъ, сударь, хозяинъ,
Пива пья-пьянова про насъ!
Накурилъ, сударь, хозяинъ,
Зеленова, братцы, вина!
Намъ не дорого, хозяинъ,
Твое пиво и вино!
Дорога, сударь да хозяинъ,
Пиръ-бесѣда со гостьми!
Во бесѣдушкѣ, хозяинъ,
Люди добрые сидятъ,
Басни ба-баютъ, разсуждаютъ,
Рѣчь хорошу говорятъ"...

Въ такихъ трогательныхъ словахъ величаютъ гости-помочане, праздничные работнички, своего „хозяина", честь-

[69]) Ѳедоръ Михайловичъ Истоминъ, современный изслѣдователь быта русскаго народа и собиратель пѣсенъ, родился въ гор. Архангельскѣ въ 1856-мъ году. По образованію онъ—питомецъ с-петербургскаго университета (историко-филологич. факульт.) Съ 1883 года онъ былъ секретаремъ этнографическаго отдѣла Русскаго Географическаго Общества и участвовалъ въ нѣсколькихъ этнографическихъ экспедиціяхъ. Въ настоящее время онъ состоитъ секретаремъ Пѣсенной Коммиссіи, учрежденной на средства, пожертвованныя Государемъ Императоромъ—по почину покойнаго Государственнаго Контролера, выдающагося знатока русскаго народнаго слова, Т. И. Филиппова.

честью, по заведенному дѣдами-прадѣдами обычаю, угощающаго ихъ за помочь-работу.

На Спожинки,—тамъ, гдѣ къ этому времени заканчивается жатва,—по деревнямъ устраиваютъ „мірскую складчину“, варятъ „братское пиво“ и пекутъ праздничные пироги изъ новой муки. На пирушки созываются всѣ родные и добрые сосѣди—„пировать Успеньщину“. Въ урожайные годы въ этотъ день колютъ купленнаго на мірскія деньги барана. Встарину въ этотъ день крестьяне собирались гурьбою на боярскій дворъ, гдѣ и праздновалось окончаніе жатвы, сопровождаясь особыми, пріуроченными къ тому, обрядами. Жницы обходили всѣ дожатыя поля и собирали оставшіеся несрѣзанными колосья. Изъ послѣднихъ свивался вѣнокъ, переплетавшійся полевыми цвѣтами. Этотъ вѣнокъ надѣвали на голову молодой красивой дѣвушкѣ и затѣмъ всѣ шли, съ пѣснями, къ господской усадьбѣ. По дорогѣ толпа увеличивалась встрѣчными крестьянами. Впереди всѣхъ шелъ мальчикъ съ послѣднимъ сжатымъ снопомъ въ рукахъ. На крыльцо хорѝмъ выходилъ бояринъ съ боярынею и съ боярышнями и приглашалъ жницъ во дворъ, принимая вѣнокъ и снопъ, которые послѣ этого и ставились въ покояхъ подъ божницею. Угостившись на боярскомъ дворѣ, толпа расходилась по домамъ. На старой Смоленщинѣ до сихъ поръ замѣтны пережитки этого обычая На Успенье красныя дѣвушки рядятъ тамъ „дожиночный“ снопъ въ сарафанъ, придѣлываютъ къ нему изъ палокъ подобіе рукъ и надѣваютъ на него бѣлую кичку, а затѣмъ и несутъ „имянинника“ въ помѣщичью усадьбу, гдѣ и напрашиваются пѣснями на угощеніе, во все продолженіе котораго снопъ-имянинникъ стоитъ на столѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и въ наши дни существуетъ обычай обвязывать послѣдними колосьями серпы и класть ихъ—на Третій Спасъ—подъ иконами. Среди бѣлоруссовъ справляется въ этотъ день такъ называемая „Талáка“ (тоже, что и „Спожинки“). Этимъ именемъ называютъ дѣвушку, выбранную для перенесенія праздничнаго снопа въ деревню. „Талàку“ убираютъ цвѣтами: на голову ей накидывается большой бѣлый платокъ, поверхъ котораго надѣвается вѣнокъ изъ колосьевъ. Веселая толпа жницъ идетъ по улицѣ съ пѣснями.

„Добры вечеръ, Талака,
Да возьми-жъ адъ насъ, вазьми-но
Житный ты снапокъ;
Да надзѣнь-же, надзѣнь-но
Зъ красками прыгожъ вѣнокъ!“—

—голосятъ всѣ идущіе. Встарину навстрѣчу имъ выбѣгалъ кто-нибудь изъ работниковъ съ барскаго двора—съ приглашеніемъ отъ господъ зайти во дворъ. Здѣсь встрѣчали гостей хлѣбомъ-солью и принимали отъ нихъ дожиночный снопъ. Гостямъ предлагалось угощеніе: „Талаку“ сажали въ почетный „красный“ уголъ подъ образа. Пирушка кончалась тѣмъ, что чествуемая всѣми дѣвица-красавица снимала съ себя вѣнокъ и отдавала его хозяину—съ пожеланіемъ, чтобы у того народилось „жытца, жытца сто коробовъ“... Нѣчто напоминающее указанный обычай можно было наблюдать въ этотъ день не только во многихъ другихъ губерніяхъ, но и въ зарубежныхъ славянскихъ земляхъ.

Во многихъ мѣстностяхъ, дожинаючи послѣдній снопъ наканунѣ Успеньева дня, замаявшіяся-уморившіяся на лѣтней страдѣ жницы катаются по жнивью, голося-приговаривая:

„Жнивка, жнивка!
Отдай мою силку:
На пестъ, на колотило,
На молотило,
На кривое верстено!“

Этимъ надѣются онѣ набраться новой силы для дальнѣйшихъ—осеннихъ и зимнихъ—бабьихъ работъ. На возвращающихся съ „дожинокъ“ бабъ и дѣвушекъ поджидающіе ихъ у деревенской околицы молодые парни выливаютъ ведра воды. Иногда при этомъ поется какая-нибудь подобающая случаю пѣсня—въ-родѣ, напримѣръ, слѣдующей:

„Пошелъ колосъ на ниву,
На бѣлую пшеницу.
Уродися на лѣто,
Рожь съ овсомъ,
Со дикушей,
Со пшеницею:
Изъ колосу—осьмина,
Изъ зерна—коврига,
Изъ полузерна—пирогъ.
Родися, родися,
Рожь съ овсомъ!“

По народной примѣтѣ, соблюденіемъ этого стариннаго, завѣщаннаго отцами-дѣдами, обычая обезпечиваются плодотворные дожди на будущія весну и лѣто.

Послѣ обѣдни на Успенье, въ селахъ поднимаются образа. Крестный ходъ направляется къ полю. Здѣсь, на широ-

кой межѣ, поется благодарственный молебенъ Божіей Матери, Госпожѣ полевыхъ злаковъ. Если нѣтъ во время этого молебна ни вѣтра, ни дождя, то предполагается, что вся осень будетъ ведреная и тихая,—что̀ совсѣмъ не лишнее для „досѣвокъ", сноповоза и молотьбы—сыромолотомъ. „Хорошо, когда Спасъ на полотнѣ (16-е августа), а хлѣбушко—на гумнѣ!"—гласитъ старая деревенская поговорка.

На „Большую Пречистую"—въ праздникъ Успенія Пресвятой Богородицы—посельская-деревенская Русь привыкла святить новый хлѣбъ. Это происходитъ за обѣдней, когда каждый добрый хозяинъ приноситъ съ собою въ церковь свѣжеиспеченный коровай новаго хлѣба. До возвращенія съ нимъ изъ церкви, дòма никто не ѣстъ ни крохи: всѣ дожидаются „свячонаго куска". Разговляются на этотъ день прежде всего хлѣбомъ. Остатокъ коровая тщательно завертывается въ чистую холстину и кладется подъ образа. Кусочками его „пользуютъ" болящихъ, твердо вѣря въ цѣлебную силу этого „Божьяго благословенія". Считается большимъ грѣхомъ уронить хотя-бы малую крошку отъ такого коровая на полъ, а тѣмъ болѣе—растоптать ее ногами.

На сѣверѣ принято подавать за праздничный столъ на Успеньевъ день „дѐженъ" (толокно). Бабы ѣдятъ его, похваливаютъ и ведутъ бесѣду о прошедшемъ жнитвѣ. Дѣвушки поютъ въ Успеньевъ вечеръ, за толокномъ-дѐженемъ, приличныя случаю пѣсни. А старые старики прикидываютъ-подсчитываютъ („по суслóнамъ") собранный урожай. Дѣтвора̀ до поздней ночи шумитъ въ этотъ день у заваленокъ, проводя время за веселыми играми, перемежающимися звонкими-дробными припѣвами. Заливаются-звенятъ, по всей деревнѣ разносятся молодые голоса:

„Дожа̀ли, дòжили,
Оспожинки встрѣтили,
Коровая пòчали,
Толокна процвѣдали,
Гостей угостили,
Богу помолили!
Хлѣбушко, рости!
Времячко, лети, лети—
До новой весны,
До новаго лѣта,
До новаго хлѣба!.."

Съ Успеньева рóзговѣнья начинаются по деревнямъ осенніе „посидѣлки", „засидки", „бесѣды". Время не ждетъ: до

Покрова только-только успѣть молодежи досидѣться до свадебъ. Принято не засылать и сватовъ раньше какъ черезъ двѣ недѣли послѣ Спожинокъ. А извѣстно изстари, что „первый сватъ—другимъ дорогу кажетъ". Потому-то и начинаютъ деревенскія красавицы засматривать себѣ жениховъ послѣ Успенья. „Съ Успеньщины не успѣешь присмотрѣть—зиму тебѣ въ дѣвкахъ просидѣть!"—увѣщаетъ красную дѣвушку народная мудрость устами старой пословицы, взявшейся изъ крестьянскаго быта, тѣсно связаннаго съ полевыми работами и твердо памятующаго, что: „На бѣломъ Божьемъ свѣтѣ всему—свой часъ".

На Третій Спасъ соблюдается до сихъ поръ сохранившееся обыкновеніе загадывать о посѣвѣ. Изъ „дожиночнаго снопа",—о которомъ велась рѣчь выше,—берутся три колоса. Вылущенныя изъ нихъ зерна, изъ каждаго наособицу,—зарываются въ землю на примѣченномъ укромномъ мѣстѣ. Если раньше и лучше всѣхъ взойдутъ зерна перваго колоса—значитъ, лучшій урожай дастъ въ будущемъ году ранній сѣвъ; если зерна второго—средній, третьяго—поздній. Въ Тульской губерніи передъ Спожинками старые люди ходятъ на́-воду и наблюдаютъ за теченіемъ. Если рѣки, озера и болота не волнуются вѣтромъ, и лодки стоятъ спокойно,—то примѣта говоритъ, что осень будетъ тихая и зима пройдетъ безъ мятелей.

Отъ Спожинокъ, дожинающихъ послѣдній снопъ, рукой, что называется, подать и до „Досѣвокъ". Какъ уже упоминалось выше, народный опытъ отводитъ на окончаніе озимого сѣва всего три дня послѣ Успенья. Къ восемнадцатому августовскому дню хорошій хозяинъ долженъ бросить послѣднюю горсть жита въ землю. О запоздавшихъ лѣнивцахъ, оправдывающихся своимъ недосугомъ, въ народѣ говорятъ: „До Фролова дня (18-го августа) сѣютъ ретивые, послѣ Фролова—лѣнивые!" и „Кто сѣетъ рожь на Фроловъ день, у того родятся одни Фролки."

Калики-перехожіе разносятъ по Святой Руси переходящія изъ устъ въ уста старинныя пѣсни, былины и „стихи". Этихъ убогихъ странниковъ кормитъ ихъ пѣніе—на усладу люду православному. Много стиховъ поютъ бѣдные носители народнаго пѣснотворчества, мало-по-малу исчезающіе съ лица родной земли подъ шумъ и гулъ иныхъ—новыхъ, имѣющихъ мало общаго съ творчествомъ,—пѣсенъ. Недалеки тѣ дни, когда отъ этихъ „птицъ Божіихъ" останется въ народѣ только одно преданіе о ихъ странствіяхъ. Есть нѣсколько народныхъ стиховъ духовныхъ, про Успеніе, записанныхъ въ разныхъ мѣстностяхъ Святой Руси.

Одинъ изъ этихъ „сказовъ“ начинается слѣдующимъ пѣсеннымъ воззваніемъ къ Богоматери:

„Госпоже Дѣво Царице,
Маріе Богородице!
Поемъ Тя, хвалимъ Тя велегласно,
Въ пѣснехъ красно,
Чудесъ море пресвятое,
Въ Гепсиманской веси сокрытое!“

Затѣмъ, послѣ приведенной вступительной запѣвки, безвѣстный стихослагатель, переходитъ къ повѣствовательной сторонѣ стиха. „Ты, Гепсимани, столица“, — съ простодушнымъ умиленіемъ поетъ онъ,—„въ тебѣ устнула Царица. Была весь малая зѣло красна, а днесь благодарно: се Дѣвица, голубица, се Мати, всѣхъ царей Царица. Когда Ти, Дѣво-устнула, ликъ апостольскій вжаснула, ангеловъ множество пѣснь спѣвали, гдѣ взимали душу чисту Іисусъ Христу, отъ земли къ небеси провождали. Тогда апостоли не были, облакомъ съ конецъ слѣтили, спѣшились на погрѣбъ, не медлячи, голосячи, на погребъ той Дѣвы Святой, Маріи устнувшой, Дѣвы Пречистой. Ѳома въ Индіи провождалъ время, на погребъ Дѣвы спознился, а потомъ, приспѣвши, зѣло рыдалъ и припадалъ къ гробу лицемъ, жалилъ сердцемъ, что Дѣвы устнувшой не оглядалъ. Аѳоній (языческій жрецъ-волхвователь) одръ хотѣлъ струтити, волшебствомъ умѣлъ ходити, никтоже бо не видѣ отъ земна рода. Но воевода съ мечемъ (архангелъ) власно предста вжасно,—Аѳоній безъ рукъ является; народъ многъ тогда здвигнуся, ликъ апостольскій вжаснуся, Аѳоній Царицу всѣхъ прославлялъ и повѣдалъ, что Дѣвица голубица, се Мати всѣхъ царей и Царица“... Повѣствованіе обрывается, и стихопѣвецъ снова-преображается во вдохновеннаго молитвенника, взывая:

„И мы Тя, Дѣво, взираемъ,
Лица зрѣнія желаемъ,
Даждь и намъ Тя, Панно, оглядати,
Божія Мати,
Непремѣнно, благоговѣйно,
Сподоби въ небеси царствовати!“

Стихъ заканчивается, какъ и начался, благоговѣйнымъ прославленіемъ Богоматери: „Ты есть царская одежда, во скорбехъ нашихъ надежда, Ты—скиптро царская, Ты—корона, оборона, сохраняти, свобождати, отъ враговъ покрый насъ, О, Божія Мати!..“ Наименованіе Пресвятой Дѣвы

„Панною“ (въ предзаключительной молитвенной части) явно свидѣтельствуетъ о западно-русскомъ происхожденіи приведеннаго народнаго стиха духовнаго.

Другой стиховный сказъ начинается такой запѣвкою:

„Апостоли съ конца свѣта
Собравшася вси для совѣта.
О, Дѣвице, Твое Успеніе,
Пріими наше хваленіе
И подажь намъ радованіе!
Отецъ свыше призираетъ,
Сынъ Матери руцѣ даваетъ...“

Этотъ довольно неуклюжій „стихъ“ можно и теперь еще слышать въ сельской глуши у церковныхъ папертей въ день Успенія Пресвятой Богородицы. Послѣ обѣдни калики-перехожіе идутъ своимъ путемъ-дорогою, останавливаясь подъ окнами справляющихъ „Спожинки“ семьянъ. Умилительно звучитъ въ ихъ устахъ полународная, полукнижная, своеобразно размѣренная, стихотворная рѣчь:

„Раю небесный, отворися,
Марію пріяти потщися,
Въ красно-свѣтлыя своя вселя двóрѣ,
Юже радостно срѣтаютъ Силъ соборы,
Яко невѣсту
Божію чисту...
. . . . . .
О, Маріе, красота дѣвства!“

Этотъ торжественный напѣвъ странниковъ такъ подходитъ къ праздничному настроенію пахарей, справляющихъ благополучное окончаніе одного изъ главнѣйшихъ своихъ земледѣльческихъ трудовъ.

XXXVI.

Иванъ-Постный.

На двадцать девятый день августа-мѣсяца („густаря-соберихи“) выпадаетъ чествованіе памяти усѣкновенія честныя главы Іоанна Предтечи, Крестителя Господня. Въ народной Руси съ этимъ днемъ, слывущимъ за „Ивана-Постнаго“, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прозывающимся „Иваномъ-Полѣткомъ“ (полѣтнимъ) связаны любопытные обычаи, поговорки, повѣрья и сказанія, ведущіяся съ незапамятныхъ дней старины стародавней, богатой не одними могучими богатырями, оберегавшими рубежъ Земли Русской отъ вора-нахвальщины, но и мѣткимъ, до самаго „нутра“ всякой вещи проникающимъ, словомъ краснымъ.

„Нужда и въ Великъ-День (на Свѣтло-Христово-Воскресенье) постится!“, — говорятъ въ народѣ: „Попоститься да и воду спуститься!“... Но блюдетъ держащаяся святоотческихъ преданій попольная-посельская Русь каждый день постный, положенный по уставу церковному. „Постъ — къ душеспасенью мостъ!“ — убѣдительно заявляетъ она предъ слухомъ маловѣрныхъ, повторяющихъ, кивая съ укоризненнымъ взглядомъ на постниковъ, старыя поговорки: „Постное ѣдимъ, да скоромное суесловье отрыгаемъ!“, „Постъ не мостъ, — можно и объѣхать!“, „Всѣ посты блюдемъ-постимся, а никуда не годимся!“ и т. д. „Успенскій постъ Спожинками разрѣшается!“ — гласитъ сѣдое народное слово. Чуть-только успѣютъ пройти съ успенскихъ розговѣнъ двѣ недѣли — четырнадцать сутокъ, какъ осенній мясоѣдъ переламывается уже днемъ строгаго поста — нерушимаго, по исконному вѣковому обычаю крѣпко державшихся за вѣковые устои старины, благо-

честивыхъ-богомольныхъ дѣдовъ-прадѣдовъ: „Иваномъ-Постнымъ".

Самое обиходное имя на Руси — Иванъ. На деревнѣ „Ивановъ — что грибовъ поганыхъ!"—говоритъ народъ.—„Дядя Иванъ—и людямъ, и намъ!"... „Шестьдесятъ два Ивана святыми живутъ".—подводитъ онъ счетъ одноименнымъ угодникамъ Божіимъ, не расходясь ни на пядь съ точнымъ указаніемъ святцевъ, и начинаетъ перечислять: „Иванъ-Богословъ", „Иванъ - Златоустъ", „Иванъ - Постный", „Иванъ - Купала", „Иванъ-Воинъ", заканчивающій Святки и начинающій свадьбы „Иванъ-Бражникъ" (7-го января), „Иванъ-Долгій" (8-го мая) и т. д. „Поститель-Иванъ".—какъ говорится въ деревенскомъ быту. — „дѣлитъ мясоѣдъ пополамъ", хотя это выраженіе, напоминающее о „Филипповкахъ" (Рождественскомъ постѣ), и погрѣшаетъ въ немалой степени противъ истины: до Филиппова заговѣнья (14-го ноября) еще цѣлыхъ два съ половиною мѣсяца — засѣвающій поля дождями, окутанный туманомъ сентябрь - листопадъ - грудень, октябрь - назимникъ да двѣ сыплящихъ снѣгомъ недѣли ноября-„листогноя-студеная". Не длиненъ постъ „Иванъ - Постный", всего въ двадцать четыре часа онъ обходитъ весь свѣтлорусскій просторъ, а памятуетъ о немъ и обо всѣхъ приуроченныхъ къ нему благочестивыхъ обычаяхъ вѣрный боголюбивой старинѣ народъ русскій не менѣе, чѣмъ объ Успеньщинѣ - Госпожинкахъ, или Филипповкахъ. — „Иванъ-Постный обыденкой живетъ, да всеё матушку - Русь на посту держитъ!" — можно и теперь еще услышать въ среднемъ Поволжьѣ, въ этой кондовой-коренной Велико-Руси, старую молвь народную. „Поститель - Иванъ— постъ внукамъ и намъ!". „Иванъ-Постный не великъ, а передъ нимъ и Филипповъ постъ — куликъ!". „Кто на Ивана, Крестителя Господня, скоромь жретъ—тотъ въ рай не попадетъ!"—добавляетъ она, приговаривая: „На Постнаго Ивана вся скоромь мертвымъ узломъ затянута (запрещена)!". „Не соблюдешь Иванъ-постъ, прищемишь въ аду хвостъ!". „Кто Ивану - Крестителю не поститъ — за того и самъ набольшій попъ грѣховъ не умолитъ!"

На Ивана-Постнаго не ѣстъ деревенская Русь, по преданію, ничего круглаго. Памятуя, что въ этотъ, на-особицу стоящій въ православномъ мѣсяцесловѣ, день чествуется праведная - страдальческая кончина Предтечи - Господня, не только не вкушаетъ честной людъ православный ничего круглаго, но даже и щей не варитъ, такъ какъ капустный кочанъ напоминаетъ ему своимъ видомъ отсѣченную голову. На Предтечу не рубятъ капусты, не срѣзываютъ мака, не

копаютъ картофеля, не рвутъ яблокъ и даже не берутъ въ руки ни косаря, ни топора, ни заступа, чтобы не оскорбить этимъ поступкомъ священной памяти пріявшаго отъ меча мученическую кончину великаго пророка Божія, принесшаго грѣшному міру благую вѣсть о грядущемъ на его спасеніе Христѣ—Свѣтѣ Тихомъ, Учителѣ Благомъ.

„Постъ—въ рай мостъ!"—по мудрому изреченію во всякой старинѣ свѣдомыхъ старыхъ людей, хотя изъ ихъ-же умудренныхъ опытомъ устъ, вѣщей птицею вылетѣли на Русь слова: „Послушаніе паче поста и молитвы!", или „Послушаніе—корень смиренія!". Говоря о постахъ и о связанномъ съ ними въ его представленіи „послушаніи - смиреніи", народъ выводитъ заключеніе, что—„Кто всѣ посты постится, за того всѣ четыре Евангелиста!", но тутъ-же спѣшитъ прибавить: „А кто и на Ивана-Постнаго скороми не ѣстъ — тому самъ Истинный Христосъ помога!" Этимъ изреченіемъ придается дню 29-го августа особое значеніе, ставящее память Крестителя Господня на высоту, недосягаемую взору грѣшниковъ, нарушающихъ постановленія отцовъ Церкви и не соблюдающихъ святоотческихъ преданій.

Съ Ивана - Постнаго осень считается на деревенской Руси вступившею во всѣ свои неотъемлемыя права. „Иванъ-Постный — осени отецъ крестный!" — говорятъ въ народѣ: „Съ Постнаго - Ивана не выходитъ въ поле мужикъ безъ кафтана!", „Иванъ-Предтеча гонитъ птицу за море далече!", „Иванъ-Постителъ пришелъ, лѣто красное увелъ!". Съ „Иванъ-поста" мужикъ осень встрѣчаетъ, баба свое — бабье—лѣто начинаетъ. Бабѣ,—по деревенской поговоркѣ примѣтливой—„съ Ивана-Постнаго послѣднее стлище на льны". „Если журавли съ Ивана-Крестителя на Кіевъ (на югъ) пошли-потянули—будетъ короткая осень, придетъ нежданно-негаданно ранняя зима.

За двое сутокъ до сентябрьскаго Семена - дня (память святого Симеона - Лѣтопроводца) идетъ Иванъ-Постный — полѣтовщикъ. Въ старые-прежніе годы подводились къ этому дню всѣ счета по наймамъ на Москвѣ Бѣлокаменной и во многихъ другихъ городахъ русскихъ. Высчитывалась къ Иванъ-посту всякая полѣтняя плата, собирались полѣтнія дани, сбивался оброкъ съ каждаго тягла, „полѣтнымъ грамотамъ" (договорамъ) конецъ приходилъ. Если поднимались цѣны на рабочія руки, то можно было услышать среди трудового люда слова: „Нынѣшній Иванъ-Постный—добрыя полѣтки!". Когда - же плата начинала падать, то рабочій народъ сокрушенно повторялъ, призадумываясь надъ предстоящей

зимою: „Прошлое слѣтье—невпримѣръ скоромнѣе, полѣтокъ того-гляди весь мужичій годъ на Великъ-Постъ сведетъ!“ и т. п. Съ деньгой-копѣйкою трудовой, лѣтнимъ страднымъ потомъ заработанною, русскій хлѣборобъ, — не только чужому горбу работникъ, но и вольный пахарь, — встарину становился къ полѣтнему дню, Иванъ-Постному. Смѣтливый глазъ купца-торгаша, деньгороба разсчетливаго, не могъ не запримѣтить этого,—почему и устраивались 29-го августа ярмарки-однодневки, „ивановскіе торги“, по многимъ городамъ и пригородамъ, по селамъ-весямъ святорусскимъ. Велся торгъ не только всякою обиходной снѣдью-рухлядью, но и различными приманчивыми товарами гостиными, про которые сложились къ этому случаю поговорки: „На Иванъ-Постнаго въ карманѣ скоромная копѣйка шевелится!“, „На Ивановъ торгъ и мужикъ идетъ, и баба зарится!“, „Краснѣ лѣто работой, а Иванъ-Полѣтокъ—красными товарами да бабьими приглядами!“ Пережиткомъ старины доживаютъ свой вѣкъ и въ наши дни обычныя въ нѣкоторыхъ губерніяхъ (преимущественно—поволжскихъ) ивановскія ярмарки. Но на нихъ, по большей части, идетъ торгъ предметами домашняго крестьянскаго обихода да лошадьми, да огурцами („въ засолъ“), да медомъ съ вощиною, да щепнымъ и скобянымъ товаромъ. И нѣтъ на этихъ постныхъ торгахъ ни особаго разгула веселаго, ни угарнаго похмѣлья шумливаго, какъ это всегда бываетъ объ ярмарочную пору, когда, заодно съ карманомъ, развязывается у мужика-простоты и языкъ—на крѣпкое словцо тороватый, распоясывается и душа широкая, удержу себѣ не знающая, съ каждой чаркою зелена-вина шире дорогу своей волѣ-удали прокладывающая. „Пей, купецъ, на Иванъ-торгу квасъ да воду, закусывай пирогами ни съ чѣмъ!“—говоритъ краснословъ-народъ по этому случаю, —говоря, приговариваетъ: „Никто съ поста не умираетъ!“, „Съ поста не мрутъ, съ обжорства дохнутъ!“, „Кто пьетъ-зашибается не въ пору—распухнетъ съ гору!“, „На Постника-Ивана не пригубь больше одного стакана!“ Мелкаго краснаго товара, къ слову молвить,—и теперь попрежнему не искать-стать на постномъ ивановскомъ торгу,—гдѣ они ведутся въ день усѣкновенія честныя главы Іоанна Предтечи, Крестителя Господня. Ситцы, плисъ, миткаль, платки —на каждомъ сельскомъ базарѣ—тутъ какъ тутъ, а съ ними—и ребячья радость: всякіе заѣдки-гостинцы, пряники, орѣхи, маковники. Ходятъ, какъ и въ старую старь, между наскоро сколоченными торговыми ларями-палатками крикливые квасники, тороватые пирожники, калачники-саечники,

продавцы щедро сдабриваемыхъ постнымъ масломъ гречушниковъ, сбитеньщики и вся другая шевелящая мужицкую-торговую копѣйку братія, оживляющая торгъ своими разноголосыми выкриками. Играютъ-шумятъ мѣстами и балаганы, несмотря на то, что Ивановъ торгъ—постный: гдѣ-же и зашибить грошъ скоромохамъ-потѣшникамъ („тоже пить-ѣсть умѣютъ!"), какъ не на скопищѣ звенящаго копѣйкой, нетребовательнаго на вкусъ, не скупящагося на смѣхъ, деревенскаго люда... „Смѣхъ—не грѣхъ",—говоритъ русскій народъ-простодумъ: „а коли и грѣхъ—такъ меньшой изо всѣхъ!", „Смѣхомъ слезу не перешибить, такъ весь свой вѣкъ во кручинѣ прожить, счастья-радости вѣкъ не нажить!"

„На Ивана-Постнаго—хоть и постъ, да разносолъ!"—оговаривается убравшаяся съ полевыми работами деревня черноземной-хлѣбородной полосы. И впрямь, есть чѣмъ угостить—даже строго придерживающемуся завѣтовъ старины—хлѣбосольному домохозяину гостей званыхъ-прошеныхъ въ этотъ постный полѣтній праздникъ, приходящійся во многихъ селахъ престольнымъ-храмовымъ днемъ. Вмѣсто запретнаго круглаго пирога—загибаетъ въ этотъ день „праздничная" хозяйка долгій. Начинка найдется знатная: грибы-грузди, грибы-масленики, грибы-рыжики, которыхъ передъ этимъ временемъ и въ лѣсу, и въ залѣсьи хоть лопатой сбирай да граблями огребай. Кромѣ грибовъ,—идущихъ на похлебку, и на закусь-заѣдку, — всякой ягоды въ пироги можно завернуть: и костяники, и голубики, и черники, и брусники, и смородины. Въ огородѣ—свекла съ морковью, рѣдька-ломтиха найдутся хозяйкѣ на подмогу, гостямъ на угощенье. Овсяный кисель,—не говоря уже объ ягодномъ,—тоже мимо стола не проносится, хоть-бы и въ праздникъ: особливо, если къ нему сусла-пива да сыты медовой поставить. Знаютъ деревенскія хозяйки, что и „кулáгой" (пареное соложоное тѣсто съ калиною,—мѣстами зовется „саламатою")—тоже не побрезгаютъ гости. „Кулажка—не бражка!"—приговариваютъ онѣ, подавая эту лакомую стряпню съ погреба послѣ сытнаго постнаго обѣда,—„упарена-уквашена, да не хмѣльна, ѣшь въ вволю!". Ждутъ—не дождутся кулаги малые ребята: всѣ вѣдь они—кулáжники-сластёны зазнамые. Съумѣетъ деревня и постный праздникъ справить по заведенному, честь-честью,—въ грязь лицомъ не ударить въ тѣ годы, когда Богъ мужика урожаемъ благословитъ за труды праведные. „Не до праздника, не до гостей, когда не только въ церкви, а и на гумнахъ—Иванъ-Постный!" — оговаривается старая молвь крылатая. „Не бойся того поста, когда въ закромахъ нѣтъ пуста! Страшенъ—

мясоѣдъ, когда въ амбарѣ жита нѣтъ!", „Въ годъ хлѣбородный—постъ не голодный!", „Господь хлѣбца уро́дитъ—и съ поста брюхо не подводитъ!"—повторяетъ деревня, въ потѣ лица, по слову Господню, вкушающая хлѣбъ свой.—для которой каждый урожайный годъ составлялъ истинное благословеніе Божіе даже и въ тѣ далекія, затемненныя язычествомъ, времена, когда русскій пахарь-народъ молился не Троицѣ единосущной и нераздѣльной, а Перуну, Велесу, Даждьбогу и всѣмъ другимъ обожествленнымъ силамъ всемогущей матери-природы.

Въ старыя времена, до двадцатыхъ годовъ XIX-го столѣтія,—соблюдался въ народной, богатой обычаями, Руси слѣдующій праздничный обрядъ торжественный, пріурочивавшійся непосредственно ко дню 29-го августа. Собиралась-сходилась—по нарочитому зову—молодежь со всего села къ околицѣ. Приносилась туда—заранѣе кѣмъ-нибудь изъ старыхъ людей наканунѣ приготовленная—глиняная, одѣтая въ холщевый саванъ, кукла: безъ малаго въ ростъ человѣческій. Особенностью этой куклы было то, что она дѣлалась безъ головы. Эту безголовую куклу поднимали двѣ молодыхъ дѣвушки и бережно, въ благоговѣйномъ молчаніи, несли на рукахъ впереди толпы къ рѣкѣ, гдѣ на самомъ крутомъ берегу, останавливались и клали свою ношу наземь. Вся толпа начинала причитать надъ куклою, какъ надъ дорогимъ и близкимъ ей покойникомъ. Причиталось — особыми причетами, не сохранившимися, къ сожалѣнію, ни въ записяхъ нашихъ бытовѣдовъ, ни даже въ памяти народной. По прошествіи нѣкотораго времени, оплаканнаго глинянаго покойника поднимали на руки двое молодыхъ парней и—при воплѣ толпы—съ-ро́змаху бросали въ воду. Этотъ обезглавленный человѣкъ въ саванѣ олицетворялъ – въ глазахъ совершителей описаннаго обряда—св. Іоанна Крестителя, нераздѣльно сливавшагося въ суевѣрномъ народномъ воображеніи съ побѣжденнымъ темными силами краснымъ лѣтомъ.

У покойнаго Вс. В. Крестовскаго [70]) въ его извѣстныхъ

[70]) Всеволодъ Владиміровичъ Крестовскій—талантливый романистъ, авторъ „Петербургскихъ трущобъ", „Дѣдовъ", „Панургова стада" многихъ другихъ выдающихся произведеній—родился въ с. Малая Березайка Таращанскаго уѣзда Кіевской губ., 11-го февраля 1840 года. По образованію онъ—питомецъ петербургской 1-й гимназіи и петербургскаго университета, но курса въ послѣднемъ не окончилъ. Литературная дѣятельность его началась стихотвореніями,—въ числѣ которыхъ было не мало прекрасныхъ (напримѣръ, навѣянныя русскими народными мотивами, а также написанныя на испанскіе сюжеты). Нѣсколько его пѣсенъ прошли даже въ народъ и распѣваются по деревнямъ, какъ свои („Ванька-ключникъ", „Полоса-ль ты моя, полоса...").

очеркахъ „Двадцать мѣсяцевъ въ дѣйствующей арміи въ 1877—1878 годахъ“, есть, между прочимъ, краткое упоминаніе о справляющемся въ Болгаріи праздникѣ „Пинеруда“ (красная бабочка). Этотъ народный болгарскій праздникъ совпадаетъ по времени и нѣкоторымъ частностямъ съ нашимъ Иванъ-Купалою (24-мъ іюня). По свидѣтельству названнаго писателя, въ этотъ день молодыя сельскія дѣвушки наряжаются въ листья болотныхъ травъ и выходятъ въ поле искать мотыльковъ, распѣвая при томъ особую обрядовую пѣсню, а къ вечеру дѣлаютъ изъ глины куклу безъ головы и кидаютъ ее въ рѣку, въ воспоминаніе обезглавленія Іоанна Крестителя. Связь этого, соблюдаемаго и теперь, обычая съ нашимъ—исчезнувшимъ безъ слѣда подъ всесокрушающей рукою сѣдого Времени—несомнѣнна и можетъ служить яснымъ доказательствомъ того, что и балканскимъ славянамъ сродни самобытный духъ русскаго народа, явственнымъ образомъ засвидѣтельствовавшаго о братской любви къ нимъ своей кровью, пролитой за освобожденіе болгарскихъ и сербскихъ братьевъ, устлавшаго костьми своихъ доблестныхъ воиновъ кровавый путь къ Стамбулу.

На Ивана-Постнаго въ Тульской губерніи наблюдаютъ за полетомъ птицъ. Если журавли летятъ отъ Тулы на Кіевъ, то, по примѣтамъ, вскорѣ послѣ Семена-дня наступятъ холода. „Лебедь летитъ къ снѣгу“,—говоритъ тулякъ-погодовѣдъ,—„а гусь къ дождю!“, „Лебедь несетъ на носу снѣгъ!“, „Ласточка весну начинаетъ, соловей лѣто кончаетъ!“, „Сколько разъ бухало (филинъ) будетъ бухать, по столько кадей хлѣба будешь молотить съ овина!“, „Чай, примѣчай—куда чайки летятъ!“ Длинный рядъ тульскихъ примѣтъ-поговорокъ о птицахъ заканчивается остроумнымъ замѣчаніемъ: „Пѣтухъ не человѣкъ, а свое все скажетъ и бабъ научитъ!“

Извѣстность ему составилъ печатавшійся въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1864—1867 г. г. романъ „Петербургскія трущобы“. Въ концѣ 60-хъ годовъ В. В-чъ поступилъ въ военную службу, которой и обязанъ появленіемъ своихъ „Походныхъ очерковъ“ и „Очерковъ кавалерійской жизни“. Во время русско-турецкой войны 1877—78 г. г. онъ, въ качествѣ оффиціальнаго корреспондента „Правительственнаго Вѣстника“, присутствовалъ на театрѣ военныхъ дѣйствій. Корреспонденціи его составили книгу „Двадцать мѣсяцевъ въ дѣйствующей арміи“. Съ 1882-мъ года онъ состоялъ чиновникомъ особыхъ порученій при туркестанскомъ генералъ-губернаторѣ М. Г. Черняевѣ, затѣмъ—перешелъ въ пограничную стражу. Въ 1892-мъ году, въ чинѣ полковника, Вс. В. Крестовскій былъ назначенъ редакторомъ „Варшавскаго Дневника“, на каковомъ посту и умеръ въ 1895-мъ году. Могила его находится въ Петербургѣ, на одномъ и зъ кладбищъ Александро-Невской Лавры. Полное, восьмитомное, собраніе его сочиненій издано Товариществомъ Общественной Пользы въ 1898-99 годахъ.

Иванъ-Постный—послѣдній предъосенній праздникъ—былъ въ старые годы на Руси „полѣтнимъ“ не только потому, что окончательно завершалъ собою лѣтніе красные дни, открывая широкую дорогу торную ненастной осени,—но и оттого, что являлся послѣднимъ, заключительнымъ, праздникомъ цѣлаго года. Черезъ двое сутокъ послѣ этого дня (1-го сентября), починая новый годъ, шелъ день Новолѣтія.

XXXVII.

Сентябрь-листопадъ.

Св. Симеонъ-Столпникъ (Лѣтопроводецъ), въ прежнія времена приносившій на Русь день Новолѣтія, починаетъ въ настоящее время своимъ приходомъ послѣднюю, сентябрьскую, треть года. Первый мѣсяцъ этой трети—сентябрь-листопадъ („вресень“—у малороссовъ, „грудень“—у словаковъ, „рюянъ“—у кроатовъ) дышетъ осенней свѣжестью, моросить мелкимъ дождемъ ненастнымъ, завываетъ-реветъ осенними бурями (отчего и слылъ нѣкогда въ народной Руси „ревуномъ“),—оправдывая этимъ старинныя поговорки: „Батюшка-сентябрь не любитъ баловать!“, „Въ сентябрѣ держись крѣпче за кафтанъ!“, „Считай, баба, осень съ сентября по шапкамъ да по лаптямъ!“, „Въ сентябрѣ и листъ на деревѣ не держится!“ Начинается сентябрь-мѣсяцъ б а б ь и м ъ л ѣ т о м ъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ продолжающимся недѣлю (съ 1-го по „Аносовъ день“—8-е число), по другимъ уголкамъ свѣтлорусскаго простора захватывающимъ и цѣлыхъ двѣ седмицы—съ „Семена-дня“ вплоть до Воздвиженья, 14-го числа. „Хвалилися бабы да бабьимъ лѣтомъ на Семенъ-день, а того бабы не вѣдали, что на дворѣ сентябрь!“—подсмѣваются въ ненастные дни сентября-листопада деревенскіе краснословы надъ падкими до праздничанья бабами, но и сами не забываютъ, что у мужика, по народному присловью, „въ сентябрѣ-осенникѣ только тѣ и праздники, что однѣ новыя новины“.

Сентябрь—конецъ полевыхъ работъ: остается во время него въ полѣ развѣ одну „зябь зябúть“ (запахивать землю подъ паръ, на-весну), да жнивьё выжигать, стадами утолоченное. О послѣднемъ и вспоминаетъ деревня въ поговоркѣ: „Въ

сентябрѣ—осень и въ полѣ, и въ избѣ". Къ 1-му числу сентября—послѣдній листъ рая для самаго неторопливаго хозяина-пахаря. „Семенъ-день—сѣвалка съ плечъ!"—говоритъ въ народѣ, убѣжденномъ, что позже этого срока, установленнаго многоопытными и богобоязненными дѣдами-прадѣдами, и сѣять грѣшно. „Семенъ-день—и сѣмена долой!". „На Семенъ-день до обѣда сѣй-паши, а послѣ обѣда на пахаря зальемъ пашу!"—приговариваетъ посельскій людъ, провожающій объ эту пору лѣто, встрѣчающій осень, тяжкимъ шагомъ идущую на поля, орошаемыя не однимъ дождемъ-росой, а и трудовымъ потомъ многомилліонно-головаго правнука богатыря-пахаря Микулы-свѣтъ-Селяниновича. Въ сентябрѣ, въ каждый ведреный день, гудитъ токъ на гумешникѣ отъ цѣповъ: спѣшная молотьба-„сыромолотъ" идетъ. „Сверко, да сытно!"—замѣчаетъ народъ о сентябрѣ въ урожайные, благословенные Богомъ, годы: „Холодненекъ сентябрь-батюшка, да кормить горазъ!" По мѣткому выраженію русскаго пахаря, „выросшаго на морозѣ", его, мужика,—„не шуба грѣетъ, а цѣпъ-молотило". У него, по пословицѣ, „покуда цѣпъ въ рукахъ, потуда и хлѣбъ въ зубкахъ": плохъ тотъ молотильщикъ, о которомъ сложилось въ народѣ крылатое словцо—„Не столько намолотилъ, сколько цѣпомъ голову наколотилъ!" Во время осенней молотьбы нерѣдко, среди деревенскаго люда, можно и теперь еще услышать старыя загадки объ орудіи, добывающемъ изъ колосьевъ хлѣборобу-пахарю даръ Божій. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ, идущія отъ самой глубокой старины стародавней, являющіяся въ то-же время любопытными образцами народнаго звукоподражанія: „Потату-потаты, токату-такаты, а яички ворохомъ несутся!". „Пришла кувахта, просить мутавта. На что тебѣ мутавта? Гоголя бить, младожа кормить!". „Бились кругомъ, перебились кругомъ, въ клѣть пошли—перевѣшались!", „Вверхъ турлы, внизъ турлы—по тѣмъ турламъ пройти нельзя!" (цѣпы).

Въ сентябрѣ, по примѣтѣ, „всякое сѣмя изъ колоса на-земь плыветъ": плохо тому хозяину, на свой горбъ худому работнику, у котораго какое-нибудь зерно застоится на корню послѣ Семена-дня не только въ полѣ, но и на огородѣ. „Не время въ полѣ жать, когда бабамъ по заполью впору льны стлать!"—говоритъ сельскохозяйственный опытъ, провѣренный годами да годами,—говоря, приговариваетъ: „Ленъ стели къ бабьему лѣту, а подымай къ Казанской!" (осенняя Казанская—22-го октября). „Бабье лѣто—бабій праздникъ, бабьи работы!", „Кто о бабьемъ лѣтѣ жать-косить пойдетъ, того не то что мужики, а и бабы засмѣютъ!" По старинному

повѣрью, къ 1-му сентября послѣднія запоздавшія къ отелут за сине море ласточки спать на зиму въ озера ложатся,—откуда въ весеннее водополье, при первомъ взломѣ льда, всѣ разомъ въ поднебесную высь поднимаются. Чортъ въ эту пору воробьевъ-домосѣдовъ, остающихся на Руси зябнуть зиму-зимскую, мѣряетъ четвериками: „сколько выпуститъ на волю изъ-подъ гребла, столько и разлетится по своимъ по застрехамъ, а всѣмъ остальнымъ—тутъ и смертушка!“ Семенъ-день—осеннее новоселье. „Счастливое новоселье—сухая осень, коли на Семена сухо!“—говорятъ старые, памятующіе всякую примѣту люди. Начинаются съ этой поры бабьи супрядки, посидѣлки да бесѣды. „Первыя засидки—новый огонь въ избѣ“. Встарину добывался изъ суха-дерева этотъ первый осенній огонь „засидочный“ бережно хранился отъ вечера до утра, отъ утра—до вечера впродолженіе всей осени и зимы, до самой весны, задувающей вечерніе огни по деревнямъ. Въ иныхъ глухихъ мѣстахъ Руси великой передъ первыми осенними засидками и теперь еще съ тлѣющею головней въ полѣ („на постать“) ходятъ,—окуриваютъ ниву въ предохраненіе отъ всякаго попущенія, „отъ лиха, притки и призора“. Но и этотъ обычай доживаетъ свои послѣдніе-остатніе дни. Много и другихъ повѣрій, примѣтъ-обычаевъ связано въ народной памяти съ Семеномъ-днемъ (см. гл. XXXVIII).

2-го сентября—„Ѳедота и Руфины, не выгоняй со двора поутру скотину: выгонишь—бѣду нагонишь!“ Потому-то придерживающіяся дѣдовскихъ повѣрій хозяйки и не выпускаютъ въ этотъ день на пастьбу вплоть до полудня ни коровъ, ни овецъ. Слѣдомъ за этимъ примѣтливымъ днемъ—Домнинъ, на который съ утра до ночи прибираютъ бабы всякую рухлядь въ домѣ, припасая себѣ этимъ благополучіе и спорину во всемъ на цѣлую осень. За св. Домною—Вавила-священномученикъ по народной Руси идетъ. „На Вавилу вилы праздноютъ—впустѣ лежатъ!“—говорятъ въ народѣ. Но въ этотъ-же день—другой, большой (во многихъ селахъ храмовой-престольный) народный праздникъ: „Неопалимая Купина“, въ честь соименной съ нимъ иконы Божіей Матери. Поются въ этотъ день по деревенскимъ церквамъ молебны—общіе и заказные, отъ усердія прихожанъ, вѣрующихъ, что этими молебнами ограждаются не только ихъ хаты и гумна отъ огня-пожара, но и сами они вмѣстѣ со всей „скотинкой-животинкой“—отъ огня-молоньи. Помогаетъ, по народному повѣрью, икона этого праздника и во время самаго пожара: если, съ вѣрою, поднимать ее къ пылающему зданію, то она отъ сосѣднихъ построекъ огонь отводитъ. Во многихъ мѣст-

мѣстахъ 4-го сентября совершается, съ тѣмъ-же вѣрою, крестьяне ходятъ вокругъ селъ-деревень. „Огонь не звѣрь“,— говоритъ сѣдая народная мудрость,— „отъ него только одна матушка Купина Неопалимая спасаетъ!“. „Огонь Богъ людямъ далъ“, „Не топора бойся, а огня!“, „Солома да дерево съ огнемъ не дружатся!“, „Не съ огнемъ соваться къ пожару!“, „Огонь—не вода, пожитки не всплываютъ!“ Не отъ одного пожара молятъ въ народной Руси Купину Неопалимую: идетъ къ ней молитва пахаря и отъ огневицы болѣсти, и отъ антонова-огня, и отъ огневика-летучаго (сыпь). „Огонь-огонь, возьми свой огникъ!“—причитаютъ въ послѣднемъ случаѣ, высѣкая огнивомъ надъ болящимъ искры изъ кремня: „Матушка Богородица, Купина Неопалимая, глубина необозримая! На болѣсть лютую призри, смертью не опали! Сиротъ не обездоль, утиши-уйми злую боль—на вѣковѣчные вѣки!“

5-е сентября—день, посвященный памяти пророка Захаріи и праведной Елисаветы, родителей Крестителя Господня—считается счастливымъ для предсказаній. Памятуя объ этомъ, многіе суевѣрные люди посѣщаютъ на него вѣдуновъ и знахарокъ, принося имъ разныя новины деревенскія—одинъ отъ достатка своего, другіе—отъ своей бѣды лихой. Черезъ сутки послѣ этого дня—„Луковъ день“ (память преп. Луки). На него идетъ во многихъ мѣстахъ торгъ „рѣпчатымъ“ лукомъ—плетеницами. „Кто ѣстъ лукъ, того Богъ избавитъ вѣчныхъ мукъ!“— гласитъ одно изъ сложившихся среди лукоторговцевъ изреченій. „Лукъ—отъ семи недугъ!“,—вторитъ ему другое. За нимъ слѣдуетъ цѣлый рядъ въ такомъ родѣ: „Лукъ съ чеснокомъ родные братья!“, „Лукъ да баня все правятъ!“, „Въ нашемъ краю—словно въ раю: луку да рябины не пріѣшь!“ и т. п. Ходятъ въ народной Руси и такія пріуроченныя къ луку поговорки, о которыхъ не всегда любятъ торгаши вспоминать, какъ напримѣръ: „Лукомъ торговать—луковымъ плетнемъ (мочаломъ) и подпоясываться (т.-е. бѣдно жить)!“, „Людской Семенъ, какъ лукъ зелёнъ, а нашъ Семенъ—въ грязи завалёнъ!“. Существуетъ повѣрье, что, если испечь хоть одну луковицу раньше чѣмъ лукъ будетъ собранъ съ огорода, то весь онъ посохнетъ. Потому-то зорко и сторожатъ огородники-лукари свои грядки отъ всякаго злонамѣреннаго человѣка, могущаго причинить такое лихо. Загадки загадываютъ о лукѣ такими словами: „Сидитъ тупка въ семи юбкахъ; кто ни глянетъ, всякъ заплачетъ!“, „Пришла панья въ красномъ сарафанѣ; какъ стали раздѣвать—давай плакать и рыдать!“, „Сидитъ дѣдъ, многимъ платьемъ одѣтъ; кто его раздѣваетъ—отъ радости слезы проливаетъ!“, „Стоитъ попъ

низокъ, на немъ сто ризокъ; кто ни взглянетъ, всякъ заплачетъ!", „Что безъ боли и печали приводитъ въ слезы?", „Мѣхъ на мѣху, солдатъ наверху!" и т. д. Любители лука отзываются о немъ съ умиленіемъ: „Голо, голо, а луковку во щи надо!", „Вотъ тебѣ луковка попова, облуплена-готова; знай, почитай, а умру—поминай!", „Кому луковка облуплена, а намъ тукманка не куплена!" Болѣе всѣхъ считаются лакомыми на лукъ боровичане-новгородскіе.—„луковниками" такъ и слывутъ они въ народной Руси. „Луку! Зеленаго луку!..."—насмѣшливо кличутъ вослѣдъ и навстрѣчу имъ на чужой сторонѣ.

За Луковымъ—Аспосовъ день, праздникъ Рождества Пресвятыя Богородицы, именуемый таже и „Малой Пречистою" („Большая Пречистая"—праздникъ Успенія). На него встрѣчаетъ народъ съ особыми обычаями „матушку-осенину". Въ старые годы въ этотъ день сходилась къ новобрачнымъ родня богоданная и кровная, созывавшаяся „навѣстить молодыхъ, посмотрѣть на ихъ житье-бытье, поучить уму-разуму". Угощались честные гости званые праздничнымъ обѣдомъ, показывалось имъ—сытымъ-пьянымъ—все молодое хозяйство: рухлядь всякая во дому, жито въ закрому, упряжь въ сараяхъ. Все это сопровождалось поднесеніемъ пива,—причемъ иные краснословы приговаривали: „Аспосовъ день—поднесеньевъ день. Лей, лей, кубышка! Поливай, кубышка! Пейте, гости, пейте—хозяйскаго добришка не жалѣйте!"

За Малой Пречистою, въ девятый день сентября листопада,—чествуется Православной Церковью память святыхъ Богоотецъ Іоакима и Анны. Въ этотъ, не запечатлѣнный особыми повѣрьями и обычаями въ изустномъ простонародномъ дневникѣ, но твердо памятуемый убогими пѣвцами—калеками-перехожими, день въ посельской глуши еще и теперь можно услышать умилительное воспѣваніе старинаго стиха духовнаго о „Христовыхъ Праотцахъ". Стихъ этотъ начинается цвѣтистой запѣвкою: „Живоноснѣйшій садъ, одушевленный градъ, градъ богосозданный, его-же украси Господь и возвыси, чтемъ ликъ богозванный, соборъ Богоотецъ и святыхъ Праотецъ, Богопреблаженный, пѣснями и хвалами, сердцемъ и устнами, первѣе рожденныхъ". Затѣмъ,—вслѣдъ за этимъ двѣнадцатистишнымъ вступленіемъ, идетъ длинный перечень именъ, съ пріуроченными къ каждому изъ нихъ величаніями: „Перваго Адама, отъ Бога созданна, Того-же руками праматере Еву, жизнь рѣченну, перву съ дщерьми и сынами. Авеля претверды по смерти побѣды кровію гласяща; Сиѳа же преумна и благоразумна, письмены свѣтяща; мужа благосерды Еноса надежды

и со небопарнымъ (воспарившимъ-вознесшимся на небо) великимъ Енохомъ, Ноемъ патріархомъ, всѣхъ насъ отцемъ славнымъ. Сима срамочестна, Аѳета пречестна, съ тѣми іерари—Мелххиседекъ славный, Авраамъ преславный чтется патріарха. Чтетъ и Исаака вѣрныхъ душа всяка, съ Наумомъ боговиднымъ, съ Іаковомъ бодрымъ, Іовомъ предобрымъ, долготерпѣливымъ, дванадесяточтенъ ликъ благоукрашенъ патріархъ святѣйшихъ сѣмя Авраамско, священіе царско, богопочтеннѣйшихъ. Іосифъ Прекрасный, въ премудрости ясный, соніямъ провидецъ; Ааронъ священный и богоспасенный Моисей Боговидецъ; и Оръ добронравный, Веселеилъ славный...“ Въ заключительномъ звенѣ этой цѣпи именъ поминаются: „Зоровавель драгій, Іосифъ преблагій, Іоакимъ, Анна, Сарра и Ревекка, Маріамъ, Девора, съ тѣми и Сусана“. Въ безвѣстномъ, слившемся со стихійной народною творческой волною, слагателѣ этого стиха, несмотря на значительныя неточности, замѣчаемыя въ послѣднемъ, виденъ человѣкъ, свѣдомый въ книжномъ дѣлѣ, но и въ то-же самое время еще не вполнѣ оторвавшійся отъ плодородной почвы народнаго міросозерцанія.

На 10-е сентября падаетъ память св. Петра и Павла, епископовъ никейскихъ. День этотъ слыветъ въ народѣ „осеннимъ Петро-Павломъ“. Старое поволжское ходячее слово замѣчаетъ по этому поводу: „На Руси два Петро-Павла—большой да малый, лѣтній (29-го іюня) да осенній“. И,—подобно тому какъ, по уставу старыхъ людей, блюдущихъ завѣты отцовъ, разрѣшается съ Петрова-дня ѣсть клубнику, землянику и другую ягоду,—съ осенняго Петро-Павла можно рвать рябину, дѣлающуюся съ этой поры менѣе горькою, чѣмъ прежде. „Осенній Петро-Павелъ—рябинникъ!“—гласитъ крылатое слово народное, приговариваючи: „Выйдемъ на долинку, сядемъ подъ рябинку—хорошо цвѣтетъ!“, „Подъ ярусомъ-ярусомъ виситъ зипунъ съ краснымъ гарусомъ!“ (загадка о рябинѣ), „Не твоему, черна-галка, носу красную рябинушку клевать!“ и т. д. Собирая и вывѣшивая пучками подъ крышу ягоду-рябину („чтобы прозябла-провяла, сахару понабрала“), деревенскій людъ всегда оставляетъ на каждомъ рябинномъ кусту часть ягодъ—на птичій зимній прокормъ: „дрозду-рябиннику, снѣгирямъ-краснозобамъ и всякой другой птичьей сестрѣ-братьѣ.“ Въ этомъ высказывается трогательная любовь простого человѣка къ матери-природѣ. „За Ѳедориными вечóрками“ (11-мъ сентября) идетъ Корнильевъ день (12-го—память священномученика Корнилія-сотника). На него выдергиваетъ-выбираетъ деревня послѣдніе (кромѣ рѣпы) корневые овощи, на-

чиная съ картофеля, кончая хрѣномъ. „Корнильевъ день на дворѣ—всякъ корешокъ въ своей норѣ!“—говоритъ народъ, прибавляя къ этой примѣтѣ: „Съ Корнилья корень въ землѣ не растетъ, а зябнетъ!“, „Корнилій святой—изъ земли корневище долой!“ и т. под. По распространенному въ подмосковной деревенской округѣ повѣрью, начиная съ этого дня, змѣи и всякіе гады перебираются въ полей въ трущобы лѣсныя, гдѣ и уходятъ въ землю—до весенняго пригрѣва. Этотъ день—канунъ „постнаго праздника“ Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Господня (14-го сентября). Воздвиженье—третья встрѣча осени (первая—на Семенъ-день, вторая на Малую Пречистую), „первыя зазимки“. Объ этомъ днѣ и связанныхъ съ нимъ повѣрьяхъ-примѣтахъ и обычаяхъ ходитъ въ народной Руси расцвѣченный красными-крылатыми словами длинный сказъ, стоящій наособицу ото всѣхъ другихъ. Бабьему лѣту—конецъ. „Со Вздвиженья осень къ зимѣ все быстрѣе движется!“—замѣчаютъ деревенскіе погодовѣды, но сами-же и добавляютъ къ этому: „Воздвиженскіе зазимки еще не бѣда,—что-то скажетъ Покровъ-батюшко (1-е октября)!“ Въ этотъ праздникъ по многимъ мѣстамъ рубятъ капусту—съ пѣснями да съ угощеньемъ. „Здвиженье - капустницы!“—говорятъ о немъ въ народѣ.

Слѣдомъ за Воздвиженьемъ-праздникомъ—день Никиты осенняго. Осенній Никита (вешній—3-го апрѣля) зовется въ посельскомъ быту „гусепролётомъ, гусятникомъ, „рѣпорѣзомъ“. Ломающій сентябрь пополамъ Никитинъ день въ просторѣчьи слыветъ „гусарями“. „Пришли Никиты-гусари, гусей смотри!“—подаетъ свой совѣтъ хозяйственный опытъ:—„До Никиты-гусятника гусь жиру нагуливаетъ, послѣ Никиты прогуливаетъ!“ 15-е сентября—праздникъ гусятниковъ. Въ старые годы на него соблюдалось не мало любопытныхъ, въ пережиткѣ уцѣлѣвшихъ и до нашихъ дней, обычаевъ. Съ незапамятныхъ поръ держали на Руси гусей, не только для хозяйства (на убой), но и „для охоты“. Гусиная охота была издавна одною изъ любимѣйшихъ забавъ на Москвѣ Бѣлокаменной, да и по другимъ исконно-русскимъ мѣстамъ. Гусаки-бойцы откармливались совершенно особо ото всѣхъ другихъ гусей и—наметавшіеся въ своемъ боевомъ дѣлѣ—цѣнились на большія деньги, составляя похвальбу-гордость хозяина-охотника. Твердо памятовали русскіе люди, что „дѣлу—время, потѣхѣ—часъ“. Никита-гусятникъ былъ для многихъ часомъ потѣхи. Обхаживали въ этотъ день любители гусинаго боя другъ-друга. Собиравшіеся въ обходъ запасались мѣшочкомъ съ пшеницею. При входѣ, стучали они въ двер-

и со небопарнымъ (воспарившимъ-вознесшимся на небо) великимъ Енохомъ, Ноемъ патріархомъ, всѣхъ насъ отцемъ славнымъ. Сима срамочестна, Аѳета пречестна, съ тѣми іерари—Мелххиседекъ славный, Авраамъ преславный чтется патріарха. Чтетъ и Исаака вѣрныхъ душа всяка, съ Наумомъ боговиднымъ, съ Іаковомъ бодрымъ, Іовомъ предобрымъ, долготерпѣливымъ, дванадесяточтенъ ликъ благоукрашенъ патріархъ святѣйшихъ сѣмя Авраамско, священіе царско, богопочтеннѣйшихъ. Іосифъ Прекрасный, въ премудрости ясный, соніямъ провидецъ; Ааронъ священный и богоспасенный Моисей Боговидецъ; и Оръ добронравный, Веселеилъ славный..." Въ заключительномъ звенѣ этой цѣпи именъ поминаются: „Зоровавель драгій, Іосифъ преблагій, Іоакимъ, Анна, Сарра и Ревекка, Маріамъ, Девора, съ тѣми и Сусана". Въ безвѣстномъ, слившемся со стихійной народною творческой волною, слагателѣ этого стиха, несмотря на значительныя неточности, замѣчаемыя въ послѣднемъ, виденъ человѣкъ, свѣдомый въ книжномъ дѣлѣ, но и въ то-же самое время еще не вполнѣ оторвавшійся отъ плодородной почвы народнаго міросозерцанія.

На 10-е сентября падаетъ память св. Петра и Павла, епископовъ никейскихъ. День этотъ слыветъ въ народѣ „осеннимъ Петро-Павломъ". Старое поволжское ходячее слово замѣчаетъ по этому поводу: „На Руси два Петро-Павла—большой да малый, лѣтній (29-го іюня) да осенній". И,—подобно тому какъ, по уставу старыхъ людей, блюдущихъ завѣты отцовъ, разрѣшается съ Петрова-дня ѣсть клубнику, землянику и другую ягоду,—съ осенняго Петро-Павла можно рвать рябину, дѣлающуюся съ этой поры менѣе горькою, чѣмъ прежде. „Осенній Петро-Павелъ—рябинникъ!"—гласитъ крылатое слово народное, приговариваючи: „Выйдемъ на долинку, сядемъ подъ рябинку—хорошо цвѣтетъ!", „Подъ ярусомъ-ярусомъ виситъ зипунъ съ краснымъ гарусомъ!" (загадка о рябинѣ), „Не твоему, черна-галка, носу красную рябинушку клевать!" и т. д. Собирая и вывѣшивая пучками подъ крышу ягоду-рябину („чтобы прозябла-провяла, сахару понабрала"), деревенскій людъ всегда оставляетъ на каждомъ рябинномъ кусту часть ягодъ—на птичій зимній прокормъ: „дрозду-рябиннику, снѣгирямъ-краснозобамъ и всякой другой птичьей сестрѣ-братьѣ." Въ этомъ высказывается трогательная любовь простого человѣка къ матери-природѣ. „За Ѳедориными вечо́рками" (11-мъ сентября) идетъ Корнильевъ день (12-го—память священномученика Корнилія-сотника). На него выдергиваетъ-выбираетъ деревня послѣдніе (кромѣ рѣпы) корневые овощи, на-

чиная съ картофеля, кончая хрѣномъ. „Корнильевъ день на дворѣ—всякъ корешокъ въ своей норѣ!“—говоритъ народъ, прибавляя къ этой примѣтѣ: „Съ Корнилья корень въ землѣ не растетъ, а зябнетъ!“, „Корнилій святой—изъ земли корневище долой!“ и т. под. По распространенному въ подмосковной деревенской округѣ повѣрью, начиная съ этого дня, змѣи и всякіе гады перебираются въ полей въ трущобы лѣсныя, гдѣ и уходятъ въ землю—до весенняго пригрѣва. Этотъ день—канунъ „постнаго праздника“ Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Господня (14-го сентября). Воздвиженье—третья встрѣча осени (первая—на Семенъ-день, вторая на Малую Пречистую), „первыя зазимки“. Объ этомъ днѣ и связанныхъ съ нимъ повѣрьяхъ-примѣтахъ и обычаяхъ ходитъ въ народной Руси расцвѣченный красными-крылатыми словами длинный сказъ, стоящій наособицу ото всѣхъ другихъ. Бабьему лѣту—конецъ „Со Вздвиженья осень къ зимѣ все быстрѣе движется!“—замѣчаютъ деревенскіе погодовѣды, но сами-же и добавляютъ къ этому: „Воздвиженскіе зазимки еще не бѣда,—что-то скажетъ Покровъ-батюшко (1-е октября)!“ Въ этотъ праздникъ по многимъ мѣстамъ рубятъ капусту—съ пѣснями да съ угощеньемъ. „Здвиженье - капустницы!“—говорятъ о немъ въ народѣ.

Слѣдомъ за Воздвиженьемъ-праздникомъ—день Никиты осенняго. Осенній Никита (вешній—3-го апрѣля) зовется въ посельскомъ быту „гусепролётомъ, гусятникомъ, „рѣпорѣзомъ“. Ломающій сентябрь пополамъ Никитинъ день въ просторѣчьи слыветъ „гусарями“. „Пришли Никиты-гусари, гусей смотри!“—подаетъ свой совѣтъ хозяйственный опытъ:—„До Никиты-гусятника гусь жиру нагуливаетъ, послѣ Никиты прогуливаетъ!“ 15-е сентября—праздникъ гусятниковъ. Въ старые годы на него соблюдалось не мало любопытныхъ, въ пережиткѣ уцѣлѣвшихъ и до нашихъ дней, обычаевъ. Съ незапамятныхъ поръ держали на Руси гусей, не только для хозяйства (на убой), но и „для охоты“. Гусиная охота была издавна одною изъ любимѣйшихъ забавъ на Москвѣ Бѣлокаменной, да и по другимъ исконно-русскимъ мѣстамъ. Гусаки-бойцы откармливались совершенно особо ото всѣхъ другихъ гусей и—наметавшіеся въ своемъ боевомъ дѣлѣ—цѣнились на большія деньги, составляя похвальбу-гордость хозяина-охотника. Твердо памятовали русскіе люди, что „дѣлу—время, потѣхѣ—часъ“. Никита-гусятникъ былъ для многихъ часомъ потѣхи. Обхаживали въ этотъ день любители гусинаго боя другъ-друга. Собиравшіеся въ обходъ запасались мѣшочкомъ съ пшеницею. При входѣ, стучали они въ двер-

ную притолоку, особымъ причетомъ очестливымъ вызывая хозяина показать „охоту". Хозяинъ приглашалъ гостей дорогихъ на загородь, гдѣ жила-оберегалась у него „гусиная свора". Сопровождая гостей, онъ не забывалъ угостить ихъ доброю чаркой вина изъ предусмотрительно захваченной сулеи. Пили гости, разсыпали гусямъ пшеницу. Желая выказать особо-дружеское расположеніе къ кому-либо изъ гостей, хозяинъ дарилъ ему гуся. Получившій подарокъ долженъ былъ отдарить его тѣмъ-же. Подаренный гусь передавался изъ полы въ полу при троекратномъ цѣлованьи и увѣреніяхъ въ ненарушимой дружбѣ. Цѣлый день ходили гусятники-охотники изъ дому въ домъ. Вечеромъ всѣ гурьбой шли—зваными гостями—на пирушку къ самому богатому и тороватому изъ своей братіи, заранѣе предвкушая ничѣмъ для нихъ незамѣнимое удовольствіе гусинаго боя. Въ такомъ домѣ стояла на столѣ круговая чаша съ зеленымъ-виномъ или медомъ сыченымъ. Каждый гость, входя, пригубливалъ эту чашу и клалъ на столъ калачъ—„гусямъ на новоселье". Когда собирались всѣ званые-прошеные, хозяинъ вносилъ въ горницу пару убранныхъ красными лентами лучшихъ гусей-бойцовъ изъ своей охоты. Гусей этихъ обрызгивали медомъ, пили надъ ихъ головами медъ и зелено-вино. Во время боя бились объ заклады,—причемъ бывало и такъ, что разгоряченные споромъ охотники вступали чуть не въ рукопашную, совершенно забывая о мирной-праздничной цѣли своего веселаго прихода.

Во времена барщины было въ обычаѣ на осенняго Никиту подносить боярамъ отъ каждой вотчины гуся съ гусынею. Дѣлали это выборные старики. Подносимая гусыня накрывалась краснымъ платкомъ; гусь подносился со льняной плетенкою на шеѣ. Барская семья встрѣчала челобитчиковъ въ сѣняхъ и приказывала угостить ихъ виномъ. Этотъ обычай соблюдался еще въ 40-хъ—50-хъ годахъ. По народному повѣрью, гусей стережетъ, ото всякаго лиха оберегаетъ, Водяной. Памятуя объ этомъ, еще въ недавнія времена считали гусехозяева необходимымъ „задобрить дѣдушку" въ ночь подъ Никитинъ день. Для этого носили на рѣку нарочно откармливавшагося „жертвеннаго" гуся, отрубали здѣсь ему —съ особымъ причетомъ—голову и, обезглавленнаго, бросали въ воду, упрашивая рѣчного хозяина принять подарокъ, не гнѣваться и не оставлять гусей береженьемъ на будущее время. Голова жертвеннаго гуся относилась на птичный дворъ, изъ опасенія, чтобы Домовой, ведущій всему счетъ „по головамъ", не провѣдалъ о сдѣланномъ Водяному подаркѣ и не

прогнѣвался-бы, въ свой чередъ, на это. Съ Никиты-осенняго начинаютъ бить гусей на продажу. По селамъ-деревнямъ принимаются объ эту пору ѣздить барышники-торгаши — приглядываться къ гусямъ, прицѣниваться.—„Все—гусь: были-бы перья! Чайка—гусь и ворона—гусь!“—приговариваютъ они, сбивая цѣны одинъ передъ другимъ. „Гусей перебьемъ—всѣ дыры (въ хозяйствѣ) позаткнемъ!“—думается въ это время продавцамъ; а случается порою и такъ, что мужикъ, довѣрившійся неутѣшительнымъ вѣстямъ краснобая-торгаша, по пословицѣ—„За курочку гуська отдастъ (продешевитъ)“, „Однимъ гусемъ поля не вытопчешь!“,—оправдываетъ онъ свою торопливую довѣрчивость,—„Птицѣ теленка не высидѣть!“ и т. д. На Никитинъ день примѣчаютъ по гусямъ о предстоящей погодѣ. „Спросили бы гуся: не зябнутъ-ли ноги?“—говоритъ деревня, увѣряя, что гусь лапу поджимаетъ—къ стужѣ, стоитъ на одной ногѣ—къ морозу, полощется въ водѣ—къ теплу, носъ подъ крыло прячетъ—къ ранней зимѣ. Дикіе гуси съ 15-го сентября свой гусепролетъ начинаютъ: высоко летятъ—къ дружному да высокому половодью вешнему, низко—къ малой весенней водѣ.

Гусятникъ-Никита слываетъ въ народѣ и „рѣпорѣзомъ“: съ него принимаются рѣпу дергать въ полѣ. „Ужъ видать мужика по рѣпѣ, что подошли рѣпорѣзы!“—говорится въ деревенскомъ быту: „Не дремли, баба, на рѣпорѣзовъ день!“, „Горохъ да рѣпа—завидное дѣло: кто идетъ, всякъ урветъ!“ и т. д. О рѣпѣ есть не мало загадокъ. Вотъ нѣсколько наиболѣе мѣткихъ изъ нихъ: „Въ землю крошки—изъ земли лепешки!“. „Сама клубочкомъ, а хвостъ подъ себя!“, „Сверху зелено, посередкѣ толсто, подъ конецъ тонко!“, „Кругла, да не дѣвка; съ хвостомъ, да не мышь!“, „Шибу-брошу шибкомъ—выростетъ-повыростетъ дубкомъ!“. Черезъ день послѣ Никита-гусятника-рѣпорѣза — „всесвѣтныя бабьи имянины“: 17-е сентября, день памяти святыхъ мученицъ Вѣры, Надежды, Любви и матери ихъ Софіи. Народное слово отмѣтило эти имена въ прибауткахъ: „Бабушка Надёжа, на чужое-то надѣйся, да свое паси!“, „Надѣйся, Надежда, на добро, а жди—худа!“. „Люба парню дѣвка Любаша—къ вѣнцу, а не люба—къ отцу!“, „Хоть и Любовь, да не люба!“, „И Вѣрѣ не повѣрю, коли самъ не увижу!“. „Нѣтъ вѣрнѣе Вѣры, когда спитъ!“, „Не одна Софья по тебѣ сохнетъ, да все еще не высохла!“

18-го сентября—Ининъ день. „Три Арины въ году живутъ!“—говоритъ народъ: „Арина—разрой-берега (16-го апрѣля), Арина-разсадница (5-го мая) да Арина—журавлиный

летъ (осенняя)". Въ день памяти послѣдней—по старинной примѣтѣ—„отсталой журавель за теплое море тянетъ". Если летятъ на Ирину журавли, то на Покровъ надо ждать перваго мороза; а если не видно ихъ въ этотъ день, раньше Артемьева дня (20-го октября) не ударить ни одному морозу. Во многихъ деревняхъ Тульской и другихъ смежныхъ губерній посылаютъ ребятъ за околицу—слѣдить журавлей. Завидѣвъ стаю, дѣтвора принимается выкликать: „Колесомъ дорога, колесомъ дорога!" Этотъ выкликъ, по словамъ старухъ, можетъ заставить журавлей вернуться на болотину и тѣмъ задержать приближеніе заставляющей вспомнить о шубѣ да о печкѣ—зимней стужи. „За Ариною—Трофимъ",—гласитъ изустный простонародный дневникъ, прибавляя къ этому: „На Трофима не проходитъ счастье мимо: куда Трофимъ—туда и оно за нимъ"! Потому-то и стараются заневѣстившіяся дѣвушки красныя пристальнѣе обыкновеннаго приглядываться къ полюбившимся имъ парнямъ—на Трофимовыхъ вечоркахъ. 19-го сентября, кромѣ св. мученика Трофима, вспоминается Церковью еще святой Зосима, соловецкій пустынникъ, одинъ изъ покровителей пчелы-работницы (второй ея покровитель, св. Савватій, чествуется 27-го сентября). Съ молитвою къ этому угоднику Божію принимаются пчеловоды за уборку въ омшеники ульевъ въ сѣверной и средней полосѣ Россіи; въ южныхъ губерніяхъ оставляютъ ульи обдуваться вѣтеркомъ на пчельникѣ до свята-Савватіева дня.

20-го сентября—„Астафьевы вѣтры", день св. великомученика Евстафія Плакиды. Безъ малаго по всей Руси великой наблюдаютъ въ этотъ день за теченіемъ вѣтровъ, стараясь по нему предугадать погоду. „На Астафья примѣчай вѣтеръ",—подаетъ свой голосъ народная мудрость: „сѣверный—къ стужѣ, южный—къ теплу, западный—къ мокротѣ, восточный—къ вёдру!". На Онегѣ—„Въ Астафьевъ день шеловникъ (юго-западный вѣтеръ)—разбойникъ (производитъ бури)!" О вѣтрѣ ходитъ по народной Руси многое-множество поговорокъ, сказовъ, повѣрій и загадокъ. Не сосчитать сразу и названій-именъ, данныхъ ему народомъ! Но и по немногимъ примѣрамъ, почерпнутымъ въ неисчерпаемомъ кладезѣ могучаго слова народнаго, возможно понять, какъ смотритъ народъ на эту стихію природы. „Выше вѣтра головы не носи!"—говорятъ, напримѣръ, заносчивому-спѣсивому человѣку: „Противъ вѣтра не надуешься! Ведрами вѣтра не смѣряешь! За вѣтромъ въ полѣ не угонишься!"... „Спроси у вѣтра совѣта: не будетъ-ли отвѣта!"—замѣчаютъ довѣрчивому верхогляду. „Кто вѣтромъ служитъ, тому дымомъ платятъ!"—опредѣляютъ

человѣка, не пріобрѣтшаго довѣрія.—„Не вѣрь вѣтру въ морѣ, коню въ полѣ, а женѣ въ волѣ!“, „На вѣтеръ надѣяться—безъ помолу быть!“, „Вѣтеръ буйный взбѣсится—и съ бобыльей бѣдной хаты крышу сорветъ!“. Вслѣдъ за Астафьевыми вѣтрами—„Кондратъ съ Ипатомъ помогаютъ богатѣть богатымъ“. 22-е число—день пророка Іоны и Петра-мытаря. Въ этотъ осенній день въ народѣ считается за грѣхъ ѣсть рыбу,—вѣроятно, въ воспоминаніе о пребываніи пророка, чествуемаго Церковью, во чревѣ китовомъ („чудо-юдо-рыба-китъ“). О лошадяхъ, страдающихъ „мытомъ“ (слизетеченіе—въ-родѣ сапа), служатъ крестьяне молебны св. Петру-мытарю. Черезъ сутки—„Ѳеклы-заревницы“ (24-е сентября). Съ этой поры день убываетъ-убѣгаетъ уже не куриными шагами, а лошадиными; ночи становятся темнымъ-темнёшеньки, зори—все багрянѣе. Встарину съ Ѳеклина дня начинались у бояръ „замолотки“, топились первые овины,—причемъ вокругъ нихъ собирались молотильщики и, при заревѣ зажженныхъ костровъ, проводили ночь въ пѣсняхъ. На замолоткахъ угощали молотильщиковъ кашей съ масломъ,—угощали, приговаривали: „Хозяину хлѣба ворошокъ, а молотильщикамъ каши горшокъ!“ Послѣ молотьбы, закончивъ свой „урокъ“, шелъ рабочій людъ на боярскій дворъ, гдѣ подносилась ему („Пей—сколько выпьется!“) брага пѣнная.

„Если выпадетъ первый снѣгъ на Сергіевъ (25-го сентября) день, установится зима—на Михайловъ (8-го ноября)!“—говорятъ въ народѣ и далеко не всегда ошибаются. По примѣтѣ, первый снѣгъ выпадаетъ за сорокъ дней до настоящей зимы. Отъ Сергіева дня снѣгъ, по словамъ наблюдательныхъ людей, выпадаетъ впродолженіе „четырехъ семинъ (недѣль)“. Св. Сергій, Радонежскій чудотворецъ, пользуется большимъ почитаніемъ въ народной Руси,—молитва, обращенная къ нему, исцѣляетъ „отъ сорока недуговъ“.

Сентябрь успѣваетъ къ этому времени отряхнуть послѣднюю зеленую, раззолотившуюся, красу съ деревьевъ. Остается всего пять дней до назимняго мѣсяца октября, богатаго свадьбами-пирами деревенскими, не любящаго „ни колеса, ни полоза“. Со стороны октября на отходящій къ покою сентябрь листопадъ „черезъ прясла глядитъ“ Покровъ—первый зимній праздникъ („зазимье веселое“), нерѣдко покрывающій грудь земную снѣгами бѣлыми-пушистыми.

XXXVIII.

Новолѣтіе.

Первый день сентября-мѣсяца, на который приходится празднованіе памяти св. Симеона-Столпника, съ XV-го по XVIII-й вѣкъ считался у насъ на Руси, по примѣру Александрійской церкви, днемъ „Новолѣтія“: съ этого дня начинался новый годъ. 1-го сентября 1699 года Петръ Великій въ послѣдній разъ „торжествовалъ, по древнему обычаю своихъ предковъ, начало новаго лѣта и на большой Ивановской площади, сидя на престолѣ въ царской одеждѣ, принималъ отъ патріарха благословеніе, а отъ народа привѣтствіе, и самъ поздравлялъ его съ новымъ годомъ, который въ 1700 г. онъ уже праздновалъ 1-го января“. Въ до-петровскія-же времена цари московскіе и всея Руси справляли сентябрьское Новолѣтіе, заодно съ народомъ русскимъ. День св. Симеона, заканчивавшій старое и начинавшій новое лѣто (годъ), а потому и называвшійся днемъ Симеона-Лѣтопроводца, являлся однимъ изъ торжественныхъ дней общенія царя съ народомъ, во множествѣ стекавшимся не только съ всей Москвы Бѣлокаменной, но даже изо всѣхъ ближайшихъ пригородовъ,—„лицезрѣть пресвѣтлыя царскія очи“ въ стѣны Кремля златоглаваго. Здѣсь изъ-года-въ-годъ совершалось, по нерушимому завѣту старины, лѣтопровожденіе или „дѣйство многолѣтняго здоровья“.

Богомольные царскіе выходы, приближавшіе священную особу царя къ народу и придававшіе особый блескъ церковнымъ „дѣйствамъ“, ознаменовывавшимъ собою главнѣйшіе годовые праздники, поражали иностранцевъ не только своимъ великолѣпіемъ, но и самобытностью.

Дѣйство Новолѣтія начиналось раскатомъ выстрѣла вѣстовой пушки въ Кремлѣ. Это происходило ровно въ полночь. Выстрѣломъ возвѣщался жителямъ Бѣлокаменной, а за ними и всей Руси Православной, мигъ наступленія новаго года. Вслѣдъ за нимъ начиналъ гудѣть большой колоколъ съ колокольни Ивана Великаго. Кремлевскія ворота распахивались, и „всенародное множество“ наполняло Кремль, чтобы встрѣтить Новолѣтіе вмѣстѣ съ государемъ. Царь выходилъ изъ своихъ палатъ въ четвертомъ часу дня (десятомъ утра, по нашему счету). Въ Успенскомъ соборѣ совершалась въ это время патріаршая утренняя служба. „Государевъ богомолецъ“ выходилъ, предшествуемый образами и сонмомъ духовенства въ западныя двери. На дворѣ церковномъ, передъ вратами, совершалось „патріаршее молитвословіе“, вслѣдъ за которымъ царь благоговѣйно подходилъ къ Евангелію и осѣнялся благословеніемъ патріарха. Затѣмъ, сопровождаемое звономъ „во всѣ колокола съ реутомъ“, шествіе слѣдовало на Ивановскую площадь, между Архангельскимъ и Благовѣщенскимъ соборами. Здѣсь, противъ Краснаго Крыльца, посреди площади, воздвигался обширный помостъ, выстланный богатыми коврами и огороженный расписною рѣшоткою. По описанію Забѣлина, съ восточной стороны этого помоста ставились три налоя съ иконою св. Симеона-Лѣтопроводца—на одномъ изъ нихъ. Возжигались свѣчи въ серебряныхъ предналойныхъ подсвѣчникахъ. Ставился особый „столецъ“ для освященія воды. Съ западной стороны устраивались два „мѣста“: государево, обитое червчатымъ бархатомъ и серебряною объярью (парчою), и патріаршее—крытое ковромъ персидскимъ. Государево мѣсто было подобно трону: вызолочено, расписано красками и имѣло видъ пятиглаваго храма съ одною большой главой посрединѣ и четырьмя малыми—по угламъ; на главахъ, сдѣланныхъ изъ прозрачной слюды, рѣяли двуглавые золоченые орлы. Подъ колокольный звонъ государь вступалъ на свое мѣсто черезъ створчатыя слюдяныя двери. Звонъ умолкалъ. Ближайшіе стольники поддерживали подъ-руки государя, прикладывавшагося на ступеняхъ своего мѣста къ иконамъ. Патріархъ, осѣняя царя крестомъ, вопрошалъ его „о его царскомъ здоровьи“. Духовенство размѣщалось въ это время по обѣ стороны мѣстъ государя и патріарха: ближніе люди царскіе становились, по чину, по правую сторону государя и за его мѣстомъ. Вся площадь, „по предварительной росписи“, заполнялась еще до выхода государева служилыми людьми въ золотныхъ и другихъ праздничныхъ кафтанахъ. На па-

церти Архангельскаго собора стояли иноземные послы, пріѣзжіе иностранцы, а также посланцы изъ отдаленныхъ русскихъ областей. Ратный строй стрѣльцовъ, со знаменами, ружьями и въ цвѣтномъ платьѣ, завершалъ величественную картину, окаймленную живой рамою несмѣтной народной толпы. Начиналось молебствіе съ водоосвященіемъ. Митрополиты, архіепископы, епископы, а за ними и все иное присутствовавшее духовенство, по-двое подходили и били поклоны передъ царемъ и патріархомъ—наособицу. Осѣнивъ государя крестомъ по окончаніи молебнаго пѣнія, патріархъ „здравствовалъ ему рѣчью", заканчивавшеюся возгласомъ: „Здравствуй, царь-государь, нынѣшній годъ и впредь идущія многія лѣта въ родъ и во вѣки!" („Древн. Росс. Вивліоѳика", X). Государь, въ отвѣтъ на пространную рѣчь патріарха, кратко благодарилъ своего богомольца. Затѣмъ, государя и патріарха поздравляли по-очереди духовныя власти, бояре и всѣ сановные люди, кланяясь „большимъ обычаемъ", т. е. почти до земли. Государь отвѣчалъ на поздравленіе духовенства наклоненіемъ головы, а боярамъ—поздравленіемъ. Послѣ этого, государя поздравляли съ новымъ лѣтомъ всѣ стрѣлецкіе полки; а за ними—весь народъ, бывшій въ Кремлѣ, „многолѣтствовавшій" царю, ударяя челомъ въ землю, какъ одинъ человѣкъ. Отвѣтивъ народу поклономъ, приложившись ко кресту и принявъ патріаршее благословеніе, государь шествовалъ въ Благовѣщенскій соборъ къ поздней обѣднѣ, а оттуда—въ свои палаты царскія. Дѣйство новолѣтія заканчивалось. Изъ казны государевой раздавалась въ этотъ день обильная милостыня нищимъ и убогимъ, чтобы всѣ они „молили о многолѣтнемъ здравіи государя царя". Новое „лѣто" вступало въ свои права—при облетавшемъ столицу всенародномъ возгласѣ: „Здравствуй, здоровъ будь, на многія лѣта, надежа государь!"

Въ правовомъ отношеніи день новаго года имѣлъ встарину не малое значеніе для народной жизни. Онъ—вмѣстѣ съ Рождествомъ Христовымъ и Троицынымъ днемъ—былъ срокомъ, когда должно было пріѣзжать въ Москву „ставиться на судъ предъ государемъ и его боярами". Кто изъ судившихся не являлся къ „началу индикта" на срочный судъ, тотъ считался виновнымъ, и его противнику выдавалась „правая грамота". Мѣстомъ суда на Семенъ-день назначался Приказъ Большого Дворца. Государю представлялись на усмотрѣніе тѣ особо важныя дѣла, которыхъ не могли разрѣшить намѣстники, приказчики городовые и волостели. Судъ царевъ считался равнымъ Божьему. Въ приговорахъ уличеннымъ въ

преступленіяхъ такъ прямо и объявлялось: „Пойманы вы есте Богомъ и Государемъ Великимъ“. Въ день Новолѣтія ставились обвиняемые на судъ и предъ патріархомъ. По уложенію царя Василія Ивановича Шуйскаго (1607 г.), было установлено относительно крестьянъ-перебѣжчиковъ, что, „если не подадутъ челобитья по 1-ое сентября о крестьянахъ, то, послѣ того срока, написать ихъ въ книги за тѣмъ, за кѣмъ они нынѣ живутъ“. Этотъ-же день, по установившемуся съ давнихъ временъ и вошедшему въ силу закона обычаю, являлся срокомъ уплаты оброковъ, даней и пошлинъ. Имъ начинались и заканчивались условные договоры между поселянами и торговыми людьми. Съ него сдавались во временное пользованіе земли, рыбныя ловли и всякія другія угодья.

Въ стародавніе годы соблюдались въ Семеновъ день на Руси обычаи—„пòстриги“ и „сажаніе на коня“, о которыхъ сохранились лѣтописныя свидѣтельства съ XII-го вѣка. Постриги совершались надъ сыномъ-первенцемъ въ каждомъ благочестивомъ русскомъ семействѣ, начиная съ великокняжескаго. Обрядъ пòстриговъ дѣтей великокняжескихъ происходилъ въ церкви и совершался епископомъ; у бояръ и простолюдиновъ это дѣлалось дома, въ присутствіи ближайшей родни, рукою крестнаго отца. Выстриженные на темени младенца волосы передавались матери, зашивавшей ихъ въ ладанку. Кумъ и кума выводили крестника на дворъ, гдѣ отецъ дожидался ихъ съ объѣзженнымъ конемъ, на котораго и сажалъ своегò первенца. Кумъ водилъ коня подъ-уздцы, а отецъ придерживалъ сына рукою. У крыльца отецъ снималъ ребенка съ коня и передавалъ его куму, въ свою очередь вручавшему крестника кумѣ—„изъ полы въ полу“, съ поклонами. Кума вела младенца къ его матери и привѣтствовала послѣднюю ласковымъ словомъ. Въ горницѣ подносились куму и кумѣ подарки, а они отдаривали крестника. За торжественнымъ обѣдомъ кумъ съ кумою разламывали на крестниковой головѣ пирогъ съ пожеланіями „новопостриженному“ всякихъ удачъ въ жизни. Эти обычаи давно уже исчезли изъ обихода русской народной жизни; дольше всего сохранялись они у казаковъ и старообрядцевъ.

Съ первымъ днемъ сентября-мѣсяца связано, однако, и въ настоящее время у русскаго народа не мало обычаевъ, примѣтъ и повѣрій, ведущихъ свое начало изъ болѣе или менѣе отдаленнаго прошлаго. Вся недѣля съ 1-го по 8-е число слыветъ на Руси „Семенскою“. Она-же зовется и „бабьимъ лѣтомъ“,—хотя это-послѣднее по бòльшей части продолжается, по мѣстному неписаному мѣсяцеслову, и до половины мѣсяца.

Со дня нашего стариннаго Новолѣтія начинаются, по народной примѣтѣ, первые холода, готовые перейти если еще не въ морозы, то въ заморозки. Еще за нѣсколько дней (а именно 29-го августа) начинаютъ загадывать въ деревнѣ о холодахъ—по отлету птицъ да по паутинѣ, носящейся въ воздухѣ. „Батюшка сентябрь не любитъ баловать",—гласитъ народное слово,—„въ сентябрѣ держись крѣпче за кафтанъ!". Деревенскій опытъ посмѣивается надъ наступившимъ бабьимъ лѣтомъ, приговаривая: „Какъ ни хвались, баба, бабьимъ лѣтомъ, а все глядитъ осенина-матушка на дворѣ сентябрь—въ сентябрѣ одна ягода, да и та горькая рябина!" Но въ то-же самое время этотъ умудренный жизнью опытъ зорко примѣчаетъ примѣты перваго дня осмѣиваемаго имъ „лѣта". Этотъ день оказываетъ вліяніе на всю послѣдующую осень: если на него ясно, то и вся осень будетъ ведреная; если луга въ этотъ день опутаны тенетникомъ, если гуси гуляютъ стадами, если скворцы не летятъ,—то и вся осень будетъ сподручною для деревенскихъ работъ, т.-е. ясною. А работъ въ деревнѣ и къ этому времени не мало: ждутъ онѣ мужика-хлѣбороба и въ огородѣ, и на гумнѣ, и вокругъ двора. Съ Семена-дня бабамъ всякихъ заботъ чуть-ли не больше, чѣмъ мужику-домохозяину. Съ этого времени принимается деревня мять и трепать пеньку, мыть выбранный ленъ и разстилать его по лугамъ. Въ этотъ-же день, вечеромъ, „затыкаютъ красна", т.-е. начинаютъ ткать холстъ, затѣваютъ „супрядки"—садятся за прялки и веретена.

Первое сентября—день „запашекъ" (опахиванія) полей—для огражденія ихъ ото всякихъ напастей со стороны вѣчно враждующей съ народомъ-пахаремъ темной нечистой силы. Въ этотъ-же день во многихъ мѣстностяхъ въ обычаѣ—перебираться въ новые дома и справлять новоселье. Варится брага, пекутся пироги; на пирушку зазываются хозяевами новаго дома тесть съ тещею, сваты, дяди и кумовья. Гости присылаютъ и приносятъ на новоселье хлѣбъ-соль и подарки—каждый по своему состоянію, кромѣ кума и кумы, которые непремѣнно должны принести полотенце и мыло. Пирушка затягивается: только позднимъ вечеромъ начинаются проводы гостей. Но еще до всего этого, до прихода послѣднихъ, совершается завѣщанный предками-пращурами обрядъ: перейти въ новое жилье не рѣшается ни одинъ крестьянинъ, не пригласивъ на новоселье стараго хозяина, дѣдушку-Домового. Въ покидаемой хатѣ въ послѣдній разъ топится печь. Старая бабка, остающаяся на прежнемъ пепелищѣ одна, выгребаетъ изъ печки всѣ угли въ печурку. Въ полдень по-

спѣшно собираетъ она въ припасенный заранѣе горшокъ всѣ непогасшіе до того времени угли, накрываетъ посуду скатертью и, обращаясь къ заднему углу избы, говоритъ: „Милости просимъ, дѣдушка, къ намъ на новое жилье!“ Затѣмъ, уходитъ бабка на новый дворъ, гдѣ у распахнутыхъ настежъ воротъ ее ожидаютъ хозяева съ хлѣбомъ-солью. Подойдя къ воротамъ, старуха стучится въ верею и спрашиваетъ: „Рады-ли хозяева гостямъ?“ — „Милости просимъ, дѣдушка, къ намъ на новое мѣсто!“ — съ поклонами отвѣчаютъ ей ожидающіе. Старуха идетъ въ новую избу, въ сопровожденіи несущихъ хлѣбъ-соль хозяевъ, и ставитъ горшокъ съ углями на столъ; взявъ скатерть, она трясетъ ею по всѣмъ угламъ и высыпаетъ угли въ печурку. Послѣ этого только и возможно, по мнѣнію суевѣрныхъ крестьянъ, ѣсть хлѣбъ-соль въ новомъ домѣ. Горшокъ, въ которомъ перенесенъ сюда „Домовой“, разбивается и зарывается подъ передній уголъ новаго дома.

Деревенская молодежь не отстаетъ отъ стариковъ въ суевѣрныхъ обычаяхъ, — почти всегда, впрочемъ, обращая ихъ въ игру-забаву. Такъ, на Семенъ-день, совпадающій съ древнимъ праздникомъ въ честь Бѣлъбога, крестьянскія дѣвушки хоронятъ мухъ и таракановъ, покровителемъ которыхъ, между прочимъ, считался и названный славянскій богъ. Для этого дѣлаются гробки изъ свеклы, рѣпы или моркови, въ которые и кладутся погребаемыя насѣкомыя, а затѣмъ зарываются въ землю. При этомъ поется не мало пѣсенъ, ничего общаго ни съ „богомъ мухъ“, ни съ какими погребальными обычаями не имѣющихъ. Погребальщицы, разряженныя въ свои лучшіе наряды, играютъ пѣсни; а парни, тайкомъ собирающіеся поглядѣть на дѣвичью забаву, высматриваютъ себѣ подходящихъ невѣстъ. Послѣ похоронъ, дѣвушки идутъ вмѣстѣ съ выбѣгающими къ нимъ изъ своей засады парнями пить брагу, и вслѣдъ затѣмъ деревня оглашается протяжною хоровой пѣснею:

„Ай, на горѣ мы пиво варили;
Ладо мое, Ладо, пиво варили!
Мы съ этого пива всѣ вкругъ соберемся;
Ладо мое, Ладо, всѣ вкругъ соберемся!...“

Семенъ-день съ давнихъ поръ чествуется не только работниками, но и охотниками. Встарину въ этотъ день выѣзжали бояре охотиться за зайцами. Это можно наблюдать и до сихъ поръ на Руси. Существуетъ повѣрье, что „отъ семенинскаго выѣзда лошади смѣлѣютъ, собаки добрѣютъ и не болѣютъ“,

и что также и „первая затравка наводитъ зимою большія добычи.“

Въ новгородской-валдайской округѣ записано любопытное повѣрье объ угорь-рыбѣ. На утренней ранней зорькѣ выметывается она въ Семенъ-день изъ воды на берегъ и ходитъ-перескакиваетъ по лугамъ на три версты, по росѣ. Смываетъ-сбрасываетъ съ себя она всѣ свои лихія болѣсти—на пагубу человѣку. Потому-то и не совѣтуютъ знающіе люди выходить до спада росы въ этотъ день на берегъ рѣки. Угорь слыветъ на деревенской Руси запрещенной рыбою. Можно его ѣсть, — говорятъ свѣдущіе старики, — только тогда, когда „семь городовъ напередъ обойдешь—никакой яствы не найдешь“, да и тогда запрещается вкушать голову и хвостъ угря. Народное суевѣріе принимаетъ его за „водяного змѣя, хитраго и злобнаго“, поясняя при этомъ, что за великія прегрѣшенія этому змѣю положенъ запретъ на жало: „не жалить ему вѣки вѣчные ни человѣка, ни звѣря.“ Знахари заставляютъ угря быть вѣщимъ помощникомъ ихъ гаданій: они кладутъ его на горячіе уголья и, по направленію его прыжковъ, стараются обозначить мѣсто, гдѣ укрыта похитчиками какая-либо пропавшая вещь. При этомъ они заклинаютъ его именемъ св. Маріы, матери Симеона-Столпника, память которой чествуется Православной Церковью въ одинъ день съ ея преподобнымъ сыномъ.

XXXIX.

Воздвиженье.

Приближается къ концу первая половина сентября-листопада, — съ послѣднимъ днемъ второй недѣли его приходитъ на Святую Русь праздникъ Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Господня, установленный Церковью въ воспоминаніе обрѣтенія св. царицею Еленою Креста, на которомъ былъ распятъ Спаситель міра—Сынъ Божій. Воздвиженіе—заключительный день бабьяго лѣта, третья (и остатняя) встрѣча осени. Съ его приходомъ послѣдняя вступаетъ въ свои неотъемлемыя права, заставляя сельскаго жителя все чаще и чаще призадумываться о глядящей къ нему во дворъ лиходѣйкѣ-зимѣ—съ ея морозами, буранами и зачастую приходящей вмѣстѣ съ ними безкормицей-безхлѣбицей, являющеюся грознымъ бичомъ пахаря-хлѣбороба, живущаго доброхотными щедротами земли. „На дворѣ Воздвиженье, послѣдняя копна съ поля движется, послѣдній возъ на гумно торопится!“—говоритъ деревня, любящая и цѣнящая всякое слово красное.—„На Воздвиженье шуба за кафтаномъ тянется!“, „На Воздвиженье зипунъ съ шубой здвинется!“, „Вздвиженье кафтанъ сыметъ, шубу надѣнетъ!“, „Вздвиженье—послѣдній возъ сдвинулся съ поля, а птица—въ отлетъ!“, „На Вздвиженье ни змѣя и никакой гадъ по землѣ сырой не движется!“ и т. д.

Третья встрѣча осени—„первые зазимки“. Но еще не пугаютъ они въ мѣру зябкаго мужика, знающаго, что настоящую вѣсть о зимѣ можетъ принести только Покровъ-батюшка. Только первый снѣгъ, раньше 1-го октября почти нигдѣ на Руси не выпадающій, и кладетъ починъ необлыжной сту-

жѣ. Покровъ—зазимье: на него—„до обѣда осень, а послѣ обѣда—зимушка-зима", по народной поговоркѣ, совпадающей съ ильинскою, гласящей, что „на Илью до обѣда лѣто, а послѣ обѣда—осень". По старинной примѣтѣ: „Вздвиженье осень зимѣ навстрѣчу двигаетъ!", а зима, въ свой чередъ, на этотъ праздникъ „со бѣла гнѣзда сымается, къ русскому мужику въ гости собирается,—семъ-ка (говоритъ) я, зима-зимская, на Святой Руси погощу, сѣраго мужика навѣщу, хлебальныхъ пироговъ поѣмъ, пива поотвѣдаю, свадьбы сыграю-отпраздную!"... Воздвиженіе—постный праздникъ. „Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него—пятница-середа, постная ѣда!"—говорятъ въ народѣ. „Кто не поститъ Вздвиженью—Кресту Христову,—на того семь грѣховъ воздвигнутся!"—замѣчаютъ о строгости однодневнаго поста воздвиженскаго благочестивые блюстители церковныхъ уставовъ: „Кто скоромн на Вздвиженьевъ день чурается,—тому семь грѣховъ прощается!", „У кого на столѣ убоина о Воздвиженьи,—тотъ всѣ свои молитвы убиваетъ, а новой не знаетъ—не вѣдаетъ, нечѣмъ ему Бога помолить!"

На Воздвиженіе въ старые годы по многимъ мѣстамъ воздвигалъ православный людъ обыденки-часовни да церковки малыя—по обѣщанію (въ честь праздника). Это считалось особенно угоднымъ Богу. Еще и до сихъ поръ ставятъ въ этотъ день по деревенской Руси придорожные кресты обѣтные, въ благодарность за избавленіе отъ зла-напасти, морового повѣтрія, лихого попущенія. Въ обычаѣ воздвигать-поднимать объ эту пору и кресты на новостроящихся храмахъ. Есть мѣстности, гдѣ каждогодно совершаются на этотъ праздникъ крестные ходы вокругъ селъ-деревень,—что, по народному представленію, ограждаетъ ото всякаго лиха на круглый годъ. Подымаютъ иконы богобоязненные люди на Воздвиженьевъ день и для обхода полей, съ молитвою о будущемъ урожаѣ. Молятся „празднику" и о болящихъ-страждущихъ, чтобы Господь воздвигъ ихъ съ одра болѣзни. „Съ вѣрою помолиться праведному человѣку на Вздвиженьевъ день, такъ Животворящій Крестъ и со смертнаго ложа подыметъ!"—говорятъ въ народѣ, твердо памятующемъ дѣдовскій завѣтъ о томъ, что „правда сильна вѣрою, а вѣра—правдою", и что одна безъ другой мертвы на просвѣщаемой свѣтомъ Христовымъ темной землѣ.

По старинному простонародному сказанію, еще недавно повторявшемуся въ среднемъ Поволжьѣ, на Воздвиженіе происходитъ битва-бой между „честью" и „нечестью". Поднимаются въ этотъ день,—гласитъ сказаніе,—воздвигаются одна на

другую двѣ силы: правда и кривда, „свято“ и „нѣсвято“... И зачинаетъ осиливать навожденіе отъ лукаваго, и починаетъ колебаться все стоящее за вѣру правую и правду вѣрную. Дрожитъ-колышется, сотрясается Мать-Сыра-Земля... Но вотъ воздвигается изъ нѣдръ ея Святъ-Господень Крестъ; вся вселенная сіяетъ, какъ солнце, отъ его нетлѣнныхъ-негаснущихъ лучей. И таетъ, какъ воскъ—отъ огня, все злое-нечистое, все сильное кривдою міра—предъ этимъ лучезарнымъ Крестомъ. Побѣждаетъ все праведное, все чистое... „И такъ до скончанія вѣка вѣковъ“,—гласитъ заключительное слово поволжскаго сказа, свидѣтельствующаго о непоколебимой вѣрѣ народа въ торжество правды, несмотря на обуревающее міръ зло, ходящее по свѣту бѣлому, о бокъ съ черной бѣдой-невзгодою, все затмевающей-туманящею.

Въ другомъ сказаніи, пріуроченномъ ко дню Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Господня, повѣствуется о самомъ событіи, связанномъ съ этимъ праздникомъ. „Пьетъ вино Константинъ-царь“, — начинается сказаніе,—„въ красномъ городѣ Царѣ-градѣ, во своемъ дворѣ Господнемъ; съ нимъ пьютъ Божьи апостолы, святой Петръ и апостолъ Павелъ. И бесѣдуетъ Константинъ-царь:—О, верховны Божьи апостолы! Гдѣ-то нынѣ наши кресты честны, у коего честнаго царя они?...“ Чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе расходится съ книжной правдою повѣствованіе народное. „Верховны Божьи апостолы“ говорятъ, что „кресты честны“ находятся въ еврейской землѣ „у проклята царя Евреина“. Они совѣтуютъ царю Константину пойти на еврейскую землю, „поплѣнить“ ее и „ухватить царя Евреина“ и выпытать у него о мѣстѣ, гдѣ сокрыта великая христіанская святыня. Но сейчасъ-же оговариваются совѣтчики, что „тверда вѣра жидовина: помретъ онъ скорѣе на мукахъ, честныхъ крестовъ не укажетъ“. Лучше, по ихъ словамъ, послать „жестокихъ глашатыхъ“ въ еврейскую землю и взять отъ еврейской царицы ребенка. „Ты наложи два живыхъ огня, царь,“—говорятъ они,—„метни чадо межь огня два жива, пусть пищитъ оно, будто змія люта: а всякая мать милостива и до своего чада жалостива,—царица кресты укажетъ!“ И вотъ—царь Константинъ, внявъ совѣту, „на четыре страны письма пишетъ и собралъ все войско христьянско...“ Плѣнена вся еврейская земля, царь Евреинъ—въ рукахъ побѣдителя и, несмотря на всѣ пытки, несмотря даже на мученическую смерть-кончину, не выдалъ завѣтнаго мѣста—„честныхъ крестовъ указать не хочетъ!“ Посланы, по увѣщанію „верховныхъ Божьихъ апостоловъ“, и „жестокіе глашатаи“. Все сдѣлано по указанному, какъ

по писаному. Увидѣвъ своего ребенка положеннымъ межъ двумя „живыми огнями“, еврейская царица „приступаетъ, слезы проливаетъ, цѣлуетъ царя и въ полу, и въ руку“, обѣщая указать желанное мѣсто. Послѣ нѣкотораго новаго колебанія, она, наконецъ, когда ея дитя было отодвинуто отъ огней, говоритъ царю Константину: „Видишь-ли, царь, Одюбаръ (Θаворъ) гору? Двинь ты войско, иди ты подъ гору и раскопай Одюбаръ-гору: найдете вы твердый камень, разбейте вы твердый камень, посыпятся многи кресты златы, евреи кресты тѣ сковали, на подобіе будто кресты ваши, да не узнаются кресты ваши!“ Царь сдѣлалъ все по этому указанію. Принесли ему „многи кресты златы“. Взялъ царь Константинъ и ударилъ ихъ о камень: „переломились на двое, на трое...“ Принесли ему другіе кресты,—замахнулся царь, ударилъ о камень, предъ нимъ разлетѣлся камень. Эти кресты были тѣ самые „кресты честны“, о которыхъ говорили „верховны Божьи апостолы“—совѣтчики царскіе.

„Какъ увидѣлъ то Константинъ-царь,
Тогда царь возсталъ на ноги
И крестъ честной поцѣловалъ онъ,
И цѣлуетъ все войско христьянско.
Когда царь кресты такъ избавилъ,
Двинулъ войско, ушелъ онъ во дворъ свой.
Пока живъ былъ Константинъ-царь,
Честны кресты на земли сіяли,
Сіяли крещеному христьянскому народу.
Когда-же преминулъ Константинъ-царь
И честная царица Елена,
Тогда честные кресты воскресли,
Воскресли на небеса въ высь
И теперь сіяютъ на томъ свѣтѣ,
Словно солнце на свѣтѣ здѣшнемъ“...

Такъ заканчивается сказаніе, стоящее ближе къ сказочному складу, нежели къ былевой пѣснѣ, оправдывая стародавнее присловье: „Сказка—складка, пѣсня—быль“.

Въ другомъ сказаніи, родственномъ по содержанію съ этимъ, мѣсто еврейской царицы занимаетъ „жидовка-вдовица“, а „верховные Божьи апостолы“ совершенно отсутствуютъ, а царю Константину самому „вспало на умъ“ все совершаемое. Начинается это сказаніе такой картиною: „Три темныя мглы опустились, опустились во Стамболѣ градѣ, и стояли ровно три годины: ни солнце въ ту пору не грѣло, ни вѣтеръ тогда не повѣялъ, ни роса тогда не заросила, никакая жена не

родила, никакая овца не ягнилась, сотворился тогда гладъ великій, стары люди золою питались, молодые травою паслися, глупы дѣти песокъ поѣдали"... Это время, по сказанію, предшествовало мысли, вспавшей на умъ царю Константину. „Зачудился тогда Константинъ-царь",—гласитъ сказаніе,—„чтой-то будетъ за велико чудо? Спустя мало, царю на умъ вспало. И бесѣдуетъ онъ кралю Муратъ-бегу:—Ты гой еси, ты Муратъ-бегъ краль! Поди-ка ты на Ситницу рѣку къ краю, есть тамъ жидовка вдовица,та имѣетъ одного дитя-младенца: ой ты жидовка вдовица! Скажи-ка мнѣ, гдѣ-то тутъ кресты Христовы? А не скажешь, жидовка вдовица, возьму у тебя твоего дитя-младенца, между двухъ огней буду его жарить!... Отвѣчала жидовка-вдовица:—Клянуся я Богомъ, Муратъ-бегъ краль! Въ работницы здѣсь нанята я, поливать мнѣ велику навозную кучу: растетъ ночью здѣсь трава смерделика, растетъ ночью, я полю на утро; денно-нощно сижу себѣ здѣсь я!.. Сказали ему царю Константину. Царь пустилъ тогда молодцовъ триста, видѣть—что тамъ за чудо велико? Не была то, не была трава смерделика: только былъ то Христовъ василекъ. И тогда стали молодцовъ триста, отрыли велику навозную кучу: была она, куча, очень маленька, въ глубину была она триста саженъ, въ ширину была она полтораста... И нашли они кресты Христовы"... Когда найдены-отрыты были „кресты Христовы",—тогда, во мгновеніе ока измѣнилась вся картина:

„Тогда солнце огрѣвать насъ стало,
Тогда вѣтеръ снова началъ вѣять,
Роса мелкая тогда заросила,
Мужскихъ дѣтей жены породили,
Овцы яры тогда объягнились,
Сотворилася велика дешевизна,
И нивы-то пшеницу родили,
Урожай тогда вышелъ полонъ.
Кто слышали, всѣ-бъ веселы были!..."

Дума пахаря-народа о хлѣбѣ насущномъ сказалась здѣсь едвали не ярче, чѣмъ въ какихъ-бы то ни было другихъ памятникахъ его пѣснотворчества. Эту думу спородила власть земли-кормилицы надъ его стихійной душою, порождавшей не только однихъ пахарей, но и богатырей.

Праздникъ Воздвиженья слыветъ „капустницами". „Смекай, баба, про капусту: Вздвиженье пришло!"—говорятъ на посельской Руси: „Вздвиженье—капустницы, капусту рубить пора!", „То и рубить капусту, что со Вздвиженья!", „У доб-

раго мужика на Вздвиженьевъ день и пироги съ капустой!", „И плохая баба о Вздвиженьи—капустница!", „На Вздвиженье—чей-чей праздничекъ, а у капусты поболѣ всѣхъ!", „На Вздвиженье первая барыня—капуста!" и т. д. Капуста, и всегда пользующаяся большимъ почетомъ въ простонародномъ обиходѣ, у всѣхъ на языкѣ въ Воздвиженьевъ день. „Щи да каша—пища наша!",—говоритъ деревенскій людъ, а самъ приговариваетъ: „Безъ хлѣба мужикъ сытымъ не будетъ, безъ капусты—щи не живутъ!", „Хлѣбъ да капуста лихого не попустятъ!", „Капуста не пуста, сама летитъ въ уста!", „Капуста—лучше пуста!..." О незапасливыхъ хозяевахъ замѣчаютъ: „Пошелъ-бы къ сосѣду по капусту, да на дворъ не пустятъ!", „Помяни рѣпу, чтобы дали капусты!", „Поѣзжай въ Крымъ по капусту!", „Ни шитъ, ни кроенъ, а весь въ рубцахъ!", „Безъ счету одежекъ—всѣ безъ застежекъ!", „Маленькій попокъ, сорокъ ризокъ оболокъ!", „Шароватый, кудреватый, на макушкѣ плѣшь, на здоровье съѣшь!"—ведутъ свою иносказательную рѣчь загадки о капустѣ. Старинное повѣрье совѣтуетъ выбирать капустныя сѣмена изъ кочней если не на Воздвиженье, то на Благовѣщенье. „Ни воздвиженской, ни благовѣщенской капусты морозъ не бьетъ!"—гласитъ оно, изъ устъ памятливыхъ ко всякой примѣтѣ старыхъ людей, умудренныхъ опытомъ. Они-же добавляютъ къ этому, что, при засѣвѣ капусты, надо пересыпать сѣмена изъ руки въ руку,—иначе, вмѣсто капусты, уродится брюква. Капусты, по ихъ-же словамъ, въ четвергъ не садятъ: „посадишь—всю черви поточатъ!"

Воздвиженье начинаетъ рядъ осеннихъ веселыхъ вечериновъ, справляющихся и слывущихъ подъ именемъ „капустницъ" не только въ деревняхъ, но и въ городахъ (у мѣщанъ). Встарину въ этотъ день красныя дѣвушки, принарядяся въ цвѣтно-праздничное платьице, хаживали изъ дома въ домъ—рубить капусту. Это дѣлалось съ веселыми пѣснями; гостьямъ подносилось сусло-пиво, ставились сладкіе медá, подавались угощенья-заѣдки разныя (смотря по достатку хозяевъ). Молодежь-женихи высматривали себѣ въ это время невѣстъ-„капустницъ". Ввечеру, когда капуста была уже срублена, всюду шло веселье, нерѣдко приводившее къ свадьбамъ, игравшимся о Покровѣ-днѣ. „Капустенскія вечóрки" длились двѣ недѣли, заканчиваясь вмѣстѣ съ сентябремъ-мѣсяцемъ. Ихъ ожидала молодежь, какъ веселаго праздника, въ-родѣ Масляницы. Не мало пѣсенъ, особаго склада и лада, пріурочивалось къ этому времени, своихъ—„капустенскихъ", хотя не считалось зазорнымъ пѣть на „вечóркахъ" и всякія другія, лишь-бы складны были да веселы.

Воздвиженскіе капустники и въ наши дни—повсемѣстный на деревенской Руси дѣвичій праздникъ: ждутъ его по осени, не дождутся красныя. Знаютъ онѣ, что ввечеру сойдутся на капустную бесѣду-пирушку холостые деревенскіе парни—себѣ невѣстъ приглядывать. Всѣ заневѣстившіяся дѣвушки принаряжаются на эту бесѣду въ лучшіе наряды, чтобы не ударить въ грязь своею красою дѣвичьей: у каждой изъ нихъ есть среди ожидаемыхъ гостей свои присмотрѣнные заранѣе, приглянувшіеся загодя парни. Существуетъ повѣрье, что, если—собираясь на воздвиженскій капустникъ, дѣвушка прочитаетъ семь разъ особаго рода заклятіе, то приглянувшемуся ей молодцу приглянется и ея красота. „Крѣпко мое слово, какъ желѣзо! Воздвигни, батюшка Воздвиженьевъ день, въ сердцѣ добра молодца (имя рекъ) любовь ко мнѣ дѣвицѣ красной (имя рекъ), чтобы этой любови не было конца-вѣку, чтобы она въ огнѣ не горѣла, въ водѣ не тонула, чтобы ее зима студеная не знобила! Крѣпко мое слово, какъ желѣзо!“—приговариваютъ дѣвицы красныя, собираючись, какъ на веселыя смотрины, на капустникъ воздвиженскій.

XL.

Пчела—Божья работница.

Дни съ 19-го по 27-е сентября слывутъ во многихъ мѣстахъ Святой Руси „пчелиной девятиною". На одной грани этого девятидневія стоитъ въ народной памяти свѣтлый обликъ преподобнаго основателя Соловецкой обители, св. пустынника Зосимы, чествуемаго Православной Церковью, кромѣ того, и весною—17-го апрѣля.—а на другомъ рубежѣ красуется его преподобный сподвижникъ Савватій. Оба названныхъ святыхъ Русской Земли считаются въ народѣ пчелохранителями-пчеловодами. Благоговѣйное воспоминаніе о нихъ слилось въ народномъ представленіи въ одинъ нераздѣльный образъ „Зосимы-Саватія", вотъ уже нѣсколько вѣковъ привлекающій на студеное Бѣлое море въ основанный преподобными монастырь-„пчельникъ" несмѣтныя тысячи богомольцевъ. Нашъ пахарь-народъ былъ пчеловодомъ съ древнѣйшихъ временъ своего существованія. Но русское пчеловодство сосредоточивалось раньше только въ юго-западномъ углу свѣтлорусскаго простора, откуда медъ и воскъ шли Днѣпромъ даже и за-море еще въ ту стародавнюю пору, когда пчела-работница ютилась въ бортяхъ-дуплахъ и была въ дикомъ состояніи (до XIV вѣка). Встарину выплачивались медомъ-воскомъ даже всякія дани, подати и налоги.—наравнѣ съ пушниной и хлѣбнымъ зерномъ. Меда ставленые-сыченые еще до Красна-Солнышка—князя-Владиміра были любимымъ охмѣляющимъ напиткомъ любящей „веселіе" Руси: въ приготовленіи ихъ наши отдаленнѣйшіе предки достигли высокой степени совершенства и не знали себѣ соперниковъ въ разноязычной семьѣ другихъ народовъ. Со времени просвѣщенія Руси Тихимъ Свѣтомъ

правой вѣры Христовой пчела, доставляющая не только пьяный-сладкій медъ, но и воскъ—„Богу на свѣчку“, стала слыть „Божьей угодницею“, продолжая обитать-плодиться все еще въ своихъ лѣсныхъ бортяхъ.

Святые Зосима и Савватій,[71]) въ средніе годы XV-го столѣтія подвизавшіеся во славу Божію на дальнемъ сѣверѣ, первые—по преданію—научили русскій народъ болѣе или менѣе правильному пчелиному хозяйству, не только устроивъ на Руси пасѣки-пчельники, но даже занеся „пчелу“ на обвѣянный бурями пустынный островъ, покоящійся въ студеныхъ волнахъ Бѣлаго моря, на многія сотни верстъ южнѣе береговъ котораго никто до той поры и слыхомъ не слыхомъ о пчеловодствѣ. „Божественный пчельникъ“, основанный почившимъ угодникомъ Божіемъ, неустанно продолжаетъ съ тѣхъ поръ, разростаясь и укрѣпляясь, возносить изъ волнъ Бѣлаго моря студенаго немолчную хвалу Живоначальной Троицѣ.

„Святая двоица—Зосима-Савватій“—въ великомъ почитаніи не только на сѣверномъ поморьѣ, но и по всей народной Руси, òтъ-моря дò-моря. Всюду,—не только, гдѣ стоитъ хоть одинъ пчелиный улей, но гдѣ теплится передъ божницею хотя одна свѣча „воска яраго“,—повсемѣстно благоговѣйно поминаются родныя Русской Землѣ имена святыхъ угодниковъ Божіихъ, покровителей пчелы, оберегающихъ—кромѣ того—своею крѣпкой защитою и всѣхъ плавающихъ по сѣвернымъ водамъ, омывающимъ мѣсто ихъ земного подвижничества о Христѣ. Почти на каждомъ пчельникѣ можно найти икону соловецкихъ подвижниковъ. Ни одинъ пчеловодъ не начнетъ никакого важнаго дѣла въ своемъ пчелиномъ хозяйствѣ безъ обращенной къ нимъ молитвы. Благочестивая старина совѣтуетъ служить дважды въ году на пчельникахъ молебны Зосимѣ-Савватію: по веснѣ, когда ульи выносятся изъ омшени-

[71]) Св. Зосима, по словамъ житія его, былъ родомъ изъ вотчины Господина Великаго Новагорода; онъ увидѣлъ свѣтъ бѣлый въ селеніи Толвуѣ, на берегу Онежскаго озера. Сначала подвизался онъ на Сумскомъ поморьѣ, гдѣ и встрѣтился съ инокомъ Германомъ повѣдавшимъ ему о жившемъ на Соловкахъ пустынникѣ Савватіѣ, который предъ своей кончиною († въ 1435 году на рѣкѣ Выгѣ, въ деревнѣ Сорокѣ) переселился съ моря на материкъ. Преподобный, плѣнясь разсказомъ инока о соловецкомъ пустынножительствѣ, „возревновалъ о Господѣ“ и (въ 1436 году) удалился вмѣстѣ съ Германомъ на освященный подвижничествомъ своего предшественника островъ. Сюда, къ тѣсной келіи пустынножителей, слава о которыхъ не замедлила распространиться по всему поморью, начали стекаться жаждущіе душеспасительнаго труда ученики. Былъ сооруженъ деревянный храмъ Божій, возникъ убогій монастырь. Игуменомъ послѣдняго былъ избранъ св. Зосима. Въ 1465-мъ году въ новую обитель перенесены были честныя мощи перваго соловецкаго подвижника. Кончина преподобнаго Зосимы послѣдовала въ томъ-же году.

ка на вольный воздухъ, и осенью—въ одинъ изъ дней пчелиной девятины, заставляющей убирать пчелу на зимній покой, въ теплый уютъ. „Милостивый Спасъ всяку душу спасаетъ, Зосима-Савватій пчелу бережетъ!“ — говорятъ пчеловоды: „Безъ Бога—ни до порога, а безъ Зосимы-Савватія —ни до улья!“, „Что у пчелы въ соту—то Зосима-Савватій далъ!“, Пчела—Божья угодница, а и та Зосимѣ-Савватію свой молебенъ поетъ!“, „Зосима-Савватій вмѣстѣ съ пчелой Богу свѣчку лѣпитъ, Пресвятой Троицѣ домъ строитъ!“, „Зосима-Савватій цвѣты пчелѣ роститъ, въ цвѣтъ меду наливаетъ!.“ Въ такихъ и тому подобныхъ словахъ опредѣляетъ народъ значеніе соловецкой двоицы для пчеловода,—приговаривая: „Ты медъ-то ломать ломай, да объ Зосимѣ-Савватіѣ вспомнай!“, „Безъ Савватія-Зосимы—рой пролетитъ мимо (пчельника)!“, „Рой ропится—Зосима-Савватій веселится!“ и т. д. Прибѣгая подъ щитъ заступничества соловецкихъ покровителей пчелинаго хозяйства, водящій пчелу пахарь твердо памятуетъ вѣщее слово умудренныхъ опытомъ предковъ, гласящее, что святая двоица—Зосима-Савватій—помогаетъ только благочестивымъ, блюдущимъ отеческіе завѣты, людямъ. „Злому-неправедному лучше и не водить пчелы!“—говорятъ въ посельской Руси, считающей пчеловодство дѣломъ угоднымъ Богу, но одновременно съ этимъ не совѣтующей приступать къ нему съ загрязненной грѣхомъ душою. „У праведнаго—рой за роемъ ропится, у грѣшнаго послѣдняя пчела переводится!“, „Къ доброй душѣ и чужая пчела роемъ прививается!“. „Подходи къ пчелѣ съ кроткими словами, береги пчелу добрыми дѣлами!“, „Пчела на злого хозяина Богу жалуется!“, „Добраго человѣка и пчела не жалитъ!“, „Вору-грабителю—и отъ пчелы въ соту одна горькая хлѣбина!“ — можно услыхать отъ любого пчеляка-пасѣчника.

Божья угодница-работница—пчела—еще въ глубокой древности, во времена, повитыя мглистымъ туманомъ язычества, слыла надѣленнымъ нездѣшней силою насѣкомымъ. Въ старинныхъ русскихъ сказкахъ звѣздная розсыпь является „золотымъ роемъ пчелъ“. Эти небесныя пчелы ниспосылаютъ на ширь-даль поднебесную медовыя росы, собираемыя изъ цвѣтовъ ихъ земными сестрами, лѣпящими соты. Съ этимъ преданіемъ совпадаетъ древнегреческое сказаніе о небесныхъ пчелахъ, приносившихъ медъ малюткѣ-Зевесу.

Пчелиная мудрость всегда считалась неподлежащей никакому сомнѣнію. „На что хитра гадъ-змѣя подколодная, а пчелка, Божья пташка, и ее перемудритъ!“—говорятъ на Руси. По крылатому народному слову—„Отъ пчелы ничто не на

землѣ, ни подъ землей не укроется: все она слышитъ, все-то видитъ, обо всемъ Богу говоритъ!", „Одной пчелѣ Богъ съ роду науку открылъ!", „Пчела—ни дѣвка, ни вдова, ни мужняя жена: дѣтей водитъ, людей питаетъ, дары Богу приноситъ!", „Нечему пчелу учить, сама всякаго мужика научитъ!", „Для пчелы всякъ урокъ легокъ!", „Родилась пчела—всю науку поняла!", „Мала-мала пчелка, а побольше великаго знаетъ!"

Пчела настолько свята въ Божьемъ мірѣ, среди созданныхъ Творцомъ существъ, что даже самъ грозный Илья пророкъ не можетъ ударить громомъ-молоньей въ пчелиный улей, хотя-бы за нимъ укрывался нечистый духъ. Ужаленный пчелою человѣкъ считается въ народѣ погрѣшившимъ противъ Духа-Свята въ этотъ день. Приблудный, залетѣвшій на чужой дворъ, привившійся къ чужому дому рой сулитъ его хозяину счастье. Если-же такой рой залетитъ въ подполье,—это считается еще болѣе счастливымъ признакомъ: кто не станетъ всячески оберегать такое „счастье", падетъ на голову тому, какъ снѣгъ, бѣда неминучая. Убить пчелу—грѣхъ на шею навязать; украсть колоду съ пчелами—святотатство. По старинному преданію, пчелы потому стали „предъ Богомъ святы", что въ то время, когда на Голгоѳѣ совершалось искупленіе племени-рода человѣческаго, онѣ прилетали цѣлымъ роемъ къ распятому на крестѣ Сыну Божію и, выпивая кровавый потъ, проступавшій на Божественномъ челѣ, облегчали страданія Спасителя. Потому-то, по словамъ народной мудрости, „безъ пчелы (безъ восковыхъ свѣчъ) и обѣдню попъ не служитъ". По словамъ другого народнаго сказа, пчелы жалили руки бичевавшимъ Христа. Третье сказаніе рисуетъ ихъ разносящими „по всему бѣлому свѣту христьянскому" первую вѣсть о Свѣтломъ Воскресеніи Христовомъ.

Въ Поволжьѣ лѣтъ двадцать тому назадъ еще ходило съ пчельника на пчельникъ изустное повѣствованіе о томъ, какъ Богъ Саваоѳъ передалъ пчелъ подъ защиту святыхъ Зосимы и Савватія. Долго жили пчелы, Божьи угодницы,—гласила народная молвь,—долго жили, не было у нихъ среди святыхъ Божіихъ своего покровителя. И нападала отъ этого на мудрое пчелиное царство всякая нечисть, мѣшая пчеламъ дѣлать Божье дѣло. Собрались однажды на совѣтъ семьдесятъ семь царицъ семидесяти семи богатѣйшихъ городовъ пчелиныхъ. „У всякаго скота, у всякой животины, есть свои святые у подножія престола Господня",—сказала на этомъ совѣтѣ мудрѣйшая изо всѣхъ семидесяти семи царицъ,—„одна

пчела живетъ-трудится на землѣ безъ святой защиты на небесахъ!" Порѣшили семьдесятъ семь царицъ семидесяти семи городовъ пчелиныхъ полетѣть на небеса къ престолу Господню. Полетѣли и взмолились ко Всевышнему. Дошла до слуха Божія жалоба-мольба семидесяти семи царицъ, просившихъ о святомъ покровителѣ для своего пчелинаго народа, трудящагося-подвизающагося во славу Господа Силъ. Внималъ Богъ Саваоѳъ царственнымъ челобитчицамъ, внималъ и сокрушался: некому было отдать подъ защиту пчелу—Божью угодницу. Услышалъ грозенъ Илья-пророкъ объ этомъ и напомнилъ Господу о новопреставленныхъ святыхъ угодникахъ Его—преподобныхъ Зосимѣ и Савватіѣ, соловецкихъ подвижникахъ. И возсіялъ ликъ Господа Силъ радостію великою: нашлись среди святыхъ на лонѣ Его, не одинъ, а двое покровителей-оберегателей Божьей работницы на Русской Землѣ. Воспѣли хвалу Богу Саваоѳу семидесятью семью голосами семьдесятъ семь царицъ семидесяти городовъ царства пчелинаго и полетѣли разносить по міру, по свѣту бѣлому радостный благовѣстъ о святой двоицѣ соловецкой—Зосимѣ-Савватіѣ. „Съ той поры и взяла на свои рамена заботу-тяготу о пчелѣ святая двоица!"—договариваетъ сказаніе.

Въ простонародныхъ пословицахъ и поговоркахъ отводится значительное мѣсто оберегаемой Зосимою - Савватіемъ Божьей работницѣ-угодницѣ. „Работящъ, какъ пчела!",—говоритъ народъ о неустанно трудящемся скопидомѣ. „И на себя, и на людей, и на Бога трудится!"—отзываются въ народѣ о жадномъ на работу человѣкѣ. „Ни пчелы безъ жала, ни розы безъ шиповъ!"—приговариваетъ деревеньщина-посельщина: „Не на себя пчела работаетъ, на-Бога!", „Скупые—ровно пчелы: медъ собираютъ, а сами умираютъ!", „Лихихъ пчелъ подкуръ нейметъ, лихихъ глазъ стыдъ не беретъ!" Относительно осторожной мудрости пчелиной земѣчаютъ пчеловоды-краснословы: „И пчелка летитъ на красный цвѣтокъ!", или: „На всякій цвѣтокъ пчела садится, да не со всякаго поноску беретъ!"

Загадки рускаго народа говорятъ о пчелѣ въ такихъ иносказательныхъ словахъ: «Сидитъ дѣвица въ темной темницѣ, вяжетъ узоръ—ни петлей, ни узловъ!", „Сидятъ дѣвушки во горенкахъ, нижутъ бисеромъ на ниточки!", „Во темной темницѣ красны дѣвицы, безъ нитки, безъ спицы, вяжутъ вязеницы!", „Въ темницѣ дѣвица бранину собираетъ, узоръ вышиваетъ,—ни иглы, ни шелку!", „Точёмъ скатерти браныя, ставимъ яства сахарныя—людямъ на потребу, Богу въ угоду!", „Въ тѣсной избушкѣ ткутъ холсты старушки!", „Ле-

титъ птица крутоносенькая, несетъ тафту рудожелтенькую, еще та тафта ко Христу годна!“, „Ни солдатка, ни вдова, ни замужняя жена: много дѣтокъ уродила, Богу угодила!“, „Летѣла птаха мимо Божьяго страха: ахъ, мое дѣло на огнѣ сгорѣло!“, „Летитъ птичка-гоголекъ черезъ Божій теремокъ, сама себѣ говоритъ: моя сила горить!“ Въ Самарской губерніи записаны Д. Н. Садовниковымъ и такія загадки о пчелѣ, какъ: „Маленькая собачка не лаетъ, не баетъ, а больно кусаетъ!“, „Полонъ хлѣвецъ кургузыхъ овецъ!“, „Лежитъ кучка поросятъ, кто ни тронетъ—голосятъ!“

Медъ-самотекъ, медъ сотовой и медъ-липецъ—любимое лакомство русскаго простолюдина; медъ питейный-стоялый—любимый напитокъ. „Я самъ тамъ былъ“,—говорятъ въ народѣ о возбуждающемъ зависть пирѣ,—„медъ пилъ, по усамъ текло—въ ротъ не попало: на душѣ пьяно и сытно стало!“, „И мы видали, какъ бояре медъ ѣдали!“, „Есть медокъ, да засѣченъ въ ледокъ!“ „Съ медомъ и долото проглотишь: одинъ съ медомъ и лапоть съѣлъ!“—говоритъ любящая красное словцо деревня: „Воеводою быть—безъ меду не жить!“, „Будь лишь медъ—много мухъ нальнетъ!“, „Лакомъ гость до меду, да пить ему воду!“, „Покой пьетъ воду, а безпокой—медъ!“, „Терпи горе: пей медъ!“, „Отвага медъ пьетъ и кандалы третъ!“, „Либо медъ пить, либо биту быть!“ и т. д. „Твоимъ- бы медомъ да намъ по губамъ!“—говорятъ бахвалящемуся пустослову, прибавляя-приговаривая: „Твоими-бы устами да медъ пить!“, „Съ тобой говорить, что меду напиться!“ Тому, кто, согласно съ пословицей, на посулѣ—какъ на стулѣ, говорятъ: „Коли медъ—такъ и ложку!“, „У тебя одна рука въ меду, а другая—въ патокѣ!“, „Кинуло въ потъ: голова что медъ, а языкъ—хоть выжми!“, „Радъ госпожѣ—что меду на ножѣ!“, „Не летитъ пчела отъ меду, а летитъ отъ дыму!“

Народное пѣсенное слово приписываетъ Божьей работницѣ и такія заботы, какъ „замыканіе“ и „отмыканіе“ временъ года. Вотъ, напримѣръ, пѣсенка, записанная П. В. Шейномъ[72]) въ Дорогобужскомъ уѣздѣ Смоленской губерніи:

[72]) Павелъ Васильевичъ Шейнъ—неутомимый собиратель народныхъ пѣсенъ, всю долголѣтнюю жизнь посвятившій этому дѣлу. Онъ родился въ гор. Могилевѣ-на-Днѣпрѣ въ 1826-мъ году, по образованію—питомецъ могилевской классической гимназіи и московскаго университета (по историко-филологическому факультету). Возложивъ на себя тяжкій крестъ учителя, этотъ еврей по происхожденію и лютеранинъ по вѣроисповѣданію отдалъ всего себя на служеніе русскому народу. Бѣднякъ, не имѣвшій гроша за душой, полукалѣка (онъ съ дѣтства ходилъ на костыляхъ)—П. В—чъ пѣшкомъ обошелъ цѣлыя области, собирая цвѣты пѣсеннаго богатства народнаго (Симбирскую, Калужскую, Мо-

„Ты, пчелонька,
Пчелка ярая!
Ты вылети за море,
Ты вынеси ключики,
Ключики золотые,
Ты замкни зимыньку,
Зимыньку студеную!
Отомкни лѣточко,
Лѣточко теплое,
Лѣточко теплое.
Лѣто хлѣбородное!“

По пословицѣ—„Гдѣ цвѣтокъ, тамъ и медокъ!“, „Подлѣ пчелки въ медокъ, а подлѣ жучка—въ навозъ!“, жилье Божьей работницы—улей—должно содержаться пчеловодомъ въ чистотѣ; въ противномъ случаѣ все его населеніе перемретъ. Едва-ли найдется какое-нибудь другое живое существо, которое такъ страдало-бы отъ неопрятности, какъ пчела. Потому-то, приступая къ медосбору, пчеляки-пасѣчники прежде всего чисто-на-чисто вымываютъ руки и переодѣваются въ чистую одежину. Всякій соръ-мусоръ тщательно отметается отъ ульевъ—по той-же самой причинѣ. Объ ульѣ, пчелиной домовинѣ, существуетъ цѣлый рядъ мѣткихъ загадокъ—въ родѣ: „Пѣвунъ-пѣвецъ нашелъ хлѣвецъ, въ немъ—пять тысячъ овецъ!“, „Стоитъ изба безугольна, живутъ люди безуемны!“, „Въ крутомъ буеракѣ—лютыя собаки!“... Пересаживая рой въ новый улей, пчеловоды, держащіеся обычаевъ дѣдовской старины, опрыскиваютъ его святою крещенской водою, нарочно сохраняемой ими для этого случая, и приговариваютъ: „Святые преподобные Зосима-Савватій, Матушка Пре-

сковскую, Тверскую, Тульскую и др. губерніи). Первыя собранныя имъ пѣсни вошли въ „Великорусскій Сборникъ“ Бодянскаго. Въ 60-хъ годахъ П. В. Шейнъ, будучи учителемъ витебской гимназіи, семь лѣтъ изучалъ сѣверо-западный край Россіи. Въ началѣ 70-хъ годовъ Географическимъ Обществомъ изданы его „Бѣлорусскія народныя пѣсни“. Затѣмъ, Академія Наукъ выпустила, три книги его „Матеріаловъ для изученія быта и языка населенія сѣверо-западнаго края“. Цѣлый рядъ экскурсій совершенъ былъ П. В-чемъ для пополненія собранныхъ имъ словесныхъ богатствъ. Въ послѣдніе годы жизни онъ жилъ въ Петербургѣ, работалъ надъ академическимъ изданіемъ капитальнаго труда „Великоруссъ въ своихъ пѣсняхъ, обрядахъ, обычаяхъ, вѣрованіяхъ, сказкахъ и легендахъ“. Два первыхъ тома этого труда вышли въ свѣтъ, выходъ остальныхъ прервала смерть безкорыстнаго труженика. П. В. Шейнъ скончался 14-го августа 1900 года въ Ригѣ, гдѣ и похороненъ. Послѣднею печатной работою его былъ очеркъ, посвященный вопросу о томъ что́ дала русская народная поэзія Пушкину. Этотъ очеркъ помѣщенъ въ іюньской книгѣ журнала І. І. Ясинскаго „Ежемѣсячныя Сочиненія“ за 1900-й годъ.

святая Богородица, храните эту домовину, какъ зѣницу ока, отъ мора, отъ хлада, ото всякаго гада!“ Это, по старинному повѣрью, способно предохранить пчелиный домъ отъ наносной бѣды. Восковая свѣча, принесенная изъ церкви отъ утрени въ Страстной четвергъ, бережется пчеловодами за божницей ко времени выставленія ульевъ изъ омшенника на пчельникъ: поставленная посреди послѣдняго въ этотъ день (преимущественно—17-го апрѣля), она обезпечиваетъ на осень обильный медосборъ, оберегая въ то-же самое время пчельникъ ото всякаго „сглазу“ лихого человѣка завистливаго. Старые пчеловоды совѣтуютъ всѣмъ заводящимъ новое пчелиное хозяйство, обнося пчельникъ плетнемъ-изгородью, натыкать на колья лошадиные черепа. Это дѣлалось еще во дни старины глубокой, когда была свѣжа въ народѣ память о жертвоприношеніяхъ Даждьбогу, считавшемуся покровителемъ всякаго хозяйства и подателемъ благополучія. Теперь, когда утратилось въ народной Руси непосредственное воспоминаніе о временахъ языческаго обожествленія природы, этотъ пережитокъ стародавняго быта сохранился только въ самыхъ захолустныхъ уголкахъ деревенской Руси и соблюдается безо всякаго отношенія къ своему первоисточнику. Одно только и могутъ сказать пчеловоды въ объясненіе упомянутаго обычая, что-де „такъ дѣлали наши дѣды, такъ и нашимъ отцамъ заповѣдали, а они были добрые люди и всякаго добра у нихъ было вдосталь, невпримѣръ больше нашего!“

Съ повѣрьями, преданіями и поговорками, относящимися къ пчелѣ, связаны также и многія изъ пріуроченныхъ народной мудростью къ лѣсному пчелиному воеводѣ—медвѣдю, самое названіе котораго происходитъ, по объясненію однихъ знатоковъ русскаго языка, отъ словъ „медъ“ и „ѣсть“ (медоѣдъ), а, по мнѣнію другихъ, отъ—„медъ“ и „вѣдать“. „Пчела медвѣдю медомъ дань платитъ!“—гласитъ старинное изреченіе, сложившееся, несомнѣнно, еще во времена бортевого лѣсного пчеловодства на Руси. „Медвѣдю пчелы пиво въ борти варятъ!“—прибавляетъ другое, идущее отъ тѣхъ-же дней стародавнихъ. Охотникъ до меда медвѣдь,—лавливали его по медвѣжьимъ мѣстамъ на эту лакомую приманку. „Силенъ медвѣдь, да не уменъ—самъ претъ на рожонъ!“—говорятъ медвѣжатники, приговаривая: „Не далъ Богъ медвѣдю волчьей смѣлости, а волку медвѣжьей силы!“, но въ то-же время сами-себя оговариваютъ: „Счастливъ медвѣдь, что не попался стрѣлку; счастливъ и стрѣлокъ, что не попался медвѣдю!“, „Не продавай шкуры—не убивъ медвѣдя!“, „Медвѣдь

умывается, да человѣкъ его пугается!“

Старые пчеляки слывутъ въ деревенскомъ захолустьи за вѣдуновъ-знахарей. „Пчела и человѣка умудряетъ!“—по народному повѣрью: „Человѣкъ отъ пчелы всякой премудрости поучается!“, „Мала пчела, а человѣка большому уму-разуму научитъ!“ Памятуя приведенныя слова, народъ относится къ водящимъ пчелъ людямъ съ большимъ уваженіемъ, прислушивается къ ихъ рѣчамъ, спрашиваетъ у нихъ добраго совѣта въ затруднительныхъ дѣлахъ, обращается къ нимъ за разрѣшеніемъ спорныхъ вопросовъ. Приглядываясь къ цвѣтущимъ травамъ, излюбленнымъ пчелою, ухаживающіе за Божьей работницею научаются отъ самой природы распознавать вредныя и полезныя растенія,—собираютъ и сушатъ послѣднія, нерѣдко принимая на себя обязанности врачей-лѣчеекъ. Все это невольно способствуетъ ихъ знахарской славѣ и привлекаетъ къ пчельникамъ страждущихъ всякими бо́лѣстями людей.

Въ рукописномъ сборникѣ бѣлорусскихъ заговоровъ, записанныхъ въ началѣ XIX-го столѣтія, подается совѣтъ—при основаніи новаго пчельника ставить чистую посудину съ водою, („отмерить три девить ложикъ воды“) на томъ мѣстѣ, гдѣ задумано водить пчелъ. Если на другой день утромъ прибудетъ воды въ посудинѣ, это считается хорошимъ признакомъ, а—не дай Богъ!—убудетъ,—нѣтъ примѣты хуже для будущаго пчелинаго хозяйства. Въ Страстной четвергъ совѣтуется тайнымъ образомъ принести камень и закопать его въ землю посреди новой пасѣки, приговаривая: „Такъ, какъ тотъ каменъ тверъдъ, такъ бы отвердет лстивому человеку или женъщене, которае помислъ злой мыслитъ на мою пасику, во веки вековъ, аминъ“. Когда станетъ роиться первый рой пчелиный по приходѣ весны, суевѣрные люди становятся передъ нимъ на колѣни и, доставъ изъ-подъ лѣвой ноги, а также изъ-подъ улья, по щепоти земли, бросаютъ на рой съ такимъ причетомъ: „Какъ Мать-Сыра-Земля не йграетъ и не шумитъ не з горами, не з далами, не с лугами, не с темнами лесами, (такъ чтобы) не играли и не шумели въ моей пасики пчели—са въсей свойей силой, ни въ лисахъ, ни въ добровахъ, не въ чыстая поля, не въ інъныя пасики отъ меня пастыря не оубегать и не утекать, отныня и довека и до скончений жызни моей, аминъ!“ По иному списку, заговоръ этотъ читается такъ: „Какъ сия вода не истекаитъ и не измаляица, такъ бы мое пчоли не изълитали и знемалялисъ, изъ моихъ ульевъ изъ зо въсей моей пасики. Какъ гора съ горой не изъходица, такъ бы мое пчоли не

изходилися с чужыми пчалами и не излитали на ляту, намеду, и на пасеку, именемъ Господа нашего Исуса Хрыста и действиемъ светаво Зосима и светаво Савостия, аминъ.“ Къ царицѣ народа пчелинаго обращается заговорное слово пчеловода-бѣлорусса съ такимъ величаніемъ-моленіемъ: — „Пчалица-царыца, ты мая птаха. Радъ бы я тебе водить, радъ тебе плодить во всей засики и пасики, пчелиная мати Фаленея, Ульяна и Соломония и Анъна. Какъ в древе коренья много въ земле, такъ была (бы) пчелиная матъ в засеку со всей своей силой пчелиной. Какъ хмель около древа обвиваица, такъ бы вилися мое пчолы въ моей пасики, действиемъ светаво Зосима и Савостия салавецкаго чудотворцовъ, аминъ.“

На многихъ пчельникахъ есть ручейки и колодцы-роднички, выкопанные рукою пчеловодовъ. Въ обычаѣ ставить надъ этими источниками часовенки съ образомъ святой соловецкой двоицы—Зосимы-Савватія. Вода изъ осѣненнаго такой часовенкою родника считается цѣлебною отъ многихъ болѣзней, —между прочимъ, отъ изнурительной лихорадки. Возлѣ часовенки ставятся по веснѣ небольшія долбленыя корытца съ разведеннымъ водою медомъ („сытою“) для подкармливанія наголодавшихся за-зиму пчелъ во время малаго еще цвѣтенія цвѣтовъ. Привившійся къ часовенкѣ рой съ чужого пчельника считается освященнымъ свыше и оберегается съ особымъ тщаніемъ ото всякой случайности. Къ улью съ такимъ роемъ, отмѣченному краснымъ крестомъ, подносятъ въ роевнѣ —при пересадкѣ— каждый новый рой, какъ-бы на поклоненіе. При этомъ неизмѣнно-неукоснительно поминаются святыя имена покровителей трудолюбиваго крылатаго народа, насадившихъ пчелиное хозяйство на студёной сѣверной окраинѣ Руси великой.

XLI.

Октябрь-назимникъ.

Слылъ въ стародавніе годы октябрь-„назимникъ“ восьмымъ мѣсяцемъ; съ XV-го по XVIII-ый вѣкъ звали его вторымъ, а потомъ повелѣлъ царь-государь Петръ Великій быть ему („грязнику“) на Руси десятымъ. Послѣ девяти братьевъ-мѣсяцевъ приходитъ онъ съ той поры на свѣтлорусское приволье и до нашихъ дней, приводя съ собою Покровъ-праздникъ — зазимье веселое свадебное, со пирами-столами да со бесѣдами. Живутъ, по народному сказанію, двѣнадцать братьевъ-мѣсяцевъ на стекляной горѣ небесной; сидятъ мѣсяцы вокругъ солнцева костра. То горитъ-пылаетъ—и небо, и землю грѣетъ—этотъ костеръ (въ вешніе и лѣтніе дни), то [чуть теплится-дымится: осенью да зимой. Поочередно берутъ братья-мѣсяцы въ свои руки царственный жезлъ— небомъ-землею править. Весенніе мѣсяцы—румяные добры-молодцы, „вьюноши прекрасные-цвѣтущіе“; лѣтніе—русобородые богатыри, въ плечахъ—косая сажень; осенніе—начинающіе старѣть-дряхлѣть; зимніе—сѣдовласые согбенные старцы.

Въ старой словацкой сказкѣ, имѣющей много родственнаго съ нашими простонародными сказаніями, это преставленіе о братьяхъ-мѣсяцахъ облечено въ такіе краснорѣчивые образы. Жила-была,—говорится въ этой сказкѣ,—на Божьемъ бѣломъ свѣтѣ одна мать. Было у ней двѣ дочери: родная да падчерица. Первую она любила, вторую ненавидѣла, но была эта-послѣдняя („Марушка“) невпримѣръ краше первой („Голены“), да только и знать не знала о своей красотѣ. Заставляла ее мачиха справлять всю работу по двору и по дому: мести-мыть полъ, варить-жарить, ткать, шить, коровъ доить.

А любимая дочка только наряды свои и знала. Терпѣливо выносила Марушка-красавица и брань, и побои; но мачиха съ сестрою становились все злѣе, видя, что та—что ни день—расцвѣтала все краше. И надумала мачиха: „Придутъ парни свататься, увидятъ Марушку и не возьмутъ моей дочки! Дай-ка изведу я ее!“ Стала она мучить голодомъ бѣдняжку: нѣтъ, не изводится! Была зима студеная, и вотъ—захотѣлось Голенѣ, матушкиной любимицѣ, фіалокъ-цвѣтовъ. Сказала она о своемъ желаніи матери. Возрадовалась злая,—пойдетъ-де ненавистная въ лѣсъ за цвѣтами да и замерзнетъ! Вытолкали онѣ вдвоемъ Марушку за дверь, строго-на-строго наказали ей: или принести фіалокъ, или совсѣмъ домой не возвращаться. Заплакала красавица, пошла въ лѣсъ. Долго-ли, коротко-ли шла она, бродила снѣгами сугробами,—шла, Бога о смерти молила. И дошла она до высокой горы. На горѣ пылалъ яркій костеръ. Поднялась иззябшая дѣвушка—погрѣться къ костру и увидѣла вокругъ огня двѣнадцать человѣкъ. Сидѣли всѣ они на двѣнадцати камняхъ: трое были стары, трое—пожилые, трое—помоложе, а еще трое—и совсѣмъ юные. Сидѣли двѣнадцать человѣкъ на двѣнадцати камняхъ, сидѣли—молчали, на огонь глядѣли. И были эти двѣнадцать человѣкъ двѣнадцать мѣсяцевъ. Сѣдой мѣсяцъ—Ледень-январь—сидѣлъ выше всѣхъ, на первомъ почетномъ мѣстѣ; держалъ старый въ рукѣ жезлъ. „Добрые люди“,—поклонилась незнакомцамъ дѣвушка: „позвольте мнѣ обогрѣться у огня“. Старый Ледень позволилъ Марушкѣ подойти къ огню, а самъ спрашиваетъ: „Какъ ты, дѣвица, зашла сюда? Чего, красная, ищешь?“ Повѣдала ему бѣдняжка о своемъ горѣ, о мачихѣ лихой, о фіалкахъ, за которыми послали ее, пригрозивъ ей смертью, если не принесетъ сестрѣ цвѣтовъ. Посмотрѣлъ, покачалъ сѣдой головою Ледень-мѣсяцъ, поднялся съ камня, подошелъ къ самому юному мѣсяцу, передалъ Марту свой жезлъ, посадилъ братца на свое первое мѣсто. Взмахнулъ жезломъ Мартъ надъ костромъ: запылалъ огонь сильнѣе, начали таять снѣга-сугробы, разбухли-покраснѣли на деревьяхъ почки, зазеленѣла на проталинкахъ трава, побѣжали ручьи звонкіе, зацвѣли цвѣты лазоревы. Пришла въ лѣсъ Весна-Красна, принесла молодая и фіалки душистыя. Стала рвать цвѣты Марушка, набрала чуть не снопъ цѣлый, поклонилась братьямъ-мѣсяцамъ, побѣжала домой къ мачихѣ. Удивилась мачиха, а и больше того удивилась сестра Марушкина. Стали онѣ допытываться, гдѣ это она зимой могла нарвать цвѣтовъ. „Набрала на горѣ въ лѣсу, подъ кустами!“ —отвѣчала дѣвушка. Подумали-подивовались злыя,

прогнали ее въ лѣсъ за земляникой. Опять пришла бѣдная къ братьямъ-мѣсяцамъ. еще ниже поклонилась имъ. Выслушалъ ея слезную просьбу Леденъ. промолвилъ: „Братецъ Іюнь. садь на первое мѣсто!“ Въ одно мгновеніе наступило лѣто: и пташки запѣли. и цвѣты запестрѣли. и деревья зашумѣли. Не успѣла оглянуться красавица. какъ вся трава зеленая заалѣла спѣлыми ягодами.—словно кто обагрилъ ее кровью. Принесла Марушка домой ягодъ. смотритъ. а вокругъ нея—опять зима. Стали изумленныя мачиха съ сестрой лакомиться. а сами надумали новую задачу: послали-выгнали красавицу за яблоками румяными. Опять пошла она снѣгами-сугробами къ знакомой горѣ. снова взмолилась къ старому Леденю. Сѣлъ. по его слову. братъ Сентябрь на первое мѣсто. махнулъ жезломъ. и—передъ глазами Марушки совершилось новое чудо: стаялъ снѣгъ. отзеленѣла весна. отцвѣло лѣто. раззолотилась листва осеннимъ золотомъ. увидѣла дѣвушка яблоню—всю увѣшанную яблоками. Потрясла она дерево. упали два яблока румяныя, и велѣлъ Сентябрь идти домой скорѣе. „Гдѣ ты сорвала яблоки?“ — встрѣтила ее мачиха.—„На высокой горѣ: тамъ еще много осталось!“ Принялись бранить бѣдняжку злыя: зачѣмъ не нарвала больше: заплакала Марушка. ушла, забилась въ свой уголъ. Съѣла Голена яблоки. вкуснѣе вкуснаго показались они ей; надѣла она шубу да и пошла въ лѣсъ, къ высокой горѣ за яблоками: все оборвать собирается. Ходила-ходила. шла-шла она. дошла до высокой горы. подошла къ костру—стала руки у огня грѣть. „Чего ищешь. красная дѣвица?“—спросилъ ее сѣдой Леденъ. „А ты что за спросъ. старый дурень!“—крикнула на его слова она: „Зачѣмъ тебѣ знать!“ И пошла злая въ глубь-чащу лѣсную. Нахмурилъ густыя брови Леденъ. поднялъ жезлъ: сталъ огонь горѣть слабѣй да слабѣе, повалилъ снѣгъ. засвистали-забушевали вѣтры буйные, заковалъ на своей кузницѣ морозъ. Ждетъ-пождетъ мать дочки-любимицы: нѣтъ ея да нѣтъ. „Вѣрно. разлакомилась дѣвка яблоками. жаль уйти... Пойду-ка я, посмотрю сама!“. Надѣла старуха шубу. пошла въ лѣсъ... А время шло къ ночи. Убралась Марушка по хозяйству. стала ждать-поджидать возвращенія своихъ мучительницъ. да такъ и не дождалась: обѣ онѣ замерзли въ лѣсу въ эту ночь... На томъ и кончается сказка.

На Бѣлой Руси. ревниво охраняющей отъ тяжелой руки безпощаднаго времени свои преданія-повѣрья, разсказывается, что вслѣдъ за олицетворяющей лѣто „Цецею“—дородной красавицею, убранной въ наряды яркіе, въ вѣнкѣ изъ колосьевъ. съ яблоками-грушами въ рукахъ—приходитъ на зем-

лю трехглазый „Жицень“ (осень)—плюгавый мужиченко съ всклокоченной бородою, съ косматой головою. Ходитъ Жицень по полямъ да по огородамъ, оглядываетъ мужицкое хозяйство: все-ли снято-убрано, все-ли сдѣлано во время. Гдѣ запримѣтитъ Жицень дѣлянку недожатую, сорветъ колосья, свяжетъ въ одинъ снопъ да и снесетъ на загонъ къ тому хозяину, у котораго все убрано въ полѣ до-чиста. Гдѣ подберетъ онъ колосья—тамъ жди неурожая; куда перенесетъ снопъ свой—тамъ уродится хлѣбъ сторицею. Бродитъ Жицень по свѣту бѣлому до своей поры,—поджидаетъ онъ стараго „Зюзю“ (зиму). А Зюзя не заставитъ себя долго ждать: чуть Покровъ на дворъ—и онъ вмѣстѣ съ нимъ на порогѣ стоитъ, бѣлую бороду охорашиваетъ-оглаживаетъ. Приходитъ Зюзя на Русь босый, а въ бѣлой шубѣ да съ желѣзной булавою въ рукѣ, идетъ—по подоконью стучитъ, про зимнюю стужу вѣсть подаетъ люду деревенскому. А и дохнётъ старый, такъ все кругомъ задрожитъ отъ стужи; а и стукнетъ Зюзя—такъ бревна въ избахъ отъ морозу затрещатъ.

По другимъ сказамъ, пріѣзжаетъ зима на пѣгой кобылѣ; слѣзаетъ съ коня, встаетъ на ноги, куетъ сѣдые морозы; стелетъ старая по рѣкамъ-озерамъ ледяные мосты, сыплетъ „изъ правова рукава“ снѣгъ, а изъ лѣваго—иней. Слѣдомъ за нею бѣгутъ мятели-вьюги, бѣгутъ—надъ мужикомъ-деревеньщиной потѣшаются, бабамъ въ уши дуютъ—затапливать печи велятъ пожарче.

Древнерусская письменность давала слѣдующее цвѣтистое опредѣленіе временамъ года: „Весна наречется, яко дѣва украшена красотою и добротою, сіяюще чудно и преславнѣ, яко дивитися всѣмъ зрящимъ доброты ея, любима бо и сладка всѣмъ... Лѣто-же нарицается мужъ тихъ, богатъ и красенъ, питая многи человѣки и смотря о своемъ дому, и любя дѣло прилежно, и безъ лѣности возстая заутра до вечера и дѣлая безъ покоя... Осень подобна женѣ уже старѣ и богатѣ, и многочаднѣ, овогда дряхлующи и сѣтующи, овогда-же радующися и веселящися, рекше иногда печальна отъ скудости плодъ земныхъ и глада человѣкомъ, а иногда весела сущи, рекше ведрена и обильна плодомъ всѣмъ, и тиха-безмятежна. Зима-же подобна женѣ-мачихѣ злой и нестройной и нежалостливой, ярѣ и немилостивѣ; егда милуетъ, но и тогда казнитъ; егда добра, но и тогда знобитъ, подобно трясавицѣ, и гладомъ моритъ, и мучитъ грѣхъ ради нашихъ“...

„Зимѣ и лѣту союза нѣту!“—говоритъ народъ-краснословъ, приговаривая: „Лѣтомъ—страдныя работушки, зимой—зимушка студеная!“, „Мужику—лѣто за привычку, зима—вол-

ку за обычай!", „Тетереву зима—одна ночь!", „Помни это: зима—не лѣто!", „Лѣто собираетъ, зима поѣдаетъ!". „Что лѣтомъ уродится, зимѣ пригодится!", „У зимы—поповское брюхо!", „Придется сидѣть на печи сватьѣ, какъ застанетъ зима въ лѣтнемъ платьѣ!" и т. д. „Въ водѣ черти, въ землѣ черви, въ Крыму татары, въ Москвѣ бояры, въ лѣсу сучки, въ городѣ крючки: лѣзь къ лошади въ пузо, тамъ оконце вставишь да зимовать станешь!"—замѣчаетъ народное слово о незапасшемся на зиму мужикѣ-лежебокѣ, горе-хозяинѣ.—„Всѣмъ бы октябрь-назимникъ взялъ, да мужику хода нѣтъ!", „Въ октябрѣ и мужикъ съ лаптями, и изба съ дровами, а все спорины мало!"

По старому простонародному присловью: „Покровъ—не лѣто, Срѣтенье—не зима". Но,—замѣчаетъ деревенскій опытъ,—„съ Покрова зима зачинается, съ Матрены (7-го ноября) устанавливается: съ зимнихъ Матренъ зима встаетъ на ноги, налетаютъ морозы". Съ праздникомъ Покрова Пресвятой Богородицы начинаютъ по деревнямъ свадьбы за свадьбами играть-пировать; отъ нихъ и слыветъ весь октябрь за мѣсяцъ-„свадебникъ".

3-го и 6-го октября—„два Дениса" (св. мучен. Діонисія); на нихъ совѣтуютъ старые люди беречься отъ „сглаза", приговаривая: „Пришли назимніе Денисы—лихого глаза берегися!" 4-е октября—Ерофеевъ день: „Какъ ни ярись, мужикъ Ерофей",—говорятъ въ народѣ,—„а съ Ерофея и зима шубу надѣваетъ!". „На Ерофеевъ день одинъ ерофеичъ (зелено-вино, травникъ) кровь грѣетъ!", „Ерофеичъ—часомъ дружокъ, а часомъ—вражокъ!"... „Пьешь вино?"—подсмѣивается подслушанный В. И. Далемъ деревенскій людъ надъ приверженцами чарочки.—„Эва!"—„А ерофеичъ?"—„Толкуй еще! Мнѣ ничто нипочемъ, былъ бы ерофеичъ съ калачомъ!"

Къ этому дню пріурочено въ посельской Руси повѣрье о лѣшихъ. „На Ерофея лѣшій сквозь землю проваливается!"—гласитъ суевѣрная молвь. Разстается лѣсной хозяинъ со своимъ зеленымъ, успѣвшимъ уронить на-земь почти всю листву, царствомъ,—ломаетъ съ досады злой деревья встрѣчныя, къ землѣ бурей гнетъ всю молодую поросль, изъ корня дубы вырываетъ. Звѣрье лѣсное прячется отъ него по норамъ-логовамъ; ни одна птица не вылетаетъ навстрѣчу. Ни одинъ памятующій старинныя преданія мужикъ не поѣдетъ на Ерофеевъ день въ лѣсъ, хотя-бы въ этомъ была крайняя нужда. У Сахарова, въ его „Народномъ дневникѣ", записанъ любопытный сказъ о томъ, какъ одинъ „удалой мужикъ" подсматривалъ за проказами лѣшаго въ этотъ роко-

вой день. „Жилъ когда-то,—начинается этотъ сказъ,—въ деревнѣ мужикъ, не въ нашей, а тамъ, въ чужой, собой не мудрый, но за то такой проворный, что всегда и вездѣ поспѣлъ первый. Поведутъ-ли хороводы, онъ—первый впереди; хоронятъ-ли кого— онъ и гробъ примѣряетъ, и на гору стащитъ; просватаютъ-ли кого, онъ поселится отъ рукобитья до самой свадьбы—и поетъ, и пляшетъ, обновы закупаетъ и бабъ наряжаетъ. Отродясь своей избы не ставилъ, городьбы не городилъ, а живалъ въ чужой избѣ, какъ у себя во дворѣ. Хлѣбалъ молоко отъ чужихъ коровъ, ѣдалъ хлѣбъ изо всѣхъ печей, выѣзжалъ на базаръ на барскихъ коняхъ, накупалъ гостинцевъ для всѣхъ деревень. Въ деньгахъ счету не зналъ,—у кого нѣтъ избы, онъ дастъ денегъ на избу, у кого нѣтъ лошадки, онъ дастъ денегъ на пару коней. Одного только не знали православные: откуда къ нему деньги валятся“... Разное толковали объ этомъ: одни завѣряли, что нашелъ удалой мужикъ кладъ, другіе—что продалъ душу нечистому, третьи еще не вѣсть что плели. Была у этого мужика—„ума палата“. Все-то онъ зналъ-вѣдалъ, не зналъ одного: какъ лѣшій сквозь землю проваливается. Задумалъ онъ подглядѣть за лѣснымъ хозяиномъ, „задумалъ да и былъ таковъ.“ Пошелъ удалой мужикъ въ лѣсъ, повстрѣчалъ лѣшаго,—поклонился ему, началъ спрашивать его о томъ, о другомъ. „А есть-ли у тебя,—говоритъ,—изба-хата да жена-баба?“—Повелъ лѣшій удалого къ своей хатѣ. Шли, шли и пришли прямо къ озеру. Усмѣхнулся мужикъ: „Не красна-же,—говоритъ,—твоя изба!“ А лѣшій—объ-землю, земля-то и разступилась... „Съ тѣхъ поръ,—гласитъ сказаніе,—удалой сталъ дуракъ дуракомъ: ни слова сказать, ни умомъ пригадать!“.

За роковымъ для лѣсной нежити Ерофеевымъ днемъ—память св. мученицы Харитины (5-е октября). Съ этого дня „затыкаютъ“ домовитыя бабы-хозяйки первыя „кросна“: начинаютъ ткать первый холстъ. Такъ и говорятъ въ деревнѣ: „Пришли Харитины—первыя холстины! Баба смекать-смекай, да за кросна (станокъ) садись, холсты затыкай!“ Надъ ткачихами не прочь подсмѣяться народъ: „Стара тетка Харитина, пора ей подъ холстину (т.-е умирать)!“—зубоскалятъ краснословы: „Даетъ мужикъ торгашу холстъ: толстъ! Прожили бабы вѣкъ—ни за холстиный мѣхъ!“, „Бабье тканье черезъ нитку проклято: отъ холоду не грѣетъ, отъ дождя не упасетъ!“ Можно услышать въ посельской Руси и такія поговорки о томъ-же, какъ, напримѣръ: „Баба ткетъ-точетъ, а одинъ Богъ ей рубашку даетъ!“, „Пряла баба, ткала—весь домъ одѣвала; пришла смерть—покрыться покойни-

цѣ нечѣмъ!", „И прядемъ и ткемъ, а всё—нагишомъ!" Эти послѣднія слова, очевидно, подсказаны народной мудрости горькимъ опытомъ бѣдноты-нужды безпросвѣтной.

За Харитиной—„вѣковѣчной ткачихою"—„вторые Денисы назимніе". Одновременно со св. Діонисіемъ воспоминается 6-го октября Православной Церковью и апостолъ Ѳома. Въ народной памяти этотъ—усомнившійся въ воскресеніи Христовомъ — святой является прообразомъ недовѣрчиваго, склоннаго къ сомнѣніямъ, человѣка. „Ѳома невѣрный!"—говорится о такой склонности. О простоватомъ вахлакѣ, а также и о ледащемъ заморышѣ, замѣчаютъ въ народѣ: „На безлюдьи и Ѳома—дворянинъ!" Богача, смотрящаго завистливыми глазами на чужую удачу, называютъ: „Ѳома—большая кромa". Плутоватые люди слывутъ „Ѳомками". Этимъ-же именемъ окрестилъ народъ небольшой ломъ, которымъ воры взламываютъ замки. „Ѳомка на долото рыбу удитъ!" —подсмѣивается деревня надъ оборотистымъ, старающимся грошъ на пятаки размѣнять, прàсоломъ.

По народной примѣтѣ: „Съ Трифона-Палагеи (8-го октября)—все холоднѣе!", „Трифонъ шубу чинитъ, Палагея рукавички шьетъ барановыя". Предъ зимней стужею охотники до краснаго словца любятъ въ бесѣдахъ сыпать направо и налѣво поговорками-прибаутками, въ-родѣ: „Шуба овечья, да душа и у мужика человѣчья!", „Любо не любо, а и на волкѣ—своя шуба!", „Бараній тулупъ съ мужикомъ братается, соболья шубка—кусается!", „По шубѣ узнавай звѣря, а не человѣка!", „Пришла зимушка-зима: шуба на стужу, деньги —на нужу!", „Зимой безъ шубы не стыдно, да холодно; а въ шубѣ и безъ хлѣба тепло, да голодно!", „Шуба на сынѣ отцова, да разумъ — свой!", „Изъ похвалъ шубы не сошьешь!", „Шубу бей—теплѣе, бей жену—милѣе!"... Ходятъ по селамъ-деревнямъ безъ дороги, летаютъ безъ крыльевъ въ народѣ и побаски-присловья о рукавицахъ, грѣющихъ въ студеную пору мозолистыя мужицкія руки. „И солнышко въ рукавицахъ", —говорятъ примѣтливые люди, смотря на „пàсолнца" обозначивающіяся по бокамъ дневного свѣтила—къ морозу. „Рукавицъ ищетъ, а онѣ—за поясомъ!"—отзываются о ротозѣѣ-мужикѣ. „Заткни ротъ рукавицей!"—останавливаютъ враля-болтуна. „Дѣло готово, хоть въ рукавички обуй!"—приговариваютъ на радостяхъ, при удачѣ. Есть и такія, чисто бытовыя, пословицы: „Жена не рукавица—съ руки не сымешь!", „Правдѣ глотку не заткнешь рукавицей!", „Худая совѣсть въ рукавицахъ гуляетъ!", „На тяжеломъ возу и рукавица потянетъ!", „Привычка—не рукавичка, не повѣ-

сишь на спичку!", „Въ рукавицу вѣтра не изловишь!". Рукавицѣ въ народномъ быту придается даже таинственное значеніе. Если, напримѣръ, питающій зло на своей черной душѣ знахарь (лихой человѣкъ) броситъ рукавицу поперекъ дороги свадебному поѣзду—это, по суевѣрному представленію деревни, поведетъ къ худу. „Знахарь и маленькой рукавичкой большой поѣздъ испортитъ!"—говорятъ старые люди, совѣтуя молодымъ новобрачнымъ отчитываться отъ такой бѣды-напасти слѣдующимъ заговоромъ „отъ колдуна и злодѣевъ": „Станемъ мы, рабъ Божій (имя рекъ) и раба Божія (имя рекъ), повѣнчаемся у престола Господня, пойдемъ, благословясь-перекрестяся, изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, на восточную сторону во чистое поле, въ этомъ-ли чистомъ полѣ стоитъ гора, на той горѣ стоитъ церковь Божія, зайдемъ мы въ эту церковь Божію. Стоятъ въ ней три престола; на лѣвомъ сидитъ Иванъ Креститель, на среднемъ Самъ Истинный Спасъ, на правомъ престолѣ Святая Дѣва Марія. Подойдемъ мы—рабы Божіе—къ нимъ поближе, поклонимся пониже: Спасъ-Спаситель, Пресвятая Мати Божья Богородица, Иванъ Креститель! Пособите намъ—рабамъ Божіимъ (имена рекъ)—избавиться отъ всякаго врага-сопостата, отъ нечистыя силы, отъ лукаваго духа, отъ колдуна, отъ еретика, отъ проходящаго, мимоидущаго, путь-дорогу пересѣкающаго. Семьдесятъ семь апостоловъ, семьдесятъ семь святителей! Избавьте насъ—рабовъ Божіихъ—ото всякихъ на насъ злыхъ людей! Слова наши не камень и не кирпичъ, а слова наши крѣпки-лѣпки, крѣпче камня и булата. Ключъ во рту, а замокъ—на небѣ. Аминь!"... Только этотъ заговоръ и можетъ оградить новоженовъ отъ напущеннаго знахаремъ лиха, если тотъ самъ не „сниметъ порчи"—по ихъ просьбѣ.

Святые мученики Евлампій съ Евлампіей („Лампѣи"—по простонародному говору) проходятъ по Святой Руси на десятыя октябрьскія сутки. Въ этотъ день совѣтуютъ деревенскіе погодовѣды вечеромъ — смотрѣть на мѣсяцъ: куда онъ глядитъ. По словамъ этихъ дотошныхъ людей:—если золотые мѣсяцевы рога на-полночь—быть скорой зимѣ, „ляжетъ снѣгъ—по-суху"; если же на-полдень мѣсяцевы рога смотрятъ—жди не скорой зимы, а грязи да слякоти: „Октябрь-грязникъ до самой Казанской (22-го числа) снѣгомъ не умоется, въ бѣлоснѣжный кафтанъ не нарядится". 12-го октября наблюдаютъ появленіе звѣздъ съ полудня и со полуночи, что̀ также имѣетъ особую примѣту, свое значеніе для погоды и будущаго урожая.

14-го октября — св. Параскевы; если память этой святой

цѣ нечѣмъ!", „И прядемъ и ткемъ, а всё—нагишомъ!" Эти послѣднія слова, очевидно, подсказаны народной мудрости горькимъ опытомъ бѣдноты-нужды безпросвѣтной.

За Харитиной—„вѣковѣчной ткачихою"—„вторые Денисы назимніе". Одновременно со св. Діонисіемъ воспоминается 6-го октября Православной Церковью и апостолъ Ѳома. Въ народной памяти этотъ—усомнившійся въ воскресеніи Христовомъ — святой является прообразомъ недовѣрчиваго, склоннаго къ сомнѣніямъ, человѣка. „Ѳома невѣрный!"—говорится о такой склонности. О простоватомъ вахлакѣ, а также и о ледащемъ заморышѣ, замѣчаютъ въ народѣ: „На безлюдьи и Ѳома—дворянинъ!" Богача, смотрящаго завистливыми глазами на чужую удачу, называютъ: „Ѳома—большая кромa". Плутоватые люди слывутъ „Ѳомками". Этимъ-же именемъ окрестилъ народъ небольшой ломъ, которымъ воры взламываютъ замки. „Ѳомка на долото рыбу удитъ!" —подсмѣивается деревня надъ оборотистымъ, старающимся грошъ на пятаки размѣнять, прàсоломъ.

По народной примѣтѣ: „Съ Трифона-Палагеи (8-го октября)—все холоднѣе!", „Трифонъ шубу чинитъ, Палагея рукавички шьетъ барановыя". Предъ зимней стужею охотники до краснаго словца любятъ въ бесѣдахъ сыпать направо и налѣво поговорками-прибаутками, въ-родѣ: „Шуба овечья, да душа и у мужика человѣчья!", „Любо не любо, а и на волкѣ—своя шуба!", „Бараній тулупъ съ мужикомъ братается, соболья шубка—кусается!", „По шубѣ узнавай звѣря, а не человѣка!", „Пришла зимушка-зима: шуба на стужу, деньги —на нужу!", „Зимой безъ шубы не стыдно, да холодно; а въ шубѣ и безъ хлѣба тепло, да голодно!", „Шуба на сынѣ отцова, да разумъ — свой!", „Изъ похвалъ шубы не сошьешь!", „Шубу бей—теплѣе, бей жену—милѣе!"... Ходятъ по селамъ-деревнямъ безъ дороги, летаютъ безъ крыльевъ въ народѣ и побаски-присловья о рукавицахъ, грѣющихъ въ студеную пору мозолистыя мужицкія руки. „И солнышко въ рукавицахъ", —говорятъ примѣтливые люди, смотря на „пàсолнца" обозначивающіяся по бокамъ дневного свѣтила—къ морозу. „Рукавицъ ищетъ, а онѣ—за поясомъ!"—отзываются о ротозѣѣ-мужикѣ. „Заткни ротъ рукавицей!"—останавливаютъ враля-болтуна. „Дѣло готово, хоть въ рукавички обуй!"—приговариваютъ на радостяхъ, при удачѣ. Есть и такія, чисто бытовыя, пословицы: „Жена не рукавица—съ руки не сымешь!", „Правдѣ глотку не заткнешь рукавицей!", „Худая совѣсть въ рукавицахъ гуляетъ!", „На тяжеломъ возу и рукавица потянетъ!", „Привычка—не рукавичка, не повѣ-

сишь на спичку!", „Въ рукавицу вѣтра не изловишь!". Рукавицѣ въ народномъ быту придается даже таинственное значеніе. Если, напримѣръ, питающій зло на своей черной душѣ знахарь (лихой человѣкъ) броситъ рукавицу поперекъ дороги свадебному поѣзду—это, по суевѣрному представленію деревни, поведетъ къ худу. „Знахарь и маленькой рукавичкой большой поѣздъ испортитъ!"—говорятъ старые люди, совѣтуя молодымъ новобрачнымъ отчитываться отъ такой бѣды-напасти слѣдующимъ заговоромъ „отъ колдуна и злодѣевъ": „Станемъ мы, рабъ Божій (имя рекъ) и раба Божія (имя рекъ), повѣнчаемся у престола Господня, пойдемъ, благословясь-перекрестяся, изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, на восточную сторону во чистое поле, въ этомъ-ли чистомъ полѣ стоитъ гора, на той горѣ стоитъ церковь Божія, зайдемъ мы въ эту церковь Божію. Стоятъ въ ней три престола; на лѣвомъ сидитъ Иванъ Креститель, на среднемъ Самъ Истинный Спасъ, на правомъ престолѣ Святая Дѣва Марія. Подойдемъ мы—рабы Божіе—къ нимъ поближе, поклонимся пониже: Спасъ-Спаситель, Пресвятая Мати Божья Богородица, Иванъ Креститель! Пособите намъ—рабамъ Божіимъ (имена рекъ)—избавиться отъ всякаго врага-сопостата, отъ нечистыя силы, отъ лукаваго духа, отъ колдуна, отъ еретика, отъ проходящаго, мимоидущаго, путь-дорогу пересѣкающаго. Семьдесятъ семь апостоловъ, семьдесятъ семь святителей! Избавьте насъ—рабовъ Божіихъ—ото всякихъ на насъ злыхъ людей! Слова наши не камень и не кирпичъ, а слова наши крѣпки-лѣпки, крѣпче камня и булата. Ключъ во рту, а замокъ—на небѣ. Аминь!"... Только этотъ заговоръ и можетъ оградить новоженовъ отъ напущеннаго знахаремъ лиха, если тотъ самъ не „сниметъ порчи"—по ихъ просьбѣ.

Святые мученики Евлампій съ Евлампіей („Лампѣи"—по простонародному говору) проходятъ по Святой Руси на десятыя октябрьскія сутки. Въ этотъ день совѣтуютъ деревенскіе погодовѣды вечеромъ — смотрѣть на мѣсяцъ: куда онъ глядитъ. По словамъ этихъ дотошныхъ людей:—если золотые мѣсяцевы рога на-полночь—быть скорой зимѣ, „ляжетъ снѣгъ—по-суху"; если-же на-полдень мѣсяцевы рога смотрятъ—жди не скорой зимы, а грязи да слякоти: „Октябрь-грязникъ до самой Казанской (22-го числа) снѣгомъ не умоется, въ бѣлоснѣжный кафтанъ не нарядится". 12-го октября наблюдаютъ появленіе звѣздъ съ полудня и со полуночи, что̀ также имѣетъ особую примѣту, свое значеніе для погоды и будущаго урожая.

14-го октября — св. Параскевы; если память этой святой

приходится въ пятницу, то она зовется „Параскевой-Пятницею". Если въ этотъ день грязь на дорогахъ, то до установленія настоящей зимы остается, по старинной примѣтѣ, еще цѣлыхъ четыре недѣли. 17-го числа (день св. пророка Осіи) „колесо прощается съ осью (до весны разстаются)". Ѣдетъ мужикъ въ этотъ день на телѣгѣ, а самъ прислушивается: какъ колеса на осяхъ поскрипываютъ. И съ этимъ связана у него своя примѣта о хлѣбѣ насущномъ—объ урожаѣ. Пройдетъ четверо сутокъ—„осенняя (зимняя) Казанская" на дворѣ.

„Коли на Казанскую (22-го октября, въ день празднованія Казанской иконѣ Божіей Матери), небо заплачетъ дождемъ, то и зима слѣдомъ за нимъ пойдетъ!", — гласитъ народный опытъ. „На Казанскую люди вдаль не ѣздятъ: выѣдешь на колесахъ, а пріѣхать въ-пору на полозьяхъ!", „Ранняя зима и о Казанской на санкахъ катается!" — приговариваютъ поговорки деревенскія, вспоминаемыя объ эту пору. 26-е октября св. Димитрія Солунскаго за собою ведетъ: Дмитріевъ день—съ его особыми примѣтами, повѣрьями и преданіями, идущими изъ глубины давнихъ лѣтъ. За трое сутокъ до скончанья октября-„назимника" стоятъ въ изустномъ народномъ мѣсяцесловѣ—„Ненилы-льняницы". Въ этотъ день (28-го) встарину бывали въ Костромской и Тульской Руси „льняныя смотрины": выходили бабы и-дѣвки на улицы, выносили на-показъ вытрепанный ленъ („опышки"). На слѣдующія сутки память св. Анастасіи-рымляныни, овечьей заступницы („Настасеи-овчарницы", „Овчарь"): послѣдняя стрижка овецъ по степнымъ-южнымъ мѣстамъ. Въ этотъ день „овецъ грабятъ—пастуховъ кормятъ": пекутся для пастушьяго угощенья пироги съ морковью да съ капустой, а у иныхъ тороватыхъ хозяевъ-овцеводовъ и пиво варится. „Голой овцы не стригутъ!"—говорятъ на деревенской Руси,—говоря, приговариваютъ: „Овечку стригутъ, а другая того-жъ себѣ жди-поджидай!", „Овца не помнитъ отца, а сѣно ей съ ума нейдетъ!", „Въ чужомъ хлѣву овецъ не считай, а своихъ береги!", „Волкъ—молодецъ на овецъ!", „Волкъ и больной овцѣ не корысть!", „Не за то волка бьютъ, что сѣръ, а за то—что овцу съѣлъ!", „Безъ пастуха и овцы—не стадо!", „Иной разъ пастухи шалятъ, а на волка—помолвка!", „Пастухи—за чубы, а волки—за овецъ!". „Дешево волкъ въ пастухи нанимается, да міръ съ нимъ намается!", „Худо, когда волкъ въ пастухахъ живетъ, лиса—въ птичницахъ, а свинья въ огородницахъ!"

Тридцатое число, предпослѣдній октябрьскій день (память св.

мучениковъ Зиновія и Зиновіи) слыветъ въ народѣ за праздникъ „зинекъ“ (синичекъ). По преданію, эти зимнія гостейки русской деревни слетаются на облюбованное мѣсто цѣлыми стаями и веселятся, оглашая воздухъ своимъ пересвистомъ. „Не величка—птичка-синичка, а и та свой праздникъ помнитъ!“—говорятъ объ этомъ; „За моремъ синичка не пышно жила, не пышно жила, (и то) пиво варивала!“, „Немного зинька ѣстъ-пьетъ, а весело живетъ!“, „И за зиньку-синичку, птичью сестричку, свои святые Богу молятся!“ Въ этотъ-же день—рыбачій праздникъ въ Сибири („Юровая“): пьютъ на „юру“ иртышскіе рыбаки—весело́, гуляютъ передъ отправленіемъ на промысла за красной рыбою. Въ другихъ мѣстностяхъ 30-е октября—праздникъ охотниковъ, старающихся убить на него (если пороша выпадетъ) хоть зайца, считая полную неудачу дурной примѣтою для всей охотничьей поры. Недоброе сулитъ имъ, однако, и встрѣтиться съ волкомъ въ этотъ, богатый повѣрьями, день октября-„назимника“.

XLII.

Покровъ-зазимье.

Первое октября, день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, является въ народномъ представленіи межевымъ столбомъ между осенью и зимою. „До Покрова—осень, за Покровомъ—зима идетъ!“—говорятъ на Руси: „Покровъ—первое зазимье: Покровъ землю покроетъ—гдѣ листомъ, а гдѣ и снѣжкомъ“.

Преставляя грань между ненастнымъ и студёнымъ временами года, первый назимній праздникъ знаменуетъ собою въ глазахъ хозяйственной деревни срокъ работъ и наймовъ. Съ незапамятныхъ поръ вошло въ обычай договариваться „отъ Покрова“ и „до Покрова“. И это имѣетъ свои твердыя основанія, коренящіяся въ самомъ быту народа-пахаря. Къ этому времени заканчиваются всѣ работы въ полѣ и на гумнѣ, всѣ заботы о хлѣбѣ,—выясняются всѣ виды на предстоящую долгую зиму, хотя народъ и оговаривается,—какъ уже упоминалось выше,—что: „Въ октябрѣ и мужикъ съ лаптями, и изба съ дровами, а все спорины мало!“.

Съ Покрова начинаютъ играть по деревнямъ свадьбы. „Охъ, ты, батюшка октябрь“,—крехтитъ мужикъ, предчувствуя грозящіе ему новые съѣдающіе всё добытое мужицкимъ горбомъ во время лѣтней страды зимніе расходы,—„только и добра въ тебѣ, что пивомъ взялъ!“ Не такимъ привѣтомъ встрѣчаютъ наступленіе октября заневѣстившіяся дѣвушки красныя. Для нихъ первое число этого заставляющаго мужика „жить съ оглядкой“ мѣсяца—завѣтный день, котораго онѣ ждутъ не дождутся въ продолженіе цѣлаго года.

„Батюшка Покровъ, покрой ты Мать-Сыру-Землю и меня,

молоду!“ — причитаютъ онѣ, выходя поутру на крыльцо: „Бѣлъ снѣгъ землю покрываетъ: не меня-ль, молоду, замужъ снаряжаетъ? Батюшка-Покровъ, покрой землю снѣжкомъ, а меня женишкомъ!“ Въ другихъ мѣстахъ это причитаніе нѣсколько видоизмѣняется, — вмѣсто „батюшки-Покрова“ заклинается „Мать-Покровъ“.

Въ бѣлорусскомъ краю дѣвушки ставятъ въ этотъ день у обѣдни свѣчи предъ праздничною иконой Божіей Матери—со словами „Святой Покровъ! Покрывъ землю и воду, покрой и меня молоду!“ Снѣгъ, запорошившій землю въ этотъ праздникъ, предвѣщаетъ, по народной примѣтѣ, много свадебъ и въ то-же время дружную зиму. Если во время покрывающей землю снѣгомъ пороши происходитъ на Покровъ вѣнчаніе, то молодыхъ новожоновъ ожидаетъ, по словамъ опытныхъ старыхъ людей, счастіе. „Не покрылъ дѣвкѣ голову Покровъ“,—говорятъ въ деревнѣ,—„не покроетъ и Рождество!“ „Ты, Покровъ-Богородица, покрой меня дѣвушку пеленой своей—идти на чужую сторону!“—причитаетъ заскучавшая въ дѣвичествѣ красавица и продолжаетъ: „Введенье мать-Богородица, введи меня на чужую сторонушку! Срѣтенье Мать-Богородица, встрѣть меня на чужой сторонушкѣ!“

Кроетъ бѣлыми снѣгами пушистыми землю Покровъ-батюшка, а по глухимъ захолустьямъ неоглядной Руси раздается у церковныхъ папертей чинный напѣвъ убогихъ носителей пѣсенной старины—каликъ-перехожихъ. Поютъ-сказываютъ они стиховную хвалу празднику: „Радуйся, людіе, нынѣ возыграйте, органы играйте, Мать Цареву днесь возвеличайте! Днесь Тоя торжество достойно праздновати, духовно играти, съ небесными вои Матерь величати. Се есть Мати и Дѣва чистая по рождеству, чиста и въ рождествѣ и предъ рождествомъ бысть въ чистомъ естествѣ“.

Въ другомъ народномъ стихѣ духовномъ, пріуроченномъ къ 1-му октября, повѣствуется о томъ, какъ „подошли враги къ царству Грецкому, угрожаютъ ему войной-гибелью“. Слагатель пѣсеннаго сказанія ведетъ свою рѣчь не отъ одной богатой воображеніемъ выдумки, но и отъ писанія книжнаго. Взмолилися-всплакались „обложенные“ врагами христіане, пришли въ Божій храмъ, „плачутъ-молятся, просятъ помощи“. Молитва дошла до Матери Божіей, сошла Она съ небесной высоты:

„Слава райская храмъ исполнила,
Богородицѣ служатъ ангелы,
И пророки, и апостолы...“

Собравшіеся во храмѣ молящіеся-плачущіе, обращаясь къ Заступницѣ рода человѣческаго, восклицаютъ: „Что же Ты, Божій гость, голубица Ты, Всепречистая, Благодатная! Ты скажи, зачѣмъ прилетѣла къ намъ? Аль ужъ свѣтлый рай отъ грѣховъ нашихъ сталъ нерадошенъ, и пришла Ты къ намъ, принесла намъ казнь отъ Создателя?...“. На этотъ трогательно-простодушный вопросъ обложенныхъ врагами христіанъ царства Грецкаго Царица Небесная держитъ, по словамъ сказанія, такую отвѣтную рѣчь:

„Мнѣ и свѣтлый рай сталъ нерадошенъ,
Небо ясное помрачилося;
Ко Мнѣ ангелы каждый часъ несутъ
Слезы горькія христіанскія.
Сомутилась Я, запечалилась!
Теперь къ вамъ пришла въ утѣшеніе,
Помолить за васъ съ вами Господа“...

И Пречистая взмолилась „ко Своему Сыну ко Распятому“ за собравшихся во храмѣ людей:—„Сыне Мой, Іисусе Мой! Услыши Ты насъ съ высоты небесъ, защити и насъ, грѣшныхъ людей!“ Стихъ кончается тѣмъ, что Богородица покрываетъ Своимъ „святымъ омофоромъ“ скорбныя души христіанъ царства Грецкаго и тѣмъ спасаетъ ихъ отъ враговъ.

Народное воображеніе отождествляетъ покровъ Пресвятой Богородицы со сказочной „нетлѣнною пеленой Дѣвы-Солнца“, олицетворяющею собой утреннюю и вечернюю зарю. Эта пелена, покрывающая всѣхъ безпріютныхъ и лишенныхъ крова, прядется, по словамъ одухотворяющаго природу пѣснотворца-сказочника изъ золотыхъ и серебряныхъ нитей, спускающихся съ неба: „На морѣ на окіянѣ“,—повѣствуетъ въ одномъ изъ своихъ старинныхъ заговоровъ народъ, — „сидитъ красная дѣвица, швея-мастерица, держитъ иглу булатную, вдѣваетъ нитку золотую рудожелтую, зашиваетъ раны кровавыя. На морѣ-окіянѣ, на островѣ на Буянѣ лежитъ бѣлъ-горючъ камень; на семъ камнѣ стоитъ столъ престольной, на семъ столѣ сидитъ красна дѣвица. Не дѣвица сіе есть, а Мать Пресвятая Богородица; шьетъ она, вышиваетъ золотой иглою“... и т. д. По другимъ разносказамъ, розоперстая богиня Зоря тянетъ рудожелтую нитку и своею золотой иглою вышиваетъ по небу розовую пелену. Народъ обращается къ ней со слѣдующимъ молитвеннымъ заклинаніемъ: „Зорька-зорянница, красная дѣвица, Мать Пресвятая Богородица! покрой мои скорби и болѣзни твоей фатою! Покрой ты ме-

ня покровомъ Своимъ отъ силы вражьей! Твоя фата крѣпка, какъ горючъ камень-алатырь!". Богиня Зоря претворяется, подъ непосредственно-христіанскимъ вліяніемъ, въ чистый обликъ Пресвятой Дѣвы Маріи.

Праздникъ, установленный въ царствованіе византійскаго императора Льва [73]), въ память чуднаго явленія Богоматери, распростершей надъ Царьградомъ Свой покровъ—какъ небесную защиту города отъ осадившихъ его сарацынъ, принялъ у новообращенныхъ христіанъ—славянъ своеобразную окраску. Изъ цѣлаго ряда вызванныхъ этимъ праздникомъ въ представленіи славянина преданій особенно знаменательно въ своей наивной простотѣ слѣдующее. Въ стародавніе годы,—говоритъ народъ,—Богородица странствовала по землѣ. Случилось Ей зайти въ одну деревню, гдѣ жили забывшіе о Богѣ и обо всякомъ милосердіи люди. Стала проситься Матерь Божія на ночлегъ,—нигдѣ Ея не пустили, вездѣ услыхала Она одинъ отвѣтъ: „Мы не пускаемъ странниковъ!" Услышалъ жестокосердныя слова проѣзжавшій въ это время по небесной стезѣ надъ деревнею св. Илья-пророкъ,—не могъ снести онъ такой обиды, причиненной Дѣвѣ Маріи, и на отказавшихъ Божественной Странницѣ въ ночлегѣ низринулись съ неба громы-молніи, полетѣли огненныя и каменныя стрѣлы, посыпался градъ величиною съ человѣческую голову, полилъ ливень-дождь, грозившій затопить всю деревню. Всплакались испуганные нечестивые люди, и пожалѣла ихъ Богородица. Развернула Она покровъ и накрыла имъ деревню, чѣмъ и спасла Своихъ обидчиковъ отъ поголовнаго истребленія. Дошла благость неизреченная до сердца грѣшниковъ, и растопился давно не таявшій ледъ ихъ жестокости: сдѣлались всѣ они съ той поры добрыми и гостепріимными.

Въ Вологодской губерніи, а также и въ нѣкоторыхъ иныхъ мѣстахъ, къ Покрову-дню ткутъ крестьянскія дѣвушки, за-

---

[73]) Левъ III-й Исаврія нинъ—императоръ византійскій, происходившій изъ малоазійской области Исавріи, царствовалъ съ 717-го по 741-й годъ. Сначала онъ былъ правителемъ области въ Малой Азіи, затѣмъ, по воцареніи Ѳеодосія III-го, отказался признать его императоромъ, поднялъ возстаніе и захватилъ въ свои руки престолъ. Онъ оставилъ по себѣ память въ исторіи, какъ защитникъ Византіи отъ арабовъ (сарацынъ). Въ самомъ началѣ его царствованія столица имперіи подвергалась осадѣ враговъ, длившейся около года и кончившейся поспѣшнымъ отступленіемъ арабскаго флота. Цѣлымъ рядомъ другихъ побѣдъ надъ арабами, а въ особенности—въ 740-мъ году, остановилъ онъ Омайядовъ въ ихъ наступленіи на Византійскую имперію. Изъ внутренней политической дѣятельности Льва III-го уцѣлѣлъ отъ забвенія его замѣчательный „земледѣльческій уставъ". Какъ приверженецъ иконоборства, онъ сыгралъ печальную роль въ исторіи Церкви.

Собравшіеся во храмѣ молящіеся-плачущіе, обращаясь къ Заступницѣ рода человѣческаго, восклицаютъ: „Что же Ты, Божій гость, голубица Ты, Всепречистая, Благодатная! Ты скажи, зачѣмъ прилетѣла къ намъ? Аль ужъ свѣтлый рай отъ грѣховъ нашихъ сталъ нерадошенъ, и пришла Ты къ намъ, принесла намъ казнь отъ Создателя?...“. На этотъ трогательно-простодушный вопросъ обложенныхъ врагами христіанъ царства Грецкаго Царица Небесная держитъ, по словамъ сказанія, такую отвѣтную рѣчь:

„Мнѣ и свѣтлый рай сталъ нерадошенъ,
Небо ясное помрачилося;
Ко Мнѣ ангелы каждый часъ несутъ
Слезы горькія христіанскія.
Сомутилась Я, запечалилась!
Теперь къ вамъ пришла въ утѣшеніе,
Помолить за васъ съ вами Господа“...

И Пречистая взмолилась „ко Своему Сыну ко Распятому“ за собравшихся во храмѣ людей:—„Сыне Мой, Іисусе Мой! Услыши Ты насъ съ высоты небесъ, защити и насъ, грѣшныхъ людей!“ Стихъ кончается тѣмъ, что Богородица покрываетъ Своимъ „святымъ омофоромъ“ скорбныя души христіанъ царства Грецкаго и тѣмъ спасаетъ ихъ отъ враговъ.

Народное воображеніе отождествляетъ покровъ Пресвятой Богородицы со сказочной „нетлѣнною пеленой Дѣвы-Солнца“, олицетворяющею собой утреннюю и вечернюю зарю. Эта пелена, покрывающая всѣхъ безпріютныхъ и лишенныхъ крова, прядется, по словамъ одухотворяющаго природу пѣснотворца-сказочника изъ золотыхъ и серебряныхъ нитей, спускающихся съ неба: „На морѣ на окіянѣ“,—повѣствуетъ въ одномъ изъ своихъ старинныхъ заговоровъ народъ, — „сидитъ красная дѣвица, швея-мастерица, держитъ иглу булатную, вдѣваетъ нитку золотую рудожелтую, зашиваетъ раны кровавыя. На морѣ-окіянѣ, на островѣ на Буянѣ лежитъ бѣлъ-горючъ камень; на семъ камнѣ стоитъ столъ престольной, на семъ столѣ сидитъ красна дѣвица. Не дѣвица сіе есть, а Мать Пресвятая Богородица; шьетъ она, вышиваетъ золотой иглою“... и т. д. По другимъ разносказамъ, розоперстая богиня Зоря тянетъ рудожелтую нитку и своею золотой иглою вышиваетъ по небу розовую пелену. Народъ обращается къ ней со слѣдующимъ молитвеннымъ заклинаніемъ: „Зорька-зоряница, красная дѣвица, Мать Пресвятая Богородица! покрой мои скорби и болѣзни твоей фатою! Покрой ты ме-

ня покровомъ Своимъ отъ силы вражьей! Твоя фата крѣпка, какъ горючъ камень-алатырь!". Богиня Зоря претворяется, подъ непосредственно-христіанскимъ вліяніемъ, въ чистый обликъ Пресвятой Дѣвы Маріи.

Праздникъ, установленный въ царствованіе византійскаго императора Льва [73]), въ память чуднаго явленія Богоматери, распростершей надъ Царьградомъ Свой покровъ—какъ небесную защиту города отъ осадившихъ его сарацынъ, принялъ у новообращенныхъ христіанъ—славянъ своеобразную окраску. Изъ цѣлаго ряда вызванныхъ этимъ праздникомъ въ представленіи славянина преданій особенно знаменательно въ своей наивной простотѣ слѣдующее. Въ стародавніе годы,—говоритъ народъ,—Богородица странствовала по землѣ. Случилось Ей зайти въ одну деревню, гдѣ жили забывшіе о Богѣ и обо всякомъ милосердіи люди. Стала проситься Матерь Божія на ночлегъ,—нигдѣ Ея не пустили, вездѣ услыхала Она одинъ отвѣтъ: „Мы не пускаемъ странниковъ!" Услышалъ жестокосердныя слова проѣзжавшій въ это время по небесной стезѣ надъ деревнею св. Илья-пророкъ,—не могъ снести онъ такой обиды, причиненной Дѣвѣ Маріи, и на отказавшихъ Божественной Странницѣ въ ночлегѣ низринулись съ неба громы-молніи, полетѣли огненныя и каменныя стрѣлы, посыпался градъ величиною съ человѣческую голову, полилъ ливень-дождь, грозившій затопить всю деревню. Всплакались испуганные нечестивые люди, и пожалѣла ихъ Богородица. Развернула Она покровъ и накрыла имъ деревню, чѣмъ и спасла Своихъ обидчиковъ отъ поголовнаго истребленія. Дошла благость неизреченная до сердца грѣшниковъ, и растопился давно не таявшій ледъ ихъ жестокости: сдѣлались всѣ они съ той поры добрыми и гостепріимными.

Въ Вологодской губерніи, а также и въ нѣкоторыхъ иныхъ мѣстахъ, къ Покрову-дню ткутъ крестьянскія дѣвушки, за-

---

[73]) Левъ III-й Исаврія нинъ—императоръ византійскій, происходившій изъ малоазійской области Исавріи, царствовалъ съ 717-го по 741-й годъ. Сначала онъ былъ правителемъ области въ Малой Азіи, затѣмъ, по воцареніи Осодосія III-го, отказался признать его императоромъ, поднялъ возстаніе и захватилъ въ свои руки престолъ. Онъ оставилъ по себѣ память въ исторіи, какъ защитникъ Византіи отъ арабовъ (сарацынъ). Въ самомъ началѣ его царствованія столица имперіи подвергалась осадѣ враговъ, длившейся около года и кончившейся поспѣшнымъ отступленіемъ арабскаго флота. Цѣлымъ рядомъ другихъ побѣдъ надъ арабами, а въ особенности—въ 740-мъ году, остановилъ онъ Омайядовъ въ ихъ наступленіи на Византійскую имперію. Изъ внутренней политической дѣятельности Льва III-го уцѣлѣлъ отъ забвенія его замѣчательный „земледѣльческій уставъ". Какъ приверженецъ иконоборства, онъ сыгралъ печальную роль въ исторіи Церкви.

приходится въ пятницу, то она зовется „Параскевой-Пятницею“. Если въ этотъ день грязь на дорогахъ, то до установленія настоящей зимы остается, по старинной примѣтѣ, еще цѣлыхъ четыре недѣли. 17-го числа (день св. пророка Осіи) „колесо прощается съ осью (до весны разстаются)“. Ѣдетъ мужикъ въ этотъ день на телѣгѣ, а самъ прислушивается: какъ колеса на осяхъ поскрипываютъ. И съ этимъ связана у него своя примѣта о хлѣбѣ насущномъ—объ урожаѣ. Пройдетъ четверо сутокъ—„осенняя (зимняя) Казанская“ на дворѣ.

„Коли на Казанскую (22-го октября, въ день празднованія Казанской иконѣ Божіей Матери), небо заплачетъ дождемъ, то и зима слѣдомъ за нимъ пойдетъ!“,—гласитъ народный опытъ. „На Казанскую люди вдаль не ѣздятъ: выѣдешь на колесахъ, а пріѣхать въ-пору на полозьяхъ!“, „Ранняя зима и о Казанской на санкахъ катается!“ — приговариваютъ поговорки деревенскія, вспоминаемыя объ эту пору. 26-е октября св. Димитрія Солунскаго за собою ведетъ: Дмитріевъ день—съ его особыми примѣтами, повѣрьями и преданіями, идущими изъ глубины давнихъ лѣтъ. За трое сутокъ до скончанья октября-„назимника“ стоятъ въ изустномъ народномъ мѣсяцесловѣ—„Ненилы-льняницы“. Въ этотъ день (28-го) встарину бывали въ Костромской и Тульской Руси „льняныя смотрины“: выходили бабы и-дѣвки на улицы, выносили на-показъ вытрепанный ленъ („опышки“). На слѣдующія сутки память св. Анастасіи-рымляныни, овечьей заступницы („Настасеи-овчарницы“, „Овчарь“): послѣдняя стрижка овецъ по степнымъ-южнымъ мѣстамъ. Въ этотъ день „овецъ грабятъ—пастуховъ кормятъ“: пекутся для пастушьяго угощенья пироги съ морковью да съ капустой, а у иныхъ тороватыхъ хозяевъ-овцеводовъ и пиво варится. „Голой овцы не стригутъ!“—говорятъ на деревенской Руси,—говоря, приговариваютъ: „Овечку стригутъ, а другая того-жъ себѣ жди-поджидай!“, „Овца не помнитъ отца, а сѣно ей съ ума нейдетъ!“, „Въ чужомъ хлѣву овецъ не считай, а своихъ береги!“, „Волкъ—молодецъ на овецъ!“, „Волкъ и больной овцѣ не корысть!“, „Не за то волка бьютъ, что сѣръ, а за то—что овцу съѣлъ!“, „Безъ пастуха и овцы—не стадо!“, „Иной разъ пастухи шалятъ, а на волка—помолвка!“, „Пастухи—за чубы, а волки—за овецъ!“. „Дешево волкъ въ пастухи нанимается, да міръ съ нимъ намается!“, „Худо, когда волкъ въ пастухахъ живетъ, лиса—въ птичницахъ, а свинья въ огородницахъ!“

Тридцатое число, предпослѣдній октябрьскій день (память св.

мучениковъ Зиновія и Зиновіи) слыветъ въ народѣ за праздникъ „зинекъ“ (синичекъ). По преданію, эти зимнія гостейки русской деревни слетаются на облюбованное мѣсто цѣлыми стаями и веселятся, оглашая воздухъ своимъ пересвистомъ. „Не величка—птичка-синичка, а и та свой праздникъ помнитъ!“—говорятъ объ этомъ; „За моремъ синичка не пышно жила, не пышно жила, (и то) пиво варивала!“, „Немного зинька ѣстъ-пьетъ, а весело живетъ!“, „И за зиньку-синичку, птичью сестричку, свои святые Богу молятся!“ Въ этотъ-же день—рыбачій праздникъ въ Сибири („Юровая“): пьютъ на „юру“ иртышскіе рыбаки—веселó, гуляютъ передъ отправленіемъ на промысла за красной рыбою. Въ другихъ мѣстностяхъ 30-е октября—праздникъ охотниковъ, старающихся убить на него (если пороша выпадетъ) хоть зайца, считая полную неудачу дурной примѣтою для всей охотничьей поры. Недоброе сулитъ имъ, однако, и встрѣтиться съ волкомъ въ этотъ, богатый повѣрьями, день октября-„назимника“.

XLII.

Покровъ-зазимье.

Первое октября, день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, является въ народномъ представленіи межевымъ столбомъ между осенью и зимою. „До Покрова—осень, за Покровомъ—зима идетъ!“—говорятъ на Руси: „Покровъ—первое зазимье; Покровъ землю покроетъ—гдѣ листомъ, а гдѣ и снѣжкомъ“.

Преставляя грань между ненастнымъ и студёнымъ временами года, первый назимній праздникъ знаменуетъ собою въ глазахъ хозяйственной деревни срокъ работъ и наймовъ. Съ незапамятныхъ поръ вошло въ обычай договариваться „отъ Покрова“ и „до Покрова“. И это имѣетъ свои твердыя основанія, коренящіяся въ самомъ быту народа-пахаря. Къ этому времени заканчиваются всѣ работы въ полѣ и на гумнѣ, всѣ заботы о хлѣбѣ,—выясняются всѣ виды на предстоящую долгую зиму, хотя народъ и оговаривается,—какъ уже упоминалось выше,—что: „Въ октябрѣ и мужикъ съ лаптями, и изба съ дровами, а все спорины мало!“.

Съ Покрова начинаютъ играть по деревнямъ свадьбы. „Охъ, ты, батюшка октябрь“,—крехтитъ мужикъ, предчувствуя грозящіе ему новые съѣдающіе всё добытое мужицкимъ горбомъ во время лѣтней страды зимніе расходы,—„только и добра въ тебѣ, что пивомъ взялъ!“ Не такимъ привѣтомъ встрѣчаютъ наступленіе октября заневѣстившіяся дѣвушки красныя. Для нихъ первое число этого заставляющаго мужика „жить съ оглядкой“ мѣсяца—завѣтный день, котораго онѣ ждутъ не дождутся въ продолженіе цѣлаго года.

„Батюшка Покровъ, покрой ты Мать-Сыру-Землю и меня,

молоду!“ — причитаютъ онѣ, выходя поутру на крыльцо: „Бѣлъ снѣгъ землю покрываетъ: не меня-ль, молоду, замужъ снаряжаетъ? Батюшка-Покровъ, покрой землю снѣжкомъ, а меня женишкомъ!“ Въ другихъ мѣстахъ это причитаніе нѣсколько видоизмѣняется, — вмѣсто „батюшки-Покрова“ заклинается „Мать-Покровъ“.

Въ бѣлорусскомъ краю дѣвушки ставятъ въ этотъ день у обѣдни свѣчи предъ праздничною иконой Божіей Матери—со словами „Святой Покровъ! Покрывъ землю и воду, покрой и меня молоду!“ Снѣгъ, запорошившій землю въ этотъ праздникъ, предвѣщаетъ, по народной примѣтѣ, много свадебъ и въ то-же время дружную зиму. Если во время покрывающей землю снѣгомъ пороши происходитъ на Покровъ вѣнчаніе, то молодыхъ новожоновъ ожидаетъ, по словамъ опытныхъ старыхъ людей, счастіе. „Не покрылъ дѣвкѣ голову Покровъ“,—говорятъ въ деревнѣ,—„не покроетъ и Рождество!“ „Ты, Покровъ-Богородица, покрой меня дѣвушку пеленой своей—идти на чужую сторону!“—причитаетъ заскучавшая въ дѣвичествѣ красавица и продолжаетъ: „Введенье мать-Богородица, введи меня на чужую сторонушку! Срѣтенье-Мать-Богородица, встрѣть меня на чужой сторонушкѣ!“

Кроетъ бѣлыми снѣгами пушистыми землю Покровъ-батюшка, а по глухимъ захолустьямъ неоглядной Руси раздается у церковныхъ папертей чинный напѣвъ убогихъ носителей пѣсенной старины—каликъ-перехожихъ. Поютъ-сказываютъ они стиховную хвалу празднику: „Радуйся, людіе, нынѣ возыграйте, органы играйте, Мать Цареву днесь возвеличайте! Днесь Тоя торжество достойно праздновати, духовно играти, съ небесными вои Матерь величати. Се есть Мати и Дѣва чистая по рождеству, чиста и въ рождествѣ и предъ рождествомъ бысть въ чистомъ естествѣ“.

Въ другомъ народномъ стихѣ духовномъ, пріуроченномъ къ 1-му октября, повѣствуется о томъ, какъ „подошли враги къ царству Грецкому, угрожаютъ ему войной-гибелью“. Слагатель пѣсеннаго сказанія ведетъ свою рѣчь не отъ одной богатой воображеніемъ выдумки, но и отъ писанія книжнаго. Взмолилися-всплакались „обложенные“ врагами христіане, пришли въ Божій храмъ, „плачутъ-молятся, просятъ помощи“. Молитва дошла до Матери Божіей, сошла Она съ небесной высоты:

„Слава райская храмъ исполнила,
Богородицѣ служатъ ангелы,
И пророки, и апостолы...“

Собравшіеся во храмѣ молящіеся-плачущіе, обращаясь къ Заступницѣ рода человѣческаго, восклицаютъ: „Что же Ты, Божій гость, голубица Ты, Всепречистая, Благодатная! Ты скажи, зачѣмъ прилетѣла къ намъ? Аль ужъ свѣтлый рай отъ грѣховъ нашихъ сталъ нерадошенъ, и пришла Ты къ намъ, принесла намъ казнь отъ Создателя?...“. На этотъ трогательно-простодушный вопросъ обложенныхъ врагами христіанъ царства Грецкаго Царица Небесная держитъ, по словамъ сказанія, такую отвѣтную рѣчь:

„Мнѣ и свѣтлый рай сталъ нерадошенъ,
Небо ясное помрачилося;
Ко Мнѣ ангелы каждый часъ несутъ
Слезы горькія христіанскія.
Сомутилась Я, запечалилась!
Теперь къ вамъ пришла въ утѣшеніе,
Помолить за васъ съ вами Господа“...

И Пречистая взмолилась „ко Своему Сыну ко Распятому“ за собравшихся во храмѣ людей:—„Сыне Мой, Іисусе Мой! Услыши Ты насъ съ высоты небесъ, защити и насъ, грѣшныхъ людей!“ Стихъ кончается тѣмъ, что Богородица покрываетъ Своимъ „святымъ омофоромъ“ скорбныя души христіанъ царства Грецкаго и тѣмъ спасаетъ ихъ отъ враговъ.

Народное воображеніе отождествляетъ покровъ Пресвятой Богородицы со сказочной „нетлѣнною пеленой Дѣвы-Солнца“, олицетворяющею собой утреннюю и вечернюю зарю. Эта пелена, покрывающая всѣхъ безпріютныхъ и лишенныхъ крова, прядется, по словамъ одухотворяющаго природу пѣснотворца-сказочника изъ золотыхъ и серебряныхъ нитей, спускающихся съ неба: „На морѣ на окіянѣ“,—повѣствуетъ въ одномъ изъ своихъ старинныхъ заговоровъ народъ, — „сидитъ красная дѣвица, швея-мастерица, держитъ иглу булатную, вдѣваетъ нитку золотую рудожелтую, зашиваетъ раны кровавыя. На морѣ-окіянѣ, на островѣ на Буянѣ лежитъ бѣлъ-горючъ камень; на семъ камнѣ стоитъ столъ престольной, на семъ столѣ сидитъ красна дѣвица. Не дѣвица сіе есть, а Мать Пресвятая Богородица; шьетъ она, вышиваетъ золотой иглою“... и т. д. По другимъ разносказамъ, розоперстая богиня Зоря тянетъ рудожелтую нитку и своею золотой иглою вышиваетъ по небу розовую пелену. Народъ обращается къ ней со слѣдующимъ молитвеннымъ заклинаніемъ: „Зорька-зоряница, красная дѣвица, Мать Пресвятая Богородица! покрой мои скорби и болѣзни твоей фатою! Покрой ты ме-

ня покровомъ Своимъ отъ силы вражьей! Твоя фата крѣпка, какъ горючъ камень-алатырь!". Богиня Зоря претворяется, подъ непосредственно-христіанскимъ вліяніемъ, въ чистый обликъ Пресвятой Дѣвы Маріи.

Праздникъ, установленный въ царствованіе византійскаго императора Льва [73]), въ память чуднаго явленія Богоматери, распростершей надъ Царьградомъ Свой покровъ—какъ небесную защиту города отъ осадившихъ его сарацынъ, принялъ у новообращенныхъ христіанъ—славянъ своеобразную окраску. Изъ цѣлаго ряда вызванныхъ этимъ праздникомъ въ представленіи славянина преданій особенно знаменательно въ своей наивной простотѣ слѣдующее. Въ стародавніе годы,—говоритъ народъ,—Богородица странствовала по землѣ. Случилось Ей зайти въ одну деревню, гдѣ жили забывшіе о Богѣ и обо всякомъ милосердіи люди. Стала проситься Матерь Божія на ночлегъ,—нигдѣ Ея не пустили, вездѣ услыхала Она одинъ отвѣтъ: „Мы не пускаемъ странниковъ!" Услышалъ жестокосердныя слова проѣзжавшій въ это время по небесной стезѣ надъ деревнею св. Илья-пророкъ,—не могъ снести онъ такой обиды, причиненной Дѣвѣ Маріи, и на отказавшихъ Божественной Странницѣ въ ночлегѣ низринулись съ неба громы-молніи, полетѣли огненныя и каменныя стрѣлы, посыпался градъ величиною съ человѣческую голову, полилъ ливень-дождь, грозившій затопить всю деревню. Всплакались испуганные нечестивые люди, и пожалѣла ихъ Богородица. Развернула Она покровъ и накрыла имъ деревню, чѣмъ и спасла Своихъ обидчиковъ отъ поголовнаго истребленія. Дошла благость неизреченная до сердца грѣшниковъ, и растопился давно не таявшій ледъ ихъ жестокости: сдѣлались всѣ они съ той поры добрыми и гостепріимными.

Въ Вологодской губерніи, а также и въ нѣкоторыхъ иныхъ мѣстахъ, къ Покрову-дню ткутъ крестьянскія дѣвушки, за-

---

[73]) Левъ III-й Исаврія нинъ—императоръ византійскій, происходившій изъ малоазійской области Исавріи, царствовалъ съ 717-го по 741-й годъ. Сначала онъ былъ правителемъ области въ Малой Азіи, затѣмъ, по вокареніи Өеодосія III-го, отказался признать его императоромъ, поднялъ возстаніе и захватилъ въ свои руки престолъ. Онъ оставилъ по себѣ память въ исторіи, какъ защитникъ Византіи отъ арабовъ (сарацынъ). Въ самомъ началѣ его царствованія столица имперіи подвергалась осадѣ враговъ, длившейся около года и кончившейся поспѣшнымъ отступленіемъ арабскаго флота. Цѣлымъ рядомъ другихъ побѣдъ надъ арабами, а въ особенности—въ 740-мъ году, остановилъ онъ Омайядовъ въ ихъ наступленіи на Византійскую имперію. Изъ внутренней политической дѣятельности Льва III-го уцѣлѣлъ отъ забвенія его замѣчательный „земледѣльческій уставъ". Какъ приверженецъ иконоборства, онъ сыгралъ печальную роль въ исторіи Церкви.

думывающіяся о женихахъ, такъ называемую „обыденную пелену". Собравшись вмѣстѣ, онѣ съ особыми, приличными этому случаю, пѣснями теребятъ ленъ, прядутъ и ткутъ его, стараясь непремѣнно окончить всю работу въ одинъ день, обыденкой. Приготовленную такимъ образомъ пелену (холстину) передъ обѣдней на Покровъ несутъ къ иконѣ Покрова Пресвятой Богородицы. Шопотомъ причитаютъ онѣ при этомъ: „Матушка Богородица! Покрой меня поскорѣя, пошли женишка поумнѣя! Покрой ты, батюшка-Покровъ Христовъ, мою побѣдную голову жемчужнымъ кокошникомъ, золотымъ назатыльникомъ!".

Такимъ образомъ, въ понятіи деревенской молодежи, всѣ впечатлѣнія этого праздника объединяются съ представленіемъ о свадьбѣ. Деревенскія свадьбы, съ ихъ самобытной обстановкою, сохранившей въ себѣ яркіе пережитки старины. являются живымъ олицетвореніемъ народной мечты, непосредственно сливающейся съ самой жизнью нашего крестьянина. На этомъ праздникѣ трудовой жизни пахаря—раздолье не только пиву хмѣльному съ виномъ зеленымъ, но и еще болѣе того пѣснямъ,—разливаются онѣ изъ конца въ конецъ деревни свободными широкими волнами. Въ этихъ пѣсняхъ—вся обрядность деревенской свадьбы, въ нихъ—вся скорбная повѣсть жизни русской женщины-работницы, „отдаваемой на чужую сторонушку дальнюю за чужого добраго молодца, за чужанина",—въ нихъ всѣ ея скромныя недолгія радости. Вся деревня провожаетъ, „пропѣваетъ и пропиваетъ" свою дѣвушку, которой посчастливится, съ Божьей помощью, „на Покровъ покрыть побѣдную голову".

Какъ ни гадаетъ, какъ ни думаетъ дѣвица красная о замужествѣ, какъ ни вымаливаетъ себѣ жениха-суженаго, а все-таки страшно ей покидать домъ родительскій, гдѣ и отецъ-батюшка „жалѣлъ" ее, и матушка родимая „берегла пуще глаза". Потому-то и проситъ со слезами она въ поющейся на свадебномъ веселомъ сговорѣ, пѣснѣ:

„Ты, родимый мой батюшка,
Ты, пой, налой гостей до-пьяна,
Чтобы гости-то позапили,
Меня, младу-младешеньку, позабыли!
Ты, родимый, милый братъ,
Поди-тко на широкій дворъ,
Осѣдлай коня ворона,
Поѣзжай во темный лѣсъ,
Сруби бѣлую березыньку,
Завали путь-дороженьку,

Чтобъ нельзя было проѣхати!
Ты, родная моя матушка,
Ты дари, моя матушка,
Ты дари гостей по́-ряду!
Не дари только двухъ гостей,
Что перваго гостя не дари
Друженьку-разлученьку,
А другого гостя не дари,
По правую который сидитъ по рученьку!
Подаренъ добрый молодецъ
Моей буйною головушкой!"

Но чѣмъ ближе время идетъ къ свадьбѣ, тѣмъ все болѣе и болѣе свыкается сговоренная-„пропитая" дѣвушка со своимъ замужествомъ. И хотя, по словамъ другой пѣсни, „скоры ноженьки"—при одной мысли о разставаньи съ дѣвической беззаботностью — „подламываются, бѣлыя рученьки опускаются, ретиво сердечушко пугается", но оно, это самое „ретиво сердечушко разгарчивое", само уже „ко тому-ли ко чужанину добру молодцу приклоняется", собирается оно вслѣдъ за послѣдними пташками перелетными отлетать изъ теплаго гнѣзда родимаго, годами насиженнаго.

Собираются съ Покрова на отлетъ, однако, не только однѣ дѣвушки красныя: на Покровъ улетаютъ, по старой примѣтѣ, и послѣдніе журавли. Если раньше улетятъ—„быть холодной зимѣ",—говоритъ деревня, зорко приглядывающаяся къ жизни окружающей ее природы. „Коли бѣлка въ Покровъ чиста (вылиняла) — зима будетъ хороша!" — можно услышать въ Пермской и другихъ сѣверо-восточныхъ губерніяхъ.

Къ Покрову заботится каждый хорошій домохозяинъ, убравшійся съ хлѣбомъ, „ухитить" свою хату: проконопатить углы, привалить заваленки. „Захвати тепла до Покрова: не ухитишь до Покрова—изба будетъ не такова!" Всему есть пора, всему—свое время: „Батюшка Покровъ не натопитъ хату безъ дровъ".

Наканунѣ Покрова молодыя деревенскія женщины сжигаютъ въ овинѣ свои старыя соломенныя постели. Этимъ, по суевѣрному обычаю, охраняются молодухи отъ „призора недобраго глаза". Старухи сжигаютъ въ это-же самое время изношенные за лѣто лапти, думая исполненіемъ этого „прибавить себѣ ходу на зиму". Ребятишекъ обливаютъ передъ Покровомъ водою сквозь рѣшето, на порогѣ хаты. Это дѣлается, по старинной примѣтѣ, въ предохраненіе отъ зимней простуды.

Съ Покрова,—говорятъ въ народѣ,—перестаютъ бродить и

колобродить по лѣсамъ лѣсные хозяева, лѣшіе. При разставаньи со своею полной волею, они ломаютъ не мало деревьевъ, вырываютъ съ корнями кусты, разгоняютъ звѣрьё по норамъ, а затѣмъ и сами проваливаются сквозь землю до самой весны зеленой, растопляющей своимъ тепломъ снѣга льды. Въ канунъ Покрова цѣлый день воютъ они, стараясь перекричать вѣтеръ; и ни мужикъ, и ни баба, ни ребята малые не подойдутъ въ этотъ день къ лѣсу—изъ боязни, чтобы лѣсной хозяинъ не натѣшился надъ ними напослѣдокъ. „Лѣшій—не свой братъ, переломаетъ косточки не хуже медвѣдя!“—говорятъ въ суевѣрной деревнѣ, не разстающейся до сихъ поръ со своими отжившими время повѣрьями, обычаями и поговорками.

Съ покровскихъ вечеровъ народъ начинаетъ загадывать о зимнихъ работахъ. „Зазимье—за собой засидки ведетъ, засидки—заработки. Зимой не поработаешь, весна тебѣ, лежебоку, брюхо съ голоду подведетъ!“—говорятъ на сѣверѣ, не привыкшемъ къ тому, чтобы своего хлѣба хватало отъ одной новины до другой.

XLIII.

Свадьба—судьба.

Назимній мѣсяцъ октябрь недаромъ слыветъ и „свадебникомъ“: едвали въ какое-нибудь другое время если не играется въ народной Руси столькихъ свадебъ, такъ налаживается столько сговоровъ, какъ съ Покрова до Кузьминокъ (1-го ноября). „Батюшка Покровъ, кроешь ты (снѣгомъ) землю и воду, покрой и меня молòду!“, „Матушка Пятница Прасковея, пошли женишка поскорѣя!“—еще загодя приговариваютъ заневѣстившіяся дѣвушки красныя, дожидаючись этихъ завѣтныхъ свадебныхъ дней. Придетъ Покровъ, и загремятъ-зазвенятъ по деревенскимъ дорогамъ бубенчики-погремки веселыхъ поѣздовъ, раздадутся по избамъ свадебныя пѣсни—то хватающія своей грустью за душу, то веселящія русское сердце залихватской удалью.

„Уже что я сижу, думаю, уже что я сижу гàдаю ужъ своимъ я глупымъ разумомъ“,—голоситъ, словно причитаетъ, невѣста, незадолго передъ тѣмъ только и думавшая-гадавшая о своемъ женихѣ-суженомъ:

„У меня-ли горе нѣчутко,
У меня, младой, горя круты горы,
Уже слезъ-то—рѣки быстрыя,
Всѣ поля горемъ насѣяны,
Всѣ сады горемъ изнасажены:
Не дали-то мнѣ горькой,
Не дали-то мнѣ горемышной
Во дѣвушкахъ насидѣтися,
Со годамъ соверстатися,

колобродить по лѣсамъ лѣсные хозяева, лѣшіе. При разставаньи со своею полной волею, они ломаютъ не мало деревьевъ, вырываютъ съ корнями кусты, разгоняютъ звѣрьё по норамъ, а затѣмъ и сами проваливаются сквозь землю до самой весны зеленой, растопляющей своимъ тепломъ снѣга льды. Въ канунъ Покрова цѣлый день воютъ они, стараясь перекричать вѣтеръ; и ни мужикъ, и ни баба, ни ребята малые не подойдутъ въ этотъ день къ лѣсу—изъ боязни, чтобы лѣсной хозяинъ не натѣшился надъ ними напослѣдокъ. „Лѣшій—не свой братъ, переломаетъ косточки не хуже медвѣдя!“—говорятъ въ суевѣрной деревнѣ, не разстающейся до сихъ поръ со своими отжившими время повѣрьями, обычаями и поговорками.

Съ покровскихъ вечеровъ народъ начинаетъ загадывать о зимнихъ работахъ. „Зазимье—за собой засидки ведетъ, засидки—заработки. Зимой не поработаешь, весна тебѣ, лежебоку, брюхо съ голоду подведетъ!“—говорятъ на сѣверѣ, не привыкшемъ къ тому, чтобы своего хлѣба хватало отъ одной новины до другой.

XLIII.

Свадьба—судьба.

Назимній мѣсяцъ октябрь недаромъ слыветъ и „свадебникомъ“: едвали въ какое-нибудь другое время если не играется въ народной Руси столькихъ свадебъ, такъ налаживается столько сговоровъ, какъ съ Покрова до Кузьминокъ (1-го ноября). „Батюшка Покровъ, кроешь ты (снѣгомъ) землю и воду, покрой и меня молóду!“, „Матушка Пятница Прасковея, пошли женишка поскорѣя!“—еще загодя приговариваютъ заневѣстившіяся дѣвушки красныя, дожидаючись этихъ завѣтныхъ свадебныхъ дней. Придетъ Покровъ, и загремятъ-зазвенятъ по деревенскимъ дорогамъ бубенчики-погремки веселыхъ поѣздовъ, раздадутся по избамъ свадебныя пѣсни—то хватающія своей грустью за душу, то веселящія русское сердце залихватской удалью.

„Уже что я сижу, думаю, уже что я сижу гàдаю ужъ своимъ я глупымъ разумомъ“,—голоситъ, словно причитаетъ, невѣста, незадолго передъ тѣмъ только и думавшая-гадавшая о своемъ женихѣ-суженомъ:

„У меня-ли горе нѣчутко,
У меня, младой, горя круты горы,
Уже слезъ-то—рѣки быстрыя,
Всѣ поля горемъ насѣяны,
Всѣ сады горемъ изнасажены:
Не дали-то мнѣ горькой,
Не дали-то мнѣ горемышной
Во дѣвушкахъ насидѣтися,
Со годамъ соверстатися,

Съ умомъ съ разумомъ собратися,
Лицо бѣло понаполнити,
Русу косыньку повыростить,
Алу ленточку донóсити!"

И ко своему „кормильцу-грозну-батюшкѣ", и къ „радѣльщицѣ-государынѣ матушкѣ", и къ „подруженькамъ-голубушкамъ", и къ „братцу милому съ молодой женой невѣстушкой", и къ тетушкамъ - дядюшкамъ обращается „горемышная", на чужу-дальню сторону выдаваемая-„пропиваемая" красна дѣвица, въ пѣсняхъ „рóнить слезы горючія", проситъ-молитъ повременить со свадьбою. Все дѣлается честь-честью, по дѣдовской старинѣ, по заведенному обычаю. Въ отвѣтъ-отповѣдь растужившейся - расплакавшейся просватанной дѣвицѣ поютъ ея подружки, поютъ — жениха удалого добра молодца выхваляючи, сулятъ ей за нимъ радошное житье-бытье. У него (жениха-свѣта), на его-ли на родной сторонушкѣ, по ихъ увѣреніямъ:

„Берега-то садовые,
А вода-то медóвая:
Свекоръ—что батюшка,
А свекровушка—что матушка,
Деверья—что братички,
А золовушки—что сѐстрицы..."

Но, несмотря даже на то, что—по словамъ пѣсни—у жениха-то и „кудри, кудри русыя, на кудряхъ, кудряхъ шляпа черная, шляпа черная съ позументами", невѣста продолжаетъ пѣть-голосить, плакать-причитать, выполняя обычай—завѣтъ сѣдой старины, считающей свадьбу „судомъ Божіимъ" и „судьбою", приговаривающей въ своихъ поговоркахъ, что: „Суженаго и конемъ не объѣдешь!", „Гдѣ суженое—тамъ и ряженое!", „Что̀ судьба дастъ, съ кѣмъ жить приведетъ—съ тѣмъ и вѣкъ вѣковать!", „Всякая невѣста своему жениху невѣстится!", „Смерть да жена—Богомъ суждена!" и т. д.

„Встану я рабъ Божій, благословясь; пойду—перекрестясь во чистое поле",—говорится въ одномъ изъ рускихъ простонародныхъ заговоровъ на свадьбы, — „стану на западъ хребтомъ, на востокъ лицомъ, позрю-посмотрю на ясное небо: со ясна неба летитъ огненная стрѣла; той стрѣлѣ помолюсь покорюсь, спрошу ее: куда полетѣла, огненна стрѣла?—Во темные лѣса, въ зыбучія болота, въ сыроё коренье! Охъ ты, огненна стрѣла! Воротись, полетай—куда я тебя пошлю: есть на Святой Руси красна дѣвица (имя рекъ)... Полетай

ей въ ретивое сердце, въ черную печень, въ горячую кровь, въ становую жилу, во сахарны уста, въ ясныя очи, въ черныя брови, чтобы она тосковала-горевала весь день—при солнцѣ, на утренней зарѣ, при младомъ мѣсяцѣ, на вѣтрѣ-холодѣ, на прибылыхъ дняхъ и на убылыхъ дняхъ отнынѣ и до вѣка!" Это уцѣлѣвшее до сихъ поръ въ народной памяти заклятіе, невольно напоминаетъ объ одной изъ старинныхъ русскихъ сказокъ, въ которой царь даетъ своимъ сыновьямъ, посылаемымъ на поиски за невѣстами, такой приказъ: „Сдѣлайте себѣ по самострѣлу и пустите по каленой стрѣлѣ: чья стрѣла куда упадетъ—съ того двора и невѣсту бери!"

Вѣрный завѣтамъ пращуровъ, рускій пахарь-народъ смотритъ на заключеніе брака глазами суевѣрныхъ предковъ, въ жилахъ которыхъ текла кровь отдаленнѣйшихъ поколѣній, соединявшихся неразрывными-вѣковѣчными узами передъ идолами Свѣтлояра, Свѣтовита, Даждьбога и другихъ покровителей плодородія. „Придетъ судьба—и руки свяжетъ!", „Что сужено—то связано!", „Связала судьба по рукамъ—не развязать до вѣку!"—говорятъ на Руси.

По словамъ простонародной мудрости—„Женитьба есть, разженидьбы нѣтъ". Осмотрительность при выборѣ жены—первое дѣло. „Жениться—не лапоть надѣть!", „Жениться—переродиться!", „Женишься разъ, а плачешься вѣкъ!", „Идучи на войну — молись; идучи въ море — молись вдвое; хочешь жениться—молись втрое!", „Жениться недолго, да Богъ накажетъ—долго жить прикажетъ!"—замѣчаетъ народъ по этому поводу. Смѣшливые краснословы приговариваютъ о женитьбѣ и такія, подслушанныя В. И. Далемъ, слова-рѣчи, какъ: „Здравствуй женившись, да не съ кѣмъ жить!", „Женится медвѣдь на коровѣ, ракъ на лягушкѣ!", „Не страшно жениться—страшно къ попу приступиться: женись—плати, крести—плати, умирай—плати! Ужъ бы за одинъ разъ: померъ да и заплатилъ!", „Питеръ женится, Москва замужъ идетъ!", „Женится Иванъ Великой на Сухаревой башнѣ, въ приданое беретъ четыре калашни!", „Не кайся рано встамши, а рано женимшись!", „Женьба—не гоньба, поспѣешь!", „Постой, холостой, дай подумать женатому!"

Хоть и сваты-свахи ладятъ свадьбы на Руси, да улаживаетъ-то ихъ, по непреклонному разумѣнію деревенскаго люда, только сама судьба. „Много сватается, да одному достанется!"—говоритъ онъ, прибавляя къ этому крылатому словцу цѣлую стаю другихъ, въ-родѣ: „Сватались къ дѣвушкѣ тридцать съ однимъ, а быть — за однимъ!". Но одновременно съ этимъ готова повторять деревня и такія изреченія, какъ:

„Не выбирай, женихъ, невѣсты, выбери сваху!“, „Сваха и чужіе грѣхи на душу принимаетъ!“, „Подружки плетутъ косу на часокъ, а сваха—навѣкъ!“. Но на долю этой устроительницы свадебъ достается не мало и отъ народнаго смѣхословія, рисующаго ее въ такихъ краскахъ: „На святенькиныхъ рѣчахъ—какъ на саняхъ,—хоть садись да катись!“, „Сваха видѣла, какъ батракъ телёнка родилъ!“, „Сваха на свадьбу спѣшила, рубаху на мутовкѣ сушила, повойникъ на порогѣ катала!“, „И добрый сватъ—собакѣ братъ!“, „За чужую душу сваха со сватомъ божатся, а про свою запамятовали!“.

Хотя, по народному слову, „невѣста—не жена, можно и разневѣститься!“, но ей—„вездѣ почетъ“, потому что: „Много невѣстъ разбирать—женатому вѣкъ не бывать!“, „Вездѣ много невѣстъ, да до вѣнца!“, „Невѣста—не невѣстка, съ ней не заспоришь!“, „Всякая невѣста ждетъ своего мѣста!“, „Невѣстѣ нѣтъ чести—женихъ безъ ума!“, „Женихъ съ невѣстой—что князь со княгиней!“. Старина, ко всякой примѣтѣ внимательная, на всякую честь очестливая, такъ и завѣщала народной Руси величать новобрачную чету княземъ да княгинею. Да и свадьбу зовутъ въ иныхъ мѣстахъ, по ея завѣту, „княжьимъ пиромъ“, „княженецкими столами“.

Въ одномъ изъ безчисленныхъ присказовъ-причетовъ верхняго Поволжья, пріуроченныхъ къ свадебному веселому пиру, такъ говорится объ этомъ:

„Цвѣтки разцвѣтали,
Поднебесныя пташки распѣвали,
Новобрачнаго князя увеселяли:
Ѣдетъ-де нашъ новобрачный князь
По свою новобрачну княгинюшку,
Сужену взять,
Ряжену взять—
По Божьему велѣнью,
По царскому уложенью!“...

„Вѣнчаютъ въ одночасье, а повѣнчаны—на все горе, на все счастье!“—говорятъ въ народѣ: „Гдѣ вѣнчаютъ—тамъ и жизнь кончаютъ!“, „Худой попъ повѣнчалъ—хорошему не развѣнчать!“ Въ этихъ словахъ сказался взглядъ народа на ненарушимую святость брачнаго союза, заключаемаго на вѣки вѣчные, освящаемаго у Престола Божія.

Самое слово „дѣва“ означаетъ—въ точномъ переводѣ съ отца языковъ, санскритскаго—свѣтлая, чистая, блистающая и уже въ позднѣйшемъ смыслѣ—непорочная. Въ народной Руси изстари вѣковъ сопровождалось это слово присловомъ

„красная", что непосредственно сближало его значеніе съ первоисточникомъ. Въ древнерусскомъ быту заря-зоряница (красная дѣвица) чествовалась подъ именемъ Дѣвы Зори, или просто Дивы. Послѣднее, вслѣдъ за просвѣщеніемъ потомковъ Микулы Селяниновича, свѣтомъ вѣры Христовой, объединилось съ почитаніемъ Пресвятой Дѣвы Маріи, на образъ которой простодушное суевѣріе пахарей перенесло многія черты, наслоенныя вѣками язычества на дѣвственный обликъ богини Дивы во всѣхъ проявленіяхъ ея существа (отъ ясной зари до Царь-Дѣвицы простонародныхъ сказокъ).

Древнерусская Лада, обожествлявшаяся также у литовцевъ и другихъ родственныхъ племенъ, считалась покровительницей браковъ, любви, красоты и—вмѣстѣ съ Лелемъ (Свѣтояромъ)—земного плодородія. По нѣкоторымъ изслѣдованіямъ, въ ея лицѣ воплощался весенній пригрѣвъ солнечныхъ лучей. Литовская пѣсня прямо называетъ солнце именемъ этой свѣтлокудрой веселой богини: „Пасу, пасу, мои овечки; тебя, волкъ, не боюсь",—поется въ ней,—„богъ съ солнечными кудрями тебя не допуститъ. Лада, Лада—солнце!" Старинное преданіе, занесенное въ „Синопсисъ" [71]), гласитъ, что: „готовящіеся къ браку, помощію его (бога-Лада) мняше себѣ добро веселіе и любезно житіе стяжати... Ладу поюще: Ладо, Ладо! и того идола ветхую прелесть діавольскую на брачныхъ веселіяхъ, руками плещуще и о столъ біюще, воспѣваютъ". Въ Густинской лѣтописи это—превратившееся изъ Лады въ Лада—божество называется богомъ женитьбы, веселія, утѣшенія и всякаго благополучія. Лѣтописецъ свидѣтельствуетъ, что этому богу „жертвы приношаху хотящій женится, дабы его помощію бракъ добрый и любовный былъ".

Съ поклоненіемъ-молитвою брачущихся Солнцу-свѣту во всѣхъ его обликахъ связано было въ древнерусскомъ и обще-славянскомъ быту чествованіе огня. Въ послѣдній день дѣвичества невѣста плакала-причитала передъ пылающимъ очагомъ. Подруги голосили, вторя ей печальными пѣснями. Впервые входя въ домъ новобрачнаго мужа, она прежде всего подводилась къ разожженному очагу,—причемъ всѣ окружающіе встрѣчали ее припѣвомъ: „Ой, Лада, Лада!" Въ народной Руси и въ наши дни начинающая налаживать свадь-

[71]) Синопсисъ—съ греческаго, общій обзоръ. „Кіевскій синопсисъ", о которомъ здѣсь идетъ рѣчь,—первый печатный сводъ историческихъ свѣдѣній о русскомъ народѣ, изданный въ Кіевѣ въ 1674 г., составленный Иннокентіемъ Гизелемъ по хроникѣ игумена Михайловскаго монастыря Ѳеодосія Сафоновича. Въ теченіе XVIII-го вѣка онъ выдержалъ болѣе 20 изданій. Какъ приложеніе, онъ вошелъ въ лѣтопись св. Димитрія Ростовскаго.

бу сваха подходитъ къ печи и грѣетъ руки у нарочно разведеннаго огня. Это служитъ, по суевѣрному представленію народа, вѣрнымъ залогомъ благополучнаго исхода сватовства. Самое слово—свадьбу „л а д и т ь“ какъ-бы является производнымъ отъ имени этой богини языческой Руси. Складъ да л а д ъ семейной жизни молодоженовъ приписывался встарину непосредственно ей—свѣтлокудрой.

„Дѣвичья краса—до замужества!“—говоритъ крылатое народное слово. „Всѣ дѣвушки красны, всѣ хороши, а отколь берутся злыя жены?“ — оговариваетъ оно красныхъ дѣвушекъ, но сейчасъ-же добавляетъ къ этимъ своимъ рѣчамъ смѣшливымъ: „Про дѣвку не молви (худа)!“, „Дѣвушка не травка, обо всякой своя славка!“, „Смиренье—дѣвичье ожерелье!“, „Чего дѣвушка не знаетъ, то ее и ситъ!“. Въ связи съ послѣднимъ многозначительнымъ изреченіемъ живутъ въ народѣ и такія, какъ: „Держи дѣвку въ тѣснотѣ, а деньги въ темнотѣ!“, „Не уберечь дерева въ лѣсу, а дѣвки въ людяхъ!“, „Сиди, дѣвица, за тремя порогами!“, „Въ клѣткахъ звонко поютъ птицы, въ теремахъ добрую славу наживаютъ дѣвицы!“, „Вѣрь хлѣбу въ закрому, а дѣвушкѣ красной въ терему!“. Отъ этихъ простонародныхъ рѣчей вѣетъ суровыми мыслями древнерусскаго бытового уклада, нашедшаго свое яркое отраженіе въ „Домостроѣ“.

По слову народной мудрости—„Дѣвкою полна улица, а женой-бабою—печь!“, „Дѣвичья забота—гулянка, а у бабы-хозяйки—пироги въ печи, да дѣти на печи!“, „И хорошая невѣста худой женой живетъ!“. Къ послѣднему краснословы зачастую приговариваютъ: „Молода жена годами, да стара норовомъ!“, „Добрая жена домъ сбережетъ, плохая—рукавомъ растрясетъ!“, „Злая жена сведетъ мужа съ ума!“, „Желѣзо уваришь, а злой жены не уговоришь!“, „Не вѣрь коню въ полѣ, а женѣ въ волѣ!“, „Не всякая жена мужу правду сказываетъ!“, „Худо мужу тому, у кого жена большая во дому!“, „Изъ лѣсу выживаетъ змѣя, изъ дому—жена!“, „Силенъ хмѣль, сильнѣе хмѣля сонъ, сильнѣе сна—злая жена!“, „Худая женка—крапива!“, „Дважды жена мила бываетъ—какъ въ избу введутъ да какъ вонъ понесутъ!“, „Отъ пожара, отъ потопа, отъ злой жены, Боже, сохрани!“.

Если не совсѣмъ лестнаго мнѣнія нашъ народъ-пахарь о дѣвичьемъ умѣ-разумѣ („Дѣвичья память да дѣвичій стыдъ—до порога!“, „Дѣвичьи думы измѣнчивы!“, „Не вѣрь курамъ, воронамъ, а еще больше—дѣвкамъ дворовымъ!“ и т. п.),—то баба-жена является въ памятникахъ его словесной мудро-

сти еще менѣе разумной-разсудительной. „У бабы волосъ дологъ, да умъ коротокъ!“,—говоритъ въ народѣ, но, какъ-бы въ противовѣсъ этому, добавляютъ-приговариваютъ: „Баба съ печи летитъ—семьдесятъ семь думъ передумаетъ!“ Умъ-разумъ замѣняется въ этомъ случаѣ хитростью лукавою. Но „Бабьи умы разоряютъ домы!“, „Пусти бабу въ рай, а она и корову за собой ведетъ!“, „Лукавой бабы въ ступѣ не утолчешь!“, „Гдѣ чортъ не сладитъ—туда бабу пошлетъ!“ Но, и при всей бабьей лукавости-хитрости, не прочь прикрикнуть на жену мужикъ-скопидомъ, берегущій миръ-ладъ въ своей семьѣ: „Знай, баба, свое кривое веретено!“ Народная мудрость твердо бабій нравъ-обычай помнитъ. „Пріѣхала баба изъ города,—гласитъ она,—привезла вѣстей съ три короба!“, „Баба бредитъ, да кто ей повѣритъ!“, „Женскихъ прихотей не перечтешь, на причуды не напасешься!“, „Баба плачетъ—свой нравъ тѣшитъ!“, „Бабью немочь догадки лѣчатъ!“, „Скачетъ баба и задомъ и пѣредомъ, а дѣло идетъ своимъ чередомъ!“ (тождественно съ этимъ присловье—„Сердилась баба на торгу, а торгъ про то и не вѣдалъ!“), „Дѣдъ погибаетъ, а бабѣ—смѣхъ!“ и т. д. Но, несмотря на то, что, по народному представленію, „Курица не птица, баба не человѣкъ!“, деревенскій людъ повторяетъ и теперь старыя рѣчи дѣдовъ-прадѣдовъ, въ-родѣ: „Мужъ безъ жены пуще малыхъ дѣтокъ сирота!“, „Жену съ мужемъ судить некому кромѣ Бога!“, „У мужа съ женой—все пополамъ!“, „Съ бабой-хозяйкой и горе-бѣда половинится!“, „Безъ жены у мужа и домъ—сирота!“, „Вдовецъ—дѣткамъ не отецъ, а самъ горюнъ-сиротинка!“, „Мужикъ-вдовецъ—безъ огня кузнецъ!“, „Вдовье дѣло горькое, а вдовцово—хоть въ омутъ головой!“

Не сладко и женѣ-бабѣ овдовѣть. „Съ мужемъ нужа, а безъ мужа — и того хуже!“ — говоритъ объ этомъ народное присловье. „Вдовой-сиротой—хоть волкомъ вой!“—приговариваетъ другое; „Плохой мужъ въ могилу, а добрая баба—по-міру!“—вторитъ ему третье. Худо и тогда, когда семейная жизнь превратится въ такую, къ которой можно приложить слова: „Мужъ отъ жены на пядень, а жена отъ мужа—на сажень!“ Подобное житье—„и домъ-хату рушитъ, и человѣка въ могилу кладетъ“. Разладъ-раздоръ, иногда разгоняющій мужа съ женой въ разныя стороны, заставилъ народъ обмолвиться словами: „Безъ мужа жена—хуже вдовы!“, „Жена безъ мужа—всего хуже!“. Согласное житье, на которое и со стороны смотрѣть весело, запечатлѣлось въ народной памяти такими поговорками, какъ, напримѣръ: „Гдѣ мужъ—тамъ и жена, ку-

да мужикъ—туда и баба!", „Мужа съ женой не разлить и водой!", „Мужъ да жена—одна сатана!", „Мужъ вьетъ изъ жены гужъ, жена изъ мужа шьетъ на себя рубашки!", „Мужъ женѣ—милѣй родной матушки, жена мужу ближе отца-батюшки!", „Мужъ съ женой—что мука съ водой: сболтаешь, да не разболтать!", „Муженекъ хоть всего съ кулачокъ, да за мужниной головой не сижу сиротой!", „За мужнюю спину схоронюсь—самой смерти не боюсь!"

Мужъ, по исконному взгляду народа, неизмѣнно долженъ главенствовать въ семейномъ быту. Только при соблюденіи этого условія будетъ въ семьѣ все идти по доброму, по хорошему,—если, упаси Богъ, не присосется къ дому какая-нибудь наносная бѣда лихая. „Не скотъ въ скотѣ коза, не звѣрь въ звѣряхъ ежъ, не рыба въ ракахъ ракъ, не птица въ птицахъ нетопырь, не мужъ въ мужахъ—кѣмъ жена владѣетъ!"—гласитъ строгій приговоръ народной мудрости, создававшейся многовѣковымъ опытомъ жизни. „Бабѣ волю дать—не унять!", „Кто бабѣ надъ собой волю даетъ—себя обкрадываетъ!", „Въ дому женина воля—тяжкая мужнина доля: удавиться легче!", „Отъ своевольной бабы—за тридевять земель сбѣжишь!", „Хуже бабы тотъ, кѣмъ жена верховодитъ!", „Возьметъ баба волю, такъ и умный мужъ въ дуракахъ находится вволю!", „Дура-баба и умнаго мужа дурѣе себя сдѣлаетъ, коли на немъ ѣздить, его кнутомъ погонять зачнетъ!", „Отъ своевольной жены—Господь упаси и друга, и недруга, и лихого татарина!".

Не перечесть, не пересказать всѣхъ поговорокъ-пословицъ, мелкими пташками летающихъ по свѣтлорусскому простору народному—бокъ-о-бокъ со свадьбами да съ семейной жизнью. То-же самое можно сказать и про русскіе свадебные обряды-обычаи: что городъ, то норовъ, что деревня—то обычай. Не всѣ они пошли съ древнихъ временъ, но всѣ—въ большей или меньшей степени связаны съ бытомъ и былымъ народа-пахаря, отовсюду окруженнаго жизнью родной его душѣ природы. Зачастую и въ самоновѣйшихъ наслоеніяхъ на обрядовую старину слышится-чуется отголосокъ незапамятныхъ дней. Прошлое также оставило свой замѣтный слѣдъ на этихъ обычаяхъ, отразилось въ ихъ сущности, высказывается во внѣшней обстановкѣ. Едва-ли будетъ большой ошибкою сказать, что и современная крестьянская свадьба представляетъ собою трогательную страницу жизненной лѣтописи, переходящую изъ вѣка въ вѣкъ, отъ поколѣнія къ поколѣнію. Особенно ярко выражена это сторона въ свадебныхъ пѣсняхъ. Въ лучшихъ образцахъ этихъ памятниковъ своего

изустнаго творчества баянъ-народъ достигаетъ замѣчательной художественности, не поддающейся никакому подражанію. Каждая подобная пѣсня является въ то-же время и сказаніемъ, былью минувшаго. Многія сотни, если не тысячи, свадебныхъ пѣсенъ звенятъ-разливаются по раздолью Святой Руси. А сколько ихъ, можетъ быть, затерялось въ прошломъ, безслѣдно для собирателей пѣсеннаго народнаго богатства, погибло, умерло вмѣстѣ съ пѣвцами - сказателями, замѣнилось новыми—блѣдными, хилыми, ничего не говорящими ни пытливому уму изслѣдователя, ни чуткому сердцу простого слушателя. Только на олонецко-вологодскомъ сѣверѣ да на архангельскомъ поморьи, да на верхнемъ и среднемъ Поволжьѣ—этой „кондовой", по замѣчанію Мельникова-Печерскаго [75]), Руси—и сохранилась во всей своей красотѣ несказанной русская пѣсня-быль народная. И темные лѣса, и зеленые луга, и черныя грязи, и быстрыя рѣки, и облака ходячія, и звѣзды частыя, и красно солнышко, и свѣтѣлъ-мѣсяцъ,—все возстаетъ предъ слушателями этихъ вылетѣвшихъ изъ глубины

---

[75]) Павелъ Ивановичъ Мельниковъ — бытописатель-беллетристъ, болѣе извѣстный подъ своимъ псевдонимомъ „Андрей Печерскій", родился 22 октября 1819 года въ Нижнемъ-Новгородѣ. Образованіе будущій авторъ знаменитой эпопеи раскольничьяго Поволжья получилъ въ мѣстной гимназіи и казанскомъ университетѣ (на словесномъ факультетѣ). Сначала, по окончаніи курса, онъ былъ учителемъ въ пермской и нижегородской гимназіяхъ, затѣмъ занялъ мѣсто чиновника особыхъ порученій при нижегородскомъ губернаторѣ и сталъ редакторомъ мѣстныхъ „Губернскихъ Вѣдомостей". По службѣ онъ очень близко ознакомился съ бытомъ своихъ героевъ; его дѣятельность по расколу обратила на себя вниманіе правительства. Имъ былъ составленъ цѣлый рядъ оффиціальныхъ отчетовъ и записокъ по этому вопросу, въ которыхъ онъ стоялъ за допущеніе широкой терпимости къ расколу, на дѣлѣ будучи вынуждаемъ долгомъ службы проявлять суровую строгость. Первымъ литературнымъ произведеніемъ П. П—ча были „Дорожныя замѣтки", помѣщенныя въ „Отечественныхъ Запискахъ" 1839 г.; затѣмъ въ „Литературной Газетѣ" появился рядъ его статей по исторіи и этнографіи. Послѣ многолѣтняго перерыва, были напечатаны въ 1857—58 г. г. его „Старые годы," „Медвѣжій уголъ" и „Бабушкины разсказы" (въ „Русск. Вѣстн." и „Современникѣ"), впервые обнаружившіе въ авторѣ крупный художественный талантъ. Эти разсказы появились въ 1875-мъ году отдѣльнымъ изданіемъ подъ заголовкомъ „Разсказы Андрея Печерскаго". Въ 1859-мъ году, переведенный по службѣ въ Петербургъ, П. И. Мельниковъ сталъ издавать газету „Русскій Дневникъ", просуществовавшую всего около полугода. Въ 1862-мъ году вышли его „Письма о расколѣ", въ слѣдующемъ—брошюра для народа „О русской правдѣ и польской кривдѣ"; въ 1866-мъ году, пробывъ передъ тѣмъ три года завѣдующимъ внутреннимъ отдѣломъ въ газетѣ „Сѣверная Почта", впослѣдствіи преобразившейся въ „Правительственный Вѣстникъ", онъ переѣхалъ въ Москву, гдѣ—продолжая службу—съ небывалымъ дотолѣ одушевленіемъ отдался литературѣ, сотрудничая исключительно въ „Московск. Вѣдом." и „Русскомъ Вѣстникѣ". Здѣсь появились его „Историческіе очерки поповщины", „Княжна Тараканова", „Очерки мордвы", „Счисленіе раскольниковъ",

народной души пѣсенъ: лебединыя крылья размахиваются, бѣлются во чистóмъ полѣ шатры полотняные. расцвѣтаютъ-цвѣтутъ цвѣтики лазоревые, открывается мысленному взору широкій просторъ, воскресаетъ былое-стародавнее... Порою звучитъ веселой, широкою, что русская душа. удалью пѣсня; порою плачетъ она, горючими слезами заливается. И ту, и другую услышишь на деревенской свадьбѣ—тамъ, гдѣ еще не въ конецъ стерла рука времени живую память о родной старинѣ.

„Уже всѣ-то гости съѣхались, одного-то гостя нѣтъ какъ нѣтъ, родимова моего батюшки,—зачинается одна изъ многаго-множества такихъ, не изъѣденныхъ молью новыхъ наслоеній, пѣсенъ—богатыхъ и красотою образцовъ, и ясной глубиною содержанія:

„Не свѣтла-то ночь безъ мѣсяца,
Не красенъ день безъ солнышка,
Не весела свадьба безъ батюшки,
Безъ батюшки, безъ кормильца“...

Это поетъ послѣ веселаго сговора невѣста-сирота, обращаясь къ своему брату: „Ты вступись-ка, мой милый братъ, вмѣсто батюшки родимова! Ты поди-тко на широкой дворъ, обсѣдлай-ко ворона коня, поѣзжай-ко къ Божьей церькови! Ты взойди-тко на колоколенку, ты ударь-ко въ звонкой колоколъ, ты пусти-тко звонъ по сырой землѣ!“... Дальнѣйшія слова пѣсни такъ и хватаютъ за-сердце:

„Разступися, Мать-Сыра-Земля,
На четыре на сторонушки!
Ты раскройся, гробова доска,
Распахнися, бѣлъ-тонкой саванъ,
Ты воскинь-ко, родной батюшко,
Ты своимъ-то очамъ яснымъ
На меня-то ли на горькую.
Подожми-тко, родной батюшко,

„Тайныя секты“, „Изъ прошлаго“, „Бѣлые голуби“ и, наконецъ, шедевры его творчества — „Въ лѣсахъ“ и „На горахъ“, — романы-очерки, которыми онъ всталъ въ ряды первоклассныхъ художниковъ слова. Блестящее дарованіе автора этихъ замѣчательныхъ произведеній, явившихся цѣлымъ откровеніемъ для русскаго общества, выказалось въ нихъ во всей своей неукладывающейся ни въ какія рамки шаблона самобытности. Ими онъ занялъ навсегда совершенно особое мѣсто въ исторіи нашей словесности. Послѣдніе десять лѣтъ жизни знаменитый писатель, къ сожалѣнію—до сихъ поръ еще многими неоцѣненный по достоинству, провелъ въ деревнѣ подъ Нижнимъ. Скончался онъ въ Нижн.-Новгородѣ 1-го февраля 1883 года. Собраніе сочиненій его разошлось тремя изданіями.

Ты подъ правую подъ рученьку,
Ты скажи мнѣ, другъ мой, батюшко,
Все е правду ту великую!".

Такую пѣсню могъ сложить только великій народъ, изъ стихійной души котораго бьетъ неизсякаемый ключъ пѣснотворчества. Столь яркую картину горькой доли могъ нарисовать только истинный художникъ могучаго, и въ своей простотѣ, слова.

Скорбно поетъ-причитаетъ передъ свадьбою невѣста-сирота, знающая, что за нее некому будетъ заступиться передъ новой роднею богоданной, что не къ кому будетъ придти-попечаловаться при неладномъ житьѣ съ мужемъ и его кровными. Но немногимъ жизнерадостнѣе смотритъ на эту жизнь и самъ народъ, обмолвившійся такими присловьями, какъ: „Свекоръ—гроза, а свекровь выѣстъ невѣсткѣ глаза!", „Свекровь на печи—что собака на цѣпи!", „Любъ—что свекровинъ кулакъ!", „Отъ свекровушкиной ласки слезами захлебнешься!", „Лютая свекровь красоту съ лица повыгонитъ, тѣло бѣлое повысушитъ!", „Отъ свекровыхъ глазъ не скоро укроешься, а отъ свекровиныхъ одна смерть упасетъ!" Для каждаго знакомаго съ домашнимъ бытомъ русскаго крестьянина въ этихъ поговоркахъ явственно слышится тотъ-же голосъ самой жизни, который звучитъ въ записанной П. В. Шейномъ тверской пѣснѣ, начинающейся запѣвкою:

„Спится мнѣ, младешенькой, дремлется,
Клонитъ мою головушку на подушечку;
Свекоръ-батюшка по сѣничкамъ похаживаетъ,
Сердитый по новымъ погуливаетъ"...

— „Стучитъ-гремитъ, стучитъ-гремитъ, снохѣ спать не даетъ"...—подхватываетъ хоръ: „Встань, встань, встань ты, сонливая: Встань, встань, встань ты, дремливая! Сонливая, дремливая, неурядливая!" И опять льется-переливается безнадежно тоскливое: „Спится мнѣ, младешенькой, дремлется, клонитъ мою головушку на подушечку. Свекровь-матушка по сѣничкамъ похаживаетъ, сердитая по новымъ погуливаетъ"... И она, эта „лихая свекровушка", подобно своему муженьку—„грозному свекру", обращается къ молодой невѣсткѣ со словами, въ которыхъ обзываетъ ее сонливою, дремливою, неурядливою. Но вотъ картина, встающая передъ слушателемъ, расцвѣчается новыми красками: „Спится мнѣ, младешенькой, дремлется, клонить мою головушку на поду-

шечку; милъ-любезный по сѣничкамъ похаживаетъ, легохонько, тихохонько поговариваетъ"... Прямо въ сердце просятся слова „милъ-любезнаго":

„Спи, спи, спи ты, моя умница,
Спи, спи, спи ты, разумница!
Загонена, забронена, рано выдана"...

Сколько въ нихъ слышится нѣжнаго чувства; сколько той „жалости", которую народъ русскій объединяетъ съ любовью!..

XLIV.

Послѣдніе назимніе праздники.

Веселый да сытый октябрь-свадебникъ валкимъ шагомъ къ концу подходитъ, послѣдніе назимніе праздники на деревенскую-посельскую Русь ведетъ—„Казанскую“ (22-е число, день празднованія Казанской иконѣ Пресвятыя Богородицы) да Дмитріевъ день (память св. Димитрія Солунскаго[76])—26-е октября). Послѣдніе обожженные морозомъ листья съ деревъ облетаютъ къ этому времени, остатнія черны грязи осеннія подсыхаютъ, промерзаючи; зима въ бѣлой шубѣ идетъ, не первымъ, а третьимъ — не то четвертымъ, снѣгомъ порошитъ, путь ноябрю студеному коврами застилаетъ пушистыми.

„До Казанской—не зима, съ Казанской—не осень!“—гласитъ простонародная мудрость. „Что за осень, коли гусь на ледъ выходитъ!“—продолжаетъ она свою красную рѣчь: „Осень говоритъ: озолочу! А зима—какъ я захочу! Осень говоритъ: я поля въ сарафанъ наряжу! А зима—подъ холстину положу, весна придетъ, покажетъ!“, „Осень прикажетъ, а весна—свое скажетъ!“, „Считай, баба, цыплятъ по осени, а мужикъ—мѣряй хлѣбъ по веснѣ!“, „Осенней озими въ закромъ не положишь!“, „Осень-то—матка: кисель да блины!

---

[76]) Св. Димитрій Солунскій—великомученикъ, пострадавшій въ царствованіе императора Діоклетіана. По происхожденію этотъ угодникъ Божій—славянинъ; до своего мученическаго подвига былъ онъ воиномъ и правителемъ гор. Солуни. На Руси и у сосѣднихъ славянскихъ народовъ имя его какъ неизмѣннаго заступника славянъ съ первыхъ временъ принятія христіанства окружено благоговѣйнымъ почитаніемъ. Въ московскомъ Успенскомъ соборѣ хранится древняя икона св. Димитрія, принесенная (въ 1197 г.) съ родины великомученика великимъ княземъ Всеволодомъ Юрьевичемъ во Владиміръ.

А весна—мачиха: сиди да гляди!", „На Казанскую и у воробья—пиво, а по веснѣ и у мужика хлѣба вдоволь—дивное диво!". „До Казанской и у вороны—копна, а зима придетъ—все съ гумна приберетъ!". „Не будь осенью торовать, будешь къ веснѣ хлѣбомъ богатъ!", „Осенью и нелюбаго гостя всякой снѣдью подчуютъ не наподчуются, а къ концу зимы и любой куска хлѣба напросится!"

Съ 22-го октября ждетъ деревенскій людъ со дня на день прихода лютой стужи. „Матушка Казанская необлыжную зиму ведетъ, морозцамъ дорожку кажетъ!"—говорятъ краснословы, говорятъ-приговариваютъ: „Что Казанская покажетъ—то и зима скажетъ!", „Бываетъ, что на Казанскую съ утра дождь дождитъ, а ввечеру сугробами снѣгъ лежитъ!", „Выѣзжаешь о Казанской на колесахъ, а полозья въ телѣгу клади!". „И зимѣ до Казанской устанавливаться заказано!", „Со Казанской у насъ—тепло морозу не указъ!" и т. д.

Съ этой поры, по примѣтамъ деревенскихъ погодовѣдовъ, зимніе морозы силу берутъ, все крѣпче да крѣпче за землю держаться начинаютъ. „О Казанской морозъ не великъ, да стоять не велитъ!"—молвитъ о нихъ простонародное слово: „Казанскіе морозы желѣзо не рвутъ, птицу налету не бьютъ, а за носъ бабу хватаютъ, мужика за уши пощипываютъ!", „Идетъ на дворъ морозъ, а въ карманѣ денежки таютъ!", „Съ назимней Казанской скачетъ морозко по ельничкамъ, по березничкамъ, по сырымъ берегамъ, по веретейкамъ!", „Не великъ морозъ, да краснѣетъ носъ!", „Сказывали бабы, что и на Казанскую въ стары годы мужикъ на печи замерзъ!", „Съ Казанской—морозъ подорожнымъ-одежнымъ кланяться велитъ, а къ безодежнымъ самъ въ гости ходить не лѣнится!", „Съ Казанской не льнутъ къ тычинкѣ морозобитной хмѣлинкѣ!"

Близится-надвигается зимняя пора студеная; можетъ,—какъ давно запримѣтилъ ко всему въ окружающей мужика природѣ зоркимъ глазомъ присмотрѣвшійся деревенскій опытъ,—и въ одну ночь зима установиться, до весеннихъ оттепелей налечь на грудь земли-кормилицы. По примѣтѣ, когда большой урожай—тогда и „зима строгая". Знаетъ, помнитъ мужикъ-деревеньщина, что „только одному волку-сиромахѣ зима—за обычай",—заботливо запасается всякій добрый хозяинъ тепломъ на зиму: завалины вокругъ избы заваливаетъ, щели конопатитъ, о дровахъ подумываетъ. Если—по одному старинному прибаутку—„Батюшка Покровъ не натопитъ хату безъ дровъ", то—по другому—„Матушка Казанска спроситъ хворосту вязанку". Истребленіе лѣсовъ, повлекшее за собою вздорожаніе топлива, подсказываетъ деревнѣ такія, проникнутыя

смѣшливой грустью, поговорки, какъ напримѣръ: „Мало-ли у насъ дровъ—гдѣ печь, тамъ и жечь!“, „Лѣсомъ шелъ—дровъ не видѣлъ!“, „Нашъ Емеля-дурачокъ и на печкѣ по дрова съѣздитъ!“, „Ни дровъ, ни лучины—живи безъ кручины, пляши да смѣйся—на-кулачкахъ грѣйся!“, „Дровъ нѣтъ—полати пригрѣютъ!“, „Не тужи, голова, будутъ и дрова—нужда придетъ, изъ насъ щепки щепать начнетъ!“

Съ давнихъ поръ въ обычаѣ у насъ на Руси заканчивать къ назимней Казанской всѣ строительныя работы; плотники, каменьщики, штукатуры, землекопы,—всѣ къ этому времени сдаютъ по подрядамъ работу, берутъ разсчетъ у хозяевъ-подрядчиковъ—въ деревню ко дворамъ снаряжаются. „На Казанску у хозяевъ и пузатая мошна худѣетъ, а у работника—тощая толстѣетъ!“—говоритъ поговорка, пріуроченная къ этому обычаю. „И радъ-бы хозяинъ поприжать батрака, да Казанска—на дворѣ, она — Матушка — всей рядѣ голова!“, „Не обсчитывай, рядчикъ, подряженаго: Казанска молчитъ, да все видитъ, все Богу скажетъ!“, „Потерпи, батракъ, и у тебя на дворѣ Казанска будетъ!“—вторятъ ей другія, выношенныя въ сердцѣ народной жизни.

Служатъ 22-го октября по церквамъ молебенъ за молебномъ—все заказные, потовою батрачьей копѣйкою оплаченные: собирается домой приканчивающій свой промыселъ пришлый людъ, благословляется во храмѣ Божіемъ въ путь-дорогу. „Безъ Бога—не до порога!“, „Выйдешь, не благословясь,—добра не жди!“, „Помолится батюшка-попъ, сохранитъ и Господь-Богъ!“—гласитъ старина стародавняя устами памятующихъ ея завѣты, держащихся за нее людей. Существуетъ и у наемщиковъ-подрядчиковъ обычай служить молебны на Казанскую—благодарственную дань приносить Богу за благополучный исходъ работы. „Въ комъ есть Богъ—у того есть и стыдъ!“, „Обидящимъ Богъ судія!“, „Даетъ Богъ и цыгану!“, „У Бога—милости много!“, „Отъ Бога отказаться—къ сатанѣ въ работники назваться!“, „У Бога-свѣта съ начала свѣта все приспѣто!“, „Утромъ—Богъ и вечеромъ—Богъ, съ Богомъ началъ, съ Богомъ и конецъ верши!“—говоритъ честной православный людъ, твердо уповающій на Бога да на свою Небесную Заступницу предъ Его грозной правдою.

Многіе уходящіе съ весны до поздней осени изъ своихъ деревень въ отхожій промыселъ крестьяне спѣшатъ воротиться къ назимней Казанской домой. На-радостяхъ варятся по деревнямъ пива къ этому урочному дню, веселится-гуляетъ сбросившій съ плечъ тяготу подневольнаго наемнаго труда выносливый рабочій людъ. Звенитъ веселымъ перезвономъ, гуль-

ливой вольною разливается безшабашная-разгульная пѣсня отдыхающихъ работниковъ.

По многимъ мѣстамъ 22-го октября—мѣстные храмовые („престольные“) праздники, справляемые всѣмъ приходомъ, по завѣту отцовъ-дѣдовъ. „Одинъ день престолъ справляли, на другой опохмѣлъ держали, на третій—снова здоро́во!..“—подсмѣивается деревня надъ неумѣренными любителями веселаго-похмѣльнаго праздничанья. „Сегодня—праздничали, завтра—праздничать станемъ, послѣ завтра—зубы на полку!“, „То и не праздникъ, какъ никто не обопьется!“—приговариваютъ степенные люди.

Смѣтливъ торговый человѣкъ, знаетъ—когда у кого деньга́ шевелится въ карманѣ, на вольную волю просится: наѣзжаютъ на Казанскую торгаши въ праздничающія села, раскидываютъ кибитки съ товарами, палатки ставятъ, бабъ-мужиковъ въ соблазнъ вводятъ, на расходъ наводятъ... Веселый-праздничный человѣкъ—и то, чего не надо, купитъ: торгашъ уговорить съумѣетъ, твердо помнитъ онъ свое правило—„Не обманешь, не продашь!“ Знаетъ онъ, проныра, какими прибаутками заставить разгулявшагося мужика подороже дать. „Не по купцу товаръ,“—скажетъ,—„купило-то ,видно, притупило!“ Не мало найдется у него въ запасѣ и другихъ подходящихъ красныхъ словечекъ, въ-родѣ: „Купилъ бы село, да въ карманѣ голо! Завелъ-бы вотчину, да купило скорчило! Купильце, что тонкое шильце—какъ-разъ ему носокъ отломишь!“ и т. д.

Среди пѣсенъ, распѣваемыхъ объ эту пору по деревенской Руси—свадебныхъ и всякихъ иныхъ, можно въ глуши, сохраняющей дольше другихъ мѣстъ память о старинѣ, услышать и теперь стародавнее пѣсенное сказаніе о взятіи Казанскаго царства. Пѣсенники-сказатели неизмѣнно пріурочиваютъ его ко дню Казанской. „Середи было Казанскаго царства что стояли бѣлокаменны палаты, а изъ спальни бѣлокаменной палаты ото сна тутъ царица пробуждалася, царица Елена Симеону царю она сонъ разсказывала...“—начинается эта простодушно-наивная пѣсня, не мало, впрочемъ, погрѣшающая передъ правдою былого. Далѣе слѣдуетъ самый разсказъ обо снѣ царицы: „А и ты встань, Симеонъ царь, пробудися! Что ночесь мнѣ царицѣ мало спалося, въ сновидѣньицѣ много видѣлося; какъ отъ сильнаго Московскаго царства кабы сизой орлище встрепенулся, кабы грозная туча подымалась, что на наше вѣдь царство наплывала!“... Сонъ, по пѣснѣ, оказывается вѣщимъ. Въ то самое время, когда царица разсказывала его царю,—„изъ того-ли изъ сильнаго

Московскаго царства подымался великій князь московскій а Иванъ, сударь, Васильевичъ, прозритель, съ тѣми-ли пѣхотными полками, что со старыми славными казаками. Подходили подъ Казанское царство, за пятнадцать верстъ становились они подкопью подъ Булатъ-рѣку, подходили подъ другую подъ рѣку подъ Казанку, съ чернымъ порохомъ бочки закатали, а и подъ гору ихъ становили, подводили подъ Казанское царство; воску яраго свѣчу становили, а другую вѣдь на полѣ-лагерѣ: еще на полѣ та свѣча сгорѣла, а въ землѣ-то идетъ свѣча тишѣя. Воспалился тутъ великій князь московскій, князь Иванъ, сударь, Васильевичъ, прозритель, и зачалъ канонеровъ тутъ казнити. Что началася отъ канонеровъ измѣна, что большой за меньшаго хоронился, отъ меньшаго ему, князю, отвѣта нѣту; еще тутъ-ли молодой канонеръ выступался:— „Ты, великій, сударь, князь московскій! Не вели ты насъ, канонеровъ, казнити: что на вѣтрѣ свѣча горитъ скорѣя, а въ землѣ-со свѣча идетъ тишѣя!“ Призадумался князь московскій, онъ и сталъ тѣ-то рѣчи размышляти собою, еще какъ бы это дѣло оттянути. Они тѣ-то рѣчи говорили, догорѣла въ землѣ свѣча воску яраго до тоя-то бочки съ чернымъ порохомъ,—принималися бочки съ чернымъ порохомъ, подымало высокую гору, расбросало бѣлокаменны палаты. И бѣжалъ тутъ великій князь московскій на тое-ли высокую гору, гдѣ стояли царскія палаты. Что царица Елена догадалась, она сыпала соли на ковригу, она съ радостью московскаго князя встрѣчала, а того-ли Ивана, сударь, Васильевича прозрителя; и за то онъ царицу пожаловалъ и привелъ въ крещеную вѣру, въ монастырь царицу постригли. А за гордость царя Симеона, что не встрѣтилъ великаго князя онъ, и вынялъ ясны очи косицами; онъ и взялъ съ него царскую корону и снялъ царскую порфиру. Онъ царской костыль въ руки принялъ“... Пѣсня кончается совершенно неожиданнымъ, довольно далекимъ отъ лѣтописной правды, четверостишіемъ:

„И въ то время князь воцарился
И насѣлъ въ Московское царство,
Что тогда-де Москва основалася;
И съ тѣхъ поръ великая слава!“...

Очевидно, первообразъ этого сказанія, нашептаннаго народу памятью былого, съ теченіемъ времени подвергся постороннимъ наслоеніямъ и слился съ ними, утративъ свою первоначальную точность и ясность.

26-е октября—день памяти святого великомученика Димитрія Солунскаго, Дмитріевъ день. Съ этимъ назимнимъ праздни-

комъ соединено въ народномъ представленіи воспоминаніе о приснопамятной Куликовской битвѣ и поминовеніе павшихъ во время нея на полѣ брани. „Дмитровская суббота" установлена въ церковно-православномъ обиходѣ, по почину преподобнаго Сергія, Радонежскаго чудотворца, великимъ княземъ Димитріемъ Донскимъ [77]). Царь Иванъ Васильевичъ Грозный подтвердилъ особымъ указомъ святоотческое постановленіе и „повелѣлъ пѣть панихиды и служить обѣдни по всѣмъ церквамъ и общую милостыню давать, и кормы ставить" въ этотъ день.

Дмитріевъ день, празднуемый не только въ честь св. Димитрія Солунскаго, но и въ память великаго князя Димитрія Донского—слыветъ по многимъ мѣстамъ народной Руси за „дѣдову родительскую". Эта послѣдняя начинается съ 26-го дня октября-назимника и кончается черезъ семь сутокъ. „На дѣдовой недѣлѣ и родители вздохнутъ!"—говорятъ въ народѣ, твердо памятующемъ о томъ, что жизнь не кончается здѣсь—на землѣ, а въ таинствѣ смерти переходитъ въ безконечность.

„Живы родители—почитай, а умерли—поминай!", „Не вѣкъ жить, а вѣкъ поминать!", „Покойника не поминай лихомъ, а добромъ—какъ хочешь!", „Знай своихъ, поминай—нашихъ!", „Знай нашихъ, поминай—своихъ!", „Кто чаще поминаетъ, тотъ меньше согрѣшаетъ!", „Застанешь—пиво пьешь, не застанешь—пивцомъ помянешь!", „Какова была Маланья—таково ей и поминанье!", „Добромъ поминай, зло забывай!", „Земля навозъ помнитъ, а человѣкъ—кто его кормитъ!". Такими и многимъ-множествомъ другихъ ходячихъ словъ свидѣтельствуетъ народъ о томъ, какъ онъ помнитъ и чѣмъ поминаетъ отошедшихъ въ иной міръ.

„Какъ родители жили, такъ и намъ велѣли!"—можно услы-

---

[77]) Димитрій Іоанновичъ Донской—великій князь, сынъ вел. кн. Іоанна II-го Іоанновича—родился въ 1350-мъ г., остался по смерти отца († 1359 г.) малолѣтнимъ, вступилъ на престолъ, послѣ продолжительныхъ смутъ, въ 1362-мъ году. Во внутренней политикѣ онъ явился усмирителемъ мятежныхъ удѣльныхъ князей которыхъ началъ приводить подъ свою власть, а по отношенію къ татарамъ проявилъ самостоятельность, показавшую имъ, что порабощенію Руси пришелъ конецъ. Послѣ цѣлаго ряда мелкихъ побѣдъ надъ татарами, онъ нанесъ имъ 8-го сентября 1380 года, между рѣками Непрядвой и Дономъ, на Куликовомъ полѣ, полное пораженіе,—причемъ погибъ даже бѣжавшій со своими разбитыми полчищами ханъ Мамай. Хотя въ 1381-мъ г. наслѣдовавшій Мамаю Тохтамышъ и взялъ приступомъ Москву, но духъ народа уже воскресъ — послѣ почти двухвѣкового омертвенія, и заря самостоятельной государственной жизни, занявшаяся на Куликовской битвѣ, уже не погасала надъ Русью. Кончина вел. кн. Димитрія, прозваннаго за свою побѣду надъ татарами Донскимъ, послѣдовала въ 1389-мъ году.

шать всюду по свѣтлорусскому раздолью привольному мудрое слово народное. „Родители родили—себя поминать дѣтокъ благословили!“—прибавляютъ охочіе до поговорокъ старые люди: „Русскій человѣкъ безъ родни не живетъ!“, „Мужикъ своей роднею крѣпокъ!“, „Бѣдная родня краше чужого богатства!“, „И велико поле, да не родимое!“, „Родительское благословеньице—лучшее имѣньице!“, „Помянешь родителей—на сердцѣ легче станетъ!“, „Тотъ круглый сирота—у кого и помянуть некого!“

Дмитровская родительская является одною изъ наиболѣе почитаемыхъ въ народѣ. Православною Церковью установлено семь вселенскихъ панихидъ. Первая изъ нихъ приходится на вечеръ пятницы предъ Филипповымъ постомъ, вторая падаетъ на субботній день предъ Рождествомъ Христовымъ, третья справляется въ мясопустную недѣлю ,четвертая—15-го марта, пятая—въ субботу предъ Духовымъ днемъ. шестая—въ субботу, предшествующую Петрову дню, седьмая—въ субботу предъ Успеніемъ Пресвятой Богородицы, Но,—какъ справедливо замѣчаетъ И. М. Снегиревъ,—главнѣйшія народныя поминки совершаются въ другіе дни, а именно: на Радоницу, въ Троицкую субботу и въ Дмитріевъ день. Послѣднія поминки совпадаютъ съ германскимъ праздникомъ „Всѣхъ святыхъ“.

Изобильная всякой снѣдью назимняя пора не мало способствуетъ тому, чтобы эта „родительская“ справлялась, что называется, честь-честью. Приготовляется къ ней деревеньщина-посельщина, словно къ какому великому празднику: пива̀ варитъ, меда сытитъ, пироги печетъ, кисели заготовляетъ разные—поминальщикамъ да причту церковному на угощеніе, усопшимъ родителямъ-сродственникамъ на вспоминъ души. „Не всегда поповымъ ребятамъ Дмитріева суббота!“—приговариваетъ деревня, вспоминая объ этомъ поминальномъ разносолѣ богатомъ.

Еще „Кормчая Книга“ [78]) ставила строгій запретъ на поминальныя пиршества, но до сихъ поръ въ повсемѣстномъ обычаѣ въ народной Руси устраивать попойки-угощенья на могилкахъ въ особо установленные для этого дни. До нашего времени соблюдается старинное обыкновеніе сходиться въ поло-

[78]) Кормчая Книга—сборникъ церковныхъ правилъ и относящихся непосредственно къ Церкви государственныхъ узаконеній, принятый русской церковною іерархіей отъ Византіи и подвергавшійся у насъ цѣлому ряду дополненій, исправленій и измѣненій сообразно съ особенностями русскаго быта. Въ послѣдній разъ она напечатана была въ 1816-мъ году. Съ 1839-го года ее замѣнила „Книга правилъ“, изданная Св. Сунодомъ.

женный срокъ на кладбища и воздавать честь-поминъ покойникамъ. До сихъ поръ,—хотя-бы на Дмитріевъ-день,—всюду можно услышать по деревенскимъ погостамъ жалобные причеты, надъ могилами всюду можно увидѣть поминальщиковъ, порою превыше всякой мѣры совершающихъ возліяніе въ честь дорогихъ и близкихъ имъ усопшихъ, почивающихъ вѣковѣчнымъ сномъ въ любовныхъ объятіяхъ Матери-Сырой-Земли.

Русскій пахарь-народъ зачастую, начиная за здравіе, сводитъ на упокой,—но бываетъ (и нерѣдко), что наоборотъ—начавъ поминаньемъ сводитъ на ликованье-здравствованье. Къ Дмитріеву дню съ полной справедливостью можно отнести послѣднее. Въ этотъ праздникъ мертвыхъ можно наблюдать въ народной Руси „радованіе“ живыхъ. Это обстоятельство вытекаетъ непосредственно изъ вѣрованій народа въ то, что тамъ—за гробомъ—радуются всѣ обременные, недугующіе, страждущіе въ здѣшней земной жизни, всѣ опечаленные судьбою, всѣ обездоленные въ этомъ бренномъ, преходящемъ мірѣ.

Къ Дмитріеву дню остается еще отъ назимней Казанской пиво недопитое, доливаютъ, довариваютъ его, не жалѣючи ни хмѣля, ни солода, бабы-хозяйки, привычныя пивоварки. „Поминай живыхъ добромъ, а покойничковъ зеленымъ виномъ!“—гласитъ старинное изреченье. „Зелено-винцо—пиву родной братъ!“—поясняетъ другое. „Безъ пива, да безъ вина—и не поминки!“—договариваетъ третье, приходящееся сродни имъ-обоимъ. „Пей, не жалѣй—поминай веселѣй!“, „Кого чѣмъ, а русскаго мужика только и помянуть что пивомъ да блинами!“, „Провожай со слезами, поминай въ радости!“, „Съ веселыми поминальщиками и покойничкамъ веселѣе!“, „Тяжела земля, а какъ обольешь ее пивцомъ да винцомъ—все полегчаетъ!“—сыплетъ красными словцами тороватая молвь народная.

Всѣ новобрачные, успѣвшіе повѣнчаться въ октябрѣ-свадебникѣ, считаютъ непремѣннымъ долгомъ навѣстить о Дмитріевѣ днѣ могилки своихъ родныхъ. Приэтомъ самой новобрачною пекутся особые поминальные пироги, которые, по старому завѣту сѣдой старины, оставляются на могилкахъ—въ даръ покоящимся въ нихъ. Нищая братія, твердо памятующая всѣ поминальные дни, подбираетъ эти дары и поминаетъ добрымъ словомъ какъ щедрыхъ поминальщиковъ, такъ и тѣхъ—ради кого пеклись доставшіяся голодному брюху сытныя снѣди. Хотя и оговариваетъ русскій народъ охотниковъ до даровыхъ поминальныхъ снѣдей поговорками, въ-родѣ—„Отдай нищимъ, а самому ни-съ-чѣмъ!“, „Суму нищаго не

наполнишь!", „Всѣхъ нищихъ не перещеголяешь!",—но онъ же замѣчаетъ — въ памятникахъ своей вѣковой мудрости, что: „Нищій—человѣкъ Божій!", „Нищему подать — лишній грѣхъ съ души снять!", „Подашь нищему—Господь вернетъ сторицею!", „Накормишь голоднаго—въ раю сыть будешь!", „Молитву нищаго скорѣе Богъ услышитъ!" и т. п.

„Дмитріевъ день покойнички на Русь ведутъ",—говорятъ въ народѣ,—„покойнички ведутъ, живыхъ блюдутъ". „Живой, о живомъ думай, да про мертвыхъ не забывай!"—гласитъ народная мудрость устами хранителей своихъ стародавнихъ словесныхъ завѣтовъ. Потому-то Дмитріева суббота и зовется „поповской работою": приходится не мало панихидъ отслужить на могилкахъ честнымъ отцамъ, не мало блиновъ-пироговъ собрать, не малой деньгою разжиться... Любитъ угостить и всегда русскій мужикъ-деревеньщина своихъ „батюшекъ",—какъ же ему обнести ихъ угощеньемъ въ святъ-Дмитріевъ день, когда, по пословицѣ—„и воробей подъ кустомъ пиво варитъ".

Къ этому поминальному празднику приурочиваются народнымъ опытомъ и свои особыя—ему одному присущія, съ нимъ однимъ связанныя—примѣты. „Если Дмитріевъ день будетъ по̀голу, то и Пасха будетъ теплая!"—говорятъ въ Тульской губерніи. „Дмитріевъ день—перевоза не ждетъ!"—гуторятъ въ симбирскихъ деревняхъ. „Дмитрій на снѣгу—весна поздняя!"—примѣчаютъ рязанцы, не переча приведеннымъ словамъ своихъ сородичей.

У каликъ-перехожихъ, убогихъ пѣвцовъ, смиренномудрыхъ хранителей древле-пѣсеннаго богачества народнаго, отмѣченъ святъ-Дмитріевъ день наособицу въ цѣломъ рядѣ любопытныхъ стиховъ-сказаній.

Въ Пермской и Новгородской губерніяхъ подслушанъ пытливыми собирателями пѣсенной старины любопытный стихъ о св. Димитріѣ Солунскомъ,—стихъ, очевидно сложившійся во времена, когда еще свѣжа была въ народной Руси память о Димитріѣ Донскомъ—великомъ князѣ, богатырскій обликъ котораго слился здѣсь съ его святымъ. „Сопущались съ небесъ два ангела да два архангела ко Дмитрію Солунскому свѣту чудотворцу",—запѣвается-зачинается этотъ стихъ. „Гой еси, нашъ батюшка, Дмитрій Солунскій чудотворецъ!"—возглашаютъ ангелы-архангелы, обращаясь къ святому великомученику: „И хочутъ твой градъ весь повызорить и всѣхъ людей твоихъ повыгубить, и Божіи домы на дымъ пустить!"... Отвѣчаетъ небеснымъ вѣстникамъ „свѣтъ-чудотворецъ": „И не дамъ свой городъ я повызорить, и не дамъ своихъ людей

женный срокъ на кладбища и воздавать честь-поминъ покойникамъ. До сихъ поръ,—хотя-бы на Дмитріевъ-день,—всюду можно услышать по деревенскимъ погостамъ жалобные причеты, надъ могилами всюду можно увидѣть поминальщиковъ, порою превыше всякой мѣры совершающихъ возліяніе въ честь дорогихъ и близкихъ имъ усопшихъ, почивающихъ вѣковѣчнымъ сномъ въ любовныхъ объятіяхъ Матери-Сырой-Земли.

Русскій пахарь-народъ зачастую, начиная за здравіе, сводитъ на упокой,—но бываетъ (и нерѣдко), что наоборотъ—начавъ поминаньемъ сводитъ на ликованье-здравствованье. Къ Дмитріеву дню съ полной справедливостью можно отнести послѣднее. Въ этотъ праздникъ мертвыхъ можно наблюдать въ народной Руси „радованіе“ живыхъ. Это обстоятельство вытекаетъ непосредственно изъ вѣрованій народа въ то, что тамъ—за гробомъ—радуются всѣ обременные, недугующіе, страждущіе въ здѣшней земной жизни, всѣ опечаленные судьбою, всѣ обездоленные въ этомъ бренномъ, преходящемъ мірѣ.

Къ Дмитріеву дню остается еще отъ назимней Казанской пиво недопитое, доливаютъ, доваривают его, не жалѣючи ни хмѣля, ни солода, бабы-хозяйки, привычныя пивоварки. „Поминай живыхъ добромъ, а покойничковъ зеленымъ виномъ!“—гласитъ старинное изреченье. „Зелено-винцо—пиву родной братъ!“—поясняетъ другое. „Безъ пива, да безъ вина—и не поминки!“—договариваетъ третье, приходящееся сродни имъобоимъ. „Пей, не жалѣй—поминай веселѣй!“, „Кого чѣмъ, а русскаго мужика только и помянуть что пивомъ да блинами!“, „Провожай со слезами, поминай въ радости!“, „Съ веселыми поминальщиками и покойничкамъ веселѣе!“, „Тяжела земля, а какъ обольешь ее пивцомъ да винцомъ—все полегчаетъ!“—сыплетъ красными словцами тороватая молвь народная.

Всѣ новобрачные, успѣвшіе повѣнчаться въ октябрѣ-свадебникѣ, считаютъ непремѣннымъ долгомъ навѣстить о Дмитріевѣ днѣ могилки своихъ родныхъ. Приэтомъ самой новобрачною пекутся особые поминальные пироги, которые, по старому завѣту сѣдой старины, оставляются на могилкахъ—въ даръ покоящимся въ нихъ. Нищая братія, твердо памятующая всѣ поминальные дни, подбираетъ эти дары и поминаетъ добрымъ словомъ какъ щедрыхъ поминальщиковъ, такъ и тѣхъ—ради кого пеклись доставшіяся голодному брюху сытныя снѣди. Хотя и оговариваетъ русскій народъ охотниковъ до даровыхъ поминальныхъ снѣдей поговорками, въ-родѣ—„Отдай нищимъ, а самому ни-съ-чѣмъ!“, „Суму нищаго не

наполнишь!", „Всѣхъ нищихъ не перещеголяешь!",—но онъ же замѣчаетъ — въ памятникахъ своей вѣковой мудрости, что: „Нищій—человѣкъ Божій!", „Нищему подать — липній грѣхъ съ души снять!", „Подашь нищему—Господь вернетъ сторицею!", „Накормишь голоднаго—въ раю сытъ будешь!", „Молитву нищаго скорѣе Богъ услышитъ!" и т. п.

„Дмитріевъ день покойнички на Русь ведутъ",—говорятъ въ народѣ,—„покойнички ведутъ, живыхъ блюдутъ". „Живой, о живомъ думай, да про мертвыхъ не забывай!"—гласитъ народная мудрость устами хранителей своихъ стародавнихъ словесныхъ завѣтовъ. Потому-то Дмитріева суббота и зовется „поповской работою": приходится не мало панихидъ отслужить на могилкахъ честнымъ отцамъ, не мало блиновъ-пироговъ собрать, не малой деньгою разживиться... Любитъ угостить и всегда русскій мужикъ-деревеньщина своихъ „батюшекъ",— какъ же ему обнести ихъ угощеньемъ въ святъ-Дмитріевъ день, когда, по пословицѣ—„и воробей подъ кустомъ пиво варитъ".

Къ этому поминальному празднику приурочиваются народнымъ опытомъ и свои особыя—ему одному присущія, съ нимъ однимъ связанныя—примѣты. „Если Дмитріевъ день будетъ пòголу, то и Пасха будетъ теплая!"—говорятъ въ Тульской губерніи. „Дмитріевъ день—перевоза не ждетъ!"—гуторятъ въ симбирскихъ деревняхъ. „Дмитрій на снѣгу—весна поздняя!"— примѣчаютъ рязанцы, не переча приведеннымъ словамъ своихъ сородичей.

У каликъ-перехожихъ, убогихъ пѣвцовъ, смиренномудрыхъ хранителей древле-пѣсеннаго богачества народнаго, отмѣченъ святъ-Дмитріевъ день наособицу въ цѣломъ рядѣ любопытныхъ стиховъ-сказаній.

Въ Пермской и Новгородской губерніяхъ подслушанъ пытливыми собирателями пѣсенной старины любопытный стихъ о св. Димитріѣ Солунскомъ,—стихъ, очевидно сложившійся во времена, когда еще свѣжа была въ народной Руси память о Димитріѣ Донскомъ—великомъ князѣ, богатырскій обликъ котораго слился здѣсь съ его святымъ. „Сопущались съ небесъ два ангела да два архангела ко Дмитрію Солунскому свѣту чудотворцу",—запѣвается-зачинается этотъ стихъ. „Гой еси, нашъ батюшка, Дмитрій Солунскій чудотворецъ!"—возглашаютъ ангелы-архангелы, обращаясь къ святому великомученику: „И хочутъ твой градъ весь повызорить и всѣхъ людей твоихъ повыгубить, и Божіи домы на дымъ пустить!"... Отвѣчаетъ небеснымъ вѣстникамъ „свѣтъ-чудотворецъ": „И не дамъ свой городъ я повызорить, и не дамъ своихъ людей

всѣхъ повыгубить, и Божіи церкви на дымъ пустить!“ Но,— продолжаетъ сказаніе: „отколь взялся Мамай невѣрный, безбожный, невѣрный, нечестивый, и принималъ онъ силы множество. Увидалъ Дмитрій Солунскій свѣтъ чудотворецъ: имаетъ онъ себѣ дорогого коня, покидаетъ онъ ковры сорочинскіе, беретъ онъ копье булатное, выѣзжаетъ къ Мамаю невѣрному, нечестивому: по ордѣ-то онъ гуляетъ, и сколько онъ копьемъ колетъ, а вдвое-втрое конемъ топчетъ. И пригубилъ онъ силушки множество—три тьмы, три тьмы и четыре тысячи.“... По словамъ сказанія, нечестивый Мамай „немного барышу получилъ“, всего только—„двухъ русскихъ сестеръ въ полонъ залучилъ, увозилъ онъ къ себѣ да во палатушки“. Здѣсь обращается онъ къ нимъ со слѣдующей рѣчью: „Ой, вы, гой еси, двѣ русскія сестры полоняночки! Вы скажите мнѣ про могучаго богатыря: какой есть у васъ могучій богатырь, сколько онъ у меня силушки погубилъ, выпишите мнѣ и вырисуйте мнѣ на коврѣ на шелковомъ!“ И вотъ, — продолжаетъ стихъ, — „онѣ пишутъ и рисуютъ съ утра до вечера, съ вечера да до полуночи; со полуночи горько плачася, Богу помолилися, на коверъ онѣ спать ложилися:—Ужъ ты, ой еси, батюшко, Дмитрій Солунскій, свѣтъ чудотворецъ нашъ! И не прогнѣвайся на насъ на грѣшныхъ здѣсь, и не изъ волюшки пишемъ, изъ-подъ неволюшки!“ Заснули „сестры-полоняночки“, а въ это время:

„... поднималася вьюга-пáдорога,
Подымала со палатъ верхи,
Выносило-то двухъ русскихъ сестеръ,
Двухъ сестеръ да полоняночекъ,
И уносило ко Дмитрію Селунскому,
Свѣту чудотворцу да во Божію церкву.
Поутру онѣ да пробудилися,
Дмитрію Селунскому да помолилися...“

П. В. Кирѣевскимъ записано въ селѣ Репьевкѣ Сызранскаго уѣзда, Симбирской губерніи, другое, болѣе пространное пѣсенное сказаніе, родственное съ этимъ по содержанію, но отличающееся совершенно самобытными подробностями. Все оно носитъ на себѣ чисто-русскій отпечатокъ. „Съ перваго вѣку-начала Христова не бывало на Салымъ-градъ никакой бѣды ни погибели. Идетъ насланіе Божіе на Салымъ-градъ, идетъ невѣрный Мамай-царь, сѣчетъ онъ и рубитъ, и во плѣнъ емлетъ, просвѣщенныя соборныя церкви онъ раззоряетъ...“—говорится въ началѣ этого сказанія: „У насъ было во градѣ во Салымѣ во святой соборной во Божьей

во церкви, припочивалъ святый Димитрій чудотворецъ. Сосылалъ Господь со небесъ двухъ ангеловъ Господнихъ, два ангела Христова ликъ ликовали святому Димитрію Салымскому чудотворцу, рекутъ два ангела Христова Димитрію Салымскому чудотворцу:—О, святый Димитрій Салымскій чудотворецъ! Повелѣлъ тебя Владыко на небеса взяти, хочетъ тебя Владыко исцѣлити и воскресити, а Салымъ-градъ разорити и побѣдити: идетъ насланіе великое на Салымъ-градъ, идетъ невѣрный Мамай-царь...“ Св. Димитрій, въ отвѣтъ ангеламъ, говоритъ, что „не быть Салыму-граду взяту, а быти Мамаевой силѣ побиту...“ Вслѣдъ за этимъ появляется въ повѣствованіи новое дѣйствующее лицо—старецъ Онуфрій. Стоялъ онъ на молитвѣ, и было ему видѣніе, видѣлъ онъ св. Димитрія, съ ангелами, услышалъ онъ ихъ рѣчи.—пошелъ старецъ о нихъ „по Салыму-граду объявляти“: „Вы гой еси, князья-бояре, воеводы и митрія-приполиты, попы-священники и игумны и всѣ православные христіане! Не сдавайте вы Салыма-града и не покидайте: не быти нашему Салыму-граду взяту, а быти Мамайской силѣ побиту!“... И вотъ,—продолжаетъ безымянный сказатель-пѣснотворецъ,—„у насъ во градѣ, во Салымѣ, поутру было ранымъ-ранехонько, не высылка изъ Салыму-граду учинилася: единъ человѣкъ изъ-за престола возставаетъ, пресвѣтлую онъ ризу облекаетъ, единъ онъ на бѣла осла садится, единъ изъ Салыму-граду выѣзжаетъ, единъ невѣрную силу побѣждаетъ, сѣчетъ онъ и рубитъ, и за рубежъ гонитъ: побѣдилъ онъ три тьмы и три тысячи невѣромой силы, да и смѣту нѣтъ; отогналъ онъ невѣрнаго царя Мамая во его страну въ порубежную“... Царь Мамай захватилъ,—какъ и въ первомъ стихѣ,—двухъ сестеръ-полоняночекъ; увезъ ихъ онъ въ свою землю,—привезъ—выспрашиваетъ о невѣдомомъ богатырѣ. „Это не князь, не бояринъ и не воевода, это—нашъ святой отче Димитрій Салымскій чудотворецъ!“—держатъ ему отвѣтъ полонянки. Приказываетъ имъ „злодѣй, невѣрный царь Мамай“ вышить ликъ чудотворца на коврѣ: „коню моему на прикрасу, мнѣ царю на потѣху, предайте лицо его святое на поруганье!“ Тѣ отказываются. Мамай „опалился“; вынимаетъ онъ, злодѣй, „саблю мурзавецкую“, хочетъ сестрамъ голову съ плечъ снести. Убоялись бѣдныя полонянки, соглашаются; согласясь, за работу принимаются: „святое лицо на коврѣ вышивали, на небеса позирали, горючія слезы проливали, молились онѣ Спасу, Пречистой Богородицѣ и святому Димитрію Салымскому, чудотворцу“... Утомились работою полонянки; утомясь—„пріуснули“. Въ это время—„по Божьему все повелѣ-

нью и по Димитрія святому моленью возставали сильные вѣтры. подымали коверъ со двумя дѣвицами. подносили ихъ ко граду ко Солуну, ко святой соборной Божьей церкви, ко празднику Христову, ко святому Димитрію Солунскому чудотворцу: положило ихъ святымъ духомъ за престоломъ". Пришелъ поутру пономарь въ церковь. увидалъ спящихъ на коврѣ сестеръ, побѣжалъ къ священнику—съ вѣстью о случившемся. „Попъ-священникъ отъ сна возставаетъ. животочною водой лице свое умываетъ. на ходу онъ одежу надѣваетъ. грядетъ онъ скоро во святую соборную церковь. до Господняго престола доступаетъ. животворящій крестъ съ престола принимаетъ",—начинаетъ сестеръ-дѣвицъ будить. святою водой кропитъ. Просыпаются бѣдныя полонянки.—думаютъ. что будитъ ихъ „злодѣй-собака, невѣрный царь Мамай", говорятъ. отвѣтъ держатъ. что-де исполнили его царскій наказъ-урокъ: вышли на коврѣ ликъ св. Димитрія чудотворца. Прослезился священникъ, глядючи на русскихъ дѣвицъ-полоняночекъ. сказалъ имъ. что онъ не Мамай-царь. а „священникъ, отецъ духовный",—спрашиваетъ ихъ: какъ онѣ очутились въ алтарѣ за престоломъ. „Батюшка. священникъ, отецъ духовный!"—отвѣчаютъ ему сестры: „Мы сами про то не вѣдаемъ..... Знать, по Божьему повелѣнію, по Димитрія святаго моленію, сама намъ Божія церьква отмыкалась, и сами намъ двери отверзались. сами намъ за престоломъ свѣчи зажигались!" Велѣлъ тогда священникъ ударить во всѣ колокола. возвѣстить городу о совершившемся чудѣ. И—„услышали по всему городу, по Солуну, князья-бояре. воеводы и митріи-приполиты, попы-священники, игумны и всѣ православные христіяне: собирались они въ соборную Божію церковь. подымали они иконы мѣстныя. служили они молебны честные. молились они Спасу. Пречистой Богородицѣ и святому Димитрію Солунскому чудотворцу"... Этимъ и заканчивается сказаніе.

XLV.

Ноябрь-мѣсяцъ.

За назимникомъ—зима; за октябремъ-свадебникомъ—ноябрь-мѣсяцъ, по свѣтлорусскому простору идетъ, крѣпкими снѣговыми сугробами села-деревни огораживаетъ, буранами-мятелями заноситъ всѣ пути-дороги торёныя. Идетъ ноябрь, мужика-деревеньщину знобитъ, землю замораживаетъ, рѣки-озера въ ледяныя цѣпи заковываетъ. „Холодненекъ батюшка-октябрь, а ноябрь и его перехолодилъ!“—говорятъ въ народѣ:„ Ноябрь—сентябревъ внукъ, октябревъ сынъ, зимѣ ро́дный батюшка!“... „Въ ноябрѣ—чѣмъ-чѣмъ, а стужею всѣхъ богачей одѣлить можно, да еще и на всю нищую братію останется!“, „Ноябрьскими заморозками декабрьскій морозъ тороватъ!“, „Кто въ ноябрѣ не зябнетъ, тому и въ крещенскую стужу не замерзнуть!“, „Тепло старику и въ ноябрѣ—на горячей печкѣ!“—приговариваетъ любящій красное словцо, памятующій старинныя присловья честной людъ православный.

Имя ноября, какъ и всѣхъ другихъ его братьевъ-мѣсяцевъ, занесено на Русь изъ Царь-града, озарившаго темноту народную свѣтомъ Христовой вѣры. Звался онъ въ старые, до-Владиміровы, годы въ русскомъ народѣ—„груднемъ“, листогноемъ студенымъ прозывался. Славянскіе сосѣди древнихъ пращуровъ народа-пахаря величали эту зимнюю пору—каждый на свой ладъ: у чеховъ со словаками былъ онъ „листопадомъ“, у иллирійцевъ—„студенемъ“, у сербовъ—„млошнымъ“ и „подзимнымъ“, у вендовъ—„гнильцемъ“ и „еднаистникомъ“, у кроатовъ—„вшешвечакомъ“. Одиннадцатый по счету теперь, слылъ онъ въ старопрежнемъ русскомъ церковномъ укла-

дѣ за девятый; съ XV-го по XVIII-й вѣкъ приходилъ, по изволенію властей-укладчиковъ, третьимъ въ году; съ 1700 года всталъ на свое настоящее мѣсто, на которомъ стоитъ онъ и во всѣхъ остальныхъ ближнихъ и дальнихъ царствахъ-государствахъ.

Починъ ноябрю-мѣсяцу кладетъ „зимній Кузьма-Демьянъ", день, посвященный Православной Церковью памяти святыхъ безсребренниковъ Косьмы и Даміана. Величается-зовется этотъ день (1-е ноября) въ народной Руси больше всего „Кузьминками". Кузьминки—первый зимній деревенскій праздникъ. Въ изустномъ простонародномъ мѣсяцесловѣ, переходящемъ по наслѣдству отъ старыхъ къ малымъ, отведено этому празднику свое почетное мѣсто, окруженное причудливо изукрашеннымъ тыномъ-частоколомъ всякихъ сказаній, повѣрій и обычаевъ, связанныхъ и съ первыми, и съ послѣдними.

Святые Косьма и Даміанъ [79]) въ воображеніи русской деревни являются слившимися въ одинъ нераздѣльный обликъ „Божьяго кузнеца—Кузьмы-Демьяна". На этотъ, близкій суевѣрному народному сердцу, обликъ перенесены нѣкоторыя черты, присваивавшіяся встарину всемогущему богу-громовнику—Перуну, златоусому Бѣлбожичу, представленіе о которомъ расплылось по многому-множеству иныхъ, живущихъ въ народной Руси, образовъ. Въ одномъ изъ старинныхъ русскихъ сказаній Кузьма-Демьянъ, кующій сохи, бороны и плуги на потребу народу православному, въ потѣ лица добывающему хлѣбъ свой, вступаетъ въ борьбу съ „великимъ змѣемъ". Трудился кузнецъ Божій въ своей кузницѣ и заслышалъ онъ,—гласитъ это сказаніе,—летитъ змѣй (діаволъ). Заперся онъ, да не спасутъ отъ змѣя великаго никакіе затворы: подлетѣлъ змѣй, опустился-упалъ на-земь, возговорилъ зычнымъ голосомъ человѣческимъ,—проситъ, лукавый, отворить дверп. Не отомкнулъ Божій кузнецъ затворовъ, и началъ онъ лизать языкомъ своимъ дверь желѣзную. Но, какъ только пролизалъ змѣй дверь, ухватилъ его Кузьма-Демьянъ за языкъ желѣзными клещами. Взмолился „великой змѣй" Божьему кузнецу — отпустить проситъ, да не тутъ-то было! Запрегъ его тотъ въ только-что выкованный

[79]) Святые Косьма и Даміанъ—христіанскіе мученики, братья, подвизавшіеся во второй половинѣ III-го вѣка, близъ Рима. Оба они были врачами и прославлены за свое безкорыстіе именемъ безсребренниковъ. Вѣнецъ мученическій получили они отъ руки врача-язычника, позавидовавшаго имъ за милость, оказанную выздоровѣвшимъ по ихъ молитвѣ императоромъ Кариномъ (въ 284-мъ г.).

плугъ и поѣхалъ по степямъ, по пустошамъ,—пропахалъ на немъ, змѣѣ, всю землю отъ моря и до моря. Умаялся лукавый, взмолился онъ ко святому—проситъ испить воды изъ Днѣпра-рѣки; не внемлетъ змѣю кузнецъ-пахарь—знай гонитъ-погоняетъ его цѣпью желѣзною. И только у Чернаго моря подпустилъ Кузьма-Демьянъ великаго змѣя къ водѣ: припало къ ней чудовище, пило-пило, пòлъ-моря выпило, напившись—лопнуло. А борозды, проведенныя плугомъ Божьяго кузнеца, пахавшаго на нечистой силѣ, и до сихъ поръ виднѣются по Приднѣпровью, слывутъ онѣ въ окрестномъ народѣ „Валами Змѣиными“.

Древнеязыческій Перунъ, по словамъ пытливыхъ изслѣдователей русской народной старины, также представлялся воображенію нашихъ пращуровъ побѣждающимъ крылатыхъ огненныхъ змѣевъ, запрягающимъ ихъ въ плугъ и бороздящимъ небесныя поля вплоть до земли. Онъ—или убивалъ ихъ своею молніеносной палицею, или они сами опивались морской воды и, лопнувъ, проливали ее на землю, являясь олицетвореніемъ зимнихъ тучъ, разорванныхъ первымъ весеннимъ дождемъ. Въ другомъ сказаніи Кузьма-Демьянъ убиваетъ наповалъ своимъ богатырскимъ молотомъ змѣиху, „всѣмъ змѣямъ мать“, раззѣвавшую пасть отъ сырой земли до синяго неба бездоннаго. Это народное слово прямо вытекаетъ изъ преданія о Перунѣ-громовержцѣ, разсѣкающемъ своимъ молотомъ (молніей) грозовую тучу. Можно отыскать связь его и съ индійскимъ сказаніемъ о громадной змѣѣ-Вритрѣ; пораженной на-смерть палицею Индры. Есть сказанія, утверждающія, что Кузьма-Демьянъ—кузнецъ Божій—не только куетъ сохи, бороны и плуги,—но даже научилъ людей земледѣльческому труду, за что и окруженъ особымъ почетомъ въ памяти народной. Въ малороссійскихъ сказаніяхъ этотъ подвигъ приписывается то самому Творцу міра, то Его Божественному Сыну. По однимъ—„въ поли, поли плужокъ ходить, за тимъ плужкомъ Господь; Матерь Божа iисти носить“; по другимъ—Христа-пахаря сопровождаютъ апостолъ Петръ и Кузьма-Демьянъ.

По наблюденіямъ деревенскихъ погодовѣдовъ, пытливыми глазами присматривающихся къ жизни окружающей ихъ природы, со дня святыхъ Косьмы и Даміана заковываетъ зима и земли, и воды: „Кузьма-Демьянъ—съ гвоздемъ, мосты гвоздитъ“. На подмогу Кузьмѣ-Демьяну прилетаютъ съ желѣзныхъ горъ морозы.

„Не велика у Кузьмы-Демьяна кузница, а на всю Святую Русь въ ней ледяныя цѣпи куются!“—говоритъ народъ: „За-

куетъ Кузьма-Демьянъ, до весны красной не расковать!", „Изъ кузьмодемьяновой кузницы морозъ съ горна идетъ!", „Не заковать рѣку зимѣ безъ Кузьмы-Демьяна!" и т. п. Краснословы охочіе приговариваютъ при этомъ свои поговорки и о простыхъ кузнецахъ. Эти-послѣдніе слывутъ въ посельской - деревенской крылатой молвѣ пьяницами. „Портной воръ, сапожникъ—буянъ, кузнецъ—пьяница горькая!"—гласитъ она, прибавляя къ этому: „Умудряетъ Богъ слѣпца, а чортъ кузнеца!", „Для того кузнецъ и клещи куетъ, чтобы рукъ не ожечь!", „Не куетъ желѣза молотъ, куетъ—кузнецовъ голодъ!", „Кузнецу, что козлу—вездѣ огородъ!", „У кузнеца—что́ стукнулъ, то гривна!", „У кузнеца—рука легка́, была-бы шея крѣпка!", „Кому Богъ ума не далъ, тому и кузнецъ не прикуетъ!", „Захотѣлъ отъ кузнеца угольевъ: либо пропилъ, либо самому надо!", „Не ищи у калашника дрожжей, у кузнеца лишнихъ угольевъ, у сапожника сапогъ на ногахъ!", „Кузнецъ Кузьма—безталанная голова!", „Есть кузнецы, что по чужимъ сундукамъ куютъ (воры)!"

Святой кузнецъ Божій не только плуги да землю-воды куетъ, а и свадьбы, недонгранныя въ октябрѣ - назимникѣ, доковываетъ. Потому-то и воздается ему въ старинномъ народномъ свадебномъ стихѣ честь-честью:

„Тамъ шелъ Кузьма-Демьянъ
На честной пиръ, на свадебку:
Ты, святой-ли, Кузьма Демьяновичъ!
Да ты скуй-ли-ка намъ свадебку,
Ту-ли свадебку—неразрывную,
Не на день ты скуй, не на недѣлюшку,
Не на май-мѣсяцъ, ни на три года,
А на вѣки вѣковѣчные,
На всее на жизнь неразстанную!"

Кузьминки—„курьи имянины", дѣвичій праздникъ. Собираются-готовятся къ этому дню дѣвицы красныя загодя, припасаютъ припасы всякіе на пиръ-бесѣду веселую. Зорко слѣдятъ передъ Кузьминками за своими куриными насѣстами да за птичнымъ хозяйствомъ домовитые люди, у которыхъ дворъ—что чаша полная. Съ давнихъ поръ во многихъ мѣстахъ ведется припасаться къ этой пирушкѣ дѣвичьей воровскимъ обычаемъ: ходятъ дѣвки да парни ночью, воруютъ по дворамъ куръ, гусей, утокъ. И какъ ужъ ни оберегай хозяйскій глазъ свое добро, а ухитрится молодёжь добыть себѣ на Кузьминки и курятинки, и гусятинки! Кѣмъ. когда и почему это заведено,—невѣдомо; а только всѣми отъ отцовъ-дѣдовъ знаемо, что изстари ведется.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ приносятъ на Кузьмодемьяновъ день къ обѣднѣ бабы съ собою къ церкви куръ. „Курица—имянинница, и ей Кузьмѣ-Демьяну помолиться надо!“—можно услышать въ деревенской глуши объясняющія этотъ обычай слова: „Батюшка Кузьма-Демьянъ—куриный Богъ!“ Въ старые годы было въ обычаѣ приносить 1-го ноября куръ на боярскій дворъ. Съ челобитьемъ приносили ихъ крестьянки своей боярынѣ — „на красное житье“. Боярыня отдаривала за подарокъ лентами—„на убрусникъ“. Этихъ, челобитныхъ, куръ считалось за грѣхъ убивать - рѣзать: отдавались онѣ подъ особое покровительство чествовавшихся въ этотъ день святыхъ. Даже яица, которыя онѣ несли, слыли болѣе здоровыми для пищи, чѣмъ другія—отъ простыхъ, не „челобитныхъ“, куръ.

Ко дню Кузьмы-Демьяна благочестивая старина завѣщала выполнять такъ называемыя „обѣтныя“ работы. Этимъ по ея словамъ, обезпечивается что обѣтъ будетъ угоденъ Богу. Встарину многія боярыни продавали на Кузьминки сработанное ихъ руками рукодѣлье, а деньги, вырученныя отъ продажи, раздавали нищимъ - убогимъ, — какъ - бы слѣдуя святому подвигу святыхъ безсребренниковъ.

Въ „Народномъ дневникѣ“ записанъ любопытный обычай, къ настоящему времени совершенно уже успѣвшій исчезнуть съ лица Земли Русской. Въ день Кузьмы-Демьяна, по этому свидѣтельству, въ селеніяхъ Мышкинскаго уѣзда, Ярославской губерніи, поселяне убивали кочета въ овинѣ. Старшій въ домѣ выбиралъ кочета и самъ отрубалъ ему голову топоромъ. Ноги кочетиныя бросали на избу—для того, чтобы водились куры, а самого кочета варили и за обѣдомъ съѣдали всею семьей. Этотъ обычай вывелся, но всюду и теперь справляетъ посельщина-деревеньщина веселыя Кузьминки; рѣдко гдѣ не пьютъ 1-го ноября и „козмодемьянскаго пива“.

2-го ноября—„Акундинъ разжигаетъ овинъ, Пигасій—солнце гаситъ“. Всюду, гдѣ уродилось хлѣба вдоволь, въ этотъ день дымятся овины, молотьба по гумнамъ впервые готовится на зимнемъ ледяномъ току. Пройдутъ за молотьбою двое ноябрьскихъ сутокъ; за ними—день св. Галактіона мученика. О святомъ Галактіонѣ ходитъ въ народной Руси любопытное сказаніе. „У Галактіона мученика, святаго православнаго родители были злые эллины невѣрные“,—начинается это выдержанное съ начала до конца въ строгомъ повѣствовательномъ складѣ сказаніе и продолжается: „Выбираютъ они (родители) Галактіону обручницу юную, что тое-ли свѣтъ-Епистимію, дѣ-

ву красную. Галактіонъ святой волѣ родителей не преслушался, обручается онъ съ Епистиміею кольцомъ желѣзнымъ, по тому-ли по обычаю злу эллинску поганому. Ужъ и сидитъ-то Галактіонъ съ Епистиміей, своей обручницей, говоритъ онъ съ нею рѣчи кроткія, привѣтныя, не творитъ лишь ей обычнаго цѣлованія. Какъ возговоритъ Галактіону родный его батюшка:—Охъ ты, сыну, ты мой сыну, чадо милое! Ты скажи мнѣ всее правду, не утаючи: чѣмъ младая обручница тебя опечалила? Не творишь почто ты ей обычнаго цѣлованія?" На вопросъ отца держитъ („гласомъ краткімъ") свою отповѣдь сыновнюю святой Галактіонъ: „Господинъ ты мой великій, родный батюшка! Во всемъ я тебѣ, господину, послушный сынъ, что ты хочешь, мнѣ своему сыну приказывай и ни въ чемъ я твоей отчей волѣ не противляюсь: лишь единаго отъ меня, родный батюшка, не спрашивай: Епистимія, обручница моя юная, дѣва красная, никакимъ она меня тяжкимъ словомъ не опечалила, и люба она мнѣ, моя обручница Епистимія, и по ней я всѣмъ сердцемъ болю-сокрушаюся, да и къ ней я, дѣвѣ красной, душой распаляюся; не могу-жъ я ей творити обычнаго цѣлованія: христіанинъ бо азъ есмь, она-же эллинка поганая и скверна мнѣ будетъ, доколѣ не очистится баней водною, баней чистою, святымъ крещеніемъ, и скверна мнѣ и мерзка мнѣ будетъ, доколь не одѣнется въ ризу чистую, въ ризу свѣтлую, въ ризу нетлѣнія: и дотолѣ скверна будетъ, доколь не причислится къ стаду кроткому, къ стаду избранному, къ стаду христіанскому!" Вслѣдъ за этимъ отвѣтомъ святого сказаніе переходитъ къ словамъ обрученной невѣсты его—Епистимія. „О, женихъ мой возлюбленный, ты печаль души моей!" — обращается она къ Галактіону, уведя его въ свою горницу. Голосъ ея слагатель стиха называетъ „гласомъ кроткимъ, сладостнымъ". — „О тебѣ бо единомъ все мое сокрушеніе!"—продолжаетъ она: „О тебѣ бо единомъ—все мое помышленіе! Жестоко слово Христосъ эллиномъ поганымъ, тяжко слышати будетъ моимъ родителямъ, страшусь страхомъ я ихъ ярости поганскія: совершенная же любы изгоняетъ страхъ. И скажу я тебѣ, возлюбленный, не боясь — скажу: аще хощешь, и я буду христіанкою православною!" Слыша эти слова своей возлюбленной, „беретъ святой Галактіонъ воду чистую и креститъ онъ въ той водѣ Епистимію, дѣву красную. Какъ узнали то да увидали злые эллины, предаютъ они святую двоицу судилищу поганскому, осуждаетъ ихъ игемонъ скверный на мученіе смертное. Идетъ святая двоица на смерть, радуясь"... Сказаніе кончается словами св. Галактіона, обращенными

къ его спутницѣ: „Возлюбленная моя супружница Епистимія! За Христа мы умремъ и со Христомъ будемъ царствовать, и подастъ Христосъ за нашу вѣру и страданіе: аще проситъ рабъ моимъ именемъ да раба возлюбитъ его любовью огнепальною, то и будетъ тому рабу по прошенію". Этими-послѣдними словами объясняется народное повѣрье о томъ, что желающіе приворожить чье-либо сердце къ себѣ должны молиться о томъ Галактіону-мученику.

Вслѣдъ за Галактіоновымъ днемъ—„Павлы - исповѣдники, Варлаамы-хутынскіе" (6-е ноября), съ памятью о которыхъ связана въ народѣ примѣта о будущемъ урожаѣ: „Если ледъ на рѣкѣ (къ этому дню) становится грудами, то и хлѣба будутъ груды, а гладко—такъ и хлѣба будетъ гладко". Такъ и слывутъ эти святые за „ледоставовъ". „Мученикъ Ѳедотъ (7-го ноября) ледъ на ледъ ведетъ",—говорятъ деревенскіе погодовѣды. О 8-мъ ноября—Михайловомъ днѣ—свой особый сказъ въ народѣ. Изъ устъ убогихъ пѣвцовъ—каликъ-перехожихъ, разносящихъ изъ конца въ конецъ Руси великой народное пѣсенное слово, въ этотъ день льется волною слѣдующій стихъ: „Единаго славы Царя невещественна заря благолична, лицъ ангельскихъ, пренебесныхъ, просвѣщаетъ всѣхъ насъ земныхъ разумична. Ею-же осіявшеся, причастницы симъ явльшеся, тѣмъ ублажимъ, гласы благодарственныя съ мыслями чувственная днесь умножимъ. Михаила воеводу и христіанскому роду спасителя; съ Рафаиломъ Гавріила и свѣтлая Уріила хранителя, небесныхъ силъ, начальниковъ, душамъ нашимъ помощниковъ непрестанныхъ, престоловъ Божественнѣйшихъ, херувимовъ пресвятѣйшихъ, небославныхъ, серафимовъ свѣтло-взятыхъ, огненныхъ, шестокрылатыхъ, правителей, Церкви всея соборныя и вѣры непорочныя защитителей. Первую троицу образну, богоносну, безсоблазну, пречестнѣйшу, тріехъ священствъ углезарныхъ, гласомъ святымъ благодарнымъ всесвѣтлѣйшу. Господьствія священная почтемъ пріукрашенная багромъ свѣтлымъ Силъ славныхъ вооруженныхъ, твердымъ словомъ ублаженныхъ, небоцвѣтныхъ, владычественнѣйшихъ Властей, изъятыхъ всѣхъ долнихъ страстей. Втору троицу, слова полныхъ хвалителей, духоносныхъ служителей Богу-Отцу. Началъ святыхъ богомудрыхъ, архангеловъ всѣхъ премудрыхъ поя ясно почтемъ со благодаренми, купно и славословенми богогласно, ангеловъ сонмъ безчисленныхъ, ликъ святый богопочтенный возносяще, десяточисленные лики, полки зелны, превелики, вѣнцевъ вѣчныхъ, небесныхъ силъ блаженнѣйшихъ и Троице слугъ пресвѣтлѣйшихъ, безконечныхъ..."

9-е ноября—Матренинъ день. „Съ зимней Матрены зима

встаетъ на ноги!"—говорятъ въ народной Руси. Иней въ этотъ день, по деревенской примѣтѣ, къ холодамъ; туманъ—къ теплой погодѣ, во время которой не страшны никакіе морозы, налетающіе съ желѣзныхъ горъ на свѣтлорусскій просторъ великій. За зимней Матреною слѣдомъ—день апостоловъ Родіона и Ераста. „Придетъ Родивонъ (10-е ноября)—возьметъ зима мужика въ полонъ!" —замѣчаютъ старые погодовѣды; „Со святаго Ераста—жди ледяного наста!"—прибавляютъ другіе. „Нашъ Ерастъ на все гораздъ",—подхватываетъ смѣшливый людъ,—„и на холодъ, и на голодъ, и на бездорожную метелицу!" 11-го ноября Ѳедоръ Студитъ: „придетъ—все остудитъ!", „Ѳедоровы вѣтры—голоднымъ волкомъ воютъ!", „Со Студита стужа—что ни день лютѣй-хуже!", „Ѳедоръ—не Ѳедóра: знобитъ безъ разбора!", „Ѳедоръ Студитъ—на дворѣ студитъ, въ окошко стучитъ!", „На дворѣ Студитъ, да въ избѣ тепло, коли хозяйка хороша!", „На печкѣ да около горячихъ щей и на Студитовъ день не застудишься!", „Жирныя щи застудятся, коли во-время не съѣшь, студёный квасъ нагрѣется—коли не во-время выпьешь!". „Не плачь, что ночь студена—на то она и Студитова: ободняетъ, такъ и обогрѣетъ; а не обогрѣло—такъ вѣдь не къ Семику дѣло!". „Ѳедоры Студиты къ Филипповкамъ, посту Рождественскому, студеную дорожку торятъ!"—приговариваютъ гораздые на прибаутки деревенскіе краснословы.

За Студитовой стужей—два Ивана: Милосливый (12-го), да Златоустъ (13-го ноября). Подъ Москвою записанъ не лишенный своеобразной красоты духовный стихъ народный о святомъ Іоаннѣ Златоустѣ, начинающійся слѣдующими превыспренними словами:

„Златокованную трубу
Восхвалимъ днесь,
Свирѣль пастырскую,
Низложившаго пѣсни мусикійскія,
Органъ чудный Духа Святаго,
Іоанна Златоустаго"...

Предпослѣднія двѣ строки приведеннаго отрывка, вѣроятно, исправлены какимъ-нибудь досужимъ книгочеемъ, отъ Божественнаго Писанія умудреннымъ: дальнѣйшія—свидѣтельствуютъ о южнорусскомъ происхожденіи всего стиха: — „Днесь позлащенная труба цвѣтетъ".—продолжается пѣсенный сказъ,—„яко финикъ ласковый горлицы ждетъ: воинъ на полѣ станицы, Іоанна Златоустаго, архіерея цареградскаго. Вѣчной славы царь, слово превѣчное со ангельскимъ чиномъ

Тебѣ взываетъ укоханнымъ Сыномъ: — Прiиде, чадо укоханне, въ чертогъ свѣтелъ днесь, Іоанне!—Ангели чюдятся, зряще Іоанна въ ризы оболченна, митра на главѣ херувимомъ дана, крестъ побѣды, пастыремъ слава, руци его на змiевѣ главѣ. Цѣвнице духовна, а труба златая, гора Елеонская, тимпанъ златый, церковь Сiонская! Когда вострубитъ Господь трубою, не забуди стати со мною!“

14-го ноября—день св. апостола Филиппа, заговѣнье на Филипповки. Если иней изукраситъ на Филиппово заговѣнье серебряной бахромою всѣ деревья,—ждетъ деревенскiй людъ богатаго урожая овса на будущiй годъ; вороньё черное каркаетъ—къ оттепели. Въ этотъ день доигрываютъ по деревнямъ послѣднiя свадьбы веселыя. „Кто не повѣнчался до Филипповокъ—молись Богу да жди новаго мясоѣда!“—говорятъ въ народѣ: „Постъ—свадьбамъ не потатчикъ, пива не наваритъ, на пиръ-бесѣду не позоветъ!“

Какъ только мученики Гурiй, Самонъ и Авива, слывущiе въ народѣ зубными цѣлителями, памятуемые Православной Церковью 15-го числа, разрубятъ ноябрь студеный пополамъ,—такъ уже не растаять вплоть до весенняго половодья выпавшему снѣгу. Морозы—желѣзные нòсы—беруть съ этой поры такую силу-мочь, что даже вся нечисть лихая убѣгаетъ съ земли въ свои преисподняя, гдѣ и скрывается до самыхъ Святокъ. На Святки хоть и холодненько, да ужъ очень привольно тогда имъ хороводы свои водить, люду честному—до зелена вина охочему, на всякiй соблазнъ падкому—глаза отводить!..

Если на апостола Матѳея (16-го ноября) вѣтры вѣютъ буйные,—то, говорятъ въ народѣ, быть вьюгамъ-метелицамъ на Святой Руси до самаго Николы-зимняго (6-го декабря)—на бѣду-невзгоду плохо одѣтому дорожному человѣку: бываетъ, что и померзаетъ много народа въ снѣжную заметь. Пройдетъ трое сутокъ съ Матвѣева дня,—„Проклы“ (20-го ноября) въ народную Русь идутъ, свои особыя повѣрья-обычаи несутъ. Въ стародавнюю пору проклинали въ этотъ день знающiе люди, вѣдуны дотошные, скрывавшуюся въ подземныхъ нѣдрахъ нежить лукавую,—чтобы не выходила она изъ своихъ норъ какъ можно дольше, чтобы какъ можно меньше мутила жизнь человѣческую. Существовали особые заговоры на этотъ случай, которые хотя и не занесены собирателями стариннаго слова въ ихъ лѣтописи, но еще, несомнѣнно, и до сихъ поръ хранятся подъ спудомъ народнаго сердца.

Двадцать первый день „листогноя студенаго“ посвященъ

великому празднику Введенія Пресвятой Богородицы во храмъ. Своеобразныя повѣрья, связанныя въ народной памяти съ этимъ праздникомъ описаны въ особомъ очеркѣ „Введенье“ (см. гл. XLVIII).

22-е ноября—Прокопьевъ день. „Пришелъ Прокопъ—разрылъ сугробъ!“—говорятъ въ народѣ. „Святой Прокопій дороги прокапываетъ!“, „Съ Прокопьева дня—хорошій санный путь: сани сами катятся по гладкой дорожкѣ, сами сани лошадкѣ прыти прибавляютъ!“, „Гдѣ прокопалъ Прокопъ—тамъ и мужику и зимній путь!“ Въ обычаѣ—съ этого дня зимнія вехи ставить, дорогу обозначать; мѣстами вешать дорогу снопами вымолоченной ржи, по другимъ мѣстамъ—сосенками да елочками. Старые благочестивые люди совѣтуютъ не приниматься за это дѣло безъ молитвы къ святому „прокапывателю дорогъ“. Вешить дорогу считается богоугоднымъ дѣломъ, такъ какъ цѣль его—указаніе пути идущему и ѣдущему люду въ ночное время и въ снѣжную вьюгу, когда легко можно сбиться съ дороги. Обыкновенно, эта нетрудная работа производится „всѣмъ міромъ“; не прочь мужички и угоститься, по окончаніи ея, на мірской счетъ. Черезъ сутки послѣ „Прокоповъ“—день, посвященный Православной Церковью памяти св. великомученицы Екатерины. „Катерининъ день пришелъ, катанье привелъ; катайся, у кого лошадь да сани есть—на саняхъ, а нѣтъ ни саней, ни лошадки—садись на ледянку, съ горы катись!“—приговариваетъ объ этомъ днѣ народное крылатое слово: „Прокопъ дорожку прокопаетъ, а Катерина укатаетъ!“, „Съ Катеринъ зима деревню дойметъ не мытьемъ, такъ ка́таньемъ: не голодомъ, такъ холодомъ!“ Съ этого дня начинается для мужика зимній извозъ: тянутся въ города изъ деревенской глуши хлѣбородной обозы съ господскимъ хлѣбомъ.

Въ Пермской губерніи, въ тридцатыхъ годахъ XIX-го столѣтія, по многимъ селамъ чествовали прокапывателя занесенныхъ дорогъ, св. Прокопія, особымъ празднествомъ, сопровождавшимся пирушкою „всего міра на мірской счетъ“. Въ этотъ день закалывался „послѣдній (до весны) барашекъ“, и его съѣдали сообща всей деревнею. Соблюдался этотъ обычай, несомнѣнно, и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ.

За Катерининымъ—Климентьевъ день. „Съ Климентья зима клинъ клиномъ вышибаетъ, слезу и у мужика морозомъ изъ глазъ гонитъ!“—говорятъ въ народѣ. 26-го ноября—„Юрій-холодный“—зимній Егорій.

27-го ноября—„Знаменіе“ (отъ иконы Божіей Матери, въ Новгородѣ), церковный праздникъ, приходящійся престоль-

нымъ-храмовымъ во многихъ селахъ, а потому и чествуемый въ посельской-деревенской Руси наособицу. Съ этимъ праздникомъ связано у стариковъ ожиданіе всякихъ знаменій: болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, внимательно приглядываются-прислушиваются они ко всему—и въ жизни, и въ природѣ—въ этотъ день; всему придается ими тогда какое-нибудь особое значеніе. И тучи небесныя, и звѣзды частыя, и вѣтры буйные, и всѣ голоса природы говорятъ для нихъ своимъ вѣщимъ языкомъ, предвѣщающимъ и доброе, и худое, и лихое, и желанное. 29-го ноября—Парамоновъ день, съ которымъ связаны у деревенскаго простолюдина примѣты о декабрьской погодѣ: „Если на Парамона утро красное—быть и всему декабрю яснымъ; коли Парамонъ со снѣгомъ—жди мятелей вплоть до Николина дня!“, „Багряная заря съ Парамонова дня на Андреевъ (30-е число)—будутъ сильные вѣтра“. На этотъ-же день приходится память преподобнаго Акакія синайскаго, который слыветъ въ народной Руси цѣлителемъ всякихъ болѣстей.

Въ занесенномъ въ безсоновскій сборникъ пѣсенномъ „Мѣсяцесловѣ“ каликъ-перехожихъ воспѣваются въ послѣдовательномъ порядкѣ всѣ святые, памятуемые въ ноябрѣ, и всѣ праздники ноябрьскіе. „Мѣсяцъ Ноемврій весь святыхъ множествомъ днесь свѣтло пріукрашенъ“,—гласитъ запѣвка. Начинаютъ рядъ воспѣваемыхъ святыхъ „Косма съ Даміаномъ“, орошающіе, по народному слову—вѣрныхъ сзоихъ врачеваніемъ. Заключительныя слова посвящены св. Андрею Первозванному, котораго безвѣстный слагатель этого стиха духовнаго величаетъ „русской церкви камнемъ“...

XLVI.

Михайловъ день.

8-е ноября, день Михаила архангела, слыветъ въ народѣ за первый шагъ необлыжной зимы. Этотъ праздникъ въ большей части матушки-Руси бываетъ „съ мостомъ“ (т.-е. съ покрытыми льдомъ рѣками). „Съ Михайлова дня зима стоитъ, земля мерзнетъ!“—говоритъ старинное изреченіе, вылетѣвшее изъ устъ народныхъ:—„Со дня Михаила-архангела зима куетъ морозы“. Это оправдывается на дѣлѣ, впрочемъ, только въ позднозимье, потому-что сплошь да-рядомъ бываетъ, что еще октябрь-назимникъ заковываетъ воды текучія въ ледяныя цѣпи. Покроетъ „Покровъ-батюшка“ землю снѣжной пеленою, полежитъ первая пороша, растаетъ; зачернѣются осеннія грязи, а тамъ—снова снѣги бѣлые пушистые въ поляхъ забѣлѣются. Ранняя зима всегда—„на Казанскую (22-го октября) на санкахъ ѣздитъ“. Осенняя родительская—Дмитріева суббота (26-е октября) „на Святую Русь идетъ—перевоза не ждетъ“,—говоритъ народный опытъ зорко—въ теченіе многихъ вѣковъ—присматривавшійся къ законамъ природы родимаго сѣвера. А если „отдохнутъ на Дѣдовой (Дмитріевской) недѣлѣ родители“, т.-е. если будетъ о ту пору оттепель,—то слѣдовательно и „всей зимушкѣ-зимѣ быть съ мокрыми теплинами“, по пережившей вѣка народной примѣтѣ.

За „льняницами“—28-мъ октября, когда по деревнямъ начинаютъ мять льны — бредетъ „овчарь“ — день зимней стрижки овецъ, а тамъ — за „юровою“ (30-мъ числомъ, праздникомъ рыбаковъ, отправляющихся на ловлю красной рыбы) и ноябрь-грудень наляжетъ грудью на лоно земное.

„Кузьма да Демьянъ съ гвоздемъ"—(1-е ноября)—стоятъ. Справятъ бабы по старинѣ, веселыя „Кузьминки", вспомянутъ „курьи имянины", хлебанутъ мужики „козьмодемьянскаго пива", для честныхъ гостей наваренаго,—встрѣтятъ зимніе морозы честь-честью. А у стариковъ со старухами—забота приспѣла: „Дворового" къ Михайлову дню ублажить-задобрить. Онъ хотя и младшимъ братомъ „Домовому" приходится, а всетаки не слѣдъ крестьянину ссориться съ нимъ, если онъ хочетъ, чтобы не только въ дому у него, но и вокругъ двора все было по доброму, по хорошему въ предстоящую зиму. „Не ублажи Дворового до Михайлова дня—уйдетъ онъ со двора, а на свое мѣсто пришлетъ Лихого!"—можно и теперь еще слышать въ деревенской глуши. Не всякій съумѣетъ, какъ слѣдуетъ, и задобрить „хозяинова брательника".

Еще не такъ давно въ Симбирской, а вѣроятно и въ нѣкоторыхъ другихъ смежныхъ губерніяхъ средняго Поволжья, этотъ старинный обрядъ совершался по слѣдующему порядку. Старая бабка выносила рано поутру, до бѣлой зорьки, хлѣбную чашку съ пивнымъ сусломъ въ подпавѣсъ и ставила ее на повѣть. Затѣмъ, передъ полуднемъ, большакъ въ домѣ садился на лошадь и начиналъ ѣздить на ней взадъ и впередъ по двору, въ то время какъ старуха, стоя на крыльцѣ избы, махала во всѣ стороны помеломъ, приговаривая: „Батюшка Дворовой! Не уходи! Не раззори дворъ, животину не погуби! Лихому пути-дороги не кажи!" Послѣ этого помело обмакивалось въ дегтярницу, и гдѣ-нибудь во дворѣ проводилась дегтемъ по стѣнѣ полоса. Это, по объясненію ублажавшихъ Дворового, означало „отмѣчать на лысинѣ у дѣдки зазубрину". Завидѣвъ эту зазубрину, „Лихой" чуть не за версту обходитъ дворъ домохозяина, строго блюдущаго обряды старины стародавней. Мало-по-малу, этотъ обычай уходитъ изъ деревенскаго обихода даже и въ самыхъ отдаленныхъ отъ вѣянія городской и фабричной жизни мѣстностяхъ. Очень можетъ быть, что въ настоящее время онъ уже успѣлъ сдѣлаться исключительнымъ достояніемъ пытливой памяти однихъ завзятыхъ народовѣдовъ.

По свѣжимъ слѣдамъ этого обычая исчезаетъ и другой, который старыми людьми положено было справлять между Кузьминками и Михайловымъ днемъ,—„курьи имянины". По свидѣтельству бытописателей нашей деревни, этимъ имянинамъ, проводившимся въ пирушкахъ, предшествовало связанное съ чисто-языческимъ суевѣріемъ принесеніе пѣтуха въ жертву „Лихому". Это жертвоприношеніе происходило, обыкновенно, на гумнѣ, въ овинѣ, чтобы ворогу крестьянской

худобы не было и повода приблизиться ко двору. Выбирался для этого самый худой, самый старый кочетъ, отъ котораго—„ни утѣхи курамъ, ни корысти хозяйству“. Большáкъ (старшій въ домѣ) отрубалъ ему голову заржавленнымъ, иззубрившимся топоромъ и бросалъ ее всторону. Ребята, присутствовавшіе при этомъ, подхватывали ее и начинали, бѣгая по гумну, подкидывать съ припѣвомъ:

„Вотъ тебѣ, Лихой!
Чуръ тебѣ, Лихой!
Ты сердиться—не сердись,
Дворовому поклонись,
Домовому помолись,
Пѣтушинымъ гребнемъ подавись!
Вотъ тебѣ, Лихой!
Чуръ тебѣ, Лихой!
Ты по гумнамъ не ходи,
Въ огородѣ не сиди,
Ко двору не подходи,
Въ нашу хату не гляди!
Къ рѣчкѣ-рѣченькѣ бѣги,
Прямо въ прорубь угоди!
Не кузнецъ рѣку куетъ,—
Михалархангелъ
Со Козьмодемьяномъ,
Со ангелами“...

Михаилъ-архангелъ считается въ народѣ не менѣе грознымъ для всякой нѣчисти-нéжити, чѣмъ Илья-пророкъ. По народному представленію, самъ Богъ-Саваоѳъ положилъ ему быть грозою для темныхъ силъ безплотныхъ. Когда Господь воспылалъ гнѣвомъ на Сатанаила и его присныхъ, изъ ангеловъ превратившихся въ „аггеловъ“, Онъ повелѣлъ Михаилу-архангелу свергнуть ихъ съ небесъ въ преисподняя земли, что́ и было исполнено въ точности. Заонежское сѣверное преданіе повѣствуетъ, что „сверзилъ Михайла-архангелъ съ небеси сатанино воинство, и попадало оно на землю въ разныя мѣста, и пошли съ той поры на землѣ водяные, лѣшіе и домовые“. Въ одномъ изъ памятниковъ русской отреченной письменности („Свитокъ божественныхъ книгъ)“, послѣ картиннаго описанія сотворенія міра, разсказывается, что, создавъ „море Тиверіадское безбрежное“, Господь „сниде на море по воздуху и видѣ на морѣ гоголя плавающа, а той есть рекомый сатана—заплелся въ тинѣ морской“... „И сказалъ,—продолжаетъ невѣдомый повѣствователь,—Господь Сатана-

илу, аки не вѣдая его: ты кто еси за человѣкъ? И рече ему сатана: Азъ есмь богъ.—А Мене како нарещи? Отвѣчавъ же сатана: Ты Богъ богомъ и Господь господемъ... И рече Господь Сатанаилу: понырни въ море и вынеси Мнѣ песку и кремень. И взявъ Господь песку и камень и разсѣя песокъ по морю, глаголя: буди земля толста и пространна!"... Затѣмъ, взялъ Онъ камень, „преломилъ надвое, и изъ одной половины отъ ударовъ Божьяго жезла вылетѣли духи чистые, изъ другой-же половины набилъ сатана безчисленную силу бѣсовскую"... И возгордился Сатанаилъ предъ Богомъ богомъ и Господомъ господемъ. И низвергъ его со всей ратью бѣсовскою „въ бездны бездонныя" Михаилъ-архангелъ, впервые со дня существованія міра прогремѣвшій громами небесными, переданными впослѣдствіи въ распоряженіе молніеноснаго пророка Иліи. И обратился діаволъ въ ту „змію злаковидную. огневидную, власяновидную, дубовсходную, врановидную, змію слѣпую, триглавую, уядающую жены, ехидну морскую", о которой говоритъ народъ въ своихъ переходящихъ изъ устъ въ уста заклинаніяхъ, ограждающихъ его суевѣріе стѣной крѣпкою отъ злыхъ ухищреній „бѣса полуденнаго и полунощнаго".

А. Н. Аѳанасьевъ приводитъ, слѣдующій хлѣбопытный заговоръ, обращенный непосредственно къ побѣдителю Сатанаила: „Пойду я рабъ (имя рекъ) изъ избы дверьми-воротами; навстрѣчу мнѣ Михаилъ-архангелъ со святыми своими съ ангелами и апостолами. И возмолюсь я Михаилу - архангелу: Михаилъ-архангелъ! Заслони ты мене желѣзною дверью и запри тридевятью замками-ключами. И глаголетъ мнѣ, рабу Божію, Михаилъ-архангелъ: заслоню я тебя, раба Божія, желѣзною дверью и замкну тридевятью замками-ключами, и дамъ ключи звѣздамъ... Возьмите ключи, отнесите на небеса!... Замыкаюся я, рабъ Божій, девяноста позолоченными ключами, отъ колдуна, отъ колдуницы, отъ волхвовъ и отъ волхвицъ"... и т. д. И народъ, произносящій—устами своихъ „знающихъ слово" людей—это заклинаніе, неуклонно вѣритъ, что Михаилъ-архангелъ сойдетъ съ небесъ и замкнетъ—могущественный посланецъ Божій—„всеё вражью силу темную накрѣпко и твердо".

Грозному побѣдителю „діавола со діаволами" народное воображеніе приписываетъ даже участіе въ міросозиданіи. „Како огонь зачася?"—спрашивается въ одномъ изъ памятниковъ народной отреченной письменности. „Архангелъ Михаилъ возжегъ его отъ зеницы Божіей",—слѣдуетъ отвѣтъ. Затѣмъ, кромѣ борьбы съ „силами бѣсовскими", на него

возложено перевозить души праведныхъ черезъ огненную рѣку, отдѣляющую, по свидѣтельству народныхъ духовныхъ стиховъ, земную преходящую жизнь отъ загробной—вѣковѣчной:

„Протекала тутъ рѣчка, да рѣчка огненная,
Отъ востока да и до запада,
Отъ запада и до сивера;
По той-ли по рѣки, да по огненной,
Ѣздитъ Михаило-арханьделъ-свѣтъ,
Перевозитъ онъ души, души праведныхъ.
Праведныя души, души радуются,
Пѣснь эту поютъ херавиньскую,
Гласы тѣ гласятъ серафиньскіе...“—

поютъ калики-перехожіе въ „Стихѣ о Страшномъ Судѣ“, о перевозимыхъ съ береговъ земли „ко пресвѣтлому раю, ко пресвѣтлому раю, да ко пресолнышнему, къ самому ко Господу, ко Христу, Царю Небесному“...

Такимъ образомъ, охранитель праведниковъ на землѣ отъ сатанинскаго навожденія является въ народномъ представленіи и проводникомъ ихъ душъ въ селенія райскія. Въ послѣдніе дни существованія бреннаго міра, на Страшномъ Судѣ Божіемъ, послѣ того, какъ „потопіе“ омоетъ „матушку сыру землю“ отъ ея грѣховъ, „сойдетъ Михаилъ-архангелъ батюшко, вострубитъ въ трубоньку зо́лоту, и пойдутъ гласы по всей земли, разбудятъ мертвыхъ и вызовутъ ихъ изъ гробовъ“...

Въ стародавніе годы старопрежніе, по народному повѣрью, принима́лъ со смертнаго одра души усопшихъ архангелъ Гавріилъ. Но вотъ однажды послалъ его Господь по душу къ бѣдняку захудалому, у котораго одно богачество было—семеро по лавкамъ, малъ-мала меньше. Пожалѣлъ оспротить семью посланецъ Божій,—вернулся къ престолу Всевышняго. „Какъ уморить его, Господи!“—воскликнулъ онъ, по словамъ народнаго сказанія:—„Вѣдь у него малыя дѣтки! Они, несчастныя, погибнутъ отъ голода!“ Воспылалъ гнѣвомъ Господь, взялъ у Гавріила мечъ и вручилъ его Михаилу-архангелу. Но и тотъ не могъ поразить мечомъ бѣдняка,— и его разжалобили горькія слезы рыдавшихъ возлѣ смертнаго одра. „Жалко мнѣ поразить этого человѣка!“—возвалъ онъ къ Вседержителю. И завязалъ Господь ему уши, чтобъ не могъ онъ слышать плача людского; и сошелъ архангелъ на землю, и принялъ въ свои руки душу человѣческую. И сталъ Михаилъ-архангелъ съ того дня на стражѣ смерти. И ведетъ онъ съ

той поры нескончаемую битву съ духами преисподней, обступающими ложе смертное. Потому-то русскій простолюдинъ и обороняется отъ темныхъ силъ, и при жизни, святымъ именемъ грознаго для нечистыхъ слугъ сатанинскихъ Михаила-архангела.

Съ этимъ именемъ связано въ народномъ представленіи не мало повѣрій, вращающихся вокругъ каждодневной жизни крестьянина. И не только у насъ на Руси, но и во всемъ зарубежномъ славянствѣ, сохраняющемъ съ нами свои кровныя и духовныя связи, съ давнихъ временъ Михайловъ день отмѣчался среди народныхъ праздниковъ особымъ чествованіемъ грознаго, и въ то-же самое время милостиваго, архангела Божія. Въ Сербіи, Черногоріи, у далматинцевъ, иллирійцевъ, на Карпатской Руси, въ Герцеговинѣ, Босніи, Болгаріи и другихъ странахъ, родныхъ намъ по крови и духу народному—всюду этотъ праздникъ ознаменовывался съ незапамятныхъ поръ родственными другъ-другу обрядами, въ которыхъ сливалось языческое суевѣріе съ христіанской вѣрою. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Болгаріи, еще лѣтъ сорокъ тому назадъ, Михаилу-архангелу приносилась въ его святъ-день жертва, агнецъ. Къ рогамъ послѣдняго прилѣплялись зажженныя восковыя свѣчи, его окуривали ладаномъ и рѣзали надъ новымъ сосудомъ такъ, чтобы ни кровинки не пролилось на землю. Этою жертвенной кровью помазывали дѣтей, поминая имя побѣдителя духовъ тьмы. Зажаривъ мясо, агнца съѣдали съ молитвою, а кости благоговѣйно зарывали въ землю.

Михайловъ день встарину являлся въ нѣкоторыхъ славянскихъ земляхъ обычнымъ срокомъ работъ и наймовъ. Позднѣе—это перешло къ зимнему Юрьеву дню и къ Покрову-зазимью, какъ и у насъ на Руси.

Имя Михаила-архангела пользуется большимъ почетомъ среди простолюдиновъ въ Даніи, Исландіи, на Скандинавскомъ полуостровѣ и въ бывшихъ нѣкогда славянскими, а къ настоящему времени совершенно онѣмеченныхъ, германскихъ земляхъ.

Михаилъ-архангелъ, по словамъ нѣмецкихъ народныхъ сказаній, „держитъ связаннаго сатану въ неклѣ", и лютому врагу рода человѣческаго остается только одно—гремѣть своими цѣпями, но сбросить ихъ онъ не въ силахъ. На Михайловъ день деревенскіе кузнецы въ Германіи, при окончаніи работы, троекратно бьютъ молотомъ по наковальнѣ: этимъ думаютъ укрѣпить наложенныя архангелами на сатану желѣзныя цѣпи. У чеховъ и сербовъ соблюдается повсемѣстно тотъ-же самый обычай.

По русскому народному повѣрью, до сихъ поръ повторяющемуся въ сѣверныхъ губерніяхъ, Михаилъ-архангелъ налагаетъ на діавола цѣпи, скованныя „кузнецами“—Косьмою и Даміаномъ. Въ день, посвященный Церковью ихъ памяти, зима зачинаетъ сковывать землю и воды; „Михайло моститъ мосты“ (а иногда и „расковываетъ“ оттепелью). На другія-же сутки послѣ Михайлова дня, „зима встаетъ на ноги“, и морозы отлетаютъ „отъ желѣзныхъ горъ“, подъ которыми разумѣются окованныя стужею тучи.

XLVII.

Мать-пустыня.

Русскій пахарь-народъ—хозяинъ-скопидомъ; къ этому пріучили его долгіе вѣка труда, связаннаго со всякимъ проявленіемъ жизни, сопровождающаго съ первыхъ осмысленныхъ лѣтъ существованія до могилы каждаго изъ сыновъ его. Но въ сокровенномъ уголкѣ души русскаго скопидома таится мечтательность — качество, присущее стихійной народной душѣ, по самой ея природѣ. Непрестанныя, „довлѣющія дневи", заботы о кускѣ насущнаго хлѣба и безпрерывная упорная борьба съ многообразными невзгодами, обступающими трудовую путину человѣка, кормящагося щедротами хотя и любвеобильной, но скупой на ласки, матери-земли, заглушаютъ въ пахарѣ мечтателя. Но нѣтъ-нѣтъ да и раздастся-замолкнетъ предъ послѣднимъ вся крикливая толпа злободневныхъ заботъ—на-диво, на недоумѣніе всѣмъ вѣрнымъ, неизмѣннымъ слугамъ разсудка, совѣтующаго крѣпко-накрѣпко „держаться земли"—въ томъ разсчетѣ, что „трава (за каковую принимаются въ этомъ случаѣ мечтанія) обманетъ". Заслушается внутреннихъ голосовъ сынъ деревни и полей, поддастся Богъ вѣдаетъ откуда и почему зародившейся въ его сердцѣ „мечтѣ", начнетъ тосковать—тоскою, совсѣмъ не свойственной крестьянскому обиходу, и до той поры не успокоится, покуда не найдетъ болѣе или менѣе полнаго удовлетворенія пытливымъ запросамъ смятеннаго духа. Не мало такихъ мечтателей, отбившихся отъ потовыхъ-страдныхъ, прирожденныхъ хлѣборобу, заботъ и стремящихся отъ земного къ небесному, сбивается съ проторенной вѣками тропы, ведущей къ свѣту Истины, и уходитъ въ туманныя деб-

ри раскола—въ смутной надеждѣ увидѣть грядущій разсвѣтъ. Изъ ихъ среды появляются и проповѣдники „новой вѣры"—вожди блуждающаго въ потемкахъ сектантства. Но много „взыскующихъ града небеснаго" на землѣ остаются вѣрными и священнымъ завѣтамъ Православія, находя въ боговдохновенной глубинѣ его ясные—какъ бѣлый день—отвѣты на всѣ смутные вопросы своего отуманеннаго и въ то-же самое время просвѣтляемаго „мечтою" духа. Такими мечтателями свѣтла духовная жизнь народа-пахаря, несмотря на все обступающее и связующее ее съ прошлымъ-стародавнимъ суевѣріе. Ими жива народная Русь—въ смыслѣ творческаго проявленія смутно бродящихъ въ ней могучихъ духовныхъ силъ.

Пытливый духъ русскаго народа, ищущій себѣ удовлетворенія внѣ охватывающей его трудовой обиходъ—пригибающейся къ землѣ—жизни, недаромъ съ давнихъ временъ задается вопросами о мірозданіи. Осматривается онъ вокругъ себя, приглядывается-прислушивается ко всему, а неугомонная мысль ставитъ вопросъ за вопросомъ: „Отъ чего у насъ зачался бѣлый вольный свѣтъ? Отъ чего у насъ солнце красное. Отъ чего у насъ младъ-свѣтёлъ мѣсяцъ? Отъ чего у насъ звѣзды частыя? Отъ чего у насъ ночи темныя? Отъ чего у насъ зори утренни? Отъ чего у насъ вѣтры буйные? Отъ чего у насъ дробенъ дождёкъ?" И не только такими вопросами тревожитъ „мечта" этотъ мятущійся по землѣ и порывающійся къ небу богатырски-могучій духъ,—на-ряду съ ними зарождаются въ немъ, вылетаютъ на широкій свѣтло-русскій просторъ и такіе, какъ:

„Отъ чего у насъ умъ-разумъ?
Отъ чего наши помыслы?."

Живетъ-трудится, въ потѣ лица ѣстъ хлѣбъ насущный русскій пахарь-мечтатель, отдыхаючи за своей мечтою,—приглядывается къ жизни. И все-то преставляется сокровеннымъ для его пытливаго духа,—все, что ни остановитъ на себѣ его мысленный взоръ, парящій на трепетныхъ крылахъ неясныхъ, но все сильнѣй и сильнѣе обуревающихъ его, безсознательныхъ исканій. То-и-дѣло проходятъ передъ нимъ сны на-яву. И не одна, а двѣ жизни, видятся въ этихъ снахъ: двѣ жизни, стоящихъ одна противъ другой—какъ два непримиримыхъ врага, какъ два лютыхъ звѣря, привидѣвшіеся во снѣ Володуміру князю Володумировичу „Голубиной Книги",—два звѣря: одинъ—„съ той страны со восточной, а другой со страны съ полуденной",—сбѣгавшіеся-бившіеся, одолѣть одинъ

одного хотѣвшіе. Народная мечта вложила въ уста Давыда Евсеевича разгадку этого сна, являющуюся воплощеніемъ-олицетвореніемъ возвышеннаго взгляда народа-пахаря на свѣтъ и тьму и на грядущее торжество перваго надъ послѣднею. Эта разгадка въ то-же самое время является и отраженіемъ взгляда, какимъ смотритъ народная Русь на обступающую ее дѣйствительность. „Не два звѣря собирался, не два лютые собѣгалися“,—гласитъ она: „это кривда съ правдою соходилися, промежду собой бились, дралися; кривда правду одолѣть хочетъ; правда кривду переспорила. Правда пошла на небеса, къ самому Христу Царю Небесному; а кривда пошла вся у насъ по всей землѣ, по всей землѣ по свѣтъ-русской, по всему народу христіанскому“... И вотъ,—продолжаетъ народъ-сказатель устами „перемудраго“ царя: „отъ кривды земля всколебалася; отъ того народъ весь возмущается, отъ кривды сталъ народъ неправильный, неправильный сталъ, злопамятный: они другъ друга обмануть хотятъ, другъ друга поѣсть хотятъ. Кто будетъ кривдой жить, тотъ отчаянный отъ Господа; та душа не наслѣдуетъ себѣ царства небеснаго, а кто будетъ правдой жить, тотъ причаянный ко Господу, та душа и наслѣдуетъ себѣ царство небесное!“...

Общеніе съ матерью-природой, неизмѣнно поддерживающееся у нашего крестьянствующаго народа, не могло не заронить въ его стихійное сердце сыновней любви къ ней. И пытливый духъ русскаго мечтателя привыкъ искать отвѣта на свои вѣковѣчные вопросы прежде всего въ ней и въ сліяніи съ ея вѣщимъ дыханіемъ. Какъ русскіе языческіе жрецы обращались къ стихіямъ природы во всѣхъ смущавшихъ ихъ разумъ обстоятельствахъ,—вопрошали волны рѣчныя, вслушивались въ шопотъ лѣса и шелестъ травъ, вглядывались въ пламя костровъ на землѣ и въ мерцаніе звѣздъ на небѣ,—такъ внимали голосамъ несказаннымъ съ шорохами безвѣстными и наши древніе пустынножители, отрясавшіе прахъ земныхъ заботъ и удалявшіеся отъ соблазновъ міра сего и удостоивавшіеся Божественнаго откровенія. Ихъ примѣру слѣдуютъ и современные народные мечтатели, сердцу которыхъ любезна прекрасная мать-пустыня, открывающая имъ тайны бытія человѣческаго, загадочнаго-таинственнаго и не только для однихъ простодушныхъ дѣтей Матери-Сырой-Земли, трудящихся на ея груди по завѣту дѣдовъ-прадѣдовъ, но и для многодумныхъ мудрецовъ, постигшихъ всю глубину современной учености. Уединенное самоуглубленіе окрыляетъ прозорливостью и смущенную своей безпомощностью, чуткую къ голосамъ природы, душу простеца-мечтателя, сына-

внука-правнука отцовъ-дѣдовъ-прадѣдовъ, всю многотрудную жизнь свою проведшихъ за сохою на родимой полосѣ.

У насъ прекрасной мать-пустынею всегда являлись для взыскующихъ града небеснаго дремучіе лѣса, открывавшіе пытливому духу свои широкія объятія. Въ ихъ зеленыхъ стѣнахъ развертывалась передъ мысленнымъ взоромъ отшельниковъ необъятная книга природы, представлявшаяся въ тоже самое время и книгою судебъ міра. Изъ лѣсныхъ „пу́стыней“ въ глухія времена татарщины распространялся по Святой Руси немеркнущій свѣтъ вѣры Христовой; въ нихъ находили тихій пріютъ великіе подвижники русской Церкви, на именахъ которыхъ—какъ на незыблемыхъ устояхъ—зиждится ея слава. Большинство древнихъ монастырей русскихъ возникло изъ лѣсныхъ скитовъ-„пу́стынекъ“, въ первобытномъ своемъ видѣ представлявшихъ собою одну уединенную келью, сооруженную благочестивой рукою „Божьяго труднка“, возгорѣвшагося подражаніемъ отцамъ Церкви, оставившаго домъ свой и всѣхъ близкихъ своихъ и пошедшаго на подвигъ во имя Распятаго Учителя учителей земныхъ.

Подвижническіе въ своемъ родѣ труды неутомимыхъ собирателей памятниковъ русскаго простонароднаго изустнаго творчества сохранили отъ забвенія цѣлый рядъ пѣсенныхъ-стиховныхъ сказаній, посвященныхъ воспѣванію неизреченныхъ, по словамъ сказателей, красотъ матери-пустыни и возвеличенію подвиговъ—труждавшихся въ ней ради исканія Бога-Истины. Изъ этихъ сказаній въ первую голову идетъ особая цѣпь духовныхъ стиховъ, на свой ладъ спѣвшихся, на свою стать сложившихся въ словесности другихъ, зарубежныхъ, народовъ, про индійскаго царевича Іоасафа [80]). Этотъ-послѣдній—въ своемъ обрусѣвшемъ видѣ – является прообразомъ русскихъ пустынножителей, наособицу любезныхъ вдумчивому мысленному взору искусившагося въ книжномъ начотчествѣ пахаря-мечтателя. Подобно св. Алексѣю—человѣку Божію—онъ, этотъ промѣнявшій престолъ на тишину пу-

[80]) Св. Іоасафъ—индійскій царевичъ, сынъ царя Авенира (Абаннера), жившаго въ III—IV вѣкахъ по Р. Хр. Онъ былъ обращенъ въ христіанство пустынникомъ Варлаамомъ, ввелъ—по преданію—Христову вѣру въ своей странѣ, удалился вмѣстѣ со своимъ учителемъ отъ „міра сего“ и кончилъ жизнь 25-лѣтнимъ подвижничествомъ. Память его празднуется 19-го ноября. Житіе святыхъ Іоасафа и Варлаама дало содержаніе для цѣлаго ряда средневѣковыхъ повѣстей-новеллъ, въ первоисточникѣ своемъ перешедшихъ въ Европу изъ Египета. Первый церковнославянскій переводъ повѣсти о Варлаамѣ и Іоасафѣ появился у насъ не позднѣе XII-го вѣка—изъ Византіи. Надъ изслѣдованіемъ этого памятника древней литературы трудились многіе русскіе ученые: Веселовскій, Пыпинъ, Кирпичниковъ и другіе.

стыни царевичъ, приросъ къ пытливому русскому духу, предающемуся мечтѣ, встосковавшейся на землѣ по небесномъ. Сказъ стиховный о немъ поется-сказывается во многомъ-множествѣ разносказовъ-разнопѣвовъ по всѣмъ уголкамъ неоглядной родины народа сказателя—что̀ можетъ служить лучшимъ свидѣтельствомъ долговѣчности этого сказа, проникщаго въ сокровенныя глубины открытаго вѣянію правды сердца народнаго.

Въ одномъ изъ не свободныхъ отъ примѣсей книжности разносказовъ, записанномъ въ Нило-Сорской пустыни, ведется рѣчь о томъ, какъ пришелъ въ царскій домъ нѣкій старецъ-пустынникъ, именующійся—при дальнѣйшемъ развитіи повѣствованія—Варлаамомъ,—какъ принесъ онъ съ собою „прекрасный камень драгій“. Обращается къ нему младой Іоасафъ-царевичъ съ просьбою показать этотъ камень: „Я увижу и спознаю цѣну его!“—говоритъ онъ. Держитъ пустынникъ отвѣтное слово царевичу: „Удобѣе можешь солнце взять рукою, а сего не можешь оцѣнити во вся вѣки безъ конца! Когда ты возможешь небеса измѣрить, всѣ моря и рѣки въ горсти вмѣстить,—и все противъ того—нѣтъ ничего!“ Не удовлетворился такимъ отвѣтомъ любознательный Іоасафъ:—„О, купецъ премудрый!“—восклицаетъ онъ: „Скажи мнѣ всю тайну: какъ на свѣтъ явился, гдѣ нынѣ пребываетъ тотъ (камень)?“ И вотъ—изъ устъ старческихъ внемлетъ онъ болѣе ясному слову о „прекрасномъ-прелюбезномъ“ камнѣ:—„Пречистая Дѣва родила сей Камень, положенъ во яслехъ, прежде всѣхъ явился пастухамъ. Онъ нынѣ пребываетъ выше звѣздъ небесныхъ: солнце со звѣздами, а земля съ морями непрестанно славятъ (Его) Отца!“ Сердцемъ, если не разумомъ, понялъ царевичъ, что̀ это за дивный камень, постигъ онъ все блаженство обладанія сокровищемъ вѣры истинной и слезно сталъ просить Варлаама взять его съ собою въ пустыню. Ушелъ старецъ, не исполнилъ царевичевой просьбы; и встосковалась взалкавшая сліянія со Христомъ душа Іоасафова: „Не хощу я пребывати безъ старца; оставлю я царство, иду во пустыню, взыщу Варлаама, и я буду свѣтозаренъ отъ него!“—И ничто уже не могло удержать царевича отъ выполненія грядущаго подвига: „Молю тебе, Боже!“—возговорилъ онъ:—„Пресладкій Исусе! Даждь ми получити съ Варлаамомъ жити всегда!..“ На этомъ и кончается разносказъ стиха, служащій какъ-бы вступленіемъ къ другимъ, поющимъ-повѣствующимъ о самомъ подвигѣ царевича.

По другому, записанному П. В. Кирѣевскимъ въ Орловской

губерніи. разносказу—Іоасафъ является „сыномъ царя Давида", народившимся въ тѣ времена-годы, когда „цари царства покидали. уходили Богу молиться". Въ олонецкой округѣ подслушана-найдена П. Н. Рыбниковымъ побывальщина, именующая подвижника дѣтищемъ „невѣрнаго царя Ѳевдула въ землѣ Идольской". Во всѣхъ-же остальныхъ извѣстныхъ спискахъ стиха-сказанія слушатели читатели впервые видятъ царевича стоящимъ прямо передъ пустынею, плачущимъ о грѣхахъ и—въ неутолимой ничѣмъ, кромѣ желаннаго подвижничества. жаждѣ подвига—умоляющимъ ее принять его подъ свой тихій кровъ и укрыть „отъ юности прелестныя". Плачъ-моленіе Іоасафа—наиболѣе яркое по силѣ изобразительности мѣсто сказанія, во всѣхъ его разносказахъ—какъ въ самыхъ многословныхъ, такъ и въ краткихъ. Имъ-то—этимъ плачемъ—индійскій царевичъ больше всего и пришелся по душѣ русскому пахарю-мечтателю, по самой природѣ своей расположенному къ подвижничеству, пріуроченному къ любовному общенію съ матерью-природою.

Олонецкій разносказъ, поселяющій Іоасафа-царевича въ землѣ Идольской, видитъ его въ самые юные годы. но уже воспріявшимъ ученіе Христово. „Не ходитъ Асафъ-царевичъ по гуляньямъ",—гласитъ онъ: „не бываетъ онъ на бесѣдахъ, а сидитъ себѣ въ особой горницѣ затворникомъ". Не по душѣ отцу царевичеву, царю Ѳевдулу, такой нравъ-обычай сыновній: „Что-же ты, сынъ мой любезный. Асафъ Ѳевдуловичъ. сидишь не веселъ, не радошенъ?", попрекаетъ онъ царевича:—„Какъ повѣровалъ ты вѣру не нашую, повѣровалъ вѣру христіанскую, не выходишь изъ особой горницы. Пошелъ-бы хотя на гулянье!" Не захотѣлъ сынъ Ѳевдула-царя прогнѣвить отца. соглашается на гулянье пойти. А тотъ—этимъ временемъ отдалъ приказъ. чтобы ни одинъ старъ-человѣкъ не смѣлъ выходить цѣлый день на улицу. „Ступай (говоритъ). сынъ любезный: забавляйся—сколько душѣ угодно!"—„Не все. батюшка. забавиться: надобно и о смертномъ часѣ подумать!"—возражаетъ Асафъ-царевичъ: „Вѣдь когда-нибудь постарѣемъ и помремъ". Усмѣхнулся отецъ: „Коли будешь. сынъ мой любезный, вѣровать вѣру нашую. не постарѣешь и не помрешь!"—сказываетъ. Вышелъ Асафъ-царевичъ на гулянье, открылась передъ его глазами самая веселая картина: на улицахъ—дородные молодцы, краныя дѣвицы. молодыя молодицы. поютъ. пляшутъ. забавляются: выкачены сороковыя бочки вина („веселія Руси"). накрыты столы на цѣлый городъ: пей, ѣшь,—что хочешь! Ни на что. ни на кого не смотритъ возжаждавшій иного веселія

юноша,—идетъ онъ за городъ. И вотъ—попался ему на глаза старъ-человѣкъ, „такой ветхій, что и поле пахать не можетъ". Остановился царевичъ, посмотрѣлъ на встрѣтившагося, говоритъ—на него глядючи: „Батюшка сказалъ мнѣ, что въ его царствѣ не старѣютъ и не умираютъ, а вотъ какой есть старъ-человѣкъ!"—„Ой, дитятко! Какъ въ лѣта войдешь, хуже меня будешь; да и помереть надо, дитятко!"—отвѣчалъ ему, словно сговорившійся съ нимъ-самимъ, встрѣчный старецъ. „Съ того слова прошелъ Асафъ-царевичъ во пустыню,"—ведетъ свою рѣчь старое сказанье.

Существуетъ такой, одиноко стоящій въ многоголосомъ кругу другихъ, разносказъ-разнопѣвъ (записанный въ Можайскомъ уѣздѣ Московской губерніи), въ которомъ къ „прекрасной пустынѣ" приходитъ не царевичъ, а царь. „Царь со царства соѣзжаетъ",—начинается это сказаніе,—„царя слуги провожаютъ, ужъ и царь рабовъ ворочаетъ:—Воротитесь, мои слуги, вѣрные други! А я пойду жить въ пустыню—Богу молиться и потрудиться!" Далѣе все идетъ сообразно съ общеизвѣстнымъ повѣствованіемъ о царевичѣ-Іоасафѣ, но только въ болѣе краткой передачѣ смѣняющихся одно другимъ событій.

Наибольшей полнотою и связностью отличается стихъ, подслушанный въ Рязанской губерніи. Недостаетъ въ немъ только вступительныхъ словъ, имѣющихся во множествѣ другихъ списковъ (подмосковномъ, орловскомъ, тульскомъ, симбирскомъ и проч.),—словъ, относящихся къ мѣсту дѣйствія: „Во дальной во долинѣ тамъ стояла мать прекрасная пустыня...", или: „Во долинѣ возстояла..." и т. д. Но это упущеніе нисколько не мѣшаетъ рязанскому сказанію запечатлѣваться цѣльною и яркой картиною, пополняемой возбужденнымъ воображеніемъ слушателя, благодаря непосредственной красотѣ повѣствованія, возсозданнаго простодушными сказателями на чисто русскій народный складъ-ладъ.

„Расплачется младый юноша, сынъ (царскій) Асафей царевичъ, передъ матерью пустынею стоя", — заводятъ-запѣваютъ убогіе пѣвцы калики-перехожіе свой безхитростный сказъ-стихъ и переходятъ къ царевичеву „плачу", поражающему современнаго читателя-слушателя своею проникновенной красотою. „Ты, мать моя пустыня, прекрасная, лѣсовая!"—льется-разливается онъ, западая въ глубину чуткой души:—„Ты пусти мене, мати, къ тебѣ Богу помолиться, со премногими грѣхами, съ многозорными дѣлами! Восприми мене, пустыня, яко матерь своего чада, на бѣлыя руци! Научи мене, пустыня, волю Божію творити! Избави мене, пус-

тыня, огня—вѣчныя муки! Возведи мене, пустыня, въ небесное царство! А я буду въ тебѣ жити, на тебе работати, Божью волю творити, земляны поклоны справляти... Прими мене, пустыня, любезная моя мати, отъ юности прелестныя, отъ своего вольнаго царства, отъ своей бѣлокаменной палаты, отъ своей казны золотыя! Прекрасная ты пустыня, любезная мати!" Въ другомъ, нѣсколько отзывающемся примѣсью книжности, но все-же въ достаточной степени обвѣянномъ духомъ народности, разнопѣвѣ царевичъ молитъ пустыню принять его „въ тихость свою безмолвную, въ палату лѣса вольную." Умиляясь въ каждымъ словомъ все болѣе, онъ восклицаетъ: „Любимая моя мати! Всегда тебе хощу знати, усты и сердцемъ цѣлуючи, въ день и въ нощи милуючи!.." Выслушала мать-пустыня, одухотворенная сказателями, являющимися плотью отъ плоти, костью отъ кости народной Руси,—отвѣчаетъ она „архангельскимъ гласомъ" на плачъ царевичевъ:—„А ты, младый юношъ, Асафей царевичъ. А и гдѣ-жъ тебѣ въ мене жити и на мене работати, Божью волю творити, земляные поклоны сполняти?". Не вѣритъ она въ возможность разстаться съ благами бытія земного и промѣнять все царское великолѣпіе на одну ея „тишину безмолвную, лѣсовольную". Не скрываетъ она отъ „младаго юноша" и того, что̀ ожидаетъ его въ ея зеленыхъ кущахъ. „Въ мене, въ матери-пустынѣ",—говоритъ она: „жить тебѣ будетъ моркотно (тяжко), ѣсть (будешь) гнилую колоду, пить болотную воду, носить черную ризу. Въ менѣ, во пустынѣ, всякія нужды восприяти, терпя потерпѣти, трудомъ потрудитись, постомъ попоститись. Въ менѣ, во пустынѣ, негдѣ разгулятись, не съ кѣмъ слова молвить!" Не устрашился воспылавшій желаніемъ подвижничества царевичъ: отозвался радостью въ его юномъ сердцѣ архангельскій гласъ пустыни. „А расплачится младый юношъ",—продолжается сказъ: „расплачится Асафей царевичъ, передъ матерью-пустынею стоя:—Не стращай мене, мати, ты великими страстями! Я могу въ тебѣ жити, на тебе работати, земляные поклоны справляти, Божью волю творити! Мнѣ гнилая колода паче сытнаго хлѣба; мнѣ болотная вода паче сладкова мёду („гнилая колода слаще царскаго яства, то мнѣ райская пища; болотная водица—лучше царскаго пойла, то мнѣ тихія прохлады"—по иному разносказу); а мнѣ черная риза паче свѣтлаго платья!" Въ этихъ словахъ отразилось умиленное стихійное сердце народа-сказателя, говорящее устами индійскаго царевича, любезнаго своимъ подвигомъ русскому духу, взыскующему тихаго града небеснаго на суетной землѣ. На отвѣтъ „млада-

го юноша"—новая отповѣдь печалующейся, на его юность глядючи, матери-пустыни: „Охъ ты, младый юношъ, сынъ Асафей царевичъ! Да жаль тебѣ будетъ отца съ матерью покинуть! Да жаль тебѣ будетъ своихъ вóроныхъ кóней! Да жаль тебѣ будетъ вѣрныя слуги! Да жаль тебѣ будетъ своего злата и серебра! Да жаль тебѣ будетъ всего своего прохладу! Да жаль тебѣ будетъ свои сладкіе напитки; да жаль тебѣ будетъ свои бѣлы каменны палаты!" Но и это не могло поколебать рѣшенія, принятаго царевичемъ. Снова плачетъ онъ, передъ матерью-пустынею стоя: „Не стращай мене, мати, ты великими страстями! Да не жаль-то мнѣ будетъ отца съ матерью покинуть; да не жаль-то мнѣ будетъ своихъ вороныхъ коней; я на вороныхъ коней не могу на ихъ зрѣти: словно лютые звѣри! Да не жаль-то мнѣ будетъ свои вѣрныя слуги; я на вѣрныя слуги не могу на ихъ зрѣти, словно лютые змѣи! Да не жаль-то мнѣ будетъ своего злата и серебра, я на злато и серебро не могу на него зрѣти—на сыпучіе черви! Да не жаль-то мнѣ будетъ всего своего прохладу, свои сладкіе напитки; да не жаль-то мнѣ будетъ свои бѣлокаменны палаты!" Отрекся царевичъ ото всѣхъ благъ, связанныхъ съ мірской жизнью,—все ему опостылѣло, нѣтъ ничего завѣтнаго—на чемъ могъ-бы остановиться съ сожалѣніемъ его мысленный взоръ—тамъ, за гранью прекрасной, манящей его тоскующее о подвигѣ сердце, пустыни. Но она, ставшая для него „любезной матерью", все еще не теряетъ надежды отговорить его отъ прощанія съ міромъ утѣхъ и наслажденій, словно созданныхъ для его-царевичевой-красоты:—„А ты есь младый юношъ, сынъ Асафей царевичъ!"—снова возглашаетъ она архангельскимъ голосомъ: „Придетъ теплое лѣто, разольются усѣ рѣки по мхамъ, по болотамъ, одѣнется всякое древо: ты съ мене, пустыни, выйдешь, мене, матерью, покинешь!" („Придетъ мать весна крáсна, лузья-болоты разольются, древа листами одѣнутся и запоютъ птицы райски архангельскими голосами, а ты изъ пустыни вонъ изыдешь, меня, мать прекрасную, покинешь!"—по иному разсказу.) Но съ еще большей ревностью къ пустынножительству держитъ свое отвѣтное слово на это предвѣщаніе царевичъ-юноша: „Не стращай мене, мати, ты великими страстями!"—повторяетъ онъ, заливаясь слезами радости отъ предвкушаемаго блаженнаго сліянія съ пустынею:—„Придетъ теплое лѣто, разольются усѣ рѣки, по мхамъ по болотамъ, одѣнется увсякое древо,—отрощу я свой волосъ по могучія плечи, отпущу свою бороду по бѣлыя груди. Я не дамъ своимъ очамъ отъ себе далече зрѣти; я не дамъ своимъ ушамъ отъ себе далече слу-

шать!“ Но и на это есть еще возраженіе у жалѣющей юнаго подвижника матери-пустыни:—„А ты есь младый юношъ, сынъ Асафей царевичъ!“—восклицаетъ она, теряя послѣднюю надежду отговорить царевича:—„А въ менѣ, во пустыни, разгуляться тебѣ негдѣ; а въ менѣ во пустыни, забавлять тебе некому; а въ менѣ во пустыни, утѣшать тебе некому!“ Послѣднимъ рыданіемъ мятущагося духа отвѣчаетъ „младый юношъ, сынъ Асафей царевичъ, передъ матерью-пустынею стоя“. И отъ перваго до послѣдняго слова дышетъ яркимъ радостнымъ чувствомъ этотъ полный проникновеннаго одушевленія отвѣтъ:

„Не стращай мене, мати,
Ты великими страстями,
А пусти мене, мати,
Да въ лѣсъ во дремучій!
Разгуляюсь я, младъ юношъ,
Сынъ Асафей царевичъ,
Во зелёной дубровѣ;
Есть частыя дерева,
Со мной будутъ думати думу;
На древахъ есть мелкое листье,
Со мной станутъ говорити;
Лютые звѣри станутъ
Мене забавляти!
Прилетятъ райскія птицы—
Со мной распѣвати,
Мене спотѣшати,
Христа Бога прославляти,
Какъ Христосъ Богъ на небесахъ,
Херувимы, серафимы,
Со небесною силой!“

На это хвалебное слово отшельническому житію нечего было возразить матери-пустынѣ. Тронулась до сокровенной глубины своего любвеобильнаго сердца,—„Ты есь младый юношъ, сынъ Асафей царевичъ!“—возговорила она, раскрывая передъ нимъ свои любовныя объятія: — „Даруетъ тебе Господь съ небесъ златымъ вѣнцемъ, тебе матерью-пустыней!“ Стихъ,—какъ и въ большинствѣ другихъ разносказовъ,— кончается славой-хвалою сказателей-стихопѣвцевъ юному подвижнику-пустыннику: „Уси ангелы хвалютъ, архангелы величаютъ, херувимы, серафимы, вся небесная сила, и во вѣки вѣковъ, аминь!“ („И всѣ святые праведные Асафью царевичу вздивовались, ево-ли младому царскому смыс-

лу. Ему поетъ слава и во вѣки вѣковъ, аминь!"—по другому, лучшему послѣ приведеннаго, разносказу.)

Кромѣ „плача" царевича Іоасафа, именуемаго во всякомъ разносказѣ стиха о немъ—на свой, нѣсколько измѣненный, ладъ, сохранились, благодаря тѣмъ-же неутомимымъ собирателямъ народной словесной старины нѣсколько списковъ его „похвалы" пустынѣ и его „молитвы въ пустынѣ",—по преданію, найденныхъ въ рукѣ почившаго подвижника. Вотъ, напримѣръ, симбирскій разнопѣвъ первой: „О, прекрасная пустыня! И самъ Господь пустыню похваляетъ; отцы во пустынѣ ся скитаютъ, и ангели отцамъ помогаютъ, апостоли святыхъ отецъ ублажаютъ, пророцы святые прославляютъ. Отцы во пустыни ся скитаютъ и быліемъ ся питаютъ, изъ горъ воды испиваютъ. Птицы прилетаютъ, на кудрявыя вѣтки посядаютъ, отцевъ въ пустыни утѣшающи, вѣчно умирающихъ... О, прекрасная пустыня!" Въ другомъ—ярославскомъ—разнопѣвѣ пустыня именуется „любезною дружиною" (подругою) царевича-пустынника. „Тебѣ, Христосъ, подражаю. Нищь и убогъ хощу быти, да съ Тобою могу жити!"—взываетъ къ Распятому Сыну Божію пылающее неугасимой ревностью къ подвигу сердце, изливающее радость своего подвижничества въ молитвахъ, рождающихся подъ тихій шелестъ дубравы.

Въ одной старинной рукописи дошла до нашихъ дней „Быль о царевичѣ Іоасафѣ", несомнѣнно имѣющая прямую связь съ простонародными сказаніями, посвященными восхваленію-возвеличенію жажды подвиговъ. „Пріидите, вѣрніе людіе, внушите, дивная имамъ рецы, умилно судите. Велію любовь явлю Бога всевелика, како предивнѣ взыска, спасти человѣка, человѣка не проста, отъ царя рождена, Іоасафа, лицемъ вельми удобрена"...—гласитъ вступленіе въ эту „Быль", во многомъ сходную съ разносказомъ стиха народнаго о царѣ Ѳевдулѣ и землѣ Идольской. Отецъ царевича именуется здѣсь Авениромъ Индійскимъ. Было ему предсказано, что сынъ его „Христа любитель будетъ". Чтобы удержать Іоасафа въ вѣрѣ отцовъ своихъ, окружилъ онъ царевича приверженными къ идолослуженію рабами, запретилъ не только упоминать при немъ о Христѣ, но даже и допускать предъ его очи какое-либо печальное зрѣлище. Жилъ царскій сынъ, не знаючи ничего кромѣ веселья, и считалъ утопающимъ въ счастіи цѣлый міръ. Но совершенно случайно попался однажды ему навстрѣчу прокаженный слѣпецъ; изумленный и встревоженный царевичъ спросилъ любимаго „пестуна" - спутника, — что̀ это за несчастное существо,—и тотъ открылъ своему господину всю

правду-истину. Съ этой поры смутилось сердце Іоасафово, обуяла печаль его юную душу, возгорѣлось въ его груди желаніе покинуть домъ отчій, разстаться со всѣмъ наполняющимъ его довольствомъ. И послалъ Господь пустынника Варлаама въ царскія палаты—наставить царевича въ вѣрѣ истинной. Проникъ во дворецъ святой старецъ подъ видомъ купца, продающаго драгоцѣнные камни, и выполнилъ повелѣніе Божіе. Увѣровалъ Іоасафъ во Христа, научилъ вѣрѣ правой и отца своего Авенира, по смерти котораго наслѣдовалъ ему на престолѣ. „Но не долго во славѣ изволилъ есть быти, яко послѣдующій гласъ хощетъ явити“... ведетъ свою рѣчь повѣствователь, продолжая:—„коль дивна Божія сила благодати, можетъ и каменныя сердца угнетати! А идѣже мягкую ниву обрѣтаетъ, ту и сѣмя слова плоды на сто умножаетъ, Іоасафа нива сердца мягка бяше, яко дождь благодати егда воспріяше, сѣмя славы Божія бысть умноженно, по всей странѣ индѣйской уплодотворенно. Ибо, царь бывъ, кумиры вездѣ сокрушаше, христіаны отъ пустынь во грады собраше, епископу повелѣ народы крестити, и самъ слову Божію прилежа учити“... Проведши въ такомъ трудѣ во славу Христа „четыредесятницу дней“ послѣ кончины отцовской, передаетъ Іоасафъ царскій скипетръ одному изъ друзей своихъ, Варахію: завѣщалъ ему хранить вѣру и правду, а самъ облекся въ убогія одежды и возложилъ на свои рамена—вмѣсто царской багряницы—бремя подвижничества. Ушелъ онъ въ пустыню къ старцу Варлааму, заронившему въ его сердце плодотворное сѣмя вѣры Христовой: „яко единъ отъ нищихъ самохотно бяше; не вземъ раба и друга, въ пустыню идяше, честнаго Варлаама въ вертепахъ искаше, съ нимъ въ молитвахъ и постѣхъ выну пребываше“... На этомъ и кончается „Быль“, дѣйствительно болѣе близкая содержаніемъ къ преданію, общему для всѣхъ европейскихъ народовъ, заимствовавшихъ его отчасти изъ индійскихъ сказаній о Буддѣ (Сакіа-Муни), отчасти изъ повѣствованій о подвигахъ угодниковъ Божіихъ—святыхъ Восточной Церкви.

Мать-пустыня, прославленная стиховными сказаніями про Іоасафа-царевича, является предметомъ воспѣванія-величанія въ русскихъ раскольничьихъ пѣсняхъ, многія изъ которыхъ отражаютъ въ себѣ народную старину. Вотъ, напримѣръ, пѣсенный сказъ нѣтовцевъ [81]). „Какъ шелъ старецъ по

[81]) „Нѣтовщина“ („Спасово согласіе“)—одинъ изъ самыхъ закоренѣлыхъ раскольничьихъ толковъ безпоповщины. Нѣтовцы отрицаютъ всѣ церковныя установленія и проповѣдуютъ, что со временъ патріарха Никона („никоновскихъ новшествъ“) вся благодать таинствъ Христовыхъ взята на небо, а на землѣ на-

дорожкѣ, черноризецъ по широкой...“ — запѣвается этотъ сказъ пѣсенный: „Идучи, онъ слезно плачетъ, во слезахъ пути не видитъ, во рыданьяхъ слова не молвитъ“. Навстрѣчу ему идетъ не простой путникъ, дорожный человѣкъ, а—„Самъ Христосъ Царь Небесный“. И возговорилъ Онъ старцу,—продолжается сказъ: „Ой ты, гой еси, старецъ-черноризецъ, ты о чемъ, старецъ, слезно плачешь? О чемъ, черноризецъ, воздыхаешь?“ На слова Христовы держитъ отвѣтъ старецъ: „Охъ ты, гой еси, Христосъ, Царь Небесный! Какъ мнѣ, Господи, не плакать? Потерялъ я златую книгу, потопилъ я ключъ церковный въ морѣ!“ Обѣщаетъ утѣшающій плачущаго Царь Небесный найти-вернуть ему и ту, и другой,—посылаетъ его спасать душу въ пустыню. Услышавъ такой завѣтъ Сына Божія, восклицаетъ умиленный старецъ-черноризецъ: „Охъ ты, гой еси, батюшка Христосъ, Царь Небесный! Ты поставь-ка мнѣ въ пустынѣ келью, гдѣ бы люди не ходили, однѣ-бы пташки пролетали, меня-бы, старца, потѣшали, ото сна-бы пробуждали; ото сна-бъ я пробудился, на правило становился!..“ Вслѣдъ за этими, до извѣстной степени совпадающими со стихомъ объ Іоасафѣ-царевичѣ, словами, идетъ заповѣдь Христа, повелѣвающаго—въ чисто-раскольничьемъ духѣ—„своимъ православнымъ христіанамъ“ бѣжать изъ городовъ-селъ отъ народившагося антихриста, напоминающаго своимъ обрисованнымъ въ пѣснѣ обликомъ представленіе самосожигателей о патріархѣ Никонѣ: „Не сдавайтесь вы, Мои свѣты, тому змію седьмиглаву, вы бѣгите въ горы, вертепы, вы поставьте тамъ костры большіе, положите въ нихъ сѣры горючей,свои тѣлеса вы сожгите! Пострадайте вы, Мои свѣты, за Мою вѣру Христову: Я за то вамъ, мои свѣты, отворю райскія свѣтлицы и введу васъ во Царство Небесно и Самъ буду съ вами жить вѣковѣчно!“ Конецъ сказа воскрешаетъ передъ своими слушателями память объ одной изъ самыхъ прискорбныхъ страницъ лѣтописи былыхъ заблужденій мятущагося народнаго духа—заблужденій, по счастью, безвозвратно отошедшихъ въ область, если не забытыхъ, то обреченныхъ забвенію, преданій.

Не въ такихъ темныхъ преданіяхъ ищетъ себѣ исхода мечта, свѣтлѣющая въ общеніи съ природою, проникнутой для чуткихъ сердецъ дуновеніемъ откровеній Божественныхъ,—природою, олицетворенной въ умилительномъ представленіи о

ступило царство антихриста. Многое позаимствовали нѣтовцы въ своемъ вѣроученіи отъ самосожигателей, изувѣрствомъ, переходившимъ всѣ границы, оставившихъ по себѣ тяжелую память въ исторіи XVIII-го столѣтія.

прекрасной матери-пустынѣ, образъ которой запечатлѣлся въ пытливомъ сердцѣ народной Руси, восклицающей подъ тяжкимъ бременемъ обступающихъ ея трудную-страдную жизнь повседневныхъ житейскихъ заботъ:

„Охъ ты, матушка-пустыня,
Распрекрасная раиня!
Еще кто-бъ тебя поставилъ
Среди темнаго лѣса,
Во зеленой, во дубравѣ,—
Не слыхать-бы въ тебѣ было
Прелестнаго-злого міра...“

Для этого, воздыхающаго такъ глубоко, стихійнаго сердца ближе всякихъ самосожигателей-черноризцевъ кроткій обликъ царевича, пошедшаго по стопамъ подвижниковъ Христовыхъ. Чѣмъ-то роднымъ отзывается въ русской душѣ его смиренная мольба: „Любимая моя мати, прекрасная пустыня! Ты пріими мене, пустыня, яко мати свое чадо; научи мене, пустыня, волю Божію творити!“ Сколько покорности этой волѣ, сколько свѣтлой вѣры въ ея непреложность слышится въ этихъ словахъ, вылившихся изъ глубины души пахаря-мечтателя, взыскующаго на землѣ града небеснаго...

XLVIII.

Введенье.

21-е ноября, день праздника Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы, отмѣчено въ народномъ мѣсяцесловѣ цѣлымъ рядомъ особыхъ повѣрій и связанныхъ съ ними обычаевъ, зародившихся въ лонѣ матери-природы, отовсюду охватывающей повседневную жизнь крестьянина-земледѣльца.

Сохранился цѣлый рядъ простонародныхъ пѣсенныхъ сказаній, являющихся въ то-же самое время и хвалебными величаніями впервые вступившей во храмъ Господень Пресвятой Дѣвѣ. „Ты во церковь приведеся, архіереомъ воздадеся и отъ ангелъ предпочтеся“,—начинается одно изъ нихъ. За этимъ началомъ-„запѣвкою“ слѣдуетъ повторяющійся и въ самомъ концѣ стиха припѣвъ: „Приведутся дѣвы, ближняя Ея,во слѣдъ Ея во Святая Святыхъ!“ Сказаніе, прерванное этимъ четверостишіемъ, продолжается: „Захарія сликовствуетъ, пророчески извѣствуетъ, веселяся торжествуетъ. Руцѣ старецъ простираетъ, Царицею называетъ, сладкимя гласы воспѣваетъ. Днесь подъемлетъ старецъ Дѣву, да возведетъ Евву, да разрушитъ клятву древню. Евва, нынѣ веселися: се Дѣвая днесь явися, на престолѣ спосадися. Духъ Святый осѣняетъ, а Дѣвая принимаетъ, трилѣтна всѣмъ ся являетъ. Прилетаютъ херувими, окружаютъ серафими, поютъ гласы трисвятыми. Ангелъ пищу приносимаетъ, а Дѣвая принимаетъ, кверху руцѣ простираетъ“... Другой, воспѣвающій этотъ праздникъ, стихъ начинается словами о горахъ Сіонскихъ, на которыхъ Богъ „завѣтъ положилъ, свыше намъ съ небесъ свѣтъ Божій открылъ, струями словесъ сердце напоилъ“. Въ третьемъ — приглашаются торжествовать „патріарси“, „вси

дѣвы“ — бодрствовать и „ликовствовать со пророки“. Въ четвертомъ — веселится праматерь-Ева. И во всѣхъ нихъ явственно слышится благоговѣйное чувство народа-пѣснотворца, воздающаго честь-хвалу Богоматери.

Переходъ отъ Михайлова ко Введеньеву дню имѣетъ, по старинной народной примѣтѣ, весьма важное значеніе для всей первой половины зимы. Если „Зимняя Матрена“ придетъ на землю въ такой силѣ, что, дѣйствительно, поможетъ зимѣ „встать на ноги“, а Ѳедоръ-Студитъ, точно сговорившись съ нею, все застудитъ, то санному пути въ тотъ годъ не растаять до весенней распутицы. Когда-же 10-го ноября, въ канунъ дня, посвященнаго чествованію памяти св. Ѳеодора, повиснетъ на древесныхъ вѣтвяхъ пушистая бахрома инея (въ предзнаменованіе теплой погоды), да если на слѣдующія за Студитовымъ днемъ сутки будетъ порошить снѣжная пороша, то — стоять разводящимъ дороги оттепелямъ-мокринамъ вплоть до самаго Введенья.

Въ этотъ-же день въ деревнѣ ждутъ новой перемѣны погоды: опытъ старыхъ, зоркихъ памятью людей говоритъ о томъ—на-двое. Бываетъ, что на Введеньевъ день проѣзжаетъ по горамъ и долямъ „на пѣгой кобылѣ“, красавица-Зима, одѣтая въ бѣлоснѣжную душегрѣйку, и дышетъ на все встрѣчное такимъ леденящимъ дыханіемъ, что даже вся нечисть,— о которой добрые люди боятся вспоминать на ночь, — а если и обмолвится кто о ней ненарокомъ, то въ ту-же минуту оговариваетъ свою ошибку словами „не къ ночи будь помянутъ“, — даже всѣ смущающіе суевѣрную душу пахаря духи тьмы торопятся укрыться по добру—по здорову куданибудь подальше да поглубже отъ краснощекой русской красавицы, замораживающей своими поцѣлуями кровь въ жилахъ. Тогда говорятъ въ народѣ: „Введенье пришло — зиму на Русь завело!“, „Введенскіе уставщики, братья Морозы Морозовичи, рукавицы на мужика надѣли, стужу уставили, зиму на умъ наставили!“, или: „Наложило на воду Введенье толстое леденье!“ и т. п.

Но случается, что погода пойдетъ объ эту пору совсѣмъ на иную стать. Приходилось русскому деревенскому люду видѣть, что „Введенье ломаетъ леденье“,—почему и пошла гулять, рука-объ-руку съ только-что приведенными выше старинными поговорками, и молвь о томъ, что „Введенскіе морозы не ставятъ зимы на рѣзвыя ноги“. Это, не согласующееся съ установившимся мнѣніемъ деревни о прочности работы вѣковѣчныхъ кузнецовъ Кузьмы-Демьяна, изреченіе стоитъ о-бокъ съ тѣмъ, въ незапамятныя времена

впервые выпущеннымъ изъ устъ народнаго опыта замѣчаніемъ, что введенскія оттепели надолго портятъ-бороздятъ бѣлую камчатную скатерть зимняго пути и совершенно противорѣчатъ распѣваемой мѣстами и теперь ребячьей пѣсенкѣ, лѣтъ двадцать тому назадъ подслушанной въ Симбирской губерніи (въ Ново-Никулинской волости Симбирскаго уѣзда):

„Введенье пришло,
Зиму въ хату завело,
Въ сани конѣй запрягло,
Въ путь-дорожку вывело,
Ледъ на рѣчкѣ вымело,
Съ берегомъ связало,
Къ землѣ приковало,
Снѣгъ заледенило,
Малыхъ ребятъ,
Красныхъ дѣвчатъ
На салазки усадило,
На ледянкѣ съ горы покатило"...

Встарину праздникъ Введеніе во храмъ Пресвятой Богородицы былъ днемъ перваго зимняго торга. Бѣлокаменная Москва начинала съ этого дня расторговываться санями, свозившимися въ нее къ тому времени изъ промышлявшихъ щепнымъ и лубянымъ промыслами слободъ и посадовъ, цѣлыми грудами-горами складывавшимися на Лубянской площади,—укрѣпившей, вѣроятно, отъ этого и свое имя за собою. Между лубяными и санными рядами расхаживали калачники, пирожники, сбитеньщики, приглашавшіе покупателей и продавцовъ—„не ввести въ зазоръ" ихъ и „провѣдать стряпни домостряпанной, не заморской, не басурманской, не нѣмецкой" и т. д. Сами торговцы Лубянскаго торга, славившіеся своимъ мастерствомъ на красное слово, нѣтъ-нѣтъ да и выкрикивали заходившему въ ряды люду московскому прибаутки, въ-родѣ:

„Вотъ санки-самокаты,
Разукрашены—богаты,
Разукрашены-раззолочены,
Сафьяномъ оторочены!
Введеньевъ торгъ у двора,
Санкамъ ѣхать пора!
Сани сами катятъ,
Сами ѣхать хотятъ!
Ѣхать хотятъ сани
Къ доброму молодцу во дворъ,

Къ доброму купцу,
Къ хозяину тороватому,
Ко тому-ли вожеватому!..“

И сани, особенно ходко шедшіе съ рукъ у продавцовъ въ этотъ день, пестрѣли-рябили въ глазахъ у покупателей своею яркой росписью. Первое мѣсто по цѣнѣ и хитрому узорочью занимали въ красовавшихся грудахъ зимняго товара галицкіе сани, раскрашенные не только красками, но и позолотою. Къ вечеру, если не вся, то добрая треть Первопрестольной, каталась на новыхъ саняхъ.

Со Введеньева дня встарину,—а мѣстами и въ настоящее время,—начинались не только зимніе торги, но и зимнія гулянки-катанья. „Дѣлу время, потѣхѣ—часъ!“—говоритъ и въ наши дни русскій человѣкъ, чередующій свои работы и заботы съ отдыхомъ. Къ первому санному гулянью старинные люди относились, какъ къ особому торжеству. Наиболѣе строго соблюдались обступавшіе его обычаи въ семьѣ, гдѣ были къ этому времени молодожены-новобрачные. Въ такой домъ собирались—званые-прошеные—всѣ родные, всѣ свойственники, приглашались, по обычаю, „смотрѣть, какъ поѣдетъ молодой князь со своею княгинюшкой“. Выѣзду послѣднихъ предшествовало небольшое столованье, прерывавшееся „на полустолѣ“, чтобы закончиться послѣ возвращенія поѣзда новобрачныхъ во дворъ. Отправлявшіеся на гулянье молодые должны были переступать порогъ своей хоромины не иначе, какъ по вывороченной шерстью вверхъ шубѣ. Этимъ,—по словамъ свѣдущихъ, знающихъ всякій обычай, людей—молодая чета предохранялась ото всякой неожиданной бѣды-напасти, могшей, въ противномъ случаѣ, перейти ей дорогу на улицѣ. Свекоръ со свекровью, провожая невѣстку на первое санное катанье съ мужемъ молодымъ, упрашивали-умаливали всѣхъ остальныхъ поѣзжанъ-провожатыхъ уберечь „княгинюшку“ ото всякой бѣды встрѣчной и поперечной, а пуще всего—„отъ глаза лихого“:

„Ой, вы, гости, гости званые,
Званые-прошóные!
Ой, вы, братья-сватья,
Ой, вы милые!
Вывóдите вы нашу невѣстушку,
На то-ли на крыльцо тесовое,
Вывóзите нашу свѣтъ-княгинюшку
Бѣлою лебёдушкой...

Берегите-стерегите её:
Не упало-бы изъ крылышекъ
Ни одного перышка,
Не сглазилъ-бы ее, лебедушку,
Названную нашу доченьку,
Ни лихой удалецъ,
Ни прохожій молодецъ,
Ни старая старуха—баба злющая."

Сани молодыхъ, наособицу изукрашенные коврами, полостями и рѣзьбой-росписью, выводились со двора первыми. Слѣдомъ за ними тянулся длинный поѣздъ, если менѣе богатый, то не менѣе пестрый, снаряженный хозяевами для званыхъ гостей. Молодые ѣхали въ своихъ раззолоченныхъ и разукрашенныхъ „съ выводами" саняхъ „княжескихъ", ѣхали и знай—отвѣшивали поклоны по сторонамъ: они впервые показывали себя и свое молодое счастье народу честно́му, сосѣдямъ ближнимъ и дальнимъ. За поѣздомъ бѣжали ребята съ веселыми криками; на поѣзжанъ любовался отовсюду, со всѣхъ крылецъ, людъ православный, охочій и теперь поглядѣть на всякое подобное зрѣлище. И не было отъ этого глядѣнья никому никакого зазора: одни показывали себя, другіе—смотрѣли.

Въ слѣдовавшемъ за молодыми поѣздѣ раздавались веселыя пѣсни, прерывавшіяся иногда и не менѣе веселыми здравицами, относившимися „ко князю со княгинюшкой": гостямъ ставились въ сани и сулеи съ романеями, и жбаны съ медами крѣпкими, чтобы ихъ „не заморозили Морозы Морозовичи введенскіе"... Если гулялъ на саняхъ „князь" изъ боярской семьи, то молодые сидѣли на медвѣжьей шкурѣ, а по́сторонь ихъ саней бѣжали шуты-скороходы, по́ходя забавлявшіе молодыхъ своимъ скоромошьимъ обычаемъ.

По возвращеніи поѣзда съ гулянья, показавшую себя народу невѣстку встрѣчали на крыльцѣ поджидавшіе свекоръ со свекровью, принимавшіе ее изъ рукъ молодого за руки и потомъ низко кланявшіеся поѣзжанамъ за то, что они „уберегли бѣлую лебедушку, ихъ доченьку богоданную ото всякаго глаза, ото всякой притки, ото всякой напасти". Затѣмъ, повторялся опять переходъ черезъ шубу сданныхъ съ рукъ на руки молодыхъ, и они вводились въ покои,—гдѣ и продолжалось прерванное на полустолѣ веселое столованье.

Въ настоящую пору этотъ любопытный обычай, во всей своей полнотѣ, не сохранился нигдѣ; но живыя тѣни его и

до сихъ поръ бродятъ еще по неоглядному раздолью Земли Русской. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ выѣздъ на самое гулянье съ теченіемъ времени перенесся на 22-е (Прокопьевъ день), а затѣмъ и на 24-е число, на Катерининъ день.

„Введенье идетъ, за собой Прокопа ведетъ“,—гласитъ старинная поговорка:—„Прокопъ по снѣгу ступаетъ, дороги копаетъ. Катерина на саняхъ катитъ къ холодному Юрью (26-му ноября) въ гости“.

XLIX.

Юрій-холодный.

26-го ноября чествуется Православной Церковью память освященія перваго на Руси храма во имя святого Георгія-Побѣдоносца (въ Кіевѣ, на Златыхъ Вратахъ). Въ народѣ этотъ церковный праздникъ съ незапамятныхъ временъ слыветъ подъ именемъ „Юрія-холоднаго“ („Зимняго Егорія“)—въ отличіе отъ „теплаго“—весенняго, празднуемаго 23-го апрѣля.

Св. Георгій (Юрій, Егорій)-Побѣдоносецъ занимаетъ, по народному представленію, одно изъ первыхъ мѣстъ среди чтимыхъ святыхъ. И это замѣчается не только у русскихъ, но и вообще у всѣхъ славянъ и даже сосѣднихъ съ ними народовъ, относящихся къ нему съ особымъ благоговѣніемъ и окружающихъ память о немъ самыми разнообразными сказаніями. На него перенесены народнымъ воображеніемъ многія выразительныя черты верховныхъ божествъ древне-славянскаго языческаго Олимпа. Свѣтозарный обликъ этого воина Христова встаетъ передъ духовными очами народа въ видѣ облеченнаго въ златокованныя латы всадника на бѣломъ конѣ, поражающаго своимъ копьемъ огнедышаго дракона. Грозёнъ „воинъ воинства небеснаго“ для ратей силы темной,—не менѣе (если даже не болѣе) Ильи-пророка и Михаила-архангела. Но для трудящагося въ потѣ лица люда православнаго, для мирныхъ пахарей и пастырей, онъ является неизмѣннымъ покровителемъ и крѣпкой защитою.

Русское народное пѣснотворчество удѣлило въ своихъ, занесенныхъ въ изустную память народа, скрижаляхъ немало мѣста прославленію подвиговъ этого святого. „Сказаніе о Егоріѣ Храбромъ“, записанное П. В. Кирѣевскимъ, называ-

етъ его сыномъ „тоя-ли премудрыя Софіи", придавая этимъ самому рожденію его таинственное значеніе и надѣляя его съ самой минуты появленія на бѣлый свѣтъ наслѣдственной мудростью, побѣждающей въ образѣ его даже и премудрость змѣиную, направленную къ совершенію всяческаго зла. Будучи стихійно-послѣдовательнымъ даже въ своихъ ошибкахъ, народъ называетъ сестрами „желаннаго дѣтища" Мудрости—Вѣру, Надежду и Любовь,—и дѣлаетъ это не случайно, а такъ-же для того, чтобы породнить ихъ съ обликомъ Егорія Храбраго. Послѣднему онъ, между прочимъ, приписываетъ искорененіе темени басурманства и утвержденіе православія „на свѣтлой Руси".

„Какъ и сталъ онъ, Егорій Храброй,
Въ матеръ возрастъ приходити,
Умъ-разумъ спознавати,
И учалъ онъ во тѣ поры
Думу крѣпкую оповѣдати
Своей родимой матушкѣ,
А и ей-ли, премудрой Софіи:
Соизволь, родимая матушка,
Осударыня премудрая Софія,
Ѣхать мнѣ ко землѣ свѣтлорусской,
Утверждать вѣры христіанскія"...

Такъ повѣствуетъ сказаніе, отправляющее св. Георгія на подвигъ. И ѣдетъ онъ—„отъ востока до запада". По его слову, разступаются передъ нимъ „лѣса темные, дремучіе" и разбѣгаются по всей Руси; по его велѣнію, „горы высокія, холмы толкучіе", заграждающіе путь-дорогу нетореную, даютъ ему проходъ и тоже разсыпаются-раскидываются вдоль и поперекъ земли свѣтлорусской. „Моря глубокія, рѣки широкія", „звѣри могучіе, рогатые",—все повинуется Побѣдоносцу. „И онъ, Егорій Храброй, заповѣдуетъ звѣрямъ:—А и есть про васъ на съѣдомое во поляхъ трава муравчата; а и есть про васъ на пойлицо во рѣкахъ вода студёная"... Наѣзжаетъ онъ, на своемъ пути, „на то стадо, на зміиное, на то стадо на лютое,—хочетъ онъ, Егорій, туда проѣхати". Стадо змѣй не только не даетъ ему хода-пропуска, а совѣтуетъ воротиться вспять и унять своего „коня ретиваго". Но Храброй не внемлетъ совѣту змѣиному, вынимаетъ онъ саблю острую: „...ровно три дня и три ночи рубитъ, колетъ стадо зміиное: а на третій день ко вечеру посѣкъ, порубилъ стадо лютое"... Сказаніе кончается тѣмъ, что Егорій Храброй, побѣдившій „стадо зміиное", наѣзжаетъ „на ту

землю свѣтлорусскую, на тѣ поля, рѣки широкія, на тѣ высоки терема златоверхіе"... Здѣсь не пропускаютъ его уже „красны дѣвицы", обращающіяся къ славному богатырю съ таковой рѣчью:

„А и тебя-ли мы, Егорій, дожидаючись,
Тридцать три года не вступаючи
Съ высока терема златоверхаго,
А и тебя-ли мы, Храбраго, дожидаючись,
Держимъ на роду великъ обѣтъ:
Отдать землю свѣтлорусскую,
Принять отъ тебя вѣру крещоную!"

И онъ „пріимаетъ ту землю свѣтлорусскую подъ свой великъ покровъ", съ этой поры до нашихъ дней, по убѣжденію народной вѣры, не забывая о ней въ своихъ неусыпныхъ заботахъ.

Другой сказъ о Георгіѣ-Побѣдоносцѣ, вылившійся изъ устъ пѣснотворца-народа, запечатлѣнъ памятью послѣдняго въ стихѣ каликъ-перехожихъ объ этомъ святомъ. По свидѣтельству названнаго памятника слова народнаго, онъ родился не обыкновеннымъ человѣкомъ, а „породила его матушка: по колѣна ноги въ чистомъ сѣребрѣ, по локоть руки въ красномъ золотѣ, голова у Егорья вся жемчужная, по всемъ Егоріѣ часты звѣзды"... и т. д. Здѣсь сказатель-народъ болѣе близокъ къ признанному Церковью житію святого Георгія-Побѣдоносца, претерпѣвшаго страшныя мученія при царѣ Діоклетіанѣ [82]). „Царище-Демьянище",—поютъ калики-перехожіе,—„посадилъ (послѣ длиннаго ряда истязаній) Егорья въ глубокъ погребъ, закрывалъ досками желѣзными, забивалъ-закладывалъ гвоздями лужоными, запиралъ замками нѣмецкими, засыпалъ песками рудожелтыми", чтобы „не видать Егорью свѣта бѣлаго, не зрѣть солнца краснаго, не слыхать звона колокольнаго"... Сидитъ Егорій въ своемъ заточеніи „ровно тридцать лѣтъ, тридцать лѣтъ и три года", но пришелъ конецъ и силѣ царища-Демьянища, рычащаго по звѣриному,

[82]) Діоклетіанъ—Императоръ римскій, царствовавшій съ 284-го по 305 г. по Р. Х. Онъ происходилъ изъ вольноотпущенниковъ и изъ простого солдата возвысился до званія намѣстника, а потомъ—по внезапной смерти императора Кара (въ персидскомъ походѣ)—былъ провозглашенъ императоромъ, какъ любимѣйшій вождь. Царствованіе его, прославленное мудрою внѣшней и внутреннею политикой, ведшей къ возрожденію Римской имперіи, было омрачено жестокими гоненіями на христіанъ. Въ 305-мъ году онъ сложилъ съ себя власть и послѣднія восемь лѣтъ жизни провелъ въ сельскомъ уединеніи, отказываясь ото всякой попытки вернуться на престолъ и свергнуть воцарившихся Севера и Максимина, —несмотря на всѣ просьбы приверженцевъ. Онъ умеръ въ 313-мъ году.

шипящаго по змѣиному: „выходилъ Егорій, по Божьему изволенію, изъ погреба глубокаго, узрѣлъ свѣту бѣлаго, одѣвается въ збрую ратную, беретъ копье востробулатное“... Выходилъ Егорій во чисто поле, вскрикнулъ Егорій громкимъ голосомъ: „Ой ты, гой еси, бѣлой рѣзвой конь! Ты бѣги ко мнѣ яснымъ соколомъ!“ И начались для претерпѣвшаго всѣ муки, всѣ истязанія воина воинства небеснаго его славные подвиги богатырскіе. Объ этихъ подвигахъ передается въ стихѣ каликъ-перехожихъ почти то-же самое, что и въ первомъ сказаніи (хотя и другими словами), но только, вмѣсто „стада зміинаго лютаго“, повстрѣчался Храброму одинъ „змѣй огненный“ (драконъ), котораго и сразилъ непобѣдимый Побѣдоносецъ. Въ заключеніе—добирается Егорій до „палатъ бѣлокаменныхъ царища-Демьянища“, и „натянулъ онъ свой тугой лукъ, и пустилъ стрѣлу въ царища-Демьянища“. Мучитель-басурманинъ былъ убитъ, а Егорій поѣхалъ дальше по свѣтлой Руси, „насаждая вѣру христіанскую, искореняя басурманскую“.

Въ Пудожскомъ уѣздѣ Олонецкой губерніи было записано Рыбниковымъ любопытное простонародное сказаніе объ Егоріѣ Храбромъ, повторявшееся—разносказами—и у другихъ собирателей памятниковъ народной словесности. „Былъ Содомъ городъ, былъ Коморъ городъ, третье было царство Арапинское“,—начинается это сказаніе: „Содомъ городъ сквозь землю сталъ, а Коморъ городъ огнемъ прожгало. Что на то-ли царство Арапинское встала змѣя лютая пещерская, во въ каждыя суточки стала съѣдать по головьицу. Народу во градѣ мало становилося: собирались мужички на единъ мѣсто, стали мужички жеребье кидать; выпало жеребье самому царю—завтра надо ѣхать на сине-море ко лютому змѣю на съѣденіе“... Запечалился царь, закручинился. Идетъ онъ домой во дворецъ, навстрѣчу ему попадается молодая княгиня-жена,—спрашиваетъ его—о чемъ печаль. „Какъ-же мнѣ, царю, не кручиниться, какъ-же мнѣ, царю, не печалиться!“—отвѣчаетъ царь: „Завтра надо ѣхать на сине море, къ лютому змѣю на поѣденіе!“ Задумалась княгиня молодая, но думала не долго: „Не печалься, не кручинься, царь, есть у насъ дочка-свѣтъ немилая, Софья да Агафіевна! Мы пошлемъ ее завтра на сине-море, къ лютому змѣю на поѣденіе!“ Возрадовался опечаленный царь—„возвеселился“, посылаетъ молодую жену обманывать дочку, уговаривать. Пошла княгиня, голосъ подаетъ: „Выставай-ка, дѣвица, поутру ранешенько, умывайся, дѣвица, бѣлешенько, снаряжайся, дѣвица, хорошохонько: завтра будутъ сватовья сватать за жениха одной вѣры съ тобой!“

Софья-царевна, дочь немилая, встала ранешенько, умылась бѣлешенько, но „снарядилась дѣвица въ черны платьица, въ черны платьица опальныя, помолилась дѣвица Миколы да Троицы, Пресвятой Богородицы, облилася дѣвица горючимъ слезамъ, выходила дѣвица на крутой крылецъ, посмотрѣла дѣвица на бѣлой дворецъ: на бѣломъ дворѣ стоитъ лошадь черная, лошадь черная, карета темная, извощичекъ стоитъ опальный, онъ опальный да самъ кручинный"... Сѣла въ карету немилая дочь царская, поѣхала на сине море. Попадается ей навстрѣчу Егорій Храбрый, попадается—рѣчь къ ней держитъ: „Выходи, дѣвица изъ темной кареты, поищи, дѣвица, въ моей буйной головы!" Засинѣлось море, заколыхались волны, поднялась изъ волнъ змѣя лютая,—„подымается, сама похвастаетъ:—Будетъ, будетъ мнѣ теперь чѣмъ посытися, какъ первую головьицу дѣвичецкую, а другую головьицу молодецкую, третью головьицу лошадиную!" Спитъ въ это время крѣпкимъ сномъ Егорій Храбрый; будитъ его —разбудить не можетъ, „расплакалася дѣвица горючимъ слезамъ, раскапались дѣвицы горючи слезы на Егорья-свѣтъ Храбраго на бѣло лицо. Тутъ Егорью-свѣтъ стало холодно, онъ свѣтъ да разбудился"... Проснувшись, возговорилъ онъ таковы слова: „Утишися, змѣя лютая пещерская, тише тихія скотинины; отруши, дѣвица, свой шелковъ поясъ, подай мнѣ Егорью-свѣтъ Храброму!" Сдѣлала царевна по слову его,— „взялъ Егорій, перевязалъ змѣю лютую, змѣю лютую на шелковъ поясъ, подалъ Софьѣ Агафіевнѣ:—Ты веди, Софья Агафіевна, змѣю лютую на свой градъ Арапинскій, ко своему батюшкѣ Агафинъ-царю и скажи своему батюшку: Ежели вѣру будешь вѣровать христіянскую, ежели будешь состроять Божьи церкви, ужъ какъ первую церкву Миколы да Троицы, Пресвятой Богородицы, а другую церкву Егорью-свѣту Храброму, то я подкую змѣю лютую въ жалѣзу глухую; а ежели не будешь состроять Божьи церкви и вѣру вѣровать христіянскую, я спущу змѣю лютую на твой градъ Арапинскій, не оставитъ тебѣ единъ души на сѣмена!". Въ другихъ сказаніяхъ мѣсто немилой дочери Софьюшки занимаетъ—наоборотъ—„чадо милое" Лизавета Прекрасная—(„Алисафушка").

Съ Егоріемъ Храбрымъ у славянъ вообще, а у русскихъ наособицу, связано много различныхъ повѣрій и вытекающихъ изъ ихъ нѣдръ обычаевъ. Но громадное большинство послѣднихъ относится къ весеннему („теплому") Юрьеву дню. Юрій-же „холодный" знаменуется въ народной памяти болѣе въ связи съ былой жизнью родины русскаго пахаря.

Этотъ народный праздникъ былъ освященъ вѣками, какъ день, когда крестьяне имѣли право переходить отъ одного помѣщика подъ властную руку другого. Объ этомъ, обыкновенно, заявлялось на Михайловъ день,—чтобы для помѣщика не былъ неожиданнымъ переходъ. „Судебникъ“ [83]) опредѣлялъ срокъ послѣдняго болѣе пространно: „за недѣлю до Юрьева дня и недѣлю по Юрьевѣ днѣ холодномъ“. Въ „Стоглавѣ“ уложеніе объ этомъ читалось такъ: „А въ которыхъ старыхъ слободахъ дворы опустѣютъ, и о тѣ дворы называти сельскихъ людей пашенныхъ и непашенныхъ по старинѣ, какъ прежде сего было. А отказывати тѣхъ людей о сроцѣ Юрьевѣ дни осеннемъ, по цареву указу и по старинѣ. А изъ слободъ митрополичьихъ, изъ архіепископьихъ и епископьихъ и монастырскихъ, которые христіане похотятъ идти во градъ на посадъ, или въ села жити, и тѣмъ людямъ идти волно о сроцѣ Юрьевѣ дни съ отказомъ по Нашему Царскому указу“.

Переходъ крестьянъ, согласно съ приведеннымъ уложеніемъ, совершался на томъ условіи, что они, поселяясь на помѣщичьей землѣ, обязывались безрекословно исполнять всѣ приказанія помѣщика, нести на себѣ тягло всѣхъ обычныхъ повинностей, взносить въ условленные сроки всѣ подати—„по положенію“. Отходя отъ помѣщика, они должны были разсчитаться оброками полностью „за пожилое“,—причемъ помѣщикъ не могъ требовать ничего лишняго, какъ не имѣлъ права и удерживать не желавшихъ оставаться въ его вотчинѣ. Сдѣлки совершались при „послухахъ“ (свидѣтеляхъ) съ обѣихъ договаривавшихся сторонъ. „Уговоръ лучше денегъ!“—говоритъ народъ:—„Ряда города держитъ!“ Такъ было и въ этомъ случаѣ. Царское уложеніе ограждало, при этомъ, своимъ словомъ властнымъ и смерда, и боярина. Крестьянинъ, снявшійся съ земли помѣщичьей „тайнымъ уходомъ“, подвергался строгой карѣ законовъ; равно и помѣщикъ, не соблюдавшій, во всей полнотѣ, освященной царскою волей „старины“, наказывался пенею. „Крѣпки ряды Юрьевымъ днемъ!“,—гласило стародавнее народное слово и продолжало: „Мужикъ болитъ и сохнетъ по Юрьевъ день!“,—„На чью долю потянетъ поле, то скажетъ холодный Юрій!“, „Мужикъ — не тумакъ, знаетъ, когда живетъ на бѣломъ свѣтѣ зимній Юрьевъ день“.

[83]) Судебникъ—сводъ законовъ, составленный, по волѣ Іоанна III-го, дьякомъ Владиміромъ Гусевымъ въ 1497-мъ году и примѣнявшійся на Руси до 1550 года, когда былъ замѣненъ новымъ—составленнымъ Іоанномъ IV-мъ Грознымъ.

Любилъ всегда, какъ неизмѣнно любитъ и теперь, подсмѣяться надъ самимъ-собою, русскій простолюдинъ. Послѣ того, какъ было отмѣнено право перехода крестьянъ отъ одного помѣщика къ другому—повелѣніемъ царя Бориса Ѳеодоровича Годунова, а затѣмъ указомъ (отъ 9-го марта 1607 года) царь Василій Ивановичъ Шуйскій окончательно укрѣпилъ крестьянскія души за ихъ владѣльцами,—пошла ходить по народной Руси поговорка: „Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!“ Эта поговорка повела за собой другую: „Сряжалась баба на Юрьевъ день погулять съ барскаго двора, да дороги не нашла!“ Русскій мужикъ за словомъ въ карманъ не полѣзетъ, - выпустилъ онъ вслѣдъ за вторымъ и третье крылатое слово по поводу отмѣны Юрьева дня съ его вольготами: „Верстался мужикъ по Юрьевъ день радѣть о барскомъ добрѣ, а и сейчасъ засѣлъ, что бирюкъ, въ норѣ“. Да всѣхъ поговорокъ объ этомъ и не перечесть! Слово народное—крѣпче олова: вылетѣло вѣка тому назадъ, а и до сихъ поръ не пропадаетъ въ памяти,—хотя всѣ давно уже успѣли въ народѣ не только забыть объ „уложеніи“, связанномъ съ Юріемъ-холоднымъ, но даже и сами помѣщики утратили, по мановенію руки Царя-Освободителя, всѣ свои права на закрѣпощеніе крестьянина.

До нашихъ дней не успѣло исчезнуть съ лица народной Руси слово о томъ, что „Юрій холодный оброкъ собираетъ“. Еще совсѣмъ недавно повторялись, при случаѣ, смѣшливыми людьми и такія поговорки, какъ: „Судила Маланья на Юрьевъ день, на комъ справлять протори!“, или: „Позывалъ дьякъ мужика судиться на Юрья - зимняго, а мужикъ и былъ таковъ!“. Отошли въ область исчезнувшихъ преданій и „юрьевскіе оброки“, о которыхъ опредѣленно все постановлено было въ „Писцовыхъ книгахъ“ [81]), а еще и до сихъ поръ мѣстами на посельской Руси служатся на Юрія-холоднаго молебны о благополучномъ пути,—словно и теперь собираются православные переселяться въ этотъ день изъ одной вотчины въ другую. Такъ крѣпка въ русскомъ народѣ привязанность къ отжившей свой вѣкъ старинѣ.

„Егорьевское окликанье“, справляющееся по веснѣ, въ нѣ-

[81]) Писцовыя книги—русскіе правительственные документы XVI—XVII вѣковъ, служившіе основаніемъ для податного обложенія. Первая народная перепись была произведена на Руси въ XIII-мъ вѣкѣ татарами для сбора дани. Затѣмъ, ее производили княжескіе служилые люди. Первая всеобщая перепись (письмо) произведена въ 1538—1547 годы. Она-то и послужила матеріаломъ для первыхъ „Писцовыхъ книгъ“.

которыхъ мѣстностяхъ повторяется и на Юрія-холоднаго. Такъ, и теперь еще можно слышать въ захолустныхъ деревняхъ въ этотъ день пѣсню:

„Мы вокругъ поля ходили,
Егорья окликали,
Юрья величали:
Егорій ты нашъ Храброй,
Ты паси нашу скотинку
Въ полѣ и за лѣсомъ,
Подъ свѣтлымъ подъ мѣсяцемъ,
Подъ краснымъ солнышкомъ—
Отъ волка отъ хищнаго,
Отъ звѣря лукаваго,
Отъ медвѣдя лютаго!“.

По народной примѣтѣ, съ Юрія-холоднаго начинаютъ подходить къ сельскимъ задворкамъ волчьи стаи за добычею. „Что у волка въ зубахъ, то Егорій далъ!“,—говоритъ деревенскій людъ, утѣшаясь притомъ другой поговоркою: „На Руси два Егорья—холодный да голодный, а все тутъ Божья благодать!“ Народъ крѣпко вѣритъ, что, если молиться святому Георгію-Побѣдоносцу, то онъ никогда не допуститъ звѣря „зарѣзать животину“.

Съ зимняго Юрьева дня,—замѣчено старыми людьми,—засыпаютъ въ своихъ берлогахъ медвѣди. Въ стародавнюю пору существовало мѣстами даже и повѣрье о томъ, что будто-бы нѣкоторые, особенно разсчетливые, люди—изъ-за своей скупости—ложились 26-го ноября въ гробъ-домовину и засыпали по-медвѣжьему вплоть до самаго вешняго Юрія теплаго. Впрочемъ, это всецѣло относится къ области сказокъ.

Послѣ Юрія-холоднаго деревенскіе старожилы, проводивъ закатъ солнечный, выходятъ на дворъ къ колодцамъ и „слушаютъ воду“. Если она не шелохнется, это—по ихъ мнѣнію—предвѣщаетъ теплую зиму. Если-же изъ колодца раздаются какіе-нибудь звуки,—значитъ, надо ждать сильныхъ морозовъ и лютыхъ вьюгъ.

L.

Декабрь-мѣсяцъ.

Догоритъ-померкнетъ алая зорька вечерняя на Андреевъ день—и ноябрю, листогною студеному, конецъ. Проснется на утро красное солнышко, смотритъ: двѣнадцатый, послѣдній, мѣсяцъ стоитъ на дворѣ, декабремъ слыветъ, „студенемъ“ прозывается. У сородичей русскаго пахаря есть для этого мѣсяца и другія имена: „грудзень“—у поляковъ, „просинецъ“—у чеховъ со словаками, „волчій“—у сербовъ, „великобожничякъ“—у кроатовъ. „Декабрь годъ кончаетъ—зиму починаетъ!“, „Годъ декабремъ кончается, а зима зачинается!“, „Тороватъ декабрь-мѣсяцъ, что̀ и говоритъ: старое горе кончаетъ, новому году новымъ счастьемъ дорожку стелетъ!“,—говоритъ крылатое слово народа-простодума объ этомъ богатомъ стужею мѣсяцѣ, говоритъ-приговариваетъ: „Горя у декабря полная котомка—бери, не жалко, а счастьемъ старикъ силёнъ на посулѣ: одна его сила—много праздниковъ да морозы засилье берутъ!“

Первый день декабря-студеня—память святого пророка Наума, что, по старинному присловью, народъ наумитъ, „Пророкъ Наумъ наставитъ на умъ!“,—гласитъ объ этомъ угодникѣ Божіемъ народная мудрость: „Помолись пророку Науму—онъ, батюшка, и худой разумъ на умъ наведетъ!“, „Какъ ни наумь, а все старика Наума не перенаумишь!“, „Нашъ Наумъ—себѣ на умѣ: слушать слушаетъ, а знай—щи хлебаетъ!“, „Недоумка-дурака хоть Наумомъ назови—все умнѣй не станетъ!“,—замѣчаютъ деревенскіе краснословы, которымъ за̀ словомъ въ карманъ не ходить, когда оно у нихъ съ языка само по̀ходя просится.

Въ стародавніе годы.—а мѣстами это соблюдается еще и теперь.—съ Наумова дня было въ обычаѣ начинать обученіе дѣтей грамотѣ. Къ 1-му декабря сговаривались чадолюбивые родители съ приходскимъ дьячкомъ, или инымъ умудреннымъ въ книжномъ дѣлѣ человѣкомъ. Приходилъ на Святую Русь пророкъ Наумъ, — раньше ранняго будили ребятъ-малышей. „Просыпайтесь ранехонько, умывайтесь бѣлехонько, въ Божью церьковь собирайтесь, за азбуку принимайтесь! Богу помолитесь—до всего дойдете: святой Наумъ наставитъ на умъ!“—приговаривалось всегда при этомъ. Всѣмъ семействомъ шли къ обѣднѣ, — Богу молились, пророку Божьему молебенъ служили, неуклонно-непреложно вѣруя, что этимъ молебномъ испрашивается Божье благословеніе на принимающихся за трудное, не для всѣхъ постижимое, дѣло науки. Въ „Народномъ дневникѣ“ оказано должное вниманіе этому обычаю. Учителя, по свидѣтельству собирателя сказаній русскаго народа, встрѣчали въ назначенное время „съ почетомъ и ласковымъ словомъ, сажали въ передній уголъ съ поклонами“, воздавая подобающую дань преклоненія предъ его мудростью и отвѣтственностью принятаго имъ на себя дѣла, считавшагося наособицу угоднымъ Богу. Отецъ подводилъ сына къ учителю, передавалъ изъ рукъ въ руки, просилъ „научить уму разуму“, а за лѣность—„учащать побоями“. Обычай требовалъ, чтобы мать стояла въ это время въ нѣкоторомъ отдаленіи и заливалась слезами горючими. „Иначе—худая молва пронеслась-бы въ околоткѣ!“. Будущій ученикъ отдавалъ своему, грозному для него, учителю три земныхъ поклона, каждый изъ которыхъ сопровождался ударомъ плетки, заранѣе положенной передъ наставникомъ предусмотрительными родителями. Нѣтъ словъ,—удары были не особенно сильные. Послѣ этого приближалась родимая матушка посвящавшагося въ науку отрока, сажала сынка за столъ, подавала ему узорчатую костяную указку. Учитель принималъ еще болѣе прежняго строго-внушительный видъ и развертывалъ свой букварь. Начиналось велемудрое ученіе: „азъ-земля-еръ-азъ“. Умилявшаяся мать снова принималась плакать,—на этотъ разъ еще сильнѣе прежняго,—и просила-молила „не морить сына за грамотой“. Первый урокъ, и впрямь, былъ не утомителенъ: онъ не шелъ дальше первой буквы русской азбуки — заканчивался „азомъ“. Затѣмъ, букварь бережно завертывался въ холстину и укладывался умудреннымъ въ книжномъ дѣлѣ человѣкомъ на божницу, за святыя иконы. Успокоившаяся мать принималась угощать гостя всѣмъ, что есть въ печи — чѣмъ Богъ послалъ. Послѣ угоще-

нія подавали учителю коровай хлѣба-ситнаго и полотенце—первый отъ хозяина, послѣднее—отъ хозяюшки. Иной разъ завязывался въ узелокъ полотенца и пятакъ-другой—отъ усердія родимой матушки будущаго мудреца. Затѣмъ, съ поклономъ провожали учителя до воротъ,—чѣмъ обычай, заведенный, жившими по „Домострою", предками, и завершался.

Пророкъ Наумъ другого пророка Божія на Русь ведетъ: памятуется Православной Церковью 2-го декабря святой Аввакумъ (въ просторѣчьи—„Абакумъ"). Въ Абакумовъ день „понаумленнаго" наканунѣ мальчика снаряжали къ учителю. Съ букваремъ и указкой въ рукахъ шелъ ученикъ; о-бокъ съ нимъ—болѣзная матушка сердобольная несла горшокъ гречневой каши, зарумяненной на-славу, не жалѣючи промасленной. Не возбранялось также приносить учителю что-нибудь и поздобнѣе каши—курицу, а то и гуся.

3-е декабря—день святого Іоанна-молчальника, въ который даже и самыя словоохотливыя старушки даютъ молодежи добрые совѣты въ-родѣ того, чтобы „не болтать языкомъ—что овца хвостомъ", „не говорить вздору—не выносить изъ избы сору" и т. п. Въ этотъ-же день повторяются на Руси старыя изреченія: „Слово серебро, молчаніе—золото!", „Слово не воробей, вылетитъ—не поймаешь!", „Отъ одного слова, да навѣкъ ссора!", „Бритва скребетъ, слово—рѣжетъ!" Не малое, а великое значеніе придаетъ русскій народъ живому слову, которымъ онъ такъ богатъ. „Человѣку дано слово, скоту—нѣмота!"—говоритъ онъ, подъ корень подрѣзывая этимъ сопоставленіемъ любезныя сердцу благочестивыхъ старушекъ Божьихъ приведенныя выше поговорки: „Что слово, то и дѣло!", „Слово—законъ, словцо—олово!", „И кладъ со словомъ кладутъ: кому дастся, а кому—нѣтъ!", „Не давъ слова крѣпись, а далъ—держись!", „Скажу слово, берегись—обожгу!", „Слово пуще стрѣлы разитъ!", „Твое бы слово, да Богу въ уши!" Величаетъ народъ слово и на иной ладъ,—зоветъ его „краснымъ", да не только словомъ, а и „словечушкомъ": „Ласково словечушко—что вешній день!"—приговариваетъ онъ, прибавляя къ этому: „То и человѣкъ хорошъ, коли онъ кому—слово, кому—словцо, а кому и словечушко!", „Не бойся той собаки, которая лаетъ, бойся той—что молчитъ!" По народному убѣжденію—„Злое слово вѣдуномъ по свѣту ходитъ, а доброе словцо—красной дѣвицей!", „Отъ злого слова не станется!", „Ласково словечко не трудно, да споро!", „Хорошая молва дѣло роститъ; жаль, что добрая-то дома лежкой-лежитъ, а худая далече бѣжитъ!" Воздавая почетъ живому слову, народная Русь, однако, порою не-прочь и оговорить

слишкомъ щедрыхъ на него краснобаевъ. „Ты ему слово, а онъ тебѣ десять!“, „На словахъ-то онъ скоръ, да на дѣлѣ не споръ!“, „Слово слову розь: словомъ Богъ міръ создалъ, словомъ Іуда предалъ Господа!“, „На словахъ—такъ-и-сякъ, а на дѣлѣ—никакъ!“, „Его слова на водѣ вилами писаны!“, „Твое слово дешево, ты на словахъ какъ на саняхъ, на словахъ—что на гусляхъ, а на дѣлѣ—какъ на копылѣ!“, „У него слово слово родитъ, третье само бѣжитъ, слово за-словомъ, а коснись до дѣла: стой, не туда заѣхали!“—говорится въ народной Руси.

За Абакумами—Варвары великомученицы (4-е декабря). „Варвара мосты моститъ (на югѣ)-домащиваетъ (на сѣверѣ)!“. „На Варвару зима дорогу доварвариваетъ!“, „Все тепло да тепло, погоди—придетъ Варвара: заварварятъ и морозцы!“, „Трещитъ Варюха—береги носъ да ухо!“—можно услышать въ народѣ объ эту пору студеную. Имя этой домащивающей, по народному представленію, зимніе ледяные мосты святой тѣсно связано съ памятуемыми въ слѣдующіе дни (5-го декабря) преподобнымъ Саввою и (6-го) Николаемъ-Чудотворцемъ. По записаннымъ В. И. Далемъ поговоркамъ—„Варвара мститъ, Савва стелетъ, Никола гвоздитъ!“, „Варвара заваритъ, Савва засалитъ, Никола закуетъ!“ Даже о праздничномъ гуляньѣ говоритъ сельщина-деревеньщина, связывая эти три имени: „Лучше не саввить и не варварить, а пониколить!“, „Просаввились мужики, проварварились, послѣдній грошъ пониколили!“ и т. п. Деревенскіе погодовѣды примѣчаютъ, что „къ Варварамъ“ день становится какъ-будто подлиннѣе: „Варвара ночи урвала“,—говорятъ они,—„ночи урвала—дня притачала!“

Слагатели русскихъ народныхъ стиховъ духовныхъ посвятили великомученицѣ Варварѣ цѣлый рядъ своихъ пѣсенныхъ сказаній. Въ разныхъ мѣстахъ—разные и стихи поются. Въ одномъ именуется она „красной невѣстой небесна чертога“, въ другомъ—„красною дѣвой“, которую „кровь (пролитая за Христа) украшаетъ“; третій, подслушанный въ Симбирской губерніи, заканчивается возгласомъ: „Царствуй, дѣвице, со Христомъ вовѣки, Варваро прекрасная!“; по словамъ четвертаго (Смоленской губ., Краснинскаго уѣзда) она—„законъ благодати“; пятый стихъ—совершено иного склада. Вотъ начальныя строки его, съ достаточной степени свидѣтельствующія о его народномъ—не книжномъ—происхожденіи:

„Свѣтъ-рай за рѣкой
И ангелы за быстрой;

Рай-свѣтъ перевѣснлъ
На нашу сторонку:
Какъ на нашей на сторонкѣ
Съ неба благодать"...

Наибольшую цѣнность должно придать, однако, не этой простодушной пѣснѣ, а сказанію чисто повѣствовательному. Въ немъ пересказывается все житіе великомученицы, приукрашенное цвѣтами простонародной рѣчи цвѣтистой. „Во времена Максиміана царя, безбожнаго эллинскаго цесаря, славенъ-богатъ былъ родомъ эллинъ, въ Иліополѣ, звался Діоскоромъ. Родилась ему дочка единая, Варвара именемъ мученица. Красотою она весма пригожа, ровныя ей нѣту подъ небомъ..."—начинается сказаніе. Выстроилъ,—говорится въ немъ далѣе,—эллинъ Діоскоръ своей дочери высокій теремъ и посадилъ ее въ немъ, окруживъ дѣвушками-прислужницами. „Глядитъ она на небо и землю",—повѣствуетъ безвѣстный сказатель,—и загорается у ней въ душѣ мысль о томъ: кто сотворилъ все видимое? Дѣвушки-прислужницы пытаются объяснить ей, что міръ создали боги. „То не истина",—отвѣчаетъ имъ святая Варвара, „ибо тѣ боги рукою сотворены, потому что они бездушные истуканы. Какъ бы могли они все то учинить? Я никогда не могу тому увѣровать!" Время шло... Пришла пора думать о свадьбѣ. „Выбирай дочка, кого хочешь, мужемъ—кого, дочка, душа твоя любить!" Дочь—и смотрѣть ни на кого не хочетъ. Отецъ разрѣшаетъ ей гулять по городу—чтобы „видѣть, гдѣ межъ себя молодежь водится." Принялась Варвара гулять, начала водиться съ христіанскими дѣвушками и стала она все болѣе и болѣе питать склонность къ христіанству. Строили мастера у ея отца баню,—строили, „два окна продѣлывали". Уговаривала Варвара продѣлать, вмѣсто двухъ, три окна. Отказывались сначала мастера—изъ боязни Діоскора, но всетаки сдались на просьбы. Возвращается однажды эллинъ домой, пошелъ на постройку—видитъ три окна. На вопросъ о нихъ дочь отвѣчаетъ ему: „Три окна во образѣ Троицы, Отца, Сына и Лице Духа Святаго". Выхватилъ саблю „Діоскоръ проклятый"—хочетъ убить Варвару. Стала она бѣгать передъ отцомъ, а онъ—гоняться за ней. Но молитва ея была услышана: „какъ добѣжала она къ той горѣ каменной, гора передъ нею сама отворилась". Сталъ искать ее Діоскоръ, найти не можетъ. Обратился онъ къ пастухамъ, пасшимъ овецъ по склону горы. Указалъ ему одинъ изъ нихъ „перстомъ на горы". Пошелъ онъ по указанному пути, нашелъ свою дочь—Варвару, и „за власы

схватилъ онъ ее", воротился въ городъ, — „за власы влекетъ онъ ее, бьетъ ее нещадно палицей, предалъ ее игемону Маркіану: научи мнѣ сію окаянную, отврати ее отъ Назарейской вѣры и мучь ее, какъ знаешь горше!" Началъ Маркіанъ „прельщать ее рѣчами"...—„Жаль, дѣва, дивной красоты твоей, что предаешь мукѣ тѣло свое и позоришь твоего родителя; того ты, несчастная, и желаешь, ибо ты вѣру нашу попрала и боговъ нашихъ посрамила!" Въ отвѣтъ на эти рѣчи великомученица Варвара говоритъ, что она хочетъ пострадать за Христа. Эти слова распалили гнѣвомъ игемона, отдалъ онъ ее „немилостивымъ мучителямъ". Били-терзали ее воловыми жилами, бросили чуть не замертво въ глубокую темницу. Настала полночь. Совершилось великое чудо: засіяла свѣтомъ небеснымъ темница, сошелъ въ нее Христосъ. Перевязалъ Онъ кровавыя раны Своей исповѣдницѣ,— „до зари она прекрасно исцѣлѣла". Когда поутру привели ее къ Маркіану, онъ, увидѣвъ ее здравою, сказалъ: „видишь боговъ нашихъ святую силу! Какъ они тебя прекрасно исцѣлили, свою милость тебѣ показали!" Держитъ отвѣтъ ему страдалица: „Не отъ боговъ твоихъ ложныхъ пришло мнѣ сіе исцѣленіе, но то Христово драгое промышленіе. Боги ваши и глухи, и нѣмы!" Обуялъ гневъ діавольскій игемона, приказываетъ Маркіанъ повѣсить ее на деревѣ. Начались новыя, тягчайшія, муки для святой Варвары: „гребнями ее по тѣлу драли и свѣчами ребра ей палили, и молотомъ бьютъ по головѣ ее,—дай богатыря, кто бы то стерпѣлъ!" Но великомученица, ободряемая вѣрою въ Бога, терпитъ безропотно. Стояла неподалеку отъ нея „жена нѣкая, Юліана звана", умилилась зрѣлищемъ до слезъ: „Дай мнѣ, Боже, да могу стерпѣти, съ Варварою придти къ тебѣ Богу!" И принялась она хулить игемона нечестиваго, и предали ее на муки вмѣстѣ съ „невѣстой Христовой". Видя, что не сильны надъ святой вѣрою никакія муки, повелѣлъ игемонъ повести мученицъ за городъ и отрубить имъ головы. Отецъ Варвары-великомученицы, Діоскоръ, взялъ съ собою саблю острую и, не зная границъ лютой жестокости, отсѣкъ дочери „честную главу". Стихъ кончается карою Божіей, постигшею нечестивыхъ мучителей: „Діоскору да и Маркіану казнь дана имъ отъ Бога: Маркіанъ шелъ съ горы, ударила его молнія съ высоты: Діоскоръ сидѣлъ въ дому, громы его съ неба поразили. Слава Богу и Богородицѣ и Варварѣ, Божьей мученицѣ!"...

Пройдетъ святой Савва-освященный, „просалитъ морозомъ землю"; за Саввою—Никола-зимній, со всѣмъ веселымъ

„николиньемъ“ этого любимаго простонароднаго праздника. О пріуроченныхъ народной памятью къ этому дню своеобразныхъ, изъ глубокой старины идущихъ, обычаяхъ—свой сказъ наособицу, какъ и о цѣломъ звенѣ повѣрій, обступающихъ день св. Спиридона („Спиридонъ-солноворотъ“)—12-е декабря.

Какъ прошла „красная пивомъ да пирогами“ Никольщина, повернули Спиридоны солнце на лѣто, а зиму на морозъ, минулъ Евстратіевъ день (13-е декабря), смотритъ деревня, а до перелома-половины декабря всего однѣ сутки остались („Каллиники“ — 14-е декабря). 16-го декабря—Аггеевъ день. „Пророкъ Аггей иней сѣетъ“—по народной примѣтѣ. Примѣчаютъ погодовѣды завзятые, что—если на Аггея инея много, будутъ и Святки съ мягкой погодушкою. Морозъ на Аггея—стоять ему до самаго Крещенья. Въ семнадцатый день заканчивающаго годъ мѣсяца—память пророка Даніила и святыхъ отроковъ Ананіи, Азаріи и Мисаила. Сѣдая старина чествовала въ московской и новгородской Руси эту память зрѣлищемъ „Пещнаго дѣйства“ (см. въ концѣ главы).

Далекимъ отголоскомъ этого - послѣдняго является торжественное разжиганіе за околицей костра въ ночь съ 17-го на 18-е декабря, сохранившееся въ иныхъ мѣстностяхъ сѣверныхъ губерній. Собирается вокругъ такого костра деревенская молодежь и, когда огонь разгорится особенно сильно,—въ него бросаютъ трехъ слѣпленныхъ изъ снѣга куколъ. Тающимъ снѣгомъ заливаетъ костеръ, и всѣ расходятся по домамъ. По примѣтѣ — если скоро загаснетъ подъ снѣговыми куклами пламя, то Святки будутъ богаты ясными-вёдреными днями, ко всякой гулянкѣ сподручными; если-же долго будетъ тлѣть-дымиться костеръ, то надо ждать бурановъ-мятелицъ да жестокихъ морозовъ нестерпимыхъ, — такихъ, что даже и птица налету станетъ мерзнуть.

19-го декабря, кромѣ другихъ святыхъ угодниковъ Божіихъ, чествуется, по православному мѣсяцеслову, память преподобнаго Ильи Муромскаго, мощи котораго почиваютъ подъ спудомъ въ Кіево-Печерской лаврѣ. Въ народной—крестьянской Руси имя этого святого нераздѣльно сливается съ именемъ сказочнаго богатыря Ильи-Муромца, подвиги котораго, воспѣтые въ былинахъ, не могутъ изгладиться въ памяти народа-пахаря, нивы-поля чьи охранялъ - берегъ „матерой казакъ“—среди братьевъ-богатырей старшой-наибольшій—ото всякой наносной бѣды-невзгоды, отъ ворога лютаго, воранахвальщика. Этотъ богатырь (Илья-Муромецъ,сынъ Ивановичъ), просидѣвшій сиднемъ тридцать лѣтъ и три года „близъ славнаго города Мурома, въ томъ-ли селѣ Карачаровѣ“,

является олицетвореніемъ несокрушимой силы богатырской дружины, могучимъ охранителемъ стольна-города Кіева отъ „поганой орды", налетавшей на Русь православную. Онъ, по свидѣтельству стародавнихъ былинъ, съ честью-славою несетъ на своихъ могутныхъ плечахъ немалую службу родинѣ, обороняя рубежъ великокняжескій. Онъ, одинъ онъ, остается „надёжей" ласковаго князя Владиміра — Красна-Солнышка, когда всѣ другіе богатыри поразойдутся-поразъѣдутся во всѣ четыре стороны свѣта бѣлаго—искать, съ кѣмъ помѣряться своей мочью-силой богатырскою. Съ большимъ вниманіемъ останавливаются былинныя сказанія на Ильѣ, неоднократно возвращаясь къ нему, чтобы лишній разъ—при подходящемъ случаѣ—вызвать воспоминаніе объ его мощномъ обликѣ. Да и не однѣ былины, а и сказки съ пѣснями, честь-честью воздаютъ матерому казаку, славой своею пережившему всю семью богатырей древнекіевскихъ, вплоть до нашихъ дней дающему изобильную пищу воображенію народа-пѣснотворца.

Яснѣе всего представляется онъ въ три поры своего богатырскаго вѣка: въ былинахъ о каликахъ-перехожихъ, зашедшихъ въ Карачарово и „поднявшихъ" будущаго богатыря съ мѣста его тридцатитрехлѣтняго сидѣнья; затѣмъ—въ былинахъ о первой поѣздкѣ его въ Кіевъ, стольный градъ, и, наконецъ, въ былинѣ о Калинъ-царѣ. Изъ многочисленныхъ разносказовъ этихъ былинъ встаетъ во весь ростъ предъ слушателями-читателями излюбленный народной памятью славный-могучій богатырь.

Первый по старшинству лѣтъ въ гридницѣ богатырской, первый и по силѣ между составляющими семью-дружину Володимерову, добродушный, хотя и не дающій спуска ничьей обидѣ-похвальбѣ, Илья-Муромецъ всегда и вездѣ—на первой очереди въ устахъ хранителей былинъ старины стародавней. Первая богатырская поѣздка его подробно описывается въ посвященной ей отдѣльной былинѣ. Ѣдетъ,—гласитъ она,—старый (ни въ одной былинѣ онъ не зовется молодымъ),—ѣдетъ старый ко стольному городу той дорогой прямоѣзжею, которую залегла вражья сила ровно тридцать лѣтъ,—ѣдетъ черезъ тѣ лѣса брынскіе, черезъ черны грязи смоленскія, гдѣ поставилъ заставы крѣпкія Соловей-разбойникъ, не пропускающій мимо себя безданно-безпошлинно ни коннаго, ни пѣшаго. Во лѣсахъ темныхъ, во брынскихъ, наѣзжалъ Илья на самого Соловья-разбойника, тридцать лѣтъ хозяйничавшаго, по своему воровскому изволенію, на Святой Руси. Не страшится Илья ни его шипа змѣинаго, ни рева турінаго—пускаетъ богатырь стрѣлу разбойнику во правый глазъ,

привязываетъ Соловья къ сѣдельной лукѣ, проѣзжаетъ заставы крѣпкія. Не соблазняетъ матерого казака стараго золотая казна, не трогаютъ его богатырскаго сердца слезныя мольбы жены разбойничьей,—стегаетъ онъ коня по крутымъ бедрамъ, везетъ неслыханную, нежданную-негаданную, добычу въ Кіевъ—стольный градъ. На пиру у свѣтлаго князя Владиміра выпиваетъ незваный гость Илья за единый духъ „чару зелена вина въ полтора ведра“, повѣствуетъ о своемъ первомъ подвигѣ, поимкѣ вора-разбойника, залегшаго дороги прямоѣзжія. Но этотъ, изумившій всю богатырскую дружину, подвигъ теряетъ немалую долю своего значенія при дальнѣйшемъ ознакомленіи съ судьбою матерого казака, расчищавшаго пути-дороги русскому народу православному.

„Подымался злой Калинъ-царь, злой Калинъ, царь Калиновичъ, изъ орды, золотой земли, ко стольному городу со своею силой поганою“... Поднялся и всталъ на Днѣпрѣ, въ семи верстахъ отъ города. „А сбиралось, съ нимъ силы на сто верстъ, а отъ пару было отъ конинаго, а и мѣсяцъ, солнце померкнуло!..“ Шлетъ Калинъ-царь ярлыки свои: „Владиміръ-де, князь стольнокіевскій! А наскорѣ сдай ты намъ Кіевъ-градъ безъ бою, безъ драки великія!“ Кабы не Илья,—быть-бы „великому сорому“ на всю Святую Русь; сдалъ-бы князь Кіевъ силѣ татарской... Вызволилъ богатырь князя изъ бѣды, уложилъ на-земь чуть не всю орду... „Схватилъ Илья татарина за ноги, который ѣздилъ въ Кіевъ-градъ, и зачалъ татариномъ помахивать: куда-ли махнетъ, тутъ и улицы лежатъ, куда отмахнетъ—съ переулками“... Побѣжали пришельцы лютые, незванные гости поганые,—побѣжали, кричатъ зычнымъ голосомъ: „Не дай Богъ намъ бывать ко Кіеву, не дай Богъ видѣть русскихъ людей! Неужто въ Кіевѣ всѣ таковы?!“. Сослужилъ богатырь Илья добрую службу Красному-Солнышку—князю Владиміру...

Выходящій изъ предѣловъ возможнаго, яркій образъ богатыря—насадителя порядковъ въ странѣ и оборонителя стольнаго города сливается во многихъ былевыхъ пересказахъ съ образомъ мудраго совѣтчика великокняжескаго, не останавливающагося ни передъ какими затруднительными обстоятельствами, не знающаго своей силѣ преграды ни въ чемъ. Но князь стольнокіевскій далеко не всегда держитъ въ чести стараго богатыря: не только силой грузенъ Илья-Муромецъ, крестьянскій сынъ,—богатъ онъ и смѣлою правдой-маткою... Не по̀сердцу, подъ иной часъ, князьямъ правда мужицкая, сѣрая, „неумытная“. Попадаетъ за нее и Муромецъ Илья, вмѣсто милостей княжескихъ, въ погреба—подъ затворы желѣзные...

Но и это не умаляетъ его правдолюбія... Не мириться вовѣкъ ему, правому, съ кривдой-лестью, змѣей подколодною, изъ-за синяго моря далекаго заползающей и въ рубленыя палаты-хоромы ко Красному Солнышку Русской Земли, Руси древне-кіевской. Могучій богатырь, онъ не имѣетъ себѣ равнаго въ этомъ отношеніи во всей семьѣ-дружинѣ хороброй. Потому-то такъ крѣпко и памятуетъ о немъ деревенская серьяжная Русь.

За св. Ильею Муромскимъ Игнатій-Богоносецъ идетъ, двадцатый день декабря-мѣсяца ведетъ на широкій свѣтлорусскій просторъ. На Игнатія во многихъ мѣстахъ Руси великой поднимаютъ иконы и, съ молебнымъ пѣніемъ, носятъ вокругъ села. Это, по вѣрованію народа, охраняетъ всю худобу-рухлядь мужицкую на зиму ото всякой напасти. На вторыя сутки послѣ Богоносца (22-го декабря)—память святой Анастасіи-узорѣшительницы. Молитва къ этой великомученицѣ,—гласитъ простонародная мудрость, — способствуетъ благополучному разрѣшенію отъ бремени. Потому-то и служится въ этотъ день столько молебновъ по церквамъ. 23-го декабря—день св. Ѳеодула. „Пришелъ Ѳедулъ, вѣтеръ подулъ — къ урожаю!“— говоритъ подсказанная долгимъ сельскохозяйственнымъ опытомъ деревенская примѣта. Пройдутъ „зимніе Ѳедулы“,—приведутъ сочельникъ, канунъ великаго праздника, Рождества Христова. „Пришла Коляда наканунѣ Рождества“,—заколядуютъ подъ окнами ребята малые, а, словно вторя имъ, раздается наутро изъ устъ старцевъ убогихъ и древле-божественный стихъ духовный, посвященный всей жизни Христа, починающійся умилительными словами:

„Іисусе прекрасный,
Чистоты цвѣтъ ясный!
Повѣдай намъ,
Господь Богъ Самъ:
Откуду родился,
На земли явился,
Возможно-ли знати,
Разумъ подати!...“

За Рождествомъ идутъ Святки, веселье ведутъ разгульное, несутъ забавы, повѣрья да преданія всякія. О Святкахъ—свой особый сказъ.

Въ „Мѣсяцесловѣ“ каликъ-перехожихъ есть свое пѣсенное слово и о декабрѣ-мѣсяцѣ. „Молимъ васъ, святіи вси, къ намъ нынѣ приспѣти, егда хощемъ отъ души пѣньми васъ воспѣти“,—начинается этотъ стихъ, немедленно переходящій къ

славословію памятуемыхъ въ декабрьскіе дни святыхъ угодниковъ Божіихъ: „Тя, пророче Науме, вѣрно призываемъ, съ Оввакумомъ чуднымъ усты восхваляемъ. И освященный Савво, отче богоносный, великій Николае, дивный чудотворче, съ Амвросіемъ словесну жертву вамъ приносимъ, съ Потапіемъ блаженнымъ и помощи просимъ: въ бѣдахъ намъ и напастехъ присно помогайте и отъ всякихъ печалей, молимъ, избавляйте. Бога прамати Анно, заченшимъ тя плодомъ моли за ны къ Богу съ неплоднымъ отродомъ. Ермогене, Евграфе, Мино страстотерпцы, Даніиле съ Лукою, на столпахъ страдальцы, Спиридоне, Киприномъ чудотворецъ славный, Евстратіе съ Орестомъ, ликъ пятострадальный, Ѳирсе и Филимоне, мученицы честніи, Елефферіе, Павле, жители небесніи, Аггее, Даніиле, славни пророцы, со Ананіемъ въ пещи бывши отроцы, съ дружиною всею и Севастіяне, Христа о насъ молите. Вонифатіе славне, Игнатіе, сомленный львовыми зубами, Уліяно, пребуди, мученице, съ нами. Петре, Анастасіе, узы разрѣшите грѣховъ нашихъ и страстей, съ Десятію въ Критѣ. Евгеніе, страдалице, облегчи недуги. Рождся Христе отъ Дѣвы, расторгни вся втуги. Дѣво, твоимъ Соборомъ, Іосифе честный, Стефане, возсіяйте свѣтъ свыше небесный. Двѣ тмѣ Никомидійскихъ со многими младенцы, Троицѣ святѣй молите о насъ страстотерпцы. Маркелле, Анисіе, Зотиче, царствуйте, Меланіе, и намъ всѣмъ жизнь ходатайствуйте!“

Святками декабрь кончается; ими-же начинается и первый мѣсяцъ новаго года. Слыветъ начало января „перезимьемъ“.

На католическомъ Западѣ, гдѣ Богослуженіе совершалось и совершается на непонятномъ для народа латинскомъ языкѣ, духовныя представленія становились необходимой потребностью въ цѣляхъ насажденія понятій о правилахъ вѣры и запоминанія событій Ветхаго и Новаго Завѣта. Православіе-же, родное по языку каждому исповѣдающему его народу, не нуждалось въ такой наглядности своей проповѣди, почему и церковное лицедѣйство не получило у него такого права гражданства, какъ въ нѣдрахъ католической церкви. Но, тѣмъ не менѣе, отголосокъ средневѣковыхъ „мистерій“ слышится и въ лѣтописяхъ нашего богослужебнаго обихода XV—XVII столѣтій. Русскія церковныя, правда, очень немногочисленныя, „дѣйства“—прямое порожденіе западно-католическихъ мистерій, превращавшихъ храмъ въ мѣсто зрѣлищъ. Сохранились свѣдѣнія только о четырехъ дѣйствахъ древнерусской Церкви: это—„Пещное дѣйство“, „Дѣйство Страшнаго Суда“,

„Шествіе на ослятѣ" и „Дѣйство омовенія ногъ". сохранившееся въ нѣкоторыхъ своихъ частностяхъ и до нашего времени. Первое совершалось въ послѣднее воскресенье предъ Рождествомъ Христовымъ; второе—въ недѣлю мясопустную. т. е. въ воскресенье предъ Масляницею; третье—въ недѣлю Ваій. въ Вербное Воскресенье; четвертое—въ четвергъ на Страстной седьмицѣ. Этихъ четырехъ дѣйствъ. по справедливому замѣчанію А. Н. Веселовскаго [83]). было слишкомъ недостаточно для зарожденія драмы въ самой церкви. и еслибы позднее заимствованіе школьной мистеріи не вызвало къ недолговѣчной жизни духовный русскій театръ. то и самое существованіе его было-бы у насъ немыслимо.

„Пещное дѣйство", давно уже исчезнувшее безъ слѣда изъ нашей церковной обрядности. представляло собою самый любопытный образецъ древнерусскаго церковнаго зрѣлища. Своеобразный чинъ этого дѣйства занесенъ на страницы „Древней Россійской Вивліоѳики" Н. И. Новикова: нѣкоторыя особенности его сохранены въ запискахъ нѣсколькихъ иностранныхъ путешественниковъ. Утратившись въ народной памяти. оно не могло сдѣлаться достояніемъ изустнаго преданія. а потому всецѣло перешло въ область письменности. Несомнѣнно совершавшееся и въ другихъ большихъ городахъ. оно происходило въ Москвѣ, Вологдѣ и Новгородѣ. причемъ въ послѣднемъ сохранялось дольше всѣхъ другихъ городовъ и совершалось съ наибольшей торжественностью. Памятникомъ новгородскаго чина этого „дѣйства" хранится въ императорской академіи художествъ. перевезенная. по свидѣтельству Н. И. Костомарова. въ концѣ 50-хъ годовъ XIX-аго столѣтія „Новгородская халдейская пещь" („Очеркъ домашн. жизни и нрав. великорусск. народа"). О началѣ возникновенія этого стародавняго благочестиваго обряда нашей Церкви не встрѣчается указаній ни у одного изъ пытливыхъ изслѣдователей

---

[83]) Алексѣй Николаевичъ Веселовскій—извѣстный историкъ литературы, братъ автора Славянскихъ сказаній о Соломонѣ и Китоврасѣ", „Исторіи романа и повѣсти", „Разысканій въ области русскихъ духовныхъ стиховъ" и другихъ изслѣдованій, родился въ Москвѣ въ 1843-мъ году, а образованіе получилъ на филологическомъ факультетѣ московскаго университета. Первый печатный трудъ его („Музыка у славянъ") помѣщенъ въ „Русск. Вѣстникѣ" 1866 г. Черезъ четыре года появилась книга его „Старинный театръ въ Европѣ". Онъ принималъ дѣятельное участіе въ „Бесѣдѣ", С.-Петерб. Вѣдом.", „Недѣлѣ", „Вѣстн. Европы", „Русск. Вѣдомост." и друг. изданіяхъ. Имъ записаны замѣчательные этюды о Свифтѣ, Мольерѣ, Бомарше и западномъ вліяніи въ русской литературѣ. Очерки о Мольерѣ доставили ему (въ 1879 г.) дипломъ почетнаго доктора московскаго университета и открыли путь къ профессорской дѣятельности.

русской старины,—равно какъ нѣтъ и разъясненій причины предпочтенія, оказаннаго изображавшемуся въ немъ въ лицахъ ветхозавѣтному событію передъ всѣми другими, наиболѣе чествуемыми Церковью и народомъ.

Еще за нѣсколько дней до послѣдняго воскресенья предъ Рождествомъ Христовымъ начинались приготовленія къ этому торжественному зрѣлищу. Въ соборѣ разбирали паникадило надъ амвономъ и приготовляли для установки на мѣстѣ послѣдняго „пещь". Это былъ полукруглый поставецъ безъ крышки, съ боковымъ входомъ на подмосткѣ. Разрисованныя соотвѣтствующими изображеніями, стѣны „пещи" были раздѣлены на части двѣнадцатью столбиками, „зѣло искусно" украшенными позолоченной рѣзьбою. По крайней мѣрѣ, такою представляется „халдейская пещь", хранившаяся до конца пятидесятыхъ годовъ XIX-го столѣтія во главѣ Софійскаго новгородскаго собора. Въ субботу послѣ обѣдни, по распоряженію соборнаго ключаря, пономари убирали амвонъ и устанавливали пещь. Возлѣ послѣдней ставилось нѣсколько желѣзныхъ „шандаловъ" съ витыми восковыми свѣчами. Благовѣстъ къ вечернѣ въ этотъ день звучалъ особой торжественностью и продолжался не менѣе часа. Начиналась вечерня. Въ переполненный народомъ соборъ входили три отрока, одѣтые въ парчевые стихари съ вѣнцами, или—какъ это было въ Вологдѣ — съ обшитыми заячьимъ мѣхомъ и позолоченными шапками на головахъ. Это были пѣвчіе или монастырскіе служки, которымъ предназначалось изображать въ лицахъ Ананію, Азарію и Мисаила—отроковъ, „ввергнутыхъ въ пещь Вавилонскую". За ними появлялись: „отроческій учитель" и „халдеи". Послѣдніе, по свидѣтельству Олеарія, были въ длинныхъ хламидахъ изъ краснаго сукна, съ деревянными раскрашенными шляпами на головахъ. Ихъ длинныя бороды были намазаны медомъ, въ рукахъ у нихъ были бѣлые „убрусы" (полотенца), которыми и связывались руки отрокамъ передъ тѣмъ, какъ ввергать ихъ въ пещь. Кромѣ убрусовъ, халдеи держали еще особаго устройства трубы съ вложенною въ нихъ травою и съ огнемъ. „Учитель отроческій" присутствовалъ для того, чтобы наблюдать за правильнымъ ходомъ дѣйства. Въ храмъ вступалъ митрополитъ; впереди шли „отроки" съ зажженными свѣчами. Справа и слѣва сопутствовали святителю „халдеи". Отроки, черезъ сѣверныя врата, входили въ алтарь одновременно съ владыкой; халдеи—оставались въ трапезѣ. За вечерней первые пѣли вмѣстѣ съ подъяками, вторые—безмолвствовали. За шесть часовъ до разсвѣта, по установившемуся годами обычаю, начиналось самое дѣйство. Мит-

рополитъ шествовалъ къ заутренѣ въ томъ-же самомъ порядкѣ, какъ и къ вечернѣ —сопутствуемый отроками и халдеями. Заутреня служилась съ особой торжественностью. Когда кончалась седьмая пѣснь канона, посвященная воспоминанію о трехъ отрокахъ, ввергнутыхъ въ пещь Вавилонскую, запѣвался особый канонъ въ честь Ананіи, Азаріи и Мисаила, всѣ ирмосы котораго примѣнялись къ повѣствованію пророка Даніила. При исполненіи седьмой пѣсни этого канона, учитель отроческій выступалъ впередъ, творилъ троекратные поклоны предъ иконами и, обратившись къ митрополиту, возглашалъ: „Благослови, владыко, отроковъ на уреченное мѣсто ставити!“ Владыка благословлялъ его со словами: „Благословенъ Господь Богъ нашъ, изволивый тако!“ И тогда испрашивавшій благословеніе подходилъ къ отрокамъ, перевязывалъ полотенцами и „предавалъ“ ихъ стоявшимъ въ ожиданіи своей очереди начинать дѣйство халдеямъ. Послѣдніе, взявшись за концы изображавшихъ оковы „убрусовъ“, шли—одинъ впереди, другой позади отроковъ, которые держались другъ за друга руками. Передъ обставленной горящими свѣчами „пещью“ (число подсвѣчниковъ, окружавшихъ послѣднюю, доходило до пятидесяти), одинъ изъ халдеевъ произносилъ, указывая пальмовой вѣткою на пещь:—„Дѣти царевы! Видите-ли пещь сію, очень горящу и весьма распаляему?“ Другой халдей заканчивалъ обращеніе товарища словами: „Сія пещь уготована вамъ на мученіе!“ Тогда отрокъ, изображавшій собою Ананію, отвѣчалъ: „Видимъ мы пещь сію и не ужасаемся ея; есть бо Богъ нашъ на небесахъ, Ему мы служимъ,—Той силенъ изъяти насъ отъ пещи сія!“ Отрокъ Азарія добавлялъ: „И отъ рукъ вашихъ избавитъ насъ!“ Мисаилъ заканчивалъ отвѣтъ словами: „И сія пещь будетъ не намъ на мученіе, а вамъ на обличеніе“. Вслѣдъ за этимъ отвѣтомъ, соборный протодіаконъ ставъ въ царскихъ вратахъ, зажигалъ „свѣчи отроческія“ и отроки пѣли: „И потщимся на помощь!“ Они приготовлялись къ предстоящимъ мученіямъ. Протодіаконъ передавалъ свѣчи митрополиту, который и вручалъ ихъ подступавшимъ къ нему отрокамъ, благословляя ихъ на муки. Учитель отроческій, еще передъ полученіемъ ими благословенія святительскаго, развязывалъ ихъ. Въ это время происходилъ обмѣнъ словъ между халдеями, звучавшій—въ противовѣсъ умиленію, проникающему рѣчи страдальцевъ-отроковъ—грубой рѣзкостью. Этимъ какъ-бы нарочно подчеркивалась разница между первыми и послѣдними. „Товарищъ!“—произносилъ одинъ изъ мучителей—Чево?—отзывался другой.—„Это дѣти царевы?“—Царе-

вы.—„Нашего царя не слушаютъ?“—Не слушаютъ!—„И златому тѣльцу не поклоняются?“—Не поклоняются.—„И мы вкинемъ ихъ въ пещь?“—И начнемъ ихъ жечь!...—Затѣмъ халдеи, взявъ Ананію подъ-руки, „ввергали“ его въ пещь, обращаясь къ Азаріи со слѣдующими словами: „А ты, Азарія, чего сталъ? И тебѣ у насъ то-же будетъ!“ Когда всѣ три отрока были, введены на приготовленное имъ для мученія мѣсто, къ „пещи“ подходилъ очередной „звонецъ-пономарь“ съ сосудомъ, наполненнымъ углями, и ставилъ его подъ нее. Послѣ этого раздавался возгласъ протодіакона: „Благословенъ Господи Боже отецъ нашихъ! Хвально и прославлено Имя Твое вовѣки!“ Этотъ возгласъ повторялся отроками; а ихъ мучители, размахивая вѣтвями, какъ-бы раздували огонь. Протодіаконъ читалъ пѣснь: „Правы пути Твои, судьбы истинны сотворилъ еси!“ Раздавалось пѣніе дьяковъ. На слова протодіакона: „И распаляшеся пламень подъ пещію“...—соборъ оглашалъ отвѣтъ отроковъ: „яже обрѣсте о пещи халдейстей“. Въ это время ключарь собора принималъ отъ святителя благословеніе—„ангела спущати въ пещь“. Діаконы принимали отъ халдеевъ трубы съ огнемъ. Протодіаконъ восклицалъ: „Ангелъ же Господень купно со Азаріиною чадію въ пещь“ и т. д. При произнесеніи стиха „яко духъ хладенъ и шумящъ“—появлялся ангелъ, держа свитокъ и съ шумомъ спускаясь въ средину пещи. Халдеи, при его появленіи, падали ницъ, и діаконы опаляли имъ бороды свѣчами. Халдеи начинали снова свой разговоръ: „Товарищъ!“—Чево?—„Видишь-ли?“—Вижу!—„Было три, а стало четыре.“—Грозенъ и страшенъ зѣло, образомъ уподобися Сыну Божію! и т. д. Въ это время отроки припадали къ ангелу, держась за его крылья руками. Ангелъ поднимался (на веревкахъ) вмѣстѣ съ ними и бросалъ ихъ (также, конечно, опуская на веревкахъ) сверху. Протодіаконъ читалъ пѣснь отроковъ, они пѣли ее, дьяки вторили имъ на обоихъ клиросахъ поочередно. Халдеи, со вновь зажженными свѣчами, стояли „поникнувъ главою“. При пѣніи: „Благословите тріе отроцы“, ангелъ спускался, съ громомъ и шумомъ, въ пещь; халдеи падали наземь отъ страха. Ангелъ снова поднимался ; мучители подходили къ пещи и, отворивъ двери ея, безъ шапокъ на головахъ, произносили: „Ананія! Гряди вонъ изъ пещи! Чего сталъ? Поворачивайся!... Неиметъ васъ огонь, ни солома, ни смола, ни сѣра. Мы чаяли—васъ сожгли, а мы сами сгорѣли!..“ Послѣ минутнаго молчанія, они выводили отроковъ, одного вслѣдъ за другимъ. Надѣвъ на себя упавшія на полъ, при первомъ появленіи грознаго для нихъ ангела, деревянныя шапки,—они, взявъ въ

руки свои трубы съ огнемъ, становились справа и слѣва спасенныхъ ангеломъ отроковъ. Въ соборѣ раздавалось громоподобное многолѣтіе «царю-государю и всѣмъ властемъ предержащимъ». За этимъ многолѣтіемъ продолжалась, по обычному порядку прерванная дѣйствомъ заутреня. Послѣ пѣнія «Слава въ Вышнихъ Богу», соборный протопопъ входилъ вмѣстѣ съ отроками въ пещь и читалъ тамъ Евангеліе. Затѣмъ, пещь убирали и ставили амвонъ на прежнее мѣсто. Пещное дѣйство кончалось—до слѣдующаго года. На присутствовавшихъ въ соборѣ при совершеніи дѣйства, послѣднее производило каждый разъ неотразимое впечатлѣніе, хотя все это и выполнялось съ самой первобытною наивной грубостью простодушной старины.

Въ XVII-мъ столѣтіи церковный обрядъ «Пещнаго дѣйства» слился въ понятіи простолюдиновъ съ обычаемъ святочнаго ряженья. «Халдеи» расхаживали по городу вмѣстѣ съ ряженными—«на посрамленіе врага рода человѣческаго». Вмѣстѣ съ ряженными они, по разсказамъ очевидца—Олеарія, надѣвъ безобразныя «личины», ходили изъ дома домъ, кривлялись на улицахъ и площадяхъ, привлекая къ себѣ вниманіе своими красными хламидами и деревянными шапками. Они ежегодно получали разрѣшеніе отъ митрополита (а въ Москвѣ—отъ патріарха) въ теченіе всѣхъ Святокъ «бѣгать по улицамъ съ потѣшными огнями», поджигать бороды зазѣвавшимся мужикамъ и всячески потѣшаться. Въ день Крещенія Господня «іордань» являлась для нихъ «колодеземъ очищенія отъ всякія скверны бѣсовской»: въ ледяной проруби они купались вмѣстѣ съ ряженными, скоморохами и всякими другими «блазнями».

Веселыя Святки давали встарину широкій просторъ всякому «глумотворству». «Комидійное дѣло», зарождавшееся въ тѣ времена на Руси при помощи завзятыхъ «глумовъ»—скомороховъ, конечно, не имѣло ничего общаго по содержанію и обстановкѣ съ совершавшимся по освященному преданіемъ чину дѣйствомъ. Это, выросшее грубоватымъ народнымъ смѣхословіемъ, произведеніе народной веселости имѣло пристанище только на улицѣ, въ толпѣ разгулявшагося люда. Переходя за границы пристойности, наши первые русскіе «комедіанты» вызывали на себя всевозможныя нареканія со стороны духовенства. При царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ на скоморошество было воздвигнуто настоящее гоненіе.

Но при сынѣ Михаила Ѳеодоровича суждено было веселому дѣйству»—только на другой, никого не вводившей въ

соблазнъ основѣ—проникнуть даже въ самыя палаты царскія, „предъ свѣтлыя очи государевы“. Народился русскій (правда, съ нѣмецкими лицедѣями) театръ; началась лѣтопись русской сцены. Подъ вліяніемъ Матвѣева[86]) и другихъ передовыхъ русскихъ людей того времени, стоявшаго на рубежѣ перерожденія стародавняго уклада, царь Алексѣй Михайловичъ мало-по-малу шелъ навстрѣчу европейской жизни. Въ 1675-мъ году въ палатахъ государевыхъ появился новоприбывшій въ Москву нѣмецкій оркестръ Готфрида Іоганна Грегори. Заслуживъ „зѣло искусной игрою“ одобреніе царя, нѣмчинъ признался боярину Матвѣеву, что онъ пріѣхалъ на Русь—съ цѣлью открыть театральныя представленія, и, что всѣ его товарищи—не только „игрецы“, но и „комидійнаго дѣла мастера“. Не прошло и мѣсяца по прибытіи Грегори въ Москву, какъ, съ разрѣшенія государя, во дворцѣ села Преображенскаго давалось первое на Руси представленіе: „Комедія, какъ Алаферна царица царю голову отсѣкла“. За нею шли: „Комедія объ Артаксерксѣ и Аманѣ“, „Мистерія о Товіи и сынѣ его“ и друг. Перваго сентября 1677 года, предъ „синклитомъ царевымъ“, была разыграна въ „комидійской хоромінѣ“ комедія Симеона Полоцкаго [87])—„О Навуходоносорѣ-царѣ, о тѣлѣ златѣ и о трехъ отрокахъ, въ пещи сожженыхъ“. Какъ видно и по самому заголовку ея, это было не что иное, какъ обработанное въ болѣе стройномъ видѣ древнерусское „Пещное дѣйство“. Ветхозавѣтный разсказъ сохраненъ здѣсь съ большей близостью къ правдѣ былого. „Комедія“ открывается выходомъ Навуходоносора.

[86]) Артамонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ—бояринъ, знаменитый дѣятель московской Руси. Онъ родился въ 1625-мъ, умеръ въ 1682-мъ году. Въ молодости онъ участвовалъ въ цѣломъ рядѣ войнъ. Сближеніе съ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ, взявшимъ—послѣ смерти первой супруги своей—въ жены воспитанницу Матвѣева, Наталію Кирилловну (впослѣдствіи мать императора Петра Великаго), сослужило не малую службу русскому народу. Въ лицѣ Матвѣева на Русской Землѣ появился другъ иностранцевъ, проложившій въ дебряхъ допетровской косности первую тропу европейскому просвѣщенію. Смерть царя Алексѣя Михайловича отстранила Матвѣева отъ двора государева: онъ, по происканъ своихъ недруговъ, былъ сосланъ въ Пустозерскъ, откуда вернулся лишь послѣ кончины царя Ѳеодора Алексѣевича (въ 1682 г.), снова удостоился почестей, но всего на нѣсколько дней, такъ какъ палъ одною изъ первыхъ жертвъ стрѣлецкаго бунта, поднятаго по наущенію приверженцевъ старины, враждебной всякимъ „новшествамъ“.

[87]) Симеонъ Полоцкій—русскій духовный писатель XVII-го вѣка. Онъ родился въ 1629-мъ году въ гор. Полоцкѣ, учился въ кіево-могилевской коллегіи, по окончаніи курса который принялъ монашескій санъ съ именемъ Симеона (мірское имя его неизвѣстно) и сталъ „дидаскаломъ“ (учителемъ-воспитателемъ) въ полоцкой братской школѣ. Въ 1664-мъ году онъ переселился въ Москву, по приглашенію царя Алексѣя Михайловича, и занялся обученіемъ

Онъ отдаетъ повелѣніе воздвигнуть ему драгоцѣнную статую и поклонаться ей. Слуги горлаго царя, отдернувъ завѣсу, показываютъ ему его „образъ" и раскаленную печь. Всѣ преклоняются предъ статуей. Трехъ отроковъ еврейскихъ, не исполняющихъ повелѣнія, бросаютъ въ пламя шесть воиновъ. Пораженный невредимостью отроковъ, Навуходоносоръ возвѣщаетъ страдальцамъ свою милость, „хвалитъ Единаго Бога" и отдаетъ новый приказъ: „Аще кто дерзнетъ Бога хулити, убіенъ буди, а домъ расхитити повелѣваемъ!" Грубая шероховатость дѣйства въ „комедіи" значительно сглажена ея сочинителемъ.

Со времени сооруженія „комидійной хоромины" въ Москвѣ, мало по-малу начали исчезать изъ храмовъ „дѣйства". Отголоскомъ западно-европейскихъ „мистерій" нашелъ себѣ мѣсто въ стѣнахъ учрежденнаго благочестивымъ царемъ перваго русскаго театра, всецѣло посвященнаго въ эту пору своего существованія событіямъ Священнаго Писанія.

молодыхъ подъячихъ Тайнаго Приказа—въ Спасскомъ монастырѣ (за Иконнымъ рядомъ). Одновременно съ этимъ онъ занялся сочинительствомъ. Въ 1667-мъ году была издана царемъ его книга „Жезлъ правленія на правительство мысленнаго стада православно-россійскія церкви", и онъ былъ назначенъ воспитателемъ царскихъ дѣтей. Вскорѣ затѣмъ появились его сочиненія: „Вертоградъ Многоцвѣтный" (сборникъ стихотвореній), „Житіе и ученіе Христа", „Книга краткихъ вопросовъ и отвѣтовъ" и „Вѣнецъ вѣры каѳолическія". Проповѣди, произносившіяся имъ съ церковной каѳедры, собраны и изданы послѣ его смерти („Обѣдъ, душевный" и „Вечеря душевная"). Въ 1680-мъ году были изданы переложенный Полоцкимъ въ стихи „Псалтирь" и стихотворный-же сборникъ „Риѳмологіонъ". Кромѣ того, имъ написаны комедіи: „О Навуходоносорѣ царѣ" и „О Блудномъ Сынѣ," пользовавшіяся успѣхомъ въ новорожденномъ русскомъ театрѣ. Дѣятельность С. Полоцкаго—какъ писателя, проповѣдника и педагога—оказала большое вліяніе на современное ему, находившееся въ младенческомъ состояніи, русское общество. Умеръ онъ въ 1680-мъ году и похороненъ въ Заиконоспасскомъ монастырѣ.

II.

Зимній Никола.

„Зима—за морозы, а мужикъ—за праздники!“, „Какъ ни зноби морозъ, а праздничекъ веселый теплѣе печки пригрѣетъ!“—говорятъ на посельской-попольной Руси. Декабрьское звено праздниковъ, связанныхъ въ народной памяти съ различными повѣрьями, обычаями и сказаніями, начинается шестого декабря зимнимъ Николинымъ днемъ („Зимнимъ Никòлою“). Хоть,—какъ уже говорилось выше,—великомученица Варвара, по представленію народной Руси, „мосты домащиваетъ“, а за нею святой Савва „гвозди вострить“, да „рѣки салитъ“, — а всетаки, — добавляетъ деревня,—„Хвали зиму послѣ Никòлина дня!“. Но одновременно съ этимъ можно услышать въ народѣ и другія поговорки-примѣты, въ-родѣ такихъ, какъ: „Коли на Михайловъ день зима закуетъ, то на Николу раскуетъ!“, „Коли зима до Николина дня слѣдъ заметаетъ, дорогѣ не стоять!“ и т. д.

Зимній Никола ведетъ съ собою никольскіе морозы—дожидаючись которыхъ, говоритъ деревенскій людъ въ позднозимье: „Подошелъ-бы Никола, а ужъ зима на санкахъ пріѣдетъ за нимъ!“.—„Привезли зиму на санкахъ до Николы,—вотъ тебѣ и жданная оттепель!“—проносится молвь по народу въ рапнія зимы, когда чуть-ли не съ самаго Покрова не скидаетъ бѣлоснѣжной шубы съ могучихъ плечъ своихъ земля-кормилица. Богатъ народъ русскій силой-мочью богатырскою, но не бѣднѣе онъ и кудреватой рѣчью крылатою: что ни шагъ у него, то свое цвѣтистое словцо наособицу. И нѣтъ конца, нѣтъ смерти-забвенья этимъ словамъ: изстари вѣковъ зародятся—до скончанія вѣка живутъ! Не беретъ ихъ, что

называется, ни холодомъ, ни голодомъ, ни какимъ бы то ни было другимъ попущеньемъ.

Св. Николая-чудотворца зоветъ людъ православный великимъ угодникомъ Божіимъ и обращается къ его защитѣ и заступничеству во всякой бѣдѣ-напасти, крѣпко вѣруя въ необоримую силу его святой молитвы передъ Господомъ. Но наиболѣе всего прибѣгаетъ русскій народъ подъ покровъ „Николы“, путешествуя на водахъ. „Съ Николой-угодникомъ“ связано имя покровителя морей и рѣкъ. На него съ теченіемъ времени перенеслось стародавнее представленіе древняго славянина-язычника о Морскомъ Царѣ. Чудеса, совершонныя имъ, по словамъ житія его, на морѣ, дали народу поводъ къ объединенію ихъ съ чудодѣйными свойствами древне - языческаго божества, повелѣвавшаго морскими пучинами. По вѣрованію, внушаемому ученіемъ Православной Церкви, молитвами св. Николая усмиряются волненія моря, по его свѣтозарному слову—затихаютъ грозныя водяныя бури.

Въ старинной новгородской былинѣ о „Садкѣ, богатомъ гостѣ, и Царѣ Морскомъ“ упоминается объ этомъ свойствѣ великаго угодника Божія. Разыгрался на гусляхъ Садко, въ подводномъ дворцѣ владыки поддоннаго сидючи; расплясался подъ его игру гусельную Царь Морской, и поднялась на морѣ буря великая,—что ни часъ, то грознѣе. Но вмѣшался тутъ Николай-Угодникъ: „Гой еси ты, Садко-купецъ, богатый гость!“—обращается онъ, явившись во снѣ, къ гусляру подневольному:

„А рви ты свои гусли звончаты;
Расплясался у тебя Царь Морской,
А сине море всколебалося,
А и быстры рѣки разливалися,
Топятъ много бусы (лодки), корабли,
Топятъ души напрасныя...“

Послушался Садко, „изорвалъ онъ струны золотыя и бросаетъ гусли звончаты, пересталъ Царь Морской скакать и плясать: утихло море синее, утихли рѣки быстрыя“.

Николѣ-угоднику дана Міродержцемъ, по народному представленію, влать надо всѣми темными силами, скрывающимися въ безднѣ подводной отъ силы вѣры во Христа Спасителя и святыхъ Его. Въ преданіяхъ балканскихъ славянъ (сербовъ, болгаръ и др.), передается, что, по окончаніи мироздания, при дѣлежѣ вселенной между силами небесными, Богъ-Саваоѳъ передалъ св. Николаю-чудотворцу—въ его полную власть—„всѣ воды и броды“.

У насъ, на Руси, съ незапамятныхъ поръ, слыветъ Никола въ народѣ „морскимъ“ и „мокрымъ“. Послѣднее прозвище укрѣпилось за нимъ и не только потому, что его молитва спасаетъ плавающихъ по водамъ, но и оттого еще, что онъ держитъ въ своей властной рукѣ и воды подземныя. Влага, выступающая изъ-подъ земли и спасающая поля отъ засухи, поднимаясь въ видѣ испареній и снова падая нагрудь земную дождемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ признается даромъ св. Николая чествующему его народу-землепашцу. Потому-то и оставляется во многихъ селахъ на сжатой, нивѣ горсть колосьевъ „на бороду святому Николѣ“ — обычай, въ большинствѣ случаевъ связанный съ почитаніемъ Ильи-пророка.

Шестого декабря, по преданію, Никола - угодникъ спускается съ небесныхъ полей на оснѣженную землю и шествуетъ по лицу Земли Русской, обходя ее—обыденкой — изъ конца въ конецъ. И убѣгаютъ отъ него, еще загодя, всѣ духи тьмы, какъ огня - молніи Ильи-пророка, боящіеся суроваго взгляда очей св. Николая.

Существуетъ и до сихъ поръ еще бродитъ въ народѣ, о́бокъ съ каликами-перехожими и памятливыми „сказителями“ старыхъ былей и небылицъ, любопытный сказъ о состязаньи Николы-угодника съ Ильею - громо́вникомъ. Въ давнія времена,—повѣствуетъ перенесшій этотъ сказъ изъ устъ народа на печатныя страницы своихъ „Поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу“ А. Н. Аѳанасьевъ,—жилъ-былъ мужикъ, Николинъ день завсегда почиталъ, а въ Ильинъ нѣтъ-нѣтъ, да и работать станетъ; Николѣ-угоднику и молебенъ отслужитъ, и свѣчу поставитъ, а про Илью-пророка и думать забылъ. Вотъ разъ какъ-то идетъ Илья-пророкъ съ Николою полемъ этого-самаго мужика, идутъ они да смотрятъ—на нивѣ зеленя́ стоятъ такія славныя, что душа не нарадуется. „Вотъ будетъ урожай, такъ урожай!“—говоритъ Никола.—„А вотъ посмотримъ!“—отвѣчаетъ Илья: „Какъ спалю я молніей, какъ выбью градомъ все поле, такъ будетъ мужикъ правду знать да Ильинъ день почитать!“ Поспорили и разошлись въ разныя стороны. Никола-угодникъ сейчасъ къ мужику: „Продай,—говоритъ, скорѣе ильинскому попу весь хлѣбъ на корню; не то ничего не останется, все градомъ повыбьетъ!“... Мужикъ послушался. Прошло ни много, ни мало времени: собралась-понадвинулась грозная туча, страшнымъ градомъ и ливнемъ разразилась она надъ нивою мужика, весь хлѣбъ—какъ ножомъ срѣзала. На другой день идутъ мимо Илья съ Николою, и говоритъ Илья: „Посмотри каково́ разорилъ я мужиково поле!“ А Ни-

кола-угодникъ — въ отвѣтъ ему, что хлѣбъ-де мужичекъ даже на корню продалъ. „Постой-же,— я опять поправлю дѣло, будетъ она вдвое лучше прежняго!“ Никола опять къ мужику и заставилъ его выкупить побитое поле. Между тѣмъ, смотритъ что дальше — стала мужикова нива поправляться: отъ старыхъ корней пошли новые, свѣжіе побѣги. Дождевыя тучи подолго носятся надъ полемъ и поятъ землю: чудный урожай хлѣба — высокій да густой, сорной травы совсѣмъ не видать, а колосъ налился полный-полный, такъ и гнется къ землѣ. Пригрѣло солнышко, и созрѣла рожь—словно золотая стоитъ въ полѣ. Много нажалъ мужикъ сноповъ, много наклалъ копенъ, ужъ собрался возить да въ скирды складывать. На ту пору идетъ Илья съ Николою: узнаетъ Илья, что поле мужикомъ выкуплено, и говоритъ: „Постой-же отыму я у хлѣба спорость! Сколько-бы ни поклалъ мужикъ сноповъ, больше четверика заразъ не вымолотитъ!“ — Никола-угодникъ идетъ къ мужику и совѣтуетъ ему, во время молотьбы, больше какъ по одному снопу не класть на токъ. Сталъ мужикъ молотить, что ни снопъ, то и четверикъ зерна: всѣ закромà, всѣ клѣти засыпалъ рожью, и все еще много остается: пришлось строить новые амбары...“

Св. Николай-чудотворецъ представляется воображенію народа то въ образѣ „добраго дѣда“ (Никола Милостивый), то въ видѣ суроваго старца; то обликъ его проходитъ богатырской поступью, напоминающею „походочку“ Микулы Селяниновича, сына Матери-Сырой-Земли. Ему приписывается не только власть надъ морями, не только защита хлѣбородныхъ полей, но и многое другое.

„Кому на комъ жениться, тотъ въ того и родится!“,—говоритъ старинная русская пословица. „Всякая невѣста—своему жениху невѣстится!“, — дополняетъ ея смыслъ другая, равнозначащая съ цѣлымъ рядомъ ей подобныхъ, въ-родѣ: „Суженаго конемъ не объѣдешь!“, или „Сужено ряжено— не объѣдешь въ кузовѣ“ и т. д. И вотъ, вѣрующій въ заступничество Николы-Милостиваго деревенскій людъ надѣляетъ его силою „связывать судьбу суженыхъ“. Отсюда-то и проистекаетъ соблюдающійся людьми, твердо памятующими старину, обычай служить послѣ свадебнаго сговора молебствіе Николѣ-угоднику о благополучіи брачущихся. „Смерть да жена — Богомъ суждена!“ — по убѣжденію народной мудрости. „Судьба придетъ, по рукамъ свяжетъ“. И простолюдинъ, рѣшающійся на такой важный шагъ жизни, прежде всего вспоминаетъ о своемъ могучемъ заступникѣ.

Вмѣстѣ съ Ильей-пророкомъ и Михаиломъ-архангеломъ, приписываетъ народъ св. Николаю-чудотворцу участіе въ перевозѣ душъ христіанскихъ черезъ рѣки огненныя, отдѣляющія предѣлы земные отъ міра загробнаго. Среди благоуханнаго рая, подъ густымъ навѣсомъ „племенитаго лавра“, распустившаго во всѣ стороны свѣта бѣлаго свои вѣтви золотыя съ листьями серебряными, „на святомъ ложѣ“, усыпанномъ пестрыми цвѣтами духовитыми, лежитъ-почиваетъ „святой отецъ Никола“. Приходитъ къ нему,—говоритъ сказаніе,—Илья-громовый. „Вставай, Никола, пойдемъ въ лѣсъ, построимъ корабли и давай перевозить души съ того свѣта на этотъ!“ Это преданіе повторяется съ одинаковой точностью у всѣхъ славянскихъ народовъ,—что̀ является явнымъ доказательствомъ нерушимой духовной связи даже у разъединенныхъ судьбами единокровныхъ братьевъ.

Удѣливъ св. Николаю-чудотворцу обширное мѣсто въ области своихъ чудесныхъ сказаній, окруживъ его имя вереницею обычаевъ и повѣрій и разсыпавъ вокругъ него яркую рóзсыпь пословицъ, поговорокъ и всякихъ реченій, народъ не забылъ о немъ и въ своихъ заговорахъ. Вотъ одинъ изъ послѣднихъ (самый немногословный): „Завяжи, Господи, колдуну и колдуньѣ, вѣдуну и вѣдуньѣ уста и языкъ на раба Божія (имя рекъ) зла не мыслити. Михайло-архангелъ, Гавріилъ-архангелъ, Никола-милостивъ! Снидите съ небесъ и снесите ключи и замкните колдуну и колдуньѣ, вѣдуну и вѣдуньѣ и упырю нàкрѣпко и твердо. И сойдетъ Никола-милостивъ, и снесетъ желѣза и поставитъ отъ земли до небесъ, и запретъ тремя ключами позолоченными, и тѣ ключи броситъ въ окіянъ-море; въ окіянъ-морѣ лежитъ камень алатырь: тебѣ - бы, камню, не отложаться, а вамъ ключамъ не выплывать по мое слово!“..

„У того-ли, у Николы можайскаго,
Тѣ мужики новгородскіе соходилися,
На братчину, на Никольщину,
Начинаютъ пить канунъ, пива ячныя“...

Такъ пѣлось въ старинной пѣснѣ, занесенной Киршею Даниловымъ въ его „Древнія русскія стихотворенія“. „Никольщина-братчина“ справляется и въ настоящее время, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, преимущественно въ сѣверныхъ губерніяхъ. Это—„обѣтный“ праздникъ, готовясь ко встрѣчѣ котораго, варятъ всею деревней, на общій счетъ, пиво, разпиваемое до послѣдней капли въ одинъ день (кромѣ „Николы зимняго“ это блюдется и въ нѣкоторые другіе праздники). Встарину на

Николу приносили „мужики новгородскіе“ къ обѣднѣ въ церковь жареныхъ пѣтуховъ, баранину и коровай хлѣба. Часть этого отдавалась причту церковному за молебенъ, а остальное—шло на угощеніе съѣзжавшихся и сходившихся на братчину. „На братчину ѣздятъ незваны!“, „Братчина судитъ, ватага—рядитъ!“—говорятъ въ народѣ.—„На Никольщину и друга зови, и ворога зови, оба друзья будутъ!“—добавляетъ онъ въ другомъ изреченіи, намекая на то, что за однимъ столомъ съ братающимся людомъ сидитъ и Яръ-Хмѣль, общій примиритель. „Николить“—праздновать Никольщину — является въ то-же самое время равнозначащимъ словамъ: пить, гулять, пьянствовать „Наши заниколили“, — говорятъ въ народной Руси, любовно относящейся къ своему „веселію“, но тутъ-же слѣдомъ приговариваютъ: „Что наковалъ, то и проникололъ!“, „Доникололся до сумы“... Крылатое слово народное рисуетъ яркую картину деревенскаго веселья, связаннаго съ зимней Никольщиною. Вся эта картина составлена изъ поговорокъ, въ-родѣ: „Веселилась Маланья на Николинъ день, что мірскую бражку пьетъ, а того Маланья не вѣдаетъ, что за похмѣлье мужиковъ бьютъ!“, „Звали бабы Никольскихъ ребятъ брагу варить, а того бабы не вѣдали, что ребята только брагу пьютъ!“, „На Никольщину ѣдутъ мужики съ поглядкой, а послѣ Никольщины валяются подъ лавкой!“; „Знать мужика, что Никольщину справлялъ, коли на головѣ шапка не держится!“... Въ такихъ поговоркахъ народъ самъ подсмѣивается надъ своимъ обычаемъ; но онъ-же всетаки не такъ-то ужъ строго порицаетъ этотъ-послѣдній, если и теперь повторяетъ старыя слова: „Никольщина красна пивомъ да пирогами!“, „Для кума Никольщина бражку варитъ, для кумы пироги печетъ!“, „Городская Никольщина на санкахъ по улицѣ бѣжитъ, а деревенская въ избѣ сидитъ да бражку пьетъ!“, „Горевалъ мужикъ по Никольщинѣ, зачѣмъ она не цѣлый вѣкъ живетъ!“

Сохранились въ памятникахъ народнаго изустнаго творчества и другія изреченія, обнаруживающія подкладку, имѣющую значеніе для изученія лѣтописей быта русской деревни: „Никольщина не ходитъ съ поклономъ на барскій дворъ!“, „Позывала Никольщина барщину въ гости пировать, а того Никольщина и не вѣдала, что на барщину царемъ отъ Бога навѣкъ заказъ положенъ!“ и т. д.

Зимній Никола, однако, запечатлѣвается въ памяти русскаго крестьянина не только всѣмъ приведеннымъ выше. День, посвященный Церковью памяти святого угодника Божія, вѣдающаго „всѣ воды и всѣ броды“, былъ встарину (а

мѣстами остается и до сихъ поръ) днемъ перваго хлѣбнаго торга. „Цѣны на хлѣбъ строитъ Никольской торгъ!“, „Никольской обозъ для боярской казны дороже золота!“, „У добраго мужика и на Никольщину торгъ стоитъ!“...Длинная цѣпь подобныхъ этимъ, подсказаннымъ многовѣковымъ хозяйственнымъ опытомъ, поговорокъ замыкается наиболѣе точною изъ нихъ: „Никольской торгъ всему указъ“.

LII.

Спиридонъ-солноворотъ.

Двѣнадцатое декабря, день, посвященный Православной Церковью памяти святого Спиридона, въ неписанномъ народномъ дневникѣ является отмѣченнымъ совершенно особыми примѣтами-повѣрьями, присвоенными исключительно ему. Это—день, когда, по старинному преданію приближающемуся къ дѣйствительности—„солнце поворачиваетъ на лѣто, а зима—на морозъ“.

Поэтому-то всегда непремѣнно къ имени воспоминаемаго въ этотъ день святого и присоединяются прозвища: „солноворотъ“, „солнцеворотъ“, „поворотъ“ и т. п. „На Спиридона-солновората медвѣдь въ берлогѣ поворачивается на другой бокъ!“—говоритъ деревенскій людъ.—„Послѣ солновората хоть на воробьиный скокъ да прибудетъ дня!“—добавляетъ онъ къ этимъ словамъ, выводя такое заключеніе изъ своихъ непосредственныхъ наблюденій надъ обступающей его бытъ природою.

Эти-же самыя наблюденія заставляютъ его повторять каждое 12-е іюня, въ день „Петра-капустника-поворота“ (св. Петра Аѳонскаго) примѣты: „Съ Петра—солнце на зиму, а лѣто на жары!“, „Солнце съ Петра-капустника укорачиваетъ ходъ, а мѣсяцъ идетъ на прибыль!“. 24-го іюня, на Ивановъ день, совершается,—говорятъ въ народѣ,—первый торжественный выѣздъ солнца въ далекій зимній путь: дни съ этой поры начинаютъ уменьшаться, а ночи—прибывать все замѣтнѣе.

По одному старинному сказанію—солнце, выѣзжая съ зимняго на лѣтній путь, не знаетъ разстилающейся передъ его

LII.

Спиридонъ-солноворотъ.

Двѣнадцатое декабря, день, посвященный Православной Церковью памяти святого Спиридона, въ неписанномъ народномъ дневникѣ является отмѣченнымъ совершенно особыми примѣтами-повѣрьями, присвоенными исключительно ему. Это—день, когда, по старинному преданію приближающемуся къ дѣйствительности—„солнце поворачиваетъ на лѣто, а зима—на морозъ“.

Поэтому-то всегда непремѣнно къ имени воспоминаемаго въ этотъ день святого и присоединяются прозвища: „солноворотъ“, „солнцеворотъ“, „поворотъ“ и т. п. „На Спиридона-солноворота медвѣдь въ берлогѣ поворачивается на другой бокъ!“—говоритъ деревенскій людъ.—„Послѣ солноворота хоть на воробьиный скокъ да прибудетъ дня!“—добавляетъ онъ къ этимъ словамъ, выводя такое заключеніе изъ своихъ непосредственныхъ наблюденій надъ обступающей его бытъ природою.

Эти-же самыя наблюденія заставляютъ его повторять каждое 12-е іюня, въ день „Петра-капустника-поворота“ (св. Петра Аѳонскаго) примѣты: „Съ Петра—солнце на зиму, а лѣто на жары!“, „Солнце съ Петра-капустника укорачиваетъ ходъ, а мѣсяцъ идетъ на прибыль!“. 24-го іюня, на Ивановъ день, совершается,—говорятъ въ народѣ,—первый торжественный выѣздъ солнца въ далекій зимній путь: дни съ этой поры начинаютъ уменьшаться, а ночи—прибывать все замѣтнѣе.

По одному старинному сказанію—солнце, выѣзжая съ зимняго на лѣтній путь, не знаетъ разстилающейся передъ его

огненными взорами новой дороги. Дѣва-Зоря (богиня) ведетъ его по небу, каждымъ утромъ умываетъ его росой до тѣхъ поръ, пока она выступаетъ на земной растительности. Другое сказаніе говоритъ, что съ лѣта на зиму поворачиваетъ „колесо солнца краснаго“ богъ-громовникъ — Перунъ, отождествленный впослѣдствіи съ грознымъ Ильею-пророкомъ, объединившимъ въ себѣ, по народному представленію, главнѣйшія особенности языческихъ божествъ древнеславянскаго Олимпа.

По словамъ этого сказанія, призванный повернуть солнцево колесо и освѣжить удушливый лѣтній воздухъ, Перунъ совершаетъ этотъ подвигъ во мракѣ ночи. На темномъ небѣ, по его волѣ, загораются-расцвѣтаютъ яркіе огненные цвѣты молній. Тучи и рѣки озаряются блескомъ „грозоваго пламени“; дубравы бьютъ челомъ Матери-Сырой-Землѣ, потрясаемыя грозной бурею. Громовыя стрѣлы разбиваютъ облачныя горы открывая затаенное въ ихъ подземныхъ скрыняхъ золото солнечныхъ лучей. Все это неизмѣнно сопровождается цѣлымъ вихремъ буйныхъ плясокъ, игръ и пѣсенъ злыхъ духовъ.

Выѣхавшее въ зимній путь солнце, что ни день, теряетъ свою плодотворную силу, оживляющую нѣдра земныя. Блекнетъ зеленый нарядъ природы, замолкаютъ одна за другою пѣвчія птицы, зрѣетъ и снимается съ полей хлѣбъ, засѣваются новыя озимыя поля, собирается въ отлетъ и покидаетъ Русь перелетное птаство, засыпаютъ на зимнюю пору мухи, свертываются клубками и также засыпаютъ змѣи. И вотъ-матушка-зима появляется на землѣ во всей суровой красѣ своей, со вьюгами-заметями, ледяными мостами, сугробами сыпучими, морозами трескучими. Злыя силы, затемняющія силу свѣта солнечнаго, забираютъ на землѣ все въ свою власть, заставляющую даже и неособенно зябкаго человѣка прятаться-хорониться въ хату отъ стужи и согрѣваться искусственнымъ тепломъ. Непривѣтливымъ-затуманеннымъ взоромъ смотритъ на землю небо, все рѣже и рѣже освѣщаемое солнечными лучами, какъ-будто и само красное солнышко собирается въ эти покоренные зимой студеною угрюмые дни если не умереть, то заснуть тяжелымъ, полнымъ зловѣщихъ сновидѣній томительнымъ сномъ.

Наступаетъ, однако, и конецъ росту силы-власти вороговъ свѣта и тепла, — приходитъ на землю Спиридонъ-солноворотъ. И словно возрождается свѣтило свѣтилъ небесныхъ. По древнему, не отжившему и до сихъ поръ своего вѣка на Руси повѣрью, рядится красное солнышко въ праздничный сара-

фанъ свой, убираетъ волосы серебряные золотымъ кокошникомъ и садится на свою телѣгу, запряженную лихой тройкою—конями серебрянымъ, золотымъ и алмазнымъ—и поворачиваетъ ихъ на лѣтнюю дорогу. Чѣмъ ретивѣе погоняетъ оно своихъ коней, тѣмъ трусливѣе поджимаютъ хвосты демоны мрака, чувствуя, что приспѣваетъ конецъ ихъ своевольничанью на Святой Руси.

Солнце, круто поворачивая съ зимы на лѣто, словно возрождается къ новой жизни съ новой силою,—хотя и говоритъ народъ, что со Спиридона-солноворота до Новаго года день прибавляется всего только „на куриный шагъ“, или даже и того менѣе—„на гусиную лапу“. Радуясь побѣдѣ источника свѣта надъ силами тьмы, наши отдаленные предки разжигали по горамъ и пригоркамъ костры. Даже и теперь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ сохранился въ деревенской глуши обычай чествовать первый поворотъ солнца зажиганіемъ костровъ въ ночь на 12-е декабря,—хотя, обыкновенно, справляютъ этотъ пережившій вѣка обычай старины въ другое время: въ ночь подъ Рождество, подъ Новый годъ, или въ крещенскій сочельникъ.

Весь декабрь-мѣсяцъ считался встарину мѣсяцемъ благотворнаго возжиганія солнца всемогущимъ Перуномъ-громовникомъ на радость всему жаждущему тепла и свѣта на землѣ. Въ малорусскихъ и бѣлорусскихъ мѣстностяхъ, гдѣ долѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было на Руси, сохранялись древніе народные обычаи, еще не такъ давно—въ честь предстоящаго торжества солнца—варилось къ Спиридонову дню пиво; и затѣмъ, начиная съ этого числа, откладывалось ежедневно по одному полѣну дровъ. Наканунѣ Рождества Христова,—когда набиралось двѣнадцать отложенныхъ полѣнъ,—ими, съ благоговѣйной молитвою, затапливалась печь на святой вечеръ.

Въ XVI—XVII столѣтіяхъ на Москвѣ Бѣлокаменной поворотъ солнца ознаменовывался наособицу и въ царскихъ палатахъ. По свидѣтельству бытописателей старины, въ день св. Спиридона представалъ изъ-года-въ-годъ „предъ свѣтлыя очи государевы“ звонарный староста московскаго Успенскаго собора, смиренно билъ царю челомъ и докладывалъ про то, что „отселѣ возвратъ солнцу съ зимы на лѣто, день прибываетъ, а ночь умаляется“. Царь-государь жаловалъ старосту за его радостную для всей Земли Русской вѣсть деньгами (выдавалось, обыкновенно, двадцать четыре серебряныхъ рубля). На лѣтній солноворотъ (12-го іюня) тотъ же самый докладчикъ приносилъ въ царскія палаты вѣсть, что „отселѣ возвратъ солнцу съ лѣта на зиму, день умаляется, а ночь прибываетъ“.

За эту прискорбную вѣсть его немедленно запирали, по указу цареву, на цѣлыя сутки въ темную палатку на Ивановской колокольнѣ.

Въ настоящее время большинство обычаевъ и повѣрій, связанныхъ съ поворотомъ солнца, относится къ лѣтнему времени, когда они переходятъ въ непосредственную связь съ суевѣрными представленіями народа, обступающими ночь подъ Ивана Купалу, и съ купальскими празднествами вообще.

Со Спиридонова дня зима, по крылатому слову старыхъ людей, ходитъ въ медвѣжьей шкурѣ, стучится по крышамъ и будитъ по ночамъ бабъ-хозяекъ—топить печи. Къ этому добавляется повѣрье о томъ, что, „если зима ходитъ въ этотъ день по полю, то за ней вереницами идутъ мятели и просятъ себѣ дѣла". Если на поворотѣ солнца заглянетъ она въ лѣсъ, то непремѣнно осыплетъ деревья инеемъ; „по рѣкѣ идетъ",— говорятъ о ней въ народѣ,—„подъ слѣдомъ своимъ куетъ воду на три аршина".

Народныя примѣты гласятъ, что съ какой стороны подуетъ на Спиридона вѣтеръ, съ той и будетъ дуть онъ „до сорока мучениковъ" (до весенняго равноденствія). Онѣ-же увѣряютъ и современнаго русскаго простолюдина-землепашца въ томъ, что, „если (въ этотъ день) цѣна упадаетъ на хлѣбъ, то онъ будетъ дешевъ". Бабы-хозяйки, заботливо оберегающія свой птичникъ, прикармливаютъ куръ гречихой на Спиридона „изъ правова рукова, чтобы раньше неслись". Садовники, отряхивая заваленныя снѣговой заметью яблони, приговариваютъ: „Спиридоновъ день, подымайся вверхъ!" Это дѣлается съ той цѣлью, чтобы предохранить плодовыя деревья отъ пагубнаго для урожая нападенія прожорливыхъ червей по веснѣ.

Въ деревенской глуши въ день св. Спиридона выбѣгаетъ за околицу веселая дѣтвора—малъ-мала-меньше—и начинаетъ ублажать солнышко поскорѣе повернуться.

„Солнышко, повернись!
Красное, разожгись!
Красно-солнышко, въ дорогу выѣзжай,
Зимній холодъ забывай!.."

Такъ приговариваютъ-поютъ ребята за околицею. Если выдастся ведро, то отсюда они, всей гурьбою, отправляются на гору и начинаютъ катать съ нея колесо (прообразъ солнца), которое, наконецъ, сжигаютъ, подъ веселые крики, надъ прорубью на рѣкѣ. И тутъ находятся у нихъ особые припѣвы, подсказанные имъ памятливыми ко всякой старинѣ дѣдами и бабками.

„Покатилось колесо съ Новагорода,
Со Новагорода и до Кіева,
Со Кеива ко Черну-морю,
Къ Черноморью ко широкому,
Къ широкому-ли, глубокому,
Колесо, гори-катись
Со весной красной вернись!..“—

припѣваетъ веселая дѣтвора, чуящая, что скоро опять будетъ и на ея улицѣ праздникъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (напримѣръ, въ Ртищево-Каменской волости Симбирскаго уѣзда) эта не лишенная своеобразной красоты ребячья пѣсенка замѣняется другою:

„Спиридонъ-свѣтъ-поворотъ
Стоитъ прямо у воротъ,
Колесо въ рукѣ несетъ,
Красно солнышко зоветъ,
Ко святой Руси ведетъ...
Разгорайся, солнце красно
Ты на свѣтѣ не погасло!“

И если—какъ-бы въ отвѣтъ непосѣдливой дѣтворѣ—играетъ-пляшетъ своими лучами въ Спиридоновъ день солнышко,—то,—говоритъ примѣтливый деревенскій людъ,—быть яснымъ днямъ на веселыхъ Святкахъ. А если съ этого дня вплоть до 16-го декабря будетъ висѣть на вѣтвяхъ древесныхъ иней, то Святки придутъ на Русь не только ясными, но и теплыми, —хотя со Спиридона-солноворота и поворачиваетъ зима — „на морозъ“...

LIII.

Рождество Христово.

Отъ Спиридона-солноворота до самаго рождественскаго сочельника (24-го декабря) готовится не только посельская-полольная, но и погородная, Русь ко встрѣчѣ великаго праздника. Канунъ Рождества Христова долженъ застать людъ православный уже вполнѣ готовымъ къ воспринятію благостной вѣсти о рожденіи Спаса-Христа, несущаго на темную землю свѣтлое благоволеніе. Твердо памятуетъ простой русскій человѣкъ притчу, гласящую о томъ, что не слѣдъ приходить на пиръ въ печальной одеждѣ. Потому-то и спѣшитъ онъ, потому-то и старается всѣми силами сбросить со своихъ плечъ черную тяготу потовыхъ заботъ и, запасшись всѣмъ, что Богъ дастъ къ празднику, ждетъ—съ благоговѣйной тишиною въ душѣ—появленія на небѣ первой звѣзды вечерней, вѣруя, что это загорается та-самая звѣзда, которая около двухъ тысячелѣтій тому назадъ возвѣстила волхвамъ о рожденіи Сына Божія въ Виѳлеемѣ Іудейскомъ. Цѣлый день постятся—непринимаютъ никакой пищи въ рождественскій сочельникъ („до звѣзды") благочестивые люди, памятующіе о преданіяхъ отцовъ и дѣдовъ,—чтобы, по завѣщанному тѣми уставу-обычаю, встрѣтить грядущаго въ міръ Спасителя міра.

Наступаетъ вечеръ; тьма ложится наземь, покрываетъ своими тяжкими тѣнями снѣга бѣлые-пушистые. И вотъ, вспыхиваетъ на востокѣ яркимъ трепетнымъ свѣтомъ виѳлеемская звѣзда... На нее устремлены взоры всей православной Руси, всѣхъ единовѣрныхъ русскому пахарю народовъ, какъ близкихъ ему по крови, такъ и далекихъ. „Христосъ рождается!"—раздается радостное пѣснопѣніе по всѣмъ храмамъ Божіимъ

и плыветъ вмѣстѣ со звономъ колокольнымъ отъ многолюдныхъ городовъ и селъ черезъ долы и горы, по полямъ и дорогамъ, по всему неоглядному простору свѣтлорусскому.

Вечеромъ, въ канунъ Рождества Христова, неизмѣнно придерживающіеся старыхъ благочестивыхъ обычаевъ люди русскіе не нарушаютъ поста: по уставу церковному разрѣшается вкушать въ это время только „сочиво“ (взваръ рисовый, или ячменный—съ медомъ, или ягодный и плодовой) съ хлѣбомъ пшеничнымъ, „оладьи“ медовые да пироги постные. Розговѣнье—утромъ, послѣ ранней обѣдни; а до утра все еще стоятъ на Руси Филипповки, идущіе съ 15-го ноября вплоть до веселыхъ-радостныхъ Святокъ. А живутъ Святки отъ Рождества до Крещенья (съ 25-го декабря по 6-е января). „Постъ—пости, праздникъ—празднуй!“—говорятъ въ народѣ, подобно тому, какъ говорятъ и „дѣлу—время, потѣхѣ—часъ!“ Отъ Филипповокъ—рукой подать до Святокъ: „Сочельникъ—къ Святкамъ съ Филипповокъ мостъ!“, „По сочельникову мосту ѣдетъ Коляда изъ Новагорода!“—повторяетъ сельщина-деревеньщина, вспоминая объ этомъ времени, и добавляетъ: „Уродилась Коляда наканунѣ Рождества, на Коляду прибыло дню на куриную ступню“... и т. д.

„Коляда“ („коледа“)—слово загадочное, неоднократно ставившее въ тупикъ изслѣдователей нашего народнаго быта и приводившее ихъ къ самымъ противорѣчивымъ заключеніямъ. Не только бытописатели, но и самъ народъ, пріурочиваетъ къ этому слову различныя понятія. Такъ, на сѣверѣ называютъ колядою рождественскій сочельникъ, колядованіемъ—обрядъ хожденія по домамъ на Рождество съ поздравленіями и пѣснями, со звѣздою. Въ Новгородской губерніи за коляду слывутъ подарки, получаемые при этомъ хожденіи. Въ южныхъ и юго-западныхъ полосахъ зовутъ этимъ именемъ самый праздникъ Рождества и даже всѣ Святки. „Колядовать“ на бѣлорусскомъ нарѣчіи означаетъ—Христа славить. Если же этимъ словомъ обмолвится смоленскій мужикъ, то оно имѣетъ въ его устахъ иное значеніе—побираться, просить милостыню,—утрачивая такимъ образомъ даже свой настоящій смыслъ.

Встарину „колядовали“ наканунѣ Рождества по всей Руси. Теперь-же этотъ обычай сохранился во всей полнотѣ только въ Малороссіи да среди бѣлоруссовъ. Онъ состоитъ въ томъ, что молодежь деревенская, парни и дѣвушки,—отстоявъ всенощную, или заутреню, идутъ веселой гурьбою по подъоконью, останавливаясь особенно долго тамъ, гдѣ горитъ огонь. Тороватые хозяева одѣляютъ колядующихъ „кольцами“

колбасы, оладьями, орѣхами или деньгами. Въ Кіевской и Волынской губерніяхъ половина собранныхъ денегъ еще недавно отдавалась на церковь; въ другихъ-же мѣстахъ всегда всѣ деньги шли на устраиваемую на Святкахъ пирушку. Пѣсни-„колядки“, которыми величаютъ Новорожденнаго Христа въ Малороссіи, отличаются большимъ разнообразіемъ и зачастую свидѣтельствуютъ о глубокой древности своего происхожденія. Въ одной изъ нихъ, напримѣръ, поется о томъ, какъ „Божья Мати въ полозѣ лежитъ, Сынойка родить; Сына вродила въ морѣ скупала...“ Другая гласитъ совсѣмъ объ иномъ:

„На сивомъ морѣ
Карабель на воды,
Въ томъ кораблейку
Трое воротцы;
Въ першихъ воротейкахъ
Мѣсячокъ свѣтитчи,
Въ другихъ воротейкахъ
Сонечько сходитъ,
Въ третьихъ воротейкахъ
Самъ Господь ходитъ,—
Ключи примая,
Рай вотмикая“...

Въ тѣхъ изъ чисто-великорусскихъ губерній, гдѣ сохранился обычай колядованія,—онъ сталъ исключительнымъ достояніемъ дѣтворы деревенской, съ увлеченіемъ выполняющей его за старшихъ. И теперь еще можно видѣть въ ночь передъ Рождествомъ кое-гдѣ толпы ребятъ, одинъ изъ которыхъ несетъ на палкѣ зажженный фонарь въ видѣ звѣзды, а всѣ другіе бѣгутъ за нимъ на каждый дворъ, куда только ихъ пускаютъ хозяева.

„Коляда, коляда!
Пришла коляда
Наканунѣ Рождества;
Мы ходили, мы искали
Коляду святую
По всѣмъ дворамъ,
По проулочкамъ.
Нашли коляду
У Петрова двора;
Петровъ-то дворъ—желѣзной тынъ,
Середи двора три терема стоятъ:

Во первомъ терему—свѣтёлъ-мѣсяцъ
Въ другомъ терему—красно солнце,
А въ третьемъ терему—часты звѣзды...“

„Колядка“ продолжается прославленіемъ хозяина, которому придается прозвище „свѣтёлъ-мѣсяцъ“, хозяюшка является въ устахъ колядующихъ „краснымъ солнцемъ“, дѣти ихъ—„частыми звѣздами“, и, наконецъ, дѣтвора возглашаетъ въ заключеніе пѣсни:

„Здравствуй, хозяинъ съ хозяюшкой,
На долгіе вѣки, на многая лѣта!“

Иногда этотъ конецъ замѣняется болѣе выразительнымъ—въ-родѣ: „Хозяинъ въ дому—какъ Адамъ на раю; хозяйка въ дому—что аладьи на меду; малы дѣтушки—что виноградье красно-зеленое...“ А затѣмъ—„звѣздоносецъ“ кланяется и уже не пѣсней, а обыкновенной рѣчью, поздравляетъ хозяевъ съ наступившимъ праздникомъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ припѣвомъ къ „колядкамъ“ служатъ слова „Виноградье красно-зеленье мое!“, или „Таусинь, таусинь („Ай, овсень!“)!“ Въ пѣсенномъ собраніи П. В. Шейна есть слѣдующая своеобразная колядная пѣсня, записанная въ Псковской губерніи:

„Ходили, гуляли колядовщики,
Сочили-искали боярскаго двора:
Нашъ боярскій дворъ на семи верстахъ,
На семидесяти столбахъ.
Какъ поѣхалъ государь на Судимую гору—
Судъ судить по сто рублей,
Ряды рядить по тысячи.
Какъ ѣдетъ государь со Судимой со горы,
Везетъ своей женѣ кунью шубу,
Своимъ сыновьямъ по добру коню,
Своимъ невѣстушкамъ по кокошничку,
Своимъ дочушкамъ по ленточки,
Своимъ служенькамъ по сапоженькамъ.
Подарите, не знобите колядовщиковъ:
Наша колядка ни мала, ни велика,
Ни въ рубль, ни въ полтину,
Ни въ четыре алтына.
Подарите, не знобите колядовщиковъ!
Либо изъ печи пирогомъ,
Либо изъ клѣти осьмакомъ,
Либо кружечка пивца,

Либо чарочка винца.
Хозяинъ—ясенъ мѣсяцъ,
Хозяюшка—красно солнышко въ дому!"...

Подобіе обычая „колядованья" уцѣлѣло на Руси повсемѣстно—какъ въ селахъ, такъ и въ городахъ, не исключая столицъ; но тамъ не слышно уже этихъ наивныхъ въ своей неподкрашенной простотѣ пѣсенокъ-колядокъ. Они замѣнились тѣмъ-же самымъ „славленіемъ", съ которымъ ходитъ на первый день праздника церковный причтъ по домамъ.

Въ Малороссіи наиболѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, сохранились обычаи, которыми ознаменовывалась въ древней Руси встрѣча Рождества Христова. Тамъ и въ настоящее время „святой вечеръ" (какъ называютъ канунъ великаго праздника) проводится точно такъ-же, какъ проводился многіе годы тому назадъ.

При первомъ блескѣ виѳлеемской звѣзды вносится старѣйшимъ въ домѣ связка сѣна въ хату и стелется въ красномъ—переднемъ—углу на лавкѣ; эту-послѣднюю накрываютъ, поверхъ сѣна, чистой скатертью: а затѣмъ ставятъ на нее подъ божницею необмолоченный снопъ ржи или пшеницы. По бокамъ снопа помѣщается кутья—каша изъ ячменя, или рису, съ изюмомъ и взваръ изъ сушеныхъ грушъ, сливъ и другихъ плодовъ. И каша, и взваръ покрываются кнышами (пшеничными хлѣбами). Начинается ужинъ—„вечеря". У образовъ теплится зажженная хозяиномъ лампада, вокругъ стола, усыпаннаго сѣномъ и накрытаго бѣлымъ столешникомъ, садятся всѣ домашніе. Подаются галушки, вареники жаркое и—послѣ всего—каша-кутья и взваръ. За вечерю гадаютъ объ урожаѣ. Для этого вытаскиваютъ изъ-подъ столешника стебельки сѣна, по длинѣ которыхъ и судятъ о будущемъ ростѣ хлѣбовъ. Выдергиваютъ такъ-же изъ снопа, стоящаго подъ божницею, соломенки: если выдернется съ полнымъ колосомъ—ждать надо урожая, съ тощимъ—недорода. Когда всѣ повечеряютъ и хозяйка начнетъ убирать со стола, опять начинается гаданье,—на этотъ разъ по осыпавшимся сѣменамъ травъ: если осыпется больше черныхъ—хороша будетъ гречиха-дикуша, а больше желтыхъ и красныхъ—можно разсчитывать на овсы, на просо да на пшеницу. Снопъ остается въ красномъ углу до самаго Новаго Года. Со „святого" вечера вплоть до 1-го января не выметаетъ ни одна хозяйка въ Малороссіи соръ изъ хаты,—чтобы затѣмъ весь его, собранный въ кучу, сжечь на дворѣ. Этимъ охраняется, по народному повѣрью, урожай сада и огорода

отъ гусеницъ, червей и другихъ враговъ плодоносящей растительности.

По старинному преданію, наканунѣ Рождества, въ самую полночь отверзаются небесныя врата, и съ высотъ заоблачныхъ сходитъ на землю Сынъ Божій. „Пресвѣтлый рай“ во время этого торжественнаго явленія открываетъ взорамъ праведныхъ людей всѣ свои сокровища неоцѣнимыя, всѣ свои тайны неизъяснимыя. Всѣ воды въ райскихъ рѣкахъ оживаютъ и приходятъ въ движеніе; источники претворяются въ вино и надѣляются на эту великую ночь чудодѣйной цѣлебною силой; въ райскихъ садахъ на деревьяхъ распускаются цвѣты и наливаются золотыя яблоки. И изъ райскихъ предѣловъ обитающее въ нихъ Солнце разсылаетъ на одѣтую снѣжной пеленою землю свои дары щедрые-богатые. Если кто о чемъ будетъ молиться въ полночь, о чемъ просить станетъ,—все исполнется-сбудется, какъ по писанному,—говоритъ народъ.

У сербовъ и лужичанъ существуетъ обычай—выходить рождественской полночью въ поле, на перекрестокъ дорогъ и смотрѣть на небо. По словамъ стариковъ, передъ взорами угодныхъ Богу людей открываются небесныя красоты неизреченныя. И видятъ они, какъ изъ райскихъ садовъ зоря-зоряница выводитъ солнце красное,—какъ она, ясная, усыпаетъ путь его золотомъ и розами. И видятъ они, какъ бьютъ въ муравчатыхъ берегахъ ключи воды живой, какъ расцвѣтаютъ цвѣты духовитые, какъ золотятся-наливаются плоды сочные на деревьяхъ серебряныхъ съ листочками бумажными... Многое еще видятъ достойные видѣній люди, да все меньше такихъ становится на землѣ, затемненной грѣхами нераскаянными. А какъ ни смотри на небо грѣшная душа—ничего кромѣ синевы небесной да звѣздъ,—и то если онѣ не укрыты темнымъ пологомъ тучъ,—не высмотрѣть ей и въ эту ночь откровеній.

У юго-западныхъ славянскихъ народовъ, тамъ, гдѣ бытъ ихъ еще не измѣнилъ единокровной съ народомъ русскимъ старинѣ (наприм., у тѣхъ-же сербовъ, а также у далматинцевъ, кроатовъ и нѣкоторыхъ другихъ) канунъ Рождества Христова, называющійся въ честь пробуждающагося и выѣзжающаго на лѣтнюю дорогу солнца, „баднимъ днемъ“ (отъ слова будити, бдѣти и т. д.), проводится и бѣдными, и богатыми людьми одинаково, по установленному предками обряду-обычаю. Утромъ вырубается въ ближнемъ лѣсу толстая дубовая колода, и привозится на дворъ. Какъ только начнетъ смеркаться, домохозяинъ-большакъ вноситъ ее въ хату

и, входя, привѣтствуетъ всѣхъ домашнихъ пожеланіемъ провести счастливо „бадній день“. Колоду обмазываютъ медомъ, посыпаютъ хлѣбными зернами, затѣмъ кладутъ въ печь на уголья. Когда колода („баднякъ“) разгорится, семья собирается близъ очага за накрытымъ праздничнымъ столомъ и начинаетъ разговляться. По улицамъ въ это время горятъ смоляные костры, молодёжь у околицы палитъ изъ ружей. Въ каждой семьѣ ждутъ гостей на вечерю. Первый гость зовется „положайникомъ“, и съ появленіемъ его въ хатѣ связываются потомъ всѣ бѣды и радости, случающіяся въ году съ семьею. Твердо будучи убѣждены въ непреложности этого повѣрья, хозяева стараются приглашать на рождественскую вечерю къ себѣ только тѣхъ людей, которые могутъ, повидимому, принести счастье.

Входя въ хату, положайникъ беретъ изъ кадки, стоящей въ сѣняхъ у двери, горсть зеренъ и, бросая ихъ къ хозяевамъ, произноситъ: „Христосъ ся роди!“ Большакъ-хозяинъ отвѣчаетъ: „Ва истину роди!“ и приглашаетъ положайника сѣсть на почетное мѣсто, остававшееся до тѣхъ поръ не занятымъ. Но гость медлитъ отозваться на приглашеніе: онъ идетъ къ очагу и начинаетъ бить кочергою по горящей дубовой колодѣ такъ, что искры летятъ изъ нея во всѣ стороны; бьетъ, а самъ приговариваетъ пожеланіе, чтобы сколько вылетитъ искръ, столько уродилось-бы копенъ жита, сколько искръ—столько-бы и приплода на скотномъ дворѣ, сколько искръ—столько-бы мѣръ овощей на огородѣ и т. д. Затѣмъ, всѣ присутствующіе берутъ въ руки по зажженной восковой свѣчѣ, молятся на иконы и цѣлуютъ другъ друга со словами: „Миръ Божій! Христосъ ся роди, ва истину роди, покланяемо се-Христу и Христову рождеству!“ Послѣ этого свѣчи передаются хозяину, который ставитъ ихъ въ чашку, наполненную зернами, а немного времени спустя гаситъ ихъ, опуская зажженными концами въ зерна. Всѣ принимаются за ѣду.

На рождественской трапезѣ необходимыми кушаньями являются здѣсь медъ и „чесница“ (прѣсный пшеничный хлѣбъ съ запеченной въ немъ монетою). Большакъ-хозяинъ разламываетъ чесницу и раздѣляетъ между трапезующими; кому достанется кусокъ съ монетою,—того ожидаетъ счастье. Баднякъ-колода, по мнѣнію старыхъ свѣдущихъ людей, надѣляется свыше цѣлебною силою. Уголья и зола, остающіеся послѣ него въ очагѣ, считаются лѣкарствомъ противъ болѣзней рогатаго скота и лошадей; если дымомъ его тлѣющей головни окурить на пасѣкѣ улья, то это помогаетъ дружному роенью пчелъ и т. д. Зернами, разбросанными по полу во время

встрѣчи гостя-положайника, хорошо кормить куръ, чтобы тѣ лучше неслись; солому, которою устилается на „бадній день“ полъ хаты, выносятъ на ниву и разбрасываютъ по ней, думая, что отъ этого будетъ лучшій урожай по веснѣ. Во многихъ мѣстностяхъ огонь „бадняка“ поддерживается не только въ канунъ великаго праздника, но и во всѣ Святки—вплоть до Новаго Года.

Стародавняя старина, уцѣлѣвшая до сихъ поръ отъ всесокрушающей руки безпощаднаго времени, никогда не проявляется въ народномъ быту такъ ярко, какъ во дни, окружающіе великій праздникъ Рождества Христова.

„Какъ и нонче у насъ святые вечера пришли,
Святые вечера, Святки-игрища.
Ой, Святки мои, святые вечера!
Ой, Дидъ! Ой, Лада моя!
Ой, Дидъ! Ой, Лада моя!..“

— запѣваются первыя пѣсни святочныя, зачинаются игрища затѣйныя. На Святки—просторъ-приволье широкому размаху живучей родной старины. Это—время, для котораго словно и создавало богатое народное воображеніе пестроцвѣтную вязь повѣрій, гаданій, игръ и обычаевъ. „Русская Русь“, заслоненная суровымъ обиходомъ трудовой жизни простолюдина, словно просыпается отъ своей дремы и смѣлой поступью идетъ въ святочные дни и вечера по всему свѣтлорусскому раздолью. Она нашептываетъ народу-пахарю о забытыхъ преданіяхъ былого-минувшаго, вызываетъ его на потѣху утѣшливую, пробуждаетъ въ стихійной душѣ милліонноголоваго правнука Микулы Селяниновича память обо всемъ, чѣмъ было живо богатырское веселье пращуровъ современныхъ землепашцевъ, крѣпко держащихся за землю-кормилицу.

Празднованіе Рождества Христова въ царскихъ палатахъ XVI—XVII вѣка начиналось еще наканунѣ, рано утромъ. Царь дѣлалъ тайный выходъ. Благочестивые государи московскіе и „всеа Руссіи“ любили ознаменовывать всѣ великіе праздники дѣлами благотворенія. Такъ было и въ этомъ случаѣ. Въ сочельникъ, когда вся Москва—и первый богачъ, и послѣдній бѣднякъ—готовилась, каждый по своему достатку, къ празднику,—голь-нищета московская переполняла, еще до утренняго свѣта, всѣ площади, въ надеждѣ, что царь не захочетъ, чтобы кто-нибудь изъ его людей и людишекъ оста-

вался голоднымъ въ предстоящіе великіе дни. О тайномъ выходѣ знали всѣ, кому о томъ знать надлежало. Неожиданно совершонное впервые—превратилось въ обычай; послѣдній—въ освященный годами обрядъ царскаго обихода. Если не самъ государь, то кто-либо изъ ближнихъ бояръ его долженъ былъ исполнять положенное. Но только болѣзнь и могла заставить прибѣгнуть къ замѣнѣ царя приспѣшникомъ, удостоивавшимся представлять собою священную особу государя. Обыкновенно-же этотъ выходъ совершался самимъ царемъ.

Раннимъ утромъ, сопровождаемый малымъ отрядомъ стрѣльцовъ и нѣсколькими подъячими такъ называемаго Тайнаго Приказа, вѣнценосный богомолецъ выходилъ изъ палатъ. Онъ былъ облеченъ въ „смирныя“ одежды простого боярина и въ то-же время былъ „смиренъ духомъ“. Шествіе направлялось къ тюрьмамъ и богадѣльнямъ. Въ первыхъ растворялись къ царскому посѣщенію казематы „сидѣльцевъ за малыя вины“ и полоняниковъ; во вторыхъ—ждали „свѣтлаго лицезрѣнія государева“ увѣчные, разслабленные, убогіе. По улицамъ и площадямъ, облегавшимъ путь, по которому надлежало шествовать участникамъ тайнаго выхода, тѣснился бѣдный людъ, жаждавшій получить милостыню изъ рукъ государевыхъ. Одновременно съ этимъ, по всѣмъ стогнамъ Бѣлокаменной, стрѣлецкіе полковники и пользующіеся довѣріемъ царевымъ подъячіе раздавали „отъ щедротъ государевыхъ“ нищимъ, калѣкамъ и сирымъ праздничное подаяніе. Земскій Дворъ, Лобное Мѣсто и Красная Площадь собирали вокругъ себя особенно много бѣдноты, памятовавшей слова указа государева, о томъ, чтобы ни одинъ бѣдный человѣкъ на Москвѣ не оставался въ этотъ день безъ царской милостыни.

За четыре часа до разсвѣта самодержецъ выходилъ на благочестивый подвигъ. Темень зимней ночи чернымъ пологомъ лежала надъ одѣтою снѣгами Москвой. Впереди государя несли фонарь, о-бокъ слѣдовали подъячіе Тайнаго Приказа, поодаль—стрѣльцы. Встрѣчные на пути одѣлались деньгами. Прежде всѣхъ „узилищъ“ обыкновенно посѣщался Большой тюремный дворъ. Богомольный гость заключенныхъ обходилъ каждую избу, выслушивая жалобы колодниковъ—однихъ освобождая по своему царскому милостивому изволенію и скорому суду, другимъ облегчая узы, третьимъ выдавая по рублю и по полтинѣ на праздникъ. Всѣмъ „сидѣльцамъ тюремнымъ“, по приказанію государя, назначался на великіе дни праздничный харчъ. Съ Большого тюремнаго двора государь шествовалъ на „Аглинской“. На этомъ дворѣ

милость царева изливалась на полонянниковъ. Шествуя отсюда, въ Бѣломъ и Китай-городѣ государь одѣлялъ изъ своихъ рукъ всякаго встрѣчнаго бѣдняка. Возвратившись съ описаннаго выхода въ палаты, царь шелъ въ покои на отдыхъ. Отдохнувъ и переодѣвшись, онъ выходилъ въ Столовую избу или Золотую палату, или-же въ какую-либо изъ дворцовыхъ („комнатныхъ“) церквей. Царскіе часы вѣнценосный богомолецъ слушалъ—окруженный сонмомъ бояръ, думныхъ дьяковъ и ближнихъ чиновъ.

Въ навечеріи великаго праздника—царь, въ бѣлой, шелкомъ крытой, шубѣ, отороченной кованымъ золоченымъ кружевомъ и золотной нашивкою, шелъ въ Успенскій соборъ, гдѣ стоялъ за вечернею и слушалъ дѣйство многолѣтія, „кликанное“ архидіакономъ. Послѣ этого, патріархъ, по описанію Забѣлина, „со властьми и со всѣмъ соборомъ здравствовалъ государю“... Произносилось „титло“. Государь обмѣнивался поздравленіями съ патріархомъ и всѣми присутствовавшими; затѣмъ, принявъ патріаршее благословеніе, шествовалъ въ палаты.

Въ сумерки, при трепетномъ мерцаніи первой вечерней звѣзды, являлось во дворецъ „славить Христа“ соборное духовенство съ хорами государевыхъ пѣвчихъ; къ послѣднимъ иногда присоединялись „станицы“ патріаршихъ, митрополичьихъ и другихъ пѣвческихъ хоровъ. Славельщики входили въ Столовую избу, или въ Переднюю палату. Государь принималъ гостей по уставу—по обычаю, жалуя ихъ бѣлымъ и краснымъ медомъ, который золотыми и серебряными ковшами обносили особые подносчики. Кромѣ царскаго угощенія, христославы получали и „славленое“ (отъ 8 алтынъ съ 2-мя деньгами до 12 рублей, смотря по положенію того, отъ кого былъ хоръ). Русскіе цари очень любили церковное пѣніе, а потому жаловали „воспѣвакъ“, обладавшихъ выдающимся искусствомъ въ немъ, и наособицу.

Наставалъ самый праздникъ Рождества Христова. Царь шелъ къ заутренѣ въ Золотую палату. Въ 10-омъ часу утра расплывался надъ Москвою первый гулкій ударъ краснаго благовѣста къ обѣднѣ, подхватываемый колокольнями сорока-сороковъ московскихъ. Въ это время государь былъ уже въ Столовой палатѣ, убранной „большимъ нарядомъ“. Онъ сидѣлъ на своемъ царскомъ мѣстѣ, рядомъ съ которымъ стояло патріаршее кресло. Бояре и думные дьяки сидѣли по лавкамъ, застланнымъ „бархатами“; другіе ближніе люди, младшихъ разрядовъ, стояли поодаль. По прошествіи нѣкотораго времени, въ палату вступалъ патріархъ, пред-

шествуемый соборными ключарями съ крестомъ и со святой водою. Святителя сопровождалъ сонмъ митрополитовъ, архіепископовъ, епископовъ, архимандритовъ и игуменовъ. Государь вставалъ навстрѣчу архипастырю, шедшему славить Христа. Послѣ пѣнія положенныхъ, по уставу церковному, молитвъ, „стихеръ“ и многолѣтія, патріархъ поздравлялъ царственнаго хозяина Земли Русской и, по приглашенію его, садился рядомъ съ нимъ. Затѣмъ, немного спустя, благословивъ государя, іерархъ Православной Церкви, со всѣми духовными властьми, шелъ въ царицыны покои, въ государынину Золотую палату. Послѣ царицы, патріархъ посѣщалъ всѣхъ членовъ царскаго семейства.

Государь, между тѣмъ, собирался къ обѣднѣ въ Успенскій соборъ. Выходъ въ соборъ совершался по Красному крыльцу, въ предшествіи и сопровожденіи бояръ. Государь былъ одѣтъ въ царское платно (порфиру), становой кафтанъ и корону; на груди его были возложены царскія бармы; въ рукѣ онъ держалъ царскій жезлъ. Подъ руки держали царственнаго богомольца двое стольниковъ въ золотыхъ праздничныхъ ферязяхъ. Люди меньшаго чина начинали шествіе, бо́льшаго чина вельможи слѣдовали за царемъ.

Отслушавъ литургію, государь въ одномъ изъ придѣловъ собора перемѣнялъ царское платно на „походное“ и возвращался во дворецъ. Тамъ въ это время приготовлялся уже праздничный столъ—на патріарха, властей и бояръ. Но, вѣрный своему благочестивому обычаю, самодержецъ московскій не садился за столъ, не узнавъ, что все исполнено по его изволенію.

А „изволилъ“ государь приказывать еще съ утра: „строить столы“ для бѣдныхъ и сирыхъ. Въ Передней палатѣ, или въ однѣхъ изъ теплы́хъ сѣней государевыхъ, къ этому времени были уже другіе гости: собиралось-скликалось по Москвѣ до ста и болѣе нищихъ и убогихъ. Столы уставлялись пирогами и перепечами, ставились жбаны квасу и меда сыченаго. По данному ближнимъ бояриномъ знаку, присѣнники впускали царскихъ гостей, занимавшихъ мѣста за столами. Входили подносчики и одѣляли всѣхъ обѣдавшихъ—отъ имени царскаго—калачами и деньгами (по полтинѣ). Слѣдомъ за ними, палатою проходилъ ближній бояринъ, изображавшій собою замѣстителя государева, и всѣхъ „опрашивалъ о довольствѣ“. И только послѣ того, какъ этотъ боярин приносилъ царю вѣсть, что его убогіе гости сыты, пожалованы „жалованьемъ“ и отпущены со словомъ милостивымъ,—садился государь въ Столовой палатѣ за столы,

„браные на патріарха и властей". Иногда, въ то-же самое время, столы для убогихъ и сирыхъ „строились" и въ царицыныхъ покояхъ, въ ея Золотой палатѣ, гдѣ также раздавалось бѣднякамъ щедрой рукою царское жалованье. Утромъ, предъ обѣднею, къ царицѣ съѣзжались старшія боярыни, вмѣстѣ съ которыми она и слушала славленіе патріарха.

Встрѣтивъ праздникъ дѣлами благотворенія обойденнымъ судьбою несчастнымъ и принявъ „здравствованіе" духовныхъ и свѣтскихъ властей и ближнихъ людей своихъ, государь отдавалъ себя семьѣ. На другой день онъ слушалъ утреню и обѣдню въ одной изъ своихъ комнатныхъ церквей, послѣ чего принималъ пріѣзжихъ изъ другихъ городовъ христославовъ „духовнаго и свѣтскаго чина". Къ царицѣ въ это-же время собирались, по „нарочитому зву", пріѣзжія боярыни. Родственницы государя и государыни оставались въ царицыныхъ палатахъ — къ „столу"; всѣ-же другія гостьи уѣзжали, такъ какъ имъ, по уставу, не предоставлялось права обѣдать за царскими столами.

На третій день великаго праздника государь „шелъ саньми" на богомолье въ одинъ изъ наиболѣе чтимыхъ, прославленныхъ своими святынями московскихъ монастырей. На раззолоченныхъ, испещренныхъ хитрымъ узорочьемъ саняхъ, по сторонамъ царскаго мѣста, крытаго персидскими коврами, стояли два ближнихъ боярина и два стольника. За государевыми санями ѣхала царская свита: бояре, окольничіе, дѣти боярскіе. Поѣздъ оберегался ото всякаго лиха отрядомъ стрѣльцовъ во сто человѣкъ. Несмѣтныя толпы народа окружали царскій путь, бѣжали и скакали на коняхъ за поѣзжанами, привѣтствуя „батюшку-царя" радостными кликами. Посѣтивъ московскія святыни, на обратномъ пути съ богомолья, государь заѣзжалъ поклониться праху родителей и возвращался въ свои палаты.

Вечеръ этого дня царь, въ кругу своей семьи, проводилъ въ особой Потѣшной палатѣ. Въ ней—гусельники, домрачеи, скрыпочники, органисты и цымбальники услаждали слухъ государя. Скоморохи съ карлами и карлицами забавляли царское семейство пѣснями, плясками и всякими другими „дѣйствами". Представали здѣсь иногда передъ царскими взорами и „заморскіе искусники комедійнаго дѣла". Съ этого вечера въ царицыныхъ покояхъ и въ теремахъ царевенъ начиналось время святочныхъ забавъ.

„Ужъ я золото хороню, хороню,
Чисто сѐребро хороню, хороню,
Я у батюшки въ терему, въ терему,
Я у матушки въ высокóмъ, въ высокóмъ...“—

—звенѣла, переливалась переливами голосистыми старинная „подблюдная“ пѣсня, и въ наши дни общая всѣмъ святочнымъ игрищамъ-бесѣдамъ:

„Палъ, палъ перстень
Въ калину, въ малину,
Въ черную смородину...
Гадай-гадай, дѣвица,
Отгадывай, красная,
Черезъ поле идучи,
Русу косу плетучи,
Шелкомъ первиваючи,
Златомъ персыпаючи“...

А на Москвѣ бѣлокаменной и по всей Землѣ Русской веселыя рождественскія Святки были уже въ полномъ разгарѣ.

LIV.

Звѣри и птицы.

Разношерстное-разновидное царство звѣрей, какъ и разноперое-разноголосое царство птицъ, населяющихъ обступающія человѣка поля, луга, лѣса и горы, не только не обойдено живучимъ словомъ народной Руси, но отразилось въ его прозрачной глубинѣ со всѣми своими особенностями. И сказы-преданія, и пѣсни, и пословицы, и загадки, и поговорки, и присловья запечатлѣли въ себѣ оба эти царства во всемъ ихъ пестромъ многообразіи. То величаво-спокойную рѣчь ведетъ о нихъ народъ-сказатель, то окружаетъ ихъ дымкой таинственнаго-нездѣшняго, то пылаетъ на нихъ гнѣвомъ, то обвѣваетъ ихъ кроткой лаской воспоминанія. Мѣшая дѣло съ бездѣльемъ, отъ страха-ужаса переходя къ веселой шуткѣ, онъ обрисовываетъ весь этотъ міръ, близкій богатырскому духу пахаря, живущаго, какъ жили и его давніе пращуры, заодно съ матерью-природою, дышащаго однимъ дыханіемъ съ нею.

Зерцало простонародной мудрости—„Книга Голубиная“—устами царя Давыда Евсеевича называетъ „Индрика-звѣря“ главою и владыкой звѣринаго царства. „Такъ и Индрикъ-звѣрь всѣмъ звѣрьямъ мати“,—гласитъ „перемудрое“ слово и продолжаетъ, надѣляя этого диковиннаго звѣря самыми чудесными свойствами:

„Почему тотъ звѣрь всѣмъ звѣрьямъ мати?
Что живетъ тотъ звѣрь во святой горы,
Онь и пьетъ, и ѣстъ изъ святой горы,
И онъ ходитъ звѣрь по поднебесью,

Когда Индрикъ-звѣрь разыграется,
Вся вселенная всколыбается:
Потому Индрикъ-звѣрь всѣмъ звѣрьямъ мати!"

Въ этомъ сказочномъ звѣрѣ легко, по самому его наименованію, узнать единорога, представлявшагося и въ не особенно стародавніе годы загадочнымъ существомъ, съ которымъ связывалась въ суевѣрномъ воображеніи мысль о сверхъестественной силѣ и мудрости. Еще въ XVII-мъ столѣтіи рогу этой „матери всѣмъ звѣрьямъ" приписывались цѣлебныя свойства, и увѣренность въ этомъ была настолько велика, что даже царь Алексѣй Михайловичъ, по свидѣтельству дворцовыхъ книгъ (1655 г.), соглашался за три такихъ рога заплатить десять тысячъ рублей соболями и мягкою рухлядью. Свѣдущіе въ цѣленіи болѣзней русскіе люди того времени были убѣждены, что рогъ единорога не только можетъ оказывать помощь въ различныхъ болѣзняхъ, но и даетъ владѣющему имъ человѣку увѣренность въ цвѣтущемъ здоровьи на всю жизнь долголѣтнюю. „Длиною этотъ рогъ до шести пядей и свѣтелъ, какъ свѣтло",—повѣствуютъ о немъ письменные люди, современники Тишайшаго царя.

Надъ птичьимъ царствомъ ставитъ сѣдая народная мудрость не менѣе удивительную Страфиль („Естрафиль", „Страхиль" и „Стратимъ"—по инымъ разносказамъ)-птицу". „Страфиль-птица всѣмъ птицамъ мати",—гласитъ она,—„что живетъ та птица на синемъ мори, она пьетъ и ѣстъ на синемъ мори; когда эта птица вострепенется, все синее море всколебается. Потопляетъ море корабли гостиные, съ товарами драгоцѣнными, и топитъ гостей, гостей торговыихъ, побиваетъ судна, судна поморскія: потому Страфиль-птица птицамъ мати"...Что это за птица Страфиль—остается для нашихъ дней загадкою, потому что, хотя она и напоминаетъ страуса по имени-прозвищу, да тотъ, какъ извѣстно, никогда не живывалъ „на синемъ мори".

Пословицы, поговорки и всевозможныя присловья-прибаутки о звѣрьѣ съ птаствомъ пошли въ народную Русь больше всего съ лѣсныхъ мѣстъ, наособицу богатыхъ звѣро-да-птицеловами. Облетая на крыльяхъ живучаго слова свѣтлорусскій просторъ, переходя изъ однихъ словоохотливыхъ устъ въ другія, онѣ видоизмѣнялись, сообразно съ бытомъ-обиходомъ той или другой округи, по которой пролегала имъ путь-дороженька, никакими рогатками-заставами не перегороженная, никѣмъ—никому не заказанная. Мѣстныя наслоенія придавали вольному словесному богачеству пестроцвѣтную

окраску, изъ-за которой порою не такъ-то легко и угадать-распознать, гдѣ родина того или иного реченія,—олончанинъ-ли ,или тулякъ, или—чего добраго!—обитатель Костромы („недоброй стороны“) оговорился-обмолвился имъ впервые.

„Звѣрье прыскучее (порскучее?)—Божье стадо!“—гласитъ народная молвь крылатая, договариваючи къ этому: „Пастухъ всѣмъ звѣрямъ—Егорій!“, „Что у звѣря („у волка“—въ частности) въ зубахъ, то Егорій далъ!“, „Безъ Егорья и звѣрю съ голоду пропасть!“, „Хранитъ Господь и дикаго звѣря!“, „У Бога—всякаго корму много; всѣхъ Господь надѣлилъ—кого хлѣбцемъ, кого хлѣбушкой,—не за что ему и звѣря лѣсного обдѣлять: не хлѣбомъ, такъ травой накормитъ, травы кто не ѣстъ—другимъ звѣремъ-птицей!“ и т. д. Немного словъ на языкѣ у русскаго народа про все звѣриное царство огуломъ, но множество—про каждаго звѣря наособицу, начиная царь-звѣремъ (львомъ), малою мышкою-норушкой кончая. „Знаютъ и звѣря по шерсти; какъ человѣку человѣка по обличью не распознать!“. „По когтямъ да по зубамъ звѣрей знать, а человѣка—по глазамъ видать!“,—говоритъ онъ,—„Звѣрь звѣрю—человѣкъ; человѣкъ человѣку—звѣрь!“—приговариваетъ.

Ко птицамъ-птахамъ куда привѣтливѣе народное слово, чѣмъ ко звѣрью,—знать, ему, крылатому, летающія созданія Божіи больше по́ сердцу, чѣмъ бѣгающія-порскающія. Зоветъ краснословъ-народъ птицъ—Божьими, небесными, вольными; порою онъ завидуетъ имъ, поневолѣ на одномъ мѣстѣ сидючи. „Эхъ, крылья-бы, крылья мнѣ! Птицей взвился-бы, полетѣлъ!“—говоритъ его встосковавшееся по чемъ (или по по комъ)-либо сердце: „Не птахъ—не полетишь!“, „Снесите, вольныя птицы, поклонъ на родимую сторонушку!“, „Дайте крылья, крылья мнѣ перелетныя!“, „Молодость—пташка вольная, старость—ракомъ пятится, черепахой ползетъ!“, „Безъ крыльевъ и птица—комъ; безъ воли и радость—не въ радость, на свободѣ и горе—вполгоря!“ и т. д. „Что ему дѣлается: ни сѣетъ, ни жнетъ, какъ Божья птаха живетъ!“—говорятъ деревенскіе краснословы про безпечныхъ людей, примѣняя къ нимъ евангельскія слова—„Воззрите на птицы небесныя“... „Птица ни сѣетъ, ни жнетъ, а сыта живетъ!“—добавляютъ другіе къ этому. Но, по народному-же слову, и птица—птицѣ рознь: „У всякой пташки—свои замашки!“, „Всяка птица своимъ голосомъ („свои пѣсни“—по иному разносказу) поетъ!“, „Птицу знать по перьямъ, сокола—по полету!“ Задумываясь надъ счастьемъ, посельщина-деревеньщина приговариваетъ: „Счастье—вольная пташка; гдѣ захотѣла, тамъ

и сѣла!“ По крылатому народному слову—„Нѣтъ дерева, на которое не садилась-бы птица: а мимо сколькихъ людей счастье, нé-глядя, проходитъ?“ Вмѣстѣ съ зорькою поднимается пахарь со своего жосткаго ложа, вмѣстѣ съ солнышкомъ принимается за работу, памятуя завѣтъ дѣдовъ-прадѣдовъ—набожныхъ-благочестивыхъ людей—о томъ, что кто не трудится, тотъ пусть и не ѣстъ, что „трудовой потъ—вѣрнѣе денегъ“ и т. п. Какъ-же ему было не обмолвиться такими поговорками, какъ, напримѣръ: „Ранняя птица носокъ прочищаетъ, поздняя глаза продираетъ!“, „Какая пташка раньше проснулась, та и корму скорѣе нашла!“, „Рано птица съ гнѣзда поднялась—сытнѣе дѣтятъ-птенцовъ накормила!“ Знаетъ народъ-хлѣборобъ, что безъ родительскихъ совѣтовъ да наказовъ не стать молодому подростку заправскимъ пахаремъ-хозяиномъ. „Птица не только дѣтокъ кормитъ, а и летать учитъ!“—вылетѣло у него изъ устъ мудрое—хотя и немудрéное—слово. „Учись, умная голова, у глупой птицы,—какъ дѣтей учить!“—наставляетъ большакъ семьи молодожена сына (либо—внука). „И птица за собой выводокъ водитъ!“—приговариваетъ онъ несмышлёной молодухѣ-снохѣ, оставляющей безъ призора свою дѣтвору да все про дѣвичьи хороводы вспоминающей. „Красна̀ птица перьемъ“,—повторяетъ простодушная народная мудрость,—„а человѣкъ—ученьемъ!“ Нéлюбо широкой русской душѣ видѣть о́-бокъ съ собою не въ мѣру кичащихся своимъ случайнымъ положенiемъ, слишкомъ высоко задирающихъ носъ выскочекъ. „Не велика̀ птица!“—роняетъ она въ ихъ сторону мѣткое слово. „И на вольную птицу есть укоро́та—силки да тенета!“, „Залетѣла птица выше своего полета!“, „Высоко летишь, гдѣ-то сядешь!“—слово за́-словомъ оговариваютъ въ народѣ такихъ людей. „По пташкѣ и клѣтка!“—осаживаетъ посѣдѣлая старина-старинушка безпрестанно жалующихся на свою судьбу птицъ не высокаго полета, не заслуживающихъ лучшей участи, чѣмъ та, которая выпала на ихъ долю. „Все есть, только птичьяго молока нѣтъ!“—ведетъ народная Русь свою рѣчь о чьемъ-либо несмѣтномъ богатствѣ, но тутъ-же сама себя оговариваетъ: „Птичьяго молока—хоть въ сказкѣ найдешь, а другого отца-мать и въ сказкѣ не сыскать!“ О ротозѣяхъ-простецахъ сложился прибаутокъ: „Поймалъ птицу-юстрицу, пошелъ по рынку, просилъ полтинку; подали пятакъ,—отдалъ и такъ!..“

Жизненный опытъ цѣлыми вѣками подсказывалъ русскому народу тѣ примѣты, передъ которыми съ нѣкоторою долей изумленiя останавливаются даже и умудренные наукой

люди, не знающіе: чѣмъ и какъ объяснить ихъ происхожденіе. Не всѣ примѣты оправдываются на дѣлѣ, но твердо вѣритъ въ ихъ непреложность простая душа суевѣрнаго пахаря. Такъ, напримѣръ, опытные охотники, звѣрующіе изъ поколѣнія въ поколѣніе, говорятъ, что не къ добру оставлять убитаго звѣря въ полѣ. Появится много звѣрья въ сосѣднихъ съ селами лѣсахъ—къ голодному году. Бѣжитъ звѣрье изъ лѣсу невѣдомо куда—къ лѣсному пожару (а по словамъ другихъ—къ засухѣ). О птицахъ—свои примѣты, на особый ладъ сложившіяся. Увидитъ зоркій глазъ мужика-погодовѣда, что купаются въ пыли подорожной мелкія птахи-щебетуньи, дождя начнетъ ждать. Если сидитъ-ощипывается домашняя птица—къ ненастью, „вольная“—къ ведру. Летятъ стаями пташки на коноплянники—къ завидному урожаю конопли. Но, какъ объ отдѣльныхъ породахъ звѣриныхъ, такъ и о птичьихъ семьяхъ, существуютъ примѣты—о каждой наособицу.

Изощряясь въ словесномъ единоборствѣ, деревенскіе краснословы всегда не прочь загануть захожему человѣку и загадку. Подчасъ такую загадаютъ, что въ тупикъ встанетъ не набившій разума на догадливости, не наварившій въ житейской кузницѣ языка новичокъ. „Звѣрокъ—съ вершокъ, а хвостъ—семь верстъ!“ (игла съ ниткой), „Деревянная птица, крылья перяныя, хвостъ желѣзный!“ (стрѣла), „Одна птица кричитъ: мнѣ зимой тяжело; другая кричитъ: мнѣ лѣтомъ тяжело; третья кричитъ: мнѣ всегда тяжело!“ (сани, телѣга и лошадь). „Махнула птица крыломъ, покрыла весь свѣтъ однимъ перомъ!“ (ночь), „Летѣла птица черезъ Божью свѣтлицу: тутъ мое дѣло на огнѣ сгорѣло!“ (пчела и церковь), „Дважды родился, ни однова не крестился, одинъ разъ умираетъ!“ (птица),—сыплетъ загадками наша деревня.

Русскій народъ, величающій „Индрика-звѣря“ всѣмъ звѣрямъ матерью, признаетъ, однако, за царя царства звѣринаго и могучаго льва. Но гордый властитель пустынь и степей мало знакомъ нашему пахарю-сказателю, знающему о немъ больше по наслышкѣ да по лубочнымъ картинкамъ. Потому-то и обмолвилась о немъ русская крылатая молвь словно мимоходомъ. „Левъ мышей не давитъ!“ — гласитъ она въ укоръ сильнымъ людямъ, притѣсняющимъ слабыхъ. По старинному, и теперь еще не отжившему времени-вѣка, повѣрью—левъ строго блюдетъ свою царскую власть: „спать-спитъ, а однимъ глазомъ видитъ“. Про тигра, кровожаднаго сосѣда царь-звѣря, только и знаетъ народная Русь, что онъ —„лютый“. Но зато изъ этой могучей породы облюбовала она

въ своемъ живучемъ словѣ дальнюю родню льва могучаго да тигра лютаго—нашу красавицу домашнюю кошку, перенявшую отъ обоихъ понемногу свой правъ-обычай. Дикой кошки совсѣмъ не знаетъ народное слово, а о своемъ домашнемъ „тигро-львѣ“ насказало и ни вѣсть сколько поговорокъ всякихъ. „Кто кошекъ любитъ—будетъ жену любить!“, „Безъ кошки не изба (безъ собаки не дворъ)!“, „Знаетъ кошурка свою печурку!“, „На мышку и кошка звѣрь!“, „Кошки дерутся—мышкамъ приволье!“, „Напала на кошку спѣсь, не хочетъ и съ печки слѣзть!“, „Любитъ кошка молоко, да рыльце коротко!“, „Лакома кошка до рыбки, да въ воду лѣзть не хочется!“—говоритъ-приговариваетъ нашъ краснословъ-народъ, примѣняя связанныя съ видомъ-правомъ кошки поговорки ко всевозможнымъ явленіямъ человѣческой жизни. „Поклонишься и кошкѣ въ ножки!“—говорится гордецу, которому—на-роду написано переломить свою спѣсь-гордость. „У нихъ лады—что у кошки съ собакой!“—киваютъ головой на сварливую супружескую чету. „Захотѣлъ отъ кошки лепешки!“—машутъ рукою при разсказѣ о чьей-либо сомнительной щедрости. По простонародной примѣтѣ: кошка свертывается клубкомъ къ морозу, крѣпко спитъ брюхомъ кверху—къ теплу, скребетъ лапами стѣну—къ вѣтру непогожему, полъ—къ замети-вьюгѣ, умывается—къ вёдру (и къ приходу гостей), лижетъ хвостъ—къ дождю, на человѣка тянется—обновку (корысть) сулитъ. Существуетъ старинное повѣрье, что кошка такъ живуча, что только девятая смерть и можетъ ее „уморить до-смерти“. Загадки загадываетъ посельщина-деревеньщина про этого живучаго звѣря такія, какъ напримѣръ: „Двѣ ковырки, двѣ подковырки, одинъ вертунъ, два войка, третья маковка!“, или: „Выходитъ турица изъ-подъ каменной горицы, спрашиваетъ курицу турица:—курица, курица! Гдѣ ваша косарица?—Наша косарица лежитъ на пещерскихъ горахъ, хочетъ вашихъ дѣтей ловить.—Ахъ, горе горевать: куда намъ дѣтей дѣвать?“ (крыса, кошка, мыши и печь), или: „Идетъ Мырь-царь, навстрѣчу Мырь-царю Гласимъ-царь:—Гдѣ видѣлъ Смотрякъ-царя?—Смотрякъ-царь подымается на звеновскія горы; со звеновскихъ горъ—на пещерскія горы, со пещерскихъ горъ въ Стратилатово царство!“ (мышь, пѣтухъ и котъ). Въ цѣломъ рядѣ другихъ, подобныхъ этимъ, загадокъ загадываетъ народная молвь про кошку и обреченную ей добычу. Мышь зовутъ „сивой буренкою“, приговаривая, что ее „и дома не любятъ, и на торгу не купятъ.“ „Подъ поломъ-поломъ ходитъ барыня съ коломъ!“—гласитъ о ней старая загадка. „Мала-мала, а никому не мила!“—подговаривается другая. А и

какъ тутъ любить этого маленькаго сѣренькаго звѣрька русскому пахарю, когда объ иную пору мышиный народъ у него чуть не весь хлѣбъ на гумнахъ да по амбарамъ поѣдаетъ! Недаромъ заводитъ русскій мужикъ кошекъ для борьбы съ этимъ страшнымъ для него звѣремъ и даже особыми заговорами, изъ устъ вѣдуновъ-знахарей, заговариваетъ свои скудные запасы—„отъ мышеяди“.

Кошка у древнихъ египтянъ считалась священнымъ животнымъ. У всѣхъ народовъ она была спутницею колдуновъ. Народное суевѣріе приписываетъ ея видящимъ въ темнотѣ глазамъ необычайную силу, почерпнутую изъ міра таинственнаго. Трехшерстная кошка, по мнѣнію нашихъ пахарей, приноситъ счастье тому дому, гдѣ живетъ; семишерстный котъ является еще болѣе вѣрнымъ залогомъ семейнаго благополучія. По словамъ русскихъ сказокъ, кошка—чуть-ли не самое смышленое животное. Она сама „сказываетъ сказки“ и не хуже дотошнаго знахаря умѣетъ „отводить глаза“. „Котъ-баюнъ“ былъ надѣленъ голосомъ, слышнымъ за семь верстъ, и видѣлъ за семь верстъ; какъ замурлыкаетъ, бывало, такъ напуститъ, на кого захочетъ, заколдованный сонъ, котораго и не отличишь, не знаючи, отъ смерти. Черная кошка является, по народному слову, олицетвореніемъ нежданнаго раздора: „Имъ черная кошка дорогу перебѣжала!“ — говорятъ о врагахъ, недавно еще бывшихъ чуть не закадычными друзьями. Въ стародавніе годы знающіе всю подноготную люди говаривали, что на черную кошку можно вымѣнять у нечистой силы шапку-невидимку и неразмѣнный червонецъ. Нужна-де ей, окаянной, черная кошка, чтобы прятаться въ нее на святъ-Ильинъ день, когда грозный для всякой нежити-нечисти пророкъ сыплетъ съ небесъ своими огненными стрѣлами. Еще и въ наши дни говорятъ на Руси, что кто убьетъ чьего-нибудь любимаго кота,—тому семь лѣтъ ни въ чемъ удачи не будетъ. Кто любитъ-бережетъ кошекъ,—того этотъ хитрый звѣрь охраняетъ отъ всякой „напрасной бѣды“. Много и другихъ повѣрій связано съ нимъ въ богатомъ суевѣрной памятью русскомъ народѣ.

Собирающій дани-выходы съ пчелиныхъ бортей и пасѣкъ—лѣсной воевода медвѣдь, изстари вѣковъ живущій по сосѣдству съ краснословомъ-пахаремъ, далъ обильную пищу его красному слову-преданію. Запечатлѣлся онъ своимъ неуклюжимъ обликомъ во многомъ-множествѣ пословицъ, поговорокъ, прибаутковъ и загадокъ, каждая изъ которыхъ росла-повыросла на утучненной вѣками почвѣ народной жизни—вѣками богатырскаго труда, подвижническаго терпѣнія и простодушной

мудрости. Окрестилъ русскій народъ медвѣдя Мишкой, Михайлой Иванычемъ величаетъ, Топтыгинымъ прозываючи. Распознали-развѣдали двуногіе сосѣди обитателя лѣсныхъ берлогъ весь норовъ его,—знаютъ, что незлобивъ и даже добёръ по своему—по медвѣжьему—онъ, если его не трогать; но что охотникамъ, выходящимъ на него съ топоромъ да съ рогатиной, совсѣмъ напрасно полагаться на его доброту: умѣетъ онъ быть грознѣе грознаго воеводы,—того-и-гляди изъ „косолапаго Мишки“ превратится въ свирѣпое лѣсное чудовище. „Отпѣтыми“ зовутъ завзятыхъ медвѣжатниковъ, при каждомъ выходѣ на охоту провожая ихъ — какъ на смерть. „Всѣмъ пригнетышъ!“ — прозвали медвѣдя даже и по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ еще на нашей памяти водили ихъ на цѣпи съ кольцомъ въ губѣ вожаки, заставлявшіе лѣсныхъ воеводъ давать и сѣрому люду деревенскому, и господамъ-барамъ цѣлыя представленія: показывать, какъ ребята горохъ воровали, какъ пьяные мужики по канавамъ валяются, какъ старыя старухи, какъ молодыя молодушки ходятъ, и всякія иныя премудрости. Плясалъ медвѣдь на цѣпи, угощался медкомъ да винцомъ, потѣшалъ честной людъ православный, а самъ—только-бы сорваться съ цѣпи!—все въ лѣсъ норовилъ убѣжать на свободное житье привольное. Оттого-то, вѣроятно, и сложилась старая пословица лѣнивыхъ работниковъ, любящихъ откладывать со-дня-на-день свою, даже и урочную, работу: „Дѣло не медвѣдь—въ лѣсъ не убѣжитъ!“ Увалень-медвѣдь: идетъ-нейдетъ, сопитъ, съ боку на бокъ переваливается, а ломитъ навѣрняка: гдѣ прошелъ, тамъ —и чуть не просѣка въ лѣсу. Присмотрѣлся къ его „вожеватости“ деревенскій примѣтливый людъ: „Экій медвѣдь!“ — говоритъ онъ о неповоротливыхъ мужикахъ: — „Такъ и претъ, не разбирая!“; „У него всѣ ухватки медвѣжьи: какъ увидитъ, облóмъ, такъ и облапитъ норовитъ!“ — оговариваютъ привередливыя красныя дѣвушки неуча-парня. „Корова комола (безрога), лобъ широкъ, глаза узеньки; въ стадѣ не пасется и въ руки не дается!“—обрисовываетъ самарская загадка пасущагося весной-лѣтомъ въ лѣсныхъ трущобахъ, а на-зиму заваливающагося въ теплую берлогу да цѣлую зиму сосущаго свою жирную лапу—медвѣдя. „Медвѣдь—лѣшему родной братъ, не дай Богъ съ ними встрѣнуться!“ говорятъ симбирскіе подлѣсные жители, а сами (кто-посмѣшливѣе!) приговариваютъ, прибаутки ладятъ: „Ванька малый, гдѣ былъ?—У Тули!—Чего ѣлъ?—Дули!—Кого видѣлъ?—Воеводу!—Въ чемъ онъ?—Въ черной шубѣ и кольцо у губи!“ Отъ псковичей пошла гулять по свѣтлорусскому простору такая загадка въ лицахъ: „По-

шелъ я по тухтухту (на охоту),взялъ съ собой тавтавту) собаку), нашелъ я на храпъ-тахту (медвѣдя); кабы не тавтавта, —съѣла-бы меня храпъ-тахта!“ О томъ, какъ собираетъ медвѣдь дань съ народа пчелинаго, существуетъ не мало всякихъ розсказней. По медвѣжьему хотѣнью и зима студеная длится: какъ повернется онъ въ своей берлогѣ на другой бокъ такъ и зимѣ ровно половина пути до весны осталась.

Волкъ, лиса и заяцъ стоятъ слѣдомъ за медвѣдемъ, лѣснымъ воеводою, въ словесномъ воспроизведеніи народной Руси,— причемъ каждый изъ этихъ трехъ представителей дикаго звѣринаго царства вноситъ въ общую картину послѣдняго свои, только ему одному присущія, черты. Первый является яркимъ воплощеніемъ злобнаго хищничества; вторая—сама хитрость, умѣющая заметать хвостомъ слѣды своей вороватости; третій—воплощенная трусость и незлобивость. Самыми выразительными для нихъ можно назвать присловья: „Изъ-подъ кустика хватышъ!“ (волкъ), „Въ чистомъ полѣ увертышъ!“ (лиса) и „Черезъ путь предышъ!“ (заяцъ). Едва-ли возможно точнѣе опредѣлить въ немногихъ словахъ весь ихъ нравъ-обычай.

Еще лучше медвѣжьей знакома волчья повадка русскому пахарю,—то-и-дѣло приходится ему сталкиваться лицомъ къ лицу съ этимъ хищникомъ: то зарѣжетъ онъ корову, забредшую изъ стада въ лѣсъ, то дерзко ворвется въ самую средину стада и выхватитъ овцу-другую, а то даже заберется темной ночью на дворъ,—если голоденъ очень. „Волка ноги кормятъ!“—говоритъ народная Русь, а сама приговариваетъ: „Не за то волка бьютъ, что сѣръ, а за то, что овцу съѣлъ!“ Но тутъ-же и примѣняетъ она волчьи качества къ своему брату-человѣку, не отдавая предпочтенія послѣднему: „Двуногій волкъ опаснѣе четвероногаго!“, „Сытый волкъ смирнѣе ненасытнаго человѣка!“ Сплошь-да-рядомъ можно услышать такія пословицы-поговорки, какъ: „Стань ты овцой, а волки готовы!“, „Выть тебѣ волкомъ (съ голоду) за твою овечью простоту!“, „Пастухи воруютъ, а на волка поклепъ!“, „Видáть волка и въ овечьей шкурѣ!“, „Пустили волка въ хлѣвъ!“, „Сказалъ-бы словечко, да волкъ недалечко!“ Видитъ краснословъ-народъ около себя всякихъ хищниковъ, но—и видя—не сидитъ изъ предосторожности у себя по-зáпечью: „Волковъ бояться—въ лѣсъ не ходить!“—говоритъ онъ, выходя прямо къ нимъ навстрѣчу. Слышитъ мужикъ-простота, что о-бокъ съ нимъ возводятъ на кого-нибудь злую напраслину,—невольно вырывается у него поговорка: „И то бываетъ, что овца волка съѣдаетъ!“ Приглядѣлся онъ къ хищному люду: „Не кла-

ди волку пальца въ ротъ,—откуситъ!"—гласитъ о послѣднемъ крылатая молвь. „Дай денегъ въ долгъ, а порукой будетъ волкъ!"—обмолвилась народная Русь о любителяхъ занимать безъ отдачи; „Какъ волка ни корми, все въ лѣсъ глядитъ!"—о людяхъ, которыхъ не приручить; „Отольются волку овечьи слезы!"—о томъ, что не избѣжать и злому человѣку заслуженнаго волчьимъ нравомъ возмездія; „Обманетъ—въ лѣсъ, какъ волкъ, уйдетъ!"—о ненадежномъ товарищѣ-сотрудникѣ;„И волки сыты, и овцы цѣлы!"—о такихъ случаяхъ, когда концы недобраго дѣла спрятаны въ воду, а тѣ, надъ кѣмъ это дѣло сдѣлано—еще не совсѣмъ обобраны. Приходится кому-нибудь случайно покривить душой, не подъ силу противъ всѣхъ прямой дорогою идти, когда всѣ колесятъ вокругъ да около; и вотъ—въ оправданіе готова у него подсказанная горькимъ опытомъ поговорка: „Съ волками жить по волчьи выть!" Простонародныя примѣты гласятъ, что, если перебѣжитъ путнику дорогу волкъ, это—къ счастью; покажется много волковъ въ какую зиму подъ деревней,—къ голоду. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ называютъ волка „страхомъ": „Страхъ (волкъ) тепло (овцу) волочетъ!"—говорятъ рязанцы, любители загадокъ; „Страхъ тепло тащитъ, а тепло—караулъ кричитъ!"—вторятъ имъ симбирскіе краснословы. По всему свѣтлорусскому простору ходитъ такая загадка о волкахъ: „За лѣсомъ за лѣсомъ жеребята ржутъ, а домой нейдутъ!" По стародавнему повѣрью, отъ нападенія волковъ можно зачураться путнику именемъ св. Георгія-Побѣдоносца; но это только въ такомъ случаѣ, когда тотъ, на кого нападаютъ волки, не обреченъ имъ на растерзаніе за грѣхи. Бѣлый волкъ—царь-волкъ; если встрѣтится съ нимъ человѣкъ, — не быть ему живому, даже если въ рукахъ ружье.

Волкъ, по народнымъ сказаніямъ, является олицетвореніемъ темной тучи, заслоняющей солнце, и вообще темноты. „Пришелъ волкъ (темная ночь)—весь народъ умолкъ; взлетѣлъ ясёнъ-соколъ (солнце)—весь народъ пошелъ!"—загадывается старинная загадка. „Облакыгонештеи отъ селянъ влъкодлаци нарицаються: егдау бо погыбнеть лоуна или слънце—глаголють: влъкодлаци лоуну изѣдоша или слънце; си же вьси басни и лъжа суть!"—говорится въ Кормчей Книгѣ. Волкомъ иногда оборачивался, по слову языческой старины, даже самъ Перунъ, появляясь на землѣ; колдуны и вѣдьмы старались подражать богу боговъ славянскихъ. Въ одномъ изъ наиболѣе древнихъ заговоровъ причитается о томъ, что на сказочномъ островѣ Буянѣ „на полой полянѣ свѣтитъ мѣсяцъ на осиновъ пень—въ зеленой лѣсъ, въ широкой долъ. Око-

ло пни ходитъ волкъ мохнатый, на зубахъ у него весь скотъ рогатый...“ Повторяющіяся не только на Руси, но и у всѣхъ славянскихъ и сосѣднихъ съ ними народовъ, сказки объ Иванъ-царевичѣ и сѣромъ волкѣ надѣляютъ этого звѣря-хищника даже крыльями. Летаетъ онъ быстрѣе вѣтра, переноситъ—сѣрый—на своей спинѣ царевича изъ одной стороны свѣта бѣлаго въ другую, помогаетъ ему добыть чудесную жаръ-птицу, золотогриваго коня и всѣмъ красавицамъ красавицу—Царь-Дѣвицу. Говоритъ этотъ сказочный волкъ голосомъ человѣчьимъ и одаренъ необычайной мудростью. Старинное малорусское повѣрье подаетъ пахарю-скотоводу совѣтъ класть въ печку кусокъ желѣза—въ случаѣ, если отобьется отъ стада, забредетъ въ лѣсъ животина,—низачто не тронетъ тогда ея лютый звѣрь-волкъ. Съ зимняго Николы,—говоритъ народъ,—начинаютъ волки рыскать стадами по лѣсамъ, полямъ и лугамъ, осмѣливаясь нападать даже на цѣлые обозы. Съ этого дня вплоть до Крещенья — волчьи праздники. Только послѣ крещенскаго водосвятія и пропадаетъ ихъ смѣлость! По разсказамъ ямщиковъ, волки боятся колокольнаго звона и огня. Поддужный колокольчикъ отгоняетъ ихъ отъ проѣзжаго: „Чуетъ нечистая сила, что крещоные ѣдутъ!“ — говоритъ бывалый, состарившійся за ямской гоньбою людъ. Во всей новгородской округѣ, для предохраненія скота отъ волковъ, въ зимнее время подбирающихся по ночамъ къ задворкамъ, еще недавно было въ обычаѣ обѣгать села-деревни съ колокольчикомъ въ рукахъ, причитая подъ звонъ: „Около двора желѣзный тынъ; чтобы черезъ этотъ тынъ не попалъ ни лютый звѣрь, ни гадъ, ни злой человѣкъ!“ Вѣрящіе въ силу колдовства люди разсказываютъ, что—если навстрѣчу свадебному поѣзду бросить высушенное волчье сердце, то молодые будутъ жить несчастливо. Волчья шерсть считалась встарину одною изъ злыхъ силъ въ рукахъ чародѣевъ.

Собака—одной породы съ волкомъ, но съ давнихъ временъ стала его лютымъ врагомъ, защищая-оберегая хозяйское добро. Недаромъ сложилась неизмѣнно оправдывающаяся въ жизни поговорка: „Собака—человѣку вѣрный другъ!“ Заслышитъ волкъ собачій лай,—сторонкой норовитъ обойти,—знаетъ, сѣрый, что зубы-то у этихъ сторожей острые, а чутье—на-диво. О своемъ вѣрномъ другѣ-сторожѣ насказалъ краснословъ-пахарь немало всякихъ крылатыхъ словецъ, и всѣ они въ одинъ голосъ говорятъ о собачьей привязанности о собачьемъ „нюхѣ“ (чутьѣ), о собачьей неприхотливости. По собачьему лаю узнаетъ сбившійся съ дороги путникъ, гдѣ по близости жилье человѣческое. По нему-же загадываютъ на

Святки и красныя дѣвушки: „Гавкни, гавкни, собаченька, гдѣ мой суженый!“ Многое-множество примѣтъ связано съ хорошо знакомымъ деревенскому человѣку собачьимъ нравомъ. Если собака, стоя на ногахъ, качается изъ стороны въ сторону,—къ дорогѣ хозяину; воетъ песъ, опустивъ морду внизъ (или копаетъ подъ окномъ яму),—быть въ домѣ покойнику; воетъ, поднявъ голову,—ждутъ пожара; траву ѣстъ собака—къ дождю; жмется къ хозяину, смотря ему въ глаза—къ близящемуся несчастью; мало ѣстъ, много спитъ—къ ненастной погодѣ; не ѣстъ ничего послѣ больного,—дни того сочтены на небесахъ.

„Не бывать волку лисой!“—говоритъ старая пословица. И впрямь такъ: весь нравъ ея—на свою особую стать. Зоветъ ее народъ „кумушкой“, „Патрикѣевною“ величаетъ. „Лисой пройдти“, въ его устахъ, равносильно со словомъ схитрить („спроворить“); есть даже особое словцо—„лисить“. Лиса—слабосильнѣе волка невримѣръ, да, благодаря своей повадкѣ, куда сытѣе его живетъ. Она—„семерыхъ волковъ проведетъ“: какъ ни стереги собака отъ нея дворъ, а все курятинки добудетъ. „Лиса и во снѣ куръ у мужика въ хлѣвѣ считаетъ!“ „У лисы и во снѣ ушки—на макушкѣ!“, „Гдѣ я лисой пройдусь, тамъ три года куры не несутся!“, „Кто попалъ въ чинъ лисой, будетъ въ чинѣ—волкомъ!“, „Когда ищешь лису впереди, она—позади!“, „Лиса все хвостомъ покроетъ!“—перебиваютъ одна другую старинныя пословицы-поговорки. „У него лисій хвостъ!“—говорится о льстивыхъ хитрецахъ. Въ простонародныхъ сказкахъ лиса, обыкновенно, выводится о-бокъ съ зайцемъ, который представляется рядомъ со своей пушистою сосѣдкой еще трусливѣе и беззащитнѣе. „По лѣсу-лѣсу лисье жаркое въ шубейкѣ бѣжитъ!“—загадываютъ про него на среднемъ Поволжьѣ. „Трусливъ, какъ заяцъ!“—говорятъ въ просторѣчьи о робкихъ не-въ-мѣру людяхъ. Зовутъ бѣлаго зимой, сѣраго по осени, рыжаго лѣтомъ трусишку-звѣрька—„косымъ“. Всѣ поговорки о немъ—охотничьи. „Дѣлу время—потѣхѣ часъ!“—говаривали съ давнихъ дней на Руси. И вотъ, любо охотнику цѣлыми часами гоняться за косымъ. „Коня положу, да зайку ухожу!“, „Не дорогъ конь—дорогъ заяцъ!“, „Покуда зайца догонишь—съ пару зайдешься!“, „Рубль бѣжитъ—сто догоняютъ!“ Перебѣжитъ косой заяцъ дорогу,—лучше вернуться домой, по охотничьей примѣтѣ, а то никакого толку не будетъ весь день. Трусоватъ заяцъ, а есть на свѣтѣ и другой звѣрь, что—по народному слову—и его боится: лягушка, прячущаяся въ своей болотинѣ при видѣ такого страшилища... Въ пѣсняхъ зайцу-трусу

посчастливилось,—не „косымъ“ зовутъ тамъ его, а „заинькой“ величаютъ. Его именемъ прозываются въ сѣверной и средней полосѣ Россіи особыя игровыя-хороводныя пѣсни (въ Вологодской, Тверской, Псковской, Вятской, Тульской, Новгородской и Орловской губ.). „Заинька, по сѣничкамъ гуляй-таки, гуляй; сѣренькій, по новенькимъ разгуливай, гуляй!“—запѣвается одна изъ такихъ „заинекъ-пѣсенъ“.—„Заинька, и гдѣ былъ, побывалъ? Сѣренькій, и гдѣ былъ, побывалъ?—Былъ, былъ, парень мой, былъ, былъ, сердце мой, я во лѣсѣ въ ельничкѣ, во зелёномъ въ сѣнничкѣ!“—вторитъ ей другая, въ иномъ мѣстѣ записанная.—„Что-жъ ты дѣлалъ, заинька? Что-жъ ты дѣлалъ, бѣленькой?—Я капусту ломалъ, зеленую поглодалъ!“—заливается третья, переносящая заиньку изъ лѣсу въ огородъ. Каждая изъ этихъ пѣсенъ продолжается вопросами о томъ, что̀ дѣлалъ заинька, — котораго, кстати сказать, изображаетъ ходящій въ кругу хоровода,—и кончается припѣвомъ, въ-родѣ: „Заинька, поклонись, сѣренькой, поклонись! Заинька, кого любишь, сѣренькой, кого любишь, заинька, поцѣлуешь, сѣренькой, поцѣлуешь“... Заинька-парень цѣлуетъ которую-нибудь изъ дѣвушекъ подъ припѣвъ хоровода: „Вотъ какъ, вотъ такъ, поцѣлуешь!“... Послѣ этого его замѣняетъ поцѣлованная, а онъ присоединяется къ поющимъ, которые заводятъ новую пѣсню-„заиньку“. Чаще всего,—если въ кругу стоитъ-ходитъ дѣвушка,—поется: „Стелю, стелю постелюшку, стелю пуховую!“, кончающаяся словами:—„Кого люблю, кого люблю—того поцѣлую!“... Заяцъ - не только воплощеніе трусости, но и олицетвореніе быстроты. Потому-то быстрое, едва уловимое мелканіе отблеска солнечныхъ лучей на стѣнахъ, потолкѣ и полу называется „зайчикомъ“. Это названіе относится въ народѣ и къ синимъ огонькамъ, перебѣгающимъ по горящимъ угольямъ. Встарину повсемѣстно на Руси зайчатина считались поганой пищею; еще и до сихъ поръ не вездѣ станутъ у насъ ѣсть зайца,—не говоря уже о старовѣрахъ-раскольникахъ, у которыхъ это прямо-таки воспрещается. Простонародное суевѣріе не совѣтуетъ вспоминать о зайцѣ, плавая во время купанья: Водяной утопить за это можетъ.

Бѣлка, красивый пушистый звѣрекъ, столь оживляющій своимъ непосѣдливымъ бойкимъ нравомъ пустынное безмолвіе сѣверныхъ угрюмыхъ лѣсовъ, то-и-дѣло упоминается въ старинныхъ русскихъ сказкахъ. Перепрыгиваетъ она съ вѣтки на вѣтку, поетъ-распѣваетъ, по словамъ сказочниковъ, веселыя бѣличьи пѣсенки, а сама—знай грызетъ орѣхи: не простые орѣхи, скорлупа у нихъ изъ чистаго золота, а зер-

на-ядрышки—жемчужныя. Если случайно забѣжитъ въ деревню изъ лѣсу бѣлка, быть для всей деревни худу,—гласитъ сѣдое народное слово. Оно-же, это умудренное многовѣковымъ опытомъ слово, сохранило до нашихъ дней повѣрье о томъ, что, если волки воютъ по залѣсью да бѣлки скачутъ по опушкамъ—надо ждать либо морового повѣтрія, либо войны. „Вертлява, а не бѣсъ!“—загадывается про бѣлку.

Изъ другихъ преставителей звѣринаго царства упоминается въ сказаніяхъ русскаго народа объ оленѣ. Воображенію славянина-сѣверянина, жившаго о-бокъ съ нѣрусью-оленеводами, каждое грозовое облако представлялось оленемъ, везущимъ по небесному морю-океану колесницу Перуна-громовника. Съ Ильина дня, по наблюденіямъ деревенскихъ погодовѣдовъ, холодѣетъ въ рѣкахъ и озерахъ вода. Народъ перестаетъ съ этой поры купаться, говоря, что грѣхъ и ни къ чему доброму не поведетъ купанье послѣ того, какъ „олень омочитъ свой хвостъ“. Съ этимъ повѣрьемъ имѣютъ не мало общаго германскія преданія о „солнечныхъ оленяхъ“. Среди русскихъ свадебныхъ пѣсенъ попадаются и такія, въ которыхъ идетъ рѣчь объ оленѣ съ золотыми рогами. „Не разливайся, мой тихій Дунай!“—поется въ одной изъ нихъ, записанной въ Московской губерніи: „Не заливай зеленые луга; въ тѣхъ-ли лугахъ ходитъ оленюшка, ходитъ олень—золотые рога. Мимо ѣхалъ свѣтъ Иванъ-господинъ:—я тебя, оленюшка, застрѣлю, золотые роженьки изломлю!—Не убивай меня, свѣтъ-Иванъ-господинъ! Въ нѣкое время я тебѣ пригожусь: будешь жениться—на свадьбу приду, золотымъ рогомъ весь дворъ освѣщу!“ („... въ теремъ взойду, всѣхъ гостей взвеселю!.“—добавляется къ этому въ тождественномъ во всемъ остальномъ саратовскомъ разнопѣвѣ).

Старинныя сказки, родственныя по содержанію у всѣхъ народовъ, ведутъ, между прочимъ, рѣчь и про баснословную „птицу-льва“ („грифъ-птица“), представляющуюся воображенію сказочниковъ на-половину птицей (голова и крылья орлиныя), на половину звѣремъ (туловище и ноги льва). Перья у этого птице-звѣря заострены, какъ стрѣлы; когти и клювъ у него—желѣзные. Величиною онъ—съ гору. Сказочные добры-мо́лодцы, отправляясь въ тридесятое царство, въ тридесятое государство за невѣстами, подходятъ къ синему морю,—нѣтъ переправы черезъ необозримую водную пустыню... Велятъ они рыбакамъ зашить себя въ лошадиную шкуру и положить на берегу. Прилетаетъ ночью грифъ, — схватываетъ шкуру и переноситъ въ ней добра-молодца за-море. Разрѣзываетъ тогда онъ булатнымъ мечомъ свою оболоч-

ку и выходитъ на бѣлый свѣтъ, пугая неожиданностью чудовищнаго перевозчика, только-что собиравшагося-было позавтракать принесенной добычею. Птицы летаютъ такъ быстро, какъ вѣтеръ,— а есть и быстрѣе его,—говоритъ народъ. Болѣсти лихія-повальныя напускаются по̀-вѣтру, оттого и слывутъ „повѣтріями". И самая смерть представлялись иногда суевѣрному воображенію—имѣющею птичій обликъ. Чумѣ придалъ народъ видъ утки со змѣиными головою и хвостомъ; холера въ нѣкоторыхъ захолустныхъ уголкахъ олицетворяется огромною черной птицею, пролетающею надъ деревнями-селами по ночамъ и задѣвающею желѣзными крыльями воду. „Птицей-Юстрицею" величаетъ смерть старинная загадка о ней.

„На морѣ на окіянѣ,
На островѣ на Буянѣ
Сидитъ птица-Юстрица.
Она хвалится-выхваляется,
Что все видала,
Всего много ѣдала:
И царя въ Москвѣ,
Короля въ Литвѣ,
Старца въ кельѣ,
Дитя въ колыбели..."

„Жаръ-птица" рускихъ сказокъ, по объясненію А. Н. Аѳанасьева, является однимъ изъ воплощеній бога-солнца и въ то-же самое время—бога-грозы. Во всякомъ случаѣ, она создана народнымъ воображеніемъ изъ представленій о небесномъ огнѣ-пламени. За этою птицей, приносящею тому, кто овладѣетъ хоть однимъ ея перомъ, всякое счастіе, отправляются одинъ за другимъ въ неизвѣданный путь сказочные добры молодцы. Живетъ она въ тридесятомъ царствѣ Кощея Безсмертнаго, въ окружающемъ теремъ Царь-Дѣвицы райскомъ саду съ золотыми яблоками, возвращающими молодость старцамъ. Днемъ сидитъ жаръ-птица въ золотой клѣткѣ, напѣваетъ Царь-Дѣвицѣ райскія пѣсни; поетъ она,—изъ клюва сказочный жемчугъ сыплется. Ночью вылетаетъ она въ садъ, перья у ней отливаютъ златомъ-серебромъ, все она—какъ жаръ горитъ; какъ полетитъ по саду, весь онъ освѣтится разомъ. Одному перу ея, по словамъ сказокъ, цѣна ни мало, ни много—побольше цѣлаго царства, а самой жаръ-птицѣ—и цѣны нѣтъ. Древнегреческое преданіе о Фениксъ-птицѣ, возрождающейся изъ собственнаго пепла, имѣетъ нѣчто родственное съ нашимъ—о жаръ-птицѣ. Та Фениксъ убо

птица одиногнѣздица есть“,—повѣствуется въ старинномъ памятникѣ русской отреченной письменности: „не имѣетъ ни подружія своего, ни чадъ, но сама токмо въ своемъ гнѣздѣ пребываетъ... Но егда состарѣется, възлетитъ на высоту и възимаетъ огня небеснаго, и тако сходящи зажигаетъ гнѣздо свое, и тутъ сама сгораетъ, но и паки въ пепелѣ гнѣзда своего опять наряжается...“ Однимъ изъ воплощеній духа огня на землѣ считался въ древнія времена пѣтухъ, этотъ—по словамъ загадки—„Гласимъ-царь“, „Будиміръ-царь“, представляющій неизмѣнно-вѣрные часы народной Руси, узнающей по пѣтушиному пѣнію время ночи. Встарину онъ былъ посвященъ богу Свѣтовиту (Святовиду) и признавался за лучшую умилостивительную жертву богу огня—Сварожичу. „Пѣтухъ поетъ—значитъ, нечистой силѣ темной время прошло!“—говорятъ въ народѣ, твердо вѣрящемъ въ то, что съ вечера, до „первыхъ пѣтуховъ“ положено бродить по землѣ всякому порожденію діавола. „Пѣтухъ поетъ,—на небѣ къ заутренѣ звонятъ!“—приговариваетъ благочестиво-суевѣрная старина, завѣщавшая въ наслѣдіе своимъ правнукамъ преданіе о томъ, что, какъ перестанутъ пѣть пѣтухи—такъ и всему міру конецъ... „Бываетъ, что и курица пѣтухомъ поетъ!“—говоритъ пословица, примѣняемая къ людямъ, берущимся за непосильное дѣло и заранѣе похваляющимся сомнительнымъ успѣхомъ. Курокликъ (пѣніе куръ), однако, считается самымъ недобрымъ предзнаменованіемъ. Въ памятникахъ отреченной русской письменности есть сказаніе о томъ, что существуетъ на свѣтѣ совсѣмъ особенный пѣтухъ. „Солнце течетъ на воздухѣ въ день, а въ нощи по окіяну ниско летитъ, не омочась, но токмо трижды омывается въ окіянѣ“,—гласитъ сказаніе, продолжая: „есть куръ, ему же глава до небеси, а море до колѣна; еда же солнце омывается въ окіянѣ тогда же окіянъ въсколебается и начнутъ волны кура бити по перью: онъ же очютивъ волны и речетъ: кокореку! протолкуется: свѣтодавче Господи! дай же свѣтъ мірови! Еда же то въспоетъ, и тогда вси кури воспоютъ въ единъ часъ по всей вселеннѣй...“ Другой пѣтухъ, „пѣтушокъ—золотой гребешокъ“ русскихъ сказокъ, представляется народному воображенію сидящимъ на сводѣ небесномъ и не страшащимся ни воды, ни огня. Если кинуть его въ колодезь,—всю воду разомъ выпьетъ; въ огонь попадетъ,—зальетъ все пламя. Въ современномъ крестьянскомъ быту пѣтухъ считается существомъ, отгоняющимъ нечистую силу и охраняющимъ отъ пожаровъ. Потому-то и ставятъ деревяннаго, или желѣзнаго, пѣтуха на конькѣ крыши. „Краснаго

пѣтуха пустить“ значитъ поджечь что-нибудь. Старые люди увѣряютъ, что, когда пожаръ начинается отъ молніи,—съ неба спускается пламенный пѣтухъ прямо на крышу. Бабы-лѣчейки, давшія вѣру всякому нашептыванью, носятъ больныхъ ребятъ подъ куриный насѣстъ (отъ лихорадки, желтухи и безсонницы), гдѣ и обливаютъ водою, приговаривая: „Заря-зоряница, красная дѣвица! Возьми лихую болѣсть!“ Встарину разсказывали, что нельзя держать пѣтуха во дворѣ дольше семи лѣтъ, семигодовалый-де пѣтухъ яйцо снесетъ, а изъ этого яйца змѣй вылупится на пагубу люду православному. Это повѣрье еще въ давнія времена отошло въ область забытыхъ преданій прошлаго.

Царь-птица, орелъ, является въ сказаніяхъ русскаго народа олицетвореніемъ гордаго могущества, до котораго—какъ до звѣзды небесной—высоко и далеко. Богъ-громовникъ чаще всего воплощался въ немъ. Простонародныя русскія сказанія приписываютъ орлу способность пожирать сразу по цѣлому быку и по три печи хлѣба, за единъ духъ выпивать по цѣлому ушату меда сыченаго-ставленаго. Но эти-же сказанія рисуютъ его богатырь-птицею, въ мелкія щепки разбивающею своей могучей грудью вѣковые дубы. Можетъ царь-птица, въ своемъ грозномъ гнѣвѣ, испускать изъ остраго клюва огонь, испепеляющій цѣлые города. Состарѣется орелъ,—слѣпнутъ очи орлиныя. И вотъ по словамъ сѣдой старины „обрѣтъ же источникъ воды чистъ, взлетитъ выспрь на воздухъ солнечный и мракоту очію своею, и снидетъ же долу и погрузится въ ономъ источници трикраты“. Появленіе парящаго орла надъ войскомъ служило предзнаменованіемъ побѣды и не у однихъ древнихъ славянъ. По старинному повѣрью, у каждаго орла въ гнѣздѣ спрятанъ камень огневикъ, предохраняющій его отъ всѣхъ болѣзней. Ястребъ—одной породы съ орломъ, да корыстенъ не-въ мѣру. Соколъ пользуется въ народной Руси несравненно большимъ почетомъ, какъ болѣе благородная по нраву птица. Пѣсня русская и не называетъ его иначе, какъ „ясный-соколъ“, величая этимъ же именемъ и красавцевъ добрыхъ-молодцевъ. Соколиныя очи—зоркія очи. „Отъ соколинаго глаза и утка не укроется,“ говоритъ красное-словцо народной молвы. По разсказамъ старыхъ бывалыхъ людей, что соколиныя очи [illegible]

тоже знакомы крылатому народному слову. Долговязый журавль зовется на Руси болотнымъ воеводою; но,—гласитъ старинная пословица,—и „всякій куликъ въ своемъ болотѣ великъ!“

Воронъ—птица вѣщая—живетъ, по преданію, до трехсотъ лѣтъ,—а все оттого, что питается одной мертвечиною. Онъ является прообразомъ вѣтра—Стрибожьяго внука—и, по словамъ старинныхъ сказаній, не только „приноситъ бурю“ на своихъ черныхъ крылахъ, а и „воду живую и мертвую“. Есть у вороновъ свой царь-воронъ и сидитъ онъ,—говорятъ сказки,—въ гнѣздѣ, свитомъ на семи дубахъ. Про ворона, предвѣщающаго несчастье своимъ прилетомъ къ жилью, и про всю породу его—вороньё крикливое да черно галочье—уже велась рѣчь въ одномъ изъ предыдущихъ очерковъ. Сорока, стрекотунья бѣлобокая, слываетъ за птицу-воровку да за „посвистуху, деревенскую бабу-лепетуху“, приносящую на хвостѣ всякія вѣсти. Кукушка-бездомница, кладущая яйца въ чужія гнѣзда, всегда считалась вѣщуньей: по ея отрывистому „ку-ку“ узнаютъ красныя дѣвушки, сколько лѣтъ осталось имъ жить на свѣтѣ. Сова, ночная гуляка, величается въ простонародныхъ сказкахъ и присказкахъ „совушкой-вдовушкой, разумною головушкой, залѣсною барыней, Ульяной Степановной“. Всегда и вездѣ съ представленіемъ о ней соединялось понятіе о мудрости. Русское суевѣріе заставляетъ ее сторожить клады. Филинъ, „совкинъ деверь“—постоянный спутникъ Лѣшаго; сычи—гонцы послѣдняго. Аистъ—желанный гость южнорусскихъ деревень. Въ Малороссіи нарочно ставятъ на крышахъ шесты съ телѣжными колесами для аистовыхъ гнѣздъ. По старинному повѣрью, аисты охраняютъ хату отъ пожара: если и загорится,—такъ начнутъ носить въ клювахъ воду да заливать огонь. Обидѣть аиста, разорить его гнѣздо—великую бѣду накликать на свою голову!... Голубь - воплощеніе Духа Святаго, священная птица. За свой незлобивый нравъ прослыла она олицетвореніемъ кротости и доброты. „Къ недоброму человѣку и голубь не летитъ!“—говорятъ у насъ въ народѣ. „Они—какъ голубки воркуютъ!“—отзываются о чьемъ-либо завидномъ супружескомъ согласіи. „Голубка“, „голубушка“—ласкательныя слова. Неуклюжія обжоры—грачи со скворцами-говорунами да съ голосистыми пѣвцами полей—жаворонками приносятъ вѣсти о веснѣ. Ласточка, приводящая съ собою изъ-за моря и самую весну на свѣтлорусскій просторъ, представляется олицетвореніемъ домовитости. Если не вернется по веснѣ касатка на старое гнѣздо, это предвѣщаетъ пожаръ. Соловей, маленькая сѣренькая птичка, надѣленная отъ Бо-

[illegible] даромъ пѣнія на усладу всему чуткому къ голосамъ природы міру, пользуется особой любовью народной пѣсни, то-и-дѣло упоминающей имя этого пѣвца весны, особенно залюбившаго май-мѣсяцъ. Выданная на чужую сторону замужъ молодая молодушка съ соловьемъ въ лѣсу думу думаетъ: „Соловей ты, мой соловьюшко, соловей ты мой молоденькій! Пролети ты, мой соловьюшко, на мою родную сторонушку, къ моему-ли отцу-матери, поклонися ты родному батюшкѣ, что пониже того родимой матушкѣ, поклонися всему роду-племени!“ Встосковавшая по милымъ друзьямъ красная дѣвушка обращается къ соловью съ такой просьбою: „Соловейко маленькій! Въ тебѣ голосъ тоненькій, скажи — де мой миленькій!“ Въ третьей пѣснѣ „жалобнехонько“ плачетъ соловейкѣ наказываетъ дочь, отцомъ не любимая, за немилаго выданная, — чтобы снесъ соловей вѣсточку ея болѣзной матушкѣ: „Ты скажи, соловьюшко, чтобъ родимая не плакала, во чужомъ пиру сидючи, на чужихъ дѣтей глядючи, во мнѣ горькой примѣняючи...“ Обѣщается прилетѣть она сама черезъ три года „вольной пташечкой“, — говоритъ, что сядетъ „у матушки въ зеленомъ ея садикѣ, на любимую яблоньку, на сахарную вѣточку“. Въ четвертой пѣснѣ — проситъ „сгоревавшаяся“ молодушка „у ласточки крыльевъ, у соловушки голосочку, у кукушечки жалобочку“, — летитъ на родимую сторонку, садится на ворота, вышелъ старшій братъ — не узналъ сестры въ пташечкѣ, хочетъ застрѣлить, а младшій уже тугой лукъ натягиваетъ. Остановилъ обоихъ голосъ матери: „Стойте, дѣтки, не стрѣляйте! Не мое-ли милое дитятко плачетъ, не ваша-ли сестрица возрыдаетъ?“. Воробей, никогда не разстающаяся съ пахаремъ птица, слыветъ воромъ, — все-то онъ норовитъ зернышко изъ-подъ самаго носу утащить. Огородники не любятъ „вора-воробья“ больше всѣхъ, — ставятъ для его устрашенія всякія пугала по огородамъ, но сами-же говорятъ, что „старого воробья на мякинѣ не обманешь“. Въ дѣтскихъ пѣсенкахъ-прибауткахъ-побаскахъ воробью вмѣстѣ съ прочею мелкотой птичьяго царства — синичками, чечотками, щеглами, зябликами, снигирями — отведено не послѣднее мѣсто. Существуетъ цѣлый рядъ русскихъ пѣсенъ о птицахъ: въ этихъ пѣсняхъ воспѣвается то челобитье горегорькой кукушки сизому орлу „на богатую породу, на ворону“, то споръ птицъ, разрѣшаемый орломъ, то сватовство и свадьба совы, то — какъ „воробей пиво варилъ, всѣхъ гостей созывалъ, всѣхъ мелкихъ пташечекъ“. Есть и особая пѣсня — „Чины на морѣ разнымъ великимъ и малымъ птицамъ.“

Въ послѣдовательномъ-своеобразномъ порядкѣ чинопочитанія проходятъ передъ слушателемъ этой старинной пѣсни разноголосые и разноперые представители шумливаго птичьяго царства:

„Царь на морѣ—сизой орелъ,
Царица—бѣлая колпица,
Павлинъ на морѣ воевода,
Малые павлинята—
То на морѣ воеводскія дѣти.
Лунь на морѣ архимандритомъ,
Дьякъ на морѣ—попугай,
Кречетъ на морѣ—подъячій,
Бѣлой колпикъ на морѣ—епископъ,
Черный воронъ на морѣ—игуменъ,
Грачи на морѣ—старцы,
Галочки на морѣ—черницы,
Ласточки на морѣ—молодицы,
Касаточки на морѣ—красныя дѣвицы...“

—ведетъ свой перечень пѣсенный сказъ. И въ этой, какъ и въ большинствѣ другихъ пѣсенъ, отражаются, словно въ зеркалѣ, чуткая душа и зоркій глазъ народа-пахаря, передъ которымъ всегда и вездѣ открыта—таинственная въ своей простотѣ и простая при всей своей таинственности—необъятно-великая книга природы.

LV.

Конь-пахарь.

Непосредственное участіе коня въ земледѣльческомъ трудѣ народной Руси заставляетъ ее относиться съ особеннымъ вниманіемъ къ этому животному. Въ памятникахъ изустнаго простонароднаго творчества, дошедшихъ до нашихъ забывчивыхъ дней въ письменныхъ трудахъ пытливыхъ собирателей-народовѣдовъ, а также разлетающихся и до сихъ поръ по свѣтлорусскому простору изъ устъ сказателей-краснослововъ, все еще не вымершихъ, несмотря на истребительную работу времени, то-и-дѣло ведется рѣчь о немъ. И былины, и пѣсни, и сказки, и пословицы, и загадки, и всякія поговорки-присловья, создававшіяся долгими вѣками простодушной мудрости, отводятъ въ своихъ рядахъ почетное мѣсто этому вѣковѣчному слугѣ народа-пахаря, составляющему первое его богатство послѣ земли-кормилицы. Гуляя по отведенному для него въ живой лѣтописи словесному полю, вы какъ-бы сопутствуете потомкамъ крестьянствовавшаго на Руси богатыря Микулы Селяниновича въ самобытномъ перерожденіи условій ихъ трудовой-подвижнической жизни на землѣ и „у земли“. Вмѣстѣ съ постепеннымъ развитіемъ крестьянскаго быта подвергался видоизмѣненіямъ и взглядъ посельщины-деревеньщины на коня. Въ древнѣйшія времена, застающія на Руси обожествленіе всей видимой природы, конь одинаково считался созданіемъ Бѣлъбога (стихіи свѣта) и Чернобога (стихіи мрака), причемъ дѣтищемъ перваго являлся будучи бѣлой масти, а черной—порожденіемъ мрака. Сообразно съ этимъ и смѣна дня ночью представлялась суевѣрному воображенію языческой Руси—бѣгомъ-состязаніемъ двухъ коней. „Обго-

нитъ бѣлый конь—день на дворѣ, вороная лошадка обскачетъ—ночь пришла!"—еще и теперь говорятъ въ народѣ. „Конь вороной („бурый жеребецъ"—по иному разносказу) черезъ прясла глядитъ!" нерѣдко можно услышать передъ наступленіемъ ночи.

Изслѣдователь воззрѣній славянъ на природу приводитъ любопытную старинную русскую сказку, прекрасно обрисовывающую это представленіе. Идетъ путемъ-дорогою дѣвица-красавица добывать огня отъ старой бабы-яги. Идетъ,—говоритъ сказка,—а сама дрожмя-дрожитъ. Вдругъ скачетъ мимо нея всадникъ: „самъ бѣлый, одѣтъ въ бѣломъ, конь подъ нимъ бѣлый и сбруя на конѣ бѣлая"... Слѣдомъ за нимъ разсвѣтаетъ утро бѣлаго дня весенняго. Дальше идетъ дѣвица-красавица,—видитъ: скачетъ другой всадникъ—„самъ красный, одѣтъ въ красномъ и на красномъ конѣ",—стало всходить солнце. Шла-шла путница, добралась до избушки на курьихъ ножкахъ, гдѣ жила баба-яга, чародѣйка-властительница небесныхъ грозъ,—видитъ еще всадника: „самъ черный, одѣтъ во всемъ черномъ и на черномъ конѣ". У самыхъ воротъ провалился онъ сквозь землю, и въ тотъ-же мигъ наступила ночь. Пришла дѣвица къ бабѣ-ягѣ, спрашиваетъ про всадниковъ и узнала, что перваго звали „день ясный", второго—„солнце красное", третьяго—„ночь темная"... Во всѣхъ русскихъ сказаніяхъ темная сила представляется выѣзжающею на черномъ конѣ, свѣтлая—на бѣломъ. Съ раздѣленіемъ власти надъ міромъ и всѣми явленіями его бытія между воцарившимся на славянскомъ Олимпѣ потомствомъ двухъ всемогущихъ стихій—бѣлые кони передаются богу-солнцу, богу-громовнику (сначала Перуну, потомъ Святовиду и, наконецъ, Свѣтлояру-Ярилѣ); черные-же становятся собственностью Стрибога и всѣхъ буйныхъ вѣтровъ—Стрибожьихъ внуковъ. Выше (см. стран. 21) уже велась рѣчь о бѣлыхъ коняхъ, содержавшихся при величайшей святынѣ языческаго славянства—арконскомъ храмѣ Святовидовомъ; говорилось также (см. стран. 334) и про коней Перуновыхъ, на которыхъ теперь—по словамъ народа—разъѣзжаетъ небесными дорогами святъ-Илья-пророкъ. Солнце—этотъ „небесный конь" индійскихъ сказаній, въ продолженіе дня обѣгающій небо изъ конца въ конецъ и отдыхающій ночью, чтобы снова появиться на своемъ вѣковѣчномъ пути, представлялось русскому язычнику свѣтлокудрымъ божествомъ—то богомъ, то богиней—разъѣзжающимъ на золотой колесницѣ, запряженной парою свѣтоносныхъ-бѣлыхъ (иногда—для большей торжественности—замѣнявшихся то парою брилліан-

товыхъ, то парою огнепламенныхъ) коней. Подводитъ ихъ поутру ко дворцу Солнца дѣва Утренняя Заря, уводитъ ввечеру—Вечерняя Заря. Родственныя этому сказанія можно найти и у многихъ другихъ народовъ, бывшихъ язычниковъ, хотя и не происходившихъ отъ одного съ нами племенного корня. Такъ, у нѣмцевъ существуетъ старинная сказка о восьминогомъ солнцевомъ конѣ, бѣгающемъ быстрѣе вѣтра съ горы на гору, конѣ съ блестящимъ камнемъ во лбу—такимъ яркимъ, что отъ него темная ночь превращается въ бѣлый день. Есть подобная-же сказка и у славянъ—словаковъ. Эти послѣдніе разсказываютъ, что нѣкогда была на землѣ страна, гдѣ никогда не свѣтило солнышко. Всѣ обитатели ея давно-бы разбѣжались, если-бы у короля не было на конюшнѣ жеребца съ солнцемъ-камнемъ промежду глазъ, разсыпавшимъ свѣтъ во всѣ стороны. Повелѣлъ добрый король водить этого чудодѣйнаго коня изъ конца въ конецъ по всему королевству: гдѣ проходилъ конь—тамъ становился день, откуда уводили его—развѣшивала между небомъ и землею свои черные полога ночь непроглядная. Вдругъ пропалъ у короля конь, украла его страшная волшебница (олицетвореніе зимы, похищающей солнце). Ужасъ овладѣлъ несчастною, погруженной во мракъ, страною. Такъ и сгинуть-бы ей и всѣмъ ея жителямъ во тьмѣ, да нашелся добрый человѣкъ: привелъ похищеннаго коня. И опять воцарилась въ королевствѣ свѣтлая радость (весна)... Издавна воображеніе русскаго простолюдина рисовало весну возвращающеюся на бѣломъ конѣ. Такимъ-же являлся и Овсень—Новый Годъ, привозящій первую вѣсть о возвратѣ весны. Празднованіе древнерусской Коляды—праздникъ возрождающагося солнца—сопровождался (и теперь по глухоморью захолустному сопровождается) пѣсенкой-колядкою, въ родѣ: „Ѣхала Коляда наканунѣ Рождества, въ малеваномъ возочку, на бѣленькомъ (по иному разносказу—„на ворономъ") конечку! Заѣхала Коляда, пріѣхала молода, ко Василью (новогоднему святому) на дворъ" и т. д. Встарину эта пѣсня распѣвалась-выкликалась на Святкахъ даже въ стѣнахъ Москвы Бѣлокаменной, гдѣ, по суровымъ словамъ благочестивыхъ, умудренныхъ книжнымъ начотчествомъ, людей, въ это-самое время „накладывали на себя личины и платье скоморошеское и межъ себя, нарядя, бѣсовскую кобылку водили".

Можно найти цѣлый рядъ старинныхъ русскихъ сказаній, въ которыхъ представляются въ образѣ коня и мѣсяцъ, и звѣзды, и вѣтры буйные, облетающіе „всю подсолнечную-всю подселенную" отъ-моря до-моря. Даже и тучи, заслоня-

ющія свѣтъ солнечный, и быстролётная молнія являются иногда въ томъ-же самомъ воплощеніи. „У матушки жеребецъ—всему міру не сдержать!“—говоритъ старинная загадка о вѣтрѣ; „У матушки коробья—всему міру не поднять!“—о землѣ; „У сестрицы ширинка—всему міру не скатать!“—о дорогѣ. Громовой гулъ представляется, по однимъ народнымъ загадкамъ, ржаніемъ небесныхъ коней. По другимъ—„Стукотитъ, гуркотитъ—сто коней бѣжитъ“. Русскія сказки упоминаютъ о коняхъ-вихряхъ, о коняхъ-облакахъ; и тѣ, и другіе надѣляются крыльями, подобно бурому коню удалого богатыря Дюка Степановича, яснымъ соколомъ—бѣлымъ кречетомъ вылетѣвшаго-выпорхнувшаго на Святую Русь „изъ-за моря, моря синяго, изъ славна Волынца, красна Галичья, изъ тоя Корелы богатыя“. „А и конь подъ нимъ—какъ бы лютой звѣрь, лютой звѣрь конь—и буръ, и косматъ“...—ведетъ свою рѣчь былинный сказъ: „у коня грива на лѣву сторону, до сырой земли... За рѣку онъ броду не спрашиваетъ, которая рѣка цѣла верста пятисотная, онъ скачетъ съ берега на берегъ“...

Изъ возницы пресвѣтлаго свѣтила дней земныхъ, изъ воплотителя понятій о звѣздахъ, вѣтрахъ, тучахъ и молніяхъ конь мало-по-малу превращается въ неизмѣннаго спутника богатырей русскихъ—этихъ яркихъ и образныхъ воплощеній могущества святорусскаго, служащихъ вѣрой-правдою Русской Землѣ съ ея княземъ (осударемъ)-Солнышкомъ, обороняющихъ рубежъ ея ото всякаго ворога лютаго, ото всякой наносной бѣды. Трудно представить богатыря нашихъ былинъ древнекіевскихъ безъ „вѣрнаго коня“ („добраго“, „борзаго“—по инымъ разносказамъ),—до того слились эти два образа, выкованныхъ стихійнымъ пѣснотворцемъ въ горнилѣ живучаго народнаго слова. И кони богатырскіе у насъ у каждаго богатыря—на свою особую стать. У Ильи-Муромца, матерого казака, конь не то что у горделиваго Добрыни Никитича; а и Добрынинъ конь не подъ-стать, не подъ-масть откормленному коню Алёши Поповича, „завидущаго бабьяго перелестника“. Нечего ужъ и говорить, что всторонѣ ото всѣхъ нихъ стоитъ та „лошадка соловенька“, на которой распахивалъ свою пашеньку „сошкой кленовенькою“ богатырь оратай-оратаюшко, пересилившій своимъ крѣпкимъ кровными связями съ матерью-землею могуществомъ кочевую-бродячую силу старшого богатыря Земли Русской—Святогора. А у этого, угрязшаго въ сырую землю, представителя безпокойнаго стихійнаго могущества, отступившаго передъ упорнымъ крестьянскимъ засильемъ, конь былъ всѣмъ ко-

LV.

Конь-пахарь.

Непосредственное участіе коня въ земледѣльческомъ трудѣ народной Руси заставляетъ ее относиться съ особеннымъ вниманіемъ къ этому животному. Въ памятникахъ изустнаго простонароднаго творчества, дошедшихъ до нашихъ забывчивыхъ дней въ письменныхъ трудахъ пытливыхъ собирателей-народовѣдовъ, а также разлетающихся и до сихъ поръ по свѣтлорусскому простору изъ устъ сказателей-краснослововъ, все еще не вымершихъ, несмотря на истребительную работу времени, то-и-дѣло ведется рѣчь о немъ. И былины, и пѣсни, и сказки, и пословицы, и загадки, и всякія поговорки-присловья, создававшіяся долгими вѣками простодушной мудрости, отводятъ въ своихъ рядахъ почетное мѣсто этому вѣковѣчному слугѣ народа-пахаря, составляющему первое его богатство послѣ земли-кормилицы. Гуляя по отведенному для него въ живой лѣтописи словесному полю, вы какъ-бы сопутствуете потомкамъ крестьянствовавшаго на Руси богатыря Микулы Селяниновича въ самобытномъ перерожденіи условій ихъ трудовой-подвижнической жизни на землѣ и „у земли“. Вмѣстѣ съ постепеннымъ развитіемъ крестьянскаго быта подвергался видоизмѣненіямъ и взглядъ посельщины-деревеньщины на коня. Въ древнѣйшія времена, застающія на Руси обожествленіе всей видимой природы, конь одинаково считался созданіемъ Бѣлъбога (стихіи свѣта) и Чернобога (стихіи мрака), причемъ дѣтищемъ перваго являлся будучи бѣлой масти, а черной—порожденіемъ мрака. Сообразно съ этимъ и смѣна дня ночью представлялась суевѣрному воображенію языческой Руси—бѣгомъ-состязаніемъ двухъ коней. „Обго-

нитъ бѣлый конь—день на дворѣ, вороная лошадка обскачетъ—ночь пришла!"—еще и теперь говорятъ въ народѣ. „Конь вороной („бурый жеребецъ"—по иному разносказу) черезъ прясла глядитъ!" нерѣдко можно услышать передъ наступленіемъ ночи.

Изслѣдователь воззрѣній славянъ на природу приводитъ любопытную старинную русскую сказку, прекрасно обрисовывающую это представленіе. Идетъ путемъ-дорогою дѣвица-красавица добывать огня отъ старой бабы-яги. Идетъ,—говоритъ сказка,—а сама дрожмя-дрожитъ. Вдругъ скачетъ мимо нея всадникъ: „самъ бѣлый, одѣтъ въ бѣломъ, конь подъ нимъ бѣлый и сбруя на конѣ бѣлая"... Слѣдомъ за нимъ разсвѣтаетъ утро бѣлаго дня весенняго. Дальше идетъ дѣвица-красавица,—видитъ: скачетъ другой всадникъ—„самъ красный, одѣтъ въ красномъ и на красномъ конѣ",—стало всходить солнце. Шла-шла путница, добралась до избушки на курьихъ ножкахъ, гдѣ жила баба-яга, чародѣйка-властительница небесныхъ грозъ,—видитъ еще всадника: „самъ черный, одѣтъ во всемъ черномъ и на черномъ конѣ". У самыхъ воротъ провалился онъ сквозь землю, и въ тотъ-же мигъ наступила ночь. Пришла дѣвица къ бабѣ-ягѣ, спрашиваетъ про всадниковъ и узнала, что перваго звали „день ясный", второго—„солнце красное", третьяго—„ночь темная"... Во всѣхъ русскихъ сказаніяхъ темная сила представляется выѣзжающею на черномъ конѣ, свѣтлая—на бѣломъ. Съ раздѣленіемъ власти надъ міромъ и всѣми явленіями его бытія между воцарившимся на славянскомъ Олимпѣ потомствомъ двухъ всемогущихъ стихій—бѣлые кони передаются богу-солнцу, богу-громовнику (сначала Перуну, потомъ Святовиду и, наконецъ, Свѣтлояру-Ярилѣ); черные-же становятся собственностью Стрибога и всѣхъ буйныхъ вѣтровъ—Стрибожьихъ внуковъ. Выше (см. стран. 21) уже велась рѣчь о бѣлыхъ коняхъ, содержавшихся при величайшей святынѣ языческаго славянства—арконскомъ храмѣ Святовидовомъ; говорилось также (см. стран. 334) и про коней Перуновыхъ, на которыхъ теперь—по словамъ народа—разъѣзжаетъ небесными дорогами святъ-Илья-пророкъ. Солнце—этотъ „небесный конь" индійскихъ сказаній, въ продолженіе дня обѣгающій небо изъ конца въ конецъ и отдыхающій ночью, чтобы снова появиться на своемъ вѣковѣчномъ пути, представлялось русскому язычнику свѣтлокудрымъ божествомъ—то богомъ, то богиней—разъѣзжающимъ на золотой колесницѣ, запряженной парою свѣтоносныхъ-бѣлыхъ (иногда—для большей торжественности—замѣнявшихся то парою брилліан-

товыхъ, то парою огнепламенныхъ) коней. Подводитъ ихъ поутру ко дворцу Солнца дѣва Утренняя Заря, уводитъ ввечеру—Вечерняя Заря. Родственныя этому сказанія можно найти и у многихъ другихъ народовъ, бывшихъ язычниковъ, хотя и не происходившихъ отъ одного съ нами племенного корня. Такъ, у нѣмцевъ существуетъ старинная сказка о восьминогомъ солнцевомъ конѣ, бѣгающемъ быстрѣе вѣтра съ горы на гору, конѣ съ блестящимъ камнемъ во лбу—такимъ яркимъ, что отъ него темная ночь превращается въ бѣлый день. Есть подобная-же сказка и у славянъ—словаковъ. Эти послѣдніе разсказываютъ, что нѣкогда была на землѣ страна, гдѣ никогда не свѣтило солнышко. Всѣ обитатели ея давно-бы разбѣжались, если-бы у короля не было на конюшнѣ жеребца съ солнцемъ-камнемъ промежду глазъ, разсыпавшимъ свѣтъ во всѣ стороны. Повелѣлъ добрый король водить этого чудодѣйнаго коня изъ конца въ конецъ по всему королевству: гдѣ проходилъ конь—тамъ становился день, откуда уводили его—развѣшивала между небомъ и землею свои черные полога ночь непроглядная. Вдругъ пропалъ у короля конь, украла его страшная волшебница (олицетвореніе зимы, похищающей солнце). Ужасъ овладѣлъ несчастною, погруженной во мракъ, страною. Такъ и сгинуть-бы ей и всѣмъ ея жителямъ во тьмѣ, да нашелся добрый человѣкъ: привелъ похищеннаго коня. И опять воцарилась въ королевствѣ свѣтлая радость (весна)... Издавна воображеніе русскаго простолюдина рисовало весну возвращающеюся на бѣломъ конѣ. Такимъ-же являлся и Овсень—Новый Годъ, привозящій первую вѣсть о возвратѣ весны. Празднованіе древнерусской Коляды—праздникъ возрождающагося солнца—сопровождался (и теперь по глухоморью захолустному сопровождается) пѣсенкой-колядкою, въ родѣ: „Ѣхала Коляда наканунѣ Рождества, въ малеваномъ возочку, на бѣленькомъ (по иному разносказу—„на ворономъ“) конечку! Заѣхала Коляда, пріѣхала молода, ко Василью (новогоднему святому) на дворъ“ и т. д. Встарину эта пѣсня распѣвалась-выкликалась на Святкахъ даже въ стѣнахъ Москвы Бѣлокаменной, гдѣ, по суровымъ словамъ благочестивыхъ, умудренныхъ книжнымъ начотчествомъ, людей, въ это-самое время „накладывали на себя личины и платье скоморошеское и межъ себя, нарядя, бѣсовскую кобылку водили“.

Можно найти цѣлый рядъ старинныхъ русскихъ сказаній, въ которыхъ представляются въ образѣ коня и мѣсяцъ, и звѣзды, и вѣтры буйные, облетающіе „всю подсолнечную-всю подселенную“ отъ-моря до-моря. Даже и тучи, заслоня-

ющія свѣтъ солнечный, и быстролётная молнія являются иногда въ томъ-же самомъ воплощеніи. „У матушки жеребецъ—всему міру не сдержать!“—говоритъ старинная загадка о вѣтрѣ; „У матушки коробья—всему міру не поднять!“—о землѣ; „У сестрицы ширинка—всему міру не скатать!“—о дорогѣ. Громовой гулъ представляется, по однимъ народнымъ загадкамъ, ржаніемъ небесныхъ коней. По другимъ—„Стукотитъ, гуркотитъ—сто коней бѣжитъ“. Русскія сказки упоминаютъ о коняхъ-вихряхъ, о коняхъ-облакахъ; и тѣ, и другіе надѣляются крыльями, подобно буромy коню удалого богатыря Дюка Степановича, яснымъ соколомъ—бѣлымъ кречетомъ вылетѣвшаго-выпорхнувшаго на Святую Русь „изъ-за моря, моря синяго, изъ славна Волынца, красна Галичья, изъ тоя Корелы богатыя“. „А и конь подъ нимъ—какъ бы лютой звѣрь, лютой звѣрь конь—и буръ, и косматъ“...—ведетъ свою рѣчь былинный сказъ: „у коня грива на лѣву сторону, до сырой земли... за рѣку онъ броду не спрашиваетъ, которая рѣка цѣла верста пятисотная, онъ скачетъ съ берега на берегъ“...

Изъ возницы пресвѣтлаго свѣтила дней земныхъ, изъ воплотителя понятій о звѣздахъ, вѣтрахъ, тучахъ и молніяхъ конь мало-по-малу превращается въ неизмѣннаго спутника богатырей русскихъ—этихъ яркихъ и образныхъ воплощеній могущества святорусскаго, служащихъ вѣрой-правдою Русской Землѣ съ ея княземъ (осударемъ)-Солнышкомъ, обороняющихъ рубежъ ея ото всякаго вòрога лютаго, ото всякой наносной бѣды. Трудно представить богатыря нашихъ былинъ древнекіевскихъ безъ „вѣрнаго коня“ („добраго“, „борзаго“—по инымъ разносказамъ),—до того слились эти два образа, выкованныхъ стихійнымъ пѣснотворцемъ въ горнилѣ живучаго народнаго слова. И кони богатырскіе у насъ у каждаго богатыря—на свою особую стать. У Ильи-Муромца, матерого казака, конь не то что у горделиваго Добрыни Никитича; а и Добрынинъ конь не подъ-стать, не подъ-масть откормленному коню Алёши Поповича, „завидущаго бабьяго перелестника“. Нечего ужъ и говорить, что встороиѣ ото всѣхъ нихъ стоитъ та „лошадка соловенька“, на которой распахивалъ свою пашеньку „сошкой кленовенькою“ богатырь оратай-оратаюшко, пересилившій своимъ крѣпкимъ кровными связями съ матерью-землею могуществомъ кочевую-бродячую силу старшого богатыря Земли Русской—Святогора. А у этого, угрязшаго въ сырую землю, представителя безпокойнаго стихійнаго могущества, отступившаго передъ упорнымъ крестьянскимъ засильемъ, конь былъ всѣмъ ко-

нямъ конь: сидючи на немъ, старѣйшій изъ богатырей русскихъ „головою въ небо упирается“. Подъ копытами коня Святогорова и крѣпкая Мать-Сыра-Земля дрожмя-дрожитъ. „Ретивой“ конь Ильи-Муромца, по словамъ былины, „осержается, прочь отъ земли отдѣляется: онъ и скачетъ выше дерева стоячево, чуть пониже облака ходячево“... У него, у этого коня ретивого, даже и прыть-то—богатырская:

„Первый скокъ скочитъ на пятнадцать верстъ,
Въ другой скочитъ—колодезь сталъ,
Въ третій скочитъ—подъ Черниговъ-градъ“...

О Добрыниномъ статномъ конѣ былинные сказатели отзываются наособицу любовно-ласково. „Какъ не ясный соколъ въ перелетъ летитъ: добрый молодецъ перегонъ гонитъ“...—говорятъ одни. „Куды конь летитъ, туды ископыть стаетъ, и мелки броды перешагивалъ, а рѣчки широки перескакивалъ, а озера болота вокругъ ѣхалъ“...—продолжаютъ другіе. „Конь бѣжитъ, мать-земля дрожитъ, отодрался конь отъ сырой земли, выше лѣсу стоячаго“... — подаютъ свой голосъ третьи. Хорошъ добрый конь и у богатыря Потока Михайлы Ивановича—„перваго братца названнаго“ дружины богатырей-побратимовъ. Вотъ въ какихъ, напримѣръ, словахъ описываетъ былина Потокову поѣздочку богатырскую:

„А скоро-де садился на добра коня,
И только его и видѣли,
Какъ молодецъ за ворота выѣхалъ,—
Во чистомъ полѣ лишь пыль столбомъ“...

Объ иную пору приходится и богатырскому добру коню выслушивать такую нелестную рѣчь своего разгнѣваннаго хозяина: „Ахъ ты, волчья сыть, травяной мѣшокъ! Не бывалъ ты въ пещерахъ бѣлокаменныхъ, не бывалъ ты, конь, во темныхъ лѣсахъ, не слыхалъ ты свисту соловьинаго, не слыхалъ ты шипу змѣинаго, а того-ли ты крику звѣринаго, а звѣринаго крику туринаго!“ („Первая поѣздка Ильи-Муромтца въ Кіевъ“.)

Изо всѣхъ былинныхъ коней выдѣляется конь Ивана госканаго сына—близкій по своему норову къ сказочнымъ „сивимъ-буркамъ, вѣщимъ кауркамъ“, о которыхъ ведутъ на сотни ладовъ-сказовъ свою пеструю рѣчь русскіе сказочники. Объ этомъ конѣ спѣлась-сказалась въ стародавніе годы цѣлая былина. „Во стольномъ во городѣ въ Кіевѣ, у славнаго князя Владиміра было пированье, почестной пиръ, было столованье почестной столъ на многи князи, бояра и на рус-

скіе могучіе богатыри и гости богатые"...—начинается она, по примѣру многихъ другихъ нашихъ былинъ. Въ половину дня, „во полу-пирѣ" хлѣбосольный князь-хозяинъ „распотѣшился, по свѣтлой гриднѣ похаживаетъ, таковы слова поговариваетъ",—продолжаетъ стихійный пѣвецъ-народъ. „Гой еси, князи и бояра и всѣ русскіе могучіе богатыри!"—возглашаетъ князь: „Есть-ли въ Кіевѣ таковъ человѣкъ, кто-бъ похвалился на триста жеребцовъ, на триста жеребцовъ и на три жеребца похваленые: сивъ жеребецъ да кологривъ жеребецъ и который полоненъ воронко во Большой Ордѣ, полонилъ Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ, какъ у молода Тугарина Змѣевича; изъ Кіева бѣжать до Чернигова два девяноста-то мѣрныхъ верстъ промежъ обѣдней и заутренею?" Вызовъ, брошенный ласковымъ княземъ стольнокіевскимъ, можетъ служить явнымъ свидѣтельствомъ того, что конскія состязанія были на Руси одною изъ любимыхъ потѣхъ еще во времена кіевскихъ богатырей. Многіе изъ нихъ могли—не хвастаясь —похвалиться своими конями, своею посадкой, своимъ умѣньемъ справиться съ конскимъ норовомъ; но тутъ,—гласитъ былина, — произошло нѣчто неудобь-сказуемое: „какъ бы меньшой за большаго хоронится, отъ меньшого ему тутъ князю отвѣту нѣтъ". Но вотъ — выручилъ всѣхъ побратимовъ-богатырей одинъ: „изъ того стола княженецкаго, изъ той скамьи богатырскія выступается Иванъ гостиной сынъ и скочилъ на свое мѣсто богатырское да кричитъ онъ, Иванъ, зычнымъ голосомъ" .. Принялъ онъ вызовъ княжескій, соглашается биться объ закладъ, „Гой еси ты, сударь, ласковой Владиміръ-князь!" — возговорилъ онъ, — „Нѣтъ у тебя въ Кіевѣ охотниковъ, а и быть передъ княземъ невольникомъ; я похвалюсь на триста жеребцовъ и на три жеребца похваленые: а сивъ жеребецъ да кологривъ жеребецъ, да третій жеребецъ полоненъ воронко, да который полоненъ во Большой Ордѣ, полонилъ Илья Муромецъ, сынъ-Ивановичъ, какъ у молодца Тугарина Змѣевича; ѣхать дорога не ближняя, и скакать изъ Кіева до Чернигова, два девяноста-то мѣрныхъ верстъ, промежу обѣдни и заутрени, ускоки давать конины, что выметывать раздолья широкія: а бьюсь я, Иванъ, о великъ закладъ, не о стѣ рубляхъ, не о тысячѣ—о своей буйной головѣ!" Взвеселилъ Иванъ сердце княжее, пришлась Красному Солнышку по душѣ смѣлая рѣчь сына гостинаго. А за князь-Владиміръ согласились держать „поруки крѣпкія" всѣ, кто былъ на пиру („закладу они за князи кладутъ на сто тысячей"),—всѣ кромѣ одного владыки черниговскаго: держитъ онъ за Ивана. А тотъ, недолго думавъ,

прямо къ дѣлу: выпилъ за единъ духъ „чару зелена вина въ полтора ведра“ да и пошелъ „на конюшню бѣлодубову ко своему доброму коню...“ А конь-то у Ивана, гостинаго сына, не какъ у другихъ богатырей: онъ—„бурочко, косматочко, троелѣточко“. Вошелъ богатырь въ конюшню, припалъ къ бурочкѣ („падалъ ему въ правое копытечко“),—припалъ, а самъ заливается слезами, плачетъ, по словамъ былины, что рѣка течетъ,—плачетъ, причитаетъ: „Гой еси ты, мой добрый конь, бурочко, косматочко, троелѣточко! Про то ты вѣдь не знаешь, не вѣдаешь, а пробилъ я, Иванъ, буйну голову свою съ тобою, добрымъ конемъ; бился съ княземъ о великъ закладъ, а не о стѣ рубляхъ, не о тысячѣ, бился съ нимъ о стѣ тысячей; захвастался на триста жеребенцовъ, а на три жеребца похваленые: сивъ жеребецъ да кологривъ жеребецъ и третій жеребецъ полоненъ воронко, бѣгати скакати на добрыхъ на коняхъ, изъ Кіева скакати до Чернигова, промежу обѣдни, заутрени, ускоки давать кониные, что выметывать раздолья широкія!“ Народъ-сказатель надѣляетъ богатырскихъ коней не только силой-мочью, но и способностью „провѣщать голосомъ человѣческимъ“. Это встрѣчается и въ былинахъ, и въ сказкахъ, и въ пѣсняхъ. Такъ и здѣсь было. „Провѣщится“ Ивану „добрый конь бурочко-косматочко-троелѣточко человѣческимъ русскимъ языкомъ“,—продолжаетъ безвѣстный сказатель, затонувшій въ волнахъ моря народнаго. Слѣдомъ—и самая рѣчь коня: „Гой еси, хозяинъ ласковой мой!“—говоритъ онъ сыну гостиному: „Ни о чемъ ты, Иванъ, не печалуйся: сива жеребца того не боюсь, кологрива жеребца того не блюдусь, въ задоръ войду—у воронка уйду! Только меня води по три зари, медвяною сытою пои и сорочинскимъ пшеномъ корми. И пройдутъ тѣ дни срочные и тѣ часы урочные, придетъ отъ князя грозенъ посолъ по тебя—Ивана гостинаго, чтобы бѣгати, скакати на добрыхъ на коняхъ.—не сѣдлай ты меня, Иванъ, добра коня, только берися за шелковъ поводокъ, поведешь по двору княженецкому, вздѣнь на себя шубу соболиную, да котора шуба въ три тысячи, пуговки въ пять тысячей, поведешь по двору княженецкому, а стану-де я, бурко, передомъ ходить, копытами за шубу посапывати и по черному соболю выхватывати, на всѣ стороны побрасывати,—князи, бояра подивуются и ты будешь живъ—шубу наживешь, а не будешь живъ—будто нашивалъ!..“ Выслушалъ богатырь рѣчь своего коня добраго, выслушавъ—не преминулъ исполнить все „по сказанному, какъ по писанному“. Былъ ему зовъ на княжій дворъ. Привелъ Иванъ своего бурку за шелковъ поводокъ; началъ-принялся Ивановъ ко-

сматочко-троелѣточко все выдѣлывать, какъ и „провѣщалъ“ своему хозяину. И вотъ:

„Князи и бояра дивуются,
Купецкіе люди засмотрѣлися—
Зрявкаетъ бурко по-туриному,
Онъ шипъ пустилъ по-змѣиному,—
Триста жеребцовъ испугалися,
Съ княженецкаго двора разбѣжалися:
Сивъ жеребецъ двѣ ноги изломилъ,
Кологривъ жеребецъ—такъ и голову сломилъ,
Полоненъ воронко въ Золоту Орду бѣжитъ,
Онъ хвостъ поднявъ, самъ всхрапываетъ“...

Сослужилъ конь своему господину службу немалую. „А князи-то и бояра испужалися, всѣ тутъ люди купецкіе, окарачь они по двору наползалися“,—продолжается подходящій къ концу былинный сказъ: „А Владиміръ-князь со княгинею печаленъ сталъ, кричитъ самъ въ окошечко косящатое:— Гой еси ты, Иванъ, гостиной сынъ! Уведи ты уродья (коня) со двора долой; просты поруки крѣпкія, записи всѣ изодраны!“ Былина кончается сказомъ про то, что поручитель выигравшаго закладъ богатыря—„владыка черниговской“—помогъ Ивану получить выигранное: „велѣлъ захватить три корабля на быстромъ Днѣпрѣ, велѣлъ похватить корабли съ тѣми товары заморскими, — а князи-де и бояра никуда отъ насъ не уйдутъ“...

Глубоко трогательное впечатлѣніе производитъ старинная пѣсня, въ которой ведется рѣчь о томъ, какъ „не звѣзда блеститъ далече въ чистомъ полѣ, курится огонечекъ малешенекъ“... У этого огонечка, по словамъ пѣсни, раскинутъ-разостланъ „шелковой коверъ“, а на этомъ коврѣ лежитъ „удалъ-добрый молодецъ, прижимаетъ платкомъ рану смертную, унимаетъ молодецкую кровь горючую“... Неизмѣнный спутникъ богатырей русскихъ—„добрый конь“—стоитъ подлѣ раненаго, стоитъ—„бьетъ своимъ копытомъ въ мать сырую землю, будто слово хочетъ вымолвить“.... Пѣсня приводитъ и самое „слово“ коня добраго:

„Ты вставай, вставай, удалъ-добрый молодецъ!
Ты садись на меня, своего слугу;
Отвезу я добра молодца на родиму сторону,
Къ отцу, матери родимой, къ роду-племени,
Къ малымъ дѣтушкамъ, къ молодой женѣ!“

Услыхалъ удалъ-добрый молодецъ таковы слова, вздохнулъ

такъ глубоко, что „растворилась его рана смертельная, пролилась ручьемъ кровь горючая". Держитъ онъ отвѣтную рѣчь своему коню доброму, именуетъ его и „товарищемъ въ полѣ ратномъ", и „добрымъ пайщикомъ службы царской", завѣщаетъ ему передать молодой женѣ, что женился онъ „на другой женѣ", „взялъ за ней поле чистое", что „сосватала (ихъ) сабля острая, положила спать калена стрѣла"...

Встрѣчаются въ былинномъ и сказочномъ народномъ словѣ разсказы о могучихъ коняхъ, выводимыхъ богатырями изъ подземелій, гдѣ они стояли въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ прикованными къ скаламъ. Подбѣгаютъ кони, провѣщающіе голосомъ человѣческимъ, къ сказочнымъ царевичамъ и добрымъ молодцамъ на распутіяхъ, сами вызываются сослужить имъ службу вѣрную. И, впрямь, вѣрною можно назвать эту службу: они не только увозятъ своего любимаго хозяина отъ лютыхъ вороговъ, а и сами бьютъ - топчутъ ихъ; не только переносятъ его на себѣ за лѣса и горы, но и стерегутъ его сонъ, и приводятъ его къ источникамъ живой и мертвой воды и т. д. Въ народѣ до сихъ поръ еще ходятъ стародавнія сказанія о выбитыхъ изъ земли ногами богатырскихъ коней ключахъ-родникахъ. Близъ Мурома стоитъ даже и часовня надъ однимъ изъ такихъ источниковъ, происхожденіе котораго связано въ народной памяти съ первой богатырскою поѣздкой богатыря, сидѣвшаго, до своего служенія Землѣ Русской, сиднемъ тридцать лѣтъ и три-года во томъ-ли во селѣ Карачаровѣ. Въ кругу русскихъ простонародныхъ сказокъ далеко не послѣднее мѣсто принадлежитъ коньку - горбунку, обладавшему силою перелетать во мгновеніе ока со своимъ сѣдокомъ въ тридевятое царство, въ тридесятое государство. Появляется этотъ, напоминающій косматку-троелѣтку Ивана гостинаго сына, конёкъ — какъ листъ передъ травой, — на кличъ: „Сивка-бурка, вѣщій каурка, встань передо мной..." и т. д. Влѣзетъ Иванъ-дуракъ ему въ одно ухо сѣрымъ мужикомъ-вахлакомъ, вылѣзетъ изъ другого—удалымъ добрымъ молодцемъ. Чудеса творитъ — всему міру на-диво—хозяинъ-всадникъ такого конька-горбунка, добываетъ все, что̀ ему ни вздумается, не исключая ни жаръ-птицы, ни раскрасавицы Царь-Дѣвицы. Не можетъ съ нимъ поспорить-помѣряться въ этомъ отношеніи нашъ современный конь-пахарь, но за послѣдняго горой стоитъ его прямое происхожденіе отъ соловенькой лошадки могучаго богатыря, съ Божьей помощью крестьянствовавшаго на Святой Руси въ старь стародавнюю.

Поздніе потомки пѣснотворцевъ сказателей, воспѣвавшихъ богатырскаго добра̀-коня, современные краснословы деревен-

скіе именуютъ лошадь „крыльями человѣка“. Другіе-же, не залетающіе воображеніемъ за грань отошедшихъ въ былое вѣковъ, величаютъ коня на особую стать. „Не пахарь, не столяръ, не кузнецъ, не плотникъ, а первый на селѣ работникъ!“ — говорятъ они про него. Этотъ первый на селѣ работникъ кормитъ держащійся за землю сельскій людъ, — по его-же собственному крылатому слову: „Нашъ Богданъ не богатъ, да тороватъ: трехъ себѣ дружковъ нажилъ—одинъ его поитъ (корова), другой (лошадь) кормитъ, третій (собака) добро охраняетъ!“ Псковичи—изъ смѣтливыхъ краснобаевъ: запримѣтили они, что у коня — „четыре четырки (ноги), двѣ растопырки (уши), одинъ вилюнъ (хвостъ), одинъ фыркунъ (морда) и два стеклышка (глаза) въ немъ“. На симбирскомъ Поволжьѣ про лошадь загадываютъ загадку: „Родится — въ двѣ дудки играетъ; выростетъ—горами шатаетъ; а умретъ—пляшетъ!“ Въ Ставропольскомъ уѣздѣ Самарской губерніи записана Д. Н. Садовниковымъ такая загадка въ лицахъ: „Шелъ я дорогой: стоитъ добро, и въ добрѣ ходитъ добро. Я это добро взялъ и прикололъ, да изъ добра добро взялъ!“ (лошадь съ жеребенкомъ въ пшеницѣ). Конскія ноги съ мохнатыми пучками на щиколоткахъ представляются любящему загануть загадку словоохотливому люду четырьмя дѣдами, и всѣ четыре — „назадъ бородами“. Записано собирателями памятниковъ словеснаго богатства народнаго и такое крылатое слово про лошадь (въ сообществѣ съ коровою и лодкой): „Прилетѣли на хоромы три вороны. Одна говоритъ: — Мнѣ въ зимѣ добро! — Другая: — Мнѣ въ лѣтѣ добро!— Третья:—Мнѣ всегда добро!“ Ходитъ по свѣтлорусскому простору и на иной ладъ сложившаяся, родственная только-что приведенной, загадка: „Одна птица (сани) кричитъ:—Мнѣ зимой тяжело! Другая (телѣга) кричитъ:—Мнѣ лѣтомъ тяжело! Третья (лошадь) кричитъ:—Мнѣ всегда тяжело!“.

Конь, по древнѣйшему произношенію — „ко́монь“. Лошадь считается словомъ татарскаго происхожденія, но едвали не ошибочно. Еще во времена Владиміра Мономаха,— когда про татаръ не доносилось на Святую Русь ни слуха, ни духа,—ходило это слово. „Лошади жалуете, ею же ореть смердъ...“ — писалъ удѣльнымъ князьямъ русскимъ этотъ великій князь. Встрѣчается оно и въ древнихъ граматахъ новогородскихъ—по свидѣтельству Н. М. Карамзина [88]), не гово-

[88]) Николай Михайловичъ Карамзинъ—знаменитый историкъ, авторъ „Исторіи Государства Россійскаго“. Онъ родился въ сельцѣ Богородицкомъ (Карамзинка тожъ) Симбирскаго уѣзда, 1-го декабря 1766 года, въ семьѣ богатаго помѣщика. Дѣтство онъ провелъ въ деревнѣ, 13 лѣтъ былъ отданъ въ

ря уже о позднѣйшихъ памятникахъ нашей старинной письменности. По тѣмъ мѣстамъ, гдѣ оберегается-соблюдается родная старина, еще и теперь можно услышать въ живой рѣчи древнѣйшее названіе коня-пахаря. „На горы казаки, подъ горой мужики"...—поется, напримѣръ, и въ наши дни по селамъ-деревнямъ Великолуцкаго уѣзда Псковской губерніи записанная покойнымъ П. В. Шейномъ пѣсня: „подъ горой мужики: все посвистываютъ, погаманиваютъ,— меня, молоду, поуговариваютъ. У меня, молодой, свекоръ-батюшка лихой! Енъ на горушки меня не пущаитъ. А я свекру угожу, три бѣды наряжу"... — продолжаютъ пѣвуны затѣйливые. Пѣсня кончается словами:

„Три бѣды снаряжу;
Подошлю воровъ,
Чтобъ покрали коровъ;
Подошлю людей,
Чтобъ покрали клѣтей;
Подошлю куманей,
Чтобъ увели комоней"...

Въ другой, псковской-же, до сихъ поръ играющейся, пѣснѣ на „комоняхъ" разъѣзжаетъ широкая боярыня — Масляница.

одинъ изъ частныхъ московскихъ пансіоновъ, затѣмъ посѣщалъ лекціи московскаго университета. Въ 1783-мъ году онъ уже печаталъ свои первые литературные (стихотворные и прозаическіе) опыты. Вскорѣ послѣ этого онъ сближается съ баснописцемъ И. И. Дмитріевымъ, затѣмъ поступаетъ въ военную службу, выходитъ въ отставку, уѣзжаетъ на родину, чтобы вскорѣ снова вернуться въ Москву и примкнуть къ кружку Н. И. Новикова. Путешествію заграницу, совершенному имъ въ 1789—90 годахъ русская литература обязана его извѣстными „Письмами русскаго путешественника". Послѣ этого мы видимъ его то издателемъ „Московскаго Журнала" (1790—92 г. г.), то авторомъ повѣстей („Бѣдная Лиза" и др.), то стихотворцемъ, то просто свѣтскимъ человѣкомъ, то собирателемъ образцовъ русской литературы, то переводчикомъ иностранныхъ классиковъ, проводящимъ черезъ дебри суровой цензуры римскихъ и греческихъ философовъ, историковъ и ораторовъ. Въ 1802 - 3 годахъ Н. М—чъ выступаетъ съ изданіемъ новаго журнала „Вѣстникъ Европы" и съ увлеченіемъ отдается историческимъ изслѣдованіямъ. Въ октябрѣ 1803 года, при содѣйствіи товарища министра народн. просвѣщ. М. Н Муравьева, онъ получаетъ званіе „исторіографа" и 2000 руб. ежегодной пенсіи, прекращаетъ изданіе журнала и начинаетъ писать свою „Исторію". Въ 1816-мъ году вышли первые восемь томовъ этого обезсмертившаго его имя труда, въ 1821-мъ—9-й, въ 1824-мъ—10 й и 11-й. Черезъ два года, 22-го мая 1826 г., великій писатель скончался, не успѣвъ дописать 12-го тома своего гигантскаго труда, которому посвятилъ болѣе 20 лѣтъ жизни. Похороненъ Н. М. Карамзинъ въ С.-Петербургѣ (гдѣ провелъ послѣдніе 20 лѣтъ, за которые судьба сблизила его съ императорской семьею)—въ Александро-Невской Лаврѣ. На родинѣ, въ гор. Симбирскѣ, воздвигнутъ—повелѣніемъ императора Николая I-го,—памятникъ автору „Исторіи Государства Россійскаго".

Вѣроятно, есть и по другимъ мѣстамъ такія пѣсенныя выраженія, но́ нельзя не замѣтить, что чѣмъ дальше, тѣмъ все менѣе и менѣе понятной великороссу становится это древнее слово, помнящее дни Гостомысла [89]). „Ахъ ты, конь мой конь, лошадь добрая!“ — поетъ современная деревня, сливая оба имени своего вѣковѣчнаго помощника. „Кляча воду возитъ, лошадь пашетъ, конь—подъ сѣдломъ!“—на-ряду съ этимъ оговариваетъ она самое-себя.

Многое-множество пословицъ, поговорокъ и всевозможныхъ прибаутковъ-присловій о конѣ-лошади, вылетѣло изъ словоохотливыхъ устъ русскаго народа, перехвачено по дорогѣ изъ однихъ—въ другія зоркими да чуткими калитами-собирателями, занесено ими на страницы живой лѣтописи народнаго слова. Не только пахаремъ-работникомъ былъ конь, а и вѣрнымъ другомъ родной удали. Онъ является въ представленіи народа-краснослова воплощеніемъ здоровой бодрости: „Онъ ходитъ—конь-конемъ!“ — говорятъ у насъ. Отголосокъ богатырскихъ временъ слышится въ такихъ изреченіяхъ вольнаго казачества, какъ: „Конь мой конь, ты мой вѣрный другъ!“, „Вся надѣжа — вѣрный конь!“, „Конь подъ нами, а Богъ — надъ нами!“, „Господи, помилуй коня и меня!“, „Конь не выдастъ — и смерть не возьметъ!“, „Добрый конь изъ воды вытащитъ, изъ огня вынесетъ!“, „Счастье на конѣ, безсчастье—подъ конемъ!“, „Счастливый на конѣ, безсчастный—пѣшъ!“ и т. д. „Поглядимъ—вывезетъ-ли конь!“—замѣчаютъ о надѣющихся на счастье. Про неудачливую случайность говорятъ въ народѣ: „Хотѣлось на коня, а досталось подъ коня!“ Съ кѣмъ приключится несчастье, — къ тому сплошь-да-рядомъ примѣняются поговорки: „Пришла бѣда, отворяй ворота, выпускай добра-коня!“, „Пропалъ конь — такъ и оброть въ огонь!“, „Увели конька, такъ не нужна и оброть!“ и т. п. Безлошадный дворъ—убогая семья; обезлошадѣть—попасть въ нужду невылазную. Потому-то и говорится въ народѣ: „Мужикъ безъ лошади—что домъ безъ потолка!“, „Безъ коня—не хозяинъ!“, „Безъ лошади—не пахарь!“, „Есть на дворѣ лошадка да конекъ — и сытъ, и одѣтъ!“, „Безъ хлѣба съ голоду помрешь; безъ коня — и съ хлѣбомъ

---

89) Гостомыслъ—первый посадникъ новгородскій, убѣдившій старѣйшинъ отправить пословъ къ варягамъ для призванія князей. О немъ существуютъ и другія преданія, называющія его сыномъ Буривоя, князя славянскаго (потомка Вандала). По этимъ преданіямъ, онъ передъ смертью своей завѣщалъ призвать князей на Русь изъ родственнаго ему дома князей варяжскихъ. Рюрикъ,—если вѣрить сказанію, приходится—внукомъ Гостомыслу со стороны матери.

намыкаешься горя!“ Знаетъ народная Русь, что „Счастье не кляча—хомута не надѣнешь!“; по—и знаючи—готова, какъ и въ стародавнюю пору, повторять свои пословицы-поговорки, въ-родѣ: „Хорошъ конь—счастливъ и дѣтина!“ Древнерусскіе богатыри не только ударяли своихъ добрыхъ коней по крутымъ бедрамъ, а и становились на отдыхъ у Сафатъ-рѣки, засыпали имъ въ торока пшена сорочинскаго, запускали ихъ на луга поемные - бархатные, давали имъ тѣла нагуливать. Такъ и теперь твердо помнятъ коневоды русскіе, что погонять коня надо не кнутомъ, а овсомъ (кормомъ). „Не накормленъ конь — скотина, не пожалованъ молодецъ — сиротина!“ — ходитъ по свѣтлорусскому простору народное слово. „Конь тощой — хозяинъ скупой!“ — приговариваетъ народъ: „Гладь коня мѣшкомъ — такъ не будешь ходить пѣшкомъ!“ Хорошая лошадь безъ хозяина не останется, по слову старыхъ людей. „Добрый конь—не безъ сѣдока, съ сѣдокомъ—не безъ корму!“ — добавляютъ иные. Но и кормъ—корму рознь; недаромъ обмолвился сельскохозяйственный опытъ пословицами: „Вола гущей откормишь, коня — только раздуешь!“ Не одинъ кормъ, а и уходъ, за конемъ нуженъ: „Отъ хозяйскаго глаза и конь добрѣетъ!“ Какъ въ ѣздѣ, такъ и въ рабочемъ обиходѣ, совѣтуютъ хозяйственные, загляды-вающіе впередъ, люди беречь коня. „Однимъ махомъ всего пути не проскачешь!“—говорятъ они: „Однимъ конемъ поля не покроешь!“, „Выше мѣры и конь не прянетъ!“, „Пахать—паши, да оглядывайся, погонять — погоняй, да остерегайся!“ Не такъ-то легко завести добраго коня. По дѣдовскому повѣрью, идущему изъ далёкихъ глубинъ старины стародавней, покупать лошадь надо съ большой оглядкою, съ не малой опаскою. „Однѣми деньгами добра коня не укупишь!“—гласитъ простонародная мудрость: „Не пришелся ко двору конь, такъ хоть живого подъ оврагъ вали!“ Повсемѣстно можно услышать въ деревняхъ-селахъ разсказы о томъ, какъ домовой („сосѣдко“—по инымъ разносказамъ) того, либо другого коня не взлюбилъ. Народъ вѣритъ, что этотъ хранитель домашняго очага каждую ночь разъѣзжаетъ по двору на лошади: не придется ему по нраву новый конь — загоняетъ до полусмерти, приглянется — самъ, старый, гриву заплетать зачнетъ, холить примется, корму подкладывать станетъ. „Нашихъ лошадокъ домовой любитъ!“—говорится сплошь-да-рядомъ въ крестьянскомъ быту при взглядѣ на коней, которымъ, что называется, впрокъ кормъ идетъ. Одинъ домовой любитъ одну масть, другой — иную. Не придется какая шерсть „ко двору“, — лучше и не заводить такихъ въ другой разъ: все

равно, толку не будетъ. До сихъ поръ старые, прочно сидящіе „на своемъ кореню“ хозяева придерживаются обычая водить лошадей одной масти, чтобы не досадить „дѣдушкѣ“, живущему въ подпечкѣ—что ни ночь, обходящему дозоромъ всѣ клѣти, всѣ сараи. „Чей конь—того и возъ!“—сложилась въ народѣ поговорка о работящихъ людяхъ, наживающихъ достатокъ трудомъ праведнымъ; но ее-же иногда примѣняютъ и къ тѣмъ, кто не особенно чистъ на руку. „Даровому коню въ зубы не смотрятъ!“—оправдываются любители до поживы на-даровщинку. Но такимъ зазорнымъ хлѣбоѣдамъ того-и-гляди придется услышать отповѣдь: „Съ чужого коня—среди грязи долой!“ Зачастую говорятъ они сами себѣ: „И прыгнулъ-бы на коняшку, да ножки коротки!“ Свое добро — всякому дорого. Изъ этого понятія и сложилась поговорка: „Непродажному коню — и цѣны нѣтъ!“ Объ увальняхъ, неповоротливыхъ разумомъ, тяжелыхъ на соображеніе работникахъ обмолвилась народная Русь словцомъ: „На конѣ сидитъ, а коня ищетъ!“. „Волкъ коню—не товарищъ!“—говоритъ она, сопоставляя рабочую силу съ хищникомъ, вырывающимъ кусокъ чуть не изо рта у сосѣда. „Чешись конь съ конемъ, а свинья—съ угломъ!“ — оговариваетъ простодушная деревня напрашивающихся на свойство, не приходящихся ей по сердцу чужаковъ. Ничего силкомъ съ человѣкомъ не подѣлать, какъ ни учи его—не приручишь; такъ и съ конемъ неѣзжанымъ. А „обойдешь да огладишь—такъ и на строгаго коня сядешь!“—говоритъ народъ. Нѣтъ человѣка безъ недостатка, люди—не ангелы, жизнь—не рай. „Конь о четырехъ ногахъ—и тотъ спотыкается!“—гласитъ вѣщее, пережившее вѣка слово: „Кабы на добра коня не спотычка, кабы на хорошаго работника не худа привычка — цѣны-бы имъ не было!“ Опытъ — великое дѣло въ житейскомъ обиходѣ: вооружась имъ, понабравшись его по жизненной путинѣ, не надо уже и по семи разъ ко всему приглядываться, по семи разъ отмѣривать,—смѣло иди, рѣжь—не бойся!.. „Старый конь борозды не портитъ!“ — примѣняетъ народная Русь къ этому случаю свою крылатую молвь. Но не великая радость и старая опытность, если ей суждено—волей-не-волей — дряхлѣть годъ-отъ-году. „Укатали сивку крутыя горки!“—пригорюнивается не одна сѣдая голова, на Божій міръ глядючи, былое вспоминаючи: „Былъ конь, да изъѣздился!“ Приходитъ пора, что и тряхнулъ-бы прежній удалецъ стариной, да спина не разгибается; и принялся-бы за дѣло, да ноги ломитъ: какъ ни корми такого работника—все „не въ коня кормъ“... Знаетъ-помнитъ объ этомъ народъ,—недаромъ къ слову молвитъ:

„Въ худого коня кормъ тратить — что воду лить въ бездонную кадушку!“

Дорожитъ хорошими работниками русскій народъ, въ потѣ лица—по Божію завѣту—вкушающій хлѣбъ насущный. „Онъ работаетъ—какъ лошадь хорошая!“—ходитъ молва о такой ворочающей горы силѣ,—„Что ни сдѣлалъ—все изъ-подъ кнута!“—о работникахъ иного склада, противоположнаго этому. „Лошадка въ хомутѣ—везетъ по могутѣ!“—отговариваются слабняки, ссылаясь на свое малосилье. Какъ въ работѣ за столомъ вокругъ чашки со щами „ложкой, а не ѣдокомъ“, —такъ и въ дорогѣ—„не лошадью, а ѣздокомъ“, берутъ. Ко всякимъ случайностямъ своего домашняго обихода примѣняетъ коневодъ поговорки-пословицы, связанныя съ понятіемъ о конѣ-пахарѣ, конѣ-скакунѣ. „Кобыла съ волкомъ тягалась—вость да грива осталась!“—говоритъ онъ о непосильной бохрьбѣ съ кѣмъ-либо. „Не бери у попа дочери, у цыгана—лошади!“—приговариваетъ онъ, недовѣрчиво вслушиваясь въ хвастливыя рѣчи. „Большая лошадь намъ не ко двору—травы недостанетъ!“—посмѣивается деревенскій людъ, перебивающійся съ хлѣба на воду, въ отвѣтъ на предложеніе неподходящаго къ его засилью дѣла. „Шутникъ—покойникъ: померъ во вторникъ, а въ среду всталъ—лошадку укралъ!“—отзываются въ народѣ смѣшливымъ прибауткомъ на ложные слухи, распространяемые любителями ихъ. „Пѣшій конному не товарищъ!“—отвѣчаютъ сытые своимъ потовымъ трудомъ, сѣрые съ виду пахотники-мужики, когда ихъ спрашиваютъ, почему они не водятъ дружбы съ горожанами-бархатниками, у которыхъ, по пословицѣ: „На брюхѣ шелкъ, а подъ шелкомъ-то—щелкъ“...

Горе горькое хлѣборобу безъ своей родимой полосы, но не въ радость земля, если нѣтъ у него коня-пахаря на дворѣ. Краснословъ-народъ, умудренный тысячелѣтнимъ опытомъ трудовой жизни, идетъ и дальше въ своихъ опредѣленіяхъ причинъ зажиточности: „Не дорога и лошадь, коли у кого во дворѣ бабушки нѣтъ („кому бабушка не ворожитъ“—по иному разносказу)!“—говоритъ онъ. Бабушкой зовется въ просторѣчьи иногда слѣпое счастье, иногда вызволяющій изо всякой бѣды богатый (или сильный) родственникъ. „Счастье —не лошадь: не везетъ по прямой дорожкѣ, не слушается возжей!“—замѣчаютъ старые люди, перешедшіе поле жизни. Лишиться лошади—въ быту русскаго крестьянина великое горе: ничуть не меньшее, чѣмъ пожаръ, если только не большее. Оттого-то и причитаютъ, голосятъ на всю деревню бабы-хозяйки надъ павшимъ конемъ, называя его „кормильцемъ“, „родимымъ“ и другими ласковыми именами-величанія-

ми. „Ой, что-то мы, горькіе, станемъ дѣлать! На кого-то ты, кормилецъ, насъ спокинулъ?!. Пойдемъ мы по міру съ сумою, подъ окнами Христа-ради... Намыкаемся мы горюшка, насидимся безъ хлѣбушка—со малыми дѣтушками... Кто-то намъ пашеньку запашетъ? Кто полосыньку взборонуетъ?“—голосомъ вопятъ, что надъ покойникомъ, деревенскія плакальщицы, на всѣ лады выхваляя его „статьи“-достоинства. „Ты по пашенькѣ соху водилъ легче перушка“,—хватающимъ за душу голосомъ продолжаютъ онѣ,—„бороздочки-то бороздилъ глубокія, нѣ-глядя—шелъ прямехонько, не погоняючи —любехонько! Твои быстры ноженьки не знали устали; помнилъ ты всѣ пути да всѣ дороженьки. Побѣжишь—не угнаться вѣтру буйному“...—Не мало и другихъ, кромѣ этого—подслушаннаго на симбирскомъ Поволжьѣ—причитанья, надъ павшимъ конемъ-пахаремъ, ходитъ и въ наши дни отъ села къ селу по народной Руси.

Весной-лѣтомъ, вплоть до поздней осени—работа коню въ полѣ (то пахота, то бороньба, то сѣвъ, то сноповозъ); зимой—извозъ начинается, тянутся по дорогамъ обозы. И тамъ, и тутъ сближается пахарь-человѣкъ съ конемъ-пахаремъ, Какъ-же не слагаться въ стихійно, широкой душѣ перваго всякимъ словамъ крылатымъ да пѣвучимъ про нравъ обычай его вѣковѣчнаго помощника!. И ходятъ они по-людямъ изъ-вѣка-въ-вѣкъ, изъ-года-въ-годъ, видоизмѣняясь сообразно съ мѣстными условіями жизни. Ямской промыселъ, существующій на Руси не одинъ и не два вѣка, придалъ этимъ „словамъ“ свой особый цвѣтъ. Дорога представляется русскому ямщику „брусомъ“ („бревномъ“), растянувшимся черезъ всю Русь. „Кабы всталъ, я бы до неба досталъ; руки да ноги, я бы вора связалъ; ротъ да глаза, я бы все увидалъ, все разсказалъ!“—влагаетъ онъ свою мысль въ уста дороги. Верстовой столбъ, по народному слову, „самъ не видитъ, а другимъ указываетъ, нѣмъ и глухъ—а счетъ знаетъ“. Поддужный колокольчикъ, веселящій сердце и ямщику, и сѣдоку, и даже лошадей подбадривающій (волковъ пугающій),—по народной загадкѣ—„кричитъ безъ языка, поетъ безъ горла, радуетъ и бѣдуетъ, а сердце не чуетъ“. Покровителемъ лошадей является, по народному представленію, святая двоица Флоръ и Лавръ (память — 18-го августа), о которыхъ въ свое время говорилось уже (см. гл. XXXII). Дорожные люди отдаются подъ защиту св. Николая-чудотворца. „Призывай Бога на помощь, а Николу въ путь!“ — гласитъ народное благочестіе. „Гдѣ дорога—тамъ и путь“,—приговариваетъ мужикъ-простота,—„гдѣ торно, тамъ и простор-

но!“ Ямская гоньба, почтовая ѣзда создали-выработали своихъ лихачей, не лишенныхъ своеобразной удали, напоминающей отдаленный пережитокъ богатырства. Любятъ они тѣшить сердце молодецкое, птицею летать; заливаются пѣснями удалыми, погоняютъ сжившихся съ ними коней не кнутомъ—не овсомъ, а посвистомъ да выкрикомъ. „Тѣло довезу, а за душу не ручаюсь!“ — подсмѣивается иной ямщикъ надъ своимъ безшабашнымъ молодечествомъ. „Съ горки на горку, баринъ дастъ на водку!“—покрикиваетъ онъ, разгоняя птицу-тройку. „Эй вы, соколики!“—бодритъ коней его голосъ, какъ начнутъ уставать они. Словно и усталь не беретъ ихъ, чуть только крикнетъ удалецъ-молодецъ, сидящій на козлахъ свое: „Грабятъ! Выручай!“ Шажкомъ поѣдетъ—пѣсню за пѣсней поетъ ямщикъ, особенно если порожнемъ приходится ѣхать въ обратный путь. Самые голосистые запѣвалы по большой дорогѣ—изъ ямщиковъ. И пѣсенъ никто столько не знаетъ.

Приглядѣлся народъ къ нраву-обычаю своего вѣковѣчнаго работника, коня добраго, за многовѣковую жизнь бокъ-о-бокъ съ нимъ. Отсюда—и множество всякихъ примѣтъ пошло по народной Руси разгуливать. Ржетъ конь—къ добру, ногою топаетъ—къ дорогѣ, втягиваетъ ноздрями воздухъ дорожный—домъ близко, фыркаетъ въ дорогѣ—къ доброй встрѣчѣ (или къ дождю). Закидываетъ лошадь голову—къ долгому ненастью, валяется по землѣ—къ теплу-ведру. Споткнется конь при выѣздѣ со двора въ дорогу—лучше, по словамъ старыхъ примѣтливыхъ людей, вернуться назадъ, чтобы не вышло какого-нибудь худа; распряжется дорогой—быть бѣдѣ неминуемой. Хомутъ, снятый съ потной лошади, является въ деревенской глуши лѣчебнымъ средствомъ: надѣть его на болящаго лихорадкой человѣка,—какъ рукой, говорятъ, всю болѣзнь сниметъ. Вода изъ недопитаго лошадью ведра—тоже, если вѣрить вѣдунамъ-знахарямъ, можетъ облегчать разныя болѣзни, если ею умыться со словомъ наговорнымъ. Конскій черепъ—страшенъ для темной силы-нечисти. Оттого-то до сихъ поръ во многихъ деревняхъ можно видѣть черепа лошадей, воткнутые на частоколъ вокругъ дворовъ. Другъ-слуга пахаря-народа конь-пахарь остается вѣрнымъ ему даже и послѣ своей смерти.

LVI.

Царство рыбъ.

Разселяясь во всѣ стороны свѣтлорусскаго простора, нашъ народъ-хлѣбоодъ шелъ берегами могучихъ рѣкъ, шагъ-за-шагомъ надвигался по ихъ многоводнымъ притокамъ на дремучія лѣсныя крѣпи, осѣдая на приглянувшихся его хозяйственному зоркому глазу, открытыхъ ласкѣ солнечныхъ лучей, полянахъ, или на расчищенныхъ съ помощью топора мѣстахъ, всякій разъ—по близости отъ воды. Рѣки служили естественнымъ путемъ-дорогою народной Руси, сроднившейся съ ними съ младенческихъ лѣтъ своего богатырскаго существованія. „По которой рѣкѣ плыть—той и пѣсенки пѣть!“, „Изъ которой рѣки воду пить—той и славу сложить!“—гласятъ простонародныя изреченія, дошедшія до нашихъ дней изъ старины стародавней, пережившія цѣлый рядъ вѣковъ, затонувшихъ въ глубинѣ былого-минувшаго. Не только служили путемъ-дороженькой, но и за рубежъ-границу слыли, встарину на Руси рѣки быстрыя-широкія: по одну сторону селилось-сидѣло, за Мать-Сырую-Землю держалось одно племя-родъ, по другую—иное, обособившееся отъ него, огородившее отъ постороннихъ наслоеній свою родовую самобытность. „Два братца въ одну воду глядятся, а вовѣкъ не сойдутся!“—обмолвилось о берегахъ рѣки крылатое народное слово, повторяющееся въ видѣ загадки и въ наши дни. Встарину-же его съ полной справедливостью можно было примѣнять не только къ берегамъ, а и къ ихъ обитателямъ, разбредшимся въ разныя стороны, слетѣвшимъ нѣкогда съ одного родимаго гнѣзда. Но не только отъ тѣсноты—въ жаждѣ приволья-простора—расходились другъ отъ друга племена-братья;

заставлялъ уходить за рѣки чуть не цѣлые народы натискъ чужеземныхъ вороговъ, одинъ за другимъ наступавшихъ съ азіатскаго востока. Шло время, миновали вѣка за вѣками, отходило подобное разселеніе къ преданіямъ прошлаго—вмѣстѣ съ зарубежными хищниками, мало-по-малу или исчезавшими съ широкаго поля исторической жизни, или расплывавшимися незамѣтными каплями въ безпредѣльныхъ волнахъ могутнѣвшей вѣкъ-отъ-вѣка русской стихіи. Память о быломъ осталась только на неписанныхъ скрижаляхъ всеобъемлющаго слова народнаго—въ старинныхъ сказаніяхъ, пѣсняхъ, пословицахъ и поговоркахъ, съ теченіемъ времени обступившихъ богатую яркой пестротою трудовую жизнь пахаря. „Ты отъ горя за рѣку, а оно—ужъ стоитъ на томъ берегу!“—вылетѣло изъ устъ народныхъ окрыленное жизнью слово о лютомъ горѣ, отъ котораго не отгородишься никакими—не только водными, но и каменными,—рубежами. „Нѣтъ конька лучше быстрой рѣченьки: сядешь въ лодку, взмахнешь веслами—плыви, куда душѣ захочется!“, „Вода добрый конекъ: сколько ни навалилъ клади—довезетъ!“—опредѣляетъ народъ-краснословъ въ мѣткихъ образностью изреченіяхъ значеніе рѣки—какъ водной дороги и сплавной силы. „Не накормила земля—накормитъ вода!“—можно услышать отъ береговыхъ жителей, спасаемыхъ въ скупые на урожай годы щедротами рѣки, являющейся ихъ кормилицею. У порѣчанъ и паозеровъ сложились даже и такія поговорки, напримѣръ, ни за что не пришедшія бы на мысль пьющему изъ ручьевъ-родниковъ, а тѣмъ болѣе — изъ колодцевъ, пахарю, какъ: „Воды — не нива, не орешь ихъ, не сѣешь—а сытъ бываешь!“. „Поживи у рѣки, подрядись въ рыбаки—безъ пашни съ хлѣбомъ будешь!“, „Далъ-бы Господь рыбку, а хлѣбецъ будетъ!“ Рыболовство въ неродимыхъ полосахъ,—напримѣръ, въ сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ, излюбленныхъ морозами, губерніяхъ,—заняло первое мѣсто въ народномъ продовольствіи, превративъ прямыхъ потомковъ крестьянствовавшаго богатыря Микулы Селяниновича въ природныхъ рыбарей, съ малолѣтства кормящихся у рѣки. По черноземнымъ-же мѣстамъ, омываемымъ рыбными водами, оно является немалымъ подспорьемъ въ хозяйственномъ обиходѣ, давая заработокъ и пришлому люду, отхожему со своей—бѣдной какими бы то ни было угодьями—сторонки, мѣняющему свою доморощенную поговорку „Рыба не хлѣбъ—сытъ не будешь!“ на новую, подсказываемую прикармливающимъ промысломъ: „Рѣка рыбки дастъ, рыбка хлѣбцемъ накормитъ!“

Шла по народной Руси сказочная-пѣсенная слава не только о такой могучей водной стихіи, какою являлись для русскаго сказателя-пѣснотворца—„глубота, глубота окіянъ-море, широко раздолье о-кругъ земли, глубоки омуты днѣпровскіе“; разносилась-разливалась по селамъ-деревнямъ молва и о несудоходныхъ рѣкахъ, богатою добычей оплачивавшихъ рыбачій трудъ,—слыли они „медвяной“ („молочной“—по иному разносказу) водою въ „кисельныхъ“ берегахъ. „У насъ рѣченька не широка, не глубока, да торовата!“—приговариваютъ счастливые рыболовы, по морю не плававшіе, съ бурею на волновой быстринѣ не ратовавшіе: „Покланяешься съ берега берегу пониже да почаще—и сытъ, и пьянъ станешь, и деньга-копѣйка въ мошнѣ зашевелится!“, „Не тотъ рыбакъ богатъ, который уменъ, а тотъ—кто счастливъ!“

Водныя угодья съ незапамятныхъ временъ служили на Руси богатой доходною статьей, нерѣдко являясь предметомъ ожесточенныхъ споровъ между хозяйствовавшими сосѣдями. Старинныя судебныя волокиты сплошь-да-рядомъ затѣвались-поднимались изъ-за такихъ споровъ. „Чей берегъ—того и рѣка, чья вода—того и рыба!“—звучитъ отголоскомъ подобныхъ тяжебныхъ дѣлъ посѣдѣвшая отъ времени поговорка. „Не все пироги съ рыбкою—поснѣдаешь и съ рѣдькою!“—подсмѣивается надъ береговою деревеньщиной, сидящею у рыбной рѣки безъ рыбы, природный пахарь, благодарящій Бога и за „пироги ни съ чемъ“: „Ушица—рыбаку“,—киваетъ онъ на воду,—„а рыбка—торгашу!“ Но многое-множество сложившихся въ рыбачьемъ обиходѣ пословицъ-поговорокъ заглушаетъ эти прибаутки смѣшливые—одна другой опредѣленнѣе, одна краснѣй-цвѣтистѣе другой.

Знаетъ, твердо помнитъ рыбакъ свой, завѣщанный отцами-дѣдами, обычай: „Не учи рыбу плавать!“—отзывается онъ на замѣчанія пахаря-хлѣбороба, походя роняющаго свое крылатое словцо о томъ, что-де—„рыба въ рѣкѣ—не въ рукѣ!“ Считаетъ памятующая евангельскую повѣсть народная Русь рыболовство апостольскимъ дѣломъ; отдаютъ себя наши порѣчане-паозеры подъ надежную защиту галилейскихъ рыбарей, сдѣлавшихся—по слову Божію—ловцами человѣковъ. Св. апостолъ Петръ принимается русскими рыбаками и рыбопромышленниками за своего исконнаго покровителя. Ему поются заказываемые кормящимся у водныхъ угодій людомъ благодарственные молебны въ особые-положенные дни; его благословеніе испрашивается при началѣ промысловъ; зачастую приходитъ имя боговдохновеннаго рыбаря на память благочестивому русскому человѣку при закидываніи сѣтей. Поч-

[illegible]

[illegible] народная [illegible] Рыбакъ рыбака—видитъ (чуетъ)

издалека!“ Не любитъ русскій промышленникъ-торгашъ, когда по сосѣдству съ нимъ нежданно-негаданно появляется соперникъ, отбивающій у него часть добычи-прибытка: „На одномъ плесу двоимъ рыбакамъ не житье!“—(подобно тому, какъ „двумъ медвѣдямъ—въ одной берлогѣ“) говоритъ онъ. Есть и такіе рыбаки, что по народному слову—„изъ чужого кармана удятъ“ (воры); встрѣчаются и такіе, что „сами (ротозѣи) въ мережу попадаютъ“. Опасность рыбнаго промысла по большимъ рѣкамъ подсказала рыбакамъ поговорки: „Рыбу ловить—при смерти ходить!“, „Кто въ лѣсу убился?—бортникъ! Кто въ рѣкѣ утонулъ?—рыбакъ!“ Трудности, сопряженныя съ этимъ заработкомъ, сложили пословицу: „Безъ труда не вынешь и рыбку-плотичку изъ пруда!“ Преемственность этого труда, перенимаемая отъ поколѣнія другимъ поколѣніемъ, вызвала на свѣтлорусскій просторъ поговорки, то-и-дѣло повторяющіяся по рыбнымъ мѣстамъ: „Отецъ—рыбачитъ, дѣти еле ползаютъ, а и то ужъ въ воду смотрятъ!“, „Дѣдка — рыбакъ, туда-жъ и внуки глядятъ!“ и т. п.

По народной примѣтѣ, связывающей бытъ рыболова съ бытомъ пахаря, богатые рыбой годы сулятъ завидный урожай хлѣбовъ. Если въ засушливую пору перестанетъ клевать (идти на приманку) рыба,—это обѣщаетъ скорый дождь. По поводу послѣдней примѣты посельщина-деревеньщина, приглядывающаяся къ жизни природы, замѣчаетъ: „Нуженъ дождь—поклонись матушкѣ-водицѣ, пусть рыбку отъ клева отъучитъ!“ Другимъ суевѣрная память прошлаго подсказываетъ слова: „Кто съ Водянымъ ладитъ—у того и дождь вовремя въ полѣ, и рыбы въ неводахъ вдоволь!“ По представленію такихъ людей, все рыбное царство отдано судьбою въ распоряженіе этого завѣщаннаго языческой стариною властителя. Въ настоящихъ очеркахъ, посвященныхъ бытописанію народной Руси, упоминалось уже о томъ, какимъ почетомъ очестливымъ окружаетъ Водянаго суевѣрная русская память; была рѣчь и про особыя „угощенія“, какими по захолустнымъ уголкамъ, крѣпко держащимся за преданія старины, чествуютъ еще и теперь „добраго (къ памятливымъ рыбакамъ) дѣдушку“ въ особо установленные обычаемъ сроки.

Многіе собиратели памятниковъ простонароднаго изустнаго творчества записали въ свою лѣтописную кощницу загадки, связанныя съ рыбой, рыбаками и рыбачьимъ промысломъ. „Есть крылья, а не летаетъ; ногъ нѣтъ, а не догонишь!“—загадываютъ ярославскіе любители „заганутъ загадку, перекинутъ черезъ грядку“—о рыбѣ; „По землѣ не ходитъ, а на

небо не глядитъ, гнѣзда не заводитъ, а дѣтей родитъ!“—подговариваются къ нимъ самарскіе—ставропольскіе („...не ходитъ, не летаетъ, гнѣзда не завиваетъ!“—вторятъ сосѣди-симбиряки). По всему среднему Поволжью ходятъ такія загадки какъ: „Звалъ меня царь, звалъ меня государь къ ужину, къ обѣду.—Я человѣкъ не такой: по землѣ не хожу, на небо не гляжу, звѣздъ не считаю, людей не знаю!“, „Кину я не палку, убью не галку, ощиплю не перья, съѣмъ не мясо!“, „У красной дѣвушки кушали господа; покушавши, Богу молились:—Благодаримъ тебя, красная дѣвица, за хлѣбъ, за соль, просимъ къ намъ въ гости!—Я по землѣ не хожу, на небо не гляжу, гнѣзда не завожу, а дѣтей вывожу!“ О рыбакахъ рыбаки сложили такія загадки: „По мосту идетъ—ничего не найдетъ, а какъ въ воду вступилъ — всего накупилъ!“ (Новгородск. губ.), „Домъ (вода) шумитъ, хозяева (рыбы) молчатъ, пришли люди—хозяевъ забрали, домъ въ окошки (сквозь неводъ) ушелъ!“ (Тульск. губ.) и т. д.

Народный стихъ о „Голубиной Книгѣ“—устами перемудраго царя—приписываетъ старшинство-главенство надо всѣмъ безсловеснымъ царствомъ „Киту-рыбѣ“:

„Китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мати.
Почему-же Китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мати?
На трехъ китахъ земля основана.
Какъ Китъ-рыба потронется,
Вся земля всколебается.
Потому Китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мати!“

Сохранилась изъ пріуроченныхъ къ вопросамъ о міросозиданіи и міропониманіи памятниковъ старинной русской письменности „Бесѣда Іерусалимская“, имѣющая непосредственную связь съ упомянутымъ стихомъ-сказомъ. Въ ней мѣсто Кита-рыбы отдается „мать Акіянъ-рыбѣ великой“, съ которою ставится бокъ-о-бокъ предвѣщаніе о грядущей кончинѣ міра: „какъ та рыба взыграетца, и пойдетъ во глубину морскую, тогда будетъ свѣту преставленія“.

О нѣкоторыхъ представителяхъ рыбьяго царства ведется въ народной Руси свой сказъ—наособицу отъ другихъ. Немалымъ вниманіемъ народа-сказателя пользуются: прожорливая хищница щука, простодушный карась, юркій-увертливый, вооруженный колючками ершъ да толстякъ-осетръ. „На то и щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ!“—говоритъ и не рыбачащій русскій людъ, вызывая передъ слушателями однородную картину изъ человѣческаго обихода житейскаго. По народному повѣрью, эта хищница воднаго царства до такой

степени зла, что и послѣ своей смерти можетъ откусить рыбаку палецъ: „Щука умерла—зубы остались!“—приговариваютъ краснословы, примѣняя эти слова къ посмертному наслѣдью надѣленнаго щучьимъ нравомъ человѣка. „Какъ щука ни остра, а не возьметъ ерша съ хвоста!“—оговариваютъ въ народѣ хищническія замашки попадающихся, какъ коса на камень—на не легко дающихся въ обиду людей. „Поучи плавать щуку, отдай къ карасю въ науку!“, „Стали щукѣ грозить—хотятъ въ рѣкѣ утопить!“—посмѣиваются деревенскіе прибаутки надъ безсиліемъ двуногихъ „карасей“ предъ „щучьимъ“ произволомъ. Недоброе слово знатоки простонародныхъ примѣтъ о щукѣ молвятъ: если плеснетъ передъ рыбакомъ щука хвостомъ—недолго ему осталось жить и рыбачить на своемъ вѣку.

Въ симбирскомъ Поволжьѣ записана Д. Н. Садовниковымъ любопытная сказка про льва, щуку и человѣка. „На рѣкѣ разъ левъ со щукой разговаривалъ, а человѣкъ стоялъ поодаль и слушалъ,“—начинается она. Увидала водяная хищница человѣка—нырнула въ воду: „Чего ты ушла въ воду?“—спрашиваетъ ее царь звѣрей.—Человѣка увидала!—„Ну, такъ что-же?“—Да онъ хитрый!—„Что́ за человѣкъ! Подай мнѣ, его я съѣмъ!“ И пошелъ левъ на поиски за человѣкомъ: встрѣтилъ мальчика, спросилъ—человѣкъ-ли онъ,—отгорился тотъ, что-де еще только „будетъ“ человѣкомъ; старикъ попался,—я-де „былъ“ человѣкомъ. Шелъ-шелъ левъ, такъ и не можетъ найти человѣка. Попадается служивый, съ ружьемъ и при саблѣ. „Ты человѣкъ?“—„Человѣкъ!“—„Ну, я тебя съѣмъ!„—„А ты погоди, отойди отъ меня, я къ тебѣ самъ въ пасть-то и кинусь! Раскрой ее!“ Послушался левъ, и выстрѣлилъ солдатъ ему въ горло, а саблей—по-уху. Ударился въ постыдное бѣгство звѣрь-царь, прибѣжалъ къ рѣкѣ; выплыла щука, спрашиваетъ. „Да что,—отвѣчаетъ левъ,—дѣйствительно хитеръ! Сразу-то я его и не нашелъ: то говоритъ, что былъ человѣкомъ, то еще будетъ... А какъ нашелъ, такъ и не обрадовался! Онъ мнѣ велѣлъ отойти да пасть раскрыть; потомъ—какъ плюнетъ мнѣ въ нее, и сейчасъ жжетъ, все внутри выжгло, а послѣ—высунулъ языкъ да ухо мнѣ и слизнулъ!“—„То-то же: я тебѣ говорила!“—сказала щука.

Ершъ—что человѣкъ строптивый, на приманки ласковыя не податливый. „Онъ и щукѣ поперекъ горла ершомъ станетъ!“—говорятъ въ народѣ. „Ершиться“—противиться, спорить, даже стараться вызвать ссору. По примѣтѣ—ершъ, въ первую закинутую сѣть попавшійся, къ неудачному лову. „Ершъ—неважное кушанье: съѣшь на грошъ, на гривну рас-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Обернулся Волхъ „ногой-птицей, полетѣлъ „по полоблачью“ и одинъ наловилъ птицы видимо-невидимо. И вотъ продолжаетъ былинный сказъ,—возговорилъ младъ-богатырь своимъ дружинникамъ:

„Дружина моя добрая, хоробрая!
Слухайте большаго братца атамана-то,
Дѣлайте вы дѣло повелѣнное:
Возьмите топоры дроворубные,
Стройте суденышко дубовое,
Вяжите путевья шелковыя,
Выѣзжайте вы на синее море,
Ловите рыбу семжинку да бѣлужинку,
Щученьку, плотиченьку
И дорогую рыбку осётринку,
И ловите по три дня, по три ночи!

Хоть и набралась не малаго срама исполненіемъ двухъ предыдущихъ приказовъ вѣщаго богатыря-князя, но и на этотъ разъ перечить дружина не перечила: „И слухали большаго братца атамана-то, дѣлали дѣло повелѣнное“,—ведетъ свою цвѣтистую рѣчь простодушный народъ-сказатель. Богатырскіе дружинники, неудачливые горе-охотнички, не долго думая, принимаются и за плотничью работу („брали топоры дроворубные, строили суденышко дубовое“), и за плетенье сѣтей („вязали путевья шелковыя...“). Принялись—все по атаманову хотѣнью, по князеву велѣнью сдѣлали: „выѣзжали на синее море, ловили по три дня, по три ночи,—не могли добыть ни одной рыбки...“ И вотъ, какъ и прежде: поправляетъ, незадачу на удачу самъ Волхъ Всеславьевичъ, „повернулся („обернулся“—по иному разносказу), онъ—сударь—рыбой щучинкой и побѣжалъ по синю морю. Заворачивалъ рыбу семжинку, бѣлужинку, щученьку, плотиченьку, дорогую рыбку осетринку...“. Такимъ образомъ и на этотъ разъ, взявшись за дѣло, не посрамилъ вѣщій своей змѣиной мудрости. Случалось (по другимъ былиннымъ сказаніямъ), что и переплывалъ онъ—обернувшись рыбою—моря синія, уходя отъ погони вороговъ, и птицей-соколомъ улётывалъ, и звѣрь-туромъ убѣгалъ; только ничего не могъ подѣлать онъ съ позабытою на недопаханной нивѣ сошкой кленовенькою любимаго сына Матери-Сырой-Земли Микулы-свѣтъ-Селяниновича.

Изъ памятниковъ народнаго изустнаго творчества, перешедшихъ въ древнерусскую письменность, сохранился до нашихъ дней въ рукописномъ сборникѣ XVIII-го столѣтія любопытный „Списокъ съ суднаго дѣла слово въ слово, какъ былъ судъ у Леща съ Ершомъ“. Этотъ Списокъ даетъ яркую картину стариннаго русскаго судопроизводства, съ первой до послѣдней черты проникнутую неподдѣльной—

чисто-народною—веселостью. Царство рыбъ, въ которомъ вращается дѣло, является, конечно, только подходящей оболочкою внутреннему содержанію; но нельзя сказать, чтобы плавающіе по водамъ участники этой судебной волокиты были обрисованы въ недостаточно живыхъ, знаменательныхъ для нихъ (какъ рыбъ) чертахъ. Народъ-повѣствователь, перекладывая здѣсь человѣческіе нравы на иносказательный ладъ, зорко подмѣтилъ всѣ обычаи вооруженныхъ плавниками, одѣтыхъ чешуею дѣйствующихъ лицъ этого сказанія.

Начинается сказъ о судномъ дѣлѣ прямо съ челобитной, изложенной по всему чину стариннаго дѣлопроизводства-сутяжничества. „Рыбамъ господамъ: великому Осетру и Бѣлугѣ, Бѣлой-рыбицѣ, бьетъ челомъ Ростовскаго озера сынчишко боярской Лещъ съ товарищи...“—пишетъ челобитчикъ: „Жалоба, господа, вамъ на злаго человѣка, на Ерша Щетинника и на ябедника“. Далѣе слѣдуетъ самая жалоба: „Въ прошлыхъ, господа, годахъ, было Ростовское озеро за нами; а тотъ Ершъ, злой человѣкъ, Щетинниковъ наслѣдникъ, лишилъ насъ Ростовскаго озера, нашихъ старыхъ жировъ; расплодился тотъ Ершъ по рѣкамъ и по озерамъ...“ По описанію челобитчика—этотъ злодѣй, самовольно завладѣвшій водами, составлявшими наслѣдственную вотчину „боярскаго сынчишки“, не особенно страшенъ-силенъ, но пронырливъ не въ мѣру и всѣхъ изобидѣть норовитъ: „онъ собою малъ, а щетины у него аки лютыя рогатины, и онъ свидится съ нами на стану—и тѣми острыми своими щетинами подкалываетъ наши бока и прокалываетъ намъ ребра, и суется по рѣкамъ и по озерамъ, аки бѣшеная собака, путь свой потерявъ“... Обрисовавъ въ такомъ непривлекательномъ видѣ своего обидчика, Лещъ обращается къ собственной особѣ: „А мы, господа христіански!“ — восклицаетъ онъ: „Лукавствомъ жить не умѣемъ, а браниться и тягаться съ лихими людьми не хотимъ, а хотимъ быть оборонены вами, праведными судьями!“ Выслушали „судьи праведные“ челобитную,—„Ты Ершъ истцу Лещу отвѣчаешь-ли?“—говорятъ. — „Отвѣчаю, господа (держитъ слово Ершъ) за себя и за товарищевъ своихъ въ томъ, что то Ростовское озеро было старина дѣдовъ нашихъ, а нынѣ наше, и онъ, Лещъ, жилъ у насъ въ сусѣдствѣ на днѣ озера, а на свѣтъ не выхаживалъ. А я, господа, Ершъ, Божіею милостію отца своего благословеніемъ и матерними молитвами, не смутщикъ, не воръ, не тать и не разбойникъ, въ приводѣ нигдѣ не бывалъ, воровского у меня ничего не вынимывали; человѣкъ я добрый; живу я своею силою, а не чужою; знаютъ меня на Москвѣ и въ иныхъ великихъ городахъ князи и

бояре, стольники и дворяна, жильцы московскіе, дьяки и подьячіе и всякихъ чиновъ люди и покупаютъ меня дорогою цѣною и варятъ меня съ перцемъ и съ шавраномъ и ставятъ предъ собою честно, и многіе добрые лыди кушаютъ съ похмѣлья и кушавши поздравляютъ." Обѣлилъ себя проныра-обидчикъ чище снѣга, сослался въ своемъ отвѣтномъ словѣ на самыхъ заслуживающихъ довѣрія свидѣтелей. Какъ не дать ему вѣры! Подумали судьи, опять—къ челобитчику: —„Ты, Лещъ, чѣмъ его уличаешь?" —„Уличаю его (говоритъ) Божіею правдою да вами, праведными судьями!" Требуютъ судьи свидѣтелей, которымъ было-бы все вѣдомо про Ростовское озеро. Нашелъ свидѣтелей обиженный: рыбу-Сига („человѣкъ добрый, живетъ въ нѣмецкой области подъ Иваномъ-городомъ въ рѣкѣ Наровѣ") да рыбу-Лодугу—изъ обитателей новгородскаго Волхова. Ершъ отводитъ предлагаемыхъ свидѣтелей: „Сигъ и Лодуга—люди богатые, животами прижиточны, а Лещъ такой-же человѣкъ заводной..." На запросъ судей праведныхъ, что̀ у него, Ерша, за вражда съ такими людьми,—онъ утверждаетъ, что „недружбы" у него съ ними никакой не бывало, а что-де такъ, ни за что, ни про что, задумали эти люди загубить его—„маломочнаго человѣка". Сталъ ссылаться тогда Лещъ на новаго свидѣтеля—на Сельдь-рыбу изъ Переславскаго озера; но и противъ Сельди поднялъ голосъ лещовъ обидчикъ, что-де сродни („съ племяни") она прежнимъ свидѣтелямъ и всегда съ Лещомъ ѣстъ и пьетъ вмѣстѣ. Послали судьи „пристава Окуня" за переславской Сельдью, велѣли идти съ нимъ въ понятыхъ Налиму („Мню"). Сталъ тотъ отговариваться, не хочетъ идти: „Господине Окуне!"—взмолился: „Азъ не гожуся въ понятыхъ быть: брюхо у меня велико—ходить не смогу, а се глаза малы—далеко не вижу, а се губы толсты—передъ добрыми людьми говорить не умѣю!" Пошли за понятыхъ Головель да Езь (язь), доставили на судъ Сельдь переславскую. И вотъ—показалъ новый свидѣтель, что Лещъ—„человѣкъ добрый, христіанинъ Божій", а Ершъ—„злой человѣкъ, Щетинникъ"... Плохо и безъ того Ершу становилось, но въ конецъ погубило его въ глазахъ судей новое свидѣтельство его злонравія: заговорилъ самъ Осетръ, сидѣвшій на судейскомъ мѣстѣ,—вспомнилъ онъ о своей собственной обидѣ. „...Когда я шелъ изъ Волги-рѣки къ Ростовскому озеру и къ рѣкамъ жировать",—сказалъ онъ,—„и онъ (Ершъ) меня встрѣтилъ на устьѣ и нарече мя братомъ, а я лукавства его не вѣдалъ, а спрошать про него, злого человѣка, никого не лучилось, онъ меня вопроси: братецъ Осетръ, гдѣ идеши? И азъ ему повѣдалъ... И рече имъ Ершъ: братецъ

Осетръ, когда шелъ я Волгою-рѣкою, тогда я былъ толще тебя и бѣлъ. Когда меня ловили у Волги-рѣки бережки, очи мои были аки полныя чаши. Встрѣтилъ же мой былъ аки большой ... а былъ братецъ Осетръ, зачѣмъ ты и самъ, ... и сталъ ступить. Иду отъ Ростовскаго озера. Ахъ же, господа, слышалъ такое его прелестное слово, и не пошелъ къ Ростовскому озеру въ улахъ жировать: дружину свою и братей половилъ морилъ, а самъ отъ него въ конецъ погибъ...“ Разсказалъ Осетръ и про другое—горшее этого лукавство Ерша Щетинника: загналъ его тотъ въ мужицку въ неводъ за рыбой—схорониться. „И я на его, господа, прелестное слово положился“,—продолжаетъ Осетръ,—„и въ неводъ пошелъ, обратился въ неводъ за увязь, а неводъ—что божескій дворъ: войти ворота широки, а выйти узки. А тотъ Ершъ за неводъ выскочилъ въ ячею, а самъ мнѣ насмѣхался: ужели ты, братецъ, въ неводу рыбы наѣлся? А какъ меня поволокли вонъ изъ воды, и тотъ Ершъ началъ прощатися: братецъ, братецъ Осетръ! Прости, не поминай лихомъ! А какъ меня мужики на берегу стали бить дубинами по головѣ, и я нача стонать, и онъ, Ершъ, рече ми: братецъ Осетръ, терпи Христа ради!...“ Судное дѣло кончилось. Порѣшилъ судъ: „Леща съ товарищи оправить, а Ерша обвинить“. По обычаю—„выдали истцу Лещу того Ерша головою и велѣли казнить торговою казнію — бити кнутомъ и послѣ кнута повѣсить въ жаркіе дни противъ солнца за его воровство и за ябедничество“. Дьякомъ на суду былъ „Сомъ съ большимъ усомъ“, доводчикомъ—Карась, списокъ суднаго дѣла писалъ Вьюнъ, печаталъ Ракъ, а у печати сидѣлъ Снятокъ переславской. „Гдѣ его (Ерша) застанутъ въ своихъ вотчинахъ, тутъ его безъ суда казнить!“—выдали грамоту на Щетинника. Пожелалъ онъ произнести послѣднее слово подсудимаго: „Господа судьи“,—сказалъ,—„судили вы не по правдѣ, судили по мздѣ. Леща съ товарищи оправили, а меня обвинили!“ И произошло тутъ нѣчто совершенно для судей неожиданное: плюнулъ Ершъ имъ въ глаза и скакнулъ въ хворостъ (въ кусты). „Только того Ерша и видѣли“,—кончается весь сказъ.

Представляя сводъ небесный безпредѣльнымъ воздушнымъ океаномъ, воображеніе русскаго народа видѣло въ плавающихъ по небу тучахъ громадныхъ рыбъ. Ихъ причудливыя очертанія и необычайная подвижность не мало способствили этому представленію, подсказанному простодушнымъ суевѣріемъ славянину-язычнику. Грозовая-молніеносная туча, иссиня-черныхъ чудовищемъ надвигавшаяся на

лазурь небесную и заслонявшая свѣтъ солнечный, чтобы разразиться громомъ-молніей надъ землею и утолить ея жажду потоками дождя-ливня, казалась суевѣрному взору „чудомъюдомъ“ — щукою-великаномъ, проглатывавшею прекрасное свѣтило дня. Проглотивъ его, чудовище мѣста себѣ не можетъ найдти отъ жара, сожигающаго всѣ его внутренности; оно мечется изъ стороны въ сторону, пышетъ огнемъ, истекаетъ горючими слезами и, наконецъ, въ полномъ изнеможеніи— выбрасываетъ полоненное солнышко на свободный просторъ, исчезая съ просвѣтлѣвшаго неба-моря.

А. Н. Аѳанасьевымъ подслушана любопытная русская простонародная сказка, по своему содержанію сближающаяся съ только-что описаннымъ представленіемъ. „Былъ у мужика мальчикъ-семилѣтокъ—такой силачъ, какого нигдѣ не видано и не слыхано...“—начинается она:—„Послалъ его отецъ дрова рубить; онъ повалилъ цѣлыя деревья, взялъ ихъ словно вязанку дровъ, и понесъ домой. Сталъ черезъ мостъ переправляться, увидала его морская рыба-щука, разинула пасть и сглотнула молодца со всѣмъ какъ есть—и съ топоромъ, и съ деревьями“... Другому человѣку тутъ-бы и смерть пришла, а этому—хоть бы что: „взялъ топоръ, нарубилъ дровъ, досталъ изъ кармана кремень и огниво, высѣкъ огня и зажегъ костеръ“. И вотъ,—продолжается сказка,—„не въ моготу пришлось рыбѣ, жжетъ и палитъ ей нутро страшнымъ пламенемъ. Стала она бѣгать по синю морю, во всѣ стороны такъ и кидается, изъ пасти дымъ столбомъ—точно изъ печи валитъ; поднялись на морѣ высокія волны и много потопили кораблей и барокъ, много потопили товаровъ и грѣшнаго люда торговаго; наконецъ, прыгнула та рыба высоко и далеко, пала на морской берегъ, да тутъ и издохла... А мальчикъ-семилѣтокъ, мужицкій сынъ, принялся размышлять о томъ, какъ-бы ему освободиться—выдти изъ чудовищной рыбы на вольный свѣтъ. Много-ли, мало-ли думалъ,—вспала ему на разумъ мысль: взялся онъ за свой топоръ. Рубилъ онъ день, другой рубилъ и третій,—къ исходу четвертаго прорубилъ въ боку у рыбы-щуки оконце, да и вылѣзъ изъ него. На томъ—и сказка досказывается. Вдохновенный изслѣдователь воззрѣній славянъ на природу даетъ этому дѣтски-наивному произведенію своеобразное объясненіе. Рыба—туча; море—небо; мальчикъ-семилѣтокъ, сидящій въ утробѣ чудовища, высѣкающій огонь и разводящій пламя—изъ породы созданныхъ народнымъ воображеніемъ обитателей облачныхъ пещеръ, карликовъ-кузнецовъ, приготовляющихъ молніеносныя стрѣлы. Въ зимніе мѣсяцы видитъ его народъ-сказатель отдыхаю-

щимъ и набирающимся силъ (ростущимъ); приходитъ на бѣлый свѣтъ животворящая Весна-Красна,—просыпается въ „семилѣткѣ" богатырская мощь. Какъ древне-славянскій Перунъ (воплощеніе солнца), ударяетъ онъ огнивомъ о кремень-камень; подобно тому-же богу громовъ онъ вооруженъ топоромъ и прорубаетъ имъ себѣ дверь изъ мрачной темницы (зимы).

Въ финской „Калевалѣ" [90]), можно найти такія-же уподобленія тучъ, неба, солнца, молній-громовъ, зимы и весны. Вотъ въ какіе, напримѣръ, образы воплотилось преданіе о похищеніи огня щукой-рыбою. Солнце и мѣсяцъ были заключены властительницею мрака въ мѣдную гору; вселенной грозила гибель. Повелитель вѣтровъ, Вейнемейненъ, сговорясь съ кузнецомъ Ильмариненомъ, задумалъ спасти затемненный міръ. Взошли они на небо, высѣкли огонь-молнію и передали его на храненіе воздушной дѣвѣ. Стала она беречь огонь, какъ мать—любимое дѣтище: закутала его въ облачный покровъ, начала качать-баюкать въ золотой колыбели, подвѣшенной на серебряныхъ ремняхъ къ небесной кровлѣ. Какъ-то неосторожно качнула она колыбель—и упалъ огонь въ море, озаривъ всю даль блескомъ своихъ искръ. Увидала его громадная щука морская и проглотила съ жадностью прожорливой хищницы, выведенной въ русской сказкѣ. Какъ и та, принялась она послѣ этого метаться во всѣ стороны отъ боли. Невѣдомо что сталось бы съ нею и съ огнемъ; но узнали объ этомъ свѣтлые боги, начали ловить рыбу, закинули сѣти: попалась похитительница огня. „Я-бъ распласталъ эту рыбу, если-бы у меня былъ большой ножъ желѣза крѣпкаго!" — промолвилъ Пейвенъ-пойка (Солнцевъ сынъ) и упалъ съ неба ножъ съ золотымъ черенкомъ, съ лезвіемъ серебрянымъ. Распороли брюхо рыбѣ-хищницѣ,—выкатился изъ нея синій клубокъ, изъ синяго — красный, а изъ краснаго—вылетѣлъ огонь, да такой знойной—что опалилъ бороду старику-пѣвцу вѣщему, повелителю вѣтровъ Вейнемейнену, что обжогъ щеки кузнецу Ильмаринену, что сжегъ-спалилъ-бы и землю, и воды, если-бы, по прошествіи

[90]) „Калевала"—поэма, составленная финскимъ ученымъ Эліасомъ Леннротомъ изъ произведеній изустнаго пѣснотворчества этого народа. Слово „Калевала" — названіе миоической страны, гдѣ живутъ герои поэмы. Впервые появилась она въ печати въ 1835-мъ году, затѣмъ—въ 1849-мъ—вышла въ дополненномъ видѣ, съ которомъ и представляетъ полный сводъ поэтическихъ сказаній финновъ. Въ ней — 50 пѣсенъ, всѣ они составляютъ или пересказъ, или точное воспроизведеніе старинныхъ „рунъ", нѣкогда объединявшихъ въ себѣ и пѣсню, и заговоръ.

извѣстнаго времени, снова не заковали его туманы-морозы („Похъіола“) въ гору мѣдную.

Въ славянскихъ преданіяхъ встрѣчается чудесная рыба, порождающая сказочныхъ богатырей. Такъ, напримѣръ, разсказывается, что жила-была на бѣломъ свѣтѣ одна царица, у которой не было дѣтей, а она только и желала одного счастья на землѣ—просила-молила у Бога сына. Привидѣлся ей вѣщій сонъ, что надо для этого закинуть въ море синее шелковый неводъ и первую вынутую изъ невода рыбу съѣсть. Разсказала царица этотъ сонъ своимъ приспѣшницамъ, приказала закинуть неводъ: попалась всего одна рыба, да и та не простая рыба, а золотая. Зажарили ее, подали на обѣдъ царицѣ, стала та ѣсть да похваливать. Объѣдки, оставшіеся послѣ царицы, доѣла стряпуха-кухарка; доѣла—вымыла посуду, вынесла помои любимой черной коровѣ. И вотъ дался царицынъ сонъ въ руку,—въ одинъ и тотъ-же день родились на бѣлый свѣтъ три сына: Иванъ-царевичъ, Иванъ-кухарченокъ да Иванъ-коровьинъ-сынъ. Шло-проходило время; выросли они, выровнялись всѣ молодецъ въ молодца, стали богатырями могучими.

Русскій сказочникъ-народъ придаетъ иногда щукѣ такую сверхъестественную, всеобъемлющую силу, что только диву даются всѣ видящіе проявленіе этой-послѣдней. Попадается такая чудодѣйная рыба въ руки, все равно—хоть Ивану-царевичу, хоть Емелѣ-дурачку—измѣняетъ она обычной нѣмотѣ своей сестры-братьи,—начинаетъ голосомъ „провѣщать“ человѣческимъ: „Отпусти меня въ воду, пригожусь тебѣ!“—говоритъ. Научаетъ она произносить всякій разъ какъ только понадобится ея помощь, слова: „По моему прошенью, по щучьему велѣнью!“. Всякое-де желаніе, связанное съ этими волшебными словами, исполняется немедленно. Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается; но глубоко запали въ память народную эти слова: еще до сихъ поръ то-и-дѣло можно услышать присловье—„по щучьему велѣнью“—относящееся ко всему совершающемуся съ поразительной быстротою. Таковымъ — изъ ряда выходящимъ — почетомъ окружаетъ охочій до сказокъ пахарь-народъ заставляющую не дремать кроткаго карася прожорливую представительницу царства рыбъ.

Народное пѣсенное слово говоритъ о щукѣ-рыбѣ хоть рѣдко, да мѣтко: оно надѣляетъ ее всѣми признаками богачества несмѣтнаго. Вотъ, напримѣръ, въ какомъ блестящемъ видѣ предстаетъ она воображенію слушателей одной изъ святочныхъ—прозывающихся „подблюдными“—пѣсенъ:

плюешь!"—отзывается объ этой строптивой рыбкѣ промы
ляющая у рѣки посельщина. „Тягался—какъ лещъ съ ершом
и оправили, а пошелъ домой нагишомъ!"—подсмѣиваются
деревнѣ надъ любителями судебной волокиты, которые в
жизнь свою отъ судьи къ судьѣ ходятъ и никакого толка пр
бытка отъ такого хожденія не видятъ.

Осетръ—„князь рыбій"; не вездѣ и водится эта „красна
рыба. „Славна Астрахань осетрами, что Сибирь—соболями
—гласитъ о томъ народное слово. „Донцы-казаки прозываю
ся „осетерниками". „Красны промысла осетрами!"—говори
ся у рыбаковъ-ватажниковъ на Волгѣ, гдѣ вся рыба осетр
ваго рода скупается для верховыхъ городовъ—столицъ, что
вызвало къ жизни пословицу: „Хлѣбай уху, а рыба—в
вверху!"

Одинъ изъ старшихъ богатырей русскихъ былинныхъ ск
заній—Волхъ Всеславьевичъ (Вольга Святославичъ)—являет
представителемъ мудрости-хитрости, переходящей въ волхв
ваніе. Вѣщій богатырь-знахарь, разъѣзжающій со своей др
жиною по городамъ „за получкою", выбивающій—по были
ному слову—„съ мужиковъ дани-выходы", даетъ своимъ вы
рисовывающимся изъ сказанія обликомъ яркое воплощен
„змѣиной мудрости", объединенной съ красотою-молодечес
вомъ. Былинные сказатели именуютъ его сыномъ княжн
Марѳы Всеславьевны и змѣя, надѣляя его способность
обертываться, по желанію, то въ „яснаго сокола", то в
„сѣраго волка", то въ „гнѣдого тура—золотые рога", т
въ „рыбу-щучинку". Рожденіе его на свѣтъ бѣлый с
провождалось сотрясеніемъ земли и всколебаніемъ окіян
моря: „рыба пошла въ морскую глубину, птица поле
тѣла высоко въ небеса, туры да олени за горы пошл
зайцы, лисицы—по чащицамъ..." и т. д. Пятилѣтним
отрокомъ постигъ онъ всю премудрость, двѣнадцати лѣтъ-
собралъ дружину въ тридцать богатырей безъ единаг
„самъ становился тридцатымъ" и пошелъ-поѣхалъ разгу
ляться-потѣшиться на охоту молодецкую. Три дня, тр
ночи ловили его дружинники звѣрьё поскучее—не могл
поймать звѣрька ни единаго. Обернулся Волхъ „левом
звѣремъ"—наловилъ звѣрья ни вѣсть числа. Ловила друж
на послѣ этого три дня, три ночи птицъ—„гусей, лебеде
ясныхъ соколей", не могла изловить ни „малой птицы-пт
шицы". Обернулся Волхъ—„ногой"-птицей, полетѣлъ „п
подоблачью" и одинъ наловилъ птицы видимо-невидимо.
вотъ,—продолжаетъ былинный сказъ,—возговорилъ млад
богатырь своимъ дружинникамъ:

„Дружина моя добрая, хоробрая!
Слухайте большаго братца атамана-то,
Дѣлайте вы дѣло повелѣнное:
Возьмите топоры дроворубные,
Стройте суденышко дубовое,
Вяжите путевья шелковыя,
Выѣзжайте вы на синее море,
Ловите рыбу семжинку да бѣлужинку,
Щученьку, плотиченьку
И дорогую рыбку осётринку,
И ловите по три дня, по три ночи!

Хоть и набралась не малаго срама исполненіемъ двухъ предыдущихъ приказовъ вѣщаго богатыря-князя, но и на этотъ разъ перечить дружина не перечила: „И слухали большаго братца атамана-то, дѣлали дѣло повелѣнное“,—ведетъ свою цвѣтистую рѣчь простодушный народъ-сказатель. Богатырскіе дружинники, неудачливые горе-охотнички, не долго думая, принимаются и за плотничью работу („брали топоры дроворубные, строили суденышко дубовое“), и за плетенье сѣтей („вязали путевья шелковыя...“). Принялись—все по атаманову хотѣнью, по князеву велѣнью сдѣлали: „выѣзжали на синее море, ловили по три дня, по три ночи,—не могли добыть ни одной рыбки...“ И вотъ, какъ и прежде: поправляетъ, незадачу на удачу самъ Волхъ Всеславьевичъ, „повернулся („обернулся“—по иному разносказу), онъ—сударь—рыбой щучинкой и побѣжалъ по синю морю. Заворачивалъ рыбу семжинку, бѣлужинку, щученьку, плотиченьку, дорогую рыбку осетринку...“. Такимъ образомъ и на этотъ разъ, взявшись за дѣло, не посрамилъ вѣщій своей змѣиной мудрости. Случалось (по другимъ былиннымъ сказаніямъ), что и переплывалъ онъ—обернувшись рыбою—моря синія, уходя отъ погони вороговъ, и птицей-соколомъ улётывалъ, и звѣрь-туромъ убѣгалъ; только ничего не могъ подѣлать онъ съ позабытою на недопаханной нивѣ сошкой кленовенькою любимаго сына Матери-Сырой-Земли Микулы-свѣтъ-Селяниновича.

Изъ памятниковъ народнаго изустнаго творчества, перешедшихъ въ древнерусскую письменность, сохранился до нашихъ дней въ рукописномъ сборникѣ XVIII-го столѣтія любопытный „Списокъ съ суднаго дѣла слово въ слово, какъ былъ судъ у Леща съ Ершомъ“. Этотъ Списокъ даетъ яркую картину стариннаго русскаго судопроизводства, съ первой до послѣдней черты проникнутую неподдѣльной —

чисто-народною—веселостью. Царство рыбъ, въ которомъ вращается дѣло, является, конечно, только подходящей оболочкою внутреннему содержанію; но нельзя сказать, чтобы плавающіе по водамъ участники этой судебной волокиты были обрисованы въ недостаточно живыхъ, знаменательныхъ для нихъ (какъ рыбъ) чертахъ. Народъ-повѣствователь, перекладывая здѣсь человѣческіе нравы на иносказательный ладъ, зорко подмѣтилъ всѣ обычаи вооруженныхъ плавниками, одѣтыхъ чешуею дѣйствующихъ лицъ этого сказанія.

Начинается сказъ о судномъ дѣлѣ прямо съ челобитной, изложенной по всему чину стариннаго дѣлопроизводства-сутяжничества. „Рыбамъ господамъ: великому Осетру и Бѣлугѣ, Бѣлой-рыбицѣ, бьетъ челомъ Ростовскаго озера сынчишко боярской Лещъ съ товарищи...“—пишетъ челобитчикъ: „Жалоба, господа, вамъ на злаго человѣка, на Ерша Щетинника и на ябедника“. Далѣе слѣдуетъ самая жалоба: „Въ прошлыхъ, господа, годахъ, было Ростовское озеро за нами; а тотъ Ершъ, злой человѣкъ, Щетинниковъ наслѣдникъ, лишилъ насъ Ростовскаго озера, нашихъ старыхъ жировъ; расплодился тотъ Ершъ по рѣкамъ и по озерамъ...“ По описанію челобитчика—этотъ злодѣй, самовольно завладѣвшій водами, составлявшими наслѣдственную вотчину „боярскаго сынчишки“, не особенно страшенъ-силенъ, но пронырливъ не въ мѣру и всѣхъ изобидѣть норовитъ: „онъ собою малъ, а щетины у него аки лютыя рогатины, и онъ свидится съ нами на стану—и тѣми острыми своими щетинами подкалываетъ наши бока и прокалываетъ намъ ребра, и суется по рѣкамъ и по озерамъ, аки бѣшеная собака, путь свой потерявъ“... Обрисовавъ въ такомъ непривлекательномъ видѣ своего обидчика, Лещъ обращается къ собственной особѣ: „А мы, господа христіански!“ — восклицаетъ онъ: „Лукавствомъ жить не умѣемъ, а браниться и тягаться съ лихими людьми не хотимъ, а хотимъ быть оборонены вами, праведными судьями!“ Выслушали „судьи праведные“ челобитную,—„Ты Ершъ истцу Лещу отвѣчаешь-ли?“—говорятъ. — „Отвѣчаю, господа (держитъ слово Ершъ) за себя и за товарищевъ своихъ въ томъ, что то Ростовское озеро было старина дѣдовъ нашихъ, а нынѣ наше, и онъ, Лещъ, жилъ у насъ въ сусѣдствѣ на днѣ озера, а на свѣтъ не выхаживалъ. А я, господа, Ершъ, Божіею милостію отца своего благословеніемъ и матерними молитвами, не смутщикъ, не воръ, не тать и не разбойникъ, въ приводѣ нигдѣ не бывалъ, воровского у меня ничего не вынимывали; человѣкъ я добрый; живу я своею силою, а не чужою; знаютъ меня на Москвѣ и въ иныхъ великихъ городахъ князи и

бояре, стольники и дворяна, жильцы московскіе, дьяки и подьячіе и всякихъ чиновъ люди и покупаютъ меня дорогою цѣною и варятъ меня съ перцемъ и съ шавраномъ и ставятъ предъ собою честно, и многіе добрые лыди кушаютъ съ похмѣлья и кушавши поздравляютъ." Обѣлилъ себя проныра-обидчикъ чище снѣга, сослался въ своемъ отвѣтномъ словѣ на самыхъ заслуживающихъ довѣрія свидѣтелей. Какъ не дать ему вѣры! Подумали судьи, опять—къ челобитчику:—„Ты, Лещъ, чѣмъ его уличаешь?"—„Уличаю его (говоритъ) Божіею правдою да вами, праведными судьями!" Требуютъ судьи свидѣтелей, которымъ было-бы все вѣдомо про Ростовское озеро. Нашелъ свидѣтелей обиженный: рыбу-Сига („человѣкъ добрый, живетъ въ нѣмецкой области подъ Иваномъ-городомъ въ рѣкѣ Наровѣ") да рыбу-Лодугу—изъ обитателей новгородскаго Волхова. Ершъ отводитъ предлагаемыхъ свидѣтелей: „Сигъ и Лодуга—люди богатые, животами прижиточны, а Лещъ такой-же человѣкъ заводной..." На запросъ судей праведныхъ, что́ у него, Ерша, за вражда съ такими людьми,—онъ утверждаетъ, что „недружбы" у него съ ними никакой не бывало, а что-де такъ, ни за что, ни про что, задумали эти люди загубить его—„маломочнаго человѣка". Сталъ ссылаться тогда Лещъ на новаго свидѣтеля—на Сельдь-рыбу изъ Переславскаго озера; но и противъ Сельди поднялъ голосъ лещовъ обидчикъ, что-де сродни („съ племяни") она прежнимъ свидѣтелямъ и всегда съ Лещомъ ѣстъ и пьетъ вмѣстѣ. Послали судьи „пристава Окуня" за переславской Сельдью, велѣли идти съ нимъ въ понятыхъ Налиму („Мню"). Сталъ тотъ отговариваться, не хочетъ идти: „Господине Окуне!"—взмолился: „Азъ не гожуся въ понятыхъ быть: брюхо у меня велико—ходить не смогу, а се глаза малы—далеко не вижу, а се губы толсты—передъ добрыми людьми говорить не умѣю!" Пошли за понятыхъ Головель да Езь (язь), доставили на судъ Сельдь переславскую. И вотъ—показалъ новый свидѣтель, что Лещъ—„человѣкъ добрый, христіанинъ Божій", а Ершъ—„злой человѣкъ, Щетинникъ"... Плохо и безъ того Ершу становилось, но въ конецъ погубило его въ глазахъ судей новое свидѣтельство его злонравія: заговорилъ самъ Осетръ, сидѣвшій на судейскомъ мѣстѣ,—вспомнилъ онъ о своей собственной обидѣ. „...Когда я шелъ изъ Волги-рѣки къ Ростовскому озеру и къ рѣкамъ жировать",—сказалъ онъ,—„и онъ (Ершъ) меня встрѣтилъ на устьѣ и нарече мя братомъ, а я лукавства его не вѣдалъ, а спрошать про него, злого человѣка, никого не лучилось, онъ меня вопроси: братецъ Осетръ, гдѣ идеши? И азъ ему повѣдалъ... И рече имъ Ершъ: братецъ

Осетръ, когда азъ шелъ Волгою-рѣкою, тогда азъ былъ толще тебя и долѣ, бока мои терли у Волги-рѣки береги, очи мои были аки полная чаша, хвостъ же мой былъ аки большой судовой парусъ, а нынѣ братецъ Осетръ, видишь ты и самъ, каковъ я сталъ скуденъ, иду отъ Ростовскаго озера. Азъ же, господа, слышавъ такое его прелестное слово, и не пошелъ въ Ростовское озеро къ рѣкамъ жировать: дружину свою и дѣтей голодомъ морилъ, а самъ отъ него въ конецъ погинулъ...“ Разсказалъ Осетръ и про другое—горшее этого—лукавство Ерша Щетинника: зазвалъ его тотъ къ мужику въ неводъ за рыбой—покормиться. „И я на его, господа, прелестное слово положился“,—продолжаетъ Осетръ,—„и въ неводъ пошелъ, обратился въ неводъ да увязъ, а неводъ—что боярскій дворъ: войти ворота широки, а выйти узки. А тотъ Ершъ за неводъ выскочилъ въ ячею, а самъ мнѣ насмѣхался: ужели ты, братецъ, въ неводу рыбы наѣлся? А какъ меня поволокли вонъ изъ воды, и тотъ Ершъ началъ прощатися: братецъ, братецъ Осетръ! Прости, не поминай лихомъ! А какъ меня мужики на берегу стали бить дубинами по головѣ, и я нача стонать, и онъ, Ершъ, рече ми: братецъ Осетръ, терпи Христа ради!...“ Судное дѣло кончилось. Порѣшилъ судъ: „Леща съ товарищи оправить, а Ерша обвинить“. По обычаю—„выдали истцу Лещу того Ерша головою и велѣли казнить торговою казнію — бити кнутомъ и послѣ кнута повѣсить въ жаркіе дни противъ солнца за его воровство и за ябедничество“. Дьякомъ на суду былъ „Сомъ съ большимъ усомъ“, доводчикомъ—Карась, списокъ суднаго дѣла писалъ Вьюнъ, печаталъ Ракъ, а у печати сидѣлъ Снятокъ переславской. „Гдѣ его (Ерша) застанутъ въ своихъ вотчинахъ, тутъ его безъ суда казнить!“—выдали грамоту на Щетинника. Пожелалъ онъ произнести послѣднее слово подсудимаго: „Господа судьи“,—сказалъ,—„судили вы не по правдѣ, судили по мздѣ. Леща съ товарищи оправили, а меня обвинили!“ И произошло тутъ нѣчто совершенно для судей неожиданное: плюнулъ Ершъ имъ въ глаза и скакнулъ въ хворость (въ кусты). „Только того Ерша и видѣли“,—кончается весь сказъ.

Представляя сводъ небесный безпредѣльнымъ воздушнымъ океаномъ, воображеніе русскаго народа видѣло въ плавающихъ по небу тучахъ громадныхъ рыбъ. Ихъ причудливыя очертанія и необычайная подвижность не мало способствали этому представленію, подсказанному простодушнымъ суевѣріемъ славянину-язычнику. Грозовая-молніеносная туча, изсиня-чернымъ чудовищемъ надвигавшаяся на

лазурь небесную и заслонявшая свѣтъ солнечный, чтобы разразиться громомъ-молніей надъ землею и утолить ея жажду потоками дождя-ливня, казалась суевѣрному взору „чудомъюдомъ“ — щукою-великаномъ, проглатывавшею прекрасное свѣтило дня. Проглотивъ его, чудовище мѣста себѣ не можетъ найдти отъ жара, сожигающаго всѣ его внутренности; оно мечется изъ стороны въ сторону, пышетъ огнемъ, истекаетъ горючими слезами и, наконецъ, въ полномъ изнеможеніи— выбрасываетъ полоненное солнышко на свободный просторъ, исчезая съ просвѣтлѣвшаго неба-моря.

А. Н. Аѳанасьевымъ подслушана любопытная русская простонародная сказка, по своему содержанію сближающаяся съ только-что описаннымъ представленіемъ. „Былъ у мужика мальчикъ-семилѣтокъ—такой силачъ, какого нигдѣ не видано и не слыхано...“—начинается она:—„Послалъ его отецъ дрова рубить; онъ повалилъ цѣлыя деревья, взялъ ихъ словно вязанку дровъ, и понесъ домой. Сталъ черезъ мостъ переправляться, увидала его морская рыба-щука, разинула пасть и сглотнула молодца со всѣмъ какъ есть—и съ топоромъ, и съ деревьями“... Другому человѣку тутъ-бы и смерть пришла, а этому—хоть бы что: „взялъ топоръ, нарубилъ дровъ, досталъ изъ кармана кремень и огниво, высѣкъ огня и зажегъ костеръ“. И вотъ,—продолжается сказка,—„не въ моготу пришлось рыбѣ, жжетъ и палитъ ей нутро страшнымъ пламенемъ. Стала она бѣгать по синю морю, во всѣ стороны такъ и кидается, изъ пасти дымъ столбомъ—точно изъ печи валитъ; поднялись на морѣ высокія волны и много потопили кораблей и барокъ, много потопили товаровъ и грѣшнаго люда торговаго; наконецъ, прыгнула та рыба высоко и далеко, пала на морской берегъ, да тутъ и издохла... А мальчикъ-семилѣтокъ, мужицкій сынъ, принялся размышлять о томъ, какъ-бы ему освободиться—выдти изъ чудовищной рыбы на вольный свѣтъ. Много-ли, мало-ли думалъ,—вспала ему на разумъ мысль: взялся онъ за свой топоръ. Рубилъ онъ день, другой рубилъ и третій,—къ исходу четвертаго прорубилъ въ боку у рыбы-щуки оконце, да и вылѣзъ изъ него. На томъ—и сказка досказывается. Вдохновенный изслѣдователь воззрѣній славянъ на природу даетъ этому дѣтски-наивному произведенію своеобразное объясненіе. Рыба—туча; море—небо; мальчикъ-семилѣтокъ, сидящій въ утробѣ чудовища, высѣкающій огонь и разводящій пламя—изъ породы созданныхъ народнымъ воображеніемъ обитателей облачныхъ пещеръ, карликовъ-кузнецовъ, приготовляющихъ молніеносныя стрѣлы. Въ зимніе мѣсяцы видитъ его народъ-сказатель отдыхаю-

щимъ и набирающимся силъ (ростущимъ); приходитъ на бѣлый свѣтъ животворящая Весна-Красна,—просыпается въ „семилѣткѣ“ богатырская мощь. Какъ древне-славянскій Перунъ (воплощеніе солнца), ударяетъ онъ огнивомъ о кремень-камень; подобно тому-же богу громовъ онъ вооруженъ топоромъ и прорубаетъ имъ себѣ дверь изъ мрачной темницы (зимы).

Въ финской „Калевалѣ“ [90]), можно найти такія-же уподобленія тучъ, неба, солнца, молній-громовъ, зимы и весны. Вотъ въ какіе, напримѣръ, образы воплотилось преданіе о похищеніи огня щукой-рыбою. Солнце и мѣсяцъ были заключены властительницею мрака въ мѣдную гору; вселенной грозила гибель. Повелитель вѣтровъ, Вейнемейненъ, сговорясь съ кузнецомъ Ильмариненомъ, задумалъ спасти затемненный міръ. Взошли они на небо, высѣкли огонь-молнію и передали его на храненіе воздушной дѣвѣ. Стала она беречь огонь, какъ мать—любимое дѣтище: закутала его въ облачный покровъ, начала качать-баюкать въ золотой колыбели, подвѣшенной на серебряныхъ ремняхъ къ небесной кровлѣ. Какъ-то неосторожно качнула она колыбель—и упалъ огонь въ море, озаривъ всю даль блескомъ своихъ искръ. Увидала его громадная щука морская и проглотила съ жадностью прожорливой хищницы, выведенной въ русской сказкѣ. Какъ и та, принялась она послѣ этого метаться во всѣ стороны отъ боли. Невѣдомо что сталось бы съ нею и съ огнемъ; но узнали объ этомъ свѣтлые боги, начали ловить рыбу, закинули сѣти: попалась похитительница огня. „Я-бъ распласталъ эту рыбу, если-бы у меня былъ большой ножъ желѣза крѣпкаго!“ — промолвилъ Пейвенъ-пойка (Солнцевъ сынъ) и упалъ съ неба ножъ съ золотымъ черенкомъ, съ лезвіемъ серебрянымъ. Распороли брюхо рыбѣ-хищницѣ,—выкатился изъ нея синій клубокъ, изъ синяго — красный, а изъ краснаго—вылетѣлъ огонь, да такой знойной—что опалилъ бороду старику-пѣвцу вѣщему, повелителю вѣтровъ Вейнемейнену, что обжогъ щеки кузнецу Ильмаринену, что сжегъ-спалилъ-бы и землю, и воды, если-бы, по прошествіи

---

[90]) „Калевала“—поэма, составленная финскимъ ученымъ Эліасомъ Ленротомъ изъ произведеній изустнаго пѣснотворчества этого народа. Слово „Калевала“ — названіе миѳической страны, гдѣ живутъ герои поэмы. Впервые появилась она въ печати въ 1835-мъ году, затѣмъ—въ 1849-мъ—вышла въ дополненномъ видѣ, съ которомъ и представляетъ полный сводъ поэтическихъ сказаній финновъ. Въ ней — 50 пѣсенъ, всѣ они составляютъ или пересказъ, или точное воспроизведеніе старинныхъ „рунъ“, нѣкогда объединявшихъ въ себѣ и пѣсню, и заговоръ.

извѣстнаго времени, снова не заковали его туманы-морозы („Похъіола“) въ гору мѣдную.

Въ славянскихъ преданіяхъ встрѣчается чудесная рыба, порождающая сказочныхъ богатырей. Такъ, напримѣръ, разсказывается, что жила-была на бѣломъ свѣтѣ одна царица, у которой не было дѣтей, а она только и желала одного счастья на землѣ—просила-молила у Бога сына. Привидѣлся ей вѣщій сонъ, что надо для этого закинуть въ море синее шелковый неводъ и первую вынутую изъ невода рыбу съѣсть. Разсказала царица этотъ сонъ своимъ приспѣшницамъ, приказала закинуть неводъ: попалась всего одна рыба, да и та не простая рыба, а золотая. Зажарили ее, подали на обѣдъ царицѣ, стала та ѣсть да похваливать. Объѣдки, оставшіеся послѣ царицы, доѣла стряпуха-кухарка; доѣла—вымыла посуду, вынесла помои любимой черной коровѣ. И вотъ дался царицынъ сонъ въ руку,—въ одинъ и тотъ-же день родились на бѣлый свѣтъ три сына: Иванъ-царевичъ, Иванъ-кухарченокъ да Иванъ-коровьинъ-сынъ. Шло-проходило время; выросли они, выровнялись всѣ молодецъ въ молодца, стали богатырями могучими.

Русскій сказочникъ-народъ придаетъ иногда щукѣ такую сверхъестественную, всеобъемлющую силу, что только диву даются всѣ видящіе проявленіе этой-послѣдней. Попадается такая чудодѣйная рыба въ руки, все равно—хоть Ивану-царевичу, хоть Емелѣ-дурачку—измѣняетъ она обычной нѣмотѣ своей сестры-братьи,—начинаетъ голосомъ „провѣщать“ человѣческимъ: „Отпусти меня въ воду, пригожусь тебѣ!“—говоритъ. Научаетъ она произносить всякій разъ какъ только понадобится ея помощь, слова: „По моему прошенью, по щучьему велѣнью!“. Всякое-де желаніе, связанное съ этими волшебными словами, исполняется немедленно. Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается; но глубоко запали въ память народную эти слова: еще до сихъ поръ то-и-дѣло можно услышать присловье—„по щучьему велѣнью“—относящееся ко всему совершающемуся съ поразительной быстротою. Таковымъ — изъ ряда выходящимъ — почетомъ окружаетъ охочій до сказокъ пахарь-народъ заставляющую не дремать кроткаго карася прожорливую представительницу царства рыбъ.

Народное пѣсенное слово говоритъ о щукѣ-рыбѣ хоть рѣдко, да мѣтко: оно надѣляетъ ее всѣми признаками богачества несмѣтнаго. Вотъ, напримѣръ, въ какомъ блестящемъ видѣ предстаетъ она воображенію слушателей одной изъ святочныхъ—прозывающихся „подблюдными“—пѣсенъ:

„Щука шла изъ Новагорода,
Слава!
Она хвостъ волокла изъ Бѣлоозера,
Слава!
Какъ на щукѣ чешуйка серебряная,
Слава!
Что серебряная, позолоченная,
Слава!
Какъ у щуки спина жемчугомъ оплетена,
Слава!
Какъ головка у щуки унизанная,
Слава!
А на мѣсто глазъ дорогой алмазъ,
Слава!“

Кому поется эта пѣсня, тому этимъ-самымъ высказывается, по русскому старинному обычаю, пожеланіе богатѣть съ каждымъ годомъ и даже болѣе того—„не по днямъ, а по часамъ“. Съ такимъ пожеланіемъ имѣетъ несомнѣнную связь повѣрье о томъ, что на днѣ окіянъ-моря лежитъ драгоцѣнный кладъ (не имѣющій по стоимости равнаго во всемъ мірѣ), и что къ этому кладу приставлена сторожемъ все та-же щука, на которую простонародное воображеніе возлагаетъ такъ много разностороннихъ обязанностей. Не зная удержу въ своемъ творческомъ полетѣ-размахѣ, народъ-сказатель доходитъ иногда даже до такихъ предѣловъ преувеличенія, что заставляетъ щуку-великана перекидываться мостомъ черезъ море синее. Идутъ и ѣдутъ по этому живому зыбкому мосту русскіе сказочные богатыри, свойствами которыхъ надѣляются порою и нѣкоторые облюбованные стихійною русской душою перешедшіе въ область сказаній святые угодники Божіи (Георгій-Побѣдоносецъ, Ѳеодоръ-Тиронъ и др.). Бывало, по народному сказочному слову, и такъ, что на хребтѣ благодѣтельницы-щуки переправлялись, какъ на конѣ переѣзжали, русскіе Иваны-царевичи съ берега на берегъ даже самое окіянъ-море.

У польскихъ сосѣдей русскаго пахаря—въ Маріампольскомъ у. Сувалкской губерніи существуетъ—или, по крайней мѣрѣ, не такъ давно существовало—повѣрье о томъ, что одно изъ тамошнихъ озеръ (имя рекъ) выбрала себѣ для жилья щука-великанъ, прозвищемъ Струкисъ. Эта громадная рыба захватила полную власть надо всѣмъ населеніемъ озера: за всѣмъ-то она слѣдитъ зоркими глазами, все видитъ, все бережетъ, — не украсть у нея не единой плотички.

Однажды въ цѣлый годъ засыпаетъ Струкисъ,—и то всего-то на одинъ часъ,—во все-же остальное время бодрствуетъ, наблюдаючи за своимъ рыбьимъ народомъ. Въ стародавніе годы сонъ смежалъ зоркіе щучьи глаза зубастой самозванной властительницѣ всегда въ одно и то-же время—въ ночь на Ивана-Купалу (съ 23-го на 24-е іюня). Но вотъ какой-то смѣлый рыбакъ, спровѣдавъ объ этомъ, вздумалъ отправиться на рыбную ловлю какъ-разъ въ эту пору,—поѣхалъ, наловилъ рыбы видимо-невидимо. Проснулась щука, увидѣла нарушителя ея правъ и успѣла опрокинуть его лодку—утопить дерзкаго, а всю рыбу вернуть въ свои владѣнія. Съ той поры никто не знаетъ, въ какой день-часъ уляжется Струкисъ для кратковременнаго отдыха на свои подушки изъ золотого песку. Такъ,—говорятъ въ народѣ,—никому никогда и не поймать въ озерѣ ни единой рыбешки. Пытаются рыбаки закидывать сѣти, да всякій разъ прорываетъ ихъ щука-Струкисъ: только убытокъ одинъ.

Со всякой, даже съ самой обыкновенною—водящейся чуть-ли не въ каждой рѣчкѣ, щукой-рыбою связывается въ народномъ представленіи та или другая примѣта. Если попадется зубастая хищница при весеннемъ, первомъ послѣ вскрытія водъ, уловѣ,—то на нее обращается особое вниманіе. Вспарываетъ рыбакъ ей брюхо,—смотритъ, много-ли икры. Толще икряный слой къ головѣ—это говоритъ ему о томъ, что урожайнѣе будутъ ранніе посѣвы въ яровомъ полѣ; къ хвосту сбивается комкомъ икра—надо переждать, сѣять попознѣе; если-же вся икра поровну разложена,—когда ни сѣять, все равно: уродится хлѣбъ и въ томъ, и въ другомъ случаѣ такой, что „до Аксиньи-полухлѣбницы“ (24-го января) не хватитъ. Хребтовую кость щучью совѣтуетъ умудренная жизнью прадѣдовъ посельщина-деревеньщина, вѣшать на воротной притолокѣ (отъ мороваго повѣтрія); щучьи зубы, по увѣренію знахарей-вѣду новъ, вѣрнѣе вѣрнаго оберегаютъ носящаго ихъ въ ладонкѣ на шеѣ отъ укушенія ядовитыхъ змѣй.

Къ зубастой щукѣ приравниваетъ деревенскій людъ и такое явленіе природы, какъ срывающій солому съ крышъ вихорь буйный: „Щука хвостомъ махнула—крышу слизнула, лѣсъ до сырой земли согнула!“—говоритъ онъ. Коса острая и кривой серпъ, подъ-корень срѣзывающіе злаки-былія, также вызываютъ въ воображеніи народа-краснослова сравненіе съ прожорливой хищницею царства рыбъ: „Щука-хапуга (коса) хвостомъ (лезвіемъ) мигнула—лѣса (травы) пали, горы (копны) встали!“, „Щука (серпъ) прянетъ, весь лѣсъ (нива) вянетъ!“.

Не мало и другихъ красныхъ образностью словъ крылатыхъ сказалось-молвилось на Руси про рыбъ. Поселилъ русскій пахарь-сказатель о-бокъ съ осетрами, щуками, карасями и всякимъ другимъ чешуйчатымъ народомъ и „морскихъ людей“— безобразныхъ чудовищъ, и вѣчно молодыхъ голосистыхъ чаровницъ (красавицъ—ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать!)—дѣвъ русалокъ съ рыбьимъ хвостомъ.

LVII.

Змѣй-Горынычъ.

О змѣяхъ вообще нашъ пахарь-народъ обмолвился не особенно многими словами, занесенными въ сокровищницу живучихъ памятниковъ родной старины. Змѣя—это пресмыкающееся по землѣ и жалящее человѣка въ пяту животное, распадающееся на множество видовъ, не уживается съ суровыми свойствами природы тѣхъ мѣстъ, откуда пошла и стала быть кондова́я народная Русь, обогатившая пытливыхъ кладоискателей слова неоцѣнимыми-нетлѣнными богатствами, завѣщанными позднему потомству изслѣдователей русскаго народнаго быта. На русскомъ привольѣ-просторѣ,—если обойти молчаніемъ новыя неоглядныя земли, приросшія къ его богатырской основѣ (Среднюю Азію, Кавказъ, Крымъ, Амурскій край),—у себя дома всего только двѣ ядовитыхъ змѣиныхъ породы: гадюка да родная сестра ея—мѣдянка. Ужъ—совершенно безвредное существо—какъ-будто даже и не змѣя, а только сродни ей приходится, да и сродни только по виду своему змѣиному, а нравомъ совсѣмъ на иной складъ: спокойный, уживчивый и даже добрый по сво́ему. Тамъ, гдѣ водятся ужи (по водянымъ зарослямъ да по болотинѣ), ихъ даже и за змѣй не считаютъ. „Прижали—какъ ужа вилами!“—ходитъ по́-людямъ пословица, относящаяся къ пойманнымъ во лжи и вообще поставленнымъ въ безвыходное положеніе людямъ. „Подъ мостомъ, мостомъ яристомъ, лежитъ свинья кубариста!“—загадываетъ про свернувшагося ужа старая загадка (Казанск. губ.). „Дронъ Дронычъ, Иванъ Иванычъ сквозь воду проходитъ, на себѣ огонь проноситъ!“—подговаривается къ ней другая, подслушанная въ тульской округѣ. И ни въ той,

ни въ другой нѣтъ и слѣда злобнаго-опасливаго отношенія къ этому смирному представителю ненавистнаго людямъ рода змѣинаго, огуломъ окрещеннаго у насъ въ народѣ—„гадомъ ползучимъ“, „змѣей подколодною“, „проклятой нечистью“ и тому подобными именами. Простонародное повѣрье приписываетъ ужу даже спасительный для всего человѣчества подвигъ: „Мышь прогрызла Ноевъ ковчегъ, а ужъ—заткнулъ собой дыру“,—гласитъ оно: „только этимъ и остался живъ на святой землѣ грѣшенъ человѣкъ!“ На симбирскомъ Поволжьѣ можно еще и теперь услышать такую многозначительную пословицу, относящуюся къ этому безобидному обитателю сырыхъ мѣстъ, какъ: „Не присмотришься, такъ и ужа отъ змѣи не отличишь,—не то что добраго человѣка отъ злого!“. Не такимъ словомъ поминаютъ на Руси ядовитыхъ гадюкъ; недаромъ говорится: „всякій гадъ—на свой ладъ!“ Про нихъ—и про черную съ зубчатою пестриной по хребту, и про мѣдянистую съ отливомъ—вылетѣла изъ народныхъ устъ такая нелестная родословная: „У змѣи-гадюки чортушка—батюшка, нечистая сила—матушка!“. О ней-же идетъ по́-людямъ и такая молвь крылатая: „Нѣтъ хуже гадины, какъ змѣй-гадюкъ!“, „Гадюку завидишь—глаза навѣкъ изгадишь!“, „Не гадюкѣ-бы поганой матушку-землю осквернить!“, „Завелась гадюка—весь лѣсъ нечистью пропахъ!“.

Въ простонародномъ воображеніи змѣя является живымъ олицетвореніемъ всего нечистаго, возбуждающаго смѣшанное съ ужасомъ отвращеніе, всего злого, лукаваго, вредоноснаго. „Змѣя умираетъ,—а все-зелье хватаетъ!“—отзывается народъ нашъ о злыхъ, жадныхъ до неправедной наживы людяхъ; „Сколько змѣю ни держать, а бѣды отъ нея ждать!“—о лукавыхъ; „Выкормилъ змѣйку на свою шейку!“, „Отогрѣлъ змѣю за пазухой!“ — о черной неблагодарности. Видитъ наблюдательный русскій краснословъ рядомъ съ собой льстеца-притворщика,—„и про того готова у него живая рѣчь: „Льстецъ подъ словами—змѣй подъ цвѣтами!“... „Глядитъ—что змѣя изъ-за пазухи!“—обмолвилась народная Русь про смотрящаго изъ-подлобья, не въ мѣру подозрительнаго человѣка. Нѣтъ для открытаго другу-недругу глубокаго сердца народнаго ничего хуже лихой клеветы на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ: „Клевета—змѣя“,—вырвалось изъ этого сердца гнѣвное слово: „изъ-подъ куста укуситъ!“, „Клеветникъ змѣей лютою извивается!“, „У клеветы жало змѣиное!“ и т. д. Но, по народному-же слову, клеветническій навѣтъ—больнѣй жала змѣинаго: „Змѣю завидишь—обойдешь, клевету заслышишь — не уйдешь!“. Сродни этому выраженію народной мудрости и та-

кія мѣткія изреченія, какъ: „Лучше жить со змѣей, чѣмъ со злою женой!“, „Сваха лукавая—змѣя семиглавая!“, „Недобрый сватъ—змѣ родной братъ!“.

Простонародныя загадки рисуютъ„змѣю подколодную“ на разные лады. То она представляется воображенію стихійнаго художника слова „кускомъ желѣза“, лежащимъ среди лѣсу (Нерчинск. окр.), то—стоящимъ „подъ горой-горой воронымъ конемъ“, котораго „нельзя за гриву взять, нельзя погладить“ (Олонецк. губ.), то тѣмъ, что—„по землѣ ползетъ, а къ себѣ не подпускаетъ“ (Вологодск. губ.). Курская загадка—подъ-стать нерчинской: „Среди лѣса-лѣса лежитъ шматъ желѣза, ни взять, ни поднять, ни на возъ положить!“— гласитъ она. Въ новгородскомъ залѣсьѣ ходитъ такое загадывающее про змѣю слово: „Подъ мостомъ, подъ яростомъ, лежитъ кафтанъ съ яростью; кто до него дотронется—тотъ кровью омоется!“. Общая всей словоохотливой деревеньщинѣ-посельщинѣ загадка зоветъ змѣю „изъ куста шипулей, за ногу типулей“. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ загадку о змѣѣ представляютъ въ трехъ лицахъ (змѣя, сабля и муравейникъ),—говоря: „Зло во злѣ горѣло, зло злу покорилось, зло по злу и вышло!“ (Псковск. губ.), или: „Иду я путемъ-дорогой, ползетъ зло; я это зло зломъ поддѣлъ, во зло положилъ, зломъ попользовался!“ (Самарск. губ.). Перехвачена по пути изъ устъ въ другія и такая загадка: „Ползло зло (змѣя); я зло (ружье) схватилъ да зломъ злу жизнь прекратилъ!“.

Въ стародавніе годы,—гласитъ сѣверно-русское преданіе—было по всей Двинской (сѣверной) округѣ всякаго гада ползучаго многое-множество: кишмя-кишѣли змѣи-гадюки: ни проходу, ни проѣзду по дорогамъ отъ ихъ змѣиной лихости не было. Давно это было,—не запомнятъ и дѣды нашихъ прадѣдовъ. Лютовалъ змѣиный родъ, нагонялъ страхи и на Русь, и на нѣрусь—чудь бѣлоглазую; да послалъ Богъ добраго человѣка знающаго: заклялъ онъ ихъ единымъ словомъ на вѣки вѣчные. Въ житіи св. Александра Огневенскаго, подвизавшагося на рѣкѣ Чурьюгѣ, близъ Каргополя, имѣются такія—близкія къ упомянутому изустному преданію—слова: „молитвами его ползающіе зміеве съ Каргопольской земли изгнани, и о памяти его во второ-первую недѣлю Петрова поста въ житіи не написано, но въ нѣ всенародное множество праздновати вѣнечника Александра память молитвоприношеніемъ: за умерщвленіе чувственныхъ зміевъ“.

Знаетъ народъ-пахарь и такія средства, если не исцѣляющія, то утоляющія боль, при укушеніи змѣею, какъ вѣдомыя

лѣчейкамъ травы, посѣянныя по лѣснымъ полянамъ рукою Творца-сѣятеля на потребу-цѣльбу человѣческую: но не прочь онъ—по примѣру дѣдовъ—и въ наши дни оборониться отъ змѣиной лихости завѣщаннымъ пращурами заговорнымъ словомъ. „Змія Македоница!“—гласитъ одинъ такой заговоръ: „Зачѣмъ ты, всѣмъ зміямъ старшая и бо́льшая, дѣлаешь такіе изъяны, кусаешь добрыхъ людей? Собери ты своихъ тетокъ и дядей, сестеръ и братьевъ, всѣхъ родныхъ и чужихъ, вынь свое жало изъ грѣховнаго тѣла у раба (имя рекъ). А если ты не вынешь своего жала, то нашлю на тебя грозную тучу, каменьемъ побьетъ, молніей пожжетъ. Отъ грозной тучи нигдѣ ты не укроешься; ни подъ землею, ни подъ межою, ни въ полѣ, ни подъ колодою, ни въ травѣ, ни въ сырыхъ борахъ, ни въ темныхъ лѣсахъ, ни въ оврагахъ, ни въ ямахъ, ни въ дубахъ, ни въ норахъ. Сниму я съ тебя двѣнадцать шкуръ съ разными шкурами, сожгу самою-тебя, развѣю по чистому полю. Слово мое не пройдетъ ни въ вѣкъ, ни вовѣкъ!“... Если-же ужалитъ черная гадюка, а не какая другая сестра ея, то старинное русское чернокнижіе завѣщало своимъ вѣдунамъ иное властное надъ ядомъ змѣинымъ слово. „На морѣ на Окіянѣ,—гласитъ оно,—на островѣ Буянѣ, стоитъ дубъ ни нагъ, ни одѣтъ; подъ тѣмъ дубомъ стоитъ липовый кустъ; подъ тѣмъ липовымъ кустомъ лежитъ златой камень: на томъ камнѣ лежитъ руно черное, на томъ рунѣ лежитъ инорокая змія Гарафена. Ты, змія Гарафена, возьми свое жало, изъ раба (имя рекъ), отбери отъ него недуги. А коли ты не возьмешь свое жало, не отберешь недуги, ино я выну два ножа булатные, отрѣжу я у зміи Гарафены жало, положу въ три сундука желѣзные, запру въ два замка нѣмецкіе. Ключъ небесный, земный замокъ. Съ этого часу съ полудня, съ получасу да будетъ бездыханна всякая гадюка и ужаленія ея въ неужаленія! А вы, зміи и змійцы, ужи и ужицы, мѣдяницы и сарачицы—бѣгите прочь отъ раба (имя рекъ) по сей вѣкъ, по сей часъ! Слово мое крѣпко!“

Суевѣрные люди приписывали змѣямъ силу чаръ въ различныхъ случаяхъ жизни, но болѣе всего вѣрили въ „любовный приворотъ“ съ помощью этихъ чаръ. Такъ, по совѣту знахарей, хаживали они въ лѣсъ, разыскивали тамъ гадюку. Найдя, они заранѣе заговоренною палкой-рогулькою должны были прижать змѣю къ землѣ и продѣть черезъ змѣиные глаза иголку съ ниткою. При этомъ обязательно должно было произносить слова: „Змѣя, змѣя! Какъ тебѣ жалко своихъ глазъ, такъ чтобы раба (имя рекъ) любила меня и жалѣла!“ По возвращеніи домой надо было поскорѣе стараться

продѣть платье приглянувшейся красной дѣвицы этой иголкою, но тайно ото всѣхъ, а отъ нея—наособицу. Если удастся продѣлать все это,—любовь приворожена навѣки. Другіе знахари подавали совѣтъ: убить змѣю, вытопить изъ нея сало, сдѣлать изъ сала свѣчку и зажигать ее всякій разъ, когда замѣчаешь остуду у любимаго человѣка. „Сгоритъ змѣиная свѣча, и любовь погаснетъ,—ищи другую!“—приговаривали вѣдуны.

Въ любопытномъ памятникѣ русской письменности первой половины XVII вѣка—„Лексиконъ славенорусскій, составленый всечестнымъ отцемъ Киръ Памвою Берындою“ (іеромонахомъ, завѣдывавшимъ исправленіемъ книгъ въ Кіево-печерской лаврской типографіи), къ слову „змій“ относится поясненіе: „ужъ, гадина, змія, земный смокъ, морской смокъ.“ Что составитель словаря разумѣлъ подъ словомъ „смокъ“—пресмыкающееся, это вполнѣ ясно,—недаромъ онъ въ предисловіи своемъ „ко любомудрому и благочестивому читателю“ говоритъ: „Читать, а не разумѣть, глупая рѣчь есть!“ По общепринятому у всѣхъ народовъ повѣрью, змѣямъ приписывается не только лихость злая („кусаетъ змѣя не для сытости, а для лихости!“), а и мудрость; но мудрость эта—отъ лукаваго, идетъ на пагубу.

Если-бы рѣчь шла только о видимыхъ всѣмъ змѣяхъ, то народъ-сказатель прибавилъ-бы ко всему сказанному очень немного. Но шагающее семиверстными шагами, залетающее въ заоблачную высь поднебесную воображеніе завѣщало ему безконечную цѣпь другихъ сказаній, связанныхъ съ этимъ ползучимъ гадомъ, пресмыкающимся по лицу земли-кормилицы. Мудрый змій — образъ воплотившагося врага рода человѣческаго, діавола, заставившаго изгнаннаго праотца людей—по словамъ глубоко-трогательнаго стиха духовнаго—плакать у вратъ потеряннаго рая и восклицать: „Увы мнѣ, увы мнѣ, раю мой, раю мой, прекрасный мой раю!“ и повторять, обливаясь слезами раскаянія: „Меня ради, раю, таковъ сотворенъ бысть! Прельсти мя Ева, изъ рая изгнала, рай заключила запрещеннымъ дѣломъ. Увы мнѣ коль грѣшну, увы окаянну!“...

Лукавый соблазнитель прародительницы человѣчества, проклятый Богомъ и людьми діаволъ-змій, навѣки осужденный пресмыкаться и жалить человѣка въ пяту, воплотился въ пылкомъ народномъ воображеніи въ крылатаго змѣя, прародителя не только обитающей въ преисподней нечисти, но и всѣхъ сказочныхъ огнедышащихъ драконовъ, о которыхъ пошла гулять вдоль по народной Руси изукрашенная пе-

стрядью сказаній молвь, для которой нѣтъ на свѣтѣ никакого удержу. Изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ переходятъ древнія преданія о драконахъ-зміяхъ—одно другого цвѣтистѣе, ведущія простодушную рѣчь о самыхъ мудреныхъ вещахъ. Подобныя сказанія, очевидно, завѣщаны прадѣдамъ современныхъ сказателей отъ временъ глубокой древности, безслѣдно затонувшихъ въ бездонномъ океанѣ забвенія. Они свойственны и не одной народной Руси, и не однимъ единокровнымъ съ послѣднею, когда-то жившимъ одною съ ней жизнью, славянскимъ племенамъ, но и такимъ пра́отцамъ народовъ—какъ китайцы. У нихъ крылатый огнедышащій змѣй русскихъ сказокъ до сихъ поръ является предметомъ особаго суевѣрнаго почитанія, граничащаго съ обожествленіемъ. Какъ и русскій Змѣй-Горынычъ, онъ представляетъ собою сказочное чудище, похожее и на крокодила, и въ то-же самое время на удава—эту „змѣю, всѣмъ змѣямъ бо́льшую“. Хотя онъ, волею воображенія сыновъ Небесной Имперіи, и лишенъ крыльевъ (у русскаго сказочнаго змѣя — ихъ не-то шесть, не-то двѣнадцать), но также можетъ взлетать выше облака ходячаго, также дышетъ огнемъ-пламенемъ. Ему повинуются и земля, и воды, и самыя свѣтила небесныя. Такъ и въ русскихъ стародавнихъ сказаніяхъ,—память о которыхъ осталась въ народѣ только невнятнымъ отголоскомъ смутныхъ пережитковъ преданнаго забвенію прошлаго,—подобный китайскому дракону „огнеродный змѣй Елеафамъ“, изъ устъ котораго исходятъ „громы пламеннаго огня, яко стрѣлено дѣло“, а изъ ноздрей—„духъ, яко вѣтръ, воздымающій огнь геенскій“, сотрясаетъ по своей волѣ основы Матери-Сырой-Земли, производя „трусъ“ и „потопъ“. Какъ во власти созданнаго суевѣріемъ китайцевъ—дракона—производить лунное и солнечное затменія,—такъ и сказочный Змѣй-Горынычъ порою скрадываетъ съ небеснаго свода пресвѣтлое свѣтило свѣтилъ земныхъ—солнце—и, налегая чешуйчатой грудью на ясный ликъ кроткой луны, заслоняетъ трепетный свѣтъ ея ото взора человѣческаго и повергаетъ въ ужасъ всю живую природу. По мнѣнію китайцевъ, драконъ держитъ въ своей властной рукѣ орошающіе землю дожди,—какъ держала ихъ поселенная позабытымъ въ народѣ словомъ въ лонѣ небеснаго моря-окіяна на островѣ Буянѣ „змѣя, всѣмъ змѣямъ старшая и бо́льшая“. Подобно Змѣю-Горынычу древнерусскихъ сказочныхъ былей, сложившихся въ сердцѣ пѣснотворца-народа, этотъ грозный духъ, до сихъ поръ не переживший преданій о себѣ среди четырехсотмилліоннаго населенія еще недавно бывшей для всѣхъ

столь таинственною страны, можетъ „залегать дороги прямо-ѣзжія“. Многое-множество другихъ, уже совсѣмъ не присущихъ духу русскаго народа, свойствъ приписываетъ суевѣріе желтолицыхъ сыновъ Неба созданному ими генію земного зла, иногда даже и совершенно искренне покровительствующему имъ,—такимъ образомъ порождая зломъ добро, какъ ни противорѣчитъ послѣднее обстоятельство простому здравому смыслу. Но, въ свою очередь, надѣленъ совершенно особыми качествами и русскій драконъ Змѣй-Горынычъ, по всей вѣроятности зародившійся изъ одного и того-же источника преданій, въ одинаковой степени свойственныхъ всѣмъ народамъ, вышедшимъ изъ „колыбели человѣчества“—Азіи. Вѣроятно, въ могучемъ складѣ русскаго пахаря-народа, породившаго столькихъ богатырей, не было—на счастье родной ему земли—тѣхъ тлетворныхъ задатковъ духовнаго разложенія, которые къ концу XIX-го столѣтія оставили Китай все подъ тою-же властью созданнаго шесть тысячъ лѣтъ назадъ пугала. Если и было когда-нибудь, въ позабытыя всѣми времена суевѣрное обожествленіе змѣя-дракона въ народной Руси (что̀ очень сомнительно для знакомыхъ съ развитіемъ древнеславянскаго языческаго богословія!),—то еще въ незапамятные годы успѣлъ несокрушимый духъ русскаго народа „стереть главу змію“ этого обожествленія. Ни Бѣлъбогъ съ Чернобогомъ, ни Небо-Сварогъ съ Матерью-Сырой-Землею,—не говоря уже о позднѣйшихъ божествахъ еще не просвѣщеннаго Тихимъ Свѣтомъ вѣры Христовой народа (Бѣлъбожичахъ со Сварожичами) не напоминали своимъ общеніемъ съ народнымъ духомъ ничего китайскаго. Они были совершенно самобытнымъ явленіемъ въ лѣтописяхъ постепеннаго саморазвитія русскаго міропониманія. Змѣй-же Горынычъ — хотя и существовалъ въ нашемъ народномъ суевѣріи и до сихъ поръ не совсѣмъ чуждъ воображенію народа-пахаря,—всегда былъ яркимъ созданіемъ однѣхъ только сказокъ, представлявшимся порожденіемъ нежити-нечисти, не заслуживавшей никакого поклоненія-почитанія, хотя и вынуждавшей своимъ лукавствомъ ограждаться отъ нея всякими причетами-заговорами. И Лѣсовикъ со Степовымъ, и Водяной, и Полевикъ,—не говоря уже о покровителѣ домашняго очага „дѣдушкѣ“-Домовомъ,—всѣ вмѣстѣ и каждый наособицу—пользовались въ русскомъ народѣ несравненно бо́льшимъ почитаніемъ, чѣмъ это чудище, несмотря на всю его силу-мочь. И это явленіе вполнѣ объяснимо. Стоитъ только вспомнить, что въ лицѣ названныхъ созданій народнаго суевѣрія воплощаются любовно льнущія къ суевѣрному сердцу

помышляющаго и не объ одномъ только хлѣбѣ насущномъ вѣрнаго сына земли-кормилицы преданія о духахъ-покровителяхъ, имѣющія осязательную связь съ древнимъ вѣрованіемъ въ загробное покровительство предковъ, витающихъ вокругъ поселеній своего потомства, что ни день поливающаго родную землю трудовымъ потомъ, порою слезами, а въ годы Божьей немилости—и кровью. Змѣепоклонство, распространенное и не въ однихъ предѣлахъ неподвижной Срединной Имперіи, а и у многихъ другихъ народовъ, все еще находящихся подъ властью язычества, никогда не было свойственнымъ духу русскаго народа. Народная Русь, и на самой первобытной степени развитія, всегда относилась къ змѣямъ —какъ къ низшему (хотя и одаренному лукавой мудростью) существу, не позволявшему ея могучему, рвущемуся отъ земныхъ предѣловъ къ небеснымъ нивамъ, духу искать въ пресмыкающемся предметъ обожествленія. Летучій огнедышащій драконъ, и устрашая своимъ видомъ трепетавшаго передъ нимъ сына матери-земли, оставался все тѣмъ-же змѣемъ. Въ то время какъ другіе народы видѣли въ драконѣ предметъ поклоненія, нашъ пахарь выходилъ на борьбу съ этимъ грознымъ чудищемъ, высылая противъ него своихъ могучихъ сыновъ. Драгоцѣннѣйшіе памятники русскаго народнаго слова—былины кіевскаго періода сохранили отъ забвенія могучіе образы богатырей, выступавшихъ на единоборство съ грознымъ воплощеніемъ всего лукаваго, порабощающаго. Эти богатыри—плоть отъ плоти, кость отъ кости народной; въ ихъ, выходящихъ изо всякихъ границъ обыденнаго, обликахъ чувствуется мощное біеніе стихійнаго народнаго сердца. Въ нихъ возстаетъ передъ взоромъ современнаго читателя-слушателя одухотворенный вѣрою въ торжество свѣтлой-праведной свободы Земли Русской могучій своею тысячелѣтней самобытностью духъ русскаго народа, которому—все по-плечу, для котораго нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ ничего невыполнимаго-непосильнаго. Передъ высокой силою воли созданныхъ народомъ-пахаремъ богатырей, одушевленныхъ неугасимымъ пламенемъ нелицемѣрной любви къ воскормившей-воспоившей ихъ родной землѣ, въ позорномъ безсиліи никнетъ кичащаяся своимъ дородствомъ сила залегающихъ пути-дороги, облегающихъ города православные, требующихъ данью въ свои пещеры змѣиныя дочерей и женъ русскихъ—на съѣденіе и поруганіе Змѣевъ-Тугариныхъ, Тугариновъ Змѣевичей, Змѣищъ-Горынчищей. Меркнетъ передъ свѣтомъ ихъ горящаго своею дѣйственной вѣрою сердца чадное полымя дракона лютаго.

Змѣй-Горынычъ какъ и китайскій прообразъ, его является, обитателемъ пещеръ, уходящихъ въ неизвѣданныя глубины горъ,—оттого-то, по объясненію изслѣдователей древнихъ сказаній, и звался-величался онъ „Горынычемъ“. „Змія лютая пещерная“,—прозываютъ это чудище народные стихи духовные. Въ „Очеркѣ домашней жизни и нравовъ великорусскаго народа“ Н. И. Костомарова—въ главѣ о народныхъ вѣрованіяхъ—приводится любопытная выписка изъ памятника русской отреченной письменности, относящаяся къ описанію русскаго дракона, именующагося здѣсь „змѣей-аспидомъ“. Онъ, по словамъ этого сказанія, обитаетъ въ „печорскихъ горахъ“—на крайнемъ сѣверѣ свѣтлорусскаго простора. „Аспидъ, змія крылата,—гласитъ сказаніе,—носъ имѣетъ птичей и два хобота, и въ коей землѣ вселится — ту землю пусту учинитъ; живетъ въ горахъ каменныхъ, не любитъ ни трубнаго гласа: пришедше-же обаянницы обаяти ю и копаютъ ямы и садятся въ ямы съ трубами и покрываются дномъ желѣзнымъ и замазываются сунклитомъ и ставятъ у себя угліе горящее: да разжигаютъ клещи, и егда вострубятъ, тогда она засвищетъ, яко горѣ потрястися, и, прилетѣвши къ ямѣ, ухо свое приложитъ на землю, а другое заткнетъ хоботомъ и, нашедъ диру малу, начнетъ битися; человѣцы же, ухвативши ю клещами горящими, держатъ крѣпце; отъ ярости же ея сокрушаются клещи не едины, не двои и не трои, и тако сожжена—умираетъ; а видомъ она пестра всякими цвѣты и на земли не садится, только на камень“...

Есть сказанія, по которымъ пещеры Змѣя-Горыныча находятся на берегахъ рѣкъ—то Днѣпра, то Волги, то сказочныхъ „Сафатъ“-рѣки и „Израй“-рѣки. Летитъ Змѣй по-небу,—самъ чернѣе тучи, а изо рта огонь пышетъ, искрами по всей поднебесной-„подселенной“ разсыпается. Гдѣ опустится онъ на землю,—все огнемъ спалитъ. Вздумаетъ поселиться гдѣ по близости отъ людского жилья—запретъ-отведетъ воды рѣчныя, если не дадутъ ему, Змѣю, даней-выходовъ. А дани его —не злато, не серебро, а живая плоть-кровь человѣческая. Истребитъ онъ всѣхъ людей до единаго, если не сдѣлать по его: не приводить къ нему на съѣденіе-поруганіе женъ-дочерей, дѣтей малыхъ!..

По инымъ сказаніямъ, позднѣе сложившимся въ народной Руси и примкнувшимъ къ болѣе раннимъ, летаетъ чудище-Змѣй изъ своихъ невѣдомо гдѣ затерявшихся пещеръ только къ приглянувшимся ему красавицамъ. Летитъ онъ по-небу — змѣй-змѣемъ: только искры на-земь сыплятся. Подлетитъ къ тому дому, гдѣ живетъ зазнобушка, разсыплется весь надъ

трубой въ мелки искорки, встанетъ-обернется въ избѣ добрымъ молодцемъ,—ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать красоты его!.. Сядетъ съ любушкой за столъ, начнетъ рѣчи вести молодецкія, сожигать огнемъ-полымемъ своихъ змѣиныхъ очей разгарчивое сердце: и склонять на любовь не надо, сама—на шею къ нему кинется и красна-дѣвица, и жена чужемужняя... Знаетъ Змѣй, когда придти,—когда никого другого и дома нѣтъ... Много разсказовъ и до сихъ поръ ходитъ по-людямъ въ захолустной глуши про летающихъ огненныхъ змѣевъ да про дѣвицъ красныхъ, полюбившихся имъ; а въ стародавніе годы и того больше говорилось... Бывали, по словамъ сѣдой старины, и такіе случаи, что родились отъ такой любви сразу по двѣнадцати змѣенышей, до-смерти засасывавшихъ порождавшую ихъ на бѣлый свѣтъ красавицу. Сохранилъ народъ въ своихъ сказаніяхъ вѣщую память и о такихъ дѣтяхъ Горынчища, какъ Тугаринъ Змѣевичъ, на котораго перенесены были многія черты чудовищнаго отца. Русскій народъ-сказатель надѣлилъ его почти всѣми качествами Змѣй-Горыныча—этого представителя темной стихійной силы. Есть основанія предполагать, что подъ Змѣй - Горынычемъ подразумѣвались прежде всего грозныя-темныя тучи, залегающія на небѣ пути - дороги солнцу красному и лишающія тѣмъ весь согрѣваемый его лучами живой міръ главнаго источника жизни. Съ теченіемъ времени драконъ-змій является уже не въ видѣ самой тучи, а вылетающихъ изъ этой „небесной горы“ молній. Змѣевидность послѣднихъ сама говоритъ объ этомъ воплощеніи. Впослѣдствіи перенеслось представленіе о Змѣй-Горынычѣ съ молній на метеоры, проносящіеся надъ землею и разсыпающіеся на глазахъ у всѣхъ. Летитъ такой „змѣй“,—по словамъ народа,—что шаръ огненный, искрами—словно каленое желѣзо—разсыпается. „Изъ рота яво огонь-полымя, изъ ушей яво столбомъ дымъ идетъ“...—гласитъ про него сказаніе, повѣствующее о битвѣ Егорія Храбраго со „змѣемъ лютымъ, огненнымъ“. Въ былинномъ сказѣ про Добрыню Никитича въ таковыхъ словахъ описывается появленіе „лютаго звѣря Горынчища“:

„Вѣтра нѣтъ—тучу наднесло,
Тучи нѣтъ—а только дождь дождитъ,
Дождя нѣтъ—искры сыплются:
Летитъ Змѣище-Горынчище,
О двѣнадцати змѣя хоботахъ“...

Ревetъ онъ такимъ зычнымъ голосомъ, что дрожитъ отъ змѣинаго рева лѣсъ-дубровушка; бьетъ хвостомъ онъ по сы-

рой землѣ—рѣки выступаютъ изъ береговъ; отъ ядовитаго дыханья змѣинаго сохнетъ трава-мурава, листъ съ деревъ валится. Кажись, нѣтъ и спасенія встрѣчному человѣку отъ такого чудища грознаго! Но не таковъ духъ русскаго народа, чтобы трепетать въ безсильномъ страхѣ даже и передъ подобнымъ порожденіемъ темнаго зла. Ведетъ онъ въ старыхъ сказаніяхъ смѣлыя рѣчи про своихъ сыновъ, не только не страшившихся Змѣя-Горыныча, но и побѣждавшихъ его то силой-удалью богатырскою, то силой-вѣрою въ Поправшаго смертію смерть.

Исконный пахарь, всю жизнь и всѣ свои силы полагающій на трудъ ради хлѣба насущнаго, русскій народъ-сказатель съумѣлъ не только побѣдить Змѣя, но и запречь его въ соху. Среди особо чтимыхъ на Руси святыхъ угодниковъ Божіихъ не послѣднее мѣсто занимаютъ святые Косьма и Даміанъ, слившіеся—въ представленіи суевѣрной деревни—въ одинъ обликъ „Божьяго кузнеца — Кузьмы-Демьяна". О томъ, какъ запрягъ онъ Змѣй-Горыныча („великаго змѣя") въ выкованный имъ плугъ и распахалъ на чудищѣ глубокой бороздою всю Землю Русскую,—говорилось уже выше (см. гл. „Ноябрь-мѣсяцъ"). До сихъ поръ показываютъ въ приднѣпровскихъ мѣстахъ борозды, проведенныя плугомъ, въ который былъ запряженъ русскій драконъ. Тянутся эти „Валы Змѣиные" съ малыми перерывами на цѣлыя сотни верстъ (въ Кіевской, Подольской, Волынской и Полтавской губерніяхъ) по лѣсамъ, по полямъ, по болотинѣ. По объясненію ученыхъ изслѣдователей старины, были проведены эти валы въ защиту отъ набѣговъ степныхъ кочевыхъ племенъ, нападавшихъ на русскіе города въ отдаленныя времена, близкія къ язычеству (въ IX—X вѣкѣ). Народъ-же приписываетъ происхожденіе ихъ преданію о „Божьемъ кузнецѣ", отождествляя его съ другимъ—о кіевскомъ богатырѣ Никитѣ (Кирилѣ) Кожемякѣ.

Во второмъ томѣ аѳанасьевскихъ „Поэтическихъ воззрѣній славянъ на природу" приводится сохранившееся и до нашихъ дней въ Малороссіи сказаніе объ этомъ богатырѣ и его подвигахъ, имѣющихъ не мало общаго съ подвигами упоминаемаго въ лѣтописяхъ Земли Русской богатыря-отрока Владиміровыхъ дней Яна Усмошвеца, вышедшаго на единоборство съ вызывавшимъ на бой печенѣжскимъ [91]) великаномъ и побѣ-

[91]) Печенѣги—древній, исчезнувшій съ лица земли, народъ тюркскаго происхожденія, нѣкогда кочевавшій (вмѣстѣ со своими родичами, половцами) въ степяхъ Средней Азіи. IX-й вѣкъ по Р. Х. засталъ ихъ населяющими пространство между Волгою и Ураломъ; затѣмъ они подвинулись—подъ давленіемъ хозаръ—западнѣе и, вытѣснивъ изъ теперешнихъ южнорусскихъ степей

дою надъ ними положившаго залогъ побѣды русской дружины надъ ордой печенѣжскою. Въ 992-мъ году на томъ мѣстѣ былъ поставленъ княземъ Владиміромъ городъ Переяславль—въ память того, что здѣсь русскій отрокъ „переялъ славу“ богатырей. Въ давнее время,—гласитъ приводимый А. Н. Аѳанасьевымъ сказъ,—проявился около Кіева Змѣй; бралъ онъ съ народа поборы не малые—съ каждаго двора по красной дѣвкѣ; возьметъ да и съѣстъ! Пришелъ чередъ—послалъ и князь свою дочь, а она была такъ хороша, что и описать нельзя. Змѣй потащилъ ее въ берлогу, а ѣсть не сталъ—больно она ему полюбилася. Приласкалась она къ Змѣю и спрашиваетъ: „Чи есть на свити такій чоловикъ, щобъ тебѣ подужавъ?“—„Есть такій у Кіеви надъ Днипромъ: якъ затопить хату, то дымъ ажъ пидъ нибисами стелецця; а якъ війде на Днипръ мочить кожи (бо винъ кожемяка), то не одну несе, а дванадцять разомъ, и якъ набрякнуть вони водою въ Днипри, то я возьму да-й учеплюсь за ихъ, чи витягне-то винъ ихъ? А ему-й байдуже: якъ поцупить, то-й мене з'ними трохи на берегъ не вытягне! Отъ того чоловика тилько мини й страшно!“ Княжна вздумала дать про то вѣсточку домой; а при ней былъ голубокъ; написала къ отцу грамотку, подвязала голубю подъ крыло и выпустила ва окно. Голубь взвился и полетѣлъ на княжье подворье. Тогда умолили Кирилу-Кожемяку идти противъ Змѣя; онъ обмотался куделью, обмазался смолою, взялъ булаву пудовъ въ десять и пошелъ на битву. „А що, а Кирило,—спросилъ Змѣй,—пришовъ битьця, чи миритьця?“—„Дѣ вже миритьця! Битьця з'тобою, з'Иродомъ проклятымъ!“ Вотъ и начали биться, ажъ земля гудетъ; что разбѣжится Змѣй да хватитъ зубами Кирилу, такъ кусокъ кудели да смолы и вырветъ; а тотъ его булавою какъ ударитъ, такъ и вгонитъ въ землю. Жарко Змѣю, надо хоть немного въ водѣ прохладиться да

венгровъ, заняли кочевья отъ Дона до Дуная. У нихъ были свои князья; въ X-омъ вѣкѣ среди ихъ кочевій стала развиваться торговля; въ началѣ XI-го вѣка многіе печенѣжскіе роды приняли магометанство. Съ 60-хъ годовъ X-го столѣтія они начали тѣснить русскихъ,осмѣливаясь нападать даже на Кіевъ. Русь вела съ ними упорную борьбу. Въ одну изъ войнъ съ печенѣгами погибъ князь Святославъ Игоревичъ. При Владимірѣ Святославовичѣ былъ сооруженъ на русскомъ рубежѣ цѣлый рядъ укрѣпленныхъ городовъ—для защиты отъ печенѣговъ. Послѣднее нападеніе ихъ на Кіевъ было въ 1034-мъ году, когда они были совершенно разбиты и бѣжали въ свои кочевья. Изъ послѣднихъ вскорѣ вытѣснили ихъ новые среднеазіатскіе выходцы—торки, которыхъ смѣнили половцы. Слабѣя съ каждымъ десятилѣтіемъ, печенѣги подвигались все дальше, перешли за Дунай и, наконецъ, безслѣдно исчезли на Балканскомъ полуостровѣ.

жажду утолить, и вотъ, пока сбѣгаетъ онъ на Днѣпръ, Кожемяка успѣетъ вновь и коноплей обмотаться, и смолою вымазаться. Убилъ Кирило Змѣя, освободилъ княжну и привелъ къ отцу. Сказка кончается слѣдующими словами: „Тотъ-же Кирило зробивъ трохи й неразумно: взявъ Змѣя—спаливъ, да й пустивъ по витру попелъ, то з'того попелу завелась вся та погань—мошки, комари, мухи. А якъ бы винъ узявъ да закопавъ той попелъ у землю, то ничого-бъ сего не было на свити“... По другому (великорусскому) разносказу дѣло подходитъ ближе къ сказанію о „Божьемъ кузнецѣ“. Никита,—гласитъ этотъ разносказъ,—опрокинулъ Змѣя-Горыныча наземь; и взмолилось къ Кожемякѣ чудище: „Раздѣлимъ,—говоритъ,—съ тобой всю землю, только отпусти!“ А тотъ молодъ, да гораздъ, былъ. „Давай,—говоритъ,—раздѣлимъ!“ Взялъ онъ соху въ триста пудовъ, запрегъ въ нее Змѣя и погналъ его „отъ Кеива-города до синяго моря“. Догналъ до-моря, зачалъ и море дѣлить да и потопилъ въ его волнахъ Горынчищу — во славу Божію да на радость всему міру-народу крещоному.

Въ цѣломъ рядѣ сказаній объ Егоріѣ Храбромъ (Георгіѣ-Побѣдоносцѣ) русскій народъ велъ свою повѣсть о змѣеборчествѣ. Великій воинъ Христовъ, поражающій своимъ копьемъ огнедышащаго дракона, является въ этихъ сказаніяхъ разъѣзжающимъ по землѣ свѣтлорусской и утверждающимъ вѣру православную, заставляя разступаться передъ собою лѣса темные дремучіе, горы высокія, рѣки широкія. Ѣдетъ онъ,—по слову однихъ сказаній, рубитъ-колетъ лютое стадо змѣиное, заступающее ему путь-дорогу прямоѣзжую,—принимаетъ „подъ свой великъ-покровъ землю свѣтлорусскую“. Въ другихъ сказаніяхъ терзаетъ Егорія злой царище-Демьянище, сажающій Храбраго въ погреба глубокіе на тридцать лѣтъ и три года. Но выходитъ и изъ-подъ земли свѣтозарный воитель, идетъ на свои великіе подвиги—насаждаетъ вѣру христіанскую, искореняетъ басурманскую, поражая на этотъ разъ—вмѣсто „лютаго стада змѣинаго“—огненнаго змѣя-дракона. Въ другомъ сказаніи Егорій, подобно сказочнымъ богатырямъ, спасаетъ царскую дочь, отданную на жертву Змѣю-Горынычу. И всюду вослѣдъ за нимъ разливается надъ тьмою ужаса яркій свѣтъ радости освобождаемыхъ отъ гнетущаго мрака и лихой злобы. Какъ объ этихъ сказаніяхъ, такъ и о напоминающихъ, по своей сущности, ихъ-же сказаніяхъ о св. Ѳеодорѣ-Тиронѣ,—которому точно также приписывается народомъ-сказателемъ побѣдоносная борьба со Змѣй-Горынычемъ,—уже была рѣчь въ настоящихъ очеркахъ, пос-

вященныхъ изслѣдованію суевѣрнаго быта народной Руси. Изъ другихъ святыхъ повѣствуетъ народъ о змѣеборствѣ св. Михаила-архангела, по всему вѣроятію – руководствуясь въ послѣднемъ случаѣ апокалипсическимъ словомъ: „...и бысть брань въ небеси: Михаилъ и ангелы его брань сотвориша со зміемъ... И поверженъ бысть змій великій, змій древній, царицаемый діаволъ“...

Въ старинныхъ русскихъ былинахъ нѣсколько богатырей ведутъ славный бой со Змѣй-Горынычемъ: Добрыня Никитичъ, Алеша Поповичъ, Потокъ Михайло Ивановичъ. Является Змѣй лютымъ ворогомъ народа православнаго, злымъ похитчикомъ красныхъ дѣвушекъ, лукавымъ обольстителемъ женъ-переметокъ. Въ былинѣ „Три года Добрынюшка стольничалъ“ ведется сказъ про полюбившуюся богатырю Марину Игнатьевну, знавшуюся съ Горынычемъ. Обольстила еретница Марина сердце богатырское, да не пришлось имъ со Змѣемъ посмѣяться надъ Добрынюшкой: едва ноги унесло отъ Никитича чудище лютое, а самой Маринѣ пришлось поплатиться жизнью за свое лиходѣйство. Былина „Добрыня купался, змѣй унесъ“ повѣствуетъ о томъ, какъ вошелъ гулявшій съ дружиной хороброю богатырь во Израй-рѣку, какъ „поплылъ Добрынюшка за перву струю, захотѣлось молодцу и за другую струю, а двѣ-то струи самъ переплылъ, а третья струя подхватила молодца, унесла въ пещеры бѣлокаменны“... И вотъ—видитъ неостерегшійся добрый молодецъ, не внявшій словамъ родимой матушки, предсказывавшей ему это, видитъ: „ни отколь взялся тутъ лютой звѣрь, налетѣлъ на Добрынюшку Никитича, а самъ-то говоритъ, Горынчище, а самъ онъ, Змѣй, приговариваетъ:—А стары люди пророчили, что быть Змѣю убитому отъ молодца Добрынюшки Никитича, а нынѣ Добрыня у меня самъ въ рукахъ!“ Но торжеству Змѣя не суждено было исполниться. Не соразмѣрилъ Горынчище разстояніе, отдѣлявшее его отъ богатыря,—мимо Никитича пролетѣлъ. „А и стали его (Добрыни) ноги рѣзвыя, а молода Добрынюшки Никитьевича“,—продолжается былинный сказъ,—„а грабится онъ къ желту песку, а выбѣжалъ доброй молодецъ, а молодой Добрынюшка Никитичъ-младъ, нагребъ онъ шляпку песку желтаго,—налетѣлъ на его Змѣй-Горынчище, хочетъ Добрыню огнемъ спалить, хоботомъ ушибить“... Но и тутъ дѣло вышло не по его, не по змѣеву, хотѣнью.

„На то-то Дбынюшка не робокъ былъ,
Бросаетъ шляпу земли греческой

Съ тѣми пески желтыми
Ко лютому Змѣю-Горынчищу:
Глаза запорошилъ и два хобота ушибъ,
Упалъ Змѣй-Горынчище
Во ту во матушку во Израй-рѣку;
Когда-ли Змѣй исправляется,
Въ то время и во тотъ-же часъ
Схватилъ Добрыня дубину,
Тутъ убилъ до смерти;
А вытащилъ Змѣя на берегъ,
Его повѣсилъ на осину на горькую;
—Сушися ты, Змѣй-Горынчище"...

Алешѣ-Поповичу выпало на долю побороться и съ сыномъ Горыныча—Тугариномъ Змѣевичемъ, представляющимся народному воображенію надѣленнымъ всѣми статьями богатырскими, а не только змѣиными. По народному слову, это—богатырь огромнаго роста („въ вышину трехъ саженъ, промежъ глазъ—калена стрѣла"). Онъ выѣзжаетъ на бой въ полномъ богатырскомъ вооруженіи, на ворономъ конѣ. При надобности—онъ быстро поднимается на сложенныхъ подъ его богатырскомъ убромъ „бумажныхъ" крыльяхъ. Онъ также—какъ и отецъ его, Горынчище—устрашаетъ своимъ шипомъ-свистомъ. Зареветъ-заголоситъ Змѣевичъ,—задрожитъ лѣсъ-дубровушка, зеленый листъ уронитъ наземь отъ ужаса. Входя въ города, онъ прикидывается удалымъ добрымъ молодцемъ—на погибель краснымъ дѣвицамъ.

Выѣхалъ въ поѣздку богатырскую Алеша Поповичъ, во товарищахъ съ молодымъ Екимомъ Ивановичемъ—„ничего-то они въ чистомъ полѣ не наѣзживали, не видали они птицы перелетныя, не видали они звѣря прыскучаго, только въ чистомъ полѣ наѣхали, лежатъ три дороги широкія; промежу тѣхъ дорогъ лежитъ горючъ-камень". Посмотрѣли, увидали богатыри надпись о трехъ дорогахъ: третья—„ко городу ко Кіеву, ко ласкову князю Владиміру". Рѣшили ѣхать по ней, раскинули шатры, встали на отдыхъ. Утромъ идетъ навстрѣчу калика-перехожая, говоритъ имъ, что видѣлъ онъ Тугарина Змѣевича. Помѣнялся съ каликой Алеша своимъ богатырскимъ платьемъ, взялъ шелепугу подорожную да „чингалище булатное", пошелъ на Сафатъ-рѣку, гдѣ стоялъ станомъ Тугаринъ. Подошелъ, калика-каликой, а младъ-Змѣевичъ спрашиваетъ про Алешу, похваляется убить его. Но похвальба на бѣду навела: „сверстался (съ нимъ) Алеша Поповичъ младъ, хлеснулъ его шелепугой по буйной головѣ, рас-

шибъ ему буйную голову—и упалъ Тугаринъ на сыру землю: вскочилъ ему Алеша на черну грудь. Въ тѣ поры взмолился Тугаринъ Змѣевичъ младъ:—гой еси ты, калика перехожая, не ты-ли Алеша Поповичъ младъ? Только-ты, Алеша Поповичъ младъ, семъ побратуемся съ тобой!—Въ тѣ поры Алеша врагу не вѣровалъ, отрѣзалъ ему голову прочь... И пала глава на сыру землю, какъ пивной котелъ"... Привезъ потомъ Алеша въ Кіевъ на княженецкій дворъ Тугаринову голову, бросилъ среди двора Володимерова. „Гой еси, Алеша Поповичъ младъ! Часъ ты мнѣ свѣтъ далъ, пожалуй ты живи въ Кіевѣ, служи мнѣ, князю Владиміру!"—было къ нему радостное слово ласковаго князя стольнокіевскаго. Радость княжая сказалась радостью по всему Кіеву, разошлась отъ Кіева по всей Руси...

Позднѣйшія сказанія, разгуливающія и теперь по неоглядному простору свѣтлорусскому, если и ведутъ рѣчь объ ухищреніяхъ Змѣя-Горыныча—дѣвичьяго да бабьяго погубителя, слетающаго въ хаты черезъ дымовую трубу,—то никогда не упоминаютъ уже объ его сынѣ Тугаринѣ Змѣевичѣ. А онъ-то для жаждущихъ свѣта праведнаго пахарей Земли Русской былъ едвали не опаснѣе своей скрытою подъ радующимъ русскій глазъ богатырскимъ цвѣтнымъ платьицемъ силой темною-подземельною...

LVIII.

Злыя и добрыя травы.

Въ стародавнюю, до-христіанскую, пору,—когда Мать-Сыра-Земля представлялась мысленному взору народной Руси божественной супругою Неба-Сварога, одѣвавшія ее травы казались пышнокудрыми волосами великой праматери боговъ. Это представленіе — какъ въ зеркальной зыби рѣки—отразилось во многихъ русскихъ старинныхъ сказаніяхъ, звуча для пытливаго слуха современныхъ народовѣдовъ отголоскомъ преданій нашего языческаго прошлаго, померкшаго передъ Тихимъ Свѣтомъ, озарившимъ непроглядныя дебри суевѣрія, обступавшаго грозными призраками жизнь народа-пахаря. „Земля сотворена, яко человѣкъ... вмѣсто власовъ быліе имать“, — гласитъ одинъ изъ памятниковъ самобытной древнерусской письменности—несомнѣнно, церковно-проповѣдническаго происхожденія.

Стихъ о „Голубиной Книгѣ“, вобравшій въ десятки своихъ ходящихъ по всѣмъ уголкамъ свѣтлорусскаго простора разносказовъ чуть-ли не всю сущность простодушной народной мудрости, ставитъ надъ произрастающими на земной груди травами одну—нàбольшей-старшею. „Кая трава всѣмъ травамъ мати?“ — возглашается въ числѣ другихъ вопросовъ, предложенныхъ Володуміромъ-царемъ Володуміровичемъ перемудрому Давыду Евсеевичу.—„Плакунъ-трава всѣмъ травамъ мати!“—слѣдуетъ въ своемъ мѣстѣ отвѣтъ на это слово вопросное. „Почему Плакунъ всѣмъ травамъ мати?“ — продолжаетъ свою рѣчь стихъ-сказаніе: „Когда жидовья Христа рòспяли, святую кровь Его пролили, Мать Пречистая Богородица по Іисусу Христу сильно плакала, по своемъ

Сыну по возлюбленномъ; ронила слезы пречистыя на матушку на сырую землю. Отъ тѣхъ слезъ, отъ пречистыихъ, зарождалась Плакунъ-трава: потому Плакунъ-трава—травамъ мати!" По старинному повѣрью, это наибольшее въ царствѣ травъ быліе заставляетъ плакать бѣсовъ и вѣдьмъ. Народъ русскій совѣтуетъ искать-собирать ее на зорькѣ подъ Ивановъ день. Въ первомъ томѣ сахаровскихъ „Сказаній русскаго народа" приводится любопытный заговоръ, шепоткомъ произносившійся встарину въ церкви надъ вырванной съ корнемъ „Плакунъ-травою", для устрашенія нечистой силы. „Плакунъ, Плакунъ!"—гласитъ онъ: — „плакалъ ты долго и много, а выплакалъ мало. Не катись твои слезы по чисту полю, не разносись твой вой по синю морю! Будь ты страшенъ злымъ бѣсамъ, полубѣсамъ, старымъ вѣдьмамъ кіевскимъ! А не дадутъ тебѣ покорища, утопи ихъ въ слезахъ; а убѣгутъ отъ твоего позорища, замкни въ ямы преисподнія. Будь мое слово при тебѣ крѣпко и твердо. Вѣкъ вѣковъ!" По словамъ опытныхъ травовѣдовъ, въ цвѣтахъ и корнѣ Плакунъ-травы—главная ея мощь. Корень этой „всѣмъ травамъ матери" таитъ въ себѣ силу, охраняющую малодушныхъ людей отъ всякаго соблазна. Нѣкоторые относятъ имя „Плакунъ" къ Иванъ-чаю (epilobium angustifolium), другіе—къ луговому звѣробою (hipericum ascyron), третьи—къ дикимъ васильками (lithrum salicaria), именующимся также и дубникомъ, подбережникомъ, твердякомъ, кровавницею и вербойтравою. Въ первомъ случаѣ „Плакунъ" является цѣлебнымъ въ качествѣ „разбивающихъ припарокъ". Это цвѣтущее въ іюнѣ-іюлѣ растеніе весьма часто встрѣчается на лѣсныхъ опушкахъ, по горнымъ склонамъ и въ садахъ по лѣсистымъ мѣстностямъ. Во второмъ случаѣ—простонародныя лѣчейки приписываютъ ему раноцѣлительную силу, а также—„разводящую и противоглистную". Имъ-же лѣчатъ въ деревенской глуши чахотку—болѣзнь, зачастую ставящую втупикъ ученыхъ врачей. Деревенскіе знахари собираютъ его по заливнымъ лугамъ и лѣснымъ низинамъ, сушатъ и пользуютъ имъ—и въ видѣ порошковъ, и въ видѣ настойки (на винѣ, или на водѣ) отъ самыхъ разнородныхъ болѣзней,—при благопріятномъ исходѣ лѣченія приписывая главную силу своимъ наговорамъ-нашептываніямъ, а при несчастномъ — ссылаясь на то, что болящій-де слѣдовалъ врачебнымъ указаніямъ безъ вѣры въ ихъ силу. Въ одномъ старинномъ лѣчебникѣ, изданномъ въ началѣ XIX-аго столѣтія и составленномъ по народнымъ средствамъ въ связи съ научной оцѣнкою ихъ, подавались тѣ или другіе совѣты, и въ заключеніе—съ про-

стодушной откровенностью—говорилось: „если не поможетъ, похорони съ честію“. Наши простонародные знахари могли-бы сказать то-же самое, если-бы отъ нихъ потребовали объясненія перенятой отъ прадѣдовъ словесной науки врачеванія. Дикіе васильки („Плакунъ“) даютъ, по увѣренію не только знахарей, но и настоящихъ врачей, помощь при лѣченіи желтухи. Настоянная на ихъ цвѣтахъ вода—одно изъ средствъ противъ глазныхъ болѣзней вообще, а слезоточенія—наособицу. Во всѣхъ случаяхъ „трава всѣмъ травамъ мати“ (за то, или другое растеніе принимать ее) является доброю травой, подающею людямъ помогу немалую,—недаромъ народная молвь крылатая и говоритъ, что зародилась она впервые на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ изъ пречистыхъ слезъ Богоматери, пролитыхъ Приснодѣвою по Ея возлюбленномъ Сынѣ, принесшемъ темному міру Свѣтъ спасенія.

Народъ нашъ до того привыкъ видѣть въ своихъ знахаряхъ опасныхъ, знающихся съ темной силою, людей, что всякій собиратель травъ еще недавно казался ему чародѣемъ, злоумышляющимъ на жизнь человѣческую. Даже въ самомъ словѣ „о т р а в а“ слышится этотъ угрюмый взглядъ его на травознаевъ. Лѣченіе травами, мало-по-малу заходящее въ настоящее время изъ народной Руси въ русскую врачебную науку, въ стародавніе годы считалось явнымъ волхвованіемъ и по-временамъ преслѣдовалось—какъ несогласное съ христіанскимъ благочестіемъ дѣло. Для него въ древнерусскомъ законѣ было даже свое имя—„зелейничество“. Зелейщики (собиратели травъ), дѣйствительно, зачастую злоупотребляли своими знаніями и, пользуясь простодушнымъ суевѣріемъ народа, прикидывались заправскими колдунами, перенявшими свою „науку“ отъ „нездѣшней силы“. Самая обстановка, въ которой приходилось имъ встрѣчаться съ другими, не знающими „словъ“, людьми, придавала имъ въ глазахъ послѣднихъ такое обаяніе, что тѣ невольно поддавались чарамъ, основаннымъ не на какомъ-либо особомъ знаніи, а просто на темнотѣ народной. Измѣнялись условія жизни, одни понятія смѣнялись другими; но суевѣріе, отступая передъ истиннымъ знаніемъ, не хотѣло окончательно сдаваться: оно уходило все глубже и дальше въ народную среду, гдѣ живо и теперь.

Въ былые годы находились люди, которые считали возможнымъ придавать по желанію—травамъ ту или другую силу. Эта способность приписывалась колдунамъ-зелейщикамъ. Наговорное слово послѣднихъ могло напускать черезъ посредство совершенно безвредныхъ травъ даже моровыя повѣтрія.

Этому мнѣнію придавалось столь важное значеніе, что съ нимъ находили нужнымъ считаться даже власти. Такъ, у Костомарова есть упоминаніе о томъ, что въ 1632-мъ году, во время войны съ Литвою, запрещено было ввозить въ предѣлы Московскаго государства хмѣль. Причина запрещенія коренилась въ томъ, что лазутчики донесли, что „какая-то баба-вѣдунья наговариваетъ на хмѣль, чтобы тѣмъ хмѣлемъ, когда онъ будетъ ввезенъ въ Московію, произвести моровое повѣтріе". Народное суевѣріе приписывало колдунамъ-вѣдунамъ силу напускать всякія болѣзни—по большей части наговоромъ надъ травами и, въ особенности, надъ ихъ кореньями. Встарину существовали на Руси особые знатоки травяныхъ зелій и „лютаго коренья"; ходилъ у нихъ по рукамъ, въ спискахъ, „Травникъ", оберегавшійся пуще глаза и завѣщавшійся отцомъ сыну, дѣдомъ—внуку, если тотъ выказывалъ любознательность и склонность къ наслѣдованію знаній завѣщателя. И, дѣйствительно, ходилъ такой травознай по лугамъ, какъ въ насаженномъ собственными руками саду: всякой травѣ могъ указать онъ свое мѣсто, зналъ свойство каждой былинки. „Цѣлебна трава, если собирать ее з н а ю ч и!"—и теперь еще можно услышать въ народѣ. А въ старые годы смотрѣли на собирателей травъ, какъ на постигшихъ всю глубину премудрости, имѣвшихъ общеніе съ нездѣшней силою. Отношеніе къ нимъ властей было неодинаково: то подвергались они безпричинному суровому преслѣдованію, то были въ великомъ почетѣ. Во дни царя Іоанна IV-го достаточно было подкинуть къ кому-либо пучокъ невѣдомыхъ травъ, чтобы это служило противъ него уликою въ злоумышленіи, заслуживающемъ чуть-ли не смертной казни. Одновременно съ тѣмъ самъ Грозный неоднократно призывалъ къ себѣ завѣдомыхъ колдуновъ-зелейщиковъ, желая извѣдать судьбы грядущаго. Въ присягѣ царю Борису Ѳеодоровичу Годунову встрѣчается обѣщаніе: „въ ѣствѣ и въ питьѣ, и въ платьѣ, или въ иномъ въ чемъ (ему, государю) напасти не учиняти; людей своихъ съ вѣдовствомъ да и со всякимъ лихимъ кореньемъ не посылати". При царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ никто не имѣлъ права собирать какія бы то ни были травы—подъ страхомъ заключенія въ темницу. Царь Алексѣй Михайловичъ въ 1650-мъ году самъ приказывалъ высылать крестьянъ въ Купальскую ночь на поиски за „сереборинным цвѣтомъ, мятной травою, дягилемъ и другими цѣлебными травами". Есть свидѣтельства о томъ, что Тишайшій царь, двадцать пять лѣтъ спустя, передъ самою своей кончиною, отдавалъ наказъ сибирскимъ воеводамъ

разыскивать тамошнихъ знахарей-травовѣдовъ, пытать ихъ о свойствахъ травъ и высылать самыя травы на Москву. Этотъ наказъ былъ приведенъ въ исполненіе: нашелся знахарь, сообщившій черезъ воеводу цѣлый списокъ извѣстныхъ ему травъ. Такъ, изъ его сообщенія узнали на Руси: о травѣ „елкій"—пользительной при грыжѣ, о травѣ „колунъ"—помогавшей при трудныхъ родахъ, о „земляной свѣчкѣ"—исцѣлявшей запоры, о травѣ „пѣтушковы пальцы"—припарка сдѣланная изъ которой разгоняла желваки и всякія затвердѣнія. „Знаетъ онъ",—отписывалъ гораздо позднѣе одинъ изъ чиновниковъ начала нынѣшняго столѣтія, также допрашивавшихъ сибирскихъ знахарей,—„около Якутскаго масло, ростомъ кругло, что яблоко большое, ходитъ живо, а живетъ въ глухихъ и глубокихъ озерахъ. Будетъ какой человѣкъ боленъ нутряною красною грыжею или ломъ въ костяхъ, или мокрота будетъ нутряная, и сидѣти въ банѣ и послѣ того баннаго сидѣнья: сдѣлать составъ: часть того масла, бо́льшую часть нефти, часть скипидару, часть деревяннаго масла, да добыти полевыхъ кузнечиковъ зеленыхъ, что по травамъ скачутъ, да наловить коростеликовъ красныхъ, что летаютъ по полямъ, и тѣ статьи положить въ горячее вино, и дать стоять день одиннадцать или тринадцать; и послѣ того баннаго сидѣнья, велѣть того больнаго человѣка тѣмъ составомъ тереть по всему тѣлу, и велѣть быть въ теплой хороминѣ, пока тотъ составъ войдетъ; и дѣлать такъ не по одно время; и то масло ѣдятъ и пьютъ отъ многихъ нутряныхъ болѣзней". Не мало другихъ, подобныхъ приведенному, рецептовъ можно было-бы записать, со словъ и современныхъ намъ знахарей.

Лѣченіе травами, съ незапамятныхъ поръ входившее во врачебный обиходъ всѣхъ народовъ, велось въ крестьянской Руси всегда рука-объ-руку съ волхвованіемъ, пережитки котораго сохранились до нашихъ дней во многомъ-множествѣ заговоровъ, нашептываній, причетовъ и заклинаній, принимаемыхъ на вѣру всѣми прибѣгающими къ помощи знахарей—прямыхъ (хотя и отдаленныхъ) потомковъ древнерусскихъ волхитовъ-зелейщиковъ.

По старинному простонародному сказанію, происхожденіе котораго безслѣдно затерялось въ неизвѣданныхъ безднахъ прошлаго, жилъ-былъ на свѣтѣ первый знахарь. Съ малолѣтства прислушивался онъ къ шелесту травъ и говору листьевъ; былъ онъ надѣленъ способностью слышать даже шепотъ Матери-Сырой-Земли, которая, по народному слову, „ради насъ, своихъ дѣтей, зелій всякихъ породила и злакъ всякой на-

поила". Выстроилъ онъ себѣ на лѣсной полянкѣ келью, уединился отъ людей, всего себя отдавъ изученью цѣлебныхъ свойствъ растеній. Цѣлые дни бродилъ онъ по полямъ, лугамъ и лѣсамъ, внимая голосамъ матери-природы. Общеніе съ нею сдѣлало для него явными всѣ ея тайны, и сталъ онъ всевѣдущимъ волшебникомъ. Вѣсть объ его силѣ быстрѣе вѣтра буйнаго пролетѣла по всему свѣтлорусскому простору. Начали съѣжаться къ его бѣдной хижинѣ князи-бояре и богатые гости; шелъ къ нему и нищій-убогій. Никому не было отказа, всѣхъ провожалъ онъ отъ себя съ добрымъ совѣтомъ, каждому давалъ помогу, пускаючи въ дѣло только однѣ добрыя травы, созданныя на пользу страждущему люду. Дошла молва-слава о немъ и до палатъ царскихъ. Нерѣдкими гостями стали у бесѣдовавшаго съ природою знахаря и царскіе гонцы. Врачевалъ онъ всѣхъ и каждаго, но не бралъ ни съ кого никакой платы. Не дремалъ, однако, и діаволъ—врагъ рода человѣческаго, ходящаго по праведнымъ путямъ Божіимъ: взяла его зависть, сталъ онъ пускать по-вѣтру злыя слова, нашептывать черныя желанія, навѣвать лихія мысли доброму знахарю. „Въ твоихъ рукахъ такое могущество, какъ ни у кого на свѣтѣ!" — повелъ онъ къ нему обольстительныя рѣчи. — „Стоитъ тебѣ захотѣть, и всѣ люди, со всѣмъ богатствомъ, будутъ у тебя въ полной власти!" Нѣтъ, не прельщаютъ знахаря-отшельника ни богатство, ни власть,—попрежнему трудится онъ на пользу честному люду, не внимая злымъ навѣтамъ. А діаволъ—стоитъ на своемъ: то онъ кустомъ цвѣтущимъ обернется, приманитъ къ себѣ пытливый взоръ добраго цѣлителя, то змѣей ползучею переползетъ ему дорогу (и опять—со своимъ нашептомъ), то вѣщимъ ворономъ закаркаетъ надъ кровлею знахаревой хаты; бывало, что и красною дѣвицей-раскрасавицею обертывался лихой ворогъ всего добраго. А все не находилось такого соблазна, чтобы совратить отшельника со стези добра! Годы шли за годами; сѣдѣть началъ, сталъ старѣться добрый знахарь. Подкралась къ немусамому, общему цѣлителю, и безпомощная дряхлость. А діаволъ—попрежнему нѣтъ-нѣтъ да и примется за свою работу: „Хочешь, я научу тебя, какъ воротить молодость? Только покорись мнѣ—и ты узнаешь, какъ сдѣлаться вѣчно молодымъ и не страшиться смерти!" Сдѣлали свое злое дѣло слова-рѣчи діавольскія: не внималъ имъ молодой-сильный отшельникъ, внялъ—согбенный старецъ. Продалъ онъ свою свѣтлую-голубиную душу черному духу, низвергнутому Творцомъ съ небесъ за алчную-ненасытную гордыню. Воротилъ ему діаволъ прежнюю молодость, научилъ — кромѣ добрыхъ, насѣян-

ныхъ Богомъ, травъ—распознавать и злыя, возросшія изъ сѣмянъ, разбросанныхъ по-вѣтру рукою врага рода человѣческаго. Великъ соблазнъ для однажды поддавшихся ему: сталъ знахарь плодить своимъ знаніемъ не только добро, какъ въ былыя времена, а и зло,—не одну помогу оказывать людямъ, но и пагубу. Поселилась, свила гнѣздо въ его сердцѣ, лихая корысть. Радовался діаволъ, побѣдившій зломъ добро. А на небесахъ, „въ пресвѣтломъ раѣ“, плакалъ передъ престоломъ Божіимъ ангелъ-хранитель соблазнившагося отшельника, прося-моля взять у знахаря жизнь, покуда чаша созданнаго имъ зла еще не успѣла перетянуть почти полную чашу добра содѣяннаго. Не внималъ свѣтлому ангелу Господь во гнѣвѣ Своемъ, но умолила Его Заступница рода человѣческаго—Пречистая Дѣва: послалъ Онъ ангела смерти по душу къ совращенному праведнику. Провѣдалъ объ этомъ діаволъ, перебѣжалъ дорогу посланцу Господнему, напустилъ по его пути туманы мглистые, — опоздалъ прибыть къ знахарю ангелъ: переступилъ онъ порогъ жилища его, какъ-разъ когда перетянула чаша зла на вѣсахъ небеснаго правосудія. Пахнуло дуновеніемъ смерти на грѣшника, купившаго у діавола безсмертіе; отошла жизнь отъ тѣла его,—какъ ни заклиналъ онъ ее. И вотъ—на пути между раемъ небеснымъ и бездонною преисподней—преградилъ ангелу смерти дорогу діаволъ, предъявившій свои права на душу знахаря. Отлетѣлъ отъ него ангелъ, и принялъ соблазнитель въ свои черныя объятія жертву лихихъ козней противъ свѣтлой Истины. До сихъ поръ клокочетъ въ аду котелъ смолы кипучей, вплоть до нашихъ дней кипитъ въ этой насыщенной злыми травами смолѣ первый знахарь, продавшій душу діаволу. Сдержалъ обѣщаніе отецъ лжи: не старѣется кипящій въ котлѣ грѣшникъ, и нѣтъ ему покоя смерти, хотя нѣтъ его и среди живыхъ. Только разъ въ году—на Свѣтло-Христово-Воскресеніе, когда разрѣшаются узы ада и двери райскія отворяются, невидимкою пробирается онъ на бѣлый свѣтъ. Вплоть до свята-Вознесеньева дня ходитъ онъ по лѣсамъ, по степямъ, посреди знакомыхъ травъ. Злыя и добрыя—узнаютъ онѣ его, привѣтствуютъ по старому, шепчутъ ему каждая о своей силѣ. Горькой укоризною отзывается ему ихъ вѣщій шепотъ. Въ это-же время выходятъ на его стезю и многіе другіе, одаренные прозорливо-чуткимъ слухомъ люди: прислушиваются къ голосамъ травъ. Не видятъ они перваго знахаря, но сила его знаній передается по частямъ то одному, то другому изъ нихъ: иной внимаетъ злымъ, иной—добрымъ травамъ, — что кому дано. Такъ будетъ до послѣдняго дня міра,— гласитъ

стародавнее сказаніе. Въ этотъ „послѣдній день“ простятся-отпустятся прегрѣшенія первому знахарю на Святой Руси, если только не перетянетъ чаша новаго зла, содѣяннаго всѣми его послѣдователями.—„Какъ обглядишься вокругъ да около жизни, такъ и увидишь, что не бывать прощеннымъ великому грѣшнику: столько всякаго зла расплодилось на свѣтѣ!“ —выводятъ свое заключеніе сказатели, но тутъ-же не одинъ изъ нихъ оговаривается: „Всякое бываетъ! Нѣтъ границъ милосердію Господню, неисповѣдимы судьбы правосудія Божія! Уготовано мѣсто въ райскихъ садахъ пресвѣтлыхъ и для грѣшниковъ, искупившихъ первородный грѣхъ мукой геенскою!“ На томъ и сказу про перваго знахаря—конецъ. А отъ этого знахаря пошла по бѣлому свѣту, прижилась въ народной Руси, вся ихъ, знахарская, порода. Отъ поколѣнія поколѣнію передаются вѣщія „слова“. Знающіе ихъ пользуются и до сихъ поръ немалой славою въ суевѣрной посельщинѣ-деревеньщинѣ, съ великимъ трудомъ открещивающейся отъ знахарскаго лихого навожденія. До сихъ поръ не можетъ она—въ своей простотѣ — зачураться отъ „порчи“, напускаемой на безпомощную во многихъ случаяхъ, мятущуюся въ своей темнотѣ душу жаждущаго свѣта пахаря. Оттого-то съ невольнымъ чувствомъ страха и сторонится сѣрый мужикъ-простота, ломая шапку, передъ всякимъ вѣдуномъ-знахаремъ. „Есть изъ ихъ братьи и добрые, да и злыхъ не оберешься! Не распознать ихъ нрава-обычая!“—думается ему. „Траву отъ травы отличишь, а въ человѣчью душу не влѣзешь! Нѣтъ на ней никакой такой отмѣтины: злая она, или добрая!“

Рукописные памятники русскаго народнаго чернокнижія, дошедшіе до нашихъ дней на страницахъ печатныхъ трудовъ пытливыхъ народовѣдовъ-собирателей, сохранили отъ забвенія любопытный „Чародѣйный травникъ“. Кромѣ прославленной каликами-перехожими „всѣмъ травамъ матери“, особеннымъ вниманіемъ русскихъ чернокнижниковъ,—если можно такъ наименовать нашихъ вѣдуновъ-зелейщиковъ,—пользовались, судя по свидѣтельству назвавнаго сборника, слѣдующія восемь травъ: трава-колюка, Адамова голова, трава-прикрышъ, сонъ-трава, кочедыжникъ, трава-тирличъ, разрывъ-трава и нечуй-вѣтеръ. Каждой изъ нихъ приписываются только ей-одной присущія качества. Такъ, первая обладаетъ силою придавать необычайную мѣткость ружью. Если его окурить этой травою,—ни одной птицѣ не улетѣть изъ-подъ выстрѣла, не заговорить послѣ того ружье никакому чародѣю-кудеснику. Потому-то „колюка“ и живетъ въ великомъ почетѣ у стрѣлковъ-охотниковъ. Собирать эту траву совѣ-

туетъ „Травникъ“ въ Петровки (и неиначе, какъ—по вечерней росѣ), а хранить-беречь ее—въ коровьихъ пузыряхъ; нетò потеряется добрая половина ея чародѣйной силы. „Адамова голова“—тоже зелье стрѣлковъ-ловцовъ; время сбора ея—Ивановъ день, окуриванія снарядовъ охотничьихъ—Великій четвергъ. Беречь ее надо въ укромномъ уголкѣ, скрытно ото всѣхъ. Лучше всего дѣйствуетъ она при охотѣ на дикихъ утокъ. „Прикрышъ“, по вѣщему слову сѣдой старины, пользителенъ противъ наговоровъ на свадьбы. Когда невѣсту приведутъ отъ вѣнца въ жениховъ домъ, знахарь, приглашенный заботливыми большаками, забѣгаетъ впередъ и кладетъ эту траву подъ порогъ. Молодуху предупреждаютъ заранѣе, чтобы она, при входѣ въ свое новое жилье, перепрыгнула черезъ порогъ. Если-же все обойдется честь-честью, по положенію,—то жизнь молодухи будетъ идти въ мужниной семьѣ мирно-счастливо, а если на чью голову и обрушится злое лихо, такъ это—на тѣхъ, кто умышлялъ противъ счастья молодожоновъ. Собираютъ прикрышъ-траву въ осеннее время—съ Успеньева дня до Покрова-зазимья, покрывающаго землю снѣгомъ, а дѣвичью красоту брачнымъ вѣнцомъ. Дѣйствіе „сонъ-травы“, какъ показываетъ и самое названіе ея, приурочивается къ сновидѣніямъ. Она обладаетъ силою предсказывать спящимъ какъ доброе, такъ и злое. Красныя дѣвушки кладутъ на Святки эту траву подъ изголовье. Счастье представляется во снѣ либо молодой дѣвушкою, либо добрымъ молодчикомъ, бѣда—дряхлой старухою съ горбомъ за спиною, съ клюкой въ рукѣ, съ развѣвающимися по-вѣтру космами сѣдыхъ волосъ, точь-въ-точь—бабой-ягою. Цвѣтетъ сонъ-трава въ тяжеломъ да веселомъ май-мѣсяцѣ—желтыми да голубыми-бирюзовыми цвѣточками; собирать ее положено не простыми руками, а съ особыми причетами-наговорами. Узнаютъ ее, опускаючи въ холодную воду ключевую: вынуть въ полнолунье—зашевелится. „Кочедыжникъ“—тоже, что и папоротникъ, цвѣтущій только одну ночь—подъ Ивана-Купалу. Незнающему особыхъ „словъ“ человѣку—не увидѣть его цвѣта. Чудодѣйную силу приписываютъ въ народѣ этому-послѣднему, зовуть-величаютъ его „златоогненнымъ цвѣтомъ“ („жаръ цвѣтомъ“), посвящаютъ древнеязыческому Свѣтлояру, окружаютъ мѣсто его цвѣтенія цѣлымъ сонмомъ нежити: лѣшими, вѣдьмами, оборотнями разными. Кому выпадетъ счастье сорвать да унести изъ лѣсной трущобы хоть одинъ цвѣтикъ такой, — золото въ карманы само посыплется, полѣзетъ въ хату всякая удача. Да что-то не слышно о такихъ счастливцахъ. „Кто и сорветъ жаръ-цвѣтъ,—такъ изъ лѣсу

не выйдетъ,—закружитъ его, заводитъ нечистая сила!"—говорятъ старые люди, придерживающіеся дѣдовскихъ повѣрій. Въ „Чародѣйномъ травникѣ" приводится цѣлый сказъ объ этой дивной травѣ. „Въ глухую полночь изъ куста широколистнаго папоротника показывается цвѣточная почка",—гласитъ онъ.—„Она то движется впередъ и взадъ, то заколышется какъ рѣчная волна, то запрыгаетъ какъ живая птичка". Это—старается оберечь свою дорогую траву лѣсная нежить отъ взора людского прозорливаго. Что ни мигъ—то выше поднимается чудодѣйный цвѣтъ,—расцвѣтетъ—угольуглемъ пылаетъ-свѣтится. Въ самую полночь лопается цвѣточная почка, лопнетъ—свѣтъ изъ себя такой разольетъ вокругъ да около, что—ровно бѣлый день загорится красной зарею. И въ то-же мгновеніе обрываетъ златоогненный цвѣтъ нечистая сила. Старинное русское чернокнижіе гласитъ, что кто хочетъ добыть жаръ-цвѣтъ, тому нужно съ вечера, сейчасъ-же послѣ зорьки, придти въ лѣсную чащу, найти заросшее кочедыжникомъ-папоротникомъ мѣсто, обвести кругъ, зачураться и ждать въ немъ—на самой срединѣ—полуночи. Ни оглядываться, ни откликаться не долженъ онъ,—хотя-бы и слышались бокъ-о-бокъ знакомые голоса: обернется-оглянется невзначай,—тутъ ему или смертный часъ придетъ отъ навожденія лукаваго, отъ козней силы нездѣшней, или же останется онъ живъ, да дуракъ-дуракомъ на всю жизнь будетъ,—навѣки одурманитъ неосторожнаго пододонная нежить, собирающаяся въ лѣсной глуши подъ Ивана-Купалу. Великъ соблазнъ! Только одни чародѣи и ухитряются овладѣть цвѣткомъ кочедыжника; даетъ онъ имъ силу-власть даже надъ нечистью-нежитью, отводящей глаза людямъ; взору ихъ придаетъ онъ способность видѣть и подъ землей, и подъ водою; въ рукахъ съ нимъ—могутъ они дѣлаться невидимыми безъ шапки-невидимки; клады сокровенные открываются передъ ихъ словомъ властнымъ,—стоитъ только подбросить имъ цвѣтокъ кверху: если есть гдѣ кладъ, засверкаетъ цвѣтъ звѣздою и упадетъ какъ-разъ на сокровища.

Въ Симбирскѣ записана Д. Н. Садовниковымъ любопытная сказка про „Ивановъ цвѣтъ" (цвѣтъ папоротника). Одинъ парень пошелъ его искать на Ивана на Купалу,—ведетъ свою рѣчь эта сказка.—Скралъ (онъ) гдѣ-то Евангеліе, взялъ простыню и пришелъ въ лѣсъ на поляну. Три круга очертилъ, разостлалъ простыню, прочелъ молитвы, и ровно въ полночь расцвѣлъ папоротникъ, какъ звѣздочки, и стали эти цвѣтки на простыню падать. Онъ поднялъ ихъ и завязалъ въ узелъ, а самъ читаетъ молитвы. Только—„отку-

да ни возьмись медвѣдь, начальство, буря поднялась"... Парень все не выпускаетъ, читаетъ себѣ знай. Потомъ видитъ: разсвѣтало и солнце взошло, онъ всталъ и пошелъ. Шелъ-шелъ, а узелокъ въ рукѣ держитъ. Вдругъ слышитъ—позади кто-то ѣдетъ; оглянулся, катитъ въ красной рубахѣ, прямо на него; налетѣлъ, да какъ ударитъ со всего маху—онъ и выронилъ узелокъ. Смотритъ—опять ночь, какъ была, и нѣтъ у него ничего... На этомъ сказка и кончается.

Въ ту-же, Иванову, ночь предписывалось чернокнижіемъ выходить на Лысую гору для сбора „тирличъ-травы". Это—зелье оборотней, пуще глаза оберегаемое дотошными вѣдунами-знахарями. Существовавшее встарину повѣрье гласило, что, если сокомъ тирличъ-травы натереть подмышки, то можно обернуться во всякаго звѣря. Ни одной вѣдьмѣ, по словамъ старыхъ людей, не обойтись безъ этого снадобья. „Разрывъ-травы" никакъ не добудешь, если загодя передъ тѣмъ не запасешься либо цвѣтомъ кочедыжника, либо корнемъ Плакунъ-травы, выкопаннымъ голыми руками. У кого есть разрывъ-трава,—нипочемъ тому всѣ замки-запоры: разрываются на мелкіе кусочки отъ одного ея прикосновенія и желѣзо, и сталь, и золото, и серебро, и мѣдь. По тюрьмамъ по острогамъ то-и-дѣло ведется рѣчь объ этой травѣ, неразгаданная сила которой можетъ разбивать оковы-кандалы желѣзные, безъ пилы пилить рѣшотки чугунныя. Приложить ее къ замку,—самъ отомкнется. Кладоискатели обиваютъ пороги у вѣдуновъ, прося добыть-дать имъ этой травки: разрываетъ-разрушаетъ-де она тѣ двери желѣзныя, за которыми хоронятся клады, спрятанные встарину разбойничьими атаманами. Трава „нечуй-вѣтеръ"—невиданное простыми добрыми людьми зелье. Растетъ она, по словамъ „Чародѣйнаго травника", въ зимнюю пору, по озернымъ да рѣчнымъ берегамъ. Ночь-полнóчь подъ Новый Годъ—урочное время сбора этой травы. Нечисть-нéжить, разгуливающая-бродящая объ эту пору пò свѣту бѣлому, разбрасываетъ нечуй-вѣтеръ по своей дорогѣ. Кому попадется она въ руки—можетъ останавливать вѣтры буйные, можетъ и рыбу ловить безъ неводовъ. Да вся бѣда въ томъ, что дается-то эта чудодѣйная трава однимъ слѣпцамъ. Они только и могутъ зачуять близость ея: наступятъ на нее,—какъ иголками начнетъ колоть глаза незрячіе. Многое-множество другихъ зелій-травъ вѣдомо было знахарямъ. Не послѣднее мѣсто занимали среди нихъ приворотныя зелья—порошки да корни травяные. Чудѣйные коренья до нашихъ дней не вывелись изъ суевѣрнаго обихода народной Руси, непоколебимо вѣрящей въ ихъ силу. Стародавнія сказанія упо-

минаютъ про корень-„обратимъ“, дававшійся колдуньями молодымъ молодушкамъ да дѣвицамъ-красавицамъ—для приворота любовнаго. Этотъ корень надо класть на зеркало и пристально, не сводя глазъ, смотрѣть на него, приговариваючи: „Какъ смотрю я, раба (имя рекъ), не насмотрюсь, такъ и рабъ Божій (имя рекъ) на меня бы да не насматривался!“ Травы „кукоосъ“ и „одоенъ“ были надѣлены въ сказаньяхъ той-же силою. Про первую въ таковыхъ словахъ говоритъ сѣдая старина: „Въ ней корень на-двое—одинъ мужичокъ, а другая—женочка, мужичекъ бѣленекъ, а женочка смугла... Когда мужъ жены не любитъ, дай ему женской испить въ винѣ, и съ этой травы любить станетъ!“ Объ одоенъ-травѣ говорится на иной ладъ: „Кто тебя не любитъ, то дай пить,—не можетъ отъ тебя до смерти отстать; а когда пастухъ хочетъ стадо пасти, и чтобы у него скотъ не расходился—держать при себѣ, то не будетъ расходиться; похочешь звѣрей пріучить,—дай ѣсть, то скоро пріучишь!“ Въ изслѣдованіи Ѳ. И. Буслаева о народной поэзіи приводится повѣрье о травѣ „симтаринъ“, также являвшейся однимъ изъ приворотныхъ зелій. Симтаринъ—четверолистникъ: „первый синь, другой червленъ, третій желтъ, а четвертый багровъ“... Урочное время для сбора и этой невиданной травы—все та-же Иванова ночь, съ ея сборищами-шабашами нечистой силы. „А подъ корнемъ той травы человѣкъ“,—гласитъ преданіе,—„и трава та выросла у него изъ ребръ“. Далѣе слѣдуетъ указаніе, какъ быть и что дѣлать съ этою находкой: „Возьми человѣка того, разрѣжь ему перси, вынь сердце. Если кому дать сердце того человѣка, изгаснетъ по тебѣ... Если которая жена мужу не вѣрна или мужъ женѣ—стерши мизиннымъ перстомъ, дай пить...“ Въ изслѣдованіи того-же знаменитаго ученаго записаны такія слова о травѣ „полотая-нива“: „Надо кинуть золотую или серебряную деньгу, а чтобъ желѣзнаго у тебя ничего не было; а какъ будешь рвать ее, и ты пади на колѣно да читай молитвы, да, стоя на колѣнѣ, хватать траву ту, обвертѣвъ ее въ тафту, въ червчатую, или бѣлую, и беречь ту траву отъ мерзскаго часа...“ Объ этой травѣ существуетъ повѣрье, гласящее, что она помогаетъ на судѣ и въ бою. Не малая слава шла про „девясилъ“ (девятисилъ, дивосилъ)-траву, таившую въ себѣ средство отъ болѣзней сердца, а потому въ иныхъ мѣстностяхъ прямо и прозывавшуюся „сердечною“. Помогала она, по словамъ старыхъ людей, и отъ ранъ. Но еще больше возвеличивала суевѣрная молва „излюдинъ-траву“, ростущую по старымъ росчистямъ: „кто тое траву ѣстъ, и тотъ человѣкъ живущъ, никакая скорби

не узритъ тѣлу и сердцу",—гласитъ о ней съ обветшалыхъ страницъ памятниковъ кудесничества вѣщее слово. „Кудрявый купырь" считался лучшимъ противоядіемъ и даже могъ предохранять отъ будущей отравы, если съѣсть этой травы натощакъ. Была въ употребленіи у знахарей-зелейщиковъ и трава „Петровъ-крестъ", которую брали въ дорогу—въ предохраненіе „отъ всякія напасти". Трава „осотъ" была въ большомъ ходу у торговыхъ людей. „Хочешь богато быть, носи на себѣ; гдѣ ни поѣдешь, и во всякихъ промыслахъ Богъ поможетъ, а въ людяхъ честно вознесешися!"—замѣчали о ней старинные травовѣды-корнезнаи. „Попутникъ" (подорожникъ) вывѣшивался пучками во дворѣ—для отогнанія всякихъ гадовъ. „Прострѣлъ-трава", „переносъ-трава" и „укрой-трава" дополняли списокъ вѣдомыхъ колдунамъ травяныхъ зелій. О второй изъ названныхъ травъ существовало такое повѣрье, что—если положить въ ротъ вынутое изъ нея „сердечко" да пойти въ воду,—„вода разступится и пройдешь ты по морю—какъ по́-суху". Первая и третья считались наособицу добрыми травами: ими пользовали деревенскія лѣчейки—„отъ порчи" (кликушества), насылаемой на человѣка лихими людьми,—то вынимающими его слѣдъ, то подкидывающими ему на дорогу заговоренныя-заклятыя „на болѣсть" вещи. „Одолень-трава" считалась отгоняющей отъ путника всякое зло. Выѣзжая-выходя въ путь-дорогу, отчитывались суевѣрные люди особымъ заговоромъ, зашивая эту траву въ ладонку и вѣшая ее на крестъ-тѣльникъ.—„Ѣду я изъ поля въ поле, въ зеленые луга, въ дальніи мѣста, по утреннимъ и вечернимъ зорямъ; умываюсь медвяною росою, утираюсь солнцемъ, облекаюсь облаками, опоясываюсь частыми звѣздами!"—начинается это заговорное слово.—„Ѣду я во чистомъ полѣ, а въ чистомъ полѣ ростетъ одолень-трава..."—продолжаетъ оно свой вѣщій причетъ: „Одолень-трава! Не я тебя поливалъ, не я тебя породилъ, породила тебя Сыра-Мать-Земля, поливали тебя дѣвки простоволосыя, бабы-самокрутки. Одолень-трава! Одолѣй ты злыхъ людей: лихо бы на насъ не думали, сквернаго не мыслили. Отгони ты чародѣя, ябедника. Одолень-трава! Одолѣй мнѣ горы высокія, долы низкіе, озеры синія, берега крутые, лѣса темные, пеньки и колоды. Иду я съ тобою, одолень-трава, къ окіянъ-морю, къ рѣкѣ Іордану, а въ окіянъ-морѣ, въ рѣкѣ Іорданѣ, лежитъ бѣлъ-горючъ камень алатырь. Какъ онъ крѣпко лежитъ предо мною,—такъ-бы у злыхъ людей языкъ не поворотился, руки не подымались, а лежать-бы имъ крѣпко, какъ лежитъ бѣлъ-горючъ камень алатырь! Спрячу

я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца, во всемъ пути и во всей дороженькѣ!“.

Благочестивый крещоный людъ православный, живучи изъ-вѣка въ-вѣкъ о-бокъ съ пережитками языческаго суевѣрія, отдалъ еще въ стародавніе годы всѣ цѣлебныя, добрыя, травы подъ святое покровительство великомученику Пантелеймону, посвятившему свою жизнь безкорыстному врачеванію во имя Христово и пострадавшему за исповѣданіе вѣры во времена императора Максиміана [92]). „Пантелей-цѣлитель“ считается Православною Церковью скорымъ помощникомъ врачевателей. Народная Русь представляетъ его расхаживающимъ среди травъ и собирающимъ на помогу страждущимъ-болящимъ цѣлебныя зелія. Богобоязненныя старушки-лѣчейки не приступаютъ къ своему привычному дѣлу безъ молитвы, обращенной къ этому угоднику Божію. Не мало молебновъ о выздоровленіи служится-поется по деревнямъ-селамъ святому Пантелеймону. Двадцать седьмой іюльскій день, память Пантелѣя-цѣлителя,—праздникъ всѣхъ лѣкарей-врачевателей. Въ старые годы этотъ праздникъ ознаменовывался въ нашемъ народѣ многочисленными приношеніями во храмъ Божій, къ образу великомученика. Кто чѣмъ богатъ,—каждый несъ отъ своего усердія: кто холстину, кто денегъ алтынъ, кто мѣрку жита, кто яицъ пятокъ-десятокъ,—и все это собиралось причтомъ церковнымъ въ свою пользу. По большей части приношенія были—отъ выздоровѣвшихъ по молитвѣ къ заступнику врачующихъ и врачуемыхъ.

Пѣсня—этотъ живой откликъ стихійнаго сердца народнаго—не обошла у насъ молчаніемъ какъ добрыхъ, такъ и злыхъ травъ. Первыя величаетъ она „травушкой-муравушкою“, „муравóй духовитою“, „травой шелкóвою“ и другими ласковыми именами очестливыми. Ходятъ въ русскихъ пѣсняхъ красны-дѣвушки, по травушкѣ похаживаютъ, „черно-

---

[92]) Максиміанъ—императоръ римскій (Маркъ-Аврелій-Валерій, прозванный Геркулiемъ, былъ родомъ изъ Паннонiи (изъ Сирмiума) и происходилъ изъ простыхъ солдатъ. Онъ вступилъ на престолъ—послѣ оказанныхъ Риму военныхъ услугъ—въ 285-мъ году по Р. Хр. Когда произошелъ раздѣлъ Римской имперiи, на его долю достались Африка, Испанiя, Галлiя и Италiя (остальныя земли достались Діоклетіану). Столицей своею онъ сдѣлалъ Миланъ. Онъ велъ удачную борьбу съ германскими племенами и построилъ цѣлый рядъ крѣпостей по Рейну. Въ его царствованіе продолжалось гоненіе на христіанъ. Въ 305-мъ году онъ отказался отъ престола, но въ 306-мъ снова овладѣлъ имъ: затѣмъ—передалъ власть сыну своему Максенцію (царств. съ 306 по 312 г.г.), разсорился съ нимъ и въ третій разъ провозгласилъ себя императоромъ въ 308 г.г. но попался въ плѣнъ, возставъ противъ своего зятя Константина. Жизнь свою онъ окончилъ самоубійствомъ—въ 310-мъ году.

былъ-траву заламываютъ", съ подорожничкомъ-травкой „таки рѣчи поговариваютъ", а то и такую горькую жалобу на мила-дружка изливаютъ, какъ: „Ты трава-ль моя, ты шелковая, ты весной росла, лѣтомъ выросла. Подъ осень травка засыхать стала, про мила-дружка забывать стала. Милъ сушилъ-крушилъ, сердце высушилъ, онъ и свелъ меня съ умаразума!". Иногда къ травѣ обращается страдающая отъ измѣны чуткая женская душа, присутствіе какой чувствуется хотя-бы въ слѣдующей пѣснѣ:

„Полынька, полынька,
Травонька горькая!
Не я тя садила,
Не я сѣяла.
Сама ты, злодѣйка,
Уродилася,
По зеленому садочку,
Разстелилася,
Заняла, злодѣйка,
Въ саду мѣстечко—
Мѣсто доброе
Хлѣбородное!"...

Свѣтитъ свѣтѣлъ-мѣсяцъ,—по дальнѣйшимъ словамъ пѣсни,—озаряетъ дорожку милому: „въ самый крайній домъ, ко чужой женѣ". Отворяетъ чужая жена окошечко „помалешеньку", начинаетъ рѣчи съ милымъ вести „потихошеньку" и т. д. Существуютъ и пѣсни про „лютые коренья", про „лихія травы". Одна изъ нихъ—про красную дѣвицу, отравляющую невѣрнаго друга милаго—повторяется въ десяткахъ разнопѣвовъ. Поется она и въ Тульской, и въ Тверской, и въ Костромской губерніяхъ. Записывалась она и въ Вологодской, и въ Рязанской, и на старой Смоленщинѣ. Слыхивали ее и въ среднемъ (нижегородско-самарскомъ) Поволжьѣ. „Разгуляюсь я, младенька, въ чистомъ полѣ далеко",—запѣвается одинъ разнопѣвъ ея,—„я разрою сыру землю въ темномъ лѣсѣ глубоко, накопаю зла-коренья и на рѣченьку пойду, я намою зло-коренье разбѣлешенько, изсушу я зло-коренье разсухошенько, истолку я зло-коренье размелькошенько"... И вотъ,—продолжается пѣсня: „наварила зла-коренья, дружка въ гости позвала: — Ты покушай, моя радость, стряпатинья моего!—Угостивши любезнова, я спросила у него:—Каково, дружокъ любезный, у тебя на животѣ?—У меня на животѣ точно камешекъ лежитъ; ретиво мое сердечко во всѣ стороны щемитъ!.." Пѣсня кончается словами:

И скончался мой любезный
На утряной на зарѣ.
Отвозила любезнова
Я на утряной зарѣ;
Отвозила любезнова
Въ чисто поле далеко,
Я зарыла любезнова
Въ сыру землю глубоко"...

Въ одномъ разносказѣ сестра отравляетъ брата; въ другомъ хотѣвшая свести со-свѣту врага-„супостателя" дѣвица-красавица невзначай „опоила дружка милаго"—который и завѣщаетъ ей проводить его во поле чистое, схоронить при дороженькѣ, „въ зголовахъ поставить колоколенку", а „во ногахъ—часовенку"... Иногда мѣсто погребенія опредѣляется точнѣе. „Ты положь-ка мое тѣло между трехъ большихъ дорогъ",—говоритъ отравленный: „между питерской, московской, между кіевской большой...".

Въ народныхъ пословицахъ, поговоркахъ, прибауткахъ и присловьяхъ трава является воплощеніемъ чего-то ненадежнаго. „Держись за землю",—изрекла тысячелѣтняя мудрость народа-пахаря,—„трава обманетъ!" Видитъ краснословъ-простота о-бокъ съ собою живущихъ ложью и ото лжи погибающихъ людей,—„Худая трава изъ поля вонъ!"—срывается у него съ языка. „Худая молва—злая трава, а траву и скосить можно!"—утѣшается онъ порою, слыша облыжное слово. „Отвяжись, худая трава!"—выкрикиваетъ обиженный обидчику, или немилая жена—мужу постылому. „Гдѣ трава росла—тамъ и будетъ!" — приговариваетъ посельщина о неотступномъ человѣкѣ, навязавшемся къ кому-либо на шею.

Всякія травы знаютъ опытные вѣдуны-знахари, но—по словамъ народа—„Нѣтъ такихъ травъ, чтобы узнать чужой нравъ!" Слышитъ бѣднякъ-горюнъ обѣщанье помóги, а въ душѣ-то у него невольно пробуждается вѣщее слово прозорливой старины: „Пока травка подростетъ, много воды утечетъ!" О самонадѣянной, любящей похвастаться молодежи народъ отзывается коротко, но ясно: „Зелена трава!" („Молодо—зелено!"—по иному разносказу). „Всякая могила травой поростетъ!"—въ раздумьи повторяетъ народная Русь, иносказательно напоминая о томъ, что все въ этомъ бренномъ мірѣ—тлѣнъ и суета, все рано или поздно становится жертвою забвенія—и злое, и доброе.

LIX.

Богатство и бѣдность.

Богатство, по народному опредѣленію, прежде всего—благословеніе Божіе; бѣдность—воплощеніе лихой бѣды-напасти. Объ этомъ явно свидѣтельствуетъ и самое словопроизводство, вполнѣ согласующееся съ безхитростной мудростью народа-пахаря. Богъ,—гласитъ „Лексиконъ славенорусскій, составленный всечестнымъ отцомъ Киръ Памвою Берындою“ (въ XVII стол.),—„всебогатый, всѣхъ обогачующій (по любомудрцѣхъ внѣшнихъ—умъ, по богословцѣхъ же—духъ)“. Потому-то со словомъ богатство и связывается представленіе о богоданной силѣ, а со словомъ бѣдность—убожество и горе. Одно понятіе является полной противоположностью другого.

Въ зеркалѣ простонароднаго слова и богатство, и бѣдность отразились во всей своей яркости и разносторонности, зачастую даже какъ-бы противорѣчащихъ прямому ихъ опредѣленію. Что слово—то картина, что присловье —то новый образъ. „Не тотъ человѣкъ въ богатствѣ, что въ нищетѣ!“—красной нитью проходитъ мысль черезъ всѣ эти картины-образы, созданные могучею русской рѣчью, окрыленной творческимъ воображеніемъ. Но и богатство не ко всякому человѣку одинаково подходитъ: къ одному такъ, къ другому—этакъ. „Не съ богатствомъ жить—съ человѣкомъ!“—вылетѣло изъ народной стихійной души крылатое слово, подсказанное чуткимъ сердцемъ прозорливца-народа, сознающагося, что хотя въ довольствѣ-сытости и пригляднѣе живется, но „не въ деньгахъ счастье“, а въ добромъ согласіи. „Богатство—вода, пришла и ушла!“—нашептываетъ народу-сказателю долголѣтній опытъ старыхъ, перешедшихъ поле жизни,

людей. „Глупому сыну не въ помощь богатство!“, „Ни конь безъ узды, ни богатство—безъ ума!“—продолжаетъ онъ свой умудренный вѣками наслѣдственной передачи отъ поколѣній къ поколѣнію сказъ; но тутъ-же, не смущаясь, готовъ повторить и такія поговорки совершенно противорѣчиваго свойства, какъ, напримѣръ, „Богатство—ума дастъ!“, „Богатый—ума купитъ; убогій и свой продалъ-бы, да ни ломанаго гроша не дадутъ!“ и т. д.

Бѣдность, по мѣткому слову свыкшагося съ нею пахаря, не только плачетъ, но и „скачетъ, пляшетъ, пѣсенки поетъ“. Не иначе, какъ она-же—и въ горѣ не горюющая—сложила про богатство такія крылатыя слова красныя, какъ: „Богатымъ быть трудно, а сытымъ немудрено!“, „Въ аду не быть—богатства не нажить!“, „Мужикъ богатый—что быкъ рогатый!“ „У богатаго чортъ дѣтей качаетъ!“, „Богачу чортъ деньги копитъ!“, „Богатому не спится, все вора боится!“, „Голенькій (бѣденькій) охъ, а за голенькимъ Богъ!“ и т. п. Множество поговорокъ-пословицъ и прибаутковъ обрисовываетъ бѣдность не въ такомъ сумрачномъ-угрюмомъ видѣ, какою она кажется, а у богатства поубавляетъ яркихъ красокъ, какими оно ласкаетъ-манитъ каждый случайно брошенный въ его сторону взглядъ. Такъ, хотя и говоритъ народъ нашъ, что „Богатому житье, а бѣдному—вытье!“, но о-бокъ съ этимъ приговариваетъ, самого-себя оговариваючи: „Кто тороватъ—тотъ не богатъ!“, „На что мнѣ богатаго, подай тороватаго („Не проси у богатаго, проси у тороватаго!“—по иному разносказу)!“, „Не богатый кормитъ—тороватый!“, „Не силенъ—не борись, не богатъ—не сердись!“, „У богатаго богатины пива-меду много, да съ камнемъ-бы въ воду!“, „Богатичи, что голубые кони,—рѣдко удаются!“

Не зарится русскій мужикъ-простота, въ потѣ лица—по завѣту Божію—вкушающій насущный хлѣбъ свой, на чужой достатокъ. „Земля-матушка—богатительница наша!“—говоритъ онъ: „Глядючи на людей, богатъ не будешь!“, „Не на богатство шлись, а на-Бога!“, „Съ богатства брюхо пучитъ, да душу плющитъ!“, „Не отъ скудости скупость—отъ богачества!“ Сторонится богачъ отъ бѣдняка убогаго, а тотъ и самъ не станетъ набиваться на свойство-кумовство съ нимъ, если только не поддастся зависти—этому одному изъ семи смертныхъ грѣховъ. „Богатый бѣдному не братъ!“—гласитъ его смиренномудрыми устами краснорѣчивая многовѣковая жизнь. „Бѣдному—вездѣ бѣдно!“—изрекаетъ она, но тотчасъ-же не прочь и подсластить свое горькое, что полынь-трава, слово присловьемъ—въ-родѣ: „Бѣднò живетъ, да по

Божьи!", „Что бѣднѣе—то щедрѣе!", „Бѣдность не—порокъ!" „Бѣденъ одинъ бѣсъ, а у человѣка нѣтъ такой бѣды, которая была-бы на-вѣкъ!", „Куда богатаго конь везетъ, туда бѣдняка Богъ несетъ!" и т. п. Тяжкой нуждою подсказана русскому народу поговорка—„Никто того не вѣдаетъ, гдѣ нищій обѣдаетъ!", но и вѣка нужды настолько не сломили его богатырски-выносливаго духа, что онъ—съ полнымъ сознаніемъ своей силы—повторяетъ старую молвь, сложившуюся въ былыя времена: „Не крушитъ бѣднота, крушитъ—лихота!", „Изъ нужды трудъ да потъ вызволятъ!", „Нужда потомъ уходитъ!", „Что за нужда, коли въ рукахъ сила есть!", „Рабочій человѣкъ нужду съ плечъ стряхнетъ, какъ работать зачнетъ!", „Размахнись, рука,—берегись, нужда!", „Былъ бы хлѣбъ да вода—молодецкая ѣда,—и нужды какъ не бывало!" и т. д.

Нищета—крайняя степень нужды-бѣдности: но и на нее не слишкомъ угрюмыми глазами смотритъ—великій въ своемъ смиреніи—русскій народъ. Цѣлый рядъ пословицъ, поговорокъ и всякихъ присловій краснорѣчиво говоритъ объ этомъ. „Скупой богачъ", по народному слову, „бѣднѣе нищаго". Обнищалый людъ вызываетъ въ посельщинѣ-деревенщенѣ не только сострадание, но и нѣчто сродное съ преклоненіемъ предъ его убожествомъ. „Кого Господь полюбитъ—нищетою взыщетъ!"—говорится въ народной Руси, завѣщавшей внукамъ-правнукамъ создававшихъ-слагавшихъ ходячія-крылатыя слова прадѣдовъ свой нерушимый-любовный завѣтъ: „Сироту пристрой, а нищету прикрой!" Богъ, по мнѣнію простыхъ жизнью, чистыхъ сердцемъ людей, невидимо сопутствуетъ бѣднякамъ, впавшимъ въ нищету. „Богатство гибнетъ, а нищета все живетъ!"—можно услышать отъ старыхъ краснослововъ: „Силенъ смиреніемъ, богатъ нищетою!", „Нищета умъ спасаетъ!", „Нищета спорѣе богачества!" Бродящая подъ окнами, кормящаяся именемъ Христовымъ нищая братія невольно вызываетъ въ представленіи простого русскаго человѣка тѣхъ „нищихъ духомъ", которымъ—по евангельскому слову—уготовано „царство небесное". Изъ этого представленія и вытекаютъ такія народныя реченія, какъ: „Не родомъ нищіе ведутся, а кому Богъ дастъ!", „Отъ сумы не отрекайся!" и т. п. За великій грѣхъ считается на Руси изобидѣть нищаго-убогаго. Потому-то и дѣлится съ нимъ каждый, у кого есть коровай на столѣ да жито въ закрому, хоть кускомъ хлѣба,—чѣмъ Богъ пошлетъ, чѣмъ хата богата. „У нищаго отнять—сумою пахнетъ!"—говоритъ вѣщее народное слово, приговаривая: „Нищій болѣзни ищетъ, а къ

богатому онѣ сами льнутъ!", „Нищему нѣтъ друга кромѣ сумы!", „Умная жена—какъ нищему сума—все сбережетъ!". Скупые, дрожащіе надъ каждой крохою, люди добавляютъ къ этимъ поговоркамъ и такія, не приходящіяся по вкусу нищей братіи слова, какъ: „Нищій—вездѣ сыщетъ!", „Отдай нищимъ, а самъ—ни съ чѣмъ!", „Суму нищаго не наполнишь!" Подсмѣивающійся надъ своими недохватками-недостачами людъ сплошь-да-рядомъ гуторитъ: „Не хвались, старикъ, лохмотьями,—всѣхъ нищихъ не перещеголяешь!", „Хватитъ на мой вѣкъ, живучи у нищаго въ управителяхъ!", „Хоть за нищаго, да выдамъ дочь замужъ въ Татищево: то-то житье будетъ привольное!" Записаны собирателями живого великорусскаго народнаго слова и такія поговорки про бѣдноту-убожество, какъ могущія служить яркимъ заключеніемъ всѣмъ приведеннымъ выше: „Богъ не убогъ, а Микола милостливъ!", „Убогій мужикъ и хлѣба не ѣстъ, богатый—и мужика съѣстъ!" „Проситъ убогій, а подаешь—Господу Богу!"

Въ простонародныхъ загадкахъ не обойденъ молчаніемъ главный рычагъ богатства. „Маленько, кругленько, изъ тюрьмы въ тюрьму (изъ кармана въ карманъ) скачетъ, весь міръ обскачетъ, ни къ чему сама не годна, а всѣмъ нужна!", „Мала, кругла, покатна; какъ убѣжитъ—не догонишь!", „Кругла да покатна—день и ночь бѣжитъ!", „Что безъ ногъ ходитъ?", „Кругло, мало, всякому мило!", „Молоткомъ побьютъ и намъ дадутъ!", „Что горитъ безъ пламени?"—загадывается въ народной Руси о деньгахъ.

Хотя скупость и не въ природѣ рускаго простолюдина, но потовой-страдный трудъ научилъ его быть скопидомомъ и относиться съ уваженіемъ ко всякому хозяйственному человѣку. „Безъ деньги—не копѣйка, безъ копѣйки и рубля нѣтъ!", „Береги копѣечку про черный день!", „Безъ денегъ—что безъ разума!", „И барину деньга—господинъ!",—обмолвился онъ про это въ старь стародавнюю. Но и деньги—деньгамъ рознь: есть добытыя трудомъ честнымъ, есть и нажитыя недобрыми дѣлами. „Тотъ правъ, за кого праведныя денежки молятся!", „У того вѣковѣчный достатокъ, въ чьемъ карманѣ святыя денежки!"—гласитъ сѣдая народная мудрость; но она-же изрекаетъ: „При бѣдѣ за деньгу не стой!" Приглядѣлся-присмотрѣлся народъ-краснословъ къ тому, какъ деньги копятся: „Деньга на деньгу набѣгаетъ!"—говоритъ онъ: „Деньги на деньгахъ растутъ!", „Денежка рубль родитъ!" и т. д. О богачахъ, не заслужившихъ своей жизнью уваженія, отзывается неумытное народное слово въ такихъ поговоркахъ, какъ: „Кабы не деньги, такъ весь-бы—въ полденьги!", „При

деньгахъ Памфилъ—всему свѣту милъ!", „У Ѳомушки денежки, Ѳомушка—Ѳома; у Ѳомушки ни денежки, Ѳомка—Ѳома!", „Много друзей—у кого деньгамъ водъ!" Знаетъ мужикъ-простота, что „спѣсь—деньгамъ сестра"; отсюда и пошло его подсказанное жизненнымъ опытомъ прозорливое слово: „Извѣдай человѣка—при деньгахъ, тогда и хвались, что знаешь его!"

У торговыхъ людей—свои живучія слова сложились про деньги,—до сихъ поръ съ давней поры по свѣтлорусскому простору разгуливаютъ. „Торгъ безъ глазъ, а деньги слѣпы: за что отдашь—не видятъ!"—говорится въ ихъ обиходѣ: „На торгу деньга проказлива!", „Торгъ денежкой стоитъ!", „Деньга (цѣна)—торгу староста!", „Уговоръ дороже денегъ!", „Не по деньгамъ товаръ!", „По товару и деньги!", „Ѳедюшкѣ дали денежку, а онъ алтына проситъ!" Есть и такой неразборчивый людъ, что—въ своей алчности до наживы—готовъ всякую прибыль считать праведною. „На деньгахъ нѣтъ знака—какія онѣ!", „Всяка денежка—не погана!"—говоритъ онъ. „Ставь себя въ рубль, да не клади меня-то въ деньгу („въ полушку!"—по иному разносказу)!"—въ обычаѣ отговариваться обиженнымъ чьимъ-либо самохвальствомъ.

Деньги—не птица, а съ крыльями: перенесутъ человѣка, куда тому вздумается,—и сами отъ него улетятъ того-и-гляди. Онѣ, по словамъ заглядывающихъ въ будущее людей, счетъ любятъ: „Хлѣбу—мѣра, деньгамъ—счетъ!", „Деньги—не щепки!", „Денежка рубль бережетъ, а рубль—голову стережетъ!", „Безъ хозяина деньги черепки!", „Держи деньги въ темнотѣ, а дѣвку въ тѣснотѣ!"—поучаютъ они склонную къ мотовству молодежь, падкую до нарядовъ да до разносоловъ всякихъ, не по тощему карману мужику-хлѣборобу приходящихся. „Дружба—дружбой, а денежкамъ—счетъ!"—зачастую можно услышать въ дѣловой бесѣдѣ: „Братъ братомъ, сватъ сватомъ, а денежки—не сосватаны!" Какъ на чужой коровай не совѣтуетъ разѣвать рта деревенскій хлѣбоѣдъ, такъ и о чужихъ деньгахъ отзывается онъ: „Не деньги, что у бабушки, а деньги—что въ запазушкѣ!" Не любитъ распускать въ долги трудно достающуюся копѣйку русскій скопидомъ. „Въ лѣсу—не дуги, въ полѣ—не хлѣбъ, въ долгу—не деньги!"—обмолвился онъ объ этомъ; но не въ деньгахъ видитъ онъ главную силу жизни, какъ можно заключить изъ его-же словъ: „Не деньги насъ, а мы деньги нажили!", „Былибы мы, а деньги Богъ дастъ!" По образному народному выраженію: „Денежки—что голуби: гдѣ обживутся, тамъ ведутся!" Не особенно привыкъ поливающій трудовымъ потомъ роди-

мыя нивы русскій пахарь гоняться за этими „голубями“. Въ противномъ случаѣ—не сложилось-бы у него столь краснорѣчиво говорящихъ присловій-поговорокъ, какъ, напримѣръ: „Лишнія деньги—лишняя забота!“, „Больше денегъ—больше хлопотъ!“, „Деньги—дѣло наживное!“ И эти поговорки—не пустое слово въ его правдивыхъ устахъ.

Русскія народныя былины создали два яркихъ воплощенія богатства—въ своихъ богатыряхъ: Чурилѣ Пленковичѣ и Дюкѣ Степановичѣ. Первый, впрочемъ, скорѣе является олицетвореніемъ щегольства-молодечества и болѣе подходитъ къ тѣмъ-же „бабьимъ перелестникамъ“,—къ которымъ принадлежитъ неотразимый побѣдитель разгарчивыхъ сердецъ Алеша-Поповичъ,—хотя при этомъ и не обладаетъ ни хитростью-изворотливостью, ни силой-мочью послѣдняго. Заѣзжій богатырь, выходецъ изъ земли сурожской—сынъ богатаго Пленка, гостя торговаго, набившаго сундуки златомъ-серебромъ и зажившаго „на Почай на рѣки“—въ своемъ крѣпко-на́, крѣпко огороженномъ дворѣ въ теремахъ „до семи до десяти“. Далъ старый Пленко своему сыну дружину молодецкую, предоставилъ ему во всемъ волю вольную, не жалѣючи добра, долгими годами накопленнаго. Поѣхалъ Чурило подъ Кіевъ, сталъ рыскать-охотиться по княжьимъ островамъ непрошенно, началъ обижать мужиковъ кіевскихъ, ловить не только звѣрье-птаство, а и красныхъ дѣвушекъ, молодыхъ молодушекъ. Дошли рѣчи о немъ ко двору княженецкому; захотѣлъ поймать-наказать Владиміръ—Красно Солнышко дерзкаго похитчика, смѣлаго охотника. Настигъ князь своевольника,—настигши, полюбилъ его за нравъ-обычай, за видъ молодецкій, взялъ въ свою дружину богатырскую. Зажилъ Чурило въ Кіевѣ, на́-диво люду кіевскому принялся чудить по стольному городу. Щегольство Чурилино собирало за нимъ цѣлыя толпы любопытнаго народа всякаго, гдѣ бы онъ ни шелъ, куда бы ни ѣхалъ; удальство Пленковича заставляло точить на него зубы многихъ мужей. Все сходило ему съ рукъ, покуда не нашла коса на камень,—не всталъ онъ поперекъ дороги Бермятѣ, Володимерову дружиннику, старому мужу молодой жены. Тутъ ему и смерть пришла...

Но еще раньше висѣла на волоскѣ тонёшенькомъ удалая жизнь сурожскаго щеголя—изъ-за похвальбы его, Чурилиной. Коли-бы не старый матерой казакъ, Илья-Муромецъ, да не свѣтелъ-ласковъ князь Красно-Солнышко,—вступившіеся за Пленкова сына любимаго,—принять-бы смерть бабьему перелестнику отъ руки Дюка Степановича, другого (главнаго) воплотителя представленія былинныхъ сказателей о богаче-

ствѣ. Обликъ этого, тоже заѣзжаго, богатыря на цѣлую голову выше Чурилы. Дюкъ—боярскій сынъ; родомъ Степановичъ „изъ славнаго изъ города изъ Галича, изъ Волынь-земли богатые да изъ той Карелы изъ упрямые да изъ той Сарачины изъ широкіе, изъ той Индѣи богатые". Такъ, по крайней мѣрѣ, опредѣляется мѣсто его богатырской родины по онежской (кенозерской) былинѣ, записанной А. Ѳ. Гильфердингомъ [93]). „Не ясёнъ соколъ тамъ пролетывалъ, да не бѣлой кречетко вонъ выпорхивалъ, да проѣхалъ удалой дородній добрый молодецъ, молодой боярскій Дюкъ Степановичъ",— продолжается былинный сказъ: „да на гуся ѣхалъ Дюкъ на лебедя, да на сѣру пернасту малу утицу, да изъ утра проѣхалъ день до вечера, да не наѣхалъ не гуся и не лебедя, да не сѣрой пернастой малой утицы"... Какъ большинство младшихъ богатырей Владиміровыхъ (кіевскихъ)—выѣхалъ онъ на поѣздочку охотничью. И было у него въ колчанѣ „триста стрѣлъ ровно три стрѣлы." Всѣмъ стрѣламъ зналъ онъ, по словамъ былины, цѣну, не зналъ только тремъ: были онѣ оперены перьями того „орла сиза орловича", который летаетъ подъ-надъ синимъ моремъ,—были онѣ, эти три стрѣлы, украшены яхонтами. Огорченный неудачею, вернулся удалой охотникъ въ родной Галичъ-градъ, сходилъ ко „вечернѣ Христовскіе", а потомъ и поклонился родимой своей матушкѣ („да желтыма ты кудрями до сырой земли")—проситъ у ней благословенья ѣхать „во Кіевъ-градъ, повидати солнышка князя Владиміра, государыню княгиню свѣтъ-Апраксію". Не совѣтуетъ сыну родимая ѣхать въ задуманный путь,—говоритъ, что-де „живутъ тамъ люди все лукавые". Но не такъ-то легко отговорить Дюка Степановича, молодого сына боярскаго,—пришлось, волей-неволей, дать ему благословеніе; а вмѣстѣ съ благословеньицемъ-прощеньицемъ давала ему матушка „плётоньку шелкóвую". Поклонился ей сынъ на бла-

[93]) Александръ Ѳедоровичъ Гильфердингъ—извѣстный знатокъ славянскихъ литературъ и собиратель русскихъ былинъ—родился въ 1831-мъ году. Отецъ его былъ директоромъ дипломатической канцеляріи при намѣстникѣ Царства Польскаго. Образованіе А. Ѳ-чъ получилъ въ московскомъ университетѣ (на историко-филологическомъ факультетѣ) въ 1852-мъ году, послѣ чего сошелся съ кружкомъ славянофиловъ и подпалъ подъ могучее вліяніе А. С. Хомякова. Первымъ печатнымъ трудомъ А. Ѳ. Гильфердинга былъ очеркъ „О сродствѣ языка славянскаго съ санскритскимъ" (Извѣст. II отдѣл. Академіи Наукъ" 1853 г.); за нимъ послѣдовали: „Письма изъ исторіи сербовъ и болгаръ", „Исторія балтійскихъ славянъ" и т. д. Въ 1854-мъ году онъ защитилъ магистерскую диссертацію—„Объ отношеніи языка славянскаго къ другимъ родственнымъ", въ 1856-мъ поступилъ на государственную службу—по министерству иностранныхъ дѣлъ—и былъ назначенъ боснійскимъ консу-

тословеніи, пошелъ въ конюшню стоялую, выбралъ себѣ жеребца неѣзжаннаго. Этотъ выбранный конь хотя тоже звался „бурушкой косматымъ“, что и конь Ивана—сына гостинаго, да былъ-то онъ совсѣмъ на иную стать: „да у бурушка шорсточка трехъ пядей, да у бурушки грива была трехъ локотъ, да и фостъ-отъ у бурушки трехъ сажень“. Сбруя Дюкова коня—безъ словъ уже говоритъ о богатствѣ хозяина. „Да уздалъ узду ему (коню) течмяную, да осѣдлалъ онъ сѣделышко черкаское, да накинулъ попону пестрядиную, да строчена была попона въ три строки: да первая строка краснымъ золотомъ, да другая строка чистымъ серебромъ, да другая строка мѣдью-казаркою“,— гласитъ былинный сказъ, облюбовывая-описывая каждую мелочь. Снаряжонъ конь, заглядѣлся на него самъ богатырь. Наложилъ Дюкъ цвѣтного платьица въ торока, понасыпалъ злата-серебра; сѣлъ Степановичъ на коня, перемахнулъ прямо черезъ стѣну города Галича богатаго, черезъ „высоку башню наугольнюю“. Ѣдетъ полемъ богатырь, скачетъ конь, что ни скокъ—верста; „ѣдетъ повыше дерева жаровчата, да пониже иде облака ходячего, да онъ рѣки-озёра между ногъ пустилъ, да гладкіе мхи перескакивалъ, да синее-то море кругомъ-да несъ“... Ушелъ на добромъ конѣ Дюкъ Степановичъ и отъ „Горынь-змѣя,“ унесъ его косматый бурушко и отъ стада черна-воронья.

Проѣхалъ молодой боярскій сынъ три заставы крѣпкія, до четвертой доѣхалъ—видитъ: стоитъ бѣлъ-полотняный шатеръ, а въ томъ шатрѣ опочивъ держитъ матерой казакъ Илья-Муромецъ. Не зналъ про это Дюкъ, подъѣхалъ—вызы-

ломъ. Пребываніе въ Босніи дало русской литературѣ и наукѣ книгу Гильфердинга „Боснія, Герцоговина и Старая Сербія“ (1859 г.). Служебная дѣятельность не мѣшала творческой работѣ молодого ученаго. Такъ, въ 1861-мъ году А. Ѳ—ча мы видимъ чиновникомъ государственной канцеляріи, въ 1863-мъ году—однимъ изъ выдающихся помощниковъ И. А. Милютина и авторомъ проэкта о преобразованіи вѣдомства народнаго просвѣщенія; одновременно-же съ этимъ появляется рядъ его статей въ „Славянскомъ Обозрѣніи“, „Днѣ“, „Русскомъ Инвалидѣ“ и другихъ изданіяхъ, а въ „Вѣстникѣ Европы“ выходятъ первыя главы задуманной имъ „Исторіи славянъ“, оставшейся, впрочемъ, незаконченною. Въ 1867-мъ году открылось въ Петербургѣ отдѣленіе славянскаго благотворительнаго комитета, и А. Ѳ—чъ былъ избранъ его предсѣдателемъ, совмѣстивъ вскорѣ это съ предсѣдательствомъ-же въ этнографическомъ отдѣленіи Русскаго Географическаго Общества. Поѣздка его въ Олонецкую губернію—вслѣдъ за выходомъ въ свѣтъ сборника Рыбникова—сослужила русскому народовѣдѣнію немалую службу. Болѣе 300 былинъ, записанныя Гильфердингомъ отъ пѣвцовъ (составившія сборникъ „Онежскія былины“), явились богатымъ вкладомъ въ сокровищницу памятниковъ народнаго пѣснотворчества. Одною изъ послѣднихъ работъ Гильфердинга былъ очеркъ „Олонецкая губернія и ея рапсоды“ „(Вѣстн. Евр.“). Скончался А. Ѳ —чъ въ Каргополѣ въ 1872-мъ году, предпринявъ вторую поѣздку за былинами. Собраніе сочиненій его (4 т. т. вышло въ 1868—1874.г.г.

ваетъ спящаго на бой; но—какъ вышелъ изъ шатра сѣдой богатырь,—упалъ Степановичъ къ ногамъ стараго—со словами: „Да одно у насъ на небеси-де солнце красное, да одинъ на Руси-де могучъ богатырь, да старой-де казакъ Илья Муромецъ!“ Полюбились очестливыя Дюковы слова Ильѣ,—отпустилъ онъ его въ Кіевъ-градъ, обѣщалъ свою помогу во всякой нуждѣ-бѣдѣ. Пріѣхалъ въ стольный городъ молодой боярскій сынъ, оставилъ коня („неприкована его да непривязана“) передъ палатами княжескими, а самъ пошелъ прямо „во высокъ теремъ“. Вошелъ, перекрестился, отвѣсилъ поклонъ на всѣ стороны, спрашиваетъ сидящихъ передъ нимъ бояръ: „Да гдѣ у васъ солнышко Владиміръ князь?“ Отвѣчаютъ ему, что пошелъ-де онъ къ заутренѣ. Отправляется и Дюкъ „во Божью церковь“, вошелъ — всталъ подлѣ князя Владиміра. Запримѣтилъ заѣзжаго добра-молодца княжій соколиный взоръ: „Да скажись-ко, удалый дородній добрый молодецъ! Ты коей орды да коей земли, тебя какъ молодца зовутъ по имени?“ Отвѣтъ держитъ князю боярскій сынъ—честь-честью. На новый вопросъ Владиміра—„Да давно-ли ты изъ города изъ Галича?“ —говоритъ Дюкъ по правдѣ-истинѣ, что стоялъ-де онъ вечерню въ родномъ городѣ, а къ заутрени поспѣлъ въ Кіевъ-градъ. Полюбопытствовалъ князь,—дороги-ли кони въ Галичѣ?—Разная цѣна: есть и по рублю, и по два, и по сту, и „по два, по пяти-де сотъ“,—отвѣчаетъ Степановичъ: „да своему-де и добру коню цѣны не знай“... Опрашиваетъ Владиміръ всѣхъ князей-бояръ, далеко-ли отъ Кіева до Галича, и слышитъ, что—не ближній путь: „окольней дорогой на шесть мѣсяцевъ, да и прямой-то дорогой—на три мѣсяца“. Киваютъ бояре головою на Дюка Степановича, говорятъ, что, должно быть, это—не боярскій сынъ изъ Галича, а „мужиченко-засельщина“,—жилъ-де онъ у купца-гостя да и укралъ у него платье цвѣтное, да и коня-де угналъ у какого ни на есть боярина, пріѣхалъ-де въ Кіевъ—„надъ тобой-то, княземъ, надсмѣхается, да надъ нами, боярами, пролыгается“...

Отошла заутреня, вышли всѣ изъ храма Божія, видятъ: вокругъ Дюкова добра коня толпа собралась толкучая, всѣ дивуются на лошадь богатырскую да на снаряды молодецкіе. Поѣхалъ князь съ боярами на своихъ коняхъ ко двору княженецкому; ѣдетъ съ ними и Дюкъ, а самъ глядитъ обаполъ, головою покачиваетъ: все-то въ Кіевѣ ему кажется и неприглядно, и бѣднымъ-бѣдно. „Да у Владиміра все а не по нашему!“ —говоритъ онъ: „какъ у насъ во городѣ во Галичѣ, де у моей-то сударыни у матушки, да мощены-де были мосты все

дубовы, сверху стланы-де сукна богрецовыя. Напередъ-де пойдутъ у насъ лопатники, за лопатниками пойдутъ и метельщики, очищаютъ дорогу сукна стланаго. А твои мосты, сударь, неровные, неровные мосты да все сосновые!..“ И на широкомъ дворѣ княжескомъ ничто не пришлось по нраву боярскому сыну изъ Галича: „Да (говоритъ онъ) хороша была слава на Владиміра, да у Владиміра все да не по нашему!.. Какъ у насъ-то во городѣ во Галичѣ, да у моей сударыни у матушки, на дворѣ стояли столбы все серебряны, да продернуты кольца позолочены, разставлена сыта медвяная, да насыпано пшены-то бѣлоярые, да е что добрымъ конямъ пить, ѣсть, кушать, а у тебя, Владиміръ, того-де не случилосе! И въ высокомъ теремѣ, за столами бѣлодубовыми, не пришлась заѣзжему богатырю по вкусу чара зелена-вина,—показалась ему она („веселіе Руси“) горькою послѣ сладкихъ-дорогихъ заморскихъ винъ, которыя пивалъ онъ на пирахъ у родимой матушки. Калачи крупичатые Дюку тоже не показались сладкими. И вошелъ въ задоръ, принялся бахвалиться своимъ дородствомъ-богачествомъ молодой боярскій сынъ. — „Да свѣтъ государь ты Владиміръ князь! Да когда правдой дѣтина похваляется, такъ пусть ударитъ со мной о великъ закладъ!“ —возговорилъ богатырь Чурило: „Щапить-басить по три года по стольному городу по Кіеву, надѣвать платья на разъ, на другой не перенашивать!“ Принялъ Дюкъ „великъ закладъ“, предложенный прославленнымъ щеголемъ-своевольникомъ. Поставили „порокъ“ (условіе): „который изъ ихъ а не перещапитъ (не перещеголяетъ), взяти съ того пятьсотъ рублей“. Разодѣлся щеголь Чурило всему Кіеву надиво: „обулъ сапожки-ты зеленъ сафьянъ, носы—шило, а пята—вострa, подъ пяту хоть соловей лети, а кругомъ пяты хоть яйца кати. Да надѣлъ онъ шубку-ту купеческую, да во пуговкахъ литы добры молодцы, да во петелькахъ шиты красны дѣвицы, да наложилъ енъ шапку черну мурманку, да ушисту-пушисту и завѣсисту“... Идетъ вдоль по стольному городу Пленковичъ,—на него красны-дѣвушки не налюбуются, молодыя молодушки не насмотрятся: куда-де супротивъ него Дюку Степановичу! А тотъ—„не снаряденъ“ шелъ, не наряденъ, да одни каменья-„яфонты“, вплетенные въ его „лапотки семи шелковъ“, стоятъ „города всего Кіева, опришно Знаменья Богородицы да опришно прочихъ святителей“. Не щегольская, а простая расхожая, шуба на плечахъ у галицкаго сына боярскаго, да—„во пуговкахъ литы люты звѣри, да во петелькахъ шиты люты змѣи“. Вспомнилъ Дюкъ про матушкино благословеньице,—недаромъ-де оно, святое, со дна мо-

ря подымаетъ!—вынулъ изъ-за пояса плетоньку шелковую, да и стегнулъ по своимъ пуговкамъ,—заревѣли-зарычали они что звѣри лютые; провелъ плетонькой по петелькамъ—зашипѣли змѣями подколодными. Да отъ того-де реву ото звѣринаго, и отъ того-де свисту отъ змѣинаго, да въ Кіеви старой и малой на землѣ лежитъ". Перещапилъ кіевскаго щеголя галицкій боярскій сынъ; получивъ пятьсотъ рублей, купилъ онъ на всѣ деньги зелена вина, перепоилъ до-пьяна всю кіевскую голь кабацкую. Пошла слава про щедрость богатаго богатыря по всему Кіеву. А Чурилѣ пуще прежняго стало „зазорно", не унимается Пленковичъ: подбиваетъ князя Владиміра послать „во Волынь-землю" соглядатаевъ-„переписчиковъ"—провѣрить на дѣлѣ похвальбу Дюкову. Согласился Красно-Солнышко, отправляетъ Добрыню Никитича „во славной въ Галичъ-градъ, житья его богачества описывать".

Пріѣхалъ могучій кіевскій богатырь „во Волынь-землю", нашелъ перво-наперво три высокихъ терема красоты-высоты неописанной, зашелъ въ одинъ - видитъ: сидитъ въ немъ „жена стара матера, мало-де шелку, вся въ золотѣ". Принялъ ее „переписчикъ" Володимеровъ за Дюкову родимую матушку, поклонился ей очестливо, говоритъ—что привезъ ей отъ сына челобитіе. „А я не Дюкова здѣсь а есть вѣдь матушка, а Дюкова здѣсь я есть портомойница!"—отвѣтила она Добрынѣ. Стало зазорно Никитичу, поѣхалъ онъ дальше, пріѣхалъ во Галичъ-градъ, увидалъ и здѣсь три высокихъ терема. И въ этихъ теремахъ сидитъ „жена стара матера, мало-де шелку, вся въ золотѣ". И ей—тѣ-же, что и передъ тѣмъ, поклоны съ челобитіемъ; опять ошибся Добрыня,—это была „Дюкова божатушка" (крёстная). Дала она совѣтъ добрый Никитичу, какъ и гдѣ найти Степанычеву родимую матушку. Послушался могучій богатырь, „отъѣзжалъ во чисто поле, просыпалъ Добрыня ночку темную, на утро пріѣхалъ во Галичъ-градъ, да сталъ на дорогу прешпехтивую, гдѣ-ка стланы сукна багрецовыя". Какъ и похвалялся-говорилъ Дюкъ Степановичъ, на кіевскую простоту глядючи,—„напередъ пошли тутъ лопатники, за лопатниками пошли метельщики, да очищаютъ дорогу сукна стланаго."—Шла-прошла по дорожкѣ родимая матушка удалого сына боярскаго. Поклонился ей Добрыня Никитичъ до сырой земли. Отозвалась ласково на привѣтъ добрая боярыня, позвала его съ собою въ церковь Божію, а оттуда въ свой теремъ,—начала „поить-кормить, много чествовать". Попилъ-поѣлъ Добрыня, всталъ изъ-за стола изъ-за дубоваго: „Да государыня ты, Дюкова матушка, да я вѣдь пріѣхалъ не тебя смотрѣть,

житья твоего богатства описывать!“ Повела старуха гостя въ погреба темные, отворила ихъ,—диву дался посланецъ княжій, живучи на свѣтѣ, никогда онъ такого богатства и во снѣ не видывалъ. „Да намъ съ города изъ Кіева да везти бумаги на шести возахъ, да чернилъ-то везти на трехъ возахъ, да описывать Дюково богатство, да не описать будетъ!“—повезъ Никитичъ ярлыкъ скорописчатый ласковому князю Владиміру.

Вернулся въ Кіевъ богатырь, положилъ свой ярлыкъ передъ Краснымъ-Солнышкомъ, а самъ принялся рѣчь вести про все видѣнное. Но и тутъ не взялъ угомонъ задорнаго Чурилу: вызываетъ онъ Дюка Степановича биться съ нимъ о новый великъ-закладъ: „скакать на добрыхъ коней, за матушку Почай-рѣку и назадъ на добрыхъ коняхъ отскакивать“. И вотъ—„ударились они о своихъ о буйныхъ головахъ: который изъ ихъ не перескочитъ, такъ у того молодца голова срубить“. Осрамился передъ Степановичемъ Пленковичъ. И ужъ выдернулъ Дюкъ саблю, хотѣлъ рубить щеголю-нахвальщику голову, да вступились князь со княгинею: „Удалый, дородній добрый молодецъ! Не руби ты Чурилу буйной головы, да спусти ты Чурила на свою волю!“ Внялъ просьбѣ заѣзжій богатырь,—„пиналъ“ онъ своего соперника „правой ногой“, а самъ—Дюкъ—приговариваетъ: „Ай де ты Чурило, сухоногіе, да поди щапи съ дѣвками да съ бабами, а не съ нами, съ добрыми молодцами!“ Князю съ княгинею отъ Степановича низкій поклонъ; прощается боярскій сынъ съ ласковыми хозяевами Кіева, ведетъ прощальное словцо и къ кіевлянамъ: „Да простите вы, бояра всѣ кіевски, всѣ мужики огородники! Да вспоминайте вы Дюка вѣки на вѣки!“ Съ тѣмъ словомъ и уѣхалъ онъ „во свой Галичъ-градъ, ко своей-то родимой сударыни, да сталъ жить-быть, вѣкъ корóтати“,—кончается былинный сказъ, посвященный прославленію богачества зарубежнаго. Диву давались кіевляне—„мужики-огородники“,—на Дюково богатство глядючи; но не перещапить-бы и ему того, чѣмъ богатымъ слылъ съ незапамятной поры народъ русскій, не гонящійся за шелками-бархатами, каменьями-„яфонтами“, а крѣпкій-сильный своею нерушимой связью съ Матерью-Сырой-Землею. Счастливъ Дюкъ, что пришлось ему вступить въ состязаніе съ Чурилой—бабьимъ перелестникомъ. А что́ сталось-бы, еслибъ судьба поставила его грудь съ грудью съ Микулой Селяниновичемъ, до сихъ поръ крестьянствующимъ на Святой Руси—въ лицѣ позднихъ потомковъ своихъ правнуковъ, все богатство которыхъ составляютъ хлѣбъ насущный, конь-пахарь да полоса-

полосынька!.. Того-и-гляди, въ сравненіи съ этимъ вѣковѣчнымъ богатствомъ народа-пахаря, свелось-бы на бѣдность хваленое богачество.

Калики-перехожіе, убогіе пѣвцы, сказатели духовныхъ стиховъ, еще и въ наши дни попадающіеся на Святой Руси, являются яркимъ воплощеніемъ взгляда русскаго народа на взысканную Богомъ бѣдность. Съ именемъ Христовымъ да съ умилительными пѣснями-сказаніями о Немъ и святыхъ Его проходятъ они изъ конца въ конецъ весь неоглядный просторъ свѣтлорусскій — эти желанные гости сельскихъ праздниковъ и базаровъ, соперничающіе въ образѣ жизни съ птицами, не сѣющими, не жнущими и не собирающими въ житницы, но питаемыми Отцомъ Небеснымъ. Въ сказаніяхъ стиховныхъ о Вознесеніи Господнемъ, о которыхъ своевременно велась уже рѣчь на страницахъ настоящей книги, подробно повѣствуется о томъ—съ какихъ поръ появились на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ калики-перехожіе. „Ужъ ты, Истинный Христосъ, Царь Небесный! Чѣмъ мы будемъ, бѣдные, питаться? Чѣмъ мы будемъ, бѣдные, одѣваться, обуваться?“—расплакалась нищая братія — какъ вознесся Христосъ на небеса. Услышалъ Сынъ Божій плачъ убогаго люда. „Не плачьте вы, бѣдные-убогіе! Дамъ я вамъ гору да золотую, дамъ я вамъ рѣку да медвяную: будете вы сыты и пьяны, будете обуты и одѣты!“—былъ имъ гласъ съ небеси. „Не давай ты имъ горы да золотыя, не давай ты имъ рѣки медвяныя: сильные-богатые отнимутъ; много тутъ будетъ убійства, тутъ много будетъ кровопролитья. Ты дай имъ свое святое имя: тебя будутъ поминати, тебя будутъ величати,—будутъ они сыты и пьяны, будутъ обуты и одѣты!“—возразилъ Истинному Христу Иванъ Богословъ, и даровалъ Царь Небесный нищей братіи на прокормленіе вѣковѣчный даръ—Свое святое имя.

Древнерусское былинное слово сохранило преданіе о сорока каликахъ со каликою, разгуливавшихъ въ стародавнюю пору по Землѣ Русской и не только питавшихся по завѣту Ивана Богослова, именемъ Распятаго Учителя жизни, но и совершавшихъ дѣла богатырскія. Сказатели былинъ называютъ даже атамана этихъ каликъ-богатырей, величаютъ его то Касьяномъ Михайловичемъ, то молодымъ Михайлушкою Касьяновымъ. Въ Петрозаводскомъ уѣздѣ Олонецкой губерніи подслушана-записана Рыбниковымъ такая побывальщинка о каликахъ богатырскаго склада: „Ходили калики-перехожіе изъ орды въ орду, сорокъ каликъ со каликою. Лапотики на ножикахъ у нихъ были шелковые, подсумочки сшиты черна бархата, во рукахъ были клюки кости рыбьея,

на головушкахъ были шляпки земли греческой. Приходили они въ хоробру Литву, ко тому королю литовскому на широкій дворъ, становились подъ косявчето окошечко, и попросили они милостины:—Ай же ты, король литовскій! Сотворит-ко намъ милостину, каликамъ перехожіимъ. Не рублямы мы беремъ и не полтинамы, беремъ-то мы цѣлыми тысячмы!—Отъ ихъ отъ покриковъ богатырскіихъ оконницы въ теремахъ поразсыпались, маковки во теремахъ покривились. Король вводилъ ихъ во палаты бѣлокаменны, кормилъ онъ, ихъ ѣствушкой сахарнею, и поилъ ихъ питьицемъ медвянымъ, и дарилъ имъ дары драгоцѣнные. Говорилъ король таковы слова:—Не калики есте перехожи, есть вы русскіе могучіе богатыри!" Какъ эти калики, такъ и заходившіе въ Кіевъградъ подъ предводительствомъ приглянувшагося княгинѣ Апраксіи Касьяна Михайловича,—являются исключительнымъ явленіемъ въ памятникахъ русской простонародной словесности. Но еще и теперь можно услышать, по пути на богомолье, тягучій напѣвъ ихъ убогихъ собратій, бродящихъ цѣлыми ватагами: „Отцы наши, наши батюшки, дай вамъ Господи доброе здоровье! Да несетъ васъ Богъ до Сергія-Троицы!", или: „Господи Исусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ! Кормилицы наши батюшки, милосливыя матушки, сотворите святую милостыньку Христа-ради!" и т. д. Въ собраніи народныхъ пѣсенъ Кирѣевскаго есть такой благодарственный стихъ нищихъ-убогихъ, каликъ-перехожихъ: „Ай вы нутетка, ребята, за царей Богу молити, за весь міръ православный, кто насъ поитъ и кормитъ, обуваетъ, одѣваетъ, темной ночи сохраняетъ! Сохрани его Господь Богъ отъ лихого человѣка, отъ напраснаго отъ слова, сохрани Господь, помилуй! Что онъ молитъ и проситъ, то создай ему, Господи! Сохрани и помилуй при пути, при дорогѣ, при тёмной при ночи, отъ бѣгучаго отъ звѣря, отъ ползучаго отъ змѣя! Закрой его Господь Богъ своею пеленою отъ летучаго отъ змѣя, при пути его, при дорогѣ, сохрани его Господь Богъ!"

Странническая-скитальческая жизнь бездомнаго убогаго люда, питающагося и одѣвающагося однимъ именемъ Христовымъ вызвала изъ сокровенныхъ глубинъ стихійной народной души, рядъ живучихъ яркихъ образовъ, слившихся-объединившихся съ понятіемъ о нищенствѣ—какъ подвигѣ. Эти образы, увѣковѣченные народной памятью въ пѣсенныхъ сказаніяхъ, являются для хранителей-носителей послѣднихъ живымъ примѣромъ подвижничества во славу Божію. Великій въ своемъ смиреніи Алексѣй—человѣкъ Божій, промѣнявшій престолъ на пустыню Іоасафъ-царевичъ, проданный братьями на

чужбину Іосифъ Прекрасный и наособицу любезный нищенствующему люду Лазарь-убогій, все это—живые образы, говорящіе убѣдительнымъ языкомъ возревновавшей о Богѣ, взыскующей града вышняго, да и всякой бѣдствующей-страждущей въ этомъ мірѣ, душѣ. Въ нихъ явственно слышится убогому люду отзвукъ небесныхъ обѣтованій, запечатлѣнныхъ въ Божественномъ Писаніи; они—эти сжившіеся съ народнымъ сердцемъ образы—являются въ представленіи народа тѣмъ узкимъ мостомъ, по которому можно пройдти надъ туманной бездною грѣховнаго міра въ свѣтлые чертоги царства небеснаго. „Блаженъ, кто можетъ вмѣстить въ свою жизнь подражаніе имъ!“—мыслитъ мятущійся духъ темнаго люда, и вотъ до сихъ поръ выискиваются въ народной Руси искренніе подражатели прославленныхъ подвижниковъ, покидающіе домъ свой, раздающіе имущество и возлагающіе на рамена свои бремя убогой-нищенской жизни—во имя Того, Кто двѣ тысячи лѣтъ назадъ сказалъ, что „легче верблюду пройти въ игольныя уши, чѣмъ богатому наслѣдовать царствіе небесное!“

Не одинъ десятокъ разнопѣвовъ стиха о Лазарѣ-убогомъ ходитъ по селамъ-деревнямъ русскимъ,—каждый калика-перехожій поетъ-тянетъ с в о е г о „Лазаря“: до того пришлась по̀сердцу убогому люду эта евангельская притча, устами народа-сказателя повѣствующая о томъ, какъ жили на свѣтѣ два брата—два Лазаря („одинъ братецъ— богатый Лазарь, а другой братецъ—убогій Лазарь“). Наиболѣе полный и въ то-же самое время наиболѣе близкій къ своему первоисточнику разносказъ этого трогательно-умилительнаго повѣствованія записанъ въ великорусскомъ гнѣздѣ сказаній—новогородско-олонецкой округѣ. „Жилъ себѣ на землѣ славенъ-богатъ, пилъ-ѣлъ богатый—сахаръ воскушалъ, дороги одежды богато надѣвалъ...“—ведется въ немъ рѣчь о земной жизни перваго Лазаря. „По двору богатый похаживаетъ, за нимъ выходила свышняя раба, въ рукѣхъ выносила медъ и вино.—Испей, мой богатый, зелена вина; закушай, богатый, сладкіе меды!“ Вотъ богатый братъ однажды вышелъ за ворота своего дома, видитъ— лежитъ передъ ними бѣдный братъ его: „лежитъ убогій во Божьемъ труду, во Божьемъ труду, самъ весь во гною.“ Отвернулся богачъ, чтобы пройти мимо, не видя убожества бѣднаго; но подалъ бѣдный Лазарь голосъ, остановившій богача: „Ой ты, мой братецъ, славенъ-богатъ! Сошли, Христа ради хошь, милостыню,—хлѣба-соли, чѣмъ душу питать; про имене Христово напой, накорми! Христосъ тебѣ заплатитъ, Самъ Богъ со небесъ на мою на про̀торь на нищенскую!“ Но того, кто очерствѣлъ въ довольствѣ своемъ,

не [illegible] такими [illegible], не захаживать по-[illegible] [illegible] [illegible]. „Лежишь ты, убогій, за-[illegible] трупу, во [illegible] трупу, самъ весь во гноищѣ“ — отзывался богатый Лазарь: „Ой, осмердилъ ты меня, лихой песъ! Что ты мнѣ за братецъ? Что ты мнѣ за родной? Этихъ у меня братьевъ въ роду не было! Есть у меня братья, каковъ я и самъ, каковъ я и самъ — князья-бояра: много у братьевъ имѣнья-житья, хлѣба и соли, золота и серебра. А твои-то братья — два пса-кобеля: по подстолью они похаживали!“ Отвѣтъ убогаго Лазаря на эти злыя, подсказанныя лихой гордынею, слова весь проникнутъ народнымъ духомъ, отразившимся въ зеркальной глубинѣ сердца, свыкшагося съ нуждой-бѣдностью сына земли-кормилицы, — духомъ, знакомымъ пытливымъ народовѣдамъ по стариннымъ пѣснямъ-былинамъ. „Потому я тебѣ братецъ, потому — родной, что единая матушка насъ породила, что единъ сударь-батюшка вспоилъ, вскормилъ, не единою долею онъ насъ надѣлилъ: большому-то брату богатства тьма, меньшому-то брату — убожество и рай!“ Не смутили эти слова богача, — плюнулъ онъ, повернулся и пошелъ въ свои палаты. Вслѣдъ за этимъ передъ слушателями сказанія — картина пира въ богачовыхъ палатахъ. Были на пиру, пили-ѣли друзья-братья; похаживали по подстолью богачовы псы, подбирали съ пола падавшія со стола крохи; но не съѣдали они ихъ, а приносили къ убогому Лазарю. „Владыка со небесъ ему самъ душу питалъ, а псы ему раны зализывали.“ Горечью нестерпимою отозвалось въ душѣ убогаго милосердіе псовъ; всталъ со своего гноища, вышелъ онъ въ поле, воскликнулъ громкимъ голосомъ: „О, Господи, Господи, Спасъ милостьливый! Услыши, Господь Богъ, молитву мою неправедную! Сошли ты мнѣ, Господи, грозныхъ ангеловъ, грозныхъ и не смирныхъ и немилостьливыхъ! Чтобъ вынули душеньку сквозь реберъ копье, положили-бъ душеньку да на борону, понесли-бы душеньку въ огонь во смолу! И такъ моя душенька намаялася, по бѣлому свѣту находилася! Какъ живучи здѣсь на вольномъ свѣтў, мнѣ нечѣмъ, убогому, въ рай превзойти, нечѣмъ въ убожествѣ душу спасти!“ Дошла до престола Господня слезная молитва Лазаря убогаго, — послалъ Онъ съ небесъ по Лазареву душу ангеловъ, но только не такихъ, о какихъ просилъ убогій, а „тихіихъ, все милостьливыхъ“. Подступили посланцы Божіи къ брату богача: „вынимали душеньку честно и хвально, честно и хвально въ сахарны уста; да приняли душу на пелену, да вознесли же душу на небеса, да отдали душу Богу въ рай, къ святому Аврамію праведному“. Приводятся вслѣдъ

за этимъ и слова ангельскія, съ которыми была отнесена душа убогаго въ лоно праведныхъ:

„Вотъ тебѣ, душенька, тутъ вѣкъ вѣковать—
Въ небесномъ царствіи, пресвѣтломъ раю!
Съ праведными жить тебѣ, ликъ ликовать!“

Смерть убогаго прошла незамѣченной. Летѣло время, катились для богача дни въ прежнемъ довольствѣ,—прохлаждался онъ въ пирахъ-бесѣдахъ съ утра до вечера... Но вотъ—напала на богатаго Лазаря болѣсть лютая, пришла къ нему въ домъ—къ его пышному-мягкому ложу „злая хворыбонька, зла-уродливая смерть“. Свѣтъ затмевается предъ очами богача, не узнаетъ онъ ни дома, ни жены, ни дѣтей, ни друзей своихъ. „О, Боже, Владыко Спасъ милостьливый!“—молится онъ на смертномъ ложѣ: „Услыши, Господь Богъ, молитву мою, молитву мою всю праведную: пріими мою душу на хвалы себѣ! Создай ты мнѣ, Господи, тихихъ ангелей, тихихъ и смирныхъ и милостьливыхъ, по мою по душеньку по праведную! Чтобъ вынули душеньку честно да хвально, положили-бъ душеньку да на пелену, понесли-бы душеньку къ самому Христу, къ самому Христу, къ Аврамію въ рай! И такъ моя душенька поцарствовала! Живучи здѣсь на вольномъ свѣту, пила-ѣла душенька, все тѣшилася! Мнѣ есть чѣмъ, богатому, въ рай превзойти; мнѣ есть чѣмъ, богатому, душу спасти: много у богатаго имѣнья-житья, хлѣба и соли, злата и сребра“. Дошла до слуха Божія и эта исполненная гордыни молитва умирающаго богача неправеднаго; но не внялъ Онъ ей: послалъ къ смертному одру тѣхъ самыхъ ангеловъ грозныхъ, о какихъ просилъ убогій; ввергнули онѣ богачову душу въ темную бездну—„въ тое злую муку въ геенскій огонь“.—„Вотъ тебѣ, душенька, вѣчное житье, вѣчное житье безконечное! Смотри-жъ ты, богатый, кто предвыше тебя!“—услышалъ Лазарь богатый въ своемъ новомъ жилищѣ. Поднялъ онъ взоръ и увидѣлъ младшаго брата Лазаря на лонѣ праведныхъ; увидавъ, воззвалъ къ нему изъ огня геенскаго: называетъ его братцемъ родненькимъ, проситъ-молитъ омочить палецъ-мизинецъ въ водѣ потоковъ райскихъ, поднести къ запекшимся устамъ—утишить пламя мукъ его. „Ой ты, мой братецъ, славенъ богатъ!“—отвѣчаетъ ему братъ: „Нельзя, мой родимый, тебѣ пособить,—здѣсь намъ, братецъ, воля не своя, здѣсь намъ воля все Господова. Егда мы живали на вольномъ свѣту, тогда мы съ тобой Богу не справивали, ты меня, братецъ, братомъ не нарекалъ, нарекъ ты меня, братецъ, лютымъ псомъ; про имене Христо-

во ты не подавалъ, нищихъ-убогихъ ты въ домъ не принималъ, вдовъ-сиротъ, братецъ, ты не призиралъ, ночнымъ ночлегомъ ты не укрывалъ, нагого, босого ты не одѣвалъ, на пути сидящему ты не подавалъ, темную темницу ты не просвѣщалъ, во гробѣ умершихъ ты не провождалъ, до Божіей до церкви всегда бы со свѣчой, отъ Божіей церкви до сырой земли"... Раскаяніе богатаго Лазаря, держащаго слезный отвѣтъ на эти слова брата, оказывается слишкомъ запоздалымъ.—„Ой ты, мой братецъ, славенъ-богатъ!"—возражаетъ ему возлежащій съ праведными: „Вспокаялся, братецъ, да не во время! Гдѣ твое, братецъ, имѣнье-житье? Гдѣ твое, родимый, злато-сребро? Да гдѣ-же твое братецъ, цвѣтное платье?—Гдѣ твои, братецъ, свышнія рабы?" Ничего не остается недавнему богачу неправедному, какъ отвѣтить на эти вопросы, что все это „прахомъ взято", все это „земля пожрала", „тлѣнъ воспріялъ", все—минулося. Заключительное слово Лазаря убогаго—спасительный якорь надежды каждаго страждущаго въ нашемъ мірѣ подъ ярмомъ нищеты. Вотъ оно: „Ой ты, братецъ, славенъ-богатъ! Едина насъ матерь съ тобой родила; не одни участки намъ Господь написалъ: тебѣ Господь написалъ богатства тьма; а мнѣ Господь написалъ въ убожествѣ рай. Тебя въ богатствѣ врагъ уловилъ; меня въ убожествѣ Господь утвердилъ вѣрою, правдою, всею любовію. Спасли мою душеньку святы ангели, гдѣ святы ангели ликъ ликуютъ; ликъ ликуютъ здѣсь ангели на земли, царствуютъ праведники на небесахъ. Живи ты, мой братецъ, гдѣ Богъ повелѣлъ: а мнѣ жить, убогому, въ пресвѣтломъ раю, съ праведными жить и мнѣ ликъ ликовать!" И не только „ликъ ликуетъ" Лазарь убогій на лонѣ праведныхъ, а разливается пѣсенная слава о немъ по народной Руси изъ устъ другихъ Лазарей, взысканныхъ нищетою, уповающихъ на благость-милость Господню, живущихъ-питающихся-одѣвающихся именемъ Христовымъ.

О-бокъ съ этими „Лазарями-убогими" живутъ, какъ и въ старую старь, горделивые богачи. Есть не мало и бѣдняковъ, завистливыми глазами присматривающихся къ чужому достатку. Найдутся и такіе люди, что—подобно своимъ дѣдамъ-прадѣдамъ, дѣтямъ темной старины—кладовъ, зарытыхъ въ землѣ, заклятыхъ „словами" великими, ищутъ всю свою жизнь, послѣдній достатокъ убогій на ихъ поиски теряючи. „Кладъ въ руки не всякому дается!"—утѣшаются неудачливые кладоискатели: „надо такое с л о в о знать, на которое онъ положенъ!" Ищутъ они и „разрывъ-травы", помогающей, по завѣту народнаго суевѣрія, въ такомъ дѣлѣ, и за „златоогненнымъ

цвѣтомъ“ въ Иванову ночь по лѣснымъ трущобамъ бродятъ-скитаются, и ко всякимъ заговорамъ прислушиваются. Ходитъ по-людямъ и сказаніе о „неразмѣнномъ рублѣ“, овладѣвъ которымъ, вѣкъ свой съ нуждою не встрѣтишься,—какъ бы она, лиходѣйка, ни перебѣгала тебѣ путь-дороженьку. Говорятъ старые люди, что попадались въ руки инымъ счастливцамъ такіе рубли, и даже совѣтъ даютъ, какъ добыть ихъ у нечистой силы. По увѣренію знахарей, для этого надо идти на базаръ, ни съ кѣмъ не говоря и не оглядываясь—купить гусака безъ торгу, давъ—сколько запросятъ; принеся его домой, задушить правой рукою, положить въ печь и жарить до полуночи неощипаннымъ, а въ полночь вынуть изъ печи и выйдти съ нимъ на перекрестокъ, гдѣ и обращаться къ каждому встрѣчному съ предложеніемъ купить гуся за серебряный рубль. Кто согласится купить—тотъ изъ нѣжити-нечисти. Продавъ гуся, надо идти домой безъ оглядки,—хотя-бы вслѣдъ и неслись голоса всякіе. Оглянешься—вмѣсто рубля черепокъ въ рукахъ очутится глиняный. Принесешь домой неразмѣнный рубль,—съ нимъ не разстанешься вовѣкъ, если не станешь просить-брать съ него сдачи при покупкахъ: всякій разъ онъ въ карманъ воротится къ хозяину. Есть такіе люди, что и вѣрятъ этимъ розсказнямъ; но невримѣръ больше такихъ, кто живетъ на бѣломъ свѣтѣ, неразмѣнныхъ рублей не ищетъ, а если и вѣритъ въ какой кладъ, такъ только въ помощь Божію да въ свое трудовое засилье. Съ такимъ кладомъ въ рукахъ смотритъ богатыремъ народная Русь; съ нимъ и бѣднякъ взглянетъ соколомъ прямо въ глаза любой бѣдѣ-невзгодѣ.

LX.

Порокъ и добродѣтель.

Суевѣрное общеніе съ природою, отовсюду обступающей бытъ народа-пахаря, создавшее своеобразные взгляды на жизнь и ея запросы, не могло не выработать и своихъ самобытныхъ законовъ нравственности, вошедшихъ съ теченіемъ вѣковъ въ плоть и кровь. Свѣтъ вѣры Христовой, озаривъ темныя-туманныя дебря народной Руси, внесъ въ ея жизнь новыя понятія о порокѣ и добродѣтели. Но христіанское міровоззрѣніе нашло слишкомъ много родственнаго въ русскомъ народѣ и быстро приросло къ его стихійной душѣ, мало-по-малу заслоняя отъ взора просвѣтленныхъ очей обожествлявшаго видимую природу язычника все темное-злое, руководившее нѣкоторыми его побужденіями. Языческое суевѣріе, упрямо державшееся въ народѣ, до сихъ поръ еще не вымерло у насъ; но долгіе вѣка христіанской жизни сдѣлали свое дѣло: оно совершенно утратило всю тлетворность непосредственнаго вліянія на жаждущую свѣта любвеобильную крещоную Русь православную, труждающуюся съ Божьей помощью на освященныхъ вѣковымъ трудомъ пращуровъ родимыхъ поляхъ. Пережитки древнеязыческаго суевѣрія, явственно ощущаемые въ обычаяхъ современнаго крестьянина, являются уже не обрядами, а именно только обычаями, въ большинствѣ случаевъ придающими болѣе яркую окраску самобытному строю-укладу его жизни. Эти суевѣрные обычаи—зыбкій, но прочно построенный, мостъ, перекинутый съ крутого берега цвѣтистой старины стародавней къ пологому побережью нашихъ тусклыхъ дней, утопающихъ-теряющихся въ сѣромъ однообразіи будничныхъ заботъ,

связанныхъ съ борьбою изъ-за хлѣба. Въ этихъ обычаяхъ кроется-хоронится отъ безпощадной руки если не всеистребляющаго, то всесглаживающаго, времени, преемственная связь отдаленнѣйшихъ поколѣній народа съ ихъ позднимъ потомствомъ. Живучесть ихъ—прямое свидѣтельство насущной потребности въ этой невымирающей связи; въ ней—залогъ самобытности русской народной жизни, своими, чуждыми для иноземцевъ, путями-дорогами идущей по безконечной путинѣ вѣковъ. Живая душа народа слышится въ его могучемъ словѣ—пѣсняхъ, сказаніяхъ и пословицахъ,—создававшихся-слагавшихся на утученной суевѣріемъ почвѣ, взростившей и могучихъ богатырей русскаго самосознанія, увѣковѣченныхъ въ народной памяти былиннымъ пѣснотворчествомъ, и нищихъ духомъ—кроткихъ сердцемъ—искателей душеспасительной правды-истины, воспѣтыхъ въ стиховныхъ сказаніяхъ, до сихъ поръ разносимыхъ по свѣтлорусскому простору каликами-перехожими, пережившими вымирающихъ не по днямъ, а по часамъ, сказателей былинъ.

Въ Тульской губерніи записана покойнымъ П. В. Шейномъ и нѣсколькими другими собирателями памятниковъ народнаго пѣснотворчества любопытная пѣсня дѣвушки, задумывающей мстить своему милому за измѣну. „Хорошо тому на свѣтѣ жить, у кого нѣтъ стыда въ глазахъ“,—запѣвается она: „ни стыда въ глазахъ, ни совѣсти, никакой нѣтъ заботушки“... Изъ дальнѣйшихъ словъ пѣсни выясняется, что у самóй пѣвицы есть и горе, и заботушка: „зазнобилъ сердце дѣтинушка, зазнобивши, онъ повысушилъ.“ За такое лиходѣйство готовится дѣтинушкѣ месть: „Я сама дружка повысушу; я не зельями, не кореньями—а своими горючьми слезьми!“ и т. д. Такимъ образомъ, какъ видно изъ самаго заключенія пѣсни, начальныя слова ея являются только поводомъ къ цвѣтистому сопоставленію. Отсутствіе-же стыда-совѣсти не только не представляется русскому народу хорошимъ дѣломъ, но и прямо-таки служитъ въ его глазахъ явнымъ свидѣтельствомъ того, что передъ нимъ—завѣдомо худой человѣкъ, въ общеніи съ которымъ надо „держать ухо востро́“, а не лишнее и запастись „камнемъ за пазухой.“

Добро, по народному опредѣленію, является Божьимъ дѣломъ, зло — служеніемъ діаволу, врагу рода человѣческаго. Добродѣтель—лѣстница на небеса; порокъ—лѣстница въ „преисподняя земли“. „Добро дѣлай—никого не бойся,“—гласитъ устами старыхъ людей простонародная мудрость: „зло творить станешь—на каждомъ шагу по всѣмъ сторонамъ оглядывайся!“, „Доброму человѣку—весь міръ свой домъ, злому-

порочному и своя хата—чужая!", „Добродѣтель—передъ Богомъ на страшномъ судѣ—твой свидѣтель, порокъ—лихой ворогъ!", „Грѣхомъ заживешь—и деньги наживешь, да никуда кромѣ ада не придешь; добрыми дѣлами жить—и съ сумою ходить, да въ раю быть!", „Добромъ жизнь украшается—что степь цвѣтами; отъ грѣховной жизни цвѣтъ души вянетъ!" и т. д. „Отъ добра худа не бываетъ!", „Отъ худа — и добра убываетъ!"—говорятъ въ народѣ, но тутъ-же себя оговорить готовы на иной ладъ сложившеюся пословицей, смахивающею на прибаутокъ: „Нѣтъ худа безъ добра, какъ нѣтъ и добра безъ худа!" Эта пословица—измышленіе податливой совѣсти, если относить ея „худо" ко грѣху-пороку, а не къ бѣдѣ-напасти. Въ одинаковой степени изреченіе—„За добро зломъ не платятъ!" является словомъ простодушной недальновидности, смотрящей на жизнь глазами младенца малаго, которому все представляется въ болѣе свѣтломъ видѣ, чѣмъ это есть на самомъ дѣлѣ.

Съ добродѣтелью не всегда по сосѣдству удача живетъ, но въ ней — по мнѣнію русскаго народа-сказателя — ближайшій путь къ покою душевному; а покой—родной братъ счастью. „Часъ въ добродѣтели проведешь, все горе забудешь!"—говоритъ благочестивая старина, говоря—приговариваетъ: „Добро добро ведетъ!", „Кто добро творитъ, тому Богъ отплатитъ!", „За добродѣтель Богъ плательщикъ,—не берегись отпускать въ долгъ!", „Сѣй добро, посыпай добромъ, жни добро, одѣляй добромъ!.." Въ русскомъ пахарѣ всегда сидитъ хозяйственная смѣтка, хотя-бы онъ и былъ изъ краснослововъ краснословомъ. Добродѣтель, въ его представленіи, куда выгоднѣе порока, хотя—на недальнозоркій взглядъ—послѣднему и сопутствуетъ красное житье-бытье богатое. Такъ, изъ устъ краснослова-пахаря, вѣкующаго свой вѣкъ о-бокъ съ трудовой бѣдностью, вылетѣли на свѣтлорусскій просторъ живучія слова, окрыленныя истинно-христіанской мыслью: „Кинь добро назадъ, очутится впереди!", „Лихо помнится, а добро—вовѣкъ не забудется!", „За добро на небесахъ добромъ платятъ сторицею!", „Добрый человѣкъ проживетъ долгій вѣкъ!", „Гдѣ добра нѣтъ—тамъ не ищи правды, гдѣ нѣтъ правды—ложь всю душу вытянетъ!", „Во злѣ проживать—себѣ добра не желать!", „При солнцѣ и зимой свѣтло, при добродѣтели и въ холоду тепло!", „У добра—ноги сами на прямой путь ведутъ; грѣхъ—окольными путями пробирается, о каждую кочку спотыкается!"

Что ни вѣкъ, что ни годъ — все бо́льшую силу забираетъ надъ міромъ грѣхъ; все крѣпче опутываетъ слабѣющую во-

лею жизнь порокъ своими тенетами-сѣтями, все труднѣе перейти поле жизни, не сбившись на торную тропу, быстро ведущую къ нравственной погибели. Это—общій голосъ старыхъ людей, добромъ поминающихъ минувшія времена. Но они-же сами не прочь повторять и просвѣтляющія сумракъ ихъ взгляда на современность изреченія—въ-родѣ такихъ, какъ, напримѣръ: „Свѣтъ безъ добрыхъ людей не стоитъ!“, „Добродѣтелью каждый день живетъ!“, „Какъ ни худы времена, а все не вымерли люди праведные!“ и т. д. Добрая молва-слава, по стародавнему народному слову, дороже богатства: „Въ богатствѣ сыто брюхо, голодна—душа!“, „Доброе дѣло питаетъ и душу, и тѣло!“, „Добродѣтель и въ водѣ не утонетъ, и въ огнѣ не сгоритъ, и подъ землей не сгноится!“, „Худая слава небо коптитъ, доброе словцо—солнечный лучъ!“, „Зломъ всю жизнь пройдешь, да назадъ не воротишься!“. Таковыми словами продолжаетъ развивать словоохотливый народъ-сказатель свое яркое опредѣленіе добра и зла, порока и добродѣтели.

О-бокъ съ людьми, надо всѣмъ, превыше всего—ставящими вѣру въ торжество правды-истины, всюду найдется немало и такихъ, что по̀ходя готовы затемнить-отуманить это свѣтлое солнышко жизненныхъ потемокъ. Не можетъ такой человѣкъ спокойно слышать, что не все еще на свѣтѣ находится подъ несокрушимою властью порока; похвала современнымъ добрымъ людямъ—для его слуха ножъ острый. Если повѣрить имъ на-слово,—нѣтъ въ наши дни ничего истинно-добраго на свѣтѣ, а каждая добродѣтель является личиною тайнаго порока, прикрывающагося мелкими добрыми дѣлами только для того, чтобы отвести глаза отъ крупныхъ грѣховъ. „Добро—о двухъ концахъ, что палка: какъ повернешь, такъ и скажется!“—говорятъ они: „Поучись у добраго человѣка: научитъ—какъ рѣшетомъ воду носить!“, „Другая доброта—похуже воровства!“, „Къ иному добру подойдешь и вживѣ не уйдешь!“, „Нынѣшнее добро — ломаное ребро!“, „Избавь Господь отъ добрыхъ людей, а съ худыми-то мы сами справимся!“. Но не на такихъ оговорныхъ рѣчахъ взгляды народной Руси держатся, не такими недовѣрчивыми глазами смотритъ духовный взоръ народа-пахаря: надѣленъ онъ отъ Бога счастливымъ даромъ—находить и во злѣ крупицу добра. Не мимо молвится въ народѣ, что „свѣтъ и во тьмѣ свѣтитъ“, недаромъ хлѣбосольный-гостепріимный людъ встрѣчаетъ желаннаго гостя привѣтствіемъ—„Добро пожаловать!“, а провожаетъ отъ себя ласковыми словами — „Въ добрый часъ—добрый путь!“.

Покладистая совѣсть не особенно стойкихъ въ борьбѣ съ

ходящимъ по̀-людямъ грѣхомъ людей подсказала народному живучему слову поговорки-присловья: „Не согрѣшивъ, не спасешься!“, „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ!“, „Одинъ Богъ безъ грѣха!“, „И первый человѣкъ грѣха не миновалъ, и послѣдній не избудетъ!“, „Кто Богу не грѣшенъ, царю не виноватъ!“, „Грѣшный честенъ, грѣшный плутъ—въ мірѣ всѣ грѣхомъ живутъ!“ Противъ этихъ, какъ-бы потворствующихъ грѣху-пороку, изреченій въ одинъ голосъ возстаютъ такія слова болѣе сильныхъ духомъ сказателей, какъ: „Съ людьми мирись, а съ грѣхами бранись!“, „Чей грѣхъ—того и бѣда!“, „Грѣхъ—душѣ пагуба!“, „Отъ грѣха бѣги къ спасенію!“, „Грѣхи вопіютъ къ небу!“, „Грѣхъ человѣка въ адъ тянетъ!“, „Грѣхи любезны, да доводятъ до бездны!“, „Отъ грѣха ко грѣху пойдешь, ничего кромѣ погибели не найдешь!“, „Не бойся кнута, бойся грѣха!“ Раскаяніе всегда было сродни душѣ русскаго человѣка. Потому-то и самые закоренѣлые злодѣи зачастую облегчали покаяніемъ бремя отягченной преступленіями души. Въ немъ видитъ народная Русь единственный путь къ исходу изъ заколдованнаго круга нравственной смерти, которая для истинно-русскаго человѣка невримѣръ страшнѣе тѣлесной. „Правда—свѣтлѣе солнца!“ — говорятъ добрые люди православные. Ложь, по народному представленію, темнѣе ночи, правда—мать добродѣтели, ложь—прародительница пороковъ, діаволъ — отецъ лжи, сѣющій по́-людямъ грѣхи, низводящіе человѣчество съ горнихъ высотъ надежды въ мрачную бездну отчаянія. На этихъ крѣпкихъ-незыблемыхъ устояхъ держится народная нравственность, несмотря на то, что вокругъ нея бушуетъ бурливое море соблазновъ, что ни годъ становящихся ярче-цвѣтистѣе да назойливѣй-неотвязнѣе. „Проѣхалъ-было мимо, да завернулъ по дыму!“, „На алый цвѣтокъ летитъ и мотылекъ!“, „Медъ—сладко, мухѣ падко!“, „Адамовы дѣтки—на грѣхъ падки!“—обмолвился русскій народъ о привлекающемъ глазъ соблазнѣ-искушеніи, но въ тоже самое время изрекаетъ свой приговоръ надъ поддающимися обаянію послѣдняго: „Порокъ — лихая болѣсть!“, „Порочный человѣкъ – калѣка!“, „Испорочилъ душу—сгнилъ заживо!“.

Но не съ легкимъ сердцемъ готовъ осудить опуганнаго тенетами пороковъ грѣшника человѣкъ, ведущій болѣе близкую къ добродѣтели жизнь. Скажетъ онъ сгоряча иногда и такое жестокое слово, какъ „Худая трава—изъ поля вонъ!“, или „Туда ему и дорога!“, „Повадился кувшинъ по̀-воду ходить, тамъ ему и голову сломить!“, „Одна паршивая овца все стадо портитъ!“ и т. п. Но пройдетъ первый пылъ, одумается обмолвившійся такимъ словомъ и совсѣмъ на иной

ладъ заговоритъ: слишкомъ сросся-сроднился съ его широкой-глубокою душой евангельскій великій завѣтъ: „Не судите, да не судимы будете!“ По его прямодушному слову: „Осудить легко, да понапрасну обидѣть легче!“, „Зря осудишь—душу погубишь!“ Народная Русь всегда широко открываетъ свои двери покаянію: сердцемъ слышитъ простая душа—искренне-ли, лживо-ли оно, и только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ ошибается въ этомъ опредѣленіи его прозорливый взглядъ. Какъ отецъ древней притчи, готовъ русскій людъ „заколоть тельца“ для вернувшагося на путь правый блуднаго сына, являющагося плотью отъ плоти, костью отъ кости его. Оттого-то и пришлась по-сердцу ему, разошлась-разлетѣлась эта притча въ десяткахъ разносказовъ стиховныхъ изъ устъ убогихъ пѣвцовъ—каликъ-перехожихъ по неоглядной, раздвинувшей свои предѣлы-рубежи къ берегамъ семи морей, родины могучаго богатыря-пахаря Микулы Селяниновича, любимаго сына любвеобильной Матери-Сырой-Земли.

„Человѣкъ бѣ нѣкто богатый, имѣлъ у себе онъ два сына“,—гласитъ одинъ изъ разнопѣвовъ названнаго стиха духовнаго, занесенный въ сокровищницу этого рода народнаго словеснаго творчества. „И рече юнѣйшій сынъ отцу:—Отче! Даждь ми часть отъ богатства! Послушалъ отецъ милосердый, раздѣлилъ имѣніе равнѣ, какъ старѣйшему и юнѣйшему; не сдѣлалъ обиды и меньшему. Скоро младый сынъ отбѣгаетъ, отчее богатство взимаетъ. Отеческихъ нѣдръ отлучился, во чуждей странѣ поселился“...—продолжается стиховный сказъ. Затѣмъ, послѣ краткой передачи повѣствованія о разгульной-грѣховной жизни „отбѣжавшаго“ отъ отца — оторвавшагося отъ земли, слетѣвшаго съ теплаго родного гнѣзда, — жизни, доведшей его до голодной-холодной нищеты, — приводится и самый плачъ блуднаго сына, раскаивающагося въ своихъ грѣхахъ. „О, горе мнѣ, грѣшнику сущу, горе благихъ дѣлъ не имущу!“ — льется изъ глубины уязвленной сознаніемъ своей грѣховности души этотъ плачъ“:—„Растощивъ богатство духовно, живый во странѣ сей голодно; совлекохся первыя одежды, Божія лишися надежды; се моя одежда и дѣло убиваетъ душу и тѣло; отъидохъ далече на страну отъ рожецъ питатися стану; дому чюжды Небеснаго Владыки, недостоинъ жити съ человѣки; временная предпочитаю, явиться отцу какъ не знаю“... Глубокимъ смиреніемъ отзывается въ кроткихъ сердцахъ простодушныхъ слушателей это умиляюще-трогательное покаянное слово, сложенное безвѣстнымъ стихопѣвцемъ, затерявшимся въ волнахъ моря народнаго: „Какъ предъ судъ Божій явлюся, како со святыми вселюся?“—про-

должается онъ: „Отступихъ отъ Бога злобóю, грѣхолюбивъ самъ сый собою. Темность паче свѣта желаю, свыше благодати не чаю. Чтó-же имамъ, грѣшный, сотворити, когда пріидетъ Господь судити? Вопроситъ о своемъ богатствѣ, расточенномъ здѣ во отрадствѣ?“ И вотъ—хватается блудный сынъ, какъ утопающій за соломенку, за мысль, озарившую его темную душу: „Пойду прежде дне того судна и реку вся дѣла мои блудна!“... Въ симбирскомъ разнопѣвѣ эта мысль облекается въ такія слова: —„Пойду я ко Господу, смирюся, паду на пречистыя Его нозы, пролью я умильныя слезы: прости мене, Господи Владыко, заблудшаго сына!“ Записанъ и такой, еще болѣе краснорѣчивый, конецъ „плача“: „Колико наемникъ у отца моего! Паду предъ отцемъ, умилюся, да его пищи не лишуся! Расплачуся горькою слезою, не будетъ-ли милости со мною? Поиду и реку ему смѣло:—Согрѣшихъ ти, отче мой, зѣло! Пріими мя, заблудшаго сына, яко отъ наемникъ едина!“ Народные стихопѣвцы по инымъ мѣстамъ переходятъ отъ плача блуднаго сына къ плачу отца по немъ. „Ахъ, увы, сыне, сыне мой сладчайшій!“—поется-сказывается эта часть стиха: „Наносишь мнѣ бо печаль, плачъ горчайшій. Въ горахъ-ли, въ вертепахъ обитаешь нынѣ, или аки въ скотской живешь въ долинѣ? Ахъ, пронзаешь мнѣ отчую днесь утробу, вводиши менé прямо ты ко гробу!“ Отчій плачъ заканчивается такимъ выкрикомъ обливающагося кровью сердца, рвущагося на части отъ неутолимой тоски-жалости:

„Ахъ, увы, мой сыне! Ахъ, увы, мнѣ горе:
Наносишь мнѣ слезы, якъ окіянъ-море!“

Нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ сильнѣй-глубже материнскаго горя. Недаромъ спѣлась про это горе горькое такая пѣсня, какъ: „Подъ кустикомъ, подъ ракитовымъ, что лежитъ убитъ добрый молодецъ... Что не ласточка, не касаточка, вкругъ тепла гнѣзда увивается—увивается тутъ родная матушка; она плачетъ—какъ рѣка льется, а родная сестра плачетъ—какъ ручей течетъ, молода жена плачетъ—какъ роса падетъ, красно солнышко взойдетъ—росу высушитъ!“. Охъ, какъ велико, какъ безъисходно, это материнское горе, какъ горьки-солоны его слезы!.. Но не сладки—и отцовскія. Завидѣлъ плачущій отецъ своего блуднаго сына,—самъ поспѣшаетъ къ нему навстрѣчу, бросается къ пропадавшему-нашедшемуся—прямо на шею, все простивъ, все освятивъ своею святой печалью.—„Не тужи, азъ грѣхъ твой отмыю!“—восклицаетъ онъ при видѣ покаянныхъ слезъ сына, слыша его рыданіе.

И вотъ,—продолжаетъ народъ-стихопѣвецъ, — „начатъ (его) любезно лобызати, первое богатство давати: облекаетъ въ свѣтлу одежду, даетъ сыну благу надежду; перстень на руку возлагаетъ, первую печать подаваетъ и всей красотѣ сподобляетъ, пѣнія и лики созываетъ“... Возвеселилось сердце отцовское, возрадовался воспрянувшій изъ праха духъ блуднаго сына. „И начаша вкупѣ веселитися, и заклаша телецъ упитанный“,—гласитъ сказаніе, подходящее къ концу, почти не отступая отъ слова притчи евангельской. Увидѣлъ пиръ въ домѣ отеческомъ вернувшійся съ поля старшій сынъ,—увидѣвши, воспылалъ ревностью и недовольствомъ. Стихъ народный кончается отвѣтомъ отца на его упреки:

„Чадо! Вся моя—твоя есть;
Сей-же мертвъ бы и оживе,
Изгиблъ бы и обретеся!“

Глубоко запали въ любвеобильную народную душу эти живыя-оживляющія слова, сроднились съ нравственнымъ обликомъ пахаря, непоколебимо вѣрящаго въ то, что: „Прощенье—грѣшному міру спасенье!“ И благо ему—съ этой истинно-христіанской вѣрою, съ его смиренной кротостью, съ его великой въ своемъ смиреніи, самобытно-славянской простотою.

Какъ стихъ о блудномъ сынѣ является воплощеніемъ взгляда русскаго народа на порокъ и его послѣдствія и въ то-же самое время даетъ яркое представленіе объ отношеніи къ этому вопросу нравственности; такъ и про добродѣтель есть свой особый рядъ пѣсенныхъ сказаній—объ Іосифѣ Прекрасномъ. Въ этихъ-послѣднихъ сказаніяхъ объединилось все то, надъ чѣмъ вѣками думала по этому поводу народная Русь, думала-гадала—не только умомъ разумомъ раскидывала, а и проникновеннымъ взоромъ очей прозорливаго сердца зорко приглядывалась. Какъ и тотъ стихъ, этотъ поется-распѣвается въ многочисленныхъ разнопѣвахъ по всѣмъ уголкамъ родины народа-сказателя. Торжество добродѣтели нашло столь-же громкій-согласный откликъ въ народѣ.

Наибольшей полнотою и картинностью отличается въ пестромъ-цвѣтистомъ кругу этихъ разносказовъ-разнопѣвовъ—олонецкій, записанный П. Н. Рыбниковымъ въ Петрозаводскомъ и Повѣнецкомъ уѣздахъ этой губерніи. Олонецкій край является,—какъ выяснилось изъ трудовъ изслѣдователей-собирателей, — настоящей сокровищницею родной изустной старины, крѣпче держащейся здѣсь за бытовой обиходъ народной жизни, чѣмъ въ другихъ — менѣе памятливыхъ — мѣ-

стахъ. Безвѣстный слагатель стиха объ Іосифѣ Прекрасномъ, повидимому, былъ человѣкъ свѣдущій-начитанный въ книжномъ писаніи; а вмѣстѣ съ тѣмъ—ему нельзя отказать въ извѣстной долѣ творческаго воображенія. Слившись съ народомъ, этотъ стихъ принялъ еще болѣе живую окраску, принарядившись цвѣтистою рѣчью—богатой сопоставленіями и щедрою-тороватой на яркіе прѝсловы и мѣткія опредѣленія и въ то-же время вносящей въ повѣствованіе духъ сказочнаго вымысла.

„Во славномъ было во гради во Израилѣ жилъ-былъ благовѣрный мужъ Яковъ“,—заводится-начинается стихъ—по обычаю всѣхъ стихопѣвцевъ, ведясь не отъ „замысла боянова“, а съ опредѣленія мѣста дѣйствія. Вслѣдъ за такимъ началомъ, стихопѣвецъ переходитъ къ повѣствованію о жизни „благовѣрнаго мужа“:—„Имѣлъ онъ дванадесять сыновей. Старѣйшая большая братья, всегда оны въ поли прибывали, на горахъ оны козловъ, овецъ пасоша. Меньшій юношъ молодыій „именемъ же Осипъ Прекрасныій, завсегда онъ въ своемъ домѣ пребываетъ, отца Якова спотѣшаетъ своей великой красотою, своей отличной лѣпотою“... Какъ и въ ветхозавѣтной повѣсти, обращается къ любимому изъ двѣнадцати сыновей своихъ благовѣрный мужъ („старѣйшій отецъ Яковъ“): „Юношъ ты мой молодыій, именемъ же Осипъ Прекрасныій! Поди въ чисто поле къ своей братьи, снеси ты имъ хлѣба на трапезу, снеси имъ родительское благословенье, чтобы жили бы братья въ совѣтѣ, во совити жили бы, во любови, другъ друга оны бы любили, одинъ одного бы почитали, за-едино хлѣбъ-соль воскушали!“ Не сталъ времени терять „юношъ молодыій, именемъ же Осипъ Прекрасныій“: выслушавъ слова отца, немедленно облекся онъ въ свою „цвѣтную ризу“ и пошелъ въ поле чистое; пришелъ къ братьямъ, остановился и повелъ къ нимъ свою рѣчь привѣтливую: „Старѣйшая большая братья! Принесъ я вамъ хлѣба на трапезу, принесъ вамъ родительско благословенье! Живите вы, братья, во совѣтѣ, во совити живите, во любови, другъ друга вы любите, одинъ одного почитайте, за-едино хлѣбъ-соль воскушайте! Ай-же вы, старѣйшая большая братья! Грозенъ мнѣ-ка сонъ показался: какъ-будто мы въ полѣ прибывали на трудной на крестьянской на работѣ, по снопу пшена мы всѣ выжинали, мой снопъ красивѣе всѣхъ больше, ваши снопы къ ёму приклонивши“... Не пришелся сонъ этотъ по нраву старшимъ братьямъ сновидца,—начали они бросать на Іосифа Прекраснаго свирѣпые-злые взгляды, стали скрежетать зубами, повторяя: „Ай-же ты, нашъ меньшій братъ

Осипъ! Неужель ты надъ нами будешь царемъ, неужели мы тебѣ будемъ поклоняться?“ И вотъ—напали братья на „юноша молодыего“, напавъ—принялись бить-терзать безжалостно-безпощадно: „цвѣтну его ризу скидывали, во глубокій ровъ Осипа вверзили, желтыма пескамы засыпали; они взяли—козла закололи, изъ козла оны кровь источили, въ козелью кровь ризу замарали“... Сдѣлавъ это, стали они совѣтъ держать: „какъ буде отцу Якову сказати, какъ буде Израиля обманути“... Порѣшено было идти къ отцу самому младшему изъ братьевъ, Веніамину („Вельямину“—по произношенію сказателя): „Ай-же ты, нашъ меньшій братъ Вельямине! Поди ты домой къ отцу Якову, снеси ты эту Осипову ризу, оболги ты старѣйшаго отца Якова, принеси ты намъ хлѣба на трапезу, принеси ты намъ родительско прощенье, принеси ты намъ родительско благословенье!“

Не прекословилъ старшимъ братьямъ меньшой братъ,—все выполняетъ Веніаминъ-Вельяминъ по сказанному, какъ по писанному. Пришелъ онъ къ отцу, начинаетъ „облыгать“ старика: „Старѣйшій отецъ нашъ Яковъ! Прими ты эту цвѣтную ризу: цвѣтная риза есть Осипа. Нашли мы эту ризу на горахъ: на горахъ лежитъ риза повержена. Мы не знаемъ, куда онъ подѣвался: таки-ль шелъ въ пустыню—заблудился, али его разбойники убили, али его звири растерзали, али его птицы расклевали?“. Горько отозвалась въ старомъ сердцѣ эта нежданная-негаданная вѣсть о любимомъ сынѣ: прижалъ благовѣрный мужъ Яковъ къ своему сердцу цвѣтную окровавленную одежду сыновнюю, залился слезами горючими. „Юношъ ты мой молодыій, именемъ же Осипъ Прекрасныій!“—вылетѣло-вырвалось изъ его сердца облитое слезами прозорливое слово: „Ты куда, мое цядо, подѣвался? Таки-ль шелъ въ пустыню—заблудился,—не была-бы твоя риза предо мною; кабы тебя разбойники убили—не оставили бы Осиповой ризы: Осипова риза не простая, Осипова риза золотая, по частямъ бы оны ризу разодрали, по жеребьямъ ризу разметали, по разбойникамъ бы ризу раздѣляли; кабы тебя звири растерзали,—знать было звѣриное терзанье, знать было зубное-бъ изгрызанье на этой на Осиповой ризѣ; кабы тебя птичи расклевали,—знать было-бы птичіе клеванье, знать было ногтиное терзанье на этой на Осиповой ризѣ!...“ Не обмануло вѣщее сердце старика-отца: „Видно, братія Осипа сконцяли!“—заключаетъ онъ свои предположенія и, помолясь Господу Богу, рѣшаетъ не пускать Вельямина-сына въ поле къ старшимъ братьямъ, заподозрѣннымъ въ коварствѣ-злодѣйствѣ. Пошли домой братья, по дорогѣ—посмотрѣ-

ли на скрытаго ими въ глубокомъ рву Іосифа Прекраснаго,—видятъ-слышатъ: „Осипъ во рву слезно плачетъ, ко матушкѣ сырой землѣ причитаетъ“. Порѣшили братья вынуть его изъ желтыхъ песковъ, вывести изо рва,—хотятъ предать его, ни въ чемъ передъ ними не повиннаго, злой-напрасной смерти. „Старѣйшая большая братья!“—взмолился Іосифъ: „не придавайте мнѣ злой смерти напрасной, не пролейте моей крови безповинной! Чѣмъ я вамъ есть не угоденъ? Лучше вы продайте меня на цѣну, себѣ-ка мзду поберите, велику корысть полуците!“ Стали братья совѣтъ держать, согласились на совѣтѣ съ разумностью словъ Прекраснаго: вывели они его на торговую дорогу египетскую, видятъ—ѣдутъ купцы-измаильтяне. „Богатая измаильская купцина!“—закричали они тѣмъ: „купите себѣ у насъ раба, купите себѣ крѣпостного!“ И былъ проданъ любимый сынъ благовѣрнаго мужа Якова, по словамъ сказанія,—какъ Христосъ Іудою,—за тридцать сребренниковъ, продали его братья въ тяжкую неволю на чужбину,—раздѣлили между собою полученную за него „великую корысть“... А купцы-измаильтяне заковали Іосифа Прекраснаго въ оковы,—повезли въ Египетское царство... Идетъ-ѣдетъ путемъ-дорогою торговый караванъ; пришлось держать путь мимо того мѣста, гдѣ была погребена Іосифова мать—„Рахиля.“ Какъ нѣжный-добродѣтельный сынъ, не могъ пройти онъ равнодушно-спокойно мимо святой для него могилы. „Богатая измаильская купцина!“—взмолился онъ. „Слободите вы ручи мои, нозѣ,—пустите меня на гору Патрону, на тую на родительску могилу чюднымъ крестомъ помолиться, къ матернину гробу приложиться, взять мнѣ родительско прощенье, взять мнѣ навѣки благословенье: больше мнѣ у ея не бывати, больше мнѣ и вѣкъ буде не видати!“ Тронулись купцы просьбою своего раба новокупленнаго, сняли они съ него оковы, велѣли проводить стражамъ на могилу. Плакалъ-рыдалъ горькими слезами, причиталъ слезными словами надъ гробомъ матери бѣдный рабъ измаильтянскій;—разжалобились стражи, сердце у нихъ было мягче сердецъ злыхъ-коварныхъ братьевъ. „Юношъ ты нашъ молодыій, именемъ же Осипъ Прекрасныій“—возговорили они, поднимая Іосифа съ могильной насыпи, на которой бился-терзался онъ въ безысходной тоскѣ:—„Со твоею великой красотою, со твоею отличной лѣпотою, не будешь служить царю ты Харавону, не будешь ты тяжкой работы работати: будешь съ воеводами ты забавляться, будешь большо мѣсто занимати, съ вельможами ты честь производити!“.. Вернулся Іосифъ къ купцамъ,—свя-

зали его они, „на корабль проводили, повезли во Египетское царство“. Дорогой вышелъ у измаильтянъ раздоръ изъза молодого раба,—никакъ не могутъ они подѣлить его между собою: „одинъ одному не здаваетъ на цѣну его не продаваетъ...“ Согласились спорившіе-здорившіе бросить Іосифа въ синее море. Взмолился къ нимъ Прекрасный, чтобы не бросали его въ пучину морскую: „буду я вамъ (говоритъ) служить погодно; если вамъ, купцы, не угодно—буду я служить помѣсячно... Если вамъ, купцы, не угодно—свезите во Египетское царство, продайте луце меня на цѣну!...“ Такъ и было порѣшено у купцовъ-измаильтянъ.

На торжищѣ „подъ Египтомъ“ запросили купцы за Іосифа небывалую на рабовъ цѣну. Многое-множество народа собралось,—всѣ любовались на красу Прекраснаго: „богатая египетская купцина всѣ они торги постановили, всѣ купли продажи прикрыли, всѣ они на Осипа взирали, не могли ему цѣну оцѣнити...“ Выпало на долю сыну любимому благовѣрнаго мужа Якова попасть въ рабы къ богатому Перфилію-князю: далъ-заплатилъ онъ купцамъ за Іосифа „безцетную казну“, разрѣшилъ имъ торговать безпошлинно въ городѣ своемъ, Перфильевомъ.

Шло-проходило время. Долго-ли, коротко-ли шло оно,—сказъ умалчиваетъ про это. Богатый Перфилій-князь „въ любовь къ себѣ Осипа принимаетъ, за-едино хлѣбъ-соль воскушаетъ, со очей никуда-жъ не спущаетъ“... Перфилій—ветхозавѣтный Пентефрій. „У князя зла была княжна“,—продолжаетъ сказъ стиховный свое цвѣтистое слово: „сердцемъ своимъ (она—при видѣ князева любимца) возмутилась, на Осипову красоту засмотрѣлась; въ особые покои выходила, бѣло свое лицо умывала, дороги одежды одѣвала, золоты монисьты налагала, во теплую во спальну проходила, туда къ себѣ Осипа призывала, за бѣлыя руки захватила, безстыжія рѣчи говорила...“ А въ этихъ рѣчахъ улещала-склоняла она Прекраснаго на любовь грѣховную, уговаривала съ собою „жить въ совѣтѣ“, подговаривала—„споить князя злыма питьямы“, соблазняла Іосифа и богатствомъ, и высокимъ почетомъ. Не внималъ безстыжимъ рѣчамъ, а взмолился слезной мольбою, „юношъ молодыій“, глубоко оскорбленный въ своей нравственной чистотѣ-лѣпотѣ—добродѣтели. „Сохранилъ меня Господь братнія смерти; сохранилъ Господь купеческія смерти; сохрани, Господь, тѣлеснаго согрѣшенья!“ Къ молитвѣ Іосифа сказаніе относится съ особой нѣжностью: оно сравниваетъ её съ голубемъ, на небо возлетающимъ... Отклонилъ Прекрасный всѣ соблазны... Далѣе все идетъ—ни въ чемъ

не расходясь съ ветхозавѣтнымъ повѣствованіемъ о женѣ Пентефрія, соблазнявшей Іосифа: воспылавъ злобою на добродѣтельнаго юношу, „дороги одежды (она) скидавала, золоты монисьты сорывала, по теплые спальны раскидала. бѣлое лицо свое растерзала, женски свои волосы растрепала“. — все для того, чтобы очернить голубиную чистоту любимаго раба Перфильева передъ княземъ. Далъ вѣру словамъ жены Перфилій-князь, повѣрилъ тому, что Прекрасный покусился на оскверненіе его, княжьева, ложа,—приказалъ бросить Іосифа въ темницу.

Сидя въ заключеніи, любимый сынъ благовѣрнаго мужа Якова—какъ и библейскій Іосифъ,—разгадываетъ двумъ сосѣдямъ по узамъ загадочные сны, привидѣвшіеся имъ и предвѣщавшіе скорое освобожденіе. Были эти сосѣди—тюремные сидѣльцы — „хлѣбодаръ“ и „виночерпъ“. Все исполнилось, какъ предсказалъ Іосифъ: выпустили обоихъ изъ темницы, вернули на прежнія мѣста при дворѣ „грознаго царя Харавона“ (фараона). А Прекрасному — сидѣть въ узахъ еще три года. Минулъ и этотъ срокъ,—привидѣлись царю смутившіе покой сны, и ни одинъ мудрецъ не смогъ разгадать ихъ, ни одинъ „сносудилецъ“, хотя и разосланы были царскіе указы о томъ по всему египетскому царству. Сны (тучныя коровы, пожранныя тощими) нѣсколько видоизмѣнены въ русскомъ народномъ сказаніи: „Первой етъ сонъ ему показался: первое семь воловъ приходило, толстые волы гладкіе, баскіе, по чистому полю расходились, на лузахъ травы оны не или, изъ ручей, зъ болотъ воды оны не пили,—тое семь воловъ проходило, второе семь воловъ приходило: тощи волы, гладны, ядовиты (жадны),—на лузяхъ всю траву оны пріили, изъ ручей, зъ болотъ воду оны припили,—тые семь воловъ проходило, тутъ скоро ночь скороталась...“ Никому-бы такъ и не разгадать царскихъ сновъ, да вспомнили про Іосифа Прекраснаго его тюремные знакомцы,—донесли про его вѣщій даръ царю грозному. Привели заключеннаго предъ очи царскія.—„Грозимый царю Харавоне!“—отвѣтъ держалъ онъ на слово о снахъ: „Вашіе сны есть не простые, вашіе сны есть царскіе: нельзя просто сновъ вашихъ судити, ты отдай съ себя царскую порфиру, посади меня на царское мѣсто, подай ты мнѣ въ руки царскій шкипетръ, положи на меня царскую корону: тожно я буду сновъ твоихъ судити!“ Далъ свое царское согласіе на все это царь Харавонъ: „Если (говоритъ) сны мои разсудишь, будешь ты прощенъ и помилованъ. Буду жаловать тебя воеводой, буду жаловать тебя полуцарствомъ, буду жаловать тебя полудержавой, послѣ ме-

ня царемъ на царство!" Поклонился царю Іосифъ, а самъ—Прекрасный—говоритъ-прорицаетъ, сны царскіе разгадываючи:—„Первый-етъ сонъ тебѣ показался, первое семь воловъ приходило: то наступитъ семь годовъ къ ряду здоровыхъ, вездѣ будетъ, сударь, хлѣбъ родиться, не гдѣ не будутъ хлѣба вызябати. Приказывай ты хлѣба посѣвати, посѣвай ты въ лузяхъ, въ болотахъ, посѣвай бѣлояровой пшеницы, построй ты запасны магазеи, распусти ты сумму большую по всѣмъ иностраннымъ государствамъ, приказывай хлѣба закупати, привозить въ египетское царство, насыпай запасны магазеи. Тое семь воловъ на проходѣ, второе семь годовъ наступитъ: не гдѣ не будетъ хлѣбъ, сударь, родиться, вездѣ будетъ хлѣбъ вызябати. Какъ у тебя будутъ запасны магазеи, прокормишь ты всю свою державу, съ иныхъ съ иностранныхъ государствій будутъ къ вамъ за хлѣбомъ пріѣзжати, будутъ вашъ хлѣбъ откупати, вы будете велику корысть полуцати!" Разгаданы сны, и вотъ всѣ жители царства—„за Осипа Господа помолили, за Осипа присягу принимали, за Осипа крестъ цѣловали, Осипа царемъ(полуцарства) возносили..." Все вышло по его разгадкѣ, и не преминулъ возведенный на высоту власти Прекрасный выполнить все—какъ говорилъ царю. Провѣдалъ „въ томъ Израильскомъ во градѣ" про египетскіе запасы хлѣба благовѣрный мужъ Яковъ,—послалъ онъ братьевъ Іосифовыхъ за хлѣбомъ. По пріѣздѣ, повели ихъ къ царю Харавону,—бьютъ они челомъ грозному властителину, молятъ отпустить имъ хлѣба. Іосифъ-же, сразу узнавши братьевъ злодѣевъ, позвалъ ихъ въ свои палаты, приказалъ „кормить хлѣбомъ-солью". Сидятъ они за столомъ, пьютъ-ѣдятъ, а Прекрасный къ нимъ свое слово держитъ: держитъ Іосифъ къ братьямъ слово, по имени каждаго называетъ, спрашиваетъ: живъ-ли ихъ отецъ, живъ-ли ихъ братъ меньшій. Братья—„жива отца Якова сказали, а жива брата Осипа не сказали". Выслушалъ Прекрасный, далъ приказъ насыпать братьямъ возы хлѣба, не спрашивая за это никакой платы, а въ возъ къ младшему брату—Вельямину—велѣлъ тайно положить золотую чашу. Уѣхали братья Іосифовы, послалъ Прекрасный за ними въ погоню, приказалъ обыскать возы. Нашли въ одномъ возу чашу. „Ай-же вы, израильскіе люди!"—воскликнулъ Іосифъ: „Я васъ кормилъ хлѣбомъ-солью, безденежно возы вамъ насыпалъ, еще вы тѣмъ мною недовольны, увезли мою царскую чашу!" Освирѣпѣли братья Веніаминовы: „Такой-же дуракъ (говорятъ) былъ его братъ Осипъ, такъ ему, дураку, и смерть слупилась!" Тутъ не могъ выдержать Іосифъ Прекрасный, залился горючими слезами: „Ай-же

вы, старѣйшая большая братья! Какъ бы я дуракъ былъ да мошенникъ, не кормилъ-бы я васъ хлѣбомъ-солью, не насыпалъ-бы возы вамъ безденежно. За что вы мене, братія, убили, цвѣтную вы съ меня ризу сдирали, въ глубокій ровъ меня бросали, желтыма пескамы засыпали, почто изо рву меня выимали, почто вы купцамъ прродавали?" Обмерли отъ страха братопродавцы, пали къ ногамъ Іосифа, „Прости, государь, насъ—помилуй, прости ты насъ, Осипъ Прекрасный!"...

И вотъ—простилъ братьямъ Іосифъ („того онъ зла братняго не помнитъ"). Половину братьевъ оставилъ онъ у себя, а другихъ отпустилъ во Израильскую страну,—просить привезти въ Египетъ отца своего стараго. Прошло нѣсколько времени, успѣли съѣздить братья Прекраснаго на родину, успѣли и вернуться съ благовѣрнымъ мужемъ Яковомъ къ его любимому сыну, возвеличенному Богомъ за высокую добродѣтель. Въ ожиданіи отца приказалъ онъ поставить столбъ, обвить-обить его бархатомъ. Прибылъ ослѣпшій отъ горя благовѣрный мужъ Яковъ, велѣлъ сынъ проводить его къ поставленному столбу,—началъ тотъ обнимать его, принимая за сына любимаго: „Свѣтъ ты мое любезное чадо, юношъ ты мой молодыій, затужило твое ретивое сердецко на чужой на дальной на сторонки!" Отъ жаркихъ объятій старца выступилъ сокъ изъ столба съ обоихъ концовъ; если-бы это былъ не столбъ—не остаться-бы въ живыхъ Іосифу Прекрасному. „Старѣйшій отецъ ты нашъ Яковъ",—говоритъ онъ отцу: „тутъ тебѣ столопъ, сударь, поставленъ,ты былъ ко столопу, сударь, приведенъ; укроти свое сердце богатырско, сдѣмъ со мной доброе здоровье!"—„Спасибо, любезное мое чадо, что ты не шелъ теперь ко мнѣ въ руки: зажалъ-бы съ тоски тебя до смерти!"—было отвѣтнымъ словомъ слѣпца.

Стихъ кончается краткимъ сказомъ про то, какъ повелъ Іосифъ отца во свои палаты, сталъ угощать-чествовать,—какъ жаловалъ онъ всѣхъ братьевъ „боярскими - генеральскими" чинами, жаловалъ и „удѣльными городами"; какъ „Яковъ блаженный" жилъ-поживалъ во Египтѣ двѣнадцать лѣтъ, а когда умеръ-преставился—приказалъ Іосифъ перевезти его прахъ во Израильское царство, гдѣ и похоронить „у соборной Божьей церкви". Самъ-же Прекрасный „сто десять лѣтъ царствовалъ (вторымъ по царѣ) во Египтѣ", а по кончинѣ также были отвезены его мощи на родину. „Ему слава и нынѣ, во вѣки вѣковъ, аминь",—договариваетъ послѣднее слово сказъ, посвященный возвеличенію добродѣтели надъ порокомъ.

LXI.

Дѣтскіе годы.

Трудовая-подвижническая жизнь народа-пахаря, идущая по бѣлу свѣту рука-объ-руку съ бѣдностью, несмотря на всю темноту своихъ невзгодъ, не заслоняетъ свѣта солнечнаго отъ усталыхъ очей вѣковѣчнаго работника — со всею той радостью, какую несетъ землѣ этотъ чудодѣйный даръ неба. Чуткое сердце простолюдина болѣе, чѣмъ чье бы то ни было, надѣлено способностью смотрѣть проникновеннымъ взоромъ въ глубину обступающаго сумрака и находить въ немъ яркіе просвѣты, не только примиряющіе съ жизнью, но даже вызывающіе въ самомъ оскорбленномъ и униженномъ судьбою человѣкѣ любовь къ ней. На свой ладъ воспринимая впечатлѣнія всего окружающаго, суевѣрная душа народа, до сихъ поръ остающагося „тысячелѣтнимъ ребенкомъ“, близка къ матери-природѣ,—какъ былинка—къ возростившей ее землѣ-кормилицѣ. Въ ней, несмотря на всесокрушающую работу времени, еще не успѣла изгладиться та воспріимчивость, съ какою, напримѣръ, смотритъ дитя на разстилающійся передъ нимъ необъятно-широкій просторъ міра Божьяго. Каждое явленіе природы и жизни запечатлѣвается въ ней—со всею своей полнотою и самобытностью,—и не только запечатлѣвается, но и обогащаетъ эту воспріимчивую душу чистымъ золотомъ вѣры въ свѣтъ и тепло бытія и въ побѣду ихъ надъ тьмою и холодомъ жизни. Зеркало души народной—его не страшащееся смерти слово, выкованное могучимъ молотомъ творческаго воображенія на несокрушимой наковальнѣ многовѣковой мудрости,—отразило въ своихъ бездонныхъ глубинахъ все, чѣмъ живетъ и дышетъ, все—что̀ видитъ и

чувствуетъ, все,—надъ чѣмъ печалится и чему радуется эта безпомощная въ своемъ стихійномъ могуществѣ, эта могучая въ своей дѣтской безпомощности душа. Слово-сказаніе и слово-преданіе орошающаго трудовымъ потомъ грудь Матери-Сырой-Земли богатыря-пахаря, почерпающаго въ безконечной преемственности поколѣній великую мощь, не обошло и взглядовъ народа на зарумяненные раннею зорькой земного бытія дѣтскіе годы, со всѣми ихъ запечатлѣвающимися до гробовой доски радостями и мелкими-преходящими невзгодами. Ведетъ оно объ ясномъ утрѣ жизни человѣческой свой особый цвѣтистый сказъ.

Дѣти, по слову народной мудрости—„благодать Божья“; ими благословляетъ Богъ семейное счастіе. „У кого дѣтей много, тотъ не забытъ отъ Бога!“—говоритъ посельскій деревенскій людъ, говоря—приговариваетъ: У кого дѣтей нѣтъ—во грѣхѣ живетъ!“ Такимъ образомъ и на Руси бездѣтность считается карою Господней за грѣхи, какъ у древняго Израиля. Богомолы—люди старые—подаютъ молодожонамъ, лишеннымъ „Божьяго благословенія“, добрый совѣтъ: взять пріёмыша, чужого ребенка-сироту, „въ дѣти“, чтобы—„Богъ простилъ, своихъ дѣтокъ зародилъ“. Благочестивая старина, крѣпко на-крѣпко державшаяся за прадѣдовскіе завѣты, сберегла до нашихъ забывчивыхъ дней и такія изреченія о дѣтяхъ, какъ, напримѣръ: „Дай-то Богъ дѣтокъ народить, дай-то Богъ дѣтокъ воскормить!“, Кому дѣтей родить—тому и кормить!“, „На дѣтокъ Господь подастъ!“, „Первый сынъ—Богу, второй—царю, третій—себѣ на пропитаніе!“, „Сынъ да дочь—красныя дѣтки!“, „Сынъ да дочь—день да ночь, и сутки полны!“, „Дочерьми люди красуются, сыновьями въ почетѣ живутъ!“, „Кто красенъ дочерьми да сынами въ почетѣ—тотъ и въ благодати!“ и т. д. „Счастливъ отецъ въ сыновьяхъ, а мать—въ дочеряхъ!“—молвитъ крылатое народное слово. Но оно-же обмалвливается, словно себя само оговариваючи, что: „Дѣтки—дѣткамъ рознь!“ Какъ-бы въ поясненіе къ этому подсказанному житейскимъ опытомъ присловью, ведетъ пахарь-народъ и такія рѣчи о дѣтяхъ, какъ: „Добрый сынъ—на старость печальникъ, на поконъ души поминщикъ!“, „Добрый сынъ—всему свѣту завидище!“, и такія, какъ: „Блудный сынъ—ранняя могила отцу!“, „Худое дитятко—отцу-матери безчестье, роду-племени—позоръ!“, „Дѣтки хороши—отцу-матери вѣнецъ, худы—отцу-матери конецъ!“ Отъ опечаленныхъ дѣтьми отцовъ-матерей пошли ходить по свѣтлорусскому простору такія поговорки, какъ: „У кого дѣтки—у того и бѣдки!“, „Маленькія дѣтки—маленькія бѣдки, а выростутъ ве-

лики—большія бѣды будутъ", „Дѣти—на рукахъ сѣти!", „Малыя дѣти не даютъ спать, большія не даютъ дышать!", „Съ малыми дѣтьми горе, съ большими—вдвое!".

Какъ, по народному-же слову, дыма безъ огня не бываетъ на свѣтѣ бѣломъ, — такъ и дѣти не сдѣлаются для своихъ отца-матери „бѣдками" безо всякой причины. По большей части корень этой-послѣдней скрывается въ самихъ огорчаемыхъ своимъ потомствомъ людяхъ. По крайней мѣрѣ, таковъ взглядъ на это дѣло у стоокой народной мудрости. „Каковы батьки-матки—таковы и дитятки!", „Яблочко отъ яблонки недалеко падаетъ!", „Умѣлъ дѣте родить, умѣй и научить!", „Дитятко, что тѣсто—какъ замѣсилъ, такъ и выросло!", „Изъ ребенка, какъ изъ воска—что хочешь, то и лѣпи!"... Много можно было-бы припомнить подобныхъ только-что приведеннымъ изреченій, и всѣ они сводятся къ такому заключающему-замыкающему ихъ пестроцвѣтную цѣпь звену, какъ: „Не тотъ отецъ-мать, кто родилъ, а тотъ—кто вспоилъ, вскормилъ да добру научилъ!" Твердо памятуетъ честной деревенскій людъ эти слова, хотя любой отецъ готовъ возразить на нихъ поговоркой-пословицею—„Глупому сыну и умный отецъ разума не пришьетъ?", или: „Въ худомъ сынѣ и отецъ не воленъ: его крести, а онъ—пусти!"

Родятся дѣти, по образному мѣткому народному слову—какъ грибы („отъ сырости"), растутъ—какъ „пшеничное тѣсто на опарѣ". Хоть и бѣденъ-бѣденъ иной отецъ, а все на тѣсноту отъ ребятъ рѣдкій станетъ жаловаться,—словно памятуя завѣтное словцо дѣдовъ-прадѣдовъ, сказавшихъ, что „много" дѣтей бываетъ, а „лишнихъ никому Богъ не пошлетъ". Худы-ли, хороши-ли—все свои дѣти. „Который палецъ ни укуси—все больно!"—примѣняется къ этому понятію нашъ дѣтолюбивый народъ. „И змѣя своихъ змѣятъ не ѣстъ!", „Огонь—горячо, дитя—болячо!", „У княгини—княжата, у кошки—котята!", „Свое дитя—и горбато, да мило!", „Дитятко криво, а отцу съ матерью—мило!". „На чужой горбокъ не насмѣюся, на свой—не нагляжуся!", „Свой дуракъ дороже чужого умника!"—продолжаютъ развивать эту основную мысль деревенскіе краснословы.

Видя въ сыновьяхъ своихъ богоданныхъ кормильцевъ (на старость лѣтъ), держащійся за землю хлѣборобъ сложилъ, пустилъ гулять по неоглядной народной Руси такія ходячія слова, какъ: „Сынокъ-сосунокъ—не вѣкъ сосунъ: черезъ годъ—стригунъ, черезъ два—бѣгунъ, черезъ три—игрунъ, а затѣмъ—и въ хомутъ!" Въ этой поговоркѣ отразилась, какъ въ зеркалѣ, вся кратковременность крестьянскаго „утра жиз-

ни"—игриваго, расцвѣченнаго зорями счастливой беззаботности дѣтства: чуть только начнетъ выравниваться мальчишка, не успѣетъ еще ни наиграться, ни набѣгаться,—какъ за бороною по отцовской пашнѣ ходитъ, сивку-бурку погоняетъ, вспоминаючи „вѣщаго каурку" бабушкиныхъ сказокъ, еще звучащихъ въ ушахъ. „Сына рости—кормильца выростишь!", „Работные сыновья—отцу хлѣбы!", „Корми сына до поры, придетъ пора: сынъ тебя покормитъ!"—слово за словомъ роняетъ по своей путинѣ посельщина-деревеньщина, до краснаго словца—какъ до сытнаго хлѣба—охочая. Завѣщаетъ она дѣтямъ-внукамъ-правнукамъ помнить хлѣбъ-соль родителей-дѣдовъ-прадѣдовъ: „Не оставляй матери-отца (говоритъ она)—и Богъ тебя не оставитъ до конца!", „Отца-мать не накормилъ—самъ себя на голодъ навелъ!" и т. д.

Хотя и зоветъ народъ-пахарь всѣхъ вообще дѣтокъ „благословеніемъ Божіимъ", но къ будущимъ пахотникамъ относится съ бо́льшей привѣтливостью, чѣмъ къ жницамъ. „Сынъ—домашній гость, а дочь—въ люди пойдетъ!"—говоритъ онъ, встрѣчая вѣсть о приращеніи чьей-либо семьи, все равно—своей, или сосѣдской: „Дочь—чужое сокровище: холь да корми, учи да стереги, а все—въ люди отдашь!"—вырисовывается въ этихъ и имъ подобныхъ поговоркахъ все тотъ же труженикъ-скопидомъ, хозяйственный человѣкъ, какимъ является русскій деревенскій людъ въ своихъ красныхъ образностью, яркихъ мѣткостью сказаніяхъ—о хлѣбѣ насущномъ, достающемся ему путемъ „страднаго" труда.

Знаетъ отецъ-крестьянинъ, что не станетъ баловать жизнь его родившихся на крестьянствованіе дѣтокъ, почему и закаляетъ ихъ съизмала, подготовляя ко всевозможнымъ лишеніямъ, пріучая къ тяготамъ всякимъ. „Изъ набало́ванныхъ дѣтокъ добра не будетъ!"—изрекаетъ строгій приговоръ „матушкинымъ сынкамъ-запазушникамъ" суровый деревенскій опытъ. „Засиженное яйцо—всегда болтунъ, заняньченный сынокъ—всегда шатунъ!", „Что мать въ голову баловствомъ вобьетъ, того отецъ и кулакомъ не выбьетъ!" Но еще болѣе сурово звучатъ такія, точно сложившіяся по „Домострою", пословицы, какъ: „Наказуй дѣтей въ юности, успокоютъ тя на старости!", „За битаго—двухъ небитыхъ даютъ!", „Корми сытнымъ кускомъ, учи—крѣпкимъ дубкомъ!", „Не станешь учить, когда поперекъ лавки ложится,—во всю вытянется, не выучишь!", „Учи сына жезломъ, въ разумъ войдетъ—не попомнитъ отца зломъ!" и т. п.

Хотя, по пословицѣ, родительское-отцовское слово не мимо

молвится,—но и мать на-вѣтеръ тоже не скажетъ о своихъ дѣткахъ-малолѣткахъ. Сердце материнское жалостливо; недаромъ отецъ зовется „грознымъ батюшкой“, а ее народное пѣсенное слово иначе—какъ „родимой матушкою“—никогда и не величаетъ. „Птица радуется веснѣ, а мать—дѣткамъ“, „У кого есть матка—у того и головка гладка!“, „Нѣтъ лучше-милѣй дружка—какъ родная матушка!“, „Мать праведна—ограда каменна!“, „Мать о дѣтяхъ днемъ печальница, въ ночь ночная богомолица!“, „Кому и пожалѣть дѣтокъ—какъ не родимой матушкѣ!“, Народъ нашъ относится къ матери съ такимъ любовнымъ чувствомъ, такъ высоко возноситъ понятіе о ней, что, по его словамъ—нѣтъ на свѣтѣ дороже сокровища (богаче богачества)—какъ материнское благословеніе, а молитва ея—„со дна моря поднимаетъ“. Нѣтъ горше материнской печали о своихъ дѣтяхъ: „до-вѣку“ ея слезы о нихъ. Если и принимается она, по суровому примѣру отца, „учить“ своихъ малолѣтокъ, то,—гласитъ простодушная мудрость,—даже ея побои „не долго болятъ“. По словамъ старинныхъ поговорокъ: „Родная мать и высоко замахивается, да не больно бьетъ!“, „Своя матка и бьетъ, да не пробьетъ, а чужая, гладя (лаская), прогладитъ („и гладитъ—такъ бьетъ“—по иному разносказу)!“, „И побой-не въ побой, коль отъ матушки родной!“

О сиротахъ-малолѣткахъ молвятся въ народной Руси свои особыя слова-присловья. „Безъ отца—полсироты, а безъ матери-и вся сирота!“—гласитъ окрыленное житейской правдою слово. „И пчелки безъ матки—пропащія дѣтки!“—добавляетъ оно, продолжая: „При солнышкѣ тепло, при матери—добро!“, „Все живучи найдешь, а второй матери не сыщешь!“ и т. д. Тяжелымъ-тяжело житье сиротское,—недаромъ сложилось такое сопоставленіе, какъ: „Въ сиротствѣ жить—день-деньской слезы лить!“ Но изстари вѣковъ слылъ сердобольнымъ русскій хлѣборобъ: сироту пристроить—для него самое богоугодное дѣло. Потому-то и говорится на Руси, что—„За сиротою—самъ Богъ съ калитою!“, „Далъ Господь сиротинкѣ ротокъ—дастъ и хлѣба кусокъ!“, „Для сиротинки—нѣтъ чужбинки!“, „Идетъ сирота—распахни ворота!“, „Не накормишь, не пригрѣешь сироту—свои дѣтки сиротами жизнь проживутъ!“, „Сиротскую обиду Богъ отплатитъ сторицей!“.

Примѣты старыхъ, перешедшихъ поле жизни, людей сулятъ счастье каждому тому сыну, который уродился обликомъ „въ матушку родимую“; та дочь счастлива, по ихъ словамъ, которая похожа на отца. Тотъ ребенокъ выйдетъ-выростетъ

краснѣе, нося котораго подъ сердцемъ, мать чаще смотрѣла на мѣсяцъ, чѣмъ на солнце. Рожденіе ребенка окружается въ крестьянскомъ быту цѣлымъ частоколомъ примѣтъ, но не меньше ихъ пріурочено ко „вторымъ родинамъ“—крестинамъ. Такъ, если воскъ съ закатанными въ него постриженными волосками ребенка потонетъ въ купели,—это сулитъ очень мало добра для крещаемаго: скорѣе всего—смерть. Чтобы легче жилось ребенку на свѣтѣ—совѣтуется ставить на окно чашку съ водою, когда понесутъ его крестить. „По-воду для крещенія ходи безъ коромысла, — нето крестникъ горбатый будетъ („одинъ горбъ только и наживетъ“—по иному разносказу)!“ Если священникъ дастъ крещаемому имя преподобнаго, это обѣщаетъ ему счастливую жизнь; а если имя мученика,—и жизнь сойдетъ на одно сплошное мученье. Если новорожденнаго приметъ бабка-повитуха на отцовскую рубаху—отецъ крѣпко любить станетъ; если послѣ этого положить ребенка на косматый бараній тулупъ,—ожидаетъ его богатство. Если крестильную рубашку первенца-ребенка надѣвать потомъ на всѣхъ другихъ дѣтей,—будетъ между ними всегда совѣтъ да любовь, а раздоръ къ нимъ и не подступится вовѣкъ. Чтобы мальчикъ былъ большаго роста,—однѣ опытныя бабки поднимаютъ его на крестильномъ столованьѣ-пированьѣ къ потолку надъ головою, другія-же—не менѣе опытныя въ такомъ дѣлѣ—выплескиваютъ для этого къ потолку рюмку вина. Есть такіе незадачливые люди, у кого дѣти хоть и родятся, да не живутъ („не жильцы на бѣломъ свѣтѣ“). Чтобы избавиться отъ этого горя-злосчастія („На рать сѣна не накосишься, на смерть ребятъ не нарожаешься!“, „Чѣмъ дѣтей терять—лучше-бъ не рожать!“),—надо, по словамъ примѣтливыхъ кумовей, брать кумомъ перваго встрѣчнаго (даже и не знакомаго, если согласится). Былъ еще способъ избавиться отъ такой напасти: продѣть новорожденнаго (до крестинъ) три раза въ лошадиный хомутъ,—но въ силу этого способа не вѣрятъ теперь и самые довѣрчивые къ старинѣ люди. Если кто хочетъ, чтобы ребенокъ раньше принялся ходить—надо провести его за-руки по голому полу во время пасхальной заутрени; чтобы сонъ младенца былъ спокойнѣе—не нужно только ничего вѣшать на колыбельный очепъ; чтобы „не обмѣнилъ ребенка нечистый“ (бываетъ, говорятъ, и такая бѣда!), совѣтуется класть ему въ-головы „вѣникъ съ первой бани“, которымъ выпарятъ родильницу. Никому не позволяютъ знающіе-помнящіе примѣты родители хвалить ребенка въ-глаза,—„Не дай Богъ на недобрый глазъ натолкнуться!“—говорятъ они: „Какъ-разъ сглазитъ, несчастнымъ на весь

вѣкъ не сдѣлаетъ, такъ на болѣсть лихую наведетъ!“ Чтобы не выросъ ребенокъ „лѣвшой“ совѣтуютъ, не класть его спать на лѣвый бокъ; чтобы отвести отъ него всякіе „призоры“, моютъ его въ первой банѣ водой, забѣленною молокомъ. Мало-ли и другихъ примѣтъ ходитъ по народной Руси о дѣтяхъ и дѣтствѣ! Есть даже (въ Пудожскомъ уѣздѣ Олонецкой губ.) и такая, что—если станутъ позволять ребенку „лизать рогатку“,—то ему никогда грамотѣ не выучиться. Не можетъ быть и сомнѣнія въ томъ, что это—повѣрье недавнихъ дней, когда въ народѣ пробудилось уже сознаніе той истины, что: „Грамота—второй языкъ!“, „Ученье—свѣтъ, неученье—тьма“.

Старинымъ грамотѣямъ былъ наособицу памятенъ святъ-Наумовъ день (1-е декабря), когда просили-молили по всей Руси пророка Наума „наставить на умъ“ малыхъ ребятъ. Къ этому дню, починавшему „наумленье“-ученье, пріурочивались особые обычаи, еще совсѣмъ недавно соблюдавшіеся по захолустнымъ уголкамъ родины богатырей-пахарей. О нихъ своевременно уже велась рѣчь, въ одномъ изъ предыдущихъ очерковъ.

Взглядъ народа-хлѣбороба на книгу-грамоту не могъ не отразиться въ могучихъ волнахъ его словеснаго моря. „Не кустъ, а съ листочками; не рубашка, а сшита; не человѣкъ, а разсказываетъ!“—говоритъ народъ-краснословъ о книгѣ. „Одинъ заварилъ, другой налилъ; сколь ни хлебай, а на любую артель еще станетъ!“—подговаривается псковская загадка о томъ-же источникѣ неисчерпаемаго свѣта“. Въ казанскомъ Поволжьѣ загадывается о книгѣ на иной ладъ: „Подъ крыльцомъ, крыльцомъ яристомъ, кубаристомъ, лежитъ катокъ некатанный; кто покатаетъ, тотъ и отгадаетъ!“ У рязанцевъ-зарайцевъ съ ярославцами-пошехонцами сложился свой особый сказъ про перо (гусиное): „Носила меня мать, уронила меня мать, подняли меня люди, понесли въ торгъ торговать, отрѣзали мнѣ голову, сталъ я пить и ясно говорить!“. „Голову срѣзали, сердце вынули, даютъ пить, велятъ говорить!“—ведутъ болѣе короткую рѣчь о томъ-же гусиномъ перѣ новгородскіе краснословы. „Малъ малышокъ, а мудрые пути кажетъ!“—отзывается начинающій пріохочиваться къ грамотѣ деревенскій людъ—о карандашѣ. Исписанная бумага представляется народному слову „бѣленькой землею съ черненькими пташками“. Загадки о ней гласятъ слѣдующее: „Бѣлое поле, черное сѣмя, кто его сѣетъ - тотъ и разумѣетъ!“, или: „Сѣмя плоско, поле гладко, кто умѣетъ—тотъ и сѣетъ; сѣмя не всходитъ, а плодъ приноситъ!“ О письмѣ (посылаемомъ) обмолвилась народная Русь въ таковыхъ словахъ:

„Безъ рукъ, безъ ногъ, а вездѣ бываю!“, „Въ Москвѣ рубятъ, къ намъ щепки летятъ!“, „За моремъ дубъ горитъ, оттуда искорья!“ и т. п. „Разстилается по двору бѣлое сукно; конь его топчетъ, одинъ ходитъ, другой водитъ, черныя птицы на него садятся!“—загадывается о бумагѣ, пальцахъ, писцѣ и буквахъ. „Ни небо, ни земля, видѣніемъ бѣла, трое по ней ходятъ, одного водятъ, два соглядаютъ, одинъ повелѣваетъ!“—ведется загадочная рѣчь о бумагѣ, буквахъ, глазахъ, пальцахъ и умѣ-разумѣ.

У западно-славянскихъ и сосѣднихъ съ ними—не славянскаго корня—народовъ въ стародавнія времена существовали преданія о томъ, что дѣти до своего рожденія на свѣтъ живутъ въ безвѣстныхъ пространствахъ небесныхъ міровъ, откуда и прилетаютъ въ урочный-предопредѣленный срокъ на землю—въ видѣ бѣлыхъ бабочекъ-мотыльковъ, чтобы вселиться въ новорожденнаго. У сопредѣльныхъ со славянами нѣмцевъ еще и теперь въ шутку увѣряютъ дѣтей, что ихъ принесъ на землю аистъ, доставшій изъ колодца, гдѣ они жили въ подводномъ царствѣ, гуляли въ цвѣтущихъ лугахъ, питаясь медомъ изъ цвѣточныхъ чашечекъ. Точно такое-же сказанье стародавнихъ дней еще недавно повторялось у чеховъ, относившихся къ нему съ полнымъ довѣріемъ. Въ этомъ чувствуется несомнѣнная связь съ преданіями объ олицетворявшихъ нерожденныя души эльфахъ, мудрыхъ-прекрасныхъ малюткахъ, населявшихъ въ средневѣковую пору нѣдра горъ и невидимкою выходившихъ оттуда въ часъ рожденія человѣка. Въ Германіи до сихъ поръ показываютъ такія мѣста, гдѣ, по преданію, жили-веселились эльфы, добрые сосѣди злыхъ карликовъ и гномовъ. Обиталищемъ тѣхъ и другихъ были, кромѣ горныхъ проваловъ-ущелій и пещеръ, лѣсные овраги, дупла вѣковыхъ дубовъ и тому подобные укромные уголки природы, чудеснымъ образомъ объединявшей въ себѣ простоту съ таинственностью. Богемскія сказки, имѣющія не мало общаго съ нѣмецкими, переносятъ мѣстопребываніе младенческихъ душъ, не видѣвшихъ жизни, на острова небеснаго моря-океана, омывающаго вселенную. Эти острова (олицетвореніе свѣтлыхъ облаковъ, плавающихъ по воздушной лазури) представляется воображенію сказочниковъ сплошь покрытыми розами, не отцвѣтая—благоухающими. Дѣти-эльфы рѣзвились-играли на нихъ вмѣстѣ съ крохотными птичками и бабочками, сами мало чѣмъ отличаясь—какъ отъ тѣхъ, такъ и отъ другихъ. Здѣсь, въ этой чудесной странѣ, никогда не бываетъ зимы и вѣчно царитъ лучезарный день, озаряемый незакатывающимся солнцемъ; и въ то-же самое вре-

мя островамъ эльфовъ незнакомо ни малѣйшее дуновеніе смерти. Уводитъ Дѣва Судьба на землю однихъ легкокрылыхъ обитателей ихъ, а оттуда уже спѣшатъ-возвращаются „домой“ другіе, успѣвшіе по дорогѣ позабыть обо всемъ земномъ съ его печалями-тревогами, съ его похожими на горе радостями, съ его мучительнымъ блаженствомъ,—возвращаются такими-же чистыми, беззаботными и жизнерадостными, какими были прежде.

Такимъ образомъ, преданіе объединяло міръ нерожденныхъ съ блаженной страною, населенной душами праведниковъ. По другимъ онѣмеченнымъ славянскимъ преданіямъ—возвращались въ небесный рай эльфовъ только души безгрѣшныхъ младенцевъ, которымъ нечего было и забывать изъ омраченнаго грѣховной печалью земли.

На Руси никогда не существовало такихъ преданій, но нѣчто подобное слышится въ разсказахъ о томъ, что дѣти-малолѣтки видятъ во снѣ райскіе сады, благоухающіе розами, по описанію совершенно напоминающіе острова эльфовъ. На дѣтскіе вопросы о рожденіи у насъ, обыкновенно, отвѣчаютъ, что „нашли въ травѣ“, „принесли вороны“ и т. п. Все это невольно напрашивается на сопоставленіе съ только-что приведенными сказаніями нѣмцевъ и онѣмеченныхъ славянъ. Въ Тверской губерніи, на старой-кондовой Велико-Руси, записана любопытная колыбельная пѣсенка.

„Богъ тебя далъ,
Христосъ даровалъ,
Пресвятая Похвала (Богородица)
Въ окошечко подала,—
Въ окошечко подала,
Иванушкой назвала;
Нате-тко—
Да примите-тко!“—

— запѣвается-начинается эта пѣсенка. Продолжается она обращеніемъ къ близкимъ ребенку людямъ:—„Ужъ вы, нянюшки, ужъ вы, мамушки! Водитеся, не лѣнитеся! Старыя старушки, укачивайте! Красныя дѣвицы, убаюкивайте!“ Вслѣдъ за этими увѣщательными словами, съ которыми-де подала малютку въ окошечко „Похвала“, идетъ самое убаюкиванье: „Спи-се съ Богомъ, со Христомъ! Спи со Христомъ, со ангеломъ! Спи, дитя, до утра, до утра до солнышка! Будетъ пора, мы разбудимъ тебя. Сонъ ходитъ по лавкѣ, дремота по избѣ; сонъ говоритъ: „Я спать хочу!“ Дремота говоритъ:—„Я дремати хочу!“ По полу, по лавочкамъ

похаживаютъ, къ Иванушкѣ въ зыбочку заглядываютъ,—заглядываютъ, спать укладываютъ"... Многое-множество другихъ колыбельныхъ пѣсенъ распѣвается на Руси и надъ мягкой постелькою барскаго дитяти—нянюшками-мамушками, и надъ холщевой или лубяной зыбкою будущаго пахаря-хлѣбороба Русской Земли. И въ каждой пѣсенкѣ, кѣмъ бы она ни пѣлась, чувствуется нѣжная любовь къ маленькому существу, несущему въ міръ улыбку солнца, озарявшаго потерянный рай праотцевъ человѣчества. И каждая-то пѣсенка, тихимъ журчаніемъ ручейка льющаяся надъ колыбелью, встрѣчаетъ „случайнаго гостя земли" привѣтливымъ обѣщаніемъ всяческихъ благъ земныхъ. Нѣкоторыя сулятъ ему,—хотя-бы онъ и былъ дѣтищемъ бѣдняка-бобыля, и въ глаза не видывавшаго никакихъ приманокъ жизни,—что онъ „вырастетъ великъ, будетъ въ золотѣ ходить, будетъ въ золотѣ ходить, чисто серебро носить, нянюшкамъ-мамушкамъ, дѣвушкамъ-красавицамъ пригоршни жемчугу дарить" и т. д. Въ другихъ утѣшаютъ будущаго крестьянина тѣмъ, что онъ „будетъ воювать—богатырствовати, службу царскую служить, прославлятися". Третьи—сулятъ убаюкиваемому нѣчто иное болѣе близкое къ осуществленію, въ-родѣ вятской пѣсенки, начинающейся упоминаніемъ о „куньей шубѣ", будто-бы лежащей „на ногахъ" ребенка, и „соболиной шапкѣ",—у него „въ головахъ", но вдругъ совершенно неожиданно переходящей къ почерпнутымъ изъ окружающей дѣйствительности словамъ:

„Спи, посыпай,
На повозъ поспѣвай!
Доски готовы,
Кони сряжены...
Спи, посыпай,
Боронить поспѣвай!
Мы тѣ шапочку купимъ,
Зипунъ сошьемъ,
Боронить сошлемъ
Въ чистыя поля,
Въ зеленые луга!.."

Когда ребенокъ начинаетъ изъ засыпающаго подъ звуки пѣсенъ „несмышлёныша" превращаться въ пытающагося проявлять сознательное отношеніе къ окружающему (принимается „гулить"),—къ колыбельнымъ пѣсенкамъ присоединяются „потѣшныя". Ими мать (или нянька) забавляетъ дитятю, отвлекая его отъ слезъ и крика, къ которымъ будущій человѣкъ питаетъ не малую склонность—и въ палатахъ-хоромахъ,

и въ избахъ-хатахъ. Тутъ народное пѣсенное слово изощряется на всевозможные лады, объединяя въ себѣ и напѣвъ, и сказку, и скороговорку, и даже игру. Появляются дѣйствующими лицами такихъ пѣсенъ-утѣхъ и „сорока бѣлобокая“, варящая кашу да гостей созывающая, и кошка, выходящая замужъ „за кота-ворокота“, и „коза рогатая-бодатая“, и „пѣтушокъ—золотой гребешокъ, масляна головка“, и „долгоногій журавель“, „что на мельницу ѣздилъ, диковинки видѣлъ“, и „зайчикъ—коротеньки ножки, сафьяновы сапожки“, и воровъ, сидящій на дубу, играющій „во трубу“,и многое-множество другихъ звѣрей, птицъ и нѣвидали всякой. Прислушивающійся ко всему этому ребенокъ какъ-бы умышленно вводится въ невѣдомый ему дотолѣ, пробуждающій въ немъ пытливость міръ природы, непосредственно связанной съ жизнью крестьянина. Надолго, если только не навсегда, запоминаются съ дѣтства эти пѣсенки потѣшныя, послѣ которыхъ ребенокъ начинаетъ „становиться на ножки“, ходить и лепетать своимъ дѣтскимъ, день-ото-дня все болѣе и болѣе богатѣющимъ языкомъ. Отъ этихъ пѣсенокъ—недалеко и до тѣхъ пѣвучихъ-голосистыхъ прибаутокъ-побасокъ, какими—по примѣру уличныхъ игруновъ—только-что вставшая на ноги и выбѣжавшая босикомъ изъ душной избы на вольный воздухъ дѣтвора принимается оглашать улицы, задворки и выгоны, откуда ее день-деньской зовутъ-не-дозовутся сердобольныя матери-мамки и начинающіе „учить“ (сначала слегка, а потомъ и почувствительнѣе) отцы-тятьки.

Собирателями словесныхъ богатствъ народа русскаго не обойдены безъ вниманія и эти—„ребячьи“—пѣсенки, хорошо знакомыя всѣмъ, кто, если и не родился, такъ подолгу живалъ въ деревенской глуши и не сторонился при этомъ отъ вѣяній деревенскаго быта. П. В. Шейнъ привелъ въ своемъ „Великороссѣ“ не мало такихъ первобытныхъ произведеній народнаго пѣснотворчества—если не имѣющихъ особаго значенія въ смыслѣ художественности, требуемой отъ настоящей пѣсни, то много говорящихъ дѣтскому слуху и сердцу. Не лишены смысла эти образцы дѣтскихъ вдохновеній и съ бытовой стороны: въ нихъ высказывается прямое проникновеніе души ребенка въ трудовую жизнь отца-крестьянина, въ потѣ лица добывающаго хлѣбъ свой. Въ этихъ прибауткахъ пѣсенныхъ зачастую слышенъ голосъ будущаго пахаря-хлѣбороба, дышащаго однимъ дыханіемъ съ матерью-природою—то щедрой-ласковою, то скупой-грозною. Отъ ничего такого не выражающихъ припѣвовъ—„Тень, тень, потетень, выше городу плетень: на печи калачи—какъ огонь горячи...“,

или „Тили-бомъ, тили-бомъ, загорѣлся козій домъ...“, еще слишкомъ близко стоящихъ къ „потѣшнымъ“ пѣсенкамъ о сорокѣ и котѣ-ворокотѣ, дѣтвора малая, и прыгающая, и чирикающая по воробьиному—очень скоро переходитъ къ болѣе осмысленнымъ.

Всюду и вездѣ, съ первымъ проблескомъ яркаго весенняго солнышка, съ первыми проталинками послѣ зимней стужи—можно увидѣть сначала у заваленокъ, а потомъ (когда потéплѣетъ на дворѣ) посреди улицы и даже за околицею, кучку толкущихся на одномъ мѣстѣ ребятъ—малъ-мала-меньше!—выкликивающихъ свой привѣтъ возвращающейся на Святую Русь красной веснѣ—въ-родѣ: „Приди, весна, съ радостью, съ великою милостью!“ и т. д., или: „Солнышко-ведрышко, выгляни въ окошечко! Твои дѣтки плачутъ, ѣстьпить просятъ“... И нѣтъ конца-края ребячьей радости, если—какъ-разъ послѣ этого выкликанія—солнышко начнетъ осыпать рыхлые, тающіе снѣга стрѣлами своихъ веселящихъ душу, животворныхъ лучей.

Подростаетъ дѣтвора и—что ни годъ—все болѣе и болѣе свыкается со всѣмъ обиходомъ деревенскаго быта, все ближе становятся ей каждая тревога, каждая надежда пахаря. Дождя проситъ засѣянная нива, а его—нѣтъ да нѣтъ. И вотъ льются-звенятъ звонкіе голоса дѣтскіе: „Ты, дождь, дождемъ поливай ведромъ на дѣдкину рожь, на бабкину полбу, на дѣвкинъ ленъ, на мужичій овесъ, на ребячью кашу!“ или:

„Дождикъ, дождикъ! Припусти!
Я поѣду во кусты—
Богу молиться,
Христу поклониться...
Я у Бога сирота,
Отворяю ворота
Ключикомъ-замочкомъ,
Золотымъ платочкомъ!
Дождикъ, дождикъ! Пуще!
Дамъ тебѣ я гущи!“...

Стоитъ на дворѣ ненастье, льютъ-ливмя дожди, съ „гнилого угла“ туча за тучей надвигается,—нѣтъ ни просвѣта ужъ нѣсколько дней. Все опасливѣе начинаетъ приглядываться пахарь къ погодѣ: ну, сохрани Богъ—хлѣба вымокнутъ!.. Ужъ готова деревня поклониться священнику—поднять иконы въ поле, молебствовать о прекращеніи дождей. Прислушиваются-ли, не прислушиваются-ли ребята малыя къ толкамъ-разговорамъ старшихъ,—у нихъ уже готова новая под-

ходящая къ случаю пѣсенка: или—„Радуга, дуга! Перебей дождя! Давай солнышко, колоколнышко“.., или: „Дождикъ, дождикъ, перестань! Я поѣду на Ердань („въ Астрахàнь“, „во Рязань“, „во Казань“, („во Рестань“—по инымъ разнопѣвамъ)—Богу молиться!“... и т. д. Что ни праздникъ, всей деревнею празднуемый, что ни обычай—связанный съ преданьями-повѣрьями старины,—у ребятъ-малышей и ушки на макушкѣ: сейчасъ они во все проникнутъ своимъ ребячьимъ умишкомъ и слухомъ. Повернутъ-ли Спиридоны-пàвороты („солновороты“) солнце на лѣто, зиму на морозъ; заколядуютъ-ли веселыя Святки; прилетятъ-ли жаворонки на „Сороки“;обрадуетъ-ли Божій міръ Радоница Красная Горка,—на все найдется у дѣтворы деревенской свой веселый—какъ пѣсня жаворонка, какъ щебетъ касатки—откликъ. И не хуже отцовъ-матерей приглядывается ихъ зоркій глазъ къ жизни природы.

Смѣшливость, плодящая острое словцо, всегда была сродни коренному русскому человѣку,—будь-ли онъ сынъ черноземной срединной полосы, живи-ли онъ въ благодатной Украйнѣ, трудись-бѣдуй-ли онъ по сосѣдству съ архангельскимъ поморьемъ. Болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, проявляется она въ дѣтскомъ, переходящемъ къ отрочеству, возрастѣ.—Тутъ—не знаетъ она себѣ никакой преграды-помѣхи, не укоротить ея никакому строгому „ученью“. Все, что̀ способно возбудить смѣхъ, находитъ живой откликъ въ толпѣ ребятъ, еще не ознакомившихся на своемъ горбу съ тяжкой страдою труда деревенскаго. Нѣтъ конца играмъ - забавамъ, нѣтъ мѣры шалостямъ, нѣтъ у́держа смѣху. Потѣшаются ребята и другъ-надъ - дружкой, не прочь зачастую высмѣять - вышутить и взрослаго, подающаго къ этому тотъ или иной поводъ. И не только одною шаловливой забавою дѣтской отзывается этотъ смѣхъ,—попадаетъ онъ порою, что называется, не въ бровь, а въ самый глазъ. Смѣшной видъ человѣка, трудно произносимое или малоупотребительное въ деревенскомъ быту имя, предосудительный поступокъ, тотъ или другой порокъ, становящійся извѣстнымъ деревнѣ,—все это дѣлается предметомъ то веселаго, то мѣткаго - остраго, то злого и даже безпощаднаго ребячьяго смѣха. Впрочемъ, послѣдній немедленно готовъ перейти въ добродушно безобидную веселость-смѣшливость,—стоитъ только осмѣиваемому показать себя дѣтворѣ съ болѣе привлекательной стороны. Находятся въ каждой деревнѣ ребята, что̀ по́ходя слагаютъ новыя пѣсенки - прибаутки смѣшливыя. Они всегда бываютъ „коноводами“ ребячьей ватаги и слывутъ общими любимцами, несмотря на свой готовый всѣхъ и вся просмѣять нравъ.

Дѣтскія игры деревенскія невпримѣръ разнообразнѣе и веселѣе городскихъ. Что ни годъ, то прибавляются къ нимъ новыя, изобрѣтаемыя самими-же играющими; порою подсказываетъ ихъ жизнь. И здѣсь зачастую проявляется острая наблюдательность малыша-крестьянина, обнаруживается природная русская смѣтка, еще не придавленная никакими тяготами житейскими. Сколько этихъ игръ, и не перечесть: что ни деревня — то игра! Но есть цѣлый рядъ и такихъ, которыя являются общими чуть-ли не для всего простора свѣтлорусскаго и даже ведутся съ незапамятныхъ временъ — вѣками. Въ такихъ играхъ дѣтвора, сталкивается уже съ подростками, знакомыми и съ хороводами не только по одной наглядкѣ-наслышкѣ, считающими себя чуть не за настоящихъ парней и дѣвчатъ.

Но не всё пѣсни да игры,—приходитъ время-пора пріучаться дѣтворѣ деревенской и къ работѣ. Начинается это съ полотья въ яровомъ полѣ, постепенно переходитъ къ бороньбѣ, а тамъ — не успѣетъ и оглянуться подростающій малышъ, какъ ужъ онъ идетъ полосою, соху ведетъ, или—подъ жгучимъ припёкомъ солнышка, которое еще совсѣмъ недавно молилъ „выглянуть въ окошечко“, гнетъ спину съ серпомъ въ рукахъ, подрѣзая подъ корень рожь-кормилицу. Не угоняться за старшими чуть видному изо ржей потомку Микулы Селяниновича, а все-же долженъ онъ помогать отцу-матери, начинать расплату за то, что его на бѣлый свѣтъ родили, кормили-поили и если хоть и мало обували, то одѣвали. Въ полѣ — потъ градомъ, спину ломитъ, съ непривычки слезы готовы къ горлу подкатиться клубкомъ; а только вернулся изъ поля домой—куда и усталь дѣнется: опять—за игры-пѣсни... А то—съ конями въ луга, въ „ночное“... Хоть и гудятъ ноги отъ усталости, и руки намахались за-день, да зато какъ весело начинающей крестьянствовать дѣтворѣ провести ночь на лугахъ, собравшись въ кружокъ подлѣ костра. Сколько страховъ натерпишься, сколько сказокъ наслушаешься... А какъ сладко-крѣпко спится на травѣ подъ кафтанишкомъ въ то время, когда близится росистое утро, и лошади уже начинаютъ сбиваться все ближе къ своимъ пастухамъ-сторожамъ — въ предчувствіи того, что скоро опять надо будетъ скакать въ деревню, а оттуда плестись съ сохою или телѣгой въ полѣ.

Скорымъ шагомъ проходятъ золотые годы дѣтства для всякаго человѣка вообще; но въ стоящей на устояхъ страднаго труда семьѣ сидящаго на землѣ и кормящагося-живущаго ея дарами крестьянина они пролетаютъ быстрѣе быстраго. Рано подростокъ становится парнемъ, позабываю-

щимъ о ребячьихъ забавахъ и если отводящимъ душу за пѣснями, то уже за хороводными—съ ихъ на иной ладъ слагающейся веселостью, или за тягучими-проголосными — съ ихъ тоской разыстомною. Не успѣетъ у подростка и усовъ вырости, какъ уже—смотришь—сыграли его свадьбу и сталъ онъ заправскимъ мужикомъ, своему тяглу работникомъ, своей бабѣ-хозяйкѣ хозяиномъ, своимъ дѣтямъ отцомъ-кормильцемъ.

Кажется, еще совсѣмъ недавно былъ и самъ онъ всего-то „мужичкомъ съ ноготокъ“, о какомъ слыхивалъ въ бабкиныхъ да дѣдкиныхъ сказкахъ, — а ужъ не страшны для него ни упыри-букàны“, ни „бабы-яги“, которыми пугаютъ старики со старухами трусоватую дѣтвору шаловливую, разсказывая, что ходятъ-де они по селамъ-деревнямъ, воруютъ ребятишекъ да поѣдаютъ ихъ—не только вмѣстѣ съ косточками, а и съ новыми лапотками липовыми. Но еще долго спустя будутъ памятны обливающемуся потомъ работнику, находящему свое „веселіе“ уже не въ беззаботной дѣтской смѣшливости,—и пѣсни ребячьи, и сказки старыя.

„Мальчикъ съ пальчикъ“ да „дѣвочка-снѣгурочка“ являются любимыми воплощеніями дѣтей въ сказочную оболочку—въ устахъ русскихъ сказочниковъ. Первый, именующійся также и „мужичкомъ съ ноготокъ“, надѣляется способностью становиться невидимымъ въ опасныхъ для него случаяхъ. Воображеніе народа-сказателя порождаетъ его изъ случайно обрубленнаго пальца матери и поселяетъ въ подземныхъ нѣдрахъ, откуда и выводитъ по своему хотѣнью—по щучьему велѣнью, какъ говорится. Ему то приходится изображать мудраго старца съ бородою въ нѣсколько разъ длиннѣе себя и проникать взоромъ во всю подноготную тайнъ бытія человѣческаго; то попадается онъ навстрѣчу сказочнымъ добрымъ молодцамъ и самъ по обличью схожъ съ ними—только ростомъ не вышелъ. Въ первомъ случаѣ онъ является колдуномъ, приносящимъ не мало всякаго зла людямъ; въ послѣднемъ—онъ творитъ только добро, пользуясь тѣми волшебными свойствами, которыми надѣленъ. Иногда въ его власти оказываются, по народному слову, и коверъ-самолетъ, и скатерть-самобранка, и мечъ-самосѣкъ. Нѣкоторые сказочники говорятъ, что этому мальчику-мужичку столько лѣтъ, что и не сосчитать; но есть не мало и такихъ, которые величаютъ его всего только „семилѣткомъ“. О дѣвочкѣ-снѣгурочкѣ ходитъ по народной Руси много всякихъ сказокъ. Всѣ онѣ изображаютъ ее дочерью „старика со старухой“, у которыхъ „не было дѣтей ни единаго“. Вышли старики однажды зимой на дворъ

говорится въ народной Руси, взирающей въ далекія дали минувшаго и грядущаго съ одинаковымъ спокойствіемъ убѣленнаго тысячелѣтними сѣдинами мудреца: „Коротать молодость —не видать старости!“ Молодость слываетъ въ народѣ „золотой порою“ и является олицетвореніемъ удали-воли; старость представляется его мысленному проникновенному взору годиною мудрости и правды. „Чѣмъ старѣе—тѣмъ правѣе, чѣмъ моложе—тѣмъ дороже!“—гласитъ объ этомъ крылатое народное слово: „Молодой работаетъ, старый—умъ даетъ; молодой на службу, старый—на совѣтъ!“ Завзятые краснословы безъ смѣшливости—ни на шагъ: „Старъ да малъ—дважды глупъ!“—зачастую готовы обмолвиться они: „Старый—что малый, а малый—что глупый!“, „Сѣдина въ бороду, а бѣсъ—въ ребро!“ и т. д. Но имъ всегда найдется отповѣдь изъ устъ разсудительныхъ-„благосмысленныхъ“ людей, глубже смотрящихъ на жизнь и ея смѣняющіяся одно другимъ явленія. „Не смѣйся надъ старымъ, и самъ старъ будешь!“—укоризненно молвятъ они, останавливая говоруновъ, ради краснаго словца не щадящихъ матери-отца: „Молодость—не грѣхъ, старость —не смѣхъ!“, „Старый конь борозды не портитъ!“ и т. д.

Старятъ человѣка, по народному слову, не годы, а горе; умираетъ не старый, а—тотъ, кому часъ воли Божіей пробьетъ. Всегда встрѣчались такіе люди, къ которымъ съ полной справедливостью можно отнести поговорки: „Самъ старъ, да душа молода!“, „Старъ, да дюжъ!“, „Старикъ, да лучше семерыхъ молодыхъ!“, „Старъ, да веселъ; молодъ, да угрюмъ!“, „Старое дерево трещитъ, а молодое летитъ!“. Молодежь хотя и не станетъ долго спорить противъ того, что—„Старый воронъ мимо не каркнетъ!“, „Старъ волкъ—знаетъ толкъ!“, „Стараго воробья на мякинѣ не обманешь!“,—всегда съ бо́льшей охотою повторяетъ такія поговорки, что называется—играющія ей въ руку, какъ напримѣръ: „Молодъ, да водитъ волость!“, „Молодъ князь—молода и дума!“ и т. п. Съ этой „молодою думой“ въ груди и жизнь кажется человѣку привольнѣй просторнѣе, и поросшая терновникомъ путь-дорога житейская, словно веселитъ-бодритъ сердце, пробуждаючи удаль молодецкую. Нужды нѣтъ, что въ глазахъ перешедшихъ поле жизни, старыхъ людей эта дума сходитъ всего-то за молодой задоръ („Молодо—зелено!“—говорятъ они), а этимъ-послѣднимъ совершалась на бѣломъ свѣтѣ добрая половина всѣхъ подвиговъ, легшая краеугольнымъ камнемъ храма славы человѣчества. Недаромъ слываетъ молодость за пташку вольную, у которой крылья не связаны,—куда захочетъ, туда и полетитъ!—которой никакіе пути не заказа-

LXII.

Молодость и старость.

Гораздъ словоохотливый русскій простолюдинъ загадки загадывать—ставить въ-тупикъ не отличающагося особой догадливостью собесѣдника. Но есть два вопроса-сопоставленія, которыя почти не укладываются въ его головѣ въ рамку загадки, несмотря на всю загадочность-таинственность своей сущности. Это: рожденіе—смерть и молодость—старость. Спросятъ про первое сопоставленіе,—отзовется народъ-загадчикъ и коротко, и неясно: „Одного не помню, другого—не знаю!“—скажетъ. По второму—найдена у него пытливыми кладоискателями живого народнаго слова тоже всего только одна загадка: „Чего хочешь (молодости)—того не купить, чего не надо (старости)—не продать!“ На этомъ оборвется и весь его сказъ. Не то будетъ, если изъ области загадокъ перенестись въ пестрый кругъ пословицъ, поговорокъ, прибаутковъ, присловій и огороженныхъ ими обычаевъ, сотканныхъ изъ повѣрій-преданій старины стародавней, не говоря уже о пѣсняхъ и сказаніяхъ—этой душѣ бездонно-глубокаго стихійнаго сердца народнаго.

Молодость и старость—два рубежа сознательной, вышедшей изъ оболочки дѣтства, жизни человѣческой. Передъ первою—міръ счастливаго невѣдѣнія, отовсюду окаймленный утренней зарею существованія, окрашивающей весь кругозоръ, видимый смертному взору, въ розовый и радужный цвѣта; за второю—міръ невѣдомаго, представляющійся—наоборотъ—охваченнымъ сумракомъ вѣчной, угрюмой тайны стоящимъ въ заколдованномъ кругу роковой безконечности. „Два вѣка не изживешь, двѣ молодости не перейдешь!“—

говорится въ народной Руси, взирающей въ далекія дали минувшаго и грядущаго съ одинаковымъ спокойствіемъ убѣленнаго тысячелѣтними сѣдинами мудреца: „Коротать молодость —не видать старости!“ Молодость слываетъ въ народѣ „золотой порою“ и является олицетвореніемъ удали-воли; старость представляется его мысленному проникновенному взору годиною мудрости и правды. „Чѣмъ старѣе—тѣмъ правѣе, чѣмъ моложе—тѣмъ дороже!“—гласитъ объ этомъ крылатое народное слово: „Молодой работаетъ, старый—умъ даетъ; молодой на службу, старый—на совѣтъ!“ Завзятые краснословы безъ смѣшливости—ни на шагъ: „Старъ да малъ—дважды глупъ!“—зачастую готовы обмолвиться они: „Старый—что малый, а малый—что глупый!“, „Сѣдина въ бороду, а бѣсъ—въ ребро!“ и т. д. Но имъ всегда найдется отповѣдь изъ устъ разсудительныхъ-„благосмысленныхъ“ людей, глубже смотрящихъ на жизнь и ея смѣняющіяся одно другимъ явленія. „Не смѣйся надъ старымъ, и самъ старъ будешь!“—укоризненно молвятъ они, останавливая говоруновъ, ради краснаго словца не щадящихъ матери-отца: „Молодость—не грѣхъ, старость —не смѣхъ!“, „Старый конь борозды не портитъ!“ и т. д.

Старятъ человѣка, по народному слову, не годы, а горе; умираетъ не старый, а—тотъ, кому часъ воли Божіей пробьетъ. Всегда встрѣчались такіе люди, къ которымъ съ полной справедливостью можно отнести поговорки: „Самъ старъ, да душа молода!“, „Старъ, да дюжъ!“, „Старикъ, да лучше семерыхъ молодыхъ!“, „Старъ, да веселъ; молодъ, да угрюмъ!“, „Старое дерево трещитъ, а молодое летитъ!“. Молодежь хотя и не станетъ долго спорить противъ того, что—„Старый воронъ мимо не каркнетъ!“, „Старъ волкъ—знаетъ толкъ!“, „Стараго воробья на мякинѣ не обманешь!“,—всегда съ бо́льшей охотою повторяетъ такія поговорки, что называется—играющія ей въ руку, какъ напримѣръ: „Молодъ, да водитъ волость!“, „Молодъ князь—молода и дума!“ и т. п. Съ этой „молодою думой“ въ груди и жизнь кажется человѣку привольнѣй просторнѣе, и поросшая терновникомъ путь-дорога житейская, словно веселитъ-бодритъ сердце, пробуждаючи удаль молодецкую. Нужды нѣтъ, что въ глазахъ перешедшихъ поле жизни, старыхъ людей эта дума сходитъ всего-то за молодой задоръ („Молодо—зелено!“—говорятъ они), а этимъ-послѣднимъ совершалась на бѣломъ свѣтѣ добрая половина всѣхъ подвиговъ, легшая краеугольнымъ камнемъ храма славы человѣчества. Недаромъ слываетъ молодость за пташку вольную, у которой крылья не связаны,—куда захочетъ, туда и полетитъ!—которой никакіе пути не заказа-

ны. Все, самое несбыточное—по плечу молодой удали; дать ей волю—такъ гору съ мѣста сдвинетъ и не крякнетъ даже... Но—„Стараго учить—что мертваго лѣчить!“, не даромъ ему сѣдина достается. Знаетъ мудрый жизненный опытъ, что—хоть и „старость—не радость“, но и „молодость не корысть“: не одни удальцы-молодцы въ молодости, а есть и такіе, о которыхъ никакого иного крылатаго слова не молвишь, кромѣ того, что-де: „Молоды опенки, да черви въ нихъ!“. И въ этомъ—не малая доля правды, если взглянуть на окружающую коренастые вѣковые дубы хилую молодую поросль, гнущуюся по́-вѣтру во всѣ стороны,—съ высоты ихъ могучихъ, смотрящихъ въ небо вершинъ.

Хотя и умудряетъ,—какъ говоритъ народъ,—Господь Богъ стараго человѣка, но зачастую тяжкимъ бременемъ ложится ему на плечи эта достающаяся путемъ горькаго жизненнаго опыта мудрость. Тотъ-же возросшій на завѣщанномъ древними пращурами законѣ почитанія старѣйшихъ, въ теченіе многихъ вѣковъ впитывавшій въ свою плоть и кровь родовыя начала, народъ-пахарь сравниваетъ старость—съ гробомъ: „Гробъ—не добыча, а старость—не находка!“—говоритъ онъ. „Придетъ старость—приведетъ и болѣсть!“, „Старость—увѣчье человѣчье!“, „Старость—неволя злая!“, „Старость—не красный денекъ!“, „Сдружилась старость съ убожествомъ!“, „Въ старомъ тѣлѣ—что во льду!“, „Выношенная шуба не грѣетъ, въ старой кости сугрѣву нѣтъ!“, „Молодость летаетъ вольной пташкой, старость—ползетъ черепашкой!“, „Старость придетъ—веселье на умъ не пойдетъ!“, „Старость съ добромъ не приходитъ!“ Многое-множество другихъ, подобныхъ приведеннымъ, поговорокъ-пословицъ, сложившихся въ давнюю пору, можно и въ наши дни услышать среди посельщины-деревеньщины, любящей говорить коротко—да мѣтко, не хитро́-да складно.“ Отъ старости одно зелье—могила!“—заключается ихъ цѣпь неразрывнымъ звеномъ.

Не всѣ состарѣвшіеся люди дѣлаются брюзгливыми ворчунами, обличителями всего молодого-новаго, то-и-дѣло повторяющими свое излюбленное словцо: „Нынче молодежь—поглиди да брось!“ Много и такихъ, что, просвѣтлѣвъ разумомъ на склонѣ лѣтъ, становятся и болѣе чуткими сердцемъ, болѣе склонными ко всепрощенію и всепониманію. Не ворчливыя укоризны вызываетъ у такой старости видъ зеленаго молодого задора, а только сожалѣніе о своихъ прожитыхъ дняхъ. „Старость—эх-ма! Молодость—ой-ой!“—вырывается у нихъ изъ груди: „Молодъ бывалъ—на крыльяхъ леталъ, старъ сталъ—на печи сижу!“, „Уплыли годы—что вешнія воды!“,

„Молодо—зелено, погулять велѣно!“, „Молоденькій умокъ—что весенній ледокъ!“, „Молодая отвага—что молодая брага!“ и т. д. Въ ладъ съ этими словами ведетъ свою рѣчь и такая поговорка, какъ: „Только-бы помолодѣть, ужъ зналъ-бы, какъ состарѣться!“ Всякую молодую ошибку-проруху готовы оправдать такіе добромъ поминающіе молодость старики. „Молодъ бывалъ—и со грѣхомъ живалъ!“—скажутъ они въ отвѣтъ-отповѣдь нетерпимости своихъ суровыхъ сверстниковъ „Кто бабушкѣ не внукъ, кто молодъ не бывалъ?“ и т. д. Если, по ихъ словамъ, „смолоду ворона по поднебесью не летала“, то—„не полетѣть ей и подъ старость!“

Быстро схватывающіе все своимъ зоркимъ разумомъ, „изъ молодыхъ да ранніе—на воркотню неуживчивой старости, тоде: „Зеленъ виноградъ не сладокъ, молодъ—не крѣпокъ!“, всегда найдутъ что́ и какъ отвѣтить. „Молодъ годами—старъ умомъ!“—скажутъ они: „Умъ бороды не ждетъ!“, „Молодъ, да старыя книги читалъ!“, „Не спрашивай стараго, спрашивай бывалаго!“ Кто понесговорчивѣе, тотъ опять заворчитъ на это: „Молоко на губахъ не обсохло, а къ пиву тянется!“ и т. д. А добродушная старость ухмыльнется въ сѣдую бороду на молодой задоръ и если оговоритъ его чѣмъ, то не болѣе, какъ: „Молодой квасъ—и тотъ дойдетъ!“, „Пока молодъ—пота и бродитъ!“, „Молодъ—просмѣется, зеленъ—дозрѣетъ“. Иные-же еще, пожалуй, добавятъ къ этому: „Дважды молодому не бывать, не по двѣ молодости жить!“—добавятъ и вздохнутъ, обвѣянные памятью былого.

Молодость—цвѣтъ жизни—недолговѣчна... Особенно скоро осыпаются лепестки этого „цвѣта“ у прекрасной половины рода человѣческаго. Дѣвушка красная цвѣтетъ—невѣстится. Придетъ ея „судьба“—и цвѣтенью конецъ недалекъ въ крестьянскомъ суровомъ быту. „Расцвѣтаетъ—что маковъ цвѣтъ“ красавица,—„Кровь съ молокомъ!“—говорятъ о ней на деревнѣ. Но недаромъ пословица молвится, что „красна́ дѣвка до замужества“,—года черезъ два и не узнать недавней хороводницы веселой, раскрасавицы—знобившей сердца разгарчивыя, какъ поется въ поволжской пѣснѣ, „безъ морозу, безъ осенняго дождя“. Еще недавно, быть можетъ, склонялъ къ себѣ ея любовь заговорнымъ словомъ удалъ добрый молодецъ, „замыкая“ свой заговоръ „семидесятью семью замками, семидесятью семью цѣпями“, посылая къ зазнобившей сердце дѣвицѣ тоску полюбовную. „На морѣ на Окіянѣ, на островѣ на Буянѣ“,—вычитывалось-нашептывалось это заговорное слово,—„есть бѣлъ-горючъ камень Алатырь, никѣмъ невѣдомой; на томъ камнѣ устроена огнепалимая баня, въ той банѣ лежитъ раз-

жигаемая доска, на той доскѣ тридцать три тоски. Мечутся тоски, кидаются тоски и бросаются тоски изъ стѣны въ стѣну, изъ угла въ уголъ, отъ пола до потолка, оттуда черезъ всѣ пути и дороги и перепутья, воздухомъ и аеромъ. Мечитесь, тоски, киньтесь, тоски, и бросьтесь, тоски, въ буйную ея голову, въ тылъ, въ ликъ, въ ясныя очи, въ сахарныя уста, въ ретивое сердце, въ ея умъ и разумъ, въ волю и хотѣніе, во все ея тѣло бѣлое и во всю кровь горячую, и во всѣ ея кости, и во всѣ суставы: въ семьдесятъ суставовъ, полусуставовъ и подсуставовъ. И во всѣ ея жилы: въ семьдесятъ жилъ, полужилъ и поджилковъ, чтобы она тосковала, горевала, плакала-бы и рыдала по всякъ день, по всякъ часъ, по всякое время, нигдѣ-бъ пробыть не могла, какъ рыба безъ воды! Кидалась-бы, бросалась-бы изъ окошка въ окошко, изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, на всѣ пути и дороги, и перепутья—съ трепетомъ, туженіемъ, съ плачемъ и рыданіемъ, зѣло спѣшно шла-бы и бѣжала и пробыть безъ меня (имя рекъ) ни единыя минуты не могла. Думала-бъ обо мнѣ—не задумала, спала-бъ—не заспала, ѣла-бы—не заѣла, пила-бъ—не запила, и не боялась-бы ничего, чтобъ я ей казался милѣе свѣту бѣлаго, милѣе солнца пресвѣтлаго, милѣе луны прекрасныя, милѣе всѣхъ и даже милѣе сну своего, во всякое время: на молоду, подъ полнъ, на перекроѣ и на исходѣ мѣсяца“... Отъ этого-ли слова заговора, безъ него-ли—приглянулся добрый молодецъ красной дѣвицѣ, сладилась и свадебка, „одной дѣвкой на селѣ стало меньше, больше—одной молодицею“. А „молодицѣ“ недолго превратиться и въ „бабу“, у которой одна тоска-сухота—хозяйство домашнее да ребята малыя. И вотъ, еще недавно развертывавшее передъ нею „всѣ пути-дороги, всѣ перепутьица“ народное слово изрекаетъ: „Бабѣ одна дорога — отъ печи до порога!“, „Далъ мужъ женѣ волю—не быть добру въ домѣ!“, „Шубу бей—теплѣе, жену бей—милѣе!“, „Побьешь бабу—и щи вкуснѣе!“, „Всѣ въ дѣвушкахъ дѣвки хороши, а отколь злыя жены берутся? Всѣ парни—молодцы добрые, а откуда грозные мужья живутъ?“—Отвѣтъ на этотъ вопросъ держитъ сама жизнь крестьянина, которая въ дѣтскіе да въ ранніе молодые годы кажется ему родимой матушкою, а потомъ оказывается мачихою лихой: „учитъ начнетъ — въ три погибели согнетъ, выучитъ — не выпрямишься!“

Въ хороводныхъ пѣсняхъ-играхъ—краса крестьянской молодости: ими красна и вся жизнь посельщины-деревеньщины, несмотря на то, что и дѣвкѣ, и парню—играть въ хороводахъ только до „злата вѣнца вѣковѣчнаго“. Нѣтъ числа пѣснямъ-

припѣвамъ, нѣтъ счета играмъ. Весна красная—сплошь хороводное время, словно созданное на утѣху-усладу молодой деревнѣ. Лѣто—порушка страдная — и то не унимаетъ голосистую молодежь. Словно и усталь не беретъ ея: только выдастся праздничекъ Божій,—чуть не до бѣлой зорьки утренней пѣсни-пляски, игры всякія. Осенью — уберется людъ честной въ поляхъ, свезетъ на гумна хлѣбушко, молотьба приспѣваетъ, а у молодого народа — опять забота веселая: хороводы доваживать,—пѣсни доигрывать,—къ свадьбамъ дѣло близится, октябрь-свадебникъ черезъ прясла заглядываетъ.

„Какъ на улицѣ дождикъ накрапаетъ,
Хороводъ красныхъ дѣвокъ прибываетъ.
Охъ, вы, дѣвушки, поиграйте!
Ужъ какъ вы, холостые, ни глядите:
Вамъ глядѣньицемъ дѣвушекъ не взяти,
Ужъ какъ взять-ли, не взять-ли
Что по батюшкину повелѣнью,
Что по матушкину благословенью!“

Въ этой старинной хороводной пѣснѣ отразился, какъ въ зеркалѣ, взглядъ народной Руси на святость родительской власти надъ дѣтьми и на связанные съ нею обычаи, ставшіе закономъ семейнаго быта, до сихъ поръ не утратившимъ своей силы. Но не такъ сталъ страшенъ для молодыхъ любящихъ сердецъ этотъ нѣкогда неумолимо-суровый „законъ“, зачастую ломавшій-калѣчившій всю жизнь брачившихся. Свадьба—судьба, но и судьба не всѣмъ лиходѣйкою на-родý написана. Изъ воли родительской рѣдко кто выйдетъ въ деревенскомъ быту, да и отцу съ матерью—не велика корысть дѣлать своихъ дѣтей несчастными. А если и не спросятъ отецъ-мать—сговорятъ, по рукамъ ударятъ, „пропьютъ“ дочь не за того добра-молодца, для котораго пѣлись-игрались ея хороводныя весня́нки,—то изольется ея тоска горючая въ свадебныхъ пѣсняхъ, а тамъ — „Стерпится — слюбится!“ — если будетъ между молодожонами добрый совѣтъ. А не благословитъ имъ Богъ—такъ, по крылатому слову народной Руси: „И любя поженишься, да наплачешься!“... „Не всякая дѣвица—невѣста, что приглянется!“ — говорятъ въ народѣ: „Не всякъ добрый молодецъ—женихъ, что присватается!“—приговариваютъ: „Не ищи красоты — ищи доброты!“, „Красота приглядится, а добротою изба навѣкъ свѣтла будетъ!“ Не перечесть всѣхъ поговорокъ-пословицъ, которыми окружилъ народъ-пахарь „свадьбу-судьбу своихъ сыновъ-дочерей. Какъ о нихъ, такъ и о свадебныхъ обычаяхъ русской деревни,

былъ уже свой сказъ въ настоящихъ очеркахъ (см. гл. XLIII).

„Скажи, скажи, воробышекъ, какъ дѣвицы ходятъ?“—запѣвается одна хороводная пѣсня. „Онѣ этакъ и вотъ этакъ: туды глядь, сюды глядь, гдѣ молодцы сидятъ!“—не замедляется отвѣтъ. „Скажи, скажи, воробышекъ, какъ молодцы ходятъ?“—продолжаетъ запѣвало. Отвѣтъ слѣдуетъ точно такой-же, съ тою лишь разницею, что „молодцы“ высматриваетъ: „гдѣ голубушки сидятъ“. Иные слишкомъ долго себѣ невѣстъ „высматриваютъ“, все раздумываютъ. „На молодой жениться—съ молодцами не водится!“—подсмѣивается надъ такой нерѣшительностью народное слово: „Богатую взять—станетъ попрекать; хорошую взять — не дастъ слова сказать; грамотницу взять—станетъ праздники разбирать; худую взять—стыдно въ люди показать; убогую взять—нечѣмъ содержать!“ и т. д.

По всему свѣтлорусскому простору поется-распѣвается съ незапамятныхъ временъ пѣсня о молодцѣ, собиравшемся жениться на вдовушкѣ, но нашедшемъ свою судьбу въ красной дѣвицѣ. „Какъ пошелъ нашъ молодецъ вдоль улицы на конецъ“...—начинается эта пѣсня: „Ахъ, Донъ ты нашъ Донъ, сынъ Ивановичъ, Донъ!“—подхватываетъ хоръ. „Донъ“ въ иныхъ мѣстностяхъ замѣняется „Дунаемъ“, что́ нисколько, однако, не мѣняетъ сущности дѣла. „Ахъ, какъ звали молодца, позывали удальца!“—продолжаетъ запѣвало, вызывая тотъ-же самый припѣвъ. А звали героя пѣсни — „во пиръ пировать, во бесѣдушку сидѣть, на игрище поиграть“. Не идетъ онъ, отговаривается: „Ужъ какъ мнѣ-ли, молодцу, худо можется, худо можется—нездоровится...“ Но всетаки, несмотря на „нездоровье“, сдвинувъ шапку-мурмашку на-бекрень, съ гуслями звончатыми подъ полою, идетъ онъ „ко вдовушкѣ на конецъ“. Пришелъ, садится „противъ вдовушки на скамьѣ“, сѣлъ, — заигралъ „во гусли во звончатые“... Игралъ-игралъ — бьетъ вдовѣ челомъ, „уронилъ шапку долой“,—обращается ко вдовѣ съ просьбой очестливою: „Ужъ ты, вдовушка моя, молодая вдова, подними шапку-мурмашку!“ — „Не твоя сударь-слуга, я не слушаю тебя!“—отвѣчаетъ вдова, и опять—„пошелъ нашъ молодецъ вдоль улицы на конецъ“. Снова звали, позывали его „во пиръ пировать, во бесѣдушку сидѣть, на игрище поиграть“; какъ и раньше, не пошелъ онъ ни въ первый, ни на вторую, ни на третье,—пошелъ „ко дѣвушкѣ на конецъ“. И вотъ,—продолжаетъ пѣсня:

„Какъ садился молодецъ, Противъ дѣвушки на скамьѣ.
Какъ садился удалецъ Заигралъ онъ во гусли,

Заигралъ во звончатые свои.
„Молодецъ дѣвицѣ челомъ,
Уронилъ шапку долой.

Ужъ ты, дѣвушка моя,
Ты, красная моя,
Подними шапку-мурмашку!“—

—обращается онъ къ ней съ тою-же самой просьбою, какъ незадолго передъ тѣмъ—ко вдовушкѣ. Глянула на добра-молодца красная дѣвица,—приглянулся; поняла она, какой затаенный смыслъ кроется въ его просьбѣ. Ровно маковъ цвѣтъ, зардѣлася красавица, потупила свои очи дѣвичьи, исполнила просьбу. Потеряла она надъ собою волю, готова навѣкъ отдать ее молодцу счастливому...

„—Я твоя сударь слуга,
Я послушаюсь тебя!“—

—изъ ясной глубины сердца звучитъ отвѣтъ ея, полный той кроткой покорности, которою русская женшина способна побѣдить самую могучую силу воли, обезоружить неукротимый гнѣвъ, приворожить къ себѣ безъ наговоровъ, безо всякихъ зелій,—которою она сильна въ своемъ нѣжномъ безсиліи.

По словамъ одной пѣсни—„не безчестно молодцу вдоль по улицѣ пройти, вдоль по улицѣ пройти, къ хороводу подойти“. Другая прямо обращается къ нему: „Гуляй, гуляй, молодецъ, поколь не женилъ отецъ!“ Съ этою пѣсней словно сговорилась третья, начинающаяся словами: „Гуляй, гуляй, дѣвушка, пока твоя волюшка,—скоро замужъ отдадутъ—всѣ гулянья отойдутъ!..“ Громадное большинство пѣсенъ рисуетъ семейную жизнь самыми мрачными красками — для вступающей въ чужую семью молодушки—семью, гдѣ, кромѣ мужа-хозяина, надъ нею являются нàбольшими „свекоръ грозенъ батюшка“ да—пуще того—„свекровь лютая“. Много пѣсенъ спѣлось-сложилось въ русскомъ народѣ про житье молодой невѣстки въ мужниной семьѣ, — грустныя, тяжелыя все это пѣсни, горькою отравой жизни подсказанныя-нашептанныя. И во всѣхъ-то нихъ отзывается та грусть-тоска, которою напоена старинная пѣсня про „Лучинушку“. „Лучина, лучинушка березовая!“—запѣвается она: „Что-же ты, моя лучинушка, не ясно горишь, не ясно горишь да не вспыхиваешь?—Плачетъ-звенитъ напѣвъ, въ душу просится; „...да не вспыхиваешь...“ — какимъ-то стономъ вырывается изъ груди пѣвца. Защемитъ - заноетъ сердце отъ этого стона... „Аль тебя, моя лучинушка, свекровь залила?..“ Скорбная повѣсть загубленной молодости слышится въ этомъ вопросѣ.

Народная жизнь на каждомъ шагу выдвигаетъ изъ своей среды примѣры самобытности, изумительной для незнакомыхъ

съ нею близко. Что ни шагъ въ ея до сихъ поръ еще непроходимыя для многихъ дебри,—то и тупикъ для привыкшаго мѣрять всё на короткій аршинъ своихъ предвзятыхъ взглядовъ наблюдателя. Сплошь-да-рядомъ приходится встрѣчаться здѣсь съ самыми разительными противорѣчіями, не только мирно уживающимися бокъ-о-бокъ, но словно даже освѣщающими другъ-друга. Коренной русскій человѣкъ весь сотканъ изъ противорѣчій. Особенно живо проступаетъ эта своеобразность его природы въ народной жизни, ближе стоящей къ первообразамъ бытія.

Вотъ, напримѣръ, какъ ярко проявляется въ русской народной пѣснѣ построенное на противорѣчіи чувство нежданно зарождающейся страсти. „Пошелъ молодецъ на гулянье, къ краснымъ дѣвушкамъ на свиданье, ой лелю, лелю, на свиданье...“ —начинается эта, записанная въ Ветлужскомъ уѣздѣ Костромской губерніи, пѣсня. „Миръ вамъ, дѣвушки, на гуляньѣ, миръ вамъ, красныя, на свиданьѣ!“—продолжается пѣсенное слово—очестливымъ поклономъ-привѣтомъ молодца: „Входитъ молодецъ въ кругъ къ дѣвицамъ, ходитъ молодецъ по кружалу, проситъ молодецъ побороться“. Такая необычная просьба приводитъ въ изумленіе: „Всѣ тутъ дѣвицы пріутихли, всѣ тутъ красныя пріумолкли...“ Выискалась, однако, въ хороводномъ кругу и такая, которой пришелся по нраву вызовъ молодца: „Одна дѣвица всѣхъ смѣлѣя, всѣхъ смѣлѣя, всѣхъ веселѣя, дѣвка къ молодцу выходила, выходила дѣвка—съ молодцемъ говорила:—Изволь, молодецъ, побороться!“ Въ дочери современной деревни какъ-бы проснулся духъ богатырокъ древней Руси, удалыхъ „паленицъ“, выходившихъ на единоборство со своими побратимами—богатырями, съ единаго маху клавшихъ наземь чужеземца-нахвальщину. Такъ и здѣсь: „дѣвка молодца споборола, черну шапку съ кудеръ сшибла, на немъ синь кафтанъ изорвала, алу ленточку въ грязь втоптала, кушакъ шелковый изщипала, за русы кудри теребила; во право плечо колотила, лицо бѣлое пристыдила. Пошелъ молодецъ—самъ заплакалъ, пришелъ къ матери съ жалобою...“ Читатель-слушатель пѣсни невольно настраивается на смѣшливое отношеніе „къ пристыжонному“ паленицею нашихъ дней молодцу. Но разсказъ совершенно неожиданно заканчивается на иной ладъ. Жалоба молодца показываетъ, что онъ-то смотритъ на это совсѣмъ по другому. „Ужъ ты матушка, мать родная!“—говоритъ-жалобится онъ: „Меня дѣвушки не злюбили, всѣ-то красныя меня не любятъ, одна дѣвица сполюбила, меня молодца поборола, черну шляпу съ кудеръ сшибла, алу ленточку въ грязь втоп-

тала, кушакъ шелковой изщипала, на мнѣ синь кафтанъ изорвала, а за русы кудри теребила, во право плечо колотила, лицо бѣлое пристыдила"... Эта пѣсня распѣвается въ нѣсколькихъ разносказахъ. Такъ, въ Тульской губерніи пѣвуны, продолжая пѣсню, ведутъ рѣчь и о томъ, что произошло вслѣдъ за жалобой молодца. Пошла мать пристыжоннаго пенять дѣвушкѣ. „Дѣвушка, ты дѣвушка, невѣста!"—обращается она къ ней: „Какъ тебѣ не стыдно? Какъ тебѣ не дурно? Обидѣла молодца-парня при всемъ при мірѣ, при мірѣ, при народѣ, при большомъ короводѣ!" Обидчица—утѣшаетъ обиженнаго: „Не плачь, родимый (говоритъ она)! Русы кудри можно причесать, пухову шляпу можно надѣть, на сборахъ поддевку все можно собрать, ситцеву рубашку можно зашить, козловые сапожки—можно надѣть, а намъ съ тобою, молодецъ, все можно пожить, другъ-друга любить!" Въ калужскомъ разнопѣвѣ—дѣвица отвѣчаетъ матушкѣ обиженнаго парня, что она—красная—„пожалѣетъ" и, какъ видно изъ заключительныхъ словъ, дѣйствительно пожалѣла его:

„Назадъ-то молодца, назадъ ворочала:
—Воротися, молодецъ, воротися, удалой,
Не хвалися, молодецъ, да ты самъ собой,
Ты самъ собою, своей красотою!—
Всѣ русые кудерки на немъ причесала;
Пуховую шляпушку ему надѣвала,
Синенькій халатикъ, сборы собирала,
Ситцеву рубашечку на немъ зашивала,
Сафьяны сапоженьки ему надѣвала"...

„Пошелъ, пошелъ молодецъ, пошелъ—взвеселился"...—кончается пѣсня. Смоленскіе-бѣльскіе пѣсенники дополняютъ ее и тѣмъ, что дѣвица—„молодчика сладко цѣловала, сладко цѣловала, такъ отвѣтъ держала:—Тебѣ дѣла нѣту, что я друга била! Сама понимаю, друга утѣшаю, ой лёшеньки, лёшеньки! Друга утѣшаю!..."

Пѣсенное народное слово всегда было склонно къ смѣшливости. Вотъ какую, напримѣръ, картину рисуетъ оно: „... что и черная грязь—то старухи у насъ; что и бѣлая капуста—то молодушки у насъ; что лазоревый цвѣтокъ—красны дѣвушки у насъ; что гнилая-то солома—то ребятушки у насъ. На гнилую-то солому нынѣ честь пришла, что гнилая-то солома нынѣ женится, а лазоревый цвѣтокъ за нихъ замужъ идутъ"... и т. д. Псковичи, пѣвуны старинные, поднимаютъ цѣну на дѣвушекъ красныхъ. „Вылеталъ соловей изъ Новагорода",—поютъ они,—„выносилъ онъ вѣсть

не радостну: какъ у насъ на Руси мальцы дешевы—первый молодецъ хоть-бы дровъ костеръ, другой молодецъ хоть-бы лыкъ пучокъ, третій молодецъ хоть-бы дегтю кувшинъ! Вылеталъ соловей изъ Новагорода, выносилъ онъ вѣсть, вѣсть не радостну: какъ у насъ на Руси дѣвки дороги—перва дѣвка во сто рублей, друга дѣвка во тысячу, а третей дѣвицы—цѣны нѣтути!" Въ старинной пѣснѣ—„А мы просо сѣяли, сѣяли...", распѣвавшейся на Руси еще въ незапамятные годы, кони, пойманные на вытоптанномъ просѣ и запертые въ стойло, выкупаются у поймавшихъ не ста рублями, не тысячей: „Мы дадимъ молодца, молодца!" — предлагаютъ хозяева коней.—„Намъ молодецъ не надо, не надо!"—получается отвѣтъ.—„Мы дадимъ дѣвицу, дѣвицу!"—Намъ дѣвица надобна, надобна!" Въ одной калужской пѣснѣ, занесенной П. В. Шейномъ въ его пѣсенную кошницу, есть такое мѣсто:

„Погляди-ко-ся на сине море:
На синемъ морѣ корабли плывутъ,
Корабли плывутъ со товарами,
Посреди—корабль съ златомъ-серебромъ,
А другой корабль съ мелкимъ жемчугомъ,
Какъ третій корабль съ красной дѣвушкой...
— Злата, серебра дѣвать некуда,
Мелка жемчуга сыпать не во что,
Красну дѣвицу подавай сюда,
Ей надобно напередъ идти,
Напередъ идти, хороводъ вести"...

Дѣйствующія въ ярославской-пошехонской пѣснѣ красны дѣвушки выносятъ въ хороводъ по соловью въ рукахъ. „Ужъ ты пой, распѣвай, соловей: пока воля есть у батюшки, пока нѣга есть у матушки, пока воля есть у дѣвушки!" Отсюда—прямой переходъ: „Пой, распѣвай, красна дѣвица, въ хороводѣ разгуливай на вольной волюшкѣ, во красѣ во дѣвичьей!.." Пермскіе пѣсенники развиваютъ основную мысль приведенной пѣсни. „Поиграйте, красны дѣвицы, пока весело во дѣвушкахъ!"—поется у нихъ: „Неравно-то замужъ выйдется, не ровенъ мужъ навѣрнется, либо старый-отъ удушливый, либо малый-отъ недошленькій, либо ровнюшка хорошенькая"... Недобрая „потѣха" сулится пѣснею старому мужу: „Я бы стараго потѣшила—середи поля повѣсила, что на горькую осинушку и на самую вершинушку добрымъ людямъ на посмѣшище, чернымъ воронамъ на граянье!"... Вятская пѣсня разсказываетъ о томъ, какъ стлала постельку мужу старому молодая жена. Начало этой пѣсни вѣетъ на

современнаго слушателя неподдѣльной одухотворенностью: „Какъ на морѣ валы бьютъ, валики-валы бьютъ; черный воронъ воду пилъ, воду пилъ, воду пилъ; онъ не напилъ, возмутилъ, возмутилъ, возмутивши, говорилъ, говорилъ, говорилъ: — Выдьте, дѣвки, замужъ-отъ, замужъ-отъ за стараго старика, старика!“ Затѣмъ, пѣсня переходитъ къ обѣщанію молодушки молодой: „Я старому сноровлю, сноровлю, постельку постелю, постелю—въ три рядочка кирпичу, кирпичу, во четверту шипицу, шипицу, въ пятый рядикъ крапиву, крапиву; шипичюшка колюча, колюча, крапивушка жалюча, жалюча“... Не особенно очестливо относится къ льстящейся на молодость старости пѣсенникъ-народъ, по словамъ котораго и улица села-деревни украшается „молодцами, молодицами, душамъ красными дѣвицами“, какъ травой-муравою—зеленые луга.

Молодость въ представленіи русскаго народа является олицетвореніемъ воли, съ которою связано понятіе не только о широкой удали, а и о счастьѣ. Безпечная веселость и свободный полетъ чувствъ открываютъ послѣднему широкій путь въ жизнь человѣческую,—и была-бы она такъ богата имъ, кабы не залегали этотъ путь невзгоды житейскія, затемняющія собою свѣтъ солнечный передъ глазами изнемогающихъ подъ тяжкой ношею жизни. „Ахъ ты, молодость моя, молодецкая! Ой-ты воля моя, воля дѣвичья!“—рвется изъ стихійнаго сердца народа-пѣснотворца окрыленное мыслью слово: „Мы когда-то съ тобою, волюшка, разстанемся?“ Не замедляется и отвѣтъ на этотъ вопросъ: „Мы разстанемся съ тобой, волюшка, у Божьей церкви, у Божьей церкви да подъ златымъ вѣнцомъ, подъ златымъ вѣнцомъ да съ добрымъ молодцомъ!“.

Не всѣ, однако, поминаютъ весельемъ-радостью да волей вольною свою молодость. Нашептываетъ-подсказываетъ жизнь русскому народу и совсѣмъ на иной ладъ сложившіяся пѣсни. „Ахъ ты, молодость, молодость!“—запѣваетъ иная пѣвунья голосистая: „Чѣмъ-то вспомянуть тебя!“ И тутъ-же отвѣчаетъ себѣ:—„Вспомяну я молодость тоскою, кручиною, тоскою-кручиною—печалью великою!“ Въ Новгородской губерніи поется еще и теперь старинная пѣсня о томъ, какъ одинъ мужъ удалилъ отъ себя жену постылую, удаливши—самъ вспокаялся. Начинается эта пѣсня укоромъ загубленной молодости:

„Ахъ ты, молодость моя молодецкая!
Не видалъ я тебя, когда ты прошла,
Когда ты прошла, миновалася...“

Виною въ этомъ—„худая жена, жена угрюмая, некорыстная“: „Ни продать жену, не промѣнять ее—что никому-то

она не надобна: ни брату, ни свату, ни товарищу"... Надумалъ онъ думу: „Какъ пойду-то я, добрый молодецъ, на конюшій дворъ („на сине море"—по иному разносказу), и куплю я, добрый молодецъ, новъ тесовъ корабль („смоленой корабль о двѣнадцати гребцовъ, тонкихъ парусовъ...") посажу-ль на него свою жену боярыню: Ты прости, прости, можена боярыня!" И вотъ,—продолжается пѣсенный сказъ: „коя рабль побѣжалъ, какъ соколъ полетѣлъ"... Одумался, вспокаялся добрый молодецъ: „Воротись ты, моя жена боярыня! Ужъ мы будемъ жить съ тобой лучше прежняго!" Отвѣтъ жены въ новгородскомъ разносказѣ поется такъ: „Не кричи ты, мужъ, татаринъ злой! Намъ не жить съ тобой лучше прежняго!", въ витебскомъ: —„Не порой солнце свѣтитъ, не по лѣтнему, не любить больше мнѣ мужа всё по прежнему!"

Яркія противоположенія между старостью и молодостью то-и-дѣло встрѣчаются въ пѣсенномъ народномъ словѣ. Но едва-ли не одно изъ самыхъ яркихъ представляется въ пѣснѣ —„Пойду, млада, по Дунаю", занесенной И. П. Сахаровымъ въ его пѣсенное собраніе. „Пойду, млада, по Дунаю; ой-люли погуляю!"—начинается эта пѣсня: „Зайду, млада, во бесѣду; ой-люли, во смиренну! Во бесѣдѣ сидитъ старый; ой-люли постылый! На колѣняхъ держитъ гусли; ой-люли, лубяные! На гуслицахъ струны; ой-люли, мочальныя! Старой въ гусли заиграетъ; ой-люли, заиграетъ. Мое сердце ноетъ, ноетъ; ой-люли, занываетъ! Скоро ноги подломились; ой-люли, подломились! Бѣлы руки опустились; ой-люли, опустились! Ясны очи потупились; ой-люли, потупились!.." Совсѣмъ иная картина открывается мысленному взору слушателя пѣсни—изъ второй ея половины, посвященной молодости. „Пойду, млада, по Дунаю; ой-люли, погуляю!"„Зайду, млада, во бесѣду; ой-люли, во веселую! Во бесѣдѣ сидитъ молодой; ой-люли, мой любезной! На колѣняхъ держитъ гусли; ой-люли, звончатые! На гуслицахъ струны; ой-люли, золотыя! Молодой въ гусли заиграетъ; ой люли, заиграетъ! Мое сердце радо, радо; ой-люли, взвеселилось! Скоры ноги расплясались; ой-люли, расплясались! Бѣлы руки размахались; ой-люли, размахались. Очи ясны разглядѣлись; ой-люли, разглядѣлись!.." Эти двѣ картины говорятъ сами за себя безо всякихъ поясненій.

Недаромъ говорится —„Старый воронъ не каркнетъ мимо!" Долголѣтній жизненный опытъ дѣлаетъ старыхъ людей вѣщими. Смотря на жизнь просвѣтленнымъ взоромъ сердца, вооруженные памятью—они, порою сами того не замѣчая, становятся—и не прибѣгая къ колдовству-волхвованью—знахарями. Каждый новый день, каждый шагъ говорятъ имъ все

больше и больше. Для нихъ перестаетъ быть тайною обступающая бытъ крестьянина-пахаря природа,—наоборотъ, каждое явленіе ея становится сроднившимся съ ними. Предсказаніе погоды, отъ которой такъ много зависитъ въ крестьянскомъ быту-обиходѣ, кажется старому хлѣборобу самымъ привычнымъ-обыкновеннымъ дѣломъ, — словно на крыльяхъ вѣтра слетаются къ „дѣду-всевѣду“ вѣсти о ненастьѣ, о ведрѣ, о грозахъ, о засушливой порѣ и обо всемъ, съ чѣмъ связаны хозяйственныя тревоги заботы земледѣльческой Руси.

Житейскія скитанія, сталкивающія съ многимъ-множествомъ разнородныхъ людей, мало-по-малу дѣлаютъ изъ засѣвающаго послѣдняго полосу своей жизни человѣка если не ворожею, то невольнаго угадчика. Достаточно иному старику окинуть совершенно незнакомаго ему собесѣдника однимъ бѣглымъ взглядомъ, чтобы знать, съ кѣмъ ему довелось имѣть дѣло. Большакъ семьи является и вершителемъ сельскихъ сходовъ, на которыхъ первый голосъ—по стародавнему завѣту—всегда принадлежалъ старикамъ. Они-же выбираются и въ судьи волостные, и въ ходоки—по важнымъ для всего деревенскаго міра дѣламъ. „У стараго человѣка глазъ тусклѣе, да совѣсть свѣтлѣе!“, „Старый нравъ—молодому костоправъ!“, „Старость—къ правдѣ ближній путь знаетъ!“—говорится въ народѣ. Старики являются на Руси хранителями всевозможныхъ завѣтовъ былого минувшаго. Они же—и памятливые сказатели всякихъ сказаній. Многія изъ этихъ послѣднихъ давнымъ-давно вымерли-бы, если-бы не собиратели, подслушавшіе ихъ изъ устъ отходившихъ на вѣчный покой патріарховъ деревни. „Пѣсни не знаетъ—нѣ-молодъ, сказки не разскажетъ—не старикъ!“—гласитъ народное слово.

Отработаетъ свою долю обзаведшійся внуками, поставившій дѣтей на ноги дѣдъ; немощенъ станетъ плотью —начнетъ все больше и больше о душѣ думать. Влечетъ-привлекаетъ старческіе помыслы страннический—во имя Божіе—подвигъ: принимается старъ человѣкъ пѣшествовать по святымъ мѣстамъ. А иные даютъ подъ старость обѣтъ Господу—собирать на построеніе храма Божія и, благословясь, уходятъ изъ дому въ путь-дорогу, проторенную къ богомольному сердцу народной Руси. „Душа“ становится у начавшихъ заботиться о спасеніи ея людей все болѣе и болѣе властною надъ жизнью; все тѣлесное-земное отходитъ всторону, уступая мѣсто небесному-Божьему. Закатъ временной жизни близится къ озаренному лучами безсмертія разсвѣту вѣчности.

LXIII.

Загробная Жизнь.

„Человѣкъ рождается на смерть, умираетъ—на жизнь“. Это крылатое народное слово не мимо молвится: оно вышло-вылетѣло на бѣлый свѣтъ изъ сокровенныхъ глубинъ стихійной русской души; мысль, одухотворяющая его, является отраженіемъ завѣтныхъ взглядовъ народа-пахаря—народа-сказателя, взглядовъ, на которыхъ зиждятся основы его міропониманія. Вѣра въ безсмертіе души человѣческой изстари вѣковъ была однимъ изъ главныхъ устоевъ, поддерживающихъ духовную жизнь народной Руси.

Еще въ до-христіанскія времена брезжилась хотя и блѣднымъ, но немеркнувшимъ, проблескомъ дневного свѣта надъ темной ночью языческаго суевѣрія эта мысль, вперявшая зоркій взглядъ въ далекую даль грядущаго. Какъ въ смутномъ-тревожномъ полуснѣ—грезилось пытливому сердцу славянина-язычника все то, что потомъ яркой зарею занялось надъ его головой—съ того дня, когда принялъ въ свои освященныя молитвою воды Днѣпръ-Словутичъ крещавшуюся, по волѣ Владиміра—Красна-Солнышка, богатырскую и крестьянствующую Русь, еще за день за два передъ тѣмъ приносившую всѣ свои печали-тревоги къ деревяннымъ стопамъ златоусаго идола, поверженнаго во прахъ рукою князя-апостола и унесеннаго могучей рѣкою къ грознымъ днѣпровскимъ порогамъ—при кликахъ смущенной толпы: „Выдыбай, боже!“ Вѣрный сынъ Матери-Земли—русскій народъ еще въ младенческіе дни своего самостоятельнаго бытія—путемъ непрерывнаго общенія съ вѣчнымъ возрожденіемъ природы, обновляющейся въ своей кажущейся смерти, дошелъ до созна-

нія того, что и человѣческое существованіе, являющееся лучшимъ цвѣтомъ красотъ прекрасной вселенной, не могло и не можетъ не быть безконечнымъ.

Какъ проникъ дитя-человѣкъ въ эту тайну тайнъ мірозданія, какими глухими-извилистыми тропинками вышелъ онъ на этотъ прямой-свѣтлый путь,—покрыто туманомъ невѣдомаго. Но только шелъ этимъ путемъ богатырь-младенецъ,—какимъ поистинѣ былъ народъ русскій на зарѣ своей государственной жизни, — и самъ того не сознавая, къ побережью безпредѣльнаго моря Безконечности, надъ которымъ воссіяло для него пресвѣтлое солнце вѣры Христовой, проникшее своими лучами во всѣ потаенные уголки его младенчески-простой—хотя и затемненной-запуганной призраками грозныхъ преданій—жизни. Смутное представленіе о томъ, что бытіе человѣческое не ограничивается кратковременнымъ существованіемъ на землѣ, а безконечно продолжается за гранью смерти—въ таинственной области незнаемаго-невѣдомаго, встрѣтило желанный отвѣтъ въ новой, принесенной „изъза теплыхъ морей“, вѣрѣ. Эта-послѣдняя нашла въ своихъ простодушныхъ послѣдователяхъ подготовленную вѣками постепеннаго саморазвитія плодородную почву, воспринявшую всю ея сущность и сроднившую ее—путемъ духовнаго перевоплощенія—со всѣми наиболѣе свѣтлыми сторонами былостародавняго. Древнее суевѣріе было слишкомъ жизненно, чтобы отпасть разомъ—подобно струпьямъ страшной болѣзни при исцѣленіи отъ нея; новая вѣра, воспринятая народнымъ духомъ, явилась слишкомъ всеобъемлющею и всепрощающею, чтобы отсѣкать отъ своего здороваго тѣла больные, но не наносящіе ему особаго вреда, члены. Къ тому-же, и самая болѣзнь,—какою представлялось блуждавшее впотьмахъ народное суевѣріе,—съ теченіемъ времени дѣлалась все менѣе и менѣе опасною для великаго дѣла возрожденія въ духѣ Истины могучаго въ своемъ подвижническомъ смиреніи и смиреннаго въ своемъ—что ни годъ, что ни вѣкъ—возростающемъ могуществѣ народа-великана. Грозные призраки мало-по-малу становились все болѣе и болѣе кроткими и въ настоящее время уже не угрожаютъ своимъ присутствіемъ ничьему спокойствію. Цѣлый рядъ вѣковъ вѣрности новой вѣрѣ, прошедшихъ для народной Руси, продолжавшей въ большей или меньшей степени придерживаться суевѣрныхъ завѣтовъ старины стародавней, выработалъ у нея самобытные взгляды на жизнь и смерть. Взгляды эти слились съ основнымъ понятіемъ о безсмертіи духа человѣческаго и о безконечности существованія по ту сторону земной борьбы чувствъ и мыс-

лей, страстей и долга—борьбы темныхъ и свѣтлыхъ началъ, приводящей все и вся къ одному и тому-же порогу вѣчнаго сліянія съ Небесною Правдой, передъ которою безсильно все земное-преходящее. Переступивъ этотъ роковой порогъ, безпомощный передъ таинственными судьбами грядущаго сынъ земли становится ближе къ Небу.

Земная жизнь представляется воображенію народа-пахаря неоглядной нивою, по которой—смѣняя одна другую—проходятъ толпы сѣятелей. Засѣваютъ они распаханную предшественниками ниву, а сами все идутъ да идутъ впередъ, скрываясь съ глазъ все надвигающихся и надвигающихся новыхъ сѣятелей. Что посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ: какъ проведетъ свою земную жизнь, такое и воздаяніе получитъ сѣятель жизненной нивы—„на томъ свѣтѣ“, за порогомъ смерти. „Сѣешь живучи, жнешь—умираючи!“—изрекаетъ простодушная мудрость народная, проникновеннымъ взоромъ вглядывающаяся въ повитую туманомъ невѣдѣнія, манящую къ себѣ и въ то же самое время пугающую своей таинственностью даль, отверзающую для однихъ врата райскаго блаженства, а для другихъ—открывающую муки ада. Многое-множество сказаній сложилось въ народѣ про эту даль — сказаній, причудливой вязью переплетшихъ христіанскія откровенія съ преданіями суевѣрной старины. Народное слово—этотъ чудодѣйный родникъ воды живой, самъ-собою выбивающійся изъ потаённыхъ нѣдръ жизни — запечатлѣло въ своей бездонной глубинѣ сказанія, отражающія въ себѣ многовѣковую работу мятущейся, сбивающейся съ прямыхъ путей, но все-же неуклонно-неизмѣнно стремящейся къ свѣту, затемняемой, но не затемненной, стихійной души тяжкимъ житейскимъ сумракомъ прозорливой.

„Живъ Богъ, жива душа—моя!“—въ какомъ-то пророческомъ одушевленіи восклицаетъ русскій народъ-сказатель, для котораго — по его-же собственному изреченію—живое слово неизмѣримо дороже мертвой буквы. Смерть, представляющаяся мысленному взору людей иного духовнаго склада грознымъ чудищемъ, приводящимъ въ ужасъ своимъ приближеніемъ, для истинно-русскаго человѣка не такъ страшна. Преемственно связанный съ духовной жизнью отошедшихъ въ иной міръ родственныхъ ему по крови и по міровоззрѣніямъ поколѣній—русскій пахарь привыкъ встрѣчать смерть лицомъ къ лицу, безъ чувства особаго страха, благодаря тому, что въ немъ слишкомъ живуче яркое, какъ весенній солнечный лучъ, сознаніе, что это—лишь одинъ шагъ въ загадочную область вѣчнаго бытія. „Семи смертямъ не бывать, а

одной не миновать!"—говоритъ онъ, смотря прямо въ глаза роковой неизбѣжности,—хотя тутъ-же и оговаривается, что: „На смерть, какъ на солнце, во всѣ глаза не взглянешь!" Нравственная смерть, смерть духа—невпримѣръ страшнѣе для этого богатыря трудовой жизни, чѣмъ смерть, разрушающая тѣло. „Живому сердцу нѣтъ могилы!"—гласитъ живучая молвь народная, безъ крыльевъ перелетающая черезъ лѣса дремучіе, черезъ горы толкучія, то взвивающаяся—въ своемъ размахѣ—въ лазурную высь поднебесную, то—въ духовной тоскѣ-истомѣ—припадающая къ родимой груди Матери-Сырой-Земли.

Неизбѣжность смерти не повергаетъ простодушнаго русскаго сѣятеля жизни въ уныніе. Знаетъ онъ и всякій часъ твердо помнитъ про то, что „отъ смерти не посторонишься", что нѣтъ ничего на свѣтѣ „вѣрнѣе смерти"; но не забываетъ и о томъ, что „прежде смерти не умрешь". Неизгладимо запечатлѣлась въ немъ вѣра сердца въ предопредѣленіе, гласящая, что „каждому человѣку своя судьба на-роду написана". Смерть не страшна простецу-пахарю, какъ общее понятіе; но въ частности—онъ страшится смерти нечаянной, и одною изъ постоянныхъ молитвъ его является молитва о томъ, чтобы „привелъ Богъ помереть своей смертью":—„Упаси Господь всякаго человѣка умереть безъ покаянія!"—испуганно открещивается онъ отъ смерти „въ одночасье". Смерть, по народному слову, у каждаго стоитъ за плечами („за порогомъ"—по иному разносказу); но умереть вдали отъ родныхъ, не выразивъ послѣдней воли, не обдумавъ положенія близкихъ, остающихся въ живыхъ, и—главное—не покаявшись во грѣхахъ,—представляется въ кругу обступающихъ смерть явленій единственнымъ обстоятельствомъ, устрашающимъ духъ русскаго человѣка, который своею многовѣковой жизнью-борьбой доказалъ воочію всему міру, что онъ—не изъ робкихъ.

Русскій человѣкъ всегда былъ сторонникомъ семейныхъ-родовыхъ началъ,—семьянинъ онъ и по самой природѣ своей. Потому-то и вылетѣло изъ его устъ глубоко трогательное по существу изреченіе: „Въ семьѣ и смерть—добро, на чужбинѣ и жизнь—худо!" Родовой-общинный духъ сказывается въ другой, родственной съ этою, поговоркѣ: „На людяхъ—и смерть красна!" Жизнь, не особенно балующая пахаря-сказателя своими ласками, нашептала ему не мало такихъ, напримѣръ, красныхъ своею неумытной правдою крылатыхъ словъ, какъ: „Лучше смерть, нежели золъ животъ!", „Страховъ много, а смерть—одна!", „Не столько смертей, сколько скорбей!",

„Горя много, а смерть одна!“ и т. п. Удальство, порою смѣлое до дерзости, свойственное широкой душѣ, не любящей ничего недомолвленнаго-недодѣланнаго, на полдорогѣ никогда ни передъ чѣмъ не останавливающейся, слышится въ поговоркѣ: „Смерть русскому человѣку—свой братъ!“ Отсутствіе страха передъ этимъ „своимъ братомъ“ и порождало изумлявшихъ міръ удальцовъ среди русскихъ солдатъ, бравшихъ неприступные города одной смѣлостью, орлами перелётывавшихъ непроходимыя горы, устилавшихъ-мостившихъ путь своимъ братьямъ собственными костями. Стыдъ-позоръ для истинно русскаго человѣка—хуже смерти. Это чувство не вымерло на Руси со временъ князя-язычника Святослава, обезсмертившаго себя обращеннымъ къ хороброй дружинѣ словомъ: „Ляжемъ костьми! Мертвые срама не имуть!“. Въ иныхъ случаяхъ смерть, въ представленіи русскаго народа, является даже благодѣтельницею: „Бога прогнѣвишь—и смерти не дастъ!“—замѣчаетъ по этому поводу непрестанно памятующая о смертномъ часѣ и „спасеніи души“ народная молвь.

Общій-неизбѣжный удѣлъ человѣчества—смерть не властна надъ живымъ духомъ, воспринимаемымъ отъ поколѣнія поколѣніемъ. У русскаго народа эта преемственная связь поколѣній проявляется особенно ярко и наглядно въ обычаяхъ, пріурочиваемыхъ къ поминовенію усопшихъ. Изъ затерявшихся во мракѣ миновавшихъ вѣковъ языческихъ обрядовъ, объединенныхъ съ замѣнившими ихъ обрядами христіанскими, сложились эти обычаи, приросшіе къ сердцу народному. И не оторвать ихъ отъ этого свѣтлаго любовью сердца никакой новизнѣ, все сглаживающей-уравнивающей въ своемъ наступательномъ движеніи на пережитки сѣдой старины. Съ незапамятныхъ временъ народная Русь окружала свой домашній очагъ духами-покровителями, въ которыхъ превращались успокоенные смертью работники жизненной нивы. Къ нимъ обращалась она встарину со всѣми своими печалями, не забывающи о нихъ и въ радостные-свѣтлые дни. Имъ приносилъ славянинъ-язычникъ домашнія жертвы. Языческое почитаніе-обоготвореніе предковъ, растворясь въ христіанскомъ отношеніи къ умершимъ, вылилось въ современное, сложившееся вѣками, общеніе съ покойниками. Цѣлый рядъ особыхъ поминальныхъ дней въ году, окруженный пестрой изгородью обычаевъ, до сихъ поръ—по доброму завѣту дѣдовъ-прадѣдовъ справляемыхъ во всѣхъ уголкахъ свѣтлорусскаго простора неогляднаго слишкомъ краснорѣчиво говоритъ объ этомъ трогательномъ, обвѣянномъ дуновеніемъ нездѣшняго-несказа́ннаго, общеніи. Простонародные поминальные обря-

ды-обычаи въ одинъ голосъ свидѣтельствуютъ о томъ, что вѣра сердца въ русскомъ народѣ всегда беретъ верхъ надъ холоднымъ, недовѣрчиво относящимся ко всему, разсудкомъ: а также и о томъ, что могучій духъ кроткаго пахаря-хлѣбороба не только не страшится, но и не знаетъ себѣ, смерти.— словно возрождаясь къ новой и новой жизни при каждомъ любовномъ соприкосновеніи съ пріобщившимися къ великимъ непостижимымъ тайнамъ загробнаго міра.

Поминовеніе родителей вмѣняется въ непремѣнную обязанность каждому человѣку: оскорбленіе ихъ памяти считается у русскаго народа за тяжкую обиду и въ то-же самое время—за великій грѣхъ передъ Богомъ. „Живъ—нашъ, померъ—Боговъ!“—говорится на Руси: „За мертваго нѣтъ заступы, кромѣ Бога!“, „Передъ мертвымъ не кичись: онъ сильнѣе живого!“, „Померъ: доброму—память, лихому—забвеніе!“, „Про мертваго не молви худа, Бога обидишь!“, „Мертвому одинъ судья—Богъ!“, „Живымъ—забота, мертвому—вѣчный покой!“, „Не бывать ни одному человѣку заживо въ царствѣ небесномъ!“, „Надъ каждою могилой—Святъ-Духъ!“ Немало и другихъ изреченій, окрыленныхъ вѣщею вѣрой сердца народнаго, ходитъ по-людямъ, изъ устъ въ уста передаваючись— среди позднихъ потомковъ раннихъ пращуровъ, видѣвшихъ въ своихъ предкахъ добрыхъ-свѣтлыхъ духовъ, домашнихъ боговъ-покровителей.

Смерть слываетъ въ народѣ „часомъ воли Божіей“. Благослови, Господи, помереть на родной сторонкѣ, въ свой часъ!“— возносится къ Творцу, не сотворившему смерти, простодушная молитва каждаго бѣдняка-бобыля, знающаго, что какъ бы ни гнала его, какъ бы ни издѣвалась надъ нимъ при жизни лихая мачиха-судьба, а умретъ—такъ и ему любовно-ласково откроются материнскія объятія родной земли. Для добрыхъ и для злыхъ, для бѣдныхъ и для богатыхъ—для всѣхъ найдется мѣсто въ ея нѣдрахъ,—хотя и оговаривается посельщина-деревеньщина, что спознавшихся съ нечистой силою лиходѣевъ „и земля не принимаетъ“. Находятся и теперь такіе дотошные всезна́и, что за вѣрное передаютъ розсказни о будто-бы не принятыхъ землею нераскаянныхъ злодѣяхъ.

У жизнерадостныхъ людей,—съ какими можно встрѣтиться всегда и вездѣ, если только повнимательнѣе приглядываться къ тому, что́ творится вокругъ да около—„сложились свои поговорки-пословицы о жизни, о смерти и обо всемъ обступающемъ эти два явленія бытія человѣческаго. „Живой смерти не ищетъ!“—говорится въ ихъ кругу: „Умирать—не въ помирушки играть!“, „Кому жизнь не дорога!“, „Какъ жить ни

тошно, а умирать того тошнѣй!", „Горько жить — горько, а еще-бы столько!", „Смерть никому ни мила: ни богачу, ни бѣдняку, ни умному, ни дураку!", „Приведи, Господи, пожить лишній часокъ,—на землѣ все милѣй, чѣмъ въ сырой землѣ!" и т. д. На эти слова всегда готова у русскаго народа такая краснорѣчивая отповѣдь, какъ: „Бойся жить, а умирать не бойся: дольше жить—больше грѣшить!", „Сколько ни живи, а умирать надо!", „Всѣ тамъ будемъ: кто раньше, кто—позднѣе!", „Царь и народъ—все въ землю пойдетъ!", „Въ могилкѣ — что въ перинкѣ: не просторно, да улёжно!", „Одна смерть правдива!", „Отъ смерти не бѣгай: все равно — не уйдешь!", „Отъ жизни до смерти—одинъ шагъ!", „Умеръ — Богъ, любя прибралъ!" Да и не пересказать всѣхъ поговорокъ-присловій, какими обмолвилась словоохотливая, слова словомъ плодящая народная Русь о томъ, что неизбѣжнаго конца нечего бояться смертнымъ людямъ. „Жизнь—сказка, смерть—развязка, гробъ—коляска, покойна — не тряска, садись да катись!" — можно заключить всѣ эти богатыя изобразительностью слова прибауткомъ веселыхъ, легко смотрящихъ и на жизнь, и на смерть, краснобаевъ, руководящихся, при такомъ взглядѣ на столь важные вопросы—завиднымъ спокойствіемъ духа. „Смерть — злымъ, а доброму — вѣчная память!", „Злому смерть, а доброму—воскресеніе!"—говорятъ, хотя и не сходящіеся съ ними въ легкомысленности взглядовъ, но обладающіе тѣмъ-же драгоцѣннымъ качествомъ, болѣе строгіе, вдумчивые люди, проникновеннымъ взоромъ смотрящіе на жизнь человѣческую, искренно вѣрящіе въ то, что смерть—„душѣ просторъ".

Простонародныя загадки представляютъ жизнь и смерть двумя борцами, глядючи на которыхъ, нельзя разобрать: „кто бѣжитъ, кто гонитъ". Смерть—въ устахъ людей, любящихъ перекинуться словцомъ загадочнымъ—является столбомъ, поставленнымъ середи поля, который никто не обойдетъ, не объѣдетъ—„ни царь, ни царица, ни красная дѣвица". Безчисленный рой разносказовъ этой загадки летаетъ по всему неоглядному приволью родины народа-сказателя. Въ устахъ рязанскихъ краснослововъ „столбъ" замѣняется дубомъ, и загадка загадывается нѣсколько на иной ладъ: „На полѣ на ордынскомъ стоитъ дубъ таратынской, на немъ сидитъ птичка-вертяничка. Она хвалится-похваляется: отъ нея-де никто не уйдетъ—ни царь въ Москвѣ, ни король въ Литвѣ („ни царь Москвичъ, ни король Лукичъ"—по иному разносказу)! Олонецкіе загадчики-отгадчики рисуютъ смерть премудрой совою, которая

сидитъ на корытѣ. „Не можно ее накормити—ни попами, ни дьяками, ни пиромъ, ни міромъ, ни добрыми людьми, ни старостами!“—говорятъ они. Въ симбирскомъ Поволжьѣ подслушана такая загадка про эту неизбѣжную вершительницу жизни: „Стоитъ древо; на древѣ сидитъ голубь, а подъ древомъ—корыто; голубь съ дерева цвѣтъ щиплетъ, въ корыто сыплетъ,—съ дерева листъ не убываетъ и корыто не наполняетъ!“... У олончанъ, вмѣсто голубя, дѣйствуетъ въ разносказѣ этой загадки орелъ—птичій царь. „Стоитъ столбъ“,—загадываютъ они: „на столбѣ—цвѣтъ, подъ цвѣтами котелъ, надъ цвѣтами орелъ,—цвѣты срываетъ, въ котелъ бросаетъ, цвѣтовъ не убываетъ, а въ котлѣ не прибываетъ!“ Эта загадка съ достаточной яркостью обрисовываетъ своеобразный взглядъ русскаго народа на мудрую хозяйственную распорядительность природы, уравновѣшивающей убыль умирающихъ людей прибылью вновь нарождающихся. „Кто ниже Бога, а выше царя?“—спрашиваютъ о смерти пермяки-шадринцы. „На что глядятъ, про что вѣдаютъ да не знаютъ?“ — переговариваютъ ихъ псковичи. „Какая загадка безъ разгадки?“ — подаютъ свой голосъ завзятые нижегородскіе говоруны: „Среди поля ухабъ, не проѣхать его никакъ: все третъ, все мнетъ и всѣ завертки рветъ!“, „Сидитъ птица на кусту, молится Христу, беретъ всяки ягодки—и спѣленьки, и зелененьки!“, „Зарѣжетъ—безъ ножа, убьетъ—безъ топора!“ и т. д.

Пестрая стая загадокъ про убивающее безъ топора чудище заключается - замыкается такимъ краснымъ сказомъ: „Летѣла птица орелъ, садилась на престолъ, говорила со Христомъ: — Гой еси, Истинный Христосъ! Далъ ты мнѣ волю надо всѣми: надъ царями, надъ царевичами, надъ королями, надъ королевичами! Не далъ ты мнѣ воли ни въ лѣсѣ, ни въ полѣ, ни на синемъ морѣ!“ Въ этой загадкѣ, какъ въ зеркалѣ, отразился зоркій взглядъ народа-сказателя на безсмертную душу природы, возрождающейся съ каждою новой весною въ своемъ кажущемся зимнемъ умираніи.

По старинному, изъ глубины незапамятныхъ временъ дошедшему къ рубежу нашихъ дней, преданію, душа—покидая тѣло умершаго человѣка — не сразу разстается съ мѣстомъ земныхъ своихъ странствій. Въ продолженіе трехъ дней витаетъ она вокругъ покинутаго ею праха; то голубемъ - птицей летаетъ-вьется вблизи покойникова дома, то — мерцающимъ огонькомъ—дрожитъ ночью надъ кровлею, то бѣлой бабочкою бьется въ окно. До девятаго дня—нѣтъ ей покоя: все

еще не можетъ она позабыть о своемъ недавномъ обиталищѣ. Давно уже и погребенъ покойникъ, а въ домѣ повременамъ все еще чувствуется-слышится его незримое присутствіе. Пройдутъ „девятины“ со дня смерти, и душа покидаетъ земные предѣлы — для новыхъ мытарствъ и вплоть до самыхъ „сорочинъ“ (сорокового дня), когда ей приходится идти на уготованное земной жизнью мѣсто — или въ райскія селенія, или въ геенну огненную, на муки вѣчныя.

Третій, дѣвятый, двадцатый и сороковой дни, истекающіе со времени смерти, являлись встарину освященными обычаемъ поминальными сроками; но мало-по-малу двадцатый день сталъ опускаться, и поминовеніе ограничилось троекратнымъ повтореніемъ. Съ послѣднимъ связано у благочестиваго люда православнаго вѣрованіе о перемѣнахъ, совершающихся съ почившимъ въ эти сроки загробной юдоли. Такъ, по словамъ строгихъ блюстителей прадѣдовскихъ повѣрій, на третій день измѣняется образъ покойника, на девятыя сутки — начинаетъ разрушаться-распадаться тѣло его, въ сороковой — истлѣваетъ сердце. По свидѣтельству древней письменности русскаго народа, на третій день по смерти приводитъ ангелъ-хранитель освобожденную отъ тѣлесныхъ веригъ душу — на поклоненіе Богу. „Яко жь бо отъ царя земнаго послани будутъ воины привести нѣкоего и, связавше его, повѣдаютъ ему повелѣніе царево, трепещетъ же и держащихъ и ведущихъ его немилостиво къ путному шествію, аще и ангелы отъ Бога послани будутъ поясти душу человѣчу.“ По словамъ боголюбивой православной старины — если въ третины будетъ какое-либо молитвенное приношеніе въ храмѣ Божіемъ на поминъ души, то ей дается этимъ „утѣшеніе отъ скорби, прежь бывшія ей отъ разлученія тѣлеснаго, и (она) разумѣетъ отъ водящаго ю ангела, яко память и молитва ея ради въ церкви Божіей принесена, и такъ радостна бываетъ.“ Съ третьяго по девятый день ходитъ душа по мытарствамъ — съ ангеломъ, показывающимъ ея просвѣтленному взору райскія блаженства и адскія мученія. Настаетъ девятый день. И вотъ — посѣщаетъ добродѣтельная душа мѣста совершенія ею добрыхъ, угодныхъ Богу, дѣлъ; а грѣшную — ведетъ ангелъ по путинѣ содѣянныхъ ею прегрѣшеній, возстановляя ихъ въ ея памяти. Въ сороковой день приводитъ хранитель небесный уходившуюся съ нимъ по мытарствамъ душу къ подножію престола Господня — на послѣднее поклоненіе Творцу. Потому-то и совершается въ этотъ день особо усердное моленіе объ упокоеніи почившихъ рабовъ Божіихъ въ селеніяхъ правед-

ныхъ. „Добрѣ держитъ святая церковь, въ четыредесятый день память сотворяя о мертвомъ!“—гласитъ объ этомъ поученіе святоотеческое.

Поминовеніе умершихъ никогда не ограничивалось на Руси однимъ молитвословіемъ Церкви: его всегда сопровождали особые поминальные столы, устраиваемые для всѣхъ родныхъ и близкихъ покойнику, а также и посильно щедрая раздача милостыни нищему люду, во множествѣ собирающемуся, безо всякаго зова, на похороны и поминки. Кладбища—священное мѣсто въ глазахъ всякаго русскаго человѣка—одно изъ любимыхъ дневныхъ мѣстопребываній нищей братіи въ многолюдныхъ городахъ. Здѣсь всегда перепадетъ на ихъ убогую долю поминальный кусочекъ и деньга́ - копѣйка. Въ посельской-попольной Руси,—гдѣ на кладбищахъ собирается народъ только въ извѣстные установленные обычаемъ дни, — нищіе въ праздники толпятся въ церковныхъ оградахъ, у папертей, а въ будни бродятъ подъ окнами. „Кормилецы наши батюшки, милостивыя матушки, подайте святую милостыньку Христа ради!“—разливаются-плачутъ по подъо́конью умилённые старческіе голоса: „Родителямъ вашимъ царство небесное, а вамъ доброе здоровье! Роду вашему племени — домъ благодатный!“

Въ безсоновскую кошницу - сокровищницу духовныхъ стиховъ народныхъ занесенъ не лишенный своеобразной красоты „стихъ заупокойный“, распѣваемый каликами - перехожими, бродячею Русью Христа-ради. „Господи, воспомяни славныя памяти родителій вашихъ, отцы ваши да мамы, Божа, вспомяни!“ — льется-журчитъ ручейкомъ, чуть-сочащимся по мелкимъ камушкамъ, заунывное пѣніе:—„Отцы ваши хресные, хресникамъ, хресницамъ, племянникамъ, племянницамъ, свекры, свекровки, дивярья, золовки, во роду поколѣнія, во всемъ почитанія, при обѣдняхъ и при заутреняхъ, при церквахъ, при Божьихъ домахъ, за ясными свячами, за гласными звона́ми, за ѣствомъ херувимскимъ, за браными скатяртями, за солодкими кутьями, за мягкими просвирами, за пахучимъ ладуномъ, заключенныхъ, полоненныхъ, въ войны посяченныхъ, грома́мъ забивающихъ, молоньей палящихъ, на огню погорящихъ, на воды потопляющихъ, съ боку присыпущихъ, голодной смертяй помершихъ, которыи душачки бизъ попа помирали, въ Божой церкви не бывали, святого причастья не примали, вдовъ-ли сиротъ, бизпріютныхъ головъ,—въ чужи земли завядены, што некому поминать, по имяни называть, на вспоминъ души давать, вчисляя ихъ свѣтъ Христосъ во книги въ животныи, въ псалтыри въ суботніи, въ грамо-

ты церковныя!“.. Стихъ кончается моленіемъ къ „свѣту Христу“: — „Доняси-жь ихъ, свѣтъ Христосъ, тыи душачки до города Русалима, до царя Давыда, гдѣ Исаковы, Яковы мощи спочиваютъ! Дай, Божа, тыи душачки во городи въ Русалими въ раю раявали, со святыми спочивали! Вѣчная имъ память, создай имъ, Божа, рай пресвѣтлой, зямельку легкую и царства небесная!“ Въ этомъ одноголосномъ-тягучемъ пѣснопѣніи явственно слышится порывъ православной русской души къ сліянію съ небеснымъ блаженствомъ, уготованнымъ для праведниковъ. Мѣсто земныхъ подвиговъ Сына Божія представляется темному люду самымъ близкимъ къ обители святыхъ угодниковъ. Потому-то и находитъ возможнымъ „рай раявати“ убогій стихопѣвецъ „во городи въ Русалими“.

Яркая картина смерти праведника и грѣшника воспроизведена народомъ-сказателемъ въ стиховныхъ-пѣсенныхъ сказаніяхъ о братьяхъ Лазаряхъ—убогомъ и богатомъ (см. гл. LIX). Такихъ-же „святыхъ ангеловъ, тихіихъ, все милостивыхъ“ ниспосылаетъ Господь по праведную душу, какіе „вынимали (у Лазаря убогаго) душеньку честно и хвально, честно и хвально въ сахарны уста, да приняли душеньку на пелену, да вознесли же душу на небеса“... Къ смертному одру грѣшника, запятнавшаго свою порочную душу грѣхами нераскаянными, приходятъ—наоборотъ—„грозные ангелы—страшные грозные, немилостивые“: вынимаютъ эти посланцы гнѣва Божія грѣшную душу—также, какъ и душу Лазаря богатаго—„нечестно, нехвально, нечестно-нехвально, скрозь реберъ его“, возносятся съ нею на небеса и оттуда низвергаютъ свою отягченную прегрѣшеніями ношу „во тьму глубоко, въ тое злую муку, въ геенскій огонь“.

Смерть представляется народному воображенію въ видѣ дряхлой старухи (или даже скелета) съ косою въ рукахъ. Старинная русская сказка обрисовываетъ этого косаря цвѣтовъ жизни человѣческой въ довольно смѣшномъ видѣ, что̀ служитъ доказательствомъ живучести нашего смѣлаго народнаго слова, не задумывающагося даже передъ посягательствомъ на такую важную особу. Какъ и въ большинствѣ другихъ сказокъ—человѣкомъ, перехитрившимъ простофилю-Смерть, является завзятый носитель русскаго удальства—солдатъ. Умеръ воинъ христолюбивый, и поставилъ его Господь на часахъ у входа въ пресвѣтлый рай.—ведетъ свою рѣчь эта сказка. Видитъ служивый: идетъ Смерть.—Куда идешь?—Къ Господу за повелѣніемъ, кого морить мнѣ прикажетъ!—Погоди, я спрошу!..—Пошелъ и услы-

шалъ желаніе Божіе, чтобы морила она самый старый людъ. Вспомнилъ солдатъ, что живы у него мать съ отцомъ,—жаль стало ихъ, не передалъ онъ Смерти слова Господня, а сказалъ, чтобы шла она въ лѣса дремучіе и три года точила самые старые дубы. Заскрежетала зубами старая лиходѣйка, даже заплакала отъ досады, но повѣрила служивому, пошла выполнять переданное ей повелѣніе: ходила три года по лѣсамъ, три тода точила-грызла старые дубы,—воротилась за новымъ повелѣніемъ Божіимъ. Приказалъ Праведный Судіяморить ей молодой народъ; но солдатъ, у котораго были въ живыхъ молодые братья, передалъ приказаніе точить-грызть молодые дубы. Прошло еще три года, и на этотъ разъ (вмѣсто младенцевъ) пришлось обманутой служивымъ Смерти грызть-точить дубки малые въ теченіе новыхъ трехъ лѣтъ. Въ послѣдній день девятаго года идетъ Смерть, еле ноги волочитъ: „Ну,—думаетъ,—теперь хоть подерусь съ солдатомъ, а сама дойду до Господа. За что Онъ девять лѣтъ меня наказуетъ?“ Выслушалъ Вседержитель разсказъ Смерти, повелѣлъ солдату-обманщику девять лѣтъ носить обманутую на своихъ плечахъ. Носилъ-возилъ служивый старуху, уморился, вытащилъ рожокъ съ табакомъ, сталъ нюхать. Попросила понюхать и Смерть. „Полѣзай въ рогъ да и нюхай—сколько душѣ угодно!“ Далась въ обманъ Смерть, а солдатъ захлопнулъ табакерку да и за голенище, а самъ—на часы къ предверію райскому, какъ ни въ чемъ не бывало...Нѣкоторые сказочники пересказываютъ конецъ сказки на иной ладъ. Велѣлъ,—говорятъ они,—Господь Богъ провинившемуся часовому откармливать Смерть орѣхами. Надоскучило солдату это занятіе, заспорилъ онъ со старухой: „Ты де-не влѣзешь въ пустой орѣхъ!“ Раззадорилась Смерть—влѣзла въ орѣховый свищъ, а служивый не будь дуракъ, взялъ да и заткнулъ дырку въ орѣхѣ, а орѣхъ спряталъ въ карманъ. Освободилъ Господь взмолившуюся къ нему заключенную, повелѣлъ ей уморить дошлаго солдата. И вотъ,—сказывается сказка,—сталъ онъ готовиться къ послѣднему концу, надѣлъ чистую рубашку и притащилъ гробъ. „Готовъ?“—спрашиваетъ Смерть.—Совсѣмъ готовъ!—„Ну, ложись въ гробъ!“ Полѣзъ солдатъ въ домовину—никакъ не можетъ улечься, какъ быть надо: то внизъ лицомъ, то на-бокъ ляжетъ. Проситъ онъ показать, какъ ложатся добрые люди въ гробъ,—ссылается, что никогда-де и не видывалъ, какъ помираютъ. Согласилась старая показать, что́ и какъ,—выскочилъ служивый изъ гроба, легла Смерть на его мѣсто, а дока-солдатъ захлопнулъ крышку, стянулъ гробъ желѣзными обручами да

и закинулъ его въ море. Освободилась изъ своей тюрьмы замаянная солдатомъ Смерть только тогда, когда бурею разбило гробъ о каменныя скалы... Существуютъ и другіе разносказы этой смѣшливой сказки, и во всѣхъ нихъ Смерть выставляется недогадливой - неповоротливой, недалекаго ума старухой, а въ солдатѣ-докѣ воплощается пришедшаяся посердцу — по нраву народу-пахарю прирожденная русская сметка.

Не всегда, однако, относится съ такимъ легкомысліемъ къ подкашивающей жизнь посланницѣ воли Божіей народная Русь,—приходятъ ей на память подобныя сказки только подъ веселую руку, въ беззаботный часъ, какіе далеко не такъ-то часто выпадаютъ въ трудовой жизни, какъ это можетъ показаться не вошедшему въ кругъ ея потовыхъ - страдныхъ заботъ человѣку. Достаточно прислушаться хотя-бы къ двумъ-тремъ изъ тѣхъ щемящихъ сердце, раздирающихъ живую душу причетовъ-плачей, какими еще и теперь провожаютъ по захолустнымъ селамъ-деревнямъ покойниковъ народныя плакальщицы-вопленницы, — чтобы понять, какую скорбь-смуту вноситъ смерть въ крестьянскую семью, какъ тяжело отзывается ея приходъ на остающихся въ живыхъ. Нечего уже и говорить о вдовахъ съ дѣтьми-сиротами! Недаромъ, приходя къ своимъ покойничкамъ во дни весеннихъ-„радонищкихъ“ и осеннихъ-прощальныхъ свиданій съ ними, припадаютъ онѣ къ роднымъ могилкамъ, исходятъ на нихъ слезами горючими, повѣряя лежащимъ во сырой землѣ свои жалобы горькія. Многое-множество подобныхъ „воплей“ записано—сохранено отъ забвенія собирателями памятниковъ живого народнаго слова. Нѣсколько изъ нихъ уже было приведено въ предыдущихъ очеркахъ.

Наиболѣе ярко отразились представленія русскаго народа о загробной жизни въ стиховныхъ сказахъ каликъ-перехожихъ. Среди нихъ выдѣляется цѣлый рядъ, посвященныхъ смерти, посмертнымъ мытарствамъ и Страшному Суду Божію; есть и воспѣвающіе райское блаженство, являющееся удѣломъ праведныхъ. Въ стихѣ „Плачъ Адамовъ“, поющемся-сказывающемся въ каждой округѣ на свой особый ладъ, есть звучащее покаяннымъ словомъ народа - сказателя мѣсто: „Оставимъ мы гордость, воспріемлемъ кротость, возлюбимъ мы нищіихъ, убогую братію, накормимъ мы алчущихъ, напоимъ жаждущихъ, одѣнемъ мы нагихъ своимъ одѣяніемъ. Тутъ намъ будетъ послѣдне свиданіе, послѣдне прощанье! Прижмемъ мы руци къ сердцу, прольемъ ко Богу слезы, воззримъ мы на гробы“...—гласитъ

оно.Затѣмъ, нищіе духомъ пѣвцы-сказатели восклицаютъ—устами плачущаго у двери потерянаго рая прегрѣшившаго праотца людей:

„Гробы вы, гробы,
Превѣчны намъ домы!
Сколько намъ ни жити,
Васъ не миновати!
Тѣла наши пойдутъ
Во сырую землю—
Землѣ на преданье,
Червямъ на точенье.
Души наши пойдутъ
По своимъ по мѣстамъ“...

Вслѣдъ за этимъ вырывающимся у стихійнаго пѣвца-народа изъ стремящейся къ вратамъ покаянія, открытой вѣянію добра-свѣта, затуманенной сумракомъ мірского зла, души восклицаніемъ—идутъ новыя покаянныя слова, кончающіяся предвѣщаніемъ, что „на второмъ пришествіи ничто не пособитъ (грѣшникамъ), ничто и не поможетъ—ни злато, ни серебро, ни цвѣтное платье, ни друзья и ни братія; только намъ пособитъ, только намъ поможетъ слезы, постъ и моленіе, и чистое покаяніе („... и святая милостыня“, — добавляется въ другомъ разносказѣ-разнопѣвѣ стиха)!...“

Человѣкъ, по словамъ стихопѣвца-народа, живетъ на землѣ—„какъ трава ростетъ“; умъ-разумъ человѣческій—„какъ маковъ цвѣтъ цвѣтетъ“; всякая слава земная представляется также „цвѣтомъ“ бреннымъ, какъ и самое бытіе земное-преходящее. „Съ вечеру человѣкъ въ бесѣдѣ здравъ и веселъ сидитъ, а поутру человѣкъ той уже въ гробѣ лежитъ“,—продолжаетъ народное пѣсенное слово и переходитъ къ дальнѣйшему воспроизведенію картины лежащаго въ гробѣ. „Ясны очи помрачились, и языкъ замолчалъ, руки-ноги онѣмѣли“,—гласитъ эта сплетенная изъ словъ картина. Разстающаяся съ тѣломъ душа напоминаетъ пѣвцу-сказателю птенца, вылетающаго изъ гнѣзда на вольный просторъ. Вылетаетъ она и „приходитъ въ незнакомый міръ“ и при этомъ —„оставляетъ вся житейская попеченія, честь и славу, и богатство маловременное: забываетъ отца-матерь, жену и чадъ своихъ, преселяется во инъ вѣкъ безконечный“... И вотъ,—продолжаютъ убогіе пѣвцы,—видитъ преселившаяся въ вѣкъ безконечный душа человѣческая „лица и вещи преужасныя“. Прежде всего обступаютъ ее добрые ангелы, и „воздушны

духи темные". — „Ты куда, душе, быстро течешь путемъ своимъ?" — вопрошаютъ ее первые: — „Ты должна по грѣхамъ своихъ оправдиться. Вспомни, какъ на ономъ свѣтѣ во грѣхахъ жила? Здѣсь грѣхами, какъ сѣтьми, свяжутъ тя!" Внемля словамъ ангеловъ, „вострепеталась" грѣшная душа, кающаяся въ своихъ прегрѣшеніяхъ. — „Вы помилуйте, помилуйте, добріи ангелы! — „восклицаетъ она: — „Не отдайте мя, несчастную, въ руки злыхъ духовъ, вы ведите мя ко Господу къ милосердному! Я въ дѣлахъ своихъ при смерти воспокаялась, въ коихъ воленъ милосердный Богъ простить меня!" За этимъ восклицаніемъ переносится просвѣтленный взоръ души человѣческой съ „того свѣта" на „оный", гдѣ справляется въ это-самое время вся погребальная обрядность. — „Вы же что, мои дружья и ближніи, и сродницы, обстояще гробъ и тѣло лобызаете?" — обращается къ стоящимъ вокругъ покинутаго ею на землѣ тѣла кличъ смятенной души: — „Вы на что свѣщи и масло возжигаете? Не возжегъ бо я свѣтильника душевнаго. Вы на что меня водою обмываете? Не умылся я слезами предъ Господомъ. Вы почто меня во ризы свѣтлы облекаете? Не облекся я, живучи, во ризы свѣтлыя. Что-же въ ракахъ съ преподобными полагаете? Ихже образу житія не послѣдовахъ. Вы почто псалмы и пѣсни совершаете? Не воспѣлъ бо я, живучи, пѣсни духовныя. Что же въ церковь со свѣщами провожаете не возжегшаго свѣтильника масломъ милости?.."

Кличъ этотъ заключается послѣдней просьбою встосковавшейся по добродѣтели кающейся грѣшной души: — „Раздѣлите мое имѣніе нищимъ-странникамъ!" — проситъ-молитъ она: — „Ихъ молитвы, слезы теплыя послушаетъ Богъ и подастъ для ихъ прощенія грѣхомъ моимъ!" За выполненіе этой посмертной воли обѣщаетъ плачущая-рыдающая душа и выполнителямъ великую награду: „..сами вы отъ Господа услышите", — говоритъ она: — „Пріидите, благословленіи Отца Моего, вы наслѣдуйте уготованное царствіе со избранными святыми, Мнѣ спожившими!" Въ этомъ кличѣ души, „преселившейся во инъ вѣкъ безконечный", явственно слышится вдохновенный голосъ вѣры сердца народнаго.

Смерть представляется русскому человѣку путешествіемъ въ далекій невѣдомый край: потому-то и говорится вмѣсто „умереть" — „отойти (къ праотцамъ)", а молитва, читаемая надъ умирающимъ, зовется „отходною". Въ стародавніе годы на древнерусской языческой тризнѣ сжигали на свѣженасыпанномъ курганѣ, а иногда зарывали въ могилу любимаго

коня покойникова, чтобы онъ помогъ своему хозяину поскорѣе совершить тотъ путь, изъ котораго никто домой не возвращается. Еще и теперь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ кладутъ въ гробъ подорожный посохъ и новые лапти, все съ той-же цѣлью—облегчить умершему трудности предстоящаго путешествія. Далеко не легокъ этотъ путь! Пересѣкаютъ дорогу загробнаго путника не только овраги, горы и лѣса, но даже,—какъ говоритъ старинное преданіе,—рѣка огненная. Перевозитъ черезъ эту рѣку св. Михаилъ-архангелъ души праведныхъ, принимая ихъ, какъ любящая мать дѣтей—въ свои объятія. Грѣшники-же, не оставившіе по себѣ на землѣ добрыхъ дѣлъ, оглашаютъ берега этой рѣки напрасными воплями-стонами: не соглашается взять ихъ въ свою ладью грозный архистратигъ Господень. Много ихъ тонетъ въ волнахъ огненныхъ, погружаясь на дно—въ муки вѣчныя.

По другимъ-же сказаніямъ, эта рѣка „протечетъ съ востока до запада“ лишь предъ Страшнымъ Судомъ Божіимъ, вслѣдъ за которымъ наступитъ обновленіе міра. У Кирилла Туровскаго [94]) такимъ образомъ изложено это преданіе: „...огнь неугасимый потечетъ отъ востока до запада, поядая горы и каменіе и древа, и море изсушая; твердь же яко береста свертится, и вся видимыя сущія вещи, развѣе человѣкъ, вся отъ ярости огненныя яко воскъ истаютъ, и згоритъ вся земля. И сквозь той огонь подобаетъ всему человѣческому роду проити“... Дальнѣйшія слова древняго проповѣдника гласятъ слѣдующее: „...въ нихъ же суть нѣщи, мало имуще согрѣшенія и неисправленія, яко человѣци, понеже есть Богъ единъ безъ грѣха; да симъ огнемъ искушени будутъ, очистятся и просвѣтятся тѣлеса ихъ яко солнце, по добродѣтели ихъ: праведнымъ дасть свѣтъ, а грѣшникамъ опаленіе и омраченіе. Прешедшимъ же имъ сію рѣку огненная си рѣка, по Божію повелѣнью, послуживше и отшедши къ западу, учинится во озеро огненное на му-

[94]) Св. Кириллъ Туровскій—русскій проповѣдникъ-писатель XII-го столѣтія, родился въ 1130-мъ году въ гор. Туровѣ. Постригшись въ монашество, онъ изучалъ творенія отцовъ Церкви, затѣмъ уединился въ башнѣ ото всей братіи и отдался размышленіямъ. Первыми литературными трудами его были: „Сказаніе о черноризчествѣ чину отъ ветхаго закона и новаго“ и „О подвигѣ иноческаго житія“. Слава о мудрости и святой жизни Кирилла дошла до великаго князя Андрея Боголюбскаго, и, по желанію послѣдняго, онъ былъ посвященъ во епископы туровскіе. Ему принадлежатъ множество поученій и до двадцати молитвъ („Молитвы на всю седмицу“ и друг.). Сочиненія его считаются современными богословами за перлъ краснорѣчія XII-го вѣка. Кончина св. Кирилла послѣдовала въ 1182-мъ году.

ченіе грѣшнымъ. Послѣ будетъ земля нова и ровна, якоже бѣ искони, и бѣла паче снѣгу, и потомъ повелѣніемъ Божіимъ премѣнится и будетъ яко злато, изидетъ изъ нея трава и цвѣтіи много различніи и неувядающи никогда же... и возрастутъ древа не яко видимая си суще, но высотою, лѣпотою, величествомъ невозможно есть изглаголати усты человѣческыми"...

Души умирающихъ младенцевъ, по вѣрованію народной Руси, не расходящемуся и съ ученіемъ Церкви, прямо идутъ въ царство небесное; но это только въ томъ случаѣ, если онѣ пріобщились—путемъ крещенія—къ паствѣ Христовой. Некрещеные-же младенцы становятся, по словамъ народнаго суевѣрія, жертвою нежити-нечисти, — будучи обречены на вѣчное блужданіе надъ болотными трясинами въ видѣ подвластныхъ Водяному духовъ, проявляющихъ свое присутствіе дрожащими-мерцающими огоньками. Многіе изъ нихъ съ теченіемъ времени превращаются въ „кикиморъ", творящихъ волю нечистой силы. Другіе—суевѣрные на свой-особый ладъ—люди говорятъ, что становятся некрещеныя младенческія души русалками, — особенно, если мать утопитъ своего ребенка. „Мене мати породила, некрещену утопила!" — звучитъ явственнымъ отголоскомъ этого повѣрья пѣсня русалокъ, распѣвавшаяся встарину на семицкихъ да на купальскихъ игрищахъ-гульбищахъ. „Приспанный" (нечаянно задавленный во снѣ) ребенокъ также считается въ народѣ жертвою нечистой силы. По неписанному, подслушанному нашими народовѣдами, укладу русскаго простонароднаго суевѣрія, для избавленія души такого младенца отъ ея тягостной вѣковѣчной судьбы должна мать, совершившая этотъ невольный грѣхъ, простоять три ночи во храмѣ Божіемъ—въ кругу, очерченномъ рукою священника. Дѣлается-ли это гдѣ-нибудь въ настоящее время—неизвѣстно и даже сомнительно, чтобы дѣлалось; но сѣдая старина сохранила въ своихъ памятникахъ живучій слѣдъ этого суевѣрнаго обычая.

Еще болѣе тягостна загробная участь дѣтей, проклятыхъ своими родителями: нѣтъ имъ, по народному слову, отпущенія на томъ свѣтѣ, если не отмолятъ ихъ сами проклявшіе. А отмолить проклятіе не такъ-то легко, какъ проклясть! Въ народныхъ русскихъ сказкахъ, записанныхъ А. Н. Аѳанасьевымъ, есть любопытный владимірскій сказъ о „проклятомъ дѣтищѣ". Жилъ старикъ со старухою,—начинается-заводится онъ,—и былъ у нихъ сынъ, котораго мать прокляла еще во чревѣ. Сынъ выросъ большой и женился; вскорѣ послѣ того

онъ пропалъ безъ вѣсти. Искали его, молебствовали объ немъ, а пропащій не находился. Недалеко въ дремучемъ лѣсу стояла сторожка; зашелъ однажды туда ночевать старичокъ нищій и улегся на печкѣ. Спустя немного слышится ему, что пріѣхалъ къ тому мѣсту незнакомый человѣкъ, слѣзъ съ коня, вошелъ въ сторожку и всю ночь молился да приговаривалъ: „Богъ суди мою матушку—за что прокляла меня во чревѣ!“ Утромъ пришелъ нищій въ деревню и прямо попалъ къ старику со старухой на дворъ. „Что, дѣдушка“,—спрашиваетъ его старуха,—„ты человѣкъ мірской, завсегда ходишь по-міру, не слыхалъ-ли чего про нашего пропащаго сынка. Ищемъ его, молимся о немъ, а все не объявляется!“ Разсказалъ нищій про то, что̀ ему видѣть-слышать приключилось: „Не вашъ-ли (говоритъ) это сынокъ?“ Поѣхалъ, по его указанію, старикъ въ лѣсъ, заночевалъ въ сторожкѣ. И опять повторилось ночью то-же, что и раньше. Узналъ старикъ сына, кинулся къ нему: „Ахъ, сынокъ! Насилу тебя отыскалъ; ужъ теперь отъ тебя не отстану!“—„Иди за мной!“—отвѣчаетъ сынъ. Привелъ онъ отца къ проруби на рѣку, а самъ вмѣстѣ съ конемъ—въ прорубь. Только и видѣлъ его старикъ. Вернулся онъ домой, разсказалъ старухѣ-женѣ, гдѣ живетъ ихъ дѣтище. На другую ночь мать-старуха заночевала въ лѣсной сторожкѣ и тоже—по словамъ сказки — ничего добраго не сдѣлала. На третью ночь пошла выручать своего мужа встосковавшаяся по немъ молодая жена. Опять пріѣхалъ въ урочное время добрый молодецъ; какъ запричиталъ онъ, молодуха и выскочила къ нему: —„Другъ мой сердечной, законъ неразлучной!“—говоритъ: „Теперь я отъ тебя не отстану!“ Привелъ ее мужъ прямо къ проруби. Не устрашилась она: „Ты въ воду—и я за тобой!“ —„Коли такъ, сними крестъ!“ Сняла, да и бросилась въ прорубь. Очутилась она въ большихъ палатахъ,—продолжаетъ близящійся къ концу народный сказъ. Сидитъ тамъ сатана на стулѣ, увидалъ молодуху и спрашиваетъ ея мужа: —„Кого привелъ?—Это мой законъ!—„Ну, коли это твой законъ, такъ ступай съ нимъ вонъ отсюдова! Закона разлучать нельзя!“ Выручила жена мужа и вывела его на вольный свѣтъ, —кончаетъ простодушный народъ-сказатель.

„Всякая душа крещоная проситъ погребенія!“—говоритъ старинное русское изреченье. „Не похоронить—душу убить!“ —вторитъ ему другое. Съ незапамятныхъ поръ считалось у насъ на Руси за великое богоугодное дѣло оказать помощь при погребеніи бѣднаго человѣка. Лишенные погребенія становятся, по народному повѣрью, вѣчными мучениками-ски-

тальцами. Блуждаютъ ихъ души по свѣту, пресмыкаются вмѣстѣ съ туманами по сырой землѣ; плачутъ онѣ кровавыми слезами, стонутъ тяжкимъ стономъ отъ своего безысходнаго горя великаго. Являются онѣ во снѣ близкимъ людямъ,—просятъ-молятъ ихъ о преданіи землѣ. Исполнится это ихъ желаніе—и скитальчеству конецъ, начало странствіямъ-мытарствамъ, общимъ для всѣхъ умирающихъ: вплоть до сороковаго дня послѣ погребенія, когда всякая душа приходитъ къ своему загробному предѣлу—или къ селеніямъ блаженства райскаго, или къ вѣчнымъ мукамъ.

Жизнь всегда казалась русскому народу драгоцѣннымъ даромъ Божіимъ. Посягающій на нее лихой человѣкъ является въ его глазахъ похитителемъ достоянія Господня, а потому и было убійство тяжкимъ грѣхомъ даже у языческой Руси. Но положительно противнымъ природѣ русскаго человѣка считалось самоубійство,—за этотъ тягчайшій грѣхъ лишалъ народъ-пахарь даже утѣшенія быть похороненнымъ на одномъ кладбищѣ съ близкими-родными, отводя для могилъ самоубійцъ лѣсные овраги и мочежины болотныя, всторонѣ ото всякаго обиталища—и живыхъ, и мертвыхъ. По стариннымъ чешскимъ преданіямъ, душа самоубійцы превращается въ черную собаку и во все то время, которое онъ долженъ былъ прожить, если-бы не наложилъ на себя рукъ, скитается по землѣ, чтобы—по минованіи этого срока—ввергнуться въ геенну огненную. Русское простонародное міровоззрѣніе хотя и не приравниваетъ самоубійцъ ко псу, но, тѣмъ не менѣе, осуждаетъ ихъ суровымъ судомъ, отказывая въ загробномъ общеніи съ близкими имъ по крови и по мысли. Могильники самоубійцъ окружаются призраками всякой темной силы, почему и слывутъ „заклятымъ мѣстомъ“. Не видятъ эти мѣста ни поминальныхъ угощеній, не слышатъ ни причетовъ-плачей поминальщиковъ. Плачутъ надъ могилками самоубійцъ только облака-тучи, кропящія землю дробнымъ дождемъ; поетъ по нимъ панихиды, вопитъ надъ ними, только вѣтеръ буйный, облетая всѣ горы-долы свѣта бѣлаго, да воютъ, пробѣгая по сосѣднимъ буеракамъ сиромахи—волки сѣрые. Обходитъ деревенскій людъ поодаль эти заклятыя, оговоренныя суевѣрной памятью, мѣста,—ожидая отъ близости къ нимъ (особенно—ввечеру) всякаго навожденія.

Встарину было въ обычаѣ хоронить возлѣ проѣзжихъ дорогъ застигнутыхъ смертью въ пути. Еще и теперь можно встрѣтить не мало такихъ могилокъ, разбросанныхъ по неоглядной путинѣ свѣтлорусскаго простора широкаго. „Гдѣ пролилась кровь убіеннаго—тамъ и погребай его!“—вѣщаетъ

убѣленная мудростью старина. По ея слову, еще недавно соблюдался этотъ обычай въ среднемъ Поволжьѣ, на которомъ не мало тропинокъ-дороженекъ проложила обагрявшая кровью землю понизóвая вольница, разбѣгавшаяся по обѣ стороны могучей рѣки—отъ воеводскаго разгрома, послѣ поимки Стеньки Разина—этого послѣдняго представителя русскаго ушкуйничества—сохранившагося въ народной памяти съ очестливымъ именемъ „удалого Степана Тимоѳеича“. Считалось грѣхомъ переносить для погребенія на кладбища сраженныхъ въ дорогѣ стрѣлами грома небеснаго—убитыхъ молніей. И они находили себѣ вѣковѣчный покой тамъ, гдѣ были застигнуты „волей Божіей“. Но ни тѣ, ни другія могилки не внушаютъ прохожему-проѣзжему люду православному того суевѣрнаго ужаса, какой просыпается у него въ душѣ по сосѣдству съ могилами самоубійцъ.

Всѣ люди, по народному представленію, являются въ этомъ мірѣ странниками. Смерть настигаетъ ихъ тамъ, гдѣ ей указано Богомъ,—если только человѣкъ не поддастся—въ недобрый часъ—искушенію лукавому и не подниметъ самъ на себя руки, или не продастъ безсмертную душу свою лютому врагу спасенія рода человѣческаго—діаволу. Конченъ земной путь; открыты врата новой—безконечной—жизни, столь радостной-отрадной для однихъ („ходящихъ по путямъ Божіемъ“) и столь горестной для другихъ—позабывавшихъ при земной жизни о Богѣ правды. Годы блаженства райскаго пролетаютъ, какъ мгновенія; мгновенія адскихъ мукъ кажутся годами. И такъ—до скончанія вѣковъ, до Страшнаго Суда Божія, о которомъ сокрушается народъ-стихопѣвецъ въ одномъ изъ своихъ стиховныхъ сказовъ:

„Плачу ся и ужасаю,
Егда онъ часъ помышляю,
Какъ пріидетъ Судія праведный,
Въ Божествѣ Своея славы,
Судъ справедливый судити
И страшный отвѣтъ творити!...“

Безчисленное множество разнопѣвовъ-разносказовъ стиха о Страшномъ Судѣ сложилось въ русскомъ народѣ. Поются-распѣваются они до нашихъ дней по всѣмъ уголкамъ боголюбивой народной Руси. Наиболѣе полный и связный изъ нихъ подслушанъ-записанъ Кирѣевскимъ въ Сызранскомъ уѣздѣ Симбирской губерніи. Начинается онъ прямо съ покаянія: „Живали мы, грѣшные, на вольномъ свѣту, пили мы ѣли, сами тѣшилися, тѣлеса мы свои грѣшныя вынѣживали, грѣ-

ха много мы на̀ душу накладывали, ничего мы душамъ добраго не уготавывали: за всё будемъ Богу нашъ отвѣтъ держать на страшныемъ Христовомъ на пришествіи"... Затѣмъ, слѣдуетъ-продолжается исчисленіе грѣховъ: „Въ святую Божью церковь мы не прихаживали, святыхъ Божіихъ книгъ мы не слушивали, по писанному мы, грѣшные, не вѣровали... Не имѣли мы ни среду, ни пятницу, святаго трехденнаго воскресенія, святыхъ годовыхъ честныхъ праздниковъ. Не имѣли мы у себя отца духовнаго, спѣсивые были—гордые мы немилостивые, до нищихъ до убогихъ неподатливые: за то-же мы Господа прогнѣвали, Владычицу Пресвятую Богородицу, Пресвятую Троицу присносущную, поклоняемую"... За покаяннымъ вступленіемъ идетъ рядъ вопросовъ, не всегда сопровождаемыхъ отвѣтами: „Да кто-же не слыхалъ у насъ страху Христа, страху Христа, суда Божьева? Да кто-же у насъ во плоти взятъ у Христа? Во плоти взятъ у насъ Илья, Божій пророкъ, Илья, Божій пророкъ, и Онохъ, Божій пророкъ. Восходилъ-же онъ на гору на Ѳаворскую, тогда онъ восходилъ, когда преобразился Господь съ преучениками своими, съ преапостолами, показалъ Онъ ему, въ чемъ мука и рай и всякіимъ мѣста уготовленныя: гдѣ праведнымъ быть, гдѣ грѣшныимъ, гдѣ татьямъ быть, ворамъ, грабителямъ, еретикамъ, клеветникамъ, ненавистникамъ, гдѣ блудникамъ быть, беззаконнымъ рабамъ"... Народъ-стихопѣвецъ точенъ—какъ и всегда—въ своихъ опредѣленіяхъ: „Татьи всѣ пойдутъ во великій страхъ",—говоритъ онъ: „разбойники пойдутъ въ грозы въ лютыя; а чародѣи всѣ изыдутъ въ дьявольскій смрадъ; а убійцамъ-то будетъ скрежетъ зубный; сребролюбцамъ-то будетъ несыпляющая червь, смѣхотворцамъ-груботворцамъ—вѣчная плачь, а пьяницамъ смола горючая..." Вслѣдъ за этимъ—картина огненнаго обновленія природы, о которомъ уже упоминалось выше: „...протечетъ Сіонъ-рѣка огненная, отъ востока рѣка течетъ до запада: пожретъ она землю всю и каменье, древеса и скотъ и птицу пернатую, пернатую птицу и воздýственную. Тогда мѣсяцъ и солнышко потемнѣютъ, и небо возсіяетъ, во свитки совьется, и звѣзды спадутъ съ неба на землю, спадутъ онѣ, яко листья со древовъ. Тогда-же земля вся восколыбается, всѣ ангелы Божіи преустрашатся, завидѣвши страсти всѣ и ужасы. Сойдетъ съ небесъ Царица Владычица, Пресвятая Богородица, со престоломъ сойдетъ съ небесъ на землю; по Божьему все повелѣнію сойдутъ съ небеси святые ангелы, и снесутъ они Крестъ пресвятый Его, и поставятъ на мѣсто на Лобное, да гдѣ же претерпѣлъ Господь вольное распятіе. Потомъ снесутъ престолъ Господень съ неба

велѣлъ и берега рѣки надъ ними содвинуть, чтобы не было слышно стона-скрежета. Услышавъ такое повелѣніе и въ то-же самое время завидѣвъ „прекрасенъ рай“, а въ немъ—„Пресвятую Матерь-Богородицу“, возопили „беззаконные рабы со воплею со великою“:—„Ой ты, наша, Заступница Госпожа Мать Пресвятая Богородица! Припади ты ко престолу, къ Судіи праведному со своими со слезамъ съ умильными за насъ, за грѣшныихъ, за убогіихъ: чтобы до насъ Господи былъ милостивый, не послалъ-бы насъ въ злыя муки въ лютыя, прелютыя муки, злыя, превѣчныя, во тартарары преисподенные!“ Обращаются грѣшники съ молитвою и ко всѣмъ святымъ, пророкамъ и мученикамъ,—чтобы припали и они съ мольбою о прощеніи „убогіихъ-грѣшныихъ“ ко престолу Всевышняго, чтобы вывелъ ихъ Судія Праведный „на вольный на прелестный свѣтъ“. Обѣщаютъ они вспокаяться и всегда идти по стопамъ Божіимъ. Не внемлетъ столь позднему покаянію („...Не есть во адѣ покаянія, не есть во адѣ исповѣданія!..“),—непоколебимъ въ Своемъ рѣшеніи Господь. Начинаютъ грѣшники прощаться со всѣмъ и всѣми. Это мѣсто сказанія дышетъ проникновеннымъ чувствомъ.—„Прости, наше услажденіе, прекрасенъ рай, простите наши райскія кущи!“—восклицаетъ скорбный хоръ грѣшниковъ:—Прости, нашъ Животворящій Крестъ, райское знаменіе... Прости ты, наша Заступница, Госпожа Матерь Пресвятая Богородица! Прости, нашъ страшный Судія, Самъ Іисусъ Христосъ! Прости, нашъ Іоаннъ Предтеча! Прости, нашъ Михаилъ, архангелъ святой, простите всѣ ангелы, архангелы, херувимы и вся Сила Небесная. Уже намъ, грѣшныимъ, вашей славы не слышати“... Далѣе—прощаются грѣшники со всѣми святыми-праведными, „наслѣдниками Божіими“. Вслѣдъ за этимъ прощаніемъ идетъ слово грознаго Судіи, обращенное ко всѣмъ праведнымъ:—„Подите, Мои Христолюбимые, подите, отъ вѣку угодившіе Мнѣ; подите, святые Мои — праведные; подите, пророцы всѣ мученицы, подите, страстотерпцы, страстотерпницы; подите, пустынные жители! Скитались вы во горахъ, въ вертепахъ, во пустыняхъ, исправляли правила Божіи, исправляли вы Моего ради имени! Подите вы, страдальцы и мученицы: страдали вы Моего ради имени! Подите вы, апостолы, угодники Божіи, вы Мое въ мірѣ имя проповѣдали! Подите, наслѣдники вы Божіи, наслѣдуйте вы царствіе небесное! Моему-то царствію не есть конца!“... Стихъ-сказъ кончается краткимъ и спокойнымъ заключеніемъ повѣсти о Страшномъ Судѣ Божіемъ:

„Тогда исполнится слово пророческое:
Да исчезнутъ отъ земли всѣ грѣшные,
Съ шумомъ имъ будетъ скончаваніе,
Имъ же не быть здѣсь на земли,
Отъ вѣку вѣковъ...“

Въ это-же время—по другому сказанію,—„праведные возсіяютъ яко солнушко, радуючи, возвеселяючи, сами воспоютъ гласы ангельски...“ Такъ исполнится въ мірѣ правда Божія, предъ которою безсильно всякое земное могущество — по словамъ народа-пахаря, провидящаго за тьмою смерти свѣтъ жизни безконечной.

УКАЗАТЕЛЬ ПРИМѢЧАНІЙ.

Августъ, импер.: 340.
Александръ Ярославовичъ, вел. кн. 348.
Алексій, св.: 177.
Аркона, городъ: 21.
Аѳанасьевъ, А. Н.: 9.
Безсоновъ, П. А.: 8.
Бретонцы: 309.
Буслаевъ, Ѳ. И.: 11.
Василій II-й, вел. кн.: 170.
Венды: 109.
Веселовскій, А. Н.: 514.
Власій, св.: 149.
Вятичи: 302.
Георгій-Побѣдоносецъ, св.: 279.
Гильфердингъ, А. Ѳ.: 639.
Гостомыслъ: 577.
Григорій Богословъ, св.: 15.
Густинская лѣтопись: 226.
Даль, В. И.: 45.
Даміанъ, св.: 458.
Димитрій Солунскій, св.: 445.
Діоклетіанъ, импер.: 497.
Длугошъ: 281.
Довмонтъ, кн. псковскій: 102.
Древляне: 302.
Елевзинскія таинства: 309.
Забѣлинъ, И. Е.: 100.
Зоря, раст.: 41.
Зосима, св.: 470.
Илія, прор.: 333.
Иллирійскіе славяне: 128.
Ильмень, оз.: 73.
Ильминскій, Н. И.: 96.
Иннокентій, митропол.: 10.
Ипатьевская лѣтопись: 34.
Истоминъ, Ѳ. М.: 366.
Іоасафъ, царевичъ: 478.
Калайдовичъ, К. Ѳ.: 73.
„Калевала“: 596.
Карамзинъ, Н. М.: 575.
Кириллъ, митроп.: 65.
Кириллъ Туровскій, св.: 698.
Кирѣевскій, П. В.: 17.
Климентъ, св. папа римскій: 78.
„Кормчая Книга“: 451.
Костомаровъ, Н. И.: 304.
Косьма, св.: 458.
Крестовскій, Вс. В.: 378.
Кроаты: 109.
Левъ III-й, импер; 429.
Ложныя солнца: 37.
Максиміанъ, импер.: 630.
Максимовъ, С. В.: 131.
Матвѣевъ, А. С., бояр.: 519.
Мельниковъ, П. И.: 441.
Меря: 297.
Меѳодій Патарскій, св.: 11.
Мордва: 95.
Николай-чудотворецъ, св.: 265.
Новиковъ, Н. И.: 217.
Нѣмецкая слобода: 262.
„Нѣтовщина“: 486.
Олеарій, Ад.: 167.
Олегъ, кн.: 154.
Павелъ, апост.: 316.
Памфилъ, игум: 302.
Петръ Александрійскій, св.: 78.
Петръ, апост.: 316.
Писцовыя Книги: 501.
Радимичи: 302.
Разрядныя Книги: 311.
„Русская Правда“: 59.
Рыбниковъ, П. Н : 77.
Савватій, св.: 407.
Садовниковъ, Д. Н.: 179.
Сахаровъ, И. П.: 42.
Святополкъ I-й, кн.: 328.
Сибирская язва: 334.
Симеонъ Полоцкій: 519.
„Синопсисъ“: 437.
Словаки: 36.
„Слово о полку Игоревѣ“: 150.
Снегиревъ, И. М.: 225.
„Стоглавъ“: 212.
„Судебникъ“: 500.
Сѣверяне: 302.
Тихонъ I-й, еписк: 301.
Фаминцынъ, А. С.: 167.
Чуваши: 95.
Шейнъ, П. В.: 411.
Юрій Всеволодовичъ, вел. кн.: 102.
Якушкинъ, П. И.: 13.
Ярославъ I-й, вел. кн.: 102.
Ѳеодоръ-Тиронъ, св.: 136.

Содержаніе.

		стр.
Предисловіе		VII— XII.
I.	Мать-Сыра-Земля	1.
II.	Хлѣбъ насущный	19.
III.	Небесный міръ	32.
IV.	Огонь и вода	51.
V.	Сине море	67.
VI.	Лѣсъ и степь	83.
VII.	Царь-государь	100.
VIII.	Январь-мѣсяцъ	109.
IX.	Крещенскія сказанія	120.
X.	Февраль-бокогрѣй	128.
XI.	Срѣтенье	143.
XII.	Власьевъ день	149.
XIII.	Честна́я госпожа Масляница	157.
XIV.	Мартъ-позимье	170.
XV.	Алексѣй—человѣкъ Божій	177.
XVI.	Сказъ о Благовѣщеніи	190.
XVII.	Апрѣль—пролѣтній мѣсяцъ	198.
XVIII.	Страстная недѣля	209.
XIX.	Свѣтло-Христово-Воскресеніе	222.
XX.	Радоница—Красная Горка	241.
XXI.	Егорій-вешній	249.
XXII.	Май-мѣсяцъ	261.
XXIII.	Вознесеньевъ день	271.
XXIV.	Троица—зеленыя Святки	278.
XXV.	Духовъ день	285.
XXVI.	Іюнь-розанцвѣтъ	291.
XXVII.	Ярило	297.
XXVIII.	Иванъ-Купала	308.
XXIX.	О Петровѣ днѣ	316.
XXX.	Іюль—маку́шка лѣта	323.

		стр.
XXXI.	Илья-пророкъ	333.
XXXII.	Августъ-собериха	340.
XXXIII.	Первый Спасъ	351.
XXXIV.	Спасъ-Преображенье	360.
XXXV.	Спожинки	365.
XXXVI.	Иванъ-Постный	373.
XXXVII.	Сентябрь-листопадъ	381.
XXXVIII.	Новолѣтіе	392.
XXXIX.	Воздвиженье	399.
XL.	Пчела—Божья работница	406.
XLI.	Октябрь-назимникъ	416.
XLII.	Покровъ-зазимье	426.
XLIII.	Свадьба—судьба	433.
XLIV.	Послѣдніе назимніе праздники	445.
XLV.	Ноябрь-мѣсяцъ	457.
XLVI.	Михайловъ день	468.
XLVII.	Мать-пустыня	475.
XLVIII.	Введенье	489.
XLIX.	Юрій-холодный	495.
L.	Декабрь-мѣсяцъ	503.
LI.	Зимній Никола	521.
LII.	Спиридонъ солноворотъ	528.
LIII.	Рождество Христово	533.
LIV.	Звѣри и птицы	546.
LV.	Конь-пахарь	566.
LVI.	Царство рыбъ	583.
LVII.	Змѣй-Горынычъ	601.
LVIII.	Злыя и добрыя травы	617.
LIX.	Богатство и бѣдность	633.
LX.	Порокъ и добродѣтель	652.
LXI.	Дѣтскіе годы	667.
LXII.	Молодость и старость	683.
LXIII.	Загробная жизнь	697.
	Указатель примѣчаній	721.

„БЫВАЛЬЩИНЫ“ Аполлона Коринфскаго

вышли въ свѣтъ *третьимъ изданіемъ*, дополненнымъ новыми стихотвореніями. Томъ въ 22 печатныхъ листа, отпечатанный (*безъ предварительной цензуры*) на лучшей альбомной бумагѣ большого формата.

47 пѣсенныхъ сказаній: Микула. — Бертрада. — Русалочья заводь.— Златоогненный цвѣтъ.—На коврѣ-самолетѣ.—Потайный сказъ.—Бѣгство боговъ.—Измѣнница-жена.—Водяной.—Лада.—Бѣлбожичъ.—Суженый.— Подводная пустынь.—Старый ямщикъ.—Горислава.—Царь снѣговъ.— Удаль.—Скоморошья потѣха.—Святогоръ.—Мара безумная.—Стень-урочище.—Полонянкина коса.—Солнечные заигрыши.—Изгой.—Пѣсня русалокъ. — Царевъ курганъ.—Сосѣди. — Вѣчные всадники.—Незванный гость.—Царевничъ мостъ.—Красная Весна.—Могила трехъ.—Доброгнѣва.—Два брата.—Князь-богоборецъ.—Несмѣяна-королевна.—Перстень.— Чудище-Ложь.—Миръ въ камышахъ.—Зависть Лихая.—Послѣдній богатырь.—Безродная.—На плотахъ.—Свѣтлояръ.—Калики-перехожіе.—Чурило.—Елена-Краса.

25 „Картинъ Поволжья“.—43 очерка „Сѣвернаго лѣса“.

СПБ. 1900 г. Цѣна два рубля.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ имѣются въ продажѣ другія книги того-же автора:

1. **„Пѣсни сердца“.** Стихотворенія 1889—93 гг. **Второе изданіе** книгопрод. М. В. Клюкина. М. 1896 г. Цѣна (388 стр. in 12) въ перепл. 1 р.
2. **„Черныя розы“.** Стихотворенія 1893—95 гг. С. Петербургъ, 1896 г. Цѣна (294 стр. in 8) 1 рубль.
3. **„Тѣни жизни“.** Стихотворенія 1895—96 гг. С.-Петербургъ, 1897 г. Цѣна (264 стр.) 1 рубль.
4. **„Гимнъ Красотѣ“** и другія новыя стихотворенія 1896—98 гг. С.-Петербургъ, 1899 г. Цѣна (316 стр. in 8) 1 р. 50 к.
5. **„Вольная птица“** и другіе разсказы 1888—94 гг. („Вольная птица“.— „Подъ шумъ дождя“.—„Любочка“.—„Мотя“.—„Тридцать курганов“.— „Домнино горе“.—„Она пришла“.—„Сергѣй Андреевичъ“.—„Непріятный случай“.—„Однимъ вечеромъ“.—„Просѣлкомъ“.—„Начало“.) С.-Петербургъ, 1897 г. Цѣна (336 стран.) 1 рубль.
6. **„На ранней зорькѣ“.** Сборникъ стихотвореній для дѣтей, съ многочисленными рисунками. Изданіе М. В. Клюкина. С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна (150 стр.) 50 коп., въ папкѣ 65 коп. (Печатается **второе** изданіе).
7. **„Старый морякъ“.** Поэма Кольриджа въ стихотворномъ переводѣ **Аполлона Коринфскаго**, съ 41 иллюстраціями Густава Дорэ, 2-мя портретами Кольриджа, примѣчаніями его къ поэмѣ и біографіею. Роскошное изданіе in folio. **Изданіе второе**, Ф. А. Іогансона. Кіевъ, 1897 г. Цѣна 1 р. 50 к., въ переплетѣ съ золототисненіемъ 3 руб.
8. **„Поэзія К. К. Случевскаго“.** Этюдъ. С.-Петербургъ, 1900 г. Изданіе П. П. Сойкина. Съ портретомъ и автографомъ К. К. Случевскаго. Цѣна въ художественно-исполненной обложкѣ 60 копѣекъ.
9. **„Д. Н. Садовниковъ и его поэзія“.** Сообщеніе, сдѣланное въ кружкѣ имени Я. П. Полонскаго. Изданіе П. П. Сойкина. Съ портретомъ Д. П. Садовникова, грав. профес. Мате. Цѣна (112 стран.) 50 коп.
10. **„Пасха царя Алексѣя“.** Историческій разсказъ. Изданіе М. В. Клюкина, для народнаго и дѣтскаго чтенія. Цѣна (16 стран.) 3 копѣйки.

убѣленная мудростью старина. По ея слову, еще недавно соблюдался этотъ обычай въ среднемъ Поволжьѣ, на которомъ не мало тропинокъ-дороженекъ проложила обагрявшая кровью землю понизовая вольница, разбѣгавшаяся по обѣ стороны могучей рѣки—отъ воеводскаго разгрома, послѣ поимки Стеньки Разина—этого послѣдняго представителя русскаго ушкуйничества—сохранившагося въ народной памяти съ очестливымъ именемъ „удалого Степана Тимоѳеича". Считалось грѣхомъ переносить для погребенія на кладбища сраженныхъ въ дорогѣ стрѣлами грома небеснаго—убитыхъ молніей. И они находили себѣ вѣковѣчный покой тамъ, гдѣ были застигнуты „волей Божіей". Но ни тѣ, ни другія могилки не внушаютъ прохожему-проѣзжему люду православному того суевѣрнаго ужаса, какой просыпается у него въ душѣ по сосѣдству съ могилами самоубійцъ.

Всѣ люди, по народному представленію, являются въ этомъ мірѣ странниками. Смерть настигаетъ ихъ тамъ, гдѣ ей указано Богомъ,—если только человѣкъ не поддастся—въ недобрый часъ—искушенію лукавому и не подниметъ самъ на себя руки, или не продастъ безсмертную душу свою лютому врагу спасенія рода человѣческаго—діаволу. Конченъ земной путь; открыты врата новой—безконечной—жизни, столь радостной-отрадной для однихъ („ходящихъ по путямъ Божіемъ") и столь горестной для другихъ—позабывавшихъ при земной жизни о Богѣ правды. Годы блаженства райскаго пролетаютъ, какъ мгновенія; мгновенія адскихъ мукъ кажутся годами. И такъ—до скончанія вѣковъ, до Страшнаго Суда Божія, о которомъ сокрушается народъ-стихопѣвецъ въ одномъ изъ своихъ стиховныхъ сказовъ:

„Плачу ся и ужасаю,
Егда онъ часъ помышляю,
Какъ пріидетъ Судія праведный,
Въ Божествѣ Своея славы,
Судъ справедливый судити
И страшный отвѣтъ творити!..."

Безчисленное множество разнопѣвовъ-разносказовъ стиха о Страшномъ Судѣ сложилось въ русскомъ народѣ. Поются-распѣваются они до нашихъ дней по всѣмъ уголкамъ боголюбивой народной Руси. Наиболѣе полный и связный изъ нихъ подслушанъ-записанъ Кирѣевскимъ въ Сызранскомъ уѣздѣ Симбирской губерніи. Начинается онъ прямо съ покаянія: „Живали мы, грѣшные, на вольномъ свѣту, пили мы ѣли, сами тѣшилися, тѣлеса мы свои грѣшныя вынѣживали, грѣ-

ха много мы на̀ душу накладывали, ничего мы душамъ добраго не уготавывали: за всё будемъ Богу нашъ отвѣтъ держать на страшныемъ Христовомъ на пришествіи"... Затѣмъ, слѣдуетъ-продолжается исчисленіе грѣховъ: „Въ святую Божью церковь мы не прихаживали, святыхъ Божіихъ книгъ мы не слушивали, по писанному мы, грѣшные, не вѣровали... Не имѣли мы ни среду, ни пятницу, святаго трехденнаго воскресенія, святыхъ годовыхъ честныхъ праздниковъ. Не имѣли мы у себя отца духовнаго, спѣсивые были—гордые мы немилостивые, до нищихъ до убогихъ неподатливые: за то-же мы Господа прогнѣвали, Владычицу Пресвятую Богородицу, Пресвятую Троицу присносущную, поклоняемую"... За покаяннымъ вступленіемъ идетъ рядъ вопросовъ, не всегда сопровождаемыхъ отвѣтами: „Да кто-же не слыхалъ у насъ страху Христа, страху Христа, суда Божьева? Да кто-же у насъ во плоти взятъ у Христа? Во плоти взятъ у насъ Илья, Божій пророкъ, Илья, Божій пророкъ, и Онохъ, Божій пророкъ. Восходилъ-же онъ на гору на Ѳаворскую, тогда онъ восходилъ, когда преобразился Господь съ преучениками своими, съ преапостолами, показалъ Онъ ему, въ чемъ мука и рай̀ и всякіимъ мѣста уготовленныя: гдѣ праведнымъ быть, гдѣ грѣшныимъ, гдѣ татьямъ быть, ворамъ, грабителямъ, еретикамъ, клеветникамъ, ненавистникамъ, гдѣ блудникамъ быть, беззаконнымъ рабамъ"... Народъ-стихопѣвецъ точенъ—какъ и всегда—въ своихъ опредѣленіяхъ: „Татьи всѣ пойдутъ во великій страхъ",—говоритъ онъ: „разбойники пойдутъ въ гро́зы въ лютыя; а чародѣи всѣ изыдутъ въ дьявольскій смрадъ; а убійцамъ-то будетъ скрежетъ зубный; сребролюбцамъ-то будетъ несыпляющая червь, смѣхотворцамъ-груботворцамъ—вѣчная плачь, а пьяницамъ смола горючая..." Вслѣдъ за этимъ—картина огненнаго обновленія природы, о которомъ уже упоминалось выше: „...протечетъ Сіонъ-рѣка огненная, отъ востока рѣка течетъ до запада: пожретъ она землю всю и каменье, древеса и скотъ и птицу пернатую, пернатую птицу и возду́ственную. Тогда мѣсяцъ и солнышко потемнѣютъ, и небо возсіяетъ, во свитки совьется, и звѣзды спадутъ съ неба на землю, спадутъ онѣ, яко листья со древовъ. Тогда-же земля вся восколыбается, всѣ ангелы Божіи преустрашатся, завидѣвши страсти всѣ и ужасы. Сойдетъ съ небесъ Царица Владычица, Пресвятая Богородица, со престоломъ сойдетъ съ небесъ на землю; по Божьему все повелѣнію сойдутъ съ небеси святые ангелы, и снесутъ они Крестъ пресвятый Его, и поставятъ на мѣсто на Лобное, да гдѣ же претерпѣлъ Господь вольное распятіе. Потомъ снесутъ престолъ Господень съ неба

на землю; тогда съ неба сойдётъ страшный Судія, страшный Судія, Самъ Іисусъ Христосъ на свѣтоносномъ на облацѣ, и сядетъ Господь на престолѣ Своёмъ, да и будетъ судить живыхъ и мертвыхъ. Тогда убоится Его всякое созданіе, небо и земля и преисподенная, адъ восколыбнется. Тогда-же, по апостольскому словеси, Ему поклонятся небесные и земные, и преисподенные"... Престолъ „Судіи праведнаго" представляется воображенію народа-стихопѣвца окруженнымъ „полками архангельскими". По правую руку отъ него стоятъ всѣ святые пророки, и мученики; по лѣвую—„многогрѣшные съ самимъ сатаною, со угодники его".—„Помилуй насъ, Господи, помилуй насъ!"—вопіютъ послѣдніе.—„Вы, грѣшные, беззаконные рабы!"—отвѣтствуетъ имъ Господь: „Теперь плачете вы, молитеся, послѣднія слезы проливаете вы Мнѣ... А право глаголю, не знаю васъ! Отъидите отъ Меня, ненавижу васъ; сами вы себѣ мѣста уготовали, съ самимъ сатаною, со угодники его!..." Какъ громомъ поражаетъ грѣшниковъ отвѣтъ Судіи праведнаго,—припадаютъ они „ко сырой землѣ", принимаются плакать горько. Плачъ этотъ, по обычаю русскихъ пѣвцовъ-сказателей, выливается словами. Вотъ эти слезныя слова: „Горе намъ, грѣшнымъ, увы намъ, увы! Зачѣмъ, грѣшные, мы на семъ свѣту родилися? Лучше бы намъ, грѣшнымъ, не родитися! Почто-же мы съ малешеньку не померли? Не слыхали-бы слова грознаго отъ страшнаго Судіи, Самого Христа, не потерпѣли-бы мы злой муки превѣчныя!.. На этотъ „плачъ" держитъ грѣшникамъ свое суровое слово перевозчикъ душъ праведныхъ—Михаилъ-архангелъ, которому и въ стиховныхъ пѣснопѣніяхъ убогихъ пѣвцовъ каликъ-перехожихъ дается народомъ то-же, что и въ другихъ сказаніяхъ, дерзновеніе передъ Господомъ Силъ.—„О, вы грѣшные, беззаконные рабы!"—восклицаетъ онъ:—„На то было на вольномъ свѣту даны вамъ книги Божественныя: все въ книгахъ было написано, все въ книгахъ было напечатано, въ чемъ грѣхъ и въ чемъ спасенье, чѣмъ въ рай взойти, чѣмъ душу спасти и какъ бы избавиться отъ злой муки превѣчныя, и чѣмъ наслѣдовать вамъ царство небесное. Не будетъ Господь до васъ милостивъ за ваше житье самовольное! Сами вы себѣ мѣста уготовали съ самимъ сатаною, со угодники съ его!" Еще бо́льшимъ страхомъ-ужасомъ отзываются эти слова въ смятенныхъ сердцахъ грѣшниковъ. Восплакались-возрыдали они пуще прежняго; но не тронули слезы-рыданія грознаго архистратига Божія, изрекающаго міру повелѣнія „Самого Христа". И вотъ,—продолжается стихъ-сказъ,—повелѣлъ Господь вогнать всѣхъ грѣшниковъ въ огненную рѣку, по-